

ГЕРДИК

СЕНКЕБИМ

2



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1983

ГЕНРИК СЕНКЕВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ ТОМАХ

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
И. ГОРСКИЙ
А. САХАРОВ
А. СЕВАСТЬЯНОВА
Б. СТАХЕЕВ
Н. ЦЫБЕНКО



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1983

ГЕНРИК
СЕНКЕВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

ОГНЕМ
И МЕЧОМ

РОМАН

ПЕРЕВОД
С ПОЛЬСКОГО



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1983

И (Пол)
СЗ1

Послесловие и примечания
В. Стазеева

Оформление художника
Е. Ганнушкина

С $\frac{4703000000-048}{028(01)-83}$ подписное

© Перевод, послесловие, примечания, оформление. Издательство «Художественная литература», 1983 г.

ОГНЕМ
И
МЕЧОМ

РОМАН

Р

Перевод первой части
Исара Эппеля

Перевод второй части
Ксении Старосельской

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Год 1647 был год особенный, ибо многообразные знамения в небесах и на земле грозили неведомыми напастями и небывалыми событиями.

Тогдашние хронисты сообщают, что весною, выплотившись в невиданном множестве из Дикого Поля, саранча поела посевы и траву, а это предвещало татарские набеги. Летом случилось великое затмение солнца, а вскоре и комета запылала в небесах. Над Варшавою являлись во облаке могила и крест огненный, по каковому случаю назначалось поститься и раздавали подаяние, ибо люди знающие пророчили, что мор поразит страну и погибнет род человеческий. Ко всему еще и зима наступила столь мягкая, какой и старики не упомнят. В южных воеводствах реки вообще не сковало льдом, и, каждодневно питаемые снегом, тающим с утра, они вышли из берегов и позаливали поймы. Часто шли дожди. Степь размокла и сделалась большою лужею, солнце же в полдни припекало так, что — диво дивное! — в воеводстве Брацлавском и на Диком Поле луга и степь зазеленели уже к середине декабря. Рои на пасаках колотились и гудели, а по дворам мычала скотина. Поскольку ход природы вовсе, казалось, повернул вспять, все на Руси, ожидая небывалых событий, обращались тревожной мыслью и взором к Дикому Полю, так как беда могла прийти скорее всего оттуда.

На Поле же ничего примечательного не происходило. Никаких особых набоев или стычек, кроме привычных и всегдашних, не случалось, а об этих ведали разве что орлы, вороны, ястребы и полевой зверь.

Уж таким оно, это Поле, было. Последние признаки оседлой жизни к югу по Днепру обрывались вскоре за Чигирином, а по Днепру — сразу за Уманью; далее же — до самых до лиманов и до моря — только степь, как бы двумя реками окаймленная. В днепровской излучине, на Низовье, кипела еще за порогами казацкая жизнь, но в самом Поле никто не жил, разве что по берегам, точно острова среди моря, кое-где попадались «полянки». Земля, хоть и пустовавшая, принадлежала *de nomine*¹ Речи

¹ номинально (лат.).

Посполитой, и Речь Посполитая позволяла на ней татарам пасти скот, но коль скоро этому противились казаки, пастбища то и дело превращались в поле брани.

Сколько в тех краях битв отгремело, сколько народу погелo — не счесть, не упомнить. Орлы, ястребы и вóроны — одни про то и знали, а кто в отдалении слышал плескание крыл и карканье, кто замечал птичьи водовороты, над одним кружащиеся местом, тот знал, что либо трупы, либо кости непогребенные тут лежат... На людей в травах охотились, словно на волков или сайгаков. Охотился кто хотел. Преступник в дикой степи спасался от закона, вооруженный пастырь стерег стада, рыцарь пскал приключений, лихой человек — добычи. Казак — татарина, татарин — казака. Бывало, что и целые дружины стерегли скот от бесчисленных охотников до чужого. Степь, хоть и пустовавшая, вместе с тем была не пустая; тихая, но злоеца; безмятежная, но полная опасностей; дикая Диким Полем, но еще и дикостью душ.

Порою прокатывалась по ней большая война. Тогда волнам подобно плыли татарские чамбулы, казацкие полки, польские или валашские хоругви; по ночам ржание коней вторило волчьему вою, голоса барабанов и медных труб долетали до самого Овидова озера, а то и до моря, а на Черном Шляхе, на Кучманском — тут, можно сказать, просто половодье людское. Рубеж Речи Посполитой стерегли от Каменца и до самого до Днестра заставы и «полянки», так что, если дороги грозились наводниться пришельцами, об этом узнавали по бессчетным птичьим стаям, всполошенным чамбулами и устремлявшимся на север. Но татарин — выступи он из Черного Леса или перейди Днестр с валашской стороны — появлялся все-таки в южных воеводствах вместе с птицами.

Однако в зиму ту шумливые птицы не устремлялись к Речи Посполитой. В степи было даже тише обычного. К началу повествования нашего солнце уже садилось, и красноватые лучи его озаряли округу, пустынную совершенно. По северному краю Дикого Поля, по всему Омельнику до самого его устья наизорчайший взгляд не углядел бы ни живой души, ни даже малейшего движения в темном, сохлом и поникшем бурьяне. Солнце теперь только половиною круга своего виднелось над горизонтом. Небо меркло, отчего и степь помалу погружалась в сумрак. На левом берегу, на небольшой возвышенности, скорее похожей на курган, чем на холм, еще виднелись остатки каменной твердыни, поставленной некогда Теодориком Бучацким и разрушенной затем войнами. От руин этих ложились длинные тени. Внизу поблескивали воды широко разлившегося Омельника, в месте том сворачивавшего к Днестру. Но свет все более меркнул и на небе, и на земле. С высоты доносились клики журавлей, тянувших к морю, более же ни один голос безмолвия не нарушал.

Ночь легла на пустыню, а с нею пришло и время духов. По заставам не смыкавшие глаз рыцари рассказывали тогда друг другу, что ночами являются в Диком Поле призраки тех, кто погиб или умер без покаяния напрасной смертью, и кружатся вереницами, в чем не помеха им ни крест, ни храм господень. Поэтому, когда шнуры, указывавшие полночь, начинали дограть, на заставах по этим несчастным служили зашокоиную. Еще рассказывали, будто такие же тени, но всадников, скитаясь по глухим местам, заступают дорогу проезжим, стелая и моля о знаке креста святого. Бывали призраки, пугавшие людей воем. Искушенное ухо издали могло отличить их завывания от волчьих. Еще видали целые воинства теней — эти иногда столь близко подходили к заставам, что часовые трубили *lagum*¹. Такие случаи предвещали, как правило, немалую войну. Встреча с одиночной тенью тоже не сулила ничего хорошего, но не всегда следовало предполагать недоброе, ибо перед дорожными иногда и живой человек возникал и пропал, как тень, так что только призраком и мог быть сочтен.

А поскольку над Омельником спустилась ночь, ничего не было удивительного в том, что сразу — возле заброшенной крепости — возник не то дух, не то человек. Луна, как раз выглянувшая из-за Днепра, выбелила пустынную местность, головки репейников и степные дали. Тотчас ниже по течению в степи появились какие-то ночные создания. Мимолетные тучки то и дело застили луну, и облики эти то белелись во тьме, то меркли. Иногда они пропадали вовсе и как бы таяли во мраке. Приближаясь к вершинке, на которой стоял упомянутый всадник, они, то и дело останавливаясь, тихо, осторожно и медленно крались.

В движении этом было что-то пугающее, впрочем, как и во всей степи, с виду такой безмятежной. Ветер порою задувал с Днепра, поднимая печальный шелест в сохлых репьях, клонившихся и трепетавших точно с перепугу. Но вот поглощенные тенью развалин облики пропали. В бледном сиянии ночи видеть было только недвижимого на взгорье всадника.

Однако шелест привлек и его внимание. Подъехав к самому крутояру, он внимательно стал вглядываться в степь. Сразу улегся ветер, шелест умолк, и сделалась тишина мертвая.

Вдруг раздался пронзительный свист. Многие голоса разом и душераздирающе завопили: «Алла! Алла! Иисусе Христе! Спасай! Бей!» Загремели самопалы, красные вспышки разорвали мрак. Конский топот смешался с лязгом железа. Еще какие-то всадники возникли в степи словно из-под земли. Настоящая буря взметнулась в этой только что безмолвной и зловещей пустыне. Потом стоны человеческие стали вторить страшным воплям, и наконец все утихло. Бой закончился.

¹ тревогу, сигнал к бою (*лат.*).

Надо полагать — в Диком Поле разыгрывалась одна из обычных сцен.

Всадники съехались на взгорье, некоторые спешили, внимательно к чему-то приглядываясь.

Из темноты послышался громкий, повелительный голос:

— Эй там! Высечь огня да запалить!

Тотчас посыпались искры, и сразу вспыхнул сухой очерет с лучиной, каковые путешествующий по Дикому Полю всегда возил с собою.

Немедля в землю был воткнут шест с каганцом, и падающий сверху свет резко и ярко осветил десятка полтора людей, склонившихся над кем-то, недвижно распростертым.

Это были воины в красной придворной форме и в волчьих шапках. Один, сидевший на добром коне, по виду командир, спрыгнув на землю, подошел к лежащему и спросил у кого-то:

— Ну что, вахмистр? Живой он или нет?

— Живой, нан наместник, хрипит вот, арканом его придушило.

— Кто таков?

— Не татарин, важный кто-то.

— Оно и слава богу.

Наместник внимательно пригляделся к лежащему человеку.

— По виду гетман,— сказал он.

— И конь у него — аргамак редкостный, какого и у хана нету,— ответил вахмистр. — Да вон его держат!

Поручик поглядел, и лицо его просветлело. Рядом двое солдат держали и вправду отменного скакуна, а тот, прижимая уши и раздувая ноздри, протягивал голову и глядел уstraшенным глазом на лежащего хозяина.

— Уж конь-то, конечно, наш будет? — поспешил спросить вахмистр.

— А ты, подлая душа, христианина в степи без коня оставить хочешь?

— Так ведь в бою взятый...

Дальнейший разговор был прерван вовсе уж громким хрипением удушенного.

— Влить человеку горелки в глотку! — сказал наместник. — Да пояс на нем распустишь.

— Мы что — тут и заночуем?

— Тут и заночуем! Коней расседлать, костер запалить.

Солдаты живо бросились исполнять приказания. Одни стали приводить в чувство и растирать лежащего, другие отправились за очеретом, третьи разостлали для ночлега верблюжьи и медвежьи шкуры.

Наместник, не беспокоясь более о полузадушенном незнакомце, расстегнул пояс и улегся возле костра на бурку. Был он очень молод, сухощав, черноволос и весьма красив; лицо имел худое, а нос — выдающийся, орлиный. Взор наместника пылал

бешеной отвагою и задором, но выражение лица при этом не теряло степенности. Значительные усы и давно, как видно, не бритая борода вовсе делали его не по возрасту серьезным.

Тем временем двое солдат стали готовить ужин. Они пристроили на огне заготовленные бараньи четверти, из тороков вытащили несколько дроф, подстреленных днем, несколько куропаток и одного сайгака, которого солдат тут же принялся обдирать. Костер горел, отбрасывая в степь огромный красный круг. Удушенный стал потихоньку приходить в себя.

Какое-то время водил он налитыми кровью глазами по незнакомцам, затем попытался встать. Солдат, прежде разговаривавший с наместником, приподнял лежавшего, подхватив под мышки; другой сунул ему в руки обушок, на который неизвестный тяжело оперся. Лицо его с надувшимися жилами оставалось багровым. Наконец сдавленным голосом он прохрипел первое слово:

— Воды!

Ему дали горелки, которую он пил и пил, и, как видно, не без пользы, потому что, оторвавшись наконец от фляги, спросил уже более отчетливым голосом:

— У кого это я?

Наместник встал и подошел к нему.

— У тех, кто вашу милость спасением подарили.

— Значит, не вы накинули аркан?

— Наше дело, милостивый государь, сабля, не аркан. Бесчестишь добрых жолнеров подозрением. А поймали тебя какие-то лихие люди, татарами переодетые. На них, ежели любопытствуешь, можешь поглядеть; вон они, как бараны порезанные лежат.

И наместник указал рукой на темные тела, лежавшие у подошвы взгорья.

Незнакомец на это сказал:

— Если так — позвольте же мне отдышаться.

Ему подложили войлочную кульбаку, устроившись на которой он погрузился в молчание.

Это был мужчина в расцвете лет, среднего роста, в плечах широкий, почти исполинского телосложения, с поразительными чертами лица. Голову он имел огромную, кожу дряблую, очень загорелую, глаза черные и, точно у татарина, слегка раскосые; узкий рот его обрамляли тонкие усы, по оконечьям расходившиеся широкими кистями. На мощном лице были написаны отвага и высокомерие. Тут совмещалось что-то притягательное и вместе с тем отталкивающее: гетманское достоинство, смешанное с татарской лукавостью, благожелательность и злость.

Отсидевшись несколько времени, он встал и, не поблагодарив, совершенно неожиданно отправился глядеть на убитых.

— Мужлан! — буркнул наместник.

Незнакомец между тем внимательно вглядывался в лицо каждому, качал головою, словно поняв что-то, а затем медленно направился к наместнику, шаря по бокам и машинально ища пояс, за который хотел, как видно, заложить руку.

Не понравилась молодому наместнику таковая значительность в человеке, только что вынутом из петли, поэтому он язвительно сказал:

— Можно подумать, что ты, ваша милость, знакомых ищешь среди этих воров или заупокойную по ним говоришь.

Незнакомец серьезно ответил:

— И не ошибаешься ты, сударь, и ошибаешься; не ошибаешься, потому что искал я знакомых, однако, называя их татями, ошибаешься, ибо это слуги некоего шляхтича, моего соседа.

— Не из одного, видать, колодца берете воду вы с тем соседом.

Странная какая-то усмешка скользнула по тонким губам незнакомца.

— И в этом ты, сударь, ошибаешься,— пробормотал он сквозь зубы.

Спустя же мгновение добавил погромче:

— Однако прости мне, ваша милость, что я надлежащей не выразил благодарности за *auxilium*¹ и успешное спасение, какие меня от столь неожиданной смерти упустили. Мужество твое, ваша милость, покрыло неосмотрительность того, кто от людей своих отдалился; но благодарность моя самоотверженности твоей не меньше.

Молвив это, он протянул руку наместнику.

Однако самоуверенный молодой человек даже не пошевелился и своей протягивать не спешил. Зато сказал:

— Нелишне бы сперва узнать, со шляхтичем ли имею честь, ибо хоть и не сомневаюсь в этом, но анонимные благодарности полагаю неуместными.

— Вижу я в тебе, сударь, истинно рыцарские манеры, и полагаешь ты справедливо. Речи мои, да и благодарность тоже, следовало мне предварить именем своим. Что ж! Перед тобою Зиновий Абданк, герба Абданк с малым крестом, шляхтич Киевского воеводства, оседлый и полковник казацкой хоругви князя Доминика Заславского тож.

— Ян Скшетуский, наместник панцирной хоругви светлейшего князя Иеремии Вишневецкого.

— Под славным началом, сударь, служишь. Прими же теперь благодарность мою и руку.

Наместник более не колебался. Панцирное товарищество хоть и глядело свысока на жолнеров других хоругвей, но сейчас пан Скшетуский находился в степи, в Диком Поле, где таким

¹ помощь (лат.).

околичностям придавалось куда меньше значения. К тому же он имел дело с полковником, в чем тотчас же воочию убедился, потому что солдаты, возвращая Абданку пояс и саблю, мешавшие им приводить незнакомца в чувство, подали ему и короткую булавку с костяной рукояткой и яблоком из скользкого рога — обычную регалию казацких полковников. Да и платье на его милости Зиновии Абданке было богато, а умелый разговор обнаруживал живость ума и знание светского обхождения.

Так что пан Скшетуский пригласил его отужинать, поскольку от костра, дразня обоняние и аппетит, потянулся уже запах жареного. Солдат извлек мясо из огня и подал на оловянном блюде. Стали есть, а когда принесен был изрядный мех молдаванского вина, сшитый из козловой шкуры, завязалась и нескучная беседа.

— За наше скорое и благополучное возвращение! — возгласил пан Скшетуский.

— Ты, сударь, возвращаешься? Откуда же, позволь поинтересоваться? — спросил Абданк.

— Издалече. Из самого Крыма.

— Что же ты там делать изволил? Выкуп возил?

— Нет, сударь полковник. К самому хану ездил.

Абданк с любопытством насторожился.

— Однако же в приятной компании ты побывал! С чем же ты к хану ездил?

— С письмом светлейшего князя Иеремии.

— Так ты в послах был! О чем же его милость князь изволил писать хану?

Наместник быстро глянул на собеседника.

— Сударь полковник, — сказал он, — ты глядел в глаза таям, которые тебя заарканили, и это дело твое; но о чем князь писал хану, это дело не твое и не мое, а их обоих.

— Я было удивился, — хитро заметил Абданк, — что его милость князь столь молодого человека послом к хану отправил, но, услышав твой, сударь, ответ, более не удивляюсь, ибо хоть и молод ты годами, но опытностью и разумом зрел.

Наместник невозмутимо выслушал лестное замечание, покрутил разве что молодой ус и спросил:

— А скажи-ка мне, ваша милость, что поделываешь ты возле Омельника и откуда тут взялся, да еще один?

— А я не один, я людей на дороге оставил, и еду я в Кудак к пану Гродзицкому, командующему тамошним гарнизоном, к каковому меня его милость великий гетман послал с письмами.

— Отчего же ты не поплыл на байдаках?

— Таков был приказ, от коего отступать мне не подобает.

— Странно, и весьма, что его милость гетман так распорядился, ведь в степи-то ты и попал в столь неприятную передрягу; едучи же водою, наверняка избежал бы ее.

— Степи, сударь мой, теперь спокойные, я их знаю хорошо, а приключившееся — это злоба человеческая и *invidia* ¹.

— Кому же ты так не по душе?

— Долго рассказывать. Видишь ли, сударь наместник, сосед подлый у меня; он и мое имение уничтожил, и вотчину оттягать хочет, и сына моего побил. А теперь, как ты сам видел, и на мой живот покусился.

— Да ты, ваша милость, не при сабле разве?

Тяжелое лицо Абданка на мгновение вспыхнуло ненавистью, глаза хмуро загорелись, и он ответил медленно, неторопливо и четко:

— При сабле. И да оставит меня господь, если отныне я лучшей управы против врагов моих искать стану.

Наместник хотел было что-то сказать, но вдруг из степи донесся конский топот, вернее, торопливое жваканье копыт по размокшей траве.

Сразу и слуга наместника, выставленный караульным, прибежал сообщить, что на подходе какие-то люди.

— Это, наверно, мой, — сказал Абданк. — Я их сразу за Тямином оставил и, никак не полагая засады, договорился ждать здесь.

Минуты не прошло — и толпа всадников окружила полукольцом взгорье. Костер вырвал из темноты головы коней, раздувавших поздри и фыркавших от усталости, а над ними — настороженные лица седоков. Прикрывая ладонями от слепившего яркого света глаза, они быстро разглядывали всех, кто был в соседстве костра.

— Гей, люди! Кто вы? — спросил Абданк.

— Рабы божьи! — ответили голоса из темноты.

— Они! Мои молодцы! — подтвердил наместнику Абданк. — А ну-ка сюда!

Несколько всадников спенились и подошли к костру.

— А мы торопились, торопились, батьку. Що з тобою? ²

— В васаду попал, Хведько, иуда, знал место и поджидал тут со своими. Заранее выехал. Аркан на меня накиннули!

— Спаси бог! Спаси бог! А что же за полячишки тут с тобою?

Говоря это, они недобро поглядывали на Скшетуского и его спутников.

— Это други честные, — сказал Абданк. — Слава богу, цел я и невредим. Сейчас дальше поедем.

— Слава богу! Мы готовы.

Подъехавшие стали греть над огнем руки, так как ночь стояла хоть и ясная, но холодная. Было их человек сорок, причем всё

¹ зависть (лат.).

² Разрядкой выделены встречающиеся у Сенкевича украинские слова и фразы. (Написание их приведено в соответствии с нормами украинского языка.)

люди рослые и хорошо вооруженные. Они совсем не походили на реестровых казаков, что весьма озадачило пана Скушетуского, особенно еще и потому, что подъехали они в столь немалом количестве. Все это показалось наместнику очень подозрительным. Если бы великий гетман послал его милость Абданка в Кудак, он бы, во-первых, придал ему конвой из реестровых, а во-вторых, зачем бы велел идти до Чигирина степью, а не водой? Ведь переправы через все реки, текущие по Дикому Полю к Днепру, могли только затянуть поездку. Похоже было, что его милость Абданк Кудак-то как раз и хотел миновать.

Да и сама особа Абданка весьма озадачивала молодого наместника. Он сразу же обратил внимание, что казаки, со своими полковниками обращавшиеся без лишних церемоний, этого окружали почтением необычайным, словно какого гетмана. Видать, был он рыцарь первейший, что тем более удивляло пана Скушетуского, ибо, зная Украину по ту и эту стороны Днепра, ни в каком таком знаменитом Абданке он не слыхал. А между тем в обличье мужа сего было явно что-то необыкновенное — некая скрытая сила, которою, точно пламя жаром, дышал весь его облик; некая железная воля, свидетельствовавшая, что человек этот ни перед чем и ни перед кем не отступит. Такою же волею исполнен был и облик князя Иеремии Вишневецкого, но то, что у князя было врожденным натурой свойством, присущим высокому происхождению и положению, в муже неизвестного имени, затерявшемся в степной глуши, могло озадачить.

Пан Скушетуский основательно призадумался. То ему приходило в голову, что незнакомец, возможно, какой-то именитый изгнанник, скрывавшийся от приговора в Диком Поле; то — что перед ним вождь разбойной ватаги. Последнее, однако, было неправдоподобно. И платье, и речь этого человека свидетельствовали прямо противоположное. Поэтому наместник, оставаясь все время настороже, не знал, что и думать, а между тем Абданк уж и коня себе подать приказал.

— Сударь наместник, — сказал он, — нам пора. Позволь же еще раз поблагодарить тебя за спасение, и дай мне боже отплатить тебе таковою же услугой!

— Не знал я, кого спасал, оттого и благодарности не заслуживаю.

— Скромность это в тебе говорит, отваге твоей не уступающая. Прими же от меня сей перстень.

Наместник, смерив Абданка взглядом, поморщился и отступил на шаг, а тот, с отповской прямо-таки торжественностью в манерах и в голосе, продолжал:

— Взгляни же. Не драгоценностью этого перстня, но другими его достоинствами дарю я тебя. Будучи молодых лет и в ба-сурманской неволе, получил я его от богемольца, который из Святой Земли возвращался. В камушке оном заключен прах гроба господня. От подарка такого отказываться не годится, хоть

бы даже он из ославленных рук воспоследовал. Ты, сударь, человек молодой и солдат, а коль скоро и старость, могиле близкая, не ведает, что с нею перед кончиною случиться может, что же тогда говорить о младости? Имея впереди век долгий, ей с куда большими превратностями суждено столкнуться! Перстень же сей убеждает тебя от беды и охранит, когда наступит година судная, а должен я тебе сказать, что година эта уже грядет в Дикое Поле.

Наступило молчание; слышно было только пофыкивание костра и конское фырканье.

Из дальних камышей донесся тоскливый волчий вой. Внезапно Абданк сказал как бы сам себе:

— Година судная грядет в Дикое Поле, а когда нагрянет, задивиться весь світ божий...

Наместник, озадаченный словами странного мужа, машинально взял перстень.

Абданк же устремил взгляд в степную темную даль, потом не спеша повернулся и сел на коня. Молодцы ждали его у подножья.

— В путь! В путь!.. Оставайся в здравии, друже-жолнер! — сказал он наместнику. — Времена теперь такие, что брат брату не доверяет, оттого ты и не знаешь, кого спас; я ведь имени своего тебе не сказал.

— Ваша милость не Абданк, значит?

— Это мой герб...

— А имя?

— Богдан Зиновий Хмельницкий.

Сказавши это, он съехал по склону. За ним двинулись и молодцы. Вскоре сокрыла их тьма и ночь. И лишь когда отделились они этак на полверсты, ветер принес к костру слова казачьей песни:

Ой визволи, боже нас всіх, бідних невільників,
З тяжкої неволі,
З віри басурманської —
На ясній зорі,
На тихій воді,
У край веселий,
У мир хрещений. —
Вислухай, боже, у просьбах наших,
У нещасних молитвах,
Нас, бідних невільників.

Голоса помалу стихали, а потом слились с ветерком, шелестевшим в камышах.

ГЛАВА II

Прибыв утром следующего дня в Чигирин, пан Скшетуский стал на постой в доме князя Иеремии, где имел достаточно времени дать людям и коням отдохнуть и отдышаться после долгого из Крыма путешествия, которое по причине высокой воды и не-

обычайно быстрого днепровского течения пришлось проделать по суше, поскольку ни один байдак не мог в ту зиму проплыть вверх по Днепру. Сам Скшетуский сперва тоже малость отдохнул, а потом отправился к пану Зацвилюховскому, бывшему комиссару Речи Посполитой, старому солдату, который, не служа у князя, был тем не менее княжеским наперсником и другом. Наместник намеревался разузнать, не поступало ли из Лубен каких распоряжений. Князь, однако, никаких особых распоряжений не оставлял, а просто велел Скшетускому, в случае, если ханский ответ будет благоприятным, не спешить, чтобы людям и коням без нужды не утомляться. К хану же у князя дело было вот какое: он просил наказать нескольких татарских мурз, самовольно учинивших набеги на его заднепровскую державу, которых, к слову сказать, он и сам основательно поколотил. Хан, как и ожидалось, ответил благоприятно — пообещал прислать в апреле особого посла, наказать ослушников, а надеясь заслужить себе благорасположение столь прославленного воителя, послал ему со Скшетуским кровного коня и соболий шлык. Пан Скшетуский, завершив с немалым почетом посольство, само по себе служившее доказательством великого от князя фавору, очень обрадовался, что ему дозволяется в Чигирине пожить и что с возвращением не торопят. Зато старый Зацвилюховский был куда как озабочен событиями, происходившими с некоторых пор в городе. Оба отправились к Допулу, валаху, державшему в городе корчму и погребок, и там, хотя время было еще раннее, застали без числа шляхты, так как день был базарный, да к тому же на день этот приходился скотопрогонный привал, ибо скот в лагерь коронных войск прогонялся через Чигирин; так что и народу понаехало множество. Шляхта, как всегда, собиралась на базарной площади в так называемом Звонецком Куте у Допула. Были тут и арендаторы Конецпольских, и чигиринские чиновники, и окрестные землевладельцы, сидящие на привилегиях; была шляхта оседлая, ни от кого не зависящая; еще — служащие экономий, кое-кто из казацкой верхушки и, наконец, разная шляхетская мелкота, или на чужих хлебах, или по своим хуторам проживающая.

Все они теснились по лавкам, стоявшим вдоль длинных дубовых столов, и шумно разговаривали, и всё о необычайном происшествии — взбудоражившем город побеге Хмельницкого. Скшетуский с Зацвилюховским сели сам-друг в уголку, и наместник стал расспрашивать, что за птица такая этот Хмельницкий, о котором столько разговоров.

— Неужто, сударь, не знаешь? — удивился старый солдат. — Это писарь запорожского войска, субботовский барин и... — добавил он тихо, — мой кум. Мы с ним давно знаемся и во многих баталиях побывали, в каковых он себя изрядно показал, особенно под Цепорой. Солдата, столь в ратном деле искушенного, во всей

Речи Посполитой, пожалуй, не найдешь. Вслух сейчас такого не скажи, но это гетманская голова — человек великой хватки и большого ума; казачество к нему больше, чем к кошевым и атаманам, прислушивается. Он человек не без добрых свойств, однако заносчивый, неумный и, если ненависть им овладеет, страшен сделаться может.

— Зачем же он из Чигирина сбежал?

— Грызлись они со старостишкой Чаплинским, но это пустое! Как водится, шляхтич шляхтича со свету сживал. Не он первый, и не его первого. Еще говорят, что он с женой старостишкиной путался; староста у него отбил полюбовницу и на ней женился, а он потом снова баламутил ее. И такое очень даже возможно; дело обыкновенное... бабенка бедовая. Но это только видимость, за которою кое-что поважнее скрывается. Тут, сударь, все обстоит вот как: в Черкассах живет полковник казачий, престарелый Барабаш, друг нам. У него хранились привилегии и какие-то королевские рескрипты, в которых казаков якобы сопротивляться шляхте склоняли. Но поскольку старик — человек разумный и дельный, он бумагам ходу не давал и обнародовать не спешил. И вот Хмельницкий, Барабаша на угощение сюда, в чигиринский дом свой, пригласив, послал людей на его хутор, чтобы сказанные грамоты да привилегии у жены его захватили, а потом с указами этими сбежал. Подумать страшно, что ими смута какая, вроде острашицовой воспользоваться может, ибо герето: ¹ человек он страшный, а исчез неведомо куда.

Скшетуский удивленно сказал:

— Ну лиса! Вокруг пальца меня обвел. Назвался казачьим полковником князя Доминика Заславского. Я же его нынешней ночью в степи встретив, из удавки вызволил!

Зацвилеховский даже за голову схватился.

— Господи, что ты говоришь, сударь? Такого быть не может!

— Очень даже может, раз было. Он назвался полковником князя Доминика Заславского и сказал, что в Кудак к пану Гродзичкому от великого гетмана послан. Правда, я этому не очень-то и поверил, потому что не водою он шел, а степью.

— Сей человек хитер, как Улисс! Но где же ты его встретил, сударь?

— У Омельника, на правом берегу Днепра. Надо думать, он на Сечь ехал.

— А Кудак решил миновать. Теперь *intelligo* ². Людей много было при нем?

— Человек сорок. Да только они поздно подъехали. Когда бы не мои, старостишкина челядь его бы удавила.

— Погоди, сударь, погоди. Это дело важное. Старостишкина челядь, говоришь?

¹ повторяю (лат.).

² понимаю (лат.).

— Ну да. По его словам.

— Откуда же тот знал, где искать, если в городе все голову ломают, куда Хмельницкий подевался?

— Этого я сказать не могу. А может, он солгал, выставив обыкновенных душегубов слугами старостишки, чтобы тем самым еще более обиды свои подчеркнуть?

— Такого быть не может. Однако дело весьма удивительное. А известно ли тебе, сударь, что имеются гетманские указы — Хмельницкого ловить и *in fundo*¹ задерживать?

Наместник не успел ответить, потому что в это мгновение, производя страшный шум, вошел какой-то шляхтич. Хлопнув дверьми и раз, и другой, он спесиво оглядел присутствующих и закричал:

— Всем привет, милостивые государи!

Был этот шляхтич лет сорока, ростом невысокий, с выражением лица занальчивым, чему много способствовали беспокойные и, точно сливы, сидевшие подо лбом глаза. Вошедший был, как видно, непоседлив, буен и скор до гнева.

— Всем привет, милостивые государи! — сразу не получив ответа, повторил шляхтич еще громче и резче.

— Привет, привет! — отозвались несколько голосов.

Это и был Чаплинский, чигиринский подстароста, доверенный слуга молодого пана хорунжего Конецпольского.

В Чигирине подстаросту не любили, поскольку был он первейшим забиякой, буйном и склочником; но, зная о благоволении к нему власть предержащих, кое-кто с человеком этим знался и водился.

Одного лишь Запвилиховского, как, впрочем, и все остальные, он уважал ввиду добродетелей, основательности и храбрости последнего. Завидев старика, он тотчас подошел и, весьма высокомерно поклонившись Скшетускому, уселся со своим стаканом меда рядом с ними.

— Досточтимый староста, — спросил Запвилиховский, — не слыхать ли чего о Хмельницком?

— Висит, досточтимый хорунжий, не будь я Чаплинский! А ежели до сей поры не висит, то будет висеть непременно. Теперь, когда есть гетманские указы, дай мне только заполучить его в руки!

Говоря это, он так хватил по столу, что из стаканов выплеснулось содержимое.

— Не проливай, сударь, вина! — сказал Скшетуский.

Запвилиховский прервал наместника:

— А заполучишь ли ты его? Ведь он сбежал, а куда, никто не ведает,

— Никто не ведает? Я ведаю, не будь я Чаплинский! Ты, господин хорунжий, небось знаешь Хведька. Так этот самый

¹ на месте (лат.).

Хведько и ему служит, и мне. И будет он иудюю Хмелю. Да чего там много говорить! Стал Хведько водиться с молодцами Хмельницкого. Человек пройдошливый! Все про него узнал! Взаяся он доставить мне Хмельницкого живым или мертвым и выехал в степь загодя, зная, где его дожидаться!.. А, чертово семя!

Сказавши это, он снова ударил кулаком по столу.

— Не проливай, сударь, вина! — нажимая на каждое слово, повторил пан Скшетуский, с первого взгляда почувствовавший безотчетную антипатию к подстаросте.

Шляхтич побагровел, сверкнул выкаченными своими глазами, полагая, что ему дают повод, и вызывающе воззрился на Скшетуского, однако, увидев мундир Вишневецких, одумался, ибо, хотя у хорунжего Ковецпольского в то время была с князем прят, Чигирин тем не менее находился недалеко от Лубен, и оскорблять княжеских людей было небезопасно. К тому же князь и людей подбирал таких, задирается с которыми следовало подумавши.

— Значит, Хведько взялся Хмельницкого тебе доставить? — снова стал спрашивать Зацвилюховский.

— Именно. И доставит, не будь я Чаплинский.

— А я твоей милости могу сказать: не доставит. Хмельницкий ловушки избежал и на Сечь подался, о чем еще сегодня следует известить краковского пана нашего. С Хмельницким лучше не шутить. Короче говоря, и умом он быстрее, и рука его потяжелее, и удачи у него поболее, чем у твоей, сударь, милости, ибо очень ты в раж входишь. Хмельницкий, повторяю, отбыл в безопасности, а если не веришь, тогда этот кавалер подтвердит, который его в степи вчера видел и, с целым и невредимым, с ним разъехался.

— Не может такого быть! Не может быть! — завизжал, держа себя за чуб, Чаплинский.

— Более того, — продолжал Зацвилюховский, — кавалер, здесь присутствующий, сам же его и спас, а слуг твоей милости перебил, в чем, несмотря на гетманские указы, не виноват, так как из Крыма с посольством возвращается и про указы не знал; видя же человека, грабителями, как он решил, в степи обижаемого, поспешил ему на помощь. О сказанном спасении Хмельницкого заранее тебя, сударь, предупреждаю, так как он с запорожцами непременно тебя в экономии твоей навестит и, надо полагать, что ты этому не обрадуешься. Слишком уж ты с ним цапался. Тьфу, черти бы вас побрали!

Зацвилюховский тоже не любил Чаплинского.

Чаплинский вскочил и от ярости слова не мог сказать. Лицо его совсем побагровело, а глаза еще сильнее выпучились. Стоя в таком виде перед Скшетуским, он стал бессвязно выкрикивать:

— То есть как? Ты... невзирая на гетманские распоряжения!.. Я те, сударь... Я те, сударь...

А Скшетуский даже и со скамьи не привстал; опершись на локоть, он глядел на наскакывавшего Чаплинского, как сокол на привязанного воробья, и наконец спросил:

— С чего ты, сударь, ко мне прицепился, точно репей к собачьему хвосту?

— Да я тебя к ответу... Не слушаешься указа... Я вашу милость казаками!..

Подстароста так орал, что шум в погребке несколько утих. Люди стали поворачиваться к Чаплинскому. Он всегда искал ссоры, уж такая это была натура, и с каждым встречным скандалил; но сейчас всех удивило, что разошелся он при Зацвилюховском, которого одного и боялся, а задрался с жолнером, одетым в форму Вишневецких.

— Уймись, сударь,— сказал старый хорунжий. — Сей кавалер пришел со мною.

— Я те... те... тебя в суд... в колодки!.. — продолжал вопить Чаплинский, не обращая ни на что и ни на кого внимания.

Тут уже и пан Скшетуский тоже поднялся во весь свой рост, однако сабли из ножен не вытащил, а, подхватив ее, свисавшую с пояса на двух перевязях, посередке, поднял таким образом, что рукоять с маленьким крестиком подъехала к носу Чаплинского.

— А понюхай-ка это, сударь,— холодно сказал он.

— Бей, кто в бога верует!.. Люди!.. — крикнул Чаплинский, хватаясь за эфес.

Но своей сабли выхватить не успел. Пан Скшетуский, повернув его на месте, одною рукою схватил за шиворот, другою — пониже спины за шаровары, поднял в воздух и, с рвущимся, точно кубарь, из рук, пошел с ним между скамей к дверям, возглашая:

— Панове-братья, дорогу рогонослу! Забодает!

Сказавши это, он добрался до дверей, ударил в них Чаплинским, распахнул их таким манером и вышвырнул подстаросту вон.

Затем спокойно вернулся и сел на свое место рядом с Зацвилюховским.

В погребке во мгновение сделалось тихо. Сила, какую только что продемонстрировал Скшетуский, произвела на всю шляхту громадное впечатление. Спустя минуту всё вокруг сотрясилось от смеха.

— Vivant¹ вишневичане! — кричали одни.

— Сомлел, сомлел и в крови весы! — восклицали другие, выглядывавшие на улицу, любопытствуя узнать, что предпримет Чаплинский. — Слуги его поднимают!

Лишь немногие, те, кто считался сторонниками подстаросты, молчали и, не решаясь вступить за него, хмуρο поглядывали на наместника.

¹ Да здравствуют (лат.).

— Только и скажешь, что в пяту гонит эта гончая! — промолвил Зацвилюховский.

— Да какая там гончая? Дворяга! — возгласил, приближаясь, тучный шляхтич с бельмом на глазу, имевший во лбу дырку величиной с талер, в которой посвечивала голая кость. — Дворяга он, не гончая! Позволь, сударь, — продолжал шляхтич, обращаясь к Скшетускому, — быть к твоим услугам. Имя мое — Ян Заглоба. Герб — Вчеле, в чем любой легко может убедиться хоть по этой вот дырке, какую в челе моем разбойная пуля проделала, когда я в Святую Землю за грехи молодости по обетованию ходил.

— Имей совесть, ваша милость! — сказал Зацвилюховский. — Ты же рассказывал, что тебе ее в Радоме кружкой пробили.

— Истинный бог, разбойная пуля! В Радоме другая история случилась.

— Давал ты, ваша милость, обет сходить в Святую Землю... оно возможно, но что тебя там не было — это наверняка.

— Да! Не было! Ибо в Галате уже страдания мученические принял! Пусть я не шляхтич, пусть я пес паршивый буду, если вру!

— Оно и брешешь, и брешешь.

— Последним прохвостом будучи, предаю себя в руки ваши, сударь наместник.

Тут и другие стали подходить знакомиться с паном Скшетуским и чувства ему свои выражать. Мало кто любил Чаплинского, и все были довольны, что тому такая конфузия приключилась. Сейчас, не поразмыслив и не удивившись, невозможно поверить, что и вся окрестная чигиринская шляхта, и те, кто помельче — владельцы слобод, наемщики экономий, — чего там! — даже люди Конецпольских, — все, как оно по соседству бывает, зная о расприх Чаплинского с Хмельницким, были на стороне последнего, ибо Хмельницкий слыл знаменитым воином, немалые заслуги в разных баталиях снискавшим. Известно было также, что сам король поддерживал с ним отношения и высоко ценил его мнение. Случившееся же воспринимали как обычную свару шляхтича со шляхтичем, а подобные свары исчислялись тысячами, и особенно в землях русских. На сей раз, как всегда, приняли сторону того, кто умел завоевать себе больше симпатий, не загадывая, какие из этого могут проистечь страшные последствия. Лишь много позже сердца запылали ненавистью к Хмельницкому; причем одинаково сердца шляхты и духовенства обоих обрядов.

Итак все подходили к Скшетускому с квартами, говоря: «Шей же, пане-брате! Выпей и со мною! Да здравствуют вишневичане! Такой молодой, а уже в поручиках у князя. *Vivat*¹ князь Иеремия, всем гетманам гетман! Куда угодно пойдём с князем Иере-

¹ Да здравствует (лат.).

мией! На турок и татар! В Стамбул! Да здравствует милостиво царствующий над нами Владислав Четвертый!» Громче всех кричал пан Заглоба, готовый даже в одиночку перенить и перекрычать целый regiment.

— Досточтимые господа! — вопил он, так что стекла в окошках звенели. — Уж я на его милость султана подал в суд за насилие, до которого он допустил произойти со мною в Галате.

— Не городи ты, ваша милость, чужь всякую, язык пожалей!

— То есть как, досточтимые господа? *Quatuor articuli iudicii castrensis: stuprum, incendium, latrocinium et vis armata alienis aedibus illata*¹. А разве же не было это *vis armata*?²

— Чистый глухарь ты, сударь.

— А я и в трибунал его!

— Уймись же, ваша ми...

— И кондезнату получу, и подлецом его оглашу; вот тебе и война, но уже с приговоренным к бесчестию.

— Здоровье ваших милостей!

Некоторые, однако, смеялись, а с ними и пан Скшетуский — ему уже малость ударило в голову; шляхтич же и в самом деле, точно глухарь, который собственным голосом ушивается, не умолкая, токовал далее. К счастью, тирады его были прерваны другим шляхтичем, который, приблизившись, дернул болтуна за рукав и сказал с певучим литовским выговором:

— Так познакомь же, сударь добрый Заглоба, и меня с паном наместником... Познакомь же!

— Обязательно! Непременно! Позволь, ваша милость наместник, — это господин Сбейнабойка.

— Подбиятка, — поправил шляхтич.

— Один черт! Герба Сорвиштанец.

— Сорвиглавец, — поправил шляхтич.

— Один черт! Из Пёсикешек.

— Из Мышикишек, — поправил шляхтич.

— Один черт. *Nescio*³, что бы я предпочел. Мышьи кипки или песьи. Но жить — это уж точно! — ни в каких не желаю, ибо и отсидеться там трудновато, и покидать их конфузно. Ваша милость! — продолжал он объяснять Скшетускому, указывая на литвина, — вот уже неделю пью я на деньги этого шляхтича, у которого за поясом меч столь же тяжеловесный, сколь и кошель, а кошель столь же тяжеловесный, сколь и разум, но если поил меня когда-нибудь больший чудак, пусть я буду таким же болваном, как тот, кто за меня платит.

— Ну, объехал его! — смеясь, кричала шляхта.

Однако литвин не сердился, он только отмахивался, тихо улыбался и повторял:

¹ Четыре статьи полевого суда: изнасилование, поджог, разбой и нападение вооруженной силой на чужой дом (*лат.*).

² вооруженной силой (*лат.*).

³ Не знаю (*лат.*).

— От, будет уж вам, ваша милость... слухать гадко!

Скшетуский с интересом приглядывался к новому знакомцу, и в самом деле заслуживавшему называться чудаком. Это был мужчина росту столь высокого, что головою почти касался потолочных бревен; небывалая же худоба делала его и вовсе долговязым. Хотя весь он был кожа да кости, широкие плечи и жилистая шея свидетельствовали о необычайной силе. На удивление впалый живот наводил на мысль, что человек этот приехал из голодного края, однако одет он был изрядно — в серую свободзинского сукна, ладно сидевшую куртку с узкими рукавами и в высокие шведские сапоги, начинавшие на Литве входить в употребление. Широкий и туго набитый лосевый пояс, не имея на чем держаться, сползал на самые бедра, а к поясу был привязан крыжацкий меч, такой длинный, что мужу тому громадному почти до подмышек достигал.

Но испугайся кто меча, тот бы сразу успокоился, взглянув на лицо его владельца. Оно, будучи, как и весь облик этого человека, тощим, украшалось двумя обвисшими бровями и парюю таково же обвислых льняного цвета усиц; однако при этом было столь открыто, столь искренно, словно лицо ребенка. Помянутая обвислость усов и бровей сообщала литвину вид одновременно озабоченный, печальный и потешный. Он казался человеком, которым все помыкают, но Скшетускому понравился с первого взгляда за эту самую открытость лица и ладную воинскую экипировку.

— Пане наместник,— сказал тощий шляхтич,— значит, ваша милость от господина князя Вишневецкого?

— Точно.

Литвин благоговейно сложил руки и возвел очи горе.

— Ах, что за воитель это великий! Что за рыцарь! Что за вождь!

— Дай боже Речи Посполитой таких побольше.

— Истинно, истинно! А не можно ли под его знамена?

— Он вашей милости рад будет.

Тут в разговор ввязался Заглоба:

— И займет князь два вертела для кухни: один из этого сударя, другой из его меча; а может, наймет вашу милость заплечных дел мастером или повелит на вашей милости разбойников вешать. Нет! Скорее всего он сукно мундирное станет тобою мерить! Тьфу! Ну как тебе, сударь, не совестно, будучи человеком и католиком, ходить длинным, словно *segrpens*¹ или басурманская пика!

— Слухатъ гадко,— терпеливо сказал литвин.

— Как же, сударь, величать вас? — спросил Скшетуский. — Когда вы представились, пан Заглоба так вашу милость подъедал, что я, прошу прощения, ничего не смог разобрать.

¹ змея (лат.).

— Подбиятка.

— Сбейнабойка.

— Сорвиглавец из Мышикишек.

— Чистая умора! Хоть он мне и вино ставит, но если это не языческие имена, значит, я распоследний дурень.

— Давно ваша милость из Литвы?

— Вот уж две недели, как я в Чигирине. А узнавши от пана Зацвилюховского, что ты, сударь, тут проезжать будешь, ожидаюсь, чтобы с твоею протекцией князю просьбу свою представить.

— Но скажи, ваша милость, потому что очень уж мне любопытно, зачем ты этот меч палаческий под мышкой носишь?

— Не палаческий он, сударь наместник, а крыжацкий; а ношу его — ибо трофей и родовая реликвия. Еще под Хойницами служил он в руке литовской — вот и ношу.

— Однако махина нештучная и тяжела, должно быть, страшно. Разве что оберучь?

— Можно и оберучь, а можно и одною.

— Позволь глянуть!

Литвин вытащил меч и подал Скшетускому, однако у того сразу же повисла от тяжести рука. Ни изготовиться, ни взмахнуть свободно. Двумя еще куда ни шло, но тоже оказалось тяжело. Посему пан Скшетуский несколько смешался и обратился к присутствующим:

— Ну, милостивые государи! Кто перекрестится?

— Мы уже пробовали, — ответило несколько голосов. — Одному пану комиссару Зацвилюховскому в подъем, но и он крестное знамение не положит.

— А сам ты, ваша милость? — спросил пан Скшетуский, оборотившись к литвину.

Шляхтич, точно тростинку, поднял меч и раз пятнадцать взмахнул им с величайшей легкостью, аж в корчме воздух зафырчал и ветер прошел по лицам.

— Помогай тебе бог! — воскликнул Скшетуский. — Всенепременно получишь службу у князя!

— Господь свидетель, что я желаю ее, а меч мой на ней не заржавеет.

— Зато мозги окончательно, — сказал пан Заглоба. — Ибо не умеешь, сударь, таково же и мозгами ворочать.

Зацвилюховский встал, и они с наместником собрались было уходить, как вдруг вошел белый, точно голубь, человек и, увидев Зацвилюховского, сказал:

— Ваша милость хорунжий, а у меня как раз к тебе дело! Это и был Барабаш, черкасский полковник.

— Пошли тогда на мою квартиру, — ответил Зацвилюховский. — Здесь уже таковой шум, что и слова не расслышишь.

Оба вышли, а с ними и пан Скшетуский. Сразу же за порогом Барабаш спросил:

— Есть известия о Хмельницком?

— Есть. Сбежал на Сечь. Этот офицер видал его вчера в степи.

— Значит, не водою поехал? А я гонца в Кудак вчера отпирал, чтобы перехватили, и, выходит, зря.

Сказавши это, Барабаш закрыл ладонями лицо и принялся повторять:

— Эй, спаси Христе! Спаси Христе!

— Чего ты, сударь, печалишься?

— А знаешь ли ты, что он у меня коварством вырвал? Знаешь, что значит таковые грамоты на Сечи обнародовать? Спаси Христе! Если король войны с басурманами не начнет, это же искра в порохов...

— Смуту, ваша милость, пророчишь?

— Не пророчу, но вижу ее. А Хмельницкий постраннее Наливайки и Лободы.

— Да кто же за ним пойдет?

— Кто? Запорожье, реестровые, мещане, чернь, хуторяне и вон — эти!

Полковник Барабаш указал рукою на майдан и спующий там народ. Вся площадь была забита могучими сивыми волами, которых перегоняли в Корсунь для войска, а при волах состоял многочисленный пастуший люд, так называемые чабаны, всю свою жизнь проводившие в степях и пустынях, — люди совершенно дикие и не исповедовавшие никакой религии; religionis nullius, как говаривал воевода Кисель. Меж них бросались в глаза фигуры, скорее похожие на душегубов, нежели на пастухов, звероподобные, страшные, в лохмотьях всевозможного платья. Большинство было облачено в бараньи тулупы или в невыделанные шкуры мехом наружу, распахнутые и обнажавшие, хоть пора была и зимняя, голую грудь, обветренную степовыми ветрами. Каждый был вооружен, но самым невероятным оружием: у одних имелись луки и сайдаки, у других — самопалы, по-казацки именуемые «пищали», у третьих — татарские сабли, а у некоторых косы или просто палки с привязанной на конце лошадиной челюстью. Тут же сновали не менее дикие, хотя лучше вооруженные низовые, везущие на продажу в лагерь сушегую рыбу, дичину и баранье сало; еще были чумаки с солью, степные и лесные пасечники да воскобой с медом, боровые поселенцы со смолою и дегтем; еще — крестьяне с подводами, реестровые казаки, белгородские татары и один бог знает кто еще, какие-то побродяги — сіромахи с края света. По всему городу полно было пьяных; на Чигирин как раз приходилась ночевка, а значит, и гульба. По всей площади раскладывали костры, там и тут пылали бочки со смолою. Отовсюду доносились гомон и вопли. Пронзительные голоса татарских дудок и бубнов мешались с ревом скота и с тихо-

гласным звучанием лир, под звон которых слепцы пели любимую тогда песню:

Соколе ясний,
Брате мій рідний,
Ти високо літаєш,
Ти далеко видаєш.

Одновременно с этим раздавалось «ух-ха! ух-ха!» — дикие выкрики перемазанных в дегте и совершенно хмельных казаков, пляшущих на майдане трепака. Все вместе выглядело жутко и неукротимо. Запвилюховскому достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться в правоте Барабаша — любой повод мог разбудить эти неуправляемые стихии, скорые до грабежа и привычные к стычкам, без счета случавшимся по всей Украине. А за толпами этими была еще Сечь, было Запорожье, пусть с некоторых пор смиренное и после Маслова озера обузданное, но в нетерпении грызущее удила, не забывшее давних привилегий, ненавидящее комиссаров и являвшее собой сплоченную силу. На стороне этой силы были симпатии несчислимого крестьянства, менее терпеливого, чем в других областях Речи Посполитой, поскольку под боком у него был Чертомлык, а на Чертомлыке — безвластие, разбой и воля. Так что пан хорунжий, хотя сам был русином и преданным восточного обряда сторонником, печально задумался.

Человек старый, он хорошо помнил времена Наливайки, Лободы, Крмпского; украинскую вольницу знал в Руси лучше любого другого, а зная еще и Хмельницкого, понимал, что тот стоит двадцати Лобод и Наливаек. Поэтому повял он и всю опасность его на Сечь побега, особенно же с королевскими грамотами, про которые Барабаш рассказывал, что в них содержатся различные посулы казакам и призыв к сопротивлению.

— Господин черкасский полковник! — сказал он Барабашу. — Тебе бы, сударь, следовало на Сечь ехать, влиянию Хмельницкого противустать и умиротворять, умиротворять!

— Сударь хорунжий! — ответил Барабаш. — Я вашей милости сообщу вот что: всего лишь узнав о побеге Хмельницкого с грамотами, половина моих черкасских людей нынешней ночью на Сечь сбежала. Мое время прошло. Мне — могила, не булава!

И действительно, Барабаш был солдат бывалый, но человек старый и влияния не имевший.

За разговором дошли до квартиры Запвилюховского. Старый хорунжий обрел меж тем в мыслях спокойствие, свойственное его голубиной душе, и, когда все уселись за штофом меду, сказал веселее:

— Все это безделица, ежели война, как поговаривают, с басурманом граерагатур¹, а так оно вроде бы и есть; ибо, хотя Речь Посполитая войны не желает и немало уже сеймы королю

¹ подготавливается [лат.].

крови попортили, король, однако, на своем настоять может. Так что весь этот пыл можно будет повернуть на турка, и — в любом случае — у нас есть время. Я сам поеду изложить дело к краковскому пану нашему и буду просить, чтобы возможно ближе подтянулся к нам с войском. Добьюсь ли чего, не знаю, ибо хотя он повелитель доблестный, а воин опытный, но слишком уж полагается и на свое мнение, и на свое войско. Ты, ваша милость господин черкасский полковник, держи казаков в руках, а ты, ваша милость господин наместник, как прибудешь в Лубны, проси князя, чтобы с Сечи глаз не спускал. Пусть бы там и замыслили что заварить — герето: у нас есть время. На Сечи народу сейчас мало: за рыбой и за зверем все поразбредились либо по всей Украине в селах сидят. Пока соберутся, много в Днепре воды утечет. Да и княжеское имя страх наводит; а как узнают, что он на Чертомлык поглядывает, может, и будут сидеть тихо.

— Я из Чигирина могу хоть через два дня отправиться, — сказал наместник.

— Вот и хорошо. Два-три дня потерпеть можно. Ты, ваша милость правитель черкасский, пошли гонцов с изложением дела еще и к коронному хорунжему, и ко князю Доминику. Да ты, сударь, уж и заснул, я гляжу!

В самом деле — Барабаш, сложив на животе руки, сладко спал, а спустя некоторое время и похрапывать начал. Старый полковник если не ел и не пил, а оба этих занятия он предпочитал всему остальному, — спал.

— Погляди, сударь мой, — тихо сказал Зацвилюховский наместнику. — И с помощью этого старца варшавские сановники рассчитывают казаков в руках держать. Бог с ним. Они и самому Хмельницкому тоже доверяли; канцлер даже с ним переговоры какие-то вел, а он, похоже, доверие коварством оплатит.

Наместник вздохнул в знак сочувствия старому хорунжему. Барабаш же, громко всхрапнув, пробормотал сквозь сон:

— Спаси Христе! Спаси Христе!

— Когда же ты, сударь, собираешься из Чигирина отбыть? — спросил хорунжий.

— Мне бы следовало дня два Чаплинского подождать. Он, верно, за понесенную конфузию удовлетворение получить захочет.

— Это уж нет. Скорее он людей своих, не ходи ты в княжеской форме, на тебя наслал бы, но с князем задираться даже для слуги Конецпольских — дело рискованное.

— Я его извещу, что жду, а дня через два-три двинусь. За сады я не боюсь, при себе — саблю, а с собою людей имею.

Сказав это, наместник простился со старым хорунжим и ушел.

Над городом от костров, разложенных на майдане, стояло такое ясное зарево, что можно было подумать — целый Чигирин

горит; гомон же и крики с наступлением ночи еще более усилились. Евреи, те из своих жилищ даже высунуться не смели. В одном конце площади толпы чабанов завывали степные тоскливые песни. Дикие запорожцы плясали у костров, подкидывая вверх шапки, паля из пищалей и четвергями поглощая горелку. То там, то тут затевались потасовки, умиряемые людьми подстаросты. Наместник вынужден был расчищать дорогу рукоятью сабли, а несмолкаемые казацкие вопли и гам в какое-то мгновение показались ему уже голосом бунта. Казалось ему также, что видит он грозные взгляды и слышит тихую, обращенную к нему брань. В ушах наместника еще звучали слова Барабаша: «Спаси Христе! Спаси Христе!», и сердце в груди стучало сильнее.

В городе между тем чабанские хоры заходились все громче, а запорожцы стреляли из самопалов и наливались горелкой.

Пальба и дикое «ух-ха! ух-ха!» доносились до наместниковых ушей даже и тогда, когда на своей квартире он расположился уже спать.

ГЛАВА III

Спустя несколько дней отряд нашего наместника быстро передвигался в сторону Лубен. Переправившись через Днепр, пошли широкою степною дорогою, соединявшею Чигирин через Жуки, Семи-Могилы и Хорол с Лубнами. Такой же тракт вел из княжеской столицы в Киев. В прежние времена, до расправы гетмана Жолкевского у Солоницы, дорог этих не существовало вовсе. В Киев из Лубен ездили степью и пущей, в Чигирин был путь водный, а обратно — через Хорол. Вообще же приднепровский этот край — старая половецкая земля — совершенно пустынный, татарами часто навещаемый, казакам доступный, заселен был разве что до Дикого Поля.

Вдоль Сулы шумели громадные нехоженые и неброженные леса: местами по низкому берегу ее и по низким поймам Рудой, Слепорода, Коровая, Иржавца, Псла, а также прочих речек, ручьёв и притоков образовывались топкие пространства, поросшие или непроходимым кустарником и лесом, или травой — в виде открытых луговин. В дебрях тех и трясинах находил надежное убежище разный зверь; в дремучих лесных потемках обитало несметное множество бородатых туров, диких свиней и медведей, с ними соседствовала несчислимая серая братия волков, рысей, куниц, стада серн и красный зверь сайгак; в болотах и речных рукавах бобры устраивали свои гоны, а про бобров на Запорожье рассказывали, что меж них попадаются столетние старцы, белые от старости, как снег.

По высоким сухим степям носились дикие табуны буйногривых и кровавооких коней. Реки кишели рыбою и водоплавающей птицей.

Удивительная была эта земля: полууснувшая, но сохранившая на себе следы давнего человеческого пребывания — повсюду во множестве попадались останки каких-то древних сельбищ, да и Лубны с Хоролом были на подобных пепелищах поставлены; повсюду не счесть курганов, и не столь давно насыпанных, и стародавних, поросших уже лесом. Здесь тоже, как и на Диком Поле, являлись по ночам духи и призраки, а у костров старые запорожцы рассказывали друг другу небывальщины про то, что время от времени совершается в лесных чащобах, откуда доносился вой неведомых тварей, получеловеческие, полузвериные крики и грозный шум не то побойщ, не то ловитв. Под водою гудели колокола ушедших на дно городов, Земля была негостеприимная и недоступная; тут, глядишь, слишком сырая, тут — почти безводная, выжженная, сухая и для жизни опасная; на сельников к тому же — стояло им сколько-нибудь обжиться и обзавестись хозяйством — разоряли татарские набеги. Обычно заглядывали сюда только запорожцы ради бобровых хвостов или зверя и рыбы, ибо в мирное время большая часть низовых разбредалась из Сечи по всем рекам, ярам, лесам и зарослям на охоту или, как называли это, «на промысел», рыская в местах, о существовании которых мало кому было известно.

Однако же и оседлая жизнь пыталась укорениться на землях этих, — так растение, которое, где может, пытается вцепиться корешками в почву и, вырываемое то и дело, где может, продолжает расти.

На пустошах возникали острожки, поселения, колонии и хутора. Земля была местами плодородная, да и воля привлекала. Но лишь тогда закипела жизнь, когда край этот перешел во владение князей Вишневецких. Князь Михаил, женившись на Могиланке, усерднее принялся обживать свой заднепровский удел; привлекал людей, заселял пустоши, позволял до тридцати лет не платить податей, строил обители и вводил свое княжеское право. Даже поселенец, неведь когда пришедший на эти земли и полагавший, что хозяйствует на собственном наделе, охотно превращался в княжеского оброчника, так как за подать свою обретал могучее княжеское попечение, защищавшее его от татар и от худших порой, чем татары, низовых.

И все же настоящая жизнь процвела лишь под железной рукой молодого князя Иеремии. Начиналось его государство сразу же за Чигирином, а кончалось — гей! — у самого у Конотопа и Ромен. Но не одно оно составляло княжеские богатства, ибо, начиная от воеводства Сандомирского, князь владел землею в воеводствах Волынском, Русском и Киевском; однако же приднепровская вотчина была всего любезнее путивльскому победителю.

Татарин долго выжидал у Орла, у Ворсклы, приюхиваясь, точно волк, прежде чем осмеливался погнать коня на север; низовые ссоры не искали, местные лихие ватаги вступили на княже-

скую службу. Дикий и разбойный люд, искони промышлявший насилием и грабежом, оказавшись в уаде, занимал теперь порубежные «полянки» и, залегши по границам края, как сторожевой пес, показывал врагам зубы.

И все расцвело, и закипела жизнь. По следам древних шляхов были проложены дороги; реки укротились плотинами, насыпанными невольником-татаринном или низовым казаком, схваченным на разбойном деле. Там, где когда-то ветер дико играл по яочам в зарослях камыша да выли волки и утопленники, теперь погромыхивали мельницы. Более четырехсот водяных, не считая всюду, где можно, поставленных ветряков, смалдывали хлеб в одном только Заднепровье. Сорок тысяч оброчных вносили оброк в княжескую казну, в лесах появились пасеки, по рубежам возникали все новые деревни, кутора, слободы. В степях бок о бок с дикими табунами паслись огромные стада домашнего скота и лошадей. Неоглядный однообразный вид степей и лесов оживился дымами хат, золотыми верхами церквей и костелов — пустыня превратилась в край, вполне заселенный.

Так что пан наместник Скупетуский, имея по пути надежные привалы, весело и не спеша словно бы по своей земле ехал. Только что начался январь сорок восьмого года, но странная, редкостная зима совершенно ничем себя не обнаруживала. В воздухе пахло весной, земля светилась лужками талой воды, поля покрыты были зелеными, а солнце в полдни припекало так, что по дороге козухи парили спину точно летом.

Отряд наместника численно умножился, ибо в Чигирине присоединилось к нему валашское посольство, каковое в лице господина Розвана Урсу господарь направлял в Лубны. Посольство сопровождал эскорт — более десятка каралашей и челядь на телегах. Еще ехал с наместником уже знакомый нам пан Логинус Подбишятка герба Сорвиглавец, на боку имевший долгий свой меч, а для услужения — несколько человек дворни.

Солнце, превосходная погода и запахи близкой весны наполняли сердца радостью; наместник же пребывал в хорошем расположении духа еще и потому, что возвращался из долгого путешествия под княжеский кров, бывший и его кровом, возвращался, успешно справившись с делом, а значит, и уверенный в ласковом приеме.

Но для радости были у него и другие причины.

Кроме милости князя, которого наместник любил всею душой, ждали его в Лубнах некие сладостные как мед очи.

Принадлежали очи Анусе Борзобогатой-Красенской, придворной девице княгини Гризельды, самой прелестной девушке во всем фрауциммере, невозможной кокетке, по которой в Лубнах сохли все, а она ни по кому. У княгини Гризельды строгости были ужасные, а требования к благонавию неслыханные, но это, однако, не мешало молодежи обмениваться пылкими взглядами и вздыхать. Вот и пан Скупетуский, как и прочие, посылал вздо-

хи этим черным очам, а когда случалось оставаться одному на своей квартире, брался за лютню и напевал:

Ты всем прочим яствам яство..,

или же:

Ты жесточе, чем орда,
Corda¹ полонишь всегда!

Будучи, однако, человеком неупывающим, да при том еще и солдатом, дело свое очень любившим, он не принимал слишком близко к сердцу, что Ануся дарит улыбки свои, кроме него, и пану Быховцу из валашской хоругви, и пану Вурцелю, артиллеристу, и пану Володыёвскому, драгуну, и даже пану Барановскому из гусар, хотя последний был весьма седоват и, по причине разбитого самопальной пулею нёба, шепелявил. Наш наместник уже дрался как-то на саблях с паном Володыёвским из-за Ануси, однако если случалось подолгу засиживаться в Лубнах и не ходить на татар, то и с Анусею рядом он скучал, а когда приходилось выступать, то выступал охотно, без сожалений и печали сердечной.

Зато и возвращался он всегда с радостью. Вот и теперь, следуя после удачного завершения дел из Крыма, он весело напевал и горячил коня, едуци рядом с паном Лонгинусом, трусившим на огромной лифляндской кобыле, как всегда в унынии и печали. Посольские телеги, каралаши и эскорт остались далеко позади.

— Его милость посол лежит на возу, как колода, и все время спит,— заговорил наместник. — Чудес мне порассказал про свою Валахию, оттого и утомился! Я же слушал не без любопытства. Ничего не скажешь! Страна богатая, климат отменный, золота, вина, сластей и скотины довольно. Я вот и подумал, что князь наш, от Могилянки рожденный, имеет столько же прав на господарский трон, как иные прочие; а прав тех князь Михаил, кстати сказать, добивался. Не в новость нашим воеводам валашская земля. Били они там уже и турок, и татар, и самих валахов, и семиградских...

— Однако люди из тех краев помягче наших будут, о чем мне и пан Заглоба в Чигирине рассказывал,— ответил литвин. — А не поверь я ему, так в книжках богослужебных опять же тому подтверждение имеется.

— В богослужебных?

— У меня есть такая, и могу вашей милости показать; я с нею не расстаюся.

Тут расстегнул он тороку у луки и, доставши маленькую, тщательно переплетенную в телячью кожу книжицу, сперва благоговейно поцеловал ее, а потом, перелистав с полтора десятка страниц, сказал:

— Читай, сударь.

Пан Скшетуский начал:

— «К защите твоей прибегаем, пресвятая богородица...» Где

¹ Сердцá (лат.).

же тут стоит про валахов? Что ты, сударь, говоришь? Это же антифон!

— Читай, ваша милость, читай.

— «Дабы достойны мы были обетованій Христовых. Аминь».

— Ну а далее вопрос...

Скшетуский прочитал:

— «Вопрос: Отчего кавалерия валашская зовется легкой?

Ответ: Оттого что легко удирает. Аминь». Гм! Верно! Однако в книжице твоей странное весьма матерій смешение.

— Потому что это книжка солдатская: так что к молитвам разные *instructiones militares*¹ прилагаются, из которых узнаешь, ваша милость, про все нации, какая из них достойнейшая, какая подлая; касательно же валахов оказывается, что трусливые из них ребята, да к тому еще и вероломцы великие.

— Что вероломцы — точно. Оно видно даже по неприятностям князя Михаила. Честно говоря, я тоже слышал, что солдат из ихних неособенный. А все-таки у его милости князя валашская хоругвь, где в поручиках пан Быховец, очень хороша, но *strictae*², честно говоря, не знаю, найдется ли в той хоругви два десятка валахов.

— А как ты, ваша милость, полагаешь, много вооруженных людей у князя?

— Тысяч восемь, не считая казаков на стоянках. Однако Зацвилюховский говорил, что сейчас новые наборы производятся.

— Значит, даст бог, какой-нибудь поход под началом господина князя будет?

— Поговаривают, что большая война с турчином готовится, сам король со всею ратью Речи Посполитой выступить намерен. Известно мне также, что подарки татарам прекращены, а татары о набегах и думать забыли со страху. Про то я и в Крыму слышал, где поэтому, вероятно, принимали меня таково *honeste*³, ибо есть еще слух, что, когда король с гетманами двинется, князь должен ударить на Крым и татар разбить окончательно. Похоже, так оно и будет — на кого еще такое возложить можно?

Пан Лонгинус вознес к небу руки и очи.

— Пошли же, господи милосердный, пошли же таковую священную войну во славу христианства и народа нашего, а мне, грешному, дай в ней обеты мои свершить, чтобы *in luctu*⁴ мог я быть утешен или славную смерть нашел!

— Ты, сударь, обет насчет войны дал?

— Такому достойному кавалеру все тайны души открою, хотя и долго рассказывать; но раз ты, ваша милость, ухом благосклонным внимаешь, тогда *incipiam*⁵. Тебе, сударь, уже известно,

¹ воинские наставления (лат.).

² точно (лат.).

³ с почетом (лат.).

⁴ в скорби (лат.).

⁵ я начну (лат.).

что герб мой зовется Сорвиглавец, и потому это, что под Грюнвальдом предок мой Стовеико Подбиятка трех рыцарей, скакавших бок о бок в монашских куколях, подобравшись сзади, одним махом обезглавил, о каковом славном подвиге старинные летописи сообщают с великой для предка моего хвалою...

— Не слабее, видать, рука предка твоей руки, так что прозвали Сорвиглавцем его справедливо.

— Ему король и герб пожаловал, а в гербе три козых головы на серебряном поле в память о трех рыцарях, потому что такие же головы на их щитах были изображены. Герб и этот вот меч предок Стовеико Подбиятка передал потомкам своим, наказав продолжать славу и рода и меча.

— Ничего не скажешь, достойное родословие!

Пан же Лонгинус принялся печально вздыхать, а когда ему наконец малость полегчало, признания свои продолжил:

— Будучи, значит, в роду нашем последний, дая я в Трояках обет пресвятой деве пребывать в целомудрии и не пойти к венцу, прежде чем, по славному примеру Стовеика Подбиятки, предка моего, трех голов тем же мечом с одного маху не отсеку. Добрый господи, ты знаешь, что я сделал все, от меня зависящее! Целомудрие сохранил по сей день, сердцу нежному приказал молчать, брани искал и сражался, да только счастье вот меня обходит...

Поручик усмехнулся в усы.

— И не отсек, ваша милость, три головы?

— От! Не случилось! Везенья нету! По две еще приходилось, но три — никогда. Никак не выходит сзади подъехать, а неприятеля не попросишь, чтобы рядом под замах строился. Один бог и знает мои удрученья: сила в руках-ногах есть, имение предостаточное... Но *adolescencia*¹ уходит, скоро сорок пять лет исполнится, сердце любви требует, род угасает, а трех голов как не было, так и нету!.. Вот какой Сорвиглавец из меня. Посмешище людям, как справедливо говорит пан Заглоба, что я смиренно и сношу, господу Иисусу к подножию полагая.

Литвин снова так завздыхал, что лифляндская его кобыла, по всей вероятности, из сочувствия к своему хозяину, принялась кряхтеть и жалобно посапывать.

— Одно я могу сказать вашей милости, — молвил наместник, — что, ежели под знаменами князя Иеремии оказии не подвернется, то, значит, не подвернется никогда.

— Дай-то боже! — ответил пан Лонгинус. — Потому и еду просить службы у князя-воеводы.

Дальнейший их разговор был прерван внезапным шумом птичьих крыльев. Как уже было сказано, в зиму ту пернатые за моря не улетели, реки не замерзли, оттого повсюду над болотами было особенно много речной птицы. Поручик с паном Лон-

¹ младость (лат.).

гнмом как раз подъезжали к берегу Кагамлыка, когда над горами их прошумела вдруг целая журавлиная стая, летевшая так низко, что можно было палкой докинуть. Стая неслась с отчаянными кликами и, вместо того чтобы опуститься в камыши, неожиданно взмыла вверх.

— Похоже, за вами кто-то гонится,— заметил Скшетуский.

— А вон, ваша милость, гляди! — воскликнул пан Лонгинус, указывая белую птицу, которая, разрезая косым полетом воздух, явно намеревалась приблизиться к стае.

— Кречет! Кречет! Запасть им не дает! — закричал наместник. — У посла кречеты есть, он и пустил, наверно!

В ту же минуту на вороном азиатском жеребце галопом подскочил господин Розван Урсу, а за ним несколько служилых каралашей.

— Пане поручик, пожалуйста на забаву,— сказал он.

— Твой кречет, ваша милость?

— Мой, и претменный! Сейчас, сударь, увидишь...

Они втроем пустились вперед, а за ними с обручем валахсокольничий, старавшийся не потерять птиц из виду и что было сил кричавший, раззадоривая кречета к бою.

Умная птица вынудила между тем стаю подняться вверх, сама молниеносно взмыла еще выше и повисла над ней. Журавли сблизись в единое огромное коловращение, точно буря шумевшее крылами. Истошные крики наполнили воздух. Птицы, ожидая атаки, вытянули шеи и пиками выставили вверх клювы.

Кречет пока что кружил над ними. Он то снижался, то поднимался, словно бы не решаясь кинуться туда, где грудь его ожидало множество острых клювов. Белые его перья, освещенные солнцем, сверкали в погожей небесной голубизне, точно само солнце.

Вдруг, вместо того чтобы упасть на стаю, он стрелой умчался вдаль и вскоре пропал за кущами деревьев и тростника.

Первым вслед рванулся с места Скшетуский. Посол, сокольничий и пан Лонгинус последовали его примеру.

Однако на повороте дороги наместник коня придержал, потому что увидел новое и странное зрелище. Посреди тракта лежала на боку колымага со сломанной осью. Выпряженных коней держали два казачка. Возницы не было — он, как видно, отправился искать помощи. У колымаги стояли две барыни; одна со строгим мужеподобным лицом, одетая в лисий тулуп и такую же шапку с круглым донцем, вторая — молодая высокая девушка с тонкими и очень соразмерными чертами. На плече этой молодой особы преспокойно сидел кречет и, встопорщив на груди перья, разглаживал их клювом.

Наместник осадил коня, так что копыта врылись в песок дороги, и потянулся к шапке, не зная, как быть: здороваться или кречета потребовать? Растерялся он еще и оттого, что из-под куньей шапочки глянули на него такие очи, каких, сколько

жив, он не видывал: черные, бархатные, печальные, и такие переменчивые, такие жгучие, что глазки Ануси Борзобогатой при них померкли бы, как свечки при факелах. Над глазами теми изгибались двумя мягкими дугами шелковые темные брови; румяные щеки цвели, точно цветки прелестнейшие, меж слегка приоткрытых малиновых губок сверкали жемчугами зубки, а из-под шапочки струились роскошные черные косы. «Уж не Юнона ли то собственною персоной или другое какое божество?» — подумал наместник, созерцая стройный этот стап, округлые перси и белого сокола на плече. И стоял наш поручик без шапки, и уставился, точно на картину писаную, и только глаза его пылали, а сердце словно бы стискивала рука чья. И собирался он было начать речь словами: «Ежели ты смертное создание, а не божество...» — но тут подсакали посол с паном Лонгинусом, а с ним и сокольник с обручем. Тогда богиня подставила кречету руку, на которой тот, спустившись с плеча, преспокойно устроился, переступая с лапы на лапу. Наместник, опережая сокольничего, хотел снять птицу, но вдруг случился удивительный казус. Кречет, оставив одну лапу на руке девушки, другою вцепился в руку наместника и, вместо того чтобы на нее перебраться, стал радостно пицать и так сильно притягивать руки одну к другой, что те соприкоснулись. Мурашки пробежали по спине наместника, а кречет тогда лишь дался пересадить себя на обруч, когда сокольник надел на голову ему клубочок. Между тем пожилая барыня взволнованно заговорила:

— Рыцарь, кем бы вы ни были, не откажите в помощи дамам, оказавшимся в затруднительном положении на дороге и не знающим, что предпринять. До дому осталось мили три, но в колымаге полопались оси, и нам, похоже, придется ночевать в поле; возницу я послала к сыновьям, чтобы хоть телегу сюда прислали, но пока возница доедет и вернется, сделается темно, а в урочище этом оставаться страшно, потому что тут могилы близости.

Старая шляхтянка говорила быстро и голосом таким низким, что наместник даже удивился. Тем не менее он учтиво ответил:

— Не допускай же, сударыня, таковой мысли, что мы тебя с пригожей дочкой твоей без помощи оставим. Направляемся мы в Лубны, ибо на службе у светлейшего князя Иеремии состоим, и ехать нам, кажется, в одну сторону; а хоть бы даже и в разные — все равно сбочить можно, лишь бы ассистенция наша не оказалась дочуждливой. Что же телег касается, то у меня их нету, так как еду с товарищами по-солдатски, без обоза, но господин посол телегами располагает и, я чай, с удовольствием, как учтивый кавалер, госпоже и барышне послужит.

Посол снял соболий колпак, ибо, зная польскую речь, понял, о чем разговор, и тотчас же, как обходительный боярин, с любезным комплиментом поспешил предложить свои услуги, по-

вле чего велел сокольничему бежать за сильно отставшими телегами. Наместник между тем глядел на девушку, которая, смущавшись от пылкого этого взгляда, опустила очи долу, а барыня с казацкой внешностью на этот раз сказала вот что:

— Господь да вознаградит вас за помощь! А поскольку до Лубен дорога не близка, не пренебрегите моим и сыновей моих кровом, под которым вам будут рады. Мы из Разлогов-Сиромах. Я — вдова князя Курцевича-Булыги, а это не дочка моя, но дочь покойного Курцевича-старшего, брата моего мужа, отдавшего сироту свою в наше попечение. Сыны мои сейчас дома, а я возвращаюсь из Черкасс, куда к алтарю святой пречистой со вкладом ездила. И вот на обратном пути случилась с нами эта неприятность, так что, ежели бы не политес ваших милостей, нам, пожалуй, пришлось бы на дороге заночевать.

Княгиня говорила бы еще, но вдалеке показались приближавшиеся на рьях телеги в сопровождении множества посольских каралашей и солдат Скшетуского.

— Так вы, сударыня, вдова князя Василя Курцевича? — спросил наместник.

— Нет! — резко и словно бы гневно возразила княгиня. — Я — вдова Константина, а это — дочь Василя, Елена! — сказала она, указывая на девушку.

— О князе Василе много в Лубнах разговору. Был он и воин великий, и покойного князя Михаила наперсник.

— В Лубнах не бывала, — с некоторым высокомерием сказала княгиня, — и про его воительство не слышана, но про дальнейшие деяния и вспоминать не стоит, ибо про них и так всем все известно.

Слушая это, княжна Елена, словно цветок, подрезанный кося, опустила голову, а наместник незамедлительно сказал:

— Такого, сударыня, не говори. Князь Василь, из-за ужасной error¹ правосудия людского приговоренный к лишению добра и живота, вынужден был бегством спастись, но затем невинность его была доказана, о чем тоже и оглашено было, и честь ему, как мужу добродетельному, вернули; а чести тем больше, чем большая несправедливость совершилась.

Княгиня быстро глянула на наместника, и на неприятном, резком лице ее сделался заметен гнев. Однако в пане Скшетуском, хоть бы он человеком молодым, воплощалось столько рыцарского достоинства, а взгляд его был так ясен, что возразить она не решилась, но зато повернулась к княжне Елене.

— Девицам этого знать не положено. Пойди-ка да прпсмотри, чтобы клажу из колымаги переложили на те возы, в которых мы поедем с позволения их милостей.

— Разрешите же, барышня-панна, помочь тебе, — сказал наместник.

¹ ошибки (лат.).

Они вдвоем пошли к колымаге, а когда оказались друг против друга у противоположных дверей, шелковая бахрома очей княжны распахнулась, и взор ее, словно теплый и ясный луч солнца, упал на лицо поручика.

— Как мне благодарить вашу милость, сударь... — сказала она голосом, показавшимся наместнику сладостной музыкой, звукам лютни и флейт подобной, — как мне благодарить тебя за то, что вступился за достоинство отца моего, противу кривды, которая от родственников ему делается.

— Милостивая панна, — ответил наместник, чувствуя, что сердце тает в груди его, как снег весною, — да не оставит меня господь, а я ради благодарности твоей готов хоть в огонь прыгнуть, а то и вовсе кровь отдать, но если столь велико желание, то невелика заслуга, а ввиду малости ее не подобает мне благодарной платы из уст твоих принимать.

— Ежели пренебрегаешь ею, сударь, то я, бедная сирота, даже не знаю, как по-иному благодарность выразить.

— Не пренебрегаю я, — с возрастающим пылом возразил наместник, — но немалый сей фавор жажду заслужить долгой и преданной службой и о том лишь прошу, чтобы любезная барышня принять от меня службу эту благоволила.

Княжна, слыша такие слова, снова смешалась, покраснела, потом вдруг кровь отхлынула от ее щек, и, закрыв лицо ладонями, она ответила огорченным голосом:

— Одни несчастья принесет вашей милости служба эта.

А наместник наклонился к дверцам коляски и сказал тихо и трогательно:

— Принесет, что бог пошлет. А хоть бы и страданье! Все равно я к ногам твоим, милостивая панна, упасть готов и ее вымаливать.

— Возможно ли, едва увидев меня, столь огромное желание к услужению возыметь?

— Стоило мне тебя увидеть, как я о себе тотчас думать забыл и чувствую, что вольному до сих пор солдату в раба, кажется, превратиться придется; но на то, как видно, воля божья. Сердечная страсть, она стреле подобна, неожиданно грудь пронзающей: и вот я сам удар ее почувствовал, хотя еще вчера не поверил бы, скажи мне кто, что такое может случиться.

— Если ваша милость вчера бы не поверил, как же я сегодня поверить могу?

— Время, любезная панна, убедит тебя в том. А искренность хоть сейчас, не только в словах моих, но и на лице увидеть можешь.

И снова шелковые завесы девичьих очей распахнулись, и взору княжны открылось благородное и мужественное лицо молодого воина: взгляд его исполнен был такого восхищения, что лицо ее покрылось густым румянцем. Но теперь очей она не опускала, и он какое-то время пивал сладость дивного этого

взора. И глядели они так друг на друга, точно два существа, которые хоть и встретились на большой дороге в степи, но знают, что избрали один другого раз и навсегда и души их, точно два голубя, начинают свой полет одна к другой.

Минута упоения этого была прервана резким голосом Курцевичихи, звавшей княжну. Подъехали телеги. Каралаши начали переносить на них поклажу из колымаги, и скоро все было готово.

Учтивый боярин господин Розван Урсу уступил дамам собственную карету, наместник сел в седло, и все двинулись.

День уже клонился на покой. Разлившиеся воды Кагамлыка сияли золотом заходящего солнца и пурпуром заката. Высоко в небе собрались стайки легких туч; они, постепенно алая, тихо двигались к горизонту, точно, утомясь парением в поднебесье, собирались улечься спать в какую-то неведомую колыбель. Скшетуский ехал рядом с княжной, но беседу ее не занимал, потому что говорить, как они только что разговаривали, при посторонних не мог, а слова, ничего не значащие, на язык не шли. И только чувствовал он в своем сердце сладость, а в голове его что-то шумело, точно вино.

Вся процессия бодро устремлялась вперед, и тишину нарушало только фырканье лошадей да звон стремени о стремя. Потом на задних возах каралаши затянули тоскливую валашскую песню, однако вскоре умолкли, и тогда сделался слышен гнусавый голос пана Лонгина, благолепно распевającego: «Я причина на небеси свету немеркнущему и, яко мгла, покрыла твердь всяческую». Тем временем стемнело. Звездочки замерцали в небе, а с влажных лугов поднялись белые, подобные морям бескрайним, туманы.

Въехали в лес, но не проехали и нескольких верст, как слышался конский топот и пятеро всадников возникли впереди. Это были княжичи, узнавшие от возницы о приключившейся их матери беде и спешившие на помощь, ведя с собой повозку, запряженную четверней.

— Это вы, сынки? — окликнула старая княгиня.

Всадники подъехали к телегам.

— Мы, маты!

— Ну, здравствуйте! Благодаря этим вот сударям мне уж и не нужна помощь. А это сынки мои, которых я вашему покровительству, милостивые государи, препоручаю: Симеон, Юр, Андрей и Миколай. А кто ж там пятый? — сказала она, взглядываясь внимательней. — Гей! Ежели в потемках старые глаза не обознались, это, никак, Богун, а?

Княжна внезапно откинулась в глубь кареты.

— Поклон вам, княгиня, и вам, княжна Елена! — промолвил пятый ездок.

— Богун! — сказала старуха. — Из полка, соколик, прибыл? А с торбаном ли? Ну здравствуй, здравствуй! Гей, сынки! Я уж

пригласила их милостей господ на ночлег в Разлоги, а теперь вы ич поклонитесь! Гость в дом — бог в дом! Не побрезгуйте, судари, кровом нашим.

Булыги снимали шапки.

— Покорно просим ваши милости в недостойные пороги.

— Они уже согласились — и его светлость господин посол, и его милость господин наместник. Знатных кавалеров принимать будем: только вот не знаю, придется ли им, к деликатесам придворным привыкшим, по вкусу наше убогое хлебово.

— Солдатским мы хлебом, не дворским вскормлены, — сказал Скшетуский.

А господин Розван Урсу добавил:

— Едал я уже радушный хлеб в шляхетских домах и знаю, что дворскому до него далеко.

Повозки двинулись, и старая княгиня заговорила снова:

— Давно, ох давно миновали добрые для нас времена. На Волыни да на Литве есть еще Курцевичи, которые и жолнеров наемных держат, и во всем по-господски живут, только они кровных своих, какне победнее, знать не хотят, за что господь с них и взыщет. У нас же прямо-таки нужда казацкая, и вы, судари, должны нам ее простить, а что ото всей души предложено будет, принять с открытым сердцем. Я с пятью сыновьями сидим на одной деревеньке да на десяти с лишним слободках, а при том еще и оную барышню опекаем.

Слова эти наместника удивили, ибо в Лубнах он слышал, что Разлоги были немалым шляхетским именем и принадлежали некогда князю Василию, отцу Елены. Однако поинтересоваться, каким образом перешли они в руки к Константину и его вдове, он счел неуместным.

— У вас, значит, любезная сударыня, пять сыновей? — вступил в разговор Розван Урсу.

— Было пятеро, один в одного, — ответила княгиня. — Да только старшему, Василию, нехристи в Белгороде очи факелами выжгли, отчего он умом повредился. Когда молодые в поход уходят, я остаюсь только с ним да с панною, с которою одни хлопоты, радости же никакой.

Высокомерный тон, с каким старая княгиня говорила о племяннице, был столь явен, что не ускользнул от внимания Скшетуского. В груди его закипел гнев, и он чуть было не сказал грубое слово, но брань замерла на устах, когда, взглянув на княжну, поручик при свете месяца увидел в глазах ее слезы...

— Что с тобою, любезная барышня? Отчего плачешь? — тихо спросил он.

Княжна не ответила.

— Я не могу видеть твоих слез, — сказал Скшетуский и поклонился к ней, а заметив, что старая княгиня беседует с господином Розваном Урсу и не глядит в их сторону, продолжал

допытываться: — Ради бога, скажи хоть слово, ибо, клянусь небом, я кровь и здоровье отдам, лишь бы тебя утешить.

Внезапно поручик почувствовал, что кто-то из верховых так сильно теснит его, что кони чуть ли не боками трутся.

Разговор с княжною прервался, а Скшетуский, удивленный и разозленный, поворотился к невеже.

При свете месяца он увидел глаза, глядевшие дерзко, вызывающе и вместе с тем насмешливо.

Страшные очи эти светились, точно волчьи глазища в темном бору.

«Это еще что такое? — подумал наместник. — Бес или кто?» — и, глядя в упор в горящие зрачки, спросил:

— А с чего это ты, сударь, конем напирал и глазами меня буровишь?

Всадник ничего не ответил, однако глядеть продолжал так же упорно и нахально.

— Ежели темно, могу огня высесть, а ежели узка дорога, давай-ка в степь! — сказал наместник, повышая голос.

— А ти одлітай, ляшку, од коляски, коли степ бачиш, — ответил всадник.

Наместник, будучи человеком в решениях скорым, без лиш-них слов так сильно пнул лошадь наглеца в брюхо, что та всхрапнула и одним скачком прыгнула к самой обочине.

Всадник ее осадил, и какое-то мгновение казалось, что он собирается броситься на Скшетуского, но тут раздался резкий, повелительный голос старой княгини:

— Богун, що з тобою?

Эти слова произвели немедленное действие. Всадник повернул коня на месте и переехал по другую сторону кареты к княгине, та же продолжала:

— Що з тобою? Эй! Ты не в Переяславе и не в Крыму, а в Разлогах, не забывай. А теперь поезжай-ка вперед да проводи телеги, а то яр сейчас будет, а в яру темно. Годі, сіромаха!

Скшетуский был сколько удивлен, столько и разгневан. Богун этот, как видно, искал ссоры и добился бы своего, но зачем? С чего вдруг это нежданное недоброжелательство?

В голове наместника мелькнула мысль, что причною тому княжна, и он в этой мысли утвердился, когда, взглянув на лицо девушки, увидел, несмотря на ночную тьму, что оно было блее полотна и что написан на нем нескрываемый ужас.

Между тем Богун, как и велела ему княгиня, рванул с места вперед, а старуха, глядя ему вслед, сказала не столько себе, сколько наместнику:

— Отчаянная это голова и дьявол казаккий.

— И не в полном уме, как видно, — презрительно заметил Скшетуский. — Это что же — казак на службе у сыновей твоей милости, сударыня?

Старая княгиня откинулась на подушки кареты.

— Что ты, сударь, говоришь! Это же Богуц, подполковник казацкий, прославленный удалец, сыновьям моим друг, а мне все равно что приемный, шестой сын. Быть не может, чтобы ты, сударь, имени его не слышал. Про него же все знают.

И правда, Скшетускому имя это было хорошо известно. Оно гремело громче имен многочисленных казацких полковников и атаманов, и молва славилась его на обоих берегах Днепра. Слепцы пели песни про Богуна по ярмаркам и корчмам, на посиделках о молодом атамане рассказывали легенды. Кем он был, откуда взялся, никто не знал. Но колыбелью ему, уж точно, были степи, Днепр, пороги и Чертомлык со всем своим лабиринтом теснин, заливов, омутов, островов, скал, лощин и тростников. Сызмалу сжился он и слился с этим первозданным миром.

В мирную пору хаживал он вместе с прочими «за рыбою и зверем», шатался по днепровским излучинам, с толпою полуголых дружков бродил по болотам и камышам, а нет — так целые месяцы пропадал в лесных чащобах. Школою его были вылазки в Дикое Поле за татарскими стадами и табунами, засады, битвы, набеги на береговые улусы, на Белгород, на Валахию, либо — чайками — в Черное море. Других дней, кроме как в седле, он не знал, других ночей, кроме как у степного костра, не ведал. Рано стал он любимцем всего Низовья, рано сам начал предводительствовать другими, а вскоре и всех превзошел отвагою. Он был готов с согней сабель идти на Бахчисарай и на глазах у самого хана жечь и палить; он громил улусы и местечки, вырезал до последнего жителей, пленных мурз разрывал надвое лошадыми, налетал, как буря, проносился, как смерть. На море он, словно бешеный, бросался на турецкие галеры. Забирался в самое сердце Буджака, влезал, как говорили, прямо в пасть ко льву. Некоторые походы его были просто безрассудны. Менее отважные, менее бесшабашные корчились на колах в Стамбуле или гнили на веслах турецких галер — он же всегда оставался цел и невредим, да еще и с богатой добычей. Поговаривали, что скопил он несметные сокровища и прячет их в приднепровских чащобах, но не раз тоже видели, как топчет он перемазанными сапогами бархаты и парчу, как стелет коням под копыта ковры или, разодетый в дамаст, купается в дегте, нарочно показывая казацкое презрение к великолепным этим тканям и нарядам. Долго он нигде не засиживался. Поступками его вершили удаль и молодечество. Порою, приехав в Чигирин, Черкассы или Переяслав, гулял он напрадалую с запорожцами, порою жил, как отшельник, с людьми не знаясь и уходил в степи. Порою ни с того ни с сего окружал себя слепцами, по целым дням слушая их игру и песни, а их самих золотом осыпая. Среди шляхты умел он быть дворским кавалером, среди казаков самым бесшабашным казаком, среди рыцарей — рыцарем, среди грабителей — грабителем. Некоторые считали его безумцем, ибо это была душа и необузданная, и безрассудная. Зачем он жил на свете, чего хо-

тел, куда стремился, кому служил? — он и сам не знал. А служил он степям, ветрам, битвам, любви и собственной неумной душе. Эта неумность и отличала его от прочих неотесанных вожаков и ото всей разбойной братии, у которой на уме только и было что грабежи и которой было все равно — татар грабить или своих. Богун добычу брал тоже, но войну предпочитал добыче; рисковал ради самого риска; за песни расплачивался золотом; искал славы, а об остальном не заботился.

Изю всех атаманов только он, пожалуй, и олицетворял собою казака-рыцаря, потому и песня избрала его своим любимцем, а имя прославилось по всей Украине.

В последнее время Богун сделался переяславским подполковником, но власть исправлял полковничью, ибо старый Лобода уже нетвердо держал булаву костенеющей рукою.

Так что Скшетуский прекрасно знал, кто такой Богун, а если и спросил старую княгиню, казак ли тот на службе у ее сыновей, то сделал так ради умышленного небрежения, ибо почувял в нем врага; и, хоть знаменит был атаман, закипела кровь в наместнике, а все потому, что казак держал себя с ним столь нагло.

Еще он понял, что если все так началось, то и закончится непросто. Но остер был на язык пан Скшетуский и уверен в себе, и даже чересчур, и тоже не отступал ни перед чем, а до опасностей и вовсе был жаден. И хоть готов он был незамедлительно погнать коня вслед Богу, но ехать рядом с княжиною продолжал. К тому же телеги уже миновали яр и вдали показались огни Разлогов.

ГЛАВА IV

Курцевичи-Булыги были старинным княжеским родом, гербом которого был Кур, а родословие велось от Кориата; на самом же деле род происходил якобы от Рюрика. Из двух главных ветвей одна сидела на Литве, другая на Волини; на Заднепровье же перебрался в свое время князь Василь, один из многочисленных потомков волинской линии. Будучи небогат, он не пожелал прозябать среди могущественных родственников и поступил на службу к князю Михаилу Вишневецкому, отцу многославного Яремы.

Прославив на этом поприще свое имя и оказав князю немалые рыцарские услуги, он получил за это в наследственное владение Красные Разлоги, прозванные потом из-за великого множества волков Волчьими Разлогами, и на постоянное жительство там осел. В год 1629-й, перешедши в латинство, он женился на Рагозянке, девице из почтенного шляхетского рода, происходившего из валашской земли. Через год от брака этого появилась на свет дочка Елена. Мать умерла при родах, князь Василь

же, о втором браке не помышляя, посвятил себя целиком хозяйству и воспитанию единственной дочери. Был он человеком сильного характера и необычайных достоинств. Довольно быстро добившись небольшого, но и немалого состояния, он тотчас вспомнил о своем старшем брате Константине, который, оставаясь на Волыни в бедности и отчуждении от владетельных родичей, вынужден был ходить в арендаторах. Его, с его женой и пятью сыновьями, перевез Василь в Разлоги и стал делиться с ними каждым куском хлеба. Так и жили в согласии оба Курцевича до самого конца 1634 года, когда Василь с королем Владиславом под Смоленск пошел. Там-то и случилась прискорбная история, ставшая причиной его гибели. В королевском лагере было перехвачено письмо, писанное к Шеину, а подписанное именем князя и запечатанное Куром. Столь неоспоримое свидетельство измены, совершенной рыцарем, имя которого до той поры было безупречно, всех поразило и ошеломило. Напрасно Василь небеса в свидетели призывал, что письмо писано не его рукой и не им подписано,— герб Кур на печати исключал всякие сомнения, а в потере перстня с печаткой, чем князь все дело объяснял, никто не поверил. В конце концов князь, *pro crimine regnelionis*¹ приговоренный к лишению чести и живота, вынужден был бежать. Явившись ночью в Разлоги, Василь стал заклинать всеми святыми брата Константина, чтобы тот заботился о его дочке, как родной отец; сам же исчез навсегда. Говорили, что он послал из Бара письмо князю Иеремии, прося не отнимать куска хлеба у Елены и позволить ей спокойно жить в Разлогах под опекою Константина; потом всякий слух о князе пропал. Были сведения, что он вскоре умер; еще говорили, что он примкнул к цесарским и погиб на немецкой войне. Но кто мог знать что-то наверняка? По-видимому, он и в самом деле погиб, потому что более судьбою дочки не интересовался. Скоро о нем и говорить перестали, а вспомнили тогда, когда выяснилось, что никакой вины на князе нету. Некий Курцевич, витебчанин, умирая, признался, что писал под Смоленском Шеину он, а запечатал письмо найденным в лагере перстнем. Ввиду такого свидетельства сожаление и растерянность овладели всеми сердцами. Приговор был пересмотрен, князю Василю вернули доброе имя, но для осужденного воздаяние за пережитое пришло слишком поздно. Разлоги же Иеремия и не думал отнимать, ибо Вишневецкие, лучше прочих зная Василя, никогда на нем вины не полагали. Он бы даже мог прибегнуть к их могущественному покровительству и над приговором посмеяться, а если удалился, то потому лишь, что не вынес бесчестия.

Елена спокойно росла в Разлогах под заботливым присмотром дяди, и только после его смерти настали для нее тяжелые времена. Жена Константина, происхождения будучи сомнитель-

¹ по обвинению в государственной измене (лат.).

ного, по характеру была женщиной суровой, крутой и энергичной: муж только и мог держать ее в послушании. После его смерти она железной рукой стала править в Разлогах. Служба трепетала ее: холопья боялись барыни как огня, соседям она тоже вскоре себя показала. На третьем году правления своего, одетая по-мужски, верхом предводительствуя челядью и наемными казаками, она дважды совершила вооруженные нападения на Сивинских в Броварках. Когда полки князя Иеремии поколотили какую-то татарскую ватагу, бесчинствовавшую у Семи-Могил, княгиня, возглавив своих людей, уничтожила остатки недобитых, удравших от князя к Разлогам. В Разлогах же она обосновалась прочно и стала считать их своей и своих сыновей собственностью. Сыновей она любила, как волчиха волчонков, но, будучи простолудинкой, не позаботилась о приличном для них воспитании. Монах греческого обряда, привезенный из Киева, выучил их грамоте и цифири, на чем наука и закончилась. А между тем поблизости были Лубны с княжеским двором, при котором молодые князья могли приобрести лоск, понатореть в канцелярском деле для мирской пользы или, записавшись в хоругви, в рыцарской науке. У княгини, как видно, были свои причины в Лубны их не посылать.

А вдруг бы князь Иеремия припомнил, чьи они, Разлоги, и поинтересовался бы судьбою Елены? Или сам, чья память Василия, решил бы взять попечительство на себя? Тогда, наверно, пришлось бы из имени убраться, и поэтому княгиню устраивало, чтобы в Лубнах вообще позабыли о существовании каких-то Курцевичей. Вот молодые князья и воспитывались невеждами, скорее по-казацки, чем по-шляхетски. Уже отроками принимали они участие в сварах старой княгини, в набегах на Сивинских, в походах на татарские шайки. Чувствуя врожденное отвращение к грамоте и книгам, княжичи по целым дням стреляли из луков, обучались управляться с кистенем и саблей или накидывать аркан. Даже хозяйство не интересовало их, ибо княгиня не выпускала его из рук. И грустно было видеть этих потомков блистательного рода, в жилах которых текла благородная кровь, но привычки остались дикими и грубыми, а разум и очерствевшие сердца напоминали залежь степную. Вымахали они что дубы; однако, сознавая свою невоспитанность и неотесанность, стеснялись водиться со шляхтой, более удобным находя общество диких казацких вожakov. Они давно вошли в сношения с Низовьем, где к княжичам относились, как к своим. По полгода, а то и больше пропадали они на Сечи, отправлялись с казаками на «промысел», ходили походами на турок и татар; и такие походы стали в конце концов главным и любимым их времяпрепровождением. Мать этому не препятствовала, потому что, как правило, возвращались они с богатой добычей. Увы, в одном из походов старший, Василь, попал в руки к поганым. Братья с помощью Богуна и Богуновых запорожцев хоть и отбили старше-

го, но ослепленным. С той поры ему больше ничего не оставалось, как сидеть дома; и, насколько прежде он был самый свирепый, настолько теперь помягчел, совершенно предавшись размышлению и молитве. Молодые же и далее продолжали заниматься ратным делом, что в конце концов снискало им прозвище «князья-казаки». Ко всему — довольно было взглянуть на Разлоги-Сиромахи, чтобы сразу понять, что за люди тут обитают. Когда пан Скшетуский и посол с посольскими телегами въехали в ворота, они увидели не усадьбу, а скорее громадный сарай, из огромных дубовых кряжей сложенный, с узкими, похожими на бойницы, окнами. Помещения для челяди и казаков, конюшни, амбары и чуланы непосредственно примыкали к жилью, составляя нескладное сооружение, из многих — то высоких, то низких — строений состоящее, по виду столь убогое и неказистое, что, не будь света в окошках, почесть все это жильем человеческим было бы трудно. На майдане перед домом торчали два колодезных журавля, ближе к воротам стояла столбушка с положенным на нее колесом для посаженного на цепь ручного медведя. Могучие ворота — тоже из дубовых кряжей — служили въездом на майдан, целиком окруженный рвом и частоколом.

Все указывало, что это — оборонное сооружение, укрепленное противу набегов и нападений. Видом своим оно напоминало еще и казацкую «полянку»; и, хотя большинство порубежных шляхетских усадеб такого, а не другого были вида, эта куда более прочих была похожа на гнездо хищников. Челядь, вышедшая с факелами встречать гостей, больше смахивала на разбойников, чем на дворню. Огромные псы рвались на майдане с цепей, словно намереваясь сорваться и кинуться на приезжих, из конюшен доносилось конское ржание, а молодые Бульги вместе с матерью принялись окликать слуг, отдавать распоряжения и браниться. Среди всего этого шума и гама гости прошли в дом, и тут господин Розван Урсу, замечавший пока лишь дикость и убожество усадьбы и сожалевший, что принял приглашение ночевать, искренне изумился тому, что открылось его взору.

Внутри жилище совершенно не соответствовало захудалому внешнему виду. Сперва вошли в просторные сени, стены которых почти сплошь были увешаны доспехами, оружием и шкурами диких зверей. В двух громадных очагах пылали бревна, и в ярком свете пламени видны были богатые сбруи, сверкающие латы, турецкие панцири, мерцающие драгоценными камнями; кольчуги с золочеными пряжками, полупанцири, набрюшники, рынграфы, брони великой цены, шлемы польские и турецкие, а также мисюрские шапки с верхом из серебра. На противоположной стене развешаны были щиты, к тому времени вышедшие из употребления, а рядом польские копья и восточные джириды; режущего оружия тоже было предостаточно — от сабель до кинжалов и ятаганов, рукояти которых, точно звездочки, мерцали, отражая свет, многими цветами. По углам висели связки шкур:

лисьих, волчьих, медвежьих, куных и горностаевых — трофеи ловить княжичей. Ниже, вдоль стен, дремали на обручах ястребы, соколы и большие беркуты, привезенные из далеких восточных степей и незаменимые в облавах на волков.

Затем гости прошли в просторную гостевую горницу. И здесь в очаге под колпаком гудел ярый огонь, но тут было еще роскошнее, чем в сених. Голые бревна стен завешаны были шитьем, на полу лежали дивные восточные ковры. Посередке стоял большой стол на крестовинах, сколоченный из простых досок, весь уставленный кубками венецейского стекла, золочеными или гравированными. У стен виднелись столы поменьше, комоды и поставцы, а на них — окованные бронзой шкатулки, ларцы, медные подсвечники и часы — все в свое время награбленное турками у венецианцев, а казаками у турок. Вся комната завалена была множеством роскошных вещиц, как правило, неведомого хозяевам назначения. И всюду роскошь сосуществовала с заурядной степной неприхотливостью. Драгоценные турецкие комоды, инкрустированные бронзой, черным деревом и перламутром, стояли рядом с нестругаными полками, простые деревянные стулья возле мягких диванов, покрытых коврами. Подушки, лежавшие по восточному обычаю на диванах, наволочки на себе имели из алтабаса или из голубой камки, но пухом была набита редко какая, в основном же сеном или гороховой соломой. Дорогие ткани и бесценные предметы — так называемое «добро», турецкое или татарское, — частью были куплены за гроши у казаков, частью захвачены во многих войнах еще старым князем Василем, частью — молодыми Бульгами в походах с низовыми, ибо княжичи предпочитали ходить на чайках в Черное море, чем жениться или присматривать за хозяйством. Все это не удивило пана Скъшетуского, хорошо знавшего порубежные усадьбы, но валашский боярин диву давался, среди безмерного этого великолепия видя Курцевичей, обутых в яловичные сапоги и облаченных в козухи не многим лучше тех, какие носили слуги; удивлен тоже был и пан Лонгин Подбиытка, привыкший у себя на Литве к другим обычаям.

Молодые князья между тем принимали гостей радушно и в высшей степени обходительно, однако — мало бывавшие в свете — обнаруживали манеры столь неуклюжие, что наместник едва сдерживал улыбку.

Старший, Симеон, говорил:

— Душевно рады вашим милостям и благодарим за милость вашу. Наш дом — ваш дом, так что располагайтесь, как у себя. Кланяемся панам милостивцам под нашим кровом убогим.

И хоть не чувствовалось в тоне его ни малейшего самоуничижения, хоть не ощущалось, что принимает он людей более значительных, чем сам, тем не менее кланялся он по казацкому обычаю в пояс, а за ним кланялись и младшие братья, полагая, что того требует гостеприимство, и повторяя:

— Низко кланяемся вашим милостям и милости просим!.. Между тем княгиня, потянув за рукав Богуна, увела его в соседнюю комнату.

— Слышь, Богуна,— сказала она торопливо,— на долгие разговоры у меня времени нету. Видала я, что ты на этого молодого шляхтича взелся и ссоры с ним ищешь?

— М а т и! — ответил казак, целуя старухину руку. — Свет широкий, ему одна дорога, мне другая. Я его не знаю и знать не хочу, только пусть он княжне ничего не шепчет, не то, как ты меня тут видишь, так и он мою саблю увидит.

— Гей, сбесился, сбесился! А чем это ты думаешь, казаченьку? Что с тобою? Хочешь нас и себя погубить? Это ведь жолнер Вишневецкого и наместник, человек не простой, ибо от князя к хану с посольством ездил. Если волос с его головы упадет под нашим кровом, знаешь что будет? Воевода взор свой обратит на Разлоги, за него отомстит, нас на все четыре стороны выгонит, а Елену в Лубны возьмет — и что тогда? С ним тоже задираться станешь? Лубны воевать пойдешь? Попытайся, если кола захотел попробовать. Казаче непутевый!.. Глядит шляхтич на девуку или не глядит, да только как приехал, так и уедет. И дело с концом. Так что изволь держать себя в руках, а не желаешь — поезжай, откуда приехал, потому как беду на нас наклччешь!

Казак покусывал ус, сопел, но, однако же, понял, что княгиня говорит дело.

— Они завтра уедут, мать,— сказал он,— а я уж сдержуся; пускай только чернобровая к ним не выходит.

— А тебе что за дело? Хочешь, чтобы подумали, что я заперти ее держу? Так выйдет же она, потому что я того желаю! А ты у меня в дому не распоряжайся, не хозяин небось!

— Не сердайте, княгиня. Коли иначе не можно, так я буду для них слаще халвы турецкой. Зубом не скрипну, за саблю не схвачусь! Хоть бы меня злора сожрала, хоть бы душа стоном зашлась! Будь по-вашему!

— А вот это разговор, соколик! Возьми торбан, сыграй, спой, у тебя и на душе легче станет. А теперь ступай к гостям.

Они вернулись в горницу, где князя, не зная, чем занять гостей, всё уговаривали их чувствовать себя как дома и в пояс кланялись. Скшетуский сразу же резко и гордо поглядел в глаза Богуна, но не обнаружил в них ни дерзости, ни вызова. Лицо молодого атамана светилось вежливой радостью, столь хорошо изображаемой, что она могла обмануть самый недоверчивый взгляд. Наместник внимательно приглядывался к атаману, так как раньше, в темноте, толком его не разглядел. Увидел он молодца стройного, как тополь, смуглолицего, с пышными черными висячими усами. Веселость на лице Богуна пробивалась сквозь украинскую задумчивость, точно солнце сквозь туман. Чело у атамана было высокое, но закрытое черной чуприною в виде челки, уложенной отдельными прядками и над густыми бровями

постриженной ровными зубчиками. Орлиный нос, изогнутые ноздри и белые зубы, сверкавшие при каждой улыбке, придавали всему лицу выражение несколько хищное, но вообще был это тип красоты украинской, пылкой, броской и задорной. На диво превосходная одежда заметно отличала степного молодца от облаченных в кожаную одежду князей. На Богуне был жупан из тонкой серебряной парчи и алый кунтуш; цвета эти носили все переяславские казаки. Бедро ему опоясывал креповый кушак, с которого на шелковых перевязях свисала богатая сабля; причем и сабля, и костюм меркли рядом с заткнутым за пояс турецким кинжалом, рукоять которого столь была усеяна камнями, что сыпала во все стороны несметные искры. Человека, так одетого, всякий бы наверняка счел скорее панычем высокородным, чем казаком; к тому же свобода держаться и господские его манеры тоже не обнаруживали низкого происхождения. Подойдя к пану Лонгину, он выслушал историю о пращуре Стовейке и обезглавлении трех крестоносцев, а затем повернулся к наместнику и, словно между ними ничего не произошло, спросил совершенно непринужденно:

— Ваша милость, как я слышал, из Крыма возвращаетесь?

— Из Крыма, — сухо ответил наместник.

— Бывал там и я. И хотя в Бахчисарай не заглядывал, но заглянуть надеюсь, ежели некоторые благоприятные подтвердятся известия.

— О каких известиях, сударь, говорить изволишь?

— Ходят слухи, что, если король наш милостивый войну с турчином начнет, князь-воевода в Крым с огнем и мечом пожалует, и слухам этим рады по всей Украине и на Низовье, ибо если не под его началом погуляем мы в Бахчисарае, тогда под чьим же еще?

— Погуляем, истинный бог! — откликнулись Курцевичи.

Поручику польстило уважение, с каким атаман отзывался о князе, поэтому он улыбнулся и сказал уже более мягким тоном:

— Твоей милости, как я погляжу, мало прославивших тебя походов с низовыми.

— Маленькая война — маленькая слава, великая война — великая слава. Конашевич Сагайдачный не на чайках, но под Хотинем ее добывал.

В эту минуту отворилась дверь, и в комнату, ведомый под руку Еленой, тихо вошел Василь, самый старший из Курцевичей. Это был человек в зрелом возрасте, бледный, исхудалый, с напоминающим византийские лики отрешенным и печальным лицом. Длинные волосы, рано поседевшие от горестей и страданий, падали ему на плечи, вместо глаз видны были две красные ямы; в руке он держал медный крест, которым стал осенять комнату и всех присутствующих.

— Во имя бога и отца, во имя спаса и святой-пречистой! — заговорил слепой. — Если вы апостолы и благую весть несете, добро пожаловать под христианский кров. Аминь.

— Извините, судари, — буркнула княгиня. — Он не в своем уме.

Василь же, осеняя всех крестом, продолжал:

— Яко стоит в «Трапезах апостольских»: «Пролившие кровь за веру — спасены будут; погибшие ради благ земных, корысти ради или добычи — прокляты будут...» Помолитесь же! Горе вам, братья! Горе и мне, ибо за-ради добычи творили мы войну! Господи, помилуй нас, грешных! Господи, помилуй... А вы, мужи, издалека притекшие, какую весть несете? Апостолы ли вы?

Он умолк и, казалось, ждал ответа, поэтому наместник немного погодя отозвался:

— Недостойны мы столь высокого чина. Мы всего лишь солдаты, за веру умереть готовы.

— Тогда спасены будете! — сказал слепой. — Но не настал для нас еще день избавления... Горе вам, братья! Горе мне!

Последние слова сказал он, почти шепотом, и такое безмерное отчаяние написано было на его лице, что гости не знали, как себя повести. Тем временем Елена усадила слепого на стул, а сама, выскользнув в сени, тут же возвратилась с лютней.

Тихие звуки пронесли по комнате, и, вторя им, княжна запела духовную песню:

Ночью и днем я взываю в надежде!
Снизжди к слезам и мольбам усердным,
Грешному стань мне отцом милосердным,
Смилуйся, боже!

Слепец откинул голову назад, вслушиваясь в слова, действовавшие на него, казалось, как целительный бальзам, ибо с измученного его лица постепенно исчезало выражение боли и страха; потом голова несчастного упала на грудь, и он остался сидеть, словно бы в полусне или полуоцепенении.

— Если песню допеть, он и вовсе успокоится, — тихо сказала княгиня. — Видите ли, судари, безумие его состоит в том, что он ждет апостолов; и, кто бы к нам ни приехал, он тотчас же выходит спрашивать, не апостолы ли...

Елена между тем продолжала:

Выведи, господи, дух удрученный,—
Он заплутал в бездорожной пустыне;
Он одинок, как в безбрежной пучине
Челн обреченный.

Нежный голос ее звучал все сильнее, и — с лютней в руках, с очами, вознесенными горе, — она была так пленительна, что наместник глаз с нее не сводил. Он загляделся на нее, утонул в ней и позабыл обо всем на свете.

Восхищение наместника было прервано старой княгиней:
— Довольно! Теперь он нескоро проснется. А пока что про-
шу ваших милостей повечерять.

— Пожалте на хлеб и соль!— эхом отозвались на слова ма-
тери молодые Бульги.

Господин Розван, будучи галантнейшим кавалером, подав
руку княгине, что увидев, пан Скшетуский двинулся тотчас к
княжне Елене. Сердце, точно воск, растаяло в нем, когда он
ощутил на своей руке ее руку. Глаза его засверкали, и он
сказал:

— Похоже, что и ангелы небесные не поют сладостнее, лю-
безная панна.

— Грех на душу берешь, рыцарь, равняя пенние мое с ан-
гельским,— ответила Елена.

— Не знаю, беру ли, но верно и то, что охотно дал бы я
себе очи выжечь, лишь бы до смерти пенние твое слушать. Одна-
ко что же я говорю! Слепцом не смог бы я видеть тебя, что тоже
мука непереносимая.

— Не говори так, ваша милость: уехавши от нас завтра,
завтра нас и позабудешь.

— О, не случится это, ведь я, любезная панна, так тебя
полюбил, что до конца дней своих иного чувства знать не желаю,
а этого — никогда не забуду.

Яркий румянец залил лицо княжны, грудь стала сильней
вздвигаться. Она хотела что-то ответить, но только губы ее за-
дрожали,— так что пан Скшетуский продолжал:

— Ты сама, любезная панна, тотчас забудешь меня сэтим
пригожим атаманом, который пеннию твоему на балалайке
подыгрывать станет.

— Никогда! Никогда! — шепнула девушка. — Однако ты,
ваша милость, берегись его: это страшный человек.

— Что мне там какой-то казак! Пусть бы и целая Сечь с
ним вместе была, я на все ради тебя готов. Ты для меня дра-
гоценность бесценная, ты свет мой, да вот узнать бы — взаим-
ностью ли отвечают мне.

Тихое «да» райской музыкой прозвучало в ушах пана Сксхе-
туского, и тотчас показалось наместнику, что в груди его не
одно, а десять сердец бьется; мир предстал взору посветлевшим,
точно солнечные лучи осветили все вокруг; пан Скшетуский ощу-
тил в себе неведомую дотоле силу, словно бы за плечами его
распахнулись крылья. За столом несколько раз мелькнуло лицо
Богуна, сильно изменившееся и побледневшее, однако намест-
ник, зная о взаимном к себе чувстве Елены, соперника теперь
не опасался. «Да пошел он к дьяволу! — думал Скшетуский. —
Пусть же и мешать не суется, не то я его уничтожу!» Но, вооб-
ще-то говоря, думал он совсем про другое.

Он чувствовал, что Елена сидит рядом, что она близко, что
плечом своим он почти касается ее плеча; видел он румянец, не

сходивший с пылко горевшего лица, видел волнующиеся перси, очи, то скромно опущенные долу и накрытые ресницами, то сверкавшие, словно две звезды. Елена, хоть и затравленная Курцевичихой, хоть и проводившая дни свои в сиротстве, печали и страхе, была, как ни говори, пылкой украинкою. Едва упал на нее теплый луч любви, она сейчас же расцвела, точно роза, и проснулась для новой, неведомой жизни. Она вся сияла счастьем и отвагой, и порывы эти, споря с девичьей стыдливостью, окрасили ланиты ее прелестным румянцем. А пан Скшетуский просто из кожи вон лез. Он пил, позабыв меру, но мед не опьянял уже опьяневшего от любви. Никого, кроме девы своей, он за столом просто не замечал. Не видел он, что Богун бледнел все сильней и сильней, то и дело касаясь рукояти кинжала; не слышал, как пан Лонгин в третий раз принимался рассказывать о пращуре Стowejке, а Курцевичи — о своих походах за «турецким добром». Пили все, кроме Богун, и лучший к тому пример подавала старая княгиня, поднимая кулявки то за здоровье гостей, то за здравие милостивого князя и господина, то, наконец, за господаря Лупула. Еще разговаривали о слепом Василе, о прежних его ратных подвигах, о злосчастном походе и теперешнем умопомрачении, каковое Симеон, самый старший, объяснял так:

— Самп, ваши милости, посудите, ежели малейшая соринка глазу глядеть мешает, то разве же большие куски смолы, в мозги попавши, не могут разум помутить?

— Очень тонкое оно instrumentum¹, — рассудил пан Лонгин.

Между тем старая княгиня заметила изменившееся лицо Богун.

— Что с тобою, сокол?

— Душа болит, мати, — хмуро ответил тот, — да казачье слово не дым, так что я его сдержу.

— Терпи, синку, могорич буде.

Вечеря была закончена, но мед в кулявки наливать не переставали. Пришли тож и казачки, позванные для пуцего веселья плясать. Зазвенели балалайки и бубен, под звуки которых заспанным отрокам надлежало развлекать присутствующих. Затем и молодые Бульги пустились впрысядку. Старая княгиня, уперев руки в боки, принялась притоптывать на одном месте, да приплясывать, да припевать, что завидя и пан Скшетуский пошел с Еленою в танец. Едва он обнял ее, ему показалось, что сами небеса прижимает он к груди. В лихом кружении танца длинные девичьи косы обмотались вокруг его шеи, словно девушка хотела навсегда привязать к себе княжеского посланца. Не утерпел тут шляхтич, улучил момент, наклонился и украдкою жарко поцеловал сладостные уста.

¹ приспособление (лат.).

Поздно ночью, оставшись вдвоем с паном Лонгином в комнате, где им постлали, поручик, вместо того чтобы лечь спать, уселся на постели и сказал:

— С другим уже человеком завтра, ваша милость, в Лубны поедешь!

Подбихатка, как раз договоривший молитву, удивленно вытаращился и спросил:

— Это, значит, как же? Ты, сударь, здесь останешься?

— Не я, а сердце мое! Только *dulcis recordatio*¹ уедет со мною. Видишь ты меня, ваша милость, в великом волнении, ибо от желаний сладостных едва воздух *ogibus*² ловлю.

— Неужто, любезный сударь, ты в княжну влюбился?

— Именно. И это так же верно, как я сижу перед тобою. Сон бежит от очей, и только вздохи желанны мне, от каких весь я паром, надо думать, выветрюсь, о чем твоей милости поверю, потому что, имея отзывчивое и ждущее любви сердце, ты наверняка муки мои поймешь.

Пан Лонгин тоже вздыхать начал, показывая, что понимает любовную пытку, и спустя минуту спросил участливо:

— А не обетовал ли и ты, любезный сударь, целомудрие?

— Вопрос таковой бессмыслен, ибо если каждый подобные обеты давать станет, то *genus humanum*³ исчезнуть обречен.

Дальнейший разговор был прерван приходом слуги, старого татарина с быстрыми черными глазами и сморщенным, как сушеное яблоко, лицом. Войдя, он бросил многозначительный взгляд на Скшетуского и спросил:

— Не надобно ли чего вашим милостям? Может, меду по чарке перед сном?

— Не надо.

Татарин приблизился к Скшетускому и шепнул:

— Я, господин, к вашей милости с поручением от княжны.

— Будь же мне Пандаром! — радостно воскликнул наместник. — Можешь говорить при этом кавалере, ибо я ему во всем открылся.

Татарин достал из рукава кусок ленты.

— Панна шлет его милости господину эту перевязь и передать велела, что любит всею душою.

Поручик схватил шарф, в восторге стал его целовать и прижимать к груди, а затем, несколько успокоившись, спросил:

— Что она тебе сказать велела?

— Что любит его милость господинна всею душою.

— Держи же за это талер. Значит, сказала, что любит меня?

— Сказала.

¹ сладостное воспоминание (лат.).

² устами (лат.).

³ род человеческий (лат.).

— Держи еще талер. Да благословит ее господь, ибо и она мне самая разлюбезная. Передай же... или нет, погоди: я ей напишу; принеси-ка чернил, перьев да бумаги.

— Чего? — спросил татарин.

— Чернил, перьев и бумаги.

— Такого у нас в дому не держат. При князе Василе имелось; потом тоже, когда молодые князья грамоте у чернеца учились; да только давно уж это было.

Пан Скшетуский щелкнул пальцами.

— Дражайший Подбипятка, нету ли у тебя, ваша милость, чернил и перьев?

Литвин развел руками и вознес очи к потолку.

— Тыфу, черт побери! — сказал поручик. — Что же делать?

Татарин меж тем присел на корточки у огня.

— Зачем писать? — сказал он, шевеля угли. — Панна спать пошла. А что написать хотел, то завтра и сказать можно.

— Если так, что ж! Верный ты, как я погляжу, слуга княжне. Возьми же и третий талер. Давно служишь?

— Эге! Сорок лет будет, как князь Василь меня ясырем взял; и с того времени служил я ему верно, а когда ночью уезжал он неведомо куда, то дитя Константину оставил, а мне сказал: «Чехла! И ты девочку не оставь. Береги ее пуще глаза». Лаха иль алла!

— Так ты и поступаешь?

— Так и поступаю; в оба гляжу.

— Расскажи, чего видишь. Как здесь княжне живется?

— Недоброе тут задумали, Богуну ее хотят отдать, псу проклятому.

— Эй! Не бывать этому! Найдутся заступники!

— Дай-то бог! — сказал старик, раскидывая горящие головешки. — Они ее Богуну хотят отдать, чтобы взял и унес, как волк ягненка, а их в Разлогах оставил, потому что Разлоги ей, а не им, после князя Василя оставлены. Он же, Богун этот, на такое согласен, ведь по чащобам у него сокровищ больше спрятано, чем песка в Разлогах; да только ненавидит она его с тех пор, как при ней он человека чеканом разрубил. Кровь пала меж них и ненавистью проросла. Нет бога, кроме бога!

Уснуть в ту ночь наместник не мог. Он ходил по комнате, глядел на луну и обдумывал разные планы. Теперь было ясно, что замышляют Бульги. Возьми за себя княжну какой-нибудь соседний шляхтич, он бы востребовал и Разлоги, и был бы прав, так как они принадлежали ей, а то и поинтересовался бы еще отчетом по опеке. Вот почему Бульги, сами давно оказавшиеся, решили отдать девушку казаку. От этой мысли пан Скшетуский стискивал кулаки и порывался схватить меч. Он решил разоблачить низкие козни и чувствовал в себе силы совершить это. Ведь попечительство над Еленою осуществлял и князь Иеремия: во-первых, потому что Разлоги были пожалованы старому

Василю Вишневецкими, а во-вторых, потому что сам Василь писал из Бара князю, умоляя о попечении. Лишь будучи занят обширными своими трудами, походами и предприятиями, воевода до сих пор не сумел озаботиться опекою. Но достаточно будет ему напомнить, и справедливость восторжествует.

В божьем мире уже светало, когда Скшетуский повалился на постель. Спал он крепко и скоро проснулся с готовым решением. Они с паном Лонгином спешно оделись, поскольку телеги стояли уже наготове, а солдаты пана Скшетуского сидели в седлах, готовые к отъезду. В гостевой горнице посол подкреплялся похлебкою в обществе Курцевичей и старой княгини; не было только Богуна: спал ли он еще или уехал — было неясно.

Поевши, Скшетуский сказал:

— Сударыня! *Tempus fugit*¹, вот-вот и на коней сядем, но прежде чем от всего сердца поблагодарить за гостеприимство, хотел бы я об одном важном деле с вашей милостью, сударыня, и с их милостями, сыновьями твоими, доверительно переговорить.

На лице княгини изобразилось удивление; она поглядела на сыновей, на посла и на пана Лонгина, словно бы по их виду собираясь угадать, о чем речь, и с некоторою тревогой в голосе сказала:

— Покорная слуга вашей милости.

Посол хотел удалиться, но она ему не позволила, а сама с сыновьями и наместником перешла в уже известные нам, увешанные доспехами и оружием сени. Молодые князья расположились в ряд за спиною матери, а она, стоя перед Скшетуским, спросила:

— О каком же деле, ваша милость, говорить желаешь?

Наместник быстро, почти сурово, поглядел на нее.

— Прости, сударыня, и вы, молодые князья, что противу обычая, вместо того чтобы через достойных послов действовать, сам в деле своем ходатаем буду. Увы, другою возможностью не располагаю, а раз чему быть, того не миновать, то без долгого кунштаторства представляю вашей милости, сударыня, и вашим милостям, как опекунам, мою покорную просьбу — соблагovolить княжну Елену мне в жены отдать.

Если бы в минуту эту, в зимний этот день, молния ударила в майдан Разлогов, она бы произвела на княгиню с сыновьями впечатление меньшее, чем слова наместника. Какое-то время они с изумлением глядели на гостя, а тот, прямой, спокойный и на удивление гордый, стоял перед ними, словно бы не просить, но повелевать намеревался. Не зная, что ответить, княгиня принялась спрашивать:

— Как это? Вам, сударь? Елену?

— Мне, любезная сударыня. И это мое твердое намерение!

¹ Время бежит (лат.).

С минуту все молчали.

— Жду ответа вашей милости, сударыня.

— Прости, милостивый государь, — ответила, несколько при-
дя в себя, княгиня, и голос ее стал сух и резок. — Просьба та-
кого кавалера — честь для нас немалая, да только ничего из
этого не получится, ибо Елену обещала я уже другому.

— Однако подумай, сударыня, как заботливая опекушка, —
не будет ли это против воли княжны и не лучше ли я того,
кому ты ее, сударыня, обещала.

— Милостивый государь! Кто лучше, судить мне. Возмо-
жно, ты и лучше, да нам-то что, раз мы тебя не знаем.

На эти слова наместник выпрямился еще горделивей, а
взгляды его сделались ножа острее, хотя и оставались холод-
ными.

— Зато я знаю вас, негодяи! — рявкнул он. — Хотите кров-
ную свою мужику отдать, лишь бы он вас в незаконно присвоен-
ном имени оставил...

— Сам негодяй! — крикнула княгиня. — Так-то ты за госте-
приимство платишь? Такую благодарность в сердце питаешь?
Ах, змей! Каков! Откуда же ты такой взялся?

Молодые Курцевичи, прищелкивая пальцами, стали на сте-
ны, словно бы выбирая оружие, поглядывать, а наместник вос-
кликнул:

— Нехристи! Прибрали к рукам спротское достояние, но
погодите! Князь про это уже завтра знать будет!

Услыхав такое, княгиня отступила в угол сеней и, схватив
рогатину, пошла на наместника. Князя тоже, похватав кто что
мог — саблю, кистень, нож, — окружили его полукольцом, дыша,
как свора бешеных волков.

— Ко князю пойдешь? — закричала княгиня. — А уйдешь
ли живым отсюда? А не последний ли это час твой?

Скшетуский скрестил на груди руки и бровью не повел.

— Я в качестве княжеского посла возвращаюсь из Кры-
ма, — сказал он, — и ежели тут хоть одна капля крови моей будет
пролита, то через три дня от места этого и пепла не останется,
а вы в лубненских темницах сгниете. Есть ли на свете сила,
какая бы вас могла спасти? Не грозитесь же, не испугаете!

— Пусть мы погибнем, но подохнешь и ты!

— Тогда бей! Вот грудь моя.

Князя, предводительствуемые матерью, продолжали дер-
жать клинки нацеленными в наместникову грудь, но видно было,
что некие незримые узы не пускали их. Сопя и скрежеща зу-
бами, Бульги дергались в бессильной ярости, однако удара ни-
кто не наносил. Сдерживало их страшное имя Вишне-
вецкого.

Наместник был хозяином положения.

Бессильный гнев княгини обратился теперь в поток оскорб-
лений:

— Проходимец! Мелюзга! Голодранец! С князьями породниться захотел, так ничего же ты не получишь! Любому, только не тебе, отдадим, в чем нам и князь твой не указчик!

На что пан Скшетуский:

— Не время мне свое родословие рассказывать, но полагаю, что ваше княжеское сиятельство преспокойно могло бы за ним щит с мечом таскать. К тому же, если мужик вам хорош, то уж я-то лучше буду. Что же касается достатков моих, то и они могут с вашими поспорить, а если даром Елену мне отдавать не хотите, не беспокойтесь — я тоже вас оставлю в Разлогах, расчетов по опеке не требуя.

— Не дари тем, что не твое.

— Не дарю я, но обязательство на будущее даю и в том ручаюсь словом рыцарским. Так что выбирайте — или князю отчет по опеке представите и от Разлогов отступитесь, или мне Елену отдадите, а имение удержите...

Рогатина медленно выскальзывала из княгининых рук и наконец со стуком упала на пол.

— Выбирайте! — повторил пан Скшетуский. — Aut расем, aut bellum!¹

— Счастье же, — несколько мягче сказала Курцевичиха, — что Богун с соколами уехал, не имея желания на ваших милостей глядеть; он уже вечер что-то заподозрил. Иначе без кровопролития не обошлось бы.

— Так ведь и я, сударыня, саблю не для того ношу, чтобы пояс оттягивала.

— Да разве гоже такому кавалеру, войдя по-доброму в дом, так на людей набрасываться и девку, словно из неволи турецкой, силой отбирать.

— А отчего же нет, если она в неволю холопу должна быть продана?

— Такого, сударь, ты про Богуна не говори, ибо он хоть родства и не знает, но воин прирожденный и рыцарь знаменитый, а нам с малолетства известен и как родной в доме. Ему девку не отдать или ножом ударить — одна боль.

— А мне, любезная сударыня, ехать пора, поэтому прощения прошу, но еще раз повторю: выбирайте!

Княгиня обратилась к сыновьям:

— А что, сынки, скажете вы на столь покорнейшую просьбу любезного кавалера?

Бульги поглядывали друг на дружку, подталкивали один другого локтями и молчали.

Наконец Симеон буркнул:

— Велишь бить, м а т и, так будем, велишь отдать девку, так отдадим.

— Бить — худо и отдать — худо.

¹ Или мир, или войну! (лат.)

Потом, обратившись к Скшетускому, сказала:

— Ты, сударь, так нас прижал, что хоть лопни. Богуна — человек бешеный и пойдет на все. Кто нас от его мести оборонит? Сам погибнет от князя, но сперва нас погубит. Как же мне быть?

— Ваше дело.

Княгиня какое-то время молчала.

— Слушай же, сударь-кавалер. Все это должно в тайне остаться. Богуна мы в Переяслав отправим, сами с Еленой в Лубны поедем, а ты, сударь, упросишь князя, чтобы он нам охрану в Разлоги прислал. У Богуна поблизости полтора ста казаков, часть из них у нас на постое. Сейчас ты Елену взять не можешь, потому что он ее отобьет. Иначе оно быть не может. Поезжай же, никому не говоря ни слова, и жди нас.

— А вы обманете.

— Да кабы мы могли! Сам видишь, не можем. Дай слово, что секрет до времени сохранишь!

— Даю. А вы девку даете?

— Мы ж не можем не дать, хотя нам Богуна и жаль...

— Тыфу ты! Милостивые государи, — внезапно сказал наместник, обращаясь к князьям, — четверо вас, аки дубы могучих, а одного казака испугались и коварством его провести хотите. Хоть я вас и благодарить должен, однако скажу: не годится достойной шляхте так жить!

— Ты, ваша милость, в это не мешайся, — крикнула княгиня. — Не твое это дело. Как нам быть-то прикажешь? Сколько у тебя, сударь, жолнеров против полтора ста его казаков? Защитишь ли нас? Защитишь ли хоть Елену, которую он силой умыкнуть готов? Не твоей милости это дело. Поезжай себе в Лубны, а что мы станем делать — это знать нам, лишь бы мы тебе Елену доставили.

— Поступайте, как хотите. Одно только скажу: если тут княжне какая кривда будет — горе вам!

— Не говори же с нами так, не выводи ты нас из себя.

— А не вы ли над нею насилие учинить хотели, да и теперь, продавая ее за Разлоги, вам и в голову не пришло спросить — будет ли ей по сердцу моя персона?

— Вот и спросим при тебе, — сказала княгиня, сдерживая закипавший снова гнев, ибо отлично улавливала презрение в словах наместника.

Симеон пошел за Еленой и спустя некоторое время с нею вернулся.

Среди громов и угроз, которые, точно отзвуки стихающей бури, казалось, сотрясали еще воздух, среди насупленных этих бровей, яростных взглядов и суровых лиц прелестный облик девушки воссиял, словно солнце после бури.

— Сударыня-панна! — хмуро сказала ей княгиня, указывая

на Скшетуского. — Ежели будет к тому твоя охота, то вот он, твой будущий муж.

Елена побелела как мел, с криком закрыла глаза руками, а потом внезапно протянула ладони к Скшетускому.

— Правда ли? — шепнула она в упоении.

Час спустя эскорт посла и отряд наместника неспешно шли лесною дорогой по направлению к Лубнам. Скшетуский с паном Лонгином Подбипяткой ехали в челе, за ними долгою вереницею тянулись посольские повозки. Наместник вовсе был погружен в печаль и размышления, когда вырвали его вдруг из раздумий оборвавшиеся слова песни:

Тужу, тужу, сердце болить...

В глубине леса на узкой наезженной крестьянам тропке показался Богун. Конь его был в мыле и грязи.

Видно, казак по привычке своей пустился в степи и чащобы, захмелеть от ветра, затеряться да забыться в просторах и то, отчего душа болела, переболеть.

Теперь он возвращался в Разлоги.

Глядя на великолепную эту, поистине рыцарскую фигуру, мелькнувшую вдалеке и сразу же пропавшую, пан Скшетуский на миг задумался и пробормотал:

— Да уж... счастье, что он кого-то на ее глазах располовинил...

Но тут словно бы сожаление стиснуло сердце, словно бы стало ему Богуна жаль, но еще более пожалел он, что, связанный данным княгине словом, не мог сразу же, не мешкая погнать коня вслед казаку и сказать: «Мы любим одну, а значит, один из нас на свете лишний! Доставай, казаче, саблю!»

ГЛАВА V

Прибывши в Лубны, пан Скшетуский князя не застал, так как тот к пану Суффчинскому, старому своему дворянину, в Сенчу уехал. С князем отбыли княгиня, обе панны Збаражские и множество особ, состоявших при дворе. В Сенчу немедленно дано было знать о возвращении наместника из Крыма и прибытии посла. Между тем знакомые и сотоварищи радостно приветствовали Скшетуского после долгой разлуки, а более других пан Володыёвский, который после их очередного поединка сделался самым близким другом наместнику. Кавалер сей отличался тем, что постоянно бывал влюблен. Убедившись в коварстве Ануси Борзобогатой, он обратил свое нежное сердце к Анеле Ленской, тоже панне из фрауцимера, но, когда и она буквально месяц назад обвенчалась с паном Станишевским, Володыёвский, чтобы утешиться, принялся вздыхать по старшей княжне Збаражской — Анне, племяннице князя Вишневецкого.

Увы, он и сам понимал, что, столь высоко замахнувшись, не мог и малейшей питать надежды, тем более что от имени пана Пшчемского, сына ленчицкого воеводы, уже заявили сватать княжну пан Бодзинский и пан Ляссота. Поэтому злосчастный Володыёвский сообщил нашему наместнику новые свои огорчения, посвящая его в придворные дела и тайны, что последний выслушивал краем уха, имея мысль и сердце занятые другим. Когда бы не душевное смятение это, любви, хоть и взаимной, всегда сопутствующее, Скшетуский был бы совершенно счастлив, после долгой отлучки вернувшись в Лубны, где его окружили друзья и кутерьма привычной с давних лет солдатской жизни. Лубны, будучи княжеским замком-резиденцией и великолепием своим не уступая любым резиденциям «королят», отличались все же тем, что житье здесь было суровым, почти походным. Кто не знал здешних порядков и обычаев, тот, приехав даже в наименее шумную пору, мог подумать, что тут к какой-то военной кампании готовятся. Солдат преобладал здесь числом над дворянством, железо предпочиталось золоту, голос бивачных труб — шуму пиров и увеселений. Повсюду царил образцовый порядок и неведомая нигде более дисциплина; повсюду не счесть было рыцарства, приписанного к различным хоругвям: панцирным, драгунским, казацким, татарским и валашским, в которых служило не только Заднепровье, но и охочекомонная шляхта со всех концов Речи Посполитой. Всяк стремившийся пройти науку в подлинно рыцарской школе влекся в Лубны; так что наряду с русинами были тут и мазуры, и литва, и малопольяне, и даже — что совсем уж удивительно — пруссаки. Пехотные регименты и артиллерия, иначе называемая «огневой люд», сформированы были в основном из опытейших немцев, нанятых за высокое жалованье; в драгунах служили, как правило, местные. Литва — в татарских хоругвах. Малопольяне записывались охотнее всего под панцирные знамена. Князь не давал рыцарству бездельничать; в лагере не прекращалось постоянное движение. Одни полки уходили сменить гарнизоны в крепостцы и заставы, другие возвращались в Лубны; целыми днями проводились учения и муштра. Время от времени, хотя от татар беспокойства не ожидалось, князь предпринимал далекие вылазки в глухие степи и пустыни, чтобы приучить солдат к походам и, добравшись туда, куда до сих пор никто не добирался, разнести славу имени своего. В прошлую осень, к примеру, идучи левым берегом Днепра, пришел он до самого Кудака, где пан Гродзицкий, начальник тамошнего гарнизона, принимал его, как удельного монарха; потом пошел вдоль порогов до самой Хортицы, а на Кичкасовом урочище велел гряду огромную из камней насыпать в память и в знак того, что этой дорожкой ни один еще властелин не забирался столь далеко¹.

¹ Это слова Маскевича, который мог не знать о пребывании на Сечи Самуэля Зборовского. (Примеч. автора.)

Пан Богуслав Маскевич, жолнер добрый, хотя в молодых летах, к тому же и человек ученый, описавший, как и прочие княжеские походы, предприятие это, рассказывал о нем дива дивные, а пан Володыёвский незамедлительно все подтверждал, ибо тоже ходил с ними. Повидали они пороги и поражались им, особенно же страшному Ненасытцу, который всякий год, как некогда Спилла и Харибда, по несколько десятков человек пожирал. Потом повернули на восток, в степные гари, где из-за недогарков конница ступить даже не могла, так что приходилось лошадям ноги кожами обматывать. Видали они там множество гадов-желтобрюхов и огромных змей-полозов длиною в десять локтей и толщиною с мужскую руку. По дороге вырезали они на одиноких дубах про aeterna rei memoria¹ княжеские гербы и наконец достигли такой глуши, где нельзя было приметить и следов человеческих.

— Я даже подумывал,— рассказывал ученый пан Маскевич,— что нам в конце концов, как Улиссу, и в Гадес сойти придется.

На что пан Володыёвский:

— Уже и люди из хоругви пана стражника Замойского, которая шла в авангарде, клялись, что видели те самые fines², на каковых orbis terrarum³ кончается.

Наместник, в свою очередь, рассказывал товарищам про Крым, где пробыл почти полгода в ожидании ответа его милости хана, про тамошние города, с древних времен существующие, про татар, про их военную силу и, наконец, про страх, в каковой они впали, узнав о решающем походе на Крым, в котором все силы Речи Посполитой должны были участвовать.

Так проводили они в разговорах вечера, ожидая князя; еще наместник представил близким друзьям пана Лонгина Подбиятку, который, как человек приятнейший, сразу пришелся всем по сердцу, а показавши во владении мечом сверхчеловеческую силу свою, завоевал всеобщее уважение. Кое-кому рассказал уже литвин и о предке Стовейке, и о трех срубленных головах, единственно насчет своего обета умолчал, ибо не хотел сделаться объектом шуток. Особенно подружились они с Володыёвским по причине, как видно, схожей сердечной чувствительности; уже спустя несколько дней ходили они вместе вздыхать на вал — один по поводу звездочки, мерцавшей слишком высоко, и потому недосыгаемой, alias⁴ по княжне Анне, второй — по незнакомке, от которой отделяли его три обетованные головы.

Звал даже Володыёвский пана Лонгина в драгуны, но литвин бесповоротно решил записаться в панцирные, чтобы служить под Скушетуским, не без удовольствия узнав в Лубнах, что тот счита-

¹ вечной памяти ради (лат.).

² рубежи (лат.).

³ круг земель (лат.).

⁴ сиречь (лат.).

ется рыцарем без страха и упрека и одним из лучших княжеских офицеров. К тому же в хоругви, где пан Скшетуский был поручиком, открывалась ваканция после пана Закревского, прозванного «*Miserege mei*»¹, который вот уже две недели тяжело болел и был безнадежен, ибо от сырости все раны его прооткрывались. Так что к сердечной тоске наместника добавилась еще печаль по поводу предстоящей потери старого товарища и многоопытного друга, и по несколько часов в день Скшетуский ни на шаг не отходил от больного, утешая беднягу и вселяя в него надежду, что не в одном еще походе повоюют они.

Но старик в утешениях не нуждался. Он весело умирал на жестком рыцарском ложе, обтянутом лошадиною шкурою, и с почти детской улыбкой глядел на распятие, висевшее на стене. Скшетускому же отвечал:

— *Miserege mei*, ваша милость поручик, а я пойду себе по свой небесный кошт. Тело мое уж очень от ран дырявое, и опасася я, что святой Петр, каковой является маршалом божьим и за благолепием в небесах приглядывать обязан, не пустит меня в столь дырявой оболочке в рай. Но я скажу: «Святой Петруша! Заклинаю тебя ухом Малховым не отвращаться, ведь это же поганые испортили мне одежду телесную... *Miserege mei*! А ежели будет какой поход святого Михаила на адское воинство, так старый Закревский еще пригодится!»

Вот почему поручик, хотя, будучи солдатом, много раз и сам смерть видел, и бывал причиною чужой смерти, не мог сдержать слез, слушая старика, ковчина которого была подобна тихому солнечному закату.

И вот как-то поутру колокола всех лубненских костелов и церквей возвестили о смерти Закревского. Как раз в этот день приехал из Сенчи князь, а с ним господа Бодзинский, Ляссота, весь двор и множество шляхты в нескольких десятках карет, так как съезд у пана Суффчинского был немалый. Князь, желая отметить заслуги покойного и показать, сколь ценит он людей рыцарского склада, устроил пышные похороны. В траурном шествии участвовали все полки, стоявшие в Лубнах, на валу налили из ручных пищалей и мушкетов. Кавалерия шла по городу от замка до приходского костела в боевом строю, но с зачехленными знаменами; за нею, держа ружья дулами вниз, следовали пешотные полки. Князь в трауре ехал за гробом в золоченой карете, запряженной осьмериком белых как снег лошадей с выкрашенными в пунцовый цвет гривами и хвостами и с пучками черных страусовых перьев на макушках. Впереди кареты следовал отряд янычар — личная охрана князя, а позади на превосходных лошадях — нажи, одетые на испанский манер; за ними высокие придворные сановники, стремянные дворяне, камердинеры, накопец, гайдуки и выездные лакеи. Процессия остановилась сперва

¹ «Помилуй мя» (лат.).

у дверей приходского костела, где ксендз Яскульский встретил гроб речью, начинавшейся: «Куда ты уходишь от нас, досточтимый Закревский?». Потом сказали прощальные слова некоторые из присутствующих, а среди них и Скупетуский, как начальник и друг покойного. Затем гроб внесли в костел и тут наконец произнес речь златоуст из златоустов, ксендз-иезуит Муховецкий, говоривший столь возвышенно и красиво, что сам князь прослезился, ибо был повелитель с весьма отзывчивым сердцем и отец солдатам. Дисциплины спрашивал он железной, но в щедрости, ласковом отношении к людям и благорасположении, которыми дарил не только солдат своих, но и жен их с детьми, с ним никто не мог равняться. К бунтарям грозный и безжалостный, был он истинным благодетелем не только шляхте, но и всем своим подданным. Когда о сорок шестом годе саранча поела урожай, он за целый год спустил чиншевикам уплату чинша, народу же распорядился выдавать зерно из закромов, а после хорольского пожара всех горожан два месяца содержал на свой счет. Арендаторы и подстаросты в экономах трепетали, как бы до княжеских ушей не дошли жалобы о каких-либо злоупотреблениях или обидах, народу чинимых. Сиротам обеспечивалось такое попечение, что на Заднепровье называли их «княжьими дитынами». За этим присмотр осуществляла сама княгиня Гризельда, имея в помощниках отца Муховецкого. И царили по всем княжьим уделам достаток, лад, справедливость, спокойствие, но и страх тоже, ибо довольно было малейшего неповиновения, и князь не знал удержу в гневе и наказаниях; так в натуре его сочетались великодушные с суровостью. А в те времена и в тех краях подобная суровость только и давала возможность житью и усердию человеческому укореняться и пускать побеги, только благодаря ей возникали города и села, хлебопашец одерживал верх над грабителем, купец безмятежно вел свою торговлю, колокола мирно созывали верующих на молитву, враг не смел нарушить рубежа, разбойные шайки или гибли на кожах, или преобразались в регулярных солдат, а пустынный край процветал.

Дикой земле и диким обитателям ее именно такая рука и была нужна, ведь с Украйны на Заднепровье тянулся самый беспокойный народ: шли поселенцы, привлекаемые наделом и тучностью земли, беглые крестьяне со всех концов Речи Посполитой, преступники, сбежавшие из узилищ, словом, как сказал бы Ливий: «*Pastorum convenarumque plebs transfuga ex suis populis*»¹. Держать их в узде, превратить в мирных поселенцев и привить вкус к оседлой жизни только и мог такой лев, от рыка которого всё трепетало.

Пан Ловгинус Подбиятка, впервые в жизни князя на похоронах увидав, собственным глазам не поверил. Будучи столько

¹ «Толпы пастухов и всякого сброда, перебежчиков из своих племен» (лат.).

наслышан о его славе, он воображал князя неким исполином, статью обыкновенных людей превосходящим, а князь оказался роста скорее низкого и довольно худощав. Он был еще молод, будучи всего-навсего тридцати шести лет, однако на лице его уже лежал отпечаток ратных трудов. Насколько в Лубнах жил он по-королевски, настолько во время частых вылазок и походов делил невзгоды простого солдата: ел черный хлеб и спал, поспав на земле войлок; и если большая часть жизни его проходила именно в ратных трудах, то они и отразились на его облике. Во всяком случае, с первого взгляда было ясно, что это внешность человека исключительного. В ней чувствовались железная, негибкая воля и величие, перед которым всякий невольно вынужден был склонить голову. Ясно было, что человек этот знает и свою силу, и свое величие, и, возложив завтра на него корону, он не удивится и не согнется под ее тяжестью. Глаза у князя были большие, спокойные, можно даже сказать, приятные, но казалось, что дремлют в них громы, и всякий знал — горе тем, кто эти громы разбудит. Между прочим, никто не мог выдержать спокойный блеск этого взгляда, и, случалось, послы или бывалые придворные, явившись пред очи Иеремии, терялись и затруднялись слово сказать. И был он на своем Заднепровье подлинным королем. Из канцелярии его шли привилегии и жалованные грамоты: «Мы, божьей милостию князь и господин», и т. д. Немногих тоже и воевод ясновельможных полагал он равными себе. Князья, происходившие от старинных могущественных родов, служили у него в маршалках. Взять хотя бы отца Елены, Василия Булыгу-Курцевича, родословная которого, как поминалось выше, велась от Кориата, а на самом деле от самого Рюрика.

Было в князе Иеремии что-то, что, несмотря на свойственную ему доброжелательность, заставляло людей оставаться на расстоянии. Расположенный всем сердцем к солдатам, он держал себя с ними совершенно по-свойски, с ним же фамильярничать никто не смел. И тем не менее рыцарство, прикажи он кинуться верхом с днепровских круч, сделало бы это, не раздумывая.

От матери-валашки унаследовал он белокожесть, схожую с белизной раскаленного железа, пышущего жаром, и черные, цвета воронова крыла, волосы, которые, по всей почти голове обриты, буйно устремлялись на чело и, остриженные над бровями, наполовину лоб закрывали. Одевался он в польский костюм, но об одежде не очень заботился и лишь по большим праздникам облачался в богатое платье, весь тогда сверкая золотом и драгоценностями. Пан Лонгин несколькими днями позже присутствовал на подобном торжестве. Князь принимал господина Розвана Урсу. Посольские аудиенции происходили всегда в так называемой голубой зале, так как на потолке ее свод небесный купно со звездами кистью гданьчанина Хелма был изображен. Князь, как обычно в таких случаях, восседал под балдахинном из бархата и горностаев на высоком, напоминающем трон, стуле, подножье

которого было оковано позолоченным металлом. Позади князя стояли ксендз Муховецкий, секретарь, маршалок князь Воронич, пан Богуслав Маскевич, а затем пажы и двенадцать одетых на испанский манер драбантов с алебардами; зала же была переполнена рыцарством в роскошных одеждах и уборах. Господин Розван от имени господаря просил князя влиянием своим и наводящим страх именем добиться от хана запрещения буджацким татарам учинять набеги на Валахию, которыми они каждый год ужасный урон и опустошения причиняли; на что князь ответил на превосходной латыни, что буджаки, мол, не очень-то и самому хану послушны, но все-таки, поскольку в апреле ожидается Чауш-мурза, ханский посол, то через него и будет передан хану соответствующий запрос касательно валашских обид. Пан Скшетуский предварительно уже сделал реляцию о своем посольстве и путешествии, а также обо всем, что слышал о Хмельницком и бегстве последнего на Сечь. Князь принял решение перевести несколько полков поближе к Кудаку, по особого значения делу этому не придавал. А раз ничто, казалось, не угрожало покою и могуществу заднепровской державы, в Лубнах начались празднества и увеселения как в честь пребывания посла Розвана, так и по случаю того, что господа Бодзинский и Ляссота торжественно попросили от имени воеводского сына Пшиемского руку старшей княжны Анны, на каковую просьбу получили и от князя, и от княгини Гривельды ответ благоприятный.

Один лишь не вышедший ростом Володыёвский страдал среди всеобщего оживления, а когда Скшетуский попытался ободрить его, ответил:

— Тебе хорошо! Стоит тебе захотеть, и Ануся Борзобогатая тут как тут будет. Уж она очень благосклонно тебя все время вспоминала; я подумал было, чтобы ревность в Быховце *excitate*¹, но теперь вижу, что его задумала она до петли довести и только к тебе одному, пожалуй, нежный в сердце сантимент питает.

— Да при чем тут Ануся! Можешь за ней снова ухаживать — *non prohibeo*². Но о княжне Анне и думать забудь, ибо это все равно, что жар-птицу в гнезде шапкой накрыть.

— Ох, знаю, знаю, что она жар-птица, и от горести поэтому умереть мне, как видно, суждено.

— Ничего, выживешь и тотчас влюбишься; только в княжну Барбару не вздумай, потому что у тебя из-под носа ее другой воеводич утащит.

— Ужели сердце — казачок, которому приказывать можно? Ужели очам запретишь созерцать столь дивное создание, княжну Барбару, вид которой даже зверя дикого взволновать способен?

¹ возбудить (*лат.*).

² не возбраняю (*лат.*).

— Вот те на! — воскликнул пан Скшетуский. — Вижу я, что ты и без моих советов утетишься, но повторяю: вернись к Анусе, ибо с моей стороны никаких помех не будет.

Ануса о Володыёвском, однако, не думала. Зато интриговало, дразнило и злило Анусю равнодушие пана Скшетуского, который, возвратившись после столь долгой отлучки, даже и не взглянул на нее. Поэтому по вечерам, когда князь с приближенными офицерами и дворянами приходил в гостиную княгини развлечься беседою, Ануся, выглядывая из-за спины своей госпожи (княгиня была высокая, а она махонькая), сверлила черными своими глазами заместника, пытаясь угадать причину. Однако взор Скшетуского, а также и мысли пребывали невесь где, а если взгляд его и обращался к девушке, то такой задумчивый и отсутствующий, словно бы поручик глядел не на ту, которой в свое время цел:

Ты жесточе, чем орда,
Corda полонишь всегда!..

«Что с ним?» — спрашивала себя избалованная вниманием любимица всего двора и, топнув маленькой ножкою, принимала решение в этом деле разобраться. Если говорить по совести, в Скшетуского она влюблена не была, однако, привыкнув к поклонению, не могла вынести равнодушия к своей особе и от злости готова была сама влюбиться в нахала.

И вот однажды, спеша с мотками пряжи к княгине, она столкнулась со Скшетуским, выходящим из расположенной рядом спальни князя. Ануся налетела, как вихрь, можно даже сказать — задела его грудью и, сделав поспешный шагок назад, воскликнула:

— Ах! Вы так меня испугали! Здравствуйте, сударь!

— Здравствуйте, панна Анна! Неужели же я такое monstrum¹ и людей пугаю?

Девушка, теребя пальцами свободной руки косу и переступая с ножки на ножку, опустила глаза и, словно бы растерявшись, с улыбкой ответила:

— Ой нет! Это уж нет... вовсе нет... клянусь матушкиным здоровьем!

И она быстро глянула на поручика, но тотчас же опять опустила глаза.

— Может быть, сударь, ты гневаешься на меня?

— Я? А разве панну Анну мой гнев заботит?

— Заботит? Ну нет! Тоже мне забота! Уж не полагаешь ли ты, сударь, что я плакать стану? Пан Быховец куда любезнее...

— Когда так, мне остается только уступить поле боя пану Быховцу и исчезнуть с глаз долой.

— А я разве держу?

И Ануся загородила ему дорогу.

¹ чудовище (лат.).

— Так ты, сударь, из Крыма вернулся? — спросила она.

— Из Крыма.

— А что ты, ваша милость, оттуда привез?

— Пана Подбиятку. Разве панна Анна его не видела? Очень приятный и достойный кавалер.

— Уж наверняка приятнее вашей милости. А зачем он сюда приехал?

— Чтобы панне Анне было на ком чары испытывать. Но я советую братья за дело всерьез, ибо знаю нечто, из-за чего кавалер сей неприступен, и даже панна Анна с носом останется.

— Отчего же это он неприступен?

— Оттого, что не имеет права жениться.

— Да мне что за дело? А отчего он не имеет права жениться?

Скшетуский наклонился к уху девушки, но сказал очень громко и четко:

— Оттого, что поклялся оставаться в непорочности.

— Вот и неумно, сударь! — воскликнула Ануся и мгновенно упорхнула, словно взполошенная пташка.

Однако уже вечером она впервые внимательно пригляделась к пану Лонгину. Гостей в тот день собралось немало, поскольку князь устраивал прощальный прием пану Бодзинскому. Наш литвин, тщательно одетый в белый атласный жупан и темно-голубой бархатный кунтуш, выглядел очень внушительно, тем более что у бедра его вместо палаческого Сорвиглавца висела легкая кривая сабля в золоченых ножнах.

Глазки Ануся назло Скшетускому умышленно поглядывали на пана Лонгина. Наместник бы и не заметил этого, если б Володыёвский не толкнул его локтем и не сказал:

— Попадись я татарам, если Ануся не заигрывает с хмелевой литовской подпоркой.

— А ты ему скажи про это.

— И скажу. Подходящая из них пара.

— Он ее вместо шпильки на жупане приспособит, в самый раз придется.

— Или вместо кисточки на шапке.

Володыёвский подошел к литвину.

— Сударь! — сказал он. — Ты, ваша милость, к нам недавно, а повеса каких поискать.

— Как так, благодетель братушка? Отчего ж?

— Оттого, что лучшей девке из фрауцимера голову вскрыл.

— Сударик мой! — сказал Подбиятка, сложив руки. — Что это ты такое говоришь?

— А ты погляди, как панна Анна Борзобогатая, в которую мы тут все влюблены, за вашей милостью глазками стреляет. Ой, берегись, чтобы она тебя в дураках, как всех нас, не оставила.

Сказав это, Володьёвский повернулся на каблуках и ушел, повергнув пана Лонгина в недоумение. Тот сперва не отважился и поглядеть в сторону Ануси, но спустя некоторое время, как бы невзначай глянув, прямо-таки оторопел. И в самом деле — из-за плеча княгини Гризельды пара горящих глазок глядела на него с любопытством и настойчивостью. «Араге, сатана!»¹ — подумал литвин и, покрывшись, как школяр, румянцем, retirовался в другой конец залы.

Искушение, однако, было велико. Бесенок, выглядывавший из-за княгининой спины, являл собою такой соблазн, глазки так светло сияли, что пана Лонгина словно бы что-то толкало еще разок заглянуть в них. Но тут он вспомнил свой обет, взору его предстал Сорвиглавец, предок Стowejко Подбпята, три отсеченные головы, и ужас охватил его. Он перекрестился и в тот вечер ни разу больше не глянул.

Зато утром следующего дня он пришел на квартиру к Скшетускому.

— Сударь наместник, а скоро ли мы выступаем? Не слышно ли, ваша милость, чего о баталии?

— Что за спех такой? Потерпи, сударь, еще ведь и в часть не записался.

И в самом деле, пан Подбпята не был пока зачислен на место покойного Закревского. Надо было дожидаться, когда истечет квартал, что имело наступить лишь к первому апреля.

Тем не менее спех у него какой-то был, поэтому он расспросы продолжил:

— И никак светлейший князь насчет предмета этого не высказывался?

— Никак. Король вроде бы до конца дней своих не перестанет о войне думать, но Речь Посполитая ее не хочет.

— А в Чигирине поговаривали, что смута казацкая нам грозитя.

— Вижу я, зарок твой житья тебе не дает. Что же касается смуты, то ее до весны не будет, ибо хоть зима и теплая, но зима есть зима. Сейчас только пятнадцатое february², в любой день морозы могут ударить, а казак в поле не пойдет, если окопаться не сможет, потому как за валом сражаются они превосходно, а в поле у них похуже получается.

— Значит, и казаков ждать придется?

— Однако прими во внимание и то, что даже если и найдешь ты во время бунта три подходящих головы, неизвестно, освободишься ли от зарока, ведь одно дело крыжак или турок, а другое дело свои, можно сказать, дети eiusdem matris³.

— О боже праведный! Ой, ты ж мне, ваша милость, задачу

¹ «Отыди, сатана!» (греч.).

² февраля (лат.).

³ той же самой матери (лат.).

задал! От беда-то! Так пускай же мне ксендз Муховецкий томления эти разрешит, а то не будет мне иначе ни минуты покою.

— Разрешит-то он разрешит, ибо человек ученый и в вере крепкий, да только наверняка ничего нового не скажет. *Bellum civile*¹ есть война братьев.

— А ежели смутьянам чужое войско на подмогу придет?

— Тогда действуй. А сейчас я могу посоветовать только одно: жди и сохраняй терпение.

Увы, вряд ли сам пан Скшетуский мог последовать своему совету. Его охватывала все большая тоска, ему наскучили и придворные празднества, и даже лица, прежде столь милые его сердцу. Господа Бодзинский, Ляссота и господин Розван Урсу наконец отбыли, и после их отъезда наступило полное затишье. Жизнь потекла однообразно. Князь был занят ревизией несметного имущества своего и каждое утро запирался с комиссарами, съезжавшимися со всей Руси и Сандомирского воеводства. Так что и учения происходили редко когда. Шумные офицерские пирушки, на которых только и было разговору что о будущих походах, несказанно наскучили Скшетускому, поэтому с нарезным ружьемом на плече уходил он на берег Солоницы, где некогда Жолкевский столь беспощадно Наливайку, Лободу и Кремского разгромил. Следы давней битвы стерлись уже и в памяти человеческой, и на месте самого сражения. Разве что иногда земля извергала из недр своих побелевшие кости да за рекою виднелся вал, насыпанный казаками, за которым так отчаянно оборонялись запорожцы Лободы и Наливайкова вольница. Но и на валу уже густо поднялись заросли. Здесь прятался Скшетуский от придворной суеты и, вместо того чтобы стрелять дичь, предавался воспоминаниям; здесь внутреннему взору его души являлся вызываемый памятью и сердцем образ любимой; здесь в туманах, в шуме камышовых зарослей и в унылой задумчивости округи развенвал он тоску свою.

Но потом пошли обильные, предварающие весну дожди. Солоница сделалась топью, из дому нельзя было и носа высунуть, так что наместник и того утешения, какое находил в одиноких прогулках, лишился. Между тем тревога его росла, и не без оснований. Сперва он полагал, что Курцевичиха с Еленой, если княгине удастся отослать Богуна, сразу же приедут в Лубны, но теперь и эта надежда угасла. От дождей испортились дороги, степь на несколько верст по обоим берегам Сулы стояла огромной непреодолимой трясиной, и оставалось ждать, когда весеннее жаркое солнце испарит влагу и сырость. Все это время Елена вынуждена была находиться под призором, которому Скшетуский не доверял, среди людей неотесанных, диких нравом и неприязненно настроенных к Скшетускому. Правда, ради собственного блага они не станут нарушать слово, так как выхода у них нету;

¹ Гражданская война (лат.).

но кто мог знать, что взбредет им в голову, на что они отважатся, а тем более под нажимом грозного атамана, которого, как видно, они и любили, и наверняка боялись. Он легко мог заставить их отдать девушку; подобные случаи были нередки. Именно так сотоварищ несчастного Наливайки Лобода в свое время заставил пани Поплинскую отдать ему в жены воспитанницу, хотя девушка была родовитой шляхтянкою и всей душой атамана ненавидела. А если то, что рассказывали о несметных богатствах Богуна, было правдой, мог он им и за девушку, и за потерю Разлогов заплатить. А потом что? «Потом,— думал пан Скшетуский,— мне глумливо сообщат, что «дело сделано», а сами сбегут куда-нибудь в литовские или мазовецкие пущи, где до них даже могучая княжеская рука не досягнет». От подобных мыслей Скшетуского трясло как в лихорадке, он рвался, точно волк на цепи, сожалел, что связал себя рыцарским словом, и не знал, как поступить. А был он человеком, неохотно позволявшим случаю властвовать над собой. Натуре его свойственны были предприимчивость и энергичность. Он не ждал подношений от судьбы, но предпочитал брать судьбу за ворот, принуждая ее складываться счастливо,— так что было ему труднее, чем кому-либо другому, сидеть в Лубнах сложа руки.

И он решил действовать. Был у него в услужении Редзян, мелкопоместный шляхтич из Подлясья, шестнадцати лет, плут каких поискать, с которым никто из людей бывалых в сравнение идти не мог; его-то Скшетуский и решил послать к Елене, чтобы разнюхал, что и как. Уже кончился февраль, дожди прекратились, март обещал быть погожим, и дороги должны были несколько подсохнуть. Так что Редзян готовился в путь. Скшетуский снабдил его письмом, бумагой, перьями и склянкой чернил, которые велел беречь пуще глаза, так как помнил, что этого товара в Разлогах не найти. Парнишке было велено, чтобы не открывался, от кого приехал, чтобы говорил, что в Чигирин направляется, а сам внимательно бы ко всему приглядывался и, главное, хорошенько разузнал бы все про Богуна — где, мол, тот находится и что поделывает. Редзяну дважды повторять было не надо, он сдвинул шапку набекрень, свистнул нагайкой и поехал.

Для пана Скшетуского потянулись долгие дни ожидания. Чтобы как-то убить время, он рубился и фехтовал на палках с паном Володыёвским, великим мастером этого дела, или метал в перстень джирид. Еще случилось в Лубнах происшествие, чуть не стоившее наместнику жизни. А было так: медведь, сорвавшись на замковом подворье с цепи, цапнул двух конюших, испугал лошадей пана комиссара Хлебовского, а потом кинулся на наместника, который как раз направлялся из цейхауза к князю, будучи без сабли, а при себе имея только легкий чекан с медным оголовьем. Не избежать бы наместнику верной гибели, когда б не пан Лонгин, который, увидев из цейхауза, что происходит,

схватил свой Сорвиглавец и прибежал на помощь. Пан Лонгин безусловно оказался достойным потомком предка Стovejки, ибо на глазах у всего двора одним махом отхватил медведю башку вместе с лапой, каковому доказательству необычайной силы удивлялся из окна сам князь, пригласивший затем пана Лонгина в покой княгини, где Ануся Борзобогатая так искушала того своими глазами, что назавтра литвин вынужден был пойти к исповеди, а в последующие три дня в замке не показывался, поскольку горячей молитвой отгонял все соблазны.

Прошло дней десять, а Редзян не возвращался. Наш пан Ян от ожидания сильно похудел и столь потемнел с лица, что Ануся пыталась даже разузнать через посредников, что с ним стряслось, а Карбони, доктор княжеский, прописал ему какое-то снадобье от меланхолии. Но иное снадобье было ему нужно, ибо день и ночь думал он о своей княжне, все отчетливей понимая, что не каким-то пустым чувством переполнено его сердце, а великою любовью, которая должна быть удовлетворена, иначе грудь человеческая, как хрупкий сосуд, разорваться может.

Легко себе представить радость пана Яна, когда в один прекрасный день спозаранку на его квартиру явился Редзян, перемороженный, усталый, исхудавший, но веселый и с написанною на лице доброй вестью. Наместник как вскочил с постели, так, подбежавши к нему, схватил его за плечи и воскликнул:

— Письма есть?

— Есть, пане. Вот они.

Наместник выхватил письмо и стал читать. Все эти долгие дни он сомневался, привезет ли ему даже при благоприятнейших обстоятельствах Редзян письмо, потому что не знал, умеет ли Елена писать. Украинный прекрасный пол ничему не учился, а Елена воспитывалась к тому же среди людей темных. Однако еще отец, вероятно, обучил ее этому искусству, ибо начертала она большое письмо на четырех страницах. Правда, не умея выразиться пышно и риторически, бедняжка написала от чистого сердца следующее:

«Уж я вас никогда не позабуду, скорее вы меня прежде, потому как слышала я, что попадаются между вас ветреники. Но раз ты пажика нарочно за столько миль прислал, то, видно, любя я тебе, как и ты мне, за что сердцем благодарным и благодарю. Не подумай тоже, сударь, что это будет противу скромности моей, так тебе об этой любви писать, но ведь лучше уж правду сказать, чем солгать или скрытничать, раз на самом деле в сердце другое. Выспрашивала я еще его милость Редзяна, что ты в Лубнах подельваешь и каковы великодворские обычаи, а когда он мне о красе и дородстве тамошних дам рассказывал, я прямо слезами от большой печали залилася...»

Тут наместник прервал чтение и спросил Редзяна:

— Что же это ты, дурень, рассказывал?

— Все как надо, пане! — ответил Редзян.

Наместник продолжал читать:

«...ибо куда мне, деревенской, равняться с ними. Но сказал мне еще пажик, что ты, ваша милость, ни на какую и глядеть не хочешь...»

— Вот это хорошо сказал! — заметил наместник.

Редзян, по правде говоря, не знал, о чем речь, так как наместник читал письмо не вслух, но сделал умное лицо и значительно кашлянул. Скшетуский же читал далее:

«...и сразу я утешилась, моля бога, чтобы он и далее тебя в таковом благорасположении ко мне удерживал и обоих нас благословил, аминь. Я уж так по вашей милости соскучилась, как по отцу-матери, ведь мне, сироте, грустно на свете, но не с тобою, сударь... Бог видит, что сердце мое чисто, а простоту мою не осуждай, ты мне ее простить должен...»

Далее прелестная княжна сообщила, что выедут они с теткой в Лубны, как только дороги станут получше, и что сама княгиня хочет отъезд ускорить, поскольку из Чигирина доходят вести о каких-то казацких смутах, так что она ждет лишь возвращения молодых князей, которые в Богуслав на конскую ярмарку поехали.

«Ты колдун прямо настоящий, — писала далее Елена, — раз даже и тетку на свою сторону привлечь сумел...»

Наместник усмехнулся, вспомнив колдовство, склонившее на его сторону эту самую тетку. А письмо кончалось уверениями в вечной и верной любви, какую будущая жена к будущему мужу питать обязана, и видно было, что писалось оно действительно от чистого сердца, поэтому, наверно, наместник читал письмо от начала и до конца раз десять, повторяя в глубине души: «Девича моя ненаглядная! Пускай же и господь меня покинет, ежели я оставлю тебя когда-нибудь».

Потом стал он расспрашивать Редзяна.

Бойкий слуга сделал подробный отчет о поездке. Принимали его учтиво. Старая княгиня выспрашивала его про наместника, а узнавши, что Скшетуский — рыцарь первейший и доверенный у князя, да к тому же и человек состоятельный, вовсе обрадовалась.

— Она меня еще спрашивала, — сказал Редзян, — всегда ли его милость слово держит, если что обещает, а я ей на это: «Милостивая государыня! Ежели бы этот конек, на котором я приехал, был бы мне обещан, я б не сомневался, что он моим будет...»

— Ай, плут! — сказал наместник. — Но раз уж ты так за меня поручился, можешь конем владеть. Значит, ты не выдавал себя за другого, а сразу открылся, что от меня?

— Открылся, увидев, что можно, и сразу меня еще лучше приняли, а особенно панна, которая столь прелестная, что другой такой на всем свете не сыщешь. Как узнала, что я от вашей

милости приехал, так прямо и не знала, где меня посадить, и, ежели бы не пост, катался бы я, как сыр в масле. А когда читала письмо, то слезами счастливыми его обливала.

Наместник от радости перезабыл все слова и только спустя некоторое время спросил:

— Про Богуна ничего не узнал?

— Неудобно мне было у барышни или у барыни про то спрашивать, но я коротко сошелся со старым татаринном Чехлой, который хоть и басурман, но слуга барышне верный. Он мне рассказал, что сперва все они досадовали на вашу милость, и очень, но потом образумились, особливо когда сделалось известно, что разговоры про Богуновы сокровища — басни.

— Каким же образом они это узнали?

— А оно, ваша милость, случилось вот как: была у них тяжба с Сивинскими, по каковой обязались они потом деньги выплатить. Как пришел срок, они к Богуну: «Займи!» А он на это: «Добра турецкого, говорит, малость имею, но сокровищ никаких, что имел, говорит, все растратжил». Как услышали они такое, сразу стал он для них поплоше, и сразу расположились они к вашей милости.

— Ничего не скажешь, досконально ты все разведал.

— Мой любезный сударь, ежели бы я про одно узнал, а про другое нет, тогда бы ваша милость мог мне сказать: «Коня ты мне подарил, а арчак не дал». А что вашей милости в коне без арчака?

— Ну, так бери же и арчак.

— Покорнейше благодарю вашу милость. Тут они Богуна в Переяслав и отправили, а я, едва про то узнал, подумал: а почему бы и мне в Переяслав не податься? Будет мною хозяин доволен, меня и в полк скорее запишут...

— Запишут, запишут тебя с нового квартала. Значит, ты и в Переяславе побывал?

— Побывал. Но Богуна не нашел. Старый полковник Лобода болен. Говорят, что вскорости Богун после него полковником станет... Однако там дивные дела какие-то творятся. Казаков горстка всего в хоругви осталась — остальные, сказывают, за Богуном пошли или же на Сечь сбежали, и это, мой сударь, дело важное, потому что там смута какая-то затевается. Я и так, и этак пытался хоть что про Богуна узнать, но сказали мне всего только, что он на русский берег¹ переправился. Эвона, думаю, ежели так, значит, наша барышня от него в безопасности, и вернулся.

— Ну, ты справился изрядно. А неприятности какие-нибудь в дороге были?

— Нет, мой сударь, только есть вот ужасно хочется.

¹ Правый берег Днепра называли русским, левый — татарским. (Примеч. автора.)

Редзян вышел, а наместник, оставшись в одиночестве, снова стал перечитывать письмо Елены и к устам прижимать эти буковки, куда как менее совершенные, чем рука, начертавшая их. Уверенность утвердилась в сердце его, и думал он так: «Дороги подсохнут скоро, послал бы только бог погоду. Курцевичи же, узнав, что Богун голяк, уж точно меня не обманут. Разлоги я им прошу, да еще и своего прибавлю, только бы звездочку мою ясную заполучить...»

И, принарядившись, со светлым лицом, с грудью, переполненной счастьем, пошел он в часовню, чтобы первым делом господу за добрую весть смиренно возблагодарить,

ГЛАВА VI

По всей Украине и по Заднепровью словно бы что зашумело, словно бы предвестья близкой бури дали о себе знать; какие-то слухи странные стали катиться от селения к селению, от хутора к хутору, словно растение, которое осенью ветер по степи гонит и которое в пароде перекаати-полем зовется. В городах шептались о некоей великой войне, правда, никто не знал, кто и с кем собирается воевать. Но безусловно что-то назревало. Лица стали тревожными. Пахарь с плугом неохотно выходил в поле, хотя весна настала ранняя, тихая, теплая и над степью уже давно звенели жаворонки. По вечерам жители селений собирались толпами на больших дорогах и вполголоса переговаривались о страшном и непостижимом. У слепцов, бродивших с лирами и песней, выпрашивали новости. Некоторым по ночам мерещились некие отсветы в небе или мнилось, что месяц, красней обычного, встает из-за лесов. Предсказывались бедствия либо смерть короля — и все было тем более удивительно, что к землям этим, издавна свыкшимся с тревогами, битвами, набегами, страху нелегко было подступиться; видно, какие-то особо зловещие вихри стали носить в воздухе, если тревога сделалась повсеместной.

Тем большая давила духота и тяжесть, что никто не умел нависшую угрозу объяснить. Однако среди недобрых предвестий два безусловно указывали, что и в самом деле следует ждать чего-то нехорошего. Во-первых, невиданное множество дедов-лирников появилось по всем городам и селам, и попадались меж них люди чужие, никому не ведомые, про которых шептались, что они деды ненастоящие. Слоняясь повсюду, они таинственно сулили, что день суда и гнева божьего близок. Во-вторых, низовые стали мертвецки пить.

Второе предвестие было куда как зловеще. Сечь, стиснутая в слишком тесных границах, не могла прокормить всех своих людей; походы бывали нечасто, так что степью казак прожить не мог; оттого-то в мирное время множество низовых ежегодно и разбрелось по местам заселенным. Бессчетно сечевиков было

по всей Украине и даже по всей Руси. Одни панимались в старостовские отряды, другие шинкарили по дорогам, третьи занимались в городах и селах торговлей и ремеслом. Почти в каждой деревне стояла на отшибе хата, в которой жил запорожец. Некоторые заодно с хатой обзаводились еще женой и хозяйством. И запорожец этот, будучи человеком битым и тертым, очень часто становился благословением для деревни, в которой поселился. Не было лучших ковалей, колесников, кожевников, воскобоек, рыбарей или ловчих. Запорожец все умел, за все брался — хоть дом ставить, хоть седло шить. Обычно были это насельники неспокойные, ибо жили житьем временным. Тому, кто намеревался с оружием в руках взыскать приговор, напасть на соседа или себя от возможного нападения защитить, достаточно было кинуть ключ, и молодцы слетались, точно охотие попировать вóроны. Их услугами пользовалась и шляхта, и баре, вечно тяжущиеся друг с другом, но, если подобных okazji не подворачивалось, запорожцы сидели тихо по деревням и в поте лица добывали хлеб насущный.

Продолжалось так иногда год, иногда два, покуда вдруг не разносился слух или о большом каком-нибудь походе, или о походе кого-нибудь из атаманов на татар, на ляхів, на польских бар в валашской земле, и тогда все эти колесники, ковали, кожевники, воскобои бросали мирные занятия свои и для начала ударялись по всем украинским шинкам в беспробудное пьянство.

Пропивши все, что имели, они начинали пить в долг, не а те, що є, але а те, що буде. Ожидаемая добыча должна была оплатить гульбу.

Это поветрие повторялось с таким постоянством, что со временем умудренные здешние люди стали говорить: «Эге, шинки трясутся от низовых — на Украине что-то затевается».

И старосты незамедлительно укрепляли в замках гарнизоны, настороженно ко всему приглядываясь; вельможи собирали дружины, шляхта отсылала жен и детей в города.

И вот по весне той казаки запили, как никогда, без разбору проматывая все нажитое, причем не в одном повете, не в одном воеводстве, но по всей Руси, от края и до края.

Что-то, значит, и вправду назревало, хотя сами низовые, похоже, понятия не имели, что именно. Стали поговаривать о Хмельницком, о его побеге на Сечь, о городских казаках из Черкасс, Богуслава, Корсуня и других городов, сбежавших следом за ним; но поговаривали еще и совсем о другом. Уже много лет ходили слухи о большой войне с басурманами, которую король замышлял, чтобы добрым молодцам была добыча, но ляхи этому противились — так что теперь все слухи перемешались и посеяли в душах человеческих тревогу и ожидание чего-то неслыханного.

Встревоженность эта проникла даже в лубненские стены. На такое закрывать глаза не следовало, и, уж конечно, не сделал

этого князь Черемня. В державе его беспокойство хоть и не переросло в брожение, ибо страх всех сдерживал, но спустя какое-то время с Украины стали доходить слухи, что кое-где холопы выходят из повиновения шляхте, убивают евреев, что силою хотят записаться в реестр — с погаными воевать, и что число беглых на Сечь множится.

Поэтому князь, разослав письма к краковскому правителю, к пану Калиновскому и к Лободе в Переяслав, велел стогнать стада из степей и стягивать войска со сторожевых поселений. Тем временем пришли утешительные известия. Господин великий гетман сообщил все, что знал о Хмельницком, полагая, однако, невозможным, чтобы из этого дела смута какая-нибудь могла возникнуть; господин польный гетман отписал, что «гультайство, по своему обыкновению, точно рой, весною бесится». Один лишь старый хорунжий Зацвильховский прислал ответ, в котором заклинал князя ко всему отнестись серьезно, ибо великая гроза надвигается с Дикого Поля. О Хмельницком же сообщал, что тот из Сечи в Крым послешил — просить у хана помощи. «А как мне из Сечи други доносят, — стояло в письме, — будто там кошевой со всех луговин и речек пешее и конное войско собирает, не толкуя никому, зачем делает так, то полагаю я, что гроза эта обрушится на нас, и ежели случится такое с татарской подмогю, дай боже, чтобы погибель всем землям русским не приключилась».

Князь верил Зацвильховскому больше, чем гетманам, ибо понимал, что на всей Руси никто так не знает казаков и их козней. Поэтому принял он решение собрать как можно больше войска, а пока что обстоятельно разобраться в происходящем.

Однажды утром велел он позвать Быховца, поручика валашской хоругви, и сказал ему:

— Поедешь, сударь, с посольством от меня к пану кошевому атаману на Сечь и вручишь ему это письмо с моею княжескою печатью. А чтобы знал ты, чего там держаться, скажу тебе вот что: письмо это — всего лишь предлог, а цель посольства в голове твоей милости должна оставаться, подмечай все, что у них происходит, сколько войска собрали и собирают ли еще. Особенно же постарайся каких-нибудь тамошних людей на свою сторону привлечь и про Хмельницкого хорошенько все разузнать, где находится и правда ли, что в Крым поехал у татар помощи просить. Ясно?

— Как день.

— Поедешь на Чигирин, но в дороге более одной ночи не отдыхай. По приезде пойдешь к хорунжему Зацвильховскому, дабы снабдил тебя письмами к своим друзьям на Сечи, каковые письма друзьям этим секретно передашь. От них все и узнаешь. Из Чигирина поплывешь в Кудак, поклонись от меня пану Гродзицкому и отдашь ему вот это письмо. Он тебя велит переправить через пороги и предоставит необходимых перевозчиков.

В Сечи, однако, не прохлаждайся, гляди, слушай и спеши обратно, ежели живой останешься, ибо экспедиция эта нелегкая.

— Ваше княжеское сиятельство, можете располагать жизнью моей! Людей много взять?

— Сорок человек сопровождения. Отправись нынче под вечер, а перед отъездом приходи за инструкциями. Важную миссию поручаю я тебе, любезный сударь.

Быховец вышел обрадованный, а в прихожей встретил Скшетуского и нескольких офицеров от артиллерии.

— Зачем звали? — поинтересовались они.

— Мне в дорогу сегодня.

— Куда же? Куда это?

— В Чигирин, а оттуда — дальше.

— Тогда пойдем-ка со мною, — сказал Скшетуский.

И, пришед с ним к себе на квартиру, давай упрашивать Быховца, чтобы тот ему поручение уступил.

— Ежели ты друг, — говорил он, — проси, чего хочешь, коня турецкого, скакуна, не пожалею, только бы поехать, потому как душа моя в те стороны рвется! Денег хочешь — пожалуй, только уступи. Славы особой там не добудешь, потому что прежде того война, если ей суждено быть, начнется — а погибнуть можно. Я ведь знаю, Ануся тебе, как и многим, мила — а уедешь, ее у тебя и отобьют.

Последний аргумент более прочих подействовал на пана Быховца, однако на уговоры он не поддавался. Что скажет князь, если он согласится. Не осерчает ли? Такое поручение — фавор от князя.

Скшетуский тотчас поспешил к князю и попросил немедленно о себе доложить.

Спустя минуту паж сообщил, что князь дозволяет войти.

Сердце стучало в груди наместника, опасавшегося услышать краткое «нет!», после чего пришлось бы на всем поставить крест.

— Что скажешь? — молвил князь.

Скшетуский бросился к его ногам.

— Светлейший княже, я пришел покорнейше умолять, чтобы поездка на Сечь была поручена мне. Быховец по дружбе, может, и уступил бы, потому что мне она важнее жизни, да только он опасается, не будешь ли ты, ваша княжеская светлость, сердит на него.

— Господи! — воскликнул князь. — Да я бы никого другого, кроме тебя, и не послал бы, но показалось мне, что ты поедешь неохотно, недавно столь долгую дорогу проделав.

— Светлейший княже, хоть бы и каждый день был я посылаем, всегда *libenter*¹ в те стороны ездить буду.

Князь остановил на нем долгий взгляд черных своих глаз и, помолчав, спросил:

¹ охотно (лат.).

— Что же у тебя там такое?

Наместник, не умея вынести испытующего взгляда, смешался, словно в чем-то провинился.

— Видно, придется рассказать все как есть,— сказал он,— ибо от пронизательности вашего княжеского сиятельства никакие агапаны¹ утаить не можно; не знаю только — отнесется ли ваша милость с сочувствием к словам моим.

И он стал рассказывать, как познакомился с дочкой князя Василя, как влюбился в нее и как жаждет теперь ее навестить, а по возвращении из Сечи увезти в Лубны, чтобы от казацкого разгула и Богуновых домогательств уберечь. Умолчал он только о махинациях старой княгини, ибо тут связывало его слово. Зато он так стал умолять князя, чтобы функции Быховца ему поручил, что князь сказал:

— Я бы тебе и так поехать дозволил, и людей бы дал, но коль скоро ты столь разумно придумал собственную склонность сердечную с моим поручением согласить, остается мне пойти на встречу.

Сказав это, он хлопнул в ладоши и велел пажу позвать пана Быховца.

Обрадованный наместник припал к руке князя, а тот стиснул в ладонях голову его и велел не падать духом. Он бесконечно любил Скшетуского, дельного воина и офицера, на которого во всем можно было положиться. К тому же меж них существовала связь, какая возникает между подчиненным, всею душою любящим начальника, и начальником, который это знает и чувствует. Возле князя толпилось немало придворных, служивших или угодивших ради собственной корысти, но орлиный ум Иеремии хорошо видел, кто чего стоит. Знал он, что Скшетуский как человек — прозрачнее слезы, а потому ценил его и за преданность платил благодарностью.

С радостью услышал он, что любимец его избрал дочку Василя Курцевича, старого слуги Вишневецких, память о котором была князю тем дороже, чем печальнее.

— Не из неблагодарности ко князю,— сказал он,— не справлялся я о девушке, но потому, что опекуны не бывали в Лубнах, а жалоб никаких я на них не получал, и полагал посему, что они люди достойные. Но уж коли ты мне сейчас о княжне рассказал, я, как о родной, о ней помнить буду.

Скшетуский, слыша такое, не мог не подивиться доброте господина своего, который как бы сам себя упрекал за то, что посреди обширных своих трудов не занялся судьбою дитяти старого солдата и дворянина.

Между тем явился Быховец.

— Любезный сударь,— обратился к нему князь,— слово сказано: желаешь — поезжай, но я прошу, уступи ты ради меня это

¹ тайпы (лат.).

поручение Скшетускому. У него на то есть свои особые резоны, а я уж, сударь, для тебя взамен что-нибудь придумаю.

— Ваше сиятельство,— ответил Быховец,— величайшая это милость от вашего сиятельства, что, имея право приказать, ты полагаешь дело на мое усмотрение. И недостойн был бы я такой милости, не прими я ее с наиболее благодарнейшим сердцем.

— Поблагодарив же своего товарища,— обратился князь к Скшетускому,— и ступай собираться.

Скшетуский стал горячо благодарить Быховца и через несколько часов был готов в дорогу. В Лубнах ему уже давно не сиделось, а поездка соответствовала всем его намерениям. Сперва ему предстояло повидать Елену, а потом, увы, расстаться с нею на долгое время, правда, именно это время и нужно было, чтобы после небывалых дождей дороги стали проезжими для колесного передвижения. Прежде того княгиня с Еленой добраться до Лубен бы не смогли, поэтому Скшетускому оставалось ждать или в Лубнах, или перебраться в Разлоги, что было противно договору с княгиней и, самое главное, возбудило бы подозрения Богуна. В полной безопасности от притязаний последнего Елена могла себя чувствовать только в Лубнах, но, поскольку она была вынуждена долгое время оставаться в Разлогах, лучше всего Скшетускому было уехать, а на обратном пути под охраною княжеского отряда увезти ее с собою. Все таким образом обдумав, наместник торопился с отъездом и, получив от князя инструкции и письма, а деньги на поездку от скарбничего, задолго до наступления ночи пустился в дорогу, прихватив Редзяна и имея при себе сорок верховых из казацкой княжеской хоругви.

ГЛАВА VII

Была уже вторая половина марта. Травы буйно пошли в рост, зацвели перекати-поле, степь закипела жизнью. Наутро пап Скшетуский в челе своих людей ехал словно бы по морю, бегучею волной которого была колеблемая ветром трава. А вокруг бесконечно было радости и весенних голосов: кликов, чиликанья, посвистов, шелканья, трепетания крыл, гудения насекомых; степь звучала лирою, на которой бряцала рука господня. Над головами ездовых ястребы, словно подвешенные крестики, неподвижно стояли в лазури, дикие гуси летели клином, проплывали станицы журавлей; на земле же — гон одичалых табунов: вон мчатся степные кони, видишь, как вспарывают они грудью травы, летят, словно буря, и останавливаются как вкопанные, полукольцом окружая всадников; гривы их разметались, ноздри раздуты, очи удивленные! Кажется — растоптать готовы незваных гостей. Но мгновение — и вдруг срываются с места, и пропадают так же быстро, как примчались, только трава шумит, только цветники мелькают! Топот утихнул, и опять слышна громкая птичья раз-

поголоснца. И все бы, кажется, радостно, но есть какая-то печаль в радости этой, шумливо вроде бы, а пусто,—гей! — а широко, а просторно! Конем не достичь, мыслью не постичь... Разве что печаль эту, безлюдье это, степи эти полюбить и смятенною душою кружить над ними, спать вечным сном в их курганах, голоса степные внимать и самому откликаться.

Стояло утро. Крупные капли сверкали на полыни и бурьяне, свежие дуновения ветра просушивали землю, на которой дожди оставили обширные лужи, разлившиеся озерками и сиявшие на солнце. Отряд наместника медленно продвигался вперед, ибо трудно поспешать, когда лошади то и дело проваливаются по колону в мягкую землю. Наместник, однако, не позволял подолгу отдыхать на могильных буграх — он спешил встретиться и проститься. Этак к полудню следующего дня, проехав полосу леса, увидел он ветряки Разлогов, разбросанные по холмам и ближним курганам. Сердце в груди Скшетуского застучало, как молот. Его не ждуг, никто о его приезде не знает: что скажет она, когда он появится? А воц, воц уже хаты підсусідков, потонувшие в молодых садах вишневых; далее раскиданная деревенька холопей, а еще далее завиднелся и колодезный журавль на господском майдане. Наместник поднял коня и погнал его в галоп. За ним кинулись остальные; так и полетели они по деревне со звоном и криками. Здесь и там селянин показывался из хаты, глядел, крестился: черти не черти, татары не татары. Грязь из-под копыт летит так, что не поймешь, кто скачет. А они доскакали уже до майдана и осадили перед затворенными воротами.

— Эй вы там! Отворяй, кто живой!

На шум, стук и собачий лай прибежали со двора люди. В испуге приникли они к воротам, решив, что на усадьбу напали.

— Кто такие?

— Отворяй!

— Князей дома нету.

— Отворяй же, собачий сын! Мы от князя из Лубец.

Наконец челядь узнала Скшетуского.

— Это ваша милость! Сейчас мы, сейчас!

Ворота отворились, а тут и сама княгиня вышла на крыльцо, воззрившись из-под ладони на гостей.

Скшетуский спрыгнул с коня и, подойдя к ней, сказал:

— Не узнаешь, ваша милость сударыня?

— Ах! Вы ли это, сударь наместник? А я уж думаю, татары напали. Кланяюсь и милости прошу в дом.

— Удивляешься, верно, любезная сударыня,— сказал Скшетуский, когда вошли,— видя меня в Разлогах, а ведь я слова не нарушил. Это князь меня в Чигирин, а затем и далее посылает. Он велел и в Разлогах остановиться, о здоровье вашем справиться.

— Благодарствую его княжескому сиятельству, милостивому

господину и благодетелю нашему. Скоро ли он задумал нас из Разлогов сгонять?

— Князь вообще об этом не помышляет, не зная, что прогнать бы вас не мешало; а я что сказал, тому и быть. Останетесь вы в Разлогах, у меня своего добра хватит.

Княгиня сразу повеселела и сказала:

— Садись же, ваша милость, и пребывай в приятности, как я, видя тебя.

— Княжна здорова? Где она?

— Уж я понимаю, что не ко мне ты приехал, мой кавалер. Здорова она, здорова; от амуров этих девка еще глаже стала. Да я ее тотчас и кликну, а сама приберусь милость — стыдно мне в таком виде гостя принимать.

Одета была княгиня в платье из лянцовой набойки, поверх которого был накинут козук; обута же в яловые сапоги.

Но тут Елена, хоть и непозванная, влетела в горницу, узнав от татарина Чехлы, кто приехал. Вбежав, запыхавшаяся и красная, как вишня, она никак не могла отдышаться, и только глаза ее смеялись счастьем и радостью. Скшетуский кинулся к ней руки целовать, а когда княгиня намеренно вышла, стал целовать в уста, потому что человек он был пылкий. Она же не очень и протривилась, слабей от счастливого восторга.

— А я вашу милость и не ждала, — шептала она, жмурия свои прелестные очи. — Да уж не целуй так, негоже оно.

— Как не целовать, — отвечал рыцарь, — ежели мне и мед не столь сладок? Я уж думал — засохну без тебя; сам князь велел поехать.

— Значит, ему известно?

— Я признался. А он еще и рад был, вспомнив про князя Василя. Эй, видать, опоила ты меня чем-то, дѣвица, ничего и ничего, кроме тебя, не вижу!

— Милость это божья — таковое ослепление твое.

— А помншь, как кречет руки наши соединил? Видно, оно суждено было.

— Помню...

— Когда я в Лубнах с тоски на Солоницу ходил, ты мне словно живая являлась, а руки протяну — исчезаешь. Но теперь никуда ты от меня не денешься, и ничего уже нам больше не помешает.

— Если и помешает, то не по воле моей.

— Скажи, любезен ли я тебе?

Елена опустила очи, но ответила торжественно и четко:

— Как никто другой в целом свете.

— Пускай меня золотом и почестями осыплют, я предпочту эти слова, ибо вижу, что правду ты говоришь, хоть сам не знаю, чем сумел заслужить благосклонность такую.

— Ты меня пожалел, приголубил, вступился за меня и такие слова сказал, каких я прежде никогда не слыхала.

Елена взволнованно умолкла, а поручик снова стал целовать ей руки.

— Госпожою мне будешь, не женой,— сказал он.

И оба замолчали, только он взора с нее не сводил, торопясь вознаградить себя за долгую разлуку. Девушка показалась ему еще красивей, чем раньше. В сумрачной этой горнице, в игре солнечных лучей, разбивающихся в радуги стеклянными репейками окон, она походила на изображения пречистых дев в темных костельных приделах. Но при этом от нее исходила такая теплота и такая жизнерадостность, столько прелестной женственности и очарования являл собою и лик, и весь облик ее, что можно было голову потерять, без ума влюбиться и любить вечно.

— От красы твоей я ослепнуть могу,— сказал наместник.

Белые зубки княжны весело блеснули в улыбке.

— Анна Борзобогатая, наверно, в сто раз краше!

— Ей до тебя, как оловянной этой тарелке до луны.

— А мне его милость Редзян другое говорил.

— Его милость Редзян по шее давно не получал. Что мне та панна! Пускай другие пчелы с цветка того мед берут, там их достаточно жужжит.

Дальнейшая беседа была прервана появлением старого Чехлы, явившегося приветствовать наместника. Он полагал его уже своим будущим господином и поэтому кланяться начал от порога, восточным обычаем, выказывая уважение.

— Ну, старый, возьму с девицей и тебя. Ты ей тоже служи до смерти.

— Недолго уже и ждать, господин! Да сколько жить, столько служить. Нет бога, кроме бога!

— Этак через месяц, как вернусь из Сечи, уедем в Лубны,— сказал наместник, обращаясь к Елене. — А там ксендз Муховецкий с епитрахилью ждет.

Елена обомлела.

— Ты на Сечь едешь?

— Князь с письмом послал. Но ты не пугайся. Персона посла даже у поганых неприкосновенна. Тебя же с княгинею я хоть сейчас отправил бы в Лубны, да вот дороги страшные. Сам испытал, даже верхом не очень проедешь.

— А к нам надолго?

— Сегодня к вечеру на Чигирин двинемся. Раньше прощусь, скорей ворочусь. Княжья служба. Не моя воля, не мой час.

— Прошу откушать, коли налюбезничались да наворковались,— сказала, входя, княгиня. — Ого! Щеки-то у девки пылают, видно, не терял ты времени, пан кавалер! Да чего там, так оно и быть должно!

Она покровительственно похлопала Елену по плечу, и все пошли обедать. Княгиня была в прекрасном настроении. По Богу она уже давно отпечалилась, к тому же благодаря щедрости

наместника все складывалось так, что Разлоги «сип борис, лессис, границибус ет колониис» она могла считать собственностью своей и сыновей своих.

А богатства это были немалые.

Наместник расспрашивал про князей, скоро ли вернутся.

— Со дня на день жду. Сперва серчали они, но потом, обдумав действия твои, очень как будущего родича полюбили, потому, мол, что такого лихого кавалера трудно уже в нынешние мягкие времена найти.

Отобедав, пан Скшетуский с Еленой пошли в вишенник, тянувшийся за майданом до самого рва. Сад, точно снегом, осыпан был ранним цветом, а за садом чернелась дубрава, в которой куковала кукушка.

— Пусть наворожит нам счастье,— сказал пан Скшетуский. — Только нужно спрос спросить.

И, повернувшись к дубраве, сказал:

— Зозуля-рябуля, сколько лет нам с этою вот панной в супружестве жить?

Кукушка тотчас закуковала и накуковала полсотни с лишним.

— Дай же бог!

— Зозули всегда правду говорят,— сказала Елена.

— А коли так, то я еще спрошу! — разохотился наместник.

И спросил:

— Зозуля-рябуля, а много ли парнишек у нас народится?

Кукушка, словно по заказу, тотчас откликнулась и накуковала ни больше ни меньше как двенадцать.

Пан Скшетуский не знал от радости, что и делать.

— Вот пожалуйста! Старостю сделаю, ей-богу! Слыхала, любезная панна? А?

— Ничего я не слыхала,— ответила красная, как вишня, Елена. — О чем спрашивал, даже не знаю.

— Может, повторить?

— И этого не нужно.

В таких беседах и беззаботных шутках, словно сон, прошел их день. Вечером после долгого нежного прощания наместник двинулся на Чигирин.

ГЛАВА VIII

В Чигирине пан Скшетуский застал старого Зацвильховского в великих волнениях и беспокойстве; тот нетерпеливо ждал княжеского посланника, ибо из Сечи приходили вести одна зловещее другой. Уже не вызывало сомнений, что Хмельницкий готовится с оружием в руках расквитаться за свои обиды и отстоять давние казацкие привилегии. Зацвильховскому стало известно, что тот побывал в Крыму у хана, выклянчивая татарской подмоги,

с какою со дня на день ожидался на Сечи. Все говорило за то, что задуман великий от Низовья до Речи Посполитой поход, который при участии татар мог оказаться роковым. Гроза угадывалась все явственней, отчетливее, страшней. Уже не темная, неясная тревога расплзалась по Украине, а повсеместное предчувствие неотвратимой резни и войны. Великий гетман, поначалу не принимавший всего этого близко к сердцу, сейчас перевел свои силы к Черкассам, но главным образом затем, чтобы ловить беглых, так как городские казаки и простонародье во множестве стали убегать на Сечь. Шляхта скапливалась в городах. Поговаривали, что в южных воеводствах имело быть объявленным народное ополчение. Кое-кто, не ожидая обычного в таких случаях королевского указа, отослав жен и детей в замки, направлялся в Черкасы. Несчастливая Украина разделилась на два лагеря: одни устремились на Сечь, другие — в коронное войско; одни были за существующий порядок, другие — за дикую волю; одни намеревались сохранить то, что было плодом вековых трудов, другие вознамерились нажитое это у них отнять. Вскорости и тем и тем суждено было обогреть братские руки кровью собственного тела. Ужасающая распря, прежде чем обрести религиозные лозунги, совершенно чуждые Низовью, затевалась как война социальная.

И хотя черные тучи обложили украинский горизонт, хотя отбрасывали они зловещую мрачную тень, хотя в недрах их все клубилось и грохотало, а громы перекатывались из конца в конец, люди пока не отдавали себе отчета, какая неимоверная разгуливается гроза. Возможно, что отчета не отдавал себе и сам Хмельницкий, пока что славший краковскому правителю, казацкому комиссару и коронному хорунжему письма, полные жалоб и нареканий, а заодно и клятвенных признаний в верности Владиславу IV и Речи Посполитой. Хотел ли он выиграть время или же полагал, что какой-нибудь договор еще может положить конец конфликту — мнения расходились, и только два человека ни на мгновение не обольщались по этому поводу.

Людьми этими были Зацвильховский и престарелый Барабаш.

Старый полковник тоже получил от Хмельницкого послание. Было оно издевательским, угрожающим и оскорбительным. «Со всем Войском Запорожским починаем мы, — писал Хмельницкий, — горячо взывать и молить, дабы в соблюдении были оные привилегии, каковые ваша милость у себя укрывал. А поскольку ты их для собственной корысти и богатств умножения, постольку все Войско Запорожское полагает тебя достойным полковничать над баранами или свиньями, но не человеками. Я же прошу прощения у вашей милости, ежели в чем не угодил в убогом доме моем в Чигирине о празднике св. Миколы и что уехал на Запорожье, не сказавшись и не спросившись».

— Вы только поглядите, судари мои, — говорил Зацвилюховскому и Скшетускому Барабаш, — как глумится он надо мною, а ведь я его ратному делу обучал и, можно сказать, вместо отца был!

— Значит, он со всем войском запорожским привилегий добиваться собирается, — сказал Зацвилюховский. — И война, попросту говоря, будет гражданская, изю всех самая страшная.

На это Скшетуский:

— Видно, спешить мне надо; дайте же, милостивые государи, письма к тем, с кем по приезде следует мне связаться.

— К кошевому атаману есть у тебя?

— Есть. От самого князя.

— Тогда дам я тебе к одному куренному, а у его милости Барабаша есть там сродственник, тоже Барабаш; обо всем и узнаешь. Да только не опоздали ли мы с таковой экспедицией? Князю угодно знать, что там происходит? Ответ простой: недоброе там! Угодно знать, что делать? Совет простой: собрать как можно больше войска и соединиться с гетманами.

— Пошлите же к нему гонца с ответом и советом, — сказал Скшетуский. — А мне так и так ехать, ибо послап и княжеского решения изменить не могу.

— А знаешь ли ты, сударь, что это очень опасная поездка? — сказал Зацвилюховский. — Народ уже столь разошелся, что упасть трудно. Не будь поблизости коронного войска, чернь и на нас бы накинулась. Что же тогда там? К дьяволу в пасть едешь.

— Ваша милость хорунжий! Иона не в пасти даже, но во чреве китовом был, а с божьей помощью цел и невредим остался.

— Тогда езжай. Решимость твою хвалю. До Кудака, ваша милость, доедешь в безопасности, там же решишь, как действовать. Гродзицкий — солдат старый, он тебе и даст верные инструкции. А ко князю я сам, наверно, двинусь; если уж мне сражаться на старости лет, то лучше под его рукой, чем под чьей еще. А пока что байдак или дубас для вашей милости снаряжу и гробов дам, которые тебя до Кудака доставят.

Скшетуский вышел и отправился к себе на квартиру, на базарную площадь в дом князя, намереваясь поскорей закончить приготовления. Несмотря на опасности предстоящей поездки, о которых предупреждал его Зацвилюховский, наместник думал о ней не без удовольствия. Ему предстояло на всем почти протяжении, до самого до Низовья, увидеть Днепр, да еще и пороги; а земли эти представлялись тогдашнему рыцарству заколдованными, таинственными, куда стремилась всякая душа, жадная до приключений. Большинство из проживших всю жизнь свою на Украине не могли похвастаться, что видели Сечь — разве что пожелали бы записаться в товарищество, а желающих сделать это среди шляхты было теперь немного. Времена Самека Зборов-

ского прошли безвозвратно. Разрыв Сечи с Речью Посполитой, начавшийся в эпоху Наливайки и Павлюка, не только не приостановился, но все более углублялся, и приток на Сечь благородного люда, как польского, так и русского, ни языком, ни верою не отличавшегося от низовых, значительно уменьшился. У таких, как Бульги-Курцевичи, находилось немного подражателей; вообще на Низовье и в товарищество вынуждали теперь уйти шляхту неудачи, изгнание, то есть грехи, покаянием не замаливаемые.

Оттого-то некая тайна, непроницаемая, как днепровские туманы, окружала когитистую низовую республику. Про нее баяли чудеса, и пан Скшетуский собственными глазами увидеть их любопытствовал.

Но в то, что оттуда не вернется, он, по правде говоря, не верил. Посол есть посол, да к тому же еще от князя Иеремии.

Размышляя этак, глядел он из окна своего на площадь, и за этим занятием прошел час и второй, как вдруг Скшетускому показалось, что видит он две знакомые фигуры, направляющиеся в Звонецкий Кут, где была торговля валаха Допула.

Он взгляделся. Это были пан Заглоба с Богуном.

Они шли, держа друг друга под руки, и вскорости исчезли в темном входе, над которым торчала метелка, обозначающая корчму и погребок.

Наместника удивило и пребывание Богуна в Чигирине, и дружба его с паном Заглобой.

— Редзян! Ко мне! — крикнул он слугу.

Тот появился в дверях соседней комнаты.

— Слушай же, Редзян: пойдешь вон в тот погребок, видишь, где метелка? Подойдешь к толстому шляхтичу с дыркой во лбу и передашь, что некий человек хочет видеть его по неотложному делу. А ежели спросит, кто, не говори.

Редзян исчез, и через какое-то время наместник увидел его на майдане в обществе пана Заглобы.

— Приветствую тебя, сударь! — сказал Скшетуский, когда шляхтич возник на пороге. — Узнаешь ли меня?

— Узнаю ли? Чтоб меня татаре на сало перетопили и свечек из него Магомету понаставили, если не узнаю! Ты же, ваша милость, несколько месяцев назад Чаплинским двери у Допула отворял, что мне особенно понравилось, ибо я из темницы в Стамбуле освободился таким же образом. А что подельвает господин Сбейнабойка герба Сорвиштанец, а также его непорочность и меч? Все ли еще садятся ему на голову воробьи, за сухое дерево его принимая?

— Пан Подбиятка здоров и просил вашей милости кланяться.

— Богатый шляхтич, но глупый ужасно. Ежели он отсечет такие же три головы, как его собственная, то засчитывать просто

нечего, потому что посечет он трех безголовых. Тьфу! Ну и жара, а ведь только март еще на дворе! Аж горло пересыхает.

— У меня мед изрядный с собою, может, чарку отведаешь, ваша милость?

— Дурак отказывается, когда умный угощает. Мне цирюльник как раз мед прописал принимать, чтобы меланхолию от головы оттянуло. Тяжелые времена для шляхты наступают: *dies irae et calamitatis*¹. Чаплинский со страху чуть живой, к Допулу не ходит, потому как там верхушка казацкая пьет. Я один и противостою опасности, составляя оным полковникам компанию, хотя полковничество их дегтем смердит. Добрый мед!.. И правда отменный. Откуда это он у тебя, ваша милость?

— Из Лубен. Значит, много тут казацкого начальства?

— Кого только нет! Федор Якубович тут, старый Филон Дядя тут, Данила Нечай тут, а еще любимчик ихний, Богун, который друг мне стал, когда я его перенил и пообещал усыновить. Все они теперь в Чигирине смердят и соображают, в какую сторону податься, потому что пока не смеют в открытую за Хмельницким пойти. А если не пойдут, в том моя заслуга.

— Это как же?

— А я пью с ними и на сторону Речи Посполитой перетягиваю. Верными уговариваю оставаться. Ежели король меня старостой не сделает, то считай, сударь мой, что нету правды и благодарности за службу в этой нашей Речи Посполитой и лучше оно куриц на яйца сажать, чем головой рисковать *pro publico bono*².

— Лучше, ваша милость, рисковать, на нашей стороне сражаясь. Но сдается мне, что ты деньги попусту тратишь на угощенье, ибо таким путем их на нашу сторону не склонить.

— Я? Деньги трачу? За кого ты, сударь, меня принимаешь? Разве не довольно, что я запросто держу себя с хамами, так еще и платить? Фавором я полагаю позволение платить за свою персону.

— А Богун этот что тут делает?

— Он? У него, как и у прочих, ушки на макушке насчет новостей из Сечи. За тем и приехал. Это же любимец всех казаков! Все с ним, точно потаскухи, заигрывают, потому что перяславский полк за ним, а не за Лободой пойдет. А кто, к примеру, может знать, к кому реестровые Кречовского перекинутся? Брат низовым Богун, когда нужно идти на турка или татарву, но сейчас осторожничают он ужас как, ибо мне по пьяному делу признался, что влюблен в шляхтянку и с нею пожениться хочет; оттого и некстати ему перед женитьбою с холопами брататься, оттого он ждет, чтобы я его усыновил и к гербу допустил... Ай да мед! Ай хорош!

¹ день гнева и смятения (лат.).

² ради общественного блага (лат.).

— Налей же себе, ваша милость, еще.

— Налью, налью. Не в кабаках такой продают.

— А не интересовался ли ты, сударь, как зовут эту самую шляхтянку, на которой Богун жениться собрался?

— А на кой мне, досточтимый наместник, ее имя! Знаю только, что когда она Богуну рога наставит, то будет госпожой оленьихой величаться.

Наместник почувствовал огромное желание дать пану Заглобе по уху, а тот, ничего не заметив, продолжал:

— Ох и красавчик был я смолоду! Рассказал бы я тебе, за что муки в Галате принял! Видишь дырку во лбу? Довольно будет, если скажу, что ее мне евнухи в серале тамошнего паша пробили.

— А говорил, что пуля разбойничья!

— Говорил? Правду говорил! Всякий турчин — разбойник. Господь не даст соврать!

Дальнейшая беседа была прервана появлением Зацвилеховского.

— Ну, сударь наместник, — сказал старый хорунжий, — байдаки готовы, гребцы у тебя люди верные; отправляйся же с богом, хоть сейчас, если желаешь. А вот и письма.

— Тогда я велю людям идти на берег.

— В какие края ты, ваша милость, собрался? — поинтересовался пан Заглоба.

— На Сечь.

— Горячо тебе там будет.

Однако наместник предупреждения этого уже не слышал, потому что вышел из дому на подворье, где при конях находились казаки, совсем уже готовые в дорогу.

— В седло и к берегу! — скомандовал пан Скшетуский. — Лошадей перевести на челны и ждать меня.

В доме тем временем старый хорунжий сказал Заглобе:

— Слышал я, что ты, сударь, с полковниками казацкими якшаешься и пьянствуешь с ними.

— Pro publico bono, ваша милость хорунжий.

— Быстрый умом ты, сударь, и его у тебя поболее, чем стыда. Хочешь казаков in oculis¹ расположить к себе, чтобы, если победят, друзьями твоими были.

— А что ж! Мучеником турецким будучи, казацким стать не тороплюсь, и нет в том ничего удивительного, ибо два грибочка доведут до гробочка. В рассуждении же стыда, так я никого не приглашаю испить его со мною — сам же изопью. и, даст бог, он мне не меньше меда вот этого по вкусу придется. Заслуга — она, что масло, наверх всплывет.

В этот момент вернулся Скшетуский.

— Люди уже выступили, — сказал он.

¹ за кубками (лат.).

Зацвилюховский налил по чарке.

— За счастливую поездку!

— И благополучное возвращение! — добавил пан Заглоба.

— Плыть вам легко будет, вода безбрежная.

— Садитесь же, милостивые государи, допьем. Невелик бо-
чонок-то.

Они сели и разлили мед.

— Интересные края повидаешь, ваша милость, — говорил Зацвилюховский. — Уж ты пану Гродзицкому в Кудаке от меня поклонись! Вот солдат так солдат! На самом краю света сидит, вдали от присмотра гетманского, а порядок у него, дай боже такому во всей Речи Посполитой быть. Я-то знаю и Кудак, и пороги. Бывало, туда чаще ездили, и тоска прямо за душу берет, как подумаешь, что все это прошло, минуло, а теперь...

Тут хорунжий подпер седую свою голову и глубоко задумался. Сделалось тихо, слышалось только покание в воротах: это последние люди Скшетуского выходили на берег к байдакам.

— Боже мой! — молвил, очнувшись от раздумий Зацвилюховский. — Хоть распри и не стихали, а раньше лучше было. Как сейчас помню, под Хотинном, двадцать семь лет тому назад! Когда гусары под командой Любомирского шли в атаку на янычар, так молодцы в своем окопе шапки подкидывали и кричали Сагайдачному, аж земля тряслася: «Пусти, батьку, з ляхами в мирати!» А сейчас? Сейчас Низовье, которому форпостом христианства надлежит быть, впускает татар в пределы Речи Посполитой, чтобы накинуться на них, когда будут с награбленным возвращаться. Чего там! хуже еще: Хмельницкий с татарами снюхивается, чтобы христиан за компанию убивать...

— Выпьемте же с горя! — прервал Заглоба. — Ай мед!

— Дай же, господи, умереть поскорее, чтобы ушибы не видеть, — продолжал старый хорунжий. — Взаимные грехи придется кровью смывать, но не будет это кровь искупления, ибо брат брата убивать станет. Кто на Низовье? Русны. А кто в войске князя Яремы? Кто в шляхетских отрядах? Русины. А в коронном стане разве мало их? А я сам кто такой? Эй, злосчастная Украина! Крымские нехристи закуют тебя в цепи, и на турецких галерах грести будешь!

— Да не убивайся так, сударь хорунжий! — сказал Скшетуский. — А то нас прямо слеза прошибает. Может, еще и солнышко взойдет!

Но солнце-то как раз заходило, и последние лучи его лежали красными отсветами на белой голове хорунжего.

В городе звонили к вечерне и к похвальной.

Они вышли. Пан Скшетуский отправился в костел, пан Зацвилюховский в церковь, а пан Заглоба к Допулу в Звонецкий Кут.

Уже совсем стемнело, когда все трое снова сошлись у пристани на берегу Тясмина. Люди Скшетуского сидели по байдакам. Весельщики еще перетаскивали груз. Холодный ветер тянул в сторону недалекого устья, где река впадала в Днепр, и ночь собиралась быть не очень погожей. При свете огня, пылавшего на берегу, вода в реке кроваво поблескивала и, казалось, с неимоверной стремительностью уносилась куда-то в неведомую тьму.

— Ну, счастливого пути! — сказал хорунжий, сердечно пожмая руку молодому человеку. — Держи, ваша милость, ухо остро.

— Уж постараюсь. Даст бог, скоро свидимся.

— Теперь, наверное, в Лубнах или в княжеском войске.

— Значит, ты, ваша милость, окончательно к князю собрался?

— А что ж? Война так война!

— Оставайся же в добром здравии, сударь хорунжий.

— Храни тебя бог!

— *Vive vaeque!*¹ — кричал Заглоба. — А ежели вода аж до Стамбула тебя, сударь, донесет, кланяйся султану. А нет — так черт с ним!.. Ох и отменный был медок!.. Брр! А тут не тепло!

— До свиданьица!

— До скорого!

— Помогай вам бог!

Заскрипели весла, плеснули водой, и байдаки отплыли. Огонь на берегу стал быстро удаляться. Долго еще видел Скшетуский внушительную фигуру хорунжего, освещенную пламенем костра, и необъяснимая печаль стеснила внезапно грудь его.

Несет челны вода, несет, да только уносит от благожелательных сердец, от любимой и от родных сторон, уносит неумолимо, как судьба, в стороны дикие, во тьму...

Из тясминова устья выплыли на Днепр.

Ветер свистел, весла издавали однообразный и печальный звук. Весельщики затянули песню:

Гей, то не пили пилили,
Не тумани уставали.

Скшетуский закутался в бурку и улегся на постелю, устроенную для него солдатами. Он стал думать об Елене, о том, что она все еще в Лубнах, что Богун остался, а он вот уехал. Опасения, недобрые предчувствия, тревога слетелись к нему, точно вороны. Он попытался было совладать с ними, но устал, мысли его начали путаться, странно как-то смешались с пошвистом ветра, с плеском весел, с песнями рыбаков, и он уснул.

¹ Живи и будь здоров! (лат.)

Наутро пан Скшетуский проснулся бодрым, здоровым и повеселевшим. Погода стояла чудная. Широко разлившаяся вода морщилась мелкой рябью от легкого и теплого ветерка.

Берега, сокрытые туманом, сливались с поверхностью вод в одну неоглядную равнину. Редзян, проснувшись и протерев глаза, даже испугался. Он удивленно поглядел по сторонам и, не увидев нигде берега, сказал:

— Господи! Мой сударь, неужто мы на море выплыли?..

— Это такая река широкая, не море,— ответил Скшетуский,— а берег увидишь, когда туман рассеется.

— Я так полагаю, что вскорости нам и в Туретчину ехать придется?

— И поедем, коли велят. А погляди-ка: мы тут не одни...

В обозримом пространстве видать было более десятка дубасов, или тумбасов, и узких черных казацких челнов, обшитых тростником и в обиходе называемых чайками. Часть этих суденышек плыла по течению, сносимая быстрою водой, часть — трудолюбиво взбиралась вверх по реке, понуждаемая веслами и парусом. Одни везли в побережные города рыбу, воск, соль и сушеные вишни, другие возвращались из мест населенных, груженные запасами провианта для Кудака и товарами, пользовавшимися спросом на Крамном базаре в Сечи. Днепровские берега за устьем Псла были уже совершенно пустыньны, и лишь кое-где по ним белелись казацкие зимовники; река была как бы большою дорогою, связывавшей Сечь с остальным миром, потому и движение по ней было довольно значительно, особенно когда полая вода облегчала судоходство и когда даже пороги, исключая Ненасытец, делались для судов, плывущих вниз по реке, преодолимыми.

Наместник с любопытством приглядывался к речной этой жизни, а тем временем челны его быстро устремлялись к Кудаку. Туман поредел. Над головами носились тучи птиц: пеликанов, диких гусей, журавлей, уток, чибисов, кроншнепов и чаек; в прибрежных камышах стоял такой гвалт, такой плеск воды и шум крыльев, что казалось, происходят там птичьи сеймы или побоища.

За Кременчугом берега сделались ниже и открытее.

— Поглядите-ка, ваша милость! — внезапно воскликнул Редзян, — вроде оно солнце жжет, а на полях снегу полно.

Скшетуский взглянул — и действительно, куда ни достигал взор, некий белый покров блистал в солнечных лучах по обе стороны реки.

— Эй, набольший! А что это там белеет? — спросил он старшего лодочника.

— Вишни, пане! — ответил набольший.

И правда, были это вишневые леса, состоящие из карликовых деревьев, которыми густо поросли оба берега за устьем Псла. Плоды этих вишенников, сладкие и крупные, составляли по осени корм птицам, зверям и заплутавшим в этой глухомани людям, а также были предметом торговли, отвозимым на байдаках до самого Кнева и далее. Сейчас леса стояли в цвету. Чтобы дать отдохнуть гребцам, подошли к берегу, и наместник с Редзяном высадились, желая поближе разглядеть эту заросль. Их окутал такой пьянящий аромат, что просто нечем было дышать. Без счета лепестков уже осыпали землю. Местами деревца составляли непроходимую чащу. Между вишен обильно рос и дикий карликовый миндаль, весь в розовых цветах, издающих совсем уже сильный запах. Миллионы шмелей, пчел и ярких бабочек носились над этим пестрым цветочным морем, конца и края которому не было видно.

— Чудеса, пане, чудеса! — говорил Редзян. — И отчего здесь люди не селятся? Зверя тут, как я погляжу, тоже хватает.

Меж вишневых кустов прыскали русаки и беляки, а также бесчисленные стайки больших голубоногих перепелов, каковых несколько Редзян подстрелил из штуцера, но, к великому своему огорчению, узнал потом от наибольшего, что мясо этих птиц ядовито.

На мягкой земле видны были следы оленей и сайгаков, а издалека доносились звуки, напоминавшие похрюкивание вепрей.

Дорожные ваши, нагнавшись и отдохнув, двинулись дальше. Берега делались то высокими, то плоскими, открывая взору дивные дубравы, леса, урочища, курганы и привольные степи. Окрестности представлялись столь великолепными, что Скшетульский невольно задавал себе Редзянов вопрос: отчего здесь люди не селятся? Увы, для этого необходимо было, чтобы еще какой-нибудь Иеремия Вишневецкий взял под свою руку эти пустоши, благоустроил их и оборонил от покусительства татар и низовых. Местами река образовывала рукава, излучины, заливала яры, пенной волной била в прибрежные утесы и совершенно заливала темные пещеры в скалах. В таких пещерах и рукавах устраивались тайники и убежища. Устья рек, заросшие лесом тростников, очерета и камыша, изобиловали всяческой птицей; словом, мир дикий, местами обрывистый, местами низинный, совершенно безлюдный и таинственный открылся взорам путешественников наших.

Плаванье становилось докучным, так как из-за теплой погоды появились тучи кусачих комаров и разных неведомых в сухой степи насекомых; некоторые из них были толщиной с палец, и после их укуса кровь бежала струйкой.

Вечером приплыли к острову Романовка, огни которого завиднелись еще издалека, и остановились там на ночлег. У рыбаков, прибежавших поглядеть на отряд наместника, рубахи, лица и руки были густо смазаны дегтем для защиты от насекомых.

Были это люди грубого нрава и дикие; они во множестве съезжались сюда по весне ловить и вялить рыбу, которую затем отвозили в Чигирин, Черкассы, Переяслав и Киев. Занятие это было нелегкое, зато выгодное из-за обилия рыбы, которая летом становилась для этих мест даже бедствием, подыхая от недостатка воды в старицах и так называемых тихих куточках и заражая тлением воздух.

От рыбаков наместник узнал, что низовые, рыбачившие тут, уже несколько дней как покинули остров и поехали по призыву кошевого атамана на Низовье. Кроме того, во всякую ночь с острова видны были костры, которые жгли в степи спешившие на Сечь беглые. Рыбакам было известно, что готовится поход «на ляхів», и они это вовсе не скрывали от наместника. Скушетуский поневоле подумал, что его экспедиция и в самом деле, кажется, запоздала, и похоже, прежде чем доберется он до Сечи, полки молодцев двинутся на север; однако ему велено было ехать, и, как исправный солдат, он не рассуждал, намереваясь достичь хоть бы и самое сердце запорожского стаба.

Назавтра с утра отправились дальше. Миновали чудный Тарентский Рог, Сухую Гору и Конский Острог, известный своими трясынами и множеством гадов, каковые его непригодным для жилья делали. Здесь уже все: и дикость округи, и торопливость течения — предвещало близость порогов. Но вот на горизонте увиделась Кудачья башня. Первый этап путешествия был закончен.

Однако в тот вечер наместник в замок не попал, ибо у пана Гродзицкого после объявления перед закатом вечернего пароля из замка никто не выпускался и в замок никого не пускали; пусть бы хоть сам король приехал, ему пришлось бы ночевать в Слободке, расположенной перед валом.

Именно так поступил и наместник. Ночлег был не очень-то удобный, потому что мазанки в Слободке, которых насчитывалось около шестидесяти, были такие крошечные, что в некоторые приходилось вползать на четвереньках. Других строить не стоило: крепость при каждом татарском набеге сжигала строения дотла, чтобы не создавать нападающим прикрытия и безопасных подступов к валам. Проживали в этой Слободке люди «захожи», то есть приблудившиеся из Польши, Руси, Крыма и Валахии. Каждый тут верил в своего бога, но до этого никому не было дела. Землю пришлые люди не пахали из-за опасности от Орды, кормились рыбой и привозным с Украины хлебом, пили просяную палявку, занимались ремеслами, за что их в замке очень ценили.

Наместник глаз не сомкнул из-за невыносимого смрада конских шкур, из которых в Слободке выделявали ремни. На зорьке следующего дня, едва прозвонили и протрубили побудку, он сообщил в замок, что прибыл в качестве княжеского посла и просит его принять. Гродзицкий, у которого еще был свеж в памяти визит князя, вышел навстречу собственной персоной. Был

это пятидесятилетний человек, одноглазый, точно циклоп, угрюмый, ибо, сидя в глухомани на краю света и не видя людей, одичал, а обладая безграничной властью, исполнился суровости и чувства собственного достоинства. Лицо его было обезображено оспой, а также изукрашено сабельными шрамами и метинами от татарских стрел, белевшими на темной коже. Однако служака он был верный, сторожкий, точно журавль, и глаз с татар и казаков не спускал. Пил он только воду, спал не более семи часов, часто вскакивая среди ночи проверить, не дремлет ли стража на валах, и за малейший проступок незамедлительно казнил провинившихся. К казакам доброжелательный, хоть и грозный, он завоевал их уважение. Когда случался зимой на Сечи голод, Гродзицкий помогал хлебом. В общем, был это русин покроя тех, кто некогда с Пшецлавом Ланцкоронским и Самеком Зборовским в степи хаживали.

— Выходит, ты, сударь, на Сечь едешь? — спросил он Скшетуского, предварительно проведя его в замок и от души угостив.

— На Сечь. Какие, ваша милость комендант, у тебя оттуда новости?

— Война! Кошевой атаман со всех луговин, речек и островов людей созывает. С Украины беглые тянутся, которым я мешаю, как могу. Вбйска там собралось тысяч тридцать, а может, и поболее. Когда же они на Украину двинутся и к ним городовые казаки с чернью присоединятся, будет их сто тысяч.

— А Хмельницкий?

— Со дня на день из Крыма с татарами ожидается. Может, уже прибыл. Сказать по совести, зря ты, сударь, на Сечь желаете ехать, ибо вскорости тут их дожدهшься. Кудаки они не мигнут и в тылу его не оставят, это точно.

— А ты отобьешься, ваша милость?

Гродзицкий угрюмо глянул на гостя и ответил отчетливо и спокойно:

— А я не отобьюсь...

— Это как же?

— Пороху у меня нету. Челнов двадцать послал, чтобы мне хоть сколько прислали, — и не шлют. Не знаю — перехвачены ли посланные или у самих там нехватка; знаю только, что до сих пор не прислали. А моего хватит недели на две — и все. Будь у меня сколько надо, я бы скорее Кудаки и самого себя взорвал, но казацкая нога сюда бы не ступила. Велено мне тут сидеть — сижу, велено держать ухо востро — держу, сказано зубы показывать — показываю, а если сгинуть придется — раз мати родила — и на это готов.

— А сам ты, ваша милость, не можешь пороху приготовить?

— Считаю уже два месяца запорожцы селитру ко мне не пропускают, а ее с Черного моря возить нужно. Все к одному. Что ж, и погибну!

— Нам с вас, старых солдат, пример бы брать. А если б тебе самому, ваша милость, за порохом двинуться?

— Любезный сударь, я Кудак оставить не могу и не оставлю: здесь была моя жизнь, здесь и смерть моя будет. Да и ты, сударь, не рассчитывай, что на брашна и обильные пиры едешь, каковыми обычно послов принимают, или же что тебя там неприкосновенность посольская убережет. Они даже собственных атаманов убивают, и, пока я тут, не упомяну, чтобы хоть кто из атаманов своей смертью умер. Погибнешь и ты.

Скшетуский молчал.

— Вижу я, что дух в твоей милости слабнет. Так что лучше не езд.

— Досточтимый комендант! — с гневом ответил наместник. — Придумай же что-нибудь пострашнее меня запугать, ведь то, что ты говоришь, слышал я уже раз десять, а коли ты не советуешь мне ехать, я понимаю это так, что сам ты на моем месте не поехал бы; рассуди же в таком случае, пороху ли тебе только или еще отваги для обороны Кудака недостает.

Гродзицкий, вместо того чтобы осерчать, глянул на наместника благосклоннее.

— Зубастая щука! — буркнул он по-русински. — Извиняй, ваша милость. По ответу твоему вижу я, что не уронишь ты *dignitatem*¹ княжеского и шляхетской чести. Дам я тебе посему пару чаек, ибо на байдаках пороги не пройдешь.

— Об этом и я тоже намеревался просить вашу милость.

— Мимо Ненасытца вели их тащить волоком, ибо хоть вода и высокая, но там никогда проплыть невозможно. Разве что какая-нибудь маховья лодчонка проскочит. А когда окажешься на низкой воде, будь настороже и помни, что железо со свинцом красноречивее слов. Там уважают только смелых людей. Чайки назавтра будут готовы; я лишь велю на каждой второе кормило поставить — одним на порогах не обойдешься.

Сказав это, Гродзицкий вывел наместника из жилья, чтобы познакомить его с замком и внутренней службой. Везде соблюдался образцовый порядок и послушание. Часовые чуть ли не вплотную друг к другу день и ночь караулили на валах, непрерывно укрепляемых и подправляемых пленными татарами.

— Каждый год на локоть валы подсыпаю, — сказал Гродзицкий, — и они уже столь высоки, что, имея я довольно пороху, сто тысяч мне ничего не сделают, но без пальбы я не продержусь, если штурмовать будут.

Фортиция действительно была неодолима: кроме пушек, ее защищали днепровские кручи и неприступные скалы, отвесно уходящие в воду; ей даже большой гарнизон был не пужен. В замке и насчитывалось не более шестисот человек, но зато солдат отборнейших, вооруженных мушкетами и пищалями.

¹ достоинства (лат.).

Днепр, протекая в том месте стиснутым руслом, был столь узок, что стрела, пущенная с вала, улетала далеко на другой берег. Замковые пушки господствовали над обоими берегами и над всею окрестностью. Кроме того, в полумиле от крепости стояла высокая башня, с коей на восемь миль вокруг было видно, а в ней находилась сотня солдат, которых Гродзицкий всякий день навещал. Они-то, заметив что-нибудь в округе, тотчас давали знать в замок, и тогда в крепости били в колокола, а весь гарнизон вставал в ружье.

— Недели не проходит, — рассказывал пан Гродзицкий, — без тревоги, потому что татары, как волки, стаями по несколько тысяч тут слоняются; мы же их из пушек бьем, как умеем, а иногда табуны диких лошадей дозорные за татар принимают.

— И не осточертело вашей милости сидеть в такой глухомани? — спросил Скшетуский.

— Дай мне место в покоях королевских, не променял бы. Я отсюда поболее вижу, чем король из окошка своего в Варшаве.

И действительно, с вала открывался необозримый степной простор, казавшийся сейчас сплошным морем зелени; на севере — устье Самары, на юге — весь путь днепровский: скалы, обрывы, леса, — вплоть до кипени второго порога, Сурского.

Под вечер побывали еще и в башне, ибо Скшетуский, впервые павестив эту затерянную в степях фортецию, всем интересовался. Между тем в Слободке готовились для него чайки, оборудованные с носа вторым кормилом для лучшей управляемости. Назавтра с утра наместнику предстояло отплыть. В течение ночи, однако, он почти не ложился, обдумывая, как надлежит поступить в предвидении неминуемой гибели, которою грозило посольство в страшную Сечь. Хотя жизнь и улыбалась ему, ведь был он влюблен и молод, а жить ему предстояло с любимой, все равно ради жизни он не мог поступиться честью и достоинством. Еще подумал он, что вот-вот начнется война, что Елена, ожидая его в Разлогах, может оказаться в сердце чудовищного пожара, беззащитная против домогательств не только Богуна, но и разгулявшегося озверелого сброда, и мучительная тревога за нее терзала ему сердце. Степь, верно, уже подсохла, уже наверняка можно было из Разлогов двинуться в Лубны, а он сам же наказал Елене и княгине ждать своего возвращения, не предполагая, что гроза разгуляется так скоро, не зная, чем грозит ему поездка на Сечь. Вот и ходил он теперь туда-назад по замковой комнате, тер подбородок и ломал руки. Что предпринять? Как поступить? Мысленно уже видел он Разлоги в огне, окруженные воюющей чернью, более на бесов, чем на людей, похожею. Собственные его шаги отдавались угрюмым эхом под сводами, а ему казалось, что это злобные силы идут за Еленой. На валах протрубили гасить огни, а ему мерещилось, что это отголоски Богунова рога, и скрежетал он зубами, и за рукоять сабли хватался. Ах, зачем напросился он в эту поездку и Быховца от нее избавил!

Волнение хозяина заметил пан Редзян, спавший у дверей, а посему встал, протер глаза, подправил факелы, торчавшие в железных обручах, и стал крутиться по комнате, желая привлечь внимание Скшетуского.

Однако наместник, совершенно погруженный в горестные свои раздумья, продолжал расхаживать, будя шагами уснувшее эхо.

— Ваша милость! А ваша милость!.. — сказал Редзян.

Скшетуский поглядел на него невидящим взглядом и вдруг как бы очнулся.

— Редзян, ты смерти боишься? — спросил он.

— Кого? Как это смерти? Что это вы, сударь, говорите?

— Кто на Сечь едет, тот не возвращается.

— Так чего же вы тогда, ваша милость, едете?

— Мое дело. Ты в это не мешайся. Но тебя мне жаль, ты еще мальчишка, и хотя плут, но там плутнями немногого добьешься. Возвращайся-ка в Чигирин, а потом в Лубны.

Редзян принялся чесать в затылке.

— Я, мой сударь, смерти ой как боюсь, ведь кто ее не боится, тот бога не боится — его воля упасти или умерить, но раз уж вы, сударь, добровольно на смерть идете, так это вашей милости грех будет, господский; не мой, не слуги; потому я вашу милость и не оставлю. Я ж не холопского звания, а шляхтич, хотя и бедный, и самолюбие тоже имею.

— Знаю я, что ты верный слуга, однако скажу тебе вот что: не поедешь по доброй воле, поедешь по приказу. Другого выхода нету.

— А хоть убейте, ваша милость, не поеду. Что же это ваша милость себе думает, нуда я какой или кто? Выходит, я хозяина на погибель выдать должен?

Тут Редзян, прижав к глазам кулаки, принялся в голос реветь, из чего пан Скшетуский понял, что таким путем его не проймешь, а жестко приказывать не хотел, так как ему было паренька жаль.

— Слушай, — сказал он, — никакой такой помощи ты мне оказать не сможешь, я ведь тоже добровольно голову под топор класть не стану, но зато отвезешь в Разлоги письма, которые для меня самой жизни важней. Скажешь там ее светлости и князьям, чтобы тотчас же, без малейшего промедления, барышню в Лубны отвезли, иначе бунт их врасплох застанет. Сам же и присмотришь, чтобы все, как надо, было сделано. Я тебе важную функцию доверяю, друга достойную, не слуги.

— Пускай ваша милость кого другого пошлет, с письмом всякий поедет.

— А кто у меня тут есть доверенный? Обалдел ты, что ли? Еще раз тебе говорю, спаси ты мне жизнь хоть дважды, а такой службы не сослужишь; я же извелся просто, думая, что с ними станется, и от горя меня лихорадит даже.

— О господи! Придется, видно, ехать, только мне так жаль вашу милость, что подарил мне ваша милость даже этот пояс крапчатый, я бы и то не утешился.

— Будет тебе пояс, только исполни все как следует.

— Не надобно мне и пояса, лишь бы ваша милость ехать с собою позволила.

— Завтра отправишься на чайке, которую Гродзицкий посылает в Чигирин, оттуда, не мешкая и не отдыхая, двинешься прямо в Разлоги. Там ни барышне, ни княгине ничего не говори, что мне что-то грозит, проси только, чтобы сразу, хоть бы даже верхами, хоть бы безо всяких узлов, ехали в Лубны. Вот тебе кошель на дорогу, а письма я сейчас напишу.

Редзян упал в ноги наместнику.

— Пане мой! Ужели я вас более не увижу?

— Как богу будет угодно, как богу будет угодно! — ответил, поднимая его, наместник. — Но в Разлогах гляди веселей. А сейчас ступай спать.

Остаток ночи Скшетуский провел за писанием писем и в жаркой молитве, после которой слетел к нему ангел успокоения. Тем временем ночь поблекла, и рассвет выбелил узкие оконца на восточной стене. Утрело. Вот и розовые блики скользнули в комнату. На башне и в замке пробили зорю. Вскоре потучался Гродзицкий.

— Сударь наместник, чайки готовы.

— И я готов, — спокойно ответил Скшетуский.

ГЛАВА X

Стремительные челны неслись по течению, словно ласточки, унося молодого рыцаря и его судьбину. Из-за высокой воды пороги особой опасности не представляли. Миновали Сурский, Лоханский, счастливая волна перенесла чайки через Воронову Забору; проскрежетали они, правда, по дну Княжьего и Стреличьего, но чуть-чуть — коснулись только, не разбились; и вот, наконец, вдали завиднелась пена и водовороты страшного Ненасытца. Здесь приходилось высаживаться, а чайки тащить волоком посуху. Эта медленная и тяжелая работа обычно отнимала целый день. К счастью, от прошлых, видимо, волоков по всему берегу лежало множество бревен, которые подкладывались под челны для удобства волочения по грунту. Во всей округе и в степи не было ни души, на реке не виднелось ни одной чайки — плыть на Сечь не мог уже никто, кроме тех, кого Гродзицкий мимо Кудака пропускал, но Гродзицкий-то как раз намеренно отрезал Запорожье от остального мира. Так что тишину нарушал только грохот волн о скалы Ненасытца. Пока люди волокли чайки, Скшетуский обозревал это поразительное диво природы. Ужасающее зрелище потрясло его взор. Во всю шири-

ну поперек реки шли семь каменных преград, торчавших из воды, черных, изглоданных волнами, проломившими в них подobia ворот и проходов. Река всею тяжестью воды своей ударяла в эти преграды и отлетала назад, взбешенная, обезумевшая, вспененная белыми кипящими брызгами, потом, точно неукротенный скакун, делала еще одну попытку перескочить их, но, отброшенная еще раз, прежде чем изловчиться хлынуть через проломы, зубами, можно сказать, вгрызалась в скалы, закручивалась в бессильной ярости в чудовищные водоверти, столбами взлетала вверх, вскипала кипятком и, как усталый зверь дикий, тяжело отдувалась. И опять — словно бы канонада сотни пушек, вой целых волчьих стай — всхрапнет, поднатужится, и перед новой грядой точно такая же борьба, такое же безумие. А над безднами вопли птиц, словно потрясенных этим зрелищем, а между грядами угрюмые тени скал, дрожащие на топкой грязи, словно тени злых духов.

Люди, тянувшие челны, привычные, вероятно, ко всему этому, только осеялись крестным знамением, остерегая наместника, чтобы не очень-то подходил к воде. Существовало поверье, что тому, кто долго глядел на Ненасытец, в конце концов являлось такое, отчего мутился разум, а еще говорили, что из водокрутной иногда высывались долгие черные руки и хватали неосторожно приблизившихся, и тогда жуткий хохот раздавался в пучине.

По ночам перетаскивать волоком чайки боялись даже запорожцы.

Того, кто в одиночку не преодолевал на чайке порогов, в низовое товарищество не принимали, однако Ненасытец был исключением, ибо его скалы вода никогда с верхом не покрывала. Разве что про Богуна пели сленцы, будто он и через Ненасытец проплыл, да только никто не верил этому.

Перетаскивание суденышек заняло почти целый день, и солнце уже клонилось к закату, когда наместник снова ступил в лодку. Последующие пороги преодолели без труда, ибо они вполне были залиты водою, а затем путешественники наконец выбрались в «тихие низовые воды».

По пути видел пан Скшетуский на Кичкасовом урочище громадную грудку белых камней, которую князь в память своего здесь пребывания велел насыпать и про которую пан Богуслав Маскевич рассказывал в Лубнах. Отсюда до Сечи было уже недалеко, но так как наместник по Чертомлыцкому лабиринту не хотел ночью плыть, решили заночевать на Хортице.

Он надеялся встретить хоть одну живую запорожскую душу и предварительно дать знать о себе, дабы стало известно, что посол, а не другой какой человек едет. Однако Хортица казалась безлюдной, и это несколько удивило наместника, ибо от Гродзицкого было известно, что тут на случай татарской инкursions всегда находится казацкий отряд. Скшетуский с несколькими солдатами ушел на разведку довольно далеко от берега, но весь

остров пересечь не успел, ибо в длину остров был больше мили, а уже опускалась темная и не очень погожая ночь; так что пришлось вернуться к чайкам, которые тем временем люди его повытаскивали на берег, успев еще и разжечь костры от комаров.

Большая часть ночи прошла спокойно. Солдаты и перевозчики спали у костров. Не смыкали глаз только часовые, а с ними и наместник, которого после отплытия из Кудака мучила жестокая бессонница. Вдобавок его еще и сильно лихорадило. Временами чудилось ему, что он слышит шаги, приближающиеся из глубины острова, или какие-то странные голоса, напоминавшие отдаленное козье бляенье. Однако он решил, что ему мерещится.

Вдруг, когда стало светлеть небо, перед ним возникла темная фигура.

— Это был один из часовых.

— Пане, идут! — хмуро сказал он.

— Кто такие?

— Надо быть, низовые: человек сорок.

— Хорошо. Это немного. Поднимай людей! Камыша подбросить!

Солдаты мгновенно вскочили. Подкормленные костры взметнули пламя и осветили чайки, а возле них горстку людей наместника. Тут же к своим присоединилась и стража.

Между тем нестройные шаги множества людей слышались уже вполне отчетливо: в некотором отдалении они стихли, зато чей-то угрожающий голос спросил:

— А кто там на берегу?

— А вы кто? — откликнулся вахмистр.

— Отвечай, вражий сын, не то из пищали спрошу!

— Его светлость господин посол от светлейшего князя Иеремии Вишневецкого к кошевому атаману, — громко возгласил вахмистр.

Голоса в невидимой толпе смолкли: как видно, там стали тихо совещаться...

— А выходи-ка сюда! — снова крикнул вахмистр. — Не бойсь. Послов не трогают, но и послы не тронут.

Снова прозвучали шаги, и спустя малое время несколько десятков фигур возникли из темноты. По смуглым лицам, низкорослости и кожухам, вывернутым мехом наружу, наместник сразу понял, что это в основном татары. Казаков было человек десять. В голове Скушетуского молнией промелькнуло, что если татары на Хортице, значит, Хмельницкий уже вернулся из Крыма.

Предводительствовал толпою исполненного роста пожилой запорожец с лицом диким и жестоким. Подойдя к костру, он спросил:

— А который тут посол?

И сразу же стал слышен сильный запах горелки — запорожец был, как видно, пьян.

— Который же тут посол? — повторил он.

— Я посол, — с достоинством ответил пан Скшетуский.

— Ты?

— Брат я тебе разве, тыкать?

— Знай, хам, уважение! — вмешался вахмистр. — Полагается говорить: ясновельможный пан посол!

— На погибель же вам, чортові сини! Щоб вам серп'яхова смерти! Ясновельможні сини! А зачем это вы до атамана?

— Тебя не касается! А жизнь твоя от того зависит, как скоро посол до атамана прибудет.

Тут и другой запорожец вышел из толпы.

— А мы ж тут по воле атамана, — сказал он, — стережем, чтобы никто од ляхів не приходил, а кто придет, того, сказано, вязать и доставлять, что мы и сделаем.

— Кто идет добровольно, того вязать не будешь.

— Буду, бо такой наказ.

— А знаешь ли ты, холоц, что такое особа посла? А знаешь ли, кого я тут представляю?

Тут вмешался пожилой верзила.

— Заведем посла, але за бороду — от так!

Сказавши это, он потянулся к подбородку наместника, но в ту же секунду охнул и, словно пораженный громом, грянулся наземь.

Наместник разрубил ему череп чеканом.

— Коли, коли! — дико завывли голоса в толпе.

Княжеские люди бросились на помощь своему командиру, бахнули самопалы, вопли «коли! коли!» смешались с лязгом железа. Закипела беспорядочная схватка. Затоптанные в суматохе костры погасли, и темнота обступила сражающихся. Вскоре и те и те сошлись столь близко, что не осталось места для замаха, так что ножи, кулаки и зубы пошли в ход вместо сабель.

Внезапно из глубины острова послышались многие крики и голоса: к нападавшим спешило подкрепление.

Еще минута, и оно бы подоспело слишком поздно, поскольку хорошо обученные солдаты одерживали верх.

— К лодкам! — громовым голосом крикнул наместник.

Весь отряд вмиг выполнил приказание. К несчастью, чайки, слишком далеко вытянутые на песок, невозможно было теперь столкнуть в воду.

А неприятель между тем в ярости прорвался к берегу.

— Огонь! — скомандовал Скшетуский.

Залп из мушкетов сразу остановил нападающих, они смешались, сгруппировались и в беспорядке отступили, оставив на песке десятка полтора своих; некоторые из поверженных конвульсивно

дергались, точно рыбы, вытянутые из воды и брошенные на берег.

Весельщики в это время с помощью нескольких солдат, уперев в землю весла, выбивались из последних сил, пытаясь столкнуть суденышки на воду. Увы, безрезультатно.

Неприятель начал атаковать издалека. Шлепки пуль по воде смешались со свистом стрел и стонами раненых.

Татары, все истощнее взывая к аллаху, подзадоривали друг друга. Им вторили казацкие крики: «коли! коли!» и спокойный голос Скушетуского, все чаще повторявший:

— Пли!

Бледное свечение рассветных небес осветило битву. Со стороны суши можно было различить толпу казаков и татар, одних с лицами у пицальных прикладов, других — откинувшихся назад и натягивавших луки; со стороны реки — две чайки, клубящиеся дымами и сверкающие регулярными залпами. Меж теми и другими лежали на песке неподвижные уже тела.

В одном из челнов стоял Скушетуский, возвышавшийся над остальными, гордый, спокойный, с поручицкой булавою в руке и с непокрытой головой — татарская стрела сорвала с него шапку.

К нему приблизился вахмистр и шепнул:

— Пане, не сдюжим, их много!

Однако наместник заботился теперь лишь о том, чтобы польство свое скрепить кровью, унижения достоинства не допустить и умереть со славою. Поэтому, меж тем как его солдаты устроили себе из мешков с провиантом нечто вроде бруствера, из-за которого разили неприятеля, сам он отчетливой мишенью стоял на виду.

— Чтò ж, — ответил он, — поляжем все до единого.

— Поляжем, батьку! — отозвались солдаты.

— Пли!

Чайки снова заволкло дымом. Из глубины острова стали появляться новые толпы, вооруженные пиками и косами. Нападающие теперь разделились на две группы. Одна не прекращала огня, вторая, состоявшая из двух приблизительно сотен казаков и татар, ожидала подходящей минуты, чтобы броситься в рукопашную, а из прибрежных зарослей появились четыре челна, собиравшиеся ударить по наместнику с тыла и флангов.

Уже совсем рассвело, однако дым, протянувшись долгими лентами, совершенно заслонял поле боя.

Наместник приказал двадцати солдатам повернуться к атакующим судам, которые, понуждаемые веслами, неслись по спокойной речной воде с быстротою птиц. Огонь по татарам и казакам, наступавшим со стороны берега, поэтому заметно ослабел. Они, как видно, этого и ждали.

Вахмистр снова появился возле наместника.

— Пане! Татарва ножи в зубы берет, сейчас на нас пойдут.

Сотни три ордынцев с саблями в руках и с пожами в зубах готовились к атаке. К ним присоединилось несколько десятков запорожцев, вооруженных косами.

Атака должна была начаться отовсюду, потому что челны противника подплыли уже на расстояние выстрела. Борты их заклебили дымками. Пули, точно град, посыпались на людей наместника. Обе чайки наполнились стонами. Не прошло и десяти минут, как половина солдат была перебита, оставшиеся в живых отчаянно сопротивлялись. Лица их почернели от дыма, руки одеревенели, взор туманился, кровь заливала очи, дула мушкетов стали обжигать руки. Большинство были ранены.

Но вот жуткие вопли и вой сотрясли воздух. Это пошли в атаку ордынцы.

Дымы, разметанные толпами бегущих, внезапно рассеялись и открыли взору обе наместниковых чайки, покрывшиеся черною кучей татар, похожие на два лошадиных трупа, разрываемые стаей волков. Куча эта паседала, копошилась, выла, карабкалась и, казалось, сражаясь сама с собою, гибла. Десятка два солдат все еще оборонялись, а возле мачты стоял пан Скшетуский с окровавленным лицом, со стрелою, до оперения сидевшей в левом плече его, и яростно защищался. Фигура наместника выглядела исполинской среди окружавшей его толчей, сабля мелькала, точно молния. Ударам ее вторили стоны и вой. Вахмистр и один солдат прикрывали его с боков, и толпа в ужасе перед этими троими то и дело откатывалась, но, теснимая напиравшими сзади, сама напирала и гибла под сабельными ударами.

— Живыми брать для атамана! — вопли голоса в куче. — Сдавайся!

Но пан Скшетуский сдавался теперь разве что богу, ибо вдруг побледнел, запатался и рухнул на дно лодки.

— Прощай, батягу! — в отчаянии крикнул вахмистр.

Но спустя мгновение тоже рухнул. Кишащая толпа вовсе покрыла собою чайки.

ГЛАВА XI

В хате войскового кантарей¹ в предместье Гассан Баша, в Сечи, за столом сидели два запорожца, подкрепляясь палянкой из проса, которую то и дело черпали из деревянной лоханки, стоявшей посреди стола. Один — старый, почти уже совсем дряхлый, был сам кантарей Фылып Захар, другой был Антон Татарчук, атаман чигиринского куреня, лет около сорока, высокий, сильный, с диким выражением лица и раскосыми татарскими глазами. Оба тихо, словно опасаясь, что их подслушают, разговаривали.

¹ Военский чиновник на Запорожье, надзирающий за мерами и весами в лавках так называемого Крамного базара в Сечи. (Примеч. автора.)

— Оно значит, сегодня? — спросил кантарей.

— Прямо вот-вот, — ответил Татарчук. — Ожидают только кошевого и Тугай-бея, который с самим Хмелем на Базавлук поехал, потому что орда стоит там. Товарищество уже на майдане, а куренные еще засветло соберутся на раду. До ночи все известно станет.

— Гм! Плохо может быть, — буркнул старый Фылып Захар.

— Слухай, кантарей, ты правда видал, что и мне письмо было?

— Известно, видал, если сам кошевому письма относил, а я человек грамотный. При ляхе три письма нашли: одно до самого кошевого, второе тебе, третье молодому Барабашу. Об том уже вся Сечь знает.

— А кто писал? Не знаешь?

— Кошевому — князь: на письме печать была; кто вам — неизвестно.

— Сохрани бог!

— Если тебя в письме явно другом ляхов не называют, то обойдется.

— Сохрани бог! — повторил Татарчук.

— А может, ты и сам чего за собой знаешь?

— Тьфу! Ничего я за собой не знаю.

— Может, кошевой письма в ход не пустит, потому как и ему своя голова дорога. Ему ведь тоже письмо было.

— А что ж...

— Но ежели ты чего за собой знаешь, тогда... — Тут старый кантарей еще более понизил голос: — Беги!

— Как это? Куда? — беспокойно спросил Татарчук. — Кошевой по островам дозоры поставил, чтобы никто к ляхам не ушел и про здешние дела не донес. На Базавлуке стерегут татары. Рыба не проплывет, птица не пролетит.

— Тогда спрячься, ежели можешь, в Сечи.

— Найдут. Разве что ты меня тут на базаре между бочками спрячешь? Ты ведь сродник мне!

— И брата родного не стал бы прятать. А если смерти боишься, напейся: пьяный ничего не почувешь.

— Может, в письмах ничего и нету?

— Может быть...

— От беда! От беда! — сказал Татарчук. — Ничего за собой я не знаю. Я добрый молодец. Ляхам враг. Да хоть бы ничего в письме и не стояло, бес его знает, что лях на раде выложит. Он же меня погубить может.

— Это сердитый лях: он ничего не выложит!

— Ты был у него сегодня?

— Был. Рану помазал дегтем, горелки с пеплом в горло налил, Очухается, Это сердитый лях! Говорят, прежде, чем

его взяли, он татар, как свиней, на Хортице порезал. Ты заляха не беспокойся.

Угрюмый голос сечевого барабана прервал дальнейшую беседу. Татарчук, услыхав гулкие удары, содрогнулся и вскочил. Необычайно тревогою исполнилось выражение лица его и все движения.

— На раду зовут,— сказал он, лоя ртом воздух. — Сохрани бог! Ты, Фылып, не открывай, о чем мы с тобою тут разговаривали. Сохрани бог!

Сказав это, Татарчук схватил лоханку с водкой, поднес ее обеими руками ко рту, наклонил и стал жадно пить, словно спешил мертво напиться.

— Пошли! — сказал кантарей.

Барабан бил все настойчивее.

Они вышли. Предместье Гассан Баша было отделено от майдава валом, окружавшим непосредственно кош, и воротами с высокой башнею, с которой глядели жерла поднятых на нее пушек. Посреди предместья стоял кантареев дом и хаты крамных атаманов, вокруг же довольно обширной площади располагались сараи, в коих помещались лавки. Это были сплошь неказистые постройки, кое-как сложенные из поставляемых в изобилии Хортицей дубовых бревен, а по бревнам обшитые ветками и очеретом. Сами хаты, не исключая жилища кантарей, более походили на шалаши, ибо только крыши их возвышались над землею. Крыши эти были черные и закопченные, потому что, если в хате палили огонь, дым выходил не только через верхнее отверстие в кровле, но и сквозь всю обшивку, и тогда казалось, что это никакая не хата, а просто грудa веток и очерета, в которой сидят смолу. В жильях этих царил вечный мрак, поэтому внутри постоянно жгли или лучину, или дубовое пенье. Лавочных сараев было несколько десятков, и подразделялись они на куренные, то есть представляющие собой собственность отдельных куреней, и гостинные, где в недолгие мирные поры заводили торговлю татары и валахи,— одни кожами, восточными тканями, оружием и всяческим награбленным добром, другие, как правило, вином. Гостинные лавки, однако, бывали заняты редко, ибо торговля в этом диком логове чаще всего кончалась разграблением, от чего ни кантарей, ни крамные атаманы толпу удержать не могли. Меж сараев также кособочились тридцать восемь куренных шинков, а возле них среди мусора, щепок, дубовых поленьев и куч конского навоза всегда лежали мертво пьяные запорожцы, одни забывшиеся каменным сном, другие с пеною на устах, в судорогах или приступах запойной горячки. Их товарищи, завывая казацкие песни, плюясь, дерясь или целуясь, проклиная казацкую судьбину или плача над казацкой долей, наступали на головы и тела лежащих. Только с момента, когда затевался, скажем, какой-нибудь поход на татар или на Русь, закон обвязывал трезвость, и тогда участников похода смертью за пьянство

карали. Но в остальное время и особенно на Крамном базаре почти все были пьяны: кантарей и крамные атаманы, продавец и покупатель. Кислый запах скверной водки заодно с запахами смолы, дыма и конских шкур вечно стоял по всему предместью, которое пестротой лавок своих скорее напоминало какой-то татарский или турецкий городишко. В лавках этих продавалось все, что где-нибудь в Крыму, Валахии или на азиатских берегах удалось награть: яркие восточные ткани, парча, алтабас, сукна, аксамиты, набойка, тик и полотно, медные и железные треснутые пушки, кожи, меха, сушеная рыба, вишни и турецкое сухое варенье, костельная утварь, латунные полумесяцы, уворованные с минаретов, и позлащенные кресты, сорванные с церкви¹, порох, холодное оружие, ратовища для пик и седла. А среди этой мешанины товаров, среди этой пестроты слонялись люди, одетые в обноски самой разной одежды, летом полунагие, всегда полудикие, закопченные, черные, вывалявшиеся в грязи, покрытые кровотоками ранами от укусов громадных комаров, мириады которых носились над Чертомлыком, и, — как уже было сказано, — вечно пьяные.

В эти минуты в Гассан Баша людей было куда больше, чем всегда; лавки и шинки позакрывали, так как все спешили на сечевой майдан, где должна была собраться рада. Фылып Захар и Антон Татарчук отправились вместе с прочими, но Антон медлил, шел как-то нехотя и давал толпе обогнать себя. Тревога все заметнее отражалась на его лице. Они прошли по мосту через ров, затем вошли в ворота и оказались на обширном укрепленном майдане, окруженном тридцатью восемью большими деревянными строениями. Это и были курени, а точнее, куренные дома — род воинских казарм, в которых жили казаки. Одинаковой величины и размеров, курени эти ничем друг от друга не отличались, разве что названиями, происходившими от различных украинских городов — теми же названиями именовались и полки. В одном углу майдана находился дом рады, в нем и заседали атаманы под председательством кошевого; толпа же, или так называемое товарищество, совещалась под голым небом, то и дело посылая депутации к войсковой старшине, а порою силой врываясь в помещения рады и навязывая свою волю совещанию.

На майдане уже было огромное скопление народу, поскольку к этому времени кошевым атаманом были стянуты на Сечь все войска, стоявшие по островам, речкам и луговинам, отчего и товарищество сделалось многолюднее, чем всегда. Солнце клонилось к закату, поэтому заблаговременно западали десятка полтора бочек со смолой; тут и там появились бочонки с водкою —

¹ Запорожцы во время своих набегов не щадили никого и ничего. До появления Хмельницкого церквей на Сечи вообще не было. Первую как раз и поставил Хмельницкий; там никого о вере не спрашивали, и то, что рассказывают о религиозности низовых, сказки. (*Примеч. автора.*)

эти каждый курень выкатывал для своих, дабы придать больше жару совещаниям. Порядок в куренях поддерживали есаулы, вооруженные тяжеленными дубинками для острастки совещавшихся и пистолетами для защиты собственной жизни, которая нередко оказывалась в опасности.

Фылып Захар и Татарчук пошли прямо в дом рады, так как первый, будучи кантареем, а второй — куренным атаманом, имели право участвовать в совещаниях. В помещении был всего-навсего маленький стол, за которым сидел войсковой писарь. Куренные и кошевой имели каждый свое место на шкурах у стен. Пока что места эти заняты не были. Кошевой расхаживал большими шагами по зальце, куренные же, сойдясь кучками, тихо разговаривали, то и дело перебивая друг друга громкой бранью. Татарчук заметил, что даже знакомые и друзья словно бы не узнают его, поэтому сразу подошел к молодому Барабашу, который оказался в похожем положении. Все поглядывали на них исподлобья, на что молодой Барабаш особого внимания не обращал, толком не понимая, в чем вообще дело. Это был человек редкостной красоты и небывалой силы. Силе этой он и был обязан званием куренного атамана, ибо вообще-то славился на Сечи крайней глупостью, которая была причиною того, что прозвали его Дурным Атаманом и всякое Барабашево словцо вызывало немедленный хохот казацких верховодов.

— Поживем малость, тай, может, и пойдём с камнем на шею ко дну! — шепнул ему Татарчук.

— А это почему так? — спросил Барабаш.

— Ты про письма разве не слышал?

— Трясця його мати мордувала! Я, что ли, какие письма писал?

— Вон как все волками глядят.

— Коли б я которого в лоб, так он бы не глядел; глаза враз бы вытекли.

Между тем по крикам снаружи стало ясно, что там что-то произошло. Двери радной зальцы распахнулись настежь, и вошли Хмельницкий с Тугай-беем. Это их приветствовали так радостно. Еще несколько месяцев назад Тугай-бей, доблестнейший из мурз и гроза низовых, был объектом страшной ненависти всей Сечи — теперь же «товарищество», завидя его, подкидывало шапки, полагая мурзу добрым другом Хмельницкого и запорожцев.

Первым вошел Тугай-бей, потом Хмельницкий с булавой гетмана запорожского войска. Звание это носил он с той поры, как воротился из Крыма с выговоренными у хана подкреплениями. Толпа тогда понесла его на руках и, взломав войсковую скарбницу, вручила булаву, знамя и печать, каковые по заведенному обычаю выносились впереди гетмана. Он порядочно изменился, облик его теперь олицетворял собою страшную силу всего Запорожья. Это был уже не обиженный Хмельницкий, сбежав-

ший на Сечь через Дикое Поле, но Хмельницкий — гетман, кровавый дух, исполнит, мстящий миллионам за свою обиду.

А между тем цепей он не разорвал, но возложил на себя но-вые, более тяжкие. Свидетельством тому были его отношения с Тугай-беем. Сей запорожский гетман в самом сердце Запорожья довольствовался вторым голосом после татарина, смиренно сносил бееву спесь и презрительное сверх всякой меры обхожде-ние. Были это отношения леника и сюзерена. Иначе оно проис-ходить не могло. Хмельницкий все свое влияние среди казаков завоевал благодаря татарам и ханской милости, знаком которой было присутствие дикого и бешеного Тугай-бей. Однако Хмель-ницкий умел сочетать непомерную свою гордыню со смирением столь же хорошо, как отвагу с лукавством. Он воплощал в себе льва и лисицу, орла и змею. Впервые с тех пор, как появилось на земле казачество, татарин чувствовал себя хозяином в Сечи; увь, настали и такие времена. Товарищество подбрасывало шап-ки в честь поганого. Вот как все переменялось.

Рада началась. Тугай-бей уселся посредине на самую вы-сокую грудку шкур, поджал по-турецки ноги и стал грызть семеч-ки подсолнухов, сплевывая мокрые скорлупки прямо на пол пе-ред собою. По правую руку от него сел Хмельницкий с була-вой, по левую — кошевой атаман; атаманы же и депутация от товарищества расположились у стен поодаль. Разговоры стихли, только спаружи доносился гам и глухой, подобный шуму воли гул толпы, собравшейся под голым небом. Хмельницкий загово-рил:¹

— Досточтимые господа! Милостью, благоволением и по-кровительством светлейшего крымского царя, властелина наро-дов многих, единокровного светилам небесным, произволением милостивого короля польского Владислава, государя нашего, и доброю волею Войска Запорожского, уверенные в неповинности нашей и справедливости господней, идем мы отмстить страшные и ужасные кривды, каковые с христианским смирением, пока могли, сносили от коварных ляхов, комиссаров, старост, эконо-мов, многия шляхты и жидов. Над кривдами теми вы уже, до-сточтимые господа и все Войско Запорожское, немало слез проли-ли, а мне потому булаву дали, чтобы за обиды наши и всего войска полною мерою способней мне спросить было. Так что я, полагая сие, досточтимые господа благодетели, великой мило-стью, наисветлейшего царя о помощи просить поехал, которую он нас и подарил. Но, пребывая в рвенци и веселье, немало я опечалился, узнав, что возможны меж нас и предатели, с ковар-ными ляхами в сговор вступающие и о нашей решимости им доносящие, и ежели оно на самом деле так, то наказаны они должны быть, досточтимые господа, сообразно разумению и ми-

¹ Порядок совещаний на Сечи описан в хронике Эрика Ляссоты, импе-раторского посла на Запорожье в 1524 году. (Примеч. автора.)

досердию вашему. А мы просим вас письма выслушать, каковые сюда от недруга, князя Вишневецкого, посол привез, не послом, но соглядатаем будучи, о приготовлениях наших и доброй воле Тугай-бея, друга нашего, желая все выведать и перед ляхами раскрыть. Также надлежит обсудить вам, имеет ли он быть тоже наказан, как те, кому привез сказанные письма, о которых кошевой, как преданный друг мне, Тугай-бею и всему войску, сразу же нас известил.

Хмельницкий умолк. Гул за окнами все усиливался, поэтому войсковой писарь даже встал, когда огласил княжеское послание к кошевому атаману, начинавшееся словами: «Мы, божей милостию, князь и господин на Лубнах, Хороле, Прилуках, Гадяче и прочая, воевода русский и прочая, староста и прочая». Послание было чисто деловым. Князь, прослышав, что с луговин отзываются войска, спрашивал атамана, правда ли это, и призывал его спокойствия ради от таковых действий отказаться. Хмельницкого же, ежели станет Сечь бунтовать, комиссарам чтобы выдал, каковые о том, в свою очередь, спросят. Второе письмо было от пана Гродзицкого, также к великому атаману, третье и четвертое Запвилиховского и старого черкасского полковника к Татарчуку и Барабашу. Во всех не стояло ничего такого, что могло дать повод заподозрить особу, которой письмо было адресовано. Запвилиховский единственно просил Татарчука позаботиться о подателе письма и содействовать во всем, о чем посол бы ни попросил.

Татарчук облегченно вздохнул.

— Что скажете, досточтимые господа, о письмах сих? — спросил Хмельницкий.

Казаки молчали. Всякий совет, покуда водка не разгорячила голов, всегда начинался с того, что ни один из атаманов не желал высказаться первым. Будучи людьми простыми, но себе на уме, они поступали так, опасаясь сказануть что-нибудь, что потом обрело бы оратора на осмеяние или на всю жизнь снискало бы ему обидную кличку. Так оно уж повелось на Сечи, где при величайшей неотесанности была необычайно развита страсть к вымеиванью, равно как и боязнь сделаться посмешищем.

Потому казаки и молчали. Хмельницкий заговорил снова:

— Кошевой атаман брат нам и честный друг. Я атаману верю, как себе, а ежели кто желает иное сказать, тот, значит, сам измену замышляет. Атаман — друг верный и солдат примерный. Тут он встал и поцеловал кошевого.

— Досточтимые господа! — взял теперь слово кошевой. — Я войско собрал, а гетман пускай ведет; что до посла, то, ежели его послали ко мне, значит, он мой, а раз он мой, то я его вам отдаю.

— Вы, досточтимые панове-депутация, поклонитесь атаману, — сказал Хмельницкий, — ибо он человек справедливый, и ступайте сказать товариществу, что ежели кто и предатель, так не

он предатель; он первый стражу всюду выставил, он первый изменников, которые к ляхам пойдут, ловить приказал. Вы, панове-депутация, скажите, что он не предатель, что он самый лучший изо всех нас.

Панове-депутация поклонились сперва Тугай-бею, который все это время с величайшим безразличием грыз свои семечки, затем Хмельницкому, затем кошевому — и вышли на улицу.

Спустя минуту радостные вопли за окнами возвестили, что депутация наказ выполняет.

— Слава кошевому нашему! Слава кошевому! — кричали хриплые голоса с такою силой, что даже стены, казалось, ходунгом ходили.

Разом поднялась пальба из самопалов и пицалей.

Депутация вернулась и снова расположилась в углу зальцы.

— Досточтимые господа! — сказал Хмельницкий, когда за окнами поутихло. — Вы мудро уже рассудили, что кошевой атаман — человек справедливый. Но ежели атаман не предатель, то кто же предатель? У кого среди ляхов друзья имеются? С кем ляхи в тайные сношения входят? Кому письма пишут? Кому особу посла поручают? Кто же предатель?

Говоря это, Хмельницкий постепенно возвышал голос и зловеще поводил очами в сторону Татарчука и молодого Барабаша, словно бы намеревался указать именно на них. В зальце зашевелились, несколько голосов крикнули: «Барабаш и Татарчук!» Кое-кто из куренных повставал с мест, среди депутации раздалась возгласы: «На погибель!»

Татарчук побледнел, а молодой Барабаш стал удивленно озираться. Ленивая мысль его какое-то время силилась отгадать, за что его обвиняют, и он в конце концов выпалил:

— Не буде собака м'яса їсти!

Сказав это, он разразился идиотским смехом, а за ним и остальные. И тотчас большинство куренных принялись дико хототать, сами не зная над чем.

С майдана, все усиливаясь, долетали крики: видно, водка там ударила в головы. Шум людского прибой становился с каждым мгновением громче.

Антон Татарчук встал и, обратившись к Хмельницкому, начал говорить:

— Чем я виноват перед вами, высокочтимый гетман запорожский, что вы моей смерти добиваетесь? Что я вам сделал? Писал ко мне комиссар Зацвилюховский письмо — тай що? Так ведь и князь написал кошевому! А я разве письмо получил? Нет! А ежели получил бы, так что бы сделал? К писарю пошел бы и велел бы прочитать, бо ні писати, ні читати не умію. И вы бы бесприменно узнали, о чем письмо. А ляха я и в глаза не видал. Так разве ж я предатель? Гей, братья запорожцы! Татарчук с вами на Крым ходил, а когда вы ходили на Волошу, то ходил на Волошу, а как под Смоленск ходили, то хо-

дил и под Смоленск; бился вместе с вами, добрыми молодцами, и кровь проливал с вами, добрыми молодцами, и с голоду помирал с вами, добрыми молодцами; так не лях он, не предатель, а казак, ваш брат, а ежели пан гетман смерти его требует, так пускай скажет, почему требует! Что я ему сделал, в чем бесчестным был? А вы, братья, помилуйте и рассудите справедливо!

— Татарчук добрый молодец! Татарчук справедливый человек! — слышалось несколько голосов.

— Ты, Татарчук, добрый молодец, — сказал Хмельницкий, — и я на тебя не показываю, ибо ты мой друг, не лях, а казак, наш брат. Потому что, будь предателем лях, я бы не печалился и не горевал по нем, но ежели добрый молодец предатель, мой друг — предатель, то тяжко у меня на сердце и доброго молодца жаль. А раз и в Крыму, и на Волоше, и под Смоленском ты бывал, то еще тяжеле твой грех, коли нынче бесчестно хотел готовность и рвение войск запорожских ляху открыть! Тебе ж писано, чтоб ты ему пособил в том, чего он ни потребует, а скажите, досточтимые господа атаманы, чего лях может потребовать? Разве не моей и моего доброго друга Тугай-бея смерти? Разве не беды Войску Запорожскому? Так что ты, Татарчук, виновен и ничего другого уже не докажешь. А к Барабашу писал дядька его, полковник черкасский, Чаплинскому друг и ляхам друг, у себя привилегии припрятавший, чтобы Войску Запорожскому не достались. И ежели оно все так, оба вы виноваты и просите помилования у атаманов, а я вместе с вами просить буду, хотя вина ваша тяжка, а измена явственна.

Из-за окон между тем доносились уже не шум и гам, но словно бы грохотание грозы. Товарищество желало знать, что происходит на раде, и послало новую депутацию.

Татарчуку сделалось ясно, что он пропал. Он вдруг вспомнил, что неделю назад высказывался среди атаманов против вручения булавы Хмельницкому и договора с татарами. Холодный пот выступил на лбу его, и понял Татарчук, что спасения нету. Что же касается молодого Барабаша, тут ясно было, что, губя его, Хмельницкий мстит старому черкасскому полковнику, безмерно любившему своего племянника. Однако Татарчук умирать не хотел. Не побледнел бы он перед саблей, перед пулею, даже перед колом, но смерть, какая ждала его, ужасала беднягу до мозга костей, поэтому, воспользовавшись недолгой тишиной, наступившей после слова Хмельницкого, он пронзительно крикнул:

— Христом-богом заклинаю! Братья атаманы, други сердечные, не губите же невиноватого, я же ляха и не видал, не разговаривал с ним! Помилуйте, братья! Я ж не знаю, чего ляху от меня надо было, сами его спросите! Клянусь пресветлым спасом, богородицей пречистой, святым Николю-чудотворцем, святым Михаилом-архангелом, что губите вы душу невинную!

— Привести ляха! — крикнул старый кантарей,

— Ляха сюда! Ляха! — закричали куренные,

Поднялась суматоха: одни кинулись к соседнему помещению, где был заперт пленник, собираясь привести его пред очи собрания, другие угрожающе пошли на Татарчука с Барабашем. Гладкий, атаман миргородского куреня, первым крикнул: «На погибель!» Депутата этому крику вторила, Чарпота же бросился к дверям, распахнул их и прокричал собравшейся толпе:

— Досточтимые панове-товарищество! Татарчук — предатель, и Барабаш тоже! На погибель им!

Толпа ответила ужасающим ревом. В зале наступило замешательство. Все куренные повскакали с мест. Одни кричали: «Ляха! Ляха!», другие пытались переполох унять, а тем временем двери под натиском толпы распахнулись настежь и в дом ворвалась орава, прежде горлопанившая на майдане. Страшные фигуры, ослепленные яростью, наполнили помещение, воя, размахивая руками, скрежеща зубами и распространяя запах горелки. «Смерть Татарчуку! На погибель Барабашу! Давай сюда предателей! На майдан их! — вопили пьяные голоса. — Бей! Убивай!», и сотни рук во мгновение протянулись к несчастным. Татарчук не сопротивлялся, он только пронзительно скулил, но молодой Барабаш стал защищаться со страшным неистовством. Он наконец понял, что его хотят убить; страх, отчаяние и бешенство исказили его лицо, пена выступила на губах, из груди исторгунулся звериный рык. Дважды вырывался он из губительных рук, и дважды руки эти хватали его за плечи, за бороду, за оселедец. Он не давался, кусался, рычал, падал и снова поднимался, окровавленный, страшный. Ему изорвали одежду, вырвали оселедец, выбили глаз, наконец, притиснутому к стене, сломали руку. И только тогда он рухнул. Палачи схватили его и Татарчука за ноги и поволокли на майдан. И вот тут-то в отблесках пламени смоляных бочек и пылающих костров началась немедленная экзекуция. Несколько тысяч кинулись на обреченных и стали разрывать их в куски, воя и борясь друг с другом за возможность протиснуться к жертвам. Их топтали ногами, из их тел вырывали ключья мяса. Сброд топтался, сбившись вокруг них в жутком конвульсивном порыве разбушевавшейся толпы. Окровавленные руки то вздымали два бесформенных, потерявших вид человеческий туловища в воздух, то опять швыряли наземь. Те, кто не смог пробиться, вопили как резаные: одни требовали, чтобы жертв швырнули в воду, другие — чтобы затолкали в бочки с горячей смолой. Пьянь затеяла меж собой свару. В припадке безумия подожгли две огромные бочки с водкой, которые осветили эту дьявольскую сцену переменчивым голубоватым светом. С неба же взирал на нее тихий, ясный и погожий месяц.

Так товарищество карало изменников.

А в совещательной зале после того, как оттуда выволокли Татарчука и молодого Барабаша, все снова успокоились, атаманы заняли у стен прежние места свои, а из соседнего чулана привели пленного.

Тень падала на его лицо, ибо уже и огонь в камине попригаснул, так что в полупотемках различима была только горделивая фигура, державшаяся прямо и достойно, хотя руки пленного и были связаны лыком. Гладкий подбросил связку лучины — тотчас же взметнулось пламя, ярко осветив лицо пленника, который оборотился к Хмельницкому.

Взглянув на него, Хмельницкий вздрогнул.

Пленником был пан Скшетуский.

Тугай-бей сплюнул лузгу и буркнул по-русински:

— Я того ляха знаю — він був у Криму.

— На погибель ему! — закричал Гладкий.

— На погибель! — повторил Чарнота.

Хмельницкий уже овладел собой и скользнул взглядом по Гладкому и Чарноте. Те тотчас умолкли, а он, повернувшись к кошевому, сказал:

— И я его знаю.

— Откуда ты явился? — спросил кошевой Скшетуского.

— С посольством направлялся я к тебе, кошевой атаман, когда головорезы на Хортице на меня напали и противу обычая, принятого даже у самых диких народов, людей моих перебили, а меня, происхождение и посольское достоинство мои во внимание не принимая, ранили, оскорбили и как пленника сюда привели, за что господин мой, светлейший князь Иеремия Вишневецкий, найдет способ у тебя, атаман кошевой, ответ спросить.

— А зачем ты криводушие свое показал? Зачем доброго молодца клевцом порубал? Зачем людей перебил вчетверо против своих? Зачем сюда с письмом ко мне ехал — чтобы о приготовлениях наших прознать и ляхам о них донести? Знаем мы и то, что ты к предателям Войска Запорожского письма имел, чтобы с изменниками этими погибель всего Войска Запорожского замыслить, а посему не как посол, но как недруг принят и поделом наказан будешь.

— Ошибаешься ты, атаман кошевой, и ты, ваша милость гетман самозванный! — сказал наместник, обращаясь к Хмельницкому. — Если имел я письма, так это в обычае всякого посла, который, в чужие земли направляясь, всегда берет письма от знакомых к знакомым, дабы завязать таким образом дружеские отношения. А я сюда ехал с княжеским письмом, не погибель вашу замыслить, но удержать вас от таких действий, каковыя гибельный пароксизм на Речь Посполитую, а на вас и на все Войско Запорожское окончательное истребление навлекут. Ибо на кого вы безбожную руку поднимаете? Против кого вы, именующие себя защитниками веры Христовой, с погаными союзы заключаете? Против короля, против шляхетского сословия, против Речи Посполитой. Посему скорее вы — не я — предатели. И вот что скажу я: ежели покорностью и послушанием не загладите провинностей своих, горе вам! Разве забвенны уже времена

Павлюка и Наливайки? Разве стерлось в памяти вашей, как поплатились они? Знайте же, что *patientia*¹ Речи Посполитой исчерпана и меч занесен над головами вашими.

— Ругаешь, вражий сын, выкрутиться хочешь и смерти избежать! — закричал кошевой. — Да только не помогут тебе ни угрозы, ни латынь твоя ляшская.

Остальные атаманы принялись скрежетать зубами и лязгать саблями, а пан Скшетуский поднял голову еще выше и сказал вот что:

— Не думай, атаман кошевой, что смерти я боюсь, или жизнь спасаю, или невиновность свою доказываю. Шляхтичем будучи, судим я могу быть только равными себе и не перед судьями тут стою, но перед татями, не перед шляхтой, но перед холонами, не перед рыцарством, но перед варварством, и хорошо мне известно, что не избежну я смерти, которою вы тоже пополните меру своей неправоты. Смерть и мука передо мною, но за мною — могущество и возмездие целой Речи Посполитой, пред ней же да вострепещите все вы!

Непонятно почему, но гордый вид, высокая речь и упоминание Речи Посполитой произвели сильное впечатление. Атаманы молча поглядывали друг на друга. В какое-то мгновение показалось им, что перед ними не пленник, но грозный посланец могущественного народа. Тугай-бей буркнул:

— Сердитый лях!

— Сердитый лях! — повторил Хмельницкий.

Внезапные удары в дверь прервали дальнейший допрос. На майдане расправа над останками Татарчука и Барабаша как раз была закончена: товарищество прислало новую депутацию.

Более дюжины казаков, пьяных, окровавленных, взмокших, тяжело дышавших, ввалились в горницу. Переступив порог, они остановились и, простерши руки свои, еще дымившиеся кровью, заговорили:

— Товарищество кланяется панам начальству, — тут все они поклонились в пояс, — и просит выдать того ляха, щоб з ним пограти, як з Барабашом і Татарчуком.

— Выдать им ляха! — крикнул Чернога.

— Не выдавать, — крикнули другие. — Пусть погодят! Он посол!

— На погибель ему! — раздались отдельные голоса.

Затем все замолкли, ожидая, что скажут кошевой и Хмельницкий.

— Товарищество просит, а ежели что — само возьмет! — повторили депутаты.

Казалось, что Скшетуский уже пропал и спасения ему не будет, когда Хмельницкий вдруг наклонился к уху Тугай-бея.

— Он твой пленник, — шепнул гетман. — Его татары взяли,

¹ терпеливость (лат.).

он твой. Неужто позволишь его отнять? Это богатый шляхтич, да и князь Ярема за него золотом заплатит.

— Давайте ляха! — грознее прежнего требовали казаки.

Тугай-бей потянулся на своем седалище и встал. Лицо его во мгновение преобразилось: глаза расширились, словно у лесного кота, зубы оскಾಲились. Внезапно он прыгнул к молодцам, требовавшим выдачи пленного.

— Прочь, козлы, собаки неверные! Рабы! Свинояди! — рывкнул он, схватив за бороды двух запорожцев и в ярости эти бороды дергая. — Прочь, пьяницы, твари нечистые! Скоты гнусные! Вы у меня ясырь пришли отнимать, а я вас вот так!.. Козлы! — Говоря это, он рвал бороды все новых молодцев, наконец, поваливши одного, принялся топтать его ногами. — На лицо, рабы, не то ясырями будете! Не то всю вашу Сечь ногами, как вас, потопчу! Дотла спалю, падалью вашей покрою!

Перепуганные депутаты пятились — грозный друг показал им, на что способен.

И удивительное дело: на Базавлуке стояло всего шесть тысяч ордынцев (правда, за ними был еще хан со всею крымской мощью), но в Сечи ведь находилось много более десяти тысяч молодцев, не считая тех, кого Хмельницкий уже загодя послал на Томаковку, и все-таки ни одного недовольного голоса не услышал Тугай-бей. Стало ясно, что способ, каким грозный мурза оставил за собой пленного, был единственно верным и был точно рассчитан, немедленно укротив запорожцев, которым татарская помощь была крайне необходима. Депутация кинулась на майдан, крича, что с ляхом поиграть не получится, что он пленник Тугай-бея, а Тугай-бей, каже, розсердився! «Бороды нам повырывал!» — кричали они. На майдане сразу же стали повторять: «Тугай-бей розсердився!» — «Розсердився! — горестно кричали толпы. — Розсердився!» — а спустя некоторое время какой-то провозительный голос затынул у костра:

Гей, гей!
Тугай-бей!
Розсердився дуже!
Гей, гей!
Тугай-бей!
Не сердися, друже!

Сразу же тысяча голосов подхватила: «Гей, гей! Тугай-бей», и так возникла одна из тех песен, которые, можно сказать, вихрь потом разносил по всей Украине и касался ими струн лир и торбанов.

Но внезапно песня оборвалась, ибо в ворота со стороны Гасан Бапа влетело десятка два каких-то людей и, проридаясь сквозь толпу и крича: «С дороги! С дороги!», что было мочи устремилось к дому рады. Атаманы собирались уже разойтись, когда новые эти гости вбежали в горницу.

— Письмо гетману! — кричал старый казак.

— Откуда вы?

— Мы чыгиринские. День и ночь с письмом идем. Вот оно.

Хмельницкий взял письмо из рук казака и стал читать. Внезапно лицо его преобразилось, он прервал чтение и громким голосом сказал:

— Досточтимые господа атаманы! Великий гетман посылает на нас сына Стефана с войском. Война!

В комнате тихо зашумели, заговорили. Было ли это проявлением радости или потрясения — неясно. Хмельницкий вышел на середину и упер руки в боки, очи его метали молнии, а голос звучал грозно и повелительно:

— Куренные по куреням! Ударить на башне из пушек. Бочки с водкой разбить! Завтра чем свет выступаем!

С этой минуты на Сечи кончались сходки, советы атаманов, сеймы и главенствующая роль товарищества. Хмельницкий брал в руки неограниченную власть. Только что опасаясь, что разгулявшееся товарищество не послушается его, он вынужден был хитростью спастись пленника и коварством избавиться от недоброжелателей, а теперь он сделался господином жизни и смерти каждого. Так было всегда. До и после похода, хотя бы гетман уже и бывал избран, толпа еще навязывала атаманам и кошевому свою волю, противиться которой было небезопасно. Но стоило протрубить поход, и товарищество становилось войском, подчинявшимся воинской дисциплине, куренные — офицерами, а гетман — вождем-диктатором.

Вот почему, услышав приказы Хмельницкого, атаманы сразу бросились по своим куреням. Рада была закончена.

Спустя короткое время грохот пушек на воротах, ведущих из Гассан Баша на сечевой майдан, потряс стены сечевого совета и разнесся угрюмым эхом по всему Чертомлыку, возвещая войну.

Возвестил он также и начало новой эпохи в истории двух народов, но об этом не знали ни пьяные сечевики, ни сам гетман задорожский.

ГЛАВА XII

Хмельницкий со Скететуским пошли почевать к кошевому, а с ними и Тугай-бей, из-за позднего времени решивший на Базавлук не возвращаться. Дикая бей обращался с наместником, как с пленным, за которого будет немалый выкуп, а потому трактовал не как невольника и с уважением куда большим, нежели казаков, ибо в свое время встречал его при ханском дворе в качестве княжеского посла. Видя такое, кошевой пригласил Скететуского в свою хату и соответственно тоже изменил с ним обращение. Старый атаман душой и телом был предан Хмельницкому и на раде, конечно, заметил, что Хмельницкий явно старался

пленника спасти. Однако по-настоящему удивился кошевой, когда, едва вошед в хату, Хмельницкий обратился к Тугай-бею: — Тугай-бей, сколько выкупа думаешь ты взять за этого пленного?

Тугай-бей глянул на Скшетуского и сказал:

— Ты говорил, что он человек знатный, а мне известно, что он посол грозного князя, а грозный князь своих в беде не оставит. Бисмиллах! Один заплатит и другой заплатит — получается..

И Тугай-бей задумался:

— Две тысячи талеров.

Хмельницкий спокойно сказал:

— Даю тебе эти две тысячи.

Татарин некоторое время раздумывал. Его раскосые глаза, казалось, насквозь проникали Хмельницкого.

— Ты дашь три, — сказал он.

— Почему я должен три давать, если ты собирался взять две?

— Потому что, раз тебе захотелось получить его, значит, у тебя свой интерес, а раз свой интерес, дашь три.

— Он спас мне жизнь.

— Алла! За это стоит накинуть тысячу.

В торг вмешался Скшетуский.

— Тугай-бей! — сказал он гневно. — Из княжеской казны я ничего тебе посулить не могу, но хоть бы мне и пришлось собственное добро тронуть, я сам три не пожалею. Приблизительно столько составляет моя лихва от князя, да еще деревенька у меня изрядная есть, так что хватит. А гетману этому я ни свободой, ни жизнью обязан быть не желаю.

— Да откуда ты знаешь, что я с тобой сделаю? — спросил Хмельницкий.

И, поворотившись к Тугай-бею, сказал:

— Вот-вот разразится война. Ты пошлешь ко князю, но, пока посланец воротится, много воды в Днепре утечет; я же тебе завтра сам деньги на Базавлук отвезу.

— Давай четыре, тогда я с ляхом и говорить не стану, — нетерпеливо ответил Тугай-бей.

— Что ж, дам четыре.

— Ваша милость, гетман, — сказал кошевой. — Желаешь, я тебе хоть сейчас отсчитаю. У меня тут под стенкой, может, даже и побольше есть.

— Завтра отвезешь на Базавлук, — сказал Хмельницкий.

Тугай-бей потянулся и зевнул.

— Спать охота, — сказал он. — Завтра с утра я тоже на Базавлук еду. Где мне лечь-то?

Кошевой указал ему груды овчин у стены.

Татарин бросился на постель и тотчас же захрапел, как конь.

Хмельницкий несколько раз прошелся по тесной хате,

— Сон на очи нейдет. Не уснуть мне. Дай чего-нибудь выпить, кошевой,— сказал он.

— Горелки или вина?

— Горелки. Не уснуть мне.

— Уже брезжит вроде,— сказал кошевой.

— Да, да! Иди и ты спать, старый друже. Выпей и ступай.

— Во славу и за удачу!

— За удачу!

Кошевой утерся рукавом, пожал руку Хмельницкому и, отойдя к противоположной стене, с головою зарылся в овчины — возраст брал свое, и кровь в кошевом бежала зябкая. Вскороости храп его присоединился к Тугай-бееву.

Хмельницкий сидел за столом, безмолвный и отсутствующий.

Вдруг он словно бы очнулся, поглядел на наместника и сказал:

— Сударь наместник, ты свободен.

— Благодарствуй, досточтимый гетман запорожский, хотя не скрою, что предпочел бы кого другого за свободу благодарить.

— Тогда не благодари. Ты спас мне жизнь, я добром отплатил — вот мы и квиты. Но хочу сказать тебе вот что: если не дашь рыцарского слова, что не расскажешь своим о наших приготовлениях, о численности войска нашего или о чем еще, что на Сечи видал, я тебя пока не отпущу.

— Значит, напрасно ты мне *fructum*¹ свободы дал вкушать, потому что такого слова я не дам, ибо, давши его, поступлю как те, кто к недругу перебегают.

— И жизнь моя, и благополучие всего запорожского войска сейчас в том, чтобы великий гетман не пошел на нас со всеми силами, что он не преминет сделать, если ты ему о наших расскажешь, так что, если не дашь слова, я тебя не отпущу до тех пор, пока не почувствую себя достаточно уверенно. Знаю я, на что замахнулся, знаю, какая страшная сила противостоит мне: оба гетмана, грозный твой князь, один целого войска стоящий, да Заславские, да Конецпольские, да все эти королята, на вье казацкой стопу утвердившие! Воистину немало я потрудился, немало писем понаписал, прежде чем удалось мне подозрительность их усыпить,— так могу ли я теперь позволить, чтобы ты разбудил ее? Ежели и чернь, и городовые казаки, и все утесненные в вере да свободе выступят на моей стороне, как запорожское войско и милостивый хан крымский, тогда полагаю я совладать с неприятелем, ибо и мои силы значительны будут, но всего более вверяюсь я богу, который видел кривды и знает невинность мою.

Хмельницкий опрокинул чарку и стал беспокойно расхаживать вокруг стола, пан же Скшетуский смерил его взглядом и, напирая на каждое слово, сказал:

¹ плод (лат.).

— Не богохульствуй, гетман запорожский, на бога и высочайшее покровительство его рассчитывая, ибо воистину только гнев божий и скорейшую кару навлечешь на себя. Тебе ли пришло взывать к всевышнему, тебе ли, который собственных обид и частных распрей ради столь ужасную бурю поднимаешь, раздуваешь пламя усобицы и с басурманами противу христиан объединяешься? Победишь ли ты или окажешься побежденным — море человеческой крови и слез прольешь, хуже саранчи землю опустошишь, родную кровь поганым в неволю отдашь. Речь Посполитую поколеблешь, монарха оскорбишь, алтари господни поругаешь, а все потому, что Чаплинский хутор у тебя отнял, что, пьяным будучи, угрожал тебе! Так на что же ты руку не поднимаешь? Чего корысти своей ради не принесешь в жертву? Богу себя вверяешь? А я, хоть и нахожусь в твоих руках, хоть ты меня живота и свободы лишить можешь, истинно говорю тебе: сатану, не господу в заступники призывай, ибо единственно ад споспешествовать тебе может!

Хмельницкий побагровел, схватился за рукоять сабли и глянул на пленника, как лев, который вот-вот зарычит и кинется на свою жертву. Однако же он сдержался. К счастью, гетман не был пока что пьян, но охватила его, казалось, безотчетная тревога, казалось, некие голоса взмолились в душе его: «Повороти с дороги!», ибо вдруг, словно бы желая отвязаться от собственных мыслей или убедить самого себя, стал говорить он вот что:

— От другого не стерпел бы я таких речей, но и ты поостерегись, чтобы дерзость твоя моему терпению конец не положила. Адам меня пугаешь, о корысти моей и предательстве мне проповедуешь, а почему ты знаешь, что я только за собственные обиды воздать иду? Где бы я нашел соратников, где бы взял тьмы эти, которые уже перешли на мою сторону и еще перейдут, когда бы собственные только обиды взыскать вознамерился? Погляди, что на Украине творится. Гей! Земля-кормилица, земля-магушка, земля родимая, а кто тут в завтрашнем дне уверен? Кто тут счастлив? Кто веры не лишен, свободы не потерял, кто тут не плачет и не стонает? Только Вишневецкие, да Потоцкие, да Заславские, да Конецпольские, да Калиновские, да горстка шляхты! Для них староства, чины, земля, люди, для них счастье и бесценная свобода, а прочий народ в слезах руки к небу заламывает, ушова на суд божий, ибо и королевский не помогает! Сколько же, — шляхты даже! — невыносимого их гнета не умея стерпеть, на Сечь сбегает, как и я сбежал? Я ведь войны с королем не ищу, не ищу и с Речью Посполитой! Она — мать, он — отец! Король — государь милостивый, но королята! С ними нам не жить, это их лихоимство, это их аренды, ставщины, поемщины, сухомельщины, очковые и роговые, это их тиранство и гнет, через евреев совершаемые, к небесам о возмездии вопиют. Какой твоей благодарности дождалось войско запорожское за свои великие

услуги, в многочисленных войнах оказанные? Где казацкие привилегии? Король дал, королята отняли. Наливайко четвертован! Павлюк в медном быке сожжен! Еще не зажили раны, которые нам сабля Жолкевского и Конецпольского нанесла! Слезы не высохли по убиенным, обезглавленным, на кол посаженным! И вот — гляди — что на небесах светит! — Тут Хмельницкий показал в окошке пылающую комету. — Гнев божий! Бич божий!.. И коли суждено мне на земле бичом этим стать, да свершится воля господня! Я сие бремя на плечи принимаю.

Сказав это, он простер руки горе и весь, казалось, вспылал, точно огромный факел возмездия, и затрясся весь, а потом рухнул на лавку, точно непомерной тяжестью предназначения своего придавленный.

Воцарилась тишина, нарушаемая только храпом Тугай-бея и кошевого, да еще в углу хаты жалобно пиликал сверчок.

Наместник сидел, опустив голову и, казалось, ища ответа на слова Хмельницкого, тяжкие, точно гранитные глыбы, но вот и он заговорил голосом тихим и печальным:

— О, пусть бы все это и было правдой, но кто же ты такой, гетман, чтобы судьбою и палачом себя поставить? Какая тебя жестокость, какая гордыня подвигает? Зачем ты богу суда и кары не оставляешь? Я зла не защищаю, обид не одобряю, притесненный законом не нарекаю, но взглядишь же в себя, гетман! На утеснения от королят жалуешься, говоришь, что ни королю, ни закону повиноваться не желают, спесь их порицаешь, а разве сам ты без греха? Сам разве не поднял руку на Речь Посполитую, закон и престол? Тиранство панов и шляхты видишь, но того видеть не желаешь, что, ежели бы не их груди, не их брони, не их могущество, не их замки, не их пушки и полки, тогда бы земля эта, млеком и медом текущая, под стократ тяжелейшим турецким или татарским ярмом стевала! Ибо кто бы защитил ее? Чьим это могуществом и покровительством дети ваши в янычарах не служат, а жены в паскудные гаремы не похищаются? Кто заселяет пустоши, закладывает города и села, воздвигает храмы бсжьи?..

Тут голос Скшетуского стал делаться все громче и громче, а Хмельницкий, угрюмо уставившись в четверть водки, стиснутые кулаки на стол положил и молчал, словно бы сам с собою борлся.

— Так кто же они? — продолжал пан Скшетуский. — Из немец сюда пришли или из Туретчины? Не кровь ли это от крови, не плоть ли от плоти вашей? Не ваша ли это шляхта, не ваши княжата? А если оно так, тогда горе тебе, гетман, ибо ты младших братьев на старших поднимаешь и братоубийцами их делаешь. Боже ты мой! Пусть и плохи они, пускай даже все, — а это не так! — попирают законы, ругаются над привилегиями, так их же богу в небесах судить, а на земле сеймам, но не тебе, гетман! Ибо можешь ли ты поручиться, что меж ваших сплошь правед-

ники? Разве же вы никогда не согрешили, разве имеете право бросить камень в чужой грех? А уж коли ты меня пытал, — где они, мол, привилегии казацкие? — так я отвечу тебе: не королята их разорвали, но запорожцы, но Лобода, Сашко, Наливайко и Павлюк, о котором лжешь, что он в медном быке был поджарен, ибо тебе хорошо известно, что так не было! Разорвали их бунты ваши, разорвали их смуты и набеги, на манер татарских учиняемые. Кто татар в рубежи Речи Посполитой пускал, чтобы затем на возвращающихся и награбленным отягощенных добычи ради нападать? Вы! Кто — господи! — народ христианский, своих, ясырями отдавал? Кто величайшие смутьянства затевал? Вы! От кого ни шляхтич, ни купец, ни кмет не упасутся? От вас! Кто братоубийственные войны раздувал, дотла жег деревни и города украинные, грабил храмы божьи, бесчестил женщин? Вы, и еще раз вы! Чего же ты теперь хочешь? Чтобы вам привилегии на братоубийственную войну, разбой и грабительство были даны? Воистину вам более прощено, чем огню! Ибо хотели мы *semper putrida*¹ лечить, не отсекаль², и не знаю — есть ли какая держава на свете, кроме Речи Посполитой, которая бы, таковую язву на собственной груди имея, столько снисхождения и терпеливости проявила! А какая благодарность за все это? Вот он спит, твой союзник, но Речи Посполитой враг заклятый; твой приятель, но супостат креста и христианства, не королишко украинный, но мурза крымский!.. С ним ты пойдешь жечь собственное гнездо, с ним пойдешь судить братьев! Но ведь он тебе впрямь господином будет, ему стрема будешь держать!

Хмельницкий опорожнил еще чарку.

— Когда мы с Барабашем в свое время у милостивого короля были, — ответил он угрюмо, — и когда жалелись на кривды и утеснения, государь сказал: «А разве не при вас самопалы, разве не при сабле вы?»

— А если б ты царю царей предстал, тот сказал бы: «Простишь ли врагам своим, яко я своим простил?»

— С Речью Посполитой я войны не хочу!

— А меч ей к горлу приставляешь!

— Казаков иду из цепей ваших вызволить.

— Чтобы связать их лыками татарскими!

— Веру защитить!

— С неверным на пару.

— Отыди же, ибо не ты голос моей совести! Прочь! Слышишь?

— Кровь пролитая тебя отягчит, слезы людские обвинят, смерть суждена тебе, суд ожидает.

— Не каркай! — закричал в бешенстве Хмельницкий и блеснул ножом у наместниковой груди.

¹ гниющие члены (лат.).

² Исторические слова Жолкевского. (Примеч. автора.)

— Бей! — сказал пан Скшетуский.

И снова на мгновение воцарилась тишина, снова было слышать только храп спящих да жалобное поскрипывание сверчка.

Хмельницкий какое-то время держал нож у груди Скшетуского, однако, содрогнувшись вдруг, опомнившись, нож уронил и, схватив четверть, припал к ней. Выпив почти все, он тяжело сед на лавку.

— Не могу его прирезать! — забормотал он. — Не могу! Поздно уже... Неужто рассветает?.. И на понятный идти поздно... Что ты мне о суде и крови говоришь?

Он и до того уже немало выпил, поэтому теперь водка ударила ему в голову, вовсе спутав мысли.

— Какой такой суд, а? Хан мне подмогу обещал. Вон Тугай-бей спит! Завтра молодцы двинутся... С нами святой Михаил-архистратиг! А ежели... ежели... то... Я тебя у Тугай-бея выкупил — ты это помни и скажи... Вот! Болит что-то... болит! На понятный... поздно!.. суд... Наливайко... Павлюк...

Вдруг он выпрямился, глаза в ужасе вытаращил и крикнул:

— Кто здесь?

— Кто здесь? — повторил полупроснувшийся кошевой.

Но Хмельницкий голову на грудь свесил, качнулся раз и другой, пробормотал: «Какой суд?..» — и уснул.

Пан Скшетуский, обессиленный своими ранами и бурным разговором, страшно побледнел и стал терять сознание. И показалось ему даже, что это, быть может, смерть его пришла, и стал он громко молиться.

ГЛАВА XIII

Назавтра, едва развиднелось, пешее и конное казачье войско двинулись из Сечи. Хотя кровь не обогрела еще степей, война была начата. Полки шли за полками, и казалось, что это саранча, пригретая весенним солнцем, выродилась из камышей Чертомлыка и летит на украинские нивы. В лесу за Базавлуком ждали уже готовые в поход ордынцы. Шесть тысяч наиотборнейших воинов, вооруженных много лучше обычных чамбульных головорезов, составляли подкрепления, присланные ханом запорожцам и Хмельницкому. Молодцы, завидя их, подкинули шапки в воздух. Загремели мушкеты и самопалы. Казачьи клики, смешавшись с татарскими призывами к аллаху, грянули в свод небесный. Хмельницкий и Тугай-бей, оба под бунчуками, съехали и церемонно приветствовали друг друга.

Походные порядки были построены со свойственным татарам и казакам проворством, после чего войска двинулись дальше. Ордынцы шли по обоим казачьим флангам, средину заполнил Хмельницкий с конницей, за которой следовала страшная запо-

рожская пехота¹, далее — пушкари с пушками, дальше табор, возы, на них обозники, провиант, наконец, чабаны с конским запасом и скотом.

Прошед базавлукский лес, полки выплыли в степь. День стоял ясный. Ни одна тучка не омрачала небес. Легкий ветерок тянул с севера к морю, солнце сверкало на пиках и на цветах степных. Точно море безбрежное, распахнулось перед войском Дикое Поле, и вид этот наполнил ликованием казацкие сердца. Большой малиновый стяг с архангелом, приветствуя родимую степь, склонился несколько раз, и вослед ему склонились все бунчуки и полковые знамена. Единый крик вырвался из всех грудей.

Полки развернулись свободнее. Довбиши и торбанисты выехали в чело войска, загрохотали турецкие барабаны, грянули торбаны и литавры, и песня, затянутая тысячей голосов, вторя им, сотрясла воздух и самое степь:

Гей ви степи, ви ріднії,
Красним цвітом писаниї,
Як море широкії.

Торбанисты отпустили поводья и, откинувшись на седельные луки, со взорами, обращенными к небу, ударили по струнам торбанов; литаврички, подняв руки над головами, грохнули в свои медные круги; довшии заколотили в турецкие барабаны, и все звуки эти купно с монотонным напевом песни и пронзительно-нескладным свистом татарских дудок слились в некое безбрежное звучание, дикое и печальное, точно сама пустыня. Упоение овладело войском, головы раскачивались в лад песне, и вот уже стало казаться, что это сама степь поет и колыхается вместе с людьми, лошадьми и знаменами.

Вспугнутые стаи птиц взметывались из трав и летели впереди войска, словно еще одно — небесное — воинство.

Временами и песня, и музыка смолкали, и слышался тогда лишь плеск знамен, тонот, фыркание лошадей да скрип обозных телег, лебединым или журавлиным голосам подобный.

Впереди под бунчуком и огромным малиновым стягом ехал Хмельницкий, в алой одеже, на белом коне и с золотою булавою в руке.

Весь табор неспешно продвигался к северу, покрывая, точно грозная лавина, речки, дубравы и курганы, наполняя шумом и громом степное запустенье.

А со стороны Чигирина, с северного рубежа пустыни, катилась навстречу ему другая лавина — коронные войска, предводимые молодым Потоцким. Тут — запорожцы и татары шли, точно

¹ Вопреки распространенному сейчас мнению, Боплан утверждает, что запорожская пехота неизмеримо превосходила конницу. Согласно ему, 200 поляков с легкостью одерживали верх над 2000 запорожской кавалерии, но зато 100 пеших казаков могли, заняв оборону, долго сражаться против тысячи поляков. (Примеч. автора.)

на свадьбу, с веселой песней на устах; там — сосредоточенные гусары продвигались в угрюмом молчании, без воодушевления идучи на бесславную эту войну. Здесь — под малиновым стягом старый опытный военачальник грозно потрясал булавою, словно не сомневаясь в победе и возмездии; там — во главе ехал молодой человек с задумчивым лицом, словно бы чувствуя свой скорый и неминуемый конец.

Разделяли их пока что огромные степные просторы.

Хмельницкий не спешил, ибо полагал, что чем больше углубится молодой Потоцкий в степь, тем больше оторвется от обоих гетманов, а значит, легче может быть побежден. А меж тем новые и новые беглые из Чигирина, Поволочи, изо всех побережных городов украинских всякий день увеличивали запорожские рати, заодно принося и вести о противнике. От них Хмельницкий узнал, что старый гетман послал сына всего лишь с двумя тысячами войска по суше¹, шесть же тысяч реестровых и тысячу немецкой пехоты байдаками по Днепру. Обе части войска получили приказ поддерживать друг с другом непрерывную связь, но приказ был в первый же день нарушен, ибо челны, подхваченные быстрым днепровским течением, значительно опередили гусар, идущих берегом, чье движение весьма замедляли переправы через все речки, впадающие в Днепр.

А Хмельницкий, желая, чтобы разобщенность эта увеличилась еще больше, не спешил. На третий день похода он стал лагерем возле Камышней Воды, чтобы дать войску отдых.

Меж тем конные отряды Тугай-бея привели языков, двух драгунов, сразу же за Чигирином сбежавших из армии Потоцкого. Скача день и ночь, драгунам удалось значительно опередить свои войска. Перебежчиков незамедлительно привели к Хмельницкому.

Сообщения их подтвердили то, что Хмельницкому было уже о силах молодого Потоцкого известно, но сообщили беглые драгуны и новость: что казаками, плывущими на байдаках вместе с немецкой пехотой, командуют престарелый Барабаш и Кречовский.

Услыхав последнее имя, Хмельницкий вскочил.

— Кречовский? Полковник переяславских реестровых?

— Он самый, ясновельможный гетман! — ответили драгуны. Хмельницкий повернулся к окружавшим его полковникам.

— В поход! — скомандовал он громовым голосом.

Не прошло и часа, а войско уже выступило, хотя солнце садилось и ночь не обещала быть погожей. Какие-то страшные ржавые тучи обложили на западной стороне небо; похожие на чудищ, на левпафанов, они сползались одна с одной, словно намереваясь затеять побойще.

¹ Русинские источники, например, Самойл Величко, оценивают число коронных войск в 22 000. Цифра эта безусловно неверная. (Примеч. автора.)

Табор направился влево, к берегу Днепра. На этот раз шли без шума, без песен, барабанов и литавр, но торопливо, насколько это позволяли травы, такие здесь буйные, что продиравшиеся сквозь них полки порою пропадали из виду, и цветные знамена, казалось, сами по себе плыли в степном просторе. Конница прокладывала дорогу повозкам и пехоте, но те, с трудом продвигаясь, вскоре остались далеко в тылу. Ночь тем временем опустилась в степи. Огромная красная луна неторопливо выкатилась в небеса; закрываемая то и дело тучами, она разгоралась и гасла, точно свечильня, которую пытается задуть порывистый ветер.

Время приближалось уже к полуночи, когда взорам казаков и татар предстали черные исполинские громады, отчетливо выделявшиеся на темном просторе небес.

Это были стены Кудака.

Передовые отряды под покровом темноты, точно волки или птицы ночные, осторожно и тихо приблизились к замку. Вдруг да получится овладеть уснувшей крепостью!

Но внезапная молния на валу разорвала мрак, страшный грохот потряс днепровские утесы, и огненное ядро, прочертив в небе пламенную дугу, упало в степные травы.

Угрюмый циклоп Гродзицкий давал знать, что не дремлет.

— Пес одноглазый! — пробормотал Тугай-бею Хмельницкий. — В темноте видит.

Казаки миновали замок, о штурме которого сейчас, когда против них самих шло коронное войско, нечего было и думать, и двинулись дальше. Пан же Гродзицкий палил им вслед так, что стены крепостные сотрясались, но не затем, чтобы урон нанести, ибо войско проходило на значительном расстоянии, а затем, чтобы предостеречь своих, которые подплывали по Днепру и могли оказаться где-то неподалеку.

Первым делом пальба кудацких пушек отозвалась в сердце и ушах пана Скшетуского. Молодой рыцарь, которого по приказу Хмеля везли в казацком обозе, на второй день тяжело расхворался. В стычке на Хортице он хотя и не получил ни одной смертельной раны, но потерял столько крови, что жизнь в нем едва теплилась. Раны его, по-казацки обихоженные старым катареем, открылись, началась горячка, и в ту ночь лежал он в полубеспамятстве на казацкой телеге, ничего о божьем свете не ведая. Очнуться заставили его орудия Кудака. Он открыл глаза, приподнялся на телеге и огляделся. Казацкий табор пробирался во тьме, точно вереница призраков, а замок грохотал и клубился розовыми дымами; огненные шары скакали по степи, хрипя и рыча, как разъяренные псы; и, когда пан Скшетуский увидел это, такое отчаяние, такая тоска охватили его, что он готов был умереть, лишь бы только унести душу к своим. Война! Война! А он во вражьем стане, безоружный, беспомощный, не помышляющий даже встать с телеги. Речь Посполитая в опасности, он же не посмешает ее спасти! А там, в Лубнах, наверно,

уже войско выступает. Князь с молниями во взоре летает перед строем и в какую сторону булавою кивнет, там сразу триста копий, словно триста громов грянут. И тотчас разные знакомые лица стали появляться перед наместником. Маленький Володы-ёвский мчится во главе драгун, и хоть в руке его всегдашняя тонкая сабелька, но это всем рубакам рубака: с кем состукнет клинок, тот, считай, уже в могиле; а вот и пан Подбипытка замахивается своим палаческим Сорвиглавцем! Срубит он три головы или не срубит? Ксендз Яскульский объезжает хоругви и, воздев руки, творит молитву, но, будучи старым жолнером, не утерпев, то и дело гаркает: «Бей! Убивай!» А вот уже и панцирные склонили мечи на пол-уха лошадиного, полки взяли с места, разгоняются, мчатся, битва, шквал!

Внезапно видение меняется. Наместнику является Елена. Бледная, с распущенными волосами, она взывает: «Спаси же, Богуи за мною гонится!» Скшетуский срывается с телеги, но чей-то голос, на этот раз настоящий, говорит ему:

— Лежи, дитино, не то свяжу.

Это обозный есаул Захар, которому Хмельницкий наказал с наместника глаз не спускать, снова укладывает его на телегу, накрывает конской шкурою и спрашивает:

— Що з тобою?

И пан Скшетуский вовсе приходит в память. Призраки исчезают. Возы влекутся у самого днепровского берега. Холодное дуновение прилетает с реки, и ночь бледнеет. Речные птицы затевают предрассветный гомон.

— Слушай, Захар! Мы разве уже миновали Кудак? — спрашивает Скшетуский.

— Миновали! — отвечает запорожец.

— А куда же вы идете?

— Не знаю. Битва, каже, буде, але не знаю.

От слов этих сердце радостно забилося в груди пана Скшетуского. Он полагал, что Хмельницкий станет осаждать Кудак и с этого начнет военные действия. Но поспешность, с какою казаки шли вперед, позволяла предположить, что коронные войска уже близко и что Хмельницкий потому обошел крепость, чтобы не оказаться вынужденным вести под ее обстрелом сражение. «Возможно, я уже сегодня буду свободен», — подумал наместник и благодарно вознес очи к небесам.

ГЛАВА XIV

Грохот кудакских пушек услышали и войска, плывшие на байдаках под командой старого Барабаша и Кречовского.

Их было шесть тысяч реестровых и regiment отборной немецкой пехоты, где полковничал Ганс Флик.

Миколай Потоцкий долго не решался послать казаков против Хмельницкого, но, поскольку Кречовский пользовался среди них огромным влиянием, а Кречовскому гетман доверял бесконечно, то ограничился он тем, что велел казакам присягнуть в верности и с богом отправил их в поход.

Кречовский, воин весьма опытный и многожды в прежних войнах прославившийся, был человеком Потоцких. Потоцким он обязан был и званием полковника, и дворянством, которого они добились для него на сейме, и, наконец, пожизненно полученными от них обширными наделами в месте слияния Днестра и Ладавы.

Столько уз связывало его с Речью Посполитой и Потоцкими, что даже малейшее недоверие не могло зародиться в гетмановой душе. Ко всему был этот человек в расцвете сил, лет этак около пятидесяти, и великое поприще на службе отечеству ожидало его в будущем. Кое-кто видел в нем даже преемника Стефану Хмелецкому, начинавшему свой путь простым степным рыцарем, а завершившему — воеводой киевским и сенатором Речи Посполитой. Так что от самого Кречовского зависело, пойдет ли он тем путем, на который привело его мужество, неукротимая энергия и безмерная амбиция, вожделевшая сколько богатств, столько и чинов. Ради этой самой амбиции он весьма добивался недавно Литинского староства, а когда в конце концов досталось оно Корбуту, Кречовский в глубине души затаил досаду и, можно сказать, даже отболел от зависти и огорчения. Сейчас судьба как бы опять улыбалась ему, ибо, получив от великого гетмана столь важное воинское задание, он смело мог рассчитывать, что имя его дойдет и до королевских ушей. А было это делом немаловажным, ибо засим оставалось лишь поклониться господину своему, чтобы получить привилегию с желанными шляхетской душе словами: «Бил нам челом и просил его пожаловать, а мы, помня его услуги, даем», и т. д. Таким путем получали на Руси богатства и чины; таким путем огромные пространства незаселенных степей, до того принадлежавшие богу и Речи Посполитой, переходили в частные руки; таким путем хундордный становился властелином и мог тешить себя мыслью, что отпрыски его среди сенаторов заседать будут.

Правда, Кречовского заедало, что в порученной ему теперь миссии приходится делиться властью с Барабашем, хотя двоествластие это и было по сути номинальным. Старый черкасский полковник, особенно в последнее время, так постарел и одряхлел, что, пожалуй, телом только принадлежал этому миру, душа же его и разум находились постоянно в оценении и угасании, обычно предвещающими смерть. Когда объявили поход, он словно бы очнулся и начал действовать довольно ретиво; даже можно было сказать, что от голоса военных труб веселее заходила в нем старая солдатская кровь, ведь был он в свое время прославленным рыцарем и степным вожакom; но когда выступили,

плеск весел убаюкал старика, казачьи песни и плавное движение байдаков усыпили, и позабыл он о мире божьем. Всем начальствовал и руководил Кречовский. Барабаш просыпался только поесть, а поевши, по привычке о чем-нибудь спрашивал. От него отделялись каким-нибудь несложным ответом, и он, вздохнув, говорил: «От, рад бы я с другою войною в могилу лечь, да, видать, воля божья!»

Между тем связь с коронным войском, которое вел Стефан Потоцкий, сразу же прервалась. Кречовский досадовал, что гусары и драгуны идут слишком медленно, слишком мешкают у переправ, что молодой гетманич новичок в военном искусстве, однако распорядился налегать на весла и плыть вперед.

Так что челны устремлялись с днепровским течением к Кудуку, все больше отрываясь от коронных войск.

И вот однажды ночью послышалась канонада.

Барабаш даже не проснулся, зато Флик, плывший в авангарде, пересел в лодчонку и подгреб к Кречовскому.

— Ваша милость полковник,— сказал он.— Это кудацкие пушки. Как прикажете поступить?

— Останови, сударь, байдаки. Заночуем в очеретах.

— Хмельницкий, как видно, осадил замок. Я полагаю, следует поспешить на выручку.

— А тебя, сударь, не спрашивают, что ты полагаешь, тебе приказывают. Командую я.

— Ваша милость полковник...

— Стоять и ждать! — отрезал Кречовский.

Однако, видя, что дельный немец дергает рыжую свою бороду и уступать без разъяснений не собирается, добавил примирительней:

— Каштелян к утру может подтянуться с конницей, а крепость за одну ночь не возьмут.

— А если не подтянется?

— Хоть и два дня ждать будем. Ты, сударь, Кудака не знаешь! Они об его стены зубы ломают, а я без каштеляна на выручку не двинусь, так как и полномочий таких не имею. Это его дело.

Правота явно была на стороне Кречовского, поэтому Флик, более не настаивая, отплыл к своим немцам. Спустя малое время байдаки стали подходить к правому берегу и забиваться в камыши, более чем на милю покрывавшие широко разлившуюся в этом месте реку. Наконец плески весел умолкли, суда полностью скрылись в зарослях, и река, казалось, совершенно опустела. Кречовский запретил жечь огонь, петь песни и разговаривать, так что в окрестности воцарилась тишина, тревожимая лишь далекими отголосками кудацких орудий.

На суденышках, однако, никто, кроме Барабаша, не смыкал глаз. Флик, человек рыцарской повадки и рвущийся в дело, птицей бы полетел к Кудуку. Казаки потихоньку переговарива-

лись, как, мол, оно будет с крепостью? Выстоит или не выстоит? А грохот между тем усиливался. Никто не сомневался, что замок отбивает внезапное нападение. «Хмель не шутит, да и Гродзицкий не шутит! — шептались казаки. — А что ж завтра будет?»

Этот же вопрос, вероятно, задавал себе и Кречовский, в глубокой задумчивости сидевший на носу своего байдака. Хмельницкого знал он давно и хорошо, всегда считал его человеком необычайных способностей, которому просто негде было развернуться и воспарить орлом, но сейчас Кречовский поколебался в своем мнении. Орудия неумолчно грохотали, а это могло означать, что Хмельницкий и в самом деле осадил крепость.

«Если оно действительно так, — размышлял Кречовский. — тогда он человек конченный!»

Как же это? Подняв Запорожье, обеспечив себе ханскую помощь, собравши армию, какую ни один из атаманов до сих пор не располагал, вместо того чтобы незамедлительно поспешать на Украину, поднять престоноародье, привлечь на свою сторону городских, разгромить как можно скорее гетманов и овладеть всей страной, пока ей на выручку не собралось новое войско, он, Хмельницкий, он, опытный воитель, штурмует неприступную крепость, которая может связать ему руки на год? И он допустит отборнейшим силам своим разбиться о стены Кудака, как разбивается днепровский вал о скалы порогов? И станет ждать возле Кудака, пока гетманы не соберут силы и не обложат его, как Наливайку у Солоницы?..

— Это человек конченный! — еще раз повторил Кречовский. — Собственные люди его выдадут. Неудачный приступ породит недовольство и беспорядки. Искра бунта зачахнет, едва разгоревшись, и Хмельницкий сделается не опасней меча, обломившегося у рукояти. Какой глупец!

«Его¹, — подумал пан Кречовский, — его, завтра я высаживаю своих людей, а в последующую ночь на обескровленного штурмами внезапно ударяю. Запорожцев перебью поголовно, а Хмельницкого связанным брошу к гетманским стопам. Сам же он и виноват, потому что все могло случиться иначе».

Тут непомерное самолюбие пана Кречовского вознеслось на соколиных крылах до небес. Он знал, что молодой Потоцкий никаким образом до завтрашней ночи подойти не успеет, а значит, кто отсечет голову гидре? Кречовский! Кто погасит смуту, которая страшным пожаром может перекинуться на всю Украину? Кречовский! Возможно, старый гетман и поморщится немного, что все совершилось без его сынка, но скоро поостынет, а все лучи славы и милостей королевских тем временем увенчают чело победителя.

¹ Итак (лат.).

Ах нет! Ведь придется делиться славою со старым Барабашем и Гродзицким! Пан Кречовский сперва сильно омрачился, но тут же повеселел. Старое это бревно, Барабаш, уже одной ногою в могиле, а Гродзицкому позволю только в Кудаче сидеть и татар время от времени пугать, больше ничего ему не надобно. Так что остается только он, Кречовский.

Вот бы гетманства украинского добиться!

Звезды мерцали в небесах, а полковнику казалось, что это камни драгоценные в булаве сверкают; ветер шуршал в очерете, а ему чудилось, что шумит бунчук гетманский.

Пушки Кудача продолжали грохотать.

«Хмельницкий шею под топор подставит,— продолжал размышлять полковник,— но тут он сам виноват! А могло быть по-другому! Вот если бы он сразу пошел на Украину!.. Могло по-другому быть! Там все кипит и бурлит, там порох, ждущий искры. Речь Посполитая могуча, но обороты Украину у нее сил не хватит, а король немолод и немощен!

Одна выигранная запорожцами битва имела бы неслыханные последствия...»

Кречовский спрятал лицо в ладони и сидел неподвижный, а звезды меж тем скатывались все ниже и ниже и потихоньку пропадали за степной кромкой. Перепела, сокрытые в травах, начали подавать голоса. Близился рассвет.

В конце концов мысли полковника утвердились в единственном решении. Завтра он ударит на Хмельницкого и разобьет его в пух и прах. Через его труп достигнет он богатств и почестей, станет орудием кары в руке Речи Посполитой, ее избавителем, а в будущем ее сановником и сенатором. После победы над Запорожьем и татарами ему ни в чем не откажут.

А Литинского староства все ж не дали.

Вспомнив это, Кречовский сжал кулаки. Не дали ему староства, несмотря на могучую поддержку протекторов его, Потоцких, несмотря на собственные его военные заслуги, и все потому, что был он homo novus¹, а его соперник от князей родословие вел. В этой Речи Посполитой не довольно стать шляхтичем, надо дожидаться, чтобы шляхетство твое покрылось плесенью, как винная бутылка, чтобы заржавело, точно железо.

Только Хмельницкий мог изменить заведенный порядок, к чему, надо думать, и сам король отнесся бы благосклонно, но предпочел, несчастный, разбить башку о кудацкие утесы.

Полковник понемногу успокаивался. Ну, не дали ему староства — что из того? Тем более сделают теперь все, чтобы его вознаградить, особенно же после победы и подавления бунта, после избавления Украины от братоубийственной войны, — да чего там! — всей Речи Посполитой избавления! Тут уж ему ни в чем не откажут, тут ему и в Потоцких надобности не будет...

¹ выскочка (лат.).

Сонная голова его склонилась на грудь, и он уснул, грезя о староствах, каштелянствах, о пожалованиях королевских и сеймовых...

Когда Кречовский проснулся, уже развиднелось. На байдаках все еще спали. В отдалении поблескивали в бледном, предрассветном свете днепровские воды. Вокруг была мертвая тишина. Тишина эта его и разбудила.

Кудацкие пушки не палили.

«Что это? — подумал Кречовский. — Первый штурм отбит? Или же Кудак взяли?»

Но такого быть не может!

Нет! Просто отброшенное казачье затаилось где-нибудь подалее от крепости и зализывает раны, а кривой Гродзицкий поглядывает на них из бойниц, поточнее наводя пушки.

Завтра они снова пойдут на приступ и снова сломают зубы.

Меж тем совсем поутрело. Кречовский поднял людей на своем байдаке и послал лодку за Фликом.

Тот незамедлительно прибыл.

— Сударь полковник! — сказал Кречовский. — Если до вечера каштелян не подойдет, а к ночи штурм не повторится, мы двинемся крепости на помощь.

— Мои люди готовы, — ответил Флик.

— Раздай же им порох и пули.

— Уже роздано.

— Ночью высадимся на берег и безо всякого шума пойдем степью. Нападем неожиданно.

— Gut! Sehr gut!¹ Но не проплыть ли на байдаках еще немного? До крепости мили четыре. Для пехоты неблизко.

— Пехота сядет на запасных лошадей.

— Sehr gut!

— Пускай люди тихо сидят по камышам, на берег не выйдут и шума не поднимают. Огня не зажигать, а то нас дым выдаст. Неприятель не должен знать о нас ничего.

— Туман такой, что и дыма не увидят.

И точно, сама река и рукав ее, заросший очеретом, в котором скрывались байдаки, и степи — всё, куда ни погляди, было погружено в белый непроглядный туман. Правда, пока что было раннее утро, а потом туман мог рассеяться и степные пространства открыть.

Флик отплыл. Люди на байдаках потихоньку просыпались; тотчас же было объявлено распоряжение Кречовского сидеть тихо, так что за утреннюю еду принимались без обычного бивачного гама. Пройди кто-нибудь берегом или проплыви по реке, ему бы даже в голову не пришло, что в излучине этой находится несколько тысяч человек. Коней, чтобы не ржали, кормили с руки. Байдаки, скрытые туманом, затаившись, стояли в

¹ Хорошо! Очень хорошо! (нем.)

камышовой чащобе. То и дело прошмыгивала лишь маленькая двухвесельная лодчонка, развозившая сухари и приказы, но в остальном царило гробовое молчание.

Внезапно вдоль всего рукава в травах, тростнике, камышах и прибрежных зарослях послышались странные и многочисленные голоса:

— Пугу! Пугу!

Молчание...

— Пугу! Пугу!

И снова наступила тишина, словно бы голоса эти, окликавшие с берега, ждали ответа.

Ответа не было. Призывы прозвучали и в третий раз, но уже резче и нетерпеливее:

— Пугу! Пугу!

Тогда со стороны челнов из тумана раздался голос Кречовского:

— Кто еще там?

— Казак с лугу!

У солдат, затаившихся на байдаках, беспокойно забились сердца. Им этот таинственный оклик был хорошо знаком. С его помощью запорожцы опознавали друг друга на зимовниках. Этим же самым манером в военное время приглашали на переговоры реестровых и городских собратьев, среди которых было немало тайно принадлежавших к братству.

Снова раздался голос Кречовского:

— Чего надо!

— Богдан Хмельницкий, гетман запорожский, предупреждает, что пушки наведены на излучину.

— Передайте гетману запорожскому, что наши наведены на берег.

— Пугу! Пугу!

— Чего еще надо?

— Богдан Хмельницкий, гетман запорожский, приглашает на разговор друга своего, пана полковника Кречовского.

— Пускай сперва заложников выставит.

— Десять куренных.

— Идет!

В ту же секунду берег излучины, точно цветами, зацвел фигурами запорожцев, вскочивших на ноги из трав, где они, затаившись, прятались. Издали, со стороны степи, появилась их конница и пушки, над которыми развевались десятки и сотни стягов, знамен и бунчуков. Шли отряды под барабан и с песней. Все это скорее походило на радостное привечание, чем на столкновение враждебных друг другу войск.

Солдаты с байдаков ответили криками. Тем временем подошли челны, доставившие куренных атаманов. Кречовский сел в один из них и направился к берегу. Там ему подвели коня и сразу же препроводили к Хмельницкому.

Тот, завидев его, снял шапку, а затем радушно приветствовал.

— Любезный полковник! — сказал он. — Старый друг мой и кум! Когда коронный гетман велел тебе ловить меня и доставить, ты этого делать не стал, а меня надумил спастись бегством, за каковой твой поступок я обязан тебе благодарностью и братской любовью.

Сказав это, он чуть ли не с почтением протянул руку, но темное лицо Кречовского осталось холодно, точно лед.

— Теперь же, когда ты, досточтимый гетман, спасся, — сказал он, — ты поднял восстание.

— За свои это, твои и всей Украины обиды иду я взыскивать с привилегиями королевскими в руках, оставаясь в надежде, что государь наш милостивый не поставит мне это в вину.

Кречовский, быстро заглядывая в глаза Хмельницкому, с нажимом сказал:

— Кудак осадил?

— Я? Ума я лишился, что ли? Кудак я обошел и даже ни разу не выстрелил, хотя кривой старик оповестил о себе пушками. Мне на Украину спешно было, не в Кудак; к тебе спешно было, к старому другу и благодетелю моему.

— Чего тебе от меня надобно?

— Давай отъедем маленько в степь, там и поговорим.

Оба тронули коней и поехали. Отсутствовали они около часа. По возвращении лицо Кречовского было бледно и страшно. Он почти тотчас же стал прощаться с Хмельницким, сказавшим ему напутно:

— Двое нас будет на Украине, а над нами только король, и более никого.

Кречовский вернулся к байдакам. Старый Барабаш, Флик и весь казацкий чин ожидали его с нетерпением.

— Ну что? Ну что? — послышалось со всех сторон.

— Всем высадиться на берег! — повелительным тоном командовал Кречовский.

Барабаш поднял заспанные веки, какое-то странное пламя сверкнуло в глазах старика.

— Как это? — спросил он.

— Всем на берег! Мы сдаемся!

Кровь прихлынула на бледное и пожелтевшее лицо Барабаша. Он поднялся с места, на котором сидел, выпрямился, и внезапно этот сторбленный, одряхлевший человек преобразился в исполина, полного сил и бодрости.

— Измена! — рявкнул он.

— Измена! — повторил Флик, хватаясь за рукоять рапиры.

Но прежде чем он ее выхватил, Кречовский свистнул саблей и одним ударом уложил его на палубе.

Затем он прыгнул с байдака в челнок, стоявший рядом, где четверо запорожцев держали весла наготове, и крикнул:

— Гребн между байдаков!

Челнок помчался стрелой, а Кречовский, выпрямившись, с горящим взглядом и шапкой на окровавленной сабле, кричал могучим голосом:

— Дети! Не станем убивать своих! Слава Богдану Хмельницкому, гетману запорожскому!

— Слава! — откликнулись сотни и тысячи голосов.

— На погибель ляхам!

— На погибель!

Воплям с байдаков отвечали крики запорожцев с берега, однако те, кто находился на челнах, стоявших в отдалении, еще не понимали, в чем дело, и лишь, когда повсюду разнеслась весть, что Кречовский переходит к запорожцам, истинное безумие радости охватило казаков. Шесть тысяч шапок взлетело в воздух, шесть тысяч мушкетов грохнули выстрелами. Байдаки заходили под стопами молодцев. Поднялся гвалт и замешательство. Но радости этой суждено было, однако, обогреться кровью, ибо старик Барабаш предпочел умереть, чем предать знамя, под которым прослужил всю свою жизнь. Несколько десятков черкаских людей не покинули его, и завязался бой, короткий, страшный, как все сражения, в которых горстка людей, ищущая не милости, но смерти, обороняется от натиска толпы. Ни Кречовский, ни казаки не ожидали такого сопротивления. В старом полковнике проснулся прежний лев. На призыв сложить оружие он ответил выстрелами, оставаясь у всех на виду с булавою в руке, с развевающимися белыми волосами и с юношеским пылом отдающий зычным голосом приказания. Челн его был окружен со всех сторон. Люди с байдаков, не имея возможности подгresti, прыгали в воду и, вплавь или продираясь сквозь камыши, достигнув челна, хватались за борта и в бешенстве на него карабкались. Сопротивление было недолгим. Верные Барабашу казаки, исколотые, изрубленные, просто растерзанные руками, покрыли своими телами палубу; старик же с саблею в руке еще защищался.

Кречовский пробился к нему.

— Сдавайся! — крикнул он.

— Изменник! На погибель! — ответил Барабаш и замахнулся саблей.

Кречовский быстро отступил в толпу.

— Бей! — закричал он казакам.

Но никто, казалось, первым не хотел поднять руку на старика, и тут полковник, поскользнувшись в кровавой луже, к несчастью, упал.

Поверженный старик уже не вызывал прежнего почтения и страха, и тотчас более дюжины клинков вонзились в его тело. Он же успел лишь воскликнуть: «Иисусе Христе!»

Все кинулись рубить его и рассекли в куски. Отрезанную голову стали перекидывать с байдака на байдак, играя ею, точ-

но мячом, пока, после неловкого швырка, она не упала в воду.

Оставались еще немцы, с которыми справиться было потруднее, ибо regiment состоял из тысячи старых и понаторевших во многих войнах солдат.

Правда, храбрый Флик погиб от руки Кречовского, но из командиров в regimente остался Иоганн Вернер, подполковник, ветеран немецкой войны.

Кречовский был почти уверен в победе, так как немецкие байдаки со всех сторон окружены были казацкими, однако он хотел сберечь для Хмельницкого столь немалый отряд несравненной и великолепно вооруженной пехоты; вот почему задумал он вступить с немцами в переговоры.

Какое-то время казалось, что Вернер не станет противиться, он спокойно беседовал с Кречовским и внимательно выслушивал все обещания, на которые вероломный полковник не скупился. Недополученное жалованье имело быть немедленно и за прошлое, и за год вперед полностью выплачено. Через год кнехты, пожелай они, могли уйти хоть бы даже и в коронный лагерь.

Вернер, делая вид, что обдумывает предложенное, сам тем временем тихо приказал челнам сплываться таким образом, чтобы образовалось тесное кольцо. По окружности этого кольца в полном боевом строю, с левой ногой, для произведения выстрела выдвинутой вперед, и с мушкетами у правого бедра, выстроилась стена пехотинцев, людей рослых и сильных, одетых в желтые колеты и такого же цвета шляпы.

Вернер с обнаженною шпагой в руке стоял в первой шеренге и сосредоточенно размышлял.

Наконец он поднял голову.

— Herr Hauptmann! ¹ — сказал он. — Мы согласны!

— И только выиграете на новой службе! — радостно воскликнул Кречовский.

— Но при условии...

— Согласен на любое.

— Когда так, то хорошо. Наша служба Речи Посполитой кончается в июне. С июня мы служим вам.

Проклятие сорвалось было с уст Кречовского, однако он сдержался.

— Уж не шутишь ли ты, сударь лейтенант? — спросил он.

— Нет! — флегматически ответил Вернер. — Солдатский долг требует от нас не нарушать договора. Служба кончается в июне. Хоть мы и служим за деньги, но изменниками быть не желаем. Иначе никто не будет нас нанимать, да и вы сами не станете доверять нам, ибо кто поручится, что в первой же битве мы снова не перейдем на сторону гетманов?

— Чего же вы тогда хотите?

¹ Господня атаман! (нем.)

— Чтобы нам дали уйти.
— Не будет этого, безумный ты человек! Я вас всех до единого перебить велю.

— А своих сколько потеряешь?

— Ни один из ваших не уйдет.

— А от вас и половины не останется.

Оба говорили правду, поэтому Кречовский, хотя флегматичность немца всю кровь распалила в нем, а бешенство чуть ли не душило, боя начинать не хотел.

— Пока солнце не уйдет с залива,— крикнул он,— подумайте! Потом, знайте, велю курки потрогать.

И поспешно отплыл в своем челноке, чтобы обсудить положение с Хмельницким.

Потянулись минуты ожидания. Казацкие байдаки окружили плотным кольцом немцев, сохранявших хладнокровие, какое только бывалые и очень опытные солдаты способны сохранять перед лицом опасности. На угрозы и оскорбления, раздававшиеся с казачьих байдаков, отвечали они небрежительным молчанием. Поистине внушительно выглядело это спокойствие в сравнении с непрерывными вспышками ярости молодцев, которые, грозно потрясая пиками и пищалями, скрипя зубами и бранясь, нетерпеливо ждали сигнала к бою.

Между тем солнце, скатываясь с южной стороны неба к западной, потихоньку уводило свои золотые отблески с излучины, постепенно погружавшейся в тень.

Наконец осталась только тень.

Тогда запели трубы, и тотчас же голос Кречовского прокричал в отдалении:

— Солнце зашло! Надумали?

— Да! — ответил Вернер и, поворачаясь к солдатам, взмахнул обнаженной шпагой. — Feuer!¹ — скомандовал он спокойным, флегматичным голосом.

И грохнуло! Плеск тел, падающих в воду, бешеные крики и торопливая пальба ответили голосам немецких мушкетеров. Пушки, подвезенные к берегу, басовито подали голос и стали изрыгать на немецкие челны ядра. Дымы вовсе затянули излучину. Среди воплей, грома, свиста татарских стрел, трескотни пицалей и самопалов слаженные мушкетерные залпы давали знать, что немцы борьбы не прекращают.

На закате битва все еще кипела, но дело шло к развязке. Хмельницкий вместе с Кречовским, Тугай-беем и полутора десятками атаманов подъехал к самому берегу обозреть сражение. Раздутые поздри его втягивали пороховой дым, а слух с наслаждением внимал воплям тонувших и убиваемых немцев.

Все три военачальника глядели на эту бойню, как на зрелище, ко всему бывшее им добрым предзнаменованием.

¹ Огонь! (нем)

Сражение стихало. Выстрелы умолкли, но зато все более громкие клики казацкого триумфа возносились к небесам.

— Тугай-бей! — сказал Хмельницкий. — Это день первой победы.

— А ясыри где? — огрызнулся мурза. — Не нужны мне такие победы!

— Ты их на Украине возьмешь. Стамбул и Галату наполнишь своими пленниками!

— А хоть и тебя продам, если больше некого будет!

Сказав это, дикий Тугай зловеще засмеялся и, немного погодя, добавил:

— Однако я охотно взял бы этих франков.

Между тем битва утихла вовсе. Тугай-бей поворотил коня к лагерю, за ним последовали остальные.

— Теперь к Желтым Водам! — воскликнул Хмельницкий.

ГЛАВА XV

Наместник, слыша звуки битвы, с волнением ждал ее конца, решив сперва, что Хмельницкий сражается со всей гетманской ратью.

Однако под вечер старый Захар рассказал, как все было на самом деле. Известие о предательстве Кречовского и уничтожении немцев совершенно потрясло молодого рыцаря, оно было предвестием грядущих измен, а наместник прекрасно знал, что гетманские войска состоят в основном из казаков.

Удручения наместника умножались, и ликование в запорожском стане добавляло им только горечи. Все складывалось как нельзя хуже. О князе ничего не было слышно, а гетманы, как видно, совершили страшную ошибку, ибо, вместо того чтобы двинуться со всем войском к Кудаку или, по крайней мере, ожидать неприятеля в укрепленных лагерях на Украине, они разделили свои войска и сами себя ослабили, создав таким образом безграничные возможности для вероломства и предательства. Среди запорожцев, правда, уже и прежде ходили разговоры о Кречовском и об отдельной военной экспедиции под водительством Стефана Потоцкого, однако наместник не хотел этим слухам верить. Он полагал, что речь идет всего лишь об усиленных передовых отрядах, которые в нужный момент будут отведены назад. Однако все произошло иначе. Хмельницкий благодаря измене Кречовского умножил свои войска несколькими тысячами солдат, а над молодым Потоцким нависла страшная опасность. Его, лишенного помощи и заплутавшего в степях, Хмельницкий мог теперь легко окружить и разгромить.

Страдая от ран, изводясь переживаниями, Скшетуский в бессонные ночи свои утешался только мыслью о князе. Звезда Хмельницкого неминуемо померкнет, когда поднимется в своих

Лубнах князь. Кто знает, не соединился ли он уже с гетманами? И пускай значительны были силы Хмельницкого, и пускай кампания начиналась удачно, и пускай с ним шел Тугай-бей, а если потребуется, обещал прийти на помощь и сам «царь» крымский, Скшетуский даже и мысли не допускал, что эта заваруха может продлиться долго, что один казак способен потрясти всю Речью Посполитой и сломить грозную мощь ее. «У порогов украинских вал этот разобьется», — думал наместник. Да и не так ли кончались они, все казацкие мятежи? Вспыхнув, точно пламя, они угасали при первом же столкновении с гетманами. Так оно было до сих пор. Когда с одной стороны хваталось за оружие гнездо низовых хищников, а с другой — держава, берега которой омывали два моря, развязку предвидеть было легко. Гроза не может продолжаться бесконечно, а значит, она минует и должно распогодиться. Сознание этого поддерживало пана Скшетуского и, можно сказать, было для него живительно, ибо что ни говори, а терзало его бремя столь невыносимое, какого до сей поры ему ни разу в жизни испытать не пришлось. Гроза, хоть и пройдет, может уничтожить нивы, разрушить жилища и нанести непоправимый урон. Ведь из-за нее, из-за грозы этой, он сам чуть не поплатился жизнью, лишился сил и угодил в постыльную неволю как раз тогда, когда свобода для него важнее жизни самой. Как же в таком случае от заварухи могли уберечься существа куда более слабые и за себя постоять не умеющие? Как там Елена в Разлогах?

Но она, вероятно, уже в Лубнах. Елена снилась наместнику в окружении доброжелательных людей, обласканная самим князем и княгиней Гризельдой, боготворимая рыцарями, а все же тоскующая по своему гусарику, запропастившемуся где-то в Сечи. Но наступит наконец день, когда гусарик вернется. Сам Хмельницкий обещал ему свободу, а лавина казацкая между тем катится и катится к порогу Речи Посполитой, но, когда разобьется, придет конец печалям, горестям и тревогам.

Лавина и правда катилась. Хмельницкий, не мешкая, свернул лагерь и двинулся навстречу гетманскому сыну. Силы его были теперь и в самом деле могучи, ибо вместе с казаками Кречовского и чамбулом Тугай-бея вел он около двадцати пяти тысяч хорошо подготовленных и рвущихся в дело бойцов. О войске Потоцкого достоверных известий не было. Перебежчики сообщали, что у него две тысячи тяжелой кавалерии и около дюжины пушчонок. При таковом соотношении исход сражения угадать было трудно, ведь одной атаки страшных гусар зачастую бывало довольно, чтобы одолеть десятикратно превосходящие силы. Так, Ходкевич, гетман литовский, с тремя тысячами гусар разбил в пух и прах под Кирхгольмом в свое время осмнадцать тысяч отборной пехоты и кавалерии шведской; так, под Клушином одна панцирная хоругвь в ошеломительном броске расколола несколько тысяч английских и шотландских наемников.

Хмельницкий об этом знал и поэтому шел, как сообщает хронист, неспешно и осмотрительно: «...многими уму своего очима, яко ловец хитрый, на выштыке строны поглядая и сторожу на милоу и далее од обоу маючи»¹. Так подошел он к Желтым Водам. Снова были схвачены два языка. Они тоже подтвердили малочисленность коронных сил и донесли, что каштелян через Желтые Воды уже переправился. Услыхав это, Хмельницкий тотчас остановился и стал вести необходимые фортификационные работы.

Сердце его радостно билось. Если Потоцкий решится штурмовать, от поражения гетманскому сыну не уйти. В поле казакам с панцирными не сравниться, но, окопавшись, дерутся они отменно и с таким огромным преимуществом в силах штурмы отобьют обязательно. Хмельницкий весьма рассчитывал на молодость и неопытность Потоцкого. Однако при молодом каштеляне находился бывалый воин, живецкий старостич пан Стефан Чарнецкий, гусарский полковник. Этот опасность почуял и склонил каштеляна отойти обратно за Желтые Воды.

Хмельницкому не оставалось ничего больше, как пойти за ними. Следующим днем, преодолев желтоводские трясины, оба войска очутились лицом к лицу.

Но ни один из военачальников не желал ударить первым. Враждебные станы принялись торопливо окружать позиции шанцами. Была суббота, пятое мая. Весь день лил нескончаемый дождь. Тучи столь обложили небо, что уже с полудня, словно бы в зимнюю пору, сделалось темно. К вечеру ливень припустил сильнее. Хмельницкий руки потирал от радости.

— Пускай только степь размокнет,— говорил он Кречовскому,— тогда я, не раздумывая, встречным боем с гусарией сойдуся, они же в своих тяжелых бронях сразу в грязи потонут.

А дождь все лил и лил, словно бы само небо решило подсобить Запорожью.

Войска под струями ливня лениво и угрюмо окапывались. Разжечь костры было невозможно. Несколько тысяч ордынцев выступили из лагеря проследить, чтобы польские отряды, воспользовавшись туманом, дождем и темнотой, не ушли. Затем все совершенно стихло. Слышен был только плеск ливня и шум ветра. С уверенностью можно было сказать, что в обоих лагерях никто глаз не смыкает.

Спозаранку, словно бы тревогу, а не сигнал к сражению, протяжно и тоскливо заиграли в польском стане трубы, затем тут и там заворчали барабаны. День занимался печальный, темный, сырой; стихии унялись, но сеялся еще, словно бы сквозь сито, мелкий дождик.

Хмельницкий велел ударить из пушки.

¹ Самойл Величко, с. 62. (Примеч автора)

За нею грохнула вторая, третья, десятая, и, когда из лагеря в лагерь началась обычная канонадная «корреспонденция», Скшетуский сказал своему казацкому ангелу-хранителю:

— Захар, выведи ты меня на шанец поглядеть, что делается.

Захару и самому было интересно, поэтому он не стал отказывать. Они отправились на высокий фланг, откуда как на ладони видна была несколько вогнутая долина, желтоводские болота и оба войска. Едва взглянув, пан Скшетуский схватился за голову и воскликнул:

— Боже святой! Это же всего-навсего конный отряд, не более!

И правда, брустверы казацкого лагеря протянулись на добрые четверть мили, а польские по сравнению с ними выглядели незначительным редутиком. Разница в силах была столь явная, что в победе казаков невозможно было усомниться.

Сердце наместника сжалось. Не пробил, значит, еще последний час для гордыни и бунта, а тому, который пробьет, суждено ознаменовать новый для них триумф. Так оно, во всяком случае, сейчас казалось.

Стычки под орудийным огнем уже начались. С флангового укрепления были видны и отдельные всадники, и целые группки, мерявшиеся друг с другом силами. Это татары сходились с сине-желтыми казаками Потоцких. Всадники насакивали друг на друга, проворно разлетались в стороны, объезжали друг друга с боков, перестреливались из пистолетов и луков, метали копыя и пытались заарканить один другого. Издали стычки эти казались скорее игрой, и только кони, там и сям бегавшие без всадников по лугу, были свидетельством тому, что игра велась не на жизнь, а на смерть.

Татар становилось все больше и больше. Вскоре луг почернел от скученных их толп, но тут из польского лагеря одна за одну начали выступать хоругви, строясь в боевые порядки впереди шанца. Происходило это так близко, что пан Скшетуский острым взором своим ясно различал значки, бунчуки и даже ротмистров с наместниками, выезжавших вперед и остававшихся каждый несколько сбоку от своей хоругви.

Сердце запрыгало в его груди, на бледном лице вспыхнул румянец, и, словно бы найдя благодарных слушателей в Захаре и казаках, стоявших возле пушек на фланговом укреплении, он возбужденно восклицал, по мере того как хоругви появлялись из-за бруствера:

— Это драгуны пана Балабана! Я их в Черкассах видел!

— Это валашская хоругвь, у них крест в значке!

— Вон! Вон и пехота с вала пошла!

Потом все с большим воодушевлением, раскинув руки:

— Гусария! Гусары пана Чарнецкого!

Действительно, появились и гусары, а за спинами их чащоба крыльев, а над ними лес копей, оплетенных золотою китайкою

и увенчанных узкими зелено-черными флажками. Они по шестеро выехали из окопа и выстроились перед бруствером, а при виде их спокойствия, сосредоточенности и собранности слезы радости прямо набежали на глаза Скшетускому и на мгновение застлали взор.

Хотя силы были столь неравные, хотя противу нескольких этих хоругвей стояла черная лавина запорожцев и занявших, как обычно, фланги татар, хотя порядки мятежников таково растянулись по степи, что и конца им не было видно, Скшетуский уже верил в победу. Лицо его смеялось, силы вернулись к нему, взор, безотрывно озиравший луговину, сверкал огнем. Он просто на месте устоять не мог.

— Гей, дитино! — буркнул старый Захар. — И рада бы душа в рай!..

Меж тем несколько отдельных татарских отрядов с криками и воплями «алла!» кинулись вперед. Из лагеря ответили выстрелами. Однако, татары пока что брали на испуг. Не доскакавши до польских хоругвей, они разлетелись в разные стороны и исчезли среди своих.

И тут подал голос большой сечевой барабан; по сигналу его исполинский татарско-казацкий полумесяц тотчас же рванулся с места вперед. Хмельницкий, как видно, собиравший одним ударом смети хоругви и занять лагерь. Случись сумятица, такое стало бы возможно. Однако ничего подобного в польских отрядах не произошло. Они стояли спокойно, развернувшись довольно долгой линией, тыл которой прикрывался окопом, а фланги войсковыми пушками. Следовательно, ударить по ним можно было только с фронта. В какой-то момент казалось, что они примут бой на месте, но, когда полумесяц прошел уже половину луга, в окопе протрубили сигнал к атаке, и мгновенно частокон копий, торчавших до сей поры вверх, разом накренился на высоту конских голов.

— Гусары пошли! — крикнул пан Скшетуский.

И верно, они, склонясь в седлах, двинулись вперед, а вслед им драгунские хоругви и вся боевая линия.

Гусарский удар был страшен. С разгона он пришелся на три куреня — два стеблевских и миргородский — и во мгновение их уничтожил. Вой донесся до ушей пана Скшетуского. Кони и люди, опрокинутые громадной тяжестью железных всадников, ползгли, точно нива от выдоха грозы. Спротивление было столь кратковременно, что Скшетускому показалось, будто некое громадное чудовище одним разом проглотило сразу три полка. А ведь в них были отборнейшие сечевики. Кони в запорожских рядах, напуганные шумом крыльев, перестали повиноваться всадникам. Полки ирклевский, кальниболоцкий, минский, шкуринский и титоровский совершенно смешали свои ряды, а под напором бегущих с поля боя стали и сами отступать в беспорядке. Тем временем драгуны подоспели за гусарами и вместе с ними

принялись вершить кровавую жатву. Васюринский курень после упорного, но короткого сопротивления рассыпался и в диком переполохе мчался прямо на свои же окопы. Центр сил Хмельницкого неотвратно подавался и, побиваемый, согнанный в беспорядочные толпы, полосуемый мечами, теснимый железным шквалом, никак не мог улучшить время, чтобы остановиться и заново перестроиться.

— Чорти, не ляхи! — крикнул старый Захар.

Скшетуский словно бы умом повредился. Ослабевший от болезни, он никак не мог совладать с собою, а потому смеялся и плакал одновременно, иногда просто выкрикивая слова команды, словно бы сам вел хоругвь. Захар держал его за полы и других еще вынужден был кликнуть на подмогу.

Сражение настолько переместилось к казацким позициям, что уже даже лица можно было различить. Из окопа палили пушки, но казацкие ядра, побивая как своих, так и неприятеля, способствовали замешательству еще более.

Гусары врзались в составлявший гетманскую гвардию пашковский курень, где находился сам Хмельницкий. И тотчас отчаянный вопль потряс все казацкие ряды: огромный малиновый стяг качнулся и упал.

Но тут Кречовский повел в бой пять тысяч своих. Верхом на исполинской буланой лошади, он летел в первой шеренге без шапки, с занесенной саблею, заставляя поворачивать убежавших с поля битвы низовых, а те, увидев спешившие к ним подкрепления, хоть и беспорядочно, но снова пошли в атаку. Дело в середине линии закипело с новою силой.

На обоих флангах счастье тоже отвращалось от Хмельницкого. Татары, уже дважды отбитые валашескими хоругвями и казаками Потоцких, вовсе потеряли кураж. Под Тугай-беем убили двух лошадей. Победа решительно склонялась на сторону молодого Потоцкого.

Битве, однако, не суждено было продолжиться. Ливень, с некоторого времени и так уже изрядно припустивший, вскоре усилился до такой степени, что за стеною дождя ничего не было видно. Уже не струи, но потоки обрушивались на землю из разверзшихся хлябей небесных. Степь обратилась в озеро. Стемнело настолько, что на расстоянии нескольких шагов человек не мог разглядеть другого. Шум дождя заглушал команды. Отсыревшие мушкеты и самопалы умолкли. Само небо положило конец бою.

Хмельницкий, промокший до нитки, в ярости прискакал в свой стан. Не сказав ни слова, он укрылся в шатерик из верблюжьих шкур, устроенный специально для него, и сидел там в полном одиночестве, думая невеселые думы.

Его охватило отчаяние. Теперь он понимал, на что дерзнул. Вот он и побит, и отброшен, можно даже сказать, почти разбит, притом столь незначительными силами, что их правильнее было почесть передовым отрядом. Он знал, сколь велика военная мощь

Речи Посполитой, он учитывал это, когда решил развязать войну и, однако, вот просчитался. Так, во всяком случае, казалось ему сейчас, поэтому хватался он за подбритую свою голову, и более всего хотелось ему размокнуть ее о первую попавшуюся пушку. Что же будет, когда дойдет до дела с гетманами и всею Речью Посполитой?

Отчаяние его прервал приход Тугай-бея.

Взор татарина пылал бешенством, лицо было бледно, из-под безусой губы поблескивали зубы.

— Где добыча? Где пленные? Где головы военачальников? Где победа? — стал спрашивать он хрипло.

Хмельницкий сорвался с места.

— Там! — указуя в сторону коронного стана, громогласно ответил он.

— Иди же туда! — рявкнул Тугай-бей. — А не пойдешь, в Крым тебя на веревке поведу.

— И пойду! — сказал Хмельницкий. — Пойду на них еще сегодня! Добычу возьму и пленных возьму, но тебе за то придется с ханом объясниться, ибо добычи хочешь, а боя избегаешь!

— Пес! — завыл Тугай-бей. — Ты же ханское войско губишь!

С минуту стояли они друг перед другом, раздувая ноздри, точно два единца. Первым взял себя в руки Хмельницкий.

— Тугай-бей, успокойся! — сказал он. — Небеса прекратили битву, когда Кречовский уже поколебал драгун. Я их знаю! Завтра они будут биться с меньшим задором. Степь размокнет совсем. Гусары не устоят. Завтра все будут наши.

— Ты сказал! — буркнул Тугай-бей.

— И сдержу слово. Тугай-бей, друг мой, хан мне тебя на подмогу прислал, не на беду.

— Ты победить клялся, не проиграть.

— Есть пленные драгуны, хочешь, бери их.

— Давай. Я их на кол велью посадить.

— Не делай этого. Лучшепусти. Это украинные люди из хоругви Балабана; мы их пошлем, чтобы драгун на нашу сторону перетянули. Будет как с Кречовским.

Тугай-бей, поостыв, быстро глянул на Хмельницкого и пробормотал:

— Змей...

— Хитрость мужеству в цене не уступает. Если склонить драгун к измене, ни один человек из ихних не уйдет, понял?

— Потоцкого возьму я.

— Бери. И Чарнецкого тоже.

— Дай-ка тогда горелки, а то больно знобко.

— Это пожалуй.

В этот момент вошел Кречовский. Полковник был мрачнее тучи. Грядущие долгожданное староства, каштелянства, замки и богатства после нынешнего сражения словно бы заволкло туманом. Завтра могут они исчезнуть безвозвратно, а из тумана,

возможно, возникнет вместо них веревка или виселица. Не сожги полковник, уничтожив немцев, за собою мосты, он бы сейчас наверняка обдумывал, как, в свою очередь изменить Хмельницкому и перекинуться со своими к Потоцкому.

Но это было уже невозможно.

И посему уселись они втроем за бутылью горелки и стали молча пить. Шум ливня помалу утихал.

Смеркалось.

Пан Скшетуский, ослабевший от счастья, утомленный, бледный, неподвижно лежал на телеге. Захар, привязавшийся к нему, велел своим казакам растянуть над пленником войлочный навесик. Скшетуский слушал печальный шум ливня, но на душе его было погоже, светло, благостно. Ведь это его гусары показали, на что они способны, это его Речь Посполитая дала отпор, достойный своего величия, это же первый натиск казацкой бури напоролся на копыта коронных войск. А еще есть гетманы, есть князь Иеремия и столько вельмож, столько шляхты, столько могущества! А надо всем наконец король — *primus inter pares*¹.

Гордость переполнила грудь пана Скшетуского, словно бы все непомерные силы эти сосредоточились теперь в нем одном.

Впервые ощущая такое с тех пор, как попал в плен, он почувствовал даже некое сострадание к казакам. «Они виноваты, но и ослеплены, ибо замахнулись на непосильное, — думал он. — Они виноваты, но и несчастны, позволив увлечь себя человеку, который повел их на верную гибель».

Потом мысли его потекли далее. Наступит мир, и каждый тогда о личном счастье своем сможет подумать. Сразу всеми воспоминаниями и всею душой он устремился к Разлогам. Там, рядом с логовом льва, вероятно, тишина ненарушимая. Там никто и не посмеет головы поднять, а хоть и посмеет — Елена уже наверняка в Лубнах.

Внезапный орудийный гул прервал золотую ниточку его размышлений.

Это Хмельницкий спяну снова повел полки в наступление.

Однако все ограничилось пушечной перестрелкой. Кречовский утихомирил гетмана.

Назавтра было воскресенье. Весь день прошел спокойно и без единого выстрела. Лагерь стояли друг против друга, словно станы двух дружественных армий.

Скшетуский приписывал тишину эту упадку духа среди казаков. Увы! Не ведал он, что Хмельницкий тем временем, «многими уму своего очима поглядая», делал все, чтобы перетянуть на свою сторону драгун Балабана.

В понедельник сражение закипело уже с рассвета. Скшетуский, как и в первый день, обзревал битву, улыбаясь и с веселым выражением на лице. Снова коронные войска выступили за

¹ первый среди равных (*лат.*).

шане. На этот раз, однако, не устремляясь вперед, они давали отпор неприятелю, не сходя с места. Степной грунт размок не только с поверхности, но и в глубину. Тяжелая конница почти не могла передвигаться, что сразу же дало преимущество быстрым запорожским и татарским хоругвям. Улыбка на лице Скшетуского медленно исчезала. Впереди польского окопа лавина атакующих вовсе почти заслонила узкую ленту коронных войск. Казалось, вот-вот — и печочка эта будет прорвана, и начнется штурм самих окопов. Скшетуский не замечал теперь и половины того воодушевления, того ратного пыла, с каким хоругви сражались в первый день. Сегодня они упорно оборонялись, но первыми не нападали, не разбивали в пух и прах курени, не сметали, точно ураган, все на своем пути. Степь, раскисшая не только с поверхности, но и на значительную глубину, сделала невозможным прежнее неистовство и действительно вынудила тяжелую кавалерию не отходить от окопа. Силу гусар составлял, решая победу, разгон, а они вынуждены были оставаться на одном месте. Хмельницкий же вводил в бой все новые и новые полки. Он поспевал всюду. Сам ведя в атаку каждый курень, он поворачивал назад, почти доскакав до неприятельских сабель. Пыл его постепенно передался запорожцам, и те хотя и гибли бесчисленно, но с криками и вытьем вперегонки неслись на шанец. Они напарывались на стену железных грудей, на острия копий и, разбитые, поредевшие, снова шли в атаку. Хоругви от такого натиска, словно бы дрогнув, подавались, а кое-где и отступали; так борец, стиснутый стальным объятием противника, то слабеет, то снова собирает силы и начинает пересиливать.

К полудню почти все запорожские полки были в огне и сражении. Борьба была такая упорная, что меж обеими сторонами вырос как бы новый вал — гора конских и человеческих трупов.

Ежеминутно в казацкие окопы из битвы возвращались толпы воинов, раненых, окровавленных, перемазанных грязью, тяжело дышавших, падавших от усталости. Но появлялись они с песнею на устах. Лица их пылали боевым огнем и уверенностью в победе. Теряя сознание, они продолжали кричать: «На гибель!» Отряды, остававшиеся в резерве, рвались в бой.

Пан Скшетуский помрачнел. Польские хоругви стали исчезать за бруствером. Они уже не могли оказывать сопротивления, и отход их отмечала горячая спешка. Заметив это, более двадцати тысяч глоток исторгов радостный вопль. Азарт атаки удвоился. Запорожцы буквально наступали на пятки казакам Потоцкого, прикрывавшим отступающих.

Однако пушки и град мушкетных пуль отбросили их назад. Битва на минуту утихла. В польском стане послышалась труба, предлагавшая переговоры.

Но теперь Хмельницкий переговоров вести не желал. Двенадцать куреней спешили, чтобы вместе с пехотой и татарами идти на штурм укреплений.

Кречовский с тремя тысячами пехоты в решительный момент должен был поспешить им на подмогу. Все барабаны, бубны, литавры и трубы зазвучали разом, заглушая клики и мушкетные залпы.

Пан Скшетуский, содрогаясь, глядел на длинные перенги не имевшей себе равных запорожской пехоты, рвавшей к валам и окружавшей их все более тесным кольцом. Длинные полосы белого дыма выстреливали в нее из окопов, словно некая исполинская грудь пыталась сдунуть эту саранчу, неотвратимо наседавшую отовсюду. Пушечные ядра пропахивали в ней борозды, самопалы грохотали все торопливее. Гром не смолкал ни на секунду. Тьмы и тьмы, тая на глазах, конвульсивно изгибаясь, точно огромная раненая змея, все же шли вперед. Вот-вот достигнут! Вот они уже возле окопа! Пушки им теперь не страшны! Скшетуский зажмурился.

И тотчас вопросы молниями замелькали в его мозгу: увидит ли он на валах польские значки, когда откроет очи? Увидит или не увидит? Там шумят все громче, там визг какой-то неслыханный. Неужто случилось что-то? Крики летят из самого лагеря. Что же это? Что же стряслось?

— Боже всемогущий!

Вопль этот исторгся из груди пана Скшетуского, когда, открыв глаза, увидел он на валу вместо огромного золотого коронного стяга малиновый с архангелом.

Позиция была взята.

Вечером наместник узнал от Захара, как все было. Не напрасно Тугай-бей называл Хмельницкого змеем: в минуты самого отчаянного сопротивления подученные Балабановы драгуны перекинулись к казакам и, набросившись с тыла на собственные хоругви, помогли уничтожить их без остатка.

Вечером же наместник увидел пленных и присутствовал при кончине молодого Потоцкого, горло которому пронзила стрела. Прожил тот после поражения всего несколько часов и умер на руках Стефана Чарнецкого. «Скажите отцу... — шептал, отходя, молодой каштелян, — скажите отцу, что я... как рыцарь...», но не смог молвить ничего более. Душа его покинула тело и унеслась к небесам. Скшетуский долго потом не мог забыть это бледное лицо и голубые глаза, вознесенные в смертный час к небу. Пан Чарнецкий клялся над холодеющим телом, что, ежели господь даст ему обрести свободу, он реками крови за смерть друга и позор поражения отомстит. И ни слезинки не скатилось по суровому лику его, ибо был это рыцарь железный, многожды подвигами отваги прославленный, человек, никаким несчастьем не сгибаемый. И обеты он свои выполнил. Сейчас же, вместо того чтобы предаваться унынию, он первый и ободрял Скшетуского, ужасно терзавшегося из-за поражения и позора Речи Посполитой. «Речь Посполитая не одно поражение понесла, — говорил пан Чарнецкий, — но неистощимые силы таятся в ней. Не сломила ее до сей

воры ничья мощь, не сломят и крестьянские бунты, каковые господь сам и покарает, ибо кто противу власти восстает, тот его воле перечит. Касательно же поражения, каковое и вправду прискорбно,— так кто его понес? Гетманы? Коронные войска? Нет! После отпадения и измены Кречовского войско, которое вел Потоцкий, только передовым отрядом и можно было счесть. Смута неотвратимо распространится по всей Украине, ибо мужичье там заносчивое и к воительству способное, но бунтуют ведь там не впервой. Мятаж утихомят гетманы с князем Иеремией, силы которых до сей поры стоят нетронутые; значит, чем жарче мятеж вспыхнет, тем, погашенный на сей раз надолго, а может быть, на вечные времена, скорее уймется. Ничтожен верою и невелик духом полагающий, что какой-то казацкий атаманишка с неким мурзой татарским могут всерьез угрожать могучему народу. Плохи были бы дела Речи Посполитой, ежели бы какая-то крестьянская смута могла влиять на ее судьбу и существование. Воистину легкомысленно собирались мы в этот поход,— заключил пан Чарнецкий,— и, хотя передовой наш отряд разгромлен, полагаю я, что гетманы не мечом, не оружием, но батогами могут бунт этот подавить».

И когда говорил он так, казалось, что говорит не пленник, не воин, проигравший битву, но гордый гетман, уверенный в завтрашней победе. Такое величие духа и такая вера в Речь Посполитую были бальзамом для ран наместника. Он собственными глазами наблюдал войско Хмельницкого вблизи, оттого оно его несколько заворожило, тем более что вплоть до сегодняшнего дня сопутствовала войску этому удача. Но прав был, пожалуй, пан Чарнецкий. Силы гетманов стоят нетронутые, а за ними — вся мощь Речи Посполитой, вся непререкаемость власти и воли божьей. Так что расставался наместник с паном Чарнецким весьма ободренный и душой веселый, а расставаясь, спросил еще, не намерен ли тот сразу повести переговоры с Хмельницким об освобождении.

— Тугай-беев я пленник,— ответил пан Стефан.— Ему же и выкуп заплачу, а с атаманишкой этим дела иметь не желаю и за плечным мастерам его прочу.

Захар, устроивший пану Скшетускому свидание с пленниками, возвращаясь с ним к телеге, тоже утешал его:

— Не с молодым Потоцким оно тяжеленько,— говорил он.— С гетманами будет тяжеленько. Дело-то ведь только начато, а чем кончится, один бог знает! Гей, набрали татары и казаки польского добра, да взять и сохранить не одно и то же. А ты, дя ти но, не горюй, не сумуй, тебе и так свобода будет — ты к своим пойдешь, а старый тужить по тебе станет. На старости лет хуже нету одному на свете остаться. А с гетманами тяжеленько будет, ой, тяжеленько!

И правда победа, хоть и блестящая, тем не менее не решила дела в пользу Хмельницкого. Она могла даже обратиться во вред,

ибо нетрудно было предвидеть, что великий гетман, мстя за смерть сына, с особым рвением возьмется теперь за сечевиков и сделает все, чтобы одним разом их извести. К слову сказать, великий гетман питал некоторое нерасположение ко князю Иеремии, которое хоть и прикрывалось любезностью, однако довольно часто при различных обстоятельствах проявлялось. Хмельницкий, отлично об этом зная, полагал, что сейчас нерасположение это отойдет на второй план, что краковский властелин первым примирительно протянет руку, чем обеспечит себе помощь прославленного воеводы и его могучих ратей. А с такими объединенными силами, под водительством такого вождя, как князь, Хмельницкий пока что не мог и мечтать меряться силой, ибо сам в себя до конца еще не верил. Так что решил он не медлить, а одновременно с вестью о желтоводском поражении появиться на Украине и ударить на гетманов, пока не подросла княжеская помощь.

Поэтому, не давши отдохнуть войскам, он на зорьке следующего после сражения дня повел их дальше. Бросок этот был столь стремителен, словно гетман спасался бегством. Казалось, полая вода заливал степь и мчитя вперед, питаемая по дороге всеми реками и родниками. Шли по лесам и дубравам, по курганам, без роздыха переправлялись через речки. Казацкое войско разрасталось по пути, так как в него постоянно вливались все новые толпы беглых украинских мужиков. Пришлые сообщали сведения о гетманах, но противоречивые. Одни говорили, что князь еще за Днепром, другие — что уже соединился с коронными войсками. Зато все совпадали в одном — Украина в огне. Крестьяне не только сбегали навстречу Хмельницкому в Дикое Поле, но сжигали села и города, поднимались на своих господ и повсеместно вооружались. Коронные войска вели военные действия уже целых две недели. Они вырезали Стеблев, а под Дереньковцем дошло даже до кровавой битвы. Городовые казаки кое-где уже перешли на сторону черни и повсюду ждали только знака. Хмельницкий на это-то и рассчитывал, а потому спешил еще больше.

Наконец он остановился на подступах. Чигирин распахнул ему ворота настежь. Казацкий гарнизон незамедлительно перешел под его знамена. Дом Чаплинского был разрушен, шляхту, искавшую укрыться в городе, вырезали. Радостные клики, колокольный звон и крестные ходы не прекращались ни на миг. Пламя тотчас же перекинулось и на всю округу. Все живое хваталось за косы, пики и соединялось с запорожцами. Несчислимые толпы простолюдинов стекались к Хмельницкому отовсюду; были получены радостные, ибо достоверные, сведения, что князь Иеремия хотя и предложил помощь гетманам, но пока что с ними не соединился.

Хмельницкий облегченно вздохнул.

Он, не мешкая, двинулся вперед и теперь шел уже сквозь бунт, резню и огонь. Свидетельствовали о том пожарища и трупы. Он шел, точно лавина, уничтожая все на своем пути. Страна перед ним восстанавливалась, за ним пустела. Аки мститель, шел он, аки змей многоглавый. Поступь его выжимала кровь, дыхание вздувало пожары.

Остановился он с главными силами в Черкассах, а вперед выслал дикого Кривоноса и татар под водительством Тугай-бея, которые, достигнув гетманов под Корсунем, не раздумывая, по ним ударили. Однако за дерзость свою тут же дорого поплатились. Отброшенные, поредевшие, вдребезги разбитые, они в панике отступили.

Хмельницкий кинулся на помощь. По дороге он узнал, что пан Сенявский во главе нескольких хоругвей соединился с гетманами, которые, оставив Корсунь, пошли на Богуслав. Это оказалось правдой. Хмель занял Корсунь без боя и, оставивши в городе возы и провиант, то есть весь обоз, налегке, верхами погнался за ними.

Преследование было недолгим, так как те ушли недалеко. Под Крутой Балкой передовые отряды наткнулись на польский обоз.

Пану Скшетускому не привелось увидеть битву, ибо вместе с обозом он остался в Корсуне. Захар поселил его на городской площади в доме пана Забокрицкого, которого чернь незадолго до того повесила, и поставил охрану из остатков миргородского куруеня, потому что толпа неумоимо грабила дома и убивала каждого, кого полагала ляхом. Сквозь выбитые окна наблюдал пан Скшетуский толпы пьяного сброда, перемазанного кровью, с засученными рукавами метавшегося от дома к дому, от лавки к лавке, обыскивавшего все углы, чердаки, навесы; время от времени страшные вопли возвещали, что обнаружен шляхтич или еврей, мужчина, женщина, ребенок. Жертву вытаскивали на площадь и зверски измывались над нею. Пьянь затевала драку из-за разорванных в куски останков, с наслаждением размазывала кровь по своим лицам, обкручивала шеи дымящимися внутренностями. Мужики, схватив еврейских детей за ноги, разрывали их надвое под безумный гогот толпы. Совершались нападения и на дома охранявшиеся, где содержались именитые пленники, оставленные в живых ради немалого выкупа. Тогда заперожицы или татары, составлявшие охрану, толпу сдерживали, колота нападавших прямо по головам древками пик, луками или плетьюми из бычачьей кожи. Подобное происходило и у дома, где находился Скшетуский. Захар велел учить холопей нещадно, и миргородцы с удовольствием приказ выполняли, ибо хотя низовые в пору мятежей и пользовались охотно помощью черни, но презирали ее куда больше, чем шляхту. Недаром считали они себя «благородного рождения». Сам Хмельницкий впоследствии неоднократно дарил множество про-

стого народа татарам, которые гнали ясырей в Крым, где продавали в Турцию или Малую Азию.

Так что толпа бесчинствовала на площади и в конце концов дошла до такого исступления, что люди принялись убивать друг друга. Дело шло к вечеру. Была целиком подожжена одна сторона площади, церковь и дом униатского попа. По счастью, ветер отнесал огонь в поле и мешал пожару распространиться. Однако громадное пламя освещало площадь не слабее солнечных лучей. Стало нестерпимо жарко. Издалека доносился страшный грохот пушек — как видно, битва под Крутой Балкой становилась все упорнее.

— Горячо там, видать, нашим приходится! — ворчал старый Захар. — Гетманы не шутят. Гей же! Пан Потоцкий знатный жолнір.

Потом он указал в окно на толпу и сказал:

— Вона! Они теперь безобразничают, но ежели Хмеля побьют, то и над ними побезобразничают!

В эту минуту послышался конский топот, и на площадь на взмыленных лошадях влетело несколько десятков конных. Их лица, почернелые от порохового дыма, истерзанная одежда и побыванные тряпками головы некоторых говорили о том, что примчались они сюда прямо из боя.

— Люди! Кто в бога вірує, рятуйтеся! Ляхи б'ють наших! — истошно прокричали они.

Поднялись вопли и переполох. Толпа заколыхалась, точно волна, вздутая вихрем. Дикое замешательство охватило всех. Народ бросился бежать, но так как улицы были забиты возами, а одна сторона площади горела, убежать было невозможно.

Началась давка, чернь кричала, билась, давила друг друга, воя о пощаде, хотя неприятель был пока еще далеко.

Наместник, видя, что происходит, чуть с ума не сошел от радости. Он точно помешанный стал бегать по комнате, бить себя кулаками в грудь и кричать:

— Я знал, что так будет! Знал! Будь я не я! Это с гетманами дело иметь! Это со всею Речью Посполитой! Вот оно, возмездие! Что это?

Снова раздался топот, и на этот раз несколько сот верховых, сплошь татар, ворвались на площадь. Убегали они, как видно, не разбирая дороги. Толпа мешала им, и они бросались прямо на нее, топча, побивая, разгоняя, полосуя саблями в надежде прорваться к тракту, ведущему на Черкассы.

— Шибче ветра бегут! — закричал Захар.

Едва он сказал это, пронесся еще отряд, а за ним и еще один. Казалось, бегство стало всеобщим. Стража у домов беспокойно заходила туда-сюда, явно намереваясь сбежать. Захар выскочил в палисадник.

— Стоять! — крикнул он своим миргородцам.

Дым, жар, суматоха, конский топот, тревожные голоса, вой освещенной пламенем толпы — все вместе составило одну адскую картину, которую наместник мог наблюдать в окно.

— Какой же там разгром должен быть! Какой же разгром! — кричал он Захару, позабыв, что тот не может разделить его радости.

Меж тем снова как вихрь промчался молнией удиравший отряд.

От грохота орудий сотрясались стены корсунских домов.

Вдруг чей-то пронзительный голос завопил прямо возле дома:

— Спасайся! Хмель убитый! Кречовский убитый! Тугай-бей убитый!

На площади наступил истинный конец света. Люди, потеряв рассудок, кидались в огонь. Наместник упал на колени и вознес руки к небу.

— Господи всемогущий! Господи великий и справедливый, слава тебе в вышних!

Захар, вбежав из сеней, прервал его молитву.

— А послушай-ка, дити н о! — закричал он, запыхавшись. — Выйди и посули миргородцам прощение, не то они собираются уходить, а как уйдут, сюда сброд ворвется!

Скшетуский вышел в палисадник. Миргородцы беспокойно ходили возле дома, обнаруживая явное желание оставить пост и удрать по шляху, ведущему на Черкассы. Страх охватил весь город. То и дело новые отряды разбитых войск, словно на крыльях, прилетали со стороны Крутой Балки. Бежали в величайшем замешательстве мужики, татары, городовые казаки и запорожцы. Но главные силы Хмельницкого, вероятно, еще оказывали сопротивление, битва, вероятно, не была еще вполне решена, ибо пушки грохотали с удвоенной силой.

Скшетуский обратился к миргородцам.

— За то, что неусыпно стерегли особу мою, — сказал он торжественно, — не надобно вам бегством спасаться, обещаю заступничество и прощение гетмана.

Миргородцы все как один снимали шапки, а он, подбоченясь, гордо взирал на них и на площадь, все более пустешую. Какая перемена судьбы! Вот пан Скшетуский, недавний пленник, возимый за казацким войском, стоит сейчас посреди наглого казачья господином среди подданных, шляхтичем среди холопов, панцирным гусаром среди обозников. Он, пленник, обещает милость, и шапки перед ним ломают, а покаянные голоса взывают тем угрюмым, протяжным, свойственным страху и покорности манером:

— П о м и л у й т е , п а н е !

— Как сказал, так оно и будет! — отвечает наместник.

Он и в самом деле уверен в успехе своего ходатайства у гетмана, которому знаком, ибо неоднократно возил письма от князя Иеремии и сумел завоевать гетманское расположение. По-

тому и стоит он, подбоченясь, и ликование написано на лице его, освещенном отблесками пожара.

«Вот и окончена война! Вот и разбился вал о пороги! — думает он. — Пан Чарнецкий был прав: неисчерпаемы силы Речи Посполитой, незыблемо могущество ее».

А пока он таково думал, гордость переполняла грудь его, но не мелочная гордость по поводу ожидаемого упоения возмездием, унижения врага или обретения вот-вот имеющей наступить свободы и не оттого гордость, что перед ним сейчас ломают шапки, нет, он ощущал в себе гордость оттого, что был сыном Речи Посполитой, победоносной, всесильной, о врата которой всяческая злоба, всякое злонамерение, все удары разбиваются в прах, как силы ада о врата небесные. Он чувствовал в себе гордость как шляхтич-патриот, ободренный в отчаянии и не обманутый в вере своей. Отмщения же он теперь не жаждал.

«Победила, как государыня — простит, как мать», — думал он.

Тем временем орудийная канонада превратилась в непрерывный грохот.

Конские копыта снова заколотили по пустым улицам. На площадь, точно гром небесный, влетел на неоседланном коне казак. Он был без шапки, в одной рубахе, с рассеченным саблей лицом, залитым кровью. Примчавшись, казак осадил коня, раскинул руки и, лоя разинутым ртом воздух, стал кричать:

— Хмель б'є ляхів! Побиті яснєвельможні пани, гетьмани і полковники, лицарі і кавалери!

Прокричав это, он зашатался и грохнулся оземь. Миргородцы бросились ему на помощь.

Жар и бледность сменялись на лице Скшетуского.

— Что он говорит? — горячечно стал спрашивать он Захара. — Что случилось? Не может такого быть. Богом живым клянусь! Не может такого быть!

Тишина! Только пламя гудит на другой стороне площади, с треском взлетают снопы искр, а то и догорающее строение обрушивается с гулом.

Но вот и новые какие-то гонцы мчатся.

— Побиті ляхи! Побиті!

За ними вступает татарский отряд — не спеша, потому что окружает пеших, как видно, пленных.

Пан Скшетуский не верит глазам своим. Он ясно различает на пленных мундиры гетманских гусар, поэтому всплескивает руками и странным, не своим голосом упорно повторяет:

— Не может быть! Не может быть!

Грохот пушек еще не умолк. Сражение продолжается. Однако по всем уцелевшим улицам подходят толпы запорожцев и татар. Лица их черны, груди тяжело дышат, но идут они отчего-то воодушевленные, песни поют!

Так солдаты могут возвращаться только с победой.

Наместник сделался бледен как мертвец.

— Не может быть,— повторяет он все более хрипло. — Не может быть... Речь Посполитая...

Новое зрелище привлекает его взор.

Появляются казаки Кречовского с целыми охапками знамен. Они выезжают на середину площади и швыряют их наземь.

Знамена — польские.

Орудийный грохот слабнет, в отдалении слышен лишь перестук подвезжающих возов. Впереди высокая казацкая телега, за нею вереница других — все в окружении желтошапочных казаков пашковского куреня; они проезжают мимо дома, который стерегут миргородцы. Пан Скшетуский, всматриваясь в пленных на первом возу, глядит из-под руки, ибо его слепит свет пожара.

Внезапно он отшатывается, машет руками, точно человек, пораженный стрелой в грудь, а из уст его исторгается страшный, нечеловеческий крик:

— Иисус, Мария! Это гетманы!

И падает на руки Захара. Глаза ему застилает пелена, лицо напрягается и застывает, как у покойника.

Несколькими минутами позже три всадника во главе несчислимых полков въезжали на корсунскую площадь. Ехавший посередине, одетый в алое, сидел на белом коне, подпершись золотоблещущей булавою и глядел гордо, по-королевски.

Это был Хмельницкий. С боков ехали Тугай-бей и Кречовский.

Окровавленная Речь Посполитая лежала во прахе у ног казака.

ГЛАВА XVI

Прошло несколько дней. Небеса, казалось, обрушились на Речь Посполитую. Желтые Воды, Корсунь, разгром всегда победоносных в борьбе с казаками коронных войск, пленение гетманов, страшный пожар, объявивший Украину, резня, неслыханные от начала мира зверства — все это стряслось так неожиданно, что люди просто поверить не могли, чтобы столько бедствий сразу могло выпасть на долю одной страны. Кое-кто и не верил, кое-кто оцепенел от ужаса, иные лишились рассудка, иные пророчили пришествие антихриста и неотвратимо близкий Страшный суд. Нарушились все общественные связи, все взаимоотношения, как человеческие, так и родовые. Пресеклась всяческая власть, различия исчезли между людьми. Преподнятая спустила с цепей все преступления и пустила их гулять по свету; убийство, грабеж, вероломство, озверение, насилие, разбой, безумие заступили место прилежания, честности, веры и совести. Казалось, отныне человечество уже не добром, но злом жить станет, что извратились сердца и умы, что полагают теперь святым прежде бывшее мерзким, а мерзким — прежде считавшееся святым. Солнце не сияло больше в небе, ибо сокрыто было дымами пожарами, ночами вме-

сто звезд и месяца светили пожоги. Горели города, деревни, храмы, усадьбы, леса. Люди перестали пользоваться человеческой речью, они или стонали, или по-собачьи выли. Жизнь потеряла всякую цену. Тысячи и тысячи гибли без ропота и поминовения. А из всех этих крушений, смертей, стонов, дымов и пожаров вырастал все выше и выше один человек, становясь грозней и громадней, почти заслонив уже свет белый и отбрасывая тень от моря до моря.

Это был Богдан Хмельницкий.

Двести тысяч вооруженных и окрыленных победами людей были теперь готовы на все, стоило ему пошевелить пальцем. Городовые казаки присоединялись к нему во всех городах. Край от Припяти и до рубежей степных был в огне. Восстание ширилось в воеводствах Русском, Подольском, Волынском, Брацлавском, Киевском и Черниговском. Войско гетмана росло ото дня ко дню. Никогда еще Речь Посполитая не выставляла даже против самого грозного врага и половины тех сил, какими сейчас располагал он. Равных не имел в своем распоряжении и немецкий император. Буря переросла все ожидания. Сперва сам гетман не отдавал себе отчета в собственной мощи и не понимал, сколь высоко он вознесся. Он пока еще декларировал по отношению к Речи Посполитой лояльность, законопослушание и верность, ибо не осознал, что понятия эти, как ничего не значащие, уже мог топтать. Однако по мере развития событий укреплялся в нем и тот безмерный, безотчетный эгоизм, равного которому не знала история. Ощущение зла и добра, преступления и добродетели, насилия и справедливости смешались в понятиях Хмельницкого в одно с ощущением собственной обиды и своекорыстия. Тот был для него добродетелец, кто держал его сторону; тот преступник, кто ему сопротивлялся. Он готов был и солнцу пенять, полагая личным против себя злоумышлением, если оно не светило тогда, когда ему, Хмельницкому, бывало это необходимо. Людей, события и целый мир он подгонял к собственному «я». И, несмотря на всю хитрость, на все лицемерие гетмана, были некие чудовищные благие намерения в таковом его подходе. Из них проистекали не только все его прегрешения, но и поступки добрые, ибо насколько не знал он удержу в издевательствах и жестокостях по отношению к врагу, настолько умел быть благодарен за все, пусть даже случайные, услуги, лично ему оказанные.

Лишь будучи пьян, забывал он о благодетельстве и, рыча в безумии, отдавал с пеною на устах кровавые приказы, о которых потом сожалел. А по мере того, как росли его успехи, пьяным он бывал все чаще, ибо все большая охватывала его тревога. Казалось, триумфы вознесли его на такие высоты, на какие он сам возноситься не намеревался. Могущество его, изумлявшее других, изумляло и его самого. Исполинская рука мятежа, увлекши гетмана, несла его с молниеносной быстротой и неотвратимостью, но куда? Как всему этому суждено было завершиться? Затевя смуту

ради личных своих обид, этот казачий дипломат не мог не предполагать, что после первых успехов или даже поражений он начнет переговоры, что ему предложат прощение, удовлетворение обид и возмещение убытков. Он хорошо знал Речь Посполитую, терпеливость ее, безбрежную как море, ее милосердие, не знающее границ и меры, проистекавшее вовсе не из слабости, ибо даже и Наливайке, окруженному уже и обреченному, предлагалось прощение. Но теперь, после победы у Желтых Вод, после разгрома гетманов, после разгула усобицы во всех южных воеводствах, дело зашло слишком далеко; события переросли всяческие ожидания — теперь борьбе предстояло пойти не на жизнь, а на смерть.

Но на чьей же стороне будет победа?

Хмельницкий спрашивал гадалщиков и от звезд ждал ответа, и сам тоже вглядывался в грядущее — но впереди видел только мрак. И бывало, что от страшных предчувствий дыбом вставали волосы его, а из груди, точно вихрь, рвалось отчаяние. Что будет? Что будет? Он, Хмельницкий, будучи прозорливее других, соответственно и понимал лучше других, что Речь Посполитая не умеет распорядиться своими силами, что просто-напросто не имеет о них представления, хотя могущественна безмерно. Получи кто-то возможность использовать это могущество, кто бы тогда мог тому человеку противостоять? А кто мог знать, не поумерятся ли ввиду страшной опасности, близкого крушения и гибели внутренние раздоры, свары, своекорыстие, интриги панов, склоки, сеймовое пусторечие, шляхетское самодурство, бессильность короля. Тогда полмиллиона одного лишь дворянского сословия могут выйти на поле брани и расправиться с Хмельницким, даже будь с гетманом не только хан крымский, но и сам султан турецкий.

О дремлющем этом могуществе Речи Посполитой знал, кроме Хмельницкого, и покойный король Владислав, а посему, пока был жив, намеревался с величайшим на свете властелином вести борьбу не на жизнь, а на смерть, ибо только таким образом скрытые эти силы могли быть пробуждены. Ради планов своих король не поколебался заронить искру и в казачий порох. Было ли предопределено именно казакам вызвать это половодье, чтобы в нем и захлебнуться в конце концов?

Хмельницкий знал также, каким страшным, несмотря на всю слабость, будет отпор этой самой Речи Посполитой. Ведь в нее, столь расхлябанную, непрочно связанную, раздираемую, своевольную, беспорядочную, били наигрознейшие в мире турецкие валы и разбивались, как о скалу. Так оно было под Хотином, что, можно сказать, он собственными глазами видел. Эта самая Речь Посполитая даже и во дни слабости своей водружала знамена на стенах чужих столиц. Какой же она теперь даст отпор? Чем удивит, доведенная до отчаяния, когда надо будет или умереть, или победить?

Поэтому каждый триумф Хмельницкого оборачивался для него самого новой опасностью, так как близил пробуждение дремлющего льва и делал все более невозможными мирные переговоры. В каждой победе сокрыто было грядущее поражение, в каждом ликовании — на донышке горечь. Теперь ответом на казацкую бурю должна была грянуть буря Речи Посполитой. Хмельницкому казалось, что он слышит уже глухое, отдаленное рокотание.

Вот-вот — и из Великой Польши, Пруссии, многолюдной Мазовии, Малой Польши и Литвы подойдут легионы воинов, им нужен только вождь.

Хмельницкий взял в плен гетманов, но и в этой удаче можно было усмотреть как бы ловушку судьбы. Гетманы были опытными воителями, но ни тот, ни другой не были тем, кто соответствовал сей године гнева, ужаса и невзгод.

Вождем мог быть только один человек.

Звался он — князь Иеремия Вишневецкий.

Именно потому, что гетманы попали в неволю, выбор, вероятнее всего, должен был пасть на князя. Хмельницкий, как и остальные, в этом не сомневался.

А между тем в Корсунь, где гетман запорожский остановился после битвы для отдыха, с Заднепровья доходили вести, что страшный князь уже двинулся из Лубен, что по пути немилосердно искореняет бунт, что, где пройдет, там исчезают деревни, слободы, хутора и местечки, но зато воздвигаются кровавые колы и виселицы. Страх удвоивал и утроивал количество его войск. Говорили, что ведет он пятнадцать тысяч наипотборнейшей рати, какая только могла сыскаться во всей Речи Посполитой.

В казацком стане его ожидали с минуты на минуту. Вскоре после битвы под Крутой Балкой среди казаков кто-то закричал: «Ярема идет!», и чернь охватила паника — началось беспорядочное бегство. Паника эта заставила Хмельницкого сильно призадуматься.

Ему теперь предстояло решить: или двинуться со всеми силами против князя и искать с ним встречи в Заднепровье, или, оставив часть войск для покорения украинских замков, двинуться в глубь Речи Посполитой.

Поход на князя был чреват опасностями. Имея дело с таким прославленным военачальником, Хмельницкий, несмотря на все свое численное превосходство, мог потерпеть поражение в решающей битве, и тогда сразу все было бы потеряно. Чернь, преобладавшая в его войске, уже показала, что разбегается от одного только имени Яремы. Требовалось время, чтобы превратить ее в армию, могущую противостоять княжеским полкам.

Опять же и князь, вероятно, не принял бы решающего сражения, он ограничился бы обороной в замках и отдельными стыч-

ками, которые затянули бы войну на месяцы, если не на годы, а меж тем Речь Посполитая, без сомнения, собрала бы новые силы и двинулась на помощь князю.

Вот почему Хмельницкий решил оставить Вишневецкого в Заднепровье, а сам — укрепиться на Украине, навести порядок в своих войсках, а затем, двинувшись на Речь Посполитую, вынудить ее к переговорам. Он рассчитывал, что подавление мятежей в Заднепровье надолго отвлечет на себя княжеские силы, а ему при этом развяжет руки. Смуту же на Заднепровье решил он подогреть, высылая отдельные полки на подмогу черни.

И еще придумал он сбивать князя с толку переговорами и протянуть время, покада княжеское войско не ослабеет. Тут он вспомнил про Скшетуского.

Через несколько дней после Крутой Балки, а именно в день, когда среди черни возник переполох, он велел позвать к себе пленника.

Принял он его в старостовом доме в присутствии одного только Кречовского, бывшего Скшетускому давним знакомым, и, милостиво встретив, хоть и не без напускной важности, соответствующей нынешнему своему положению, сказал:

— Досточтимый поручик Скшетуский, за услугу, какую ты оказал мне, я выкупил тебя у Тугай-бея и обещал свободу. Время пришло. Я дам тебе пернач¹, дабы тебе, если встретишь какие войска, было возможно свободно проехать, и конвой для защиты от мужичья. Можешь возвращаться к своему князю.

Скшетуский молчал. Даже подобия радостной улыбки не появилось на лице его.

— Готов ли отправиться? Вроде бы вижу я хворость в тебе какую-то.

Пан Скшетуский и в самом деле выглядел как тень. Раны и недавние события подкосили могучего молодого человека, и сейчас у него был вид больного, не обещающего дожить до завтра. Изможденное лицо пожелтело, а черная, давно уже не бритая борода еще более изможденность эту подчеркивала. Всею причиной были душевные терзания. Рыцарь ел себя поедом. Находясь в казацком обозе, был он свидетелем всему, что произошло с момента выступления из Сечи. Видел он позор и беду Речи Посполитой, полоненных гетманов; видел казацкие триумфы, пирамиды, сложенные из голов, отрубленных у павших жолнеров, шляхту, подвешиваемую за ребра, отрезанные груди женщин, надругательства над девицами; видел отчаяние отваги и позорность страха — видел все. Все выстрадал и продолжал страдать тем более, что в голове его и груди жалом засела мысль, что сам он и есть невольный виновник всему, ибо он, и никто другой, перерезал удавку на шее Хмельницкого. Но разве же мог христианский

¹ Полковничья казацкая булава, заменявшая у казаков охранную грамоту. (Примеч. автора)

рыцарь предположить, что помощь ближнему породит таковые плоды? И страдания его были безмерны.

А когда задавал он себе вопрос, что с Еленой, и когда представлял, что могло случиться, если злосчастная судьба задержала ее в Разлогах, то взывал к небу руки и взывал голосом, исполненным безысходного отчаяния и дерзновения: «Господи! Возьми же душу мою, ибо здесь мне выпало испытать более, чем я заслуживаю!» Однако тут же спохватывался, понимая, что кощунствует, а посему падал на лицо и молил о спасении, о прощении, о том, чтобы господь сжалился над отчизною и над голубицей сей невинной, которая, быть может, вотще взывает к божьему милосердию и его, Скшетуского, помощи. Короче говоря, он так извелся, что дарованная свобода его не обрадовала, а этот самый гетман запорожский, триумфатор этот, желавший выглядеть великодушным, милости свои являя, и вовсе был ему неприятен, что заметив, Хмельницкий поморщился и сказал:

— Поспеши же воспользоваться великодушием, не то я раздумать могу; добродетель моя и упование на успех делают меня столь неосмотрительным, что я врага себе приобретаю, ибо знаю хорошо, что уж ты-то против меня сражаться будешь.

На что пан Скшетуский:

— Если бог даст сил.

И таково глянул на Хмельницкого, что прямо в душу тому проник, а гетман, взгляда его выдержать не умея, уставил очи в землю и лишь спустя некоторое время подал голос:

— Ладно, довольно об этом. Я достаточно силен, чтобы какой-то мозгляк мог для меня что-то значить. Расскажешь князю, господину своему, что тут видел, и остережешь от слишком дерзких поступков, ибо, если у меня лопнет терпение, то я навещу его на Заднепровье и не думаю, что мой визит будет ему приятен. Скшетуский молчал.

— Я говорил уже и еще раз повторяю, — продолжал Хмельницкий, — не с Речью Посполитой, но с вельможами я воюю, а князь среди них не последний. Враг он мне и народу русскому, отщепенец от церкви нашей и изверг. Наслышан я, что он мятеж в крови топит, пускай же поостережется, как бы свою не пролить.

Говоря это, он все более возбуждался. Кровь бросилась ему в голову, а глаза стали метать молнии. Ясно было, что гетман в очередном припадке гнева и ярости, когда он все забывал и сам забывался.

— На веревке велю Кривоносу привести его! — кричал он. — Под ноги себе повергну! На коня с его хребта садиться стану! Скшетуский поглядел свысока на метавшегося Хмельницкого, а затем спокойно сказал:

— Сперва победи его.

— Ясновельможный гетман! — вмешался Кречовский. — Пусть же этот дерзкий шляхтич скорей уезжает, ибо не пристало тебе во гнев из-за него впадать, а раз ты ему обещал свободу, он

рассчитывает, что ты или нарушишь слово, или инвективы его будешь вынужден слушать.

Хмельницкий поутихнул, хотя некоторое время продолжал тяжело дышать, а затем сказал:

— Пускай же в таком случае отправляется и знает, что Хмельницкий добром за добро платит. Дать ему пернач, как было сказано, и сорок татар, которые его до поляков проводят.

Потом, обратясь к Скшетускому, добавил:

— Ты же знай, что мы теперь с тобой квиты. Полюбил я тебя, несмотря на твою дерзость, но, если еще раз попадешься, выкрутиться не мечтай.

Скшетуский вышел с Кречовским.

— Раз гетман отпускает тебя целым и невредимым,— сказал Кречовский,— и ты волен ехать, куда пожелаешь, то скажу я тебе по старому приятельству: беги хоть в самое Варшаву, но не за Днепр, потому что оттуда никто из ваших живым не уйдет. Ваше время прошло. Будь ты человеком разумным, ты бы остался с нами, но знаю я, что про это говорить с тобой дело пустое. А ты бы высоко пошел, как и мы.

— На виселицу,— буркнул Скшетуский.

— Не пожелаю тебе дать Литинского старства, а теперь я сам десять старств возьму. Выгоним панов Конецпольских, да Калиновских, да Потоцких, да Любомирских, да Вишневецких, да Заславских, да всю шляхту, а сами их имением поделимся, что опять же согласно с божьим промыслом, коль скоро дарованы нам уже две столь блестящие виктории.

Скшетуский, не слушая полковника, задумался о чем-то своем, а тот продолжал:

— Когда я после сражения и победы нашей повидал в Тугай-бей ставке захваченного в плен господина моего и благодетеля, ясновельможного гетмана коронного, он меня тотчас же неблагодарным и иудой честить изволил. А я ему: «Ясновельможный воевода! Вовсе я не такой неблагодарный, ибо когда в твоих замках и поместьях сяду, только пообещай, что напиваться не будешь, и я тебя подстаростой сделаю». Хо-хо! Поимеет Тугай-бей за пташек этих пойманных и потому их не трогает. Мы бы с Хмельницким по-другому с ними разговаривали. Однако — звона! — телега твоя готова и татары в седлах сидят. Куда же ты направляешься?

— В Чигирин.

— Как постелешь, так и поспишь. Ордынцы проводят тебя хоть бы и до самых Лубен, потому что так им приказано. Похлопочи только, чтобы твой князь на колы их не посажал, что с казаками не преминул бы сделать. Потому и дали татар. Гетман велел и коня тебе вернуть. Бывай же здоров, нас вспоминай добром, а князю кланяйся и, ежели сумеешь, уговори его к Хмельницкому на поклон приехать. Возможно, милостиво будет принят. Бывай же здоров!

Скшетуский взобрался на телегу, которую ордынцы тотчас окружили кольцом, и отправился в путь. Проехать через площадь оказалось делом нелегким, потому что вся она была запружена казаками и мужичьем. И те, и другие варили кашу, распевая песни о желтоводской и корсунской победах, уже сложенные слепцами-лирниками, во множестве невесть откуда прибредшими в лагерь. Меж костров, пламенем своим облизывающих котлы с кашей, там и сям лежали тела умерших женщин, которых насиловали ночью победители, или возвышались пирамиды, сложенные из голов, отрубленных после битвы у раненых и убитых солдат противника. Группы эти и головы начали уже разлагаться и издавали тлетворный запах, казалось, вовсе не беспокоивший людское скопище. В городе бросались в глаза следы опустошений и дикого разгула запорожцев: окна и двери повывломаны, обломки и осколки бесценных предметов, перемешанные с птичьим пухом и соломой, завалили площадь. По карнизам домов висели повешенные, в основном евреи, а сброд развлекался, цепляясь за ноги их и раскачиваясь.

По одну сторону площади чернели пепелища сгоревших домов и приходского костела; от пепелищ этих еще тянуло жаром, и над ними курился дым. Запах гари стоял в воздухе. За сожженными домами находился кош и согнанные ясыри под присмотром многочисленной татарской стражи, мимо которых пан Скшетуский вынужден был проехать. Кто в окрестностях Чигирина, Черкасс и Корсуна не успел скрыться или не погиб под топором черни, тот угодил в неволю. Среди пленников были и солдаты, плененные в обоих сражениях, и окрестные жители, до сей поры не успевшие или не пожелавшие присоединиться к бунту: люди из оседлой шляхты или просто шляхетского звания, подстаросты, офицеры, хуторяне, однодворцы из захолустий, женщины и дети. Стариков не было: их, негодных на продажу, татары убивали. Орда вводила целые русские деревни и поселения, чему Хмельницкий не смел противиться. Неоднократно случалось, что мужики уходили в казацкое войско, а в благодарность татары сжигали их дома и вводили жен и детей. Увы, среди поголовного разгула и одичания никого это уже не волновало, никто не искал управы. Простолюдины, берясь за оружие, отрекались от родных гнезд, жен и детей. Коль скоро отбирали жен у них, отбирали и они, и даже получше, потому что «ляшек», которых, натешившись и наглумившись, они убивали или продавали ордынцам. Среди полонянок довольно было также и украинских молодлиць, связанных с паннами из шляхетских домов по три или по четыре одною веревкою. Неволья и недоля уравнивали сословия. Вид этих несчастных потрясал душу и порождал жажду мести. В лохмотьях, полунагие, беззащитные перед непристойными шутками поганых, интереса ради слонявшихся толпами по майдану, поверженные, избитые или лобызаемые мерзкими устами, они теряли рассудок и волю. Одни всхлипывали или на голос рыдали,

другие — с остановившимся взором, с безумием в глазах и разинутым ртом — безучастно поддавались всему, что с ними совершалось. То тут, то там раздавался истошный вопль человека, зверски убиваемого за вспышку отчаянного сопротивления; плети из бычачьей кожи то и дело свистели над толпами пленников-мужчин, и свист этот сливался с воплями страданий, плачем детей, мычанием скота и конским ржаньем. Ясыри не были еще поделены и построены для конвоирования, поэтому повсюду царила страшная неразбериха. Возы, кони, рогатый скот, верблюды, овцы, женщины, мужчины, груды награбленного платья, посуды, ковров, оружия — все это, скученное на огромном пространстве, еще ожидало дележа и разбора. То и дело пригонялись новые толпы людей и скота, нагруженные паромы пересекали Рось, из главного же коша прибывали все новые и новые гости, дабы порадовать взоры видом собранных богатств. Некоторые, хмельные от кумыса или горелки, напялив на себя странные одежды — ризы, стихари, русские рясы или даже женское платье, — уже ссорились, учиняли свары и ярмарочный гвалт по поводу того, что кому достанется. Татарские чабаны, сидя возле своих гуртов на земле, развлекались — одни вывистывая на дудках пронзительные мелодии, другие — играя в кости и взаимно колота друг друга палками. Стаи собак, прибежавших вослед своим хозяевам, лаяли и жалобно выли.

Пан Скупетуский миновал наконец человеческую эту геенну, оглашаемую стенаниями, полную слез, горя и жутких воплей, и решил было, что наконец переведет дух, однако тотчас новое жуткое зрелище открылось его взору. В отдалении, откуда доносилось немолчное конское ржание, серел собственно кош, кишевший тысячами татар, а ближе, на поле, тут же возле тракта, ведущего на Черкассы, молодые воины упражнялись в стрельбе из лука, забавы ради пуская стрелы в слабых или больных пленников, которым долгая дорога в Крым оказалась бы не под силу. Несколько десятков трупов уже лежали на дороге, продырявленные, как решета, некоторые еще дергались в конвульсиях. Те, в кого стреляли, висели, привязанные за руки к придорожным деревьям. Были среди них и старые женщины. Радостному после удачного выстрела смеху вторили восклицания:

— Якши, егет! Хорошо, ребята!

— Ук якши колда! Лук в добрых руках!

Возле главного коша забивали тысячи голов скота и лошадей на прокорм воинам. Земля была пропитана кровью. Тощотворные миазмы убойны делали дыхание невозможным, а меж груд мяса ходили красные ордынцы с ножами в руках. День был знойный, солнце пекло. Лишь час спустя выбрался пан Скупетуский со своим конвоем в чистое поле, но долго еще доносились из главного коша далекие голоса и мычание. По дороге тоже было предостаточно следов хищного разбоя и беды. Сожженные дворы, торчащие печи погоревших хуторов, потравленные зеле-

ня, переломанные деревья, спиленные на дрова вишневые сады возле бывших хат. То и дело попадались лошадиные или человеческие трупы, страшно преобразенные, посинелые, раздувшиеся, а на них и над ними стаи ворон и воронов, с шумом и гомоном при виде людей срывающихся с места. Кровавое деяние Хмельницкого повсюду бросалось в глаза, и трудно было понять, на кого человек этот поднял руку, ибо его собственный край в первую очередь стонал под бременем неволи.

В Млееве встретились им татарские отряды, гнавшие новые толпы пленников. Городище было сожжено дотла. Торчала только кирпичная костельная колокольня да старый дуб посреди площади, увешанный страшными плодами, ибо висело на нем несколько десятков маленьких жиденят, третьеводни повешенных. Тут было перебито и множество шляхты из Коноплянки, Староселя, Ужовки, Балаклеи и Водачева. Сам городишко был пуст, так как мужчины ушли к Хмельницкому, а женщины, дети и старики, опасаясь прихода князя Иеремии, убежали в леса. Из Городища поехал пан Скшетуский через Смелу, Жаботин и Новосельцы на Чигирин, останавливаясь по пути только, чтобы дать отдохнуть лошадям. На второй день с южной стороны въехали в город. Война пощадила его, разрушено было лишь несколько домов, среди которых — сровненный с землею дом Чаплинского. В замке стоял подполковник Наоколопалец, а с ним тысяча молодых, но и он, и молодые, и все население пребывали в величайшем страхе — здесь, как и всюду по дороге, ждали, что в любую минуту нагрянет князь и последует возмездие, какого свет не видал. Непонятно было, кто эти слухи распускает и откуда они приходят, возможно, порождал их страх, но тем не менее упорно поговаривали либо что князь уже плывет по Суле, либо что уже стоит у Днепра, что вырезал население в Борисах, что спалил Васютинцы, и всякое появление конных или пеших порождало величайшую панику. Скшетуский жадно внимал этим известиям, ибо понимал, что даже, будучи ложными, они все же сдерживали разгул мятежа на Заднепровье, которое находилось непосредственно под княжескою десницей.

Скшетуский полагал узнать что-то достоверное от Наоколопальца, но оказалось, что подполковник, как и прочие, о князе ничего не знает и сам рад был бы узнать хоть что-нибудь от Скшетуского. А поскольку все байдаки, челны и лодчонки были отведены к чигиринскому берегу, то и беглые с берега заднепровского в Чигирин добраться не могли.

Так что Скшетуский, не теряя времени в городе, велел преправить себя и без промедления двинулся на Разлоги. Мысль, что вскорости он самолично сможет узнать, что с Еленой, и надежда, что она, возможно, жива-здора или же укрылась вместе с теткой и князьями в Лубнах, вселяла в него силы и бодрость. С телеги пересел он в седло и безжалостно торопил своих татар, а те, полагая его послом и себя приставами, отданными под его

начало, не смели ослушаться. Так что мчались они, словно за ними кто гнался, а копыта мохнатых татарских лошадемок вздымали золотые клубы пыли. Путь лежал через подворья, хутора и деревни. Край был пуст, поселения обезлюдели, и долго им не попадалось ни души. Возможно, что, завидя отряд, люди просто хоронились. Пан Скшетуский повсюду велел обыскивать сады, засеки, закрома и клетки овинов, но никого обнаружить не мог.

Лишь за Погребями один из татар заметил какое-то человеческое существо, пытавшееся скрыться в тростниках, которыми поросли берега Кагамлыка.

Татары кинулись к реке и через несколько минут привели пред пана Скшетуского двух совершенно нагих людей.

Один оказался стариком, второй — стройным пятнадцатилетним подростком. От страха оба стучали зубами и долгое время не могли сказать ни слова.

— Откуда вы? — спросил пан Скшетуский.

— Ниоткудова, пане! — ответил старик. — Христа ради вот ходим с лирой, а немой этот меня водит.

— А откуда сейчас идете? Из какой деревни? Говори, не бойся, ничего тебе не сделают.

— Мы, пане, по всем селам ходили, а тут нас бес какой-то обобрал. Сапоги хорошие были — взял, шапки были хорошие — взял, свитки от сердобольных людей — взял и лиру забрал тоже.

— Я тебя, дурак, спрашиваю, из какой ты деревни идешь?

— Не знаю, пане, я дід. От, мы голые, ночью мерзнем, а днем жалостливых людей ожидаем, чтоб наготу нашу прикрыли да накормили, мы ж голодные!

— Слышишь, холоп, отвечай, про что спрашиваю, не то прикажу повесить.

— Я нічого не знаю, пане. Коли б я що, або що, або будь що, то нехай мені — от що!

Видно было, что дед, толком не понимая, кто его спрашивает, решил ничего толком и не отвечать.

— А в Разлогах ты был, где князя Курцевичи живут?

— Не знаю, пане.

— Повесить его! — крикнул Скшетуский.

— Був, пане! — закричал дед, видя, что дело принимает нешуточный оборот.

— Что же ты там видел?

— Мы там пять ден, как были, а потом уж в Броварках слышали, что туда лицарі прийшли.

— Какие рыцари?

— Не знаю, пане! Один каже — ляхи, другой каже — козаки.

— В седло! — крикнул татарам Скшетуский.

Отряд помчался. Солнце вот-вот собиралось закатиться, как в тот день, когда наместник, повстречав Елену с княгиней на

дороге, ехал рядом с ними возле Розвановой кареты. Кагамлык в точности так же отсвечивал пурпуром, день отходил ко сну еще более тихий, погожий, теплый. Однако тогда пан Скшетуский ехал переполненный счастьем и пробуждавшимися нежными чувствами, а теперь мчался, как проклятый на муки вечные, гонимый вихрем тревоги и дурных предчувствий. Отчаяние кричало в его душе: «Это Богун ее умыкнул! Ты ее больше не увидишь!», а голос надежды ободрял: «Это князь! Спасена!» И голоса эти так терзали его, что разве сердце не разрывали. Всадники мчались, погоня терявших силы лошадей. Минул час и другой. Вышел месяц и, поднимаясь в высоту, становился бледнее. Кони покрылись мылом и тяжело всхрапывали. Влетели в лес, он промелькнул как молния; влетели в яр, за яром — сразу же — Разлоги. Вот-вот, и судьба рыцаря будет решена. А ветер скачки между тем свистит у него в ушах, шапка свалилась с головы, конь под ним постанывает, словно бы сейчас падет. Еще мгновение, еще рывок, и яр отворится. Вот! Вот!

И вдруг страшный, нечеловеческий вопль вырвался из груди пана Скшетуского.

Усадьба, сарай, конюшни, овины, частокол и вишневый сад — все исчезло.

Бледный месяц освещал косогор, а на нем — черные пепелища, переставшие уже и дымиться.

Никакой голос не нарушал беззвучья.

Пан Скшетуский безмолвно остановился у рва, руки лишь к небесам протянул, глядел, взирал и головою кивал как-то странно. Татары придержали коней. Он спешил, нашел остатки сожженного моста, перешел ров по продольному бревну и сел на камень, лежавший посреди майдана. Затем он стал осматриваться, словно человек, который оказался впервые в каком-то месте и намеревается освоиться. Сознание покинуло пана Скшетуского. Он не издал даже стога. Спустя минуту, уперев руки в колени и свесив голову, он сделался неподвижен, и могло показаться, что он уснул, а если не уснул, то одеревенел. В голове его вместо мыслей проносились какие-то неясные картины. Вот возникла Елена, такая, с какою расстался он в последний свой приезд, правда, лицо ее сейчас было словно затянуто дымкой и черт различить было невозможно. Он попытался ее из этого туманного облака вызволить, но не смог. Потому и уехал с тяжелым сердцем. Вот перед ним явилась чигиринская площадь, старый Зацвилюховский и беспутная рожа Заглобы; она с особенным упорством возникала перед взором его, пока наконец не сменилась угрюмым обличем Гродзицкого. Потом увидел он еще Кудак, пороги, стычку на Хортице, Сечь, все злоклучения и происшествия вплоть до нынешнего дня, вплоть до последнего часа. Но дальше был мрак! Что происходило с ним сейчас, он понять не мог. У него было лишь неясное ощущение, что едет он к Елене, в Разлоги, но силы в нем словно расточились, вот

он и отдыхает на пожарище. Хотел было он встать и ехать далее, однако бесконечная какая-то немощь приковывает его к месту, словно бы кто стофунтовые ядра к ногам ему привязал.

Сидел он так и сидел. Ночь проходила. Татары расположились на ночлег и, разложив костер, стали жарить куски лошажьей падали, затем, наевшись, легли спать на землю.

Не прошло и часа, как они вскочили на ноги.

Издалека доносились отголоски, похожие на шум большого отряда конницы, идущей спешным маршем.

Татары торопливо нацепили на жердь белую плаху и подложили в костер хвороста, чтобы издалека было ясно, что они мирные посланцы.

Конский топот, фырканье и звяканье сабель между тем приближались, и вскоре на дороге показался конный отряд, тотчас же татар и окруживший.

Начался короткий разговор. Татары указали фигуру, сидевшую на взгорье, которую в лунном свете было и так отлично видно, и объяснили, что сопровождают посла, а к кому и от кого, он скажет сам.

Начальник отряда с несколькими товарищами немедленно поднялся на косогор, но едва приблизился и заглянул в лицо сидящему, как тут же развел руки и воскликнул:

— Скшетуский! Господи боже мой, это Скшетуский!

Наместник даже не певельнулся.

— Ваша милость наместник, ты узнаешь меня? Я Быховец! Что с тобою?

Наместник молчал.

— Очнись ради бога! Гей, товарищи, давайте-ка сюда!

И в самом деле, это был пан Быховец, шедший в авангарде всей армии князя Иереми.

Между тем подошли и другие полки. Весть о том, что найден Скшетуский, молнией разнеслась по хоругвям, и все спешили приветствовать милого товарища. Маленький Володыёвский, оба Слешинские, Дзик, Орпишевский, Мигурский, Якубович, Ленц, пан Лонгинус Подбипятка и многие другие офицеры, обгоняя друг друга, бежали по косогору. Но напрасно они заговаривали с ним, звали по имени, трясли за плечи, пытались поднять с камня — пан Скшетуский глядел на всех широко открытыми глазами и никого не узнавал. Нет, скорее наоборот! Кажется, он узнает их, но остается совершенно безучастным. Тогда те, кто знал о его чувствах к Елене, а все почти про это знали, сообразив, где они находятся, поглядев на черное пожарище и седой пепел, поняли все.

— От горя он память потерял, — шепнул кто-то.

— Отчаяние *mentem*¹ ему помутило.

¹ разум (лат.).

— Отведите его ко князю. Увидит князя, может, и очнется.

Все, окружив наместника, сочувственно на него глядели, а пан Лонгинус просто руки ломал в отчаянии. Некоторые утирали перчатками слезы, некоторые печально вздыхали. Но тут из толпы выступила внушительная фигура и, медленно подойдя к наместнику, возложила ему на голову руки.

Это был ксендз Муховецкий.

Все умолкли и опустили на колени, словно бы в ожидании чуда. Однако ксендз чуда не сотворил, а не убирая рук своих с головы Скшетуского, вознес очи к небесам, залитым лунным светом, и стал громко читать:

— *Pater noster, qui es in coelis! Sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua...*¹

Тут он умолк и спустя мгновение повторил громче и торжественней:

— *Fiat voluntas Tua!*²

Воцарилась глубокая тишина.

— *Fiat voluntas Tua!* — повторил ксендз в третий раз.

И тогда с уст Скшетуского изшел голос небывалой боли и смирения:

— *Sicut in coeli et in terra!*³

И рыцарь, зарывав, пал на землю.

ГЛАВА XVII

Чтобы рассказать, что произошло в Разлогах, придется вернуться несколько назад, к той самой ночи, когда пан Скшетуский отправил Редзяна с письмом к старой княгине. В письме он настоятельно просил, чтобы княгиня, забравши Елену, как можно скорее поспешала в Лубны под защиту князя Иеремии, ибо война может начаться в любую минуту. Редзян, севши в чайку, которую пан Гродзицкий отправил из Кудака за порохом, пустился в путь, но совершал его медленно, так как челн поднимался вверх по реке. У Кременчуга повстречались им войска под началом Кречовского и Барабаша, по приказу гетманов шльвшие воевать против Хмельницкого. Редзян свиделся с Барабашем, которому, конечно, рассказал, каким опасностям подвергается пан Скшетуский по пути на Сечь. Посему просил он старого полковника при встрече с Хмельницким настойчиво поинтересоваться судьбой посла. Затем Редзян поплыл дальше.

В Чигирин прибыли на рассвете. Тут их немедленно окружил отряд казаков, спрашивая, кто они такие будут. Они отве-

¹ Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя твое; да придет царствие твое; да будет воля твоя... (лат.)

² Да будет воля твоя! (лат.)

³ Яко на небеси и на земли! (лат.)

тили, что едут из Кудака от пана Гродзицкого с письмом к гетманам. Тем не менее набольшему с чайки и Редзяну велено было доложиться полковнику.

— Какому полковнику? — спросил набольший.

— Пану Лободе, — ответили караульные есаулы. — Которому великий гетман велел всех прибывающих из Сечи задерживать и допрашивать.

Отправились. Редзян шел смело, так как не предполагал ничего худого, зная, что здесь уже простирается гетманская власть. Их привели в стоявший поблизости от Звонецкого Кута дом пана Желенского, где квартировал полковник Лобода. Тут им было сказано, что полковник еще на рассвете уехал в Черкассы и что его замещает подполковник. Прождали они довольно долго, пока наконец не отворилась дверь и не вошел ожидаемый подполковник.

При виде его у Редзяна задрожали поджилки.

Подполковником оказался Богун.

Власть гетманская и в самом деле распространялась еще на Чигирин, а поскольку Лобода и Богун к Хмельницкому не переметнулись и, даже наоборот, во всеуслышанье заявляли о своей приверженности Речи Посполитой, великий гетман именно им и назначил стоять гарнизоном в Чигирине и за порядком приглядывать велел.

Богун уселся за стол и начал выспрашивать прибывших.

Набольший, имевший при себе письмо от пана Гродзицкого, отвечал за себя и за Редзяна. Разглядев внимательно письмо, молодой подполковник стал подробно расспрашивать, что слышно в Кудаке, и видно было, что ему очень хотелось дознаться, зачем это пан Гродзицкий к великому гетману людей и чайку отрядил. Однако набольший ответить на это не мог, а послание было запечатано печаткой пана Гродзицкого. Допросивши гостей, Богун хотел было отослать их и в кошель полез, дать им на водку, как вдруг распахнулась дверь и пан Заглоба молнией влетел в горницу.

— Что же это делается, Богун! — завопил он. — Подлец Допул лучший тройняк утаивает. Я лезу с ним в погреб. Гляжу — возле угла то ли сено, то ли еще что. Спрашиваю, что там? Говорит: сухое сено! Я гляжу — а там горлышко, как татарин из травы, выглядывает. А-а, коровий сны! Я говорю — давай поделимся: ты, волох, говорю, сено съешь, ибо ты вол, а я мед выпью, ибо я человек. Вот я и принес бутыл для надлежащей пробы. Давай же скорее кубки.

Сказавши это, пан Заглоба одною рукою в бок уперся, а другую поднял бутыл над головой и принялся распевать:

Гей, Ягуся! Гей, Кундуся! Ну-ка дайте кубки!
Non timare¹, не пугайтесь, подставляйте губки!

¹ Не пугайтесь (лат.).

Тут пан Заглоба, увидев Редзяна, внезапно замолк, поставил бутылку на стол и сказал:

— Эй! Как бог свят, это же слуга верный пана Скшетуского.

— Чей? — быстро спросил Богун.

— Пана Скшетуского, наместника, который в Кудак поехал, а меня перед отъездом таким тут лубненским медом поил, что любой кабатчик пускай не суется. Как же там господин-то твой, а? Здоров ли?

— Здоров и велел вашей милости кланяться, — ответил смевавшийся Редзян.

— Ох и лихой это кавалер! А ты как в Чигирине оказался? Зачем хозяин тебя из Кудака услав?

— Хозяин он и есть хозяин, — отвечал на это Редзян. — У него в Лубнах дела, вот он мне и велел вернуться, да и что мне в Кудаке делать-то?

Богун все это время быстро поглядывал на Редзяна, а потом вдруг сказал:

— Знаю и я твоего господина, видал его в Разлогах.

Редзян, словно недослышав, повернул к нему ухо и переспросил:

— Где?

— В Разлогах.

— У Курцевичей, — сказал Заглоба.

— У кого? — снова переспросил Редзян.

— Ты, я вижу, оглох малость, — сухо заметил Богун.

— Не выспался чегой-то.

— Выспишься еще. Значит, твой хозяин послал тебя в Лубны, говоришь?

— Эге!

— У него там, видать, какая-нибудь сударка имеется, — вмешался пан Заглоба, — к которой он свои чувства с тобою и пересылает.

— Да разве ж я знаю, ваша милость!.. Может, и есть, а может, и нету.

Затем Редзян поклонился Богуну и пану Заглобе.

— Слава Иисусу Христу, — сказал он, собираясь удалиться.

— На веки веков! — ответил Богун. — Погоди же, соколик, не спеши так. А почему ты от меня утаил, что состоишь в услужении у пана Скшетуского?

— А потому что ваша милость меня не спрашивала, а я себе думаю, зачем это мне невесть что говорить? Слава Иисусу...

— Постой, сказано тебе. Письма господские везешь?

— Ихнее дело писать, а мое, слуги, отдать, да только тому, кому писаны, так что разрешите уж откланяться вашим милостям.

Богун свел собольи брови и хлопнул в ладоши. Тотчас же возникли два казака.

— Обыскать его! — закричал Богун, показывая на Редзяна.

— Истинный Христос, насилие надо мной совершают! — завизжал Редзян. — Я хоть и слуга, а тоже шляхтич! Вы, досточтимые господа, в суде за это ответите.

— Богун, оставь его! — вмешался пан Заглоба.

Но один из казаков уже обнаружил за пазухой у Редзяна оба письма и передал их подполковнику. Богун отослал казаков прочь, так как, не умея читать, не хотел, чтобы они об этом узнали и, обратившись к Заглобе, сказал:

— Читай, а я пока на парнишку погляжу!

Заглоба зажмурил левый глаз, на котором у него было бельмо, и прочитал адрес:

— «Всемиловитвейшей ко мне госпоже и государыне-благодетельнице, светлейшей княгине Курцевич в Разлогах».

— Значит, соколик, ты в Лубны ехал и не знаешь, где Разлоги? — сказал Богун, глядя на Редзяна страшным взглядом.

— Куда велели, туда и ехал! — ответил тот.

— Вскрывать, что ли? *Sigillum*¹ шляхетская свята! — заметил Заглоба.

— Мне великий гетман дал право любые письма просматривать. Открывай и читай.

Заглоба распечатал и стал читать:

— «Всемиловитвейшая ко мне госпожа и пр. Доношу вашей милости, сударыня, что я уже стою в Кудаке, откуда, дай боже, в добрый час нынешним утром на Сечь отправлюсь, а пока что пишу тут, в беспокойстве спать не ложася, чтобы вам какая кривда от головореза этого, Богуна, и его бродяг не случилась. А поскольку мне тут и пан Кшиштоф Гродзицкий говорил, что, того гляди, война большая разразится, ради каковой также и чернь поднимется, потому заклинаю и умоляю вашу милость, сударыня, чтобы *eo instante*², хоть бы даже и степь не просохла, хоть бы верхами, тотчас же с княжною в Лубны ехать изволили и не поступали бы иначе, ибо я впору воротиться не успеваю. Каковую просьбу соблаговоли, ваша милость сударыня, незамедлительно исполнить, дабы о блаженстве, мне обещанном, я мог не опасаться и, воротившись, нарадовался им. А вместо того чтобы вашей милости, сударыня, с Богунем куктовать и, обещав девку мне, ему со страху голову морочить, лучше *sub tutelam*³ князя, господина моего, укрыться, каковой в Разлоги гарнизон послать не промедлит, так что и усадьбу упасете. При сем имею честь и т. д. и т. д.».

— Гм, друг ты мой, Богун, — сказал Заглоба, — гусарик, видеть, рога тебе наставить собрался. Значит, вы за одною девкою

¹ Печать (лат.).

² сей же миг (лат.).

³ под охраной (лат.).

увивались? Чего ж ты молчал-то? Да ты не переживай, мне вот тоже случилось...

Начатая фраза замерла на устах пана Заглобы. Казак сидел за столом неподвижно, но лицо его словно бы свело судорогой, оно было бледно, глаза закрыты, брови сдвинуты. С Богуном происходило что-то ужасное.

— Что это ты? — спросил пан Заглоба.

Тот стал судорожно махать рукою, а из уст его послышался приглушенный, хриплый голос:

— Читай давай второе.

— Второе — княжне Елене.

— Читай! Читай!

Заглоба начал:

— «Милая, возлюбленная Елешка, сердца моего госножа и королева! Поскольку по княжескому делу я немалое еще время в этой стороне пробуду, то пишу я к тетке затем, чтобы вы в Лубны сразу же ехали, где никакая твоей девичьей чести обида от Богуна случиться не может и взаимная сердечная склонность паша риску не подвергнется...»

— Довольно! — крикнул вдруг Богун и, обезумело вскочив из-за стола, прыгнул к Редзяну.

Чекан фыркнул в его руке, и несчастный отрок, пораженный в самую грудь, охнул и грянулся на пол. Безумие овладело Богуном, он бросился к пану Заглобе, вырвал у того письма и сунул их за пазуху.

Заглоба, схватив бутылку с медом, отскочил к печке и крикнул:

— Во имя отца, и сына, и святого духа! Человеке, ты очумел, что ли? Снятия ты, а? Успокойся, опомнись! Окуни башку в ведро, черт бы тебя подрал!.. Да слынишь ты меня?

— Крови! Крови! — выл Богун.

— Ты что, сбесился? Окуни же башку в ведро, сказано тебе! Вот она, кровь, ты ее уже пролил, причем невинную. Он уже не дышит, парнишка этот бедный. Дьявол тебя попутал или сам ты есть сущий дьявол? Опомнись же, а нет — пропади ты пропадом, басурманский сын!

Выкрикивая все это, Заглоба протиснулся по другую сторону стола к Редзяну и, склонившись над ним, стал ощупывать пострадавшему грудь и прикладывать ладонь ко рту его, из которого неудержимо бежала кровь.

Богун же, схватившись за голову, скулил, точно раненый волк. Потом, продолжая выть, упал на лавку, ибо душа в нем была истерзана бешенством и страданием. Внезапно он вскочил, подбежал к двери, выбил ее ногой и выбежал в сени.

— Беги же, чтоб тебе пусто было! — невнятно проворчал пан Заглоба. — Беги и разбей башку об конюшню или об овин, хотя, рогоносцем будучи, мог бы уже и бодаться. Вот это расswireпел! В жизни ничего подобного не видывал. Зубами, как

кобель на случке, стучал. Но паренек-то живой еще, бедняга. Ей-богу, если ему этот мед не поможет, значит, он солгал, что шляхтич.

Говоря это, пан Заглоба пристроил голову Редзяна у себя на коленях и потихоньку стал вливать в его посинелые уста мед.

— Проверим, есть ли в тебе кровь благородная,— продолжал он, обращаясь к лежавшему в беспамятстве. — Ежели, скажем, еврейская имеется, то, приправленная медом или же вином, она кипеть станет, мужичья, будучи ленивой и тяжелой, вниз пойдет, и только шляхетская возвеселится и отборный сотворит состав, каковой телу мужество и удаль сообщает. Другим нациям господь наш Иисус Христос тоже дал напитки, дабы каждая достойно утешена могла быть.

Редзян тихо застонал.

— Ага, еще хочешь! Нет, пане-брате, позволь же и мне... Вот так! А сейчас, раз ты живой оказался, перенесу-ка я тебя в конюшню и уложу где-нибудь в уголку, чтобы это чудо-юдо казачье тебя не растерзало, когда вернется. Опасный он друг-приятель, черти бы его драли! Ибо на руку, не умом он скор, как я погляжу!

После этих слов пан Заглоба поднял Редзяна с легкостью, свидетельствующей о необычайной силе, и вышел в сени, а затем — во двор, где человек десять казаков, сидя на земле, играли в кости на разостланном коврикe. Увидев его, они вскочили, а он сказал:

— Хлопцы, возьмите-ка этого паренька и положите на сено. И пускай который-нибудь сбегает за цирюльником.

Приказ был незамедлительно исполнен, потому что пан Заглоба, будучи другом Богуну, пользовался среди казаков большим почетом.

— А где же это полковник?

— Коня велел подать и на полковую квартиру поехал, а нам сказал быть наготове и коней под седлом держать.

— И мой взнузданный?

— Эге ж.

— Тогда веди его сюда. Значит, я полковника в полку найду?

— Да вон же он сам едет.

Действительно, сквозь темную арку ворот видать было Богуну, подъезжавшего со стороны площади. Позади него в некотором отдалении показались пики более сотни молодцев, как видно, готовых в поход.

— В седло! — крикнул сквозь подворотню Богун находившимся на дворе казакам.

Все кинулись исполнять приказание. Заглоба же вышел из подворотни и внимательно поглядел на молодого атамана.

— В поход собрался? — спросил он.

— Собрался!

— А куда ж тебя черти несут?

— На свадьбу.

Заглоба подошел поближе.

— Побойся бога, сынку! Гетман велел тебе город стеречь, а ты и сам уезжаешь, и солдат уводишь. Приказ нарушаешь. Тут подлый народ спит и видит на шляхту кинуться; город погубишь — на гнев гетманской себя обречешь.

— На погибель и городу, и гетману!

— Головой за это ответишь.

— На погибель и моей голове!

Заглоба понял, что отговаривать казака бесполезно. Тот уперся и собирался поступить по-своему, хотя мог погубить и себя, и других. Догадался Заглоба и куда предстоит дорога, однако, как поступить, не знал: ехать ли с Богуном или остаться? Ехать было рискованно, ибо в суровое военное время это значило влипнуть в нехорошую, сулившую эшафот историю. А остаться? Чернь и в самом деле только ждала сигнала к резне, знака из Сечи. А возможно, обошлась бы и без него, когда бы не тысяча Богуновых казаков и огромное уважение к атаману на Украине. Правда, пан Заглоба мог уйти к гетманам, но у него были свои причины не делать этого. То ли тут была кондемпнатка за какое-то убийство, то ли какая-то липовая бухгалтерия — про то он один только и знал; довольно будет сказать, что Заглобе просто было незачем лишний раз мозолить людям глаза. Жаль ему было покидать Чигирин! Так тут было хорошо, так тут никто ни о чем не спрашивал, так пан Заглоба сжился со всеми: и со шляхтою, и со старостовыми экономами, и с казацкими старшинами! Оно конечно, старшины поразъехались сейчас, а шляхта, боясь смуты, сидела тихо, но ведь существовал Богуи, гуляка из гуляк, дружок из дружков. Познакомившись за склянкой, они сразу же сошлись с Заглобою, и с той поры один без другого не появлялись. Казак сынал золотом за двоих, шляхтич врал; и обоим, точно беспокойным духам, было друг с другом хорошо.

И когда сейчас приходилось выбирать, остаться ли в Чигирине, чтобы угодить под нож черни, или поехать с Богуном, пан Заглоба выбрал последнее.

— Раз ты такой отпетый человек, — сказал он, — то и я с тобой поеду. Может, пригожусь или попридержу, если надо будет. Нас, видать, сам черт связал веревочкой, но уж такого я не ожидал!

Богуи ничего не ответил. Через полчаса две сотни казаков построились в походную вереницу. Богуи выехал вперед, а с ним и пан Заглоба. Тронулись. Мужики, кучками толпившиеся на площади, поглядывали на них исподлобья и шептались, пытаясь догадаться, куда отряд отправляется и скоро ли вернется. И вернется ли вообще.

Богун ехал молча, погруженный в свои мысли, непостижимый и хмурый, как ночь. Казаки не спрашивали, куда он ведет их. За ним они готовы были идти хоть на край света.

Переправившись через Днепр, выехали на лубненский тракт. Кони шли рысью, поднимая пыльные тучи, а поскольку день стоял знойный, очень скоро все они были в мыле. Пришлось рысь несколько поубавить, и отряд растянулся на дороге долгою прерывистой лентой. Богун уехал вперед, а пан Заглоба, поравнявшись с ним, решил завязать разговор.

Лицо молодого атамана было спокойно, хотя и мечено смертельной тоскою. Правда, неоглядные дали к северу за Кагамлыком, бег лошади и степной воздух несколько поутушили в нем внутреннюю бурю, разразившуюся после чтения писем, отнятых у Редзяна.

— Ну и парит,— заговорил пан Заглоба,— аж солома в сарогах горит. В полотняном армяке жарко даже, и ни ветерка! Богун! Слышь, Богун!

Атаман, словно бы очнувшись ото сна, посмотрел на него своими глубокими черными очами.

— Гляди, сынку,— продолжал пан Заглоба,— чтобы тебя меланхолия не заела, ибо, ежели она из печени, где пребывает обычно, перекинется в голову, рассудок сильно помутиться может. А я и не знал, что ты такой амурный. Видно, в мае ты родился, а это месяц Венеры, в каком-то ауре столь любострастная, что щепка к щепке и та сердечную склонность чувствовать начинает, люди же, в этом месяце рожденные, более прочих имеют в натуре своей интерес к прелести женской. Но и здесь опять же в выигрыше тот, кто себя в руках держит, а посему советую тебе мезью дело не решать. На Курцевичей ты безусловно можешь зуб иметь, но разве ж одна она девка на свете?

Богун, словно не Заглобе, а муке собственной отвечая, отозвался голосом, более на рыдание, чем на людскую речь, по-хожим:

— Одна она, возуля, одна на свете!

— А хоть бы и так, все равно дело пустое, если она другому кукует. Справедливо сказано, что сердце — вольнопер, под какими захочет знаменами, под такими и служит. Прими опять же во внимание, что девка-то голубой крови, ведь Курцевичи, говарят, от князей свой род ведут... Высок терем-то.

— Черта мне в ваших теремах, в ваших родословных, в ваших пергаментях! — Тут атаман со всею силою ударил по сабельной рукояти. — Вот он, мой род! Вот мое право! И пергамент! Вот он, мой сват и дружка! О, иуды! О, вражья кровь проклятая! Хорош вам был казак, друг и брат был в Крым ходить, добро турецкое брать, добычей делиться. Гей, голубили, и сынком звали, и девку обещали, а на чье вышло? Явился шляхтич, лях балованный, и сразу казака, сынка и друга, позабы-

ли — душу вырвали, сердце вырвали, другому доня будет, а ты себе землю кусай! Ты, казаче, терпи! Терпи!..

Голос атамана дрогнул, он стиснул зубы и стал колотить кулаками в широкую грудь, да так, что из нее, как из-под земли, гул послышался.

На минуту наступило молчание. Богун тяжело дышал. Боль и гнев раздирали дикую, не знающую удержу душу казака. Заглоба ждал, когда он утомится и успокоится.

— Что же ты собираешься делать, юнак горемычный? Как действовать станешь?

— Как казак — по-казацки!

— Гм, представляю, что будет.. Ладно, хватит об этом. Одно скажу тебе: там земля Вишневецких и Лубны близко. Писал пан Скшетуский княгине этой, чтобы она в Лубны с девкой уехала, а это значит, что они под защитой княжеской, а князь — лев свирелый...

— И хан тоже лев, а я ему в пасть влазит и пожаром в глаза светил!

— Ты, бедовая голова, князю, что ли, войну объявить хочешь?

— Хмель и на гетманов пошел. Что мне ваш князь! .

Пан Заглоба забеспокоился еще более.

— Тыфу, дьявольщина! Так это ж мятежом пахнет! *Vis armata, gartus puellae*¹ и мятеж — это ж палач, виселица и веревка. Шестернею этой можно заехать если не далеко, то высоко, Курцевичи тоже защищаться будут.

— Тай що? Или мне погибель, или им! От я душу згубив за них, за Курцевичей, они мне были братья, а старая княгиня — матерью, которой я в глаза, как пес, глядел! А как Василя татары схватили, так кто в Крым пошел? Кто его отбил? Я! Любил я их и служил им, как раб, потому, думал, дивчину ту выслужу. А они меня за то продали, продали мене, як раба, на злую долю і на нещастя... Выгнали прочь? Добро! И пойду. Только сперва поклонюся за соль за хлеб, которые у них ел, по-казацки отплачу, потому как свою дорогу знаю.

— И куда пойдешь, если с князем задерешься? К Хмелю в войско?

— Ежели бы они мне девку отдали, стал бы я вам, ляхам, брат, стал бы друг, сабля ваша, душа ваша за клятая, ваш пес. Взял бы своих молодцев, еще бы других с Украйны кликнул, тай на Хмеля и на кровных братьев запорожцев пошел да копытами потоптал их. А потребовал бы за это что-нибудь? Нет! От взял бы дивчину и за Днепр подался, на божью степь, на дикие луга, на тихие воды — и мне бы того довольно было, а сейчас...

¹ Вооруженная сила, похищение девицы (лат.).

— Сейчас ты сбесился.

Атаман, ничего не ответив, стегнул нагайкой коня и помчался вперед, а пан Заглоба стал раздумывать над тем, в какие неприятности впутался. Было ясно, что Богун собирался на Курцевичей напасть, за обиду отомстить и увести девушку силой. И в этом предприятии пан Заглоба оказывался с ним заодно. На Украине такое случалось часто и частенько сходило с рук. Правда, если насильник не был шляхтичем, дело осложнялось и становилось небезопасным. Зато привести в исполнение приговор казаку бывало труднее; где его искать и ловить? Совершив преступление, сбегал он в дикие степи, куда не достигала рука человеческая, так что его только и видели, а когда начиналась война, когда нападали татары, преступник объявлялся, ибо закон в это время спал. Так мог уйти от ответа и Богун. Однако пану Заглобе никак не следовало помогать ему делом и брать на себя таким образом равную часть вины. Он бы не стал содействовать в любом случае, хоть Богун и был ему приятелем. Шляхтичу Заглобе не пристало вступать с казаком в сговор против шляхты, особенно еще и потому, что пана Скшетуского он знал лично и пил с ним. Пан Заглоба был баламут, и первейший, но смутьянство его имело границы. Гулять по чигиринским корчмам с Богуном и прочими казацкими старшинами, особенно за их деньги,— это пожалуйста; ввиду грозящего бунта, с этими людьми стоило водить дружбу. Однако пан Заглоба о своей шкуре, хотя местами и попорченной, беспокоился весьма и весьма — а тут вдруг оказывается, что из-за приятельства своего он влип в грязное дело, ибо яснее ясного было, что, если Богун похитит девушку, невесту княжеского поручика и любимца, то задержется с князем, а значит, не останется ему ничего другого, как бежать к Хмельницкому и примкнуть к смуте. На такое решение в умозаклчениях своих налагал пан Заглоба безусловное насчет своей особы veto¹, ибо присоединяться ради прекрасных глаз Богуна к мятежу намерений не имел, да и князя к тому же боялся как огня.

— Тьфу ты! — бормотал он. — Дьяволу я хвоста крутил, а он теперь башку мне открутит. Разрази гром этого атамана с девичьим ликом и татарской рукою! Вот я и приехал на свадьбу, чистая собачья свадьба, истинный бог! Провались же они, все Курцевичи со всеми барышнями! Мне что за дело до них?.. Мне-то смуты уже не надобны. Одному сбилось, другому не удалось! И за что? Я, что ли, жениться хочу? Пускай дьявол женится, мне-то что, мне-то зачем лезть в это дело? С Богуном пойду — Вишневецкий шкуру с меня сдерет, уйду от Богуна — холопы меня прибьют, да и сам он не побрезгует. Распоследнее дело с хамами водиться. Поделом же мне! Лучше уж конем быть, который подо мною, чем Заглобой. В шуты я казацкие попал, при

¹ veto, букв.: запрещаю (лат.).

сорвиголове кормился, и поэтому меня справедливо на обе стороны выпорют.

Размышляя этак, пан Заглоба весьма испотел и вовсе впал в дурное расположение духа. Зной стоял невыносимый, давно не ходивший под седлом конь бежал тяжело, к тому же седок был человеком корпулентным. Господи боже, чего бы он сейчас не дал, чтобы сидеть в холодке на постоялом дворе с кружкой холодного пива, чтобы не мотаться по жаре, мчась выжженной степью!

Хотя Богун и спешил, однако привал сделали, потому что жарко было страшно. Коням дали немного попасться, а Богун между тем совещался с есаулами, отдавая, как видно, приказания и объясняя, что кому надлежало делать, потому что до сей поры они понятия не имели, куда едут. До ушей Заглобы донеслись последние слова:

— Ждать выстрела.

— Добре, б а т ь к у!

Богун повернулся к нему:

— А ты поедешь со мной.

— Я? — сказал Заглоба, не скрывая досады. — Я ж тебя так люблю, что одну половинку души ради тебя уже выпотел, отчего же не выпотеть и другую? Мы же все равно как кунтуш с подкладкой, так что черти нас, похоже, и приберут разом, что мне совершенно безразлично, ибо даже в пекле, по-моему, жарче быть не может.

— Поехали.

— К чертовой бабушке.

Двинулись вперед, а за ними следом и казаки. Но те шли медленней, так что вскорости значительно отстали, а потом и вовсе исчезли из глаз.

Богун с Заглобой, оба призадумавшись, молча ехали рядом. Заглоба дергал ус, и видно было, что он усиленно работает мозгами, соображая, вероятно, как бы из всего этого выкрутиться. Временами он вполголоса что-то ворчал под нос или поглядывал на Богуну, на лице которого попеременно выражались то неукротимый гнев, то печаль.

«Просто диво,— размышлял Заглоба,— что этакий красавчик девку даже не смог заморочить. Правда, он казак, но ведь и рыцарь же знаменитый, и подполковник, которого рано или поздно, если только он к мятежникам не примкнет, дворянством пожалуют, что опять же только от него самого и зависит. И хоть пан Скшетуский — достойный кавалер и собою тоже хорош, но с этим пригоженьким атаманом красотой ему не сравниться. Ой, возьмут же они за чубы друг друга, когда повстречаются, ибо и тот, и другой забияки, каких мало!»

— Богун, а хорошо ли ты знаешь пана Скшетуского? — внезапно спросил Заглоба.

— Нет! — коротко ответил атаман.

— Крупный у тебя с ним разговор будет. Я однажды видел, как он Чаплинским дверь отворял. Голиаф это насчет питья. И битья тоже.

Атаман не ответил, и опять оба предались собственным мыслям и собственным огорчениям, вторя которым пан Заглоба время от времени бормотал: «Так-так, ничего не попишешь!» Прошло несколько часов. Солнце покатилося куда-то к Чигирину, на запад, с востока потянул холодный ветерок. Пан Заглоба снял рысью шапчонку, провел рукою по вспотевшей лысине и повторил еще раз:

— Так-так, ничего не попишешь!

Богун словно бы очнулся ото сна.

— Что ты сказал? — спросил он.

— Я говорю, что стемнеет скоро. Далече нам еще?

— Недалече.

Через час и в самом деле стемнело. К этому времени, однако, они уже въехали в лесистый яр, и, наконец, в дальнем просвете блеснул огонек.

— Разлоги! — внезапно сказал Богун.

— Так! Бррр! Знобит меня как-то в яру этом.

Богун остановил коня.

— Подожди! — сказал он.

Заглоба глянул на его лицо. Глаза атамана, имевшие свойство светиться в темноте, горели теперь, как факелы.

Оба долгое время неподвижно стояли у кромки леса. Наконец издалека донеслось лошадиное фырканье.

Это люди Богуна неспешно выезжали из лесу.

Есаул подъехал за распоряжениями. Богун что-то шепнул ему на ухо, после чего казаки опять остановились.

— Поехали! — сказал Богун Заглобе.

Спустя минуту темные контуры усадебных построек, сарай и колодезные журавли сделались видны их взорам. В усадьбе было тихо. Собаки не лаяли. Огромный золотой месяц висел над строениями. Из сада долетал запах цветущих вишен и яблонь, везде было так спокойно, ночь была такая чудная, что не хватало разве, чтобы чей-нибудь торбан зазвучал под окошком прекрасной княжны.

В некоторых окнах еще горел свет.

Оба всадника подъехали к воротам.

— Кто там? — окликнул их ночной сторож.

— Не узнаешь, Максим?

— Никак, ваша милость! Слава богу!

— На віки віків. Отворяй. А что у вас слышно?

— Все добром. Давно, ваша милость, в Разлогах не были.

Завизжали петли ворот, мост опустился надо рвом, и оба всадника въехали на майдан.

— А слушай-ка, Максим, не затворяй ворота и не поднимай мост, я тут же и уеду.

— Значит, ваша милость туда и обратно?

— Точно. Коней к коновязи привяжи.

ГЛАВА XVIII

Курцевичи не спали. Они вечеряли в тех самых увешанных оружием сенях, протянувшихся по всей ширине дома от майдана и до самого сада. Увидев Богуна и пана Заглобу, все вскочили. На лице княгини было заметно не только удивление, но также испуг и недовольство. Молодых князей было двое: Симеон и Миколай.

— Богун! — сказала княгиня. — Ты это к нам зачем?

— Заехал поклониться, м а т и. Может, не рады?

— Рада я тебе, рада, только приезду удивляюсь, ибо слышала, что ты в Чигирине за порядком приглядываешь. А кого же нам бог послал с тобой?

— Это пан Заглоба, шляхтич, мой друг.

— Рады вашей милости, — сказала княгиня.

— Мы рады, — вторили Симеон и Миколай.

— Сударыня! — ответил шляхтич. — Правда оно, что незваный гость хуже татарина, но известно также, что, если хочешь попасть в рай, путнику в крове не отказывай, алчущего накорми, жаждущего напои...

— Садитесь же, пейте-ешьте, — сказала старая княгиня. — Благодарствуем, что навестили. Однако ж, Богун, тебя-то я никак не ожидала... Разве что у тебя какое дело к нам есть?

— Может, и есть, — не спеша молвил атаман.

— Какое же? — беспокойно спросила княгиня.

— Своим часом обсудим. Дайте сперва передохнуть. Я же прямо из Чигирина.

— Видать, спешно тебе к нам было?

— Куда ж мне еще спешно может быть, если не к вам? А княжна-доня здорова ли?

— Здорова, — сухо ответила княгиня.

— Хотелось бы на нее взглянуть-порадоваться.

— Елена спит.

— Вот это жаль. Пробуду-то я недолго.

— Куда же ты едешь?

— Война, м а т и! Времени в обрез. Того и гляди, гетманы в дело пошлют, а запорожцев бить жалко. Разве мало мы хаживали с ними за добром турецким, правда, князюшки? — по морю плавали, хлебом-солью делились, пили да гуляли, а теперь вот враги сделались.

Княгиня быстро взглянула на Богуна. В голове ее мелькнула мысль, что Богун, может быть, решил пристать к мятежу и приехал подбить ее сыновей тоже.

- А ты как собираешься поступить? — спросила она.
- Я, матери? А что? Трудно своих бить, да придется.
- Так и мы рассуждаем, — сказал Симеон.
- Хмельницкий — изменник! — добавил молодой Миколай.
- На погибель изменникам! — сказал Богун.
- И пускай ими палач тешится! — закончил Заглоба.

Богун заговорил снова:

— Так оно всегда на свете было. Сегодня человек тебе приятель, завтра — иуда. Никому верить нельзя.

— Только добрым людям, — сказала княгиня.

— Это точно, — добрым людям верить можно. Потому-то я вам и верю и потому люблю вас, что вы люди добрые, невероломные...

Голос атамана звучал как-то странно, и на некоторое время воцарилась тишина. Пан Заглоба глядел на княгиню и моргал своим здоровым глазом, а княгиня глядела на Богуну.

Тот продолжал:

— Война людей не питает, а губит, поэтому до того, как воевать отправиться, я и решил вас повидать. Кто знает, вернусь ли, а вы ведь горевать по мне станете, вы ведь мне други сердечные... Разве не так?

— Конечно, так, истинный бог! С малых лет тебя знаем.

— Ты брат нам, — добавил Симеон.

— Вы князя, вы шляхта, а казаком не погнушались, в дому пригрели и доню-сродницу посулили, потому что поняли — нет без нее ни житья ни бытья казаку, вот и пожалели его.

— Не стоит про то и толковать, — поснешно сказала княгиня.

— Нет, матери, стоит про то толковать, ведь вы мои благодетели, а я попросил вот этого шляхтича, друга моего, чтобы меня сыном назвал и гербом облагородил, дабы не стыдно было вам родственницу казаку отдавать. На что пан Заглоба согласие дал, и оба мы будем испрашивать у сейма позволения тому, а после войны поклонюся я господину великому гетману, ко мне милостивому, и он поддержит: он вот и Кречовскому пожалованне ископотал.

— Помогай тебе бог, — сказала княгиня.

— Вы люди некриводушные, и я благодарен вам. Но прежде чем на войну идти, хотелось бы еще разок услышать, что доню мне отдадите и слова не нарушите. Шляхетское слово не дым, а вы же шляхта, вы князья.

Атаман говорил неторопливо и торжественно, но в словах его слышалась как бы угроза, как бы предупреждение, что надо соглашаться на все, чего он ни потребует.

Старая княгиня поглядела на сыновей, те — на нее, и некоторое время все молчали. Внезапно кречет, сидевший на шесте у стены, запищал, хотя до рассвета было еще долго, а за ним подали голоса и остальные птицы; громадный беркут проснулся,

встряхнул крылами и принялся каркать. Лучина, пылавшая в печном зеве, стала догорать. Сделалось темновато и уныло.

— Миколай, поправь огонь, — сказала княгиня.

Молодой князь подбросил лучины.

— Ну как? Обещаете? — спросил Богун.

— Надо Елену спросить.

— Пускай она говорит за себя, а вы за себя. Обещаете?

— Обещаем! — сказала княгиня.

— Обещаем! — повторили князья.

Богун внезапно встал и, обратившись к Заглобе, сказал громким голосом:

— Любезный Заглоба! Попроси и ты девку, может, тебе тоже пообещают.

— Ты что, казаче, пьян? — воскликнула княгиня.

Богун вместо ответа достал письмо Скшетугского и, повернувшись к Заглобе, сказал:

— Читай.

Заглоба взял письмо и в глухой тишине стал читать. Когда он закончил, Богун сложил на груди руки.

— Так кому же вы девку отдаете?

— Богун!

Голос атамана сделался похож на змеиный шип:

— Предатели, собаки, негодяи, иуды!..

— Гей, сынки, бери сабли! — крикнула княгиня.

Курцевичи разом бросились к стенам и похватили оружие.

— Милостивые государи! Спокойно! — закричал Заглоба.

Но прежде чем он договорил, Богун выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил.

— Иисусе! — охнул Симеон, шагнул вперед, начал бить руками по воздуху и тяжело упал наземь.

— Люди, на помощь! — отчаянно завопила княгиня.

Но в ту же секунду во дворе со стороны сада ударили еще выстрелы, двери и окна с грохотом распахнулись, и несколько десятков казаков ворвались в сени.

— На погибель! — загремели дикие голоса.

С майдана послышался тревожный колокол. Птицы в сенях беспорядочно заверещали, шум, пальба и крики нарушили недавнее безмолвие спящей усадьбы.

Старая княгиня, воя, точно волчица, бросилась на тело Симеона, дергавшееся в предсмертных судорогах, но сразу же два казака схватили ее за волосы и оттащили в сторону, а молодой Миколай тем временем, припертый в угол сеней, защищался с бешенством и лвиной отвагой.

— Прочь! — внезапно крикнул Богун окружившим княжича казакам. — Прочь! — повторил он громоподобным голосом.

Казаки расступились. Они решили, что атаман хочет сохранить молодому человеку жизнь. Однако Богун с саблей в руке сам бросился на Миколая.

Закипел страшный поединок, на который княгиня, разинув рот, глядела горящим взором, удерживаемая за волоса четырьмя железными руками. Молодой князь обрушился на казака как вихрь, а тот, медленно пятясь, вывел его на средину сеней. Внезапно он присел, отразил могучий удар и перешел из обороны в нападение.

Казаки, затаив дыхание, попускали сабли и, замерев, следили за схваткой.

В тишине были слышны только дыхание и сопение сражавшихся, скрип зубов да свист или резкий звон состукнувшихся клинков.

Какое-то время казалось, что атаман дрогнет перед громадной силой и натиском юноши, — он снова начал пятиться и отшатываться. Лицо его напряглось, словно бы от чрезмерных усилий. Миколай же удвоил удары, сабля его окружила казака непрерывными петлями молний, пыль поднялась с пола и заволокла противников, но сквозь клубы ее казаки заметили на лице атамана кровь.

Внезапно Богун отпрыгнул в сторону, и клинок Миколая угодил в пустоту. Миколай качнулся вслед промаху, подался вперед, и в ту же секунду казак так страшно полоснул его сзади по шее, что княжич рухнул, словно пораженный громом.

Радостные крики казаков смешались с нечеловеческим визгом княгини. Казалось, от визга этого рухнет бревенчатый потолок. Бой был закончен, казаки кинулись к оружию, висящему на стенах, и начали его сдирать, вырывая друг у друга драгоценные сабли и кинжалы, наступая на трупы князей и собственных товарищей, polegших от руки Миколая. Богун им не препятствовал. Он стоял, загородив дорогу к дверям, ведущим в покои Елены, и тяжело дышал от усталости. Лицо его было бледно и окровавлено, ибо клинок княжича дважды все же коснулся его головы. Взгляд атамана переходил с трупа Миколая на труп Симеона, а иногда падал и на посиневшее лицо княгини, которую молодцы, держа за волосы, прижимали коленями к полу, ибо она рвалась к телам детей своих.

Вопли и суматоха в сенях усиливались с каждой минутой. Казаки волокли на веревках челядь Курцевичей и безжалостно ее приканчивали. Пол был залит кровью, сени заполнились трупами, пороховым дымом, со стен было все содрано, и даже птиц перебили.

Внезапно двери, которые заслонял собою Богун, открылись настежь. Атаман повернулся и отшатнулся.

В дверях возник слепой Василь, а рядом с ним Елена, одетая в белую рубаху, бледная, как эта самая рубаха, с расширившимися от ужаса глазами и полуоткрытым ртом.

Василь держал в обеих руках на высоте лица крест. И в сумятице, царившей в сенях, рядом с трупами, с растекшейся по полу кровью княжичей, вблизи сверкавших сабель и бешеных

очей, на удивление торжественно выглядела его фигура, высокая, исхудалая, с седеющими волосами и черными провалами вместо глаз. Казалось, это призрак или труп, оставив могилу свою, грядет покарать злодейство.

Крики смолкли. Казаки в ужасе расступились. В тишине раздался спокойный, но горестный и стонающий голос Василия:

— Во имя отца и спаса, и духа, и святой-пречистой! Мужичи, идущие из дальних краев, грядете ли вы во имя божие? Ибо сказано: «Благословен муж в пути, который несет слово господа». А вы благу ли весть несете? Вы ли апостолы?

Мертвая тишина настала после слов Василия. Он же медленно повернулся с крестом в одну сторону, затем — в другую и продолжал:

— Горе вам, братья, ибо на веки будут прокляты корысти или мести ради войну начинающие... Помолимся же, дабы сподобиться милосердию. Горе вам, братья! Горе мне! О-о-о!

Сон вырвался из груди князя.

— Господи помилуй! — отозвались глухие голоса молодых, начавших в неописуемом страхе истошно креститься.

Вдруг раздался дикий, пронзительный крик княгини:

— Василь, Василь...

Голос ее был душераздирающ, словно последний вопль уходящей жизни. Молодцы, прижимавшие коленями старуху к полу, почувствовали вдруг, что она больше не пытается вырваться.

Василь вздрогнул, но тотчас же как бы отгородился крестом от отчаянного вопля и промолвил:

— Душа обреченная, зывающая из бездны, горе тебе!

— Господи помилуй, — повторили казаки.

— Ко мне, хлопцы! — закричал вдруг Богун и запатался. Подбежавшие казаки подхватили его под руки.

— Батьку! Ты раненый?

— Раненый! Но это пустяки! Крови много убежало. Гей, хлопцы, стеречь мне эту доню как зеницу ока... Дом окружить, никого не выпускать... Княжна моя...

Более он говорить не мог, губы его побелели, а глаза застлались пеленою.

— Перенести атамана в комнаты! — закричал пан Заглоба, появившийся вдруг из какого-то закутка и очутившийся рядом с Богунем. — Это пустое, это пустое, — сказал он, ощутив раны. — К завтраму здоровый будет. Я им сейчас займусь. Ну-ка намять мне хлеба с паутинной. Вы, хлопцы, убирайтесь отсюда к дьяволу, с девками в людской погуляйте, потому что вам тут делать нечего, а двое берите его и несите. Вот так. Валяйте же к чертовой матери, чего стали? А дом стеречь — я сам проверю.

Двое казаков понесли Богуну в соседнюю комнату, остальные из сеней ушли.

Заглоба подошел к Елене и, усиленно моргая глазом, сказал быстро и тихо:

— Я друг Скшетуского, не бойся. Уведи-ка этого пророка спать и ожидай меня.

Сказав это, он пошел в комнаты, где два есаула уложили Богуна на турецкую софу. Заглоба тут же послал их за хлебом и паутиной, а когда они принесли из людской и то и то, занялся перевязкой Богуновых ран со знанием дела, свойственным в те времена каждому шляхтичу, понаторевшему в склеивании голов, разбитых в поединках или на сеймиках.

— Скажите молодцам,— велел он есаулам,— что к утру атаман здоров как бык будет, так что пускай о нем не печалются. Достаться-то ему досталось, но сам он тоже красиво действовал и завтра его свадьба, хотя и без попа. Ежели в доме погребипки имеется, можете себе позволить. Вот уже ранки и перевязаны. Ступайте же! Атаману покой нужен.

Есаулы двинулись к двери.

— Только весь погреб не выпейте! — напутствовал их пан Заглоба.

И, усевшись в изголовье, внимательно взгляделся в атамана.

— Ну, черт тебя от этих ран не возьмет, хотя досталось тебе славно. Дня два рукой-ногой не шевельнешь,— бормотал он себе под нос, глядя на белое лицо и закрытые глаза казака. — Сабля у палача хлеб отбивать не стала, ибо ты — добыча палачова, и от него не отвертишься. А когда повесят тебя, сам сатана из твоей милости куколку для щенков своих сделает, потому что ты у нас пригожий. Нет, брат, пьешь ты славно, но со мною пить больше не будешь. Поищи себе компанию среди живодеров, ибо душегуб ты, как я погляжу, знатный, а я с тобою на шляхетские усадьбы по ночам нападать не собираюсь. Пускай же тебя палач тешит! Кат веселит!

Богун тихо застонал.

— Вот-вот, постони, поохай! Завтра не так заохашь. Ишь ведь, татарская душа, княжны ему захотелось! Ничего, конечно, удивительного нет — девка сдобная, но если ты ее надкусишь, то пускай мои мозги собакам достанутся. Скорей у меня волоса на ладонях вырастут, чем...

Гомон множества голосов долетел с майдана до слуха пана Заглобы.

— Ага, там, видать, до погребочка добрались,— буркнул он. — Насоситесь же, как слепни, чтобы вам слаще спать было, а я за вас всех посторожу, хотя не уверен, обрадуетесь ли вы этому завтра.

Сказав это, он отправился поглядеть, в самом ли деле молодцы поимели знакомство с княжеским погребом, и сперва прошел в сени. Сени выглядели страшно. По самой середине лежали уже окоченевшие тела Симеона и Миколая, труп княгини оставался в углу в том самом скрюченном сидячем положении, в каком прижимали ее к полу колени Богуновых молодцов.

Глаза жертвы были раскрыты, зубы оскалены. Огонь, горевший в печи, освещал сени тусклым светом, дрожавшим в лужах крови, все остальное сливалось с тьмою. Пан Заглоба подошел к княгине узнать, дышит ли она, и положил ей руку на лицо, но оно уже окоченело; затем он торопливо вышел на майдан, потому что оставаться в сенях было страшно. На майдане казаки уже начали гулянку. Были разложены костры, и в их отблесках увидел пан Заглоба бочки меда, вина и горелки с поотбитыми верхними доньями. Казаки зачерпывали из бочек, как из криницы, и жадно бражничали. Некоторые, уже разгоряченные вином, гонялись за дворовыми молодцами, из которых одни, охваченные страхом, отбивались или, не разбирая дороги, прыгая через огонь, убегали, другие же, среди визга и взрывов хохота, позволяли себя ловить и тянуть к бочкам или кострам, где уже плясали казачка. Молодцы точно одержимые пускались впрысядку, перед ними семеняли девицы, то наступая с ужимками на партнеров, то отступая перед внезапными наскоками плясунов. Зрители или колотили в жестяные кружки, или припевали. Крики «ух-ха!» звучали все громче, им вторил собачий лай, ржанье коней и мычанье волов, забиваемых для пира. Несколько поодаль кружком стояли крестьяне из Разлогов, підсусідки, во множестве прибежавшие из деревеньки на звуки выстрелов и крики, поглядеть, что происходит. Княжеское добро они защищать не собирались, ибо Курцевичей в деревне ненавидели, поэтому сбежавшиеся глазели на разгулявшихся казаков, подталкивали друг дружку, перешептывались и все ближе подбирались к бочкам с вином и медом. Гульба делалась все шумнее, пьянка набирала силу, молодцы уже не черпали жестянками из бочек, а прямо опускали туда головы по шею, пляшущих девок обливали водкой и медом, лица разгорались, от голов валил пар, коекто уже нетвердо держался на ногах. Пан Заглоба, выйдя на крыльцо, поглядел на гульбище, а затем стал внимательно разглядывать небо.

— Хороша погода, только темно! — буркнул он. — Луна зайдет, и тогда хоть в рожу бей...

Сказав это, пан Заглоба поспешно подошел к бочкам и напивавшимся молодцам.

— Пейте, хлопцы! — воскликнул он. — Гуляй дальше, пей не жалея. Лей-наливай! Зубы не сведет, не бойтесь. Кто за здоровье атамана не напьется, тот болван. Давай по бочкам! Давай по дочкам! Ух-ха!

— Ух-ха! — радостно завопили казаки.

Заглоба огляделся.

— Ах, вы разэтакие, стервецы, шелапуты, негодники! — закричал он вдруг. — Сами как лошади пьете, а караульным ничего? Ну-ка, сменить их, да поживее.

Приказ был незамедлительно исполнен, и в одно мгновение человек пятнадцать молодцев кинулись сменять часовых, до сих

пор в гулянке участия не принимавших. Те мигом прибежали, и рвение их было вполне понятно.

— Давай! Давай! — кричал Заглоба, указуя на полные бочки.

— Дяку єм, пане! — ответили прибежавшие, погружая жестянки.

— Через час чтобы опять сменили.

— Слушаюсь! — ответил есаул.

Казаки считали вполне естественным, что в отсутствие Богда команду принял пан Заглоба. Так случалось уже не однажды, и молодцы бывали этому рады, потому что шляхтич всегда им все позволял.

Стража шла вместе с прочими, а пан Заглоба вступил в разговор с местными.

— Мужик, — вопрошал он старого підсусідка, — а далеко ли отсюда до Лубен?

— Ой, далеко, пане! — ответил мужик.

— К рассвету можно добраться?

— Ой, не можно, пане!

— А к обеду?

— К обеду оно можно.

— А в которую сторону ехать?

— Прямо до большой дороги.

— Значит, есть и большая дорога?

— Князь Ярема велел, чтоб была, она и есть.

Пан Заглоба намеренно разговаривал во весь голос, чтобы в окружающем гапе как можно больше народу могли его услышать.

— Дайте же и этим горелки, — велел он молодцам, указывая на мужиков, — однако сперва дайте меду мне, а то холодно.

Один из казаков зачерпнул мед гарнцевой жестянкой и на шапке поднес ее пану Заглобе.

Шляхтич осторожно, чтобы не расплескать, взял кружку обеими руками, поднял к усам и, откинув голову, стал пить медленно, но без передыху.

Он пил и пил, так что молодцы начали даже удивляться.

— Бачив ти? — шептали они друг другу. — Трясця його побей!

Голова пана Заглобы медленно откидывалась назад, наконец откинулась вовсе, он оторвал от побагровевшего лица кружку, выпятил губу, поднял брови и сказал, словно обращаясь к самому себе:

— Во! Весьма недурен — выдержанный. Сразу видно, что недурен. Жаль такой мед на ваши хамские глотки тратить. Довольно для вас и барды было бы. Крепкий мед, крепкий! Чувствительно мне полегчало, и даже утешился я, прямо скажем.

И в самом деле, пану Заглобе полегчало, голова сделалась ясной, дух приободрился, и видно было, что кровь его,

приправленная медом, сотворила отборный состав, о котором он говорил и от которого всему телу сообщается мужество и отвага.

Он махнул казакам, чтобы продолжали, и, поворотившись, неспешно обошел все подворье, внимательно оглядел все углы, перешел по мосту ров и прошелся вдоль частокола, проверяя, хорошо ли караульные сторожат усадьбу.

Первый караульщик спал; второй, третий и четвертый тоже.

Они и без того устали с дороги, так что, заступив во хмелю на пост, сразу же позасыпали.

— Можно бы даже кого из них выкрасть, чтобы человека для услужения иметь, — буркнул пан Заглоба.

Сказав это, он вернулся на подворье, снова вошел в зловещие сени, заглянул к Богуно и, удостоверившись, что атаман не подает никаких признаков жизни, подошел к дверям Елены, отворил их тихонько и вошел в комнату, из которой слышна была словно бы тихая молитва.

Это была комната князя Василя; Елена, однако, была с ним, потому что возле князя чувствовала себя в большей безопасности. Слепой стоял на коленях перед освещенным лампадкой образом святой-пречистой, Елена — рядом; оба вслух молились. Заметив Заглобу, она обратила к нему испуганные очи. Заглоба приложил палец к губам.

— Барышня-панна! — сказал он. — Я друг Скшетуского.

— Спаси! — прошептала Елена.

— Затем сюда и пришел. Положись на меня.

— Что я должна делать?

— Надо бежать, пока этот дьявол в беспамятстве.

— Что я должна делать?

— Оденься в мужское платье и выйди, когда постучусь.

Елена заколебалась. Сомнение мелькнуло в ее зоре.

— Могу ли я довериться вашей милости?

— А что тебе остается?

— Верно. Это верно. Но поклянись же, что не обманешь.

— Умом ты, барышня-панна, повредила! Однако если желаешь, поклянусь. Вот те господь и святой крест! Здесь — погибель, спасение же в бегстве.

— Это правда, это правда.

— Переоденься побыстрее в мужское платье и жди.

— А Василь?

— Какой Василь?

— Брат мой безумный, — сказала Елена.

— Тебе гибель грозит, не ему, — ответил Заглоба. — Ежели он безумный, так он для казаков святой. Мне показалось, они его пророком считают.

— Верно. И перед Богуном на нем вины нету.

— Придется его оставить, иначе мы погибли, а пан Скшетуский вместе с нами. Поторопись, барышня-панна.

С этими словами пан Заглоба вышел и направился прямо к Богуну.

Атаман был бледен и слаб, глаза его, однако, были открыты.
— Лучше тебе? — спросил Заглоба.

Богун хотел что-то сказать, но не смог.

— Говорить не можешь?

Богун шевельнул было головой, подтверждая, что не может, но на лице его тотчас появилось страдание. Как видно, раны от движения заболели.

— Значит, ты и крикнуть не сможешь?

Богун взглядом подтвердил, что не сможет.

— И шевельнуться тоже?

Тот же самый знак.

— Оно и лучше, потому как не будешь ни говорить, ни кричать, ни шевелиться, пока я с княжною в Лубны ускачу. Ежели я ее у тебя не уведу, пускай меня старая баба в ручном жернове на коровью крупу смелет. Ты что, ракалия, полагаешь, что с меня не довольно твоей компании, что я и дальше буду челомакаться с хамом? Ах, негодяй! Ты, значит, думал, что за-ради твоего вина, твоей рожки и твоих мужицких амуров я на убийство пойду и к бунтовщикам с тобою перекинусь? Нет, не бывать этому, красавец!

По мере того как пан Заглоба витийствовал, черные глаза атамана расширялись все больше и больше. Снилось ли ему это? Или происходило наяву? Или пан Заглоба валял дурака?

А пан Заглоба продолжал:

— Чего ты бельмы, как кот на сало, вылупил? Думаешь, я шучу? Может, прикажешь в Лубнах кому поклониться? Может, тебе отсюда лекаря прислать? А может, заплечного мастера у князя, нашего господина, заказать?

Бледное лицо атамана сделалось страшно. Он понял, что Заглоба не шутит, и в очах его сверкнули молнии отчаяния и бешенства, а кровь прихлынула к щекам. Нечеловеческим усилием казак привстал, и с уст его сорвался крик:

— Гей, есаул...

Но не докончил, ибо пан Заглоба мигом схватил его же собственный жупан и обмотал ему голову, после чего опрокинул атамана навзничь.

— Не кричи, тебе вредно,— тихо приговаривал он, тяжело сопя.— Не то завтра голова разболится, а я, как добрый друг, о тебе радею. Уж будет тебе и тепло, и уснешь сладко, и глотку не надорвешь. А чтобы повязочки не сорвал, я тебе и ручки свяжу, а все *per amicitiam*¹, чтобы добром меня вспоминал.

Сказавши это, он обкрутил кушаком руки казака и затянул узел, другим кушаком, своим собственным, он связал ему ноги. Атаман уже ничего не чувствовал, потому что потерял сознание.

¹ дружбы ради (лат.).

— Больному полагается лежать спокойно, — бормотал Заглоба, — и чтобы глупости ему в голову не приходили, не то delirium¹ начаться может. Ну, выздоравливай. Мог бы я тебя, конечно, и ножом пырнуть, что, вероятно, для меня было бы и лучше, да только стыдно мне мужицким манером действовать. Другое дело, если ты сам к утру сомлеешь, ибо такое не с одной уже свиньей случалось. Будь же здоров. Vale et me amantem redama². Может, еще когда и встретимся, но, ежели я буду искать этой встречи, пускай с меня шкуру спустят и подхвостники из нее нарежут.

После этих слов пан Заглоба вышел из сеней, пригасил огонь в печи и постучался в комнату Василия.

Стройная фигура тотчас же выскользнула из двери.

— Это ты, любезная барышня?

— Я.

— Пошли же, нам бы только к лошадям пробраться. Все перепились, ночь темная. Когда проснутся, мы уже далеко будем. Осторожно, тут князья лежат!

— Во имя отца, и сына, и святого духа, — прошептала Елена.

ГЛАВА XIX

Два всадника неторопливо и тихо пробирались через лесистый яр, примыкавший к разложской усадьбе. Ночь сделалась совсем темна, ибо месяц давно зашел, а горизонт вдобавок затянулся тучами. В яру на три шага ничего нельзя было разглядеть, так что лошади то и дело спотыкались о протянувшиеся поперек дороги корни деревьев. Довольно долго всадники ехали с величайшей осторожностью, и, лишь когда показалась в прозоре лощины открытая степь, едва освещенная тусклым отсветом туч, один из ездоков шепнул:

— Вперед!

Они полетели, точно две стрелы, пущенные из татарских луков, оставляя за собою глухой конский топот. Одинокие дубы, тут и там стоявшие у дороги, мелькали точно призраки, а они мчались и мчались без отдыха и роздыха, пока лошади не прижали уши и не начали всхрапывать от усталости, скача все тяжелее и медленней.

— Ничего не поделаешь, придется коней придержать, — сказал всадник, который был потолще.

А тут уже и рассвет вспугнул непроглядную ночь, из тьмы стали вырисовываться обширные пространства, бледно обозначились степные бодяки, отдаленные деревья, курганы — в воздух

¹ бред (лат.).

² Прощай и на любовь мою любовью отвечай (лат.).

просачивалось все больше и больше света. Серые отсветы легли и на лица всадников.

Это были пан Заглоба с Еленой.

— Ничего не поделаешь, придется коней придержать, — повторил пан Заглоба. — Вчера они прошли из Чигирина в Разлоги без передыху. А лошади, они так долго не протянут, и дай бог, чтоб не пали. А ты как, любезная барышня, себя чувствуешь?

Тут пан Заглоба поглядел на свою спутницу и, не ожидая ответа, воскликнул:

— Позволь же, любезная барышня, при свете дня на тебя поглядеть. Хо-хо! Это что же, братвина одежда? Ничего не скажешь, ладный из тебя, любезная барышня, казачок. У меня такого пажика, сколько живу, еще не бывало. Да только наверняка пан Скшетуский его у меня отнимет. А это что такое? О господи, спрячь же, любезная барышня, волоса, а то касательно твоего женского звания никто не ошибется.

И в самом деле, по плечам Елены спадали волны черных волос, распустившихся от быстрой скачки и ночной сырости.

— Куда мы едем? — спросила она, подбирая волосы обеими руками и пытаясь зачихнуть их под шапку.

— Куда глаза глядят.

— Не в Лубны, значит?

Лицо Елены стало тревожно, а в быстром взгляде, обращенном к Заглобе, заметно было разбуженное вновь недоверие.

— Видишь ли, барышня-панна, есть у меня свой расчет, и положишься в этом деле на меня. А расчет мой на вот какой мудрой максиме основан: не удирай в ту сторону, в какую за тобой погонятся. Так что ежели за нами в эту минуту гонятся, то в сторону Лубен, потому что вчера я во всеуслышание о дороге расспрашивал и Богуну на прощанье сообщил, что мы собираемся бежать туда. Ergo: бежим в Черкассы. Если же нашу хитрость раскроют, то лишь тогда, когда удостоверятся, что нас на лубенской дороге нету, а на это дня два потеряют. Мы же тем временем окажемся в Черкассах, где сейчас стоят польские хорутви панов Пивницкого и Рудомины. А в Корсуне — все гетманское войско. Поняла, любезная барышня?

— Поняла и, сколько жить буду, вашей милости буду благодарна. Не знаю я, кто ты и как попал в Разлоги, но полагаю, что господь мне в защиту и во спасение тебя послал, ведь я скорее бы зарезалась, чем предалась в руки душегубу этому.

— Аспид он, на невинность твою, барышня, весьма распалившийся.

— Что я ему, несчастная, сделала? За что он меня преследует? Я же его давно знаю и давно ненавижу, и всегда он во мне только страх вызывал. Разве одна я на свете, что он не отстает от меня, что столько крови из-за меня пролил, что братьев моих поубивал?.. Господи, как вспомню, холодею вся. Что делать? Куда спрятаться от него? Ты, сударь, не удивляйся жалобам

этим, ведь я несчастна, ведь я стыжусь его домогательств, ведь мне смерть во сто раз милее.

Щеки Елены запылали, и по ним от гнева, презрения и горя скатились две слезы.

— Чего и говорить, — сказал пан Заглоба, — великая беда пала на ваш дом, но позволь, любезная барышня, заметить, что родичи твои отчасти сами в том виноваты. Не следовало казаку руки твоей обещать, а потом его обманывать, что, обнаружившись, так его рассердило, что никакие увещевания мои нисколько не помогли. Жаль тоже и мне братьев твоих убитых: особенно младшего, он хоть и малец почти, а сразу было видать, что из него знаменитый кавалер бы вышел.

Елена расплакалась.

— Не приставай слезы той одежонке, которую ты, любезная барышня, сейчас носишь, так что утри их и скажи себе: на все, мол, воля божья. Господь и покарает убийцу, который без того уже наказан, ибо кровь-то пролил, а барышню-панну, единственную и главную цель страстей своих, потерял.

Тут пан Заглоба умолк, но через малое время сказал:

— Ох и дал бы он мне жару, попадись я ему в лапы! На шагрень бы шкуру мою выделал. Ты ведь не знаешь, барышня-панна, что я в Галате уже от турок муки принял, так что с меня довольно. Других не жажду, и потому не в Лубны, но в Черкассы поспеваю. Оно бы, конечно, хорошо у князя спрятаться. А если догонят? Слыхала, Богунюв казачок проснулся, когда я коней отвязывал? А если он тревогу поднял? Тогда они сразу бы в погоню кинулись и нас бы через час поймали, у них там княжеские лошади свежие, а у меня времени не было выбирать. Он же — бестия дикая, этот Богун, уж ты мне поверь, барышня-панна, и так мне опротивел, что я дьявола бы скорее предпочел увидеть, чем его.

— Боже сохрани к нему попасть.

— Сам ведь он себя погубил. Чигирин, нарушив гетманский приказ, бросил, с князем-воеводой русским задрался. И остается ему идти к Хмельницкому. Да только он присмирееет, если Хмельницкого побьют, что, между прочим, могло уже быть. Редзян за Кременчугом войска встретил, плывущие под Барабашем и Кречовским на Хмеля, а вдобавок пан Стефан Потоцкий по суше с гусарами шел, но Редзян в Кременчуге десять дней, пока чайку чинили, просидел, так что, покамест он до Чигирина довлекся, сражение, надо думать, состоялось. Мы новостей с минуты на минуту ждали.

— Значит, Редзян из Кудака письма вез? — спросила Елена.

— Точно. От пана Скшетуского к княгине и к тебе, но Богун их перехватил и, про все из них узнав, тут же Редзяна порубал и поскакал мстить Курцевичам.

— О, несчастный юноша! Из-за меня он кровь свою пролил!

— Не горюй, барышня-панна. Выздоровеет.

— Когда же это было?

— Вчера утром. Богуну человека убить — все равно что другому чару вина опрокинуть. А рычал он, когда письма прочитал, так, что весь Чигирин трясло.

Разговор на какое-то время оборвался. Между тем совсем развиднелось. Розовая заря, окаймленная светлым золотом, опалами и пурпуром, горела на восточной стороне небес. Воздух был свежий, бодрящий, кони стали весело фыркать.

— Ну-ка, прищипорим с богом, и понеслись! Лошадки отдохнули, и времени терять нельзя, — сказал пан Заглоба.

Они снова пустились вскачь и без передышки промчались полмили. Внезапно впереди показалась непонятная темная точка, приближавшаяся с небывалой скоростью.

— Что это может быть? — молвил пан Заглоба. — Придержи-ка своего. Верховой вроде бы.

И в самом деле, во весь опор приближался какой-то всадник; скрючившись в седле, склонив лицо к конской гриве, он подхлестывал нагайкой своего жеребца, который и так, казалось, летел, не касаясь земли.

— Что ж это за дьявол и почему он так несется? Ну и прыть! — сказал пан Заглоба, доставая из седельной кобуры пистолет, чтобы на всякий случай быть готовым ко всему.

Между тем бешеный ездок был уже шагах в тридцати.

— Стой! — гаркнул пан Заглоба, наводя пистолет. — Ты кто таков?

Всадник на всем скаку осадил коня, выпрямился и, подняв глаза, тут же закричал:

— Пан Заглоба!

— Плесневский, слуга чигиринского старосты? А ты зачем здесь? Куда несешься?

— Ваша милость! Поворачивай и ты за мною! Беда! Гнев божий, суд божий!

— Что случилось? Что такое?

— Чигирин запорожцы заняли. Холопы шляхту режут. Кара божья!

— Во имя отца и сына! Что ты говоришь... Хмельницкий?

— Пан Потоцкий убит, пан Чарнецкий в плену. Татары с казаками идут. Тугай-бей!

— А Барабаш и Кречовский?

— Барабаш погиб. Кречовский к Хмельницкому перебежался. Кривонос еще вчера ночью двинулся на гетманов. Хмельницкий — сегодня засветло. Сила страшная. Край в огне, мужичье повсюду бунтует, кровь льется! Беги, милостивый государь!

Пан Заглоба вылупил глаза, разинул рот и таково был орошен, что слова не мог вымолвить.

— Беги, милостивый государь! — повторил Плесневский.

— Иисусе! — охнул пан Заглоба.

— Иисусе Христе! — вторила Елена, разрыдавшись,

- Бегите, время не ждет.
- Куда? Куда же?
- В Лубны.
- А ты туда?
- Туда, конечно. Ко князю-воеводе.
- Пропади же оно все пропадом! — воскликнул пан Заглоба. — А гетманы где же?
- Под Корсунем. Но Кривонос уже наверняка схватился с ними.
- Кривонос или Прямонос, холера ему в бок! Значит, нам смысла нету ехать?
- Ко льву в пасть, ваша милость, на погибель прешь.
- А кто тебя в Лубны послал? Господин твой?
- Господина моего прикончили, а мне мой кум, который сейчас с запорожцами, жизнь спас и помог бежать. В Лубны же я по собственному разумению еду, ибо не знаю, где еще спрятаться можно.
- В Разлоги не езжай, там Богун. Он тоже в бунтовщики собирается!
- О боже мой! Боже мой! В Чигирине говорят, что вот-вот и на Заднепровье мужичье поднимется!
- Очень может быть! Очень может быть! Поезжай же, куда тебе нравится, а с меня довольно и о своей шкуре думать.
- Так я и сделаю! — сказал Плесневский и, стегнув коня нагайкой, тронул с места.
- Да от Разлогов держись подальше, — крикнул ему вслед Заглоба. — А если Богун встретит, не говори, что меня видал, слышишь?
- Слышу! — отозвался Плесневский. — С богом!
- И помчался, словно бы от погони.
- Ну! — сказал пан Заглоба. — Вот тебе и здрастье! Выкручивался я из разных переделок, но в таковых еще не бывал. Впереди — Хмельницкий, позади — Богун, и если оно на самом деле так, то я гроша ломаного не дам ни за свой перед, ни за свой тыл, ни за всю свою шкуру. Похоже, я дурака сваял, в Лубны с тобою, барышня, не поскакав, но сейчас поздно сожалеть об этом. Тыфу ты! Все мои мозги не стоят теперь того, чтобы ими сапоги смазывать. Что же делать? Куда податься? Во всей Речи Посполитой нету, видать, угла, где человек своею, не дареною смертью мог бы преставиться. Спасибочки за такие подарки; пускай их другим дарят!
- Ваша милость! — сказала Елена. — Два моих брата, Юр и Федор, в Золотоноше, может, от них будет нам какое спасение?
- В Золотоноше? Погоди-ка, барышня-панна! Познакомился и я в Чигирине с паном Унерицким, у которого под Золотоношею имения Кропивна и Чернобай. Но это отсюда далековато. Дальше, чем Черкассы. Что же делать?.. Если больше некуда, бежим туда. Только с большой дороги надо съехать: степью да лесами

пробираться безопаснее. Ежели бы хоть на недельку этак за-таиться где-нибудь, в лесах каких-нибудь, может, гетманы за это время покончили бы с Хмельницким и на Украине поспокойней стало бы...

— Не для того господь нас из рук Богуновых спас, чтоб дать погибнуть. Уповай, ваша милость, сударь.

— Постой, любезная барышня. Снова во мне вроде бы дух крепнет. Бывали мы в разных переделках! Как-нибудь расскажу тебе, барышня-панна, про бывшее со мною в Галате приключение, из чего ты сразу выведешь, что и тогда дело дрянь было, а поди-ка же, собственным умом я той опасности избежал и цел остался, хотя борода моя, как можно видеть, поседела. Однако нам надо съехать с дороги. Сворачивай, барышня-панна... Вот так. А ты верхом, как умелый казачок, едешь! Трава высокая, ничей глаз сроду нас не заметит.

И действительно, трава, по мере того как они углублялись в степь, становилась все выше, и в конце концов всадники вовсе в ней утонули. Однако лошадям в сплошной мешанине тонких и толстых стеблей, порою острых и ранящих, идти было нелегко. Поэтому они вскоре утомились и встали.

— Ежели мы хотим, чтобы эти лошаденки послужили нам и дальше,— сказал пан Заглоба,— придется слезть и расседлать их. Пускай поваяются и попасутся, иначе толку не будет. Я так понимаю, скоро до Кагамлыка доберемся. По мне, чем скорее, тем милее,— лучше очерета ничего не найти, если спрятаться в нем, дьявол и тот не сыщет. Только бы нам не заблудиться.

Сказавши это, пан Заглоба спешился и помог спешиться Елене, затем стал снимать арчаки и доставать еду, каковою предусмотрительно в Разлогах запаса.

— Надо подкрепиться,— сказал он. — Дорога неблизкая. Дай же, барышня-панна, какой-нибудь обет святому Рафаилу, чтобы нам ее счастливо проделать. А в Золотоноше имеется старая крепостца, возможно, и с гарнизоном. Плесневский сказал, что мужичье и на Заднепровье поднимается. Гм! Оно не исключено, скор тут повсюду народ бунтовать, но на Заднепровье покоится десница князя-воеводы, а чертовски тяжка десница эта! Здорова у Богуна шея, но ежели эта десница на нее ляжет, то к самой земле притиснет; оно дай боже, аминь. Кушай, барышня-панна.

Пан Заглоба достал из-за голенища ножик с вилкой и подал их Елене, затем разложил перед нею на чепраке жареную говядину и хлеб.

— Ешь, барышня-панна,— сказал он. — В брюхе пусто — в башке горох-капуста... Съел говяядо — в голове как надо. Дали мы с тобою, конечно, маху: правильной было в Лубны удирать, но дела не поправишь. Князь, верно, с войском тоже за Днепр двинется помогать гетманам. Страшных времен мы дождались, ибо гражданская война изо всего плохого — самое наихудшее. Уголка

не найдется для мирных людей. Лучше мне было в ксендзы идти, к чему я призвание имел, ибо человек спокойный и воздержанный, да фортуна иначе распорядилась. Господи, господи! Был бы я теперь краковским каноником и распевал бы часы на почетном седалище во храме, потому как голос у меня весьма приятный. Да что из того! С молодых лет очень мне женский пол нравился. Хо-хо! Не поверишь, барышня-панна, каков я был красавчик. Бывало, погляжу на какую, и она как громом пораженная. Мне бы годков двадцать скинуть, плохи были бы у нана Скшетуского дела. Очень ладный из тебя, любезная барышня, казачок. И неудивительно, что парни за тобой увиваются и друг дружку из-за тебя за горло берут. Пан Скшетуский тоже забияка, каких мало. Видал я, как Чаплинский ему дал повод, а он хоть и подпил малость, но как схватит его за шиворот и — прошу прощения — за штаны, как саданет им в дверь! Так, скажу я тебе, барышня-панна, у того все кости из вертлюгов повыскакивали. Старый Зацвилюховский тоже мне о суженом твоём говорил, что первейший он рыцарь, князю-воеводе любезный, да и сам я с первого взгляда понял, что жолнер он достоинства не последнего и не по годам понаторевший. Жарко, однако, становится. Хоть и приятна мне твоя, барышня-панна, компания, но я бы не знаю что отдал, лишь бы нам уже в Золотоноше оказаться. Как видно, придется днем в травах отсиживаться, а по ночам ехать. Не знаю вот только, выдержишь ли ты тяготы такие?

— Я здорова и все выдержу. Поехали хоть сейчас.

— Совсем не женская в тебе, барышня-панна, повадка. Коня уже повалялись, так что я их поседлаю сейчас, чтобы готовы на всякий случай были. Пока кагамлыцких очерегов и зарослей не увижу, себя в безопасности не почувствую. Не съезжай мы с дороги, можно было ближе к Чигирину на реку выехать, но здесь от большой дороги до воды, пожалуй, оно с милю будет. Сразу же на другой берег и переправимся. До чего же, однако, мне спать охота. Вчера ночь целую прокуролесили мы в Чигирине, вчерашний день лихо меня в Разлоги с казаком несло, а нынешней ночью снова из Разлогов уносят. Спать хочется так, что я даже разговаривать потерял охоту, и хотя молчать не в моем обычае, ибо философы утверждают, что кот обязан быть ловный, а кавалер многословный, однако сдается мне, что язык мой вроде бы обленился. Поэтому прошу прощения, если вздремну.

— Не за что! — сказала Елена.

Пан Заглоба, говоря по совести, напрасно обвинял язык свой в лени, ибо с рассвета молот им без устали. Но спать ему и вправду хотелось. Так что, едва они снова сели на лошадей, он тут же стал посапывать и носом поклевывать, а в конце концов и вовсе уснул. Сморили его усталость и шум трав, раздвигаемых копытными грудями. Елена же предалась мыслям, посив-

шимся в голове ее, как стайка птиц. До этой минуты события так быстро сменялись, что девушка даже и не успела осознать всего того, что с нею произошло. Нападение, жуткие картины убийства, отчаяние, неожиданное спасение и бегство — все это вихрем пронеслось за одну ночь. А при всем том сколько непонятного! Кто был ее спаситель? Он, правда, назвал свое имя, но имя само по себе нисколько не объясняло его поступка. Откуда он взялся в Разлогах? Он сказал, что приехал с Богуном, а значит, водил с ним компанию, был его знакомым, его другом. Но зачем тогда было ее спасать, подвергая себя величайшей опасности и страшной мести казака? Чтобы понять это, надо было хорошо знать пана Заглобу с его беспутной головой и добрым сердцем. Елена же знала его всего-навсего часов шесть. И этот незнакомец с бессовестной рожей буяна и пьяницы стал ее спасителем. Повстречай она его дня три назад, Заглоба вызвал бы в ней неприязнь и подозрение, а сейчас Елена глядит на него, как на своего доброго ангела, и даже с ним бежит, — но куда? В Золотоношу или куда-то еще, сама даже толком не знает. Какая перемена судьбы! Вчера еще Елена ложилась спать под мирным родным кровом, сегодня — она в степи, верхом, в мужском платье, без крова и без приюта. Позади страшный атаман, посягающий на ее честь, на ее любовь, впереди пламя крестьянского мятежа, братоубийственная война со всеми превратностями, тревогами и ужасами. И вся надежда на этого человека? Нет! Еще на кого-то, кто могущественнее насильников, войн, смертей, зверств и пожаров.

Тут девушка вознесла очи к небесам:

— Спаси же меня, боже великий и милосердный! Спаси сироту, спаси несчастную, спаси заблудшую! Да будет воля твоя, но да свершится и милосердие твое!

А ведь милосердие уже совершилось, ибо, вырванная из нагнуснейших рук, она упасена непостижимым божьим чудом. Опасность еще не миновала, но избавление, возможно, близко. Кто знает, где теперь тот, избранник ее сердца. Из Сечи он, должно быть, уже возвратился, возможно даже, он сейчас где-нибудь в этой самой степи. Он будет искать ее и найдет, и тогда радостью сменятся слезы, весельем — печаль, опасения и тревоги прекратятся раз и навсегда — наступит успокоение и благодать. Отважное бесхитрое сердце девушки исполнилось надежды, а степь окрест сладко шумела, а ветерок, колебавший травы, навевал заодно и ей сладкие мысли. Не такая уж она сирота на белом свете, если рядом некий странный безвестный покровитель, а другой — известный и любимый, о ней позаботится, не оставит, приголубит на всю жизнь. А уж он-то человек железный и куда сильнее и доблестнее тех, кто зарится на нее сейчас.

Степь тихо шумела, цветы издавали сильные дурманные запахи, красные головки чертополоха, пурпурные кисточки очитка, белые жемчужины синеголовника и перья полыни склонялись к

ней, словно бы в ряженом этом казачке с длинными косами, с лицом белей молока и алыми устами узнавали сестрицу-дивчину. Они склонялись к ней и словно бы хотели сказать: «Не плачь, краснодиво, мы, как и ты, божьи!» Степь словно бы умиротворяла и успокаивала девушку, картины убийств и погони куда-то исчезли, ее охватила некая сладостная слабость, и сон стал смежать ей веки. Лошади шли неспешно, езда укачивала, и она уснула.

ГЛАВА XX

Разбудил ее лай собак. Открыв глаза, увидела она далеко впереди огромный тенистый дуб, двор и колодезный журавль. Елена тотчас же стала будить своего спутника.

— Ваша милость, проснись! Проснись, сударь!

Заглоба разлепил глаза.

— Что такое? Куда это мы приехали?

— Не знаю.

— Погоди-ка, барышня-панна. Это казацкий зимовник.

— Так и мне кажется.

— Тут, верно, чабаны живут. Не самая приятная компания. Чего эти псы, чтоб их волки сожрали, заходятся! Вон и кони с людьми у хаты. Делать нечего, едем к ним, а то, если объедем, за нами погонятся. Ты тоже, видать, вздремнула.

— Немножко.

— Один, два, три... четыре коня оседланных. Значит, там четыре человека. Сила невеликая. Точно! Это чабаны. Разговаривают о чем-то. Гей, люди, а давайте-ка сюда!

Четверо казаков сразу же подъехали. Это и в самом деле были чабаны при конях, или табунщики, присматривавшие летом в степях за табунами. Пан Заглоба тотчас отметил, что только один из них при сабле и пищали, остальные же трое были вооружены палками с привязанными к концам конскими челюстями; однако он знал, что такие табунщики бывают людьми дикими и для дорожных опасными.

И точно, подъехав, все четверо исподлобья воззрились на прибывших. На их коричневых лицах не было и признаков радушия.

— Чего надо? — спросил один, причем никто не снял шапки.

— Слава богу, — сказал пан Заглоба.

— На вікі віків. Чего надо?

— А далеко до Сыроватой?

— Не знаємо ніякої Сыроватой.

— А зимовник этот как зовется?

— Гусла.

— Напоите-ка коней.

— Нету воды, высохла. А откуда вы едете?

— От Кривой Руды.

— А куда?

— В Чигирин.

Чабаны переглянулись.

Один из них, черный как жук и косоглазый, уставился на пана Заглобу и, помолчав, сказал:

— А зачем с большака съехали?

— А там жарко очень.

Косоглазый положил руку на повод пана Заглобы.

— Слазь, панок, с коня. Незачем тебе в Чигирин ехать.

— А это почему бы? — спокойно спросил пан Заглоба.

— А видишь ты вот этого молодца? — спросил косоглазый, указывая на одного из товарищей.

— Вижу.

— Он из Чигирина приїхав. Там ляхів ріжуть.

— А знаешь ли ты, мужик, кто за нами в Чигирин следует?

— Хто такий?

— Князь Ярема!

Наглые лица чабанов во мгновение стали смиренными. Все, точно по команде, снимали шапки.

— А знаете ли вы, хамы, — продолжал пан Заглоба, — что делают ляхи с теми, которые ріжуть. Они их вішають. А знаете ли, сколько князь Ярема войска ведет? А знаете ли, что он уже в полумиле отсюда? Ну так как, собачьи души? Хвосты поджали? Вот как вы нас приняли! Колодец у вас высох? Коней поить воды нету? А, стервецы! А, кобыльи дети! Я вам задам!

— Не сердитесь, пане! Колодец пересох. Мы сами к Кагамлыку ездим поить и воду для себя носим!

— А, прохвосты!

— Простіть, пане. Колодец пересох. Велите, так сбегаем за водой.

— Без вас обойдусь, сам со слугою поеду. Где тут Кагамлык? — спросил он грозно.

— От, две мили отсюда! — сказал косоглазый, указывая на череду зарослей.

— А на дороге этим путем ворочаться или по берегу доеду?

— Доедете, пане. В миле отсюда река к дороге сворачивает.

— Эй, слуга, ну-ка давай вперед! — сказал пан Заглоба, обращаясь к Елене.

Мнимый слуга поворотил коня на месте и мигом ускакал.

— Слушать меня! — сказал Заглоба мужикам. — Ежели сюда разъезд придет, сказать, что я берегом на большак поехал.

— Добре, пане.

Через четверть часа Заглоба опять ехал рядом с Еленой.

— Вовремя я им князя-воеводу выдумал, — сказал он, прищурив глаз, закрытый бельмом. — Теперь они целый день сидеть будут и разъезда ждать. От одного тролько княжеского имени у них дрыготня началась.

— Ваша милость таково быстро соображает, что изо всякой переделки выпутаться сумеет,— сказала Елена. — И я бога благодарю, что послал мне такого опекуна.

Шляхтичу эти слова пришлись по вкусу, он усмехнулся, погладил рукою подбородок и сказал:

— А что? Есть у Заглобы голова на плечах? Хитер я, как Улисс, и должен тебе, барышня-панна, сказать, что, ежели бы не хитрость эта, давно бы меня вороны склевали. Но что же нам делать? Надо спастись. Они и вправду в близость княжеских войск поверили, ибо ясно же, что князь не сегодня-завтра появится с мечом огненным, аки архангел. А ежели б он заодно и Богуна по пути извел, я бы дал обет босиком в Ченстохову пойти. А хоть и не поверь чабаны, ведь одного упоминания о княжеской силе довольно было, чтобы их от покусительства на живот наш удержать. В любом случае скажу я тебе, барышня-панна, что наглость их — недобрый для нас *signum*¹, ибо означает это, что мужичье здешнее о викториях Хмельницкого наслышано и час от часу будет становиться нахальнее. А посему следует держаться нам мест безлюдных и в деревни заглядывать пореже, так как сие небезопасно. Яви же, господи, поскорее князя-воеводу, ведь мы в такую ловушку попались, что будь я не я, хуже и придумать трудно!

Елена снова встревожилась и, желая услышать из уст пана Заглобы хоть одно обнадеживающее словечко, сказала:

— Теперь я уж вовсе уверовала, что ты, сударь, и себя, и меня спасешь.

— Это конечно,— ответил старый пройдоха. — Голова затем и есть, чтобы о шкуре думать. А тебя, барышня-панна, я уже так полюбил, что, как о собственной дочери, о тебе печься буду. Самое скверное, сказать по правде, то, что непонятно, куда удирать, ибо и Золотоноша эта самая не очень верное *asylum*².

— Я точно знаю, что братья в Золотоноше.

— Или да, или нет, потому что могли уехать; и в Разлоги наверняка не той дорогой, какой мы едем, возвращаются. Я-то больше на тамошний гарнизон рассчитываю. Ежели бы этак бог дал полхоругвишки или полрегиментика в крепостце! А вот и Кагамлык! Теперь хоть очереты под боком. Переправимся на другой берег и, вместо того чтобы вниз по реке к большаку пойти, пойдем вверх, чтобы следы запутать. Правда, мы окажемся близко от Разлогов, но не очень...

— Мы к Броваркам ближе будем,— сказала Елена,— через которые в Золотоношу ездят.

— И прекрасно. Останавливайся, барышня-панна.

Они напоили коней. Затем пан Заглоба, надежно укрыв Елену в зарослях, поехал искать броду и тотчас его нашел, так как

¹ знак (лат.).

² убежище (лат.).

брод оказался в нескольких десятках шагов от места, где они остановились. Именно тут уже знакомые нам табунщики перегоняли коней через реку, которая хоть и была по всему течению мелководна, но берега повсюду имела неприступные, заросшие и болотистые. Переправившись, наши путники спешно двинулись вверх по реке и без отдыха проехали допоздна. Дорога была трудная, так как в Кагамлык впадало множество ручьев, и они, широко разливаясь в своих устьях, создавали повсюду болота и топи. То и дело приходилось или искать брода, или продираться сквозь заросли, почти непроезжие для конных. Лошади страшно утомились и едва шли. Порой они так сильно увязали, что Заглобе казалось — выбраться уже не удастся. Но в конце концов беглецы все-таки вышли на высокий, заросший дубняком сухой берег. А тут уж и ночь наступила, глубокая и непроглядная. Дальнейший путь сделался опасен: в темноте можно было угодить в трясину, так что пан Заглоба решил дожждаться утра.

Он расседлал лошадей, спутал их и пустил пастись. Затем нагреб листьев, устроил из них подстилку, застелил чепраками и, накрывши буркою, сказал Елене:

— Укладывайся, барышня-панна, и спи, ибо это единственное, что можно сделать. Роса тебе глазки промоет, оно и славно будет. Я тоже голову на арчак преклоню, а то я в себе костей прямо не чувю. Огня мы зажигать не станем, не то на свет какие-нибудь пастухи заявятся. Ночи теперь короткие, на зорьке двинемся дальше. Спи, барышня-панна, спокойно. Напетляли мы, точно зайцы, хотя, по правде сказать, уехали недалеко, но зато так следы запутали, что тот, кто найдет нас, дьявола за хвост поймает. Спокойной ночи барышне-панне.

— Спокойной ночи и вам.

Стройный казачок опустился на колени и долго молился, обращая очи к небу, а пан Заглоба, взвалив на спину арчак, отнес его несколько в сторону, где присмотрел себе местечко для спанья. Привал был выбран удачно — берег был высокий и сухой, а значит, без комаров. Густая листва могла, в случае чего, защитить и от дождя.

Сон долго не шел к Елене. События прошлой ночи тотчас же вспомнились ей, а из темноты выставились лица убитых — тетки и братьев. Ей мерещилось, что она вместе с их трупами заперта в сених и что в сени эти вот-вот войдет Богун. Она видела и его побелевшее лицо, и сведенные болью соболиные черные брови, и глаза, пронзающие ее. Елену охватила безотчетная тревога. А вдруг в окружающей тьме она и вправду увидит два горящих глаза...

Месяц ненадолго выглянул из туч, осветил немногими лучами дубраву и придал фантастические обличья веткам и стволам. На лугах закричали дергачи, в степи — перепела; порою слышны были какие-то странные далекие голоса то ли птиц, то ли ночных зверей. Поблизости фыркали кони, которые, пощипывая траву и,

тяжело прыгая в путах, все больше отдалялись от спящих. Все эти звуки успокаивали Елену, отгоняя фантастические видения и перенося ее в явь. Они словно бы напоминали ей, что сени эти, постоянно являвшиеся ее взору, и трупы родных, и бледный этот Богун с отмицением в очах всего лишь обман чувств, порождение страха, и ничего больше. Еще несколько дней назад сама мысль о подобной ночи под голым небом в глуши смертельно бы испугала ее, сейчас же, чтобы успокоиться, ей приходилось напоминать себе, что она и в самом деле у Кагамлыка, далеко от своей девичьей светелки.

Голоса дергачей и перепелов ее убаюкивали, звезды помаргивали над ней, стояло ветерку шевельнуть ветвями, жуки ворочались в дубовой листве, и она в конце концов уснула. Но у ночей в глуши тоже бывают свои неожиданности. Уже развиднелось, когда донеслись до нее какие-то жуткие звуки, какое-то рычанье, завывания, всхрипывания, потом визг столь отчаянный и пронзительный, что кровь похолодела в жилах. Она вскочила, дрожа от испуга и не понимая, что надо делать. Вдруг перед нею мелькнул пан Заглоба, без шапки, с пистолетом в руках мчавшийся на эти голоса. Через секунду раздался его крик: «Ух-ха! Ух-ха! С і р о м а х а!» — грохнул выстрел, и все смолкло. Елене казалось, что прошла тысяча лет, прежде чем у подошвы берега наконец раздался голос Заглобы:

— А, чтоб вас псы сожрали! Чтобы с вас шкуры посдирали! Чтоб вы на воротники еврейские пошли!

В воплях Заглобы чувствовалось неподдельное отчаяние.

— Ваша милость, что произошло? — спросила девушка.

— Волки коней задрали.

— Иисусе Христе! Обоих!

— Один зарезанный, другой так покалечен, что версты не пройдет. За ночь шагов на триста отошли, и конец.

— Как же нам быть?

— Как быть? Выстругать палки и оседлать их. Откуда я знаю, как быть? Вот горе так горе! По-моему, барышня-панна, дьявол на нас зуб имеет — оно и неудивительно, ибо он Богуну или сват, или брат. Как нам быть? Будь я конем, если знаю! В любом случае тебе, барышня-панна, было бы на ком ехать. Чтоб я сдох, если мне хоть раз случалось так поразвлечься!

— Пешком пойдём...

— Хорошо барышне-панне в ее двадцать годочков, а не мне при моей циркумференции мужицким манером путешествовать. Хотя что я говорю, в этих местах любого холопа на конягу станет, и только одни дворняжки пешком ходят. Чистая беда, истинный бог! Конечно, сидеть мы не засидимся, а пойдём, но когда ж мы дойдем до этой Золотоноши, а? Если даже на лошади удирать невесело, то пешком вовсе дело паршивое. С нами сейчас случилось самое скверное, что могло случиться. Седла придется бросить, а провиант на собственном горбу волочь.

— Я не допущу, чтобы ваша милость сам нес, и, что смогу, тоже понесу.

Заглобу такая самоотверженность обезоружила.

— Любезная моя панна,— сказал он. — Разве ж я турок или поганин допускать до такого? Разве ж для такой работы ручки эти беленькие, для такого стан этот стройный? Даст бог, я и сам управлюсь, только отдыхать часто придется, так как, сроду будучи воздержан в еде и питье, заработал я себе отдышку. Возьмем чепраки для почевок да провианту малость, кстати, его немного и останется, ибо сейчас надо как следует подкрепиться.

Делать ничего больше не оставалось, и они принялись за еду, причем пан Заглоба, забыв про свое хваленое воздержание, делал все, чтобы будущую отдышку предупредить. Около полудня они подошли к броду, которым, вероятно, время от времени пользовались и конные, и пешие,— на обоих берегах виднелись следы колес и конских копыт.

— Может, это и есть дорога на Золотоношу? — сказала Елена.

— Ба! Спросить-то не у кого.

Стоило пану Заглобе это сказать, как вдали послышались человеческие голоса.

— Погоди, барышня-панна, спрячемся! — шепнул Заглоба.

Голоса приближались.

— Ты что-нибудь видишь, ваша милость? — спросила Елена.

— Вижу.

— Кто там?

— Слепой дед с лирой. И парнишка-поводырь. Разуваются. Они сюда хотят перейти.

Спустя мгновение плеск воды подтвердил, что реку и в самом деле переходят.

Заглоба с Еленой вышли навстречу.

— С л а в а б о г у! — громко сказал шляхтич.

— Н а віки віків! — ответил дед. — А кто ж там такие?

— Люди крещеные. Не бойся, дедушка, держи вот пятак.

— Щоб вам святий Микола дав здоров'я і щ а с т я.

— А откудава, дедушка, идете?

— Из Броварков.

— А эта дорога куда?

— До хуторів, пане, до села...

— А к Золотоноше не выведет?

— Можно, пане.

— Давно ль вы из Броварков вышли?

— Вчера утречком, пане.

— А в Разлогах были?

— Были. Да только говорят, туда лицарі прийшли, що битва була.

— Кто говорит-то?

— В Броварках сказывали. Тут один с княжьей дворни приехал, а что рассказывал, страх!

— А вы сами его не видели?

— Я, п а н е, ничего не вижу, я слепой.

— А паренек?

— Он видит, да только он немой, я один его и понимаю.

— А далече ли отсюда до Разлогов? Нам туда как раз и нужно бы.

— Ой, далече!

— Значит, в Разлогах, говорите, были?

— Были, п а н е.

— Да? — сказал пан Заглоба и вдруг схватил парнишку за шиворот.

— А, негодяи, мерзавцы, подлецы! Ходите! Разнюхиваете! Мужиков бунтовать подбиваете! Эй, Федор, Олеца, Максим, взять их, раздеть и повесить! Или утопить! Бей их, смутьянов, соглядатаев! Бей, убивай!

Он стал что было сил дергать подростка, трясти его и все громче вопить. Дед рухнул на колени, моля о пощаде; подросток, как все немые, издавал пронзительные звуки, а Елена изумленно на все это глядела.

— Что ты, ваша милость, вытворяешь? — пыталась она вмешаться, собственным глазам не веря.

Но пан Заглоба визжал, бранился, клялся всею преисподнею, призывал всяческие несчастья, бедствия, хворобы, угрожал всеми, какие есть, муками и смертями.

Княжна решила, что он в уме повредился.

— Скройся! — кричал он ей. — Не пристало тебе глядеть на то, что сейчас будет! Скройся, кому говорят!

Вдруг он обратился к деду:

— Скидавай одежду, козел, а нет, так я тебя сей же момент на куски порежу.

И, повалив подростка наземь, принялся собственноручно срывать с того одежду. Перепуганный дед поспешно побросал лиру, торбу и свитку.

— Все скидавай!.. Чтоб ты сдох! — вопил Заглоба.

Дед стал снимать рубаху.

Княжна, видя, что происходит, поспешно удалилась, дабы скромности своей лицемерием обнаженных телес не оскорбить, а вослед ей, торопившейся уйти, летели проклятья Заглобы.

Отдалившись на значительное расстояние, она остановилась, не зная, как быть. Поблизости лежал ствол поваленного бурей дерева. Она села на него и стала ждать. До слуха ее доносилось верещание немого, стоны деда и гвалт, учиняемый паном Заглобой.

Наконец все смолкло. Слышны были только попискиванья птиц и шорохи листьев. Спустя некоторое время она услышала какое-то сопение и тяжелые шаги.

Это был пан Заглоба.

На плече он нес одежду, отнятую у деда и отрока, в руках две пары сапог и лиру. Подойдя, он принялся моргать своим здоровым глазом, улыбаться и сопеть.

По всему было видно, что он в превосходном настроении.

— Ни один приказный в трибунале так не накричится, как мне пришлось! — сказал он. — Охрип даже. Но, что надо, заимел. Я их в чем мать родила отпустил. Если султан не сделает меня пашой или валашским господарем, значит, он просто неблагодарный человек; я же двух святых туркам прибавил. Вот негодники! Умоляли, чтобы рубашки оставил! А я говорю, спасибо скажите, что в живых остаегесь. А погляди-ка, барышня-панна, все новое: и свитки, и сапоги, и рубахи. Может ли быть порядок в нашей Речи Посполитой, если хамы так изрядно одеваются? Они в Броварках на ярмарке были, где насобирали денег и все себе купили. Мало кто из шляхты находийствует в этой стране столько, сколько наклончат дед. Все! С этой минуты я рыцарское поприще бросаю и начинаю на больших дорогах дедов грабить, ибо ео шодо¹ богатство быстрее нажить можно.

— Но за какою надобностью ты, ваша милость, сделал это? — спросила Елена.

— За какою надобностью? Ты, барышня-панна, не поняла? Тогда погоди, сейчас эта самая надобность зримо тебе явлена будет.

Сказав это, он взял половину отнятой одежды и удалился в прибрежные заросли. Спустя некоторое время в кустах зазвене-ла лира, а затем показался... уже не пан Заглоба, но настоящий украинский дід с бельмом на одном глазу и с седою бородой. Дід приблизился к Елене, распевая хриплым голосом:

Соколе ясний, брате мій рідний,
Ти високо літаєш,
Ти широко видаєш.

Княжна захлопала в ладоши, и впервые со времени бегства из Разлогов улыбка оживила ее прелестное лицо.

— Не знай я, что это ваша милость, ни за что бы не признала!

— А что? — сказал пан Заглоба. — И на масленицу не видала ты, барышня-панна, лучшей машкеры. Я уж и в Кагамлык погляделся. И если я когда-нибудь видал более натурального деда, пускай меня на собственной торбе повесят! С песнями у меня тоже все в порядке. Что, барышня-панна, желаешь? Может, о Марусе Богуславке, о Бондаривне или о Серпяховой смерти? Пожалуйста. Считаю меня распоследним человеком, ежели я на кусок хлеба у самых отпетых гультаев не заработаю.

¹ таким манером (лат.).

— Теперь ясно, зачем ты, сударь, все это сделал, зачем одежду совлек с бедняжек этих — чтобы в дорогу переодетыми пуститься.

— Точно! — сказал пан Заглоба. — А ты, барышня-панна, что думала? Тут, за Днепром, народишко почище, чем в других местах будет, и только рука кряжеская смутьянов от самоуправления сдерживает; теперь же, когда узнают они о войне с Запорожьем и о викториях Хмельницкого, никакая сила их от мятежа не удержит. Ты же видела, барышня-панна, тех чабанов, которые к нашей шкуре подбирались? Если гетманы сейчас же не побьют Хмельницкого, то через день, а может, через два вся страна в огне будет. Как же я тогда барышню-панну через все взбунтовавшееся мужичье проведу? А если доведется угодить к ним в лапы, лучше тебе было бы в Богуновых остаться.

— Это невозможно! Лучше смерть! — прервала его Елена.

— А мне наоборот: лучше — жизнь, ибо от смерти, как ни хитри, все равно не отвертешься. Но сдастся мне, сам господь нам этих дедов послал. Я их, как и чабанов, напугал, что князь с войском близко. Три дня теперь от страха будут голые в камышах сидеть. А мы тем временем, переодетые, в Золотоношу как-нибудь проберемся, найдем братьев твоих — хорошо, нет — пойдем дальше, хоть бы и к гетманам, или князя станем ждать. И все время в безопасности, ибо дедам от мужиков и от казаков никакого утеснения. Можем даже через обозы Хмельницкого невредимыми пройти. Только татар *vitare*¹ нам следует, ибо они тебя, барышня-панна, как младого отрока в ясыри возьмут.

— И мне, значит, надо переодеться.

— Именно! Хватит тебе казачком быть, преобразись-ка в мужицкого подростка. Правда, для хамского отпрыска ты уж очень пригожа, как, впрочем, и я — для дѣда, но это пустяки. Ветер обветрит личико твое, а у меня от пешего хождения брюхо опадет. Всю дородность свою выпотею. Когда мне валахи глаз выжгли, я было рѣшил, что непоправимое несчастье мне приключилось, а сейчас вот вижу, что оно мне на руку; ведь, если дед не слепой, значит, дело нечистое. Ты меня, барышня-панна, за руку води, а зови Онуфрем, ибо такое оно, мое дедовское имя. А сейчас переоденся, да поскорее, нам в путь пора. А путь, поскольку пешком, долог будет.

Пан Заглоба удалился, и Елена, не мешкая, стала переодеваться в дедовского поводиря. Она сняла казацкий жупаник и, поплескавшись в речке, надела крестьянскую свитку, соломенную шляпу и дорожную сумку. К счастью, подросток, которого ограбил Заглоба, был стройным, поэтому все пришлось на нее отлично.

Заглоба, когда вернулся, внимательно ее оглядел и сказал:

¹ сторониться (лат.).

— Мой боже! Не один рыцарь охотно бы лишился состояния-ца своего, лишь бы его этаким пажик сопровождал, а уж некий известный мне гусар, тот бы ни секунды не раздумывал. Только вот с волосами твоими надо что-то придумать. Видал я в Стамбуле пригожих юнцов, но такого — никогда.

— Дай боже, чтобы не во вред обернулась мне пригожесть эта! — сказала Елена.

И улыбнулась, так как женской ее натуре польстило изумление пана Заглобы.

— Краса никогда во вред не обернется, и сам я лучший тому пример. Когда турки мне в Галате глаз выжгли, собрались они было и второй выжечь, но спасла меня жена тамошнего ихнего паши, а все по причине неопикуемой красоте моей, остатки каковой можешь еще, барышня-панна, зреть.

— А сказал, ваша милость, что валахи тебе глаз выжгли.

— Я и говорю — валахи, но потурчившиеся и в Галате у паши служившие.

— Да ведь вашей милости его не выжгли!

— Зато он от железного жара бельмом застался. А это, считай, все равно что выжгли. Что же ты, барышня-панна, с косами своими собираешься делать?

— А что? Надо отрезать?

— Вот именно, надо. Но как?

— Саблей вашей милости.

— Саблею этой головы сподручно отрезать, но волосы — уж это я не представляю, quo modo? ¹

— Знаешь, милостивый государь, что? Я сяду возле этого поваленного дерева, а волосы перекину через ствол, ты же, ваша милость, рубанешь и отрубишь. Только голову не отруби.

— За это, барышня-панна, не беспокойся. Не раз я фитили у свечек по пьяному делу срубал, самой свечи не задевая, так что не будет и барышне-панне урона, хотя таково показывать руку случается мне впервые.

Елена села возле лежавшего дерева, перекинула через него свои огромные черные волосы и, подняв очи на пана Заглобу, сказала:

— Я готова. Руби, ваша милость.

И улыбнулась этак грустно, потому что жаль ей было волос, которые у головы в две горсти и то взять было невозможно. Да и пану Заглобе было как-то не по себе и не с руки. Он обошел ствол для сподручного замаха и проворчал:

— Тьфу ты! Ей-богу, лучше быть цирюльником и оселедцы казакам подбривать. Сдается мне, что я палачом стал и берусь за дела заплечные, ибо палачи колдуньям волосы на голове обстригают, чтобы дьявол туда не спрятался и кознями своими пытку не обезвредил. Но барышня-панна не ведьма, и стрижку сию

¹ каким манером (лат.).

полагаю я делом мерзким, за какое, ежели мне пан Скшетуский уши не отрежет, я его *paritatem*¹ не признаю. Ей-богу, рука даже замлела. Зажмурься хоть, барышня-панна.

Пан Заглоба весь вытянулся, словно бы в стременах для удара привстал. Плоское лезвие свистнуло в воздухе, и мгновенно длинные черные пряди скользнули по гладкой коре ствола на землю.

— Готово! — сказал Заглоба.

Елена быстро встала, и тотчас же коротко обрезанные волосы рассыпались черным кружком вокруг вспыхнувшего лица ее; отрезать косу для девушки в те времена считалось великим позором, а значит, решилась она на великую жертву, пойти на которую пришлось ввиду крайних обстоятельств.

Очи Елены наполнились слезами, а пан Заглоба, недовольный собою, даже не стал ее утешать.

— Чувство у меня такое, будто я что нехорошее натворил, — сказал он, — и еще раз повторяю: ежели пан Скшетуский настоящий кавалер, он мне за это уши отрезать обязан. Но выхода у нас не было, ибо *sexus*² барышни-панны тотчас бы явным сделался. Теперь же, что ни говори, можно идти смело. Дед мне, когда я ему кивжал к горлу приставил, дорогу рассказал. Сперва, значит, увидим мы в степи три дуба, возле которых волчий яр, а мимо яра через Демьяновку дорога на Золотоношу. Сказал он мне, что и чумаки тою дорогой ездят, значит, и на телегу можно попроситься. Трудные деньки мы с барышней-панной переживаем и вечно их вспоминать будем. Теперь же и с саблями расстаться придется, деду с поводырем не пристало иметь шляхетскую амуницию. Спрячу-ка я их под этот самый ствол, может, даст бог, возьму когда-нибудь. Ой, много походов повидала сабля эта и многим великим победам явилась причиною. Уж ты мне поверь, что был бы я сейчас региментарием, ежели б не *invidia* и злоба людская, подозревавшие меня в приверженности к горячительным напиткам. Так оно на свете всегда. Нет справедливости, и все тут! Если я не лез, как иные дураки, на рожон, но с мужеством, точно *Sunctator*³ новый, умело сочетал благоразумие, так тот же Зацвилиховский первый говорил, что я труса праздную. Он добрый человек, но злоречивый. Давеча еще донимал меня, что я, мол, с казаками братаюсь, а не братайся я, так ты бы, барышня-панна, наверняка Богунова насилия не избежала.

Так разглагольствуя, сунул пан Заглоба сабли под ствол, накрыл их травой и ветками, повесил затем на плечи суму и торбан, взял в руку дедовский посох, усаженный кремнями, махнул им разок-другой и сказал:

¹ равенства (*лат.*).

² пол (*лат.*).

³ Меддитель (*лат.*).

— На худой конец и это сойдет, псу какому-нибудь или волку можно искры из глаз вышибить или зубы пересчитать. Хуже всего то, что надо идти пешком, однако ничего не поделаешь! Пошли!

И они отправились.

Впереди чернокудрый отрок, за ним дед. Дед ворчал и чертыхался, так как пешком идти ему было жарко, хотя по степи и тянул ветерок. Ветерок этот обветривал и делал все смуглее лицо пригожего отрока. Вскоре они пришли к яру, по дну которого бежал родник, струящий свою кристальную воду к Кагамлыку. Возле яра, недалеко от реки, росли на возвышении три могучих дуба. К ним наши путники тотчас же и свернули. Сразу наткнулись они и на дорогу, желтевшую среди степи цветами, возросшими на конском навозе. Дорога была пуста: ни чумака не было на ней, ни телеги, ни сивых неторопливых волов. Лишь кое-где валялись скотские кости, обглоданные волками и выбеленные солнцем. Шли путники, не останавливаясь, отдыхая только в дубравах тенистых. Чернокудрый отрок укладывался на зеленую мураву спать, а дед стерег. Перебирались они тоже и через ручьи, а где не было броду, долго искали его, идучи по берегу. Иногда дед переносил отрока на руках, обнаруживая силу, удивительную для человека, побиравшегося Христа ради. Однако это был плечистый дед! Так влеклись они снова до самого вечера, пока наконец отрок не опустился в дубраве на обочину и не сказал:

— Сил у меня больше нету, и дышать невмочь. Дальше не пойду. лягу тут и умру.

Дед всерьез забеспокоился.

— Вот безлюдье чертовое! — сказал он. — Ни тебе хутора, ни жилья у дороги, ни живой души. Но тут нам оставаться на ночь нельзя. Дело к вечеру, и через час темно станет, а послушай-ка, барышня-панна!..

Дед умолк, и какое-то время было совершенно тихо.

Внезапно тишину нарушил отдаленный тоскливый вопль, казалось исходивший из-под земли, а на самом деле доносившийся из расположенного невдалеке от дороги яра.

— Это волки, — сказал пан Заглоба. — В прошлую ночь они наших коней сожрали, а нынче за нас самих примутся. Правда, есть у меня пистоль под свиткой, но вот хватит ли пороху раза на два, не знаю! А мне на волчьей свадьбе марципаном быть не хочется. Слышишь, барышня-панна, опять завыли!

Вой и в самом деле раздался снова, и, казалось, на этот раз ближе.

— Вставай, дитино! — сказал дед. — А идти не можешь, так я тебя понесу. Ничего не поделаешь. Видать, привязался я к тебе, и весьма, а это потому, верно, что, проживая в неженатом состоянии, собственных правомочных потомков завести не озаботился, а если кто и есть, то всё — басурмане, ибо я в Турции

долго пребывал. На мне оно и обрывается, родословие Заглоб, герба Вчеле. Разве что ты, барышня-панна, старость мою при-зришь. Пока же вставай или полезай мне на закукорки.

— Ноги такие тяжелые, что не ступить.

— А хвасталась выносливостью! Однако ш-ш-ш! Ш-ш-ш! Никак, собаки лают! Ей-богу, собаки. Не волки. Значит, недалеко Демьяновка, про которую дед говорил. Слава те господи! Я уж костер решил от волков разложить, да только мы бы наверняка уснули, потому что из сил выбились. Собаки! Собаки лают, слы-шишь?

— Пошли,— сказала Елена, к которой внезапно вернулись силы.

И верно, стоило им выйти из лесу, как вдалеке завиднелись огоньки многочисленных хат. Увидели они также три церковные маковки, на свежем гонте которых отсвечивали в сумерках последние отблески вечерней зари. Собачий лай делался все отчетливей.

— Она! Демьяновка! Другого и быть не может,— сказал пан Заглоба. — Деды — повсюду гости дорогие, так что без ночлега небось не останемся и повечеряем, а может, добрые люди и даль-ше подвезут. Слушай-ка, барышня-панна, ведь деревенька-то кня-жеская, значит, и подстароста в ней должен быть. И отдохнем, и новости узнаем. Князь уже наверняка в пути. Возможно, и спасение быстрее наступит, чем ты, барышня-панна, думаешь. Однако не забывай, что ты немая. Я уж черт-те что говорю! Ве-лел тебе звать меня Онуфрием, а раз ты немая, значит, тебе вообще говорить не положено. Я буду за тебя и за себя разговари-вать и бога славить. По-мужицки я так же бегло, как и по-латы-ни, болтаю. Идем же! Пошли! Вон и первые хаты виднеются. Господи, когда они кончатся, скитания наши? Хоть бы пивца по-догретого дали, я бы и за то восславил господа.

Пан Заглоба умолк, и некоторое время они молча шли рядом. Затем он заговорил снова:

— Помни же, что ты немая. А если тебя кто что спросит, сразу же тычь в меня и мычи: «Ум-ум-ум! Ня-ня!» Хоть ты, барышня-панна, как я погляжу, и так толковая, но не забывай все же, что мы шкуру спасаем, разве что случайно на гетманские или княжеские хоругви набредем. Тогда уж сразу объявим, кто мы, особенно если встретится любезный офицер и пану Скшетус-кому знакомый. Раз ты под княжеской опекой, жолнеров опасать-ся нечего. Гляди! Что это там за костры в лощинке горят? Ага! Куют. Кузница это! Вижу я и людей возле нее немало. Пошли-ка туда.

И в самом деле, в лощине, представляющей как бы подступы к яру, стояла кузня, из трубы которой в клубах дыма сыпались снопы золотых искр, а в отворенной двери и многочисленных дыр-ках, проверченных в стенах, вспыхивал яркий свет, то и дело заслоняемый темными фигурами, копошившимися внутри. Сна-

ружи, возле кузни, в ночном уже сумраке можно было разглядеть несколько десятков человек, стоявших кучками. В кузне согласно били молоты, вокруг разносилось эхо, и отголоски его смешивались с песнями возле кузни, говором и собачьим лаем. Рассмотревши все это, пан Заглоба тотчас же свернул в эту самую лощинку, забренчал на лире и запел:

Гей, там на горі
Женці жнуть,
А попід горою,
Пошд зеленою,
Козаки йдуть.

Распевая, он подошел к толпе, стоявшей у кузницы, и осмотрелся: тут были сплошь крестьяне, по большей части нетрезвые. Почти у всех в руках были палки. На некоторых палках торчали насаженные косы и наконечники копий. Кузнецы в кузне как раз и были заняты изготовлением этих самых наконечников и выпрямлением кос.

- Эй, дід! Дід! — начали кричать в толпе.
- Слава богу! — сказал пан Заглоба.
- На віки віків.
- Скажіть, дітки, вже є Дем'янівка?
- Дем'янівка. А бо що?
- А то, что мне на шляху сказывали, — продолжал дед, —

что тут добрые люди живут, которые деда приютят, накормят, напоят, переночевать пустят и гроші дадут. Я старый, шел-шел, аж устал, а парнишка, тот уж вовсе идти не может. Немой он, бедняга, меня, старого, водит, потому что ничего я не вижу, слепец горемычный. Бог вас, добрые люди, благословит, и святой Николай-чудотворец благословит, и святой Онуфрий благословит. В одном глазу у меня малость света божьего осталось, а другой навеки темный, вот я с торбаном и хожу, песни пою, живу, как птица божья, тем, что от добрых людей перепадет.

— А откуда вы, дід у?

— Ой, издалече, издалече! Да только уж позвольте мне отдохнуть, вроде оно возле кузни лавка есть. Садись и ты, горе-мыка, — продолжал он, указывая Елене лавку. — Мы аж с Ладавы, добрые люди. Из дому давно, давно вышли, а сейчас из Броварок, с храмового праздника идем.

— А что вы там хорошего слыхали? — спросил старик с козой в руке.

— Слыхатъ-то слыхали, да хорошее ли, не знаем. Людей туда поприходило богато. Про Хмельницкого сказывали, что гетманского сына и его лицарів одолел. Слыхали мы еще, что и на русском берегу народ на панов поднимается.

Толпа тотчас окружила Заглобу, а он, сидя рядом с княжной, время от времени ударял по струнам лиры.

— Значит, отец, вы слыхали, что народ поднимается?

— Эге ж! Несчастливая она, наша крестьянская доля!

— Говорят, что конец света будет?

— В Киеве на алтаре письмо Христово нашли, что быть войне ужасной да жестокой и великому кровопролитию по всей Украине.

Толпа, окружившая лавку, на которой сидел пан Заглоба, сомкнулась еще плотнее.

— Говорите, письмо было?

— Было. Как бог свят, было! О войне, о кровавой... Да не могу я говорить больше, у меня, старого, бедного, все же ж в горле пересохло.

— А вот вам, отец, мерка горилки, пейте да рассказывайте, что вы такого на белом свете слыхали. Известно нам, что деды всюду бывають и про все знают. Бывали уже и у нас, тай ка-вали, що на панів случится через Хмельницкого черная година. Вот мы косы да копыя велим ковать, не опоздать чтоб. Только вот не знаем: начинать ли уже или письма от Хмеля ждать?

Заглоба опрокинул мерку, причмокнул, потом малость подумал и сказал:

— А кто говорит вам, что пора начинать?

— Сами мы так желаем.

— Пора! Пора! — раздались многочисленные возгласы. — Коли за порожці панів побил и, так и пора.

Косы и копыя, потрясаемые в могучих руках, издали зловещий звон.

Потом вдруг все замолчали, и только в кузнице продолжали колотить молоты. Будущие живорезы ждали, что скажет дід. Дед думал, думал и, наконец, спросил:

— Чьи вы люди?

— Мы? Князя Яремы.

— А кого ж вы будете різати?

Мужики поглядели друг на друга.

— Его? — спросил дед.

— Не здужаємо...

— Ой, не здужаєте, дітки, не здужаєте. Бывал я в Лубнах, видал князя глазами собственными. Страшный он! Закричит — деревá в лесу дрожь пробирает, ногою топнет — яр в лесу делается. Его король боится и гетманы слушаются, и все его страшатся. А войска у него больше, чем у хана и султана. Не здужаєте, дітки, не здужаєте. Не вы его пощупаєте, а он вас. А еще не знаете вы, чего я знаю, ему ж все ляхи на помощь придут, а ведь що лях, то шабля!

Угрюмое молчание воцарилось в толпе. Дед опять ударил по струнам торбана и продолжал, подняв лицо к луне:

— Идет князь, идет, а с ним столько султанов алых да хоругвей, сколько звездочек в небе и будяков в степи. Летит впереди него ветер и стонет, а знаете, дітки, над чем он стонет? Над вашей долей он стонет. Летит впереди него смертушка с

косою и звонит, а знаете, по ком звонит? По душам вашим звонит.

— Господи помилуй! — зашептали тихие, испуганные голоса.

И снова сделались слышны только удары молотов.

— Кто у вас комисар княжеский? — спросил дед.

— Пан Гдешинский.

— А где он?

— Сбѣг.

— А почему ж он сбѣг?

— Потому что узнал, что копыя тай косы для нас куют.

Вот он испугался и сбѣг.

— Это нехорошо, он же князю про вас донесет.

— Что ты, дѣду, каркаешь, как ворон! — сказал старый крестьянин. — А мы вот полагаем, что на панов черная година пришла. И не будет их ни на русском, ни на татарском берегу, ни панов, ни князей. Одни казаки, вольные люди, будут. И не будет ни чинша, ни амбарного, ни сухомельщины, ни перевозного, и жидов не будет, ибо так оно стоит в письме от Христа, о котором ты сам сейчас сказывал. А Хмель князя не слабже. Най ся по пробують.

— Дай же ему боже! — сказал дед. — Тяжела наша крестьянская доля, а в прежние времена иначе бывало.

— Чья земля? Князя. Чья степь? Князя. Чей лес? Чьи стада? Князя. А раньше был божий лес, божья степь, кто первый приходил, тот брал и никому ничего должен не был. Теперь усе панів та князів...

— Верно говорите, дѣтки, — сказал дед. — Но я вам вот что скажу. Коли вы сами знаете, что с князем вам не сдюжить, тогда послушайте: кто хочет панів ризати, пускай тут неждет, пока Хмель с князем силами меряться станут, пусть ко Хмелю убегает, да только сразу же, завтра, потому что князь выступил. Ежели его пан Гдешинский уговорит на Демьяновку пойти, то не даст он, князь, вам тут поблажки, но перебьет всех до единого — так что бегите вы ко Хмелю. Чем вас там больше будет, тем Хмель быстрее управится. Вот! А тяжелое ему дело выпало. Сперва гетманы и коронных войск богато, а потом князь, который гетманов этих могутнее. Летите же вы, дѣтки, помогать Хмелю и запорожцам, а то они, сердечные, не управятся. А ведь они за вашу волю и за ваше добро с панами бьются. Летите! Так и от князя спасетесь, и Хмелю поможете.

— В же правду ка же! — раздались голоса в толпе.

— Верно говорит.

— Мудрый дѣд!

— Значит, ты видал, что князь идет?

— Видать не видал, но в Броварках говорили, что он уже из Лубен двинулся, все жжет, всех косит, где хоть одно копые найдет, землю и небо только оставляет.

— Господи, помилуй!

— А где нам Хмеля искать?

— Затем я сюда, дітки, и пришел, чтобы сказать, где искать Хмеля. Ступайте вы, дети, до Золотоноши, а потом до Трехтымирова пойдите, а там уж Хмель будет вас ждать, там из всех деревень, поместий и хуторов люди соберутся, туда и татары придут,— а нет, так князь всем вам по земле по матушке ходить не даст.

— А вы, отец, с нами пойдете?

— Пойти не пойду, потому как ноги старые не несут и земля уже тянет. Но если телегу запряжете, так я с вами поеду. А перед Золотоношей вперед пойду поглядеть, нету ли там панских жолнеров. Ежели будут, то мы в обход прямо на Трехтымиров подадимся. А там уже край казацкий. Теперь же дайте мне есть и пить, потому как я, старый, есть хочу и парнишка мой голодный. Завтра с утра выйдем, а по дороге я вам про пана Потоцкого да про князя Ярему спою. Ой, свирепые это львы! Великое будет кровопролитие на Украине — небо страшно краснеет, да и месяц вот, будто в крови купается. Просите же, дітки, милости божией, потому оно многим из вас скоро не жить на белом свете. Слыхал я еще, что упыри из могил встают и воют.

Безотчетный страх охватил столпившихся мужиков.

Они невольно стали оглядываться, креститься и перешептываться. Наконец один крикнул:

— На Золотоношу!

— На Золотоношу! — отозвались все, будто только там было убежище и спасение.

— В Трехтымиров!

— На погибель ляхам и панам!

Внезапно какой-то молодой казачок, потрясая копьем, вышел вперед и крикнул:

— Б а т ь к и! А если завтра на Золотоношу идем, то сегодня пошли на комиссарский двор!

— На комиссарский двор! — разом крикнуло несколько десятков голосов.

— Поджечь, а добро взять!

Однако дед, сидевший до того опустив голову, поднял ее и сказал:

— Эй, дітки, не ходите вы на комиссарский двор и не палите его, потому что лихо будет. Князь, может быть, где-то близко с войском ходит, как зарево увидит, так придет — и будет лихо. Лучше вы мне поесть дайте и ночлег укажите. Вам тихо надо сидеть, не гуляти по пасікам.

— Правду каже! — откликнулись несколько голосов.

— Правду каже, а ти, Максиме, дурний!

— Пойдемте, отец, ко мне на хлеб-соль да на меду кварточку, а покушаете, так пойдете на сено спать, на сеновал,— сказал старый крестьянин, обращаясь к деду.

Заглоба встал и потянул Елену за рукав. Княжна спала.

— Уходился хлопчик. Тут ковали куют, а он уснул,— сказал пан Заглоба.

А про себя подумал: «Ой, блаженная невинность, среди копий и ножей засыпающая! Видать, ангелы небесные оберегают тебя, а при тебе и меня уберегут».

Он разбудил ее, и они пошли к деревне, лежавшей несколько поодаль. Ночь была погожая, тихая. Позади разносилось эхо кующих молотов. Старик крестьянин шел впереди, показывая в темноте дорогу, а пан Заглоба, делая вид, что шепчет молитву, бурчал монотонным голосом:

— О господи боже, помилуй нас, грішних... Видишь, барышня-панна!.. Святая-пречистая... Что бы мы делали без холопской одежды? Яко вже на землі і на небесех... И накормят нас, а завтра в Золотоношу, вместо того чтобы пешком идти, поедем... Аминь, аминь, аминь... Надо думать, Богун сюда по нашим следам явится, потому что его наши штучки не собьют... Аминь, аминь!.. Да только поздно будет, потому что в Прохоровке мы через Днепр переправимся, а там уже власть гетманская... Дьявол благоугодику не страшен. Аминь... Стоит только князю за Днепр уйти, здесь дня через два весь край запыхает... Аминь. Чтoб их черная смерть унесла, чтoб им палач святил... Слышишь, барышня-панна, как они там у кузни воют? Аминь... В тяжелую передрагу мы попали, но дураком я буду, если барышню-панну от нее не упасу, хоть бы и до самой Варшавы нам убежать пришлось.

— А чего вы все бормочете, отец? — спросил крестьянин.

— Да молюся за здоровье ваше. Аминь, аминь!..

— А вот и моя хата...

— Слава богу.

— На віки віків.

— Прошу на хлеб-соль.

— Спаси господь.

Спустя короткое время дед подкреплялся бараниной, обильно запивая ее медом, а назавтра с утра отправился вместе с хлопчиком на удобной телеге к Золотоноше, эскортируемый несколькими десятками верховых крестьян, вооруженных копьями и косами.

Ехали на Кавраец, Чернобай и Кропивну. По дороге видели, что все уже заходило ходуном. Крестьяне всюду вооружались, кузницы в оврагах работали с утра до ночи, и только грозная сила, грозное имя князя Иеремии сдерживали пока кровопролитную вспышку.

Тем временем за Днепром буря разбушевалась со всею свирепостью. Весть о корсунском поражении молниеносно разнеслась по всей Руси, и всяк, кто жив, брался за оружие.

Богуна на следующее после бегства Заглобы утро нашли полузадохшимся в жупане, каковым пан Заглоба обмотал ему голову. Поскольку серьезных ран на атамане не было, он вскорости пришел в себя. Вспомнив все, что произошло, он впал в неистовство, рычал, как дикий зверь, кровавил руки о собственную окровавленную голову и кидался на всех с ножом, так что казаки к нему и подойти боялись. Наконец, не будучи пока что в состоянии держаться в седле, он велел привязать меж двух коней еврейскую зыбку и, забравшись в нее, как безумный помчал к Лубнам, полагая, что беглецы направились туда. Лежа в еврейской постеле, весь в пуху и в собственной крови, он гнал по степи, точно упырь, желающий до петухов поспеть в могилу свою, а за ним, зная, что мчатся на верную смерть, неслись верные казаки. Летели они так до самой Василевки, где гарнизонном стояла сотня венгерской княжеской пехоты. Дикий атаман, словно ему жить надоело, не раздумывая ударил по ним, сам первым бросился в бой и после многочасовой схватки перебил всех, кроме нескольких, которым сохранил жизнь, дабы пытками хоть что-то из них вытянуть. Узнав, что никакого шляхтича с девушкой тут не видели, он, не зная, что предпринять, с горя стал рвать на себе повязки. Идти далее было невозможно, ибо повсюду до самых Лубен стояли княжеские полки, наверняка оповещенные о налете разбежавшимися во время боя из Василевки жителями. Поэтому верные казаки подхватили ослабевшего от бешенства атамана и ускакали с ним назад в Разлоги. Вернувшись туда, они уже не застали и следов усадьбы, так как местные крестьяне ее разграбили и сожгли вместе с князем Василем, рассчитывая, что, если княжичи или князь Иеремия придут мстить, вину легко можно будет свалить на казаков и Богуну. Были сожжены все строения, вырублен вишневый сад, перебита челядь,— крестьяне беспощадно расквитались за жестокое правление и утеснения, какие терпели от Курцевичей. Сразу же за Разлогами Богуну попался Плесневский, ехавший из Чигирина с известием о желтоводском поражении. Будучи допрошен, куда и с чем едет, он путался и не давал ясных ответов, а по-сему вызвал подозрения; припеченный же огнем, Плесневский выложил, что знал и о поражении, и о пане Заглобе, с каковым накануне повстречался. Обрадованный атаман облегченно вздохнул. Повесив Плесневского, он продолжил преследование, почти уже не сомневаясь, что Заглобе теперь не уйти. Тут еще и чабаны сообщили новые сведения, но зато за бродом все следы точно в воду канули. На деда, ограбленного паном Заглобой, атаман наткнуться не мог, потому что тот ушел вниз по Кагамлыку, да к тому же был так напуган, что хоронился в очететах, словно лиса.

Между тем снова минула день и ночь, а поскольку погоня в сторону Василевки заняла целых два дня, Заглоба выиграл уйму времени. Что же в таком случае было делать?

Загвоздку эту советом и делом помог разрешить есаул, старый степной волк, с молодых лет привыкший преследовать в Диком Поле татар.

— Б а т ь к у! — сказал он. — Они ушли на Чигирин, и умно ушли, потому как выиграли время, но, когда про Хмеля и желтоводское дело от Плесневского узнали, направление переменяли. Ты, б а т ь к у, сам видел, что они с большака съехали и в сторону ушли.

— В степь?

— В степи я бы их, б а т ь к у, нашел, но они пошли к Днепру, чтобы к гетманам пробраться, а значит, побегли или на Черкассы, или на Золотоношу и Прохоровку... А ежели к Переяславу пошли, хотя не думаю, то и тут мы их достигнем. Нам, б а т ь к у, надо бы одному в Черкассы, другому на Золотоношу, на чумацкую дорогу,— и быстро, потому как ежели они через Днепр переправятся, то поспеют или к гетманам, или их татары Хмельницкого поймают.

— Поезжай же на Золотоношу, а я на Черкассы двинусь.

— Д о б р е, б а т ь к у.

— Д а гляди в оба, он лис хитрый.

— Т а к и я хитрый, б а т ь к у.

Обдумав таким образом план погоня, они тотчас же разъехались — один к Черкассам, второй — вверх, к Золотоноше. Вечером того же дня старый есаул Антон приехал в Демьяновку.

Деревня была пуста, остались одни бабы; мужики подались за Днепр к Хмельницкому. Завидя вооруженных людей и не зная, кто они такие, бабы попрятались по хатам и овинам. Антон обыскался, прежде чем обнаружил старушонку, ничего, хоть бы и татар, уже не боявшуюся.

— А где мужики, мать? — спросил Антон.

— Почем я знаю! — ответила старуха, показав желтые зубы.

— Мы казаки, мать, не бойтесь, мы не от ляхів.

— Ляхів?.. Щоб їх лихо!

— Нам-то вы добра желаете?.. Правда?

— Вам? — старуха на миг задумалась. — А в а с щоб н б о л я ч к а!

Антон было растерялся, но вдруг дверь одной хаты скрипнула и красивая молодлица вышла во двор.

— Эй, молодцы, слыхала я, що в и н е л я х и.

— Точно.

— А вы от Хмеля?

— Точно.

— Н е о д л я х і в?

— Ні.

— А зачем вы про мужиков пытали?

— Да вот пытали, пошли ли они уже.
— Пошли, пошли.
— Слава богу! А скажи-ка, молодлица, не пробегал тут шляхтич один, лях проклятый, с дочкою?
— Шляхтич? Лях? Я не бачила.
— И никого тут пришлых не было?
— Був дід. Он мужиков и подговорил, чтобы к Хмелю на Золотоношу шли, потому, говорил, что сюда князь Ярема идет.

— Куда?
— А тут ки. А потом до Золотоноши пойдет, вот что говорил дід.

— Дід, значит, мужиков бунтовать подбил?
— А дід.
— А он один был?
— Нет. С немым.
— А какой он с виду?
— Кто?
— Дід.
— Ой, старый, старенький, на лире играл и на панів жаллся. Да только я его не видала.

— И он мужиков бунтовать подбивал? — снова спросил Антон.

— А подбивал.
— Гм! Оставайся с богом, молодлица.
— Езжайте с богом.

Антон призадумался. Будь этот дед переодетым Заглобою, зачем бы он, чергов сын, мужиков к Хмельницкому уйти склонял? Откуда бы одежду взял? Куда бы подевал коней? Ведь убегал же он верхом. Но самое главное, зачем ему все-таки было мужиков подбивать и остерегать их перед княжеским приходом? Шляхтич остерегать бы не стал, а первым делом сам бы под защиту князя укрылся. Если же князь идет на Золотоношу, что вполне возможно, то за Василевку рассчитается непременно. Тут Антон вздрогнул, ибо новая жердина в воротах показалась ему очень похожей на кол.

«Нет! Дед этот был обыкновенным дедом, и только. И незачем скакать на Золотоношу, разве что удирать в ту сторону».

Но если даже удерешь, что делать дальше? Ждать? Может подойти князь. Идти на Прохоровку и за Днепр переправиться? Напорешься на гетманов.

Бывалому степному волку стало несколько тесновато в широкой степи. Понял он, волк этот, что в лице пана Заглобы наврался на лисицу.

Внезапно он хлопнул себя по лбу.

А зачем этот дед повел мужиков на Золотоношу, за которою была Прохоровка, а за нею, за Днепром, гетманы и весь коронный стан?

Антон решил, как бы оно ни обернулось, но в Прохоровку ехать.

Если, добравшись до берега, он узнает, что на другом берегу гетманские войска, он переправляться не станет, а спустится вниз по реке и у Черкасс соединится с Богуном. По пути заодно разузнает новости о Хмельницком. Антону из показаний Плесневского уже было известно, что Хмельницкий занял Чигирин, что послал Кривоноса на гетманов, а сам с Тугай-беєм незамедлительно должен был выступить вслед. Так что Антон, солдат опытный и хорошо представлявший взаимное местонахождение противников, не сомневался, что битва уже состоялась. А значит, необходимо было решить, чего держаться. Если Хмельницкий побит, тогда гетманские войска растеклись в погоне по всему Приднепровью и Заглобу искать бессмысленно. Но если Хмельницкий победил?.. По правде сказать, Антон не очень верил в это. Легче побить гетманского сына, чем самого гетмана; легче передовые отряды, чем всю армию.

«Эх, — размышлял старый казак, — наш атаман правильнее бы поступил, ежели б о собственной шкуре, не о дивчине, думал. Недалеко от Чигирина можно было бы переправиться через Днепр, а оттуда, пока время есть, прорваться на Сечь. Здесь же, между князем Яремой и гетманами, тяжеленько ему теперь придется».

Размышляя этак, он вместе со своим отрядом шел в направлении Сулы, через которую, если хотел достичь Прохоровки, должен был переправиться сразу за Демьяновкой. Доехали до Могильной, расположенной у самой реки. Тут судьба улыбнулась Антону, ибо, хотя Могильная, так же как и Демьяновка, была пуста, он обнаружил там готовые паромы и перевозчиков, переправлявших крестьян, бегущих на Днепр. Само Заднепровье, находясь под княжеской рукой, восстать не смело, но изо всех деревень, поселений и слобод мужичье убегало, чтобы примкнуть к Хмельницкому и вступить под его знамена. Весть о победе Запорожья у Желтых Вод птицей пронеслась по всему Заднепровью. Дикое население не могло усидеть на месте, хотя само никаким почти утеснениям не подвергалось, ибо, как уже было сказано, князь, безжалостный ко всякому смутьянству, был для спокойных насельников настоящий отец; комиссары же его вверенных им людей обижать не решались. Однако люди эти, недавно из бродяг землепашцами сделавшиеся, тяготились законами, строгостью управления и порядком, а посему сбегали туда, где замерцала надежда на дикую вольницу. Из многих деревень к Хмельницкому убежали даже бабы. Из Чабановки и Высокого, спаливши, чтобы некуда было возвращаться, хаты, ушло все население. В тех же деревеньках, где еще оставался кто-то, вооружали силком.

Антон стал расспрашивать перевозчиков, нет ли каких вестей из-за Днепра. Вести были, но противоречивые, неясные,

разные. Говорили, что Хмель бьется с гетманами, но одни утверждали, что он побит, другие — что победил. Какой-то мужик, бегущий в Демьяновку, сказал, что гетманы попали в плен. Перевозчики заподозрили, что он переодетый шляхтич, но задержать побоялись, потому что слышали, что где-то недалеко княжеское войско. Казалось, страх множил повсюду число княжеских войск, превращая их в вездесущее воинство, так как не было в те дни за Днестром ни одной деревеньки, где бы не утверждали, что князь вот-вот нагрянет. Антон обратил внимание, что его отряд повсюду принимают за подразделение князя Яремы.

Он поскорее успокоил перевозчиков и стал расспрашивать про демьяновских мужиков.

— А как же. Были. Мы их на ту сторону переправляли,— сказал перевозчик.

— А дед был с ними?

— Был.

— И немой с дедом? Молодой парнишка?

— Точно.

— Какой он с виду, дед этот?

— Не старый, толстый, глаза, как у рыбы, на одном бельмо.

— Он! — буркнул Антон и продолжил вопросы: — А парнишка?

— Ой! Отче атамане! Кажется просто херувим. Такого ми і не бачили.

Тем временем подплыли к берегу.

Антон уже знал, что делать.

— Эй, привезем молодую атаману,— бормотал он себе под нос.

Потом скомандовал своим:

— Вперед!

Они понеслись, как стая испуганных дроф, хотя дорога была неудобна, потому что округу перерезали овраги. Пришлось въехать в один огромный, по дну которого вдоль родника проходил словно бы самую природою устроенный большак. Яр тянулся аж до самого Каврайца, так что несколько десятков верст проскакали без отдыха, а впереди на лучшем коне Антон. Уже завиднелось широкое устье яра, как вдруг Антон осадил коня так, что задние подковы заскрежетали по камням.

— Що це?

Устье оврага внезапно переполнилось людьми и лошадьми. Чья-то конница, числом сабель в триста, входила в яр и строилась по шестеро. Антон взгляделся, и, хотя был он воин бывалый и ко всяческим превратностям привычный, сердце его заколотилось, а лицо смертельно побледнело.

Он узнал драгун князя Иеремию.

Уходить было поздно: какие-нибудь двести шагов отделяли Антонов отряд от драгун, а усталые лошади казаков далеко от

погоны бы не ускакали. Драгуны, тотчас заведя их, взяли с места рысью. Через минуту казаков окружили.

— Чьи вы люди? — грозно спросил поручик.

— Богуна! — ответил Антон, понимая, что врать не имеет смысла, потому что мундир все равно выдаст. Однако, признавши поручика, которого встречал в Переяславе, сейчас же с деланною радостью воскликнул:

— Пан поручик Кушель! Слава богу!

— Это ты, Антон! — сказал поручик, взглядываясь в есауя. — Что вы тут делаете? Где атаман?

— Как же, пане, гетман великий послал нашего атамана ко князю-воеводе просить помощи, так что атаман поехал в Лубны, а нам велел ездить по деревням и беглых ловить.

Антон врал без зазрения совести, рассчитывая на то, что, раз драгунская хоругвь идет со стороны Днепра, ей, может быть, неизвестно ни о нападении на Разлоги, ни о битве под Василевкой, ни о каких-либо еще выходах Богуна.

Поручик тем не менее сказал:

— Можно подумать, что вы к бунтовщикам пробираетесь.

— Эй, пане поручик, — сказал Антон, — да захоти мы ко Хмелю уйти, разве ж мы были бы на этом берегу Днепра?

— Оно справедливо, — сказал Кушель. — Оно верно, и мне на это возразить нечего. Да только атаман не застанет князя-воеводу в Лубнах.

— Ну?! А где же князь?

— Был в Прилуках и, возможно, только вчера в Лубны вернулся.

— Ой, жаль. У атамана до князя письмо от гетманов. А позовьте, ваша милость, узнать — не из Золотоноши ли вы идете?

— Нет. Мы в Каленках стояли, а сейчас, как и все остальные, получили приказ идти к Лубнам, откуда князь выступит со всеми силами. А вы куда?

— В Прохоровку. Мужичье там переправляется.

— Много разбежалось?

— Ой багато! Багато!

— Ну тогда поезжайте с богом.

— Благодарим покорно вашу милость. Помогай бог и вам! Драгуны расступились, и Антонов отряд проехал сквозь них к выходу из яра.

Выехав из него, Антон остановился и внимательно прислушался, а когда драгуны вовсе исчезли из глаз и даже последние отголоски по ним отзвучали, он обратился к своим и сказал:

— Знаете ли вы, дурни, что, ежели б не я, вы бы через три дня на колах в Лубнах посдыхали! А теперь вперед, и хоть бы даже дух из коней вон!

Отряд рванул с места.

«Вот уж повезло! — думал Антон. — Вдвойне повезло: во-первых, что шкуру свою спасли, а во-вторых, что драгуны шли

не из Золотоноши, и Заглоба разминутся с ними: повстречай он их, плевать ему было бы на погоню!»

И правда, пану Заглобе не везло ужасно, а фортуна была к нему явно неблагоприятна, ибо не наткнулся он на хоругвишку пана Кушеля, не будучи, таким образом, сразу спасен и избавлен от всяческих неприятностей.

В Прохоровке его как громом сразила весть о корсунском поражении. Уже на пути к Золотоноше по деревням и хуторам поговаривали о великой битве, даже о победе Хмеля, но пан Заглоба этому не верил, хорошо зная, что среди простого народа всякая новость разрастается до небывалых размеров и что об успехах казацких простонародье всего охотнее измышляет себе небылицы. Но в Прохоровке можно уже было не сомневаться. Правда, страшная и злоецащая, ударила как обухом по голове. Хмель — триумфатор, коронное войско разгромлено, гетманы захвачены. Вся Украина объята пламенем.

Пан Заглоба сперва даже растерялся. Он ведь очутился в ужасном положении. Счастье не сопутствовало ему и по дороге, ибо в Золотоноше никакого гарнизона не оказалось. Город бурлил противу ляхов, старая крепостца была оставлена. Заглоба ни секунды не сомневался, что Богун его ищет и что рано или поздно на след нападет. Правда, старый шляхтич петлял, как преследуемый русак, но он превосходно знал гончую, которая его гнала, и знал также, что гончая эта не даст сбить себя со следа. В итоге пан Заглоба имел позади Богуна, а впереди — море крестьянской смуты, резню, пожоги, нападения татар, озверевшую чернь.

Спастись в такой ситуации было задачей почти невыполнимой, особенно же с девушкой, которая, хоть и переодетая дедовским поводом, повсюду привлекала внимание необычайной своей красотой.

Воистину было от чего растеряться.

Однако пан Заглоба надолго не падал духом никогда. Несмотря на величайшую сумятицу в башке, он тем не менее отлично понимал, а вернее, весьма безошибочно чувствовал, что Богуна боится в сто раз больше, чем огня, воды, смуты, резни и самого Хмельницкого. При одной мысли, что можно угодить в руки страшного атамана, мурашки начинали бегать по коже пана Заглобы. «Уж этот бы мне устроил выволочку! — то и дело повторял Заглоба сам себе. — А тут еще впереди море бунта!»

Был очень простой способ спастись: бросить Елену, предоставив ее воле божьей. Но этого пан Заглоба делать не собирался.

— Наверняка, — говорил он ей, — подсыпала ты мне, барышня-панна, чего-то, так что мне из-за тебя шкуру на шагреня выделают.

Нет! Бросать он ее не собирался и даже мысли такой не допускал. Что же ему тогда оставалось делать?

«Га! — размышлял он. — Князя искать нет смысла! Передо мною море, так что нырну-ка я в это море и таким образом скроюсь, а даст бог, и на другой берег выплыву».

И он решил переправиться на другой берег Днепра.

Однако в Прохоровке сделать это было нелегко. Пан Миколай Потоцкий еще для Кречовского и посланных с ним войск реквизировал все дубасы, шухалеи, паромы, чайки и челноки, притом начиная от Переяслава и кончая Чигирином. В Прохоровке остался только один дырявый паром. Парома этого ожидали тысячи людей, бежавших из окрестных поселений. В деревеньке оказались заняты все хаты, коровники, овины, хлева, и дороговизна была неслыханная. Пан Заглоба и впрямь был вынужден лирою и пением зарабатывать на кусок хлеба. Целые сутки не получалось им переправиться, так как паром дважды ломался и его подолгу чинили. Ночь они с Еленой провели у костров, сидя на берегу с толпами пьяного мужицья. Ночь была ветреная и холодная. Княжна даже стоять не могла от усталости и боли, потому что мужицкая обутка до крови стерла ей ноги. Она боялась расхвораться всерьез. Лицо ее осунулось и побледнело, чудные очи перестали сиять. То и дело ее охватывал страх, что, несмотря на костюм, ее распознают или что неожиданно прискачет с погоней Богун. В ту же ночь выпало ей видеть страшное зрелище. Мужики привели с устья Роси толпу шляхтичей, искавших спасения от татарских набегов во владениях Вишневецкого, и зверски убили всех тут же на берегу. Им высверливали буравами глаза, а головы раздавливали меж камней. Кроме того, в Прохоровке оказались две еврейских семьи. Этих взбесившаяся чернь побросала в Днепр, а так как они не желали сразу пойти ко дну, евреев, евреек и их детишек топили длинными баграми. Сопровождалось это воплями и пьянством. Подпившие молодцы бесились с подпившими молодницами. Жуткие взрывы смеха разносились по темным днепровским берегам. Порывистый ветер разметывал костры; красные головни и искры, подхваченные вихрем, летели умирать в воду. То и дело возникал переполох. Какой-нибудь пьяный хриплый голос орал во тьме: «Люди, спасайтесь, Ярема іде!!», и толпа, не разбирая дороги, топча и сталкивая друг друга в воду, бросалась к берегу. Один раз чуть не затоптали Заглобу с княжной. Это была воистину адская ночь, и казалось, никогда она не кончится. Заглоба выключил кварту водки, сам выпил и княжну заставил выпить, иначе та бы лишилась чувств или забылась бы в горячке. Но вот наконец днепровская вода стала светлеть и поблескивать. Рассветало. День нарождался облачный, угрюмый, бледный. Заглобе не терпелось как можно скорее переправиться. По счастью, был исправлен и паром. Однако толчея образовалась страшная.

— Дорогу деду! Дорогу деду! — кричал Заглоба, держа впереди себя меж вытянутых рук Елену и оберегая ее от давки. —

Дорогу деду! Я к Хмельницкому и Кривоносу иду! Дорогу деду, люди добрые, любезные молодцы, чтоб черная смерть прибрала вас и детей ваших! Я ж худо вижу! Я в воду свалюсь! Поводыря утопите! Расступитесь, дітки, паралич разбей вам руки-ноги, чтоб вы сдохли, чтоб на колах вертелись!

Так, шумя, ругаясь и распахивая толпу своими могучими локтями, он сперва втолкнул на паром Елену, а затем, протиснувшись и сам, тотчас же принялся вопить:

— Довольно уже вас тут!.. Куда прете?.. Паром потонет, если вас столько напихается. Хватит... Хватит!.. И ваша очередь придет, а не придет, так и черт с вами!

— Хватит, хватит! — кричали те, кто прорвался на паром. — Отчаливай! Отчаливай!

Весла напряглись, и паром начал отваливать. Быстрое течение сразу же снесло его несколько вниз в направлении Домантова.

Они преодолели уже половину реки, когда с прохоровского берега послышались окрики и зовы. Страшное замешательство поднялось в оставшихся там толпах: одни как полоумные ударились бежать к Домантову, другие попрыгали в воду, а третьи вопили, размахивая руками или кидаясь наземь.

— Что это? Что случилось? — спрашивали на пароме.

— Ярема! — крикнул один голос.

— Ярема, Ярема! Навались! — отозвались другие.

Весла начали судорожно колотить по воде, и паром понесся, точно казацкая чайка.

В ту же секунду какие-то конные появились на прохоровском берегу.

— Жолнеры Яремы! — кричали на судне.

Конные метались по берегу, вертелись, о чем-то выспрашивали людей и наконец стали кричать плывущим:

— Стой! Стой!

Заглоба поглядел, и холодный пот прошиб его с ног до головы: он узнал Богуновых казаков.

Был это и в самом деле Антон со своим отрядом.

Но, как уже было сказано, пан Заглоба надолго головы никогда не терял; он приложил к глазам ладонь, как это делают люди с плохим зрением, и некоторое время вглядывался в берег, потом вдруг принялся вопить, словно бы его живьем резали:

— Дітки! Это же казаки Вишневецкого! Ради господа и святой-пречистой быстрее к берегу! Уж мы тех, кто остался, помянем, а паром порубать, иначе всем нам конец!

— Быстрей, быстрей, порубать паром, — подхватили другие.

Сделался шум, покрывший вопли, доносившиеся со стороны Прохоровки, а паром в эту минуту скрежетнул о прибрежный гравий. Мужики стали выскакивать на берег, но не успели одни

высадиться, как другие уже рвали борта парома, били топорами в дно. Доски и оторванные щепки полетели в разные стороны. Несчастное суденышко уничтожалось с яростью, разрывалось в куски, а страх прибавлял уничтожителем сил.

Все это время пан Заглоба вопил:

— Бей! Руби, рви, жги!.. Спасайся! Ярема идет! Ярема идет!

Оставаясь в таком возбужденном состоянии, он нацелил свой здоровый глаз на Елену и со значением принялся подмигивать.

Меж тем на другом берегу крики, пока уничтожался паром, усилились, однако из-за значительного расстояния невозможно было понять, что кричали. Взмахи рук казались угрожающими и поэтому ускоряли поспешность уничтожения.

Спустя малое время судно перестало существовать, но из всех грудей вырвался вдруг вопль ужаса и отчаяния:

— Скачут у воду! Пливут до нас! — вопили мужики.

Сперва один, а за ним несколько десятков всадников въехали на лошадях в днепровскую воду и пустились вплавь. Было это делом просто-таки безумным, ибо вздутая еще с весны река бежала много поспешнее, чем обычно, создавая там и сям бесчисленные водоверты и быстрины. Подхваченные течением кони не могли плыть по прямой, и вода с непомерной быстротой начала сносить их.

— Не доплывут! — кричали мужики.

— Потонут!

— Слава богу! Во! Во! Один конь уже окунулся.

— На погибель же им!

Лошади преодолели треть реки, но течение сносило их все сильнее. Как видно, они выбились из сил и медленно, но все глубже погружались. Через некоторое время сидевшие на них молодцы оказались уже по пояс в воде. Прошло еще какое-то время. Прибежали мужики из Шеленухи поглядеть, что происходит: уже только лошадиные головы виднелись над водой, а молодцам вода доходила до груди. Однако подреки они все-таки переплыли. Внезапно одна конская голова и один молодец исчезли под водой, ватем второй, третий, четвертый и пятый... Число плывущих все уменьшалось и уменьшалось. В толпах по обе стороны реки воцарилось глухое молчание, и все шло вниз по берегу, чтобы увидеть, чем все кончится. Вот уже две трети преодолены, количество плывущих еще уменьшилось, но стало слышать тяжкий храп коней и возгласы, ободряющие молодцев. По всему было видно, что некоторые доплывут.

Внезапно в тишине раздался голос Заглобы:

— Гей! Дітки! В ружье! На погибель княжеским!

Заклубились дымки, загремели выстрелы. С реки донеслись отчаянные крики, и спустя короткое время кони и молодцы —

все исчезло. Река опустела, только где-то, уже вдалеке, на гребне волны вдруг появлялось конское брюхо или мелькала красная шапка казака.

Заглоба глядел на Елену и подмигивал...

ГЛАВА XXII

Князь-воевода русский, прежде чем на пана Скшетуского, забывшегося на пепелище Разлогов, наткнулся, знал уже о корсунской катастрофе, так как ему пан Поляновский, товарищ гусарский княжеский, о том в Саготине донес. Еще прежде того пребывал князь в Прилуках и оттуда пана Богуслава Маскевича к гетманам с письмом отправил, вопрошая, куда они ему со всеми его силами повелят явиться. Но поскольку пана Маскевича с ответом гетманов долго не было, двинулся князь к Переяславу, рассылая во все стороны передовые отряды, а также приказы, чтобы полки, оставшиеся разбросанными по Заднепровью, как можно скорее шли к Лубнам.

Однако были получены известия, что более десятка казацких хоругвей, по границам с ордой на «полянках» стоявших, уже или разбежались, или примкнули к смуте. Князю таким образом стало ясно, что силы его внезапно уменьшились, и он прेमного этим удручился, ибо никак не ожидал, что люди, которыми он столько раз победоносно предводительствовал, могут его бросить. Встретясь же с Поляновским и узнав о неслыханном поражении, он известие это от войска утаил и пошел далее к Днепру, предпочитая идти наудачу прямо в бурю и бунт и либо за поражение отомстить, смыв бесславье войска, либо собственную кровь пролить. Еще он полагал, что какая-то часть, а возможно, и немалая, коронных войск могла после разгрома уцелеть. Если бы они увеличили его шеститысячную дивизию, можно было с надеждой на победу померяться силами с Хмельницким.

Остановившись в Переяславе, приказал он маленькому Володыёвскому и пану Кушелю, чтобы те своих драгун во все концы — в Черкассы, в Мантов, Секирную, Бучач, Стайки, Трехтымиров и Ржищев — разослали и все суда да паромы, какие бы там обнаружили, пригнали. После чего войско должно было с левого берега в Ржищев переправиться.

Посланные узнали от встреченных беглых о поражении, но во всех означенных городах ни одного суденышка не обнаружили, ибо, как уже было сказано, половину их великий коронный гетман давно для Кречовского и Барабаша изьял, остальное же взбунтовавшаяся на правом берегу чернь, опасаясь князя, уничтожила. Тем не менее пан Володыёвский, наскоро велевши сплотить из бревен плот, сам-десять достиг правого берега. Там поймал он человек пятнадцать казаков, которых представил пред князя. От них князь узнал о чудовищном распространении бун-

та и страшных последствиях, каковым корсунское поражение уже сделалось причиною. Вся Украина, до последнего человека, восстала. Бунт ширился, как полая вода, когда она катится по равнине — и моргнуть не успеешь — все более необозримые пространства заливаает. Шляхта отбивалась по замкам и крепостцам, многие из которых были уже захвачены казаками.

Хмельницкий увеличивал свои силы с каждой минутою. Схваченные казаки определяли число его войск в двести тысяч человек, но через пару дней количество их легко могло удвоиться. Поэтому после битвы он все еще стоял в Корсуне и, пользуясь передышкой, приводил свое бессчетное воинство в порядок. Он разделил чернь на полки, назначил в полковники атаманов и самых опытных запорожских есаулов, разослал отряды, а то и целые дивизии воевать окрестные замки. Приняв все это во внимание, князь Иеремия понял, что из-за отсутствия челнов, изготовление которых для шеститысячной армии отняло бы несколько недель, и ввиду буйно и сверх всякой меры умножившейся мощи неприятеля возможность переправиться через Днепр в той местности, где он сейчас находился, отсутствует. На военном совете пан Поляновский, полковник Барановский, стражник Александр Замойский, пан Володыёвский и Вурцель держались мнения двинуться на север к Чернигову, лежавшему за глухими лесами, оттуда же идти на Любеч и только там переправиться к Брагину. Это была дорога долгая и небезопасная, ибо за черниговскими лесами путь к Брагину пролегал через огромные трясины, где и пехоте нелегко было бы пройти, а что же тогда говорить о тяжелой кавалерии, обозе и артиллерии! Тем не менее совет князю понравился, и он пожелал лишь перед долгой этой и, как он полагал, безвозвратной дорогой тут и там на Заднепровье своем появиться, чтобы до немедленного востания не допустить, шляхту под свои крыла собрать, страх посеять и страх этот в памяти людской оставить, дабы в его отсутствие память эта стала охранительницей края и защитницей всем тем, кто не смог уйти с армией. Кроме того, княгиня Гризельда, панны Збаражские, фрауциммер, весь двор и некоторые regimenty, а именно пехота, оставались еще в Лубнах; так что решил князь отправиться на последнее прощание в Лубны.

Войско выступило в тот же день, а впереди — пан Володыёвский со своими драгунами, которые хоть и были все без исключения русины, но привыкшие к дисциплине и в регулярных солдат превращенные, верностью все прочие хоругви превосходили. Край был пока спокоен. Кое-где, правда, уже появились мятежные шайки, грабившие как усадьбы, так и крестьян. Бунтовщиков этих немало по дороге было разгромлено и посажено на колы. Но холопья пока что нигде не поднялись. Умы кипели, огонь пылал в мужицких взорах и душах; тайно вооружаясь, мужичье убегало за Днепр. Однако страх пока еще умерял жажду крови и убийств. Покамест лишь дурным предзнаменованием

на будущее можно было почесть то, что даже в деревеньках, где крестьяне не подались до сих пор к Хмелю, они разбегались при подходе княжеских войск, словно опасаясь, что страшный князь прочтает в их глазах все, что подспудно лежало на их совести, и накажет, чтобы впредь неповадно было. Наказывал же он только там, где малейший признак замышляемого бунта обнаруживал, а поскольку натуру и в наказании, и в поощрении имел неудержимую, то наказывал без жалости и пощады. Можно сказать, что по обе стороны Днепра блуждали тогда два призрака: один — для шляхты — Хмельницкий, другой — для взбунтовавшегося простонародья — князь Иеремия. Шли даже разговоры, что, когда эти двое столкнутся, солнце, надо полагать, затмится и воды по всем рекам кровавыми сделаются. Но скорого столкновения не ожидалось, ибо этот самый Хмельницкий, победитель у Желтых Вод, победитель при Корсуне, Хмельницкий, в пух и прах разбивший коронные войска, захвативший в плен гетманов и теперь стоявший во главе сотен тысяч бойцов, попросту говоря, боялся этого самого володетеля из Лубен, каковой намеревался искать его за Днепром. Княжеское войско только что перешло Слепород, а сам князь остановился на отдых в Филипове, когда ему сообщили, что от Хмельницкого с письмом и просьбою выслушать явились посланцы. Князь велел их немедленно привести. И вот шестеро запорожцев вошли в подстаростовский дворик, где стоял князь, и вошли довольно независимо, особенно старший, атаман Сухорука, гордый корсунским разгромом и свежим своим полковничьим званием. Однако стоило им увидеть лицо князя, как охватил их тотчас страх столь великий, что, павши ко княжеским ногам, не смели посланцы и слова молвить.

Князь, сидевший в окружении первейшего рыцарства, велел им подняться и спросил, с чем прибыли.

— С письмом от гетмана, — ответил Сухорука.

Князь пристально поглядел на казака и спокойно сказал, нажимая на каждое слово:

— От вора, сквернавца и разбойника, не от гетмана!

Запорожцы побледнели, а вернее сказать, посинели и, свесив головы, молча топгались у дверей.

Князь велел пану Маскевичу взять от них послание и прочесть.

Письмо было смиренное. В Хмельницком хоть и после Корсуни, но лисица взяла верх над львом, а змея над орлом, так как он не забывал, что пишет к Вишневецкому¹. То ли он заискивал, чтобы сбить с толку и тем вернее укусить, но заискивал

¹ Самоил Величко, с. 79. Писал Хмельницкий к князю: «...чтобы тогда за то, что с гетманами коронными случилось, он, князь Вишневецкий, не обижался и гнева своего к нему, Хмельницкому, простирает не позволял». (Примеч. автора.)

он явно. Он писал, что все случилось по вине Чаплинского, что гетманам просто приключилась превратность фортуны и что этому не он, не Хмельницкий, причиной, но злая доля и утешения, каковые на Украине казаки терпят. Однако ж князя он просит, чтобы тот этим не огорчался, а соблаговолил ему простить, за что он навсегда останется покорным и смиренным княжеским слугою, а чтобы княжескую милость для посланцев своих обрести и от ярости княжеского гнева их уберечь, он сообщил, что товарища гусарского, пана Скшетуского, каковой на Сечи схвачен, отпускает целым и невредимым.

Тут следовали жалобы на строптивость пана Скшетуского, ибо тот письмо от Хмельницкого ко князю взять не пожелал, чем достоинство гетманское и всего Войска Запорожского весьма не уважил. Этой-то именно гордыне и небрежению, каковые постоянно терпели казаки от ляхов, приписывал Хмельницкий все, что случилось, начиная от Желтых Вод и до Корсуни. Завершалось письмо уверениями в сожалении, в верности Речи Посполитой, а также обещаниями оставаться послушным слугою, княжеской воле покорным.

Слушая послание, сами посланники удивлялись, ибо, что стоит в письме, не знали, полагая, что скорее всего — оскорбления и дерзкие выпады, но не просьбы. Им было ясно, что Хмельницкий не желал ставить все на карту, имея противником столь прославленного воителя, и, вместо того чтобы пойти на него со всеми своими силами, медлил, так как князя боялся; смирением сбивал с толку, ожидая, как видно, что княжеские силы в походах и многочисленных стычках с отдельными шайками поредеют. Посланники посему присмирели еще больше и во время чтения внимательно следили за лицом Иеремии — не угадают ли, часом, смерти своей. И хотя, едуци сюда, были к ней готовы, сейчас охватил их страх. А князь слушал спокойно, лишь иногда веки опуская на очи, словно бы желая скрыть таившиеся во взгляде громы, и было яснее ясного, что обуздывает он в себе страшный гнев. Когда письмо было дочитано, он не обмолвился с посланцами ни словом, а велел Володыёвскому увести их вон и содержать под стражей, сам же, обратившись к полковникам, сказал следующее:

— Велика хитрость сего неприятеля, ибо или хочет он этим письмом меня усыпить, чтобы на усыпленного напасть, или же в глубь Речи Посполитой задумал податься, где заключит договор, прощение от медлящих сословий и короля получит, а сам таким образом окажется в безопасности, ведь, захоти я его потом воевать, тогда бы уже не он, но я поступал бы вопреки воле Речи Посполитой и почтен был бы мятежником.

Вурцель прямо за голову схватился.

— O vulpes astuta! ¹

¹ О, хитрая лиса! (лат.)

— Что же в таком случае советуете делать, милостивые государи? — сказал князь. — Говорите смело, а я вам потом свою волю объявлю.

Старый Зацвилиховский, который давно уже, оставив Чигирин, присоединился к князю, сказал:

— Пускай же все совершится по воле вашего княжеского сиятельства, но если позволительно мне дать совет, то скажу я, что с присущей вашему княжескому сиятельству прозорливостью намерения Хмельницкого ты разгадал, ибо они именно такие, а не другие; посему полагаю я, что, не приняв этого письма во внимание, но обезопасив сперва княгиню-госпожу, следует идти за Днепр и начинать войну, прежде чем Хмельницкий успеет какие бы то ни было договоры заключить. Позор оно и бесчестие для Речи Посполитой — таковые *insulta*¹ оставлять безнаказанными. К сему, — тут он обратился к полковникам, — хочу узнать и ваши мнения, свое безошибочным не полагая.

Стражник обозный, пан Александр Замойский, лягнул саблей.

— Ваша милость хорунжий, *senectus*² вашими устами говорит и *sapientia*³. Башку надо оторвать этой гидре, пока она не разрослась и нас первая не пожрала.

— Аминь! — сказал ксендз Муховецкий.

Остальные полковники предпочли не высказываться, но стали по примеру пана стражника и лягать саблями, и сопеть, и зубами скрежетать, а Вурцель взял слово и сказал следующее:

— Ваша светлость князь! Оскорбление оно даже вашему княжескому сиятельству, что означенный вор писать к вашему княжескому сиятельству дерзнул, ибо только кошевой атаман уполномочен олицетворять в своей особе преэминенцию от Речи Посполитой, законную и признанную, и даже куренные присвоить себе право на это не могут. Но он же есть гетман самозванный, который не иначе как только разбойником почтен быть может, что пан Скшетуский похвально учел, когда писем его к вашему княжескому сиятельству брать не пожелал.

— Так и я думаю, — сказал князь. — А поскольку самого его я достигнуть не могу, посему он в особах своих посланцев наказан будет.

Сказав это, князь обратился к полковнику татарской хоругви:

— Ваша милость Вершулл, вели же своим татарам казаков этих обезглавить, а для верховода кол выстругать и без промедления на кол этот его посадить.

Вершулл склонил свою рыжью точно огонь голову и вышел, а ксендз Муховецкий, князя обычно сдерживающий, сложил,

¹ оскорбления (лат.).

² старость (лат.).

³ мудрость (лат.).

словно бы для молитвы, руки и в глаза ему умоляюще воззрился, пытаясь углядеть в них милосердие.

— Знаю я, ксендз, о чем ты печешься, — сказал князь-воевода, — но так оно должно быть. Сие необходимо ввиду жестокостей, которые они там за Днестром совершают, и ради достоинства нашего, и ради блага Речи Посполитой. Нужно, чтоб доведено было, что есть кто-то, кто еще главаря этого не страшится и трактует его как разбойника, который хотя и пишет смиренно, но поступает предерзко, а на Украине точно удельный князь себя ведет и таковую беду Речи Посполитой приносит, какой она давно уже не знавала.

— Ваша светлость князь, он Скшетуского, как пишет, отпустил, — нерешительно сказал священник.

— Благодарю же тебя от имени нашего офицера, что его с головорезами равняешь. — Тут князь насупил брови. — Все! Довольно об этом. Вижу я, — продолжал он, обращаясь к полковникам, — что вы, судари мои, все *sufragia*¹ в пользу войны подаете. Такова и моя воля. Посему пойдем на Чернигов, собирая по дороге шляхту, а возле Брагина переправимся, после чего нам предстоит на юг двинуться. А теперь — в Лубны!

— Помогай господи! — сказали полковники.

В эту минуту отворилась дверь, а в ней появился Розтворовский, наместник валахской хоругви, высланный два дня назад с тремя саблями в разведку.

— Ваша светлость князь! — воскликнул он. — Мятаж ширится! Разлоги сожжены, в Василевке хоругвь поголовно перебита.

— Как? Что? Где? — послышалось со всех сторон.

Но князь кивнул рукою, все умолкли, а он спросил:

— Кто это сделал? Бандиты или войско какое?

— Говорят, Богун.

— Богун?

— Так точно.

— Когда это случилось?

— Три дня назад.

— Пошел ли ты, ваша милость, следом? Догнал ли? Схватил ли языка?

— Я за ним пошел, но догнать не смог, так как шел с разницей в три дня. Сведения по дороге собирал: они уходили обратно на Чигирин, потом разделились. Половина пошла к Черкассам, половина — к Золотоноше и Прохоровке.

На это пан Кушель:

— Значит, я встретил тот отряд, который шел к Прохоровке, о чем вашему княжескому сиятельству доносил уже. Они сказались отряженными Богуном беглых холопов за Днестр не пускать, поэтому я их беспрепятственно и отпустил.

¹ голоса (лат.).

— Глупо, ваша милость, поступил, но я тебя не виню. Невозможно не ошибаться, когда на каждом шагу измена и земля горит под ногами, — сказал князь.

Внезапно он схватился за голову.

— Боже всемогущий! — воскликнул он. — Я совершенно запямятовал! Мне же Скшетуский говорил, что Богун на барышню Курцевич зарится. Ясно теперь, почему Разлоги сожжены. Девушка, по всей вероятности, похищена. Гей, Володыёвский, ко мне! Возьмешь, сударь, пятьсот сабель и к Черкассам снова пойдешь, Быховец с пятьюстами валахами пускай на Золотоношу к Прохоровке идет. Коней не жалеть. Кто девушку отобьет, Еремеевку в вечное владение получит. Отправляйтесь же! Отправляйтесь!

После чего он обратился к полковникам:

— Милостивые государи, а мы — на Разлоги, к Лубнам!

Полковники высыпали с подстаростова двора и бросились в свои хоругви. Стремянные кинулись садиться на коней, а князю подвели гнедого аргамака, на котором он обычно в походах ездил. Спустя короткое время хоругви выступили и растянулись по филиповской дороге долгою, пестрой и сверкающей змеею.

Возле рогатки кровавое зрелище предстало солдатским взорам. На плетне, в кустах, торчали пять отрубленных казацких голов, озиравших идущее мимо войско мертвыми белками выпученных глаз, а недалеко, тут же за рогаткой, на зеленом взгорке, корчился еще и дергался посаженный на кол атаман Сухорука. Острие уже прошло тело наполовину, но долгие часы муки еще предстояли несчастному атаману; он и до вечера мог так дергаться, прежде чем смерть успокоила бы его. Сейчас он не только был еще жив, но и страшно поводил очами вслед каждой проходившей мимо него хоругви, и эти эти говорили: «Накажи господь, вас, и детей ваших, и внуков до десятого колена за кровь, за раны, за муки! Чтоб сгнули и вы, и племя ваше! Чтобы ни одно несчастье не миновало вас! Чтобы вы непрестанно подышали, но ни умереть, ни жить не могли!» И хотя простой это был казак, хотя кончался не в пурпуре и не в парче, но в синем жупанишке, не в замковых покоях, а под голым небом на колу, мука его, смерть, витающая над его головой, таковою осияли его значительностью, такую силу придали взору его, такое море ненависти очам, что всем сделалось ясно, чего он сказать хочет. И хоругви в молчании проходили мимо, а он в золотом блеске полудня возносился над ними и светочем на свежеструганном колу казался...

Князь проехал, даже не глянув. Ксендз Муховецкий крестом несчастного осенил, и все уже почти прошли, как вдруг некий юноша из гусарской хоругви, ни у кого не спросившись, повернул лошадку на взгорок и, приложив пистолет к уху несчастного, одним выстрелом прекратил его муки. Все содрогнулись от

столь дерзкого и неслыханного нарушения дисциплины и, зная суровость князя, заранее полагали гусарика человеком конченым; но князь ничего не сказал: то ли сделал вид, что не услышал, то ли был глубоко в мысли погружен. Он продолжал спокойно ехать и лишь вечером велел позвать паренька.

Тот ни жив, ни мертв предстал пред очи князя, полагая, что земля разверзнется под ногами. А князь спросил:

— Как твое имя?

— Желенский.

— Ты выстрелил в казака?

— Я,— запнувшись, произнес бледный как полотно отрок.

— Зачем же ты это сделал?

— На муку глядеть не мог.

Князь, нет чтобы разгневаться, сказал:

— Ой, нагладишься ты на их дела и от зрелищ этих сострадание от тебя, как ангел, отлетит. Но за то, что ты милосердия ради жизнью своей рисковал, казначей в Лубнах тебе десять червонных золотых отсчитает, а я к своей особе тебя на службу беру.

И все удивились, что дело это так закончилось, но тут стало известно, что из близкой Золотоноши воротился отряд, и мысли всех обратились на другое.

ГЛАВА XXIII

Поздним вечером при луне войска подошли к Разлогам. Там наткнулись они на пана Скшетуского, сидящего на своей Голгофе. Рыцарь, как мы знаем, от горя и страданий совсем забылся, и, лишь когда ксендз Муховецкий привел его в чувство, офицеры взяли Скшетуского с собою, стали здороваться с ним и утешать, а горячее всех пан Лонгинус Подбиятка, который уже целый квартал считался в хоругви Скшетуского полноправным товарищем.

Он немедленно готов был вторить ему во вздыханиях и сетованиях и тотчас же положил себе новый зарок — до самой смерти поститься по вторникам, если господь пошлет наместнику хоть какое утешение. Скшетуского тем временем отвели к князю, стоявшему постоем в мужицкой хате. Тот, увидев своего любимца, слова не молвил — только распахнул объятия. Пан Ян с рыданием упал в объятия эти, а князь ко груди его прижал и в голову стал целовать, причем присутствовавшие офицеры лицезрели слезы в достойных очах его.

Спустя какое-то время князь сказал:

— Как сыну, рад я тебе, ибо думал уже, что не увижу тебя более. Неси же мужественно бремя свое и знай, что тысячи будут у тебя товарищей по несчастью, потерявших жен, детей, родителей, сродников и друзей. И как пропадает капля в океане,

так пускай и твоя беда в море общей беды растворится. Когда для отчизны милой наступили столь страшные времена, тот, кто мужествен и с мечом не расстается, оплакиванию своих потерь не предастся, но на помощь матери нашей общей поспешит и либо совести своей покой обрящет, либо славной смертью погибнет и венец небесный, а с ним и вековечное блаженство обретет.

— Аминь! — отозвался капеллан Муховецкий.

— О милостивый княже, по мне, лучше мертвою видеть ее! — рыдал рыцарь.

— Плачь же! Велика твоя потеря, и мы с тобою плакать будем, потому что не к нехристям, не к диким скифам, не к татарам, но к братьям и товарищам соболезнующим приехал ты; посему скажи себе так: «Сегодня над собой плачу, а завтра уже не мое!» — ибо знай, завтра мы на войну выступаем.

— С вашим княжеским сиятельством хоть на край света! Но утешиться я не могу, так мне без нее тяжело, что вот не могу, не могу...

И бедный солдат то за голову хватался, то пальцы кусать начинал, чтобы всхлипы унять, то снова впадал в неонисуемое отчаяние.

— Ты сказал: «Да будет воля твоя!» — сурово напомнил ксендз.

— Аминь, аминь! Воли его я и предаю себя, только... с отчаянием... ничего не могу поделать, — отвечал рыцарь, глотая слезы.

И видно было, что он борется, что старается совладать с собой, так что терзания его тем более заставили всех прослезиться, а кто почувствительнее, как, скажем, пан Володьевский и пан Подбиятка, те просто в три ручья плакали. Последний то и дело ладони у груди складывал и жалобно повторял:

— Братушка, братушка, успокойся!

— Слушай! — сказал внезапно князь. — Мне известно, что Богун отсюда к Лубнам помчался и в Василевке моих людей перебил. Поэтому заранее не отчаивайся, ведь она, возможно, ему не досталась, ибо зачем бы он тогда к Лубнам пошел?

— Верно! Такое возможно! — закричали офицеры. — Господь утешит тебя.

Пан Скшетуский глаза открыл, словно бы не понимая, о чем разговор, но вдруг в мозгу его забрезжила надежда, и наместник, как стоял, бросился к ногам князя.

— О сиятельный княже! Жизнь, кровь! — восклицал он.

И не смог сказать ничего более, ибо так ослабел, что пану Лонгинусу пришлось поднять его и усадить на лавку; однако по лицу наместника уже было видно, что он ухватился за эту мысль, как утопающий за соломинку, и что отчаяние его поуменьрилось. Присутствовавшие стали раздувать искорку эту, говоря, что, по всей вероятности, княжну свою он и найдет в Лубнах. Затем отвели его в другую хату, куда принесли вина и меду.

Наместник хотел было выпить чарку, но из-за судорог, сжимающих ему горло, не смог; зато верные его товарищи пили, а подпивши несколько, принялись его обнимать, целовать и поражаться изможденности и следам болезни, каковые явственны были на его лице.

— Просто скелет с виду! — поражался толстый пан Дзик.

— Наверно, оскорбляли тебя на Сечи, есть и пить не давали?

— Что было с тобою?

— Расскажу в другой раз, — слабым голосом отвечал Скшетуский. — Поранили меня, и проболел я.

— Поранили его! — воскликнул пан Дзик.

— Поранили, хотя и посол! — сказал пан Слешинский.

И оба поглядели друг на друга, изумляясь казацкой наглости, а потом заключили один другого в объятия от превеликих к пану Скшетускому чувств.

— А ты видал Хмельницкого?

— Видал.

— Подать его сюда! — кричал Мигурский. — Мы его сей же момент на бигос пустим!

За такими разговорами прошла ночь. Поутру сделалось известно, что и второй отряд, посланный в дальнюю вылазку к Черкассам, вернулся. Отряд этот, разумеется, Богуна не догнал, а значит, и не поймал, но привез удивительные новости и привел множество взятых по дороге людей, видевших Богуна два дня назад. Люди эти сообщили, что атаман, по всей видимости, за кем-то гнался, так как повсюду спрашивал, не встречал ли кто толстого шляхтича с казачком. При этом он страшно торопился и мчался сломя голову. Люди все, как один, ручались, что никакой девушки с Богуном не было, а будь она, они наверняка бы ее заметили, ибо Богунов отряд был очень малочислен. Новое ободрение, но и новая забота поселились в сердце пана Скшетуского, потому что реляции эти, попросту говоря, были малопомятны.

Он не мог взять в толк, зачем Богун сперва помчался к Лубнам и накинулся на василевский гарнизон, а затем вдруг повернул к Черкассам. То, что Богун Елену не увез, казалось бесспорным, ибо Кушель повстречал Антонов отряд, в котором ее тоже не было; люди же, приведенные теперь со стороны Черкасс, не видели ее и среди Богуновых спутников. Где же в таком случае могла она быть? Где схоронилась? Убежала ли? Если убежала, то в какую сторону? Почему решила бежать не в Лубны, но к Черкассам или Золотоноше? Богуновы отряды явно кого-то преследовали и за кем-то охотились возле Черкасс и Прохоровки. Но зачем опять-таки расспрашивали они про шляхтича с казачком?

Наместник на все эти вопросы ответить не мог.

— Посоветуйте, скажите, объясните, что все означает? —

обратился он к офицерам. — В моей голове это просто не укладывается!

— По-моему, она, вероятнее всего, в Лубнах, — сказал пан Мигурский.

— Быть такого не может! — возразил хорунжий Зацвилюховский. — Будь она в Лубнах, Богуи скорее бы в Чигирине застался, но в сторону гетманов, о разгроме которых знать еще не мог, не пошел бы. А раз он казаков разделил и бросился по двум дорогам, то, скажу я вашей милости, не за кем другим, а только за нею.

— Но ведь он же про старого шляхтича и казачка расспрашивал?

— Не надобно большое sagacitatis¹, чтобы догадаться, что если она убежала, то не в женской одежде, а, вероятнее всего, в чужом платье, дабы ненужных следов не оставлять. Я так полагаю, что казачок этот — она и есть.

— Вот! Точно, точно! — стали восклицать остальные.

— Ба, но кто же тогда толстый шляхтич?

— Чего не знаю, того не знаю, — сказал старый хорунжий, — но разузнать про это нетрудно. Знают же мужики, что тут произошло и кто тут был. Давайте-ка сюда хозяина этой хаты.

Офицеры бросились за хозяином и вскорости из коровника притащили за шиворот підсусідка.

— Холоп, — сказал Зацвилюховский, — а был ли ты здесь, когда казаки с Богуином на усадьбу напали?

Мужик, как водится, стал божиться, что не был, что ничего не видал и знать ничего не знает. Зато Зацвилюховский знал, как повести дело, сказав:

— Так я тебе и поверил, что ты, собачий сын, под лавкой сидел, когда усадьбу грабили! Расскажи это кому другому, ибо вот лежит червонный золотой, а там человек с мечом стоит — выбирай! Заодно мы и деревеньку сналим, беда несчастным людям через тебя приключится.

Тут підсусідок стал выкладывать, что знал. Когда казаки затеяли гульбу на усадебном майдане, он вместе с прочими пошел поглядеть, что происходит. Узнали они, что княгиня и князя перебиты, что Миколай атамана поранил и что тот все равно как мертвый лежит. Как обстоит дело с панной, они разузнать не смогли, но рано поутру стало известно, что она убежала со шляхтичем, который приехал с Богуином.

— Вот оно как! Вот оно как! — приговаривал Зацвилюховский. — Держи, мужик, червонный золотой. Понял теперь, что бояться нечего? А ты видал этого шляхтича? Не из соседей ли кто?

— Видал, пане, он не тутешний.

¹ чутье (лат.).

— А собой каков?

— Толстый, пане, как печка, и с седою бородой. А про-
и ли на в, як дідько. Слепой, кажись, на один глаз.

— О господи! — сказал пан Лонгинус. — Так это же, на-
верно, пан Заглоба!.. Кто бы другой, а?

— Заглоба? Погоди-ка, сударь! Заглоба. Очень возможно!
Они в Чигирине с Богуном снюхались, пьянствовали вместе и в
вернь играли. Очень это возможно. По обличью — он.

Тут Зацвилюховский снова обратился к мужику:

— И шляхтич этот убежал с панной?

— Убег. Так мы слышали.

— А Богуна вы хорошо знаете?

— Ой-ой, пане! Он же ж тут месяцами жил.

— А не может быть, что шляхтич по его приказу панну
увез?

— Нет, пане! Он же Богуна связал и жупанишком обмо-
тал голову ему, а панну, говорят, увез, только ее и видели. Ата-
ман, как сіромаха, выл. А в день велел себя меж коней при-
вязать и на Лубны побег, но не догнал. Потом поскакал в дру-
гую сторону.

— Слава те господи! — сказал Мигурский. — Выходит, она
в Лубнах, а то, что за нею к Черкассам гнались, ничего не зна-
чит, не нашедши тут, попытали счастья там.

Пан Скшетуский уже стоял на коленях и горячо молился.

— Ну и ну! — ворчал старый хорунжий. — Не ожидал я от
Заглобы такой прыти! Со столь знаменитым бойцом, как Богун,
задираться! Оно конечно, к пану Скшетускому он очень располо-
жен был за мед лубненский, который мы вместе в Чигирине
распили, и неоднократно мне про то говорил и достойным ка-
валером его величал... Так-так! У меня это просто в голове не
умещается: ведь и на Богуновы деньги он выпил немало. Но
связать Богуна и барышню увезти! — такой отваги я не ожидал,
ибо полагал его горлопаном и трусом. Ловкий-то он ловкий, да
враль зато превеликий, а у таких людей вся храбрость — языком
молоть.

— Какой ни есть, а княжну от разбойничьих рук спас, и
ведь это не шутка! — заметил пан Володыёвский. — На выдумки,
как видно, он горазд, так что обязательно сумеет с нею в безо-
пасности от врагов оказаться.

— Он ведь и своей шкурой рискует, — заметил Мигурский,
после чего обратился к Скшетускому: — Утешься же, товарищ
наш милый!

— Мы все у тебя еще дружками будем!

— И на свадьбе погуляем.

Зацвилюховский добавил:

— Если он за Днепр пошел и узнал о корсунском разгроме,
то, надо думать, сразу повернул к Чернигову, а значит, мы его
по дороге нагоним.

— За благополучное завершение всех горестей и мытарств нашего друга! — закричал Слешинский.

Все стали возглашать виваты в честь пана Скшетуского, княжны, их будущих потомков и пана Заглобы, и за этим занятием прошла ночь. На рассвете протрубили «по коням». Войско двинулось на Лубны.

Поход совершался быстро, ибо княжеские полки шли без обозов. Хотел было пан Скшетуский с татарской хоругвью вперед вырваться, но был еще слишком слаб, так что князь держал его при своей особе, желая к тому же отчет получить о наместниковом посольстве на Сечь. Рыцарь подробно рассказал, как ехал, как набросились на него на Хортице и на Сечь увели, только о препирательствах с Хмельницким умолчал, чтоб не выглядело похвальбою. Больше всего возмутило князя сообщение, что у старого Гродзицкого нету пороха и что поэтому долговременной обороны тот не обещал.

— Упущение в том непростительное, — молвил князь, — ибо фортеция много бы мятежу помешать могла и урона нанести тоже. Воин он первейший, пан Гродзицкий, подлинный Речи Посполитой *decus et praesidium*¹. Почему же он ко мне за порохом не послал? Я бы из лубненских запасов дал.

— Видно, полагал, что великий гетман *ex officio*² должен был позаботиться об этом, — сказал пан Скшетуский.

— Видно, так... — сказал князь и умолк.

Однако спустя мгновение заговорил снова:

— Великий гетман — воитель старый и опытный, но слишком уж самоуверенный, чем себя и погубил. Ведь он мятеж этот недооценивал, а когда я к нему с помощью вызвался прийти, отнесся к предложению моему без особого жара. Не хотел ни с кем славою делиться, боялся, что мне викторию припишут...

— Так и я считаю, — сказал серьезно Скшетуский.

— Батогами намеревался он Запорожье усмирить, и вот что получилось. Господь покарал гордыню. Гордыня, она ведь и всевышнему несносна. Гибнет наша Речь Посполитая, и на каждом, похоже, есть грех за это...

Князь говорил правду, ибо тоже был не без греха. Не так давно, а точнее, когда была тяжба относительно Гадяча с Александром Конецпольским, князь вступил в Варшаву с четырьмя тысячами людей, каковым приказал в сенаторскую палату ворваться и всех рубить, если принудят его в сенате присягать. А действовал он так, тоже гордыню теша, не желая, чтобы его заставляли присягать, слову княжескому не веря.

Возможно, вспомнил он сейчас этот случай, ибо задумался и далее уже ехал в молчании, блуждая взором по широкой степи, окружавшей большак, а может быть, размышлял он о судь-

¹ украшение и щит (лат.).

² по обязанности (лат.).

Бах этой вот самой Речи Посполитой, которую любил всюю своей горячей душою и для которой, казалось, наступал *dies irae et calamitatis*.

Полудни показали на высоком берегу Сулы округлые маковки лубненских церквей и остроконечные башни над сверхающей крышей костела святого Михаила. Войско медленно входило в город, и продолжалось это до самого вечера. Сам князь тотчас отправился в замок, где, согласно высланным заранее указам, все имело быть готово в дорогу; хоругви же расположились на ночь по городским постоям, что оказалось делом непростым, так как народу съехалось видимо-невидимо. Узнав об успехах восстания на Правобережье и опасаясь брожения среди крестьян, все шляхетское Заднепровье нагрянуло в Лубны. Даже с далеких окраин пришли шляхтичи с женами, домочадцами, челядью, конями, верблюдами и целыми стадами скота. Посъезжали княжеские комиссары, подстаросты, всевозможнейшие чиновники шляхетского состояния, арендаторы, евреи — словом, все, против кого бунт мог обратить свою ярость. Казалось, в Лубнах не ко времени происходит ежегодная ярмарка: тут тебе были и московские купцы, и астраханские татары, которые, направляясь с товаром на Украину, задержались в городе из-за войны. На главной площади стояли тысячи всевозможных повозок: с колесами, связанными лозиною, с колесами без спиц, из одного куска дерева выпиленными, казацкие телеги, шляхетские шарабаны. Гости познатнее разместились в замке и на постоялых дворах, мелочь же всякая и челядь — в шатрах возле костелов. По улицам пылали костры, на которых варилась пища. Всюду, точь-точь в улье, была толчея, давка и стоял гул. Всевозможнейшая одежда и всевозможнейшие мундиры: княжеские жолнеры из разных хоругвей, гайдуки, выездные лакеи, евреи в черных епанчах, мужичье. Армяне в фиолетовых ермолках, татары в тулупах. Разноязычье, окрики, проклятья, детский плач, собачий лай и мычание скота. Толпы, ликуя, приветствовали вступающие полки, видя в них поруку защиты и спасения. Много народу отправились к замку горланить славу князю и княгине. В толпе ходили всевозможнейшие слухи: то говорили, что князь остается в Лубнах, то — что уходит, аж вон куда, в Литву, и придется туда за ним ехать, то — якобы он уже победил Хмельницкого. А князь между тем, поздоровавшись с супругою и объявив ей о завтрашнем отъезде, горестно глядел на это скопище людей и повозок, которые неминуемо последуют за войском и будут тяжкою обузой, мешая стремительности похода. Правда, он утешал себя мыслью, что за Брагином, в краях более мирных, все это разбредется, попрячется по разным углам и перестанет быть помехою. Сама княгиня с фрауциммером и двором должна была ехать в Вишневец, дабы князь со всем войском беспрепятственно и со спокойной душою мог ринуться в пламя войны. Приготовления в замке были уже сделаны, повозки с вещами и ценностями уло-

жены, провизия погружена, двор хоть сейчас садиться в повозки и на коней готовый. И распорядилась всем этим княгиня Гризельда; нестигаемая духом в несчастье, как и князь, она почти сходствовала с ним энергичностью и твердостью характера. Лицемерие таковой подготовленности весьма князя утешило, хотя сердце его разрывалось при мысли, что приходится оставить лубенское гнездо, где знал он столько счастья, где сделался столь могуществен, где такой славы достигнул. Чувства эти разделялись, кстати, всеми: и войском, и слугами, и всем двором, ибо все очень хорошо понимали, что, если князь в дальних краях воевать станет, враг не оставит Лубен в покое и дорогим этим стенам отмстит за все те удары, которые получит из княжеских рук. Так что рыданий и сетований хватало, особенно же среди слабого пола и среди тех, кто здесь родился или оставлял родительские могилы.

ГЛАВА XXIV

Пан Скшетуский, опередив все хоругви, первым прискакал в замок, о княжне и Заглобе расспрашивая, и, конечно, никого не нашел. Здесь их не только не видали, но и не слышали о них, хотя известие о нападении на Разлоги и об уничтожении василевского гарнизона сюда достигло. Заперся тогда рыцарь у себя на квартире, в цейхгаузе, наедине с несбывшейся надеждою своею, и горе, и беспокойство, и печали снова слетелись к нему. Но он отгонял их, как раненый солдат отгоняет на опустевшем ратном поле воронов и галок, слетающихся отвесть теплой крови и урвать свежего мяса. Он ободрял себя мыслью, что Заглоба, тороватый на выдумки, все же как-нибудь да выкрутится и, узнав про поражение гетманов, в Чернигове найдет убежище. Вспомнил он, кстати, и того деда, которого, едуци из Разлогов, встретил и который, по собственным словам, будучи с поводырем ограблен и раздет каким-то дьяволом, три дня голый просидел в кагамлыцких камышах, боясь наружу нос показать. Внезапно пану Скшетускому пришло на ум, что Заглоба, вероятно, ограбил деда, чтобы перерядиться. «Иначе оно и быть не могло!» — убеждал себя наместник, и великое облегчение принесла ему эта мысль, ибо таковой маскарад весьма бегству бы содействовал. Уповал он еще, что господь, страж невинности, Елену не оставит, а желая от него еще большую милость для нее снискать, принял решение тоже от грехов очиститься. Поэтому покинул он цейхгауз и стал искать ксендза Муховецкого, а нашед его ободряющим прихожанок, попросил исповеди. Ксендз пошел с ним в часовню, где немедленно расположился в исповедальне и ухо преклонил. Выслушав, преподавал назидания, стал вразумлять, утверждать в вере, утешать и порицать. А порицал он в том смысле, что негоже христианину усумниться в могуществе божием, а гражданину более о своем

собственном, чем об отечества несчастье, сокрушаться, ибо своекорыстие оно — проливать больше слез о себе, чем о народе своем, а свою любовь оплакивать более, чем всеобщую беду. Затем горести, упадок и позор отчизны в столь возвышенных и грустных выразил словах, что мигом раздул в сердце рыцаря любовь к ней великую, рядом с которой собственные беды показались тому столь незначительны, что он даже сосредоточиться на них уже не мог. Очистил ксендз его также от ожесточения и ненависти, какие по отношению к казакам в нем заметил. «Тем, кого, яко врагов веры, отечества и союзников поганства, побивать будешь, как обидчикам своим да простишь, сердцем не ожесточись и мстить им не будешь. Ежели преуспеешь в этом, то — верю — утешит тебя господь, и любовь твою вернет, и успокоением тебя наградит...»

Затем он Скшетуского перекрестил, благословил и вышел, крестом в знак покаяния до утра перед распятием лежать наказав.

Часовня была пуста и темна, две свечи только и мерцали перед алтарем, отбрасывая розовые и золотые отсветы на выполненный в алебастре, полный любви и страдания Христов лик; наместник лежал неподвижно, точно мертвый, все явственней ощущая, как досада, отчаяние, ненависть, горе, заботы, страдания освобождают его сердце, уходят из груди, ползут, точно змеи, и пропадают где-то в темных углах. Он почувствовал, что свободнее дышит, что в него словно бы вливается новое здоровье, новые силы, что проясняется голова и некое блаженство охватывает все его существо; словом, перед алтарем и перед Христом этим обрел он все, что только мог обрести человек того времени, человек, крепкий в вере, без следа и тени сомнения.

Назавтра наместник словно бы возродился. Начались труды, суета и беготня, так как был это день отбытия из Лубен. Офицерам надлежало с утра проинспектировать хоругви, проверить, в готовности ли кони и люди, затем вывести их на пригородные луга и построить в походные порядки. Князь отстоял святую мессу в костеле святого Михаила, после чего вернулся в замок и принял депутации от православного духовенства и от лубненских и хорольских горожан. В окружении первейшего рыцарства сел он на трон в расписанной Хелмом зале, и лубненский бургомистр Грубый обратился к нему по-русински от имени всех городов, к заднепровской державе принадлежащих. Сперва бургомистр молил его не уезжать и не оставлять подданных, аки овец без пастыря, что слыша прочие депутаты складывали ладони и повторяли: «Не одїжджай! Не одїжджай!» Когда же князь ответил, что сие невозможно, они упали к его ногам, сожалея о добром господине или же только притворяясь, что сожалеют, ибо ходили разговоры, что многие, несмотря на все княжеские милости, предпочитали казаков и Хмельницкого. Однако те, кто посостоятельней, простонародья боялись, так как существовало опасение, что по выезде князя с войском чернь незамедлительно

взбунтуется. Князь ответил, что он старался быть им не господином, но отцом, и заклинал их выстоять в верности королю и Речи Посполитой, общей всем матери, под крылом которой они не ведали обид, жили в спокойствии и достатке, богатели, не зная никакого ярма, каковое бы иные прочие возложить на них не преминули. В подобных выражениях попросился он и с православным духовенством, после чего наступило время отъезда. И тут по всему огромному замку челядь подняла плач и вопли. Девицы из фрауциммера падали в обморок, а панну Анусю Борзобогатую едва удалось привести в чувство. Только княгиня садилась в карету с сухими глазами и гордо поднятой головой, ибо достойная госпожа не желала обнаруживать свои переживания на людях. Толпы народу стояли возле замка, в Лубнах били во все колокола, попы осеяли крестным знамением отъезжающих, вереница повозок, шарабанов и телег едва протискивалась сквозь замковые ворота.

Но вот сел в седло и князь. Полковые знамена склонились перед ним, на валах загрохотали пушки; рыдания, шум толпы и восклицания смешались с голосами колоколов, пальбой, звуками военных труб, громыханием литавр. Тронулись.

Вперед пошли две турецкие хоругви под командой Розтворовского и Вершулла, затем артиллерия пана Вурцеля и пехота оберштера Махницкого, за ними ехала княгиня с фрауциммером и весь двор, затем повозки с поклажей, затем валашская хоругвь пана Быховца и, наконец, основные силы войска — главные полки тяжелой кавалерии, панцирные и гусарские хоругви, а — в арьергарде — драгуны и казаки.

За войском тянулась бесконечной и пестрой змеей вереница шляхетских повозок, увозившая семьи тех, кто после отъезда князя оставаться на Заднепровье не захотел.

В полках играли трубы, но сердца у всех обливались кровью. Каждый, глядя на эти стены, думал: «Милый дом, увижу ли тебя когда-нибудь еще?» Уехать легко — вернуться трудно. А ведь каждый оставлял тут какую-то часть души и милые воспоминания. И все взоры в последний раз обращались к замку, к городу, к крышам домов, к башням костелов и маковкам церквей. Каждый знал, что оставлял он тут, но не знал, что ожидало его там, в голубой этой дали, куда все направлялись...

И было у всех на душе печально. А город взывал вослед уходящим голосами колоколов, словно моля и заклиная не покидать его, не подвергать неведомым и недобрым грядущим испытаниям; город взывал, словно бы жалобным этим звоном хотел проститься и остаться в памяти...

Поэтому, хотя вся вереница и двигалась прочь, головы были повернуты к городу и на всех лицах можно было прочесть: «Ужели в последний раз видимся?»

О да! Из всего этого войска и толпы, из всех этих тысяч, идущих сейчас с князем Вишневецким, ни ему самому, ни кому-

либо другому впредь не суждено было увидеть ни города, ни этой земли.

Трубы пели. Табор двигался неспешно, но безостановочно, и через какое-то время город стал заволакиваться голубой дымкою. Вскоре дома и крыши вовсе слились одним пятном, сиявшим на солнце. Тогда князь пустил коня вперед и, въехавши на высокое возгорье, долго и неподвижно глядел в ту сторону. Город этот, сиявший сейчас в солнечном свете, и весь этот край, обозримый отсюда, собственными руками сотворили его предки и он сам. Они, Вишневецкие, превратили глухую прежде пустыню в обжитую страну, сделали ее пригодной для человеческого проживания и воистину создали Заднепровье. Большую часть трудов этих совершил князь. Это он строил костелы, башни которых голубеют там, над крышами, он укрепил город, он соединил его дорогами с Украиной, он вырубал леса, осушал болота, воздвигал замки, основывал деревни и поселения, привлекал поселенцев, преследовал грабителей, защищал от инкурсий татарских, берег мир, лахарю и купцу любезный, обеспечивал торжество закона и справедливости. Благодаря ему край этот жил, развивался и процветал. Князь был его душой и сердцем — и вот теперь все приходилось бросать. Нет, не земель этих необозримых, равных по величине целым немецким княжествам, жаль было князю, но потраченных своих трудов; он знал, что, когда он уйдет отсюда, все пропадет, работа многих лет разом будет уничтожена, все пойдет прахом, воцарится одичание, запылают села и города, татарин напоит коня из здешних рек, чацоба встанет на пепелище и, если бог даст вернуться, все-все придется начинать сначала, а возможно, уже не будет сил и не хватит времени, и рвения такого, какое было, неостанет. Тут прожиты годы, принесшие ему хвалу среди людей и заслуги перед господом, но теперь и хвала и заслуги развеются с дымом...

И две слезы медленно скатились по его щекам.

Были это последние слезы, теперь остались в очах воеводы только молнии.

Княжеский конь вытянул шею и заржал, и ржанью его тотчас ответили кони в хоругвях. Голоса их отвлекли князя от печальных мыслей и вселили в него надежду. Ведь осталось же у него шесть тысяч верных товарищей, шесть тысяч сабель, благодаря которым весь мир перед ним распахнут и которых, как единственного спасения, ожидает оскорбленная Речь Посполитая. Заднепровская идиллия завершилась, но там, где палат пушки, где пылают села и города, где по ночам с ржанием татарских коней и казацкими воплями сливается плач невольников, стоны мужчин, женщин и детей, — там можно действовать, там слава избавителя и отца отечества достижима... Кто же к венцу тому руку протянет, кто же бросится спасти столь опозоренную, мужичьими ногами попранную, униженную, гибнущую отчизну,

если не он — князь, если не это войско, там, внизу, оружием на солнце блистающее и сверкающее?

Отряды как раз проходили у подножия, и при виде князя, стоявшего на вершине у креста с булавою в руке, из солдатских грудей разом вырвался крик:

— Да здравствует князь! Да здравствует вождь наш и гетман Иеремия Вишневецкий!

И сотни знамен склонились перед ним, гусары произвели парамениками грозное бряцанье, грянули, вторя возгласам, литавры.

Тогда князь выхватил саблю и, вознеся ее и взор свой к небу, сказал следующее:

— Я, Иеремия Вишневецкий, воевода русский, князь на Лубнах и Вишневец, клянусь тебе, боже, единый во святой троице, и тебе, пресвятая мать, что, подняв саблю эту против смутьянства, от какого отчизне нашей позор, до тех пор ее не сложу, покуда хватит мне сил и жизни, покуда позора не смою, всякого врага к подножию Речи Посполитой не повергну, Украины не успокою и бунтов холопских в крови не утоплю. И как обет свой я полагаю от чистого сердца, так и ты мне, господи боже, помоги! Аминь!

Сказав это, он постоял еще какое-то время, воззрясь в небеса, после чего медленно съехал с вершины к хоругвям. Войска пришли на ночь в Басань, деревеньку пани Криницкой, встретившей князя на коленях у ворот, ибо холопы, от которых она с помощью самой верной челяди отбивалась, обложили ее уже в усадьбе, но внезапный приход войска спас и ее, и девятнадцать ее детей, среди которых одних только барышень было четырнадцать. Князь, распорядившись бунтовщиков схватить, послал Понятовского, ротмистра казацкой хоругви, к Каневу, и тот этой же ночью привел пятерых запорожцев васюринского куреня. Все они участвовали в корсунской битве и, припеченные огнем, сделали князю точную о ней реляцию. Божились они также, что Хмельницкий до сих пор еще в Корсуне. Тугай-бей же с ясырями, с добычей и с обоими гетманами подался в Чигирин, откуда собирался уйти в Крым. Слыхали они, что Хмельницкий просил его войск запорожских не оставлять, а вместе идти против князя, однако мурза на это не согласился, отговариваясь, что после разгрома польского войска и пленения гетманов казаки могут управиться и сами, а ему ждать, мол, более невозможно, так как у него перемрут все ясыри. Спрошенные о силах Хмельницкого, схваченные казаки называли их число тысяч в двести, но всякого сброда, добрых же — то бишь запорожцев и казаков панских да городовых, примкнувших к бунту, — только пятьдесят тысяч.

Узнав это, князь воспрянул духом, полагая к тому же значительно за Днепром умножиться за счет шляхты, уцелевших

жолнеров коронного войска и, наконец, господских дружин. Так что на утро следующего дня он отправился дальше.

За Переяславом войска вошли в громадные глухие леса, тянувшиеся вдоль по Трубежу до самого Козельца и далее уже до Чернигова. Был конец мая — жара стояла страшная. В лесах вместо ожидаемой прохлады оказалось так душно, что людям и лошадям нечем было дышать. Скот, ведомый за табором, падал на каждом шагу или, почуяв воду, мчался к ней, как безумный, опрокидывая возы и учиняя давку. Начали падать и кони, особенно в тяжелой кавалерии. Ночи были мучительны из-за страшного множества насекомых и чересчур сильного запаха живицы, которую по причине знойных дней деревья роняли обильнее, чем обычно.

Так провлеклись они четыре дня, а к вечеру пятого зной сделался небывалым. С наступлением ночи лошади принялись храпеть, а скотина жалобно мычать, словно бы в предчувствии некой опасности, которую люди не могли пока угадать.

— Кровь почуяли! — пошли разговоры в толпах беженских шляхетских семейств.

— Казаки за нами идут! Битва будет!

От разговоров этих женщины заголосили, слухи дошли до челяди, поднялся переполох, началась толчея, возы стали обгонять друг друга или съезжать с тракта прямо в лес, где и застреливали меж деревьев.

Отряженные князем люди быстро восстановили порядок, а во все стороны высланы были отряды, разведать, на самом ли деле возникла какая-то опасность.

Скшетуский, добровольно ушедший с валахами, воротился под утро первым, а воротившись, сразу же отправился к князю.

— Что у тебя? — спросил Иеремия.

— Ваше сиятельство, леса горят.

— Подожжены?

— Так точно. Я схватил несколько человек, и они сознались, что Хмельницкий охочих послал вслед вашему княжескому сиятельству. Огонь, если ветер будет благополучный, подкладывать.

— Живьем захотелось ему нас поджарить, в битву не вступаю. Ну-ка давай сюда людей этих.

Спустя минуту привели троих чабанов, диких, тупых, перепуганных; они тотчас же повинились, что им и правда велено было леса поджигать.

Рассказали они еще, что вслед князю посланы войска, но что идут они к Чернигову по другой дороге, ближе к Днепру.

Между тем вернулись остальные разъезды, и все с тем же: — Леса горят!

Князь, казалось, этим не встревожился.

— Варварская метода, — сказал он, — да только ничего из

этого не выйдет! Огонь через речки, текущие в Трубеж, не перекинется.

И верно, в Трубеж, вдоль которого продвигался к северу табор, впадало столько речек, образовавших повсюду обширные болота, что можно было не опасаться, чтобы через них перекинулся пожар. Разве что всякий раз лес пришлось бы поджигать заново.

Вскоре разъезды донесли, что так оно и происходит. Каждый день приводили они и поджигателей, которыми затем украшались придорожные сосны.

Огонь распространялся мгновенно, но не к северу, а вдоль речек на восток и запад. Небо по ночам было багровым. Женщины с вечера и до рассвета пели духовные песнопения. Устрашенный дикий зверь выбегал из пылающих боров на тракт и влачился за табором, смешиваясь со стадами домашнего скота. Ветер нагнал дыму, заставшего весь горизонт. Войска и обоз шли словно бы в густом тумане, сквозь который ничего не было видно. Дышать было нечем, дым ел глаза, а ветер все нагонял и нагонял его. Солнечный свет не мог проникнуть сквозь завесы эти, и по ночам от зарев было светлее, чем днем. А лес, казалось, никогда не кончится.

Сквозь этот дым и эти пылающие леса вел Иеремия свое воинство. Были получены сведения, что враг продвигается по другую сторону Трубежа, но неизвестно было, сколь велики его силы, — всё же татары Вершулла разведали, что он пока еще довольно далеко.

В одну из ночей в табор прибыл пан Суходольский из Боденок, с другого берега Десны. Был это давний придворный князя, несколько лет назад удалившийся на жительство в свою деревню. Он тоже спасался от крестьян, но привез известие, о котором в войске не знали.

И величайшая воцарилась растерянность, когда, спрошенный князем о новостях, он сообщил:

— Скверные новости, ваша милость князь! Известно ли вам о разгроме гетманов и о кончине короля?

Князь, сидевший на маленьком дорожном табуретике, вскочил:

— Как? Умер король?

— Всемиловитейший монарх испустил дух в Меречи за неделю до курсунского разгрома, — сказал Суходольский.

— Господь в милости своей не дал дожить ему до этой минуты! — молвил князь и, схватившись за голову, продолжал: — Страшные времена наступили для Речи Посполитой. Конвокации и элекции, *interregnum*¹, злонамерения и интриги заграницы, — все именно сейчас, когда необходимо, дабы весь народ единым мечом в руке единодержавной был. Господь, как видно, оставил

¹ междуцарствие (*лат.*).

нас и во гневе своем за грехи бичевать вознамерился. Пожар сей только король Владислав и мог погасить, ибо удивительной пользовался любовью среди казачества, да и государь был воинственный.

В эту минуту более десятка офицеров, среди которых были Зацвилюховский, Скшетуский, Барановский, Вурцель, Махницкий и Поляновский, приблизились к князю, и тот им объявил:

— Милостивые государи, король скончался!

Головы как по команде обнажились. Лица посерьезнели. Столь неожиданное известие лишило всех речи. Лишь спустя какое-то время общее горе обнаружилось себя.

— Упокой господи душу его! — сказал князь.

— И да светит ему свет вековечный во веки веков.

Ксендз Муховецкий затянул «Dies irae»¹, и посреди лесов тех и дымов тех несказанное уныние охватило сердца и души. Казалось, некая долгожданная подмога не пришла на выручку и перед лицом грозного врага они одни на целом свете и не осталось у них никого больше, кроме князя.

Поэтому все взоры обратились к нему, и новые узы возникли меж ним и его солдатами.

Вечером того же дня князь во всеуслышание сказал Зацвилюховскому:

— Нам необходим король-воитель, и ежели богу будет угодно, чтобы мы подали наш голос на элекции, то отдадим мы его в пользу королевича Карла, в каковом ратного духа более, чем в Казимире.

— *Vivat Carolus rex!*² — воскликнули офицеры.

— *Vivat!* — вторили им гусары, а за ними и все войско.

И не знал, верно, князь-воевода, что клики эти, прозвучавшие на Заднепровье среди глухих черниговских лесов, донесутся до самой до Варшавы и выбьют у него из рук великую коронную булаву.

ГЛАВА XXV

После десятидневного похода, каковому пан Маскевич стал Ксенофонтом, и трехдневной переправы через Десну войска подошли наконец к Чернигову. Первым вступил в город с валашскими пан Скшетуский, которого князь специально отрядил, дабы тот скорее мог навести справки о княжне и Заглобе. Но здесь, как и в Лубнах, ни в городе, ни в замке никто о них ничего не слыхал. Оба канули, точно камень в воду, и рыцарь просто не знал, что думать. Где они могли схорониться? Не на Москве же, не в Крыму, не на Сечи! Оставалось только предположить,

¹ «День гнева» (лат.).

² Да здравствует король Карл! (лат.)

что Елена с Заглобой переправились через Днепр. Но тогда они мгновенно оказались бы в самом сердце бури, а там же резня, пожоги, пьяный сброд, запорожцы и татары, от которых и переодетой Елене не уберечься, ибо басурманская нелюдь охотно забирала ясырями подростков ввиду большого на них спроса на стамбульских торгах. Приходило в голову Скшетускому и страшное подозрение, что Заглоба, возможно не без умысла, увел ее в те стороны, желая продать княжну Тугай-бею, который наградил бы его щедрей Богуна, и мысль эта повергла наместника прямо-таки в безумие, однако пан Лонгинус Подбипятка, знавший Заглобу лучше, чем Скшетуский, горячо стал его убеждать:

— Братушка, сударь наместник,— говорил он,— выбрось ты это из головушки. Ни в жизнь шляхтич этого такого не совершит! Было и у Курцевичей добра немало, которое Богун бы ему охотно отдал, так что, захоти он погубить девицу, и жизнью не надо было бы рисковать, и разбогател бы.

— Правда твоя,— отвечал наместник. — Но почему за Днепр, а не в Лубны или в Чернигов ушел он с нею?

— Уж ты успокойся, сердце мое. Я ж Заглобу знаю. Пил он со мною и одалживался у меня. Деньги ни свои, ни чужие его не заботят. Свои заимеет — спустит, чужих — не отдаст. Но чтобы на такие дела он был способен, этого я и думать не могу.

— Легкомысленный он человек, легкомысленный,— сказал Скшетуский.

— Может, и легкомысленный, но и плут, который каждого вокруг пальца обведет и сухим из воды выйдет. А раз ксендз наш духом пророческим обещал, что господь тебе ее возвратит,— так тому и быть, ведь справедливо, чтобы всякая истинная сердечная склонность была вознаграждена, и ты этим упованием утешайся, как вот я тоже утешаюсь.

Тут пан Лонгинус принялся тяжело вздыхать, а спустя минуту добавил:

— Пспрашиваем же еще в замке, вдруг они тут проходили.

И они снова стали спрашивать, но напрасно — никаких следов даже временного пребывания беглецов не было. В замке собралось без числа шляхты с женами и детьми, запершейся тут от казаков. Князь уговаривал всех отправиться вместе с ним и остерегал, что следом идут казаки. На войско они не посмеют напасть, но было очень похоже, что, едва князь уйдет, покусятся на замок и город. Однако шляхта в замке была на удивление беспечна.

— Мы тут в безопасности за лесами,— отвечали они князю. — Сюда к нам никто не доберется.

— Однако я эти леса прошел,— сказал князь.

— Ваша княжеская милость прошли, но голытьба не пройдет. Хо-хо! Не такие это леса!

И уйти не захотели, упорствуя в своей слепоте, за что потом жестоко поплатились: едва князь отбыл, тотчас же подошли казаки. Замок отчаянно оборонялся целых три недели, после чего были захвачены, и все, кто в нем находился, были вырезаны до последнего. Казаки учиняли страшные зверства, разрывая детей, сжигая на медленном огне женщин, и никто им за это не отместил.

Князь тем временем, пришедши на Днепр к Любечу, дал войску отдых, а сам с княгиней, двором и кладью поехал в Брагин, лежавший среди непроходимых лесов и болот. Через неделю переправилось и войско. Затем двинулись к Бабице под Мозырь, и там в праздник Тела Господня наступил час расставанья, так как княгиня с двором должна была отправиться в Туров к госпоже воеводине виленской, тетке своей, а князь с войском — в огонь, на Украину.

На прощальном обеде присутствовала княжеская чета, фрауциммер и самое избранное общество. Увы, меж девиц и кавалеров не было обычной веселости, так как не одно солдатское сердце разрывалось при мысли, что вот-вот и придется оставить эту единственную, ради которой стоило жить, сражаться и умирать; не одни ясные или темные очи девичьи застилались горькими слезами оттого, что милый уходит на войну, под пули и мечи, к казакам и диким татарам... Уходит, и кто знает, вернется ли...

Поэтому, едва князь сказал свое слово, прющаясь с женою и двором, маленькие княжны в один голос жалобно запищали, точно котята, рыцари же, как более твердые духом, повскакали со своих мест и, сжав рукояти сабель, разом крикнули:

— Победим и вернемся!

— Помогай вам бог! — сказала княгиня.

Ответом на это был крик, от которого задрожали стекла и стены:

— Да здравствует княгиня-госпожа! Да здравствует мать наша и благодетельница!

— Да здравствует! Да здравствует!

Солдаты очень ее любили за благорасположение к рыцарскому сословию, за великодушие, щедрость и милосивость, за заботу об их семьях. Больше всего на свете любил ее и князь Иеремия, ибо эти две природы были созданы друг для друга, схожие как две капли воды и словно отлитые из бронзы и золота.

Все стали подходить к княгине, и каждый с чашей в руке опускался на колени перед креслом ее, а она, сжимая в ладонях голову каждого, говорила несколько добрых слов. Скшетускому княгиня сказала:

— Не один тут, я чай, рыцарь ладанку или ленточку напутно получит, а поскольку нет с нами той, от которой тебе, сударь, получить подарок было бы всего желаннее, посему прими его от меня, как от матери.

Сказав это, сняла она золотой крестик, бирюзою усаженный, и надела его рыцарю на шею, а он ей руку почтительно поцеловал.

Князю, как видно, было приятно княгинино расположение к Скшетускому; в последнее время он еще больше полюбил наместника, за то что тот достоинство его, будучи с посольством на Сечи, не уронил и посланий от Хмельницкого брать не пожелал. Тем временем все встали из-за стола. Слова княгини, Скшетускому сказанные, девицы поняли на лету и, полагая их согласием и позволением, сразу же поизвлекали та образок, та шарф, та крестик, что завидя рыцари шасть каждый к своей если не избраннице, то приятнейшей сердцу. Бросился Понятовский к Житинской, Быховец к Боговитянке, так как теперь она нравилась ему всех более, Розтворовский к Жукувне, рыжий Вершулл к Скоропадкой, обержтер Махницкий, хоть и в преклонных летах, к Завейской, и лишь одна Ануся Борзобогатая-Красенская, самая прелестная из всех, стояла у окна одинокая и покинутая. Лицо ее зарделось, глазки из-под опущенных век поглядывали искоса, словно бы гневно, но в то же время и с мольбой не устраивать ей такого афронту, поэтому изменник Володыёвский подошел к ней и сказал:

— Хотел и я просить панну Анну чем-нибудь одарить меня, но от дерзкого намерения отказался, полагая, что из-за слишком большой толчеи не протиснусь.

Щечки Ануси и вовсе запылали, однако она мгновенно нашлась:

— Из других, ваша милость, рук, не из моих, желал бы ты что-нибудь на память получить, да только напрасно: там хоть и не тесно, да слишком для твоей милости высокогато.

Удар был точно рассчитанным и двойным. Во-первых, он намекал на маленький рост рыцаря, а во-вторых — на его сердечную склонность к княжне Барбаре Збаражской. Пан Володыёвский был спервоначалу влюблен в старшую, Анну, но, когда ту засватали, отстрадал и потихоньку передоверил свое сердце Барбаре, полагая, что никто об этом не догадывается. Так что сейчас, слыша про это от Ануси, он, слывший непревзойденным в сабельных и словесных поединках, сконфузился так, что слова молвить не мог и невпопад проямлил:

— Ты, сударыня, тоже высоко метишь, приблизительно где голова пана... Подбиятки...

— А он и впрямь превосходит вас мечом и обхождением. — бойко ответила девушка. — Спасибо же, что напомнили о нем. Пускай оно так и будет.

Сказав это, она обратилась к литвину:

— Ваша милость, приблизьтесь же, сударь. Желаю тоже и я иметь своего рыцаря и, право, не знаю, можно ли на более мужественной груди повязать шарф.

Пан Подбипятка вытаращил глаза, словно ушам своим не поверил, а затем грохнулся на колени, так что пол затрещал:

— Госпожа моя! Госпожа!

Ануся повязала шарф, и сразу крошечные ручки совершенно исчезли под льняными усами пана Лонгина; раздавалось только чавканье и мурлыканье, услышав которое пан Володыёвский сказал поручику Мигурскому:

— Побожиться можно, что медведь улей портит и мед выдает.

После чего, несколько обозлившись, отошел, ибо все еще чувствовал Анусино жало, а ведь он тоже в свое время был в нее влюблен.

Но вот уже князь стал прощаться с княгиней, и час спустя двор направился в Туров, а войска к Припяти.

Ночью на переправе, когда строили плоты для перевоза орудий, а гусары надзирали за работой, пан Лонгинус сказал Скшетускому:

— От, братушка, незадача!

— Что случилось?— спросил наместник.

— Да слухи с Украйны!

— Какие?

— Так ведь говорили запорожцы, что Тугай-бей в Крым с ордою ушел.

— Ну и ушел! Об этом, я думаю, ты сожалеть не станешь.

— Именно стану, братушка! Сам же ты сказал,— и прав был,— что казацкие головы я не имею права засчитывать, а раз татары ушли, откуда же я возьму три поганских головы? Где их искать? А мне они ой как нужны!

Скшетуский, хоть и сам был невесел, улыбнувшись, сказал:

— Догадываюсь я, в чем дело! Видал, как тебя сегодня в рыцари посвящали.

Пан Лонгинус благоговейно руки сложил:

— Правда оно! Чего скрывать: полюбил и я, братушка, полюбил... От горе!

— Не отчаивайся. Не верю я в то, что Тугай-бей ушел, а значит, нехристей не меньше, чем этого комарья будет.

Действительно, целые тучи комаров стояли над лошадьми и людьми, ибо вошли войска в край болот непроходимых, лесов топких, лугов размоклых, рек, речек и ручьев, в край пустой и глухой, одною лишь пущей шумящий, про жителей которого в те времена говаривали:

Выделил дочке
Шляхтич Голота
Детю две бочки,
Рыжиков низку,
Ершиков миску
Да клин болота

На болоте этом росли, правда, не только грибы, но, вопреки всем стишкам, и немалые помещичьи состояния. Однако сейчас люди князя, в большинстве своем воспитанные и выросшие в сухих и высоких заднепровских степях, глазам своим просто не верили, и, хотя попадались в степях местами трясины и леса, тут, однако, целый край представлялся сплошною трясиною. Ночь была погожая, ясная, и при свете луны, куда ни глянь, невозможно было увидеть даже сажени сухой земли. Заросли чернели над водой, леса, казалось, вырастали из воды, вода хлюпала под конскими копытами, воду выжимали колеса повозок и пушек. Вурцель впал в отчаяние. «Поразительный поход,— говорил он.— Под Черниговом от огня пропадали, а тут вода заливает». И в самом деле, земля, вопреки назначению своему, не была ноге твердой опорой, но пружинила, сотрясалась, словно бы хотела расстаться и поглотить тех, кто по ней шел.

Войска переправлялись через Припять четыре дня, затем каждый почти день приходилось преодолевать реки и речонки, текущие в раскисшем грунте. И нигде ни одного моста. Народ тут передвигался с помощью лодок да шухалей. Через несколько суток начались туманы и дожди. Люди выбивались из последних сил, стремясь в конце концов выбраться из проклятых этих мест. А князь спешил, торопил. Он приказывал валить целые леса, гатить гати из кругляков и шел вперед. Солдаты, видя, как не щадит он собственных сил, как с утра до ночи не слезает с седла, делая смотр войскам, доглядывая за походом, всем лично руководя, не отваживались роптать, хотя мытарства их были выше сил человеческих. С утра до ночи вязнуть и мокнуть — вот каков был общий удел. У лошадей с копыт начал слезать рог, много их в артиллерии пало, так что пехота и драгуны Володыёвского сами тянули пушки. Привилегированные полки, такие, как гусары Скшетуского, Зацвилюховского и панцирные, брались за топоры, дабы прокладывать гати. Славный это был поход с хладом, гладом и хлябями, в котором воля полководца и рвение солдат преодолевали все преграды. Никто в краях тех до сей поры не отваживался весною, во время половодья, пройти с войском. По счастью, люди князя ни разу не подверглись нападению. Здешний народ, тихий и спокойный, о бунте не помышлял и даже потом, подстрекаемый казаками и поощряемый их примером, под знамена к ним идти не захотел. Вот и теперь поглядывал он сонным взором на проходившие рыцарские рати, которые целые и невредимые выныривали, точно заговоренные, из лесов и болот и исчезали, как сон; он же только поставлял проводников, тихо и послушно исполняя все, что от него требовали.

Видя такое, князь строго наказывал всяческое солдатское своеволие, и не летели вослед войску стенания людские, проклятия да нарекания, а когда после прохода войск узнавали в какой-нибудь продымленной деревеньке, что проходил князь Иере-

мий, люди качали головами, потихоньку говоря друг другу:
«Вже він добрий!»

Наконец, после двадцати дней нечеловеческих трудов и напряжения, княжеское войско вступило в мятежный край. «Ярема іде! Ярема іде!» — полетело по всей Украине аж до Дикого Поля, до Чигирина и Ягорлыка. «Ярема іде!» — разнеслось по городам, деревням, хуторам и пчельникам, и от восточной косьи, вилы и ножи выпадали из мужичьих рук, лица бледнели, разгульные толпы, точно стаи волков от звука охотничьего рога, уходили по ночам к югу; татарин, забредший грабежа ради, спрыгивал с коня и то и дело прикладывал ухо к земле, а в целевенных еще замках и крепостцах били в колокола и нелі: «Те Deum laudeamus!»¹

Но сей грозный лев улегся на рубеже взбунтовавшегося края, намереваясь отдышаться.

Он собирался с силами.

ГЛАВА XXVI

Между тем Хмельницкий, побывши какое-то время в Корсуне, к Белой Церкви отошел и сделал ее своею столицей. Орда расположилась кошом по другую сторону реки, учиняя набеги по всему Киевскому воеводству. Так что пан Лонгинус Подбиятка напрасно сокрушался насчет нехватки татарских голов. Скшетуский предположил справедливо, что запорожцы, схваченные Полятовским под Каневом, сообщили сведения ложные — Тугай-бей не только не ушел, но даже и не направился к Чигирину. Более того — отовсюду подходили новые чамбулы. Пришли с четырьмя тысячами воинов царьки азовский и астраханский, никогда до этого в Польшу не заявлявшиеся, пришло двенадцать тысяч орды ногайской, двадцать тысяч белгородской и буджакской — все некогда заклятые Запорожья и казачества враги, а сейчас побратимы и жадные до крови христианской союзники. Наконец, явился и сам хан Ислан-Гирей с двенадцатью тысячами перекопцев. Страдала от друзей этих вся Украина, страдала не только шляхетское состояние, но и народ русский, у которого сжигали деревеньки, отбирали скарб, а самих мужиков, баб и ребятишек угоняли в неволю. В эту годину злодеяний, пожоги и кровопролития для мужика только и было спасения, что убежать в лагерь Хмельницкого. Там он из жертвы превращался в разбойника и сам разорял собственную землю, не опасаясь зато за собственную жизнь. Несчастный край!.. Когда разгорелась смута, сперва покарал и опустошил его Миколай Потоцкий, затем запорожцы и татары, явившиеся под видом освободителей, а теперь навис над ним Иеремия Вишневецкий.

¹ «Тебе бога хвалим!» (лат.)

Поэтому каждый, кто мог, убежал к Хмельницкому, убежала даже шляхта, когда иного пути к спасению не было. Так что Хмельницкий умножал и умножал свои силы, и если не сразу двинулся в самое Речь Посполитую, если долго отсиживался в Белой Церкви, то главным образом затем, чтобы приучить повиноваться разгулявшиеся и непокорные стихии.

И в самом деле, в железных его руках они быстро преобразовались в боевую силу. Командиры из обученных запорожцев имелись, чернь делилась на полки, из прежних кошевых атаманов назначались полковники, отдельные отряды, дабы приучить их к военной обстановке, посылались для штурма замков. А народ здешний по натуре своей был боевой, к ратному делу как никакой другой способный, к оружию привычный, с огнем и кровавым обличем войны благодаря татарским набегам освоившийся.

Так что пошли два полковника Ханджа и Остап на Нестервар, который и взяли, а население, еврейское да шляхетское, вырезали поголовно. Князю Четвертинскому собственный его слуга на пороге замка голову отрубил, а княгиню Остап сделал своею невольницей. Другие ходили в другие стороны, и успех сопровождал их знаменам, ибо страх обескуражил сердца ляхов, страх «народу тому несвойственный», выбивающий из рук оружие и лишающий сил.

Случалось, бывало, полковники пеняли Хмельницкому: «Чего же ты на Варшаву не идешь, чего ты все бездействуешь, с ворожеями судьбу пытаешь, горелкой наливаешься, а ляхам опомниться от страха и войско собрать позволяешь?» Не раз тоже и пьяная чернь, воя по ночам, обкладывала квартиру Хмельницкого, требуя, чтобы он их на ляхів вел. Хмельницкий породил бунт и сделал его страшной силой, но сейчас стал он понимать, что сила эта его самого толкает к неведомому будущему, так что частенько угрюмым взором в будущность оную заглядывал, пытался ее испытать и сердцем по поводу нее устрасался.

Нужно сказать, из всех полковников и атаманов он один только и знал, сколько страшной мощи сокрыто в кажущемся бессилии Речи Посполитой. Поднял бунт, побил у Желтых Вод, побил под Корсунем, сокрушил коронные войска — а что дальше?

Вот и собирал он на рады полковников и, воя по ним налитыми кровью очами, отчего все дрожали, хмуро спрашивал одно и то же: «Что дальше? Чего вы хотите?»

— Идти на Варшаву? Так сюда князь Вишневецкий придет, жен и детей ваших как гром поразит, землю и воду только оставит, а потом за нами же к Варшаве со всеми силами шляхетскими, какие к нему присоединятся, пойдет — и мы, меж двух огней оказавшись, пропадем если не в битвах, то на колах...

— На дружбу татарскую рассчитывать нечего. Сегодня они с нами, завтра повернут против и в Крым умчатся или панам головы наши продадут.

— Ну говорите же, что дальше? Идти на Вишневецкого? Так он все силы, и наши, и татарские, на себе сосредоточит, а за это время в самой Речи Посполитой войско соберется и на помощь ему подойдет. Выбирайте...

И встревоженные полковники молчали, а Хмельницкий говорил:

— Что же вы хвосты поджали? Что же не пристааете, чтобы на Варшаву шел? Уж если не знаете, что делать, предоставьте это мне, а я, бог даст, свою и ваши головы спасу, а для войска запорожского и всех казаков удовлетворения добьюсь.

И в самом деле, оставался лишь один выход: переговоры. Хмельницкий отлично знал, сколь многого этим путем можно добиться от Речи Посполитой, знал, что сеймы скорее пойдут на значительное удовлетворение для казаков, чем на налоги, наборы и войну, которая обещала быть долгой и тяжкой. Знал он, наконец, что в Варшаве существует могучая партия, а возглавляет ее сам король, о смерти которого весть еще не дошла; ¹ к ней принадлежат и канцлер, и многие вельможи, которым очень хотелось сдержать рост огромных магнатских богатств на Украине, из казаков силу для королевских надобностей создать, заключить с ними вечный мир и для заграничной войны тысячи и тысячи эти использовать. В подобных условиях Хмельницкий мог и для себя добиться выдающегося положения, получить по королевскому произволению гетманскую булаву, и для казаков бесчисленных уступок добиться.

Вот почему так долго отсиживался он под Белой Церковью. Он вооружался, рассылал во все стороны универсалы, собирал народ, создавал целые армии, прибирал к рукам замки, зная, что переговоры будут вести только с сильным. В самое же Речь Посполитую он не шел.

О, если б с помощью переговоров он мог заключить мир!.. Тогда этим самым он бы или оружие из рук Вишневецкого выбил, или — если князь не уймется — не он, Хмельницкий, во князь стал бы мятежником, не сложившим оружие вопреки воле короля и сеймов.

Тогда-то он и пошел бы на Вишневецкого, но уже с королевского и Речи Посполитой согласия, и пробил бы последний час не только для князя, но и для всех украинских королей с их несметными богатствами и латифундиями.

Так думал самозванный гетман запорожский, такое здание воздвигал он на будущее. Однако на лесах, для этого здания приуроченных, частенько сживали черные птицы озабоченности, сомнений, опасений и зловеще каркали.

Достаточно ли сильна мирная партия в Варшаве? Начнут ли с ним переговоры? Что скажут сейм и сенат? Останутся ли там

¹ 12 июня под Белой Церковью о смерти короля еще не знали. (Примеч. автора.)

глухи к стонам и призывам украинным? Закроют ли глаза на зарева пожаров?

Не победит ли влияние магнатов, необъятными латифундиями владеющих, спасением которых будут они обеспокоены? И так ли напугана эта самая Речь Посполитая, чтобы простить ему союз с татарами?

Своим чередом снедала душу Хмельницкого мысль, не чересчур ли распалился и разгулялся бунт. Дадут ли эти озверевшие массы хоть как-то себя обуздать? Ладно, допустим, он, Хмельницкий, мир заключит, а головорезы — от его имени — дальше смерть и пожар сеять станут или же с ним самим расплатятся за свои обманутые надежды. Ведь это же вздутая река, море, буря! Страшная ситуация. Будь вспышка послабее, тогда бы с ним, как со слабым, переговоры вести не стали, но, поскольку бунт непомерен, переговоры по воле событий могут провалиться.

Что же будет?

Когда подобные мысли отягощали усталую голову гетмана, тогда заперся он на своей квартире и пил день и ночь напролет. Незамедлительно меж полковников и черни разносился слух: «Гетман пьет!» — и примеру его следовали все. Дисциплина ослабевала, начинали убивать пленных, учинять побоища между своими, грабить друг у друга награбленное — происходил форменный судный день, разгул ужасов и мерзостей. Белая Церковь превращалась в сущий ад.

В один из таких дней к пьяному гетману вошел шляхтич Выговский, взятый в плен под Корсунем и сделанный гетманским секретарем. Вошел, он стал бесцеремонно трясти пропойцу, потом схватил его за плечи, усадил на ложе и привел в чувство.

— А це що таке, яке лихо? — спрашивал Хмельницкий.

— Ваша милость гетман, вставай, приди в себя! — отвечал Выговский. — Посольство приехало!

Хмельницкий вскочил и во мгновение протрезвел.

— Гей! — крикнул он казачку, сидевшему у порога. — Делию, колпак и булаву!

А потом сказал Выговскому:

— Кто приехал? От кого?

— Ксендз Патроний Лашко из Гуци от пана воеводы брацлавского.

— От Киселя?

— Так точно.

— Слава отцу и сыну, слава святому духу и святой-пречистой! — говорил, крестясь, Хмельницкий.

Лицо его просветлело, подобрело — с ним начинали вести переговоры.

Однако в тот же день стало известно о событиях прямо противоположных мирному посольству пана Киселя.

Донесли, что князь, давши отдохнуть войску, утомленному походом через леса и болота, вступил в мятежный край, что он побивает, палит, рубит головы, что отряд под командой Скшетуского разбил двухтысячную ватагу казаков и черни, всех поголовно перебив, что сам князь взял штурмом Погребище, именуя князей Збаражских, и камня на камень не оставил. О штурме и взятии Погребища рассказывали страшные вещи, ибо было оно логовом самых отъявленных живорезов. Князь якобы сказал солдатам: «Убивайте их так, чтобы чувствовали, что умирают»¹.

Поэтому солдатня самые дикие зверства себе позволяла. Из всего города не уцелел никто. Семьсот человек увели в плен, двести посажали на колы. Рассказывали еще о просверливании глаз буравами, о поджаривании на медленном огне. Бунт по всей округе унялся тотчас. Народ либо бежал к Хмельницкому, либо встречал лубненского господина хлебом-солью, на коленах зывая о милосердии. Шайки помельче были уничтожены, а в лесах, как сообщали беглые из Самгородка, Спичина, Плискова и Вахновки, не было ни одного дерева, на котором бы не висел казак.

И все это происходило неподалеку от Белой Церкви, рядом с несметным войском Хмельницкого.

Узнав об этом, он принялся реветь, как раненый тур. С одной стороны — переговоры, с другой — меч. Если он пойдет на князя, это будет расценено как отказ от переговоров, предлагаемых воеводой из Брусилова.

Единственная надежда была на татар. Хмельницкий бросил на Тугай-бееву квартиру.

— Тугай-бей, друг мой! — сказал он после церемонии положенных саламов, — как ты меня у Желтых Вод и Кореуня спасал, так и теперь спаси. Прибыл к нам посол от воеводы брацлавского с посланием, в котором воевода обещает мне удовлетворение, а войску запорожскому возвращение давних привилегий, полагая, что я прекращу военные действия, и я это вынужден сделать, если хочу доказать искренность и добрую волю. А между тем есть сведения о недруге моем, князе Вишневецком, что он Погребище вырезал, и никого не пожалел, и добрых молодцев моих приканчивает, на колы сажает, буравами глаза буравит. Не имея возможности пойти на него, пришел я к тебе просить, чтобы на означенного моего и твоего недруга пошел бы ты с татарами, иначе он скоро к нам, обозы отбивать, пожалует.

Мурза, сидя на груде ковров, захваченных им под Кореуном и награбленных по шляхетским усадьбам, какое-то время покачивался взад-вперед, зажмурившись, словно бы для лучшего размышления, и наконец сказал:

— Алла! Этого я сделать не могу.

— Почему? — спросил Хмельницкий.

¹ Рудавский утверждает, что слова эти были сказаны в Немирове. (Примеч. автора.)

— Потому что и так достаточно ради тебя беев и чаушей у Желтых Вод и под Корсунем потерял, зачем их еще терять? Ярема — воин знатный! Я на него пойду, ежели ты пойдешь, а сам — нет. Не такой я дурак, чтобы в одной битве все, что уже получил, пропало, мне выгодней посылать чамбулы за добычей и ясырями. Довольно я уже для вас, псов неверных, сделал. И сам не пойду, и хану отсоветую. Я сказал.

— Ты мне помогать поклялся!

— Верно! Но клялся я рядом с тобой, а не за тебя воевать. Ступай же вон!

— Я тебе ясырей из моего народа брать позволил, добычу отдал, гетманов отдал.

— И правильно сделал, иначе я бы им отдал тебя.

— Я к хану пойду.

— Ступай вон, козел, сказано тебе.

И острые зубы мурзы уже начали посверкивать. Хмельницкий понял, что тут ничего не добьешься, что долее настаивать небезопасно, поэтому встал и на самом деле отправился к хану.

Но у хана получил он ответ такой же. У татар был свой интерес, и выгоды они искали только для себя. Вместо того чтобы решиться на генеральное сражение с полководцем, считавшимся непобедимым, они предпочитали ходить в набеги и обогащаться без кровопролития.

Хмельницкий в бешенстве вернулся на свою квартиру и с горя потянулся было к штофу, но Выговский вырвал бутылку у него из рук.

— Пить ты не будешь, ваша милость гетман, — сказал он. — Приехал посол, сперва надо посла принять.

Хмельницкий пришел в страшную ярость.

— Я и тебя, и посла твоего на кол посадить велю!

— А я тебе горелки не дам. Не стыдно ли, когда счастье столь высоко вознесло тебя, водкой, как простому казаку, наливать? Тыфу, негоже так, ваша милость гетман! О прибытии посла все уже знают. Войско и полковники требуют раду созвать. Тебе не пить сейчас, а ковать железо, пока оно горячее, надо, ибо сейчас ты можешь заключить мир и все, что пожелаешь, получить, потом будет поздно, и в том твоя и моя судьба. Тебе бы следовало, не мешкая, послать посольство в Варшаву и короля о милости просить...

— Умная ты голова, — сказал Хмельницкий. — Вели ударить в колокол, собирать раду и скажи на майдане полковникам, что я сейчас буду.

Выговский вышел, и спустя мгновение послышался созывавший на раду колокол. На голос его тотчас стали сходиться казачьи отряды. И вот уселись старшины и полковники: страшный Кривонос, правая рука Хмельницкого; Кречовский, меч казачий; старый и опытный Филон Деяла, полковник кропивницкий; Федор Лобода переяславский; жестокий Федоренко

кальницкий; дикий Пушкаренко полтавский, сплошь чабанами командовавший; Шумейко нежинский; пламенный Чарнота гадячский; Якубович чигиринский; затем Носач, Гладкий, Адамович, Глух, Полуян, Панич, но не все, ибо кое-кто был в деле, а кое-кто на том свете, причем не без помощи князя Черемии.

Татары на сей раз на раду позваны не были. Товарищество собралось на майдане. Напиравшую чернь отгоняли палками и даже кистенями, при этом не обошлось без смертоубийства.

В конце концов появился Хмельницкий, весь в алом, в гетманской шапке и с булавою в руке. Рядом с ним шел белый, как голубь, благочестивый ксендз Патроний Лашко, по другую сторону — Выговский с бумагами.

Хмель, расположившись между полковников, восседал какое-то время в молчании, затем обнажил голову, давая этим знак, что совет начинается, встал и так заговорил:

— Судари полковники и благодетели атаманы! Ведомо вам, что из-за великих и невинно понесенных обид наших вынуждены были мы взяться за оружие и, с помощью наисветлейшего царя крымского, за старинные вольности и привилегии, отнятые у нас без согласия его милости короля, с магнатов спросить, каковое предприятие господь благословил и, напустивши на коварных угнетателей наших страх, преступления и утеснения их покарал, а нам небывалыми воздал викториями, за что от сердца признательного следует нам его возблагодарить. Когда гордыня таково наказана, надлежит нам подумать, как пролитие крови христианской остановить, что и господь милосердный, и наша вера благочестивая от нас требуют, но саблю до тех пор из рук не выпускать, пока по произволению наисветлейшего короля-государя наши старинные вольности и привилегии не будут возвращены. Вот и пишет мне пан воевода брацлавский, что такое возможно, а я тож это возможном полагаю, ибо не мы, но магнаты Потоцкие, Калиновские, Вишневецкие и Конецпольские из послушания его величеству и Речи Посполитой вышли, каковых мы же и покарали, а посему следует нам надлежащее удовлетворение и вознаграждение от его величества и сословий. Так что прошу я вас, господа благодетели и милостивцы мои, послание воеводы брацлавского, шляхтича веры благочестивой, мне через отца Патрония Лашко посланное, прочитайте и мудро рассудите, дабы пролитие крови христианской было прекращено, нам произведено удовлетворение, а за послушание и верность Речи Посполитой воздана награда.

Хмельницкий не спрашивал, следует ли прекратить войну, но требовал от нее отказаться, поэтому несогласные сразу же стали перешептываться, что спустя короткое время переросло в грозные крики, заводилой которых был в основном Чарнота гадячский.

Хмельницкий молчал, внимательно поглядывая, откуда исходят протесты, и строптивых про себя отмечая.

Между тем с письмом Киселя встал Выговский. Копию унес Зорко, дабы прочесть ее товариществу, поэтому и там и здесь установилась полная тишина.

Воевода начинал письмо такими словами:

— «Ваша милость пан Старшой Запорожского Войска Речи Посполитой, старинный и любезный мне господин и друг!

Поскольку множество есть таких, каковы о вашей милости, как о недруге Речи Посполитой, понимают, я не только остаюсь сам целиком уверенный в Вашей неизменной к Речи Посполитой склонности, но и прочих их милостей господ сенаторов, сподвижников моих в том уверяю. Три разумения убеждают меня в этом. Первое: что, хотя Войско Днепровское от века славу и вольности свои отстаивает, однако преданность королям, вельможам и Речи Посполитой никогда не нарушало. Второе: что народ наш русский в вере своей правоверной столь непоколебим, что предпочтет здравием каждый из нас пожертвовать, чем веру оную чем ни то нарушить. Третье: что хоть и бывают разные (как и теперь вот случилось, прости господи!) внутренние кровопролития, но, однако, отчизна для всех нас есть единая, в каковой рождаемся, дабы вольности наши вкушать, и негу, пожалуй, во всем свете другого государства, подобного отчизне нашей в правах и свободах. Посему привычные все мы, как один, сей матери нашей, Короны, нерушимость соблюдать, и, хотя случаются огорчения различные (как оно на свете всегда было), однако разум требует не забывать, что легче в стране свободной договориться о том, что у кого наболело, чем, потерявши мать эту, уже другой такой не найти ни в христианстве, ни в поганстве...»

Лобода переяславский воскликнул:

— Правду ка же!

— Правду ка же! — вторили другие полковники.

— Неправду! Бреше, пся віра! — рявкнул Чарнота.

— Помалкивай! Сам пся віра!

— Изменники вы! На погибель вам!

— На погибель тобі!

— Давай слушай, нечего тут! Читай давай! Он наш чоловік. Слушай давай, слушай!

Гроза собиралась нешуточная, но Выговский стал читать дальше, поэтому снова все затихло.

Воевода в продолжение писал, что Войско Запорожское может ему доверять, ибо знает хорошо, что он, одной с ними крови и веры будучи, сочувствующим себя полагает и в злосчастном кровопролитии под Кумейками и на Старке участия не принимал, еще он призывал Хмельницкого от войны отказаться, татар отослать или обратить против них оружие, а самому в верности Речи Посполитой утвердиться. Закачивалось письмо следующими словами:

«Обещаю вашей милости, как я есть сын церкви божьей и как род мой от крови народу русского старинной идет, что сам буду всему доброму пособлять. Вы знаете, ваша милость, что и от меня в оной Речи Посполитой (по милости господней) кое-что зависит, что без меня ни война решена быть не может, ни мир установиться, а я первый войны внутренней не желаю», и т. д.

Сразу же поднялись крики «за» и «против», но в целом послание понравилось и полковникам, и товариществу. Во всяком случае, сперва нельзя было ничего понять и расслышать из-за великого неистовства, с каким послание обсуждалось. Товарищество издали походило на огромный водоворот, в котором кипело, бурлило и гудело людское море. Полковники потрясали перначами и налетали друг на друга, поднося друг другу кулаки к носам. Мелькали багровые лица, сверкали горящие глаза, выступала пена на губах, а всеми сторонниками назревающей распри предводительствовал Эразм Чарнота, впавший в подлинное неистовство. Хмельницкий тоже, глядя на его бешенство, был готов взорваться, отчего обычно все стихало, как от львиного рыка. Но прежде вскочил на лавку Кречовский, махнул перначом и крикнул громовым голосом:

— Вам скотину пасти, не совещаться, рабы басурманские!

— Тихо! Кречовский говорить хочет! — первым крикнул Чарнота, ожидавший, что прославленный полковник за продолжение войны выскажется.

— Тихо! Тихо! — вопили остальные.

Кречовский был весьма уважаем среди казачества, а все из-за оказанных казакам великих услуг, из-за больших воинских способностей и — как это ни странно — оттого, что был шляхтич. Так что все разом утихло и все с любопытством ждали, что он скажет, сам Хмельницкий даже в него взгляд беспокойный впери.

Но Чарнота ошибся, полагая, что полковник выскажется в пользу войны. Кречовский быстрым своим умом понял, что или теперь, или никогда он может получить от Речи Посполитой те самые староства и чины, о которых мечтал. Он понял, что при умиротворении казаков его прежде многих прочих постараются привлечь и ублажить, чему краковский властелин, в плену находясь, помешать не сможет, поэтому высказался он следующим образом:

— Мое дело биться, не совещаться, но, коли до совета дошло, я желаю и свое мнение сказать, ибо такое благоволение от вас не меньше, а больше иных прочих заслужил. Мы затеяли войну затем, чтобы нам возвратили наши вольности и привилегии, а воевода брацлавский пишет, что так оно и должно быть. Значит: или будет, или не будет. Ежели не будет — тогда война, а ежели будет — мир! Зачем же понапрасну кровь проливать? Пускай нас удовлетворят, а мы чернь успокоим, и война прекратится; наш батяко Хмельницкий мудро порешил и придумал,

чтобы нам сторону его милости наисветлейшего короля взять, который нас и наградит за это, а ежели паны воспротивятся, тогда позволит нам с ними посчитаться — и мы погуляем. Не советовал бы я только татар отпускать: пускай кошем на Диком Поле stanno и стоят, покуда нам либо в стремя ногой, либо в пень головой.

У Хмельницкого просветлело лицо, когда он это услышал, а полковники уже в огромном большинстве стали кричать, что войну следует пока прекратить и послов в Варшаву отправить, а воеводу из Брусилова просить, чтобы сам на переговоры приехал. Чарнота, однако, кричал и протестовал, и тогда Кречовский, взглядом грозным в него уставившись, сказал:

— Ты, Чарнота, гадячский полковник, о войне и кровопролитии взываешь, а когда под Корсунем шли на тебя пятигорцы пана Дмоховского, так ты, как підсвинок, визжал: «Брати рідні, спасайте!», и впереди всего своего полка удирал.

— Лжешь! — заорал Чарнота. — Не боюся ж я ни ляхів, ни тебя.

Кречовский сжал в руке пернач и кинулся к Чарноте, другие начали дубасить гадячского полковника кулаками. Снова поднялся гвалт. Товарищество на майдане ревели, как стадо диких зубров.

Но тут снова поднялся Хмельницкий.

— Милостивые государи и благодетели полковники! — сказал он. — Значит, постановили вы послов в Варшаву послать, каковые верную службу нашу наисветлейшему королю, его милости, представят и о награде просить будут. Тот же, кто войны хочет, пускай воюет — но не с королем, не с Речью Посполитой, потому что мы с ними войны никогда не вели, а с величайшим недругом нашим, который весь уже от крови казацкой аж красен, который еще на Старке ею окровенился и теперь продолжает, в злонамерении к войскам казацким оставаясь. К нему я письмо и послов направил, прося, чтобы от своего неблагоприятного положения отказался, он же их зверски поубивал, ответом меня, старшину вашего, не уваживши, через что презрение ко всему Войску Запорожскому показал. А теперь пришел вот из Заднепровья и Погребище поголовно вырезал, невинных людей покарал, над чем я горячими слезами плакал. Потом, как меня сегодня поутру известили, пошел он к Немирову и тоже никого не пощадил. А поскольку татары от страха и боязни идти на него не хотят, он, того и гляди, придет сюда, чтобы и нас, невинных людей, противу воли благосклонного к нам его милости наисветлейшего короля и всей Речи Посполитой истребить, ибо в гордыне своей ни с кем он не считается и каково сейчас бунтуется, так и всегда готов против воли его королевской милости взбунтоваться...

В собрании сделалось очень тихо. Хмельницкий перевел дух и продолжал:

— Бог нас над гетманами викториєю награди, но этот, чертово отродье, одною только неправдой живущий, хуже гетманов и всех королят. А пойдй я на него, так он в Варшаве через друзей своих кричать не преминет, что мы не хотим мира, и перед его королевским величеством невинность нашу оболжет. Чтобы такого не случилось, необходимо, дабы король, его милость, и вся Речь Посполитая знали, что я войны не хочу и сажу тихо, а он на нас первый нападает, почему я и двинуться не могу, ибо к переговорам с паном воеводой брацлавским склониться желаю, а чтобы он, чертово отродье, силы нашей не сокрушил, надобно поперек пути ему встать и мощь его истребить, так же, как мы у Желтых Вод и под Корсунем недругов наших, панов гетманов, истребили. О том я, значит, и прошу, чтобы вы, ваши милости, добровольно на него пошли, а королю писать буду, что это произошло без моего ведома и за-ради необходимой нашей обороны против его, Вишневецкого, злонаравия и нападений.

Глухое молчанье воцарилось среди собравшихся.

Хмельницкий продолжал:

— Тому из ваших милостей, кто на сей промысел ратный пойдет, дам я достаточно войска, добрых молодцев, и пушку дам, и люда огненного, чтобы с помощью божией недруга нашего сокрушил и викторию над ним одержал...

Ни один из полковников не вышел вперед.

— Шестьдесят тысяч отборных бойцов дам! — сказал Хмельницкий.

Тишина.

А ведь это все были неустрашимые воины, боевые кличи которых не один раз от стен Цареграда эхом отдавались. Быть может, именно поэтому каждый из них опасался в стычке со страшным Иеремией потерять добытую славу.

Хмельницкий оглядывал полковников, а те от взгляда его опускали глаза долу. На лице Выговского появилось выражение сатанинского злорадства.

— Знаю я молодца, — хмуро сказал Хмельницкий, — который бы сейчас свое слово сказал и от похода не уклонился, да нету его среди нас...

— Богун! — сказал кто-то.

— Точно. Разбил он уже regiment Яремы в Василевке, да только пострадал сам в этом деле и лежит теперь в Черкассах, со смертью-матушкой борется. А раз его нету, значит, как я погляжу, никого нету. Где же слава казацкая? Где Павлюки, Наливайки, Лободы и Острилицы?

Тогда толстый невысокий человек, с посиневшим и угрюмым лицом, с рыжими как огонь усами над кривым ртом и с зелеными глазами, встал с лавки, подошел к Хмельницкому и сказал:

— Я пойду.

Это был Максим Кривонос.

Послышались клики «на славу», он же упер в бок пернач и сказал хриплым, отрывистым голосом следующее:

— Не думай, гетман, что я боюсь. Я бы сейчас же вызвался, да думал: есть получше меня! Но ежели нету, пойду я. Вы что? Вы головы и руки, а у меня головы нету, только руки да сабля. Раз мати родила! Война мне мать и сестра. Вишневецкий ріже, и я буду. А ты мне, гетман, молодец добрых дай, ибо не с чернью на Вишневецкого ходят. Так и пойду — замків добувати, бити, різати, вішати! На погибель їм, білоручкам!

Еще один атаман вышел вперед.

— Я з тобою, Максиме!

Был это Полуян.

— И Чарнота гадячский, и Гладкий миргородский, и Носач остренский пойдут с тобой! — сказал Хмельницкий.

— Пойдем! — ответили те в один голос, потому что пример Кривоноса уже их увлек и пробудил в них боевой дух.

— На Ярему! На Ярему! — загремели крики среди собравшихся. — Коли! Коли! — вторило товарищество, и уже через какое-то время рада превратилась в попойку. Полки, назначенные идти с Кривоносом, шили смертельно, ибо и шли на смерть. Молодцы это хорошо знали, да только в сердцах их уже не было страху. «Раз мати родила!» — вторили они своему вождю и ни в чем себе не отказывали, как оно всегда бывало перед гибелью. Хмельницкий разрешал и поощрял — чернь последовала их примеру. Толпы в сто тысяч глоток принялись распевать песни. Распугали завбдных коней, и те, мечась по лагерю, поднимая облака пыли, учинили неопикуемый беспорядок. Их гоняли с криками, воплями и хохотом; огромные толпы слонялись у реки, стреляли из самопалов: устроив давку, продирались в квартиру самого гетмана, который в конце концов приказал Якубовичу их разогнать. Начались драки и бесчинства, покуда проливной дождь не загнал всех в шалаши и под телеги.

Вечером в небесах бушевала гроза. Грома перекатывались из края в край обложенного тучами неба, молнии освещали окрестность то белым, то багровым светом.

В ответах их выступил из лагеря Кривонос во главе шестидесяти тысяч самолучших, отборнейших бойцов и черни.

ГЛАВА XXVII

Кривонос пошел из Белой Церкви через Сквиру и Погребнице к Махновке, а всюду, где проходил, даже следы человеческого проживания исчезали. Кто не присоединялся к нему, погибал от ножа. Сжигали на корню жито, леса, сады, а князь тем временем тоже, в свою очередь, сеял опустошение. После погродной резни в Погребнице и кровавой бани, устроенной паном

Барановским Немирову, уничтожив этак с дюжину крупных шаек, войско в конце концов стало лагерем под Райгородом, ибо почти месяц уже люди не слезали с седел и ратные труды измотали солдат, а смерть их ряды поуменьшила. Надо было отдышаться и отдохнуть, так как рука кощов этих одеревенела от кровавой жатвы. Князь был даже склонен на какое-то время уйти на отдых в мирные края, дабы пополнить войско, а главным образом конский запас, который был скорее похож на движущиеся скелеты, чем на живые существа, потому что лошади с месяц уже не видели зерна, пробавляясь одной только затоптанною травой. Между тем после недельного бивака сделалось известно, что на подходе подкрепления. Князь тотчас же выехал навстречу и в самом деле встретил Януша Тышкевича, воеводу киевского, подошедшего с полутора тысячами изрядного войска; были с ним и пан Кшиштоф Тышкевич, подсудок брацлавский, и молодой пан Аксак, еще почти юноша, но с добротнo снаряженной собственной гусарской хоругвишкой, и множество шляхты, а именно господа Сенюты, Полубинские, Житинские, Еловицкие, Кердеи, Богуславские — кто с дружинами, а кто и без, — все вместе насчитывали около двух тысяч сабель, не считая челяди. Князь очень обрадовался и, признательность свою выражая, пригласил пана воеводу к себе на квартиру, а тот ее бедности и простоте надивиться не мог. Князь, насколько в Лубнах жил по-королевски, настолько в походах, желая показать пример солдатам, никаких роскошеств себе не позволял. Стоял он постоем в небольшой комнатенке, в узкую дверь которой пан воевода киевский по причине своей превеликой тучности едва смог протиснуться, приказав даже себя стремянному сзади подпихивать. В комнате, кроме стола, деревянных лавок и койки, покрытой лошадиной шкурой, не было ничего, разве что сенник у двери, на котором спал всегда готовый к услугам ординарец. Простота эта весьма удивила воеводу, любившего посибаритничать и путешествовавшего с коврами. Итак, вошел он и с удивлением воззрился на князя, поражаясь, как может муж, столь великий духом, жить в таковой непритязательности и убожестве. Ему случалось встречаться с князем на сеймах в Варшаве, он состоял даже с ним в дальнем родстве, но коротко они знакомы не были. Лишь когда завязался разговор, он тотчас понял, что имеет дело с человеком незаурядным. И вот старый сенатор и старый беспшабашный солдат, приятелей-сенаторов по плечу хлопывавший, ко князю Доминику Заславскому обращавшийся «милостивец мой!» и с самим королем бывший в доверительных отношениях, не мог позволить себе запросто держаться с Вишневецким, хотя князь принял его учтиво, ибо был благодарен за помощь.

— Сударь воевода, — сказал он. — Слава богу, что прибыли вы со свежим народом, а то я уж на последнем дыхании шел.

— Заметил, заметил я, что солдаты вашей княжеской свет-

лости измотались, сердешные, и это меня немало удручает, ибо прибыл я сюда просить, чтобы ваша княжеская светлость помощь мне оказал.

— Спешно ли?

— *Periculum in mora, periculum in mora!*¹ Подошло негодяйства несколько десятков тысяч, а над ними Кривонос, который, как я слышал, на вашу княжескую светлость был отряжен, но, узнав от языка, что ваша княжеская светлость на Староконстантинов пошла, туда направился, а по дороге обложил мою Махновку и такое опустошение учинил, что рассказать невозможно.

— Слышал я о Кривоносе и здесь ждал его, но поскольку он до меня не добрался, придется, как видно, добираться до него — дело действительно спешное. Большой гарнизон в Махновке?

— В замке двести немцев презрительных, и они какое-то время еще продержатся. Но плохо, что в город понаехало множество шляхты с семьями, а город-то укреплен валом да частоколом, так что долго обороняться не сможет.

— Дело действительно спешное, — повторил князь.

Затем повернулся к ординарцу:

— Желенский! Беги к полковникам.

Воевода киевский тем временем, тяжело дыша, уселся на лавку, при этом он озабоченно озирался насчет ужина, ибо был голоден, а поесть любил, и весьма.

Тут послышались шаги вооруженных людей и вошли княжеские офицеры — темные с лица, исхудавшие, бородатые. С запавшими глазами, с выражением неопишуемой усталости во взглядах, они молча поклонились князю и гостям и стали ждать распоряжений.

— Милостивые государи, — спросил князь, — кони у водопойных колод?

— Так точно!

— К походу готовы?

— Как всегда.

— Прекрасно. Через час идем на Кривоноса.

— Ге! — удивился киевский воевода и поглядел на пана Кшиштофа, подсудка брацлавского.

А князь продолжал:

— Их милости Вершулл и Понятовский пойдут первыми. За ними Барановский с драгунами, а через час чтоб у меня и пушки Вурцеля выступили.

Полковники, поклонившись, вышли, и спустя минуту трубы затрубили поход. Киевский воевода такой поспешности не ожидал и даже не желал ее, так как устал с дороги и утомился. Он рассчитывал с денек у князя отдохнуть, дело бы успелось; а тут приходилось сразу, не спавши, не евши, на коня садиться.

¹ Медлить опасно, медлить опасно! (лат.)

— Ваша милость, князь,— сказал он,— а дойдут ли твои солдаты до Махновки, ибо на вид ужасно они *fatigati*¹, а дорога неблизкая.

— Об этом, милостивый государь, не беспокойся. Они на битву, как на свадьбу, идут.

— Вижу я, вижу. Ребята удалые, но ведь... мои-то люди с дороги.

— Ты же сам, ваша милость, сказал: «*Perculum in throga*».

— Так-то оно так, да недурно бы хоть ночку отдохнуть. Мы же из-под Хмельника идем.

— Досточтимый воевода, мы — из Лубен, из-за Днестра.

— Мы день целый в дороге.

— Мы — целый месяц.

Сказав это, князь вышел, чтобы самолично проверить построение, а воевода глаза на подсудка, пана Кшиштофа, уставил, ладонями по коленям хлопнул и сказал:

— Вот, пожалте вам, получил, что хотел! Ей-богу, меня тут голодом уморят. Ну! Вот же горячие головы! Прихожу к ним за помощью, полагаю, что после великих и слезных просьб они дня через два-три соизволят пошевелиться, а тут даже передохнуть не дают. Черт бы их побрал! Я путлицем, которое негодяй денщик худо пристегнул, ногу себе стер, в животе у меня бурчит... Черт бы их побрал! Махновка Махновкой, а утроба утробой! Я тоже старый солдат и, может, поболее ихнего войны хлебнул, но чтобы так — раз и пожалте!.. Это же дьяволы, не люди, не спят, не едят — только сражаются. Ей-богу, не едят они. Видал, пане Кшиштоф, полковников-то? Разве же они не выглядят как *spectra*², а?

— Однако отваги им не занимать,— ответил пан Кшиштоф, бывший прирожденным солдатом. — Господи боже мой! Сколько суеты и беспорядка бывает, когда выступать надо! Сколько беготни, возни с повозками, неразберихи с лошадьми!.. А тут — слышите. ваша милость? — уже пошли легкие хоругви!

— И точно! Выступают! С ума можно сойти! — сказал воевода.

А молодой пан Аксак ладони свои мальчишечьи сложил.

— Ах, великий это полководец! Ах, великий воитель! — заговорил он восхищаясь.

— У вашей милости молоко на губах не обсохло! — рявкнул воевода. — *Sunctator* тоже был великий полководец!.. Понял, сударик?

Но тут вошел князь:

— Милостивые государи, на конь! Выступаем!

Воевода не выдержал.

¹ усталые (лат.).

² привидения (лат.).

— Вели же, ваша княжеская светлость, дать поесть что-нибудь, я же есть хочу! — воскликнул он вовсе уж в скверном настроении.

— Ах, мой дражайший воевода! — сказал Иеремия, смеясь и обнимая его. — Простите, простите! Я бы всем сердцем, да на войне человек о таких вещах забывает.

— Ну что, пан Кшиштоф? Говорил я, они ничего не едят? — повернулся воевода к брацлавскому подсудку.

Ужин продолжался недолго, и даже пехота спустя два часа выступила из Райгорода. Войско продвигалось на Винницу и Литин к Хмельнику. По дороге Вершулл наткнулся в Саверовке на татарский отрядик, каковой они с паном Володыёвским поголовно и уничтожили, освободивши несколько сотен душ ясырей, сплошь почти девушек. Тут уже начиналась земля опустошенная, и Кривоносовы деяния были видны на каждом шагу. Стрижавка была сожжена, а население ее истреблено страшной методой. Несчастные, видать по всему, сопротивлялись Кривоносу, за что дикий предводитель обрек их мечам и пламени. У околицы висел на дубу сам пан Стрижавский, которого люди Тышкевича сразу же опознали. Висел он совершенно нагой, а на груди его виднелось ужасное ожерелье из голов, напизанных на веревку. Это были головы его шестерых детей и жены. В самой деревне, сожженной, кстати, догла, солдаты увидели по обочинам длинные вереницы казацких «свечей», то есть людей с вознесенными над головой руками, прикрученных к вколоченным в землю жердинам, обвязанных соломой, облитых смолой и зажженных с кистей рук. У большинства отгорели только руки, так как дождем, видно, огонь погасило. Но группы эти с искаженными лицами, протягивающие к небу черные культы, были ужасны. В воздухе стоял трупный смрад. Над столбами кружили тучи ворон и галок; они, завидя подходившее войско, с карканьем срывались с ближних столбов, чтобы пересесть на отдаленные. Несколько волков побежало от хоругвей к зарослям. Войска в молчанье проходили по страшной аллее, считая «свечи». Оказалось их более трехсот. Наконец солдаты прошли эту злосчастную деревеньку и вдохнули свежего воздуха полей. Увы, следы уничтожения виднелись и тут. Была первая половина июля, хлеба уже почти поспевали, и ожидалась даже ранняя жатва. Однако целые нивы были частью сожжены, частью отравлены, всклокочены, втоптаны в землю. Ураган, казалось, пронесся по пажитям. А он и вправду пронесся над ними, страшнейший из ураганов — ураган гражданской войны. Княжеские жолнеры не раз видали плодородные края, опустошенные татарскими набегами, но такого ужаса, такой ярости истребления они никогда еще не видели. Леса, как и хлеба, были сожжены. Где огонь не пожрал дерев целиком, там он слизнул с них огненными своими языками листья и кору, опалил дыханием, задымил, обуглил — и деревья теперь торчали, точно скелеты. Пан воевода глядел и глазам своим не

верил. Медяков, Захар, Футоры, Слобода — сплошное пепелище! Мужики кое-где сбежали к Кривоносу, а бабы и дети попали ясырями к тем ордынцам, которых Вершулл с Володыёвским перебили. На земле было запустение, на небе же — стаи ворон, воронов, галок, коршунов, послетавшихся бог весть откуда на казацкое жнивие... Следы недавнего пребывания войск делались все более свежими. Все чаще встречались сломанные повозки, трупы скотины и людей, еще не тронутые тлением, разбитые горшки, медные котлы, мешки с подмокшей мукой, еще дымящиеся пепелища, стога, недавно початые и раскиданные. Князь, не давая солдатам передышки, торопил войско к Хмельнику, старый же воевода за голову хватался, жалобно повторяя:

— Моя Махновка! Моя Махновка! Теперь я вижу, что нам не поспеть.

Между тем из Хмельника пришло донесение, что не сам старый Кривонос, но сын его Махновку с более чем десятью тысячами солдат осадили и что это он учинил столь опустошительные зверства по дороге. Город, судя по сообщениям, был уже взят. Казаки, овладев им, вырезали поголовно шляхту и евреев, шляхтянок же взяли в свой табор, где им был уготован жребий худший, чем смерть. Однако крепостца под командованием пана Льва пока что не сдавалась. Казаки штурмовали ее из монастыря бернардинцев, в котором предварительно порубали монахов. Пан Лев на пределе сил и запасов пороха долее чем одну ночь продержаться не рассчитывал.

Поэтому князь оставил пехоту, пушки и главные силы войска, которым велел идти к Быстрику, а сам с воеводою, паном Кшиштофом, паном Аксаком и двумя тысячами безобозного войска бросился на помощь. Старый воевода, совершенно растерявшись, шел уже на попятный. «Махновка пропала, мы придем слишком поздно! Больше нет смысла, лучше другие города оборонять и гарнизонами их обеспечить», — повторял он. Князь, однако, не хотел и слушать. Брацлавский подсудок, наоборот, торопил, а войска те просто рвались в бой. «Раз мы сюди пришли, без крови не уйдем!» — говорили полковники. И решено было идти.

И вот в полумиле от Махновки более дюжины всадников, мчась что только духу в конях, появились на пути войска. Это был пан Лев со своими. Увидав его, киевский воевода сейчас же понял, что произошло.

— Замок взят! — крикнул он.

— Взят! — ответил пан Лев и тотчас потерял сознание, ибо, посеченный и пулями пораненный, потерял много крови. Другие, однако, стали рассказывать, как все происходило. Немцев на стенах перебили всех до единого, ибо они предпочли умереть, но не сдаваться; пан Лев прорвался через лавину черни в выломанные ворота, но в башне тем не менее еще защищались несколько десятков шляхтичей — к ним-то и надо было спешить на помощь.

Поэтому рванули с места. И вот открылся на холме город с замком, а над ним тяжкою тучею дым начавшегося пожара. День клонился к вечеру. На небе горела огромная оранжево-пурпурная заря, сперва было сочная войском за сами пожары. В ее освещении были видны запорожские полки и скученные толпища черни, изливавшиеся из ворот навстречу войскам совершенно безбоязненно, ибо в городе никто не знал о подходе князя, полагая, что это всего-навсего киевский воевода идет с подкреплениями. Как видно, всех совершенно одурманила водка, а может, свежая победа вселила спесь безмерную, но мятежники беспечно спустились с холма и только в долине стали весьма усердно строиться к битве, колотя в барабаны и литавры. Когда скакавшие увидели это, радостный клич вырвался изо всех польских грудей, а пан воевода киевский получил возможность во второй уже раз удивиться четкости действий княжеских хоругвей. Остановившись при виде казаков, они тотчас же составили боевые порядки: тяжелая кавалерия посредине, легкая на флангах, так что перестраивать ничего не потребовалось и с места возможно стало идти в дело.

— Пане Кшиштоф, что же это за народ! — воскликнул воевода. — С ходу построились. Они и без полководца могут в бой идти.

Однако князь, как осмотрительный военачальник, летал с булавою в руке перед хоругвями от фланга к флангу, оглядывая полки и давая последние указания. Закат отражался в его серебряном доспехе, и всадник походил на светлое пламя, метавшееся среди шеренг, ибо на фоне темных броней он один только и светился необычайно.

А строй был таков: посреди в первой линии три хоругви — первая, которою сам воевода киевский командовал, вторая — молодого пана Аксака, третья — пана Кшиштофа Тышкевича, за ними, во второй линии, драгуны под командою Барановского и, наконец, могучие гусары князя, а при них командиром пан Скшетуский.

Фланги заняли Вершулл, Кушель и Понятовский. Пушек не было, так как Вурцель остался в Быстрике.

Князь подскочил к воеводе и махнул булавою.

— За свои обиды начинай, ваша милость, первый!

Воевода, в свою очередь, махнул буздыганом — всадники склонились в седлах и двинулись. И по тому, как пошла в бой хоругвь, сразу стало ясно, что воевода хоть и тяжелый на подъем, и кунктатор, ибо годы брали свое, но солдат тем не менее опытный и мужественный. Он не рванул хоругвь с места во весь опор, но, чтобы сберечь силы, вел ее неторопливо, разгоняясь по мере приближения к противнику. При этом сам он с буздыганом в руке мчался в первой линии. оруженосец, скакавший рядом, держал наготове кончар длинный и увесистый, бывший, однако, воеводе как раз по руке. Чернь со своей стороны в пе-

шем строем с косами и цепами шла навстречу хоругви, чтобы сдержать первый удар и облегчить запорожцам атаку. Когда между сближающимися противниками осталось не более нескольких десятков шагов, махновичане узнали воеводу по исполинскому росту и огромной туше, а узнавши, кричать принялись:

— Гей, ясновельможный воевода, жатва на носу, чего ж ты людей в поле не выгоняешь? Бьем челом, ясный пане! Уж мы тебе пузо проковыряем.

И град пуль посыпался на хоругвь, но ущерба не нанес, ибо мчалась она уже как вихрь. Оттого и столкновение было тяжким. Раздался стук цепов и звон кос, ударивших в панцири, крики и стоны. Копья проделали проход в сбитом скопище, и разогнавшиеся кони ворвались туда как смерч, топча, давя, опрокидывая. И как на лугу, когда построятся чередой косари, буйная трава расступается перед ними, а они идут вперед, размахивая косовищами, точно так же под ударами мечей широкая лава раздавалась, редела, исчезала и, теснимая конскими грудями, не умея выстоять, стала подаваться. Наконец кто-то закричал: «Люди, спасайтесь!», и все множество, бросая косы, цепи, вилы, самопалы, бросилось в дикой суматохе на стоявшие позади полки запорожцев. Запорожцы же, опасаясь, как бы бегущие не смешали их рядов, выставили навстречу пики, так что чернь, завидя эту преграду, бросилась с отчаянным воем в обе стороны, но тут опять же согнали ее обратно Кушель с Понятовским, в этот момент двинувшиеся с княжеских флангов.

Поэтому воевода, идучи по трупам, оказался лицом к лицу с запорожцами и на них помчался. Они же, намереваясь ответить на натиск натиском, понеслись на него. И ударились друг о друга противники, как два вала, накатывающиеся навстречу друг другу, а при соударении пенный гребень порождает. Именно так вздыбились перед конями кони, всадники же уподобились валам, а сабли над валами этими вскипели пеной. И понял воевода, что он уже не с чернью дело имеет, но с ожесточенным и умелым бойцом запорожским. Две линии, изгибаясь, напирала друг на друга, не в силах согнуть одна другую. Трупы валились бесчисленно, ибо муж шел на мужа, меч обрушивался на меч. Сам воевода, заткнув буздыган за пояс и взяв кончар от оруженосца, трудился в поте лица, сопя, как кузнечный мех. Рядом с ним оба пана Сенюты, господа Кердеи, Богуславские, Еловицкие и Полубинские только успевали поворачиваться. На казацкой же стороне свирепствовал более других Иван Бурдабут, подполковник кальницкого полка. Казак исполненной силы и телосложения, он был страшен тем более, что и конь его боролся наравне с хозяином. Так что не один польский воин осаживал скакуна и пятился, дабы с оным, сеющим смерть и опустошение, кентавром не столкнуться. Подскакали к нему братья Сенюты, но Бурдабутов конь схватил младшего,

Андрея, зубами за лицо и во мгновение все лицо ему разможил, что завидев старший, Рафал, рубанул зверя по надглазью, но не убил, а ранил, ибо сабля угодила в латунную бляху налобника. Бурдабут в одну секунду вонзил сопернику клинок под подбородок и жизни пана Рафала лишил. Так погибли оба брата Сенюты и остались лежать в золоченых панцирях во прахе под конскими копытами, а Бурдабут молнией метнулся в следующие ряды и сразу же достиг князя Полубинского, шестнадцатилетнего отрока, которому отрубил предплечье вместе с рукою. Видя это, пан Урбанский захотел отомстить за сродника и выпалил из пистоли прямо Бурдабуту в лицо, но промахнулся, отстрелив тому только ухо и кровью всего заливши. Страшен стал теперь Бурдабут на своем коне: оба черные, как ночь, оба залитые кровью, оба с дикими очами и раздутыми ноздрями, сокрушительные, как буря. Не избежал смерти от Бурдабутовой руки и пан Урбанский, которому он, как палач, голову одним махом отрубил, и старый, восьмидесятилетний пан Житинский, и оба пана Никчемные, так что остальные пятиться стали в ужасе, особенно же потому, что за Бурдабутом сверкали еще сто запорожских сабель и копий, тоже обгаренных кровью.

Наконец увидел дикий атаман воеводу и, издав чудовищный вопль радости, бросился к нему, опрокидывая по дороге коней и всадников. Однако воевода не отступил. Полагаясь на свою необычайную силу, он всхрапнул, как раненый одинец, поднял над головою кончар и, прищпорив коня, кинулся к Бурдабуту. И пришел бы, верно, его последний час, уже и Парка в ножницы взяла нить его жизни, каковую потом в Окрее перерезала, если бы не Сильницкий, шляхетский оруженосец, молнией метнувшийся на атамана и повисший на нем, покуда не был порубан саблею. Меж тем как Бурдабут занимался им, кликнули господа Кердеи помощь воеводе; мигом подскакали несколько десятков, тотчас его от атамана отделивших, после чего завязалось упорное побоище. Увы, уставший полк воеводы начал пятиться и смешивать свои ряды, подаваясь превосходящим силам запорожцев, но тут пан Кшиштоф, подсудок брацлавский, и пан Аксак подоспели со свежими хоругвями. Правда, и свежие запорожские полки сразу же вступили в бой, но ведь был в низине еще князь с драгунами Барановского и гусария Скшетуского, до сей поры в деле участия не принимавшие.

Так что снова закипела кровавая резня, а между тем стало смеркаться. Тут, однако, на крайние городские строения перекинулся пожар. Заревом осветило побоище, и стали отлично видны обе линии, польская и казацкая, изгибающиеся в долине, видны были даже цвета прапорцев и лица отдельных бойцов. Уже Вершулл, Понятовский и Кушель ратоборствовали в схватке, ибо, перебив чернь, они сражались на казацких флангах, под их натиском начинавших отступать на косогор. Долгая линия сражавшихся изогнулась оконечьями своими к городу и продол-

жала изгибаться все больше и больше, потому что, пока наступали польские фланги, середина, теснимая превосходящими казачьими силами, отходила ближе к князю. В дело, чтобы прорвать польский строй, вступили три новых казацких полка, но в эту минуту князь ввел драгун Барановского, и те ринулись на помощь сражавшимся.

При князе осталась только гусария, издалека выглядывшая темным бором, встающим прямо из поля,— грозная лавина железных мужей, коней и копий. Вечерний ветерок шелестел флажками на этих копьях, но шеренги стояли тихо, до времени в бой не стремясь, спокойно выжидающие, потому что отборные, во многих сражениях побывавшие и знавшие, что кровавая работа их тоже не минует. Князь в серебряных доспехах с золотою булавою в руке, находившийся среди них, пристально озирает сражение, а слева от него на фланге, несколько впереди строя, стоял пан Скшетуский. Рукав он, как положено офицеру, подвернул и, держа в могучей, оголенной до локтя руке вместо буздыгана кончар, спокойно ждал команды.

А князь левою рукою прикрыл глаза от яркого пожара и всматривался в поле битвы. Середина польского полумесяца медленно пятилась к нему, одолеваемая превосходящими силами, ибо ненадолго хватило поддержки пана Барановского, того самого, который Немиров покарал. Так что князю как на ладони видна была нелегкая работа жолнеров. Протяженная молния сабель то вспыхивала над черною линией голов, то гасла в ударах. Кони без всадников вылетали из гущи сражавшихся и носились по равнине с ржанием и развевающимися гривами, на фоне пожара напоминая адских бестий. То и дело пунцовый стяг, реявший над вражеским сонмом, внезапно кренился в толпу, чтобы уже более не подняться. Однако взор князя простирался за линию сражавшихся, на самое возвышенность, ближе к городу, где во главе двух отборных полков стоял молодой Кривонос, ожидая удобной минуты, чтобы броситься в гущу сражения и окончательно сломить ослабленные польские порядки.

Наконец он сорвался с места, с ужасающим криком скакал прямо на драгун Барановского, но минуты этой ждал также и князь.

— Веди! — крикнул он Скшетускому.

Скшетуский поднял кончар, и железная лавина пошла вперед.

Продвижение их было недолгим, ибо линия боя находилась совсем недалеко. Драгуны Барановского с молниеносной быстротой разлетелись вправо и влево, чтобы открыть гусарам врага, и те всю тяжесть своей ринулись в эти ворота на близкие к победе сотни Кривоноса.

— Ярема! Ярема! — закричали гусары.

— Ярема! — вторило все войско.

Страшное имя содроганием ужаса пронзило сердца запорожцев. Они только теперь поняли, что командует не киевский воевода, но сам князь. К тому же они и не могли противостоять гусарам, которые одной тяжестью своей сокрушали их так же, как падающая стена крушит стоящих под ней. Единственным для них спасением было раздаться в стороны, пропустить гусар и ударить с флангов; однако фланги эти были уже под присмотром драгун и легких хоругвей Вершулла, Кушеля и Понятовского, которые, согнав казацкие крылья, сталкивали их к центру. Теперь картина боя изменилась, ибо легкие хоругви создали как бы улицу, по которой летели в неудержимом разгоне гусары, преследуя, ломая, сбивая, опрокидывая людей и лошадей, а впереди них казаки с ревом и воем убегали вверх, к городу. Если бы крылу Вершулла удалось сомкнуться с крылом Понятовского, казаки были бы окружены и все как один перебиты. Однако ни Вершулл, ни Понятовский не могли этого сделать из-за огромного множества бегущих, так что наседали только с боков, аж руки их немели от ударов.

Молодой Кривонос, хотя был дик и мужествен, когда понял, что свою неопытность приходится ему противопоставить такому полководцу, как князь, вовсе потерял голову и во главе своих устремился к городу. Беглеца заметил пан Кушель, стоявший сбоку, отчего видеть мог только то, что происходило вблизи, тотчас подскакал и саданул молодого атамана саблей по лицу. Но не убил, так как лезвие угодило по ремешку шлема, однако кровью залил и тем более лишил атамана отваги.

Увы, он чуть не заплатил за свою выходку, ибо в ту же минуту бросился на него Бурдабут с остатками кальницкого полка.

Дважды уже пытался Бурдабут остановить гусар, но дважды, точно отброшенный сверхъестественной силой и поколоченный, вынужден был отступать вместе с прочими. Наконец, перестроив тех, кто у него остался, он решил ударить на Кушеля сбоку и, прорвав его драгун, выбраться на свободное поле. Однако прежде чем успел он прорвать их строй, дорога, ведущая вверх, к городу, оказалась забита на таком протяженном отрезке, что быстрое отступление сделалось невозможным. Гусары по причине создавшейся тесноты поумерили натиск и, оставив копьа, принялись рубить противника мечами. Пришел черед смешанному бою, беспорядочному, дикому, безжалостному, клокодавшему в давке, горячей суматохе, духоте, в человеческих и лошадиных миазмах. Труп валился на труп, конские копыта увязали в дергающихся телах. Кое-где противники настолько оказывались стиснуты, что не получалось замахнуться саблей, тут бились эфесами, ножами и кулаками, кони принялись визжать. Там и сям слышались крики: «Помилюйте, ляхи!» Крики эти делались громче, множлись, заглушали лязг мечей, скрежет железа о кости, хрипение и жуткую плоту умирающих. «Поми-

луйте, пани!» — разносилось все жалобнее, но милосердие не брезжило над безумием ратоборствующих. Как солнце над гровою, светил им пожар.

Только Бурдабут со своими кальницкими не просил пощады. Ему не хватало места, чтобы развернуться, так что расчищал он себе пространство ножом. Сперва столкнулся он с пузатым паном Дзиком и, пырнувши его в живот, свалил с коня, а тот, крикнувши «Иисусе!», из-под копыт, растоптавших ему внутренности, более не поднялся. Сразу стало попросторнее, и Бурдабут, саблей уже, со шлемом разом голову латнику Сокольскому разрубил, потом опрокинул вместе с их конями панов Приама и Цертовича, и простору стало еще больше. Молодой Зенобий Скальский рубанул его по голове, но сабля вывернулась в руке у Скальского, и удар пришелся плашмя; атаман же, кулаком его поотмашь в лицо хвативши, убил на месте. Люди кальницкие следовали за ним, рубя и коля кинжалами. «Заклятый! Заклятый! — ужаснулись гусары. — Железо его неймет! Одержимый!» А у Бурдабута и в самом деле на усах была пена, а в очах бешенство. Наконец он увидел Скшетуского и, узнав по подвернутому рукаву офицера, кинулся к нему.

Все затаили дыхание и прервали сечу, взирая на единоборство двух самых нагрознейших рыцарей. И хотя пан Ян криками «Заклятый!» не обеспокоился, гнев вспыхнул в его душе при виде стольких потерь, поэтому он скрипнул зубами и яростно налетел на атамана. Они спшиблись столь бешено, что кони даже на задние ноги присели. Свистнуло железо, и сабля атамана внезапно разлетелась в куски под ударом польского кончара. Казалось, никакая сила не спасет уже Бурдабута, но он, бросив коня вперед, сцепился с паном Скшетуским, и оба соединились в одно, и нож сверкнул над горлом гусара.

Смерть явилась перед глазами Скшетуского, ибо мечом действовать стало невозможно. Но быстрый как молния, он отпустил меч, повисший на ремешке, а рукою вцепился в атаманову руку. Какое-то мгновение обе руки конвульсивно дергались в воздухе, но железной, должно быть, оказалась хватка пана Скшетуского, потому что атаман взвыл волком, и на глазах у всех нож, как вылущенное из колоса зерно, выпал из его обомлевших пальцев. Тогда Скшетуский отпустил выкрученную его руку и, схватив за шиворот, пригнул страшную голову аж к луке седла, левою же рукой буздыган из-за пояса выхватил, ударил раз и другой, и атаман, захрипев, рухнул с коня.

Стоном престонови, завидя это, кальницкие люди и рванулись отмстить, но во мгновение накиннулись на них гусары и всех поголовно перебили.

На другом краю гусарской лавы битва не прекращалась ни на минуту, ибо толчея была там поменьше. Тут, перепоясанный Анусиным шарфом, неистовствовал пан Лонгинус со своим Сорвиглавцем. На следующий после битвы день рыцари с удивлением

озирали эти места и, показывая друг другу руки, отсеченные вместе с плечами, головы, раскромсанные от макушки до подбородка, тела, страшно разваленные на две половины, целую дорогу из человеческих и лошадиных трупов, шептались: «Видали, тут Подбипятка сражался!» Сам князь тоже убитых разглядывал и, хотя назавтра весьма был различными известиями озабочен, удивиться изволил, ибо таковой рубки никогда еще в жизни не видывал.

Тем временем побоище, казалось, шло к завершению. Тяжелая кавалерия двинулась вперед, гоня перед собой запорожские полки, пытавшиеся укрыться наверху, ближе к городу. Остаткам отступавших отрезали путь хоругви Кушеля и Понятовского. Окруженные защищались с отчаянием, пока не погибли все до единого, но гибелью своей спасли других, так что когда через два часа первым с придворными татарами вошел в город Вершулл, уже ни одного казака не оказалось. Браг, воспользовавшись темнотой, ибо дождь погасил пожары, молниеносно собрал пустые возы и с проворством, присущим только казакам, отоборившись, умчался из города за реку, уничтожив за собою мосты.

Несколько десятков шляхтичей, оборонявшихся в крепостце, были вызволены. Еще князь велел Вершуллу наказать горожан, содействовавших казакам, а сам бросился в погоню. Но без пушек и пехоты табора он захватить не мог. Неприятель, спаливши мосты и выиграв тем самым время, потому что реку княжеским пришлось обходить по отдаленной плотине, отступал так быстро, что измученные лошади княжеской конницы едва сумели его догнать. Однако ж казаки, куда как прославленные обороной в обозах, столь храбро, как обычно, не защищались. Страшное сознание, что их преследует сам князь, так их обескуражило, что они всерьез засомневались в спасении своем. И наверняка пришел бы им конец, ибо пап Барановский после перестрелки, продолжавшейся всю ночь, уже сорок возов и две пушки отбил, если бы не воевода киевский, который дальнейшей погоне воспротивился и своих людей из боя вывел. Это стало причиной резких попреков между ним и князем, чему многие полковники были свидетелями.

— Отчего же это, ваша милость, — вопрошал князь, — хочешь ты теперь неприятелем пренебречь, хотя в битве с таковою решительностью против него выступал? Славу, добытую тобой вечор, нынче из-за нерешительности своей потеряешь.

— Ваша милость князь, — ответил воевода. — Не знаю, какой дух в вас вселился, но я человек из плоти и крови и после трудов нуждаюсь в отдыхе. И мои люди тоже. Я всегда буду идти на неприятеля, если он сопротивляется, так, как шел сегодня, но побитого и бегущего преследовать не стану.

— Да их всех перебить надо! — воскликнул князь.

— И что из того? — сказал воевода. — Этих перебьем, придет Кривонос старый. Пожжет, покрушит, душ погубит, как

этот в Стрижавке нагубил, и за ожесточение наше несчастные люди поплотятся.

— Вижу я,— уже в гнев воскликнул князь,— что ваша милость вместе с канцлером и региментариями к мирной партии принадлежишь, которая договорами рассчитывает бунт погасить, но, как бог свят, ничего из этого не выйдет, пока у меня сабля в руке!

А Тышкевич на это:

— Не мирной партии я уже принадлежу, но богу, ибо старый и скоро уже пред него предстать мне придется. А то, что на себе слишком много крови, пролитой в усобице, иметь не желаю, этому, ваша княжеская светлость, не удивляйся.. Ежели же досадуешь ты, что тебя региментарством обошли, то на это скажу я вот что: за мужество оно тебе полагалось по праву, однако, возможно, даже к лучшему, что тебе его не дали, ведь ты бы мятеж, а вместе с ним и несчастную землю эту в крови утопил.

Юпитеровы брови Иеремии сдвинулись, шея напряглась, а глаза стали метать такие молнии, что все, кто присутствовал, просто испугались за воеводу, но тут быстро подошел Скшетульский и сказал:

— Ваше княжеское сиятельство, есть известия о старом Кривоносе.

И тотчас мысли князя обратились в другую сторону, а гнев на воеводу утих. Тут ввели прибывших с вестями четырех людей, двое из которых были старые благочестивые иереи. Увидев князя, они бросились на колени.

— Спаси, владыка, спаси! — повторяли посланники, простирая к нему руки.

— Откуда вы? — спросил князь.

— Из Полонного. Старый Кривонос осадил замок и город, если твоя сабля над его шеей не нависнет, все мы пропали.

На это князь:

— О Полонном знаю, что там множество народа попряталось, но, как донесли мне, в основном русины. В том перед богом заслуга ваша, что вместо того, чтобы примкнуть к мятежникам, вы разбою противодействуете, держа сторону матери своей, однако же опасаясь я с вашей стороны измены, какая мне в Немирове была.

На это посланцы стали присягать всеми небесными святынями, что аки спасителя князя ожидают, а о предательстве и не помышляет никто.

По всему было видно, что они не лукавили, так как Кривонос, осадивши город с пятьюдесятью тысячами войска, поклялся перебить население именно потому, что, будучи русинским, оно не пожелало примкнуть к бунту.

Князь пообещал помочь, но поскольку главные силы его были в Быстрике, сперва следовало их дожждаться. Посланцы ушли

с утешенным сердцем, он же оборотился к воеводе киевскому и сказал:

— Простите меня, ваша милость! Я уже и сам вижу — чтобы Кривоноса достичь, придется Кривоносом пренебречь. Молодой может и подождать веревки. Полагаю, что вы не покинете меня в предстоящем этом деле.

— Вестимо! — ответил воевода.

Тотчас запели трубы, приказывающие хоругвям, гнавшимся за табором, поворачивать. Надо было отдохнуть и дать передышку коням. Вечером из Быстрика подтянулась целая дивизия, а с нею от воеводы брацлавского посол, пан Стахович. Пан Кисель прислал князю письмо, полное восхищения тем, что князь, точно второй Марий, отчизну от окончательной гибели спасает. Писал он также о радости, каковую приход князя из-за Днепра во все сердца вселил, желал ему викторий, но к концу послания повод, ради которого оно писалось, стал ясен. Воевода из Брусилова доводил до княжеского сведения, что переговоры начались, что сам он с прочими комиссарами отправляется в Белую Церковь и надеется Хмельницкого сдержать и улагодворить. В завершение письма просил он князя, чтобы, пока идут переговоры, тот не очень нападал на казаков и, ежели возможно, от военных действий воздержался.

Если бы князю сообщили, что все его Заднепровье уничтожено, а все поселения сровнены с землею, он бы так отчаянно не расстроился, как расстроился из-за этого письма. Свидетелями тому были пан Скшетуский, пан Барановский, пан Зацвилюховский, оба Тышкевича и Кердеи. Князь закрыл глаза руками, а голову отворотил назад, словно бы пораженный стрелой в сердце.

— Позор! Позор! Боже! Дай же мне скорей погибнуть, чтоб не видеть всего этого!

Глубокая воцарилась тишина среди присутствующих, а князь продолжал:

— Несносно мне жить стало в Речи Посполитой, ибо стыдиться за нее нынче приходится. Смотрите же, чернь казакская и мужицкая залила кровью отечество, с погаными против собственной матери объединилась. Побиты гетманы, уничтожены войска, растоптана слава народа, оскорблено величество, сожжены костелы, вырезаны ксендзы, шляхта, обесчещены женщины, и на эти потрясения, на этот позор, от одного известия о котором предки наши поумирали бы, чем же отвечает эта самая Речь Посполитая? А вот чем: с изменником, с поругателем своим, с союзником поганных переговоры начинает и удовлетворение ему обещает! О боже! Пошли мне смерть, повторяю, ибо тошно жить на свете нам, которые бесчестье отчизны переживаем и ради нее себя в жертву приносим.

Воевода киевский молчал, а пан Кшиштоф, подсудок брацлавский, через какое-то время подал голос:

— Пан Кисель — еще не Речь Посполитая.

Князь на это:

— Не говори мне, ваша милость, о Киселе; мне же доподлинно известно, что за ним целая партия стоит, и он вполне согласен с намерениями примаса, и канцлера, и князя Доминика, и многих прочих сановников, каковые сейчас, пока в стране *interregnum*, власть в Речи Посполитой осуществляют и величество ее олицетворяют, хотя скорее позорят ее слабостью, великого народа недостойной, ибо не переговорами, но кровью огонь этот гасить надлежит; потому что лучше народу рыцарскому погибнуть, чем оподлиться и презренье всего света к себе вызывать.

И снова князь закрыл руками глаза, а лицезрение горя этого и огорчения было столь печально, что полковники просто не знали, как скрыть подступавшие к горлу слезы.

— Милостивый княже, — отважился подать голос Зацвилюховский, — пускай они языком фехтуют, а мы — мечом будем рубиться.

— Воистину, — ответил князь, — и от мысли этой сердце во мне разрывается. Что нам далее делать надлежит? Ведь мы, милостивые государи, узнав о поражении отечества, пришли сюда через пылающие леса и непроходимые болота, без сна, без пищи, напрягая последние силы, чтобы общую мать нашу от уничтожения и позора спасти. Руки наши немеют от трудов, голод кишки скручивает, раны ноют — мы же на тяготы эти внимания не обращаем, нам бы только неприятеля сдержать. Про меня сказано тут, будто недоволен, мол, что региментарством обошли. Пускай же целый свет рассудит, достойны ли его те, кому оно досталось.

Я бога и вас, судари, в свидетели призываю, что, как и вы, не ради наград или почестей жертвую жизнью своей, но из одной только любви к отчизне. И вот, когда мы последнее издыхание из груди исторгаем, что нам доносят? А то, что господа из Варшавы и пан Кисель в Гуце удовлетворение для нашего неприятеля обдумывают! ¹ Срам! Позор!!

— Кисель — изменник! — воскликнул пан Барановский.

На что Стахович, человек серьезный и смелый, встал и, обращаясь к Барановскому, сказал:

¹ В это время князь писал воеводе брацлавскому среди прочего следующее: «О, лучше умереть было, чем дожидаться таких времен, которые славу столь достойных народов так *turpiter deformatunt et irreparabile*² оставили в сынах коронных *damnum*»³. А в конце письма стоит приписка: «Если после побития квартового войска и взятия гетманов в узилице Хмельницкий удовлетворение получит и при прежних вольностях будет оставаться, я с этим сбродом в оной отчизне предпочитаю не жить, и лучше нам умереть, чем дать властвовать над собою поганству и сброду». Книга памятная, 28, 55. (Примеч. автора.)

² постыдно обезобразили и непоправимый... (лат.)

³ ущерб (лат.).

— Другом пану воеводе брацлавскому будучи и находясь от него в посольстве, я не позволю, чтобы его здесь изменником нарекали. И у него тоже борода от огорчений побелела. А родине он служит так, как полагает необходимым, плохо ли, хорошо, зато честно!

Князь этих слов не слышал, ибо погрузился в скорбь и размышления. Барановский в его присутствии тоже не посмел учинить скандала, посему он лишь взор свой стальной уставил в пана Стаховича, словно бы желая сказать: «Я тебя найду!», и положил руку на рукоять меча. Тем временем Иеремия очнулся от раздумий и хмуро сказал:

— Тут другого выбора нету — приходится либо из послушания выйти (ибо в бескорольеве исправляют власть они), или чество отчизны, ради которой мы трудились, пожертвовать...

— От непослушания все дурное в Речи Посполитой нашей происходит, — заметил серьезно киевский воевода.

— Значит, позволим позорить отчизну? Значит, если завтра нам велят с вервием на вые к Тугай-бею да Хмельницкому идти, мы и это за-ради послушания совершим?

— Veto! — подал голос пан Кшиштоф, подсудок брацлавский.

— Veto! — согласился с ним пан Кердей.

Князь обратился к полковникам.

— Говорите же, старые солдаты! — сказал он.

Взял слово Зацвилюховский:

— Ваша княжеская милость, мне семьдесят лет, я благочестивый русин, я был казацким комиссаром, и меня сам Хмельницкий отцом величал. Казалось бы, должно мне высказаться в пользу переговоров. Но если придется выбирать: позор или война, тогда даже на краю могилы я скажу: «Война!»

— Война! — сказал пан Скшетуский.

— Война! Война! — повторило более десятка голосов, а среди них пан Кшиштоф, господа Кердей, Барановский и все остальные.

— Война! Война!

— Пусть же будет по слову вашему! — твердо сказал князь и ударил булавой по лежащему перед ним письму пана Киселя.

ГЛАВА XXVIII

Днем позже, когда войска остановились в Рыльцеве, князь позвал Скшетуского и сказал:

— Люди наши измучены и обессилены, у Кривоноса же шестьдесят тысяч, и каждый день он силы свои увеличивает, так как к нему стекается чернь. На воеводу киевского рассчитывать я опять же не могу, ибо в душе он тоже принадлежит к мирной партии и хотя идет со мною, но неохотно. Хорошо бы нам каким-то образом получить подкрепление. Мне известно, что возле Староконстантинова стоят два полковника: Олинский с ко-

ролевской гвардией и Корицкйй. Возьмешь сотню конвоя и отправишься с моим письмом к полковникам этим, с тем чтобы спешно и без промедления шли ко мне, потому что через два дня я ударю на Кривоноса. Мои поручения никто лучше тебя не исполняет, потому я тебя и посылаю. А это дело важное.

Пан Скшетуский поклонился и в тот же день поздно вечером двинулся на Староконстантинов, чтобы пробраться незамеченным, так как повсюду шныряли Кривоносовы разъезды да шайки черни, устраивавшие разбойничьи засады по лесам и шляхам, а князь, дабы не произошло задержки, наказал стычек избегать. Идучи украдкой, пришел Скшетуский к Вишоватому пруду, где наткнулся на обоих полковников, чему весьма обрадовался. С Осинским была драгунская отборная гвардия, выученная на чужеземный манер, и немцы. У Корицкого же — немецкая пехота, сплошь почти из ветеранов немецкой войны состоящая. Это были солдаты столь грозные и умелые, что в руках полковника они действовали, как единый меч. Были оба полка к тому же изрядно экипированы и обеспечены амуницией. Узнав, что предстоит идти к князю, они стали шумно радоваться, так как соскучились по ратному житью и знали, что ни под каким другим командиром они не вкусят его столь полно. Однако оба полковника согласия своего не дали, потому что находились в распоряжении князя Доминика Заславского и имели недвусмысленный приказ а Вишневецким не соединяться. Напрасно пан Скшетуский растолковывал, какой славы достигли бы они, служа под рукой такого прославленного полководца, и какую великую стране сослужили бы службу, — они даже слушать не хотели, заявляя, что субординация для людей военных есть первейший закон и обязанность. Правда, они сказали еще, что соединение с княжескими силами возможно, но только в том случае, если от этого будет зависеть спасение самих полков. Так что Скшетуский уехал ужасно огорченный. Он знал, сколь чувствительной будет для князя новая эта неудача и сколь сильно войско его в самом деле утомлено и вымотано походом, непрерывными стычками с врагом, истреблением мелких шаек и, наконец, непрерывным напряжением, голодом и отсутствием передышки. Бороться в таком состоянии с десятикратно превосходящим противником было почти немисливо, и Скшетуский ясно понимал, что необходимо прервать военные действия против Кривоноса, необходимо дать войску как следует отдохнуть и по возможности дожидаться появления в лагере свежих шляхетских пополнений.

Погруженный в эти размышления, пан Скшетуский возвращался ко князю со своими жолнерами, а идти приходилось тихо, осторожно и только по ночам, чтобы не столкнуться ни с отрядами Кривоноса, ни с бесчисленными разрозненными бандами, состоявшими из казаков и черни, порою очень сильными, рыскав-

шими по всей округе, сжигая усадьбы, вырезая шляхту и подстерегая по большим дорогам беженцев. Так прошел он Баклай и въехал в мшинецкие леса, густые, со множеством предательских оврагов и открытых полян. По счастью, после недавних дождей всей поездке сопутствовала прекрасная погода. Ночь стояла дивная, июльская, безлунная, но густо сверкавшая звездами. Солдаты шли узкой лесной тропкой, ведомые служилыми мшинецкими лесниками, людьми надежными и знающими свои чащобы превосходно. Стояла полная тишина, нарушаемая лишь хрустом валежника под лошадиными копытами. Вдруг до слуха Скшетуского и его солдат донеслись далекие какие-то звуки, похожие то ли на песню, то ли на разговор.

— Стой! — тихо сказал Скшетуский и остановил отряд. — Что это?

К нему подошел старый лесник.

— Это пане, люди полоумные бродят по лесу и кричат, у которых с горя в голове перемешалось. Мы вчера видали барыню одну, которая ходит, пане, ходит, на сосны глядит и приговаривает: «Дети! Дети!» Видать, мужики детей у ней поубивали. На нас глаза выпучила и давай визжать, аж поджилки у нас задрожали. Говорят, по всем лесам много таких теперь бродят.

Пана Скшетуского, хотя он и был рыцарем неустрашимым, дрожь проняла от пяток до макушки.

— А не волки ли это воют? Издалека различишь разве? — спросил он.

— Невозможно, пане! Волков теперь в лесу нету, все по деревьям рыщут. Там же мертвечины сколько хочешь!

— Страшные времена, — сказал рыцарь, — когда в деревьях волки разгуливают, а по лесам безумные люди воют! Боже! Боже!

На мгновение снова стало тихо, слышался только обычный шум в верхушках сосен. Но вот далекие голоса возникли снова и стали более отчетливыми.

— Гей! — сказал вдруг лесник. — Похоже, там людей много. Вы, ваши милости, здесь постойте или медленно идите вперед, а мы с товарищем сходим поглядим.

— Ступайте, — сказал Скшетуский. — Мы подождем.

Лесники исчезли. Пропадали они добрый час. Пан Скшетуский начал терять терпение и стал даже подозревать, не готовится ли против него измена какая, но тут один из лесников вынырнул из мрака.

— Есть, пане! — сказал он, подходя к Скшетускому.

— Кто?

— Мужики-живорезы.

— А много?

— Человек двести. Непонятно, пане, что делать, потому как расположились они в яру, через который дорога наша идет. Кост-

ры жгут, а огня не видно, потому что в овраге. Караулов никаких не выставлено, можно на выстрел из лука подойти.

— Хорошо! — сказал пан Скшетуский и, повернувшись к своим, стал отдавать приказания двум старшим.

Отряд сразу же быстро пошел вперед, но так тихо, что только похрустывание сухих веток могло выдать конников; стремя не зазвенело о стремя, не брякнула сабля, а кони, приученные к подкрадываниям и внезапным налетам, шли волчьим ходом, без фырканы и ржаны. Оказавшись у места, где дорога резко поворачивала, солдаты тотчас увидели вдалеке огни и неясные человеческие фигуры. Здесь пан Скшетуский разделил отряд на три части: одна — осталась стоять, вторая — пошла верхом вдоль оврага, чтобы перекрыть противоположное устье, а третья, спешившись, ползком достигла самой кромки и залегла прямо над головами разбойной шайки.

Скшетуский, бывший среди них, глянув вниз, как на ладони увидел в двадцати—тридцати шагах весь бивак: костров было десять, но горели они не слишком ярко, из-за висевших над ними котлов с варевом. Запах дыма и вареного мяса явственно долетал до поздней пана Скшетуского и его солдат. У костров стояли или лежали люди — они пили и разговаривали. У одних в руках были фляги с водкой, другие опирались на пики, на остриях которых были насажены в качестве трофеев отрубленные головы мужчин, женщин и детей. Отблески огня отражались в мертвых зрачках и поблескивали на оскаленных зубах; эти же отблески освещали мужицкие лица, дикие и жуткие. У самой стенки оврага человек пятнадцать, громко храпя, спали; у костров одни болтали, другие — шевелили головешки, стрелявшие от этого снопами золотых искр. Возле самого большого костра сидел, повернувшись спиной к склону оврага, а значит, и к пану Скшетускому, плечистый старый дед и брэнчал на лпре, вокруг него собрались полукольцом человек тридцать.

До слуха Скшетуского долетело:

— Гей, діду! Про козака Голоту!

— Нет! Про Марусю Богуславку!

— К черту Марусю! Про пана из Потока, про пана из Потока! — требовало большинство.

Дід сильнее ударил по струнам, откашлялся и запел:

Стань, обернися, глянь, задивися, котрий маеш много,
Що рівний будеш тому, в котрого нема нічого,
Бо той справуеш, що всім керуєть сам бог милостиво.
Усі наші справи на своїй шалі важить справедливо.
Стань, обернися, глянь, задивися, котрий високо
Умом літаєш, мудрости знаєш, широко, глибоко...

Тут дід на мгноienie прервался и вздохнул, а по его примеру стали вздыхать и мужики. Их подходило все больше, а пан Скшетуский, хотя и знал, что все его люди должны быть уже

готовы, сигнала к нападению не давал. Тихая эта ночь, пылающие костры, дикие фигуры и песня про пана Миколая Потоцкого, еще не допетая, пробудили в рыцаре какие-то странные мысли, какие-то безотчетные отголоски и грусть. Не вполне затянувшиеся раны его сердца открылись, и поручика охватила отчаянная тоска по утраченному счастью, по незабвенным тихим и покойным минутам. Он задумался и расстроился, а тем временем дід продолжал песню:

Стань, обернися, глянь, задивися, который воюеш,
Луком, стрілами, порохом, кулями і мечем ширмуеш,
Бо теж рицери і кавалери перед тим бували,
Тим воювали, од того ж меча самі умирали.
Стань, обернися, глянь, задивися і скинь з серця буту,
Наверни ока, который а Потока ідеш на Слауту.
Невинні душі береш за уші, вольность одеймуеш,
Короля не знаеш, ради не дбаеш, сам собі сеймуеш.
Гей, поражайся, не запалайся, бо ти рейментаруеш,
Сам булавою, в сім польскім краю, як сам хочеш, керуеш¹.

Дед снова замолчал. Вдруг из-под руки одного солдата выскользнул камешек и с шорохом покатился вниз. Несколько человек тут же стали вглядываться из-под ладоней в заросли над оврагом. Скшетуский, решив, что мешкать долее не следует, выстрелил в толпу из пистолета.

— Бей! Убивай! — крикнул он, и тридцать солдат дали залп прямо в лица мужикам, а затем с саблями в руках молниеносно съехали по наклонной стенке оврага к захваченным врасплох и растерявшимся головорезам.

— Бей! Убивай! — загремело у одного конца оврага.

— Бей! Убивай! — откликнулись дикие голоса с противоположного конца.

— Ярема! Ярема!

Нападение было столь неожиданно, замешательство столь велико, что мужичье, хотя и вооруженное, почти не сопротивлялось. Уже и без того в шайках взбунтовавшейся черни поговаривали, что Иеремия не без помощи злого духа может пребывать и сражаться сразу в нескольких местах, так что теперь имя это, обрушившись на мужиков, ничего подобного не ожидавших и ни к чему такому не подготовленных, словно имя самогб злого духа, выбило у них оружие из рук. К тому же пики и косы в тесноте были бесполезны, поэтому, припертые, как стадо овец, к противоположному склону яра, полосуемые саблями по головам и лицам, побиваемые, пронзаемые, растаптываемые ногами, мужики, обезумев от страха, протягивали руки и, хватая неумо-

¹ Приведенные отрывки взяты из песни того времени, записанной в «Летописце или малой хронике» Иоахима Ерлича. Издатель предполагает, что песню сложил сам Ерлич, но ничем предположения своего не подкрепляет. Хотя, с другой стороны, полонизмы, употребляемые автором песни, указывают его национальное происхождение. (Примеч. автора.)

лимое железо, гибли. Тихий бор наполнился зловещими звуками битвы. Некоторые пытались вскарабкаться по вертикальному склону, но, обдирая кожу, калеча руки, срывались на острия сабель. Одни умирали спокойно, другие молили о пощаде, третьи, не желая видеть смертной минуты, заслоняли лица руками, четвертые кидались ничком на землю, но свист сабель и вопли умирающих покрывал крик нападавших: «Ярема! Ярема!», — крик, от которого на мужицких головах волосы вставали дыбом, а смерть казалась еще страшнее.

Дед, однако, шарахнул одного из солдат лирою по голове, так что тот сразу опрокинулся, другого схватил за руку, чтобы помешать сабельному удару, причем ревел он от страха, точно буйвол.

Несколько человек, завидя такое, бросились изрубить его, но сюда же явился и пан Скшетуский.

— Живьем брать! Живьем брать! — крикнул он.

— Стой! — ревел дед. — Я шляхтич! *Loquor latine!*¹ Я не дед! Стой, кому говорят! Сволота, кобыльи дети!

Но он не успел закончить своей литании, потому что пан Скшетуский глянул ему в лицо и закричал так, что склоны яра отозвались эхом:

— Заглоба!

И сразу, как дикий зверь, кинулся на деда, вцепился в его плечи, лицо приблизил к лицу и, тряся его, как грушу, крикнул:

— Где княжна? Где княжна?

— Жива! Здорова! В безопасности! — крикнул, в свою очередь, дед. — Пусти, сударь, черт побери, душу вытрясешь.

Тогда рыцаря нашего, которого не могли обороть ни плен, ни раны, ни болести, ни страшный Бурдабут, сокрушила счастливая весть. Руки его обмякли, лоб покрылся потом, он сполз на колени, лицо спрятал в ладонях и, упершись головою в склон оврага, замер в безмолвии, благодаря, как видно, господу.

Тем временем последние несчастные мужики были изрублены, если не считать предварительно связанных, каковым суждено было достаться в лагере кату, дабы вытянул из них нужные сведения. Остальные лежали распростертые и бездыханные. Схватка кончилась, шум и гам утихли. Солдаты сходились к своему командиру и, видя поручика на коленях у склона, тревожно переглядывались, не понимая, цел ли он. Он же встал, и лицо его было таким светлым, словно сама заря сияла в его душе.

— Где она? — спросил он Заглобу.

— В Баре.

— В безопасности?

— Замок могучий, никакое нападение ему не страшно. Она под опекой пани Славошевской и монахинь.

— Слава господу всемогущему! — сказал рыцарь, и в голосе

¹ Я говорю по-латыни! (лат.).

его звучало бесконечное умиление. — Дай же мне, ваша милость, руку твою... От души, от души благодарю.

Внезапно он обратился к солдатам:

— Много пленных?

— Семнадцать, — ответили ему.

— Дарована мне радость великая, и милосердие во мне пробудилось. Отпустите их, — сказал пан Скшетуский.

Солдаты ушам не поверили. Такого в войсках Вишневецкого не бывало.

Скшетуский слегка сдвинул брови.

— Отпустите же их, — повторил он.

Солдаты ушли, но спустя мгновение старший есаул вернулся и сказал:

— Пане поручик, не верят, идти не смеют.

— А веревки развязаны?

— Так точно.

— Тогда оставляйте их тут, а сами по коням!

Спустя полчаса отряд снова продвигался в тишине по узкой тропинке. Теперь в небесах был месяц, проникавший длинными белыми лучами сквозь гущину деревьев и освещавший темные лесные глубины. Заглоба и Скшетуский, едучи впереди, разговаривали.

— Рассказывай же, ваша милость, все, что только знаешь про нее, — просил рыцарь. — Значит, ты это, ваша милость, ее из Богуновых рук вырвал?

— А кто же? Я ему и башку на прощанье обмотал, чтобы голоса не подал.

— Ну ты, сударь, толково придумал, истинный бог! Но как же вы до Бара добрались?

— Эй! Долго рассказывать, и лучше оно, пожалуй, в другой раз, потому что я страшно *fatigatus* и в горле от пения для хамов пересохло. Нет ли у тебя, сударь, выпить чего-нибудь?

— Найдется. Манерка вот с горелкой — держи!

Пан Заглоба схватил жестянку и опрокинул под усы; послышались громкие глотки, а пан Скшетуский, не в силах дожидаться, когда они кончатся, продолжал спрашивать:

— А хороша ли она?

— Куда уж! — ответил пан Заглоба. — На сухое горло всякая годится!

— Да я о княжне!

— О княжне? Красавица писаная!

— Слава те господи! А хорошо ли ей в Баре?

— И в небесах лучше не бывает. Красою ее все *corda* пленились. Пани Славошевская, как родную, полюбила. А сколько кавалеров повлюблялось, так это, сударь, считать собьешься; да она о них, постоянной к твоей милости сердечной склонностью пылая, столько же думает, сколько я об этой, сударь, пустой манерке.

— Дай же ей, господи, здоровья, разлюбезной моей! — радостно повторял пан Скшетуский. — Значит, она благосклонно меня вспоминает?

— Вспоминает ли она твою милость? Да сказано тебе, что я диву давался, откуда в ней столько воздуха на вздохи берется. Все прямо только и сочувствуют, а больше всего монашечки, потому что она их своею приятностью вовсе завоевала. Это же она меня уговорила пуститься в оные рискованные приключения, из-за которых я чуть было живота не лишился, а все затем, чтобы до вашей милости непременно добрался и узнал, живы-здоровы ли. Сколько раз она хотела людей послать, да только никто не вызвался, пришлось вот мне в конце концов сжалиться и самому пойти. Так что, ежели б не одежда эта, я бы как пить дать с головою расстался. Но меня мужики за деда всюду принимают, потому как пою я очень приятно.

У пана Скшетуского от радости даже язык отнялся. Множество воспоминаний и мыслей теснилось в голове его. Елена возникла перед его очами как живая, такая, какою видел он ее последний раз в Разлогах перед своим отъездом на Сечь: краснеющая, стройная, прелестная, с очами, черными, как бархат, полными несказанных искушений. Ему казалось даже, что он ее и впрямь видит, чувствует тепло ее щечек, слышит нежный голос. Вспомнил он прогулку в вишеннике, и вопросы, которые задавал кукушке, и смущение Елены, когда кукушка накуковала им двенадцать мальчонков, — душа его просто рвалась наружу, а сердце таяло от любви и радости, в сравнении с которыми все пережитое было каплею по сравнению с океаном. Он просто не понимал, что с ним происходит. Ему хотелось то кричать, то снова, кинувшись на колени, благодарить бога, то вспоминать, то без конца спрашивать.

И он принялся повторять:

— Жива, здорова!

— Жива, здорова! — отвечал эхом пан Заглоба.

— И она вашу милость послала?

— Она.

— А письмо у тебя, ваша милость, есть?

— Есть.

— Давай!

— Защищено оно, и сейчас ночь. Потерпи, сударь.

— Да я не в силах. Сам, ваша милость, видишь.

— Вижу.

Ответы пана Заглобы делались все лаконичнее, наконец, клюнув носом раз и другой, он уснул. Скшетуский, поняв, что делать нечего, снова предался размышлениям. Прервал их конский топот быстро приближавшегося, немалого, как видно, отряда. Это оказался Понятовский с надворными казаками, которого князь выслал навстречу, опасаясь, как бы чего со Скшетуским не стряслось.

Нетрудно представить, как воспринял князь сделанный ему спозаранку паном Скшетуским отчет об отказе Осинского и Корицкого. Все складывалось наихудшим образом, и надо было иметь столь незаурядный характер, каким обладал оный железный князь, чтобы не сдаться, не отчаяться и рук не опустить. Напрасно расходовал он огромные деньги на содержание войска, вотще метался, как лев в тенетах, вотще, являя чудеса мужества, отсекал одну за другой головы вольнице — все напрасно! Близилась минута, когда ему придется сознаться себе в собственном бессилье, уйти куда-нибудь далеко, в спокойные земли, и стать безучастным свидетелем всего, что творится на Украине. Но что же до такой степени лишило его сил? Мечи казацкие? Нет, нерадивость своих. Разве, двинувшись в мае из-за Днепра, ошибался он, полагая, что, когда, словно орел с высот, грянет он на бунт, когда среди всеобщего ужаса и смятения первым саблю из ножен выхватит, вся Речь Посполитая придет ему на помощь и мощь свою, меч свой карающий верит ему? А как получилось на самом деле? Король умер, и после его кончины региментарство отдано в другие руки — князя демонстративно обошли. Это была первая уступка Хмельницкому. И не по причине оскорбленного достоинства болела душа князя, но потому, что растоптанная Речь Посполитая до того уже дошла, что не желает стоять насмерть, что отступает перед одним-единственным казакom и дерзкую его десницу переговорами остановить надеется. Со дня победы под Махновкой в княжеский стан поступали известия одно неприятнее другого: сперва сообщение о переговорах, воеводою Киселем присланное, затем весть, что волынское Полесье охвачено разгулом бунта, и, наконец, теперь отказ полковников, ясно показывающий, сколь недружелюбно главный региментарий, князь Доминик Заславский-Острогский, к Вишневецкому настроен. Пока отсутствовал Скшетуский, прибыл в лагерь пан Корш Зенкович с донесением, что все Овручское охвачено огнем мятежа. Тихий тамошний народ бунтовать не собирался, но пришли казаки под командою Кречовского и Полумесеца и силком стали заставлять мужиков вступать в мятежное войско. Разумеется, усадьбы и местечки были преданы огню, шляхта, не успевшая убежать, вырезана, а среди прочих — престарелый пан Елец, давний слуга и друг семьи Вишневецких. Князь тут же решил, что, соединившись с Осинским и Корицким, он разобьет Кривоноса, а потом двинется на север к Овручу, дабы, договорившись с гетманом литовским, зажать мятежников меж двух огней. Но теперь все эти планы из-за указаний, полученных обоими полковниками от князя Доминика, рушились. Иеремия после всех походов, сражений и трудов ратных не был достаточно силен, чтобы схватиться с Кривоносом, к тому же и намерения киевского воеводы были совершенно неясны. Кстати, пан Януш

и в самом деле душою и сердцем принадлежал к мирной партии. Авторитету и могуществу Иеремии он уступил и вынужден был идти с князем, но чем более видел оный авторитет поколебленным, тем более был склонен противиться воинственным намерениям князя, что вскорости и обнаружилось.

Итак, пан Скшетуский докладывал, а князь слушал его в молчании. Все офицеры при этом отчете присутствовали, все лица при известии об отказе полковников поугрюмели, а взоры обратились к князю, который спросил Скшетуского:

— Значит, князь Доминик им не велел?

— Именно так. Мне показали письменный запрет.

Иеремия упер локти в стол и спрятал лицо в ладони. Спустя мгновение он сказал:

— Воистину это просто в голове не укладывается! Ужель одному мне надлежит погрудиться, а вместо помощи еще и наталкиваться на препоны? Ужели не мог бы я — гей! — к самому к Сандомиру в свои поместья пойти и там спокойно отсидеться?.. А отчего же я этого не сделал, если не оттого, что отечество свое люблю!.. И вот мне награда за труды, за убытки в имении, за кровь...

Князь говорил спокойно, но такая горечь, такая боль звучала в голосе его, что все сердца стеснились от огорчения. Старые полковники, ветераны Путивля, Старки, Кумеек, и молодые победители в последних сражениях взирали на него с невыразимой озабоченностью, ибо понимали, какую тяжкую борьбу с самим собой ведет этот железный человек, как чудовищно должна страдать гордость его от посланных судьбой унижений. Он, князь «божьей милостью», он, воевода русский, сенатор Речи Посполитой, должен уступать каким-то Хмельницким и Кривоносам; он, почти монарх, недавно еще принимавший послов соседних владык, должен уйти с поля славы и запереться в какой-нибудь крепостце, ожидая либо результатов войны, которую будут вести другие, либо унижительных договоров. Он, рожденный для великого предназначения, ощущающий в себе силы таковому славному жребию соответствовать, вынужден признать себя бессильным...

Огорчения эти заодно с лишениями отразились на его облике. Князь сильно исхудал, глаза его впали, черные как вороново крыло волосы начали седеть. И все же великое трагическое спокойствие выражалось на лице его, ибо гордость не позволяла князю обнаружить на людях безмерность своих страданий.

— Что ж! Да будет так! — сказал он. — Покажем же сей неблагодарной отчизне, что не только воевать, но и умереть за нее готовы. Воистину предпочел бы я более славной смертью в другой какой войне полечь, нежели воюя с холопами в гражданской заварухе, да ничего не поделаешь!

— Досточтимый князь, — прервал его киевский воевода, — не говори, ваша княжеская милость, о смерти, ибо хотя и неведомо,

что кому судил господь, но может статься, не близка она. Преклоняюсь я перед ратным рвением и рыцарским духом твоей княжеской милости, но не стану все же пенять ни вице-королю, ни канцлеру, ни региментариям, что они усобицу эту гражданскую пытаются уладить переговорами, ведь льется-то в ней братская кровь, а обоюдным упрямством кто, как не внешний враг, воспользуется?

Князь долго глядел воеводе в глаза и с нажимом сказал:

— Победенным явите милосердие, они его примут с благодарностью и помнить будут, у победителей же в презрении пребудете. Видит бог, народу этому никто никогда кривд не учинял! Но уж коли случилось, что разгорелся мятеж, так его не переговорами, но кровью гасить следует. Иначе позор нам и погибель!

— Тем скорейшая, если на собственный страх и риск войну вести будем,— ответил воевода.

— Значит ли это, что ты, сударь, дальше со мною не пойдешь?

— Ваша княжеская милость! Бога призываю в свидетели, что не будет это от недоброжелательства к вам, но совесть не позволяет мне на верную смерть людей своих выставлять, ибо кровь их драгоценна и Речи Посполитой еще понадобится.

Князь помолчал и мгновение спустя обратился к своим полковникам:

— Вы, старые товарищи, не покинете меня, правда?

Услыхав это, полковники, словно бы единым порывом и побуждением движимые, бросились ко князю. Одни целовали его одежды, другие обнимали колени, третьи, воздевая руки, восклицали:

— Мы с тобой до последнего дыхания, до последней капли крови!

— Веди! Приказывай! Без жалованья служить станем!

— Ваша княжеская милость! И мне с тобою умереть дозволю! — кричал, закрасневшись, как девушка, молодой пан Аксак.

Видя такое, даже воевода киевский растрогался, а князь ходил от одного к другому, голову каждого стискивая, и благодарил. Великое воодушевление охватило молодых и старых. Очи воинов сверкали огнем, руки сами собой хватались за сабли.

— С вами жить, с вами умирать! — говорил князь.

— Мы победим! — кричали офицеры. — На Кривоноса! К Полонному! Кто желает, пускай уходит. Обойдемся и сами. Не хотим ни славою, ни смертью делиться.

— Милостивые государи! — сказал наконец князь. — Воля моя такова: прежде чем двинуться на Кривоноса, нам следует устроить себе хотя бы краткую передышку, дабы силы восстановить. Ведь уже третий месяц мы с коней почти не слезаем. От труждений, усталости и переменчивости обстоятельств нас просто ноги не несут. Лошадей нет, пехота босиком шагает. Так что

следует нам двинуться к Эбаражу: там отъедемся и отдохнем, а между тем хоть сколько-нибудь солдат к нам соберется. Тогда с новыми силами снова и в огонь пойдем.

— Когда ваша княжеская милость прикажет выступить? — спросил Зацвилпховский.

— Не мешкая, старый солдат, не мешкая!

И князь обратился к воеводе:

— А ты, сударь, куда пойти намереваешься?

— К Глинянам, ибо слышал, что там сбор всем войскам.

— В таком случае мы вас до спокойных мест проводим, чтобы вам какая неприятность не приключилась.

Воевода ничего не ответил, потому что стало ему как-то не по себе. Он покидал князя, а князь между тем предлагал ему свое попечение и намеревался проводить. Была ли в словах князя ирония — воевода не знал, однако, несмотря ни на что, он от решения своего не отказался, хотя князь и полковники все недружелюбней глядели, и было ясно, что в любом другом, менее дисциплинированном войске, против него поднялся бы немалый ропот.

Поэтому он поклонился и вышел. Полковники тоже разошлись по хоругвям проверить готовность к походу. С князем остался только Скшетуский.

— Хороши солдаты в полках тех? — спросил князь.

— Такие отменные, что лучше и не бывает. Драгуны снаряжены на немецкий лад, а в пешей гвардии — сплошь ветераны с немецкой войны. Я было даже подумал, что это *triarii*¹ римские.

— Много их?

— С драгунами два полка, всего три тысячи.

— Жаль, жаль. Большие дела можно было бы с такими подкреплениями совершить!

На лице князя сделалась заметна досада. Помолчав, он словно бы сам себе сказал:

— Неудачные выбраны региментарии в годину катастрофы! Остророг — еще бы ничего, ежели б красноречием да латынью можно было войну заговорить, Конецпольский, свойственник мой, он ратолоубивый, да молод слишком и неопытен, а Заславский всех хуже. Я его давно знаю. Это человек малодушный и мелкотравчатый. Его дело не войском руководить, а над жбаном дремать да на пузо себе поплевывать... Открыто этого я говорить не стану, чтобы не сочли, что меня *invidia* обуреует, но бедствия предвижу страшные. И вот именно теперь люди эти взяли кормило власти в свои руки! Господи, господи, да минует нас чаша сия! Что же будет с отечеством нашим? Как подумаю об этом, смерти скорейшей жажду, ибо очень уж устал и говорю тебе:

¹ Триарии — старые содаты испытанной доблести. Одно из трех подразделений римского легиона (*лат.*).

скоро меня не станет. Душа рвется воевать, а телу сил не хватает.

— Ваша княжеская милость должны о здоровье своем заботиться. Все отечество премного в том заинтересовано, а лишения, по всему видно, весьма вашу княжескую милость подточили.

— Отечество, надо полагать, иначе думает, когда меня обходит, а теперь и саблю из рук моих выбивает.

— Даст бог, королевич Карл митру на корону сменит, а уж он будет знать, кого вознести, а кого извести. Ваша же княжеская милость слишком могущественны, чтобы себя в расчет не принимать.

— Что ж, пойду и я своей дорогой.

Князь, возможно, упустил из виду, что, как и прочие королята, проводит собственную политику, но если б он и отдавал себе отчет в этом, все равно бы от своего не отступился, ибо в том, что спасает достоинство Речи Посполитой, был уверен твердо.

И снова воцарилось молчание, которое вскорости было нарушено конским ржанием и голосами обозных труб. Хоругви строились для похода. Звуки эти вырвали князя из задумчивости, он тряхнул головой, словно бы желая горести и худые мысли стряхнуть, и сказал:

— А дорога спокойно прошла?

— Наткнулся я в мшинецких лесах на шайку мужичья человек в двести, которую и уничтожил.

— Прекрасно. А пленных взял? Это теперь важно.

— Взял, но...

— Но велел их допросить, да?

— Нет, ваша княжеская милость! Я их отпустил.

Иеремия с удивлением глянул на Скшетуского, и брови его тотчас же сдвинулись.

— Как? Уж не примкнул ли и ты к мирной партии? Что это значит?

— Языка я, ваша княжеская милость, привез, потому что среди мужичья был переодетый шляхтич, и он в живых оставлен. Остальных же отпустил, потому что господь ниспослал мне милость и радость. Готов понести наказание. Шляхтич этот — пан Заглоба, каковой мне сообщил известия о княжне.

Князь быстро подошел к Скшетускому.

— Жива? Здорова?

— Слава всевышнему! Так точно!

— А где она?

— В Баре.

— Это же могучая фортеция. Мальчик мой! — Князь протянул руки и, сжав голову пана Скшетуского, поцеловал его несколько раз в лоб. — Радуюсь твоей радостью, потому что люблю тебя, как сына.

Пан Ян горячо поцеловал княжью руку, и хотя давно уже готов был кровь за господина своего пролить, но сейчас словно

бы заново почувствовал, что прикажи князь — и он кинется даже в геенну огненную. Так этот грозный и лютый Иеремия умел завоевывать рыцарские сердца.

— Ну тогда оно неудивительно, что ты мужиков отпустил. Сойдет это тебе безнаказанно. Однако же третий калач твой пляхтич! Он ее, значит, с самого с Заднепровья в Бар довел? Слава богу! В нынешние нелегкие времена и для меня это истинное утешение. Пройдоха он, должно быть, каких мало! А подать-ка мне сюда этого Заглобу!

Пан Ян живо кинулся к двери, но та внезапно распахнулась сама, и появилась в ней огненная голова Вершулла, посланного с надворными татарами в далекий разъезд.

— Ваша княжеская милость! — проговорил он, запыхавшись. — Кривонос Полонное взял, людей десять тысяч всех до единого истребил. И женщин, и детей!

Полковники снова начали сходитьсь и тесниться вокруг Вершулла, прибежал и киевский воевода, а князь стоял потрясенный, потому что такого известия он никак не ожидал.

— Там же сплошь русь заперлась! Не может такого быть!

— Ни одной живой души в городе не осталось.

— Слышал, сударь, — сказал князь, обращаясь к воеводе. — Вот и веди переговоры с неприятелем, который даже своих не щадит!

Воевода засопел и сказал:

— Собачьи души! Раз так, тогда черт с ним со всем! Я с вашей княжеской милостью дальше пойду!

— Брат ты мне, значит! — сказал князь.

— Да здравствует воевода киевский! — закричал старый Зацвилиховский.

— Да здравствует согласие!

А князь снова обратился к Вершулле:

— Куда они из Полонного пойдут? Известно?

— Похоже, на Староконстантинов.

— Боже! Значит, полки Осинского и Корицкого пропали, с пехотой они уйти не успеют. Забудем же обиду и поспешим на помощь. В седло! В седло!

Лицо князя просияло радостью, а румянец снова покрыл впалые щеки, ибо стезя славы вновь открылась перед Иеремией Вишневецким.

ГЛАВА XXX

Войска прошли Староконстантинов и остановились в Росоловцах. Князь рассудил, что, если Корицкий и Осинский получают известие о взятии Полонного, они станут отходить на Росоловцы, а если враг станет их преследовать, он, неожиданно для самого себя, между ними и всеми княжескими силами словно бы в ло-

вущку попадет и тем скорее потерпит поражение. Предположения эти в большей части подтвердились. Войско заняло позиции и стояло тихо, готовое к битве. Разъезды, и значительные, и небольшие, были разсланы во все стороны. Князь же с несколькими полками остановился в ожидании противника в деревне. И вот вечером татары Вершулла сообщили, что по староконстантиновской дороге подходит какая-то пехота. Услыхав это, князь в окружении офицеров и нескольких десятков человек избранного общества вышел на крыльцо, дабы лицезреть прибытие войск. Тем временем неизвестные полки, оповестив о себе голосами труб, остановились у околицы, а два запыхавшихся полковника со всех ног прибежали пред обличье князя предложить свою службу. Это были Осинский и Корицкий. Увидав Вишневецкого, а при нем внушительную рыцарскую свиту, они весьма смешались и, неуверенные в приеме, низко склонившись, молча ожидали, что же он скажет.

— Колесо фортуны поворачивается и спесивцев уничтожает, — молвил князь. — Не пожелали вы, милостивые государи, явиться по зову нашему, теперь незваные пришли.

— Ваша княжеская милость! — смело сказал Осинский. — Всем сердцем желали мы под началом вашим служить, но запрет имелся ясный. Кто его положил, пусть за него и отвечает. Мы же просим нас простить, хотя и не виноваты, ибо, будучи людьми военными, обязаны повиноваться и не самовольничать.

— Значит, князь Доминик приказ отменил? — спросил князь.

— Приказ не отменен, — сказал Осинский, — однако он уже нас не связывает, ибо единственное спасение и сохранение полков наших в великодушии к нам вашей княжеской милости, под чьею рукою отныне жить, служить и умирать желаем.

Слова эти, исполненные мужественной решительности, да и сама фигура Осинского произвели на князя и его сподвижников самое благоприятное впечатление. Осинский был воин знаменитый, и хотя в молодых годах, ибо было ему не более сорока, но в ратном деле многоопытный, каковой опыт он в иноземных армиях приобрел. Знатока вид его не мог не порадовать. Высокий, стройный как тополь, с зачесанными кверху рыжими усами и шведской бородой, видом и осанкой он был точь-в-точь полковник с немецкой войны. Корицкий, родом татарин, ни в чем на него не походил. Маленького роста и коренастый, взгляд имел он хмурый и престранно выглядел в чужеземном костюме, не соответствовавшем его восточным чертам. Он командовал полком отборной немецкой пехоты и знаменит был как мужеством, так и малословностью, а еще железной дисциплиной, какую требовал от своих подчиненных.

— Ждем распоряжений вашей княжеской милости, — сказал Осинский.

— Благодарю за решимость, а услуги принимаю. Я знаю, что солдат обязан повиноваться, и если за вами посылал, то единственно потому, что понятия не имел о запрете. Немало плохих и хороших минут суждено нам отныне пережить вместе, но надеюсь я, что вы, судари, довольны будете новой службой.

— Была бы ваша княжеская милость довольна нами и полками нашими.

— Ну что ж! — сказал князь. — Неприятель далеко?

— Передовые отряды близко, но главные силы только к утру сюда появятся.

— Прекрасно! Значит, у нас есть время. Велите же, судари, пройти вашим полкам через майдап, а мы поглядим, каких воинов вы привели и в какое дело с ними идти можно.

Полковники вернулись к полкам и почти тотчас же вошли с ними в расположение княжеского войска. Латники из главных княжеских хоругвей во множестве высыпали поглядеть на новых сотоварищей. Первыми, в тяжелых шведских шлемах с высокими гребнями, шли королевские драгуны, ведомые капитаном Гизой. Кони под ними были подольские, но один к одному и сытые; всадники, свежие, отдохнувшие, в ярком и сверкающем обмундировании, видом своим разительно отличались от измотанных княжских полков, одетых в драные и выгоревшие на солнце мундиры. За драгунами шел со своим полком Осинский, замыкал Корицкий. Одобрительный гул прошел среди княжеского рыцарства при виде сомкнутого немецкого строя. Кляеты на немцах были одинаковые, красные, на плечах поблескивали мушкетеры. Шли они по тридцать в ряд, громко, как один, печатая сильный и мерный шаг. И всё ребята рослые, плечистые, бывалые солдаты, не в одной стране и не в одном бою побывавшие, сплошь почти ветераны долгой немецкой войны, исправные, дисциплинированные и многоопытные.

Когда они поравнялись с князем, Осинский крикнул: «Halt!»¹ — и весь полк остановился как вкопанный; офицеры подняли трости, а хорунжий взметнул знамя и, размахивая им, трижды склонил перед князем.

— Vorwärts!² — скомандовал Осинский.

— Vorwärts! — откликнулись офицеры, и полк двинулся вперед.

В точности так же, даже еще слаженней, показал своих Корицкий, и при виде его воинов возрадовались все солдатские сердца, а Иеремия, знаток из знатоков, тот даже подбоченился от удовольствия и глядел, и улыбался — ведь пехоты ему как раз и не хватало, — и понимал, что лучшей в целом свете не сыскать. Ощущал он себя теперь окрепшим и полагал, что добьется успеха во всех ратных начинаниях. Офицеры же беседовали о разных

¹ Стой! (нем.)

² Вперед! (нем.)

военных материях и о боевых качествах разных солдат, каковых на белом свете повстречать можно.

— Хороша пехота запорожская, в особенности из-за бруствера обороняться, — заметил Слешинский, — но эти ей не уступят, ибо вымуштрованы.

— Ба! Да они много лучше! — возразил Мигурский.

— Однако это народ тяжелый, — сказал Вершулл. — Что касается меня, я с моими татарами берусь за два дня так их измотать, что на третий можно будет, как баранов, их резать.

— Что ты, ваша милость, выдумываешь! Немцы — солдаты добрые.

На это пан Лонгинус Подбиятка своим певучим литовским говором заметил:

— Господь, он в милосердии своем различные нации различными доблестями одарил. Слышал я, что нету на свете лучше нашей конницы, и, оячь же, ни наша, ни венгерская пехота сравниться с немецкой не могут.

— Ибо господь по справедливости решает! — заявил пан Заглоба. — Вашей милости, к примеру, дал богатство немалое, здоревенный меч и тяжелую руку, а соображение невеликое.

— Уже присосался к нему, как пиявка конская, — смеясь, сказал Скшетуский.

А пан Подбиятка глаза закрыл и с обычной умильностью сказал:

— Слух ать гадко! Вашей же милости дал он язык уж очень длинный!

— Если настаиваешь ты, что господь поступил ошибочно, таковой мне давая, тогда вместе со всею своею невинностью в пекло отправишься, ибо волю божью оспоришь...

— Эт! Кто вашу милость переговорит! Болтаешь и болтаешь.

— А знаешь ли ты, сударь, чем человек от скотов отличается?

— А чем?

— А вот разумом и речью.

— От дал же ему, так дал! — сказал полковник Мокрский.

— Если ж ты, сударь, не понимаешь, отчего в Польше первейшая конница, а у немцев — пехота, так я тебе объясню.

— Отчего? Отчего? — заинтересовались несколько офицеров.

— Значит, так... Когда господь бог коня создал, привел он его к людям, чтобы творение божье восхвалили. А впереди тут как тут — немец, они же куда хошь пролезут. Показывает, значит, господь бог коня и спрашивает немца: что, мол, это такое? А немец и скажи: «Pferd!»¹ — «Что? — вопрошает создатель. —

¹ Лошадь! (нем.)

Значит, ты про мое творение «пфе!» говоришь? А не будешь ты за то, рыло неумытое, на сей твари божьей ездить, а если и будешь, так хуже прочих». Сказав это, он коня поляку и подарил. Вот отчего польская конница самолучшая, а немцы, как пешкодралом за господом богом увязались — прощения просить, так наилучшею пехотою и стали.

— Вот это ваша милость весьма ловко вывела, — сказал пан Подбипятка.

Дальнейший обмен мнениями прервали вестовые, примчавшиеся с донесением, что к лагерю подходит еще какое-то войско, явно не казацкое, так как не со стороны Староконстантинова, а с противоположной, от реки Збруча идут. Часа этак через два отряды сии вошли с таким громом труб и барабанов, что князь даже разгневался и послал велеть им, чтобы угомонились, так как поблизости неприятель. Оказалось, что это пришел пан коронный стражник Самуэль Лащ, известный, кстаи сказать, скандалист, обидчик, буня и забияка, однако солдат знаменитый. Привел он восемьсот человек такого же, как и сам он, пошиба: частью благородных, частью казаков, по каждому из которых, честно говоря, плакала виселица. Однако князя Иеремию солдатня эта не испугала — он знал, что в его руках ей придется преобразиться в послушных овечек, а удалью своей и мужеством покрыть все свои недостатки. Так что день оказался счастливым. Еще вчера князь, обескровленный уходом киевского воеводы, решил, пока не появятся новые подкрепления, военные действия приостановить и отойти на какое-то время в края поспокойнее, а сегодня он стоял во главе почти двенадцатитысячной армии, и хотя у Кривоноса войска было впятеро больше, однако, если учесть, что мятежные войска в большинстве состояли из черни, обе армии могли быть сочтены равными. Теперь князь даже и не думал об отдыхе. Запершись с Лащем, киевским воеводой, Зацвилюховским, Махницким и Осинским, он держал совет касательно дальнейших военных действий. Битву Кривоносу решено было дать назавтра, а ежели бы он не подоспел, тогда положили идти к нему сами.

Стояла уже глубокая ночь, и после многодневных дождей, столь докучавших солдатам под Махновкой, погода установилась превосходная. На темном своде небес роями сверкали золотые звезды. Месяц выкатился высоко и посеребрил все росоловецкие крыши. В лагере никто спать и не собирался. Все о завтрашней битве догадывались и готовились к ней, как ни в чем не бывало ведя приятные разговоры, распевая песни и многие для себя приятности предвкушая. Офицеры и товарищество познатнее, все в прекрасном настроении, расположились вокруг большого костра, не выпуская из рук чарки.

— Рассказывай же, ваша милость, далее! — просили они Заглобу. — Перешли, значит, вы Днепр, и что же? Каким образом вы до Бара-то добрались?

Пан Заглоба опрокинул квартиру меду и сказал:

...Sed jam nox humida coela
Praecipitat, suadentque cadentia sidera somnos,
Sed si tantus amor casus cognoscere nostros
Incipiam...¹

— Мои милостивые государи! Да ежели бы я стал все как было рассказывать, то и десяти ночей не хватило бы, да и меду, я так думаю, тоже, ведь старое горло, как старую телегу, смазывать полагается. Довольно будет, если скажу я вашим милостям, что в Корсунь, в лагерь самого Хмельницкого, пошел я с княжною и из пекла этого целою и невредимою ее вывел.

— Господи боже мой! Ты, сударь, надо полагать, колдовал! — воскликнул Володыёвский.

— Это точно, малость колдовал, — ответил Заглоба. — Ибо искусству этому сатанинскому еще в молодые лета в Азии у одной колдуньи выучился, каковая, влюбившись в меня, все агсапа премудрости чернокнижной мне разгласила. Да только там особенно не поколдуешь, ибо чары на чары получались. Там же вокруг Хмельницкого ворожбитов и колдуний до черта! Они ему столько чертей в услужение поназвали, что он чертями этими, как холопьями, распоряжается. Спать пойдет — дьявол ему сапоги стаскивает, одежда запылится — черти ему ее хвостами выколачивают, а он еще спяну — раз! — какому-нибудь по мордам! За то, мол, говорит, что служишь плохо!

Богобоязненный пан Лонгинус перекрестился и сказал:

— С ними силы ада, с нами небесные!

— Они бы и меня, нечистые, перед Хмельницким раскрыли — и кто такой, и кого веду, да я их неким способом заклял, вот они и помалкивали. Еще опасался я, что узнает меня Хмельницкий, мы же с ним раза два в Чигирине у Допула сталкивались. Были и еще знакомые полковники, да что из того? Я ж худой стал, борода до пояса выросла, волоса до плеч, да еще одежда — вот меня никто и не узнал.

— Так ты, сударь, самого Хмельницкого видел и с ним разговаривал?

— Видал ли я Хмельницкого? Да собственными глазами, как вот вас! Он же меня послал на Подолье шпионить, манифесты мужичью по дороге раздавать. Пернач дал для безопасности от татар, так что из Корсуны я уже всюду мог ехать без опаски. Встретятся мне мужики или низовые, я им сразу пернач к носу и говорю: «Понюхайте это, дітки, — и катитесь к дьяволу!» Велел я тоже всюду давать мне есть и пить досыта, а они давали

¹ Мог бы я слезы сдержать? Росистая ночь покидает
Небо, и звезды ко сну зовут, склоняясь к закату,
Но если жажда сильна узнать о наших невзгодах...

Я начну (лат.). — Вергилий. Энеида, II, 8—10, 13. (Перев. С. Ошерова.)

и подводки тоже давали, чему я рад был и постоянно поэтому за бедняжкой княжной моей доглядывал, чтобы после столь великих мытарств и опасностей в себя пришла. И вот, значит, скажу я вашим милостям, прежде чем добрались мы до Бара, она уже таково откормилась, что народ в этом самом Баре чуть глаза на нее не проглядел. Есть там пригожих девиц достаточно, потому что шляхта отовсюду посъезжалась, но им до нее, как совам до ласточки. Любят ее, опять же, люди, да и вы, судари, полюбили б, когда б увидели.

— Это уж верно, иначе оно быть не может! — молвил маленький Володыёвский.

— Но зачем же ты, ваша милость, аж в Бар подался? — спросил Мигурский.

— Затем, что порешил не успокаиваться, пока до безопасного места не доберусь, на маленькие замочки я не надеялся, полагая, что бунтовщики на них покуситься могут. А на Бар хоть бы и покусилась, да зубы все равно бы сломали. Там пан Анджей Потоцкий за могучими стенами сидит и столько же беспокоится насчет Хмеля, сколько я насчет пустой склянки. Ужели же вы, судари, считаете, что я неправильно поступил, далеко от войны уйдя? Опять же за мною наверняка Богун гнался, а уж если догнал бы, так поверьте, судари мои, марципан бы из меня собакам сделал. Вы его не знаете, а я, черти бы его драли, знаю! До тех пор спокоен не буду, пока его не повесят. Дай же, господи, столь счастливый конец, аминь! Видно, он себе никого так не приметил, как меня. Брр! Как подумаю об этом — мерз по коже! Оттого-то я теперь и напитки столь употребляю, хотя по натуре своей к возлияниям равнодушен.

— Что ты такое, ваша милость, говоришь! — удивился пан Подбиятка. — Ты же, братушка, как журавль колодезный, пьешь!

— Не гляди, сударь, в колодец, умного не увидишь! Однако чего об этом толковать! Едучи, значит, с перначом и манифестами Хмельницкого, больших помех я по пути не встретил. Добравшись до Винницы, нашел я там хоругвь присутствующего тут пана Аксака, однако дедовского облика пока решил не менять, потому что мужичья боялся. Одно только, что от манифестов отделался. Живет там шорник один по прозванию Сайгак. Он для запорожцев шпионит и сведения Хмельницкому посылает. Через него я и отослал назад манифесты, приписавши к ним такковые сентенции, что Хмель, надо думать, кожу велит с него содрать, когда прочтет. Однако у самого уже Бара такое мне приключилось, что я, как говорится, чуть возле берега не утонул.

— Как оно было? Как же?

— Повстречались нам пьяные солдаты-безобразники, и услышали они, что обращаюсь я к княжне «барышня-панна», ведь я не очень-то уже и таился, находясь от своих поблизости. Они сразу: что это, мол, за дед такой и что это за особенный парнишка, к которому обращаются «барышня-панна»? А как на

княжну глянули: красота писаная! Они на нас! Я сердешную мою в угол, собою заслонил и саблю хватъ!

— Странно все же,— прервал рассказчика Володыёвский,— что ты, сударь, дедом переодетый, при сабле был.

— Ге! — сказал Заглоба. — При сабле? А кто вашей милости сказал, что я был при сабле? Я же солдатскую схватил, которая на столе лежала. Это ж в корчме было, в Шипинцах. Двоих я уложил мигом. Остальные за мушкеты! Я кричу: «Стойте, собаки, я шляхтич!» А тут вдруг орут: «Alt! Alt!»¹ Разъезд чей-то на подходе!, а это, оказывается, не разъезд, а всего-навсего пани Славошевская с эскортом, которую сын с пятьюдесятью всадниками провожал, парнишка молодой. Тут солдат этих наконец утихомирили. А я к пани Славошевской с речью приветственной. Так ее разжалобил, что сразу же хляби у ней в очах разверзлись. Взяла она княжну в свою карету, и двинулись мы в Бар. Думаете, на этом конец? Э нет!..

Внезапно пан Слешинский прервал Заглобу:

— Глядите-ка, милостивые государи,— сказал он,— там что, заря, что ли?

— Эй, быть не может! — возразил Скшетуский. — Рановато еще.

— Это где Староконстантинов!

— Точно! Видите: все ярче!

— Боже мой, зарево!

Все лица тотчас посерьезнели, все забыли про рассказ и вскочили.

— Зарево! Зарево! — подтвердило несколько голосов.

— Это Кривонос из-под Полонного подошел.

— Кривонос со всем войском.

— Передовые отряды, верно, город подожгли или деревни окрестные...

В этот момент тихо протрубили тревогу, и сразу к офицерам подошел старый Зацвилиховский.

— Милостивые государи! — сказал он. — Вернулась разведка. Враг под носом! Выступаем немедленно! К полкам! К полкам!..

Офицеры поспешили к своим полкам. Челядь затоптала костры, и спустя малое время лагерь погрузился во тьму. Только вдалеке, где Староконстантинов, небо становилось все краснее, и от зарева этого постепенно меркли и гасли звезды. Снова послышались трубы, тихонько протрубившие поход. Неотчетливые группы людей и лошадей зашевелились. В тишине были слышны удары копыт, мерный шаг пехоты и, наконец, глуховатый перестук орудий Вурцеля; иногда звякали мушкеты или раздавалась команда. Было что-то грозное и злое в ночном этом походе, не видимом во мраке, в этих голосах, шорохах, позвякиванье ме-

¹ Стой! Стой! (искаж. нем.)

талла, в посвечивании броней и мечей. Хоругви спускались к старокопстантиновской дороге и текли по ней в направлении зарева, похожие на гигантского ящера или змея, ползущего впотьмах. Но дивная июльская ночь уже кончалась. В Росоловцах загорланили кочеты, подавая по всему городишке голоса свои. Миля пути отделяла Росоловцы от Старокопстантинова, так что, прежде чем войско медленным маршем прошло половину дороги, из-за дымного зарева, словно бы испуганная, выглянула бледная зорька и постепенно стала насыщать брезжущим светом воздух, извлекая из потемок леса, перелески, белую ленту большака и идущее по нему войско. Теперь людей, лошадей и сомкнутые ряды пехоты можно было различить отчетливее. Повеял утренний свежий ветерок и зашлепал стягами над головами рыцарей.

Впереди шли татары Вершулла, за ними — казаки Понятовского, потом драгуны, пушки Вурцеля, а пехота с гусарами замыкала. Пан Заглоба ехал рядом со Скшетуским, но как-то все время вертелся в седле, и видно было, что перед неминуемой битвой его охватывает беспокойство.

— Ваша милость, — тихо зашептал он Скшетускому, словно бы опасаясь, что кто-то подслушает,

— Что скажешь, сударь?

— Первыми разве гусары ударят?

— Ты же говорил, что ты старый солдат, а не знаешь, что гусар для решающего удара держат, до той поры, когда неприятель все силы в битву бросит.

— Да знаю я это, знаю! Просто проверить себя хотел!

С минуту оба молчали. Затем пан Заглоба понизил голос еще больше и спросил снова:

— Значит, там Кривонос со всеми своими силами?

— Точно.

— А много их у него?

— С холопами тысяч шестьдесят будет.

— Ах ты дьявол! — сказал пан Заглоба.

Скшетуский улыбнулся в усы.

— Не сочти, ваша милость, что боюсь я, — опять зашептал Заглоба. — Просто у меня одышка, и толчея я не люблю, потому что жарко бывает, а когда жарко, от меня пользы никакой. Другое дело в одиночку действовать! Человек хоть уловкой какой выкрутиться может, а тут и придумать ничего не успеешь! Тут не голова, а руки в выигрыше. Тут я пень по сравнению с паном Подбияткой. У меня, сударь, на животе двести червонных золотых, которые мне князь пожаловал, но верь мне, что живот как раз предпочел бы я где-нибудь в другом месте держать. Тьфу! Терпеть не могу этих решающих сражений! Чума их возьми!

— Ничего с вашей милостью не случится. Соберись с духом.

— С духом? Этого-то я и боюсь, что отвага благоразумие во мне победит! Я ведь жуть какой запальчивый... А мне нехороший

знак был — пока у костра сидели, две звезды упало. Вдруг какая-нибудь моя!

— За добрые твои дела бог тебя наградит и в здравии соблюдет.

— Только бы слишком скоро награды не положил!

— Отчего же ты при обозе не остался?

— Я решил, что с войском безопаснее будет.

— И правильно. Вот увидишь, ваша милость, что ничего такого особенного в этом деле нету. Мы уже привычные, а *consuetudo altera natura*¹. Вот уж и Случь с Вишоватым прудом.

И в самом деле, воды Вишоватого пруда, отделенные от Случи длинною запрудой, засверкали вдали. Войска тотчас остановились на всем протяжении.

— Что? Уже?

— Князь будет строй проверять, — ответил пан Скшетуский.

— Терпеть не могу толчеи!.. Говорю я вашей милости... просто не выношу.

— Гусары на правый фланг! — раздался голос вестового, посланного князем к Скшетускому.

Уже совсем развиднелось. Зарево поблекло в лучах восходящего солнца, золотые отсветы засверкали на остриях гусарских копий, и могло показаться, что над рыцарями загорелись тысячи свечей. После проверки строя войско, более не таясь, грянуло в один голос: «Распахнитесь, врата искупленья!» Могучая песнь покатила по росам, ударила в сосновый бор и, отраженная эхом, вознеслась к небесам.

Но вот берег по другую сторону запруды зачернел насколько хватал глаз несметным множеством казаков; полки подходили за полками, конные запорожцы, снаряженные длинными пиками, пеший люд с самопалами и половодье мужичья, вооруженного косами, цепями и виллами. За ними, точно в тумане, виднелся огромный обоз, по виду — прямо передвижной город. Скрип тысяч возов и ржание коней долетали даже до княжеских солдат. Казаки, однако, шли без обычных воплей, без завывания, и по ту сторону земляной плотины остановились. Обе враждебные армии какое-то время в молчаньи озирали друг друга.

Пан Заглоба, неотступно держась возле Скшетуского, поглядывал на это человеческое море и бормотал:

— Иисусе Христе, зачем же ты столько этой сволочи создал! Уж не сам ли это Хмельницкий с чернью и всеми вшами?! Ну не безобразие ли, скажи, ваша милость? Они же нас шапками закидают. А как славно было прежде на Украине! Прут и прут! Чтоб на них бесы в пекле перли! И всё на нашу голову! Чтоб они от сапа сдохли!..

— Не бранись, ваша милость. Воскресенье ведь нынче.

— И верно — воскресенье, лучше бы оно о боге подумать...

¹ привычка вторая натура (лат.).

Pater noster qui est in coelis... Никакого уважения от этих него-
дьяев ожидать нельзя... Sanctificetur nomen Tuum... Что же тво-
риться будет сегодня на этой дамбе! Adveniat regnum Tuum...
Вот уже во мне и сперло дыхание... Fiat voluntas Tua... А, чтоб
вы издохли, Аманы мужеистребляющие! Гляди-ка, ваша милость!
Что там?

Отряд в несколько сот человек оторвался от черного мно-
жества и беспорядочно направился к запруде.

— Поединщики это,— сказал Скшетуский. — Сейчас и наши
к ним выедут.

— Значит, все-таки будет сражение?

— Беспременно.

— Черти бы все побрали! — Тут плохое настроение пана
Заглобы перешло всякие границы. — А ты глядишь, сударь, на
все, как на *teatrum*¹ в масленицу! — неприязненно крикнул он
Скшетускому. — Словно бы твоя шкура тут ни при чем!

— Мы привычные, я же сказал.

— И, конечно, в поединки ввяжешься?

— Не очень-то пристало рыцарям из главных подразделений
один на один с таковым противником биться, кто себе цену знает,
этим не занимается. Но в нынешние времена разве же достоин-
ство в расчет принимают?

— Уже и наши идут! Вон! — закричал пан Заглоба, завидя
красную линию драгун Володыевского, рысцою двигавшуюся к
запруде.

За ними потянулись желающие — человек этак по десять от
каждой хоругви. Среди прочих пошли рыжий Вершулл, Кушель,
Понятовский, двое Карвичей, а из гусарских — пан Ловгинус
Подбипятка.

Дистанция между обоими отрядами стала быстро сокра-
щаться.

— Знатных дел сделаешься, сударь, свидетелем,— сказал
Скшетуский пану Заглобе. — Особенно приглядишься к Володыев-
скому и Подбипятке. Великие это рыцари. Различаешь их, ваша
милость?

— Различаю.

— Тогда гляди в оба, сам еще разохотишься.

ГЛАВА XXXI

Воины, сойдясь совсем близко, остановили коней и принялись
первым делом поносить друг друга.

— Здравствуйте! Здравствуйте! А вот мы сейчас собак ва-
шей падалью накормим! — закричали княжеские солдаты.

— А ваша и собакам не в корм.

¹ театр (лат.).

— Сгниете в пруду этом, громилы подлые!

— Кому писано, тот и сгниет. Вас небось первых рыбы обглодают.

— А ну-ка вилами навоз ковырять, хамы! Вам оно привычнее, чем сабля.

— Хотя ж мы и хамы, зато сынки наши шляхтой будут, потому как от паненок ваших породятся!

Какой-то казак, видать заднепровский, выскочил вперед и, сложив ладони у рта, заорал оглушительным голосом:

— У князя две племянницы! Скажите, чтобы Кривоносу их прислал...

У пана Володыёвского, едва услышал он такое кощунство, от бешенства аж в глазах потемнело, и он тотчас повернул коня на запорожца.

Скшетуский, стоя на правом фланге с гусарами, признал его издали и крикнул Заглобе:

— Володыёвский пошел! Володыёвский! Гляди же, сударь! Вон! Вон!

— Вижу! — закричал пан Заглоба. — Уже подскакал! Сражаются! Раз! Раз! Бей его! Вон они! Ого, всё! Ну и хват, трава на нем не расти.

И правда, со второго замаха кощунник, как громом пораженный, рухнул наземь, причем головою к своим, что было недобрым знаком.

Меж тем выскочил второй, одетый в червоный кунтуш, снятый с какого-то шляхтича, и налетел на пана Володыёвского несколько сбоку, однако лошадь под ним в момент самого удара споткнулась. Пан Володыёвский оборотился, и сразу стало ясно, что такое мастер, ибо одною только кистью шевельнул он, произведя движение столь легкое и мягкое, что просто-таки незаметное, — и сабля запорожца порхнула в воздух. Пан же Володыёвский за шиворот его схватил и вместе с конем помчал к своим.

— Брати рідниї, спасайте! — вопил пленник.

Однако сопротивляться не сопротивлялся, зная, что пошевелись он, и тотчас будет посечен саблею, так что он даже и коня своего колотил пятками, чтобы скакал соответственно. И пан Володыёвский мчал его, как волк козу.

Завидя такое, кинулись друг на друга человек по пятнадцать с каждой стороны — большому количеству на узкой запруде было не поместиться. Так что сходились противники поодиночке. Воин схлестывался с воином, конь с конем, сабля с саблей, и чередой поединков этих являла собой поразительное зрелище, на каковое оба войска взирали с величайшим любопытством, пытаясь угадать по нему, что сулит им фортуна. Утреннее солнце сияло над сражавшимися, а воздух был так прозрачен, что можно было различить лица в обоих построениях. Издали все выглядело, как декий турнир или играца. Порою разве что из толчеи вдруг вы-

бегал конь без седока, иногда труп срывался с дамбы в ясное стекло воды, и та, раскалывалась золотыми искрами, а потом расходилась волнообразными кругами все дальше и дальше от берега.

В обоих станах сердца солдат радовались мужеству своих рыцарей и ратному их запалу. Каждый желал своим победы. Вдруг Скшетуский всплеснул руками, так что звякнули нарамники, и воскликнул:

— Вершулл погиб! С конем упал... Смотрите: он на белом том сидел!

Но Вершулл не погиб, хоть и в самом деле упал вместе с конем; опрокинул его огромный Полуян, бывший казак князя Иеремии, а сейчас второй после Кривоноса военачальник. Был это знаменитый поединщик, некогда забавы сей не пропускавший. Столь могучий, что без труда ломал по две подковы сразу, в одиночной схватке он прослыл непобедимым. Опрокинув Вершулла, он ударил на бравого офицера Курошляхтича и страшно, почти до седла, разрубил его надвое; остальные, потрясенные, отпрянули, и, завидя это, пан Лонгинус повернул к казаку свою лифляндскую кобылу.

— Погибнешь! — крикнул Полуян дерзновенному мужу.

— Что поделать! — ответил Подбипытка, замахиваясь.

Увы, при нем не было Сорвиглавца, ибо, предназначив его для весьма великих подвигов, он не желал пользоваться мечом в поединках, и Сорвиглавец находился в хоругви при верном оруженосце; с собою же у пана Лонгина была только легкая сабля-баторовка с голубоватым и вызолоченным клинком. Первый ее удар Полуян отразил, хотя сразу понял, что имеет дело с незаурядным бойцом, так как сабля в его руке прямо задрожала; отбил он еще и второй удар, и третий, после чего или большую сноровку противника в фехтовании угадал, или перед обеими армиями страшную своей силой похвастаться захотел, или, припертый к краю плотины, под напором огромной коняги пана Лонгина опасался упасть в воду, но, отбив очередной удар, он свел коней боками и литвина в могучие объятия поперек схватил.

И сцепились они, точно два медведя, когда те из-за самки во время течки борются, обвились один вокруг другого, как две сосны, когда, из одного ствола вырастая, они взаимно обвиваются и почти единый ствол составляют.

Все, затаив дыхание, в молчанье наблюдали схватку этих борцов, из которых каждый за величайшего силача среди своих почитался. А те и впрямь, можно сказать, срослись в одно тело, потому что долгое время пребывали в неподвижности. Только лица их сделались красны, только по жилам, выскочившим на их лбах, по изогнутым, как луки, хребтам, за страшной этой неподвижностью угадывалось нечеловеческое усилие рук, напрягшихся во взаимном обхвате.

Вот уже оба стали судорожно дергаться. Лицо пана Лонгина постепенно делалось все багровее, а лицо атамана все синее. Прошла еще минута. Волнение зрителей возрастало. Внезапно в тишине послышался глухой, придушенный голос:

— Пусти...

— Нет... братушка!.. — ответил второй голос.

Еще минута, и вот что-то ужасно хрустнуло, послышался стон, донесшийся словно из-под земли, поток черной крови хлынул из уст Полуяна, и голова его откинулась на плечо.

Тогда пан Лонгин вытащил его из седла и, прежде чем зрители поняли, что произошло, перекинул поперек своего, после чего рысью двинулся к своим.

— Vivat! — крикнули вишневичане.

— На погибель! — ответили запорожцы.

И нет чтобы обескуражиться поражением своего вождя — они еще ожесточеннее ударили на противника. Закипела беспорядочная стычка, из-за недостатка места делавшаяся все более остервенелой. И, несмотря на всю отвагу свою, дрогнули бы молодцы перед большей фехтовальной ссоркой противника, если бы из Кривоносова табора не затрубили внезапно трубы, призывающие поединщиков отойти.

Они тотчас же ретировались, а противник их, постояв мгновение, чтобы показать, что выиграл поле, тоже поворотил к своим. Дамба опустела. На ней остались только человеческие да лошадиные трупы — предвестие того, чему быть дальше, и эта тропинка смерти чернелась меж обоими войсками, а легкое дуновение ветра морщило гладкую воду пруда и жалобно шумело в листве верб, склоненных там и сям по берегу.

И тотчас, словно бы необозримые взглядом стаи скворцов и ржанок, двинулись Кривоносовы полки. Впереди — чернь, за нею скученная пехота и конные запорожские сотни, далее татарские добровольцы и казацкая артиллерия. И всё без большого порядка. Одни напирали на других, шли «навалом», стремясь бесчисленным множеством преодолеть плотину, а затем захлестнуть и затопить княжеское войско. Дикий Кривонос верил не в военное искусство, но в кулак и саблю, поэтому шел в наступление всею армией и велел полкам, идущим сзади, наступать на передних, чтобы те хоть бы и противу воли, но шли вперед. Пушечные ядра стали плюхаться в воду на манер диких лебедей и гагар, не нанося по причине недолета никакого ущерба княжеским войскам, построенным в шахматном порядке по другую сторону пруда. Людское половодье захлестнуло плотину и катилось вперед беспрепятственно. Отдельные отряды лавины этой, достигнув реки, стали искать брода и, не найдя, снова возвращались к плотине. Шли они столь густо, что, как позже заметил Осинский, по головам на лошади проехать было можно, и таково они покрыли дамбу, что не осталось и пяди свободного пространства.

Иеремия глядел на все это с высокого берега и морщил брови, а очи его метали в мятежные толпы молнии. Наблюдая же беспорядок и суетолоку в Кривоносных полках, он сказал оберштеру Махницкому:

— По-холопски неприятель с нами решил воевать и, искусством воинским пренебрегая, всем скопом идет, да не дойдет.

Между тем, словно бы вопреки этим словам, казаки достигли уже середины дамбы и остановились, удивленные и обеспокоенные бездействием княжеских войск. Однако в ту минуту среди княжеских сделалось движение: они отошли, оставив между собою и плотиною обширное пустое полукружие, которому надлежало стать полем битвы.

Затем пехотинцы Корицкого расступились, открыв нацеленные на дамбу жерла Вурцелевых пушек, а в углу, создаваемом Случью и плотиною, поблескивали в прибрежных зарослях мушкеты немцев Осинского.

И тотчас для людей военных стало очевидно, на чьей стороне будет победа. Лишь такой бесшабашный атаман, как Кривонос, мог дерзновенно решиться на битву в подобных условиях, ибо со всеми своими силами не смог бы овладеть даже и переправой, пожелай Вишневецкий этому воспротивиться.

Но князь умышленно решил пропустить несколько его полков за плотину, дабы окружить их и уничтожить. Великий военачальник просто пользовался безрассудством противника, который даже не принял в расчет, что своим людям, сражающимся за рекой, сможет посылать помощь только по узкому проходу, через который более или менее значительных подкреплений переправить будет невозможно. И умудренные знатоки военного искусства с недоумением взирали на действия Кривоноса, которого стоить безрассудно поступать ничто не понуждало.

Понуждала его лишь амбиция и кровожадность. Атаман недавно узнал о том, что Хмельницкий, несмотря на численное превосходство посланных с Кривоносом полков, тревожась за исход битвы с Иеремией, шел со всеми своими силами на помощь. Кривонос получил приказ от сражения уклониться. Но именно поэтому Кривонос решил не уклоняться и торопился.

Взявши Полонное и опьянев от крови, он уже ни с кем не желал делиться ею, потому и спешил. Ну, потеряет половину войска, что из того! Оставшаяся половина захлестнет малочисленные княжеские силы и разгромит их. Голову Иеремии он поднесет Хмельницкому в подарок.

Между тем бурлящая лавина черни достигла оконечья дамбы, спустилась с нее и растеклась по тому самому полукружью, которое освободили, отступив, подразделения Иеремии. В ту же секунду открытая сбоку пехота Осинского дала залп, пушки Вурцеля процвели долгими полосами дыма, земля содрогнулась от грохота, и битва началась по всей линии.

Дымы затянули берега Случи, пруд, плотину и само поле, поэтому мало что можно было разглядеть; порой лишь мелькали красные мундиры драгун, иногда сверкали гребни над летящими шлемами, в основном же в туче этой все кишмя кишело. В городе звонили все колокола, и скорбные стоны их смешивались с басовитым ревом пушек. Из казацкого расположения валили к дамбе все новые и новые полки.

Те, кто ее перешел и перебрался на другой берег пруда, во мгновение растянувшись долгою линией, с яростью ударили на княжеские хорутви. Бой завязался от самой кромки пруда до поворота реки и заболоченных лугов, в это мокрое лето покрытых водою.

Черни и низовым предстояло или победить, или погибнуть, имея за собою воду, к которой теснил их натиск пехоты и конницы.

Когда двинулись вперед гусары, пан Заглоба, хотя страдал одышкой и толчеи не любил, бросился, зажмурившись, вместе с остальными, ибо ничего другого делать ему не оставалось, а в голове его только и мелькало: «Здесь не надуешь! Никак не надуешь! Дурак с удачей, умный с потерей!» Потом взяла его злость и на войну, и на казаков, и на гусар, и вообще на весь свет. Он стал ругаться и молиться. Ветер свистел у него в ушах, спирая дыхание. Вдруг лошадь его на что-то наткнулась, он ощутил какую-то преграду, открыл глаза — и что же увидел? Вот они, косы, сабли, цепи, глаза, усы и сплошь багровые лица... И все какое-то неотчетливое, неизвестно чье, все дергающееся, скачущее, бешеное. Тогда обьяло его крайнее остервенение и по поводу этого самого противника, и потому, что они не убираются ко всем чертям, а наскакивают и вынуждают Заглобу сражаться. «Желали — получайте!» — подумал он и принялся без разбору махать саблех направо и налево. Иногда сабля просто рассекала воздух, а иногда чувствовалось, что клинок врежется во что-то мягкое. Вместе с тем он понимал, что все еще жив, и это необычайно ободряло его. «Бей! Убивай!!» — ревел Заглоба, как буйвол, и в конце концов лютые мужицкие обличья исчезли из глаз, вместо них увидел он множество спин, шапочных донцов, а вопли — разве что ушей ему не раздирали.

«Бегут! — пронеслось у него в голове. — Они же бегут! Бегут!»

Тогда вскипела в нем небывалая отвага.

— Воры! — крикнул он. — Так-то вы шляхте сопротивляйтесь!

И кинулся вслед бегущим, многих опередил и, вметавшись в их гущу, с бóльшим уже толком взялся за дело. Между тем соратники его приперли врагов к густо поросшему деревьями берегу Случи и гнали их вдоль этого берега к дамбе, из-за недостатка времени никого не беря в плен.

Внезапно пап Заглоба почувствовал, что лошадь под ним стала упираться, и вместе с тем что-то тяжелое, свалившись на него, обмотало ему голову, так что оказался он в полной темноте.

— Милостивые государи! Спасайте! — крикнул он, колотя лошадь пятками.

Конь, как видно уставши нести тучного всадника, только постанывал, но с места не сходил.

Пап Заглоба слышал вопли и клики мчавшихся мимо всадников, затем весь этот ураган пролетел, и установилось некоторое затишье.

И снова мысли, словно быстрые стрелы татарские, замелькали в его мозгу.

«Что это? Что случилось? Иисусе Христе! В плен меня взяли, что ли?»

И на лбу его выступил холодный пот. Похоже, ему обмотали голову в точности так же, как сам он в свое время сделал это Богуну. А тяжесть, ощущаемая на плече, — рука гайдамака. Но почему его никто не уводит или не приканчивает? Почему он стоит на месте?

— Пусти, хамское отродье! — крикнул пап Заглоба сдавленным голосом.

Молчанье.

— Пусти, хам! Я дарю тебе жизнь!

Никакого ответа.

Пап Заглоба снова ударил пятками в конские бока. Безрезультатно! Упнувшаяся животиная раскорячилась еще больше и осталась стоять.

Тогда крайнее бешенство охватило несчастного пленника, и, достав нож из висевших на поясе ножен, он нанес страшный удар в тыл за собою.

Нож, однако, пропорол только воздух.

Тут Заглоба схватился обеими руками за обмотавший ему голову плат и решительно сорвал его.

Что такое?

Гайдамаков не видать. Вокруг ни души. Лишь вдаль в дыму виднеются летящие красные драгуны Володыёвского, а в нескольких верстах за ними поблескивают доспехи гусар, сгоняющих с поля к воде недобитых.

Зато у ног пана Заглобы лежит полковое запорожское знамя. Как видно, удиравший казак отшвырнул его, и случилось так, что древком оно легло на плечо пану Заглобе, а полотнищем накрыло ему голову.

Увидев все это и поняв что к чему, сей муж сразу же опомнился.

— Ага! — сказал он. — Я захватил знамя. А что? Может, я его не захватил? Ежели справедливость в этой битве не приканчат, тогда награду я получу всенепременно. О хамы! Счастье

ваше, что подо мною ковь упнулся. Ошибался я, думая, что на хитрость следует полагаться более, чем на храбрость. Сгложусь в войске и я кой для чего — сухари есть каждый может. О господи! Снова сюда какая-то свора мчится. Не сюда, сучьи дети, не сюда! Чтoб этого коня волки съели!.. Бей!.. Убивай!

И в самом деле, новый отряд казаков, завывая нечеловеческими голосами, мчался к пану Заглобе, а по пятам за ними неслись латники Поляновского. И весьма вероятно, что пан Заглоба нашел бы смерть под копытами, когда бы гусары Скшетуского, перетопивши тех, кого преследовали, не возвращались теперь, намереваясь взять в клещи отряды, мчавшиеся к Заглобе. Завидев это, запорожцы попрыгали в воду затем лишь, чтобы, избежав мечей, найти смерть в трясинах и глубоких омутах. Те из них, кто, упав на колени, молил о пощаде, погибали под ударами. Погром сделался страшный и повсеместный, но ужасней всего было на дамбе. Отряды, перешедшие запруду, были уничтожены в полукружье, созданном княжескими войсками. Те же, кто дамбу не перешел, погибли под непрерывным огнем пушек Вурцеля и залпов немецкой пехоты. Они не могли двинуться ни вперед, ни назад, так как Кривонос подгонял все новые полки, которые, напирая, расталкивая впереди идущих, заперли единственный путь к отступлению. Могло показаться, что Кривонос поставил себе целью уничтожить собственных людей, а те сжучивались, давили друг на друга, дрались между собой, падали, прыгали по обе стороны в воду — и тонули. У одного конца плотины чернели множества отступавших, у другого — полчища наступавших, посредине же — горы и валы трупов, стоны, вопли воистину нечеловеческие, безумие страха, растерянность, хаос. Весь пруд наполнился человеческими и лошадиными трупами. Вода вышла из берегов.

Иногда канонада замолкала. Дамба тогда, как из пушки, выбрасывала толпы запорожцев и черни, которые рассеивались по полукружью и шли под меч ожидавшей их конницы, а Вурцель затевал пальбу снова, ливнем железа и свинца перекрывая дамбу и останавливая подход подкреплений.

В кровавых этих боях проходили часы.

Кривонос, озверевший, взмыленный, не сдавался и швырял тысячи молодцев смерти в пасть.

На другом берегу Иеремия, закованный в серебряные латы, верхом на коне стоял на высоком кургане, звавшемся в те времена Кружей Могилой, и озирал поле боя.

Лицо его было спокойно, взгляд же охватывал всю дамбу, пруд, берега Случи и достигал даже туда, где, повитый голубоватой дымкой отдаленья, расположился огромный Кривоносов табор. Очи князя не отрывались от этого скопища телег. Наконец он обратился к тучному киевскому воеводе и сказал:

— Сегодня нам обоза не взять.

— Как? Ваша княжеская милость собираешься?..

— Время быстро летит. Поздно очень! Гляди, сударь, уже и вечер.

И правда, с момента выезда поединщиков битва, не прекращавшаяся из-за упорства Кривоноса, продолжалась уже так долго, что у солнца было довольно времени пройти каждодневную свою дугу и склониться к западу. Легкие высокие облака, обещавшие погоду и, как стада белорунных овец, рассеянные по небу, начали алеть и стаями исчезать из полей небесных. Приток казачья к дамбе постепенно шел на убыль, а те полки, которые уже на нее вошли, отступали в сумятице и беспорядке.

Сражение закончилось, и закончилось оно потому, что озверевшие толпы отступили в конце концов Кривоноса, взывая в ярости и отчаянии:

— Предатель! Погубишь нас! Пес кровавый! Сами тебя свяжем и Яреме выдадим, чем и жизнь купим. На погибель тебе, не нам!

— Завтра отдам вам князя и все его войско или сам погибну,— отвечал Кривонос.

Но ожидаемое это «завтра» имело только наступить, а уходящее «сегодня» стало днем разгрома и поражения. Несколько тысяч лучших низовых молодцев, не говоря уже о черни, либо полегли на поле брани, либо утонули в пруду и реке. Тысячи две попали в плен. Погибло четырнадцать полковников, не считая сотников, есаулов и прочего казацкого чина. Второй после Кривоноса военачальник живьем, хоть и с переломанными ребрами, попал в руки неприятеля.

— Завтра всех вырежем! — повторял Кривонос. — Ни еды, ни горелки до тех пор в рот не возьму.

В это время в стане его противника к ногам грозного князя бросали вражеские знамена. Каждый из захвативших кидал свой трофей, так что образовалась куча немалая, ибо всех знамен оказалось сорок. А когда наступил черед пана Заглобы, свою добычу он швырнул с таковою силой и шумом, что даже древко треснуло. Завидя это, князь остановил его и спросил:

— Собственными руками ты, сударь, захватил сей знак?

— Служу вашей княжеской милости!

— Ты, как я погляжу, не только Улисс, но и Ахиллес.

— Я простой солдат, под началом Александра Македонского воюющий.

— Поскольку жалованья ты, сударь, не получаешь, скарбник тебе еще двести червонных золотых за столь доблестный подвиг отсчитает.

Пан Заглоба колени князя обнял и сказал:

— Ваше сиятельство! Бóльшая это милость, нежели мужество мое, каковому желал бы я, будучи человеком скромным, не придавать значения вовсе.

Чуть заметная улыбка блуждала на потемневшем лице пана Скшетуского, однако рыцарь помалкивал и даже потом ни князю,

ни кому другому о смятении пана Заглобы перед битвой не рассказал. Пан же Заглоба отошел с миною столь сердитой, что жолнеры из других хоругвей указывали на него и говорили:

— Вот он, который отличился сегодня более прочих.

Наступила ночь. По обоим берегам реки и пруда зажглись тысячи костров, и дымы столбами поднялись к небесам. Усталые солдаты подкреплялись едою, горелкой или воодушевлялись перед завтрашней битвой, вспоминая события нынешней. Громче остальных распространялся пан Заглоба, похваляясь тем, сколь отличился, и тем, сколько бы еще мог отличиться, если бы конь под ним не упнулся.

— Уж вы, судари, знайте,— говорил он, обращаясь к княжеским офицерам и шляхте из хоругви Тышкевича,— что большие сражения для меня не новость, намахался я уже достаточно и в Мульганах, и в Турцах, а то, что в бой нынче не рвался, так потому, что боялся не неприятеля,— ибо не хватало еще хамья этого бояться! — но собственной горячности, ужасно опасаясь, что чересчур распалюся.

— И распалился же, ваша милость.

— И распалился! Спросите Скшетуского! Как увидел я Вершулла, с конем упавшего, никого, думаю, спрашивать не стану, поспкачу на выручку. Еле-еле товарищи меня сдержали.

— Точно! — сказал пан Скшетуский. — И правда, пришлось вашу милость сдерживать.

— Однако,— прервал Карвич,— где же Вершулл?

— Уже в разъезд поехал, угомону просто не знает.

— Послушайте же, судари мои,— продолжал пан Заглоба, недовольный, что его прервали,— как я зная это самое захватил...

— Значит, Вершулл не ранен? — снова спросил Карвич.

— ...Не первым оно было в жизни моей, но ни одно еще мне с таким трудом не доставалось...

— Не ранен, помят только,— сказал пан Азулевич, татарин,— и воды наглотался — он же в пруд головою упал.

— Тогда удивительно, что рыба не сварилась,— в ярости сказал пан Заглоба. — От такой огненной головы вода закипеть могла.

— Что ни говори, а знаменитый он кавалер!

— Не такой уж знаменитый, если довольно было на него полу-Яна. Тыфу ты, судари мои, слова сказать не даете! Могли бы и у меня тоже поучиться, как вражеские знамена захватывать...

Дальнейший разговор был прерван молоденьким паном Аксакком, подошедшим в этот момент к костру.

— Новости принес я вашим милостям! — сказал он звонким, почти детским голосом.

— Мамка пеленки не постирала, кот молоко слопал, и горшок разбился! — буркнул пан Заглоба,

Однако пан Аксак пропустил мимо ушей намеки на свой отроческий возраст и сказал:

— Полуяна огнем припекают...

— То-то собакам гренки будут! — сразу встрял пан Заглоба.

— ...и он дает показания. Переговоры прерваны. Воевода из Брусилова чуть с ума не сходит. Хмель со всем войском идет на помощь Кривоносу.

— Хмель? Ну и что, Хмель! Кто тут вообще про Хмеля думает? Идет Хмель — пиво будет, бочка полушка! Плевать нам на Хмеля! — тараторил пан Заглоба, грозно и горделиво водя очами по присутствующим.

— Идет, значит, Хмель, но Кривонос его ждать не стал, а потому и проиграл...

— Играл дударь, играл — кишки и проиграл...

— Шесть тысяч молодцев уже в Махновке. Ведет их Богун.

— Кто? — вдруг изменившимся голосом спросил Заглоба.

— Богун.

— Не может быть!

— Так Полуян показывает.

— Вот те на! — жалобно воскликнул пан Заглоба. — И скоро они сюда могут быть?

— Через три дня. В любом случае, идучи на битву, спешить они не станут, чтобы коней не загнать.

— Зато я буду спешить, — пробормотал шляхтич. — Ангелы божьи, спасите меня от этого злодея! Я бы не раздумывая отдал свое захваченное знамя, только бы этот буян по дороге шею себе свернул. Срего¹, мы тут не станем засиживаться. Показали Кривоносу, что умеем, а теперь самое время отдохнуть. Я этого Богуну так ненавижу, что без отвращения слышать его бесовского имени не могу. Вот, называется, приехал! Разве же не мог я в Баре отсидеться? Лихо меня сюда принесло...

— Не тревожься, ваша милость, — шепнул Скшетуский, — стыдно оно! Среди нас ты в безопасности.

— Я в безопасности? Ты, сударь, его не знаешь! Он, быть может, сейчас между кострами к нам ползет. — Здесь пан Заглоба беспокойно огляделся. — На тебя он тоже зуб имеет!

— Дай боже нам повстречаться! — сказал пан Скшетуский.

— Ежели сие следует полагать милостью божьей, то я бы предпочел ее не удостоиться. Будучи христианином, я ему все обиды прощу, но при условии, что его за два дня до этого повесят. Я-то ни о чем не тревожусь, но ты, ваша милость, не поверишь, какое небывалое омерзение меня пробирает! Я люблю знать, с кем дело имею: со шляхтичем — так со шляхтичем, с холопом — так с холопом; но это же дьявол во плоти, с которым неизвестно, чего держаться. Отважился я на нештучную с ним проделку, но какие он глаза сделал, когда я ему башку обматы-

¹ Надеюсь (лат.).

вал, этого я вашей милости описать не берусь и до смертного часа помнить буду. Пускай лихо спит, я его будить не собираюсь. Один раз сошло с рук. Вашей же милости скажу, что ты человек неблагодарный и о сердешной нашей не думаешь...

— Это quo modo?

— Потому что,— продолжал Заглоба, отводя рыцаря от коистра,— своему воинскому пылу и отваге потрафляя, воюешь и воюешь, а она там *lascivis*¹ всякий день заливается, тщетно респонса ожидая. Другой бы, имея в сердце истинные чувства и к тоске ее сострадание, чего бы только не придумал, чтобы давно меня отправить.

— Значит, ты в Бар возвратиться хочешь?

— Хоть сегодня, потому как мне ее тоже жаль.

Пан Ян глаза печальные к звездам вознес и сказал:

— Не обвиняй же меня, ваша милость, в лукавстве, ибо бог свидетель, что я куска хлеба в рот не беру, телом усталым ко сну не отхожу, о ней прежде не подумав, и уж в сердце моем никто, кроме нее, резиденции прочней иметь не может. А то, что я вашу милость с ответом не отрядил, так это лишь потому, что сам ехать собирался, дабы любви волю дать и, не откладывая доле, браком вековечным с милой соединиться. И нету таких крыл на свете и полета такого нету, каким бы я туда лететь не желал к сердешной моей...

— Отчего ж не летишь?

— Оттого, что перед битвой поступать мне так не пристало. Я солдат и шляхтич, потому и о долге помнить обязан...

— Но теперь-то битва позади, ерго... можем двинуться хоть сейчас...

Пан Ян вздохнул.

— Завтра ударим на Кривоноса...

— Вот этого я, сударь, не понимаю. Побили вы молодого Кривоноса, пришел старый Кривонос; побьете старого Кривоноса, придет молодой этот (не ко сну будь помянут!)... Богун; побьете его, придет Хмельницкий. Что же, черт побереи! Если так дальше пойдет, тогда тебе, ваша милость, лучше на одной сворке с паном Подбипяткой ходить; простофиля с целомудрием плюс его милость Скшетуский, *summa facit*²: два простофили и целомудрие. Уймись, сударь, не то, ей-богу, я первый княжну подбивать стану, чтобы она тебе рога наставила; ведь там же пан Енджей Потоцкий, как увидит ее, аж искры из ноздрей сыплет: того и гляди, заржет по-лошажьи. Тьфу, дьявольщина! Ежели бы мне какой сопляк говорил, который в битвах не бывал и репутацию завоевать себе хочет, я бы его понял, но ты-то, ваша милость, крови наакался, что волк, а под Махновкой, как мне рассказывали, прикончил не то дракона какого-то адского, не то

¹ слезами (лат.).

² итого (лат.).

людоеда. Юго¹ этим месяцем голубым, что ты, ваша милость, чего-то крутишь или же таково вошел во вкус, что кровь брачному ложу предпочитаешь.

Пан Скшетуский невольно глянул на месяц, плывший по высокому сверкающему небу, точно серебряный кораблик.

— Ошибаешься, сударь, — сказал он, помолчав. — Ни кровью я не упиваюсь, ни репутацию тоже не зарабатываю, а только не пристало мне бросать товарищей в тяжелую минуту, когда хоругвь *пешине ехсерто*² должна быть. В том честь рыцарская, а это дело святое. Что же войны касательно, она наверняка затянется, ибо слишком уж голытьба из грязи в князи полезла; однако, если на помощь Кривоносу идет Хмельницкий, будет передышка. Или Кривонос нам завтра проиграет, или нет. Если проиграет, то с божьей помощью надлежащую науку получит, а нам потом следует идти в места поспокойнее, чтобы тоже отдышаться немного. Что ни говори, уже два месяца мы не спим, не едим, только сражаемся да сражаемся день и ночь, крова над головою не имея, всем капризам стихий подвергаясь. Князь — полководец великий, но и благоразумный. Не пойдет он на Хмельницкого, располагая несколькими тысячами против тьмы. Известно мне также, что двинется он на Збараж, там откормится, солдат новых соберет, шляхта со всей Речи Посполитой к нему сойдется — и лишь тогда только мы пойдем на решающее сражение, так что завтра последний трудовой день, а послезавтра уже смогу я с вашей милостью и с легким сердцем в Бар двинуться. И еще скажу я для успокоения твоего, что Богун этот самый никоим образом к завтраму не успеет и в битве участия не примет, а хоть и примет, я полагаю, что его холопская звезда не только рядом с княжеской, но и рядом с моей, рыцарской, померкнет.

— Он же просто Вельзевул во плоти. Говорил я тебе, что толчей не люблю, но он толчей похуже, хотя, *герето*, не столько страх, сколько омерзение я к нему испытываю. Ладно. Поговорили, и хватит! Завтра, значит, мужикам спины выдубим, а потом ходу в Бар! Ой! Станут же те прелестные глазки сиять, *conspicientes*³ вашу милость! Ой! Будет же это личико пылать! Признаюсь я тебе, сударь, что и меня по ней тоска терзает, ибо я ее, как отец, люблю. И неудивительно. Сынов *legitime natos*⁴ у меня нету, имение далече, то есть аж в Турцах, где поганские комиссары его разворовывают, так что живу я на белом свете сиротой и на старости лет, наверно, к пану Подбипытке в Мышикиши в приживальщики пойду.

— По-другому будет оно, об этом не беспокойся. За то, что ты сделал для нас, не знаю даже, сумеем ли мы сполна благодарностью отплатить.

¹ Клянусь (*лат.*).

² в полном составе (*лат.*).

³ завидев (*лат.*).

⁴ законнорожденных (*лат.*).

Дальнейшему разговору помешал какой-то офицер, спросивший, проходя мимо:

— А кто там такой стоит?

— Вершулл! — воскликнул Скшетуский, узнав его по голосу. — Из разбезда.

— Точно. А сейчас от князя.

— Что нового?

— Завтра битва. Неприятель запруду расширяет, мосты на Стыри и Случи наводит, добраться до нас во что бы то ни стало хочет.

— А князь что на это?

— «Ладно» — говорит!

— И ничего больше?

— Ничего. Мешать не велел. А там топоры аж гудят! До утра будут работать.

— Языка привел?

— Семерых. Все показывают, что о Хмельницком слышали, мол, идет, но еще якобы далеко. Ночь-то какая!

— Да уж светлее светлого! А как ты себя чувствуешь после незадачи сегодняшней?

— Кости болят. Иду благодарить Геркулеса нашего, а потом спать, устал очень. Вздремнуть бы часика два!

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

— Ступай и ты, ваша милость, — сказал пан Скшетуский Заглобе. — Поздно уже, а завтра потрудиться придется.

— А послезавтра ехать, — напомнил пан Заглоба.

Они пошли и, сказав молитву, улеглись у костра. Вскорости костры один за другим стали гаснуть. Лагерь покрыла темнота, и только месяц бросал на него серебряные свои лучи, освещая то тут, то там спящих жолнеров. Тишину нарушал разве что всеобщий могучий храп да перекличка часовых, стерегущих лагерь.

Но сон не надолго смежил усталые веки солдат. Едва рассветло и поблекли ночные тени, по всему лагерю трубы заиграли побудку.

А через какой-нибудь час князь, к великому удивлению своих рыцарей, отступал по всей линии.

ГЛАВА XXXII

Но это было отступление льва, готовившего место для прыжка.

Князь пустил Кривоноса за переправу намеренно, чтобы еще большее нанести ему поражение. Едва началась битва, он стегнул коня и поскакал прочь от противника, что видя, низовые сломали строй, дабы догнать его и отрезать путь к отступлению. Тогда князь внезапно поворотил и всю кавалерию ударил по ним

столь сокрушительно, что те и на мгновение даже не смогли оказать сопротивления. Так что гнали их с милю до переправы, потом через мосты и дамбы, потом полмили до самого до табора, рубя и убивая без пощады, а героем дня на этот раз стал шестнадцатилетний пан Аксак, первым ударивший на врага и посеявший в его рядах панику. Только со своими солдатами, умелыми и вымуштрованными, мог решиться князь на подобную проделку, изображая притворное отступление, которое в любом другом войске могло бы превратиться в настоящее. Так что второй день куда более сокрушительным наказал Кривоноса поражением. Атаман потерял все полевые орудия, множество знамен, а среди них и несколько коронных, захваченных запорожцами под Корсунем. Поспей пехота Корицкого, Осинского и пушки Вурцеля за конницей, заодно был бы взят и табор. Но прежде чем они подошли, настала ночь, и неприятель тем временем значительно отдалился, поэтому настичь его не было никакой возможности. Тем не менее Зацвилюховский половину табора все же захватил, а в ней несметные запасы амуниции и провианта. Толпа уже дважды бросалась на Кривоноса, намереваясь выдать его князю, и только обещание незамедлительно вернуться к Хмельницкому позволило ему вырваться из смертоносных рук. Потерявший войско, побитый, павший духом, бежал он без оглядки с оставшейся частью табора, пока не очутился в Махновке, куда явившись, Хмельницкий в припадке ярости велел его за шею к пушке цепью приковать.

И лишь когда первый гнев улегся, вспомнил гетман запорожский, что злосчастный Кривонос как-никак кровью целую Вольнь залил, взял Полонное, тысячи шляхетских душ, оставив тела без погребения, на тот свет отправил и до тех пор был непобедим, покуда с Иеремией не повстречался. За эти прошлые заслуги сжалился над ним гетман запорожский и не только от пушки велел немедленно отцепить, но допустил его опять к командованию и на Подолье на новые грабежи и душегубство послал.

А князь тем временем оповестил свое войско о долгожданном отдыхе. В последней битве оно тоже понесло значительные потери, особенно во время конных штурмов табора, ибо тут казаки оборонялись сколь упорно, столь и умело. Полегло там около пятисот человек. Полковник Мокрский, будучи тяжело ранен, вскоре испустил дух; подстрелены были, хотя и не опасно, пан Кушель, Поляновский и молодой пан Аксак; у пана же Заглюбы, каковой, попривыкнув к толчее, вместе с прочими показал себя удалцом и дважды был цепом ударен, разболелся крестец, а посему, не в состоянии шевельнуться, он на повозке Скшетуского пластом лежал.

Так что обстоятельства расстроили их поездку в Бар, и уехать сразу же они не смогли, тем более что князь послал Скшетуцкого во главе нескольких хоругвей к самому Заславу, дабы

истребил собравшиеся там скопища черни. Рыцарь, ни слова князю про Бар не сказав, в наезд отправился и целых пять дней жег и побивал, покуда округу от шаек не очистил.

В конце концов и его люди вымотались от непрерывных боев, далеких походов, засад, непрестанного житья в боевой готовности, и он решил возвратиться к князю, который, по его сведениям, пошел к Тарнополю.

В канун возвращения, остановившись в Сухоринцах на Хоморе, пан Ян расквартировал хоругви по всей деревне, и сам тоже стал постоем в крестьянской хате. Будучи измучен невзгодами и трудностями, он тотчас же заснул и проспал каменным сном всю ночь.

Под утро, то ли в полусне, то ли впросонках, стало ему что-то грезиться и мерещиться. Странные картины начали являться Скшетускому. Сперва ему показалось, что он в Лубнах, что никуда из них не уезжал, что находится в цейхгаузе, в своей комнате, а Редзян, как всегда по утрам, возится с его одеждой и готовит ее к пробуждению хозяина.

Явь, однако, потихоньку стала разгонять грезы. Рыцарь вспомнил, что находится в Сухоринцах, а не в Лубнах, и только фигура слуги не растаивала в сумраке и неотвязно чудилась пану Скшетускому сидевшей под окном на скамейке и смазывающей ремешки панциря, каковые от жары очень и очень скукожились.

Решив, что сонное видение попросту не желает отвязаться, пан Скшетуский снова закрыл глаза.

Спустя минуту он их открыл. Редзян по-прежнему сидел у окна.

— Редзян! — крикнул пан Ян. — Ты ли это или твой дух? А парнишка, испугавшись внезапного окрика, панцирь на пол со стуком уронил, руки раскинул и сказал:

— О господи! С чего это его милость так кричит? Какой там еще дух? Живой я и здоровый.

— И вернулся?

— А разве ваша милость меня выгонял?

— Иди сюда, дай же я тебя обниму!

Верный слуга бросился к своему господину и обнял его колени, пан же Скшетуский в великой радости целовал его в голову и повторял:

— Живой! Живой!

— О ваша милость! Слов я от радости не нахожу, вашу милость в здравии видя... Господи! Ваша милость так крикнула, что я прямо панцирь уронил... Ремни-то вон как поскрутились... Видать, никакого услужения для вашей милости не было... Слава же тебе, боже, слава... О, мой хозяйнышка дорогой!

— Когда ты приехал?

— А нынче в ночь.

— Почему же не разбудил?

— Ой, будить еще! С утра вот пришел одежду взять...

— Откуда же ты явился?

— А из Гущи.

— Что ты там делал? Что с тобою было? Говори, рассказывай!

— Так что, видите, ваша милость, приехали казаки в Гущу пана воеводу брацлавского жечь и грабить, а я там еще раньше их оказался, потому что приехал с отцом Патронием Лашкой, который меня от Хмельницкого в Гущу-то увез; его же к Хмельницкому пан воевода с письмами посылал. Вот и поехал я с ним обратно, а теперь вот казаки Гущу сожгли и отца Патрония за его добросердие к ним убили, что наверняка бы и с паном воеводой случилось, ежели бы он там находился, хотя он тоже благочестивый и великий для них благодетель...

— Говори же толком и не путай, ничего понять у тебя невозможно. Значит, ты у казаков, у Хмеля был, что ли?

— Ясное дело, у казаков. Ведь они как захватили меня в Чигирине, так за своего и считали. Да вы одевайтесь, пожалста... Господи, какое же все сношенное, прямо и надеть нечего! Ах чтоб тебя!.. Мой сударь, уж, пожалста, пусть ваша милость не сердится, что я письма, какие вы из Кудака писали, в Разлогах не вручил, у меня же их злодей Богун отнял, и, ежели бы не толстый шляхтич тот, я бы живота даже лишился.

— Знаю, знаю. Нет на тебе вины. А толстый шляхтич тот сейчас в обозе. Он мне рассказал, как все произошло. Он и панну у Богуну выкрал, и теперь она в добром здравии в Баре пребывает.

— О! Тогда слава богу! Я ведь тоже знал, что она Богуну не досталась. Выходит, и свадьба не за горами.

— Похоже, что так. Отсюда мы, согласно приказу, пойдем сейчас в Тарнополь, а оттуда в Бар.

— Слава богу всемогущему. Уж он наверняка повесится, Богун-то, ему же и чертовка нагадала, что ту, о которой мечтает, ему не видать и что она ляху, мол, достанется, а лях этот, надо думать, ваша милость.

— А это ты откуда знаешь?

— А слышал. Видно, придется мне по порядку все рассказать, а его милость пускай тем временем одевается, ведь уже и завтрак для нас варят. Как отплыл я, значит, на той чайке из Кудака, так плыли мы ужас как долго, потому что вверх по течению, а еще — сломалась у нас чайка, и чинить пришлось. Плыдем мы, значит, и плывем, сударь мой, плывем...

— Плывете, плывете!.. — потерял терпение пан Ян.

— И приплыли в Чигирин. А что там со мною было, про это уже ваша милость знает.

— Про это я уже знаю.

— Лежу я, значит, в конюшне, и в глазах у меня темно. А тут сразу, как Богун ускакал, подходит Хмельницкий с гро-

мадной армией запорожской. А так как до этого господин великий гетман наказал чигиринцев за благорасположение к запорожцам и уйма народу в городе была перебита да поранена, казаки и подумали, что я тоже из тех, а потому не только не добились меня, но еще и позаботились, лечить стали и татарам взять не позволили, хотя они им что хошь дозволяют. Пришедши я тогда в сознание и думаю: что же делать? А злодеи эти меж тем к Корсуню пошли и там панов гетманов побили. О мой любезный сударь, что я повидал, того не рассказать! Они ж ничего не скрывали, бессовестные, да еще и за своего меня держали. А я все думаю: бежать или не бежать? Да только вижу, что правильней оно остаться, пока оказии подходящей не подвернется. А как начали свозить из-под Корсуни ковры, сбруи, серебро, поставцы, сокровища... Ой-ей, мой сударь! У меня чуть сердце не лопнуло и глаза прямо на лоб полезли. Ведь эти душегубы шесть ложек серебряных за талер, а потом даже за кварту водки отдавали, пуговицу же золотую, или там застужку, или султан на шапку можно было и за косушку выменять. Тут, значит, я думаю: разве можно теряться?.. Попользуюсь и я! Ежели приведет бог когда-нибудь в Редзяны вернуться, на Подлясье, где родители проживают, привезу им, ведь у них там тяжба с Яворскими уже пятьдесят лет тянется, а продолжать ее не на что. Так что накупил я, мой сударь, столько всякого добра, что на двух коней навьючивать пришлось, полагая это себе утешением в горестях, потому что я по сударю моему жуть как тосковал.

— Ой, Редзян, ты уж своего не упустишь! Везде свою корысть помнишь.

— Если господь меня дарит, что же в том худого? Я ведь не краду, а что мне ваша милость дали кошелек на дорогу в Разлоги, так вот он! Мое дело вернуть, раз я до Разлогов не доехал.

Говоря это, Редзян отстегнул пояс, достал кошель и положил его перед рыцарем, на что пан Скшетуский улыбнулся и сказал:

— Раз тебе так везло, ты, надо думать, и меня побогаче, да только уж держи и этот кошель.

— Благодарствую покорно вашей милости. Кое-что есть — бог помог! И родители будут рады, и бабушка девяностолетний. А уж Яворских-то они наверняка до последнего гроша засудят и по миру пустят. Вашей милости тоже польза от этого — я ведь про пояс тот крапчатый, который мне ваша милость в Кудаке посулил, напоминать не стану, хоть он мне и правился очень.

— Уже ведь и напомнил! Ах ты, шельмец! Суций *Iurus insatiabilis!*¹ Не знаю я, где он, тот пояс, но раз обещал, подарю, не тот, так другой.

— Покорно благодарствую вашей милости! — сказал Редзян, обнимая колени хозяина.

¹ волк ненасытный (лат.).

— Довольно об этом! Рассказывай же, что с тобой потом было.

— Бог, значит, явил мне милость попользоваться от разбойников. Ужасно только я страдал, не зная, что приключилось сударю моему и что Богун с панною сделал. А тут вдруг говорят, что он в Черкассах, едва живой, князьими посеченный, лежит. Я — в Черкасы: а вы ж знаете, что я и пластырь приложить умею, и раны обихаживать. А уж они меня насчет этого знали. Так что меня туда Донец, полковник, послал и сам со мною поехал душегуба этого выхаживать. Тут у меня от сердца отлегло, я ведь дознался, что наша панна с тем шляхтичем сбежала. Пошел я, значит, к Богуну. Узнает, думаю, или не узнает? А он в горячке лежал, так что сперва не узнал. Потом, конечно, узнал и говорит: «Ведь ты с письмом в Разлоги ехал?» Я отвечаю: «Я». А он: «Значит, тебя я в Чигирине посек?» — «Точно так». — «Ты, значит, — говорит он, — служишь пану Скшетускому?» Тут уж я давай врать. «Никому я уже, говорю, не служу. Обиды одни, а не радости на службе этой мне были, так что предпочел я на волю к казакам уйти, а за вашей милостью уже десять дней, говорю, присматриваю и исцеляю успешно!» Тут он поверил и в великую со мной доверительность вошел. От него я и узнал, что Разлоги сожжены, что он двоих князей убил, а двое оставшихся, узнав про то, хотели сперва идти к нашему князю, но, не имея к тому возможности, в войско литовское убежали. Но хуже всего — это когда он про того толстого шляхтича вспоминал, таково он тогда, скажу я вашей милости, зубами скрежетал, словно бы кто орехи грыз.

— Долго он болел?

— Долго, долго. Раны на нем то заживали, то снова открывались: ведь он же их первоначально не лечил как надо. Мало я ночей возле него просидел (чтоб его порубали!), словно возле кого достойного! А надо сказать вашей милости, что я спасением души поклялся за обиду свою ему отплатить, и это я, мой сударь, исполню, хоть бы целую жизнь пришлось его выслеживать, потому как он меня, безвинного, оскорбил и поранил, точно собаку какую, а я ведь не хам небось. Уж доведется ему от моей руки погибнуть, разве что его прежде кто другой прикончит. И еще скажу я вашей милости, что сто раз была у меня возможность, ведь часто возле него, кроме меня, никого не было. Служу, бывало, и думаю, не пырнуть ли? Да только совестно было убивать на одре лежащего.

— Весьма похвально с твоей стороны, что ты его *aegrotum et inermem*¹ не убил. Холопский это был бы поступок, не шляхетский.

— То-то и оно, ваша милость! Я, знаете, тоже так решил. Еще и вспомнил, что, когда родители меня напутствовали,

¹ больного и безоружного (лат.).

дедушка тоже, значит, перекрестил меня и сказал: «Помни, дуrolом, что ты шляхтич, и амбицию имей, служи верно, а помыкать собою никому не позволяй». Сказал он еще, что, когда шляхтич по-холопски поступает, господь наш Иисус плачет. А я назади-ние запомнил и всегда ему следую. Так что оказиями пришлось пренебречь. А доверие меж нами все больше! Бывало, спрашивает он меня: «Чем я тебе, мол, отплачу?» А я на это: «Чем, ваша милость, пожелаете». И, не могу обижаться, одарил он меня щедро, а я взял, потому что опять же рассудил так: зачем в разбойничьих руках оставлять-то? А на него глядя, и другие меня тоже одаряли, потому что, скажу я вашей милости, там никого так не любят, как его, и низовые, и чернь, хотя во всей Речи Посполитой не найдется шляхтича, который бы таково чернь, как он, презирал...

Тут Редзян принялся головою качать, словно бы что-то вспоминая и чему-то удивляясь, а спустя минуту продолжил:

— Чудной это человек, и надобно признаться, что повадка у него как есть шляхетская. А уж панну он любит! Ой любит! Святый боже! Чуть выздоровел, сразу к нему Донцова сестра гадать пришла. И нагадала, да только ничего путного. Бесстыжая она дылда, с нечистым якшается... Но девка ядреная. Смеется, словно кобыла на лугу ржет, только зубищи белые скалит, а здоровенная такая, что панцирь разорвать может, а идет когда, земля прямо трясется. И, видать, попущением божьим по душе я ей пришелся, наружность ей моя приглянулась. Так она, бывало, мимо не пройдет, чтобы за шею меня или за рукав не потянуть или не пихнуть, а иногда прямо так и говорит: «Пошли!» А я боюсь, как бы нечистый мне на стороне где-нибудь шею не свернул, ведь тогда все, что я собрал, пропадет сразу. Вот я ей и отвечаю: «Мало тебе других!» А она: «Приглянулся ты мне, хотя и дитя! Приглянулся мне!» — «Пошла прочь, кобыла!» А она опять за свое: «Приглянулся мне! Приглянулся мне!»

— И ты видал ворожбу?

— Видал, слышал. Дым какой-то валит, шип, визг, тени какие-то, прямо ужас берет. Она в середке стоит, брови черные насупит и повторяет: «Лях при ней! Лях при ней! Чилу! Хуку-чиху!.. Лях при ней!» Или пшеницы на сито насыплет и глядит, а зерна, как мураши, шевелятся, а она опять: «Чилу! Хуку! Чилу! Лях при ней!» Ой, мой сударь! Не будь он таковой негодяй, жалко было бы и глядеть на его отчаяние после ворожбы каждой. Поблуднеет, бывало, как полотно, навзничь упадет, руки над головою заломит и голосит, и скулит, и умоляет, и прощения у барышни просит. За то, мол, что насильником в Разлоги явился, что братьев ее перебил. «Где ты, зозуля? Где ты, ненаглядная? — говорит. — Я бы тебя на руках носил, а теперь не жизнь без тебя!.. Уж я тебя, — причитает, — пальцем не трону, рабом

твоим стану, лишь бы только глядеть на тебя!» Или же пана Заглобу вспомнит — и зубами заскрежещет, и ложе кусает, покамест сон его не сморит. Только он еще и во сне стонет да вздыхает.

— Значит, она ему ни разу удачу не нагадала?

— Что потом было, не знаю, потому как он выздоровел, а я от него отцепился. Приехал ксендз Лашко, и Богун меня в благодарность с ним в Гуцу отпустил. Они там, лиходеи, знали, что у меня из разного добра кое-что имеется, да и я тоже не скрывал, что еду родителям вспомоществовать.

— И не ограбили тебя?

— Может бы, и ограбили, но, по счастью, татар там не было, а казаки из страха перед Богуном не посмели. К тому же они меня вовсе за своего держали. Ведь мне сам Хмельницкий повелел слушать и доносить, что у воеводы брацлавского будет говорить, если какие господа съедутся... Чтоб он палачу достался! Приехал я, значит, в Гуцу, а тут подошли передовые отряды Кривоноса и отца Лашка убили, а я половину добра своего закопал, а с половиной сюда сбежал, узнав, что ваша милость бьет ихних возле Заслава. Хвала господу, что я вашу милость в добром здравии и расположении духа застал и что свадьба вашей милости близко... Это уж всему худому конец настанет. Говорил я злодеям, которые на князя, господина нашего, шли, что обратно не вернутся. Получили теперь! Может, и война тоже скоро кончится?

— Где там! Теперь с самим Хмельницким заваривается.

— А ваша милость после свадьбы будет воевать?

— А ты думал, я труса праздновать после свадьбы буду?

— Эй, не думал! Знаю я, что если кто и будет праздновать, так не ваша милость; я к слову спросил, потому как отвезу вот родителям, что накопил, и тоже с вашей милостью пойти хочу. Вдруг да господь мне за обиду мою с Богуном расквитаться поможет. Ведь если вероломно не пристало, то где же я его найду, как не на поле брани. Он прятаться не станет...

— Неужто ты такой завзятый?

— Каждый пускай при своем остается. А я раз для себя решил, так и к туркам за ним поехать готов. Оно теперь иначе и быть не может. А сейчас я с вашей милостью до Тарнополя поеду, а потом — на свадьбу. Только зачем ваша милость в Бар через Тарнополь едет? Оно же ведь не по дороге.

— Затем, что хоругви надо отвести.

— Понятно, сударь мой.

— А сейчас неси поесть чего-нибудь, — сказал пан Скшетуский.

— Я уж и то думаю, живот, он всему основа.

— После завтрака сразу же выступим.

— Оно и слава богу, хотя лошадки мои заезжены страшно.

— Я тебе заводного дать велю. На нем теперь ездить будешь.

— Покорнейше благодарю вашу милость! — сказал Редзян, улыбаясь от удовольствия, что — за кошельком и крапчатым поясом — уже третий подарок получает.

ГЛАВА XXXIII

Однако ехал пан Скшетуский в челе княжеских хоругвей не в Тарнополь, а в Збараж, потому что пришел приказ идти теперь туда, и по дороге рассказывал верному слуге свои злоключения: как в плен на Сечи был схвачен, сколько в неволе пробыл, сколько пришлось неприятностей хлебнуть и как Хмельницкий отпустил его. Хотя повозок и клади с ними не было, шли не быстро, потому что путь их лежал по земле столь разоренной, что пропитание для людей и лошадей приходилось раздобывать с превеликим трудом. Кое-где встречались им толпы обездоленных людей, как правило, женщин с детьми, моливших господа о смерти или даже о неволе татарской, ибо там хотя бы есть давали. А была, между прочим, пора жатвы в изобильной этой, млеком и медом текущей земле, но Кривоносовы разъезды уничтожили все, что можно было уничтожить, и уцелевшие жители ели древесную кору. Только на подходах к Ямполью рыцари вступили в край, войною не столь еще разоренный, и, располагая теперь сносными привалами с достаточным провиантом, пошли быстрыми переходами на Збараж, до которого через пять дней после выступления из Сухоринцев и добрались.

В Збараже съезд был куда как знатный. Не только князь Иеремия остановился там со всем войском, вообще воинства и шляхты съехалось немало. Война считалась само собою разумеющимся событием, о ней только и говорили; город и окрестности кишели вооруженными людьми. Мирная партия в Варшаве, поддерживаемая в своих намерениях брацлавским воеводою паном Киселем, не отказалась, правда, пока что от переговоров и по-прежнему полагала, что с их помощью возможно будет утихомирить бурю, но все же поняла, что переговоры имеют смысл только при наличии мощной армии. Так что на конвокационном сейме предостаточно было громов и воинственных речей, обычно предшествующих грозам. Было объявлено о всенародном ополчении, стягивались кварталовые войска, и, хотя канцлер с региментариями пока еще верили в мирный исход, тем не менее шляхетские души были преисполнены ратного пыла. Разгромы, учиненные Вишневецким, распалили воображение. Умы были охвачены жаждой возмездия холопам и желанием отомстить за Желтые Воды, за Корсунь, за кровь многих тысяч, мученической смертью погибших, за позор и унижения... Имя грозного князя заблестало солнцеподобным сверканием славы, оно было у всех на устах и

во всех сердцах, а купно с именем этим разносилось от берегов Балтики аж до самого до Дикого Поля зловещее слово: война!

Война! Война! Предвещали ее и знамения в небесах, и возбужденные лица человеческие, и пересверк мечей, и почамы собачий вой возле хат, и ржание коней, чужавших кровь. Война! Дворянство по всем землям, поветам, усадьбам и мелкопоместьям извлекало из чуланов старые мечи и доспехи, молодежь распевала песни об Иеремии, а женщины молились у алтарей. И поднялись вооруженные человеки от Пруссии до Лифляндии, от Великой Польши и многолюдной Мазовии аж — гей! — до божьих верхов татранских и темных чащоб бескидских.

Война разумелась сама собою. Разбойное движение Запорожья и народное восстание украинской черни нуждались в каких-то более высоких идеалах, чем резня и разбой, чем борьба с панщиной и магнатскими латифундиями. Это хорошо понял Хмельницкий и, воспользовавшись тлеющим недовольством, обуюдными злоупотреблениями и утеснениями, каковых в тогдашние суровые времена всегда хватало, социальную борьбу обратил в религиозную, раздул народный фанатизм и с самого начала бездну меж обоими лагерями развернул — пропасть, которую не пергаменты и переговоры, но кровь человеческая могла только заполнить.

Однако всею душою жажда переговоров, только себя и собственные войска хотел он спасти. А потом?.. Про то, чему быть потом, гетман запорожский не думал, в будущее не вглядывался и не беспокоивался им.

Но не знал он, однако, что эта разверзтая его усилиями пропасть столь бездонна, что никаким переговорам не заровнять ее даже на то время, какое ему, Хмельницкому, было необходимо. Незаурядный политик не угадал, что кровавых плодов своей деятельности вкусить в покое он не сможет.

А ведь нетрудно было предвидеть, что, когда противу друга друга встанут вооруженные тьмы, пергаментом для составления договорных грамот станут поля, а перьями — мечи и копья.

Поэтому тогдашние события неминуемо катились к войне. Даже люди неискушенные инстинктивно угадывали, что иначе оно быть не может, и по всей Речи Посполитой все больше взоров обращалось к Иеремии, провозгласившему с самого начала войну не на жизнь, а на смерть. В тени могучей этой фигуры все более тускнели канцлер, и воевода брацлавский, и региментарии, а среди последних даже могучий князь Доминик, верховным назначенный командующим. Их авторитет и значение падали, слабело послушание власти, которую они исполняли. Войску и шляхте велено было стягиваться ко Львову, а затем к Глинянам, и, действительно, отовсюду собирались все более многочисленные рати. Подходила кварта, за нею — землевладельцы соседних воеводств. Но тут уже и новые поветрия стали угрожать авторитету Речи Посполитой. Не только менее дисциплинированные хорутви

народного ополчения, не только господские дружины, но и регулярные квартовые войны, явившись к месту сбора, отказывались повиноваться региментариям и, вопреки приказу, отправлялись в Збараж, дабы служить под началом Иеремии. Таково поступили воеводства Киевское и Брацлавское, шляхта из которых в основном уже и так служила под командованием Иеремии; к нему пошли русские, любельские, за ними — коронные войска. И можно было теперь с уверенностью сказать, что и прочие последуют их примеру.

Обойденный и умышленно забытый Иеремия волею обстоятельств становился гетманом и верховным главнокомандующим всех сил Речи Посполитой. Шляхта и войско, преданные ему душою и телом, только ждали его знака. Власть, война, мир, будущее Речи Посполитой оказались в его руках.

И он продолжал с каждым днем набирать силы, ибо всякий день валом валили к нему новые хоругви, и столь усилился, что тень его падала уже не только на канцлера и региментариев, но и на сенат, на Варшаву, на всю Речь Посполитую.

В недоброжелательных к нему, близких канцлеру кругах Варшавы и в региментарском лагере, в окружении князя Доминика и у воеводы брацлавского стали поговаривать о непомерных его амбициях и дерзости, стали вспоминать дело о Гадяче, когда дерзкий князь явился в Варшаву с четырьмя тысячами людей и, вошед в сенат, готов был изрубить всех, не исключая самого короля.

«Чего же ждать от такого человека и каким он, должно быть, сделался теперь, — говорили его противники, — после одного ксенофонтова похода из-за Днепра, после стольких ратных удач и стольких викторий, столь непомерно его возвеличивших? Какую же непростительную гордыню должен был вселить в него фавор от солдатни и шляхты? Кто теперь ему противостоять может? Что ждет Речь Посполитую, когда один из ее граждан становится столь могуществен, что может топтать волю сената и отнимать власть у назначенных этой самой Речью Посполитой вождей? Ужели он и в самом деле королевича Карла короновать вознамерился? Марий-то он Марий, разве кто возражает, но дай боже, чтобы не оказался он Марком Кориоланом или Катилиною, ибо спесью и амбицией обоим не уступает!»

Так говорили в Варшаве и в региментарских кругах, особенно же у князя Доминика, соперничество Иеремии с которым немалый уже вред нанесло Речи Посполитой. А оный Марий сидел меж тем в Збараже нахмуренный, непостижимый. Недавние победы не распогодили его лица. Когда, бывало, какая-нибудь новая хоругвь, квартовая или поветовая ополченская, приходила в Збараж, он выезжал навстречу, оценивал ее взглядом и тотчас погружался в свои думы. Воодушевленные солдаты тянулись к нему, падали ниц, взывая: «Приветствуем тебя, вождь непобедимый! Геркулес славянский! На смерть пойдем, только прика-

жа!» — он же отвечал: «Низко кланяюсь вашим милостям! Под Иисусовым все мы началом, а мой чин слишком ничтожен, чтобы распорядителем жизни ваших милостей быть!» — и возвращался к себе, и от людей запырлся, в одиночестве единоборствуя с мыслями своими. Так продолжалось целыми днями. А город меж тем кишмя кишел солдатами все новых и новых отрядов. Ополченцы с утра до ночи бражничали, слоняясь по улицам, затеывая скандалы и свары с офицерами иноземных подразделений. Регулярный же солдат, чувствуя, что бразды дисциплины ослабли, тоже предавался вину, обжорству и игре в зернь. Всякий день появлялись новые гости, а значит, устраивались новые пирушки и гульба с горожанками. Войска заполнили все улицы; стояли они и по окрестным деревням; а что коней, оружия, одежд, плюмажей, кольчуг, мисюрских шапок, мундиров всевозможных воеводств! Прямо какая-то ярмарка небывалая, куда половина Речи Посполитой понаехала! Вот летит карета господская, золоченая или пурпурная, в упряжке шесть или восемь коней с плюмажами, лакеи на запятках в венгерском или немецком плаще, придворные янычары, татары, казаки. А вон опять же несколько панцирных, но без панцирей своих, сверкая шелками да бархатами, расталкивают толпу анатолийскими или персидскими скакунами. Султаны на шапках у них и застежки плащей мерцают брызгами бриллиантов и рубинов, и всяк уступает им дорогу из уважения к почетнейшему полку. А вон у того палисадика похаживает офицер лановой пехоты в новешеньком сияющем колете, с длинною тростью в руке, с горделивостью в лице, но с заурядным сердцем в груди. Там и сям посверкивают гребенчатые шлемы драгун, шляпы немецких пехотинцев, мелькают квадратные фуражки ополченцев, башлыки, рысьи шанки. Челядь в разнообразной униформе, прислуживая, вертится, точно кипятком ошпаренная. Тут улица забита возами, там — телеги только еще въезжают, душераздирающе скрипя, всюду гвалт, окрики «поберегись!», ругня слуг, ссоры, драки, лошадиное ржанье. Улочки поменьше так завалены сеном да соломою, что и протиснуться по ним невозможно.

А среди всех этих роскошных одежд, всеми цветами радуги играющих, среди шелков, бархатов, камки, алтабасов и сверканья бриллиантов как же странно выглядят полки Вишневецкого, измотанные, обносившиеся, исхудалые, в заржавелых панцирях, выгоревшей форме и заношенных мундирал! Жолнеры самых привилегированных подразделений выглядят хуже нищих, хуже челяди иных полков; однако все благоговеют перед сей ржавчиной и затрапезным видом, ибо это печати геройства. Война, недобрая мать, детей своих, точно Сатурн, пожирает, а кого не пожрет, того, словно пес кости, изложет. Выгоревшие эти мундиры — суть дожди ночные, суть походы среди бушующих стихий или в солнечном зное; ржавчина эта на железе — кровь нестертая: может, своя, может, вражеская, а может — та

и другая. Так что вишневичане повсюду тон задают. Они по шинкам да постоям только и рассказывают, а прочие только и знают, что слушают. И бывает, что у кого-нибудь из слушателей аж комок к горлу подступит, хлопнет человек себя руками по бедрам и воскликнет: «Прах вас бери, судари любезные! Вы жь дьяволы — не люди!» А вишневичане: «Не наша в том заслуга, но такового военачальника, равного которому не видал еще *orbis terrarum*». И все пирушки кончаются возгласами: «*Vivat Иеремия! Vivat князь-воевода! Вождям вождь п гетманам гетман!..*»

Шляхта, как захмелеет, на улицы выскакивает да из самопалов и мушкетов палит, а поскольку вишневичане предупреждают, что гульба только до времени, что, мол, дай срок — и князь возьмет всех в руки и такую дисциплину заведет, о какой, мол, вы еще и не слыхивали, — они еще более радуются свободной минуте. «*Gaudeamus*¹, покуда можно! — кричат они. — Настанет время послушания — слушаться будем, ибо есть кого, ибо он не «детына», не «латына», не «перына!»» А злополучному князю Доминику всегда более прочих достается, потому что смальвуют его языки солдатские в муку. Рассказывают, что Доминик по целым дням молится, а по вечерам в стакан глядит, и как на живот себе сплюнет, так один глаз приоткроет и спрашивает: «Ась?» Рассказывают еще, что на ночь он послабляющую траву принимает, а сражений видал ровно столько, сколько изображено у него на шпалерах, голландским мапером тканых. Тут его сторону не держал никто, тут его не было жаль никому, а более других подъядали его те, кто в явной с воинской дисциплиной находились коллизии.

Но даже и этих последних превосходил в ехидстве и подковырках пан Заглоба. От болей в крестце он уже вылечился, и теперь оказался в своей стихии. Сколько он поедал и выпивал — напрасно и считать, ибо это превосходило людское представление. За ним ходили и вокруг него толпились кучки солдат и шляхты, а Заглоба разглагольствовал, рассказывал и издевался над теми, кто его потчевал. Ко всему он еще и поглядывал свысока, как глядит бывалый солдат на тех, кто пока только собирается на войну, и с высот своего превосходства вещал:

— Столько же пистолеты ваших милостей войны знают, сколько монашки мужчин; одежда на вас свежая и лавандой надушенная, однако же, хоть оно и превосходный запах, я на всякий случай в первой битве постараюсь от ваших милостей с наветренной стороны держаться. Ой! Кто чеснока воинского не нюхал, не знает, какая оным слеза вышибается! Нет, не принесет женка с утра пива подогретого или полевки винной. Дудки! Похудеют животы ваших милостей, высохнете вы, как творог на солнце. Уж поверьте мне! Опыт! Опыт — всему основа! Да,

¹ Возрадуемтесь (*лат.*).

бывали мы в разных переделках! Не одно знамечко захватили! Но вот тут должен я заметить вашим милостям, что никакое другое мне так тяжело не досталось, как то — под Староконстантиновом. Черти бы побрали запорожцев этих! Семь потов, доложу я вам, милостивые государи, с меня сошло, прежде чем я за древко схватился. Спросите пана Скшетуского, того самого, который Бурдабута прикончил; он все это собственными глазами видел и просто восхищался. Да и теперь, скажем, крикните у казака над ухом: «Заглоба!» — увидите, что будет. Э! Что говорить-то с вашими милостями! Вы же только *puscas*¹ на стенах мухойкой били, а более никого.

— Как же оно было? Как же? — спрашивала молодежь.

— А вы, судари мои, хотите, видно, чтобы у меня язык от разговоров перегрелся, словно ось тележная?

— Так смочить надобно! Вина сюда! — восклицала шляхта.

— Разве что! — отвечал пан Заглоба и, довольный, что напел благодарных слушателей, рассказывал все *ab ovo*², от путешествия в Галату и побега из Разлогов аж до захвата знамени под Староконстантиновом. Они же слушали с разинутыми ртами, разве что ворча по временам, когда, прославляя собственную удаль, он чересчур насмеялся над их неопытностью, но всякий день все равно приглашали и поили на новой какой-нибудь квартире.

Вот как в Збараже развлекались весело и шумно, а старый Зацвилюховский и прочие серьезные люди удивлялись, отчего князь так долго снисходителствует к такому беспутству. Он же безвыходно находился у себя, видно намеренно попустительствуя войнам, дабы перед грядущими сражениями вкусили всяческих удовольствий. Тем временем приехал Скшетуский и сразу словно в водоворот окунулся, словно бы в кипяток какой. Хотелось тоже и ему досугом в обществе друзей своих воспользоваться, но куда больше хотелось ему в Бар, к возлюбленной, поехать и все былые горести, все опасения и терзания в ее сладостных объятиях забыть. Посему, не мешкая, пошел он к князю, чтобы отчитаться о походе к Заславу и получить разрешение на поездку.

Князя нашел он изменившимся до неузнаваемости. Скшетуский прямо ужаснулся виду его, сам себя в глубине души вопрошая: «Тот ли это вождь, коего я под Махновкой и Староконстантиновом зрел?» — потому что перед ним стоял человек, согнувшийся под бременем забот, со впалыми глазницами и запекшимися губами, словно бы тяжкою какой-то внутреннею болезнью снедаемый. Спрошенный о здоровье, князь коротко и сухо ответил, что здоров; рыцарь же более спрашивать не посмел. Поэтому, отчитавшись о походе, он сразу же попросил

¹ мух (лат.).

² с самого начала (лат.).

разрешения оставить хоругвь на два месяца, чтобы обвенчаться и отвезти жену в Скшетушев.

Услыхав это, князь словно бы ото сна пробудился. Присущая ему доброта осветила угрюмое до сих пор лицо, и, прижавши Скшетуского к груди, он сказал:

— Конец, значит, муче твоей. Поезжай, поезжай! Да благословит тебя бог! Сам бы я хотел быть на твоей свадьбе, ибо и у княжны, как у дочери Василя Курцевича, и у тебя, как у друга, в долгу, но в нынешние времена мне даже и думать нельзя о поездке. Когда ты отбыть собираешься?

— Да хоть сегодня, ваша княжеская милость!

— Тогда — лучше завтра. Одному ехать не следует. Я поплю с тобою триста Вершулловых татар, чтобы довести ее в безопасности. С ними быстрее всего доедешь, а понадобятся они тебе, потому что шайки вольницы повсюду рыщут. Дам я тебе и письмо к пану Енджею Потоцкому, но пока напишу, пока придут татары, пока ты, наконец, отправишься, вечер утром обернется.

— Как ваша княжеская милость прикажет. Еще смею просить, чтобы Володыёвский и Подбпятка со мною поехали тоже.

— Пожалуй. Приходи завтра под благословение и попрощаться. Хочется мне и твоей княжне какой-нибудь подарок послать. Благородная это кровь. Будьте же счастливы, ибо достойны друг друга.

Рыцарь уже был пиц и обнимал колени возлюбленного военачальника, повторявшего:

— Дай бог тебе счастья! Дай бог тебе счастья! Приходи же завтра!

Однако рыцарь с коленей не вставал и не уходил, словно бы намереваясь просить еще о чем-то. Наконец он воскликнул:

— Ваша княжеская милость!..

— Ну, что у тебя еще? — мягко спросил князь.

— Ваша княжеская милость, прости мою дерзость, но.. сердце у меня разрывается.. И только от горести этой великой спросить я осмеливаюсь: что с вашей княжеской милостью? Заботы ли угнетают или хворость какая?

Князь положил ему руку на голову.

— Тебе этого знать незачем! — сказал он с теплотою в голосе. — Приходи же завтра!

Пан Скшетуский встал и с тяжелым сердцем вышел.

Вечером пришел на его квартиру старый Зацвилюховский, а с ним — маленький пан Володыёвский, пан Лонгинус Подбпятка и пан Заглоба. Все собрались за столом, и тотчас же появился Редзян, неся кубки и бочонок.

— Во имя отца и сына! — закричал пан Заглоба. — Что я вижу? Отрок вашей милости воскреснул!

Редзян приблизился и колени ему обнял.

— Не воскреснул я, но и не умер вашей милости благодаря.

А пан Скшетуский добавил:

— И к Богу потом на службу переметнулся.

— Значит, завелась у него в пекле протекция, — сказал пан Заглоба, а затем, обратившись к Редзяну, сказал: — Вряд ли ты на службе той много удовольствия получил, на же тебе талер во утешение.

— Покорнейше благодарю вашу милость, — молвил Редзян.

— Он! — воскликнул пан Скшетуский. — Да это же плут каких поискать! Он же у казаков добычу скупал, а что у него имеется, того бы мы вдвоем с вашей милостью купить не смогли, даже если бы ты, сударь, все свои поместья в Турцах продал.

— Вон оно что! — сказал пан Заглоба. — Владей же себе мощм талером и расти, милое деревце, ибо если не для господней муки, то хотя бы для виселицы сгодишься. С виду он малый поряdochный. — Здесь пан Заглоба ухватил Редзяново ухо и, легонько дергая за него, продолжал: — Люблю плутов, а потому предсказываю, что выйдет из тебя человек, если скотом не станешь. А как тебя там твой господин, Богун, поминает, а?

Редзян усмехнулся, ибо ему польстили и слова, и ласка, а затем сказал:

— О ваша милость, а уж как вашу милость он всемишат, так просто искры зубами высекает.

— Пошел к дьяволу! — внезапно разгневавшись, воскликнул Заглоба. — Будешь еще тут всякий вздор молоть!

Редзян вышел, а за столом завязалась беседа о завтрашнем путешествии и о неописуемом счастье, каковое ожидает пана Яна. Мед вскорости исправил настроение пану Заглобе, и тот сразу же стал прохаживаться насчет пана Скшетуского и про крестины намекать, а то и о пылких чувствах пана Енджея Потockого к княжне рассказывать. Пан Лонгинус вздыхал. Все потягивали мед и пребывали в приятном настроении. Но вот наконец разговор пошел о военной ситуации и о князе Скшетуский, около двух недель отсутствовавший в лагере, сирапивал:

— Скажите же мне, что стало с нашим князем? Ведь это прямо другой человек. Я просто понять ничего не могу. Господь послал ему викторию за викторией, а что его региментарством обошли, велика беда! Сейчас ведь все войско к нему валит, так что князь без чьей-то там милости гетманом станет и Хмельницкого разгромит... А он, по всему видать, чем-то угрызается и угрызается.

— Уж не подагра ли у него? — предположил пан Заглоба. — У меня, например, как дернет иногда в большом пальце, так я дня на три в меланхолию впадаю.

— А я вам, братушки мои, вот что скажу, — заметил, покачивая головою, пан Подбиятка. — Я этого, конечно, от отца Муховедского сам не слышал, но слышал, будто он кому-то, мол, сказывал, отчего князь места себе не находит... Я, конечно, ничего не говорю — князь господин милостивый, добрый и воитель

великий... Чего ж мне судить его... Но якобы вот отец Муховецкий... Да разве ж я знаю... Или вот тоже...

— Ну, гляньте, ваши милости, на литву-ботву этого! — закричал пан Заглоба. — Ну как же не потешаться над ним, если он двух слов по-человечески сказать не может! Ну что ты, сударь, сообщить-то хотел? Кружишь, кружишь, как заяц возле колдобины, а путного от тебя не добьешься.

— Что же ты, вапа милость, слышал-то? — спросил пан Ян.

— А! Ежели вот... Значит, будто... Говорят, что князь крови много пролил. Великий он вождь, но меры, мол, когда мстит, не знает... И сейчас, вроде оно, все красным видит: днем — все краснó, ночью — краснó, словно бы его красный облак окутаны...

— Не болтай, сударь, глупостей! — гневно рявкнул старый Зацвилюховский. — Бабы это силетни! Не было гольтепе лучшего господина в мирные времена! А что к мятежникам снисхождения не знает, так что из того? Это доблесть, не грех. Какие это муки, какие казни чрезмерны тем, кто отечество в крови утопил, кто татарам собственный народ в рабство отдает, бога позабыв, ругаясь над величеством, отчизной, благоучреждением? Где ты еще, сударь, смышцешь чудовищ таких? Где еще знали подобные зверства, какие учиняли они над женами и детьми малыми? Где еще виданы таковые преступления чудовищные? И за это кол и виселица чрезмерны?! Тьфу! У тебя, сударь, рука железная, да сердце девичье. Видал я, как ты кряхтел, когда Полуяна припекали, да еще сетовал, что зря, мол, его на месте не добил. Но князь — не баба, он знает, как миловать и как казнить. Зачем же ты, сударь, околесницу тут несешь?

— Так я ж, отец мой, говорил же, что доподлинно не знаю, — оправдывался пан Лонгинус.

Однако старик долго еще сопел и, рукою белые свои волосы приглаживая, ворчал:

— Краснó! Гм! Краснó!.. Это что-то новое! В голове у того, кто такое выдумал, зелено, не краснó!

Воцарилось молчание, и только с улицы доносился галдеж развлекавшейся шляхты.

Первым подал голос маленький Володыёвский:

— А вы как, отче, полагаете? Что могло приключиться господину нашему?

— Гм! — сказал старик. — Я у него не исповедник, так что не знаю. Над чем-то он размышляет, из-за чего-то мучит себя. Тут какая-то борьба душевная, не иначе. А чем душа боле, тем муки доле...

И старый рыцарь не ошибся, ибо в минуту эту на своей квартире князь, вождь и победитель, лежал во прахе перед распятием и вел одно из тяжелейших сражений своей жизни.

Часовые на збаражских стенах оповестили полночь, а Иеремия все еще продолжал разговаривать с богом и с собственной

великою душою. Разум, совесть, любовь к отечеству, гордость, ощущение своего могущества и великих предназначений боролась в груди его и вели меж собой упорную схватку, от которой разрывалась грудь, раскалывалась голова и боль раздирала все тело. Ведь вот оно — вопреки примасу, канцлеру, сенату, regimentариям, вопреки, наконец, правительству шли к победоносцу сему квартовое войско, шляхта, разные поместные хоругви — словом, вся Речь Посполитая предавалась в его руки, собиралась под его крыла, судьбы свои вручала его гению и устами лучших сыновей своих зывала: «Спаси, ибо один ты спасти можешь!» Еще месяц, еще два, и под Збаражем соберется сто тысяч воинов, готовых на смертельный бой с чудищем гражданской войны. И картины грядущего, осиянные неким ослепительным светом славы и могущества, стали возникать перед взором князя. Те, кто его обойти и унижить хотел, содрогнутся, а он увлечет эти железные рыцарские когорты и поведет их в степи украинские к таким пирам, к таким триумфам, каких еще не знает история. И ощущает в себе князь силу соответственную, за плечами его, словно у святого Михаила-архангела, распахиваются крыла, и превращается он тотчас в некоего исполнителя, которого ни замок, ни весь Збараж, ни целая Русь постигнуть не в силах. Боже мой! Он изведет Хмельницкого! Он бунт растопчет! Он покой отечеству вернет! Зрит он широкие луга, тьмы воинства, слышит грохотанье пушек... Битва! Битва! Победа неслыханная, невиданная! Трупов не счесть, знамен, покрывших степь обгавленную, не счесть, а он попирает стопою тело Хмельницкого, и фанфары трубят победу, а голос их разносится от моря и до моря... Князь вскакивает с пола и руки ко Христу простирает, а вокруг головы его сияет некое красное свечение. «Христе! Христе! — вопиет он. — Ты знаешь! Ты видишь, что я смогу это сделать! Повели же, скажи, прикажи!»

Но Христос голову на грудь свесил и молчит, такой горемычный, словно его вот-вот распяли. «Во славу же твою — вопиет князь. — *Non mihi, non mihi, sed nomini Tuo da gloria!*¹ Во славу веры и церкви, во славу всего христианства! О Христе! Христе!» И новый образ является пред очи героя. Не победою над Хмельницким завершится стезя эта. Князь, поглотив мятеж, плотью его еще более утучнится, силами его учудовищится, легионы казаков к легионам шляхты присоединит и пойдет дальше: на Крым ударит, мерзостного дракона в собственном его логове уничтожит, и там утвердит крест, где до сих пор колокола никогда-никогда верующих к молитве не созывали.

Либо же в те пойдет стороны, которые однажды уже князя Вишневецкие копытами конскими истоптали, и границы Речи Посполитой, а с ними и церкви до крайних рубежей земли прострет...

¹ Не мне, не мне, но имени твоему слава! (лат.)

Но где же предел устремлению этому? Где предел славе, силе, могуществу? Разве есть он?..

В замковую комнату льется ясный свет месяца, однако часы отбивают позднее время и уже горланят петухи. Скоро наступит день, но будет ли это день, в который рядом с солнцем небесным новое солнце на земле воссияет?

Да! Отроком был бы князь, не мужем, когда бы не совершил этого, когда бы по каким-то причинам пошел на попятную перед зовами такового предназначения. И ощущает он как бы успокоение некое, ниспосланное ему, наверно, Христом милостивым,— восхвалим же за это господа! Князь уже мыслит спокойней, отчетливей и очами души своей положение отечества и всех дел яснее постигает. Политика канцлера и этих самых вельмож из Варшавы, равно как и воеводы брацлавского, скверна есть и для отечества гибельна. Сперва следует растоптать Запорожье, реки крови из него выточить, сломать его, разорить, смять, уничтожить и лишь тогда только почесть все побежденным, пресечь всяческие злоупотребления, всякие утеснения, установить порядок, покой; располагая возможностью добить, вернуть к жизни — вот он путь, единственно достойный великой сей и блистательной Речи Посполитой. Раньше, может быть, прежде и возможно было избрать иной, теперь же — нет! К чему приведут переговоры, когда лицом к лицу стоят вооруженные тьмы? А хотя бы и заключен был договор — какую может он иметь силу?! Нет! Нет! Это пустая греза, мираж, это война, которая на целые века растянется, это море слез и крови на будущее!.. Пускай же держатся той единственной стези, той великой, достойной, могущественной, — он же ничего более не будет ни желать, ни требовать. Сядет в своих Лубнах и станет жить тихо, покамест звенящие трубы Градивуса вновь не призвуют его...

Пускай держатся! Но кто? Сенат? Бурные сеймы? Канцлер? Примас или региментарши? Кто, кроме него, эту мысль великую понимает? Кто может ее в дело воплотить? Если такой сыщется — тогда пожалуй!.. Но где же этот человек? За кем сила? За князем, и ни за кем более! К нему идет шляхта, к нему стягиваются войска, в руке его меч Речи Посполитой. Ведь Речью Посполитой, даже когда государь на престоле, а паче того когда трон пустует, руководит воля народа. Она — *suprema lex!*¹ А заявляет она о себе не только на сеймах, не только через депутатов, сенат и канцлеров, не только посредством писанных законов и манифестов, но всего мощнее, всего весомее, всего отчетливее — прямыми делами. Кто правит? Рыцарское сословие. И оно, это рыцарское сословие, собирается в Збараже и говорит ему: «Ты — вождь наш». Вся Речь Посполитая, без каких-то там вьборов, всем ходом событий, власть ему вручает, повторяя: «Ты —

¹ высший закон (лат.).

вождь наш». И ему следует отступить? Какая же еще надобна ему номинация? От кого может он ее ожидать? Уж не от тех ли, кто Речь Посполитую погубить, а его унижить пытаются?

За что? За что? За то ли, что, когда всех обуяла паника, когда гетманы ясырями стали, когда гибли войска, когда шляхта пряталась по замкам, а казак утвердил стопу на горле Речи Посполитой, только один он столкнул стопу эту и поднял из праха обеспамятевшую голову матери сей, пожертвовал ради нее всем: жизнью, имением; от позора спас, от смерти — он, победитель?!

У кого тут заслуг более, пускай тот и берет власть! Кому она более по праву, пускай у того в руках и сосредоточится. Он охотно отречется от бремени сего, охотно господу и Речи Посполитой скажет: «Отпустите слугу вашего с миром», ибо вот же он измучен очень и силы потерял, а все равно знает: ни память о нем, ни могила его забвенны не будут.

Но если никого подходящего нет, значит, он дважды и трижды не муж, но отрок, раз от власти этой, от сей лучезарной стези, от великолепного этого, небывалого будущего, в коем для Речи Посполитой спасение, слава, могущество и счастье, намерен отречься.

Во имя чего?

Князь снова гордо поднял голову, и горящий взор его обратился ко Христу, но Христос голову свою на грудь свесил и молчит, такой горемычный, словно его вот-вот распяли...

Во имя чего? Герой виски распаленные пальцами стиснул... Кажется, вот он и есть ответ. Что означают голоса эти, кои среди золотых и радужных видений славы, среди грома грядущих побед, среди предчувствий величия и могущества так неотвязно взывают в душе его: «О, стой, несчастный!»? Что означает тревога эта, бесстрашную грудь его содроганием беспокойства некоего охватывающая? Что означает — тогда, как он самым отчетливым и убедительным образом доводит себе, что обязан принять власть, — чей-то шепот, в безднах совести его нашепывающий: «Обольщаешься! Гордость тобою движет, сатана гордыни царства тебе сулит!»?

И снова страшная борьба разыгрывается в душе князя, снова обуревают его стихия тревоги, неуверенности и сомнения.

Что делает шляхта, к нему, а не к региментариям спешащая? Попирает закон. Что делает армия? Нарушает дисциплину. И он, гражданин, он, солдат, должен возглавить беззаконие? Должен прикрыть его своим именем? Должен сделаться примером безнаказанности, своеволия, неуважения к законам, а все затем лишь, чтобы власть на два месяца раньше захватить, ибо, если королевич Карл будет посажен на трон, власть эта и так его не минует? Ужели должен он подавать столь ужасный пример грядущим векам? Что же тогда будет? Сегодня так поступил Вишневецкий, завтра — Конецпольский, Потоцкий, Фирлей, Замойский или Любомырский. А если каждый без оглядки на за-

кон и послушание, собственной амбиции лишь угождая, действовать начнет, если дети пойдут по дорожке отцов и дедов, что за будущее ожидает сей край несчастный? Червь своеволия, безначалия, своекорыстия и без того уже источил ствол Речи Посполитой. Труха сыплется под секирой усобицы гражданской, усохшие сучья валятся. Что же будет, если те, кто древо это должен оберегать — пуше глаза беречь, — сами огонь подкладывать станут? Что же это будет? Иисусе! Иисусе!

Хмельницкий тоже общественным благом прикрывается, а сам только и делает, что против закона и власти восстает.

Содрогание проходит по телу князя. Он заломил руки: «Ужли суждено мне быть вторым Хмельницким, Христе боже?!»

Но Христос голову на грудь свесил и молчит, такой горемычный, словно бы его вот-вот распяли.

Князь продолжает терзаться. Если он захватит власть, а канцлер, сенат и региментарии объявят его предателем и бунтовщиком, что же будет? Еще одна усобица? А если на то пошло, разве же Хмельницкий величайший и грознейший враг Речи Посполитой? Ведь неоднократно обрушивались на нее куда более страшные напасти, ведь, когда двести тысяч железных немцев шли под Грюнвальдом на полки Ягелловы, когда под Хотином пол-Азии вышло на побоище, гибель куда более неминучей казалась, а где они, эти губительные полчища? Нет! Речь Посполитая войны не страшится, и не войны ее сгубят. Но отчего же при таковых победах, при таковой силе сокрытой, такой славе она, разгромившая крестоносцев и турок, столь слабой нынче и беспомощной стала, что перед каким-то казаком согнула колени, что соседи рвут ее границы, что смеются над нею народы, что к голосу ее никто не прислушивается, гневу значения не придает, а только погибель ее предвидят?

О! Это же кичливость и амбиция магнатов, это же самоуправство, это своеволие тому причиной. Опаснейший враг — не Хмельницкий, но внутренний беспорядок, но своеволие шляхты, но немногочисленность и расхлябанность войска, горлодерство сеймов, дразги, раздоры, неразбериха, неповоротливость, своекорыстие и непослушание, непослушание прежде всего! Дерево гниет и трухлявет с сердцевины. Проходит немного времени, и первая буря валит его, но преступен тот, кто к этому руку приложит, проклят, кто пример подаст, проклят он и дети его до десятого колена!

Ступай же, победитель под Немировом, Погребищем, Махновкой и Староконстантиновом, ступай, князь-воевода, иди, отнимай власть у региментариев, растопчи закон и уважение к власти имущему, подай пример потомкам, как раздирать нутро собственной матери.

Страх, отчаяние и безумие исказили лицо князя... Он страшно крикнул и, вцепившись в собственные волосы, рухнул во прах перед Христом.

И каялся князь, и бился достойною головою в каменный пол, а из груди его исторгался глухой голос:

— Господи! Помилуй меня, грешного! Господи! Помилуй меня, грешного! Господи! Помилуй меня, грешного!..

Румяная заря уже вышла на небеса, а скоро и золотое солнце осветило залу. В карнизных нишах подняли гомон воробьи и ласточки. Князь поднялся с пола и отправился будить слугу своего, Желенского, спавшего за дверью.

— Беги,— сказал он ему,— к вестовым и вели созвать сюда полковников, и квартовых и ополченских, какие только есть в замке и в городе.

Спустя два часа зала стала заполняться усатыми и боролатыми воинами. Из княжеских людей пришли старый Зацвилюховский, Поляновский, Скшетуский с паном Заглобой, Вурцель, оберштер Махницкий, Володыёвский, Вершулл, Понятовский — почти все офицеры, включая даже хорунжих, кроме Купеля, посланного в разъезд на Подолье. Из квартовых были Осинский и Корицкий. Многих из знатной шляхты и ополчения не удалось с перин стащить, но этих все-таки тоже собралось немало, а среди них знать из разных уделов, от каштелянов и до самих даже подкоморьев... Слышны были перешептывания, разговоры — все гудело, точно в улье, а взоры были обращены к дверям, откуда должен был появиться князь.

Но вот все смолкло. Князь появился.

Вид его был спокоен, погож, и только покрасневшие от бессонницы глаза да осунувшееся лицо свидетельствовали о пережитых борениях. Однако погожесть эта и, можно даже сказать, приятность не могли тем не менее скрыть необычайного достоинства и нестигаемой воли.

— Милостивые государи! — сказал он. — Нынешней ночью я вопрошал бога и собственную совесть, как мне надлежит поступить. Посему объявляю вашим милостям, а вы оповестите рыцарству, что ради блага отечества и согласия, обязательного для всех в годину бедствий, я отдаю себя под начало региментариев.

Глухое безмолвие воцарилось в собрании.

В полдень того же дня во дворе замка построились три сотни Вершулловых татар, готовых отправиться в дорогу с паном Скшетуским. В самом же замке князь давал обед рыцарству, имевший быть одновременно прощальным пиром в честь нашего героя. Его как жениха посадили возле князя, а следующим сразу сидел пан Заглоба, поскольку известно было, что лишь благодаря его находчивости и отваге невеста спасена от неминуемой гибели. Князь был весел, ибо сбросил с сердца тяжесть, и поднимал кубки за здравие будущей четы. Стены и окна дрожали от криков. В прихожих учиняли гвалт слуги, среди которых заводилой был Редзян.

— Милостивые государи! — сказал князь. — Пускай же третья чара будет за будущее потомство. Превосходное это гнзедо. Дай же бог, чтобы яблоки не падали далеко от яблони. Пускай от этого Ястребца достойные родители ястребятя породятся!

— Слава ему! Ура!

— В знак признательности! — кричал Скшетуский, опрокидывая огромный кубок мальвазии.

— Любовь да совет! Ура!

— *Crescite et multiplicamini!*¹

— Уж ты, вапа милость, полхоругвишки изволь укомплектовать! — сказал, смеясь, старик Зацвилховский.

— Он же вконец войско заскшетусит! Я его знаю! — крикнул Заглоба.

Шляхта грянула смехом. Вино разгорячило головы. Всюду видны были раскрасневшиеся лица, шевелящиеся усы, настроение с каждою минутою поднималось и улучшалось.

— Когда так, — кричал раззадоренный пан Ян, — то я вашим милостям должен признаться, что кукушка мне двенадцать парнишек накуковала!

— Вот это да! Все апсты от работы посдыхают! — откликнулся пан Заглоба.

Шляхта ответила новым взрывом смеха, и все хохотали, а по зале словно бы грома перекатывались.

Тут на пороге появилась некая сумрачная, покрытая пылью фигура, однако при виде стола, пиршества и раскрасневшихся лиц она остановилась в дверях, словно бы раздумывая, входить или не входить.

Первым заметил ее князь, свел брови, глянул из-под ладони и сказал:

— А там кто такой? А! Это Кушель! Вернулся? Что слышно? Каковы новости?

— Скверные, ваша княжеская милость, — ответил странным голосом молодой офицер.

Внезапное молчание воцарилось среди собравшихся, словно бы кто их заклил. Кубки остановились на полдороге к устам, взоры обратились к Кушелю, на усталом лице которого написано было огорчение.

— Лучше бы ты, сударь, тогда их не сообщал, раз я за чарою весельюсь, — сказал князь, — но уж коли начал, договаривай.

— Ваша княжеская милость, не хочется мне вороном каркать, и слова у меня просто с языка нейдут.

— Что стряслось? Говори же!

— Бар... взят!

¹ Плодитесь и размножайтесь! (лат.)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Погожей летней ночью по правому берегу Валадышки спу-
скались к Днестру двенадцать всадников.

Шли очень медленно, можно сказать, нога за ногу. Впереди, шагов на пятьдесят опережая остальных, как бы передовым охранением, ехали двое, но, не находя, видно, причин остерегаться, не по сторонам смотрели, а меж собою переговаривались, причем то и дело придерживали коней, оглядываясь на спутников, и тогда один из этих двоих покрикивал:

— Полегче там! Полегче!

И отряд еще больше замедлял шаг, разве что не стоял на месте.

Наконец, обогнув холм, укрывавший всадников своею тенью, отряд вышел на открытое место, залитое лунным светом, и сразу стала понятна осторожность: посреди вереницы всадников две лошади, идущие рядом, несли привязанную к седлам люльку, а в люлке кто-то лежал.

Серебряные лучи освещали бледное лицо и сомкнутые веки.

За люлькой следовали десятеро вооруженных верховых. По пикам без прапорцев можно было узнать, что это казаки. Одни вели в поводу вьючных лошадей, другие ехали налегке, но если двоих, что были впереди, казалось, ничего вокруг не интересовало, эти поглядывали по сторонам с явной опаскою и тревогой.

Окрестность, однако, выглядела совершенною пустыней.

Тишину нарушали только удары копыт да восклицания одного из передовых всадников, то и дело повторявшего:

— Полегче там! Осторожней!

Наконец он обратился к своему спутнику и спросил:

— Горпына, далеко еще?

Спутник, звавшийся Горпыною и на самом деле бывший одетой в казачье платье здоровенной девахой, поглядел на звездное небо и ответил:

— Не так чтобы. До полуночи доберемся. Проедем Вражье урочище, потом Татарский Разлог, а там до Чертова яра рукой подать. После полуночи и до вторых петухов лучше туда не соваться. Мне-то ничего, а вам плохо может быть, ой плохо.

Тот, кто спрашивал, пожал плечами.

— Знаю,— сказал он,— тебе сам черт брат, да только и с чертом сладить можно.

— Пока еще никто не сладил,— ответила Горпына. — А лучшего укывища для своей княжны, соколик, ты во всем свете не найдешь. И здесь-то ночью никто не пройдет, разве что со мной, а в яру и вовсе живой души не бывало. Кто за ворожбой придет, тот станет поодаль и меня поджидает. Ни одна собака не доберется туда: ни лях, ни татарин, никто, никто. Страшно в Чертовом яру, сам увидишь.

— Страшно не страшно, а захочу — приду.

— Днем, конечно, придешь.

— Хоть днем, хоть когда. А черт дорогу заступит, рога обломаю.

— Эх, Богун, Богун!

— Ой, Горпына, Горпына! За меня не беспокойся. Приберет меня дьявол, не приберет — не твоя забота, тебе же я одно скажу: водись сколько влезет со своими чертями, лишь бы княжна горя не знала; если с нею что станется, ни черти, ни дьяволы тебе не помогут.

— Однажды уже топили меня, еще когда мы с братом на Дону жили, в другой раз заплечный мастер в Ямполе голову обрил — так что мне теперь все трын-трава. Но здесь дело иное. Не в службу, а в дружбу я ее от нечистой силы стеречь буду, волоску не дам с головы упасть, а люди ей у меня не страшны. Твоя будет, никуда не денется.

— Ах ты, сова! Коли так, зачем мне беду наворожила, какого черта прожужжала все уши: «Лях при ней! Лях при ней!»?

— Духи так говорят, не я. Но, может, что и переменялось. Завтра на мельничном колесе погадаю. Вода все скажет, только глядеть нужно долго. Сам увидишь. Но ведь ты пес бешеный: скажешь тебе правду — тотчас гневаешься и за чекан...

Разговор оборвался, слышно было цоканье копыт по камням, да какие-то звуки доносились со стороны реки, словно там кузнечики стрекотали.

Богун даже ухом не повел, хотя среди ночи подобные звуки могли озадачить. Он обратил лицо к луне и задумался.

— Горпына!.. — сказал он несколько погодя.

— Чего?

— Ты колдунья, должна знать: правда ли, такое зелье есть, от которого и постылых любят? Любисток, что ли?

— Любисток. Только он твоей беде не поможет. Глоточка бы княжне хватило, не люби она другого, но раз любит, знаешь, что будет?

— Что?

— Еще сильнее прилучится к тому, другому.

— Пропади ты со своим любистком! Каркать умеешь, а помочь не хочешь.

— Послушай: я другое былье, что в земле растет, знаю. Кто его отвару выпьет, два дня и две ночи лежа пролежит, про все позабудет. Дам я ей этого зелья — а ты...

Казак дернулся в седле и устал на колдунью свои горящие во тьме очи.

— Чего-чего?

— Тай год! — выкрикнула ведьма и залилась зычным смехом — точно кобылица заржала.

Смех этот зловещим эхом прокатился по оврагам.

— Сука! — сказал атаман.

Глаза его стали постепенно меркнуть, и он снова глубоко задумался, а потом заговорил словно бы сам с собою:

— Нет, нет! Когда мы Бар брали, я первым в монастырь ворвался, чтоб от сброда пьяного ее уберечь, снести башку каждому, кто хоть пальцем ее коснется, а она себя ножом и теперь божьего свету не видит... А тронь я ее, опять схватится за нож или в речку прыгнет — не уберечь ее тебе, несчастный!

— Лях ты душой, не казак — девку по-казацки приневолить не хочешь...

— Кабы я лях был! — воскликнул Богун. — О, если бы я был лях!

И, пронзенный болью, за голову обеими руками схватился.

— Причаровала, гляжу, тебя эта полячка, — пробормотала Горпына.

— Ой, причаровала! — печально ответил казак. — Чтоб мне от шальной пули пасть, на колу собачью жизнь окончить... Одна она нужна мне и больше никто, а я ей не нужен!

— Дурной! Она ж твоя! — сердито воскликнула Горпына.

— Замолчи! — вскричал казак в ярости. — А если она на себя руки наложит? Да я тебя разорву, себя искалечу, башку разобью об камень, на людей кидаться, как пес, буду! Я бы душу за нее отдал, славу казацкую отдал, за Ягорлык убежал, людей бы своих бросил! Хоть на край света, лишь бы с ней... С ней хочу жить, возле нее подохнуть... Вот оно как! А она себя ножом! И из-за кого? Из-за меня! Ножом себя, понимаешь?

— Ничего ей не станется. Не помрет.

— Помрет — я тебя к двери приколочу.

— Нету над ней твоей воли.

— Нету, нету. Пусть бы уж меня ножом пырнула, хоть бы убила, и то лучше.

— Глупая ляшка. Нет бы ей прилепиться к тебе по доброй воле! Где она краше сыщет?

— Помоги ты мне, а я тебе дукатов горшок насыплю и в придачу еще один — жемчугу. Мы в Баре много чего взяли, да и прежде брали.

— Богат ты, как князь Ярема, и славен. Говорят, тебя сам Кривонос боится.

Казак махнул рукой.

— Что с того, коли сердце болить...

И снова настало молчанье. Берег реки делался все более дик и пустынен. Белый свет луны причудливо искажал очертания скал и деревьев. Наконец Горпына сказала:

— Вот оно, Вражье урочище. Дальше всем бы рядом лучше быть.

— Почему?

— Гиблое место.

Они придержали коней, и минуту спустя едущие позади их догнали.

Богун привстал в стремнах и заглянул в люльку.

— Спить? — спросил он.

— Спить, — ответил старый казак, — солодко, як дитина.

— Я ей сон-травы дала, — сказала ведьма.

— Полегче, осторожно, — повторял Богун, не сводя глаз со спящей, — щоб ви їй не розбудили. Місяць їй просто в личко заглядає, серденьку мойому.

— Тихо світить, не розбудить, — шепнул один из казаков.

И отряд двинулся дальше. Вскоре подъехали к Вражьему урочищу. Это был холм над самой рекой, невысокий и облытый, точно круглый, лежащий на земле щит. Луна заливала его светом, озаряя белые, разбросанные повсюду камни. Кое-где они лежали поврозь, кое-где кучами, словно развалины каких-то строений, остатки разрушенных храмов и замков. Кое-где из земли, наподобие кладбищенских надгробий, торчали каменные плиты. Весь холм представлялся одной гигантской руиной. Быть может, когда-то встарь, во времена Ягеллы, здесь и кипела жизнь, но сейчас холм этот и вся окрестность, до самого Рапкова, были глухой пустыней, в которой селился лишь дикий зверь да по ночам водила свои хороводы нечистая сила.

И впрямь, едва путники одолели половину склона, легкий до сих пор ветерок превратился в настоящий вихрь, который с мрачным, зловещим свистом пронесся над взгорьем, и почудилось молодцам, будто слышались из развалин словно вырывающиеся из сгнетенных грудей тяжкие вздохи, смех, рыдания, детский плач и жалобные стоны. Холм стал оживать, перекликаться разными голосами. Из-за камней, казалось, выглядывали высокие темные фигуры: диковинных очертаний тени беззвучно скользили меж валунов, вдали мерцали во мраке, точно волчьи глаза, какие-то огоньки, ко всему еще с другого конца взгорья, где теснее всего громоздились камни, донесся низкий горловой вой, которому другие голоса тотчас стали вторить.

— Сіромахи? — прошептал молодой казак, обращаясь к старому есаулу.

— Упыри, — ответил есаул еще тише.

— О! Господи помилуй! — вскричали в страхе остальные, сдергивая шапки и истоиво крестясь.

Лошади начали храпеть и прять ушами. Горпына, ехавшая впереди всех, вполголоса бормотала непонятные слова, будто сатанинскую молитву читала. Лишь когда достигли противоположной оконечности взгорья, она обернулась и сказала:

— Ну, все. Здесь уже тихо. Заклятьем пришлось отгонять, а то они голодные больно.

Все облегченно вздохнули. Богун с Горпыной снова поехали вперед, а казаки, минуто назад боявшиеся даже перевести дух, зашептались. Каждый стал вспоминать разные встречи с духами либо с упырями.

— Когда б не Горпына, не прошли бы, — сказал один.

— Сильна видьма.

— А наш атаман и дідька не боится. Ухом не повел, глазом не моргнул, только на свою зазнобу оглядывался.

— Приключись с ним, что со мною было, не больно бы хорохорился, — сказал старый есаул.

— А что же с вами, отец Овсивой, приключилось?

— Ехал я раз из Рейментаровки в Гуляйполе, а дело было ночью. Еду мимо кладбища, вдруг ба чую, что-то сзади с могилы прыг на кульбаку. Оборачиваюсь: дите, бледное-бледное, аж сильнее!.. Видать, татары в полон вели с матерью и помер младенец неокрещенным. Глазенки, как свечки, горят, и плачет тихонечко, плачет! Перескочил с седла ко мне на спину и, чую, кусает за ухом. О господи! Упырь, не иначе. Только недаром я в Валахии долго служил — там упырей куда больше даже, чем людей, и каждый с ними управляться умеет. Спрыгнул я с коня и кинжалом в землю. «Сгинь! Пропади!» — а он охнул, ухватился за рукоят кинжала и по острию под дернину утек. Начертил я на земле крест и поехал.

— Неужто в Валахии упырей столько?

— Считаю, каждый второй валах как помрет — в упыря обращается, и валашские самые изо всех вредные. Их там бруколаками зовут.

— А кто сильнее: дідько или упырь?

— Дідько сильней, а упырь злее. Дідька одолеешь, он тебе служить будет, а от упырей проку никакого — только и глядят, где бы крови напиться. Но дідько завсегда атаман над ними.

— А Горпына дідьками и верховодит.

— Это точно. Покуда жива — верховодит. Не имей она над ними силы, атаман бы ей своей зозули не отдал, бруколаки девичью кровушку страсть как любят.

— А я слышал, им к невинной душе доступа нету.

— К душе нету, а к телу — очень даже есть.

— Ой, упаси господь! Она же раскрасавица прямо! Кровь с молоком! Знал наш батько, что брат в Баре.

Овсивой прищелкнул языком.

— Чего и говорить. Чистое золото ляшка...

— А мне эту ляшку жалко,— сказал молодой казак. — Когда мы ее в люльку клали, она белы рученьки свои сложила и так просила, так просила: «Убий, каже, не губи, каже, не щасливой!»

— Не будет ей плохо.

Тут подъехала Горпына, и разговор оборвался.

— Эй, молодцы,— сказала ведьма,— вот и Татарский Разлог. Да не бойтесь вы, здесь только одна ночь в году страшная, а Чертов яр и мой хутор уже близко.

И вправду, скоро послышался собачий лай. Отряд вступил в горловину яра, идущего от реки под прямым углом и такого узкого, что четверо конных едва могли ехать рядом. По дну его, словно змея, переливчато блестя в лунном свете, быстро бежал к реке ручеек. По мере того как всадники продвигались вперед, крутые, обрывистые склоны расступались, образуя полого поднимающуюся, довольно просторную долину, с боков замкнутую скалами. Кое-где росли высокие деревья. Ветра здесь не было. Долгие черные тени от деревьев ложились на землю, а на прогалинах, залитых лунным светом, сверкали какие-то белые округлые и продолговатые предметы, в которых казаки, к ужасу своему, распознали людские черепа и кости. Молодцы, то и дело крестясь, пугливо озирались. Внезапно вдалеке блеснул за деревьями огонек, и тотчас прибежали две собаки, огромные, черные, страшные, с горящими как угли глазами; увидев людей и лошадей, они начали громко лаять. Лишь услышав голос Горпыны, они унялись и, тяжело дыша и хрипя, стали бегать вокруг всадников.

— Жуть какая,— шептали казаки.

— Это не псы,— уверенно пробормотал старый Овсивой.

Тем временем из-за деревьев показалась хата, за нею конюшня и дальше, на пригорке, еще какое-то строенье. Хата выглядела добротной и просторной, окошки ее светились.

— Вот и мой двор,— сказала Богуну Горпына,— а там мельница, что зерна, кроме нашего, не мелет, да я ворожиха, на воде ворожу. Поворожу и тебе. Молодица в горнице жить будет. Может, ты захочешь стены прибрать — тогда лучше ее пока на другую половину перенести. Стой! Слезай с коней!

Всадники остановились, а Горпына крикнула:

— Черемис! Угу! Угу! Черемис!

Какая-то фигура с пучком горящих лучин в руке появилась на пороге хаты и, поднявши кверху огонь, молча уставилась на казаков.

Это был уродливый старик, маленький, почти карлик, с плоским квадратным лицом и раскосыми, узкими, как щелки, глазами.

— Ты что за дьявол? — спросил Богун.

— Без толку спрашиваешь — у него язык отрезан,— сказала великанша.

— А ну, подойди поближе.

— Слушай,— продолжала девка,— а если княжну на мельницу отнести пока? Молодцы твои будут горницу прибирать да гвозди заколачивать, как бы не разбудили.

Казаки, спешившись, стали осторожно отвязывать люльку. Богун сам заботливо за всем присматривал и сам, вставши в головах, поддерживал люльку, когда ее переносили на мельницу. Карлик шел впереди и светил лучиной. Княжна, напоенная Горпыниным сонным зельем, не пробудилась, только веки ее от света лучины легонько вздрагивали. Лицо в красных отблесках уже не казалось мертвенно-бледным. А возможно, девушку баюкали чудные сны, ибо она улыбалась сладко во время странного этого шествия, похожего на похороны. Богун смотрел на нее, и казалось ему, сердце вот-вот выскочит у него из груди. «Миленька моя, пташка моя!» — шептал атаман тихо и грозно, хотя прекрасные черты его лица смягчились, тронутые пламенем любви, которая, вспыхнув, разгоралась в его душе все сильнее,— так огонь, забытый путником, разгораясь, охватывает дикие степи.

Идущая рядом Горпына говорила:

— Проспится — здоровой встанет. Рана заживет, будет здоровая...

— Слава богу! Слава богу! — отвечал атаман.

Между тем возле хаты казаки стали снимать с шести лошадей огромные выюки и выгружать ковры, парчу и прочие ценности, награбленные в Баре. В горнице развели жаркий огонь; одни приносили ткани, другие обивали этими тканями бревенчатые стены. Богун не только позаботился о безопасной клетке для своей пташки, но и решил эту клетку украсить, чтобы неволя не показалась пташке невыносимой. Вернувшись с мельницы, он сам приглядывал за работой. Ночь уже близилась к концу, и бледный свет луны померк на скалистых краях оврага, а в доме все еще приглушенно стучали молотки. Простая горница преобразалась в богатый покой. Наконец, когда стены были завешены, а глинобитный пол услан коврами, спящую княжну принесли и положили на мягкую постель.

Потом все стихло. Только в конюшне какое-то время раздавались еще взрывы смеха, похожего на лошадиное ржанье: это молодая ведьма, балуясь на сене с казаками, оделяла их тумачками и поцелуями.

ГЛАВА II

Солнце уже высоко стояло в небе, когда на следующий день княжна, пробудившись ото сна, открыла очи.

Взгляд ее сперва упал на бревенчатый потолок и надолго там задержался, а затем обежал стены. Возвращающееся сознание еще боролось с остатками сонных грез. На лице девушки от-

разплысь недоумение и тревога. Где она? Как сюда попала и в чьей пребывает власти? Сон это еще или явь? Что означает роскошь, которая ее окружает? Что с ней до сих пор творилось? В эту секунду страшные сцены взятия Бара вдруг представились ей как бы вживе. Она вспомнила все: резню, когда тысячами уничтожали шляхтичей, мещан, детей, сенсдзов и монахинь; замазанные в крови лица черного люда, шеи и головы, обмотанные дымящимися еще кишками, пьяные вопли — судный день города, обреченного на гибель; наконец, появление Богуна и похищение. Припомнилось ей и то, как в минуту отчаяния бросилась она на подставленный собственной рукой нож, — и чело ее оросилось холодным потом. Видно, нож только скользнул по руке: она ощущает лишь слабую боль, но чувствует, что жива, что к ней возвращаются здоровье и силы; еще княжна вспоминает, что ее долго-долго куда-то везли в люльке. Но где она сейчас? В замке ли каком, спасена ли, отбита, укрыта ль надежно? И снова окидывает комнату взглядом. Окошки в ней маленькие, квадратные, словно в деревенской хате, и света за ними не видно, потому что вместо стекол они затянуты беловатым мутным пузырем. Неужто в самом деле крестьянская хата? Нет, не может быть, против этого говорит несказанно пышное ее убранство. Бревенчатый потолок затянут широченным платом пурпурного шелка в золотых полумесяцах и звездах; стены невысоки, но сплошь обиты парчою; на полу узорчатый ковер, словно усланный живыми цветами. На козпак над очагом наброшен персидский чепрак, кругом, начиная с потолочин и кончая подушками, на которых покоится ее голова, — золотая бахрома, шелк, бархат. Яркий дневной свет просачивается сквозь пузырьные окошки, но пурпурные, темно-фиолетовые и синие аксамиты вбирают его в себя, отчего внутри царит мягкий радужный полумрак. Дивится княжна, глазам не верит. Чародейство, что ль, это какое, а может, люди князя Иеремии отбили ее у казаков и спрятали в одном из княжеских замков?

Девушка сложила руки.

— Пресвятая богородица! Сделай так, чтобы первое лицо, какое покажется из двери, было лицом заступника и друга.

Вдруг сквозь тяжелую парчовую завесу слуха ее достигли плывущие издалека звуки торбала и чей-то голос, вторя мелодии, завел знакомую песню:

Ой, щї любові
Гірші од слабості!
Слабість перебуду,
Здоровше я буду,
Вірного коханця
Повік не забуду.

Княжна приподнялась на ложе, прислушалась, глаза ее расширились от ужаса, наконец, страшно вскрикнув, она упала замертво на подушки.

Елена узнала голос Богуна.

Крик ее, видно, проник за стены светлицы, потому что не прошло и минуты, как тяжелая завеса зашелестела и сам атаман появился на пороге.

Княжна закрыла глаза руками, а побелевшие и дрожащие ее губы повторяли как в лихорадке:

— Иисусе, Мария! Иисусе, Мария!

Однако зрелище, столь ее напугавшее, не одной юной деве потешило бы взор, ибо прямо-таки сияние плучалось от атаманова лица и наряда. Алмазные пуговицы его жупана мерцали точно звезды, нож и сабля искрились от самоцветных камней, жулан из серебристой парчи и красный кунтуш подчеркивали необыкновенную красоту Богуна — статного, чернобрового, горделивого, самого пригожего из всех молодцев, украинской рожденных землею.

Только глаза его затуманены были, словно подернутые дымкой светочи небесные, и смотрел он на Елену с покорностью, видя же, что страх не покидает ее лица, заговорил голосом низким и печальным:

— Не бойся, княжна!

— Где я? Где я? — спросила она, глядя на него сквозь неплотно сомкнутые пальцы.

— В безопасном месте, война далеко осталась. Не бойся, душа моя. Я тебя сюда из Бара привез, чтоб ни от людей, ни от войны тебе не сотворилось обиды. Никого в Баре не пощадили казаки, одна ты жива осталась.

— А ты что здесь делаешь, сударь? Почему преследуешь меня неотступно?

— Я тебя преследую! Боже правый! — И атаман развел руками и закачал головою, как человек, которому причинили великую несправедливость.

— Я тебя, сударь, боюсь ужасно.

— Отчего ж ты боишься? Прикажешь, шагу не сделаю: я раб твой. Мне бы сидеть у порога да в очи твои глядеть, и только. За что ненавидишь? Я тебе зла не желаю. О боже! Ты в Баре при одном виде моем себя ножом ударила, а ведь давно меня знаешь, могла б догадаться, что я спасать тебя примчался, как на крыльях. Не чужой я тебе — друг верный, а ты, княжна, за нож схватилась!

К бледным щекам княжны вдруг прихлынула кровь.

— По мне, лучше смерть, чем позор, — сказала она. — Ежели ты меня обесчестишь, клянусь, наложу на себя руки, хоть бы и душу этим сгублю.

Очи девушки полыхнули огнем — и понял атаман, что плохи шутки с курцевичской княжеской кровью: сгоряча Елена исполнит свою угрозу и в другой раз уже не промахнется.

Потому он ничего не ответил, только, шагнув вперед, сел у окна на лавку, застланную золотой парчою, и голову повесил.

Несколько минут продолжалось молчанье.

— Будь покойна,— сказал наконец Богун. — Пока я не пьян, покуда горелка-матушка в голове не забродит, ты для меня как икона в церкви. А пить я с той поры, что тебя в Баре нашел, перестал вовсе. До того пил, ох, пил, беду свою заливал горелкой. Что еще было делать? Но теперь в рот не возьму ни сладкого вина, ни сивухи.

Княжна молчала.

— Погляжу на тебя,— продолжал он,— взор ясным личиком натешу, т а й пойду.

— Верни мне свободу,— сказала девушка.

— Разве же ты в неволе? Ты здесь хозяйка. А куда возвращаться хочешь? Курцевичи все погибли, огонь пожрал города и веси, князя в Лубнах нет, он с Хмельницким, а Хмельницкий с ним встречи ищет, кругом война, кровь рекой льется, везде казаки, солдатня да ордынцы. Кто тебя уважит, кроме меня? Кто защитит, кто пожалеет?

Княжна подняла к небу очи, вспомнив, что есть на свете человек, который бы и приветил, и пожалел, и дал защиту, но не хотелось ей произносить его имя, дабы не дразнить свирепого зверя,— и мгновенно горькая печаль сдавила ей сердце. Жив ли еще тот, по которому ее душа тоскует? Будучи в Баре, она знала, что жив, так как вскоре после отъезда Заглобы до нее дошел слух о Скшетуском вместе с вестями о победах грозного князя. Но сколько уже с той поры дней и ночей пролетело, сколько могло случиться сражении, сколько опасностей повстречаться! Сказать что-либо о нем мог теперь только Богун, которого спрашивать она не хотела, да и не осмелилась бы, наверно.

И голова ее упала на подушки.

— Ужель мне здесь узницей оставаться? — проговорила она со стоном. — Что я тебе, сударь, сделала, отчего ходишь за мной, будто судьба злая?

Казак поднял голову и заговорил тихо, голосом едва слышным:

— Что ты мне сделала, не знаю, зато знаю одно: коли я злая твоя судьба, то и ты для меня беда лихая. Не полюби я тебя, был бы свободен, как ветер в поле, и сердцем свободен, и душою волен, и прославлен, как сам Конашевич Сагайдачный. Личико твое — моя беда, очи твои — моя беда; ни воля, ни слава казацкая мне ни милы! На самых раскрасавиц не смотрел: ждал, пока ты вырастешь и панною станешь! Раз взяли мы галеру с молодичами одна другой лучше — самому султану их везли,— и ни одна не тронула сердце. Потешились с ними братья казаки, а потом я каждой камень на шею и в воду. Никого не боялся, ни на что не оглядывался — с басурманами воевал, брал добычу, был в степи, точно князь в замке. А сейчас что? Вот сижу здесь, твой раб, вымаливаю доброе слово и вымолить не могу — да и прежде не слыхивал, даже в те времена, когда тебя братья и тетка отдать

за меня хотели. Ой, девушка, будь ты ко мне иной, не сталось бы того, что стало, не перебил бы я родню твою, не связался с мужиками да с бунтарями, но из-за тебя я напрочь потерял разум. За тобой бы пошел, куда ни позвала, душу б свою подарил, кровь по капле отдал. А теперь вон оно как: сам с головы до ног шляхетской обгарен кровью, но раньше-то я одну татарву бил, а тебе привозил добычу — чтоб ты в золоте ходила да жемчугах, как херувим божий. Почему ж ты меня тогда не полюбила? Ой, тяжко, тяжко! Сердце на куски рвется. Ни с тобой жизни нет, ни без тебя, ни вдали, ни рядом, ни на горе, ни в долине, голубка ты моя, серденько! Прости, что я за тобой в Разлоги по-казацки пришел, с огнем и саблей, но пьян я был гневом на князей, да и горелку хлестал всю дорогу, тать несчастный. А потом, когда ты от меня сбежала, как пес выл, от еды отказывался, раны вскрылись — я только и знал, смерть-матушку просил сжалиться и прибрать меня. А ты хочешь, чтобы я теперь тебя отдал, чтобы сызнова потерял, голубка моя, мое серденько!

Атаман умолк, голос его пресекался, и только стон вырвался из груди, а Еленино лицо то заливалось краскою, то бледнело. Чем больше безмерной любви слышалось княжне в словах Богуна, тем шире развезалась перед нею пропасть — без дна, без надежды на избавление.

А казак, переведа дух, овладел собою и так продолжал:

— Проси, чего пожелаешь. Вон, гляди, как горница убрана,— все мое! Это добыча из Бара, на шести лошадях для тебя привез — проси, чего хочешь: злата желтого, дорогих нарядов, камней чистой воды, слуг покорных. Богат я, своего хватает, да и Кривонос не пожалеет добра, и Хмельницкий не поскупится, будешь не хуже княгини Вишневецкой. Замков, сколько захочешь, возьму, положу к ногам пол-Украины — хоть и казак я, не шляхтич, а как-никак атаман бунчужный, у меня десять тысяч молодцев под началом, поболее, чем под князем Яремой. Проси, чего угодно, только не убегай, только захоти быть со мною и полюбить меня, моя голубка!

Княжна приподнялась на подушках, бледней полотна, но нежное, чудное ее лицо такую несокрушимую выражало волю, такую гордость и силу, что голубка в ту минуту более походила на орлицу.

— Коли ты, сударь, ответа от меня ждешь,— промолвила она,— знай: хоть бы мне век пришлось лить слезы в твоей неволе, я никогда, никогда тебя не полюблю, и да поможет мне всевышний!

Богун несколько времени боролся с собою.

— Ты мне таких слов не говори! — хриплым голосом произнес он.

— Это ты мне не говори о своей любви — стыд меня берет, гнев и обида. Не про тебя я!

Атаман встал.

— А про кого же, княжна Курцевич? Кабы не я, чья б ты была в Баре?

— Кто мою жизнь спас, чтобы потом опозорить да свободы лишить, тот не друг мне, а враг лютей.

— А если бы тебя мужики убили? Подумать страшно!

— Нож бы меня убил, это ты его у меня вырвал!

— И ни за что не отдам! Ты должна быть моею,— пылко вскричал казак.

— Никогда! Лучше смерть.

— Должна быть и будешь.

— Никогда.

— Эх, кабы не твоя рана, после слов таких я б сегодня же послал молодцев в Рашков и монаха велел силой пригнать, а к завтраму был бы твоим мужем. Та и что? Мужа грех не любить, не голубить! Эко, вельможная панна, для тебя казацкая любовь — стыд и обида! А кто ты такая, чтобы меня считать холопом? Где твои замки, войска, бояре? Почему стыд? Отчего обида? Я тебя на войне взял, ты полонянка. Ой, был бы я простой мужлан, нагайкой бы тебя по белой спине уму-разуму поучил и без ксендза красой твоей наслаждался — если б мужик был, не рыцарь!

— Ангелы небесные, спасите! — прошептала княжна.

Меж тем ярость все явственнее обозначалась на лице атамана — гнев его рвался наружу.

— Знаю я,— продолжал он,— почему ты противишься мне, почему моя любовь тебе обидна! Для другого свою девичью честь бережешь — но не бывать тому, не будь я казак, клянусь жизнью! Голь перекатная шляхтич твой! Пустобрех! Лях лукавый! Пропади он пропадом! Едва глянул, едва покружил в танце, и уже она, вся как есть, его, а ты, казак, терпи, колотись лбом об стенку! Ничего, я до него доберусь — шкуру прикажу содрать да распялить. Знай же: Хмельницкий войною идет на ляхов, а я с ним — и голубка твоего разыщу хоть под землю, а ворочусь, вражью его голову под ноги тебе кину.

Елена не услышала последних слов атамана. Боль, гнев, раны, волнение, страх лишили ее сил — ужасная слабость разлилась по телу, свет в глазах померк, сознание помутилось, и она упала без чувств на подушки.

Атаман все стоял, белый от ярости, с пеною на губах; вдруг он заметил эту неживую, бессильно запрокинутую голову, и из уст его вырвался рык почти нечеловеческий:

— В же по неї! Горпына! Горпына! Горпына!

И Богун грянулся оземь.

Исполника опроретью влетела в горпыцу.

— Що з тобою?

— Спаси! Помогі! — кричал Богун. — Убил я ее, душеньку мою, світло моє!

— Що ти, здурів?

— Убил, убил! — стонал атаман, ломая над головой руки.

Но Горпына, подойдя к княжне, миг поняла, что не смерть это, а лишь глубокий обморок, и, вытолкнув Богуна за дверь, начала приводить девушку в чувство.

Минуту спустя княжна открыла глаза.

— Ну, до ю, ничего тебе не случилось,— приговаривала колдунья. — Видать, напугалась его и свет в очах помрачился, но помраченье пройдет, а здоровье вернется. Ты ж у нас как орех девка, тебе еще жить да жить, горя не ведая.

— Ты кто такая? — слабым голосом спросила Елена.

— Я? Слуга твоя — как атаман повелел.

— Где я?

— В Чертовом яре. Пустыня глухая окрест, никого, кроме его, не увидишь.

— А ты тоже живешь здесь?

— Это наш хутор. Донцы мы, мой брат полковничает у Богуна, добрыми молодцами верховодит, а мое место тут — теперь вот тебя караулить буду в золоченом твоём покое. Замест хаты терем! Глазам смотреть больно... Это он для тебя постарался.

Елена глянула на пригожее лицо девки, и показалось ей оно прямодушным.

— А будешь ко мне добра?

Белые зубы молодой ведьмы сверкнули в усмешке.

— Буду. Отчего не быть! — сказала она. — Но и ты будь добра к атаману. Эвои какой молодец, сокол ясный! Да он тебе...

Тут ведьма, наклонившись к Елене, принялась ей что-то нашептывать на ухо, а под конец разразилась громким смехом.

— Вон! — крикнула княжна.

ГЛАВА III

Утром по прошествии двух дней Горпына с Богуном сидели под вербой возле мельничного колеса и смотрели на вспененную воду.

— Гляди за ней, стереги, глаз не спускай, чтоб из яру ни ногой,— говорил Богун.

— В яру возле речки горловища узкая, а здесь места хватит. Вели горловину камнями засыпать, и будем мы как на дне горшка, а я для себя, коли понадобится, найду выход.

— Чем же вы здесь кормитесь?

— Черемис меж валунов кукурузу садит, виноград растит и птиц в силки ловит. И привез ты немало, ни в чем твоя пташка нужды знать не будет, разве что птичьего молока захочет. Не бойся, не выйдет она из яра, и никто о ней не прознает, лишь бы молодцы твои не проболтались.

— Я им поклясться приказал. Ребята верные: хоть ремни из спины крои, слова не скажут. Но ты ж сама говорила, к тебе люди за ворожбою приходят.

— Из Рашкова, часом, приходят, а иной раз кто прослышит, то и бог весть откуда. Но дальше реки не идут, в яр никто не суется, страшно. Ты видел кости. Были такие, что попробовали,— ихние это косточки лежат.

— Твоих рук дело?

— А тебе не один черт?! Кому поворожить, тот на краю ждет, а я к колесу. Чего увижу в воде, с тем приду и рассказываю. Сейчас и тебе погляжу, да не знаю, покажется ли что, не всякий раз видно.

— Лишь бы худого не углядела.

— Выйдет худое, не поедешь. И без того лучше б не ехал.

— Не могу. Хмельницкий в Бар письмо писал, чтобы я возвращался, да и Кривонос велел. Ляхи против нас идут с пре-
большою силой, стало быть, и нам надо держаться вместе.

— А когда воротиться?

— Не знаю. Великая будет битва, какой еще не бывало. Либо нам карачун, либо ляхам. Побьют они нас, схоронюсь здесь, а мы их — вернусь за своей зозулей и повезу в Киев.

— А коли погибнешь?

— На то ты и ворожи х а, чтобы мне наперед знать.

— А коли погибнешь?

— Раз м а т и р о д и л а!

— Ба! А что мне тогда с девкою делать? Шею ей свернуть, что ли?

— Только тронь — к волам прикажу привязать да на кол. Атаман угрюмо задумался.

— Ежели я погибну, скажи ей, чтоб меня простила.

— Эх, не в д я ч н а твоя полячка: за такую любовь и не любит. Я б на ее месте кобениться не стала, ха!

Говоря так, Горпына дважды ткнула атамана кулаком в бок и ощерила в усмешке зубы.

— Поди к черту! — отмахнулся казак.

— Ну, ну! Знаю, не про меня ты.

Богун засмотрелся на клокочущую под колесом воду, будто сам хотел прочесть свою судьбу в пене.

— Горпына! — сказал он немного погодя.

— Чего?

— Станет она обо мне тужить, как я поеду?

— Коль не хочешь по-казацки ее приневолить, может, оно и лучше, что поедешь.

— Не хочу, не могу, не смію! Она руки на себя наложит, знаю.

— Может, и впрямь лучше уехать. Она, пока ты здесь, знать тебя не желает, а посидит месяц-другой со мной да с Черемисом — куда как мил станешь.

— Будь она здорова, я бы знал, что делать. Привел бы попа из Рашкова да велел обвенчать нас, но теперь, боюсь, она со страху отдаст богу душу. Сама видала.

— Вот заладил! На кой ляд тебе поп да венчанье? Нет, худой ты казак! Мне здесь ни попа, ни ксендза не нужно. В Рашкове добруджские татары стоят, еще навлечешь на нашу голову басурман, а придут — только ты свою княжну и видел. И что тебе взбрело на ум? Езжай себе и возвращайся.

— Ты лучше в воду гляди и говори, чего видишь. Правду говори, не обманывай, даже если не жилец я.

Горпына подошла к мельничному желобу и подняла перекрывающую водоспуск заставку; тотчас резвый поток побежал по желобу вдвое скорее, и колесо стало поворачиваться живей, пока не скрылось совершенно за водяной пылью; густая пена под колесом так и закипела.

Ведьма устала черные свои глазищи в эту кипень и, схватившись за косы над ушами, принялась выкликать:

— Уху! Уху! Покажись! В колесе дубовом, в пене белой, в тумане ясном, злой ли, добрый ли, покажись!

Богун подошел поближе и сел с нею рядом. На лице его страх мешался с неудержимым любопытством.

— Вижу! — крикнула ведьма.

— Что видишь?

— Смерть брата. Два вола Донца на кол тащат.

— Черт с ним, с твоим братом! — пробормотал Богун, которому не терпелось узнать совсем другое.

С минуту слышен был только грохот бешено вертящегося колеса.

— Синяя у моего брата головушка, с и н е н ь к а, вороны его клюют! — сказала ведьма.

— Еще что видишь?

— Ничего... Ой, какой синий! Уху! Уху! В колесе дубовом, в пене белой, в тумане ясном, покажись... Вижу.

— Что?

— Битва! Ляхи бегут от казаков.

— А я за ними?

— И тебя вижу. Ты с маленьким рыцарем схватился. Эгей! Берегись маленького рыцаря.

— А княжна?

— Нету ее. А вон снова ты, а рядом тот, что тебя обманет лукаво. Друг твой неверный.

Богун то на пенные разводы глядел, то Горпыну пожирал глазами и напрягался мыслью, чтобы ворожке поспособить.

— Какой друг?

— Не вижу. Не разберу даже, молодой или старый.

— Старый! Вестимо старый!

— Может, и старый.

— Тогда я знаю, кто это. Он меня уже раз предал. Старый

шляхтич, борода седая и на глазу бельмо. Чтоб ему сдохнуть! Только он мне не друг вовсе.

— Подстерегает тебя — опять показался. Погоди! Вот и княжна! Она! В рутовом венке, в белом платье, а над нею ястреб.

— Это я.

— Может, п ты. Ястреб... Али сокол? Ястреб!

— Я это.

— Погоди. Ничего не видать больше... В колесе дубовом, в пене белой... Ого! Много войска, много казаков, ой, много, как деревьев в лесу, как в степи бодяка, а ты надо всеми, три бунчука перед тобою несут.

— А княжна при мне?

— Нету ее, ты в военном стане.

Снова наступило молчанье. От грохота колеса вся мельница содрогалась.

— Эка, крови-то сколько, крови! Трупов не счесть, волки над ними, вороны! Мор пришел страшный! Куда ни глянь, одни трупы! Трупы и трупы, ничего не видать, все кровью залито!

Внезапно порыв ветра смахнул туман с колеса, и тут же на пригорке над мельницей появился с вязанкою дров на плечах уродище Черемис.

— Черемис, опусти заставку! — крикнула девка.

И, сказавши так, пошла умыть лицо и руки, а карлик меж тем усмирил воду.

Богун сидел задумавшись. Очнулся только, когда подошла Горпына.

— Больше ничего не видала? — спросил он ее.

— Что показалось, то показалось, дальше и глядеть не надо.

— А не врешь?

— Головой брата клянусь, правду сказала. На кол Донца посадят — за ноги привяжут к волам и потащат. Эх, жаль мне тебя, братец. Да не одному ему написана смерть-то! Экая показалась тьма трупов! Отродясь не видела столько! Быть великой войне на свете.

— А у нее, говоришь, ястреб над головою?

— Ну.

— И сама в венке была?

— В веночке и в белом платье.

— А откуда ты знаешь, что я — этот ястреб? Может, тот лях молодой, шляхтич, о котором ты от меня слышала?

Девка насушила брови и задумалась.

— Нет, — сказала она, тряхнув головою, — коли б був лях, то б и був орел.

— Слава богу! Слава богу! Ладно, пойду к ребятам, велю лошадей готовить в дорогу. Стемнеет, и поедем.

— Беспременно, значит, решил ехать?

— Хмель приказывал, и Кривонос тоже. Сама видела: быть великой войне, да и в Баре я про то ж прочитал в письме от Хмеля.

Богун на самом деле читать не умел, но стыдился этого — слыть простецом атаману не хотелось.

— Ну и езжай! — сказала ведьма. — Счастливый ты — гетманом станешь: три бунчука над тобой как свои пять пальцев видала!

— И гетманом стану, п княжну за жінку возьму — не мужичку брать же.

— С мужичкой ты б не так разговаривал — а с этой ро- беешь. Ляхом бы тебе уродиться.

— Я же не гірший.

Сказавши так, Богун пошел к своим молодцам в конюшню, а Горпына — к плите, стирать.

К вечеру лошади были готовы в дорогу, но атаман не спешил с отъездом. Он сидел на груди ковров в светлице с торбаном в руке и глядел на свою княжну, которая уже поднялась с постели, но, забившись в дальний угол, шептала молитву, несколько не обращая внимания на атамана, будто его и не было вовсе. Он же со своего места следил за каждым ее движеньем, каждый вздох ловил — и сам не знал, что с собою делать. Всякую минуту открывал рот, намереваясь завести разговор, но слова застревали в горле. Смущало атамана бледное, немое лицо суровостью своею, что затаилась в бровях и устах. Таким его Богун не видывал прежде. И невольно припомнились ему былые вечера в Разлогах, словно въяве в памяти встали. Вот сидят они с Курцевичами за дубовым столом. Старая княгиня подсолнухи лущит, князя кидают кости из чарки, он же, все равно как сейчас, с прекрасной княжны глаз не сводит. Но в те времена и он бывал счастлив — в те времена, когда он рассказывал, как ходил с сечевиками в походы, она слушала, а порой и взор черных своих очей на его лицо обращала, и малиновые ее уста открывались, и видно было, что рассказы эти ей интересны. Теперь же и не взглянет. Тогда, бывало, когда он на торбане играл, она и слушала, и глядела, а у него аж таяло сердце. И вот ведь чудеса какие: невольница, его полонянка, — приказывай, что пожелаешь! — но тогда он, казалось, ближе ей был, чуть ли не ровней! Курцевичи были ему братья, стало быть, и она, ихняя сестра, не только зозулей, горлицей, милушкой чернобровой для него была, но и сродственницей как бы. А нынче сидит перед ним гордая, пасмурная, безмолвная, немилосердная панна. Ой, закипает в нем гнев, закипает! Показать бы ей, как казаком гнушаться, но он жестокосердную эту панну любит, кровь за нее готов отдать, и сколько б ни вздымалась в груди ярость, всякий раз невидимая рука за чуб схватит, неведомый голос гаркнет «стой!» в самое ухо. А если и вспыхивал, как пламень, потом бился головой о землю. Тем и кончалось. Вот и не находит

себе казачина места — чуется его сердце: тяжело ей с ним под одною крышей. Ну что б улыбнулась, молвила доброе слово — он бы ей в ноги кинулся и к черту в пасть поехал, лишь бы кручину свою, гнев, унижение в ляшской крови утопить бесследно. А здесь, перед этой княжною, он раба хуже. Кабы ее не знал прежде, кабы то была взята в какой-нибудь шляхетской усадьбе полячка, он бы куда был смелее, но это княжна Елена, за которую он челом Курцевичам бил, за которую и Разлоги, и все, чем богат, отдать рад. Тем зазорнее холопом при ней себя чувствовать, тем пуще он подле нее робеет.

Время идет, за дверями хаты слышны голоса казаков, которые, верно, уже в кульбаках сидят и ждут атамана, а атаман муку терпит. Яркий свет лучины падает на его лицо, на богатый кунтуш, на торбан, а она хоть бы взглянула! Горько атаману, злоба душит, и тоскливо, и стыдно. Хочется попрощаться ласково, да страшно, боится он, что не будет это прощанье таким, какого душа желает, что уедет он с досадою, с болью, со гневом в сердце.

Эх, кабы то был кто другой, а не княжна Елена, не княжна Елена, ударившая себя ножом, руки на себя грозящая наложить... Да только мила она ему, и чем безжалостней и надменнее, тем милее!

Вдруг конь заржал под окошком.

Атаман собрался с духом.

— Княжна, — сказал он, — мне пора ехать.

Елена молчала.

— Не скажешь мне: с богом?

— Езжай, сударь, с богом! — ровным голосом проговорила Елена.

У казака сжалось сердце: этих слов он ждал, но сказаны они должны были быть по-иному!

— Знаю я, — молвил он, — гневаешься ты на меня, ненавидишь, но, поверь, другой был бы к тебе во сто крат злее. Привез я тебя сюда, потому как не мог иначе, но скажи: что я тебе худого сделал? Вроде обходился по чести, ровно с королевной... Неужто такой я злодей, что словом добрым подарить не хочешь? А ведь ты в моей власти.

— В божьей я власти, — сказала она с той же, что и прежде, серьезностью, — а за то, что ты, сударь, при мне сдерживаешь себя, благодарствуй.

— Ладно, и на том спасибо. Поеду. Может, пожалеешь еще, затоскуешь!

Елена молчала.

— Тяжко мне тебя здесь одну оставлять, — продолжал Богун, — тяжело уезжать, но дело не терпит. Легче было бы, когда бы ты улыбнулась, благословила от чистого сердца. Что сделать, чем заслужить прощенье?

— Верни мне свободу, а господь тебе все простит, и я прощу, и всяческого добра пожелаю.

— Что ж, может, так оно еще и случится,— сказал казак,— может, еще пожалеешь, что ко мне была столь сурова.

Богун попытался купить прощальную минуту хотя бы ценой неопределенного обещанья, сдерживать которое он и не думал,— и своего добился: огонек надежды сверкнул в очах Елены, и лицо ее немного смягчилось. Она сложила на груди руки и устремила свой ясный взор на атамана.

— Если б ты...

— Ну, не знаю... — проговорил казак едва слышно, потому что горло его стеснили разом и стыд, и жалость. — Пока не могу, не могу — орда стоит в Диком Поле, чамбулы повсюду рыщут, от Рашкова добруджские татары идут — не могу, страшно, погоди, ворочусь вот... Я подле тебя дитина. Ты со мной что захочешь можешь сделать. Не знаю!.. не знаю!..

— Да поможет тебе господь, да не оставит тебя пресвятая дева... Езжай с богом!

И протянула ему руку. Богун подскочил и прильнул к ней губами, когда же поднял внезапно голову, встретил холодный взгляд — и выпустил руку. Однако, пятясь к двери, кланялся в пояс, по-казацки, на пороге еще бил поклоны, пока за завесью не скрылся.

Вскоре говор за окном сделался громче, послышалосьбряцанье оружия, а потом и подхваченная десятком голосов песня:

Буде слава славна
Поміж козаками,
Поміж друзьями,
На довгій літа,
До кінця віка...

Голоса и конский топот все более отдалялись и затихали.

ГЛАВА IV

— Чудо господь однажды над нею уже явил,— рассуждал Заглоба, сидя на квартире Скшетуского с Володыёвским и Подбипяткой. — Сущее, говорю, сотворил чудо, дозволив мне из вражьих рук ее вырвать и на пути опасностей избежать; будем же уповать, что и далее ей и нам свою милость окажет. Лишь бы жива осталась. А что-то мне как подшептывает, будто Богун ее снова похитил. Судите сами: языки сказывали, он после Полюяна сделался Кривоносу первый пособник,— чтоб ему черти в ад попасть пособили! — стало быть, во взятии Бара участвовал всенепрременно.

— Да нашел ли он ее в толпе несчастных? Там ведь тысяч двадцать порешили,— заметил Володыёвский.

— Ты его, сударь, не знаешь. А я поклясться готов: он проведет, что княжна в Баре. Да-да, иначе и быть не может: он ее от резни спас и увез куда-то.

— Не больно ты нас порадовал, ваша милость, я бы на месте Скшетуского предпочел, чтоб она погибла, нежели попала в поганые атамановы руки.

— А это еще хуже: если погибла, то обещанной...

— Беда! — промолвил Володыёвский.

— Ох, беда! — повторил пан Лонгинус.

Заглоба принялся теребить ус и бороду и вдруг взорвался:

— Чтoб их от мала до велика короста изъела, сучье племя, чтoб из ихних жил понаделали тетив басурманы! Бог создал все народы, но этот — не иначе, как сатаны творенье, содомиты, дявольское отродье! Да оскудеют чрева у матерей их, всех до единой!

— Не знал я прелестной сей панны, — печально проговорил Володыёвский, — но уж лучше б меня самого беда постигла.

— Я ее только раз в жизни и видел, но как вспомню, такая жалость берет — прямо жить несладко! — сказал пан Лонгинус.

— Это вам! — воскликнул Заглоба. — А каково мне, когда я отеческим чувством к ней проникся и, можно сказать, вытаснял на своих плечах из беды?.. Мне-то каково?

— А каково Скшетускому? — спросил Володыёвский.

Долго так сокрушались рыцари, а потом надолго умолкли. Первым опаматовался Заглоба.

— Неужто, — спросил он, — ничего нельзя сделать?

— Если ничего нельзя сделать, долг наш — отместить, — ответил Володыёвский.

— Скорей бы господь послал сраженье! — вздохнул пан Лонгинус. — Говорят, будто татары уже переправились и в полях кошом стали.

На что Заглоба:

— Нет, не можно так бедняжку оставить, ничего не предприняв для ее спасенья. Довольно я старые свои кости наломал, таскаясь по свету, мне б теперь боковать в тепле да в покое, но ради бедняжки этой... Да я хоть в Стамбул опять побреду, хоть наново в мужицкую обряжусь сермягу и торбан возьму, на который глядеть не могу без омерзенья.

— Ваша милость у нас на всяческие горазд затей, измысли что-нибудь, — сказал Подбиятка.

— Да мне не счастье, сколько разных уловок на ум приходит. Знай князь Доминик половину, Хмельницкий давно бы со вспоротым брюхом на виселице болтался. Я и со Скшетуским говорил, только с ним сейчас толковать бесполезно. Болесть сердечная в нем угнездилась и грызет пуще хворобы. Вы за ним приглядывайте: как бы рассудком не повредился. Подчас

от большого горя менс¹ начинает бродить, как вино, покамест совсем не прокиснет.

— Бывает такое, бывает! — промолвил пан Лонгинус.

Володыёвский заерзал нетерпеливо на месте и спросил:

— Так что же ты, сударь, придумал?

— Что придумал? А вот что: первым долгом надлежит узнать, жива ли еще бедняжка наша, — да хранят ее ангелы ото всякого зла! — а узнать это можно двояко: либо отыскать среди княжьих казаков надежных и верных людей, которые согласятся, выдав себя за перебежчиков, пристать к Богуновым молодцам и чего-нибудь от них дознаться...

— У меня есть среди драгун русины! — перебил его Володыёвский. — Я найду нужных людей.

— Погоди, сударь... Либо взять языка из тех супостатов, что злодействовали в Баре: вдруг им чего известно. Эти все в Богуне души не чают, люб им его нрав сатанинский; песни о нем поют — чтоб им глотки позатыкало! — да о подвигах его, какие были и каких не было, балбонят. Если он бедняжку нашу похитил, они наверняка об этом слыхали.

— Так можно и людей послать, и насчет языка постараться, одно другому не мешает, — заметил пан Лонгинус.

— В самую точку попал, сударь. Узнаем, что она жива. — почитай, полдела сделано. А вы, друзья любезные, коли врямя Скшетускому помочь хотите, извольте следовать моему указу, ибо у меня опыта побольше вашего. Переоденемся мужиками и попробуем разнюхать, где он ее прячет, а доберемся до места — наша будет, об этом уж я позабочусь. Одно только плохо — нас со Скшетуским Богун помнит; не приведи господь узнает — матери родные потом узнать не смогут, зато вас, судари мои, ни того, ни другого он в глаза не видел.

— Меня видел, — сказал Подбипятка, — но это дела не меняет.

— Может, даст бог, сам попадетсЯ к нам в руки! — воскликнул Володыёвский.

— А я на него и глядеть не желаю, — продолжал Заглоба, — пускай любитсЯ заплечных дел мастер! Но действовать надо осторожно, дабы всего предприятия не испортить. Не может такого быть, что ему одному известно, где княжна, а что безопаснее спрашивать у кого другого, за это я вам, любезные господа, ручаюсь.

— Возможно, и наши посланцы кое-чего прознают. Если только князь даст позволение, я отберу надежных людей и хоть завтра отправлю.

— Князь позволит, но узнают ли они что, сомневаюсь. Послушайте-ка, милостивые государи, меня совсем иная мысль осеняла: чем людей посылать да охотиться за языкамц, давайте

¹ дух (лат.).

сами наденем мужицкое платье и двинемся в путь, не медля.

— Нет, это никак невозможно! — вскричал Володыёвский.

— Почему же?

— Видно ты, сударь, военной службы не знаешь. Когда хоругви собираются *nemine exserto*¹, это святое дело. Рыцарь, хоть бы у него отец с матерью на смертном одре лежали, перед решающей битвой не станет в отпуск проситься — нет большего для солдата позора. После сражения, когда неприятель разгромлен, — ради бога, но никак не прежде. И заметь, сударь: Скшетускому не меньше тебя хотелось сорваться и лететь на розыски милой, но он об этом и не заикнулся даже. Кажется, добрую славу уже стяжал, князь его любит, а ведь словом не обмолвился, потому что долг свой знает. Это, понимаешь ли, общее дело, а то — приватное. Не знаю, как где, хотя полагаю, везде одно и то же, но чтоб у князя нашего воеводы кто-нибудь, а тем паче офицер, увольнения перед битвой просил — такого еще не бывало! Да рвись у Скшетуского душа на части, он с этим не пойдет к князю.

— Римлянин он и ригорист, знаю, — сказал Заглоба, — но если бы кто князю шепнул словечко, может, он бы и его, и вас, любезные судари, отпустил безо всякой просьбы.

— Князю и на ум не придет такое! У него вся Речь Посполитая на плечах. Неужто, полагаешь, теперь, когда делам величайшей важности, поистине всенародным, предстоит решаться, он чьими-то личными интересами займется? А даже если бы, в чем сомневаюсь, по своему почину дал увольнение, ни один из нас, как бог свят, лагеря бы сейчас не покинул: мы тоже первой всего не себе обязаны служить, а отчизне нашей несчастной.

— Понимаю я все прекрасно, сударь мой, и не первый депь состою на службе, потому и сказал, что мысль эта лишь мелькнула в голове — но не сказал, что она там засела. К тому же, если подумать, покуда разбойничья рать стоит нерушима, многого нам все равно не добиться, а вот когда неприятель будет разбит и, преследуемый по пятам, только о спасении своей шкуры заботиться станет, тогда смело можно в его ряды затесаться — и у них языки развяжутся легче. Скорей бы только остальные войска подтянулись, не то мы под этим Чолганским Камнем вконец изведемся. Будь нашего князя воля, мы бы уже давно в пути находились, а князя Доминика нескорю дождемся, он, видать, привалы устраивает по пять раз на дню.

— Его в ближайшие три дня ожидают.

— Дай-то бог поскорее! А коронный подचाший сегодня, как жется, подойти должен?

— Сегодня.

¹ в полном составе (лат.).

В эту минуту дверь отворилась и вошел Скшетуский.

Черты его как будто страдание высекло из камня — таким от них веяло холодом и спокойствием.

Странно было глядеть на юное это лицо, столь суровое и серьезное, что казалось, на нем никогда не являлась улыбка; вряд ли даже бы смерть, коснувшись его, что-либо в этих чертах изменила. Борода у пана Яна отросла до половины груди, и средь волоса, черного как вороново крыло, кое-где вились серебряные нити.

Соратники и верные его сотоварищи лишь догадывались о страданиях друга — но нему самому ничего нельзя было сказать. Был он ровен и с виду спокоен, солдатскую службу нес едва ли не ревностнее обычного и казался полностью поглощен предстоящей войною.

— Мы тут, сударь, о твоей беде говорили, каковую в равной мере своей считаем, — сказал Заглоба. — Ничто нам не в радость, бог свидетель. Однако бесплодны были б чувства наши, кабы мы тебе единственно слезы лить помогали, — вот и решили кровь пролить, а бедняжку, ежели она еще по земле ходит, из неволи вырвать.

— Да вознаградит вас господь, — промолвил Скшетуский.

— Хоть к Хмельницкому в лагерь с тобой поедем, — добавил Володыёвский, с тревогой поглядывая на друга.

— Да вознаградит вас господь, — повторил тот.

— Мы знаем, — продолжал Заглоба, — что ты поклялся отыскать ее живой или мертвой, и готовы хоть сей же час...

Скшетуский, присев на лавку, устался в землю и не проронил в ответ ни слова — Заглобу аж зло взяло. «Неужто забыть ее хочет? — подумал старый шляхтич. — Если так, вразуми его всевышний! Нету, видать, ни благодарности, ни памяти на свете. Но ничего, найдутся такие, что ей на выручку поспешат, — я первый, пока таскаю ноги...»

В комнате воцарилось молчанье, нарушаемое только вздохами Подбинытки. Наконец маленький Володыёвский приблизился к Скшетускому и потянул за плечо.

— Ты откуда? — спросил он.

— От князя.

— И что?

— В ночь выхожу с разъездом.

— Далечно?

— Под Ярмолинцы, если дорога свободна.

Володыёвский поглядел на Заглобу, и они без слов поняли друг друга.

— Это в сторону Бара? — пробормотал Заглоба.

— Мы пойдем с тобою.

— Прежде за разрешением сходи и узнай, не предназначил ли тебе князь иного дела.

— Пошли вместе. Мне еще кое о чем его спросить надо.

— И мы с вами,— сказал Заглоба.

Все поднялись и пошли. Княжеская квартира была недалеко, на другом конце лагеря. В передней комнате толпились офицеры из разных хоругвей: войска отовсюду стекались к Чолганскому Камню, всяк спешил под знамена князя. Володыёвскому пришлось подождать порядком, прежде чем они с паном Лонгином были допущены к его светлости, зато князь сразу позволил и им самим ехать, и нескольких драгун-русинов послать, чтобы те, за перебежчиков себя выдав, пристали к Богуновым казакам и о княжне разузнать постарались. Володыёвскому же он сказал:

— Я сам разные дела выискиваю для твоего друга, ибо вижу, тоска в нем засела и душу точит, а жаль мне его несказанно. Не говорил он с вами о княжне?

— Можно считать, нет. В первую минуту чуть было не помчался очертя голову к казакам, но припомнил, что сейчас хоругви собираются *perine excerto* и спасение отчины — первая наша обязанность, потому и к твоей светлости не являлся. Господь один только знает, что в его душе творится.

— И тяжкие шлет испытанья. Вижу, ты ему верный друг — береги же его, сударь.

Володыёвский низко поклонился и вышел, так как в эту минуту в комнату вошли киевский воевода со старостой стобинским, с паном Денхофом, старостой сокальским, и еще несколько высших офицеров.

— Ну что? — спросил его Скшетуский.

— Еду с тобой, только загляну к своим: надо несколько человек кое-куда отправить.

— Идем вместе.

Они вышли, а с ними Подбиятка, Заглоба и старик Зацвилюховский, который направлялся в свою хоругвь. Невдалеке от палаток драгунской хоругви Володыёвского друзьям встретился пан Лац в сопровождении десяти или пятнадцати шляхтичей; рыцарь сей не столько продвигался вперед, сколько выписывал кренделя: и он, и спутники его были совершенно пьяны. Заглоба, увидя такую картину, не сдержал вздоха. Они с коронным стражником сдружились еще под Староконстантиновом, ибо в некотором отношении натуры их были схожи как две капли воды. Пан Лац, бесстрашный воин, сущая гроза басурман, был при том отъявленнейший гуляка, игрок и бражник, более всего любивший свободное от сражений, молитв, набегов и потасовок время проводить в кругу таких людей, как Заглоба, пить горькую и балагурства слушать. Будучи великим смутьяном, он один учинил столько беспорядков, столько раз нарушал закон, что в любом другом государстве давно поплатился бы головою. Не одна висела на нем кондезната, но он даже в мирное время не придавал этому никакого значения, а во время войны его прегрешения и вовсе забылись. С князем Лац соединился еще в Росоловцах и немалую помощь под Староконстантиновом оказал,

но с той поры, как расположился в Эбараже на отдых, сделался невыносим из-за вечно затеваемых им скандалов. А уж сколько у него Заглоба вина выпил, сколько понарасказывал басен к великому удовольствию хозяина, который его к себе приглашал ежедневно, того и не сочтешь, и пером не опишешь.

Но когда пришло известие о взятии Бара, Заглоба приуныл, помрачнел, утратил былой задор и более у стражника не появлялся. Тот думал даже, что весельчак шляхтич оставил службу в войске, а тут вдруг увидел его пред собою.

Протянув руку, он промолвил:

— Приветствую тебя, любезный сударь. Что поделываешь? Отчего ко мне не заглянешь?

— Да вот, сопровождаю пана Скшетуского,— угрюмо отвечал Заглоба.

Стражник не любил Скшетуского за степенный нрав и прозвал разумником, хотя о несчастье его знал прекрасно, так как присутствовал на том самом пиршестве в Эбараже, когда разнеслась весть о взятии Бара. Однако, будучи по природе своей несдержан, а в ту минуту вдобавок пьян, не пожелал чужое горе уважить и, ухвативши наместника за пуговицу жупана, спросил:

— Что, брат, все по девке плачешь?.. А хороша была, признайся?

— Пусти меня, милостивый сударь,— сказал Скшетуский.

— погоди.

— На службе находясь, не волен я с исполнением приказа его светлости ясновельможного князя мешкать.

— погоди! — повторил Лац с упорством пьяного человека. — Ты на службе, не я. Мне здесь никто приказывать не смеет.

После чего, понизив голос, повторил вопрос:

— Хороша была, а?

Брови поручика сошлись на переносье.

— Мой тебе совет, сударь: не касайся больного места.

— Больного места не касаться? Да ты зря горюешь. Хороша была — жива, значит.

Лицо Скшетуского покрылось смертельной бледностью, но он сдержал себя и молвил:

— Сударь... как бы мне не забыть, с кем честь имею...

Лац вытаращил глаза.

— Ты что? Грозишься? Мне?.. Из-за какой-то потаскушки?

— Иди-ка, пан стражник, своей дорогой! — гаркнул, дрожа от злости, старый Зацвилеховский.

— Ах вы, голодранцы, сермяжники, холуи! — завопил стражник. — За сабли, господа!

И, выхватив свою, бросился на Скшетуского, но в то же мгновение в руке пана Яна засвистело железо и сабля стражника птицею взмыла в воздух, сам же он пошатнулся и с размаху грянулся во весь рост на землю.

Скшетуский не стал его добивать; он застыл в каком-то дурмане, белый как полотно, а вокруг меж тем закипела буча. С одной стороны подскочили спутники стражника, с другой, точно пчелы из улья, налетели драгуны Володыёвского. Раздались возгласы: «Бей их, бей!» Подбежали еще какие-то люди, даже и не зная, в чем дело. Зазвенели сабли, стычка грозила превратиться во всеобщее побоище. К счастью, приятели Лаца, видя, что людей Вишневецкого все прибывает, протрезвев со страху, подхватили стражника и обратились в бегство.

По всей вероятности, имей стражник дело с другими солдатами, менее приученными к дисциплине, его бы в куски изрубили, но старый Зацвилюховский, опомнясь, только крикнул: «Стой!» — и сабли попрыгали в ножны.

Тем не менее весь лагерь пришел в волнение: слух о схватке достиг княжьих ушей. Кушель, несший караульную службу, вбежал в комнату, где князь совещался с киевским воеводой, старостой стобницким и Денхофом, и крикнул:

— Ваша светлость, солдаты на саблях дерутся!

Следом за ним пулей влетел бледный, обеспамятевший от бешенства, но уже протрезвевший коронный стражник.

— Ваша светлость, я требую справедливости! — кричал он. — В этом лагере хуже, чем у Хмельницкого, — ни к родовитости почтения нету, ни к сану! Саблями сановников рубят! Ежели ты, ясновельможный князь, справедливости мне не окажешь и не повелишь обидчиков предать смерти, я сам с ними расправлюсь.

Князь стремительно встал из-за стола.

— Что случилось? Кто на тебя напал, сударь?

— Твой офицер — Скшетуский.

На лице князя изобразилось неподдельное изумление.

— Скшетуский?

Внезапно дверь отворилась и вошел Зацвилюховский.

— Твоя светлость, я был всему свидетель! — сказал он.

— Я сюда не объясняться пришел, а требовать наказания! — вопил Лац.

Князь повернулся к стражнику и смерил его взглядом.

— Спокойней, спокойней! — негромко, но твердо проговорил он.

Было что-то страшное в его глазах и приглушенном голосе, отчего стражник, хоть и славившийся своею дерзостью, вмиг умолк, точно потерял дар речи, а прочие побледнели.

— Говори, сударь! — обратился князь к Зацвилюховскому.

Зацвилюховский рассказал во всех подробностях, как стражник, движимый неблагоприятными и не только человека знатного, но и простого шляхтича недостойными побуждениями, стал глумиться над бедой Скшетуского, а затем бросился на него с саблей; рассказал и какую сдержанность, поистине несвойственную

его годам, проявил наместник, ограничишь лишь тем, что выбил из руки зачинщика оружие. В заключение старик сказал:

— Ваша светлость меня не первый день знает: доживши до семидесяти лет, я ложью своих уст не осквернил и не оскверню, пока буду жив, посему и под присягой в своей реляции не изменю ни слова.

Князю известно было, что Зацвилеховский слов на ветер не бросает, да и Лаца он чересчур хорошо знал. Но ответа сразу не дал, лишь взял перо и начал писать.

Закончив, он взглянул на стражника и молвил:

— Будет тебе, сударь, оказана справедливость.

Стражник разинул было рот с намерением ответить, но почему-то не нашел, что сказать, только упер руку в бок, поклонился и гордо вышел.

— Желенский! — приказал князь. — Отнесешь письмо пану Скшетускому.

Володыёвский, ни на минуту не оставлявший наместника, несколько встревожился, увидев входящего княжеского слугу, ибо уверен был, что их немедля призовут к князю. Однако слуга лишь вручил письмо и, ни слова не говоря, вышел, а Скшетуский, прочитав послание, подал его другу.

— Читай, — сказал он.

Володыёвский глянул и воскликнул:

— Назначение в поручики!

И, обхвативши Скшетуского за шею, расцеловал в обе щеки.

Поручик в гусарских хоругвях считался почти высшим военным чином. В той хоругви, где служил Скшетуский, ротмистром был сам князь Иеремия, а номинальным поручиком — пан Суффчинский из Сенчи, который, будучи в преклонных летах, действительную службу давно оставил. Пан Ян долгое время исполнял обязанности того и другого, что, впрочем, в подобных хоругвях, где старшие два чина зачастую были лишь почетными титулами, случалось сплошь и рядом. Ротмистром королевской хоругви бывал сам король, примасовской — примас, поручиками — высшие придворные вельможи, а на деле командовали хоругвями наместники, которых оттого чаще всего называли поручиками и полковниками. Таким поручиком, то бишь полковником, и был по сути Скшетуский. Но лица, только исполнявшие эти должности, в меньшем были почете: между званием, утвердившимся в обиходе, и присвоенным по всей форме существовала немалая разница. Отныне же, в силу княжеского приказа, Скшетуский становился одним из первых офицеров князя воеводы русского.

Однако в то время как приятели, поздравляя Скшетуского с оказанной ему честью, от радости так и сияли, его лицо ни на секунду не переменяло выраженья и по-прежнему оставалось застывшей суровой маской: не было на свете таких почестей и чинов, от которых бы оно просветлело.

Все же он встал и отправился благодарить князя, а маленький Володыёвский тем часом расхаживал по его квартире, потирая руки.

— Ну и ну! — приговаривал он. — Поручик гусарской хоругви! Кто еще в столь молодые лета такого бывал удостоен?

— Лишь бы только господь возвратил ему счастье! — сказал Заглоба.

— То-то и оно! Вы заметили, у него ни единый мускул не дрогнул.

— Он бы предпочел отказаться, — сказал пан Лонгинус.

— И не диво! — вздохнул Заглоба. — Я бы сам за нее вот эту руку, которой знамя захватил, отдал.

— Воистину!

— А что, пан Суффчинский, должно быть, скончался? — заметил Володыёвский.

— Видачь, скончался.

— Кто же наместником будет? У хорунжего молого на губах не обсохло, да и в должности он без году неделя.

Вопрос остался нерешенным. Ответ на него принес, воротясь, сам поручик Скшетуский.

— Досточтимый сударь, — сказал он Подбииятке, — князь наместником твою милость назначил.

— О боже! — простонал пан Лонгинус, молитвенно складывая руки.

— С тем же успехом можно назначить и его лифляндскую кобылу, — пробормотал Заглоба.

— Ну, а что с разездом? — спросил Володыёвский.

— Выезжаем без промедленья, — ответил Скшетуский.

— Людей много приказано взять?

— Одну казацкую хоругвь и одну валашскую, разом пятьсот человек будет.

— Э, да это целая экспедиция — не разезд! Что ж, коли так, пора в дорогу.

— В дорогу, в дорогу! — повторил Заглоба. — Может, с божьей помощью какую весточку раздобудем.

По прошествии двух часов, когда солнце уже клонилось к закату, четверо друзей выезжали из Чолганского Камня в направлении на юг; почти одновременно покидал лагерь коронный стражник со своими людьми. За их отъездом, не скупясь на восклицания и злые насмешки, наблюдало множество рыцарей из разных хоругвей; офицеры обступили Кушеля, который рассказывал, по какой причине был изгнан стражник и как это происходило.

— Я к нему был послан с приказом князя, — говорил Кушель, — и, поверьте, миссия эта оказалась весьма *periculosa*; ¹ он, едва прочитал, взревел точно вол, клейменный железом. И на ме-

¹ опасна (лат.).

ня с чеканом — чудом не ударил, должно быть, увидел за окном немцев Корицкого и моих драгун с пищалями на изготовку. А потом как заорет: «Ладно! Пускай! Гоните? Я уйду! К князю Доминику поеду, он меня любезнее примет! И без того, говорит, омерзело служить с голью, а за себя, кричит, отомщу, не будь я Лаццем! И от юнца этого потребу юдовлетворения!» Я думал, его желчь зальет — весь стол чеканом изрубил от злости. Боязно мне, признаться: как бы с паном Скшетуским не случилось чего худого. Со стражником шутки плохи: горд, злонаравен, оскорбленный спускать не привык, да и сам не из робких, к тому же высокого звания...

— Да что Скшетускому может сделаться *sub tutela*¹ самого князя! — возразил один из офицеров. — И стражник, сколько бы ни куражился, вряд ли рискнет связываться с такою персоной.

Тем временем поручик, ничего не ведая об угрозах стражника, отдалялся со своим отрядом от лагеря, держа путь к Ожиговцам, в сторону Южного Буга и Медведовки. Хотя сентябрь позолотил уже листья деревьев, ночь настала теплая и погожая, будто в июле; такой выдался тот год: зимы как бы и не было, а весною все зацвело в ту пору, когда в прошлые годы в степях еще глубокие снега лежали. Дождливое лето сменилось осенью сухой и мягкой, с тусклыми днями и ясными лунными ночами. Отряд подвигался по ровной дороге, особенно не сторожась, — вблизи лагеря ждать нападения не приходилось; лошади бежали резво, впереди ехал наместник с десятком всадников, за ним Володыёвский, Заглоба и пан Лонгинус.

— Гляньте-ка, братцы, как освещен луною тот взгорок, — шептал Заглоба, — словно в белый день, ей-богу. Говорят, только в войну бывают такие ночи, чтобы души, отлетая от тел, не разбивали в потемках лбы о деревья, как воробьи об стропила в овине, и легче находили дорогу. Вдобавок нынче пятница, спасов день: ядовитым испареньям из земли выхода нету, и нечистая сила к человеку доступа не имеет. Чувствую, полегчало мне, и надежда в душу вступает.

— Главное, мы стронулись с места и хоть что-нибудь для спасенья княжны предпринять можем! — заметил Володыёвский.

— Хуже нет горевать, сиднем сидя, — продолжал Заглоба, — а на лошади тебя потрясет — глядь, отчаяние спустится в пятки, а там и высыплется вовсе.

— Не верю я, — прошептал Володыёвский, — что так легко от всего избавиться можно. Чувство, *exemplum*², будто клещ впиивается в сердце.

— Ежели чувство подлинное, — изрек пан Лонгинус, — хоть ты с ним схватись, как с медведем, все равно одолеет.

¹ под покровительством (лат.).

² к примеру (лат.).

Сказавши так, литвин вздохнул — вздох вырвался из его переполненной сладкими чувствами груди, как из кузнечного меха, — маленький же Володыёвский возвел очи к небу, словно желая отыскать среди звезд ту, что светила княжне Барбаре.

Лошади вдруг дружно зафыркали, всадники хором ответили: «На здоровье, на здоровье!» — и все стихло, покуда чей-то печальный голос не затянул в задних рядах песню:

Едешь на войну, бедняга,
Слешь воевать,
Будешь днем рубить казака
И под небом спать.

— Старые солдаты сказывают: лошадь фыркает к добру, и отец мой покойный, помнится, говорил так же, — промолвил Володыёвский.

— Что-то мне подсказывает: не напрасно мы едем, — ответил Заглоба.

— Ниспошли, господи, и поручику бодрости душевной, — вздохнул пан Лонгинус.

Заглоба же вдруг затряс головою, как человек, который не может отделаться от назойливой мысли, и, не выдержав, заговорил:

— Меня другая точит забота: поделюсь-ка я, пожалуй, с вами, а то уже немогогу стало. Не заметили ли вы, любезные судари, что с некоторых пор Скшетуский — если, конечно, не напускает виду — держится так, будто меньше всех нас спасеньем княжны озабочен?

— Где там! — возразил Володыёвский. — Это у него нрав такой: по себе показывать ничего не любит. Никогда он другим и не был.

— Так-то оно так, однако припомни, сударь: как бы мы его ни ободряли надеждой, он и мне, и тебе отвечал столь negligent¹, точно речь шла о пустячном деле, а, видит бог, черная бы то была с его стороны неблагодарность: бедняжка столько по нем слез пролила, так исстрадалась, что и пером не описать. Своими глазами видел.

Володыёвский покачал головою.

— Не может такого быть, что он от нее отступился. Хотя, верно, в первый раз, когда дьявол этот ее увез из Разлогов, сокрушался так, что мы за его мепс опасались, а теперь куда более сдержан. Но если ему господь даровал душевный покой и сил прибавил — оно к лучшему. Мы, как истинные друзья, радоваться должны.

Сказав так, Володыёвский пришпорил коня и поскакал вперед к Скшетускому, а Заглоба некоторое время ехал в молчании подле Подбипятки.

¹ небрежно, равнодушно (лат.).

— Надеюсь, сударь, ты разделяешь мое мнение, что, если б не амурь, куда меньше зла творилось на свете?

— Что всевышним предначертано, того не избежешь,— ответил литвин.

— Никогда ты впопад не ответишь. Где Крым, а где Рим! Из-за чего была разрушена Троя, скажи на милость? А нынешняя война разве не из-за рыжей косы? То ли Хмельницкий Чаплинскую возжелал, то ли Чаплинский Хмельницкую, а нам за их греховные страсти платить головою!

— Это любовь нечистая, но есть и высокие чувства, приумножающие господню славу.

— Вот теперь ваша милость в самую точку попал. А скоро ли сам на сладкой сей ниве начнешь трудиться? Я слыхал, тебя перед походом опоясали шарфом.

— Ох, братушка!.. Братушка!..

— В трех головах, что ль, загвоздка?

— Ах! В том-то и дело!

— Тогда послушай меня: размахнись хорошенько да снеси разом башку Хмельницкому, хану и Богуну.

— Кабы они пожелали в ряд стать! — мечтательно произнес литвин, возводя очи к небу.

Меж тем Володыёвский долго ехал рядом со Скшетуским, молча поглядывая из-под шлема на безжизненное лицо друга, а потом его стремени своим коснулся.

— Ян,— сказал он,— понапрасну ты размышлениями себя терзаешь.

— Не размышляю я, молюсь,— ответил Скшетуский.

— Святое это и премного похвальное дело, но ты ж не монах, чтоб довольствоваться одной молитвой.

Пан Ян медленно повернул страдальческое свое лицо к Володыёвскому и спросил глухим, полным смертной тоски голосом:

— Скажи, Михал, что мне осталось иного, как не постричься в монахи?..

— Тебе осталось ее спасти,— ответил Володыёвский.

— К чему я и буду стремиться до последнего вздоха. Но даже если отыщу живой, не будет ли поздно? Помогите мне, господи! Обо всем могу думать, только не об этом. Сохрани, боже, мой разум! Нет у меня иных желаний, кроме как вырвать ее из окаймленных рук, а потом да обрящет она такой приют, каковой и я для себя найти постараюсь. Видно, не захотел господь... Дай мне помолиться, Михал, а кровоточащей раны не трогай...

У Володыёвского сжалось сердце; хотелось ему утешить приятеля, ободрить надеждой, но слова застревали в горле, и ехали они дальше в глухом молчании, только губы Скшетуского шевелились быстро, шепча молитву, которой он, видно, ужасные мысли отогнать стремился, маленького же рыцаря, когда он глянул на высвеченное луною лицо друга, страх объял, ибо почу-

дилось ему: перед ним лицо монаха — суровое, изнуренное обузданием плоти и постами.

И тут прежний голос снова зашел в задних шеренгах:

А придешь с войны, бедняга,
Ковчишь воевать,
Будешь раны, бедолага,
В нищете считать.

ГЛАВА V

Скшетуский вел свой отряд с таким расчетом, чтобы днем отдыхать в лесах и оврагах, выставив надежное охранение, а ночами двигаться вперед. Приблизясь к какой-нибудь деревушке, он обычно окружал ее, чтоб ни одна живая душа не ускользнула, запасался продовольствием, кормом для лошадей, но первым делом собирал сведения о неприятеле, после чего уходил, не причиняя жителям ничего худого, отойдя же, неожиданно менял направление, чтобы неприятель не мог узнать в деревне, в какую сторону отправился отряд. Целью похода было разведать, осаждают ли еще Кривонос со своим сорокатысячным войском Каменец или, отказавшись от бесплодной затеи, двинулся Хмельницкому на подмогу, чтобы вместе с ним дать врагу решающее сражение, а также узнать, переправились ли уже через Днестр добруджские татары для соединения с казаками Кривоноса или еще стоят лагерем на берегу? Сведения такие польской армии были крайне потребны, и regimentариям следовало бы самим подумать об этом, однако, по малому опыту, им такое в голову не приходило, и потому князь-воевода русский взял на себя нелегкую эту задачу. Если бы оказалось, что Кривонос, сняв с Каменца осаду, вместе с белгородскими и добруджскими ордами идет к Хмельницкому, тогда бы надлежало на последнего как можно скорее ударить, прежде чем его мощь не возросла многократно. Меж тем генерал-регimentарий князь Доминик Заславский-Острогский несколько не торопился, и в лагере его ждали не раньше, чем через два-три дня после отъезда Скшетуского. Должно быть, по своему обыкновению, он пировал в дороге, нимало не заботясь, что упускает лучшее время для расправы с Хмельницким, князь же Иеремия в отчаяние приходил от мысли, что, если война и впредь так вестись будет, то не только Кривонос и заднестровские орды успеют соединиться с Хмельницким, но и хан со всеми перекопскими, ногайскими и азовскими силами.

Уже по лагерю кружили слухи, будто хан перешел Днепр и с двести тысяч конь деино и ночью поспешает на запад, а князь Доминик все не появлялся.

Похоже было, что войскам, расположенным под Чолганским Камнем, придется противостоять силам, пятикратно их превосходящим, и, потерпев regimentарий поражение, ничто уже не поме-

шает врагу вторгнуться в самое сердце Речи Посполитой — подступить к Кракову и Варшаве.

Кривонос потому особенно был опасен, что, если б региментарии захотели продвинуться в глубь Украины, он, идучи от Каменца прямо на север, на Староконстантинов, загородил бы им путь обратно, и уж тогда бы польское войско оказалось между двух огней. Оттого Скшетуский и решил не только разузнать побольше о Кривоносе, но и постараться его задержать. Сознавая важность своей задачи, от выполнения которой во многом зависела судьба всего войска, поручик без колебаний готов был поставить на карту свою жизнь и жизнь своих людей, хотя намеренье молодого рыцаря с отрядом в пятьсот сабель остановить сорокатысячную Кривоносову рать, которую поддерживали белгородские и добруджские орды, граничило с безумьем. Но Скшетуский был достаточно опытный воин, чтобы не совершать безумных поступков, к тому же понимал прекрасно, что, начнись сражение, не пройдет и часу, как горстка его людей будет сметена kloкочущей лавиной, — и потому обратился к иным средствам. А именно: первым делом распустил слух среди собственных солдат, будто они — лишь передовой отряд дивизии грозного князя, и этот слух распространял повсюду: на всех хуторах, во всех деревнях и местечках, через которые лежал путь отряда. И действительно, весть эта с быстротою молнии полетела вниз по течению Збруча, Смотрича, Студеницы, Ушки, Калусика, достигла Днестра и, словно подхваченная ветром, понеслась дальше, от Каменца к Ягорлыку. Ее повторяли и турецкие паши в Хотине, и запорожцы в Ямполе, и в Рашкове татары. И снова прогремел знакомый клич: «Идет Ярема!», от которого замирали сердца мятежников, и без того дрожавших от страха, не уверенных в завтрашнем дне.

В достоверности этого слуха никто не сомневался. Региментарии ударят на Хмеля, а Ярема на Кривоноса — это подсказывал ход событий. Сам Кривонос поверил — и у него опустились руки. Что теперь делать? Идти на князя? Но ведь под Староконстантиновом и дух был иной у черни, и сил больше, однако же они были разбиты, едва унесли ноги с кровавой бойни. Кривонос знал твердо, что его молодцы будут насмерть стоять против любого войска Речи Посполитой и против всякого полководца, но стоит показаться Яреме — разлетятся, словно от орла лебединая стая, словно степные перекасти-поле от ветра.

Поджидать князя под Каменцем было еще хуже. И решил Кривонос двинуться к востоку, — к самому Брацлаву! — чтобы, избежав встречи со своим заклятым врагом, соединиться с Хмельницким. Правда, он понимал, что, сделавши такой крюк, ко времени вряд ли успеет, однако, по крайней мере, загодя будет знать, чем окончится дело, и позаботится о собственном спасенье.

А тут ветер принес новые вести, будто Хмельницкий уже разгромлен. Слухи эти — как и прежние — намеренно распускал сам

Скпетуский. В первую минуту несчастный атаман совсем растерялся, не зная, что делать.

Но потом решил, что тем паче надо идти на восток да поглубже в степи забраться: вдруг там на татар наткнется и под их крылом схорониться сможет?

Однако прежде всего захотел Кривонос эти слухи проверить и стал спешно выискивать среди своих полковников надежного и бесстрашного человека, которого можно было отправить в разъезд за «языком».

Но задача оказалась нелегкой: охотников не находилось, к тому ж не на всякого атаман мог положиться, а послать надлежало такого, который бы, попадись он неприятелю в руки, ни на огне, ни на колу, ни на колесе планов бегства не выдал.

В конце концов Кривонос нашел такого человека.

Однажды ночью он велел позвать к себе Богуна и сказал ему:

— Послушай, Иван, дружище! Ярема идет на нас с великою силой — знать, погибель наша неминуема.

— И я слышал, что идет. Мы с вами, батьку, об том уже толковали, только зачем погибать-то?

— Не удержи мо. С другим бы справились, а с Яремой не выйдет. Боятся его ребята.

— А я не боюсь, я целый его полк положил в Василевке, в Заднепровье.

— Знаю, что не боишься. Слава твоя молодецкая, казачья, его княжьей стоит, да только я ему не дам бою — не пойдут ребята... Вспомни, что на раде говорили, как на меня с саблями да кистенями кидались: мол, я их на верную смерть вести задумал.

— Пошли тогда к Хмелю, там и крови, и добычи будет вдоль.

— Говорят, Хмеля уже региментарии разбили.

— Не верю я этому, батька Максим. Хмель хитрый лис, без татар не ударит на ляхов.

— И мне так думается, да надобно знать точно. Мы б тогда треклятого Ярему обошли и с Хмелем соединились, но сперва все надо разведать! Кабы нашелся кто, кому Ярема не страшен, да отправился в разъезд и языка взял, я б тому молодцу полну шапку золотых червонцев насыпал.

— Я пойду, батька Максим, но не червонцев ради, а за славою казачьей, молодецкой.

— Ты моя правая рука, а идти желаешь? Быть тебе у казаков, добрых молодец, головою, потому как Яремы не страшишься. Иди, сокол, а потом проси, чего хочешь. И еще я тебе скажу: кабы не ты, я бы сам пошел, да нельзя ноне.

— Нельзя, батьку, уйдете — ребята крик подымут, скажут, спасаете шкуру, и разлетятся по белу свету, а я пойду — прибодрятся.

— А конников много попросишь?

— Нет,— с малой ватагой и укрыться легче, и тишком подкрасться, но с полтыщи молодцев возьму, а уж языков я вам приведу, головой ручаюсь, и не простых солдат, а офицеров, от которых все узнать можно.

— Езжай быстрее. В Каменце уже из пушек палят ляхам на радость и на спасение, а нам, безвинным, на погибель.

Выйдя от Кривоноса, Богун тотчас принялся готовиться в дорогу. Молодцы его, как водилось, пили мертвую — «покуда костлявая не приголубит», — и он с ними пил, наливался горелкой, буйствовал и шумел, а под конец повелел выкатить бочку дегтя и, как был, в бархате и парче, бросился в нее, раз-другой с головой окунулся и крикнул:

— Ну, вот и черен я, как ночь-матушка, не увидать меня ляшскому оку.

Потом, покатавшись по награбленным персидским коврам, вскочил на коня и поехал, а за ним припустили под покровом тьмы верные его молодцы, напутствуемые криками:

— На славу! На щ а с т я!

Между тем Скшетуский добрался до Ярмолинцев; там, встретив отпор, учинил над горожанами кровавую расправу и, объявив, что наутро подойдет князь Ярема, дал отдых утомленным лошадям и людям.

После чего, созвав товарищей на совет, сказал им:

— Покамест господь к нам благоволит. Судя по страху, обучающему мужичье, смею предположить, что нас везде за княжеский авангард принимают и верят, будто главные силы идут следом. Надо подумать, как бы и впредь обман не открылся: еще кто заприметит, что один и тот же отряд всюду мелькает.

— А долго мы так разъезжать будем? — спросил Заглоба.

— Пока не узнаем, каковы намеренья Кривоноса.

— Ба, эдак можно и к сражению не поспеть в лагерь.

— И так может случиться, — ответил Скшетуский.

— Весьма прискорбно, — заявил шляхтич. — Под Староконстантиновом только вошли в охоту! Немало, конечно, мы там бунтовщиков положили, но это все равно что льву мышей давить!.. Так и чешутся руки...

— Погоди, сударь, может, тебя впереди поболе, нежели ты думаешь, ждет сражений, — серьезно ответил Скшетуский.

— О! А это quo modo? — с явным беспокойством спросил Заглоба.

— В любую минуту на врага можно наткнуться, и, хоть не для того мы здесь, чтобы ему оружием преграждать дорогу, защищать себя все же придется. Однако вернемся к делу: расширить надо круг наших действий, чтобы сразу в разных местах о нас слышали, непокорных для пущего страху кое-где вырезать и слухи распускать повсюду — потому, полагаю, следует нам разделиться.

— И я того же мнения, — подхватил Володыёвский, — будем

множиться у них в глазах — и те, что побегут к Кривоносу, о тысячах рассказывать станут.

— Твоя милость, пан поручик, нами командует — ты и распорядись, — сказал Подбиятка.

— Я через Зинков пойду к Солодковцам, а смогу, то и дальше, — сказал Скшетуский. — Наместник Подбиятка отправится вниз, к Татарискам, ты, Михал, ступай в Купин, а пан Заглоба выйдет к Збручу под Сатановом.

— Я? — переспросил Заглоба.

— Так точно. Ты человек смекалистый и на выдумки гораздый: я думал, тебе такое дело по вкусу придется, но, коли не хочешь, я Космачу, вахмистру, отдам четвертый отряд.

— Отдашь, да только под моим началом! — воскликнул Заглоба, внезапно сообразив, что получает командование над отдельным отрядом. — А если я и задал вопрос, то лишь потому, что с вами жаль расставаться.

— А достаточно ли у тебя, сударь, опыта в ратном деле? — полюбопытствовал Володыёвский.

— Достаточно ли опыта? Да аист еще вашу милость отцу с матерью презентовать не замыслил, когда я уже многочисленнее этого водил разезды. Всю жизнь прослужил в войске и доселе бы не ушел, кабы в один прекрасный день заплесневелый сухарь колом не стал в брюхе, где и застрял на целых три года. Пришлось за животным камнем податься в Галату; в свое время я вам об этом путешествии расскажу во всех подробностях, а сейчас пора в дорогу.

— Поезжай, сударь, да не забудь впереди себя слух пускать, будто Хмельницкий уже погромен и князь миновал Проскуров, — сказал Скшетуский. — Без разбору пленных не бери, но, если повстречаешь разезд из-под Каменца, постарайся любой ценой языка добыть, да такого, чтобы осведомлен был о Кривоносовых планах; прежние релянции были весьма противоречивы.

— Самого бы Кривоноса встретить! Ну что б ему отправиться в разезд пришла охота — ох, и задал бы я ему перцу! Можете не сомневаться, любезные судари, эти мерзавцы у меня не только запоют — запляшут!

— Через три дня съезжаемся в Ярмолинцах, а теперь — в путь, кому куда вышло! — сказал Скшетуский. — Только людей берите.

— Через три дня в Ярмолинцах! — повторили Заглоба, Володыёвский и Подбиятка.

ГЛАВА VI

Когда Заглоба остался один со своим отрядом, ему как-то сразу сделалось неуютно и даже, правду говоря, страшновато: дорого бы дал старый шляхтич, чтобы рядом был Скшетуский,

Володыёвский либо пан Лонгинус, которыми он в душе премного восхищался и рядом с которыми, безоглядно веря в их находчивость и бесстрашие, чувствовал себя в совершенной безопасности.

Поэтому вначале ехал он во главе своего отряда в довольно скверном расположении духа и, подозрительно озираясь по сторонам, перебирал в уме опасности, которые могли ему встретиться, бормоча при этом:

— Конечно, оно б веселей было, ежели бы хоть один из них поблизости находился. Господь всякого сообразно задуманному предназначенью создал, а этим троим надо бы слепными родиться, потому как до крови весьма охочи. Им на войне таково, каково другим возле жбана меду, — что твои рыбы в воде, ей-богу. Хлебом не корми, а допусти в сечу. В самих нисколько весу, зато рука тяжелая. Скшетуского я в деле видал, знаю, сколь он *peritus*¹. Ему человека сразить, что ксепдзу молитву сказать. Излюбленное занятие! Литвину нашему, который своей головы не имеет, а охотится за тремя чужими, терять нечего. Всего меньше я маленького этого фертика знаю, но тоже, верно, жалить пре-больно умеет, судя по тому, что я под Староконстантиновом видел и что мне о нем рассказывал Скшетуский, — оса, да и только! К счастью, хоть он где-то неподалеку; соединюсь-ка я с ним, пожалуй: а то куда идти, хоть убей, не знаю.

До того Заглоба почувствовал себя одиноким, что сердце от жалости к самому себе защемило.

— Вот так-то! — ворчал он тихонько. — У каждого есть к кому притулиться, а у меня что? Ни друга, ни матери, ни отца. Сирота — и баста!

В эту минуту к нему подъехал вахмистр Космач:

— Куда мы идем, пан начальник?

— Куда идем-то? — переспросил Заглоба.

И вдруг выпрямился в седле и ус закрутил лихо.

— Да хоть в Каменец, ежели будет на то моя воля! Понимаешь, вахмистр любезный?

Вахмистр поклонился и молча вернулся в строй, недоумевая, отчего рассердился начальник. Заглоба же, бросив вокруг несколько грозных взглядов, успокоился и продолжал бормотать:

— Так я и пошел в Каменец — пусть мне сто палок по пяткам всыплют турецким манером, коли сделаю такую глупость. Тьфу! Хоть бы один из этих был рядом, все б на душе стало полегче. Что можно с сотней людей сделать? Уж лучше одному идти — извернуться проще. Много нас чересчур, чтобы пускаться на хитрости, а чтоб защищаться — мало. Ох, и нехстати придумал Скшетуский отряд разделить. Куда, например, мне направляться? Я знаю только, что у меня за спиною, а что впереди, кто скажет? Кто поручится, что дьяволы эти западни не уготовили на дороге? Кривонос да Богун! Славная парочка, чтоб

¹ опытный, умный (лат.).

их черти драли! Упаси меня всевышний от Богуна хотя бы. Скетуский жаждет с ним встречи — услышь, господи, его молитвы! И я ему того желаю, потому как он друг мне, прости меня, боже! Доберусь до Эбруча и вернусь в Ярмолинцы, а языков им приведу побольше, чем хотели сами. Это дело простое.

Тут вдруг к нему снова подскакал Космач.

— Пан начальник, верховые какие-то за взгорком.

— Да пошли они к дьяволу... Где? Где?

— А вон там, за горою. Я значки видел.

— Войско?

— Похоже, войско.

— Пес их за ногу! А много людей?

— Кто их знает, они далеко покамест. Может, укроемся за тот валун да и нападём врасплох — им так и так проезжать мимо. А больно много окажется — пан Володыёвский рядом: слышит выстрелы и прилетит на подмогу.

Заглобе удаля внезапно ударила в голову, как вино. Возможно, от отчаяния пробудилась в нем жажда действовать, а быть может, подстегнула надежда, что Володыёвский не успел далеко отъехать; так или иначе, он взмахнул обнаженной саблей и крикнул, страшно заворочав глазами:

— Укрыться за валун! Навалимся вдруг! Мы этим разбойникам покажем...

Вышколенные княжеские солдаты с ходу поворотили к валунам и в мгновение ока выстроились в боевом порядке, готовые ударить внезапно.

Прошел час; наконец послышался приближающийся шум голосов, эхо донесло обрывки веселых песен, а вскоре затаившиеся в засаде явственно различили звуки скрипок, волынки и бубна. Вахмистр снова подъехал к Заглобе и сказал:

— Не войско это, пан начальник, не казаки — свадьба.

— Свадьба? — переспросил Заглоба. — Ну, погодите, я вам сыграю!

С этими словами он тронул коня, следом выехали на дорогу и выстроились шеренгой солдаты.

— За мной! — грозно крикнул Заглоба.

Всадники пустились рысью, затем галопом и, обогнув валун, выросли вдруг перед толпой людей, ошарашив их и напугав неожиданным своим появлением.

— Стой! Стой! — раздались с обеих сторон крики.

Это и вправду была крестьянская свадьба. Впереди ехали на конях волынец, бандурист, два довбыша и скрипач; они были уже под хмельком и лихо наяривали задорные плясовые. За ними невеста, пригожая девка в темном жупане, с распущенными по плечам волосами. Подле нее выводили песни подружки, у каждой из которых на руку было нанизано по несколько венков. Издали этих девок, по-мужски сидящих на лошадях, на-

рядно одетых, убранных полевыми цветами, и впрямь можно было принять за лихих казаков. Во втором ряду ехал на добром коне жених в окружении друзей, державших венки на длинных шестах, похожих на пики; замыкали шествие родители молодых и гости, все верхами. Только бочки с горелкой, медом и пивом катились на легких, выстланных соломой повозках, смачно взбулькивая на неровностях каменистой дороги.

— Стой! Стой! — понеслось с двух сторон, и свадебный поезд перемешался.

Девушки, подняв с перенугу крик, отступили назад, а парни и мужики постарше метнулись вперед, чтобы грудью своей заслонить их от неожиданного нападения.

Заглоба подскочил к ним и, махая перед носом у испуганных крестьян саблей, завопил:

— Ха! Голодранцы, крамольники, охвостье собачье! Бунтовать вздумали! Кривоносу служите, негодяи? Шпионить подрядились? Войску путь надумали преградить? На шляхту подняли руку? Я вам покажу, стервецы, собачьи души! В колодки велю забить, на кол посадить, нехристи, шельмы! Сейчас вы у меня поплатитесь за все злодейства!

Старый и седой как лунь дружка соскочил с лошади, подошел к шляхтичу и, с покорностью уцепившись за его стремя, кланаясь в ноги, стал упрасивать:

— Смилуйся, доблестный рыцарь, не губи бедных людей, видит бог: невинные мы, не к бунтарям идем, из Гусятина возвращаемся, из церкви, сродственника нашего Дмитрия, кузнеца, с бондаревой дочкой Ксенией повенчали. На свадьбу с караваем едем.

— Это люди безвинные, — прошептал вахмистр.

— Пошел вон! Все они шельмы! На свадьбу, да только от Кривоноса! — рывкнул Заглоба.

— Коли б його трясця мордувала! — воскликнул старик. — Мы его в глаза не видели, мы люди смиренные. Смилуйся, ясновельможный пан, дозвожь проехать, мы никому зла не чиним и повинность свою соблюдаем.

— В Ярмолинцы пойдете в путах!..

— Пойдем, куда, пане, прикажешь! Тебе повелевать, нам слушать! Одну только окажи милость, доблестный рыцарь! Скажи панам жолнірам, чтобы наших не обижали, а сам — прости уж нас, темных, — не погнушайся с нами за счастье молодых выпить... Челом бьем: подари радость простым людям, как господь и Святое писание учат.

— Только не надейтесь, что я, когда выпью, вам дам поблажку! — строго молвил Заглоба.

— Что ты, пане! — с радостью воскликнул старик. — У нас и в мыслях нету такого! Эй, гудошники! — крикнул он музыкантам. — Сыграйте для ясного лицаря, он лицар добрый, а вы, хлопцы, несите-ка ясному лицарю сладкого меду, он

бедных людей не обидит. Быстрой, хлопці, живо! Дякуем, пане!

Хлопцы кинулись со всех ног к бочкам, а тем часом зазвенели бубны, запищали весело скрипки, волынщик надул щеки и давай мять мех под мышкой, а дружки махать шестами с низанными на них венками. Видя такое, солдаты подступили поближе, закрутили усы, стали посмеиваться да через плечи мужиков поглядывать на девок. Вновь молодницы завели песни — страха как не бывало, даже кое-где послышалось радостное: «Ух-ха! Ух-ха!»

Однако Заглоба не сразу смягчился — даже когда ему подали кварту меду, он еще продолжал ворчать себе под нос: «Ах, мерзавцы! Ах, шельмы!» Даже когда усы уже обмочил в темной влаге, брови его оставались хмуро насушены. Запрокинув голову, жмуря глаза и причмокивая, он отпил глоток — и лицо его выразило сначала удивление, а затем возмущенье.

— Что за времена! — буркнул он. — Холопы такой мед пьют! Господи, и ты на это зрираешь и не гневаешься?

Сказавши так, он наклонил кварту и одним духом осушил до дна.

Тем временем поезжане, расхрабравшись, подошли всей гурьбой просить, не причиняя зла, отпустить их с миром; была среди них и молодая, Ксения, — робкая, трепещущая, со слезами в очах, с пылающими щеками, прелестная, как ясная зорька. Приблизясь, она сложила руки и со словами: «По м и л у й те, п а н е!» — поцеловала желтый сапог Заглобы. Сердце шляхтича мгновенно растаяло как воск.

Распустив кожаный пояс, он порылся в нем и, выудив последние золотые червонцы, полученные в свое время от князя, сказал Ксении:

— Держи! И да благословит тебя бог, как и всякую невинную душу.

Волнение не позволило ему вымолвить больше ни слова: стройная чернобровая Ксения напомнила Заглобе княжну, которую он по-своему любил всем сердцем. «Где она теперь, бедняжка, хранят ли ее ангелы небесные?» — подумал старый шляхтич и, вконец расчувствовавшись, готов уже был с каждым обниматься и брататься.

Крестьяне же, видя такое великодушие, закричали от радости, запели и, обступив шляхтича, кинулись целовать полы его одежды. «Он добрый! — повторяли в толпе. — Золотий лях! Червінці дає, зла не робить, хороший пан! На славу, на щастя!» Скрипач так наяривал, что самого трясло, у волынщика глаза на лоб полезли, у добышней отваливались руки. Старик бондарь, видно, не храброго был десятка и до поры до времени держался за чужими спинами, теперь же, выступив вперед, вместе с женой своей и матерью новобрачного, старой кузнечихой, принялся бить поясные поклоны да приглашать на ху-

тор, на свадебный пир, приговаривая, что такой гость — великая для них честь и для молодых добрый знак: иначе не будет им счастья. За ними следом поклонились жених с невестой; чернобровая Ксения хоть и простая девка, а сразу смекнула, что от ее просьбы толк будет больше всего. Дружки меж тем кричали, что до хутора рукой подать и с дороги сворачивать не придется, а старый бондарь богат, не такого еще выставит меду. Заглоба поглядел на солдат: все, как один, словно зайцы, шевелили усами, предвкушая славную попойку да пляскн, и посему — хоть никто ни о чем не смел просить — сжалился над ними; не прошло и минуты, как Заглоба, дружки, молодичи и солдаты двинулись к хутору в полнейшем согласье.

Хутор и в самом деле был неподалеку, а старый бондарь богат, так что пир закатил горою. Выпили все крепко. Заглоба же до того раззадорился, что ни в чем другим не уступал. Вскоре начались разные диковинные обряды. Старухи отвели Ксению в боковую светелку и там с нею заперлись. Пробыли они в боковушке долго, а когда вышли наконец, объявили, что девушка чиста, как лилия, как голубка. Возрадовались все, шум поднялся, крики: «На славу! На славу!» Бабы в ладоши стали хлопать да приговаривать: «А що? Не казали!» — а парни ногами притоптывать, и всяк поочередно пускался в пляс, держа в руке кварту, которую перед дверью светелки выпивал «на славу». Сплясал так и Заглоба, тем лишь благородство происхождения своего обозначив, что не кварту, а целый штоф осушил у двери. Потом бондарь с женою и кузничихой повели в светелку молодого, а так как не было у Дмитрия отца, поклонились пану Заглобе, чтобы тот его заступил, — Заглоба согласился и ушел с ними. В горнице на время поутихло, только солдаты, гулявшие на майдане перед хатой, горланили да вопили по-татарски и из пицалей палили. Настоящая же гульба и веселье начались, когда в горницу воротились родители. Старый бондарь на радостях облачил кузничиху, парни подходили к бондаревой жене и, низко поклонясь, колени ее обнимали, а бабы восхваляли за то, что дочку сберегла как зеницу ока, соблюла в чистоте, как лилию, как голубку;¹ потом с нею пустился в пляс Заглоба. Сперва потоптались на месте друг перед дружкой, а потом он как ударит в ладоши, как пойдет вприсядку, и то подпрыгнет, то подковками о дощатый пол стукнет — аж щепки летели да пот в три ручья со лба катился. На них глядя, закружились и остальные: молодичи с солдатами да с парнями — кто в горнице, кто во двор вышел. Бондарь то и дело приказывал выкатывать все новые бочки. Под конец всем гуртом вывалились на майдан из хаты — там разожгли костры из щепы и сухого чертополоха, потому что уже глубокая ночь наступила, и пирушка сделалась настоящей по-

¹ Крестьянскую свадьбу того времени описывает бывший очевидцем Бошпан. (Примеч. автора.)

пойкой; солдаты стреляли из пищалей и мушкетов, словно на бранном поле.

Заглоба, красный, вспотелый, нетвердо держащийся на ногах, забыл, где он и что с ним происходит; различал словно в тумане лица пирующих, но хоть убей, не мог бы сказать, что это за люди. Он помнил, что гуляет на свадьбе, — но на чьей? Ха! Наверно, Скшетуского с княжною! Эта мысль показалась ему весьма правдоподобной и в конце концов гвоздем в голове засела, наполнив такую радостью, что он завопил как безумный: «Во здравие! Возлюбим друг друга, братья! — опорожняя при том одну за другой кружки, из которых каждая была не меньше штофа. — За тебя, брат! За нашего князя! Будем все счастливы! Дай-то бог, чтобы минула година бедствий для нашей отчизны!» Тут он залился слезами и, направившись к бочке, споткнулся — и далее на каждом шагу спотыкался, ибо на земле, словно на поле боя, лежало множество недвижных тел. «Господи! — воскликнул Заглоба. — Не осталось больше истинных мужей в Речи Посполитой. Один Лацц пить умеет, да еще Заглоба, а прочие!.. О господи!» И жалобливо возвел очи к небу — и тут заметил, что небесные светила более не утыкают прочно небесную твердь наподобие золотых гвоздочков, а одни дрожат, будто стремятся выскочить из оправы, другие описывают круги, третьи казачка отплясывают друг против дружки, — чему Заглоба весьма поразился и сказал изумленной своей душе:

— Неужто один только я не пьян *in universo*?¹

Но вдруг и земля, подобно звездам, закружилась в бешеной пляске, и Заглоба навзничь грянулся оземь.

Вскоре он заснул, и стали ему страшные сны сниться. Какие-то призрачные чудовища, казалось, навалились ему на грудь, придавили к земле всей тяжестью, опутывая по рукам и ногам. При этом слышались ему истошные вопли и даже громыханье выстрелов. Яркий свет, проникая сквозь сомкнутые веки, резал глаза нестерпимым блеском. Он хотел проснуться, открыть глаза, но не тут-то было. Чувствовал: что-то неладное с ним творится, голова запрокидывается назад, словно его за руки и за ноги волокут куда-то... Потом почему-то страх его обуял; скверно ему было, чертовски скверно и тяжко. Сознание помалу к нему возвращалось, но странное дело: при этом им овладело такое бессилие, как никогда в жизни. Еще раз попробовал он пошевелиться, а когда это не удалось, окончательно пробудился — и разомкнул веки.

В ту же минуту взор его встретился с парой глаз, которые жадно в него впились; зеницы те были черны как уголь и до того люты, что совершенно уже проснувшийся Заглоба в первый момент подумал, будто на него уставился дьявол, — и снова опустил веки, но тут же их поднял. Страшные глаза по-прежнему глядели

¹ во вселенной (лат.).

на него в упор, и лицо казалось знакомым: внезапно Заглоба содрогнулся всем телом, облился холодным потом, и по спине его, до самых пят, тысячами забегали мурашки.

Он узнал лицо Богуна.

ГЛАВА VII

Заглоба лежал, привязанный к собственной сабле в той самой горнице, где играли свадьбу, а страшный атаман сидел поодаль на табурете, наслаждаясь испугом пленника.

— Добрый вечер, ваша милость! — сказал он, заметив, что глаза у его жертвы открыты.

Заглоба ничего не ответил, но в одно мгновение отрезвел настолько, будто капли вина не брал в рот, только мурашки, добежав до пяток, кинулись обратно, прямо в голову, и лютей холод пронял до костей. Говорят, утопающий в последнюю свою минуту видит явственно всю прошлую жизнь, все припоминает, понимая при этом, что с ним происходит; у Заглобы в тот миг так же прояснились память и сознание, и последнее, что родилось в его просветленном мозгу, было беззвучное, так и не сорвавшееся с губ восклицанье: «Сейчас он мне покажет!»

Атаман же спокойным голосом повторил:

— Добрый вечер, ваша милость.

«Брр! — подумал Заглоба. — Уж лучше б взъярился».

— Не узнаешь меня, пан шляхтич?

— Мое почтение! Как здоровьице?

— Не жалуюсь. А вот о твоём здоровье я теперь сам позабочусь.

— Я у господя такого лекаря не просил и смею сомневаться, чтоб лекарства твои мне пошли на пользу... Впрочем, на все воля божья.

— Что ж, ты меня выхаживал, сейчас мой черед отблагодарить старого друга. Помнишь, как мне голову обмотал в Разлогах?

Глаза Богуна засверкали, как два карбункула, а усы вытянулись в страшной усмешке ровной полоскою.

— Помню, — сказал Заглоба. — Помню и что ножом мог тебя пырнуть, — однако ж того не сделал.

— А я разве тебя пырнул? Или пырнуть намерен? Нет! Ты мой дружок сердечный, я тебя стану беречь пуще глаза.

— Я всегда говорил, что ты благородный рыцарь, — сказал Заглоба, делая вид, будто принимает слова Богуна за чистую монету, а в голове у него мелькнуло: «Уж он, видно, что-нибудь раздакое придумал. Не помереть мне легкой смертью!»

— Правильно говорил, — согласился Богуна, — да и тебе не откажешь в благородстве. Искали мы друг друга и наконец отыскали.

— Правду сказать, я тебя не искал, а на добром слове спасибо.

— Скоро меня еще пуще благодарить станешь, и я тебе воздам за то, что невесту мою в Бар увез из Разлогов. Там я ее и нашел, а теперь что ж! На свадьбу бы тебя пригласить надлежало, да только не сегодня ей быть и не завтра — сейчас война, а ты в годах уже, не доживешь, может случиться.

Заглоба, несмотря на весь ужас своего положения, навострил уши.

— На свадьбу? — пробормотал он.

— А ты думал? — продолжал Богун. — Что я, мужик какой — девицу без поиа неволить или не стать меня на то, чтобы в Кпеве обвенчаться? Не для мужика ты ее в Бар привел, а для гетмана и атамана...

«Хорошо!» — подумал Заглоба.

После чего повернул голову к Богуну и молвил:

— Прикажи меня развязать.

— Полежи, полежи, тебе ехать скоро, а старому человеку не грех отдохнуть перед дорогой.

— Куда ж ты меня везти хочешь?

— Ты мой друг, и повезу я тебя к другому своему другу, к Кривоносу. Уж мы с ним позаботимся, чтоб тебе хорошо было.

— Жарко мне будет! — буркнул шляхтич, и опять мурашки забегали у него по телу.

Подумав, он заговорил снова:

— Знаю я, ты на меня зло таишь, а понапрасну, видит бог, понапрасну. Жили мы с тобой вместе? Жили, и не один в Чигирине выпили жбан меду, потому как я тебя возлюбил, ровно сына за удасть твою и отвагу — второго такого рыцаря не сыскать во всей Украине. Вот так-то! Когда я тебе, скажи, поперек становился? Не поехал бы тогда с тобою в Разлоги, мы б по сей день пребывали в доброй приязни. А зачем поехал? Из расположения к тебе только. И не осатаней ты, не пореши тех несчастных, господь не даст соврать: никогда б я у тебя не стал на дороге. Что за радость в чужие дела мешаться! Чем кому другому, уж лучше бы тебе девушка досталась. Но когда ты вознамерился взять ее басурманским манером, во мне совесть заговорила: дом-то как-никак шляхетский. Ты бы сам на моем месте не поступил иначе. Я тебя мог на тот свет отправить с большею для себя корыстью — а ведь не сделал этого, не сделал! Потому что шляхтич, да и позорно это. Постыдись и ты надо мною глумиться — знаю я, что ты замыслил. И без того девушка в твоих руках — чего же ты от меня хочешь? Разве ж я ее — сокровище твое — не берег как зеницу ока? Ты ее уважил, значит, не потерял совесть и рыцарской дорожишь честью, но как потом руку ей подашь, обогрешную моею невинной кровью? Как скажешь: я того человека, что тебя сквозь сонмища холопов и татар провел, мученьям предал? Поимей же стыд, освободи меня из пут этих, верни отнятую

вероломством свободу. Молод ты еще и не знаешь, что тебя в жизни ждет, а за мою смерть господь тебя покарает: лишит того, что тебе всего дороже.

Богун поднялся со скамьи, белый от ярости, и, приблизясь к Заглобе, проговорил сдавленным от бешенства голосом:

— Ах ты, свинья поганая, да я с тебя велю три шкуры содрать, на медленном огне изжарю, к стене приколочу, разорву в клочья!

И в припадке безумия схватился за висевший у пояса нож, сжал судорожно в кулаке рукоятку — и вот уже острие сверкнуло у Заглобы перед глазами, но атаман сдержал себя, сунул нож обратно в ножны и крикнул:

— Эй, ребята!

Шестеро запорожцев вбежали в горницу.

— Взять это ляшское падло и в хлев кинуть. И чтоб глаз не спускали!

Казаки подхватили Заглобу, двое за руки и за ноги, третий — сзади — за волосы, и, вытащив из горницы, пронесли через весь майдан и бросили на навозную кучу в стоящем поодаль хлеве. После чего дверь закрылась и узника окружила крошечная темнота — лишь в щели между бревнами да сквозь дыры в соломенной крыше кое-где сочился слабый ночной свет. Через минуту глаза Заглобы привыкли ко мраку. Он огляделся вокруг и увидел, что в хлеву нет ни свиней, ни казаков. Голоса последних, впрочем, явственно доносились из-за всех четырех стен. Видно, хлев был плотно обставлен стражей, и тем не менее Заглоба вздохнул облегченно.

Прежде всего, он был жив. Когда Богун сверкнул над ним ножом, он ни на секунду не усомнился, что настал его последний час, и препоручал уже душу богу, в чрезвычайном, правда, страхе. Однако, видно, Богун приутожил ему смерть поизощреннее. Он не только отмстить жаждал, но и насладиться мщением тому, кто возлюбленную у него отнял, бросил тень на его молодецкую славу, а самого его выставил на посмешище, спеленав, как младенца. Весьма печальная перспектива открывалась перед Заглобой, но покамест он утешался мыслью, что еще жив, что, вероятно, его повезет к Кривоносу и лишь там подвергнут пыткам, — а стало быть, впереди у него еще дня два, а то и побольше, пока же он лежит себе одинешенек в хлеву и может в ночной тишине какой-нибудь фортель придумать.

То была единственная хорошая сторона дела, но, когда Заглоба о дурных подумал, мурашки снова забегали у него по телу.

Фортели!..

— Кабы в этом хлеву кабан или свинья валялись, — бормотал Заглоба, — им куда было б легче — небось бы к собственной сабле вязать их никто не подумал. Скрути так самого Соломона, и тот не мудрей своих штанов окажется или моей подметки. Господи,

за что мне такое наказание! Изю всех, кто живет на свете, я с одним этим злодеем меньше всего мечтал повстречаться — и на тебе, привалило счастье: как раз его-то и встретил. Ох, и выделяет он мою шкуру — помягче лучшего сукна. Попадись я к кому другому — тотчас бы объявил, что пристаю к смуте, а потом бы дал деру. Но и другой навряд ли б поверил, а об этом и говорить не стоит! Ой, недаром сердце в пятки уходит. Черт меня сюда принес — о господи, ни рукой не шевельнуть, ни ногою... О бже! Боже!

Минуту спустя, однако, подумал Заглоба, что, имея руки-ноги свободными, легче было б какой-нибудь фортель измыслить. А что, если все-таки попытаться? Только б вытащить из-под колен саблю, а там дело пойдет проще. Но как ее вытащить? Перевернулся на бок — без толку... И тогда он погрузился в раздумье.

А подумав, начал раскачиваться на собственном хребте все быстрее да быстрее и с каждым движеньем перемещался вперед на полдюйма. Ему стало жарко, чуприна взмокла хуже, чем в пляске; временами он останавливался, чтобы передохнуть или когда ему чудилось, кто-то идет к двери, и снова начинал с новым чылом, пока наконец не уперся в стену.

Тогда он стал действовать по-другому: не на хребте качаться, а перекачиваться с боку на бок; сабля при этом всякий раз кончиком легонько ударялась об стену и понемногу высовывалась из-под колен, а рукоять тянула ее вниз, к земле.

Запрыгало сердце в груди у Заглобы: он увидел, что этот путь может привести к желанной цели.

И продолжал усердно трудиться, стараясь ударять в стену как можно тише и лишь тогда, когда шум ударов заглушался беседой казаков. Но вот конец ножен оказался меж локтем и коленом; дальше вытолкнуть саблю, качайся не качайся, было невозможно.

Да, но зато с другой стороны уже торчала значительная ее часть, притом гораздо более увесистая благодаря рукояти.

На рукояти был крестик, как обычно на подобного рода саблях. На него-то Заглоба и возлагал надежду.

Опять принялся он раскачиваться, но на сей раз с таким расчетом, чтобы повернуться к стене ногами. И повернулся, и стал продвигаться вдоль стены. Сабля еще оставалась под коленями и между локтями, но рукоять все время задевала о неровности земли; наконец крестик поосновательней зацепился — Заглоба качнулся в последний раз, и на мгновенье радость пригвоздила его к месту.

Сабля выскользнула целиком.

Теперь руки были свободны, и, хотя кисти оставались связанными, шляхтич сумел ухватить саблю. Придерживая конец ступнями, он вытащил клинок из ножен.

Разрезать пути на ногах было делом одной минуты.

Сложнее было с руками. Заглобе пришлось положить саблю на кучу навоза, тупеем вниз, острием кверху, и тереть веревки о лезвие, покуда они не перетерлись и не лопнули.

Проделав это, Заглоба оказался не только свободен от пут, но и вооружен.

Облегченно вздохнув, он перекрестился и стал благодарить бога.

Но от избавленья от пут до освобождения из Богунowych рук еще очень далеко было.

«Что же дальше?» — спросил себя Заглоба.

И не нашел ответа. Хлев окружен казаками, всего их там не менее сотни: мыши не проскользнуть незамеченной, не то что такому толстяку, как Заглоба.

«Видно, никуда я уже не погуюсь, — сказал он себе, — и остроумием моим только сапоги мазать, и то у венгерцев на ярмарке отыщется смазь получше. Если господь меня сейчас не надоумит, уж точно достанусь воронью на ужин, а окажет такую милость — дам обет целомудрия, подобно пану Лонгину».

Голоса за стеной зазвучали громче и прервали его дальнейшие размышленья. Подскочив к стене, Заглоба приник ухом к щели между бревен.

Сухие сосновые бревна усиливали звуки не хуже кузова бандуры; слышно было каждое слово.

— А куда мы отсюда поедем, отец Овсивой? — спрашивал один голос.

— Не знаю, должно, в Каменец, — отвечал другой.

— Ба, кони едва ноги волочат: не дойдут.

— Потому здесь и стоим — до утра отдохнут малость.

Наступило недолгое молчание, потом первый голос заговорил тише, чем прежде:

— А мне сдается, отец, атаман из-под Каменца пойдет за Ямполь.

Заглоба затаил дыхание.

— Молчи, коли молодая жизнь дорога! — прозвучало в ответ.

И снова стало тихо, только из-за других стен перешептыванья доносились.

— Всюду их полно, кругом стерегут! — пробормотал Заглоба.

И подошел к противоположной стене хлева.

Здесь он услышал фырканье лошадей, с хрустом жующих сено. Видно, они стояли у самой стены, а казаки переговаривались, лежа на земле между ними, так как голоса доходили снизу.

— Эх, — говорил один, — ехали мы сюда без сна, без роздыха, на некормленных лошадях, и все для того, чтобы попасться в лапы Яреме.

— А правда, он здесь?

— Люди, что из Ярмолинцев бежали, видели его, как я тебя

вижу. Жуть что рассказывают: ростом, говорят, он с сосну, во лбу две головешки, а замест коня — змий.

— Господи помилуй!

— Надо бы нам прихватить этого ляха с солдатами да бежать чем скорее.

— Как бежать? Лошади едва живы.

— Плохо, брати рідний. Будь я атаманом, я бы этому ляху шею свернул и в Каменец хоть пешком возвратился.

— Мы его с собой в Каменец повезем. Там с ним наши атаманы позабавятся.

— Прежде с вами позабавятся черти, — пробормотал Заглоба.

Несмотря на весь свой перед Богом страх, а может, именно по этой причине Заглоба поклялся себе, что живым не дастся. От пуг он свободен, сабля в руке — можно обороняться. Зарубят, так зарубят, но живым не получат.

Между тем фыркание и побряхтывание лошадей, видно, крайне утомленных дорогой, заглушили продолжение разговора, но зато подсказали Заглобе некую идею.

«А что, если попробовать из хлева выбраться и вскочить на лошады! — подумалось ему. — Ночь темная: они и оглянуться не успеют, как я из глаз скроюсь. В этих буераках да разлогах и среди дня не всякого догонишь, а уж в темноте и подавно! Поспобствуй мне, господи, сделай милость!»

Но не так-то все было просто. Требовалось по меньшей мере проломить стену — а для этого нужно было быть Подбипяткой — либо прорыть под ней, как лисица, лаз, но и тогда б караульнички, без сомнения, услышали, заметили и сцапали беглеца прежде, чем он успеет поставить ногу в стремя.

В голове у Заглобы вертелись тысячи разных хитрых способов, но именно потому, что их было так много, ни один отчетливо не представлялся.

«Ничего не поделаешь, придется платиться шкурой», — подумал шляхтич.

И пошел к третьей стене.

Вдруг он ударился головой обо что-то твердое, пощупал: то была лестница. Хлев не для свиней, а для коров предназначался, и над ним в половину длины был устроен чердак, где держали солому и сено. Заглоба, недолго думая, полез наверх.

А влезши, сел, перевел дух и осторожно втянул лестницу за собою.

— Ну, вот я и в крепости! — пробормотал он. — Быстро им сюда не забраться, хоть бы и другая лестница нашлась. Пусть из меня окороков накопят, если я первую же башку, какая покажется, напроць не снесу. Ох черт! — сказал он вдруг. — А ведь они и впрямь не только что прокоптить, но и изжарить, и на сало перетопить могут. А, ладно! Захотят хлев спалить — дускай, тем паче я им живым не достанусь, а сырым или жареным меня скляует воронье — один дьявол. Лишь бы не попасться

в разбойничьи лапы, а на остальное плевать, авось как-нибудь обойдется.

Заглоба легко переходил от крайнего отчаяния к надежде. И сейчас вдруг в него вселилась такая уверенность, словно он уже был в лагере князя Иеремии. Однако положение его сделалось немногим лучше. Он сидел на сеновале и, пока держал в руке саблю, действительно мог долго обороняться. Вот и все! От чердака до свободы путь был еще чертовски долг — к тому же внизу Заглобу ждали сабли и пики дозорных, бодрствующих под стенами хлева.

— Как-нибудь обойдется! — буркнул Заглоба и стал помалу разгребать и выдергивать солому из кровли, чтобы иметь возможность выглянуть наружу.

Дело пошло споро: молодцы за стенами, скрашивая время в карауле, продолжали переговариваться, к тому же поднялся довольно сильный ветер и, теребя ветви растущих поблизости деревьев, загулшал шуршанье соломы.

В скором времени сквозное отверстие было готово — Заглоба высунул голову наружу и огляделся.

Ночь уже подходила к концу, и восточная сторона небосвода озарилась первыми проблесками дня; в предрассветном неярком свете Заглоба разглядел майдан, сплошь забитый лошадьми, перед хатой долгие неровные ряды спящих казаков, далее колодезный журавль и колоду, в которой поблескивала вода, а подле еще один ряд спящих людей и десятка полтора казаков, прохаживающихся с саблями наголо вдоль этого ряда.

— Это ж мои люди связанные лежат, — пробормотал шляхтич. — Ой! — добавил он минутою позже. — Кабы моп, а то ведь князьки!.. Хорош предводитель, ничего не скажешь! Завез к черту в зубы... Стыдно будет им в глаза смотреть, если, конечно, господь возвратит свободу. А все из-за чего? Из-за выпивки и амуров. Какое мне было дело, что у мужиков свадьба? Не пристало старой кобыле хвостом вертеть! Больше в рот не возьму этого вероломца-меду, что не в голову — в ноги шибают. Все зло на земле от пьянства: когда б на нас трезвых напали, я бы, ей-ей, викторию одержал и Богупа в хлеву запер.

Тут взор Заглобы снова упал на хату, в которой почивал атаман, и задержался на двери.

— Спи, спи, злодей, — пробормотал он. — Авось увидишь во сне, как тебя черти в аду лущат, чего, впрочем, и так не избежишь. Решил из моей шкуры решето сделать? Что ж, попробуй! Залазь ко мне наверх, а там поглядим: может, еще я твою продырявлю, да так, что и собакам обувки не выкропнешь. Только б мне вырваться отсюда! Только бы вырваться! Но как?

Задача и в самом деле представлялась невыполнимой. Майдан был забит людьми и конями; даже если бы Заглоба сумел выбраться из хлева, даже если б, соскользнув с крыши, вспрыгнул на одну из тех лошадей, что стояли возле самого хлева, ему

бы не удалось даже ворот достигнуть, а уж тем паче ускакать за ворота!

И, однако ж, ему казалось, что главное сделано: он был свободен, вооружен и под стрехою чувствовал себя, как в твердыне.

«Какого черта! — думал он. — Неужто я затем из пут освободился, чтоб повеситься на тех же веревках?»

И снова в голову ему полезли всяческие хитрости, но в таком множестве, что разобраться в них никакой возможности не было.

Между тем на дворе заметно серело. Поредела тень, укрывавшая соседние с хатой постройки, крыша как бы серебром покрылась. Уже Заглоба легко мог различить отдельные группы на майдане, уже разглядел красные мундиры своих солдат, лежащих возле колодца, и бараньи тулупы, под которыми спали перед хатой казаки.

Вдруг один из спящих поднялся и не спеша прошелся по майдану, в иных местах ненадолго останавливаясь, поговорил о чем-то с казаками, стерегущими пленных, а потом направился к хлеву. Заглоба сперва решил, что это Богун, так как заметил, что дозорные с ним разговаривали, как подчиненные с командиром.

— Эх, — пробормотал он, — ружьецо бы сюда! Ты б у меня закувыркался.

В эту минуту человек поднял голову, и на лицо его упал бледный отблеск утренней зари: то был не Богун, а сотник Голодый, которого Заглоба тотчас узнал, ибо помнил прекрасно по тем еще временам, когда в Чигирине водил с Богуном дружбу.

— Эй, хлопцы! — сказал Голодый. — Вы, часом, не спите?

— Нет, б а т ь к у, хоть и берет охота. Пора б нас сменить.

— Сейчас сменят. А вражий сын не убеет?

— Ой-ой! Разве что душа из него убежала — даже и не пошевельнется.

— О, это стреляный воробей. А ну-ка, гляньте, как он там, такой и сквозь землю горазд провалиться.

— Сейчас глянем! — ответили несколько казаков, направляясь к дверям хлева.

— И сена с чердака струсите — лошадей обтереть! На заре выступаем.

— Хорошо, б а т ь к у!

Заглоба, мгновенно покинув свой пост у дыры в крыше, подполз к отверстию в настиле. В ту же секунду он услышал скрип деревянного засова и похрустыванье соломы под ногами казаков. Сердце его бешено колотилось; крепко сжав рукоять сабли, он заново поклялся в душе, что скорее позволит спалить себя вместе с хлевом или изрубить в куски, нежели отдастся живьем. Он полагал, что казаки немедля подымут крик, однако ошибся. Несколько времени слышно было, как они бродят по хлеву, потом шаги убыстрились, и наконец один промолвил:

— Что за черт? Не могу нашарить! Мы ж его бросили в этот угол.

— Оборотень он, что ли? Высеки-ка огня, Василь, темно, как в колодце.

На минуту все смолкло. Василь, верно, искал трут и огниво; потом другой казак принялся потихоньку окликать:

— Отзовись, пан шляхтич!

— Как бы не так! — буркнул Заглоба.

Но вот железо чиркнуло о камень, посыпался сноп искр, осветив на мгновение темное нутро хлева и казачьи головы в смушковых шапках, после чего мрак еще больше сгустился.

— Нету! Нету! — закричали возбужденные голоса.

Один из казаков бросился к двери.

— Батьку Голодый! Батьку Голодый!

— Чего там? — спросил, показываясь в дверях, сотник.

— Нету ляха!

— Как это нету?

— Сквозь землю провалился! Нигде нет. О, господи помилуй! Мы и огонь высекали — нету!

— Не может быть. Ох, и задаст вам атаман! Удрал он, что ли? Проспали?

— Не, батьку, мы не спали. Из хлева он мимо никак не мог прокрасться.

— Тихо! Не будить атамана!.. Коли не ушел, тут быть должен. Вы везде искали?

— Везде.

— А на сеновале?

— Он же связанный, как ему на сеновал забраться?

— Дурная башка! Кабы он не развязался, был бы на месте.

Ищите на сеновале. Высечь огня!

Снова брызнули в темноту искры. Весть мигом облетела всех караульных. В хлев, как это всегда в подобных случаях бывает, поспешно сбежался народ; послышались торопливые шаги, торопливые вопросы и еще более скорые ответы. Как сабельные удары в бою, посыпались со всех сторон советы:

— На сеновал! На сеновал!

— А ты покарауль снаружи!

— Атамана не будить, не то беда будет!

— Лестницы нету!

— Неси другую!

— Нигде нет!

— Сбегай в хату, может, там есть...

— У, лях проклятый!

— Давайте с углов на крышу и по крыше на сеновал.

— Не выйдет, карниз широкий и досками снизу подшит.

— Несите пики. По ним и взойдем. Ах, пес!.. Лестницу втащил за собою!

— Принести пики! — загремел голос Голодого.

Одни побежали за пиками, другие, задравши головы, столпились под сеновалом. Рассеянный свет и в хлев уже просочился сквозь открытую дверь, и в полусумраке виден стал квадратный лаз на сеновал, черный и безмолвный.

Снизу доносились отдельные голоса:

— Эй, пан шляхтич! Спускай лестницу да слазь. Все равно тебе не уйти, зачем людей утруждаешь! Слезай! Слезай!

Тишина.

— Ты же человек умный! Сидел бы себе, кабы помогло, дак ведь не поможет — лучше слезай, мил друг, по своей воле!

Тишина.

— Слазь, не то кожу с башки сдерем — да в навоз рожей!

Заглоба оставался столь же глух к угрозам, сколь и к увещаниям, и сидел во тьме, как барсук в норе, приготовясь к отчаянному отпору. Только саблю крепче сжимал в кулаке, да посапывал и читал про себя молитву.

Между тем принесли пики, связали по три вместе и приставили остриями к лазу. У Заглобы мелькнула было мысль схватить их и втянуть наверх, но он тут же спохватился, что крыша может оказаться низковата и полностью пики не затащишь. Да и немедля приволокли бы другие.

Пока же весь хлев наполнился молодцами. Одни светили лучинами, другие подтаскивали жерди и решетки от телег, а поскольку последние оказались коротковаты, поспешно крепили их ремнями — по пикам взбираться и впрямь было бы трудно. Однако ж охотники сыскались.

— Я пойду! — вскричало несколько голосов.

— Погодим, пока лестница будет! — сказал Голодый.

— А отчего бы, ба т ь к у, не попробовать по пикам?

— Василь взберется! Он как кошка лазает.

— Попробуй.

Тотчас посыпались шутки:

— Эй, осторожней! У него сабля, снесет башку, и не заметишь.

— Он тебя за чуб схватит и наверх втащит, а там как медведь придавит.

Но Василя это не испугало.

— В і н знає,— сказал он,— что ежели меня пальцем тронет, атаман ему покажет, почем фунт лиха, да и вы в долгу не останетесь, б р а т и.

Это было предостережение Заглобе, который сидел тихонько, не подавая голоса.

Но казаки, народ лихой, уже и развеселились; происходящее показалось им забавным, и они наперебой продолжали подгрунговать над Василем:

— Одним дураком на свете меньше станет.

— Да ему плевать, как мы за твою башку отплатим. Не видишь, что ль, каков ухарь!

— Хо! Хо! Оборотень он. Черт знает, в кого там превратился... Чародей ведь! Еще неведомо, кто тебя в этой дыре поджидает.

Василь, который уже поплевал на ладони и ухватился за пики, вдруг призадумался.

— На ляха пойду,— сказал он,— а на черта нет.

К тому времени решетки были связаны и приставлены к лазу. Но и по ним всходить оказалось неподручно: они тут же прогнулись в местах скрепления, и тонкие перекладки трещали, едва на них пробовали поставить ногу. Однако Голодный сам полез первым. Подымаясь, он приговаривал:

— Видишь теперь, пан шляхтич, что мы не шутим. Не захотел слезать, заупрямился, ну и сиди, только защищаться не вздумай — все одно мы тебя достанем, хоть весь хлев разобрать придется. Одумайся, покуда не поздно!

Наконец голова его достигла отверстия и постепенно в нем скрылась. Вдруг послышался свист сабли, казак страшно вскрикнул, пошатнулся и свалился под ноги к молодцам с разрубленной надвое головою.

— Коли его, коли! — взревели казаки.

В хлеву поднялось страшное смятенье, раздались крики, вопли, которые заглушил громоподобный голос Заглобы:

— Ха, разбойники, людоеды, душегубцы, всех вас до единого перебью, кобели шелудивые! Знайте руку рыцаря. Я вам покажу, как на честных людей нападать по ночам! Как шляхтичей запирать в хлеву... Ха! Прохвосты! Давай по одному, по очереди, а то и по двое можно! Ну, кто первый? Только головы свои лучше в навозе попрячьте, не то снесу напрочь, клянусь богом!

— Коли! Коли! — вопили казаки.

— Хлев спалим!

— Я сам спалю, голощаны, вместе с вами!

— А ну, давай по несколько, по несколько разом! — крикнул старый казак. — Держать решетки, пиками подпирать! Солтому на голову и вперед!.. Взять его надо!

С этими словами он полез наверх, а с ним двое его товарищей; перекладки затрещали, ломаясь, решетки прогнулись еще больше, но по меньшей мере два десятка сильных рук схватились за жерди, подперли лестницу пиками. Кое-кто просунул острия в лаз, чтобы шляхтичу трудней было размахнуться саблей.

Несколько минут спустя еще три тела свалились на головы стоящих под сеновалом.

Заглоба, разгоряченный успехом, ревел как буйвол и изрыгал такие проклятья, каких свет не слышал, — у казаков от его слов душа бы ушла в пятки, не охвати их в ту минуту дикая ярость. Одни кололи пиками настил, другие карабкались по лестнице, хотя в темной дыре их ждала верная погибель. Вдруг у дверей поднялся крик и в хлев вбежал сам Богун.

Был он без шапки, в одной только рубахе и шароварах, в руке держал обнаженную саблю, глаза сверкали.

— На крышу, собачьи дети! — крикнул он. — Содрать солону и живым взять.

А Заглоба, увидав Богуна, взревел:

— Только приблизься, хам! Вмиг уши обрежу и нос отрублю, а головы твоей мне даром не надо, по ней топор плачет. Что, трусу празднуешь, холоц, боишься? А ну, кто скрутит этого шельму, тот будет помилован. Что, висельник, что, кукла еврейская? Сам явился? Просунь только башку в дырку! Ну, где же ты? Залезай, рад буду и угощу отменно, сразу припомнишь папашу-сатану да мать-шлюху!

Между тем у Заглобы над головой затрещали стропила. Видно, казаки взобрались на крышу и уже сдирали солому.

Заглоба треск расслышал, но страх не отнял у него силы. Он словно опьянен был схваткой и кровью.

«Забьюсь в угол и там погибну», — подумал он.

Но в эту минуту во всех концах майдана вдруг загремели выстрелы, и тотчас в хлев ворвались человек десять казаков.

— Б а т ь к у! — благим матом кричали они. — Сюда, б а т ь к у!

Заглоба в первое мгновение не понял, что происходит, и остолбенел от изумленья. Глядит сквозь дыру в хлев — никого. Стропила на крыше не трещат.

— В чем дело? Что случилось? — громко воскликнул он. — Ага, понятно! Они решили хлев спалить и из пистолетов сядят по крыше.

Тем временем людской рев за стеной становился все страшней, послышался топот копыт. Выстрелы мешались с воем, звенело железо. «Господи! Да это, никак, сраженье!» — подумал Заглоба и кинулся к своей дыре в крыше.

Поглядел — и ноги под ним от радости подкосились.

На майдане кипел бой, а вернее, Заглоба увидел ужасное избиение Богуновых казаков. Застигнутые врасплох, они позволили врагу подойти вплотную и падали, сраженные выстрелами в упор; припертые к изгородям, к стенам хаты и овину, разимые мечами, теснимые лошадиными крупами, сминаемые копытами, погибали почти без сопротивления. Солдаты в красном напирали, неистово рубясь, не давая казакам ни построиться, ни замахнуть саблей, ни перевести дух, ни вскочить на лошадь. Немногие лишь защищались; кто-то в дыму и сумятице торопливо подтягивал подруги и валился наземь, не успев поставить ногу в стремя; иные, побросав пики и сабли, бежали к изгородям, перепрыгивали через них или протискивались меж кольев, застревая, крича и вопя нечеловечьими голосами. Казалось несчастным, что сам князь Иеремия как орел налетел на них, навалился внезапно со всей своей ратью. Времени не оставалось ни опомниться, ни оглядеться: возгласы победителей, свист сабель, гром выстре-

лов гнали их, как ураганный вихрь, горячее конское дыхание жгло затылки. «Люди, спасайте!» — раздавалось со всех сторон. «Бей, убивай!» — кричали солдаты.

И наконец увидел Заглоба маленького Володыёвского, который, стоя с несколькими солдатами близ ворот, словами и булавой отдавал приказанья, а порой врезался на своем гнедом жеребце в самую бучу: едва примерится, едва повернется, и человек уже падает, не издав и вскрика. О, Володыёвский великий был в своем деле мастер; прирожденный воитель, он безотрывно следил за ходом битвы, и, наведя где должно порядок, снова возвращался на место, и наблюдал, и указывал, словно управлял оркестром: когда надо, сам возьмет инструмент, когда надо — перестанет играть, но глаз ни на секунду ни с кого не спускает, дабы каждый свое исполнил.

Завидя такое, Заглоба затопал ногами по доскам настила, так что пыль вокруг за клубилась, захопал в ладоши и заревел во всю глотку:

— Бей проклятых! Бей, убивай, сноси головы! Руби, коли, лупи, дави, режь! А ну, поднажмите! Саблями их, чтоб ни одному не уйти живому!

Так кричал Заглоба, волчком вертясь на месте; глаза его от натуги налились кровью, даже свет померк на минуту, но, когда зрение к нему вернулось, он увидел еще более великолепную картину — в окружении полсотни казаков вихрем летел на коне Богун, без шапки, в одной рубахе и шароварах, а за ним маленький Володыёвский со своими людьми.

— Бей! Это Богун! — крикнул Заглоба, но не был услышан.

Меж тем Богун с казаками через плетень, Володыёвский через плетень, некоторые отстали, у иных лошади на скаку перекувырнулись. Поглядел Заглоба: Богун на равнине, Володыёвский на равнине. Казаки врассыпную и бежать, солдаты поодиночке за ними. У Заглобы дух захватило, глаза чуть не вылезли из орбит. Что ж он увидел? А вот что: Володыёвский, как гончая за кабаном, по пятам за Богуном несется, атаман поворачивает голову, заносит саблю!..

— Бьются! — кричит Заглоба.

Еще мгновение, и Богун падает вместе с лошадьёю наземь, конь Володыёвского топчет его копытами и маленький рыцарь устремляется вдогонку за другими беглецами.

Но Богун еще жив, он вскакивает и бежит к поросшим курстаршиком холмам.

— Держи его! Держи! — ревет Заглоба. — Это Богун!

Появляется новая ватага казаков, которая до той минуты за холмами укрывалась, а теперь, когда ее заметили, ищет нового пути к бегству. За нею, примерно в полуверсте, мчатся солдаты. Казаки догоняют Богуна, окружают, подхватывают и увозят с собой. И вот уже вся ватага исчезает в извоях яра, а за нею скрываются из глаз и преследователи.

На майдане сделалось тихо и пусто: даже солдаты Заглобы, отбитые Володыёвским, повскакав на казацких коней, понеслись вместе с другими за рассыпавшимися кто куда беглецами.

Заглоба спустил лестницу, слез с сеновала и, выйдя из хлева на майдан, проговорил:

— Я свободен...

И, сказавши так, осмотрелся по сторонам. На майдане лежали во множестве убитые запорожцы и около дюжины солдатских трупов. Шляхтич медленно между них прошелся, внимательно каждого лежащего оглядел и опустилсь возле одного на колени.

Когда он минуту спустя поднялся, в руке у него была жестяная манерка.

— Полная,— пробормотал Заглоба.

И, поднеся манерку к устам, запрокинул голову.

— Недурственна!

Потом опять огляделся вокруг и еще раз повторил, но уже голосом куда более бодрым:

— Я свободен.

После чего направился к хате, переступил через лежащий на пороге труп старого бондаря, убитого казаками, и скрылся за дверь. Когда же вышел, вокруг чресел его, поверх кунтуша, измаранного навозом, сверкал Богунов пояс, густо расшитый золотом, а за поясом нож, украшенный крупным рубином.

— Господь вознаградил за отвагу,— бормотал он,— вон и кошелек набит весьма туго! Ну, разбойник поганый! Теперь не уйдешь, надеюсь! Но маленький-то фертик каков! Чтоб ему ни дна ни покрышки. Невелика щучка, да зубок остер, дери его черти. Знал я, что он славный воин, но чтоб эдак Богуноу нагнать на хвост — такого я, признаться, не ждал. Подумать только: телом тщедушен, а сколько огня и задору! Богун бы его мог за пояс заткнуть, как ножик. Чтоб ему пусто было! Ой, нет: помоги ему всевышний! Видно, он Богуна не узнал, а то бы прикончил. Фу, как порохом пахнет, аж в носу засвербило! Однако я-то из какой переделки вылез — в такую мне еще попадать не доводилось! Слава тебе, господи!.. Но Богуна-то он как лихо! Нужно будет к этому Володыёвскому присмотреться: дьявол в нем сидит, не иначе.

Так приговаривая, Заглоба сел на пороге хлева и стал ждать.

Вскоре вдаль на равнине показались солдаты, возвращающиеся после разгрома врага. Впереди ехал Володыёвский. Увидев Заглобу, маленький рыцарь прищипорил коня и, спешившись, направился прямо к нему, крича издали:

— Неужто я вашу милость живым вижу?

— Меня собственной персоной,— ответил Заглоба. — Да вознаградит тебя бог, что с подмогой прибыл.

— Благодари бога, что вовремя,— сказал Володыёвский, радостно пожимая Заглобе руку.

— Но откуда ж ты, сударь, о моей беде прознал?
— Мужики с этого хутора знать дали.
— О, а я уж думал, они меня предали.
— Что ты, это добрые люди. Парень с девушкой едва унесли ноги, а с другими что, они и не знают.

— Коли не изменники, значит, всех казаки порешили. Вон, хозяин лежит возле хаты. Ну ладно, довольно об этом. Говори скорей, сударь любезный: Богун жив? Удрал?

— Неужто это Богун был?

— Ну да! Тот, что без шапки, в рубахе и шароварах, которого ваша милость свалил с конем вместе.

— Я его в руку ранил. Экая досада, что не узнал... Но ты-то, ты что здесь учинил, сударь?

— Я что учинил? — переспросил Заглоба. — Пошли со мной — да гляди хорошенько!

С этими словами он взял пана Михала за руку и повел в хлев.

— Гляди,— повторил он на пороге.

Володыёвский сначала со света ничего не мог разобрать, но, когда глаза его привыкли к темноте, увидел тела, неподвижно лежащие на навозной куче.

— А этих кто перебил? — удивленно спросил он.

— Я,— ответил Заглоба. — Ты спрашиваешь, что я учинил? Любуйся!

— Н-да! — произнес молодой офицер, покачав головою. — А как это ты исхитрился?

— Я там, наверху, оборонялся, а они на меня и снизу лезли, и с крыши. Не знаю, долго ли,— в бою время не замечаешь. Да, это был Богун, сам Богун с немалой силой — молодцы все как на подбор. Попомнит он теперь тебя, сударь, да и меня не забудет! В другой раз я расскажу, как попал в плен, что вытерпел и как Богуна отчехвостил,— мы с ним еще несколькими словами перекинуться успели. А сегодня я до чрезвычайности *fatigatus*, едва на ногах стою.

— Н-да,— повторил еще раз Володыёвский,— ничего не скажешь, отважно ты, сударь, держался. Одно только замечу: рубака из тебя лучший, нежели полководец.

— Пан Михал,— промолвил шляхтич,— не время сейчас заводить долгие разговоры. Лучше возблагодарим бога, что нам с тобой ниспослал нынче столь блистательную победу, которая нескоро в памяти людской сотрется.

Володыёвский с удивлением взглянул на Заглобу. Ему до сих пор казалось, что он один одержал эту победу, но старый шляхтич, видно, желал разделить с ним лавры.

Однако пан Михал только поглядел на приятеля, покачал головой и молвил:

— Пусть будет так, ладно.

Часом позже оба друга во главе соединенных отрядов двинулись по дороге, ведущей в Ярмолинцы.

Люди Заглобы почти все были целы, так как, застигнутые спящими, не оказывали сопротивления; Богун же, которому велено было достать «языка», приказал солдат не убивать, а брать живыми.

ГЛАВА VIII

Богуну, сколь ни бесстрашным и осмотрительным он был вождем, господь не дал удачи в той экспедиции, куда его отправили следить за мнимой дивизией князя Иеремии. Он лишь утвердился в убеждении, что князь действительно двинул все силы против Кривоноса: так говорили взятые в плен люди Заглобы, которые сами свято верили, будто Вишневецкий идет за ними следом. Поэтому бедному атаману ничего не осталось иного, кроме как возвращаться поскорей к Кривоносу, но и эта задача была не из легких. Лишь на третий день собрались возле него две с небольшим сотни казаков, остальные либо полегли в бою, либо остались, раненные, на месте схватки, а кое-кто еще блуждал по оврагам и очерету, не зная, что делать, куда бежать, в какую сторону податься. Да и от собравшейся вокруг Богунатаги ватаги немного было проку: после погрома люди его, перепуганные, растерявшиеся, при первой тревоге норовили обратиться в бегство. А ведь молодец он подобрал одного к одному: лучше во всей Сечи сыскать было бы трудно. Но казаки не знали, что Володыёвский ударил на них с такой малой силой и разгромил лишь потому, что внезапно напал на спящих и неготовых к отпору, — они нисколько не сомневались, что если не с самим князем повстречались, то, по крайней мере, с сильным, в несколько раз большим по численности отрядом. Богун на стенку лез: раненый, истоптанный копытами, больной, избитый, он еще и заклятого врага упустил из рук, и славу свою запятнал, его же молодцы, которые накануне разгрома хоть в Крым, хоть в пекло, хоть на самого князя готовы были слепо за ним идти, теперь разуверились в своем атамане, поникли духом и о том только думали, как бы спасти свою шкуру. А ведь он сделал все, что атаману сделать надлежало, ничего не упустил, стражей хутор обставил, а привал устроил лишь потому, что лошади, которые из-под Каменца почти без роздыху шли, никак не могли продолжать путь. Но Володыёвский, чья молодость прошла в стычках с татарами и набегах, как волк подкрался ночью к дозорным, скрутил их, прежде чем они успели выстрелить или вскрикнуть, — и обрушился на отряд так, что он, Богун, в одних только шароварах да в рубахе сумел унести ноги. Стоило атаману об этом подумать, свет ему немил становился, голова шла кругом и отчаянье, словно бешеный пес, рвало душу. Он, который на Чер-

ном море турецкие галеры топил, который до самого Перекопа татар по пятам гнал и у хана на глазах предавал огню улусы, он, который у князя под боком, под самыми Лубнами, вырезал в Василевке целый regiment, — вынужден был бежать в одной рубахе, с непокрытой головой и без сабли, ибо и саблю потерял в стычке с маленьким рыцарем. Потому на привалах и ночлегах, когда никто на него не глядел, атаман хватался за голову и кричал: «Где моя слава молодецкая, где моя подруга сабля?» И от собственного крика в дикое помешательство впадал и напивался до потери человеческого облика, а тогда рвался идти на князя, против всей его рати — и погибнуть, навеки расстаться с жизнью.

Он-то рвался — да молодцы не хотели. «Хоть убей, батяку, не пойдем!» — угрюмо отвечали они на отчаянные его призывы, и тщетно в припадках безумия замахивался он на них саблями, стрелял из пистолетов так, что им порохом опаляло лица, — не хотели идти, и все тут.

Можно сказать, земля уходила из-под ног атамана — и это еще был не конец его бедам. Опасаясь возможной погони, он не решился идти прямо на юг, а, считая, что, быть может, Кривonos уже снял с Каменца осаду, повернул на восток и... наткнулся на отряд Подбипятки. Чуткий, как журавль, пан Лонгинус не дал себя застать врасплох, первый на атамана ударил и разбил тем легче, что казаки не желали драться, а затем погнал навстречу Скшетускому, тот же довершил разгром, так что Богун после долгих скитаний в степях, без добычи и без «языков», потеряв почти всех своих молодцев, с каким-нибудь десятком людей бесславно явился к Кривonosу.

Но неистовый Кривonos, не знающий снисхождения к тем из своих подчиненных, которых постигла неудача, на сей раз не разгневался нисколько. Он по собственному опыту знал, каково иметь дело с Иеремией, и потому принял Богуну ласково, утешал его и успокаивал, а когда атаман свалился в жестокой горячке, приказал ухаживать за ним, и лечить, и беречь пуще глаза.

Между тем четыре княжеских рыцаря, посеяв всеместно страх и смятенье, благополучно возвратились в Ярмолинцы, где задержались на несколько дней, чтобы дать роздых людям и лошадям. Остановились все на одной квартире и там поочередно отчитались Скшетускому, что с кем приключилось и каких кто добился успехов, а затем уселись за бутылкой доброго вина, чтобы излить душу в дружеской беседе и взаимное удовлетворить любопытство.

Тут уж Заглоба никому не дал вымолвить слова. Не желая слушать других, он требовал, чтобы слушали только его; оказалось, однако, что ему и вправду более, нежели другим, есть о чем рассказать.

— Любезные судари! — витийствовал он. — Я попал в плен — что верно, то верно! Но фортуна, как известно, изменчи-

ва. Богун всю жизнь других бил, а час пришел — мы его побили. Да-да, на войне так всегда бывает! Сегодня со щитом, завтра на щите — обычное дело. Но Богуна господь за то и покарал, что на нас, сладко спящих сном праведных, напасть осмелился и разбудил пагло. Хо-хо! Он думал страху на меня нагнать гнусными своими речами, но я его, любезные судари, так отбрил, что он вмиг присмирел, смешался и выболтал больше, чем самому хотелось. Впрочем, что тут долго рассказывать?.. Не попадись я в плен, мы бы с паном Михалом так легко их не одолели; я говорю «мы», ибо в заварухе сей magna pars fui¹ — до смерти повторять не устану. Дай мне бог здоровья! Теперь слушайте дальше: по моему разуменью, не наступи мы с паном Михалом атаману на пятки, неизвестно еще, каково бы пришлось пану Подбипятке, да и пану Скшетускому тоже; короче: не погромим мы его, он бы нас погромил — а почему так не случилось, в ком, скажите вы мне, причина?

— А ваша милость истинно как лиса, — заметил пан Лонгинус. — Тут хвостом вильнешь, там увернешься и завсегда сухим из воды выйдешь.

— Глуп тот пес, что за своим хвостом бежит: и догнать не догонит, и порядочного ничего не учует, а вдобавок нюх потекает. Скажи лучше, сударь, сколько ты людей потерял?

— Двенадцать всего-навсего, да несколько ранены; казаки и не больно-то отбивались.

— А ваша милость, пан Михал?

— Не более тридцати — мы их врасплох застали.

— А ты, пан поручик?

— Столько же, сколько пан Лонгинус.

— А я двоих. Извольте теперь сказать: кто лучший полководец? То-то и оно! Мы сюда зачем приехали? По княжескому велению вести собирать о Кривоносе; вот я вам и доложу, любезные господа, что первый о нем проведал, причем из наивернейшего источника — от самого Богуна, так-то! Отныне мне известно, что Кривонос еще под Каменцем стоит, но об осаде больше не помышляет — потому как обуян страхом. Это *de publicis*², но я еще кое-что разузнал, от чего сердца ваши должны возликовать безмерно, а молчал до поры, поскольку хотел с вами вместе обсудить, как быть дальше; к тому ж доселе нездоровым себя чувствовал, в полном пребывал изнурении сил, да и нутро взбунтовалось после того, как разбойники эти меня в бараний рог скрутили. Думал, кондрашка хватит.

— Да говори же ты, сударь, бога ради! — воскликнул Володыёвский. — Неужто о бедняжке нашей что проведал?

— Воистину так, да благословит ее всевышний, — промолвил Заглоба.

¹ я принял значительное участие (лат.). — Вергилий.

² о делах общественных (лат.).

Скшетуский поднялся во весь свой рост, но тотчас же опять сел — и такая тишина настала, что слышно было жужжанье комаров на окошке, пока наконец Заглоба не заговорил снова:

— Жива она, это я теперь доподлинно знаю, и у Богуна в руках. Страшные это руки, любезные судари, однако ж господь упас ее от зла и позору. Богун сам мне признался, а уж он бы не преминул похвалиться, будь оно иначе.

— Возможно ли? Возможно ли это? — лихорадочно вопрошал Скшетуский.

— Разрази меня гром, коли я лгу! — со всей серьезностью ответил Заглоба. — Для меня это святая святых. Послушайте, что Богун говорил, когда еще насмешничать надо мной пытался, покуда я его не осадил хорошенько. «Ты что ж, говорит, думал, для холопа ее в Бар привез? Думал, я мужлан, силой хочу взять девицу? Неужели, говорит, меня не стать на то, чтобы в Киеве обвенчаться в церкви, да чтоб монахи, говорит, мне пели, да чтобы триста свечей для меня зажглись — для меня, гетмана и атамана!» — и ногами давай топать, и ножом грозиться — напугать вздумал, да я ему сказал, пусть собак пугает.

Скшетуский уже овладел собою, но аскетическое его лицо просветлело, и снова на нем появились тревога, надежда, сомнение и радость.

— Где же она тогда? Где? — выпрашивал он торопливо. — Если ты, сударь, и это узнал, значит, мне тебя небеса послали.

— Этого он мне не сказал, но умной голове и полслова довольно. Не забудьте, любезные судари, что поначалу он всячески надо мной издевался, пока я его не приструнил, а тут у него и вырвалось против воли: «Вперед, говорит, я тебя отведу к Кривоносу, а потом пригласил бы на свадьбу, да сейчас война, не скоро еще свадьба будет». Заметьте, судари: еще не скоро — выходит, у нас есть время! И другое заметьте: вперед к Кривоносу, а уж потом на свадьбу — значит, у Кривоноса княжны точно нет, куда-нибудь он ее от войны подальше спрятал.

— Сущее ты золото, сударь! — воскликнул Володыёвский.

— Я сначала подумал, — продолжал польщенный Заглоба, — может, он ее отослал в Киев, ах нет: зачем тогда было говорить, что они в Киев венчаться поедут; раз поедут, значит, не там наша бедняжка. У него достанет ума туда ее не везти, потому как, если Хмельницкий на Червонную Русь подастся, литовские войска легко могут захватить Киев.

— Верно! Верно! — воскликнул пан Лонгиус. — Богом клянусь, не одному бы стоило с вашей милостью разумом помяться.

— Только я не со всяким меняться стану из опасения взамен разума мешок ботвы заполучить, а уж особенно с литвином.

— Опять он за свое, — вздохнул пан Лонгиус.

— Позволь же мне, сударь, закончить. Ни у Кривоноса, ни в Киеве ее, стало быть, нет — где же она в таком случае?

— В том и загвоздка!

— Если ваша милость догадывается, говори скорей, а то я сижу как на угольях! — вскричал Скшетуский.

— За Ямполем она! — сказал Заглоба и торжествующе обвел всех здоровым своим оком.

— Откуда это тебе известно? — спросил Володыёвский.

— Откуда известно? А вот откуда: сижу я в хлеву, — разбойник этот, чтоб его свиныя слопали, в хлев меня велел запереть! — а рядом ее казаки разговаривают промеж собою. Прикладываю ухо к стене и что же слышу?.. Один говорит: «Теперь небось атаман за Ямполь поедет», а другой на это: «Молчи, коли молодая жизнь дорога...» Голову даю, что она за Ямполем где-то.

— О, это уж как бог свят! — воскликнул Володыёвский.

— В Дикое Поле ведь он ее не повез, значит, по моему разумению, где-нибудь между Ямполем и Ягорлыком спрятал. Был я однажды в тех краях, когда посредники туда съехались от нашего короля и от хана: в Ягорлыке, как вам ведомо, вечно разобираются пограничные споры об угоне стад... Там вдоль всего Днестра сплошь овражины да чащобы, места неподступные, и хуторяне никому неподвластны — пустыня окрест, они и друг с другом не встречаются. У таких диких отшельников он ее, верно, и спрятал, да и безопаснее место трудно придумать.

— Ба! Но как туда добраться сейчас, когда Кривонос заградил дорогу? — говорит пан Лонгинус. — И Ямполь, как я слышал, — сущее разбойничье логово.

На это Скшетуский:

— Я ради ее спасения хоть десять раз голову сложить готов. Переоденусь и пойду искать — отыщу, надеюсь: бог меня не оставит.

— Я с тобой, Ян! — воскликнул Володыёвский.

— И я лирником нищим оденусь. Поверьте, любезные судари, уж чего-чего, а опыта у меня всех вас поболее; торбан мне, правда, обрыдл чертовски, ну да ничего, возьму волынку.

— Так, может, и я на что сгожусь, братушки? — спросил пан Лонгинус.

— Отчего ж нет, — ответил Заглоба. — Понадобится переправиться через Днестр, ты и перенесешь нас, как святой Христофор.

— Благодарствую от души, любезные судари, — сказал Скшетуский, — и готовностью вашей воспользоваться счастлив. Друзья познаются в беде, а меня, вижу, провидение такими верными друзьями подарило. Позволь же, всемогущий боже, и мне положить за друзей достояние и здоровье!

— Все мы аки один муж! — воскликнул Заглоба. — Господь поощряет согласие; увидите, в скором времени и мы плодами своих трудов насладимся.

— Знать, мне ничего иного не остается, — сказал, помолчав, Скшетуский, — как отвести хоругвь к князю и, не мешкая, отпра-

виться в путь вместе с вами. Пойдем по Днестру через Ямполь к Ягорлыку и повсюду искать будем. А поскольку, надеюсь, Хмельницкий уже разбит или, пока мы с князем соединимся, разбит будет, то и служба общему делу не станет помехой. Хоругви, верно, двинутся на Украину, чтобы вконец задушить мятеж, но там и без нас обойдутся.

— Погодите-ка, любезные судари, — сказал Володыёвский, — надо полагать, после Хмельницкого придет черед Кривоноса, так что, возможно, мы вместе с войском пойдем на Ямполь.

— Нет, нет, туда надлежит поспеть раньше, — ответил Заглоба. — Но первая наша задача — отвести хоругвь, чтобы руки развязаны были. Надеюсь, и князь нами contentus¹ будет.

— Особенно тобой, сударь.

— Разумеется! Кто ему наилучшие везет вести? Уж поверьте мне, князь не постоит за наградой.

— Стало быть, в путь?

— Не мешало бы отдохнуть до завтра, — заметил Володыёвский. — Впрочем, пускай приказывает Скшетуский — он у нас старший; однако предупреждаю: выступим сегодня — у меня все лошади падут.

— Это дело серьезное, знаю, — сказал Скшетуский, — но, думается, если задать им хорошего корму, завтра смело выходить можно.

Назавтра и отправились. Согласно княжескому приказу им надлежало вернуться в Збараж и там ожидать дальнейших распоряжений. Потому пошли на Кузьмин, чтобы, оставив в стороне Фельштын, свернуть к Волочиску, откуда через Хлебановку вел старый тракт на Збараж. Идти было нелегко — дорога от дождей раскисла, — но зато спокойно, только пан Лонгинус, шедший о сто конь впереди, разбил несколько банд, бесчинствовавших в тылу региментарских войск. На почлег остановились лишь в Волочиске.

Но едва утомленные долгой дорогой друзья уснули сладко, их разбудила тревога: дозорные дали знать о приближении конного отряда. Вскоре, однако, выяснилось, что это татарская хоругвь Вершулла — свои, значит. Заглоба, пан Лонгинус и маленький Володыёвский готчас поспешили к Скшетускому, а следом за ними туда же влетел вихрем запыхавшийся, с ног до головы забрызганный грязью офицер легкой кавалерии, взглянув на которого Скшетуский воскликнул:

— Вершулл!

— Так... точно! — проговорил тот, с трудом переводя дыхание.

— От князя?

— Да!.. Ох, дух перехватило!

— Какие вести? С Хмельницким покончено?

— Покончено... с... Речью Посполитой!

¹ доволен (лат.).

— Господь всемогущий! А ты, часом, не бредишь? Ужель поражение?

— Поражение, позор, бесчестье!.. Без боя... Разброд и смятение!.. О боже!

— Ушам не хочется верить. Говори же, говори Христа ради!.. Что regimentарии?

— Бежали.

— А где наш князь?

— Отступает... без войска... Я к вам от князя... с приказом... немедленно во Львов... Они идут за нами.

— Кто? Вершулл, Вершулл! Опомнись, брат! Кто идет?

— Хмельницкий, татары.

— Во имя отца, и сына, и святого духа! — вскричал Заглоба. — Земля из-под ног уходит.

Но Скшетуский уже понял, в чем дело.

— Вопросы потом, — сказал он, — немедленно на конь!

— На конь, на конь!

Кони Вершулловых татар уже били копытами под окошком. Жители, разбуженные вторженьем отряда, выходили из домов с факелами и фонарями. Новость молнией облетела город. Тотчас колокола забили тревогу. Тихий минуту назад городишко наполнился шумом, лошадиным топотом, громкими словами команд и гвалтом евреев. Население собралось уходить вместе с войском; отцы семейств запрягали возы, погружали на них детей, жен, перины; бургомистр с несколькими мещанами пришел умолять Скшетуского не уезжать вперед и хоть до Тарнополя сопроводить горожан, но Скшетуский, имея четкий приказ поспешать без промедленья во Львов, не захотел его и слушать.

Выступили сей же час, и лишь в дороге Вершулл, придя немного в себя, рассказал, что случилось.

— Сколько Речь Посполитая стоит, — говорил он, — такого не знала краха. Что там Цецора, Желтые Воды, Корсунь!

А Скшетуский, Володыевский, Лонгинус Подбипятка, припадая к шеем лошадей, то за головы хватались, то воздевали руки к небу.

— Нет, это выше человеческого разуменья! — восклицали они. — Где же князь был?

— А князь был всеми покинут и от дел умышленно отстранен, даже дивизией своей не распоряжался.

— Кто же взял на себя команду?

— Все и никто. Я старый служака, на войне зубы съел, но такого войска и таких предводителей еще не видел.

Заглоба, который особого расположения к Вершуллу не питал, да и знал мало, долго качал головой и губами причмокивал — и наконец промолвил:

— Скажи-ка, сударь любезный, а не помутилось ли у тебя в очах или, может, ты частичное поражение за всеобщий разгром принял, ибо то, что мы слышим, просто уму непостижимо.

— Непостижимо, согласен, более того: я бы с радостью голову отсечь позволил, если б чудом каким-нибудь оказалось, что это ошибка.

— А как же ваша милость ухитрился после разгрома прежде всех попасть в Волочиск? Не хочется допускать мысли, что первым дал тягу... Где же войска в таком случае? Куда бегут? Что с ними дальше случилось? Почему в бегстве своем тебя не опередили? На все эти вопросы силюсь найти ответ — но тщетно!

В любое другое время Вершулл никому бы не спустил оскорбленья, но в ту минуту он ни о чем ином, кроме как о катастрофе, не мог думать и потому ответил только:

— Я первым попал в Волочиск, поскольку прочие к Ожиговцам отступают, меня же князь с намереньем направил туда, где, по его расчету, ваши милости находились, дабы вас не смело ураганом этим, узнай вы о случившемся слишком поздно; а вот вторых, есть еще причина: ваши пятьсот конников теперь для князя дорогого стоят, поскольку дивизия его рассеяна, а большая часть людей погибла.

— Чудеса! — буркнул Заглоба.

— Подумать страшно, отчаянье берет, сердце на куски рвется, слез удержать не можно! — восклицал, ломая руки, Володыёвский. — Отчизна погублена, обесславлена, такое войско истреблено... рассеяно! Нет, пришел конец света. Страшный суд близок, не иначе!

— Не перебивайте его, — сказал Скшетуский, — позвольте закончить.

Вершулл помолчал, словно собираясь с силами; несколько времени слышно было лишь чавканье копыт по грязи, потому что лил дождь. Была еще глубокая ночь, особенно темная от сгустившихся туч, и во тьме этой, в шуме дождя на диво злоеще звучали слова Вершулла, когда он повел свой рассказ дальше:

— Кабы не думал я, что в бою погибну, верно бы, в уме повредился. Ты, сударь, о Страшном суде помянул — и я полагаю, что вскоре Судный день наступит: все рухнет, зло над добродетелью торжествует и антихрист уже бродит по свету. Ваши милости не видели, что творилось, но даже рассказ об этом вам слушать невыносимо, а каково мне, воочию наблюдавшему разгром и позор безмерный! Всевышний послал нам в начале этой войны удачу. Князь наш, покарав по справедливости пана Лаца под Чолганским Камнем, остальное предал забвению и помирился с князем Домиником. Радовались мы все, что настало согласие — и господь дал свое благословенье. Князь вторично погромил врага под Староконстантиновом и взял город, который неприятель после первого же штурма оставил. Затем двинулись мы к Пилявцам, хотя князь был иного мнения. Но уже в пути все против него ополчились: кто зависть выказывал, кто неприязнь, а кто и в открытую строил козни. На советах его не слушали, позициями пренебрегали, а пуще всего старались дивизию нашу

разделить, чтобы она целиком под его рукой не осталась. Воспротивясь он, за все беды вину б на него свалили, вот его светлость и страдал, терзался, но все сносил молча. Так, легкую кавалерию по приказу генерала-региментария в Старокопстантинове оставили вместе с пушками Вурцеля и с оберштером Махницким; еще отделили от нас обозного литовского Осинского и полк Корицкого, так что остались у князя лишь гусары Зацвилеховского, два полка драгун да я с неполной хоругвью — всего не более двух тысяч. И после этого всячески его затереть старались, я сам слышал, как поговаривали угодники князя Доминика: «Теперь после виктории никто не скажет, что это заслуга одного Вишневецкого». И на всех углах кричали, что если князю и впредь безмерная будет сопутствовать слава, то и на выборах его ставленник, королевич Карл, возьмет верх, а они хотят Казимира. Всех заразили заговорщическими страстями: войско на партии расколосось, прения начались, депутации, как на сейме, — обо всем думали, только не о войне, словно неприятель уже разгромлен. А начини я вашим милостям рассказывать о тех пиршествах, славословии, о той роскоши непомерной, вы б ушам своим не захотели верить. Пирровы полчища — ничто по сравнению с этими воинами в страусовых перьях, золотом да драгоценностями обвешанными с головы до ног. А еще с нами было двести тысяч прислуги и тьма повозок, лошади шатались под тяжестью вьюков с коврами и шелковыми шатрами, возы трещали под сундуками. Можно было подумать, мы мир завоевать собрались. Шляхта из ополчения день деньской целкала хлыстами: «Вот чем, говорит, усмирим хамов, не обнажая сабель». А мы, старые солдаты, драться привыкли, не лясы точить, нам сразу почуялось недоброе при виде сей небывалой роскоши. А тут еще из-за пана Киселя пошли распри. Одни кричат: он изменник, другие — достойный сенатор. Спьяну то и дело за сабли хватались. Стражи внутри лагеря не было вовсе. Никто не следил за порядком, никто солдатами не командовал, все делали что хотели, ходили куда в голову взбретет, располагались где вздумается, челядь вечно перебранки затевала... Боже милосердный, не военный поход, а разгульная масленица: *salutem Reipublicae*¹ все без остатка растратили, проплясали, пропили и проели!

— Но мы еще живы! — сказал Володыёвский.

— И бог есть на небесах! — добавил Скупетуский.

Снова настало молчание, затем Вершулл продолжал дальше:

— Погибнем *totaliter*², разве что господь сотворит чудо, простит прегрешения наши и незаслуженную окажет милость. Порой я сам отказываюсь своим глазам верить, и все, что видел, мне представляется страшным сном...

¹ благополучие Речи Посполитой (лат.).

² все до единого (лат.).

— Продолжай, сударь,— перебил его Заглоба,— пришли вы в Пилявцы, и что дальше?

— Пришли и стали. О чем там региментарии совещались, не знаю — на Страшном суде они еще за это ответят: если бы сразу ударили на Хмельницкого, видит бог, быть бы ему сломлену и разбиту, несмотря на беспорядок, разброд, распри и отсутствие полководца. Уже паника была среди черни, уже она подумывала, как бы Хмельницкого и вожачков своих выдать, а он сам замышлял бегство. Князь наш ездил от шатра к шатру, просил, умолял, угрожал: «Ударим, пока не подошли татары, ударим!» — и волосы на себе рвал, а они друг на дружку кивали — и ничего, ничего! Пререкались да пили... Разнесся слух, что идут татары — хан с двухсоттысячной конницей, — а они все судили-рядили. С князем никто не считался, он и из своего шатра выходить перестал. Пронесся слух, будто канцлер воспретил князю Доминику начинать сражение, будто ведутся переговоры: в войске еще большая поднялась неразбериха. А тут и татары пришли; правда, в первый день нас бог не оставил, князь с паном Осинским им отпор дали, и пан Лац себя показал превосходно: отогнали, потрепав изрядно, ордынцев. А потом...

Голос Вершулла пресекся.

— А потом? — спросил Заглоба.

— Настала ночь, страшная, неизвестно что обещающая... Помню, стоял я со своими людьми у реки в карауле и вдруг слышу, в казацком стане салютная пальба поднялась и крики. Мне и припомнилось, что вчера в лагере говорили, будто еще не вся татарская рать подоспела, только часть пришла с Тугай-беем. Я и подумал: коли они там ликуют, должно, и хан пожаловал собственной персоной. А тут и у нас начинается суматоха. Я взял несколько человек — и в лагерь. «Что случилось?» А мне кричат: «Региментарии ушли!» Я к князю Доминику — нет его! К подчасию — нет! К коронному хорунжему — нету! Господи Иисусе! Солдаты мечутся по майдану, головнями размахивают, крик, шум, вопли: «Где региментарии? Где региментарии?» Кто кричит: «На конь! На конь!», а кто: «Спасайтесь, братья, измена!» Руки воздевают к небу, лица безумные, глаза выпученные, толкаются, друг друга топчут, душат, на лошадей садятся, а кто и пешком бежит, не разбирая дороги. Бросают шлемы, кольчуги, ружья, палатки! Вдруг появляется со своими гусарами князь в серебряных латах: впереди шесть факелов несут, а он, в стреленах привставши, кричит: «Я здесь, все ко мне, я остался!» Куда там! Его и не слышат, и не видят, прут прямо на гусар, ряды сминают, людей, лошадей сбивают с ног — мы едва уберегли самого князя, — и по затоптанным кострищам, во тьме, точно полая вода, все войско в диком смятенье вылетает из лагеря, бежит очертя голову, рассеивается, гибнет... Нет больше войска, нет вождей, нет Речи Посполитой, только позор несмываемый да казацкая удавка на шее...

Тут застонал Вершулл и лошади в бока шпоры вонзил, до иступления доведенный отчаяньем; чувство это передалось остальным — словно в умопомраченье ехали они сквозь дождь и ночь.

Долго так ехали. Первым заговорил Заглоба:

— Без боя! Ах, стервецы! Разрази их гром! А помните, как куражились в Эбараже? Как грозилась Хмельницкого съесть без перца и соли? Шельмы окаянные!

— Какое там! — вскричал Вершулл. — Бежали после первого же сражения, выигранного у татар и черни, когда даже ополченцы словно львы дрались.

— Видится мне в этом перст божий, — сказал Скшетуский, — но еще где-то здесь скрыта тайна, которая со временем должна проясниться...

— Ладно бы войска обратились в бегство — такое на свете бывает, — сказал Володыёвский, — но тут полководцы первыми покинули лагерь, словно нарочно вознамерясь врагу победу облегчить и людей своих погубить.

— Истинная правда! — подхватил Вершулл. — Так и говорят, будто это с умыслом сделано было.

— С умыслом? Боже правый, не может быть такого!..

— Говорят, с умыслом. А почему?.. Кто поймет! Кто угадает!

— Чтоб им на том свете не знать покоя, чтобы род каждого зачах и только бесславная память осталась! — сказал Заглоба.

— Аминь! — сказал Скшетуский.

— Аминь! — сказал Володыёвский.

— Аминь! — повторил Подбипятка.

— Один есть человек, который еще отчизну спасти может, ежели ему булаву и уцелевшие силы Речи Посполитой доверять, один-единственный — никого другого ни войско, ни шляхта знать не захочет.

— Князь! — сказал Скшетуский.

— Точно так.

— За ним пойдем, под его рукою и смерть не страшна.. Да здравствует Иеремия Вишневецкий! — воскликнул Заглоба.

— Да здравствует! — повторило полсотни неуверенных голосов, но восклицания быстро оборвались: когда земля расступилась под ногами, а небо, казалось, обрушивается на голову, не время было для здравств.

Меж тем начало светать, и в отдалении показались стены Тарнополя.

ГЛАВА IX

Первые части разбитого под Пилявцами войска добрались до Львова на рассвете 26 сентября. Не успели открыться городские ворота, страшная весть с быстротою молнии разнеслась по городу, повергая одних в смятение, у других вызывая недоверие,

а у иных — отчаянное желание защищаться. Скшетуский со своим отрядом прибыл два дня спустя, когда город был уже забит бежавшими с поля боя солдатами, шляхтой и вооруженными горожанами. Уже составлялись планы обороны, потому что татар ждали с минуты на минуту, но еще неизвестно было, кто возглавит защитников города и как возьмется за дело, оттого везде царили паника и беспорядок. Кое-кто бежал из города, прихватив детей и пожитки, окрестные же крестьяне искали убежища в городских стенах. Отъезжающие и въезжающие скопелись на улицах, шумно препираясь, кому ехать первым. Проходу не стало от телег, тюков, узлов, лошадей. Повсюду солдаты различнейших родов войск, на всех лицах неуверенность, напряженное ожидание, отчаяние или унылая покорность. Ежеминутно, будто лесной пожар, вспыхивала паника, раздавались крики: «Едут! Едут!» — и толпа начинала колыхаться: обезумев от страха, люди устремлялись куда глаза глядят, пока не оказывалось, что это всего-навсего очередной отряд беглецов подходит. Отрядов таких собиралось все больше — но сколь жалостное зрелище являли собой те самые воины, что недавно еще, в золоте и перьях, с песнею на устах и гордыней во взорах, шли громить мятежников! Сейчас, оборванные, изголодавшиеся, изнуренные, забрызганные грязью, на загнанных лошадях, с печатью позора на лицах, не на рыцарей похожие, а на нищих, они могли б возбудить лишь сострадание, будь оно возможно в стенах города, на который вот-вот должен был обрушиться враг всею своею мощью. И каждый из посрамленных этих рыцарей единственно тем себя утешал, что не одинок в своем позоре, что бесчестие с ним разделяют многие тысячи... Поначалу все они попрятались кто куда, а затем, придя немного в себя, возроптали громко: посыпались жалобы, угрозы, проклятья, войны слонялись по улицам, пьянствовали в шинках, отчего лишь усугублялись тревога и беспорядок.

Каждый твердил: «Татары близко!» Одни видели за собой пожары, другие клялись и божились, что им уже пришлось отбиваться от татарских передовых отрядов. Люди, столпившиеся вокруг солдат, затаив дыхание, слушали их рассказы. Крыши и колокольни усыпаны были тысячами любопытных, колокола били *lagum*, а женщины и дети переполняли костелы, где в обрамлении мерцающих свечей сверкали дарохранильницы.

Скшетуский со своим отрядом с трудом протискивался от Галицких ворот сквозь плотные скопления лошадей, солдат, повозок, сквозь ряды ремесленных цехов, выстроившихся под своими знаменами, и толпы простонародья, с удивлением глядящие на хоругвь, которая входила в город не врасыпную, а в боевом порядке. Поднялся крик, что подходит подкрепление, и сборищем овладела беспричинная радость: люди обступили Скшетуского, хватая за стремяна его лошадь. Сбежались и солдаты, крича: «Это люди Вишневецкого! Да здравствует князь Иеремия!»

Толчея сделалась такая, что хоругвь едва могла продвигаться вперед.

Наконец показался отряд драгун во главе с офицером. Всадники расталкивали толпу, офицер кричал: «С дороги! С дороги!» — и бил плашмя саблею тех, кто не освобождал путь достаточно быстро.

Скшетуский узнал Кушеля.

Молодой офицер радостно приветствовал знакомых.

— Что за времена! Что за времена! — только и восклицал он.

— Где князь? — спросил Скшетуский.

— Князь чуть не извелся от тревоги, что ты долго не приезжаешь. Очень ему здесь тебя с твоими людьми не хватает. Сейчас он у бернардинцев, меня послали в городе навести порядок, но этим уже занялся Грозваер. Я поеду с тобой в костел. Там совет начался.

— В костеле?

— Да-да, в костеле. Князю хотят булаву вручить: воинство объявило, что под иным началом не станет оборонять город.

— Едем! Мне тоже надо безотлагательно увидеть князя.

Соединившись, отряды далее двинулись вместе. По дороге Скшетуский расспрашивал, что делается во Львове и решено ли готовиться к обороне.

— Сейчас как раз обсуждается этот вопрос, — сказал Кушель. — Горожане хотят защищаться. Что за времена! Люди низкого рода держатся достойнее, чем рыцари и шляхта.

— А где региментарии? С ними что? Ужель тоже в городе? Как бы не воспротивились князю!

— Дай бог, чтобы он сам не воспротивился! Упустили время отдать ему булаву, а теперь уже поздно. Региментарии на глаза показаться не смеют. Князь Доминик остановился было в палатах архиепископа, но немедля уехал, и правильно сделал: ты не представляешь, сколь озлоблены против него солдаты. Уже его и след простыл, а они все кричат: «Подать его сюда на расправу!» — легко бы он не отделался, если б вовремя не убрался. А коронный подचाпый первым сюда явился и начал, вообрази, оговаривать князя, да только многих против себя возмутил и теперь сидит тихо. Его открыто во всем винят, а он только слезы глотает. И вообще страх что творится, ну и времена настали! Говорю тебе, благодари бога, что под Пилявцами не был, не бежал оттуда. Сам диву даюсь, как, побывавши там, мы все ума не решились.

— А что с нашей дивизией?

— Нет уже ее, никого почти не осталось! Вурцеля нет, Махницкого нет, Зацвилюховского нету. Вурцель с Махницким не дошли до Пилявиц: дьявол этот, князь Доминик, в Староконстантинове приказал их оставить, чтобы подорвать силу нашего князя. Неизвестно: то ли они ушли, то ли неприятелю в лапы попали,

И старик Зацвилиховский как в воду капнул. Дай бог, чтоб живым остался!

— А войска тут много собралось?

— Немало, да что толку? Один князь мог бы навести порядок, если бы булаву принять согласился, солдаты никого больше не желают слушать. Страшно князь тревожился о тебе и о твоих людях. Единственная полная хоругвь как-никак. Мы уже здесь тебя оплакивали.

— Ныне только тот и счастлив, по ком плачут.

Несколько времени они ехали молча, поглядывая на скопившиеся на улицах толпы, слушая возгласы: «Татары! Татары!» В одном месте увидели страшную картину: разорванного в клочья человека, в котором толпа заподозрила лазутчика. Колокола трезвонили, не умолкая.

— А что, орда скоро нагрянет? — спросил Заглоба.

— Черт ее знает!.. Может, и нынче. Городу этому долго не продержаться. У Хмельницкого двести тысяч казаков, а еще татары.

— Беда! — воскликнул старый шляхтич. — Надо было дальше очертя голову ехать! И зачем мы столько побед одержали?

— Над кем?

— Над Кривоносом, над Богуном, а над кем еще, одному дьяволу известно!

— Ого! — сказал Кушель и, обратясь к Скшетускому, спросил, понизив голос: — А тебя, Ян, ничем не порадовал господь? Не нашел ты, кого искал? Не узнал чего-нибудь, по крайней мере?

— Не время сейчас об этом думать! — воскликнул Скшетуский. — Что значу я со своими бедами перед лицом того, что случилось! Все суета сует, а впереди смерть.

— И мне видится, что скоро конец света настанет, — сказал Кушель.

Так доехали до костела бернардинцев, ярко освещенного внутри. Несметные толпы собрались возле него, но войти не могли, так как цепь алебардчиков загоразживала вход, пропуская только вельмож и военачальников.

Скшетуский велел своим людям тоже выстроиться перед костелом.

— Войдем, — сказал Кушель. — Здесь половина Речи Посполитой.

Вошли. Кушель не много преувеличил. На совет собралась вся городская знать и верхушка войска. Кого там только не было: воеводы, каштеляны, полковники, ротмистры, офицеры иноземных полков, духовенство, шляхты столько, сколько могло в костеле вместиться, множество низших военных чинов и человек пятнадцать советников из городского магистрата во главе с Грозваером, которому предстояло принять командование отрядами горожан. Присутствовал там и князь, и коронный подचाший —

один из региментариев, и киевский воевода, и староста стобницкий, и Вессель, и Арцишевский, и литовский обозный Осицкий — эти сидели перед главным алтарем так, чтобы publicum¹ могло их видеть. Совет проходил в горячке и спешке, как в подобных случаях бывает: ораторы вставали на скамьи и заклинали вельмож и военачальников без сопротивления не отдавать город. Хотя бы ценою жизни надобно неприятеля задержать, дать Речь Посполитой собраться с силами. Чего не хватает для обороны? Стены есть, войско есть, и решимость есть — только вождь нужен. А пока произносились речи, в публике поднялся шумок, переросший в громкие возгласы. Собравшиеся все больше одушевлялись. «Погибнем! И с охотою! — раздавались крики. — Кровью смоем пилявицкий позор, грудью заслоним отчизну!» И зазвенели сабли, и обнаженные клинки заблестали в пламени свечей. Иные призывали: «Тише! К порядку!» «Обороняться или не обороняться?» — «Обороняться! Обороняться!» — кричало собрание, и эхо, отражаясь от сводов, повторяло: «Обороняться!» «Кому быть предводителем?» — «Князю Иеремии — он истый вождь! Он герой! Пусть защищает город и Речь Посполитую — отдать ему булаву! Да здравствует князь Вишневецкий!»

Тут из тысячи грудей вырвался вопль столь громогласный, что задрожали стены и задребезжали стекла в окнах костела:

— Да здравствует князь Иеремия! С князем Иеремией к победе!

Блеснули тысячи сабель, все взоры устремились на князя, а он поднялся, и чело его было хмуро и спокойно. И — словно тихий ангел пролетел — мгновенно воцарилось молчанье.

— Милостивые господа! — сказал князь звучным голосом, который в тишине был услышан каждым. — Когда кимвры и тевтоны напали на Римскую республику, никто не хотел принять консульской власти, пока этого не сделал Марий. Но Марий обладал таким правом, ибо не было вождей, назначенных сенатом... И я бы в черную эту годину от власти не уклонился, желая жизнь отдать служению любимой отчизне, но булавы принять не хочу, чтоб не нанести оскорбленья отечеству, верховным военачальникам и сенату, и самозванным вождем быть не желаю. Есть среди нас тот, которому Речь Посполитая вверила булаву, — пан жоронный подчаший...

Продолжать далее князь не смог: едва он упомянул подчашего, поднялся страшный крик, забряцали сабли, толпа забурлила и взорвалась, как порох, когда на него попадает искра.

— Долой! Погибель ему! Pereat!² — раздавалось со всех сторон.

— Pereat! Pereat! — гремело под сводами.

¹ общество (лат.).

² Да погибнет! (лат.)

Подчаший — бледный, с каплями холодного пота на лбу — вскочил со своего места, а грозного вида фигуры уже приближались к почетным седалищам, к алтарю, уже слышалось зловецее:

— Сюда его давайте!

Князь, видя, к чему клонится дело, встал и простер десницу. Толпа сдержала свой пыл и, полагая, что он хочет говорить, мгновенно стихла.

Но князь хотел только рассеять бурю и страсти утишить, чтобы не допустить пролития крови в храме, когда же увидел, что опасный момент миновал, снова опустился на свое место.

Двумя стульями далее, рядом с киевским воеводой, сидел несчастный подчаший: седая голова его поникла на грудь, руки бессильно упали, а с губ, прерываемые рыданиями, сорвались слова:

— Господи! За грехи мои принимаю крест со смиреньем!

Старец мог возбудить жалость в самом очерствелом сердце, но толпа обычно жалости не знает: вновь там и сям поднялся шум, и тут вдруг встал воевода киевский, дав рукою знак, что просит слова.

Воевода известен был как соратник Иеремии, разделивший с ним не одну победу, поэтому слушали его со вниманьем.

А он обратился к князю, заклиная его в трогательных словах не отказываться от булавы и без колебаний стать на защиту отчизны. Когда отечество в опасности, да закроет закон недремлющее свое око, да спасет его от гибели не поименованный вождем, а тот, кто поистине сделать сие способен.

— Прими ж булаву, непобедимый вождь! Прими и спаси — и не только град этот, а всю нашу отчизну. Ее устами я, старец, тебя молю, а со мной все сословия, все мужи, женщины и дети. Спаси! Спаси!

Тут произошел случай, тронувший все сердца: к алтарю приблизилась женщина в траурных одеждах и, бросив к ногам князя золотые украшения и еще какие-то драгоценности, упала перед ним на колени и воскликнула, громко рыдая:

— Прими, князь, достояние наше! Жизнь тебе вверяем, спаси! Отврати погибель.

Глядя на нее, сенаторы, воины, а за ними и вся толпа рыдались, и словно из одной груди вырвавшийся вопль сотряс стены костела:

— Спаси!

Князь закрыл лицо руками, а когда отнял ладони, в глазах его блеснули слезы. И все же Иеремия колебался: если он примет булаву, не умалит ли это достоинства Речи Посполитой?!

Тут встал коронный подчаший.

— Я стар, — сказал он, — и раздавлен стыдом и горем. Я имею право от непосильного бремени отказаться и возложить его на более надежные плечи. Посему перед этим распятым,

перед лицом всего рыцарства тебе отдаю булаву — бери ее без колебаний.

И протянул Вишневецкому этот символ власти. На минуту тишина сделалась такая, что слышно было, как пролетит муха. Наконец раздался голос Иеремии. Он произнес торжественно: — За грехи мои — принимаю.

Иступление охватило собравшихся. Толпа, ломая скамьи, бросилась к Вишневецкому, дабы припасть к его коленам, кинуть под ноги драгоценности и деньги. Весть молнией облетела весь город. Войнство, ошалев от радости, кричало, что желает идти на Хмельницкого, на татар и султана. Горожане уже не о сдаче думали, а о защите до последнего вздоха. Армяне добровольно понесли деньги в ратушу, когда до пожертвований еще и дело не дошло, евреи в синагоге шумно благодарили своего бога, пушки с валов пальбой возвестили радостную новость, на улицах стреляли из пицалей, самопалов и пистолетов. Приветственные крики не смолкали до утра. Случайному человеку могло показаться, что город отмечает торжество или великий праздник.

А меж тем трехсоттысячное вражье войско — более многочисленное, чем армии, которые могли выставить немецкий император или французский король, и более дикое, чем полчища Тамерлана, с часу на час должно было подступить к городским стенам.

ГЛАВА X

Спустя неделю, утром 6 октября, по Львову разнеслась весть столь же ошеломительная, сколь и пугающая: князь Иеремия, забрав большую часть войска, тайно покинул город и ушел в неизвестном направлении.

Перед палатами архиепископа собрались толпы. Поначалу никто не хотел верить своим ушам. Солдаты утверждали, что если князь и уехал с большим отрядом, то лишь для того, чтобы оглядеть окрестности. Оказалось, говорили, что перебежчики распустили ложные слухи, будто к городу подходит Хмельницкий и татарское войско: ведь с 26 сентября прошло уже десять дней, а неприятель даже не показался. Князь, видно, захотел воочию убедиться, близка ли опасность, и, проверив слух, обязательно вернется. Впрочем, несколько полков он оставил и к обороне все готово.

Так оно и было на самом деле. Необходимые распоряжения отданы, каждому определено его место, пушки втащены на валы. Вечером прибыл с пятьюдесятью драгунами ротмистр Чихоцкий. Его тотчас обступили любопытные, но он с толпой говорить не стал и отправился прямо к генералу Арцишевскому; они вызвали Грозваера и, посоветовавшись, направились в ратушу. Там Чихоцкий объявил перепуганным советникам, что князь не вернется,

У советников в первую минуту опустились руки, а чьи-то уста осмелились даже произнести слово «изменник». Но тогда поднялся Арцишевский, старый военачальник, прославившийся ратными подвигами на голландской службе, и обратился к собравшимся в ратуше с такою речью:

— Ушей моих кощунственное слово коснулось, которое не дай бог никому повторить: даже отчаяние тут служить оправданьем не может. Князь уехал и не вернется — это правда! Но какое вы имеете право требовать от вождя, на чьи плечи возложена забота о спасении всей отчизны, чтобы он защищал только ваш город? Что будет, если неприятель окружит здесь последние силы Речи Посполитой? Ни съестных припасов, ни оружия для столь многолюдного войска в городе нет, и потому скажу я вам, — а моему опыту вы можете верить, — чем большие силы оказались бы заперты в городских стенах, тем меньше сумели бы мы продержаться, голод одолел бы нас прежде неприятеля. Хмельницкому не столько город ваш нужен, сколько князь самолично; когда он узнает, что князя здесь нет, что тот собирает новое войско и в любую минуту может прийти на выручку, то скорее вам даст поблажку и согласится на переговоры. Вы ропщете, а я вам скажу, что князь, покинув город, угрожая Хмельницкому с тыла, спас вас и детей ваших. Будьте же стойки, защищайтесь, задержите врага хоть на малое время — так вы и град охраните, и великую Речи Посполитой окажете услугу, ибо князь тем часом соберет силы, другие крепости упрочит, расшевелит оцепенелое наше отечество и поспешит вам на помощь. Единственно верный путь к спасению им избран: погибни он здесь от голода вместе с войском, никто иной неприятеля не сдержит, и тот двинется на Краков, на Варшаву и всю Речь Посполитую заполонит, нигде не встречая отпора. Потому-то, чем роптать, спешите быстрее на валы защищать себя, своих детей, город свой и отчизну.

— На валы! На валы! — подхватили кто похрабрее.

Поднялся Грозваер, человек смелый и энергичный:

— Отраднa мне решительность ваша. Знайте же: князь, уехав, оставил нам план обороны. Всяк теперь знает, что делать. Случилось то, что должно было случиться. Оборона в моих руках, и я обещаю стоять до смерти.

Надежда вновь вселилась в дрогнувшие сердца, и Чихоцкий, почувствовав это, в заключение добавил:

— Светлейший князь просил передать вам, что неприятель близко. Поручик Скшетуский зацепил флангом и разбил двухтысячный чамбул. По словам пленных, за ними великая идет сила.

Известие это произвело большое впечатление. На короткое время воцарилось молчание, сердца забились сильнее.

— На валы! — сказал Грозваер.

— На валы! На валы! — повторили офицеры и горожане.

Вдруг за окнами поднялся шум; тысячеголосый крик сменился невнятным гулом, подобным гулу океанских волн. Внезапно с грохотом распахнулись двери и в залу вбежали несколько горожан. Не успели собравшиеся спросить, что случилось, раздались возгласы:

— Зарево! Зарево!

— И слово стало делом! — молвил Грозавер. — На валы!

Зала опустела. Минуту спустя гром пушек сотряс городские стены, возвещая жителям города, предместьям и окрестным селениям, что подходит неприятель.

На востоке небо краснелось, куда ни погляди. Казалось, море огня подступает к стенам града.

* * *

Князь меж тем поспешил в Замостье и, разбив по дороге татарский чамбул, о чем сообщил горожанам Чихоцкий, занялся подготовкою к обороне этой крепости, и без того почти неодолимой, и за короткий срок превратили ее в непреступную твердыню. Скшетуский с паном Лонгинусом и частью хоругви остались в крепости под началом Вейгера, старосты валецкого, а князь поехал в Варшаву просить у сейма средств для набора нового войска; заодно он хотел принять участие в предстоящих выборах: на выборах должна была решиться судьба Вишневецкого и всей Речи Посполитой — если б престол достался королевичу Карлу, то есть верх одержала военная партия, князь был бы назначен верховным главнокомандующим всех войск Речи Посполитой и решающая схватка с Хмельницким не на жизнь, а на смерть была б неизбежна. Королевич Казимир, хоть и славился мужеством и в ратном деле был весьма искушен, справедливо считался сторонником политики канцлера Оссолинского, то есть политики переговоров и уступок. Оба брата не скупились на обещания, и каждый, как мог, старался привлечь симпатии на свою сторону, а силы обеих партий были равны, и потому исход выборов предугадать было невозможно. Приверженцы канцлера опасались, как бы Вишневецкий благодаря растущей славе и популярности среди рыцарства и шляхты не перетянул большинство на сторону Карла, а князь по тем же причинам стремился лично поддержать своего кандидата. Потому он и поспешил в Варшаву, убедившись, что Замостье сможет долго противостоять натиску соединенных сил Хмельницкого и крымского хана. Львов, по всей вероятности, можно было считать спасенным: Хмельницкому никакого не было резону тратить время на осаду города, когда впереди его ждало Замостье — истинная твердыня, преграждавшая путь к сердцу Речи Посполитой. Подобные размышления укрепляли решимость князя и наполняли бодростью его душу, изболевшуюся за судьбу отечества, испытавшего столько

ужасных бедствий. Теперь он был твердо уверен, что, даже будь Казимир избран королем, война неизбежна и страшный мятеж должен быть потоплен в крови. Князь рассчитывал, что Речь Посполитая еще раз выставит сильное войско,— вступить в переговоры имело смысл лишь при поддержке могучей военной силы.

Погрузясь в свои мысли, ехал князь под прикрытием нескольких хоругвей. При нем были и Заглоба с Володыёвским; первый клялся всеми святыми, что добьется избрания Карла, ибо шляхетскую братию насквозь знает и все, что надобно, из нее выжмет, второй же командовал княжьем эскортом. В Сеннице, неподалеку от Минска, князя ждала приятная, хоть и печальная встреча: он съехался с княгиней Гризельдой, которая для вящей безопасности из Брест-Литовска спешила в Варшаву, справедливо полагая, что и князь туда же прибудет. Радостной была встреча после долгой разлуки. Княгиня, хотя обладала железной твердостью духа, с рыданием кинулась в объятия супруга и не могла успокоиться несколько часов кряду. Ах! Как же часты бывали минуты, когда она теряла надежду его увидеть,— и вот, благодарение господу, он вернулся, величайший из полководцев, единственная надежда Речи Посполитой, и слава его громка, как никогда прежде, и почета такого не знал еще никто в роду Вишневецких. Княгиня, поминутно отрываясь от груди мужа, взглядывала сквозь слезы то на исхудалое, почерневшее его лицо, то на высокое чело, которое труды и заботы избородили глубокими морщинами, то на покрасневшие от бессонницы очи и вновь заливалась слезами, и все придворные девицы вторили ей, растроганные до глубины сердца. Наконец, несколько успокоившись, княжеская чета проследовала в просторный дом местного ксендза, и начались расспросы о друзьях, придворных и рыцарях, которые любимы были, точно члены семьи, и неотделимы от воспоминаний о Лубнах. Первым делом князь поспешил успокоить княгиню, озабоченную судьбой Скшетуского, объяснив, что тот, терзаемый страданиями, ниспосланными ему всевышним, потому лишь остался в Замостье, что не пожелал погружаться в столичную суету, предпочитая врачевать душевные раны трудом и тяжелой военной службой. Потом князь представил супруге Заглобу и о подвигах его поведал.

— Вот поистине *vir incomparabilis*¹,— сказал он.— Мало что княжну Курцевич из Богуновых лап вырвал, но и провел сквозь самую гущу казачьего и татарского войска, а потом вместе с нами под Староконстантиновом геройски сражался и великую стяжал славу.

Княгиня, слушая рассказ мужа, щедро осыпала Заглобу похвалами, несколько раз протягивала ему руку для поцелуя, со временем еще большую обещая награду, а *vir incomparabilis*

¹ несравненный муж (лат.).

кланялся со скромностью истинного героя, а то вдруг начинал хорохориться и на девиц коситься: хоть он и стар уже был, и многого для себя не ждал от прекрасного пола, однако испытывал удовольствие от того, что дамы наслушаются столько лестного о его подвигах и отваге. Впрочем, радостная встреча супругов была омрачена печалью: не говоря уж о том, сколь тяжелые времена переживала отчизна, не единожды на вопросы княгини о знакомых князь отвечал: «Убит... убит... пропал без вести», — и барышни не могли от слез удержаться, ибо не раз в числе убитых называлось милое сердцу имя.

Так слезы мешались с улыбками, радость с печалью. Но более всех удручен был маленький Володыёвский. Тщетно он озирался по сторонам, напрасно проглядел все глаза — княжны Барбары нигде не было видно. Правда, в многотрудной военной жизни, в неустанных сражениях, стычках и походах кавалер сей редко когда вспоминал княжну: такова уж была его натура — столь же влюбчивая, сколь и непостоянная; однако теперь, когда пан Михал вновь увидел всех придворных девиц княгини, когда лубненская жизнь будто въяве предстала перед очами, ему подумалось, что как сладко было бы, раз уж выпала минута покоя, и повздыхать, и опять занять свое сердце. Но желанной встречи не произошло, а чувство как назло ожило с новой силой, потому Володыёвский глубоко опечалился и вид у него стал такой, будто он попал под проливной дождь. Голова его поникла, усики, обыкновенно, как у майского жука, бодро торчащие кверху, опустились уныло, вздернутый нос вытянулся, лицо утратило всегдашнюю безмятежность, и он умолк, уйдя в себя, и не оживился даже, когда князь своим чередом его мужество и необычайные подвиги восхвалять стал. Что для него значили любые похвалы, когда она не могла их слышать!

Даже Ануся Борзобогатая сжалилась над ним и, хоть случались прежде у них размолвки, решила маленького рыцаря утешить. С этой целью, украдкой поглядывая на княгиню, она как бы невзначай стала к нему пододвигаться, пока не оказалась рядом.

— Здравствуй, сударь, — сказала она. — Давненько мы не видались.

— Ой, панна Анна, немало воды утекло! — меланхолично ответил Володыёвский. — В невеселое встречаемся время — да и не все...

— Ох, не все! Сколько рыцарей пало!

Тут и Ануся вздохнула, но, немного помолчав, продолжала:

— И мы не в прежнем числе: панна Сенюта вышла замуж, а княжна Барбара осталась у супруги виленского воеводы.

— Тоже, верпо, собирается замуж?

— Нет, пока не думает. А почему это тебя, сударь, интересует?

При этих словах Ануся сощурила черные свои глазки так, что только щелочки остались, и искоса из-под ресниц бросала на рыцаря взгляды.

— По причине симпатии ко всему семейству,— ответил пан Михал.

На что Ануся заметила:

— И правильно делаешь, сударь: княжна Барбара тоже верный твой друг, знай. Сколько раз спрашивала: где же рыцарь мой, который на турнире в Лубнах больше всех снес турецких голов, за что от меня получил награду? Жив ли, не забыл ли нас?

Михал с благодарностью поднял глаза на Анусю и, хоть в душе очень обрадовался, не мог не отметить, что девушка чрезвычайно похорошела.

— Ужели княжна Барбара и вправду так сказала? — спросил он.

— Слово в слово! И еще вспоминала, как ваша милость ради нее через ров прыгал,— это когда ты, сударь, в воду свалился.

— А где теперь супруга виленского воеводы?

— Она с нами в Бресте была, а неделю назад поехала в Бельск, откуда собирается в Варшаву.

Володыёвский снова взглянул на Анусю и на этот раз не сумел удержаться.

— А панна Анна,— сказал он,— до того хороша стала, что глазам смотреть больно.

Девушка лукаво улыбнулась.

— Ваша милость нарочно так говорит, чтобы расположения моего добиться.

— Хотел в свое время,— сказал, пожимая плечами, рыцарь,— видит бог, хотел, да ничего не вышло, а теперь могу лишь пожелать пану Подбипятке, чтоб ему больше посчастливилось.

— А где сейчас пан Подбипятка? — тихо спросила Ануся, потупив глазки.

— Со Скшетуским в Замостье; он произведен в наместники и обязан состоять при своей хоругви, но если б знал, кого здесь повстречает, богом клянусь, взял бы отпуск и стремглав полетел за нами. Предан он тебе всемерно и самых добрых чувств достоин.

— А на войне с ним... ничего не приключилось худого?

— Кажется мне, не о том милая барышня спросить хочет, а про те три головы узнать, что он снести собирался?

— Не верю я, что намеренье его серьезно.

— И напрасно, любезная панна, без этого ничего не будет. А случая кавалер сей весьма усердно ищет. Мы специально ездили глядеть под Махновкой, как он в самой гуще сражения бьется; даже князь с нами поехал. Поверь, я повидал много сражений, но такой бойни, верно, до конца своих дней не увижу.

А когда опояшется твоим шарфом, страх что вытворяет! Найдет он свои три головы, будь спокойна.

— Дай бог каждому найти то, что ищет! — со вздохом сказала Ануся.

Вздохнул и Володыёвский, возведя очи к небу, но тот же час с удивлением перевел взор в противоположный угол комнаты.

Из угла глядело на него грозное и сердитое лицо какого-то незнакомца, уснащенное огромным носом и усищами, двум метелкам подобным, каковые быстро шевелились, словно от сдерживаемого гнева.

Нетрудно было испугаться и носа этого, и глаз, и усов, но маленький Володыёвский не робкого был десятка, посему, как было сказано, лишь удивился и спросил, оборотившись к Анусе:

— А это что за личность вон там, в углу напротив? Глядит на меня, точно с потрохами проглотить хочет, и усищами шевелит, как старый кот перед куском сала...

— Этот? — спросила Ануся, показав белые зубки. — Да это пан Харлам.

— Что еще за язычник?

— Никакой он не язычник, а литвин, ротмистр из хоругви виленского воеводы. Ему до самой Варшавы приказано нас сопровождать и там дожидаться воеводу. Не советую, сударь, ему заступать дорогу — людоед это страшный.

— Вижу, вижу. Но коль людоед, почему на меня зубы точит? — здесь и пожирней найдутся.

— Потому что... — сказала Ануся и рассмеялась тихонько.

— Что — потому что?

— Потому что в меня влюблен и сам мне сказал, что всякого, кто ко мне приблизится, в куски изрубит. И сейчас, поверь, лишь присутствие князя с княгиней его сдерживает, а не то бы немедленно к тебе прицепился.

— Вот те на! — весело воскликнул Володыёвский. — Значит, так оно, панна Анна? Ой, недаром, видать, мы пели: «Ты жесточе, чем орда, когда полонишь всегда!» Помнишь? Ох, любезная барышня, шагу ступить не можешь, чтоб кому-нибудь не вскружить головы!

— На свою беду! — ответила, потупясь, Ануся.

— Ах, лицемерка! А что на это скажет пан Лонгинус?

— Разве я виновата, что пан Харлам этот меня преследует? Я его не терплю и смотреть на него не желаю.

— Ну, ну! Гляди, сударня, как бы из-за тебя не пролилась кровь. Подбиятка кроток, словно агнец, но, когда дело чувств коснется, лучше от него держаться подальше.

— Пусть хоть уши ему отрубят, я только рада буду.

Сказавши так, Ануся покружилась, как юла, на месте и упорхнула в другой конец комнаты к некоему Карбони, лекарю княгини, которому принялась живо что-то нашептывать, итальянец же глаза вперил в потолок, словно в экстазе.

К Володыёвскому тем временем подошел Заглоба, и ну подмигивать здоровым своим оком.

— Что за пташка, пан Михал? — спросил он.

— Панна Анна Борзобогатая-Красенская, старшая фрейлина княгини.

— Хороша, чертовка, глазки точно вишенки, ротик как нарисованный, а шенка — уф!

— Ничего, ничего!

— Поздравляю, ваша милость!

— Оставь, сударь. Это невеста Подбиятки... как бы невеста.

— Подбиятки? Побойся бога! Он ведь обет целомудрия дал. Да и при той пропорции, что между ними, ему только в кармане ее носить! Пль на усах она у него примоститься может, как муха. Скажешь тоже...

— Погоди, он еще у нее по струнке ходить будет. Геркулес посылней был, и 10 белы ручки охомутали.

— Лишь бы рогов ему не наставила. Впрочем, тут я первый приложу старанья, не будь я Заглоба!

— Не тревожься, таких еще немало найдется. Однако шутки шутками, а она девица благойная и из хорошего дома. Вежлива, конечно, но что ж... Молодо-зелено, да и весьма прелестна.

— Благородная ты душа, оттого и хвалишь... Но и вправду — чудо как мила пташка!

— Красота притягивает людей. Вон тот ротмистр, ехем-рлм¹, без памяти влюблен как будто.

— Ба! Погляди лучше на того ворона, с коим она беседует, — это еще что за дьявол?

— Итальянец Карбони, княгинин лекарь.

— Ишь, как сияет — что твоя медная сковородка, а глазки точно в delirium² закатывает. Эх, плохи дела пана Лонгина! Я в этом кое-что смыслю, хорошую смолоду прошел науку. При случае обязательно вашей милости расскажу, в какие попадал переплеты, а есть охота, хоть сейчас послушай.

И Заглоба, подмигивая пуще обычного, зашентал что-то маленькому рыцарю на ухо, но тут подоспело время отъезжать. Князь сел с княгиней в карету, чтобы после долгой разлуки в пути вволю наговориться. Барышни разместились по экипажам, а рыцари повскакали на коней — и кавалькада тронулась. Впереди ехал двор, а солдаты следом, в некотором отдаленье, потому что места вокруг были спокойные и военный эскорт не столько для защиты, сколько для вящего блеску был нужен. Из Сенницы направились в Минск, а оттуда в Варшаву, в дороге, по обычаю того времени, частенько устраивая привалы. Тракт был настолько забит, что едва вперед продвигались. Всяк на выборы устремился: и из ближних мест, и из Литвы далекой. Шляхтичи ехали

¹ например (лат.).

² безумии (лат.).

целыми дворами, одна за одной тянулись вереницы золоченых карет, окруженных гайдуками и выездными лакеями огромного роста, одетыми по-турецки, за которыми следовал личный конвой: венгерские, немецкие или янычарские роты, казацьи отряды, а то и латники из отборной польской конницы. Вельможи старались перещеголять друг друга пышностью нарядов и обилием свиты. Бессчетные магнатские кавалькады чередовались с поветовой и земской знатью, имеющей вид более скромный. То и дело из облака пыли выныривали обитые черной кожей рыдваны, запряженные парой или четверкою лошадей; в каждом восседал знатный шляхтич с распятием либо образом пресвятой девы, на шелковой ленте висающим на шее. Все вооружены до зубов: с одного боку мушкет, с другого сабля, а у тех, кто имел отношение к войску — ныне или в прошлом, — позади еще на два аршина торчали пики. К рыдванам привязаны были собаки: легавые или борзые, прихваченные не по нужде — не на охоту как-никак съезжались, — а единственно для господского развлечения. Следом конюхи вели заводных лошадей, покрытых попонами для защиты богатых седел от дождя и пыли, дальше тянулись со скрипом повозки на колесах, скрепленных лозинной, нагруженные шатрами и запасами съестного для господ и прислуги. Когда ветер порою сдувал пыль с дороги на поле, весь тракт, открываясь, сверкал и переливался не то как многоцветная змея, не то как лента редкостного золотканого шелка. Кое-где на тракте гремела музыка: в толпе шли итальянские и янычарские оркестры, чаще всего перед хоругвями коронного и литовского войска, которых на дороге тоже было немало — они входили в свиту сановников. Великий стоял шум, крик, гомон, со всех сторон неслись оклики, а порой вспыхивали перебранки, когда один другому поперек пути становился.

К князьему кортежу то и дело подлетали конные солдаты и слуги, спрашивая, кто едет, либо требуя уступить дорогу тому или иному вельможе. Но, услыша в ответ: «Воевода русский!» — спешили сообщить об этом своим хозяевам, и те тотчас освобождали путь, а кто был впереди, на обочину съезжали, провожая глазами княжеский поезд. На привалах вокруг толпились солдаты и шляхта, с любопытством глядя на величайшего воителя Речи Посполитой. Немало сыпалось и приветственных возгласов, на которые князь отвечал любезно, так как, во-первых, по натуре своей был к людям весьма расположен, а во-вторых, любезностью рассчитывал привлечь побольше сторонников для королевича Карла, в чем и преуспевал благодаря одному своему виду.

С не меньшим любопытством глазела толпа на князьих хоругви, на «русинов», как их называли. Воины не были уже так оборваны и истощены, как после константиновской битвы: по распоряжению князя в Замостье всем была выдана новая форменная одежда, и тем не менее на них смотрели как на заморское диво, ибо в представлении жителей ближайших к столице окрест-

ностей русины явились с другого конца света. Каких только чудес не рассказывали о таинственных степях и дремучих лесах, где такие богатыри рождаются, не уставая восхищаться их загорелыми лицами, выдубленными ветрами с Черного моря, твердостью взгляда и суровостью облика, заимствованной у диких соседей.

После князя более всего взоров обращалось к Заглобе, который, заметив, каким окружен восхищением, поглядывал вокруг так надменно и гордо, так страшно вращал очами, что в толпе немедленно зашептались: «Вон, верно, из них самый доблестный рыцарь!» Иные говорили: «Вон из-за кого, видно, бесчисленно душ с телами рассталось. Вот змий свирепый!» Когда подобные слова достигали ушей Заглобы, он старался принять вид еще более грозный, дабы не показать, сколь в душе доволен.

Иногда он что-нибудь говорил в ответ, иногда отпускал острое словцо, особенно на счет воинов из литовских наемных хоругвей, где товарищам в тяжелой кавалерии полагалось носить на плече золотую нашивку, а в легкой — серебряную. «Не все то золото, что блестит!» — кричал кое-кому из них Заглоба, и не один рыцарь, засопев, хватался за саблю, скрипя зубами, однако, смекнув, что насмешник служит у русского воеводы, в конце концов, плюнув, отказывался от намерения затеять драку.

Вблизи Варшавы толпа сделалась такою плотной, что всадники и экипажи уже едва ползли по дороге. Съезд обещал быть многолюдней обычного, поскольку даже шляхта с отдаленных — русских и литовских — окраин, которая ради самых выборов не стала бы в эдакую даль тащиться, устремилась в Варшаву собственной безопасности ради. Решающий день был еще не близок — только-только начались первые собрания сейма, — однако каждому хотелось попасть в столицу за месяц, а то и за два до срока, чтобы получше устроиться, кому-то о себе напомнить, у кого-то поискать покровительства, съесть и выпить свое у знати, наконец, после сельских трудов насладиться столичной жизнью.

Князь с грустью смотрел из окна кареты на толпы рыцарей, шляхтичей и солдат, на богатство и пышность уборов, размышляя о том, какие пропадают силы, сколько можно бы выставить войска! Почему же Речь Посполитая, могучая, богатая и многолюдная, имеющая славных воинов в избытке, при всем том слаба настолько, что не может справиться с одним Хмельницким да татарвой дикой? Почему? Силе Хмельницкого проще простого было бы не меньшую силу противопоставить, если б все это воинство, вся эта шляхта с ее челядью и богатством, бесчисленные эти полки и хоругви общему делу пожелали служить столь же ревностно, сколь приватным своим интересам. «Иссякают доблести в Речи Посполитой, — думал князь, — порча могучее тело точит! Тает былая отвага — сладкую праздность, а не ратные труды возлюбил воитель и шляхтич!» Князь отчасти был прав, хотя о слабостях Речи Посполитой судил только как вождь и воин, которому всех бы хотелось повести на врага, обучив военному

делу. Доблесть не иссякла, что и доказано было, когда вскоре стократ более страшные войны стали грозить Речи Посполитой. Отечеству требовалось нечто большее, а что — князь-воин не представлял себе в ту минуту, зато хорошо понимал его недруг, коронный канцлер, более искушенный, нежели Иеремия, политик.

Но вот в сизо-голубой дали замаячили островерхие башни Варшавы, и рассеялись думы князя. Он сделал надлежащие распоряжения, которые дежурный офицер тотчас передал Володыёвскому, начальнику эскорта. Выполняя приказ, маленький рыцарь повернул прочь от Анусиной кареты, подле которой гарцевал всю дорогу, и поскакал к значительно поотставшим хоругвам, чтобы выровнять строй и к городу подойти в строгом порядке. Однако не проехал он и двух десятков шагов, как услышал, что кто-то спешно его догоняет. Володыёвский оглянулся: то был пан Харлам, ротмистр легкой кавалерии виленского воеводы и воздыхатель Аусин.

Пан Михал придержал коня, сразу смекнув, что не миновать стычки, а истории подобного свойства он любил всей душою. Харлам же, поравнявшись с ним, долго не открывал рта, а лишь сопел и усами шевелил грозно, видно, не зная, с чего начать. Наконец он промолвил:

— Мое почтение, пап драгун!

— Привет тебе, пан вестовой!

— Как ты, сударь, вестовым смеешь меня называть, меня, товарища и ротмистра? — возопил Харлам, скрежеща зубами.

Володыёвский принялся подбрасывать в воздух чекал, который держал в руке, все внимание, казалось, сосредоточа на том, чтобы после каждого оборота снова поймать его за рукоятку, и ответил словно бы с неохотой:

— А я по нашивкам службу не различаю.

— Ваша милость оскорбляет все товарищество, к которому сам принадлежать не достоин.

— Это еще почему? — с глуповатым видом спросил Володыёвский.

— Потому что в иноземном полку служишь.

— Успокойся, сударь, — сказал маленький рыцарь, — хоть я и служу в драгунах, но к товариществу принадлежу, причем не в легкой состою кавалерии, а в тяжелой самого русского воеводы, посему изволь говорить со мной как с равным, а то и как со старшим¹.

Харлам поостыл малость, поняв, что ему, вопреки его предположениям, попался твердый орешек, но зубами скрипеть не перестал, ибо хладнокровие пана Михала только еще пуще его озлило, и наконец сказал:

¹ Товарищ тяжелой кавалерии не подчинялся даже генералу войск иноземного строя; напротив: часто генерал бывал поставлен в подчинение к товарищу; во избежание этого генералы и офицеры иноземных полков старались одновременно быть товарищами польских войск. Таким товарищем был и Володыёвский. (Примеч. автора.)

— Как ваша милость смеет мне поперек становиться?

— Эге, сударь, ты, я гляжу, ссоры ищешь?

— Может, и ищу. Послушай,— наклонясь к пану Михалу, произнес Харлам, понизив голос,— я тебе уши отрублю, если не прекратишь подъезжать к панне Анне.

Володыёвский снова занялся своим чеканом, словно для такой забавы наилучшее было время, и проговорил просительным тоном:

— Ох, не губи, благодетель, дозвожь еще пожить на свете!

— О нет, не надейся! От меня не уйдешь! — воскликнул Харлам, хватая маленького рыцаря за рукав.

— У меня и в мыслях не было такого,— спокойно отвечал пан Михал,— только сейчас я нахожусь на службе и приказ князя, начальника моего, отвезти должен. Отпусти рукав, сударь, отпусти, добром прошу, а то что же мне, бедному, останется — чеканом тебя по башке съездить да с коня свалить, что ли?..

При этих словах в кротчайшем дотоле голосе Володыёвского послышалось такое зловещее шипенье, что Харлам с невольным удивлением взглянул на маленького рыцаря и отпустил рукав.

— А! Все едино! — сказал он. — Ответишь в Варшаве. Уж я тебя отыщу!

— А я и не стану прятаться, только в Варшаве-то как же драться? Просвети меня, сделай милость! Я простой солдат, в жизни еще не бывал в столице, но о маршальских судах слышал: говорят, кто посмеет у короля или *interrex*'а под боком обнажить саблю, того живота лишают.

— Эх ты, простофиля, сразу видно, не бывал в Варшаве, коли маршальских судов боишься. Тебе и невдомек, что на время бескоролья назначается суд конфедератов, а с ним иметь дело куда проще. И уж за уши твои с меня головы не снимут, будь покоен.

— Благодарю за науку и позволю себе еще не раз за советом к вашей милости обратиться, ибо, вижу, передо мною ученый муж, премного в житейских делах искушенный, я же всего лишь начальную школу окончил и едва могу согласовать *adjectivum cum substantivo*¹, а если б, не приведи господь, вздумал тебя, сударь, глупцом назвать, то одно лишь знаю: «*stultus*»² бы сказал, а не «*stulta*» или «*stultum*»³.

И Володыёвский снова стал чеканом забавляться, а Харлам прямо-таки остолбенел от изумления; потом кровь бросилась ему в лицо, и он выхватил из кожен саблю, но в ту же секунду и маленький рыцарь, поймав чекан за рукоятку, сверкнул своею. Несколько времени они смотрели друг на друга, как два вепря-одинца, раздувая ноздри, сверкая очами, но Харлам взял

¹ прилагательное с существительным (лат.).

² «глухой» (лат.).

³ «глухая», «глупое» (лат.).

себя в руки первый, смекнув, что ему с самим воеводой придется иметь дело, напади он на офицера, следующего с княжеским приказом, и первым спрятал обратно саблю, сказавши только:

— Ничего, я тебя найду, сукин сын!

— Найдешь, найдешь, литва-ботва! — ответил маленький рыцарь.

И они разъехались: один вперед, другой назад, навстречу хоругви, которая за это время успела подойти совсем близко: в облаке пыли уже слышался топот копыт по плотно убитой дороге. Володыёвский быстро выровнял ряды конников и пехотинцев и поехал впереди. Вскоре его трусой нагнал Заглоба.

— Чего от тебя это чудище морское хотело? — спросил он.

— Пан Харлам? А ничего. На поединок вызвал.

— Ну и ну! — воскликнул Заглоба. — Да он своим носящем тебя насквозь пропореет. Гляди, пан Михал, не отхвати, как будете драться, величайший нос Речи Посполитой, а то особый курган насыпать придется. Везет же виленскому воеводе! Другим нужно разъезды высылать во вражеский тыл, а ему рыцарь сей неприятеля за три версты учует. А за что хоть он тебя вызвал?

— За то, что я рядом с экипажем панны Анны Борзобогатой ехал.

— Ба! Надо было б его направить к пану Лонгину в Замостье. Вот бы кто ему показал, где раки зимуют. Не повезло бедолаге, знать, счастье его покорооче носа.

— Я ему про пана Подбиятку ничего не сказал, — промолвил Володыёвский, — из опасения: вдруг бы он со мной передумал драться? А за Анусей теперь нагло с двойным пылом увиваться стану: все-таки развлеченье. Чем еще занять себя в этой Варшаве?

— Найдем чем, уж будь спокоен! — подмигнув, заверил пана Михала Заглоба. — Я в молодые годы подати собирать от своей хоругви был послан. Куда меня только не заносило, но такого житья, как в Варшаве, нигде не видел.

— Неужто у нас в Заднепровье хуже?

— Э, никакого сравненья!

— Весьма любопытно, — сказал пан Михал. II, помолчав, добавил: — А пугалу этому огородному я все ж таки подкорочу усы, больно они у него длинны!

ГЛАВА XI

Прошло несколько недель. Шляхты на выборы съезжалось все больше. Население города увеличилось десятикратно, ибо вместе с сонмищем шляхтичей в столицу хлынули тысячи барышников и купцов со всего света, от далекой Персии начиная и кончая Англией заморской. На Воле соорудили временную по-

стройку для сената, а вокруг, по всему пространному лугу, белелись тысячи шатров. Никто пока не умел сказать, который из двух кандидатов: королевич Казимир, кардинал, или Карл Фердинанд, епископ плоцкий, будет избран. Обе стороны соперничали, не щадя стараний и рвения. В свет пущено было великое множество листов, в коих перечислялись достоинства и недостатки претендентов; у обоих имелись многочисленные и могущественные сторонники. Карла, как известно, поддерживал князь Иеремия. Противному лагерю князь виделся особенно опасным: весьма вероятно было, что за ним потянется обожающая его шляхта, от которой в конечном счете исход выборов и зависел. Но и Казимир немалую имел силу. На его стороне была вся верхушка, канцлер употреблял свое влияние в его пользу, на его сторону, похоже было, склонялся примас, наконец, за него стояла большая часть магнатов с их приспешниками без числа и счету; среди магнатов был князь Доминик Заславский-Острогский, воевода сандомирский, хоть и покрывший себя позором после Пилявиц и даже к суду привлеченный, но как-никак крупнейший во всей Речи Посполитой, да и не только — в целой Европе,— землевладелец, который мог в любую минуту изрядную толику несметных своих богатств кинуть на чашу весов своего кандидата.

Но и сторонникам Казимира порой выпадали тягостные минуты сомнений, поскольку, как сказано было, все зависело от шляхты, которая с четвертого уже октября наводняла окрестности Варшавы и еще тянулась тысячными толпами с разных концов Речи Посполитой,— а шляхтичи в огромном своем большинстве, зачарованные именем Вишневецкого и щедростью королевича Карла, не жалевшего средств на публичные цели, его сторону держали. Королевич, будучи богат и расчетлив, без колебаний предназначил кругленькую сумму на формирование новых полков, во главе которых должен был быть поставлен Вишневецкий. Казимир охотно последовал бы примеру брата, и мешала ему никак не алчность, а напротив — чрезмерная широта натуры, прямым результатом чего было вечное отсутствие в скромной казне денег. Пока же оба королевича вели оживленные переговоры. Каждодневно между Непорентом и Яблонной взад-вперед сновали посланцы. Казимир по праву старшего и во имя братской любви заклинал Карла ему уступить; епископ же согласия не давал и писал в ответ, что негоже пренебрегать счастьем, каковое, возможно, выпадет на его долю, ибо решится все *in liberis suffragiis*¹ Речи Посполитой и согласно воле всевышнего. А пока время шло, шестинедельный срок истекал и — с приближением выборов — над странною сгустились новые тучи: по слухам, Хмельницкий снял осаду со Львова, получив после нескольких приступов выкуп, и, окружив Замостье, денно и ночью этот последний оплот Речи Посполитой штурмует.

¹ в свободном голосовании (лат.).

И еще разнеслись слухи, будто, кроме послов, отправленных Хмельницким в Варшаву с письмом, в котором он объявлял, что, как польский шляхтич, голос свой отдает Казимиру, среди скопленных шляхты и в самой столице полно переодетых казачьих старшин, распознать которых невозможно, ибо понаехали они под видом шляхтичей богатых и родовитых и ничем — даже говором — от прочих выборщиков, в особенности тех, что прибыли с русских земель, не разнятся. Одни, как поговаривали, пробрались в Варшаву из чистого любопытства — поглядеть на выборы да на столицу, другие были посланы лазутчиками — послушать, что говорят о грядущей войне, много ли намерена выставить Речь Посполитая войска и какие на воинский набор выделит средства? Возможно, в слухах этих и была немалая доля правды, так как среди запорожской старшины много встречалось оказавшихся шляхтичей, которые и латыни в свое время поднахватались, — этих совсем отличить было трудно; к тому же в далеких степях латынь никогда не была в почете: взять хотя бы князей Курцевичей — они ее знали хуже, чем Богун и прочие атаманы.

Подобные толки, коим конца не было и в городе, и на выборном поле, подкрепляемые вестями об успехах Хмеля и казачко-татарских разъездах, виданных якобы чуть ли не на берегах Вислы, вселяли в сердца неуверенность и тревогу, а подчас становились причиной беспорядков. Стоило на кругу шляхты на кого-нибудь упасть подозрению, будто человек сей — переодетый запорожец, его, не давая слова сказать в оправданье, в мгновение ока в куски изрубали. Участь такая могла постичь и людей, ни в чем не повинных, — да и вообще к элекции относились без должной серьезности, тем паче что воздержанность, по обычаям того времени, не почиталась заслугой. Суд конфедератов, назначенный *propter securitatem loci*¹, не управлялся с бесчисленными дебоширами, из-за малейшего пустяка пускавшими в ход сабли. Но если людей степенных, жаждающих добра и покоя и озабоченных опасностью, грозившей отчизне, тревожили раздоры, резня и пьянки, то гуляки, картежники и буяны чувствовали себя в своей стихии и, возомнив, что настало их время, их черед насладиться жизнью, все безудержнее предавались всяческому понокам.

Незачем и говорить, что верховодил меж ними Заглоба, чему способствовала и громкая рыцарская его слава, и склонность — легко осуществимая — к неумеренному потреблению напитков, и острый язык — тут ему не было равных, и огромная самоуверенность, которую ничем поколебать было невозможно. Порой, однако, случались у него приступы меланхолии — тогда он уединялся в шатре или в комнатах и не выходил наружу, а если и выходил, то мрачнее тучи и искал случая всерьез затеять драку или ссору. Однажды, будучи в таком расположении духа, он из-

¹ ради безопасности места (лат.).

рядно потрепал пана Дунчевского из Равы за то лишь, что, проходя мимо, заценился за его саблю. В подобные минуты Заглоба терпел подле себя одного только Володыевского, которому плакался, что тоска по Скшетускому и «бедняжке» заела его. «Бросили мы с тобой ее, пан Михал,— твердил он,— отдали, как нуды; в нечестивые руки — и нечего отговариваться этим вашим *peşine excerpto*. Что с ней теперь, скажи, пан Михал?»

Тщетно втолковывал ему пан Михал, что, если бы не Пялявцы, они б сейчас «бедняжку» искали, но пока вся рать Хмельницкого стоит между ними, об этом нельзя и думать. Шляхтич оставался безутешен и только сильнее отчаивался, кляня всех и вся последними словами.

Но приступы тоски продолжались недолго. Зато потом Заглоба, словно намеревшись упущенное, еще безудержнее предавался гульбе, проводя время в шинках в компании самых завятых пьянчуг либо столичных потаскушек, в чем ему верно сопутствовал пан Михал.

Володыевский, отменный воин и офицер, ни на грош, однако, не имел той серьезности, какую в Скшетуском, например, воспитали страдания и беды. Долг свой перед Речью Посполитой он понимал просто: бил, кого приказывали, а о прочем не задумывался и в политику не вникал; неудачи на поле брани всегда готов был оплакивать, но ему и в голову не приходило, что раздоры и смута столь же для общего дела пагубны, сколь и военные неудачи. Был то, словом, повеса и ветреник, который, попав в столичную круговерть, по уши в ней погряз и, как репейник, прицепился к Заглобе, в котором по части гульбы своего наставника видел. Разъезжал с ним по разным шляхетским домам, где Заглоба за рюмкою рассказывал всяческие небылицы, попутно вербуя сторонников для королевича Карла, бил наравне с ним, а в случае надобности за него заступался; оба как одержимые кружили по городу и по выборному полю — уголка не осталось, куда бы они не пролезли. Побывали и в Непоренте, и в Яблонной, на всех пирах и обедах, у знатных вельмож и в кабаках; везде сошались и во всем принимали участие. У папа Михала по молодости лет рука зудела: не терпелось себя показать, а заодно и доказать, что украинской шляхте нет равных, а уж княжеские солдаты лучшие из лучших. Посему друзья намеренно ездили искать приключений к ленчицким, известнейшим забиякам, но боле всего их влекли приспешники князя Доминика Заславского, к которым оба страстную ненависть питали. Задирали только самых лихих рубак, овеянных прочной и нерушимой славой, загодя изобретая зацепки. «Твое дело затеять ссору,— говаривал пан Михал,— а после уж я вмешаюсь». Заглоба, будучи весьма изощрен в фехтовальном искусстве и поединков со своим братом шляхтичем нимало не опасаясь, не всегда позволял приятелю подменять себя, особенно в стычках с заславцами, но ежели под руку подворачивался ленчицкий удалец, ограничивался оскорби-

тельными нападками. Когда же шляхтич хватался за саблю и вызывал обидчика на поединок, как правило, заявлял: «Наиллюбезнейший сударь! Совесть мне не позволяет вашу милость на верную гибель обрекать: не стану я с тобою драться, померяйся лучше с любимым моим учеником и питомцем — и то, боюсь, он тебя одолеет». После таких слов вперед вылезал Володыёвский со своими торчащими усиками, вздернутым носом и простоватым видом и, хотел того или не хотел бросивший вызов, приступал к делу, а поскольку и вправду был мастер непревзойденный, после нескольких выпадов обычно укладывал противника, не моргнув и глазом. Такие они себе с Заглобой вымышляли забавы, приумножавшие их славу среди любителей острых ощущений, особенно же вырастала слава Заглобы. «Ежели ученик такой, каков же должен быть учитель!» — говорили. Одного лишь Харлампа Володыёвскому нигде отыскать не удавалось; он думал даже, того обратно в Литву услали.

Так прошло около шести недель, на протяжении которых публичные дела тоже не стояли на месте. Упорная борьба между братьев-соперников, лихорадочные старания их сторонников, волнения и страсти улеглись, почти не оставив следа, и забылись. Все уже знали, что на престол взойдет Ян Казимир, ибо королевич Карл уступил брату и добровольно от участия в выборах отказался. Как ни странно, многое тут решил голос Хмельницкого: все надеялись, что гетман признает власть короля, в особенности если тот будет избран согласно его желанию. И надежды эти в немалой степени оправдались. Зато для Вишневецкого, который, как в оные времена Катон, не уставал твердить, что запорожский Карфаген должен быть разрушен, такой оборот событий был новым ударом. Теперь реальностью стали переговоры. Князь, правда, понимал, что они либо сразу зайдут в тупик, либо вскоре будут сорваны силою обстоятельств, и в будущем предвидел войну, однако ему не давала покоя мысль об ее исходе. После переговоров утвержденный в правах Хмельницкий станет еще сильнее, а Речь Посполитая — слабее. И кто поведет войска против столь прославленного вождя, каким был Хмельницкий? Как тут не ждать новых неудач, новых разгромов, что вконец истощат силы отечества? Князь себя нисколько не обольщал надеждой, он знал, что ему, самому ярому стороннику Карла, булавы не доверят. Правда, Казимир, благороднейшая душа, обещал брату не делать различий между его приверженцами и своими, но он поддерживал политику канцлера, а это означало, что булава достанется не князю — кому-то другому, и горе Речи Посполитой, если новый вождь не будет искусней Хмельницкого! От мысли этой боль с удвоенной силой терзала душу Иеремии — его мучил и страх за будущее отчизны, и горькое чувство человека, сознающего, что заслуги его не будут оценены справедливо и другие, обойдя его, голову подымут. А он не был бы Иеремией Вишневецким, если бы не был горд. Он чувствовал в себе силы

принять булаву, чувствовал, что ее заслужил, — потому и страдал безмерно.

Среди офицеров даже разнесся слух, будто князь собирается, не дожидаясь окончания выборов, покинуть Варшаву — однако это не было правдой. Князь не только не уехал, но даже посетил королевича Казимира в Непоренте, которым принят был весьма любезно, после чего воротился в город, где военные дела его еще на несколько времени задержали. Нужно было изыскать средства для увеличения войска, чего князь решительно добивался. Кроме того, на деньги Карла формировались новые полки драгунской пехоты. Некоторые уже были отправлены на Русь, другие надлежало еще привести в порядок. С этой целью князь рассылал во все концы сведущих в военном деле офицеров, дабы полки должным образом подготовить. Так были посланы из столицы Вершулл и Кушель; наконец и Володыёвскому пришлось время ехать.

Однажды он был призван к князю, от которого получил следующее распоряжение:

— Поедешь, сударь, через Бабицы и Липков в Заборов, там ждут лошади, предназначенные для полка; осмотришь их, выбракуют и расплатишься с паном Тшасковским, а затем приведишь сюда солдатам. Деньги под мою расписку получишь у казначея в Варшаве.

Володыёвский рьяно принялся за дело, получил деньги, и в тот же день они с Заглобой отправились в Заборов сам-десять и с повозкой, которая везла деньги. Ехали медленно, поскольку вся окрестность под Варшавой запружена была шляхтой, челядью, лошадьми и возами; в деревушках на всем пути вплоть до Бабиц ни одна хата не осталась свободной от постояльцев. Среди такого обилия людей разного нрава проще простого было попасть в какую-нибудь передрагу. Так оно и случилось с двумя нашими друзьями, несмотря на все их старания и скромность поведения.

Доехав до Бабиц, они увидели перед корчмой десятка полтора шляхтичей, которые, садясь на лошадей, собирались ехать своей дорогой. Два отряда, обменявшись приветствиями, уже разъехались было, как вдруг один из всадников поглядел на Володыёвского и без единого слова пустился к нему рысью.

— Попался, брат! — возопил он. — Как ни прятался, а я тебя отыскал все же!.. Теперь не уйдешь! Эй, любезные судари, — крикнул он своим спутникам, — погодите ехать! Мне надо этому офицеру пару слов сказать, а вас попрошу присутствовать при нашем разговоре.

Володыёвский довольно усмехнулся, ибо узнал в говорившем Харлампа.

— Видит бог, не прятался я, — сказал он, — и сам тебя искал, чтобы спросить, сохраняешь ли ты еще на меня злопамятство, да господь встретиться не привел.

— Пан Михал,— шепнул Заглоба,— не забывай: по службе едешь!

— Помню! — буркнул Володыёвский.

— Становись! — вопил Харлам. — Милостивые господа! Я пообещал этому сопляку, молокососу этому, уши отрезать — и отрежу, не будь я Харлам, отрежу оба! Прошу вас быть свидетелями, а ты, юнец, становись-ка!

— Не могу, клянусь богом, сейчас не могу! — ответил Володыёвский. — Дай хоть несколько дней отсрочки!

— Как так не можешь? Струсил? Ежели ты мне немедленно не дашь удовлетворения, я тебя под орех отделаю — своих не узнаешь. Ах ты, сморчок! Змея подколотная! В чужие дела горазд мешаться, пакостить мастак и на язык остер, а как ответ держать — в кусты сразу!

Тут вмешался Заглоба.

— Сдается мне, сударь, не за тех ты нас принимаешь,— сказал он Харламу. — Гляди, как бы эта змея тебя и впрямь не ужалила, тогда никакие не помогут примочки. Тьфу, дьявол, неужто не видишь: офицер по служебным делам едет? Погляди на повозку — мы деньги полковые везем — и пойми, черт подери, что, будучи охранять казну назначен, офицер сей собой не располагает и удовлетворения тебе дать не может. Кто этого не понимает, тот не воин, а олух! Мы под воеводою русским служим и не таких, как ваша милость, бивали, но сегодня никак невозможно. Успеет еще, время терпит.

— И верно, они же с деньгами едут, нельзя им,— сказал один из спутников Харлама.

— А мне плевать на их деньги! — не унимался тот. — Пусть выходит драться, не то всех порешу, не сходя с места.

— Нынче я не могу драться,— сказал пан Михал,— но могу дать слово рыцаря, что через три или четыре дня, как только покончу с делами, явлюсь, куда захотите. А ежели вы обещанием моим не удовлетворитесь, прикажу по вас стрелять, посчитаю, что не со шляхтичами и солдатами, а с разбойниками имею дело. Выбирайте, черт побери, нет у меня времени с вами тут пролаждаться!

Услыша эти слова, сопровождавшие его драгуны тотчас направили на задириков дула мушкетов, и движение это, как и решительный тон Володыёвского, видно, произвели впечатление на спутников Харлама.

— Сделай уступку,— принялись они его уговаривать,— сам солдат, знаешь, что такое служба, а сатисфакцию получишь, не сомневайся, малый не робкого, видно, десятка, как и все в русских хоругвах. Угомнись, пока добром просят.

Харлам было еще покнытился, но в конце концов, уразумев, что либо товарищей своих рассердит, либо в неравную с драгунами схватку втравит, обратился к Володыёвскому и сказал:

— Дай слово, что ответишь на вызов.

— Я сам тебя вызову, хотя бы потому, что дважды одно и то же повторять просишь. Через три дня я к твоим услугам: сегодня у нас среда, стало быть, в субботу, в два часа. Выбирай место.

— Здесь, в Бабицах, народу пропасть, — сказал Харлам, — как бы не вышли какие *impedimenta*¹. Давай лучше в Липкове: там спокойней и мне сподручнее — мы в Бабицах стоим на квартирах.

— А вы столь же большой компанией придете, как сегодня? — предусмотрительно осведомился Заглоба.

— Нет, зачем! — ответил Харлам. — Я только с ~~родичами~~ своими, Селицкими, приеду. Да и вы тоже, сrego, пожалуете без другун.

— Это, может, у вас на поединок являются с вооруженной охраной, — сказал пан Михал, — у нас так не принято.

— Значит, через три дня, в субботу, в Липкове? — повторил Харлам. — Встречаемся у корчмы, а теперь — с богом!

— С богом! — ответили Заглоба и Володыёвский.

Противники разъехались мирно. Пан Михал в восторге был от предстоящей забавы и пообещал себе, что отрежет литвину усы и презентует их Подбипятке. Остаток пути маленький рыцарь проделал в преотличнейшем настроении. В Заборове он застал королевича Казимира, который приехал туда поохотиться, но лишь издали поглядел на будущего монарха, поскольку спешил обратно. За два дня управился со всеми делами, осмотрел лошадей, расплатился с Тшасковским, вернулся в Варшаву и точно в срок, даже часом раньше, явился в Липков, сопровождаемый Заглобой и Кушелем, который был приглашен вторым секундантом.

Подъехав к корчме, которую держал еврей, они зашли внутрь промочить горло и за чаркой меду завели с хозяином беседу.

— А что, пархатый, дома здешний пан? — спросил Заглоба.

— Пан в городе.

— А много у вас в Липкове стоит шляхты?

— У нас пусто. Один только пан у меня остановился, сидит сейчас в чулане — богатый пан с лошадьми и прислугой.

— А отчего он не заехал в усадьбу?

— Видать, не знаком с нашим паном. Да и усадьба с месяц уже как на запоре.

— Может, это Харлам? — предположил Заглоба.

— Нет, — ответил Володыёвский.

— Ой, пан Михал, а мне сдается, он это.

— С какой еще стати!

— Пойду погляжу, кто таков. А давно у тебя пан этот?

— Сегодня приехал, двух часов нету.

¹ препятствия (лат.).

— А откуда, не знаешь?

— Не знаю, издалека, верно, — лошадей совсем загнал. Люди говорили, из-за Вислы.

— Почему ж он именно здесь, в Липкове, остановился?

— Кто его знает?

— Пойду взгляну, — повторил Заглоба, — вдруг кто знакомый.

И, подойдя к закрытой двери в чулан, постучал в нее рукоятку сабли и спросил:

— Можно войти, милостивый сударь?

— А кто там? — отозвался изнутри голос.

— Свой, — ответил Заглоба, приотворяя дверь. — Прошу прощения, может, я не впору? — добавил он и просунул голову в щель.

И вдруг отпрянул и захлопнул дверь, точно смерть увидел. На лице его отобразились одновременно ужас и безмерное изумление; разинув рот, он уставился на друзей безумным взглядом.

— Что с тобой? — спросил Володыёвский.

— Тихе! Ради Христа, тихе! — проговорил Заглоба. — Там...

Богун!

— Кто? Да что с тобою, сударь?

— Там... Богун!

Оба офицера вскочили как ужаленные.

— Ты что, братец, ума решился? Опамятуйся: кто там?

— Богун! Богун!

— Быть не может!

— Чтоб мне не сойти с этого места! Клянусь богом и всеми святыми.

— Чего же ты всполошился? — сказал Володыёвский. — Коли так, значит, господь его нашим препоручил заботам. Успокойся, сударь. Ты уверен, что это он?

— Как в том, что с тобой говорю. Своими глазами видел: он передевался.

— А он тебя видел?

— Не знаю, нет как будто.

У Володыёвского сверкнули глаза точно угли.

— Эй, ты! — тихо позвал он корчмаря, махнув рукою. — Поди сюда! Есть еще оттуда выход?

— Нету, только один, через эту комнату.

— Кушель! К окну! — шепотом приказал Володыёвский. — Теперь ему от нас не уйти.

Кушель, ни слова не говоря, бросился вон из комнаты.

— Успокойся, сударь любезный, — сказал Володыёвский.

Не за тобой пришла костлявая, по его душу. Что он тебе может сделать? Ничего ровным счетом.

— Да это я от изумления никак не опомнюсь! — ответил Заглоба, а про себя подумал: «И вправду, чего мне страшиться? Пан Михал под боком — пускай Богун боится!»

И, напыжась грозно, схватился за саблю.

— Ну, пан Михал, теперь ему никуда не деться!

— Да он ли это? Мне все не верится. Что ему здесь делать?

— Хмельницкий его прислал шпионить. Это уж как пить дать! Погоди, пан Михал. Давай, схватим его и поставим условие: либо он отдает княжну, либо мы его предаем правосудию.

— Лишь бы княжну отдал, а там черт с ним!

— Ба! А не мало ли нас? Всего двое да Кушель третий. Он свою жизнь дешево не продаст, и люди при нем есть.

— Харлам с двумя приятелями придет — уже нас станет шестеро! Хватит!.. Тсс!

В эту минуту дверь отворилась и Богун вошел в комнату.

Должно быть, ранее он не узнал заглядывавшего в чулан Заглобу, поскольку теперь, завидя его, внезапно вздрогнул, и будто пламя полыхнуло с лица атамана, а рука с быстротою молнии опустилась на эфес сабли, — но все это продолжалось одно лишь мгновенье. Пламя тотчас погасло, лицо, однако, чуть-чуть побледнело.

Заглоба глядел на него, не произнося ни слова, атаман тоже молчал, тихо стало, как в могиле. Два человека, судьбы которых столь удивительным образом переплетались, прикинулись, будто друг друга не знают.

Это продолжалось довольно долго. Володыёвскому показалось, что прошла целая вечность.

— Хозяин! — сказал вдруг Богун. — До Заборова далеко отсюда?

— Недалеко, — ответил корчмарь. — Ваша милость сейчас желает ехать?

— Да, сейчас же, — сказал Богун и направился к ведущей в сени двери.

— Минуточку! — раздался голос Заглобы.

Атаман мгновенно остановился как вкопанный и, повернувшись к Заглобе, уставил на него страшные черные свои зеницы.

— Чего изволишь? — коротко спросил он.

— Хм... Сдается мне, откуда-то мы знакомы. Уж не на свадьбе ли на русском хуторе встречались?

— Воистину! — резко сказал атаман и снова опустил руку на эфес сабли.

— Как здоровьице? — продолжал Заглоба. — Что-то больно спешно ты, сударь, хутор тогда покинул, я и не успел попрощаться.

— Неужто пожалел об этом?

— Как не пожалеть, мы бы еще поплясали, благо и компания пополнилась. — Тут Заглоба указал на Володыёвского. — Этот рыцарь подъехал, а ему страсть как хотелось с вашей милостью поближе познакомиться.

— Довольно! — крикнул, вскочив, пан Михал. — Я тебя арестую, изменник!

— Это каким еще правом? — спросил атаман и голову гордо вскинул.

— Ты бунтовщик, враг Речи Посполитой, и пинюничать сюда приехал.

— А ты что за птица?

— Ого! Представляться я не намерен, все равно тебе никуда от меня не деться!

— Посмотрим! — сказал Богун. — А представляться и я б не стал, кабы ты меня честь по чести вызвал на поединок, но коль арестом грозить, получай разъяснение: вот письмо, которое я от гетмана запорожского везу королевичу Казимиру, а поскольку в Непоренте королевича не застал, то и следую к нему в Заборов. Ну, как ты меня теперь арестуешь?

Сказавши так, Богун поглядел на Володыевского насмешливо и надменно, а пан Михал смутился, будто гончая, почувшавшая, что упускает добычу, и, не зная, как быть дальше, кинул вопрошающий взгляд на Заглобу. Настала минута тягостного молчания.

— Да! — сказал Заглоба. — Ничего не попишешь! Раз ты пошел, арестовать мы тебя не можем, однако саблей у этого рыцаря перед носом советую не махать: однажды ты от него уже удирал, только пятки сверкали.

Лицо Богуну побагровело: в эту минуту он узнал Володыевского. От стыда и уязвленного самолюбья взыграла кровь неустрашимого атамана. Воспоминание о бегстве с хутора огнем жгло ему душу. То было единственное несмытое пятно на его молодецкой славе, а славой своей он дорожил больше всего на свете, даже больше жизни.

А неумолимый Заглоба продолжал с полнейшим хладнокровьем:

— Ты и шаровары-то едва не потерял, хорошо, рыцарь сей сжалился, отпустил живым восвояси. Тьфу, удалой молодец! Знать, не только лик у тебя девичий, но и душа бабья. Против старой княгини и мальчишки-князя геройствовал, а от рыцаря бежал, хвост поджавши! Экий вояка! Письма тебе возить да пощипать девок! Своими глазами впдел, клянусь богом, как чуть без шаровар не остался. Тьфу, тьфу! Вот и теперь в глаза тычешь саблю лишь потому, что с грамотой едешь. Как же нам с тобой драться, когда ты заслонился бумажкой? Пыль в глаза только и умеешь пускать, любезный! Хмель добрый солдат, Кривонос не хуже, но и прощельяжников предовольно среди казаков.

Богун вдруг метнулся к Заглобе, а тот столь же стремительно спрятался за Володыевского, и два молодых рыцаря оказались лицом к лицу.

— Не со страху я от тебя бежал, сударь, а чтобы людей спасти, — промолвил Богун.

— Не знаю уж, по каким причинам, но что бежал, знаю, — отвечивал пан Михал.

— Я где угодно готов с вашей милостью драться, хоть и сейчас, не сходя с места.

— Вызываешь меня? — спросил, сощурился, Володыёвский.

— Ты на славу мою молодецкую тень бросил, перед людьми меня опозорил! Хочу твоей крови.

— Я согласен, — сказал Володыёвский.

— *Volenti non fit iniura*¹, — добавил Заглоба. — Но кто же письмо королевичу доставит?

— Не вашего ума дело, это моя забота!

— Что ж, деритесь, коли нельзя иначе, — сказал Заглоба. — Ты же, любезный атаман, помни: одолеешь этого рыцаря, я следом стану. А теперь выйдем на двор, пан Михал, я тебе кое-что безотлагательно сообщить должен.

Друзья вышли и отозвали Кушеля, стоявшего под окном бовоушки, после чего Заглоба сказал:

— Плохи наши дела, любезные господа. Он и вправду везет грамоту королевичу — уьем мы его, придется ответить. Не забывайте: суд конфедератов *propter securitatum* заседает в двух милях от выборного поля, а он как-никак *quasi*² посол. Скверно! Придется потом прятаться, разве что князь возьмет под свою защиту — иначе несдобровать нам. А отпустить его опять же никак невозможно. Единственная оказия освободить нашу бедняжку. Ежели его на тот свет отправим, все легче ее отыскать будет. Видать, сам господь бог ей и Скшегускому помочь хочет, не иначе. Говорите, любезные судари, что делать будем?

— Неужто ваша милость хитрости какой-нибудь не измыслит? — сказал Кушель.

— Я свое дело сделал: он первый нас вызвал. Но потребны свидетели, сторонние люди. Думается мне, нужно дожидаться Харлампа. Уж я позабочусь, чтобы он свой черед уступил и в случае чего засвидетельствовал, что Богу нас сам вызвал, а нам волей-неволей пришлось защищаться. И от Богуна недурно бы выведать, где он девушку прячет. Зачем она ему, коли его ждет погибель? Может, скажет, если попросить хорошенько. А не скажет — так и так лучше, чтоб в живых не остался. Все пужно предусмотреть и обмыслить. Ух, голова сейчас лопнет!

— Кто же с ним будет драться? — спросил Кушель.

— Пан Михал первый, я второй, — ответил Заглоба.

— А я третий.

— Ну, нет! — вмешался Володыёвский. — Я один дерусь, и баста. Положит он меня — его счастье, пусть живым уезжает.

— Э-э, а я уже ему обещался, — сказал Заглоба, — но коли вы, любезные судари, по-пному решите, я готов отступиться.

¹ Давшему согласие не содеется дурного (лат.).

² вроде бы (лат.).

— Воля его — захочет с тобою драться, быть посему, но больше чтоб никто не ввязывался.

— Пойдем к нему.

— Пойдем.

Они пошли и застали Богуну попивающим мед в передней комнате. Атаман был совершенно уже спокоен.

— Послушай-ка, сударь, — сказал Заглоба, — есть одно важное дело, о котором нам с тобой переговорить нужно. Ты вызвал этого рыцаря — прекрасно, но да будет тебе известно, что, как посол, ты находишься под защитой закона, ибо не среди диких зверей, а промеж политичного пребываешь народа. Потому лишь в одном случае мы можем тебе ответить: ежели ты при свидетелях объявишь, что сам по своей охоте нас вызвал. Сюда придет несколько шляхтичей, с которыми у нас поединок назначен, — вот перед ними ты это повторишь, мы же дадим тебе слово чести, что коли в схватке с паном Володыёвским одержишь победу, то спокойно себе уедешь и никто тебе помехи чинить не станет, разве что еще со мной помериться пожелаешь.

— Согласен, — ответил Богун. — Я повторю свои слова при шляхтичах этих и людям своим отвезти письмо прикажу, а Хмельницкому в случае моей гибели повелю сказать, что сам первый вас вызвал. Ну, а коли с божьей помощью в схватке с этим рыцарем честь свою отстоять сумею, то еще и вашу милость потом попрошу со мной сразиться.

Сказавши так, он взглянул Заглобе в глаза, Заглоба же, несколько смешавшись, прокашлялся, сплюнул и ответил:

— Что ж, отлично. Начни только с учеником моим — сразу поймешь, каково со мною придется. Впрочем, дело не в этом. Есть второй *punctum*¹, куда важнее, и тут уж мы к совести твоей взываем, ибо, хоть ты и казак, хотелось бы в тебе рыцаря видеть. Ты княжну Елену Курцевич похитил, невесту нашего соратника и друга, и где-то ее прячешь. Знай же: если б мы тебя к суду привлекли за это, даже званье посла Хмельницкого тебя бы не охранило, ибо *rapta puellae*² безотложному разбирательству подлежит и наказуемо смертной казнью. И теперь, перед поединком, когда жизнь твоя под угрозой, рассуди сам: что с бедняжкою будет в случае твоей смерти? Ведь ты ее как будто бы любишь — неужто при том зла ей желаешь и погибели? Неужто не страшишься без опеки оставить? Обречь на позор и мытарства? Неужто и после смерти супостатом ее быть захочешь?

Голос Заглобы зазвучал неожиданно серьезно, а Богун побледнел и спросил:

— Чего же вы от меня хотите?

— Укажи место ее заключения, чтобы в случае смерти твоей

¹ пункт (лат.).

² похищение девицы (лат.).

мы могли ее отыскать и суженому вернуть. Сделай это, и господь помилует твою душу.

Атаман подпер голову руками и глубоко задумался, а три товарища неотрывно следили за переменами, происходящими в подвижном его лице, на котором вдруг такая нежная печаль проступила, словно ни гнев, ни ярость, ни иные жестокие чувства никогда на нем не отображались, словно человек этот лишь для любви и страдания был создан. Долго продолжалось молчание, пока его не нарушил Заглоба, с дрожью в голосе проговоривший:

— Ежели ты опозорить ее успел, господь тебе судия, она же пусть хоть в монастыре свои дни окончит...

Богун поднял увлажнившиеся, полные тоски очи и сказал:

— Я — опозорил? Уж не знаю, как вы, паны шляхтичи, рыцари и кавалеры, умеете любить, но я, казак, ее в Баре спас от смерти и поруганья, а потом в пустыню увез — и там берег как зеницу ока, пальцем не тронул, в ногах валялся и челом бил, как перед иконой. Прогнала меня прочь — я ушел и боле ее не видел: война-матушка при себе держала.

— Бог тебе за это простит часть грехов на Страшном суде! — сказал, вздохнув облегченно, Заглоба. — Но в безопасности ли она там? Ведь рядом Кривонос и татары!

— Кривонос под Каменцем стоит, а меня послал к Хмелю спросить, надо ли ему идти в Кудак, — и уж, верно, пошел, а там, где она укрыта, ни казаков, ни ляхов, ни татар нету — в том месте ей всего безопасней.

— Где же оно, это место?

— Послушайте, паны ляхи! Будь по-вашему: я скажу, где она, и прикажу вам ее выдать, но за это вы поклянитесь рыцарским словом, что, если господь мне пошлет удачу, не станете ее искать больше. Пообещайте за себя и за Скшетуского — и я вам откроюсь.

Друзья переглянулись.

— Этого мы сделать не можем! — сказал Заглоба.

— Никак не можем! — воскликнули Кушель и Володыевский.

— Вот как? — сказал Богун, и глаза его сверкнули под насупившимися бровями. — Отчего ж это вы не можете, паны ляхи?

— Оттого, что Скшетуского с нами нету, а к тому же знай, что ни один из нас розысков не оставит, хоть ты ее спрячь под землю.

— Вон вы какой затеяли торг: мол, отдавай, казачина, душу, а мы тебя по башке саблей! Нет, не выйдет! Думаете, не остра моя казацкая сабля? Эва, раскаркались, как над падалью воронье, — рановато еще вам каркать! Почему это я, а не вы, должен погибнуть? Вы моей крови жаждете, а я вашей! Поглядим еще, кому повезет больше.

— Не хочешь, стало быть, говорить?

— А зачем? Погибель всем вам!

— Тебе погибель! Искрошим в куски — ты того стоишь.

— Попробуйте! — сказал атаман, внезапно вставая.

Кушель и Володыёвский тоже вскочили.

Грозные взоры скрестились в воздухе, гнев заклокотал у каждого в груди, и неизвестно, чем бы все кончилось, если б не Заглоба, который, поглядев в окно, крикнул:

— Харлам! со свидетелями приехал!

И вправду, минуто спустя в комнату вошел ротмистр пятигорский с двумя товарищами, Селицкими. Едва обменялись приветствиями, Заглоба отвел их в сторону и стал излагать суть дела.

Говорил он столь выразительно, что быстро их убедил, заверив, что Володыёвский лишь о краткой отсрочке просит и после поединка с казаком готов немедля дать ротмистру удовлетворенные. Еще Заглоба живописал, какую давнюю и страшную ненависть питают князьки войны к Богуну, врагу всей Речи Посполитой и одному из самых жестоких смутьянов, как тот похитил княжну, шляхтянку и невесту шляхтича, обладателя всех рыцарских доблестей.

— А поскольку, любезные судари, вы тоже шляхтичи, братские души, то и оскорбление, нанесенное в лице одного всему сословию, каждого из нас задевает; неужто вы потерпите, дабы оно неотмщенным осталось?

Харлам! поначалу заартачился, твердя, что в таком случае Богун надобно тотчас зарубить, «а пан Володыёвский пусть, как уговорились, мне ответит». Пришлось Заглобе сызнова ему толковать, почему это невозможно, да и недостойно рыцарей нападать на одного всем скопом. К счастью, его поддержали Селицкие, особы степенные и рассудительные; в конце концов упрямый литвин позволил уговорить себя и согласился отложить поединок.

Тем временем Богун сходил к своим людям и вернулся с есаулом Ельяшенкой, которому объявил, что вызвал двух шляхтичей на поединок, после чего во всеуслышание повторил то же в присутствии Харлама и Селицких.

— Мы же заявляем, — сказал Володыёвский, — что, если ты меня одолеешь, в твоей будет воле решать, драться с паном Заглобой или не драться. Никто другой тебя вызывать не станет, и на одного все не нападём: поедешь, куда захочешь, в чем и даем тебе рыцарское слово, а вас, любезные судари, как вновь прибывших, просим со своей стороны пообещать то же.

— Обещаем, — торжественно промолвили Селицкие и Харлам!.

Тогда Богун отдал Ельяшенке письмо Хмельницкого королевичу с такими словами:

— Ти цес письмо королевичеві віддаш, і коли я загину, так ти скажеш і йому, і Хмельницькому, що моя вина була і що не зрадою мене забили.

Заглоба, ничего из виду не упускавший, отметил про себя, что на утрюмом лице Ельяшенки не промелькнуло и тени тревоги,— видно, он был крепко уверен в своем атамане.

Меж тем Богун надменно повернулся к шляхтичам.

— Ну, кому смерть, кому живот,— сказал он. — Пойдем, что ли.

— Пора, пора! — дружно ответили те, затыкая полы кунтушей за пояс и беря под мышку сабли.

Выйдя из корчмы, пошли к речке, бежавшей среди боярышника, шиповника, молодого соснычка и терна. Ноябрь, правда, поотряс с кустов листья, но ветви их столь были густы, что заросли казались черной траурной лентой, уходящей в дальнюю даль, через пустынные поля к самому лесу. День был хоть и неяркий, но ясный,— случаются осенью такие дни, полные сладостной грусти. Солнце украсило золотистой каймой обнаженные ветви деревьев и заливало светом желтую песчаную грядку, тянущуюся вдоль правого берега речки, чуть поодаль от воды. Противники и скурданты направились к этой грядке.

— Там и остановимся,— сказал Заглоба.

— Хорошо,— согласились остальные.

Заглобу все более охватывала тревога. Наконец, подойдя к Володыёвскому, он шепнул:

— Пан Михал...

— Что?

— Ради бога, братец, уж ты постарайся! В твоих отныне руках судьба Скшетуского, свобода княжны, твоя жизнь, да и моя тоже. Упаси тебя господь от беды, но я с разбойником этим не справлюсь.

— Чего же ты его вызвал?

— Как-то выскочило само собою. Одна на тебя надежда. Куда мне, старику, против него с моею одышкой, да и прить не та, а красавчик сей, точно кубарь, верток. И зол, собака.

— Я постараюсь,— сказал маленький рыцарь.

— Помоги тебе бог. Не падай духом!

— Еще чего!

В эту минуту к ним подошел один из Селицких.

— Хорош гусь казак ваш,— шепнул он. — Ровней себя с нами держит, а то и мнит выше. Экая фанаберия! Верно, матушка его на шляхтича загляделась в свое время.

— Э,— сказал Заглоба,— скорей на его матушку шляхтич.

— И мне так сдается,— добавил Володыёвский.

— Начнем! — вдруг воскликнул Богун.

— Начнем, начнем!

Остановились. Володыёвский и Богун друг против друга, шляхтичи возле них полукружьем.

Володыёвский, будучи, несмотря на молодость лет, весьма искушен в подобных забавах, сперва песок ногою пощупал — довольно ли тверд,— а потом оглядел неровности почвы. Видно

было, что настроен он очень серьезно. Как-никак предстояло скрестить оружие с рыцарем, прославленным на всю Украину, о котором в народе слагались песни, имя которого было известно в каждом уголке Руси, вплоть до самого Крыма. Володыёвский, простой драгунский поручик, многого ожидал от этого поединка: либо славной смерти, либо не менее славной победы — и потому ничего без внимания не оставил. Лицо его необычайную выражало серьезность — Заглоба даже перепугался. «Легкость духа теряет, — подумал он. — Несдобровать бедняге, а за ним и я на тот свет отправлюсь».

Меж тем Володыёвский, тщательно оглядев площадку, стал расстегивать куртку.

— Холодно, — сказал он, — но согреемся, надо думать.

Богун последовал его примеру, и оба, сбросив верхнюю одежду, остались в одних лишь рубахах и шароварах, затем каждый засучил на правой руке рукав.

Но сколь же жалостно выглядел маленький рыцарь подле рослого и дюжего атамана! Пана Михала почти что не было видно. Будто молодой петушок с сильным степным ястребом замыслил единоборство! Секунданты с тревогой поглядывали на широкую грудь казака, на открывшиеся, когда он засучил рукав, узловатые и тугие могучие мускулы. Ноздри Богуну раздувались, словно он загодя чуял кровь, лоб собрался морщинами, так что, казалось, черная грива растет от самых бровей, и сабля в руке дергалась. Вперивши в противника хищные свои очи, он ждал сигнала к поединку.

А Володыёвский еще раз осмотрел на свет клинок своей сабли, пошевелил желтыми усиками и стал в позицию.

— Ох, и резня будет! — шепнул Харламп Селицкому на ухо.

И тут раздался несколько дрогнувший голос Заглобы:

— Во имя божие, начинайте!

ГЛАВА XII

Свистнули сабли, и острое звякнуло об острое. Поле боя в одно мгновение расширилось: Богун наступал столь неудержимо, что Володыёвский отскочил на несколько шагов и секундантам тоже пришлось, попятившись, расступиться. Сабля Богуну мелькала в воздухе с быстротою молнии — испуганные взоры присутствующих не успевали за нею следить, им казалось, вкруг пана Михала сомкнулось кольцо сверкающих зигзагов, грозя его испепелить, и лишь господь властен вырвать маленького рыцаря из этого огненного круга. Отзвуки ударов слились в протяжный свист, воздух, взвихрясь, хлестал по лицам. Ярость атамана с каждой секундой возрастала; в исступлении обрушился он на противника подобно урагану — Володыёвский только отступал и защищался. Правая его рука, выставленная вперед, была почти

неподвижна, только кисть без усталости описывала малые, но быстрые, как мысль, полукруги, отражая бешеные Богуновы удары; клинку подставляя клинок, уставя очи в очи атамана, Володыёвский в ореоле змеящихся вокруг него молний казался спокойным, лишь на щеках его проступили красные пятна.

Заглоба, зажмурясь, прислушивался: удар, снова удар, свист, скрежет.

«Еще защищается!» — подумал он.

— Еще защищается! — шептали Селицкие и Харламп.

— Сейчас его к песку припрет, — тихо добавил Кушель.

Заглоба приоткрыл глаза и глянул.

Володыёвский почти касался песчаной гряды спиной, но, видно, не был пока еще ранен, только румянец на лице стал ярче и лоб усыпали капельки пота.

Сердце Заглобы забилося надеждой.

«А ведь и пан Михал у нас великий искусник, — подумал он, — да и этот когда-нибудь устанет».

И действительно, лицо Богуна покрыла бледность, пот оросил и его чело, но сопротивление только разжигало неистовство атамана: белые клыки блеснули из-под усов, из груди вырывалось звериное рычанье.

Володыёвский глаз с него не спускал и продолжал защищаться.

Почувствовав вдруг за собой песчаную стену, он будто исполнился новой силы. Наблюдающим поединок казалось — маленький рыцарь сейчас упадет, а он меж тем нагнулся, сжался в комок, присел и, точно камень, всем телом ударил в грудь атамана.

— Атакует! — закричал Заглоба.

— Атакует! — повторили за ним остальные.

Так оно и было на самом деле: теперь казак отступал, а Володыёвский, изведавши силу противника, напирал на него столь стремительно, что у секундантов дух захватило: видно, начал разогреться — маленькие глазки метали искры, он то приседал, то подскакивал, меняя позицию в мгновение ока, кружа возле казака и вынуждая того волчком вертеться на месте.

— Ай да мастер! — закричал Заглоба.

— Смерть тебе! — прохрипел вдруг Богуна.

— Смерть тебе! — как эхо ответил Володыёвский.

Внезапно казак приемом, лишь искуснейшим фехтовальщикам известным, перекинул саблю из правой руки в левую и слева нанес удар столь сокрушительный, что противник его, как подкошенный, грянулся наземь.

— О господи! — крикнул Заглоба.

Но пан Михал упал намеренно, отчего Богунова сабля только свистнула в воздухе, маленький же рыцарь вскочил, точно дикий кот, и со страшной силой рассек саблей незащищенную грудь казака.

Богун пошатнулся, шагнул вперед и, сделав последнее усилие, нанес последний удар. Володыёвский отбил его без труда и еще дважды ударил по склонившейся голове — сабля выскользнула из ослабших Богуных рук, он повалился лицом в песок, обгря его кровью, растекшейся широкой лужей.

Ельяшенко, присутствовавший при поединке, бросился к телу своего атамана.

Секунданты несколько времени не могли вымолвить ни слова, пан Михал тоже молчал, только дышал тяжело, опершись обеими руками на саблю.

Заглоба первый нарушил молчанье.

— Поди ж сюда, дай обниму тебя, пан Михал! — растроганно проговорил он.

Все обступили маленького героя.

— Ну, и мастак ты, сударь, разрази тебя гром! — наперебой восклицали Селицкие.

— В тихом омуте, гляжу, черти водятся! — промолвил Харлам. — Я готов с вашей милостью драться, чтоб не говорили: Харлам струсил, — и даже если ты меня так же жоскромсаешь, все равно прими мои поздравления!

— Да бросьте вы бога ради, вам и драться-то не из-за чего на самом деле, — сказал Заглоба.

— Никак невозможно, — отвечал ротмистр, — тут затронута моя репутация, а я за нее жизни не пожалею.

— Не нужна мне твоя жизнь, любезный сударь, оставим лучше намеренья наши, — молвил Володыёвский. — По правде сказать, я и не думал тебе заступать дорогу. На этой дорожке ты повстречаешь кое-кого другого — вот тогда держись, а я тебе не помеха.

— Как так?

— Слово чести.

— Помирись, друзья, — зывали Селицкие и Кушель.

— Ладно, будь по-вашему, — сказал Харлам, раскрывая объятья.

Володыёвский упал в объятья ротмистра, и бывшие недруги звучно расцеловались, аж эхо прокатилось по песчаным холмам, при этом Харлам приговаривал:

— Ох, чтоб тебя, ваша милость! Каково этакую громадину отделал! А ведь и он саблей владел недурно.

— Вот уж не думал, что он такой фехтовальщик! И где только выучился, интересно?

Тут всеобщее внимание обратилось вновь к лежащему на земле атаману, которого Ельяшенко тем временем перевернул лицом кверху и, плача, пытался обнаружить в нем признаки жизни. Лицо Богуну трудно было узнать под коркой быстро запекшейся на холодном ветру, вытекшей из ран на голове крови. Рубаха на груди тоже была вся залита кровью, однако жизнь еще не оставила атамана. Он, видно, был в предсмертной конвульсии:

ноги вздрагивали, да скребли песок скрюченные как когти пальцы. Заглоба глянул и только рукой махнул.

— Получил свое! — сказал он. — С божьим прощается светом.

— Ой! Этот уже не жилец, — промолвил, поглядев на лежащее тело, один из Селицких.

— Еще бы! Надвое почти что рассечен.

— Да, таких рыцарей не часто встретишь, — пробормотал, покачав головой, Володыёвский.

— Не мне рассказывай, — отозвался Заглоба.

Меж тем Ельяшенко вознамерился поднять и унести несчастного атамана, но тщетно, потому как немолод был и щедеушен, а Богун — едва ли не исполинского росту. До корчмы было несколько верст, а казак мог преставиться в любую минуту, видя это, есаул обратился к шляхтичам.

— Пане! — воскликнул он, складывая просительные руки. — Заради спаса и святой-пречистой помощи! Не дайте, щоб він тутки щез як собака. Я старий, не здужаю, а люде далеко...

Шляхтичи переглянулись. Озлобления против Богунa в их сердцах уже не осталось.

— И впрямь негоже его здесь бросать как собаку, — первым пробормотал Заглоба. — Коли приняли вызов, значит, он для нас уже не мужик, а воин, каковому всяческая надлежит помощь. Кто со мной его понесет, любезные господа?

— Я, — ответил Володыёвский.

— Кладите на мою бурку, — предложил Харламп.

Минуту спустя Богун уже лежал на бурке Харлампа. Заглоба, Володыёвский, Кушель и Ельяшенко ухватились каждый за свой конец, и шестиве, замыкаемое Селицкими и Харлампом, медленно двинулось по направлению к корчме.

— Живучий, черт, еще шевелится, — пробормотал Заглоба. — Господи, да скажи мне кто, что я с ним нянчиться буду и на руках таскать, я б таковые слова за издевку принял! Чересчур мягкое у меня сердце, сам знаю, да себя переделать не можно! Еще и раны ему перевяжу... Надеюсь, на этом свете нам больше не встретиться: пускай хоть на том добром вспоминет!

— Думаешь, не выкарабкается? — спросил Харламп.

— Он-то? Да я за его жизнь гроша ломаного не дам. Видно, так было написано на роду, а от судьбы не уйдешь: улыбнись ему счастье с паном Володыёвским, от моей бы руки погибнул. Впрочем, я рад, что так оно получилось, — и без того уже меня душегубцем безжалостным прозывают. А что прикажете делать, если вечно кто-нибудь мешается под ногами? Пану Дунчевскому пришлось отступного заплатить пятьсот злотых, а русские имения, сами знаете, нынче не приносят дохода.

— Да, там у вас все подмели вчистую, — сказал Харламп.

— Уф! Тяжелешенек наш казак — дух сперло!.. — продолжал Заглоба. — Вчистую подмели — это верно, но я все ж

надеюсь, сейм воспомоществованье окажет, не то хоть зубы клади на полку... Ох, и тяжел, дьявол!.. Гляньте-ка, ваши милости, опять кроважит. Беги, пан Харламц, к корчмарю да вели память хлеба с паутиной. Покойничку нашему небожно поможет, но рану перевязать — всякого христианский долг, все ж ему помирать будет легче. Живей, сударь!

Харламц поспешил вперед, и, когда атамана наконец внесли в корчму, Заглоба, не мешкая, со знанием дела и большой сноровкою занялся перевязкой. Он остановил кровь, залепил раны, после чего, обратившись к Ельяшенке, молвил:

— А в тебе, старик, здесь нужды нету. Скачи быстрее в Заборов, проси, чтоб к его высочеству допустили, и письмо отдай, да расскажи, что видел, — все в точности опиши, как было. Соврешь, я узнаю, потому как у их королевского высочества в большом доверье, и голову тебе повелю снести. И Хмельницкому кланяйся: он меня знает и любит. Похороним мы твоего атамана как должно, а ты делай свое дело, да остерегайся темных углов — еще прибьют где-нибудь ненароком, не успеешь и объяснить, кто таков да зачем едешь. Будь здоров! И пошевеливайся!

— Дозволь, ваша милость, остаться, хотя бы покуда он не остынет.

— Езжай, говорят тебе! — грозно сказал Заглоба. — Не то прикажу мужикам силком в Заборов доставить. И привет не забудь передать Хмельницкому.

Ельяшенко поклонился в пояс и вышел, а Заглоба объяснил Харлампу и Селицким:

— Казака я нарочно отправил — нечего ему здесь делать... А ежели его и вправду по дороге прирежут, что легко может статься, всю вину ведь на нас свалят. Заславпы да прихвостни канцлера первые крик подымут, что, мол, люди русского воеводы, преступив закон, вырезали казацкое посольство. Но ничего, умная голова сто голов кормит! Нас шлопугам этим, дармоедам, гладышам голыми руками не взять, да и вы, судари, при надобности засвидетельствуете, как все было на деле, и подтвердите, что он сам нас вызвал. Еще нужно здешнему войту наказать, чтобы его земле предал. Они знать не знают, кто он таков: сочтут шляхтичем и похоронят по чести. И нам, пан Михал, пожалуй, пора ехать — должно еще реляцию князю-воеводе представить.

Хрипкое дыхание Богуна прервало разглагольствования Заглобы.

— Эвон, уже душа наружу рвется! — заметил шляхтич. — И на дворе темнеет — ощупью придется на тот свет добираться. Но коль он бедняжки нашей не обесчестил, пошли ему, господи, вечный покой, аминь!.. Поехали, пан Михал... Ото всей души отпускаю ему его прегрешенья, хотя, признаться, чаще я у не-

го, нежели он у меня на пути становился. Но теперь уж всему конец. Прощайте, любезные судари, приятно было со столь благородными кавалерами свести знакомство. Не забудьте только в случае чего дать показанья.

ГЛАВА XIII

Князь Иеремия принял известие о гибели Богуна в поединке весьма спокойно — тем паче когда узнал, что есть сторонние люди, не из его хоругвей, готовые в любую минуту засвидетельствовать, что вызван был Володыёвский. Случись это не в канун объявления королем Яна Казимира, когда борьба соперников еще продолжалась, противники Иеремии во главе с канцлером и князем Домиником, вне всякого сомнения, не преминули бы это происшествие обернуть против него, невзирая ни на каких свидетелей и их заявления. Но после отказа Карла от престола умы были заняты совсем другим, и яснее ясного было, что вся эта история канет в забвенье.

Извлечь ее на свет мог разве только Хмельницкий, чтобы показать, какие ему беспрестанно чинят обиды. Однако князь справедливо полагал, что королевич, отвечая гетману, упомянет в письме либо прикажет передать от своего имени устно, при каких обстоятельствах погиб его посланец, Хмельницкий же не посмеет усомниться в истинности монаршых слов.

Князя заботило лишь одно: как бы из-за его людей не затеялось политической склоки. С другой стороны, он даже порадовался за Скшетуского, потому что теперь и впрямь куда вероятнее стало спасение княжны Курцевич. Теперь можно было надеяться ее отыскать, отбить или выкупить — а за расходами, сколь они ни могли оказаться велики, князь бы, надо думать, не постоял, желая любимого своего рыцаря избавить от страданий и вернуть ему счастье.

Володыёвский с немалым страхом шел к князю: будучи далеко не робкого десятка, он, однако, как огня боялся сурового взгляда Иеремии. Каково же было изумление его и радость, когда князь, выслушав реляцию и поразмыслив над тем, что случилось, снял с пальца дорогой перстень и молвил:

— Выдержка ваша, милостивые судари, всяческой похвалы достойна: напади вы на него первыми, на сейме мог бы шум подняться со всеми пагубными отсюда последствиями. Если же княжна отыщется, Скшетуский по гроб жизни будет вам благодарен. До меня дошли слухи, любезный пан Володыёвский, будто, как иные языка за зубами, так ваша милость сабли в ножнах удержать не может, что само по себе заслуживает наказанья. Но поскольку ты за своего друга дрался и перед лицом заправского рубаки не уронил чести нашего мундира, прими на память об этом дне сей перстень. Знал я, что ты хороший солдат и от-

менный фехтовальщик, но, похоже, лучших мастеров превосходишь.

— Он-то? — воскликнул Заглоба. — Да он самому черту с третьего выпада рога отрубит. Ежели ваша светлость когда-либо голову мне снести прикажет, прошу не поручать этого никому иному: от его руки, по крайней мере, прямиком на тот свет отправлюсь. Он Богуну надвое грудь разрубил, а потом еще дважды по мозгам проехал.

Князь питал слабость к добрым воякам и рыцарские подвиги ценил всего выше, поэтому усмехнулся довольно и спросил:

— А встречался тебе кто-нибудь, в сабельном бою столь же искусный?

— Только Скшетуский однажды меня поцарапал, но и я в долгу не остался — это когда твоя княжеская милость нас обоих под замок посадить позволил; а из прочих, возможно, мне бы не уступил пан Подбпятка, потому как силой обладает сверхчеловеческой, и, пожалуй что, еще Кушель, будь у него глаз поострее.

— Не верь ему, ваша светлость, — сказал Заглоба, — никто против него устоять не может.

— А долго Богун держался?

— Да уж, тяжельенько мне с ним пришлось, — ответил Володыёвский. — Он и левой рукой умел не хуже правой.

— Богун сам мне рассказывал, — вмешался Заглоба, — что для сноровки целыми днями с Курцевичами рубился, да и я видел в Чигирине, как он управлялся с другими молодцами.

— Знаешь что, — с деланною серьезностью обратился к маленькому рыцарю князь, — езжай-ка ты, сударь, в Замостье, вызови на поединок Хмельницкого и одним махом освободи Речь Посполитую от всех бед и напастей.

— Только прикажи, ваша светлость, тотчас и поеду, лишь бы Хмельницкий не отказался, — ответил Володыёвский.

А князь между тем продолжал:

— Мы шутим, а мир на глазах гибнет! Но в Замостье, любезные судари, вам и впрямь поехать придется. Я получил известие из казацкого стана, будто, едва огласят об избрании королем Казимира, Хмельницкий снимет осаду и уйдет на Русь, и поступит так из подлинного либо притворного к его величеству уважения, а возможно потому, что под Замостью его силу нам легко сломить. Посему отправляйтесь и уведомьте Скшетуского о случившемся — пусть на поиски княжны едет. Скажите ему, чтобы из монахов хоругвей, оставленных при старосте валецком, отобрал столько людей, сколько для экспедиции будет потребно. Впрочем, я ему через вас пошлю разрешение на отпуск и письмо дам, ибо от всего сердца желаю, чтобы счастье наконец ему улыбнулось.

— Твоя светлость нам всем как отец родной, — сказал Володыёвский, — и мы тебе до гробовой доски верой и правдой служить будем.

— Не знаю, не придется ли вскоре всем, кто мне служит, пояса затянуть,— заметил князь,— ежели мои заднепровские имения разграблены будут. Но покамест все, что мое,— ваше.

— И наши состояния, хоть и мелкопоместны мы, всегда в твоём распоряжении! — воскликнул пан Михал.

— И мое в том числе! — добавил Заглоба.

— Пока в этом нет нужды,— ласково ответил князь. — Надеюсь, если я последнее потеряю, Речь Посполитая хотя бы детей моих не оставит.

Князя, видимо, в ту минуту осенило прозрение. В самом деле, немногим более десяти лет спустя Речь Посполитая отдала его единственному сыну лучшее, что имела,— корону, но покамест Иеремии и впрямь грозила потеря всего огромного состояния.

— Ловко отделались! — сказал Заглоба, когда они с Володыёвским вышли от князя. — А ты еще и повышение получишь, уж будь уверен. Ну-ка, покажи перстень. Ого! Да ему не меньше ста червонцев цена — больно уж хорош камень. Спроси завтра на базаре у какого-нибудь армянина. При таких деньгах ешь-пей вволю, да и прочие радости доступны. Что скажешь, а, пан Михал? Слышал солдатскую поговорку: «Вчера жил, завтра сгнил!» Смысл-то ее каков: живи сегодняшним днем, а вперед заглядывать не старайся. Коротка жизнь человеческая, ох, коротка, пан Михал. Главное, ты теперь крепко князю запад в душу. Он бы дорого дал, чтоб Скшетускому голову Богунову презентовать, а ты взял да преподнес на блюде. Жди теперь великих милостей, уж поверь моему нюху. Мало ли князь рыцарям в пожизненное владение деревень роздал, а то и подарил навечно? Что твой перстень! И тебе должно кой-чего перепасть, а там, того гляди, князь какую свою сродственницу отдаст тебе в жены.

Володыёвский так и подпрыгнул.

— Откуда тебе, сударь, известно...

— Что известно?

— Я хотел сказать: что это вашей милости в голову взбрело? Разве такое возможно?

— А почему бы и нет? Иль ты не шляхтич? Или шляхтич шляхтичу неровня? Мало, что ли, у магнатов родни среди шляхты? А сколько барышень из своих домов они выдавали за достойнейших своих придворных? Кажется, и Суффчинский из Сенчи на дальней родственнице Вишневецких женат. Все мы братья, пан Михал, да-да, братья, хоть и одни другим служим, ибо все потомки Яфета, и отличие лишь в том, у кого какая должность да состояние, а это дело наживное, сам знаешь. Говорят, в других местах больше делается между шляхтичами различий, но там и шляхта доброго слова не стоит! Я понимаю, собаки промеж собою разнятся: легавые вислухи, борзые поджары, гончие голосом берут, но мы как-никак не собачьего племени все же,

шляхте такое не пристало — упаси бог благородное наше сословие от эдакого позора!

— Оно верно, — согласился Володы́евский, — но ведь Вишневецкие чуть ли не королевский род.

— А ты разве не можешь королем быть избран? Да вздумайся мне, я бы первый за тебя подпись поставил: вон пан Зигмунт Скаршевский клянется, что за самого себя подаст голос, если только не заиграется в кости. Все у нас, слава богу, решается *in liberis suffragiis*¹, и лишь бедность наша, а не происхождение нам помехой.

— То-то и оно! — вздохнул пан Михал.

— Что поделаешь! Кто виноват, что нас ограбили подчитую? Того и гляди, протянем ноги; если Речь Посполитая не измыслит способа нас поддержать — погибнем всеу! И не диво, что самого наивоздержаннейшего по натуре своей человека в таких обстоятельствах потянет к рюмке. Кстати, а не пойти ли нам, пан Михал, по стаканчику винца пропустить — может, на душе повеселей станет?

Так беседуя, они дошли до Старого Мяста и завернули в винный погребок, где у входа толпилось десятка полтора челядинцев, охранявших хозяйские шубы и бурки. Там, усевшись за стол и велев подать себе штоф, друзья стали совещаться, что теперь, после гибели Богуна, делать.

— Ежели Хмельницкий и вправду от Замостья отступит и настанет мир, княжна, почитай, наша, — говорил Заглоба.

— Надо спешить к Скшетускому. Теперь уж мы от него ни на шаг, покуда девушки не отыщем.

— Ясно, вместе поедем. Но сейчас-то до Замостья никак не добраться.

— Что ж, обождем, лишь бы впредь господь милостью своей не оставил.

Заглоба залпом осушил чарку.

— Не оставит! — сказал он. — Знаешь, что я тебе скажу, пан Михал?

— Что?

— Богун убит!

Володы́евский взглянул на приятеля с изумленьем:

— Ба, кому ж, как не мне, об этом знать?

— Дай тебе бог здоровья! Ты знаешь, и я знаю. Я глядел, как вы бились, а теперь гляжу на тебя — и все равно непрестанно хочется повторять это себе снова, потому как нет-нет, а подумается: такое только во сне бывает! Ух, какой камень с плеч свалился! Ну и узел ты разрубил своею саблей! Черт бы тебя побрал — просто слов не хватает! Боже милостивый! Нет, не могу удержаться! Поди сюда, дозвожь себя еще раз обнять! Поверишь ли, я когда тебя впервые увидел, подумал: «Экий коро-

¹ в свободном голосовании (лат.).

тышка!» А коротышка-то каков оказался — самого Богуна окоротил, не моргнувши глазом! Нет больше Богуна, и следа не осталось, прах один, убит насмерть, вечная ему память, аминь!

И Заглоба бросился обнимать и лобызать Володыёвского, а пан Михал, растрогавшись, уже и Богуна готов был пожалеть; наконец, высвободившись из объятий Заглобы, он сказал:

— Конца-то мы не дождались, а он живучий — ну как оклемается?

— Побойся бога, что ты городишь, сударь! — вскричал Заглоба. — Я хоть завтра поеду в Липков и препышные похороны устрою, только бы помер.

— А какой толк ехать? Раненого ж ты добивать не станешь? Сабля — она не пуля: кто сразу дух не испустит, тот, глядишь, на ноги встанет. Сколько раз так бывало.

— Нет, это никак невозможно! Он ведь уже хрипеть начал, когда мы с тобой уезжали. Ой, нет, быть такого не может! Я ж ему сам перевязывал раны: видел, как грудь разворотило. Ты его выпотрошил, точно зайца. Ладно, хватит об этом. Наше дело поскорей со Скшетуским соединиться, помочь бедняге, утешить, покуда он вконец от тоски не извелся.

— Либо в монастырь не ушел; он мне сам говорил об этом.

— И не диво. Я бы на его месте поступил точно так же. Да, не встречалось мне рыцаря доблестнее его, но и несчастнее не встречалось. Тяжкие, ой, тяжкие ему господь послал испытанья!..

— Перестань, ваша милость, — попросил слегка захмелевший Володыёвский, — а то у меня слезы на глаза набегают.

— А у меня? — отвечал Заглоба. — Благороднейшая душа, а какой воин... Да и она! Ты ее не знаешь... ненаглядную мою девочку.

И завыл густым басом, потому что в самом деле очень любил Елену, а пан Михал вторил ему тенорочком — и пили они вино, перемешанное со слезами, а потом, понурясь, долго сидели в угрюмом молчанье, пока Заглоба кулаком по столу не грохнул.

— Чего это мы слезы льем, а, пан Михал? Богун-то убит!

— И верно, — ответил Володыёвский.

— Радоваться надо. Последние остолопы будем, если теперь ее не отыщем.

— Едем, — сказал, вставая, маленький рыцарь.

— Выпьем! — поправил его Заглоба. — Даст бог, еще деток ихних понесем к купели, а все почему? Потому что Богуна зарубили.

— Туда ему и дорога! — докончил Володыёвский, не заметив, что Заглоба уже разделяет с ним честь победы над атаманом.

Наконец под сводами варшавского кафедрального собора прозвучало «Te Deum laudamus» и «Монарх восшел на царствие», зазвонили колокола, грянули пушки — и надежда вселилась в сердца. Пришел конец междуцарствию, времени смутному и тревожному, особенно тяжкому для Речи Посполитой, потому что было это время всеобщего краха. Те, кого дрожь пронимала при мысли о нависших над страной опасностях, теперь, когда выборы прошли с редким единодушьем, облегченно вздохнули. Многим казалось, что не знающая примеров междуусобица окончилась раз и навсегда и новому королю остается лишь предать правому суду виновных. Чаянья эти подкреплялись и поведением самого Хмельницкого. Казаки под Замостью, продолжая ожесточенно штурмовать замок, тем не менее заявляли во всеуслышание, что поддерживают Яна Казимира, Хмельницкий через посредство ксендза Гунцеля Мокрского слал его величеству верноподданные письма, а с иными посланцами — нижайшие просьбы оказать милость ему и запорожскому войску. Известно также было, что король, следуя политике канцлера Оссолинского, намерен сделать казачеству немалые уступки. Как некогда, до разгрома под Пилявцами, все говорили только о войне, так теперь слово «мир» не сходило с уст. Блеснула надежда, что после полосу бедствий наступит долгожданная передышка и новый монарх залечит раны отечества.

Наконец к Хмельницкому с письмом от короля был отправлен Смяровский, и вскоре разнеслась радостная весть, будто казаки, сняв осаду с Замостья, отступают на Украину, где будут спокойно ожидать королевских распоряжений и решения комиссии, которая должна заняться рассмотрением их претензий. Казалось, гроза пронеслась и над страной, предвещая тишину и покой, засияла семицветная радуга.

Не было, правда, недостатка в дурных приметах и предсказаниях, однако среди наставшего благоденствия они оставались без внимания. Король отправился в Ченстохову, чтобы первым делом поблагодарить небесную заступницу за избрание на престол и вверить себя дальнейшему ее попечению, а оттуда поехал на коронацию в Краков. За ним последовали сановники. Варшава опустела, в ней остались только *exules*¹ с Руси, те, кто еще не смел возвращаться в свои разграбленные имения, либо те, которым возвращаться было незачем.

Князю Иеремии, как сенатору Речи Посполитой, надлежало сопровождать короля в Краков. Володыёвский же и Заглоба с одной драгунской хоругвью двинулись скорым маршем в Замостье, к Скшетускому, спеша порадовать друга известием об участии,

¹ беглецы, беженцы (лат.).

достигшей Богуна, и затем вместе с ним пуститься на поиски княжны.

Заглоба покидал Варшаву не без некоторого сожаленья, ибо среди съехавшей туда без счету шляхты, в предвыборной кутерьме, будучи непременным участником вечных пирушек и драк, которые они с Володыёвским затевали, чувствовал себя как рыба в воде. Однако он утешался мыслью, что возвращается к жизни деятельной, сулящей новые приключения и возможности для хитроумных затей, в чем обещал себе не отказывать; к тому же у него имелось свое суждение об опасностях столичной жизни, которое он и выложил другу.

— Конечно, мы с тобой, пан Михал,— говорил он,— премного отличились в Варшаве, однако сохрани нас бог задержаться долее, да-да, поверь, тут обабишься в два счета, как пресловутый карфагенянин, что от сладкого воздуха Капуи вконец ослаб. А от прекрасного пола и вовсе надобно бежать без оглядки. Кого хочешь до погребели доведут, потому как, заметь себе, ничего нет на свете коварней ихней сестры. Стареешь, а все равно тянет...

— Это ты брось, сударь! — перебил его Володыёвский.

— Да я сам себе часенько твержу, что пора бы угомониться, только кровь у меня еще горяча чрезвычайно. Ты у нас флегма, а во мне бес сидит. Впрочем, хватит об этом. Начинаем новую жизнь. Со мной не раз уже бывало такое: нет-нет, а на войну потянет. Хоругвь у нас — лучше желать не надо, а под Замостьем еще разбойничают мятежные шайки: даст бог, в пути не будет скучно. И Скшетуского наконец увидим, и великана нашего, журавля литовского, жердь долговязую Лонгина — с этим, почитай, сто лет не видались.

— Никак, ты, сударь, соскучился, а ведь житья ему не дашь, когда доведется встретиться.

— Да с ним говорить мученье сущее: мычит, а не телится, слова не вытянешь толком. Весь ум из башки в кулаки ушел. Не дай бог обнимет — без ребер останешься, зато самого любой младенец шутя обведет вокруг пальца. Слыханное ли дело, чтобы человек с таким состояньем такой был hebes? ¹

— Неужто он и вправду столь богат?

— Он-то? Да у него, когда мы познакомились, пояс был так набит, что и не опоянешься: он его точно копченую колбасу таскал. Точно палку — бери да размахивай, не погнется. Сам мне рассказывал, сколько у него деревень: Мышикишки, Пёсикишки, Пигвишки, Сырутяны, Чапутяны, Капустяны (недаром у хозяина-то башка капустная!), Балтупы — всех языческих названий и не упомнишь! Полповета его. Знатнее во всей Литве не сыскать рода.

— Эх, это ты чересчур хватил!

¹ тупой (лат.).

— Нисколько даже. Я лишь то повторяю, что от него слышал, а он в жизни своей не сказал слова неправды — чтобы со-
врать, тоже ум нужен.

— Ну, быть нашей Анусе знатной барыней! А вот касательно ума его я с тобой никак не могу согласиться. Человек он степенный и весьма рассудительный: при случае никто лучше не даст совета, а не шибко красноречив — что поделать. Не всякого господь награждал таким острым языком, как вашу милость. Да чего говорить! Светлая он душа и доблестный рыцарь, а лучшее тому доказательство, что ты сам его любишь и радуешься, что свидитесь вскоре.

— Наказанье божье, вот кто он! — пробурчал Заглоба. — А радуюсь я в предвкушении, как Анусей его допекать стану.

— Вот этого я тебе не советую делать — опасно. Сколь он ни кроток, а тут легко может из себя выйти.

— И хорошо бы! Вот когда я ему, как Дунчевскому, обрублю уши.

— Ой, не надо. Врагу не пожелаю с ним связываться.

— Ладно, только б его увидеть!

Последнее пожелание Заглобы исполнилось скорее, нежели он мог думать. Доехав до Конской Воли, Володыёвский решил устроить привал, поскольку лошади совсем притомились. Велико же было изумление друзей, когда, войдя на постоялом дворе в темные сени, они в первом же встречном шляхтиче узнали Лонгинуса Подбиятку.

— Сколько лет, сколько зим! Как живешь-можешь! — вскричал Заглоба. — Неужто из Замостья целехонек унес ноги?

Подбиятка бросился обнимать и целовать обоих.

— Вот так встреча! — радостно повторял он.

— Куда путь держишь? — спросил Володыёвский.

— В Варшаву, к его светлости князю.

— Князя в Варшаве нет. Он поехал с королем в Краков, будет на коронации перед ним державу нести.

— А меня пан Вейгер в Варшаву с письмом послал: велено узнать, куда княжым полкам идти, — в Замостье в них, слава всевышнему, нужды больше нету.

— Тем паче незачем тебе ехать: мы как раз возем надлежащие распоряженья.

Пан Лонгинус помрачнел. Он всей душой стремился ко двору князя, надеясь повидать его придворных и в особенности некую маленькую особу.

Заглоба многозначительно подмигнул Володыёвскому.

— Ой нет, поеду я в Краков, — молвил литвин, немного поразмыслив. — Раз приказано отдать письмо, я его отдам.

— Пошли в дом, велим согреть себе пива, — сказал Заглоба.

— А вы куда едете? — спросил по дороге пан Лонгинус.

— В Замостье, к Скшетускому.

— Нету его в Замостье.

— Вот те на! А где он?

— Где-то под Хорошином, разбойные громит ватаги. Хмельницкий отступил, но полковники его все на пути огню предают, грабят и убивают. Староста валецкий Якуба Реговского послал, чтобы он их поутишил.

— И Скшетуский с ним?

— В тех же краях, да они поврозь держатся, потому что великое затеяли соревнованье, о чем я вашим милостям потом расскажу.

Между тем они вошли в комнату. Заглоба велел подогреть три гарнца пива и, приблизясь к столу, за который уже уселись Володыёвский с паном Лонгином, молвил:

— А ведь тебе, любезнейший пан Подбиятка, неведома главная счастливая новость: мы с паном Михалом Богуна на смерть зарубили.

Литвин так и подскочил на месте.

— Братцы вы мои родненькие, неужто возможно такое?

— Чтоб нам не сойти с этого места.

— И вы вдвоем его зарубили?

— Так точно.

— Вот это новость! Ах ты, господи! — воскликнул литвин, всплеснув руками. — Вдвоем, говоришь? Как же это — вдвоем?

— А вот так: сначала я его разными хитростями нас вызвать заставил, — смекаешь? — а потом пан Михал первый вышел на поле и разделал его под орех, в куски — как пасхального поросенка, как жареного каплуна — изрезал. Понятно теперь, любезный?

— Так тебе, сударь, не пришлось с ним схватиться?

— Нет, вы только на него поглядите! — воскликнул Заглоба. — Пиявки ты, что ль, себе приказывал ставить и от потери крови ума лишился? Что ж я, по-твоему, с покойником должен был драться или лежачего добивать?

— Ты же сам сказал, сударь, что вы вдвоем его зарубили. Заглоба пожал плечами.

— Нет, с этим человеком никакого терпенья не хватит! Ну, скажи, пан Михал, разве Богун не обоих нас вызвал?

— Обоих, — подтвердил Володыёвский.

— Теперь, сударь, понял?

— Будь по-твоему, — ответил Лонгинус. — А пан Скшетуский искал Богуна под Замостьем, но его там уже не было.

— Скшетуский его искал?

— Придется, видно, вам, любезные судари, все рассказать аб ово, — молвил пан Лонгинус. — Когда вы уехали в Варшаву, мы, как знаете, остались в Замостье. Казаки не заставили себя долго ждать. Несметная рать пришла из-под Львова, со стены всех не можно было окинуть глазом. Но князь наш так укрепил Замостье, что они и два года бы под ним простояли. Мы думали, они штурмовать не решатся, и весьма по сему поводу горевали —

каждый в душе предвкушал радость победы. Я же, поскольку с казаками и татарами были, возымел надежду, что господь милосердный теперь мне в моих трех головах не откажет...

— Ты б одну толковую у него попросил лучше, — перебил его Заглоба.

— Ваша милость опять за свое!.. Слушать гадко, — сказал литвин. — Мы думали, они штурмовать не станут, а они, как одержимые, тотчас взялись строить осадные машины и на приступ! Потом уже известно стало, что Хмельницкий тому противился, но Чарнота, обозный их, накинулся на него, начал кричать, что тот сдрусил, с ляхами замыслил брататься, ну Хмельницкий и дал согласие и первым послал в бой Чарноту. Что творилось, братушки, передать невозможно. Свет померк за огнем и дымом. Начали они смело, засыпали ров, полезли на стены, но мы им такого задала жару, что они от стен врасыпную и машины свои побросали. Тогда мы в четыре хоругви поскакали вдогонку и половину перерезали как баранов.

— Эх! Жаль, меня не было на той гулянке! — воскликнул Володыёвский, потирая руки.

— И я бы там пригодился, — уверенно произнес Заглоба.

— А больше всех, — продолжал литвин, — отличились Скшетуский и Якуб Реговский: оба достойные кавалеры, но весьма взаимно перасположенные. А уж пан Реговский и вовсе волком глядел на Скшетуского и непременно нашел бы предлог его вызвать, не запрети пан Вейгер поединков под страхом смерти. Мы сперва не понимали, в чем тут причина, пока не узнали случайно, что пан Реговский в родстве с паном Лашем, которого князь из-за Скшетуского, как помните, из лагеря выгнал. С тех пор Реговский затаил злобу на князя, да и на нас на всех, а поручика особенно невзлюбил, вот и началось меж них состязанье, и оба во время осады великую снискали славу, потому что один другого всячески превзойти старался. Оба были первыми и в вылазках, и на стенах, покуда Хмельницкому не надоело штурмовать крепость и не начал он регулярной осады, то и дело на хитрости пускаясь, чтобы с их помощью захватить город.

— Он больше всего рассчитывает на свое хитроумие! — заметил Заглоба.

— Безумец он и вдобавок *obscurus*¹, — продолжал свой рассказ Подбиятка, — думал, пан Вейгер — немец, видно, не слышал о воеводах поморских этой же фамилии, вот и написал письмо в надежде старосту, как чужеземца и наемника, склонить к измене. Ну, пан Вейгер ему и отписал, что да как; не того, объяснил, искушаешь. И письмо это, чтобы цену свою показать, пожелал непременно с кем-нибудь посolidней, нежели трубач, отправить, но охотников среди товарищества не сыскалось — кто по доброй воле на верную гибель к дикому зверю ползет в

¹ темный (лат.).

часть? Иные ниже своего достоинства идти посчитали, а я вызвался. И тут-то послушайте, сейчас самое интересное начнется...

— Слушаем со вниманием,— промолвили оба друга.

— Приехал я туда, а гетман пьяный. Принял меня язвительно, а когда письмо прочитал, и вовсе булавой стал грозиться — я же, вверив смиренно господу душу, так себе думаю: пусть только тронет, я ему голову кулаком размозжу. Что еще было делать, милые братушки, скажите?

— Весьма достойная мысль, сударь,— ответил, умялся, Заглоба.

— Полковники, правда, унять его пытались и ко мне близко не подпускали,— продолжал пан Лонгинус,— а более всех один молодой старался. смелый: обхватит его и от меня оттаскивает да приговаривает: «Не лезь, батьку, ты пьяный». Глянул я: кто ж это меня защищает, что за смельчак такой, с самим Хмельницким запанибрата? А это Богун.

— Богун? — воскликнули разом Заглоба и Володыёвский.

— Он самый. Я его узнал, потому как в Разлогах однажды видел,— и он меня гоже. Слышу, шепчет Хмельницкому: «Это мой знакомый». А Хмельницкий — у пьянчуг, известно, суд скорый — и отвечает: «Если он твой знакомый, сынок, отсчитай ему пятьдесят талеров, а я ответ дам». И дал ответ, а касательно талеров я, чтобы не дразнить зверя, сказал, пусть для своих гайдюков прибережет, не к лицу офицеру принимать подачки. Проводили меня из шатра весьма учтиво, но не успел я выйти, Богун подходит. «Мы, говорит, встречались в Разлогах». — «Верно, говорю, только не думал я тогда, братец, в этом лагере тебя увидеть». А он на это: «Не по своей воле я здесь, беда пригнала!» Слово за слово, и я припомнил, как мы его под Ярмолинцами разбили. «Не знал я тогда, с кем дело имею,— отвечает он мне,— да и в руку был ранен, и люди мои переполошились насмерть: думали, на них напал сам князь Ярема». — «И мы не знали, говорю, знай пан Скшетуский, что это ты, один бы из вас уже не жил на свете».

— Воистину так бы оно и было. Ну, а он что ответил? — спросил Володыёвский.

— Смешался премного и перевел разговор на другое. Стал рассказывать, как Кривонос отправил его с письмами подо Львов к Хмельницкому, чтобы он там передохнул, но гетман не захотел его отпускать, задумав, как особу представительную, посланником своим сделать. А под конец полюбостовал: «Где пан Скшетуский?» Когда же услышал, что в Замостье, сказал: «Может, и повстречаемся». На том мы с ним и простились.

— Догадываюсь, что потом Хмельницкий сразу же его послал в Варшаву,— сказал Заглоба.

— Истинно так, однако погоди, сударь. Вернулся я тогда в крепость и доложил пану Вейгеру о своем посольстве. Время было уже позднее, а наутро новый штурм, еще страшней первого.

Не получилось у меня увидаться с паном Скшетуским, лишь на третий день я ему рассказал, как Богуна встретил и о чем мы с ним говорили. А было при этом еще множество других офицеров и среди них пан Реговский. Послушал он меня и говорит Скшетускому с подковыркой: «Знаю, вы с ним девушки не поделили; ежели слава твоя и впрямь молвой не раздута, вызови Богуна на поединок, забияка этот тебе не откажет, уж будь уверен. А нам со стен великолепный представится prospectus¹. Только ведь вы, вишневичане, говорит, больше шумом богаты». Скшетуский на него как глянет — чуть взором не уложил на месте! «Вызвать советуешь? — спрашивает. — Что ж, прекрасно! Ты нас хулить изволишь, а у самого-то достанет отваги отправиться в лагерь к черни и от моего имени Богуна вызвать?» А Реговский ему: «Отваги мне не занимать стать, да только я вашей милости ни сват ни брат и идти не намерен». Тут прочие его подняли на смех. «Ишь, говорят, храбрец, хорохорился, куда дело не дошло до собственной шкуры!» Реговский в амбицию: пойду, мол, и пойду, безо всяких. На следующий день и отправился, только Богуна уже отыскать не смог. Мы ему тогда не поверили, но теперь, после ваших слов, вижу, что не соврал он. Хмельницкий, стало быть, и вправду услал Богуна с письмом, а тут вы его и перехватили.

— Так оно и быто, — подтвердил Володыёвский.

— Скажи-ка, сударь, — спросил Заглоба, — а где теперь может быть Скшетуский? Надо нам его отыскать, чтоб тотчас за княжнюю ехать!

— Под Замостьем вы все узнаете без труда, там его имя уже прогремело. Они с Реговским Калину, казацкого полковника, гоня от одного к другому, наголову разбили. Потом Скшетуский в одиночку дважды татарские чамбулы погромил, Бурляя смял и еще несколько банд рассеял.

— Как же Хмельницкий допускает такое?

— Хмельницкий от них отступился, говорит, они бесчинствуют вопреки его приказам. Иначе б никто не поверил в его верность королю и смиренье.

— Ох, и дрянь же пиво в этой Конской Воле! — заметил Заглоба.

— За Люблином поедете по разоренному краю, — продолжал пан Лонгинус, — там и казацкие разъезды побывали, и татары всех поголовно брали в неволю, а скольких полонили под Замостьем и Грубешовом, одному богу известно. Скшетуский уже не одну тысячу отбитых пленников отослал в крепость. Трудится в поте лица своего, не щадя ни сил, ни здоровья.

Тут пан Лонгинус вздохнул и задумчиво голову понурил, а помолчав, продолжал дальше:

— Думается мне, господь в высочайшем своем милосердии

¹ вид (лат.).

всене непременно пошлет Скшетускому утешенье и дарует то, в чем он свое счастье видит, ибо велики заслуги этого кавалера. В нынешние времена безнравственности и своекорыстия, когда всяк о себе только заботится, он про себя забыл и думать. Ведь давно мог получить согласие князя и на поиски княжны отправиться, так нет же, нет, братушки. Когда настала для отечества лихая година, ни на минуту не захотел оставить службы и, страдая в душе, непрестанно в трудах пребывает.

— Что и говорить, душа у него римлянина, — изрек Заглоба.

— Вот с кого пример брать должно.

— Особенно вашей милости, пан Подбиятка. Чем три головы искать, лучше бы искал способ помочь отчизне.

— Господь видит, что в моем сердце творится! — молвил пан Лонгинус, возводя очи к небу.

— Скшетуского уже господь вознаградил Богуновой смертью и тем, что минуту покоя даровал Речи Посполитой, — сказал Заглоба, — самое время теперь нашему другу взяться за розыски своей потери.

— Вы с ним поедете? — спросил Подбиятка.

— А ты нет разве?

— Я бы рад всей душою, но что с письмами будет? Одно я от старосты валецкого его величеству королю везу, второе князю, а третье князю же от Скшетуского с просьбой дать ему отпуск.

— Позволение на отпуск у нас с собою.

— Ну, а другие-то письма я отвезти обязан..

— Придется тебе, сударь любезный, ехать в Краков, иначе никак не можно. По правде сказать, такие кулаки, как твои, в экспедиции за княжной весьма быгодились, но больше никакого от тебя проку не будет. Там постоянно ловчить придется и, скорее всего, за мужиков себя выдавать, нарядившись в казацкие свитки, а ты со своим ростом только зря глаза будешь мозолить, всяк тотчас спросит: а это что за верзила? Откуда таковой казак взялся? Да и говорить-то ты по-ихнему не умеешь толком. Нет, нет! Езжай себе в Краков, а мы уж как-нибудь справимся сами.

— И я так думаю, — сказал Володыёвский.

— Видно, так оно лучше всего будет, — ответил Подбиятка.

— Благослови вас господь, да не оставит он вас в своем милосердьи! А известно вам, любезные судари, где спрятана княжна Елена?

— Богуи не захотел сказать. Нам известно не больше того, что я подслушал в хлеву, куда он меня упрятал, но и это немало.

— Как же вы ее отыщете?

— Это уж предоставь мне! — сказал Заглоба. — Из горшков выпутывался переделок. Пока же у нас забота одна — побыстрей разыскать Скшетуского.

— Поспрашивайте в Замостье. Вейгер должен знать: они связь поддерживают, и пленников Скшетуский ему отсылает. Помогай вам бог!

— И тебе тоже, — сказал Заглоба. — Будешь у князя в Кракове, поклонись от нас пану Харлампу.

— Это кто такой?

— Литвин один красоты невиданной, по которому все княгинины придворные девицы сохнут.

Пан Лонгинус вздрогнул.

— Ты шутишь, правда, сударь?

— Будь здоров, ваша милость! До чего все-таки дрянное в этой Конской Воле пиво, — подмигивая Володыёвскому, закончил Заглоба.

ГЛАВА XV

Итак, пан Лонгинус поехал в Краков с сердцем, пронзенным стрелою, а жестокий Заглоба с Володыёвским — в Замостье, где доле одного дня друзья не задержались, поскольку комендант, староста валецкий, сообщил им, что давно уже не имел от Скшетуского известий; по его предположению, поручик повел приданные ему полки к Збаражу, чтобы очистить край от лютовавших там банд. Это казалось тем более вероятным, что на Збараж, бывший собственностью Вишневецких, в первую очередь должны были посягнуть заклятые враги князя. Потому путь Володыёвскому и Заглобе предстоял долгий и многотрудный, но, так или иначе, в поисках княжны пройти его надлежало, а раньше или позже — значения не имело, так что они отправились в дорогу без промедленья. Останавливались лишь, чтобы передохнуть или разбить разбойную ватагу из тех, которые там и сям еще бродили.

Край, по которому они проезжали, так был разорен, что зачастую по целым дням им живой души не встречалось. Местечки лежали в развалинах, сожженные села опустели — жителей перебили или увели в неволю. Только трупы попадались по дороге, остовы домов, церквей, костелов, полусгоревшие хаты да собаки, воюющие на пепелищах. Кто не погиб от руки татар или казаков, прятался в лесных чащобах и, не смея высунуть носу, умирал от холода и голода, не веря, что беда миновала. Лошадей Володыёвскому приходилось кормить древесной корою либо обуглившимся зерном, вырытым из-под спаленных амбаров. Однако вперед подвигались быстро, обходясь в основном припасами, которые отбирали у мятежных шаек. Был уже конец ноября, но, если минувшая зима, всем на удивление, вопреки заведенному в природе порядку, не принесла ни морозов, ни льда, ни снега, нынешняя обещала быть холоднее прошлых. Земля промерзла, поля уже покрылись снегом, и вода у берегов рек по утрам затягивалась ледяной коркою, прозрачной и хрупкой. Погода держалась сухая,

бледные солнечные лучи лишь в полуденные часы слабо согревали мир, зато утрами и вечерами на небе полыхали багряные зоры — верный знак зимы скорой и суровой.

Вслед за войною и голодом надвигался третий враг горемычного народа — холода, но люди ждали их с нетерпением: мороз был куда более серьезной помехой для военных действий, нежели любое перемирие. Володыёвский, человек опытный и Украину знающий как свои пять пальцев, пребывал в уверенности, что теперь поски княжны непременно увенчаются успехом, ибо главное препятствие — война — не скоро возникнет снова.

— Не верю я в чистосердечность Хмельницкого, — говорил он Заглобе. — Чтобы этот хитрый лис из любви к королю отступил на Украину? Нет, не верю. Он знает, что казаки его немногочисленны, ежели нет возможности окопаться: будь их хоть вдесятеро больше, в чистом поле им против наших хоругвей не устоять. Сейчас они по зимовникам разойдутся, а стада свои в снега погонят. И татарам ясирей домой отвести надо. Выдастся морозная зима, до новой травы будем жить в покое.

— А то и дольше: они все же короля почитают. Но вам так много времени и не понадобится. Даст бог, на масленицу сыграем свадьбу.

— Как бы нам с женихом не разминуться, а то опять выйдет проволочка.

— При нем три хоругви, это тебе не иголку в стогу искать. Может, еще под Збаражем нагоним, если он с гайдамаками не управится скоро.

— Нагнать не нагоним, но по дороге должны что-нибудь услышать, — ответил Володыёвский.

Однако не тут-то было. Крестьяне видели там и сям вооруженные отряды, слышали об их стычках с разбойниками, но не могли сказать, чьи это были солдаты: с тем же успехом, что и Скшетуского, это могли быть и хоругви Реговского, так что друзья по-прежнему оставались в неведении. Зато до них докатилась иная весть: казаки терпели от литовских войск неудачу за неудачей. Первые слухи об этом просочились в Варшаву перед самым отъездом Володыёвского, но тогда еще казались сомнительными, теперь же, обросши подробностями, разнеслись по всей стране, представляясь чистейшей правдой. За поражения коронных войск казакам Хмельницкого с лихвой отплатило литовское войско. Сложил голову Полумесяц — старый бивалый атаман, и лютый Небаба, и Кречовский, их обоих стоивший, тот самый Кречовский, который ни чинов не заслужил, ни отличий, ни старостою не стал, ни воеводой, а как бунтовщик на колу свои дни окончил. Казалось, сама Немезида пожелала отомстить ему за немецкую кровь, пролитую в Заднепровье, кровь Вернера и Флика, потому что попался он в руки не кому иному, как немцам из Радзивиллова войска и, тяжело раненный, изрешеченный пулями, был без промедленья посажен на кол, на котором, несчастный, корчился

еще целый день, покада черная его душа не отлетела. Таков был конец человека, который по храбрости своей и военным талантам мог бы стать вторым Стефаном Хмелецким, если бы, движимый неутолимой жаждой богатств и отличий, не пошел по пути измен, вероломства и страшных, кровавых бесчинств, достойных самого Кривоноса.

С ним, с Полумесяцем и Небабой еще тысяч двадцать молодцев полегли на бранном поле или утонули в болотистой пойме Припяти, и страх промчался ураганом над мятежной Украиной: во все сердца закралось предчувствие, что после триумфальных успехов, после побед под Желтыми Водами, Корсунем, Пилявцами пришло время поражений, подобных разгромам под Солоницей и Кумейками, положившим конец предыдущим бунтам. Сам Хмельницкий, хоть и находился в зените славы и был сильнее, чем когда-либо прежде, испугался, узнав о смерти Кречовского, своего «друга», и снова бросился выспрашивать о будущем вестуний. Разное обещали гетману ворожеи — и новые большие войны, и поражения, и победы — но ни одна не могла сказать, что его самого ожидает.

Между тем разгром Кречовского, да и близившаяся зима предвещали длительное затишье. Страна зализывала раны, опустелые веси заселялись, и помалу ободрялись сердца, до того снедаемые сомненьями и страхом.

Друзья наши, тоже приободрившиеся, после долгого и трудного путешествия благополучно прибыли в Збараж и, доложившись в замке, без промедления отправились к коменданту, которым, к немалому их изумлению, оказался Вершулл.

— А где Скшетуский? — едва поздоровавшись, спросил Заглоба.

— Нету его, — отвечал Вершулл.

— Ваша милость, стало быть, комендантом крепости назначен?

— Так точно. Взамед Скшетуского: он уехал, а мне вверил гарнизон до своего возвращения.

— А когда обещал вернуться?

— Ничего не сказал, сам не знал, видно, только попросил перед отъездом: «Если ко мне кто придет, скажи, чтобы здесь дождался».

Заглоба с Володыёвским переглянулись.

— Давно он уехал? — спросил маленький рыцарь.

— Десять дней как.

— Пан Михал, — сказал Заглоба, — хорошо бы, пан Вершулл ужином нас угостил — какой разговор на голодный желудок! За трапезой все и обсудим.

— Рад служить, любезные судари, я и сам как раз за стол собрался. Кстати сказать, командование переходит к пану Володыёвскому, как старшему по званию, так что я у него в гостях, а не он у меня.

— Оставайся начальствовать, пан Кшиштоф, — ответил Володыёвский, — ты годами старше, да и мне, верно, уехать придется.

Вскоре был подан ужин. Сели, поели. Заглоба, заморив червячка двумя мисками похлебки, обратился к Вершулле с вопросом:

— А не имеется ли у тебя, сударь, предположений, куда мог Скшетуский поехать?

Вершулл отослал челядинцев, прислуживавших за столом, и после некоторого размышления ответил:

— Предположения есть, но Скшетускому очень важно, чтобы тайна была сохранена, оттого я при людях и не стал ничего говорить. Нам тут, похоже, до весны без дела стоять, вот он и воспользовался благоприятным моментом и, как мне кажется, поехал на поиски княжны, которая у Богуна в неволе.

— Богуна уже нет на свете, — сказал Заглоба.

— Как так?

Заглоба в третий или четвертый раз поведал, как все случилось, — рассказ этот он повторял с неизменным удовольствием, — Вершулл же, подобно пану Лонгинусу, слушал и не мог надивиться, а потом заметил:

— Теперь все ж Скшетускому полегче будет.

— Оно так, да ведь ее еще отыскать нужно. Людей-то хоть он взял с собою?

— Никого не взял, с тремя лошадьми да с казачком-русином только поехал.

— И правильно сделал, там без хитростей не обойдешься. До Каменца еще так-сяк можно бы дойти с хоругвью, но в Ушице и Могилеве уж точно стоят казаки — там зимовники хорошие, а в Ямполье главное казацкое гнездовье — туда либо с целой дивизией идти, либо одному.

— А почему ваша милость полагает, что он именно в те края направился? — спросил Вершулл.

— Потому, что она за Ямполем укрыта и ему об этом известно, но там сплошь овраги, буераки да непролазные заросли — даже если знать место, не вдруг отыщешь, а не зная и подавно! Я в Ягорлыке бывал, за лошадьми и судиться ездил. Вместе у нас дело бы, верно, пошло лучше, а как он там в одиночку — ох, не знаю, сомненье меня берет; разве что случай какой-нибудь дорогу подскажет, расспрашивать ведь, и то нельзя.

— Так вы хотели с ним вместе ехать?

— Хотели. Что теперь делать будем, а, пан Михал? Поедем следом или не поедем?

— Предоставляю решать вашей милости.

— Хм! Десять дней, как уехал, — не догнать нам его, а главное, он велел здесь себя дожидаться. И бог весть, какой еще путь выбрал. Мог на Проскуров и Бар по старому тракту поехать, а мог и на Каменец-Подольский — не угадаешь.

— Не забудь, сударь,— сказал Вершулл,— это только мое предположение, что он за княжной поехал, а уверенности в том нет.

— Вот именно! — сказал Заглоба. — А вдруг он всего-навсего за языком отправился и вскоре вернется в Збараж, памятуя, что мы вместе идти собирались: сейчас бы ему нас ждать самое время. Ох, беда, не знаешь, что и придумать.

— Я б вам посоветовал подождать еще дней десять,— сказал Вершулл.

— Десять дней — ни то ни се: либо ждать, либо не ждать вовсе.

— Я думаю: не ждать; что мы теряем, если завтра же возьмем да поедем? Не найдет Скшетуский княжны, авось нам господь поможет,— сказал Володыёвский.

— Видишь ли, пан Михал, тут все до тонкостей предусмотреть нужно,— ответил Заглоба. — Ты по молодости лет приключенный алчешь, а здесь есть еще опасность: как бы в тамошних жителях подозренье не пробудилось, отчего и Скшетуский, и мы вдруг в те края сунулись. Казаки народ хитрый и боятся, как бы ихние замыслы не открылись. Может, они на границе возле Хотина с местным пашой либо в Западнестровье с татарами переговоры насчет грядущей войны ведут — кто их знает! А уж за чужаками в оба глаза будут следить, в особенности ежели распрашивать о дороге. Я их знаю. Выдать себя легко, а что дальше?

— Тогда тем скорее Скшетуский может в какую-нибудь передрыгу попасть, тут наша помощь и потребуется.

— И это верно.

Заглоба так крепко задумался, что у него даже жилы на висках вздулись.

Наконец он очнулся и промолвил:

— Я все взвесил: надобно ехать.

Володыёвский вздохнул облегченно.

— А когда?

— Отдохнем денька три, окреним душой и телом и поедем.

На следующий же день друзья принялись готовиться в дорогу, как вдруг накануне отъезда неожиданно объявился слуга Скшетуского, молоденький казачок Цыга, с вестями и письмами к Вершулле. Услыхав об этом, Заглоба с Володыёвским поспешили к коменданту на квартиру и там прочли нижеследующее:

«Я нахожусь в Каменце, докуда сатановский тракт свободен. Еду в Ягорлык с кушцами-армянами, с которыми свел меня пан Буковский. У них есть охранные грамоты от татар и казаков на свободный проезд до самого Аккермана. Поедем за шелками через Ущицу, Могилев и Ямполь. Останавливаться будем везде, где только живые есть люди. Даст бог, найдем то, что ищем. Товарищам моим, пану Володыёвскому и пану Заглобе, скажи, чтобы в Збараже меня дожидались, ежели им других

дел не найдется, ибо туда, куда я собрался, скопом никак нельзя ехать: казаки, что зимуют в Ямполье и на берегах Днестра, вплоть до Ягорлыка, лошадей в снегах держат, всякого заподозрить готовы. Чего я сам не сделаю, того бы мы и втроем не свершили, да и за армянина я сойду скорее. От души поблагодари их, пан Кшиштоф, за готовность помочь мне, чего я до гробовой доски не забуду, но ждать долее неумоту было — каждый день новые приносил мученья, — да и придут ли они, я не мог знать наверно, а сейчас наилучшая пора ехать: все купцы отправляются за сладостями и шелками. Верного казака своего отсылаю обратно, твоим поручая заботам, мне он ни к чему, только и опасаясь, как бы по неопытности не сболтнул лишнего. Пан Буковский за порядочность этих купцов ручается, да и мне они опасения не внушают. Верю: все во власти господя, пожелает он — явит нам свою милость и мучения сократит, аминь».

Заглоба, закончив чтение письма, поднял глаза на своих товарищей, но те молчали. Наконец Вершулл сказал:

— Я знал, что он в те края поехал.

— А нам что теперь делать? — спросил Володыёвский.

— Ничего! — ответил, разводя руками, Заглоба. — Нет нам резону ехать. Что он к купцам пристал, это хорошо: заглядывай куда хочешь, никто удивляться не станет. Нынче в каждой хате, на каждом хуторе найдется, что купить; мятежники ведь разграбили половину Речи Посполитой. А нам с тобой, пан Михал, тяжелеенько было бы в Ямполь добираться. Скшетуский черняв, как валах, ему легко за армянина сойти, а тебя твои пшеничные усыки тотчас бы выдали. И в мужицком платье было б не проще... Благослови его, господь! А нам с тобой там, должен признаться, нечего делать — хоть и обидно, что нельзя руки приложить к освобождению нашей бедняжки. Зато, зарубив Богуна, мы Скшетускому оказали большую услугу: будь жив атаман, я бы за голову пана Яна не поручился.

Володыёвский недовольно нахмурился. Он предвкушал уже путешествие, полное приключений, а вместо этого впереди замаячило долгое и тоскливое пребыванье в Збараже.

— Может, нам хоть в Каменец перебраться? — сказал он.

— А что там делать и на что жить будем? — отвечал Заглоба. — Не все ли равно, где штаны просаживать. Нет, надобно ждать, запасаясь терпеньем: такое путешествие может затянуться надолго. Человек молод, пока ноги переставляет, — тут Заглоба уныло повесил голову, — а в безделье стареет, однако иного выхода я не вижу... Даст бог, друг наш без нас обойдется. Завтра закажем молебен, попросим, чтоб ему всевышний послал удачу. Главное, что мы с его пути Богуна убрали. Будем ждать — вели расседлывать лошадей, пан Михал.

И настали для двух приятелей долгие, похожие один на другой дни ожиданья, которые ни попойками, ни игрою в кости

не удавалось скрасить, и тянулись бесконечно. Тем временем наступила суровая зима. Снег толщиной в локоть, точно саван, покрыл крепостные стены и все окрестности Збаража, зверье и птицы перебрались поближе к человеческому жилью. С утра до вечера не смолкало карканье бесчисленных вороньих стай. Прошел декабрь, за ним январь и февраль — о Скшетуском не было ни слуху ни духу.

Володыёвский ездил искать приключений в Тарнополь, Заглоба помрачнел и говорил, что стареет.

ГЛАВА XVI

Комиссары, высланные Речью Посполитой на переговоры с Хмельницким, с величайшими затруднениями добрались наконец до Новоселок, где и остановились, ожидая ответа от гетмана-победителя, находившегося в ту пору в Чигирине. Они пребывали в унынии и печали, так как всю дорогу были на волосок от смерти, а трудности на каждом шагу умножались. И днем, и ночью их окружали толпы вконец одичалой от войны и резни черни, кричавшей: «Смерть комиссарам!» То и дело на пути встречались безначальные ватаги разбойников и диких чабанов, слыхом не слыхавших о правах и законах, зато жаждущих добычи и крови. Комиссаров, правда, сопровождала сотня конвоя под командой Брышовского, кроме того, сам Хмельницкий, предвидя, каково им может прийти, прислал своего полковника Донца с четырьмя сотнями казаков. Однако и такое охранение весьма было ненадежно: дикие толпы час от часу множились и зверели. Стоило кому-нибудь из конвойных или челяди на минуту отделиться от остальных, и человек тот пропадал бесследно. Послы были точно жалкая кучка путников, окруженная стаями голодных волков. Так проходили дни и недели, а на ночлеге в Новоселках всем и вовсе стало казаться, что пробил последний час. Драгунский конвой и отряд Донца с вечера в самом настоящем бою отстаивали жизнь комиссаров, а те, шепча отходную молитву, препоручали свои души богу. Кармелит Лентовский всем поочередно отпускал прегрешенья, а ветер стучал в окна, из-за которых доносились жуткие вопли, отзвуки выстрелов, сатанинский хохот, звяканье кос, возгласы: «На погибель!» и требования выдать воеводу Киселя, который был особенно ненавистен черни.

Страшная то была ночь и долгая, как всякая ночь зимою. Воевода Кисель, подперев голову рукой, несколько часов уже сидел неподвижно. Не смерти боялся он, ибо со времени отъезда из Гуци настолько устал и обессилел, так был бессонницею истерзан, что смерть встретил бы с распростертыми объятьями, — нет, душу его снедало беспредельное отчаянье. Ведь не кто иной, как он, чистокровный русин, первый вызвался на роль

миротворца в этой беспримерной войне. Он выступал везде и всюду, в сенате и на сейме, как самый ярый сторонник трактатов, он поддерживал политику канцлера и примаса и горячее других осуждал Иеремию, будучи искренне убежден, что действует во благо казачества и Речи Посполитой. Всей своей пылкой душою верил он, что переговоры, уступки всех умиротворят, исцелят, успокоят, — и именно сейчас, в эту долгожданную минуту, везя Хмельницкому булаву, а казачеству согласие на уступки, усомнился во всем: увидел явственно тщетность своих усилий, узрел под ногами зияющую пустотой бездну.

«Неужто им ничего, кроме крови, не надо? Неужто не нужны никакие свободы, кроме свободы жечь и грабить?» — думал в отчаянии воевода, сдерживая разрывавшие его благородную грудь стоны.

— Голову Киселеву! Голову Киселеву! На погибель! — кричала толпа.

Воевода без колебаний принес бы им в дар свою всклокоченную белоснежную голову, если б не последние крупницы веры, что и черни этой, и всему казачеству потребно нечто другое, большее — а иначе не будет ни им, ни Речи Посполитой спасенья. Да откроет им на это глаза грядущий день!

И когда он думал так, проблеск подкрепляющей дух надежды рассеивал на мгновение мрак, порожденный отчаянием, и несчастный старец принимался себя уговаривать, что чернь — это еще не все казачество и не Хмельницкий с его полковниками и, быть может, все-таки начнутся переговоры.

Но много ли от них будет проку, пока полмиллиона мужиков не сложили оружия? Не растает ли согласие с первым дуновением весны, подобно снегам, что ныне покрывают степь?..

И в который уж раз вспоминались воеводе слова Иереми: «Милость можно оказать лишь побежденным», — и мысль его снова погружалась во тьму, а под ногами разверзалась пропасть.

Меж тем перевалило за полночь. Крики и пальба несколько поутихли, зато вой ветра усилился, на дворе бушевала снежная буря, уставшие толпы, видно, начали расходиться по домам, и у комиссаров немного отлегло от сердца.

Войцех Мясковский, львовский подкоморий, поднялся со скамьи, послушал у окна, занесенного снегом, и молвил:

— Видится мне, с божьей помощью еще доживем до завтра.

— Может, и Хмельницкий пришлет подмогу — с этим охранением нам не дойти, — заметил Смяровский.

Зеленский, подचाший брацлавский, усмехнулся горько:

— Кто скажет, что мы посланцы мира!

— Случалось мне, и не раз, посольствовать у татар, — сказал новгородский хорунжий, — но такого я в жизни не видывал. В нашем лице Речь Посполитая злее унижена, нежели под Корсунем и Пилявцами. Оттого я и говорю: поехали, милостивые господа, обратно, о переговорах нечего и думать.

— Поехали,— как эхо повторил каштелян киевский Бжозовский. — Не суждено быть миру — пусть будет война.

Кисель поднял веки и упер остекленелый взгляд в каштеляна.

— Желтые Воды, Корсунь, Пилявцы! — глухо проговорил старец.

И умолк, а за ним умолкли и остальные — лишь Кульчинский, киевский скарбинчий, начал громко молиться, а ловчий Кшетовский, схватясь руками за голову, повторял:

— Что за времена! Что за времена! Смилуйся над нами, боже.

Вдруг дверь распахнулась и в горницу вошел Брышовский, капитан драгун епископа познанского, командовавший конвоем.

— Ясновельможный воевода,— доложил он,— какой-то казак хочет видеть панов комиссаров.

— Пусть войдет,— ответил Кисель. — А чернь разошлась?

— Ушли. К завтраму посулили вернуться.

— Очень буйствовали?

— Страшно как, но Донцовы казаки положили человек пятнадцать. Завтра обещаются нас спалить живыми.

— Ладно, зови этого казака.

Минуту спустя дверь отворилась и на пороге стал высокий человек, заросший черной бородою.

— Ты кто таков? — спросил Кисель.

— Ян Скшетуский, гусарский поручик князя русского воеводы.

Каштелян Бжозовский, Кульчинский и ловчий Кшетовский повскакали со скамей. Все они прошлый год были с князем под Староконстантиновом и Махновкой и прекрасно знали пана Яна; Кшетовский даже ему приходился свойственником.

— Правда! Правда! Да это же Скшетуский! — повторяли они в один голос.

— Что ты здесь делаешь? Как смог до нас добраться? — спрашивал, обнимая его, Кшетовский.

— В крестьянском платье, как видите,— отвечал Скшетуский.

— Ваша милость,— воскликнул, обращаясь к Киселю, каштелян Бжозовский,— это самый доблестный рыцарь из хоругви русского воеводы, прославленный среди всего войска.

— Рад душевно его приветствовать,— сказал Кисель,— истинне недюжинной отвагой обладать нужно, чтобы к нам пробиться.

И затем обратился к Скшетускому:

— Чего ты от нас хочешь?

— Дозволь с вами идти, ваша милость.

— Дракону в пасть лезешь... Впрочем, ежели такова твоя воля, мы противиться не вправе.

Скшетуский молча поклонился.

Кисель смотрел на него с удивлением.

Строгое лицо молодого рыцаря поразило его серьезностью и скорбным выражением.

— Скажи, сударь,— промолвил он,— какие причины толкнули тебя в это пекло, куда не сунется никто по доброй воле?

— Несчастье, ясновельможный пан воевода.

— Напрасно я спросил,— сказал Кисель. — Видно, ты потерял коге-то из близких и теперь на поиски едешь?

— Именно так.

— А давно это приключилось?

— Прошлой весною.

— Как? И ваша милость сейчас только ехать собрался! Ведь без малого год прошел! Что же ты до сих пор, любезный сударь, делал?

— Воевал под знаменами русского воеводы.

— Неужто благородный сей вождь тебя не пожелал отпустить?

— Я сам не хотел.

Кисель снова взглянул на молодого рыцаря, после чего настало молчанье, которое было прервано киевским каштеляном:

— Все мы, кто с князем служил, наслышаны о несчастьях этого рыцаря и не одну слезу пролили из сочувствия ему, а что он предпочел, покуда война шла, отечеству служить, а не о своем благе печься, достойно еще большего одобренья. Редкостный по нынешним временам пример.

— Если окажется, что мое слово для Хмельницкого хоть что-нибудь значит, поверь, сударь, я не премину его за тебя замолвить,— сказал Кисель.

Скшетуский опять поклонился.

— А теперь иди отдыхай,— ласково сказал воевода,— ты, верно, утомлен изрядно, как и все мы: у нас ведь ни минуты нет покоя.

— Я его к себе заберу, мы с ним в свойстве,— сказал ловчий Кшетовский.

— Пойдемте и мы, отдохнуть никому не помешает, кто знает, доведется ли уснуть следующей ночью! — сказал Бжозовский.

— Вечным сном, быть может,— докончил воевода.

И с этими словами удалился в боковую светелку, где в дверях его уже поджидал слуга; за ним разошлись и остальные. Ловчий Кшетовский повел Скшетуского к себе на квартиру, которая была рядом, через несколько домов только. Слуга с фонарем шел перед ними.

— До чего ж ночь темна, и метет все сильнее! — сказал ловчий. — Эх, пан Ян, что мы сегодня пережили! Я думал, Судный день наступает. Еще б немного, и чернь перерезала бы нам глотки. У Брышовского рука рубить устала. Мы уже с жизнью прощались.

— Я был среди черни,— ответил Скшетуский. — Завтра к вечеру ожидается новая ватага разбойников, их уже оповестили. До вечера непременно надо уехать. Вы отсюда прямо в Киев?

— Это зависит от ответа Хмельницкого — к нему князь Четвертинский поехал. А вот и моя квартира, милости прошу, входи, пан Ян, я велел вина подогреть, не худо перед сном подкрепиться.

Они вошли в горницу, где в очаге ярко горел огонь. Дымящееся вино уже стояло на столе. Скшетуский жадно схватил чарку.

— У меня ни крошки не было во рту со вчерашнего дня,— сказал он.

— Исхудал ты страшно. Извелся, видно, совсем от печали и ратных трудов. Рассказывай теперь про себя, мне ведь о твоих делах известно. Княжну, значит, среди врагов задумал искать?

— Либо ее, либо смерть,— ответил рыцарь.

— Смерть найти легче. А откуда ты знаешь, что княжна в тех краях? — продолжал спрашивать ловчий.

— Потому что другие я уже объездил.

— Где ж ты был?

— В пойме Днестра. С армянскими купцами дошел до Ягорлыка. Были указастья, что она там укрыта; везде побывал, а теперь еду в Киев; как будто Богун туда ее везти собирался.

Едва поручик произнес имя «Богун», ловчий схватился за голову:

— Господи! — воскликнул он. — Что ж это я о главном молчу! Богуна, говорят, убили.

Скшетуский побледнел.

— Как так? От кого ты слышал?

— От того самого шляхтича, что однажды княжну уже спас,— он еще под Старокопстантиновом отличился. Мы в пути повстречались, когда он в Замостье ехал. Только я спросил: «Что слышно?» — а он мне: «Богун убит». — «Кто ж его убил?» — спрашиваю, а он отвечает: «Я!» На том и расстались.

Вспыхнувшее было лицо Скшетуского побледнело мгновенно.

— Шляхтич этот,— сказал он,— приврать любит. Нельзя его словам верить. Нет! Нет! Да и Богуна одолеть ему не под силу.

— А ты сам его разве не видел? Помнится, он сказывал, будто к тебе в Замостье едет.

— В Замостье я его не дождался. Сейчас он, верно, в Збараже, но мне комиссаров хотелось побыстрее догнать, потому на обратном пути из Каменца я туда заезжать не стал и так его и не увидел. Одному богу известно, сколько правды в том, что он мне о ней рассказывал в свое время: будто бы, когда в плену у Богуна сидел, случайно подслушал, что тот ее за Ямполем спрятал, а потом собирался везти венчаться в Киев. Может, и это, как все прочие его рассказы, неправда.

— Зачем же тогда в Киев едешь?

Скшетуский замолчал, какое-то время слышны были только свист и завывание ветра.

— Послушай-ка... — сказал вдруг, хлопнув себя по лбу, ловчий, — ведь ежели Богун не убит, ты легко к нему в лапы попасться можешь.

— За тем и еду, чтобы его отыскать, — глухо ответил Скшетуский.

— Как это?

— Пусть божий суд нас рассудит.

— Думаешь, он драться с тобою станет? Скрутит да и велит живота лишить либо продаст татарам.

— Я ж с комиссарами еду, в их свите.

— Дай бог нам самим унести ноги, что уж там говорить о свите!

— Кому жизнь в тягость, могила в радость.

— Побойся бога, Ян!.. Да и не смерть страшна, все там будем. Они тебя могут туркам продать на галеры.

— Ужель ты думаешь, пан ловчий, мне будет хуже, чем сейчас?

— Вижу, ты совсем отчаялся, в милосердие божие утратил веру.

— Ошибаешься, пан ловчий! Я говорю, худо мне жить на свете, потому что так оно и есть, а с волей господнею я давно смирился. Не прошу, не сетую, не проклинаю, головою о стенку не бьюсь — только долг свой хочу исполнить, пока жив, пока силы хватит.

— Но боль душевная тебя точно яд травит.

— Господь затем ее и послал, чтоб травила, а когда пожелает, пошлет исцеленье.

— На этот довод мне возразить нечего, — ответил ловчий. — Единственное наше спасение во всевышнем, он один — надежда наша и всей Речи Посполитой. Король поехал в Ченстохову — может, вымолит что-нибудь у пресвятой девы, а не то все погибнем.

Воцарилась тишина, только из-за окон доносилось протяжное драгунское «wędro»¹.

— Да-да, — сказал, помолчав, ловчий. — Все мы уже скорее мертвы, чем живы. Разучились люди в Речи Посполитой смеяться, стенают только, как сейчас в трубе ветер. Прежде и я верил, что лучшие времена настанут, пока в числе послов сюда не приехал, но теперь вижу, сколь надежды мои были тщетны. Разруха, война, голод, убийства, и ничего боле... Ничего боле.

Скшетуский молчал, пламя горящих в очаге дров освещало его исхудалое суровое лицо.

¹ Кто идет? — старинное восклицание стражников; от немецкого «wędra?» — «кто там?».

Наконец он поднял голову и промолвил серьезно:

— Брэнна жизнь наша: пройдет, минует — и следа не оставит.

— Ты говоришь, как монах, — сказал ловчий.

Скшетуский не отвечал, только ветер еще жалобнее стоял в трубе.

ГЛАВА XVII

На следующее утро комиссары, и с ними Скшетуский, покинули Новоселки, но плачевно было дальнейшее их путешествие: на каждом привале, во всяком местечке их подстерегала смерть, со всех сторон сыпались оскорбления, и были они горше смерти — в лице комиссаров оскорблялись величие и могущество Речи Посполитой. Кисель совсем расхворался, и на почлегах его прямо в горницу из саней вносили. Подкоморный львовский оплакивал позор свой и своей отчины. Капитан Брышовский тоже занемог от бессонницы и неустанного напряжения — его место занял Скшетуский, который и повел дальше несчастных путников, осыпая их поношениями и угрозами бузующей толпы, в постоянных стычках отражая ее натиск.

В Белгороде комиссарам снова показалось, что пришел их последний час. Был избит больной Брышовский, убит Гняздовский — лишь появление митрополита, прибывшего для беседы с воеводой, позволило избежать неминуемой расправы. В Киев комиссаров пускать не хотели. Князь Четвертинский вернулся от Хмельницкого 11 февраля, не получив никакого ответа. Комиссары не знали, как быть, куда ехать. Обратный путь был отрезан: бесчисленные разбойные ватаги только и ждали срыва переговоров, чтобы перебить посольство. Толпа все более распоясывалась. Драгунам преграждали дорогу, хватая лошадей за поводья, сани воеводы осыпали камнями, кусками льда и мерзлыми комьями снега. В Гвоздовой Скшетуский и Донец в кровопролитном бою разогнали толпу в несколько сот человек. Хорунжий новгородский и Смяровский вновь отправились к Хмельницкому, чтобы убедить его приехать на переговоры в Киев, но воевода почти уже не надеялся, что комиссары доберутся туда живыми. Тем часом в Фастове они вынуждены были, сложив руки, смотреть, как толпа расправляется с пленными: старых и малых, мужчин и женщин топили в проруби, обливали на морозе водой, кололи вилами, живьем кромсали ножами. Такое продолжалось восемнадцать дней, пока наконец Хмельницкий не прислал ответ, что в Киев ехать он не желает, а ждет воеводу и комиссаров в Переяславе.

Злосчастные посланцы воспряли духом, полагая, что настал конец их мученьям. Переправившись через Днепр в Триполье, они остановились на ночлег в Воронкове, откуда всего шесть

милъ было до Переяслава. Навстречу им на полмили выехал Хмельницкій, как бы тем самым оказывая честь королевскому посольству. Но сколь же он переменялся с той поры, когда старался выглядеть несправедливо обиженным, «quantum citatus ab illo»¹, как писал воевода Кисель.

Хмельницкій появился в сопровождении полусотни всадников, с полковниками, есаулами и военным оркестром, словно удельный князь — со значком, с бунчуком и алым стягом. Комиссарскій поезд тотчас остановился, он же, подскакав к передним саням, в которых сидел воевода, долго глядел в лицо почтенному старцу, а потом, слегка приподняв шапку, промолвил:

— Поклон вам, панове комиссары, и тебе, воевода. Раньше бы надо начинать со мной переговоры, покуда я поплотше был и силы своей не ведал, но коли король вас до мене прислав, от души рад принять вас на своих землях.

— Привет тебе, гетман! — ответил Кисель. — Его величество король послал нас монаршье благоволение тебе засвидетельствовать и установить справедливость.

— За благоволение монаршье спасибо, а справедливость я уже самолично вот этим, — тут он хлопнул рукой по сабле, — установил, не пощадив животов ваших, и впредь так поступать стану, ежели по-моему делать не будете.

— Нелюбезно ты нас, гетман запорожскій, принимаешь, нас, посланников королевских.

— Не буду говорити на морозі, найдется еще для этого время, — резко ответил Хмельницкій. — Пусти меня, Кисель, в свои сани, я желаю честь оказать посольству — поеду вместе с вами.

С этими словами он спешился и подошел к саням. Кисель подвинулся вправо, освобождая место по левую от себя руку.

Увидев это, Хмельницкій нахмурился и крикнул:

— По правую руку меня сажай!

— Я сенатор Речи Посполитой.

— А что мне сенатор! Потоцкій вон первый сенатор и коронный гетман, а у меня в лыках сейчас вместе с пшыми: захочу, завтра же на кол посажен будет.

Краска выступила на бледных щеках Киселя.

— Я здесь осббу короля представляю!

Хмельницкій еще пуще нахмурился, но сдержал себя и сел слева, бормоча:

— Най король буде у Варшаві, а я на Руск. Мало еще, вижу, вам от меня досталось.

Кисель ничего не ответил, лишь возвел очи к небу. Он почувствовал, что его ожидает, и справедливо подумал в тот миг,

¹ «сколь же он отличается от того, каким был» (лат.). — Вергилий.

что если путь к Хмельницкому можно назвать Голгофой, то переговоры с ним — крестная мука.

Поезд двинулся в город, где палили из двух десятков пушек и звонили во все колокола. Хмельницкий, словно опасаясь, как бы комиссары не сочли это знаком особой для себя чести, сказал воеводе:

— Я не только вас, а и других послов, коих ко мне шлют, так принимаю.

Хмельницкий говорил правду: действительно, к нему, точно к удельному князю, уже посылали посольства. Возвращаясь из Замостья под впечатлением выборов, удрученный известиями о поражениях, нанесенных литовским войском, гетман куда как скромнее о себе мыслил, но, когда Киев вышел навстречу ему со знаменами и огнями, когда академия приветствовала его словами: «*Tamquam Moïsem, servatorem, salvatorem, liberatorem populi de servitute lechica et bono omine Bohdan*»¹ — богоданный, когда, наконец его назвали «*illustrissimus princeps*»², — тогда, по словам современников, «возгордился сим зверь дикий». Силу свою почувствовал и твердую почву под ногами, чего ранее ему не доставало.

Чужеземные посольства были безмолвным признанием как его могущества, так и независимости; неизменная дружба татар, оплачиваемая большей частью добычи и несчастными ясырями, которых этот народный вождь разрешил брать из числа своего народа, позволяла рассчитывать на поддержку против любых врагов; потому-то Хмельницкий, еще под Замостью признававший королевскую власть и волю, ныне, обуюанный гордынею, уверенный в своей силе, видя царящий в Речи Посполитой разброд и слабость ее предводителей, готов был поднять руку и на самого короля, теперь уже мечтая в глубине темной своей души не о казацких вольностях, не о возврате Запорожью былых привилегий, не о справедливости к себе, а об удельном государстве, о княжьей шапке и скипетре.

Он чувствовал себя хозяином Украины. Запорожское казачество стояло за него: никогда, ни под чьей властью не купалось оно в таком море крови, не имело такой богатой добычи; дикий по натуре своей народ тянулся к нему — ведь, когда мазовецкий или великопольский крестьянин безропотно гнул спину под ярмом насилия, во всей Европе доставшимся в удел «потомкам Хама», украинец вместе со степным воздухом впитывал любовь к свободе столь же беспредельной, дикой и буйной, как самые степи. Охота была ему ходить за господским плугом, когда его взгляд терялся в пустыне, господом, а не господином данной, когда из-за порогов Сечь призывала его: «Брось пана

¹ Подобный Моисею, спаситель, избавитель, освободитель народа из рабства лясского, в добрый знак названный Богданом (*лат.*).

² наиславнейший государь (*лат.*).

и иди на волю!», когда жестокий татарин учил его воевать, приучал взор его к пожарам и крови, а руку — к оружию?! Не лучше ли было разбойничать под началом Хмеля и панів ризати, нежели ломать перед подстаростой шапку?..

А еще народ шел к Хмелю потому, что кто не шел, тот падал в полон. В Стамбуле за десять стрел давали невольника, за лук, закаленный в огне, — троих, столь великое множество ясырей было. Поэтому у черни не оставалось выбора — и лишь странная с тех времен сохранилась песня, которую долго еще распевали по хатам из поколения в поколение, странная песня об этом вожде, прозванном Моисеем: «Ой, щоб того Хміля перша куля не минула!»

Исчезали с лица земли местечки, города и веси, страна обезлюдела, превратилась в руины, в сплошную рану, которую не могли заживить столетия, но оный вождь и гетман этого не видел либо не хотел видеть — он никогда ничего не замечал дальше своей особы, — и крепнул, и кормился огнем и кровью, и, снедаемый чудовищным самолюбьем, губил собственный народ, собственную страну; и вот теперь ввозил комиссаров в Переяслав под колокольный звон и гром орудий, как удельный владыка, господарь, князь.

Понурив головы, ехали в логово льва комиссары, и последние искры надежды гасли в их сердцах, а тем временем Скетуский, следовавший за вторым рядом саней, неотрывно разглядывал полковников, прибывших с Хмельницким, думая увидеть среди них Богуну. После бесплодных поисков на берегах Днестра, закончившихся за Ягорлыком, в душе пана Яна, как единственное и последнее средство, созрело намерение отыскать Богуну и вызвать его на смертный поединок. Бедный наш рыцарь понимал, конечно, что в этом пекле Богун может зарубить его без всякого боя или отдать татарам, но он лучшего был об атамане мнения: зная его мужество и безудержную отвагу, Скетуский почти не сомневался, что, поставленный перед выбором, Богун не откажется от поединка. И потому вынашивал в своей исстрадавшейся душе целый план, как свяжет атамана клятвой, чтобы в случае смерти его тот отпустил Елену. О себе Скетуский уже не заботился: предполагая, что казак в ответ ему скажет: «А коли я погибну, пусть она ни моей, ни твоей не будет», — он готов был и на это согласиться и в свой черед дать такую же клятву, лишь бы вырвать ее из вражьих рук. Пусть она до конца дней своих обретет покой в монастырских стенах... Он тоже сперва на бранном поле, а затем, если не придется погибнуть, в монастырской келье поищет успокоенья, как искали его в те времена все скорбящие души. Путь такой казался Скетускому прямым и ясным, а после того, как под Замостьем ему однажды подсказали мысль о поединке с атаманом, после того, как розыски княжны в приднестровских болотах закончились неудачей, — то и единственно возможным. С этой целью, не

останавливаясь на отдых, он поспешил с берегов Днестра вдогонку за посольством, надеясь либо в окружении Хмельницкого, либо в Киеве найти соперника, тем более что, по словам Заглоты, Богун намеревался ехать в Киев, венчаться там при трехстах свечах.

Однако тщетно теперь Скшетуский высматривал его между полковников. Зато он увидел немалое число иных, еще с прошлых, мирных, времен знакомцев: Дедачу, которого встречал в Чигирине, Яшевского, приехавшего из Сечи послом к князю, Яроша, бывшего сотника Иереми, Грушу, Наоколопальца и многих других, и решил у них разузнать, что удастся.

— Узнаешь старых знакомых? — спросил он, подъезжая к Яшевскому.

— Я тебя в Лубнах видел, ты князя Яремы лицар, — ответил полковник. — Вместе, помнится, пили-гуляли. Что князь твой?

— Здравствует, спасибо.

— Это покуда весна не настала. Они еще не встречались с Хмельницким, а встретятся — одному живым не уйти.

— Как будет угодно господу богу.

— Ну, нашего батяка господь не оставит. Не бывать больше твоему князю на татарском берегу у себя в Заднепровье. У Хмеля багато молодців, а у Яремы что? Добрый он жолнір, но и наш батяко не хуже. А ты что, больше у князя не служишь?

— Я с комиссарами еду.

— Что ж, рад старого знаконца видеть.

— Коли рад, окажи мне услугу, век буду тебе благодарен.

— Какую услугу?

— Скажи мне, где Богун, знаменитый тот атаман, что прежде в переяславском полку служил, а ныне среди вас высшее званье иметь должен?

— Замолчи! — с угрозой вскричал Яшевский. — Твое счастье, что мы давние знакомцы и пили вместе, не то б я тебя этим вот буздыганом на снег уложил немедля.

Скшетуский посмотрел на него удивленно, но, будучи сам на решения скор, стиснул в руке булаву.

— Ты в своем уме?

— Я-то в своем и пугать тебя не намерен, но такой был отдан Хмелем приказ: кто б из ваших, пусть комиссар даже, о чем ни спросил, — убивать на месте. Я не исполню приказа, другой исполнит, потому и предупреждаю — из доброго к тебе расположенья.

— Так у меня же интерес приватный.

— Все едино. Хмель нам, полковникам, наказал и другим велел передать: «Убивать всякого — хоть о дровах, хоть о навозе спросят». Так и скажи своим.

— Спасибо за добрый совет, — ответил Скшетуский.

— Это я только тебя предостерег, а любого другого ляха уложил бы без слова.

Они замолчали. Поезд уже достиг городских ворот. По обеим сторонам дороги и на улицах толпилась чернь и вооруженные казаки, которые в присутствии Хмельницкого не смели обрушить на сани проклятья и комья снега, а лишь провожали комиссаров угрюмыми взорами, сжимая кулаки или рукояти сабель.

Скшетуский, выстроив драгун по четверо, с гордо вскинутой головою спокойно ехал по широкой улице, не обращая никакого внимания на грозные взгляды толпившегося вокруг люда, и лишь думал, сколько ему потребуется самоотречения, выдержки и христианского всестерпенья, дабы свершить задуманное и не потонуть с первых же шагов в этом океане ненависти и злобы.

ГЛАВА XVIII

На следующий день комиссары долгий держали совет: сразу ли вручить Хмельницкому королевские дары или обождать, пока он не проявит больше смирения и хоть каплю раскаянья? В конце концов решили пронять его человечностью и монаршьим великодушием и оповестили о вручении даров — торжественная церемония состоялась назавтра. С утра трезвонили колокола и гремели пушки. Хмельницкий ожидал комиссаров перед своими палатами в окружении полковников, казацкой верхушки и несчетной толпы простых казаков и черни: ему хотелось, чтобы весь народ знал, какой чести его удостоил сам король. Он сидел на возвышении под значком и бунчуком, среди послов из соседних земель, в отороченной собольим мехом красной парчовой епанче, подбоченясь, поставя ноги на бархатную с золотой бахромой подушку. По толпе то и дело пробегал восхищенный, подобострастный шепот: чернь, превыше всего ценящая силу, видела в своем предводителе воплощенье этой силы. Только таким воображению простого люда мог рисоваться непобедимый народный герой, громивший гетманов, магнатов, шляхту и вообще ляхів, которые до той поры были овеяны легендой непобедимости. Хмельницкий за год войны несколько постарел, но не согнулся — в могучих его плечах по-прежнему ощущалась сила, способная крушить государства и создавать на их месте новые; широкое лицо, покрасневшее от злоупотребления крепкими напитками, выражало твердую волю, необузданную гордыню и дерзкую самоуверенность, подогреваемую успехами в ратном деле. Ярость и гнев дремали в складках его лица, и легко представлялось: вот они пробуждаются, и народ под их грозным дыханием склоняется, словно лес в бурю. Из глаз, очерченных красной обводкой, уже стреляло нетерпенье, — комиссары мешкали явиться с дарами! — а из поздрей на морозе валил клубами пар, как два дымных столба из поздрей Люцифера; так и сидел гетман в исторгнутом

собственными легкими тумане, багроволицый, сумрачный, надменный, рядом с послами, среди полковников, в окружении океана черни.

Наконец показался комиссарский поезд. Впереди добывши колотили в литавры и трубачи, раздувая щеки, трубили в трубы; жалобные протяжные звуки издавали их инструменты: казалось, это хоронят величие и славу Речи Посполитой. За музыкантами ловчий Кшетовский нес булаву на бархатной подушке, а Кульчинский, киевский скарбничий, — алое знамя с орлом и надписью; далее в одиночестве шел Кисель, высокий, худой, с достигающей груди белой бороδοю; на благородном его лице было страдание, а в душе — бесконечная боль. Прочие комиссары следовали в нескольких шагах за воеводой; замыкали шествие драгуны Брышовского во главе со Скшетуским.

Кисель шел медленно: в ту минуту ему явственно представилось, как за драными лохмотьями переговоров, за видимостью монаршей милости и прощения совсем иная, обнаженная, позорная, проглядывает правда, которую слепой узрит, глухой услышит, ибо она вопиет: «Не милость дарить идешь ты, Кисель, а милости просить смиренно; купить ее надеешься ценой булавы и знамени, пешком идешь вымалывать ее у мужицкого вождя от имени Речи Посполитой, ты, сенатор и воевода...» И разрывалась душа брусилковского магната, и чувствовал он себя презреннее червя, ничтожнее праха, а в ушах его звенели слова Иеремии: «Лучше совсем не жить, нежели жить у холопов и басурман в неволе». Что он, Кисель, в сравнении с лубненским князем, который являлся мятежникам не иначе, как в образе Юпитера, с наспуленным челом, в огне войны и пороховом дыму, овеянный запахом серы? Что? Тяжесть этих мыслей сломила дух воеводы, улыбка навсегда исчезла с его лица, радость навек покинула сердце; он стократ предпочел бы умереть, нежели сделать еще шаг вперед, и все-таки шел; его толкало все его прошлое, все труды, потраченные усилия, вся неумолимая логика его былых деяний...

Хмельницкий ждал его, подбоченясь, хмуря брови и выпятив губы.

Наконец шествие приблизилось. Кисель, выступив вперед, сделал еще несколько шагов к самому возвышенью. Добывши перестали барабанить, умолкли трубы — и великая тишина слетела на толпу, лишь на морозном ветру шелестело алое знамя, песомое Кульчинским.

Внезапно тишину разорвал чей-то властный голос, с непередаваемой силой отчаянья, невзирая ни на что и ни на кого, коротко и отчетливо приказавший:

— Драгуны, кругом! За мной!

То был голос Скшетуского.

Все головы повернулись в его сторону. Сам Хмельницкий слегка привстал, дабы видеть, что происходит. У комиссаров с

лица отхлынула кровь. Скшетуский стоял в стременах, прямой, бледный, с горящим взором, держа в руках обнаженную саблю; полуобернувшись к драгунам, он громовым голосом повторил приказанье:

— За мной!

В тишине громко зацокали по чисто выметенной промерзлой улице копыта. Вымуштрованные драгуны поворотили на месте лошадей, и весь отряд во главе с поручиком по данному им знаку неспешно двинулся обратно к комиссарским квартирам.

Удивление и растерянность выразились на лицах у всех, не исключая Хмельницкого, ибо нечто необычайное было в голосе поручика и его движениях; никто, впрочем, не знал толком, не составляет ли внезапный отъезд эскорта части торжественного церемониала. Один лишь Кисель все понял, и, главное, понял он, что и переговоры, и жизнь комиссаров вместе с эскортом в ту минуту висели на волоске; потому, чтобы ее дать опомниться Хмельницкому, он вступил на возвышение и обратился к нему с речью.

Начал он с того, что сообщил об изъявлении королевской милости Хмельницкому и всему Запорожью, но неожиданно речь его прервало новое происшествие, имевшее лишь ту добрую сторону, что совершенно отвлекло внимание от предыдущего. Старый полковник Дедяла, стоявший возле Хмельницкого, потрясая булавой, кинулся к воеводе, крича:

— Ты что плетешь, Кисель! Король королем, а сколько вы, королята, князья, шляхта, дел натворили! И ты, Кисель, хоть одной с нами крови, отщепился от нас, с ляхами связался. Не хотим больше слушать твою болтовню, чего надо, мы и сами добудем саблей.

Воевода с негодованием обратил свой взор на Хмельницкого.

— Что ж это ты, гетман, полковников своих распустил?

— Замолчи, Дедяла! — крикнул гетман.

— Молчи, молчи! Набрался с утра пораньше! — подхватили другие полковники. — Пошел прочь, пока не выгнали в шею!

Дедяла не унимался; тогда его и впрямь схватили за шиворот и вытолкали за пределы круга.

Воевода продолжил гладкую свою речь, тщательно выбирая слова; он хотел показать Хмельницкому, сколь значительно происходящее: ведь присланные ему дары — не что иное, как знак законной власти, которой до сих пор гетман пользовался самочинно. Король, имея право карать, соизволил простить его в награду за послушанье, проявленное под Замостьем, и потому еще, что прежние преступления совершены были до его восшествия на престол. Так что Хмельницкому, имеющему на совести столько грехов, ныне надлежало бы выказать благодарность за ласку и снисхождение, воспрепятствовать кровопролитию, унять черный люд и начать с комиссарами переговоры.

Хмельницкий принял в молчании булаву и знамя, которое тотчас приказал над собою развернуть. Толпа при виде этого радостно взвыла — на несколько минут все потонуло в шуме.

Тень удовлетворения скользнула по лицу гетмана; выждав немного, он так ответил:

— За великую милость, каковой его королевское величество через посредство ваше меня подарил, власть над войском отдав и прошлые мои простив преступления, смиренно благодарю. Я всегда говорил, что король со мною против вас, лукавых вельмож и магнатов, и наилучшее сему доказательство — его снисходительность к тому, что я головы ваши рубил; знайте ж: я и впредь их рубить стану, ежели вы нам с его величеством не будете во всем послушны.

Последние слова Хмельницкий произнес угрожающе, повысив голос и насупив бровь, словно вскипая гневом, а комиссары оцепенели от столь неожиданного поворота ответной речи. Кисель же молвил:

— Король, любезный гетман, повелевает тебе прекратить кровопролитие и начать с нами переговоры.

— Кровь не я проливаю, а литовское войско, — резко ответил гетман. — По слухам, Радзивилл города мои вырезал, Мозырь и Туров; подтвердится это — конец вашим пленным: всем, даже знати, прикажу снести головы, и немедля. Переговоров не будет. Не время сейчас для комиссии: войско мое не в полном сборе, и полковники не все здесь, многие на зимовниках, а без них я и начинать не стану. Нечего, однако, на морозе лясы точить. Что с вас причиталось — получено; все видели, что отныне я гетман по королевскому произволению, а теперь пойдемте ко мне, выпьем по чарке да пообедаем, я уже проголодался.

С этими словами Хмельницкий направился к своим палатам, а за ним полковники и комиссары. В большом срединном покое стоял накрытый стол, ломившийся под тяжестью награбленного серебра, среди которого воевода Кисель, верно, мог бы отыскать и свое, вывезенное прошлым летом из Гуци. На блюдах горою навалена была свинина, говядина и татарский плов, вся комната пропиталась запахом просяной водки, разлитой по серебряным кувшинам. Хмельницкий сел за стол, усадив по правую от себя руку Киселя, а по левую каштеляна Бжозовского, и сказал, ткнув пальцем в горелку:

— В Варшаве говорят, я ляшскую кровь пью, а у меня ее нсы лакают, мне вкусней горілка.

Полковники расхохотались — от смеха их задрожали стены. Такую пилею преподнес комиссарам вместо закуски гетман, а те молча ее проглотили, дабы — как писал подкоморий львовский — «не дразнить дикого зверя».

Лишь пот обильно оросил бледное чело воеводы.

Трапеза началась. Полковники руками брали с блюд куски мяса, Киселю и Бжозовскому накладывал в тарелки сам гетман.

Начало обеда прошло в молчанье: каждый спешил утолить голод. Тишину нарушали лишь чавканье и хруст костей, да горелка с бульканьем лилась в глотки; порой кто-нибудь ронял словцо, оставшееся без ответа. Наконец Хмельницкий, поев и опрокинув несколько чарок просянки, первым вдруг обратился к воеводе с вопросом:

— Кто у вас командует конвоем?

Тревога изобразилась на лице воеводы.

— Скшетуский, достойный кавалер! — ответил он.

— Я його знаю, — сказал Хмельницкий. — Чего это он не захотел глядеть, как вы мне дары вручите?

— Такой ему был дан приказ: он не в свиту к нам, а для охрапенья приставлен.

— А приказ кто дал?

— Я, — ответил Кисель, — не прилично, показалось мне, что бы при вручении даров у нас с тобой над душой драгуны стояли.

— А я другое подумал, зная, сколь горд правом сей воин.

Тут в разговор вмешался Яшевский.

— Мы теперь драгун не боим о, — сказал он. — Это в прежние времена в них была ляшская сила, но мы уже под Пилявцами уразумели: не те ныне ляхи, что бивали когда-то турок, татар и немцев...

— Не Замоийские, Жолкевские, Ходкевичи, Хмелецкие и Коцеполюские, — перебил его Хмельницкий, — а сплошь Трусевичи да Зайцевские, діти, закованные в железо. Едва нас завидели, в штаны наложили со страху и бежать, хоть татар и было-то поначалу тыщи три, не больше...

Комиссары молчали, только кусок никому уже не шел в горло.

— Ешьте и пейте, прошу покорнейше, — сказал Хмельницкий, — не то я подумаю, наша простая казацкая пища в ваших господских глотках застревает.

— Ежли у них глотки тесноваты, можно и поширше сделать! — закричал Дедяла.

Полковники, успешные уже крепко захмелеть, разразились смехом, но гетман кинул грозный взгляд, и снова стало тихо.

Кисель, не первый уже день хворавший, сделался бледен как полотно, а Бжозовский побагровел так, что казалось, его вот-вот хватит удар.

В конце концов он не выдержал и рыкнул:

— Мы что, обедать сюда пришли или выслушивать поношенья?

На что Хмельницкий ответил:

— Вы на переговоры приехали, а тем часом литовское войско города наши предает огню. Мозырь и Туров мои повырезали — если будет тому подтверждение, я четырем сотням пленников головы на ваших глазах прикажу срубить.

Бжозовский сдержал закипавшую в крови ярость. Поистине жизнь пленников зависела от настроения гетмана — стоит ему бровью повести, и им конец — значит, надо сносить все оскорбления, да еще смягчать вспышки гнева, дабы привести его *ad pietatem et sanioerem mentem*¹.

В таком духе и заговорил тихим голосом кармелит Лентовский, по натуре своей человек мягкий и боязливый:

— Бог даст, оные вести из Литвы насчет Мозыря и Турова окажутся неверны.

Но не успел он договорить, Федор Вишняк, черкасский полковник, откинувшись назад, замахнулся булавой, метя кармелиту в затылок; по счастью, он не дотянулся, поскольку их разделяло четверо других сотрапезников, а только крикнул:

— Мовчи, попе! Не твое діло брехню мені задавати! Ходи-но на двір, навчу я тебе пулковників за порозьких шанувати!

Его кинулись унимать, но не сумели, и полковник был вышвырнут за порог.

— Когда же ты, любезный гетман, комиссию собрать желаешь? — спросил Кисель, стремясь дать иной оборот беседе.

К несчастью, и гетман уже захмелел изрядно, поэтому ответ его был скор и язвителен.

— Завтра судить-рядить будем, нынче я пьяный! Заладили про свою комиссию, поесть не дадут спокойно! Надоело, хватит! Быть войне! — И гетман грохнул кулаком по столу, отчего подпрыгнули кувшины и блюда. — И четырех недель не пройдет, я вас всех согну в бараний рог, ногами истопчу, турецкому султану продам. Король на то и король, чтоб рубить головы шляхте, князьям да магнатам! Согрѣши князь, урезать ему шею; согрѣши казак, урезать шею! Вы мне шведами грозите, только и шведы меня не здержутъ. Тугай-бей — брат мой, друг сердечный, единственный на свете сокол — что ни захочу, все тот же час сделает, а его гнездовье близко.

В эту минуту с Хмельницким, как это с пьяными бывает, произошла стремительная перемена: гнев уступил место умилению, даже голос задрожал от слез при сладостном упоминании о Тугай-бее.

— Вам охота, чтобы я на татар и турок саблю поднял, — не дождетесь! На вас я с добрыми друзьями своими пойду. Уже полки оповещены, молодцам велено лошадей кормить да в путь собираться без возов, без пушек — это добро у ляхов найдется. Кто из казаков возьмет телегу, тому прикажу шею урезать, и сам кареты брать не стану, разве что мешки прихвачу да торбы — до самой Вислы дойду и скажу: «Сидіть і мовчіть, ляхи!» А будете с того берега голос подавать, и туда доберусь. Опосты-

¹ к большей кротости и здравомыслию (*лат.*).

лели вы со своими драгунами, хватит на нашей шее сидеть, крошечки, одною неправдой живущие!

Тут он вскочил со скамьи, стал волосы рвать и ногами топтать, крича, что война беспрерывно будет, потому как ему наперед уже грехи отпущены и дадено благословенье, и нечего собирать комиссию — он даже на перемирие не согласен.

Наконец, видя испуг комиссаров и смекнув, что, если они сейчас уедут, война начнется зимой, то есть в такую пору, когда и не окопаться, а казаки худо бьются в открытом поле, поостыл и снова уселся на скамью, уронив голову на грудь, упершись руками в колени и хрипло дыша. Потом схватил полную чарку и крикнул:

— Здоровье его величества короля!

— На славу и здоров'я! — повторили полковники.

— Не печалься, Кисель, — сказал гетман, — не принимай моих слов близко к сердцу — пьян я. В о р о ж и х и мне напрозорчили, что войны не миновать, — но я погожу до первой травы, а там пусть будет комиссия, тогда и пленников отпущу на свободу. Я слышал, ты болен: давай за твое здоровье выпьем.

— Благодарствую, гетман запорожский, — сказал Кисель.

— Ты мой гость, я об этом помню.

И снова Хмельницкий на короткое время расчувствовался и, положив руки воеводе на плечи, приблизил к его бледным запавшим щекам свое широкое багровое лицо.

За ним и полковники стали подходить и по-приятельски пожимать комиссарам руки, хлопая их по плечам, повторяя вслед за гетманом: «До первой травы!» Комиссары сидели как на угольях. Дыхание мужиков, пропахшее горелкой, обдавало лица высококордных шляхтичей, для которых пожатия потных этих рук были невыносны так же, как и оскорбленья. Проявления грубого дружелюбия перемежались угрозами. Одни кричали воеводе: «Ми ляхів хочемо різати, а ти наша людина!», другие говорили: «Что, паны! Раньше били нас, а теперь милости запросили? Погибель вам, белоручкам!» Атаман Вовк, бывший мельником в Нестерваре, кричал: «Я князя Четвертинского, мого пана, зарізав!» «Выдайте нам Ярему, — орал, пошатываясь, Яшевский, — и мы вас живыми отпустим!»

В комнате стало невыносимо жарко и душно, стол, заваленный объедками мяса, хлебными корками, залитый водкой и медом, являл собой омерзительную картину. Наконец вошли в о р о ж и х и, то есть вешуньи, с которыми гетман имел обыкновенные пить до поздней ночи, слушая предсказания: страшные, сморщенные желтые старухи и молодичи в соку — преудивительные создания, умеющие ворожить на воске, на пшеничных зернах, на огне и водяной кипени, на дне бутылки и человеческом жире. Вскоре полковники стали пересмеиваться и забавляться с теми из них, кто был помоложе. Кисель едва чувств не лишился.

— Спасибо тебе, гетман, за угощение, и прощай,— произнес он слабым голосом.

— Завтра я к тебе приеду обедать,— ответил Хмельницкий,— а теперь ступайте. Донец с молодцами проводят вас до дому, чтобы чернь какой шутки не сыграла.

Комиссары поклонились и вышли. Донец с молодцами и вправду уже ждал их перед палатами.

— Боже! Боже! — тихо прошептал Кисель, пряча лицо в ладони.

Все в молчании двинулись к квартирам комиссаров.

Но оказалось, что разместили их друг от друга неблизко. Хмельницкий умышленно отвел им жилье в разных концах города, чтобы труднее было сходиться вместе и совещаться.

Воевода Кисель, усталый, измученный, едва держащийся на ногах, немедленно лег в постель и до следующего дня никого к себе не впускал, лишь назавтра в полдень велел позвать Скшетуского.

— Что же ты натворил, сударь! — сказал он ему. — Экий выпнул номер! Свою и нашу жизнь в опасность поставил.

— *Mea culpa*¹, ясновельможный воевода! — ответил рыцарь. — Но меня безумие охватило: лучше, подумал, сто раз погибнуть, нежели глядеть на такое.

— Хмельницкий разгадал твои мысли. Я едва *efferatum bestiam*² утишил и поступку твоему дал объяснение. Но он нынче должен у меня быть и, верно, тебя самого спросит. Скажешь ему, что увел солдат по моему приказанию.

— С сегодняшнего дня Брышовский принимает команду — ему полегчало.

— Оно и к лучшему, у вашей милости для нынешних времен нрав чересчур гордый. Трудно нам за что-либо, кроме как за неосторожность, тебя порицать, сразу видно, молод ты и боли душевной переносить не умеешь.

— К боли я привык, ясновельможный воевода, а вот позор сносить не умею.

Кисель тихо застонал, как человек, которого ударили по больному месту, но потом улыбнулся смиренно и печально и молвил:

— Подобные слова мне теперь не привыкать выслушивать, это прежде я всякий раз горькими слезами обливался, а нынче уж и слез не стало.

Жалость переполнила сердце Скшетуского: тяжело было смотреть на этого старца с лицом мученика, которому выпало на закате дней страдать вдвойне — душою и телом.

— Ясновельможный воевода! — сказал рыцарь. — Господь мне свидетель: я лишь об одном думал — о страшных временах,

¹ Моя вина (лат.).

² дикого зверя (лат.).

когда сенаторы и коронные сановники вынуждены бить челом сброду, который единственно кола заслуживает за свои преступления.

— Да благословит тебя бог: ты молод и честен и, знаю, не из дурных намерений поступил так. Но то же, что я от тебя услышал, говорит князь твой, а за ним войско, пляхта, сеймы, половина Речи Посполитой — и все это бремя презрения, вся ненависть на меня обрушивается.

— Всяк служит отчизне, как может, пусть всевышний судит каждого за его деянья, что же касается князя Иеремии, он ради отечества не щадит ни достоинства, ни здоровья.

— И славой оваян, и кунается в лучах этой славы, — отвечал воевода. — А что ожидает меня? Ты верно сказал: пусть бог судит нас за наши деянья, и да пошлет он хотя б после смерти покой тем, кто при жизни страдал сверх меры.

Скшетуский молчал, а Кисель поднял очи горе в бессловной молитве, а потом сказал так:

— Я русин, кость от кости и плоть от плоти своего народа. Князья Святольдичи в здешней земле лежат. Я любил и землю эту, и божий люд, что грудью ее вскормлен. Видел я, какие обиды соседи чинили друг другу, видел как дикие бесчинства запорожцев, так и нетерпимую гордыню тех, кто воинственный этот народ захотел привязать к земле... Что же надлежало сделать мне, русину и притом сенатору и верному сыну Речи Посполитой? Вот я и пристал к тем, которые говорили: «*Rax vobiscum!*»¹ — ибо так повелели мне кровь и сердце, ибо меж ними был покойный король, отец наш, и канцлер, и примас, и многие-многие другие; а еще видел я, что раздоры равно губельны для обеих сторон. Хотелось до конца дней, до последнего вздоха трудиться во имя согласия — когда же полилась кровь, я подумал про себя: буду ангелом-миротворцем. И встал на путь сей, и шел по нему, и продолжаю идти, невзирая на боль, позор и муки, несмотря на сомненья, которые всяких мук страшнее. Видит бог, теперь я и сам не знаю, ваш ли князь слишком рано меч поднял или я опоздал с оливковой ветвью, но зато понимаю: напрасны труды мои, сил не хватает, тщетно бьюсь седой головой о стену. Что вижу я пред собою, сходя в могилу? Только мрак и гибель, о милосердый боже, всеобщую гибель!

— Господь ниспошлет спасенье.

— О, да подарит он меня перед смертью такую надеждой, чтобы не умирать в отчаянье!.. Я еще за все страдания его поблагодарю, за тот крест, который несу, за то, что чернь требует мою голову, а на сеймах меня изменником называют, за мое разорение, за покрывший меня позор, за горькую ту награду, что я от обеих сторон получаю!

¹ Мир вам! (лат.)

Умолкнув, воевода воздел исхудалые руки к небу, и две крупные слезы, быть может последние в жизни, скатились из его очей.

Скшетуский, не в силах сдержаться, упал перед воеводой на колени, схватил его руку и прерывающимся от глубокого волнения голосом молвил:

— Я солдат и иной избрал путь, но пред заслугами твоими и страданиями низко склоняю голову.

С этими словами шляхтич и соратник Вишневецкого прильнул устами к руке того самого русина, которого несколько месяцев назад вместе с другими называл изменником.

А Кисель положил ладони ему на голову.

— Сын мой,— тихо проговорил он,— да пошлет тебе господь утешение, да направит он тебя и благословит, как я благословляю.

* * *

Переговоры, не успев толком начаться, в тот же день зашли в тупик. Хмельницкий приехал на обед к воеводе довольно поздно и в прескверном настроении. Первым делом он заявил, что все сказанное вчера о перемирии, о созыве комиссии на троицу и об освобождении перед началом комиссии пленных говорилось им спьяну, теперь же он видит, что его хотели провести. Кисель попытался его улестить, успокаивал, объяснял, доказывал, но было это — по словам подкомория львовского — все равно что *surdo tyranno fabula dicta*¹. И вел себя гетман столь дерзко, что комиссары не могли не пожалеть о вчерашнем Хмельницком. Пана Позовского он ударил булавой потому лишь, что тот не во время на глаза попался, хотя изнуренный болезнью Позовский и без того был на волосок от смерти.

Не помогали ни выказываемые комиссарами расположение и добрая воля, ни уговоры воеводы. Только опохмелясь горелкой и отменным гущинским медом, гетман повеселел, но ни о каких публичных делах не дал даже заикнуться, твердя: «Пить так пить — рядиться завтра будем!» В три часа ночи он потребовал, чтобы воевода отвел его в свою опочивальню, чему тот противился под разными предлогами, поскольку умышленно запер там Скшетуского, всерьез опасаясь, как бы при встрече гордого рыцаря с Хмельницким не вышло какой-нибудь неожиданности, пагубной для молодого человека. Но Хмельницкий настоял на своем и пошел в опочивальню. Кисель последовал за ним. Каково же было его удивление, когда гетман, увидев рыцаря, кивнул ему и крикнул:

— Скшетуский! Ты почему не пьешь с нами?

И дружески протянул руку.

¹ сказка, рассказанная глухому тирану (лат.).

— Болен я,— ответил, поклонясь, поручик.

— И вчера уехал. Без тебя и веселье было не веселье.

— Такой он получил приказ,— вмешался Кисель.

— А ты, воевода, помалкивай. Я й его знаю: непростая птица! Не захотел глядеть, как вы мне почести воздаете. Но что другому бы не сошло, этому сойдет: я его люблю, он мой друг сердечный.

Кисель от удивления широко раскрыл глаза, гетман же неожиданно обратился к Скшетускому:

— А знаешь, за что я тебя люблю?

Скшетуский покачал головой.

— Думаешь оттого, что ты аркан на Омельнике перерезал, когда я никто был и точно зверь затравлен? Нет, не за то! Я тебе тогда перстень дал с прахом гроба господня, но ты, строптивец, не показал мне этого перстня, когда попал в мои руки, а я тебя все же отпустил,— выходит, мы квиты. Не потому я тебя люблю. Ты мне иную оказал услугу, за что я тебе навек благодарен и почитаю другом.

Скшетуский в свой черед удивленно уставился на Хмельницкого.

— Видал, как дивятся,— словно обращаясь к кому-то четвертому, сказал гетман. — Ладно, припомню тебе, что мне в Чигирине рассказали, когда мы с Базавлука туда пришли с Тугайбеем. Расспрашиваю я всех о недруге своем Чаплинском, которого найти не сумел, а мне и говорят, как ты с ним обошелся после первой нашей встречи: мол, одной рукой за чуприну, другой за шаровары схватил да дверь им вышиб,— ха! — и морду в кровь разбил собаке!

— Верно, так я и сделал,— ответил Скшетуский.

— Ой, хорошо сделал, славно придумал! Я еще до него доберусь, иначе к чему комиссии да переговоры? Непременно доберусь и по-своему позабавлюсь, однако же и ты его хорошо отдал.

Затем, оборотившись к Киселю, гетман стал заново повторять рассказ:

— За чуприну его уцепил да за портки, слышь-ка, поднял, как слизняка, двери вышиб и на двор...

И расхохотался так, что загудело в светелке и эхо докатилось до соседней комнаты.

— Прикажи подать меду, любезный пан воевода, надобно выпить за здоровье этого рыцаря, моего друга.

Кисель приоткрыл дверь и крикнул слугу, который тотчас принес три кубка гуцзинского меда.

Гетман чокнулся с воеводой и со Скшетуским, выпил — хмель, видно, сразу бросился ему в голову, лицо засмеялось, и душа развеселилась; обратившись к поручику, он крикнул:

— Проси, чего хочешь!

Румянец выступил на бледных щеках Скшетуского, на минуту воцарилось молчанье.

— Не бойся,— сказал Хмельницкий. — Слово — олово: проси, чего хочешь, только Киселевых дел не касайся.

Хмельницкий, даже нетрезвый, оставался себе верен.

— Коли мне позволено расположением твоим воспользоваться, любезный гетман, я потребую от тебя правого суда. Один из твоих полковников меня обидел...

— Шею ему урзати! — гневно перебил рыцаря Хмельницкий.

— Не о том речь: вели только ему принять мой вызов.

— Шею ему урзати! — повторил гетман. — Кто таков?

— Богун.

Хмельницкий заморгал глазами, потом хлопнул себя по лбу.

— Богун? — переспросил он. — Богун убит. Мені король писав, что он в поединке зарублен.

Скшетуский остолбенел. Заглоба говорил правду!

— А что тебе Богун сделал? — спросил Хмельницкий.

Щеки поручика вспыхнули еще ярче. Он не мог решиться рассказать о княжне полупьяному гетману, боясь услышать от него какое-нибудь непростительное оскорбление.

Его выручил Кисель.

— Это дело серьезное,— молвил он,— мне рассказывал капитан Бжозовский. Богун у этого рыцаря невесту умыкнул и неведомо где спрятал.

— Так ищи ее,— сказал Хмельницкий.

— Я искал на Днестре, где она укрыта, но не смог найти. Говорят, он ее в Киев хотел отправить и сам туда собирался, чтобы там обвенчаться. Дозволь же мне, любезный гетман, в Киев за ней поехать, ни о чем не прошу больше.

— Ты мой друг, ты Чаплинского поколотил... Можешь ехать и искать ее везде, где пожелаешь,— я тебе разрешаю, и тому, у кого она пребывает, передашь мой приказ отдать ее в твои руки, а еще пернач получишь на проезд и письмо к митрополиту, чтоб по монастырям у монахинь искать позволил. Мое слово — олово!

Сказавши так, гетман крикнул в дверь, чтоб Выговский шел писать письмо и приказ составил, а Чарноту, хотя был пятый час ночи, отправил за печатью. Дедяла принес пернач, а Донцу было велено взять две сотни конных и проводить Скшетуского до Киева и далее, до первых польских сторожевых постов.

На следующий день Скшетуский покинул Переяслав.

ГЛАВА XIX

Если Заглоба томился в Збараже, то не менее его томился Володыёвский, истосковавшись без ратных трудов и приключений. От времени до времени, правда, выходили из Збаража хоруг-

ви для усмирения разбойных ватаг, проливавших кровь и сжигавших села на берегах Збруча, но то была малая война — одни только стычки — хотя оттого, что зима была долгая и морозная, весьма обременительная, требующая многих усилий, а славы приносящая мало. Поэтому пан Михал каждый божий день приставал к Заглобе, уговаривая идти на выручку Скшетускому, от которого давно уже не было никаких известий.

— Верно, он там в какую-нибудь передрагу попал, а то и голову сложил, — говорил Володыёвский. — Непременно надо нам ехать. Погибать, так вместе.

Заглоба особенно не противился, поскольку — как утверждал — вконец замшавел в Збараже и сам диву давался, как еще не оброс паутиной, однако с отъездом медлил, рассчитывая вот-вот получить от Скшетуского хотя бы записку.

— Пан Ян у нас не только отважен, но и смекалист, — отвечал он Володыёвскому на его настоянчу, — обождем еще несколько дней, вдруг придет письмо и окажется, что в экспедиции нет нужды?

Володыёвский, признавая справедливость этого аргумента, вооружался терпением, хотя время все медленнее для него тянулось. В конце декабря ударили такие морозы, что даже разбои прекратились. В окрестностях стало спокойно. Единственным развлечением сделалось обсуждение общественных новостей, как из рога изобилия сыпавшихся на серые збаражские стены.

Толковали о коронации и о сейме и о том, получит ли булаву князь Иеремия, имевший на то больше оснований, чем любой другой полководец. Возмущались теми, кто утверждал, что благодаря возобновлению переговоров с Хмельницким один лишь Кисель будет возвышен. Володыёвский по этому поводу несколько раз дрался на поединках, а Заглоба напивался пьян — появилась опасность, что он совсем сопьется, поскольку не только с офицерами и шляхтой водил компанию, но и не гнушался гулять у мещан на крестинах, на свадьбах — особенно пришлось ему по вкусу их меды, которыми славился Збараж.

Володыёвский всячески ему за это выговаривал, внушая, что не пристало шляхтичу якшаться с особами низкого рода, ибо тем самым умаляется достоинство всего сословия, но Заглоба отвечал, что тому виной законы, позволяющие мещанам скоропалительно богатеть и такие наживать состояния, какими достойна владеть только шляхта; он пророчил, что наделение простолюдинов чересчур большими правами к добру не приведет, но от своего не отступался. И трудно было его за то винить в унылую зимнюю пору, когда всяк терзался неуверенностью, скукой и ожиданьем.

Мало-помалу, однако, все больше княжких хоругвей стягивалось к Збаражу, что предвещало по весне начало военных действий. У многих на душе повеселело. Среди прочих приехал пан Подбиятка с гусарской хоругвью Сьшетуского. Он привез известия о немилости, в какой-то пребывает при дворе князь, в

смерти Януша Тышкевича, киевского воеводы, на место которого — по всеобщему мнению — будет назначен Кисель, и, наконец, о тяжкой болезни, приковавшей к постели в Кракове коронного стражника Лаща. Что касалось войны, пан Лонгинус слышал от самого князя, будто возобновится она разве что в случае крайних обстоятельств, ибо комиссары отправлены были к казакам с наказом идти на всяческие уступки. Рассказ Подбиятки соратники Вишневецкого встретили с возмущением, а Заглоба предложил отправить в суд протест и основать конфедерацию, поскольку, заявил, не хочет видеть, как пропадают плоды его трудов под Староконстантиновом.

Так, за обсуждением новостей, в тревогах и сомнениях, прошли февраль и половина марта, а от Скшетуского по-прежнему не было ни слуху ни духу.

Тем упорнее стал Володыёвский настаивать на отъезде.

— Не княжну теперь, — говорил он, — а Скшетуского искать настало время.

Время, однако, показало, что Заглоба был прав, откладывая отъезд со дня на день: под конец марта с письмом, адресованным Володыёвскому, прибыл из Киева казак Захар. Пан Михал тотчас вызвал к себе Заглобу; они заперлись с посланцем в отдельной комнате, и Володыёвский, сломав печать, прочитал нижеследующее:

— «По всему Днестру, до Ягорлыка пройдя, не обнаружил я никаких следов. Полагая, что княжна спрятана в Киеве, присоединился к комиссарам, с которыми проследовал до Переяслава. Оттуда, получив неожиданно позволение Хмельницкого, прибыл в Киев и ищу ее везде и всюду, в чем мне споспешествует сам митрополит. Наших здесь не счесть — у мещан хоронятся и в монастырях, однако, опасаясь черни, знаков о себе не подают, чрезвычайно тем поиски затрудняя. Господь меня на всем пути направлял и не только охранял, но и расположил ко мне Хмельницкого, посему, смею надеяться, и впредь помогать будет и милостью своей не оставит. Ксендза Муховецкого нижайше прошу отслужить молебен, и вы за меня помолитесь. *Скшетуский*».

— Слава господу-вседержителю! — воскликнул Володыёвский.

— Тут еще *post scriptum*, — заметил Заглоба, заглядывая через плечо друга.

— И верно! — сказал маленький рыцарь и стал читать дальше: — «Податель сего письма, есаул миргородского куреня, сердечно обо мне песя, когда я в Сечи пребывал в плену, и ныне в Киеве помогал всемерно, и письмо доставить взялся, не убоявшись риска; будь любезен, Михал, позаботься, дабы он ни в чем не нуждался».

— Ну, хоть один порядочный казак нашелся! — сказал Заглоба, подавая Захару руку.

Старик пожал ее без тени подобострастья.

— Получишь вознаграждение! — добавил маленький рыцарь.

— Він сокіл, — ответил казак, — я його люблю, я не для грошей тутки прийшов.

— И гордости, гляжу, тебе не занимать, многим бы шляхтичам не грех поучиться, — продолжал Заглоба. — Не все среди вас скоты, не все! Ну да ладно, суть не в этом! Стало быть, в Киеве пан Скшетуский?

— Точно так.

— А в безопасности? Я слышал, чернь там крепко озорничает.

— Он у Донца живет, у полковника. Ничего ему не случится: сам батько Хмельницкий Донцу под страхом смерти приказал его беречь пуще глаза.

— Чудеса в решете! С чего это Хмельницкий так возлюбил нашего друга?

— Он его давно любит.

— А сказывал тебе пан Скшетуский, что он в Киеве ищет?

— Ясное дело, он же знает, что я ему друг! Мы и вместе с ним, и поврозь искали, как не сказать было?

— Однако же не нашли по сю пору?

— Не нашли. Ляхів там еще тьма, и все прячутся, а друг про дружку никто ничего не знает — отыщи попробуй. Вы слышали, что там зверствует черный люд, а я своими глазами видел: не только ляхів режут, но и тех, что их укрывают, даже черниц и монахов. В монастыре Микола Доброго двенадцать полячек было, так их вместе с черницами в келье удушили дымом; каждый второй день кликнут клич на улице и бегут искать, изловят и в Днепр. Ой! Скольких уже поутопили...

— Так, может, и ее убили?

— Может, и убили.

— Нет, нет! — перебил его Володыевский. — Ежели Богун ее туда отправил, значит, приискал безопасное место.

— Где, как не в монастыре, безопасней, а и там находят.

— Уф! — воскликнул Заглоба. — Думаешь, она могла погибнуть?

— Не знаю.

— Видно, Скшетуский все же не геряет надежды, — продолжал Заглоба. — Господь тяжкие ему послал испытанья, но когда-нибудь и утешить должен. А ты сам давно из Киева?

— Ой, давно, пане. Я ушел, когда комиссары через Киев ехали обратно. Багацько ляхів с ними бежать хотело и бежали, нещасні, кто как мог, по снегу, по бездорожью, лесом, к Белогородке, а казаки за ними, кого ни догонят, всех убивали. Багато втекло, багато забили, а иных пан Кисель выкупил, пока имел гроші.

— О, собачьи души! Выходит, ты с комиссарами ехал?

— С комиссарами до Гуци, потом до Острога. А дальше уж сам шел.

— Пану Скшетускому ты давно знаком, значит?

— В Сечи повстречались; он раненый лежал, а я за ним ходил и полюбил, как дитину рідную. Стар я, некого мне любить больше.

Заглоба крикнул слугу и велел подать меду и мясного. Сели ужинать. Захар с дороги был утомлен и голоден и поел с охотой, потом выпил меду, омочив в темной влаге седые усы, и молвил, причмокнув:

— Добрый мед.

— Получше, чем кровь, которую вы пьете,— сказал Заглоба.— Впрочем, полагаю, тебе, как человеку честному и Скшетускому преданному, к смутьянам нечего возвращаться. Оставайся с нами! Здесь тебе хорошо будет.

Захар поднял голову.

— Я письмо віддав и пойду, казаку середь казаков место, негоже мне с ляхами брататься.

— И бить нас будешь?

— А буду. Я сечевой казак. Мы батька Хмельницкого гетманом выбрали, а теперь король ему прислал булаву и знамя.

— Вот тебе, пан Михал!— сказал Заглоба.— Говорил я, протестовать нужно?

— А из какого ты куреня?

— Из миргородского, только его уже нету.

— А что с ним случилось?

— Гусары Чарнецкого под Желтыми Водами в прах разбили. Кто жив остался, теперь у Донца, и я с ними. Чарнецкий добрый жолнір, он у нас в плену, за него комиссары просили.

— И у нас ваши пленные есть.

— Так оно и должно быть. В Кieve говорили, первейший наш молодец у ляхів в неволе, хотя иные сказывают, он погибнул.

— Кто таков?

— Ой, лихой атаман: Богун.

— Богун в поединке зарублен насмерть.

— Кто ж его зарубил?

— Вон тот рыцарь,— ответил Заглоба, указывая на Володыёвского.

У Захара, который в ту минуту допивал уже вторую квартиру меду, глаза на лоб полезли и лицо побагровело; наконец он прыснул, пустив из носу фонтан, и переспросил, давась от смеха:

— Этот лицар Богуна убил?

— Тысяча чертей!— вскричал, насупя бровь, Володыёвский.— Посланец сей чересчур много себе дозволяет.

— Не сердись, пан Михал,— вмешался Заглоба.— Человек он, видать, честный, а что обходительности не научен, так на то и казак. И опять же: для вашей милости это честь большая— кто еще при такой неказистой наружности столько великих побед одержал в жязни? Сложенья ты хилого, зато духом крепок.

Я сам... Помнишь, как после поединка таращился на тебя, хотя собственными глазами от начала до конца весь бой видел? Верить не хотелось, что этакий фертик..

— Довольно, может? — буркнул Володыёвский.

— Не я твой родитель, понапрасну ты на меня злишься. Изволь знать: мне бы хотелось, чтобы у меня такой сын был; дашь согласие, усыновлю и отпишу все, чем владею! Гордиться нужно, великий дух в малом теле имея... И князь немного тебя осанистей, а сам Александр Македонский едва ли ему в оруженосцы годится.

— Другое меня печалит, — сказал, смягчившись, Володыёвский, — ничего обнадеживающего из письма Скшетуского мы не узнали. Что сам он на Днестре головы не сложил, это слава богу, но княжны-то до сих пор не нашел и кто поручится, найдет ли?

— Что правда, то правда! Но коли господь нашими стараньями его от Богуна избавил и премногих опасностей и ловушек помог избежать, да еще в очерствелое сердце Хмельницкого заронил искру странного чувства к нашему другу, то не для того, верно, чтобы он от тоски и страданий, как свеча, истаял. Ежели ты, пан Михал, руки провидения во всем этом не видишь, ум твой тупее сабли; впрочем, справедливо считается, что нельзя обладать всеми достоинствами сразу.

— Я лишь одно вижу, — ответил, гневно шевеля усами, Володыёвский, — нам с тобою там нечего делать, остается здесь сидеть, покуда совсем не заплесневеем.

— Скорее уж мне плесневеть, поскольку я тебя много старше; известно ведь — и репа мякнет, и сало от старости горкнет. Возблагодарим лучше господа за то, что всем нашим бедам счастливый конец обещан. Немало я за княжну истерзался, ей-ей, куда больше, чем ты, и Скшетуского немногим менее; она мне как дочь все равно, я и родную бы не любил сильнее. Говорят даже, она вылитый мой портрет, но и без того я к ней всем сердцем привязан, и не видать бы тебе меня веселым и спокойным, не верь я в скорое окончание ее злоключений. Завтра же *epitaphium*¹ сочинять начну, я ведь прекрасно вирши слагаю; только в последнее время Аполлону изменил ради Марса.

— Что сейчас говорить о Марсе! — ответил Володыёвский. — Черт бы побрал этого изменника Киселя с комиссарами и с их переговорами вместе! Весной как пить дать заключат мир. Подбиятка со слов князя то же самое утверждает.

— Подбиятка столько же смыслит в политике, сколько я в сапожном ремесле. Он при дворе, кроме красоты своей, ничего не видел, ни на шаг небось не отходил от юбки. Даст бог, кто-нибудь уведет ее у него из-под носу; впрочем, довольно об этом. Кисель изменник, не спору, в Речи Посполитой всяк это знает,

¹ эпитафаму (лат.).

а вот насчет переговоров, думается мне, еще бабушка надвое ворожила.

Тут Заглоба обратился к казаку:

— А у вас, Захар, что говорят: войны ждать или мира?

— До первой травы тихо будет, а весной либо нам погибель, либо ляхів чикам.

— Радуйся, пан Михал, я тоже слышал, будто чернь везде готовится к войне.

— Буде така війна, якої не бувало,— сказал Захар. — У нас говорят, и султан подойдет турецкий, и хан приведет все орды, а друг наш Тугай-бей и вовсе домой не ушел, а становище неподалеку раскинул.

— Радуйся, пан Михал,— повторил Заглоба. — И новому королю напророчили, что все его правление пройдет в войнах, а уж простому человеку, похоже, тем более долго не прятать сабли в ножны. Успеем истрепаться в боях, как метла в руках хорошей хозяйки,— такова уж наша солдатская доля. А дойдет дело до схватки, постарайся ко мне поближе держаться: великолепную увидишь картину — будешь знать, как в старые добрые времена бились. Мой бог! Не те нынче люди, что были прежде, и ты не такой, пан Михал, хоть и грозен в бою и Богуна зарубил насмерть.

— Справедливо кажете, пане,— сказал Захар. — Не тії тепер люде, що бували...

Потом поглядел на Володыёвского и прибавил, покачав головой:

— Але щоб цей лицар Богуна убив, но, но!..

ГЛАВА XX

Старый Захар, отдохнув несколько дней, уехал обратно в Киев, а тем временем пришло известие, что комиссары воротились без особых надежд на сохранение мира, хуже того — в полном смятенье. Им удалось лишь выговорить *armisticium*¹ до русского троицына дня, после чего предполагалось собрать новую комиссию с полномочиями для ведения переговоров. Однако требования и условия Хмельницкого были столь непомерны, что никто не верил, дабы Речь Посполитая могла на них согласиться. Поэтому обе стороны с поспешностью начали вооружаться. Хмельницкий слал посла за послом к хану, призывая его всеми силами себе на подмогу; отправлял он гонцов и в Стамбул, где давно уже пребывал королевский посланник Бечинский; в Речи Посполитой со дня на день ожидали призыва в ополчение. Пришли вести о назначении новых полководцев: подчасшего Остророга, Ланцкоронского и Фирлея. Иеремия же Вишневецкий от

¹ перемирие (лат.).

военных дел был полностью отстранен — теперь он лишь с собственными силами мог защищать отчизну. Не только княжеские солдаты и русская шляхта, но даже сторонники бывших региментариев возмущены были таким решением и немилостью, оказанной князю, справедливо рассуждая, что если стоило пожертвовать Вишневецким из политических соображений, пока еще теплилась надежда на заключение мира, то устранение его в канун войны было непростительной, величайшей ошибкой, поскольку князь один не уступал Хмельницкому силой и мог одолеть могущественного предводителя смуты. Наконец и сам князь прибыл в Збараж, чтобы собрать как можно больше войска и в полной готовности ожидать скорого начала войны. Перемирие было заключено, но сплошь да рядом обнаруживалась его несостоятельность. Хмельницкий приказал, правда, срубить головы нескольким полковникам, которые вопреки договору позволяли себе нападать на замки и хоругви, отдохавшие на зимних стоянках, но не в его власти было сдерживать черный люд и бесчетные безначальные ватаги, которые про *armisticium* либо не слыхали, либо не желали слышать, а зачастую и значения этого слова не понимали. Они то и дело преступали установленные договором границы, тем самым сводя на нет все обещанья Хмельницкого. С другой стороны, кварталовые войска и шляхетские отряды, преследуя смутьянов, частенько переходили Горынь и Припять в Киевском воеводстве, забирались в глубь воеводства Брацлавского, а там, подвергшись нападению казаков, затевали настоящие бои, порой весьма ожесточенные и кровопролитные. Поэтому со стороны и казачества, и поляков непрестанно сыпались жалобы о нарушении договора, который, по сути, соблюсти было невозможно. Таким образом, перемирие означало только, что ни сам Хмельницкий, ни король со своими гетманами не начинали военных действий, фактически же война разгоралась — без участия, правда, главных сил, и первые теплые лучи весеннего солнца, как прежде, освещали пылающие деревни, местечки, города и замки, озаряли кровавые побоища и людское горе.

Мятежные ватаги из-под Бара, Хмельника, Махновки подступали близко к Збаражу, грабили, жгли, убивали. С этими Иеремия расправлялся руками своих полковников, сам не участвуя в мелких стычках, — он намеревался выступить со всей своею дивизией, лишь когда гетманы выйдут на бранное поле.

Пока же князь высылал разезды, приказывая кровью платить за кровь, колом за грабежи и убийства. В числе прочих ходил раз на вылазку Лонгин Подбипятка и разбил мятежников под Черным Островом, но страшен рыцарь наш был только в сраженье, с пленниками же, схваченными с оружием в руках, обращался с излишней мягкосердечностью, и потому больше его не посылали. Володыёвский же, напротив, премного в подобных экспедициях отличался — соперничать с ним в партизанской войне

мог разве что один Вершулл. Никто другой не совершал столь стремительных налетов, не умел столь неожиданно напасть на неприятеля, разбить его в бешеной атаке, рассеять на все четыре стороны, переловить, перебить, перевешать. Вскоре имя его начало внушать ужас, князь же стал дарить пана Михала особым расположением. С конца марта до середины апреля Володыёвский разгромил семь безначальных ватаг, каждая из которых была втрое сильнее его отряда, и, не зная устали, распался все больше, словно в проливаемой крови черпал новые силы.

Маленький рыцарь, а правильнее сказать, маленький дьявол, горячо уговаривал Заглобу сопутствовать ему в этих экспедициях, поскольку его общество предпочитал всякому другому, однако почтенный шляхтич на уговоры не поддавался, так объясняя свою неохоту заняться делом:

— Не с моим толстым брюхом, пан Михал, трястись по бездорожью да встревать в стычки — всяк, как известно, для своего рожден. С гусарами среди бела дня врезаться в гущу вражьего войска, обоз разнести, отобрать знамя — это по мне, для того меня господь сотворил и наставил, а за всяким сбродом по кустам да в потемках гоняйся сам, ты у нас, как игла, тонок, во всякую щель пролезешь. Я старой закалки воин, мне сподручней, подобно льву, рвать зверя, нежели, как ищейка, по следу в чащобах рыскать. Да и спать ложиться я привык с петухами — самое мое время.

Посему Володыёвский ездил один и один одерживал победы, пока, уехав как-то в конце апреля, не вернулся в половине мая столь печальный и удрученный, будто потерпел поражение и людей своих погубил. Так всем, по крайней мере, показалось, но то было ошибочное представление. Напротив, долгий и тяжкий этот поход завершился за Острогом, под Головной, где Володыёвский не просто ватагу черного люда погромил, а отряд в несколько сот запорожцев, половину из которых зарубил, а половину захватил в плен. Тем удивительнее было видеть глубокую печаль, затуманившую его веселое от природы лицо. Многим не терпелось немедля дознаться о ее причине, но Володыёвский слова никому не сказал ни, спешившись, отправился прямо к князю, с которым имел долгую беседу. Его сопровождали два неизвестных рыцаря. С этими же рыцарями он пошел затем к Заглобе, нигде не задерживаясь, хотя любопытные, жаждущие новостей, по пути то и дело его за рукав хватали.

Заглоба с немалым удивлением воззрелся на двух исполнителей, которых никогда прежде не видел; судя по мундирам с золотыми нашивками на плечах, они служили в литовском войске. Володыёвский же сказал только:

— Закрой дверь, сударь, и никого не вели пускать: о важных делах поговорить надо.

Заглоба отдал распоряжение челядинцу и сел, поглядывая на гостей с тревогой: лица их ничего доброго не сулили.

— Это,— сказал Володыёвский, указывая на юношей,— князя Бульги-Курцевичи: Юр и Андрей.

— Двоюродные братья Елены! — воскликнул Заглоба.

Князя поклонились и произнесли в один голос:

— Двоюродные братья покойной Елены.

Красное лицо Заглобы в мгновение сделалось пепельно-бледным; как подстреленный, стал он руками колотить воздух, разинул рот, не будучи в силах перевести дыхание, вытаращил глаза и скорее простонал, чем промолвил:

— Как так?

— Есть известия,— угрюмо ответил Володыёвский,— что княжна в монастыре Миколы Доброго убита.

— Чернь дымом удушила в келье двенадцать шляхтянок и нескольких черниц, среди которых была сестра наша,— добавил князь Юр.

На сей раз Заглоба ничего не ответил, лишь лицо его, минутою назад синее, побагровело так, что рыцари испугались, как бы старика не хватил удар; потом веки его медленно опустились, он закрыл глаза руками, и из уст его вырвался стон:

— Боже! Боже! Боже!

После чего старый шляхтич умолк надолго.

А князя и Володыёвский дали волю отчаянию.

— Вот, собрались мы, друзья и родичи твои, с намерением спасти тебя, прелестная панна,— говорил, перемежая свою речь вздохами, молодой рыцарь,— но, знать, с помощью своей опоздали. Не нужна никому решимость наша, не нужны отвага и острые сабли — ты в ином уже, лучшем, чем плачевная сия юдоль, мире, при дворе у царицы небесной...

— Сестра! — восклицал великан Юр и волосы на себе в горести рвал. — Прости нам прегрешения наши, а мы за каждую каплю твоей крови ведро прольем вражьей.

— Да поможет нам бог! — добавил Андрей.

И оба мужа воздели к небесам руки, Заглоба же встал со скамьи, сделал несколько шагов к своей лежанке, пошатнулся как пьяный и пал перед святым образом на колени.

Минутою позже в замке, возвещая полдень, загудели колокола, звонившие мрачно, как на похоронах.

— Нет больше княжны, нету! — повторил Володыёвский. — Ангелы вознесли ее на небо, нам в удел оставив печаль и слезы.

Рыдания вырвались из груди Заглобы, и он затрясся всем своим крупным телом, а три рыцаря продолжали сетовать на судьбу, и колокола вторили им, не умолкая.

Наконец Заглоба успокоился. Казалось даже, сломленный горем старый шляхтич задремал, стоя на коленях, но спустя несколько времени он поднялся и сел на лежанку, только это был уже совсем другой человек: с красными, налитыми кровью глазами, поникшей головой, отвисшей до самого подбородка нижней губою; на лице его отражалась беспомощность и старческая

немошь, незаметная дотеле, — и вправду подумать можно было, что прежний Заглоба, хвастун, весельчак и выдумщик, преставился, даровав свое обличье поникшему под бременем лет и усталости старцу.

Некоторое время спустя, несмотря на протесты караулившего у дверей слуги, вошел Подбипятка, и вновь посыпались жалобы и сетованья. Литвин вспоминал Разлоги и первую свою встречу с княжною, вспоминал, как прелестна, юна и мила она была; наконец, припомнив, что есть человек, их всех несчастней, — жених ее, Ян Скшетуский, — принялся спрашивать, что знает о нем маленький рыцарь.

— Скшетуский остался у князя Корецкого в Корце, куда приехал из Киева, и лежит больной, в помраченье, ничего вокруг себя не видя, — сказал Володыёвский.

— А не поехать ли нам к нему? — спросил литвин.

— Незачем нам туда ехать, — ответил Володыёвский. — Княжеский лекарь ручается за его выздоровленье; при нем Суходольский — он хотя и полковник князя Доминика, но со Скшетуским в дружбе, и старый наш Зацвилюховский — оба усердно о нем пекутся. Недостатку он ни в чем не знает, а что пребывает в беспамятстве, оно ж для него лучше.

— Господь всемогущий! — воскликнул литвин. — Неужто ваша милость своими глазами его видел?

— Видел, но не скажи мне, что это он, я б его не узнал ни за что на свете, настолько изнурен бедняга страданиями и болезнью.

— А он тебя узнал?

— Похоже, узнал, потому что, хоть и не сказал ни слова, улыбнулся и головой кивнул, а мне такая жалость стеснила душу, что я дольше возле него оставаться не смог. Князь Корецкий собирается в Збараж вести свои хоругви, Зацвилюховский с ним идти намерен, и Суходольский клянется, что вскоре прибудет, хоть бы и получил от князя Доминика совсем иные распоряженья. Они и Скшетуского с собой привезут, если его болезнь не переможет.

— А откуда ваши милости узнали про смерть княжны Елены? — продолжал расспросы пан Лонгинус и добавил, указывая на князьев: — Не эти ли рыцари привезли известье?

— Нет. Эти рыцари сами случайно услышали обо всем в Корце, куда прибыли с подкреплением от виленского воеводы, и сюда последовали со мной, поскольку нашему князю письма от воеводы должны были передать. Война неминуема, от комиссии уже никакого проку не будет.

— Это мы и тут сидя знаем, ты лучше скажи, от кого о смерти княжны услышал?

— Мне Зацвилюховский сказал, а ему сам Скшетуский. Пан Ян от Хмельницкого получил разрешение в Киеве княжну искать, и митрополит ему обещался помочь. Искали больше по

монастырям: все, кто из наших остались в Кieve, у монахов попрятались. Думали, что и Богун княжну в каком-нибудь монастыре укрыл. Долго искали, не теряя надежды, хотя и знали, что чернь у Микола Доброго двенадцать девиц удушила дымом. Сам митрополит заверял, что невесту Богуна никто не посмеет тронуть, да вышло иначе.

— Значит, она была у Микола Доброго все же?

— То-то и оно. Скшетуский повстречал в одном монастыре Иоахима Ерлича, а поскольку всех расспрашивал о княжне, то и его спросил. Ерлич же ему и скажи, что всех, какие были, девиц казаки сразу увезли, лишь у Микола Доброго осталось двенадцать, да и тех потом в дыму удушили; между них как будто была и княжна Курцевич. Скшетуский, зная недобрый нрав Ерлича, который к тому же от вечного страха как бы тронулся слегка, не поверил и снова кинулся с расспросами в монастырь. На беду, монашки — три их сестры были удушены в той же келье — фамилий не помнили, но, когда Скшетуский описал им княжну, подтвердили, что была такая. Тогда-то Скшетуский из Кieва уехал и вскоре занемог.

— Чудо, что еще жив остался.

— И умер бы беспрременно, если б не тот старый казак, что за ним в плену в Сечи ходил и потом сюда приезжал с письмом, а вернувшись, княжну помогал искать. Он его и в Корец отвез, где с рук на руки Запвильховскому отдал.

— Поддержи его дух, господи, ему уже никогда не найти утешенья, — промолвил пан Лонгинус.

Володыёвский ни слова более не проронил; настало гробовое молчанье. Князья, подперев руками головы, насупя брови, сидели неподвижно, Подбиятка возвел очи к небу, а Заглоба упер остекленевший взор в противоположную стену и, казалось, погрузился в глубокую задумчивость.

— Очнись, сударь! — сказал наконец Володыёвский, тряхнув его за плечо. — О чем задумался? Ничего тебе теперь уже не придумать, и хитростями твоими беде не помочь.

— Знаю, — упавшим голосом ответил Заглоба, — одна у меня дума: стар я стал и нечего мне на этом свете делать.

ГЛАВА XXI

— Вообрази себе, любезный друг, — говорил по прошествии нескольких дней Лонгину Володыёвский, — человек этот в одночасье переменялся так, словно на двадцать лет стал старше. Какой был веселычак, говорун, затейщик, — самого Улисса превосходил хитроумьем! — а нынче что? Рта лишний раз не откроет, дремлет целыми днями, на старость сетует, а если и скажет слово, все равно как сквозь сон. Знал я, что любил он ее, но не предполагал, что так сильно.

— Что ж тут удивительного? — отвечал, вздыхая, литвин. — Потому и привязался крепко, что ее из рук Богуновых вырвал, что ради нее столько раз опасностям подвергался, в тяжкие переделки попадал. Покуда тлела надежда, то и мысль его не дремала, всяческие изобретая затей, и сам твердо на ногах стоял, а теперь и вправду: что делать на свете одинокому старику, которому сердцем не к кому прилепиться?

— Я уж и пить с ним пробовал в надежде, что он от вина воспрянет духом, — все без толку! Пить пьет, но историй несусветных, как в прежние времена, не рассказывает и подвигами своими не похвастается, разве что расчувствуется, а потом голову на брюхо и спать. Уж и не знаю, кто сильнее отчапывается — он или Скшетуский.

— Жаль его невыразимо. Что ни говори, великий был рыцарь! Пойдем к нему, пан Михал. Ведь он привычку имел надомной насмешничать и донимать всячески. Может, и сейчас придет охота? Господи, как же меняются люди! Такой веселый был человек!

— Пошли, — сказал Володыёвский. — Поздновато, правда, но ему по вечерам тяжелей всего: целый день продремлет, а ночью уснуть не может.

Продолжая беседовать, друзья отправились на квартиру к Заглобе; тот сидел у раскрытого окна, подперев голову рукою. Час был уже поздний, в замке остановилось всякое движение, только дозорные перекликались протяжными голосами, а в густом кустарнике, отделяющем замок от города, соловьи исступленно выводили свои ночные трели, свистя, булькая и щелкая с такой силой, с каковой обрушивается на землю весенний ливень. Сквозь распахнутое окно струился теплый майский воздух, лунный свет ярко озарял скорбное лицо и склоненную на грудь лысую голову Заглобы.

— Добрый вечер, ваша милость, — приветствовали его рыцари.

— Добрый вечер, — ответил Заглоба.

— О чем, сударь, размышлялся пред окошком, вместо того чтобы спать ложиться? — спросил Володыёвский.

Заглоба вздохнул.

— Не до сна мне, — проговорил он едва слышно. — Год назад, ровно год, мы с нею от Богуна бежали, и над Кагамлыком точно так же для нас щелкали пташки, а теперь где она?

— Такова, знать, была божья воля, — сказал Володыёвский.

— Чтоб я слезы в тоске проливал! Нету мне ни в чем утешения, пан Михал!

Настало молчание, только все звонче разливались за окном соловьи: казалось, светлая ночь наполнена их щелканьем.

— О боже, боже, — вздохнул Заглоба, — в точности как на Кагамлыке!

Пан Лонгинус смахнул слезу с льяных усов, а маленький рыцарь немного погодя промолвил:

— Знаешь что, сударь? Печаль печалью, а выпей-ка ты с нами медку — нет от тоски целительнее лекарства. А за чаркой, даст бог, лучшие времена придут на память.

— Что ж, выпьем, — безропотно согласился Заглоба.

Володыёвский приказал челядинцу принести огня и жбан меду, а когда все уселись, спросил, понимая, что лишь воспоминания могут отвлечь Заглобу от горьких мыслей:

— Стало быть, уже год, как вы с покойницей из Разлогов от Богуна бежали?

— В мае это было, в мае, — ответил Заглоба. — Мы через Кагамлык переправились, хотели в Золотоношу попасть. Ох, тяжело на свете жить!

— И она переодета была?

— Да, казачком. Волосы мне пришлось бедняжке отрезать, чтоб ее не узнали. Помню даже, в каком месте я их под деревом зарыл вместе с саблей.

— Прелестная была панна! — вставил со вздохом Лонгинус.

— Я ж вам говорю, что с первого дня ее полюбил, словно сам воспитывал с малолетства. А она все рученьки складывата да благодарила за спасение и заботу! Лучше б мне от казацкой сабли пасть, нежели нынешнего дня дождаться! Зачем теперь жить на свете?

Никто ему не ответил; молча пили три рыцаря мед, перемешанный со слезами.

— Думал, подле них в покое до старости доживу, а тут... — начал было опять Заглоба и бессильно уронил руки. — Нечего мне больше ждать, разве что смерть принесет утешенье.

Не успел Заглоба докончить, как в сенях поднялся шум: кто-то пытался войти, а челядинец не пускал; началась громкая перебранка. Вдруг Володыёвскому послышался знакомый голос, и он крикнул челядинцу, чтобы тот впустил пришедшего.

Дверь приотворилась, и в щели появилась щекастая румяная физиономия Редзяна, который, обведя взглядом сидящих за столом, поклонился и сказал:

— Слава Иисусу Христу!

— Во веки веков, — ответил Володыёвский. — Это Редзян.

— Я самый, — молвил парень, — кланяюсь вашим милостям низко. А где мой хозяин?

— Твой хозяин в Корце, он болен.

— О господи! Да что вы говорите, сударь! Не дай бог, опасно?

— Был опасно, а теперь поправляется. Лекарь обещает выздоровленье.

— А я хозяину весточку о княжне привез.

Маленький рыцарь печально покачал головою.

— Напрасно ты спешил, пан Скшетуский уже знает об ее смерти, и мы здесь оплакиваем бедняжку горячими слезами.

У Редзяна глаза на лоб полезли.

— Батюшки-светы! Что я слышу? Неужто барышня померла?

— Не померла, а в Киеве разбойниками убита.

— В каком еще Киеве? Что ваша милость городит?

— Как в каком Киеве? Ты что, не слыхивал про Киев?

— Господи Иисусе! Ваша милость шутит, верно? Откуда ей взяться в Киеве, когда она неподалеку от Рашкова укрыта, в яру над Валадынкой? И ведьме приказано, чтоб до приезда Богуна ни на шаг ее от себя не отпускала. Ей-богу, так и ума недолго решиться!

— Какая еще ведьма? Ты что плетешь?

— А Горпына!.. Я эту сучку хорошо знаю!

Заглоба вдруг вскочил и стал размахивать руками, точно утопающий в отчаянной попытке найти спасенье.

— Помолчи ради всего святого, сударь, — оборвал он Володыевского. — Позволь, черт возьми, и мне слово вставить!

Заглоба побледнел, лысина его оросилась потом — присутствующим даже стало за него страшно, но старый шляхтич, одним махом перескочив через скамью, схватил Редзяна за плечи и спросил хрипло:

— Кто тебе сказал, что она... возле Рашкова укрыта?

— Кто мог сказать? Богун!

— Ты что, брат, спятил?! — рывкнул Заглоба и стал трясти парня как грушу. — Какой Богун!

— Господи помилуй! — завопил Редзян. — Зачем же трясти так? Пустите же, ваша милость, дайте с мыслями собраться... Последние вытрясете мозги, у меня и так все в башке перемешалось... Какой, говорите, Богун? Неужто ваша милость его не знает?

— Говори, не то ножом пырну! — взревел Заглоба. — Где ты Богуна видел?

— Во Влодаве!.. Чего вы от меня, судари, хотите? — закричал перепуганный парнишка. — Кто я, по-вашему? Разбойник с большой дороги?

Заглоба, казалось, вот-вот лишится чувств; не в силах перевести дух, он повалился на скамью, хватая ртом воздух. На помощь ему пришел пан Михал.

— Ты когда Богуна видел? — спросил он у Редзяна.

— Три недели назад.

— Значит, жив он?

— А чего ему не быть живу?.. Ваша милость его искромсал порядком, он сам мне рассказывал, однако же оклемался...

— И он тебе сказал, что княжна под Рашковым?

— А кто ж еще?

— Слушай, Редзян, речь идет о жизни княжны и твоего хозяина! Богун сам тебе говорил, что ее в Киеве не было?

— Сударь мой, как ей было быть в Киеве, когда он ее возле Рашикова спрятал и Горпыне под страхом смерти приказал никуда от себя не пускать, а теперь мне пернач дал и свой перстень, чтобы я к ней туда ехал, потому как у него раны открылись и пролежать придется невесть сколько...

Заглоба не дал Редзяну договорить: вскочив со скамьи и вцепившись в остатки волос обеими пятернями, он закричал как безумный:

— Жива моя доченька, жива, слава богу! Не убили ее в Киеве! Жива моя ненаглядная, жива, жива!

Старик топал ногами, смеялся, плакал, наконец, обхватив Редзяна за шею, прижал к груди и облобызал — бедный парень совсем потерялся.

— Оставьте, ваша милость... задушите! Вестимо, жива... Даст бог, отправимся за нею вместе... Ваша милость... Ну, ваша милость!

— Пусти его, сударь, позволь рассказать до конца, мы же еще ничего не поняли, — сказал Володыёвский.

— Говори скорей! — кричал Заглоба.

— Давай по порядку, братец, — сказал пан Лонгинус, на усах которого тоже осела обильная роса.

— Позвольте, судари, отдышусь, — сказал Редзян, — и окно прикрою, а то слова не выговоришь — больно галдят в кустах проклятые соловьи.

— Меду! — крикнул челядинцу Володыёвский.

Редзян закрыл окно со свойственной ему неторопливостью, после чего повернулся к присутствующим и сказал:

— Дозвольте присесть, ваши милости, ноги от усталости подламываются.

— Садись! — сказал Володыёвский, наливая ему из принесенного челядинцем жбана. — Пей с нами, ты своей новостью не то еще заслужил, только говори скорее.

— Отменный мед! — промолвил Редзян, разглядывая стакан на свет.

— Чтоб тебе пусто было! Рассказывать будешь? — рявкнул Заглоба.

— А ваша милость сейчас гневаться! Ясно, что буду, коли вы того желаете: ваше дело приказывать, а мое слушаться, на то и слуга я. Видать, надобно все как есть рассказать, с самого начала...

— Давай с самого начала!

— Помните, когда пришла весть о взятии Бара, мы посчитали, что барышни уже в живых нету? Я тогда в Редзяны воротился, к родителям и дедушке, которому уже под девяносто... Да, верно... Нет! Девяносто один, пожалуй.

— Да хоть бы и девятьсот!.. — буркнул Заглоба,

— Дай ему господь долгой жизни! Спасибо вашей милости на добром слове,— ответил Редзян. — Так вот, поехал я тогда домой, отвезть родителям, что с божьей помощью принакопил, покуда среди разбойников обретался: как вам уже ведомо, прошлый год я в Чигирине попал к казакам, они меня за своего сочли, потому как я раненого Богуна выхаживал и в большое доверие к нему вошел, а при случае скупал у этих воругов что придется — когда серебро, когда камушки...

— Знаем, знаем! — сказал Володыёвский.

— Приехал, значит, я к родителям, которые очень мне обрадовались, но глазам своим верить не захотели, увидевши, какие я привез подарки. Пришлось поклясться дедушке, что все честным путем добыто. То-то было радости, а надобно вам знать, что у родителей моих идет тяжба с Яворскими из-за груши. Дерево на меже растет: половина веток на их стороне, половина на нашей. Начнут трясти Яворские, наши груши сыплются, а много на межу падает. Они говорят, те, что на меже, ихние, а мы...

— Холоп, ты лучше меня не испытывай! — воскликнул Заглоба. — Хватит болтать, это к делу касательства не имеет...

— Во-первых, да простит меня ваша милость, никакой я не холоп, а шляхтич: хоть и бедны мы, но свой герб имеем, что вам, сударь, и пан поручик Володыёвский, и пан Подбиятка, как знакомцы пана Скшетуского, подтвердить могут, а во-вторых, тяжба эта длится уже пятьдесят лет...

Заглоба стиснул зубы и дал себе слово, что больше не проронит ни звука.

— Хорошо, рыбонька,— ласково молвил пан Лонгинус,— но все ж лучше ты нам не о груше, а о Богуне расскажи.

— О Богуне? — переспросил Редзян. — Ладно, извольте. Так вот, сударь мой, Богун полагает, что нет у него верней, чем я, слуги и друга: хоть он меня в Чигирине и разрубил надвое, да я, правда, за ним ходил и раны перевязывал, еще когда ему от князей Курцевичей досталось. Я ему тогда наворотил с три короба, что, мол, надоело мне панам прислуживать — с казаками прибыльнее дружбу водить, а он поверил. Да и как было не поверить, когда я его выходил?! Так вот, ужасно он меня полюбил и вознаградил, честно говоря, щедро, не ведая о том, что я в душе отмстить за чигиринскую обиду поклялся, а не зарезал его лишь потому, что не пристало шляхтичу врага, к постели прикованного, ножом колоть, точно свинью какою.

— Ну, хорошо, хорошо, это нам тоже известно,— сказал Володыёвский. — Сейчас-то ты его как нашел?

— А дело было так, ваша милость. Поприжали мы Яворских (им теперь только по миру идти, не иначе!), и я себе подумал: «Что ж, пора и мне Богуна поискать, расплатиться за свою обиду». Открылся я родителям и дедушке, а дедушка, горячая голова, и говорит: «Раз клятву дал, ступай, не позорь фамилию нашу». Ну, я и пошел, тем паче что в уме другое еще

прикинул: ежели, думаю, отыщется Богун, то, возможно, и о барышне, коли она жива, кой-чего разузнать удастся, а как пристрелю его и явлюсь к хозяину с новостями, тоже, того и гляди, получу награду.

— Получишь, не сомневайся! И за нами дело не станет,— сказал Володыёвский.

— От меня, братец, считай, имеешь коня со сбруей,— добавил пан Лонгинус.

— Благодарю покорнейше, милостивые судари,— обрадовался слуга,— за добрую весть всякому по справедливости причитается магарыч, а уж я не пропью, мне только дай в руки...

— Ох, я, кажется, не выдержу дольше! — буркнул Заглоба.

— Значит, уехал ты из дома... — подсказал Володыёвский.

— Уехал я, значит, из дома,— продолжал Редзян,— и думаю: куда теперь? Подамся, пожалуй, в Збараж, оттуда и до Богуна рукой подать, и о хозяине скорей разузнать можно. Еду, стало быть, сударь мой, через Белую на Влодаву, и во Влодаве, поскольку лошадки мои устали изрядно, останавливаюсь передохнуть. А там аккурат ярмарка, все постоянные дворы шляхтой забиты. Я к мещанам: и там шляхта! Один только еврей нашелся. «Была, говорит, у меня комната, да ее раненый шляхтич занял». — «Оно и хорошо, говорю, мне не впервой перевязывать раны, а у вашего цирюльника небось по случаю ярмарки рук не хватает». Чего-то там еще еврей бормотал, будто шляхтич этот сам себе делает перевязки и не желает никого видеть, но все же пошел спросить. А тому, видать, хуже стало, велел он меня пустить. Я вхожу. Глядь: Богун на постели!

— Ого! — воскликнул Заглоба.

— Я страсть как перепугался, крестом себя осенил: «Во имя отца, и сына, и святого духа», — а он меня тот же час признал, обрадовался ужасно — я ж у него в друзьях числюсь — и говорит: «Ты мне богом послан! Теперь уж я не помру». А я говорю: «Что ваша милость здесь делает?» — а он палец ко рту; потом только рассказал о своих приключениях: как его Хмельницкий к их величеству королю, тогда еще королевичу, из-под Замостья отправил и как пан поручик Володыёвский в Липкове его чуть не зарубил насмерть.

— Уважительно меня вспоминал? — спросил маленький рыцарь.

— Ничего не могу сказать, сударь мой: уважительно, очень даже. «Я, говорит, думал, экий поскребыш! Щенок, говорит, думал, а он, говорит, витязь чистой воды, чуть меня не располовинил». Зато когда пана Заглобу вспоминал, ух, и скрежетал зубами: мол, ваша милость его на поединок подначил!..

— Дьявол с ним! Он мне теперь не страшен! — ответил Заглоба.

— И снова мы с ним как два дружка стали,— продолжал

Редзян. — Ба! Он еще больше ко мне расположился, все рассказывал: как был к смерти близок, как его в Липкове приютили в барской усадьбе, за шляхтича посчитав, а он назвался паном Гулевичем с Подолья, как его выхаживали, всяческую оказывая доброту, за что он благодетелям своим в вечной благодарности поклонился.

— А что же он во Володаве делал?

— Стал он на Волинь пробираться, но в Парчове телега вместе с ним перевернулась и раны открылись, пришлось остаться, хотя страшно было, потому что там с ним легче легкого расправиться могли. Он мне сам сказал: «Меня, говорит, с письмами послали, а теперь доказательств никаких не осталось, разве что пернач; прознай шляхта, кто я таков, не сносить бы мне головы, да что шляхта — первый бы встречный солдат вздернул, ни у кого не спросившись». Помню, сказал он так, а я ему: «Оно и хорошо, говорю, знать, что первый встречный тебя готов вздернуть». А он мне: «Это еще почему?» — «А потому, говорю, что осторожность надо блюсти и в разговоры ни с кем не вступать, а я вашей милости служить готов». Он меня благодарить, награду пообещал: за мной, говорит, не пропадет. «Сейчас, говорит, у меня денег нету, но драгоценности все, что при мне, — твои, а потом, говорит, я тебя золотом обсыплю, только окажи мне еще одну услугу».

— Ага, похоже, скоро до княжны доберемся! — заметил Володыёвский.

— Воистину так, сударь мой, но уж, дозвоьте, я все по порядку. Услыхал я, стало быть, что денег у него при себе нет, и тотчас всякую потерял жалость. «Погоди, думаю, я тебе окажу услугу!» А он говорит: «Болен я, последние силы оставили, а путь впереди опасный и долгий. Мне бы, говорит, до Волини добраться, до своих — благо отсюда недалеко, — а на Днестр ехать я никак не могу, не выдюжу, говорит, к тому ж через вражеский край, мимо замков и войск пробиваться надо, — езжай-ка вместо меня ты лучше». Я, конечно, спрашиваю: «А куда ехать?» А он мне: «За Рашков, она там у сестры Донцовой, Горпыны-колдуньи, укрыта». Я спрашиваю: «Княжна, что ли?» — «Да, говорит, княжна. Я ее от глаз людских в эту глухомань спрятал, но ей там хорошо, она там, как княгиня Вишневецкая, на золотой парче почивает».

— Не тни бога ради, говори скорее! — вскричал Заглоба.

— Поспешишь, людей насмешишь! — ответил Редзян. — Я чуть не подпрыгнул от радости, такое услыша, но виду не показав и спрашиваю: «Подлинно она там? Твоя милость небось давно уже ее туда отправил?» Он стал божиться, что Горпына, верная его сука, и десять лет ее стеречь будет до его возвращения и что княжна, как бог свят, и посейчас там, потому как туда ни ляхам не добраться, ни татарам, ни казакам, а Горпына приказу, хоть умри, не нарушит.

Во все время рассказа Редзяна Заглоба дрожал как в лихорадке, маленький рыцарь радостно кивал головою, а Подбипятка поминутно устремлял глаза к небу.

— Что она там, сомнения нету,— продолжал слуга,— и лучшее тому доказательство, что он меня к ней отправил. Но я сначала отказывался, чтобы себя невзначай не выдать. «А мне-то зачем, спрашиваю, ехать?» А он на это: «Затем, что я сам не могу. Если, говорит, доберусь на Волынь живой, прикажу отвезти себя в Киев, там наши казаки верховодят, а ты, говорит, поезжай и вели Горпыне туда же ее доставить, в монастырь Святой-Пречистой».

— Ага! Не к Миколе Доброму, значит! — возопил Заглоба. — Я сразу сказал, что Ерлич по злобе соврал, поганец!

— К Святой-Пречистой! — продолжал Редзян. — «Перстень, говорит, тебе дам и нож и пернач. Горпына поймет, что это значит, у нас уговор такой был, а ты, говорит, мне самим богом послан: она и тебя знает, и что ты мой лучший друг, слыхала. Оттуда поедете вместе; казаков бояться нечего, татар же остерегайтесь: заметите где, стороной обходите — они ведь на пернач глядеть не станут. Деньги, говорит, дукаты, в яру закопаны на всякий случай — ты их, говорит, вырой. По дороге одно тверди: «Богунова жена едет!» — ни в чем вам не будет отказу. Впрочем, с ведьмой не пропадете, только ты согласишься ехать; кого еще, говорит, мне, горемычному, посылать, кому в чужом краю, когда одни враги кругом, довериться можно?» Так он меня, любезные судари, упрасивал, только что слезу не пустил, а напоследок велел, бестия, поклясться, что я поеду, я и поклялся, а в душе добавил: «Со своим хозяином!» Ох, и обрадовался он! Тотчас дал мне пернач, нож и перстень и драгоценности, что имел, а я все взял, про себя подумав: пусть лучше у меня, чем у разбойника, будут. На прощанье растолковал еще, который это яр над Валадынкой, как туда ехать, да как оттуда, — все в подробностях объяснил, теперь я и с завязанными глазами найду дорогу, в чем вы и сами сумеете убедиться, потому как, полагаю, мы поедем вместе.

— Завтра же, не откладывая! — сказал Володыёвский.

— Какое там завтра! Нынче на рассвете велим оседлать коней.

Радость овладела всеми сердцами, и понеслись к небесам слова благодарности; весело потирая руки, рыцари забросали Редзяна новыми вопросами, на которые тот отвечал с присущей ему флегматичностью.

— Чтоб тебе ни дна ни крышки! — выкрикивал Заглоба. — Ну и слугу Скшетускому послал всевышний!

— Чем плох слуга! — отвечал Редзян.

— Он тебя, надо думать, озолотит.

— И я полагаю, что без награды не обойдется, хотя и без того верой и правдой служу своему хозяину.

— А что же ты с Богоуном сделал? — спросил Володыёвский.

— То-то и беда, сударь мой, что он мне снова больным попался, — негоже, чай, раненного ножом, хозяин бы за это тоже не похвалил. Такая уж, верно, моя судьба! Что было, по-вашему, делать? Все, что мог рассказать, он мне рассказал, и все, что имел, отдал; тут-то меня и взяли сомненья. С какой стати, говорю себе, этот злодей будет гулять по свету? Одним чертом меньше станет, и слава богу! И еще подумал я: а ну, коли он оправится и за нами следом пустится с казаками, тогда что? И пошел, недолго думая, к пану коменданту Реговскому, который во Влодаве стоит со своей хоругвью, и доложил ему, что это не кто иной, как Богун, наипоопаснейший мятежник. Верно, за это время его уже вздернуть успели.

Сказавши так, Редзян рассмеялся глуповато и обвел взглядом присутствующих, ожидая, что смех будет подхвачен; но, к великому его изумлению, ответом ему было молчанье. Лишь несколько погодя Заглоба первый нарушил тишину, буркнув: «Ладно, не будем об этом», — Володыёвский же продолжал сидеть безмолвно, а пан Лонгинус долго причмокивал языком и покачивал головою и наконец промолвил:

— Некрасиво ты, брат, поступил, что называется, некрасиво!

— Как так, ваша милость? — удивленно спросил Редзян. — Неужто лучше было его прирезать?

— И так плохо, и эдак скверно. Сам не знаю, что лучше: разбойником быть или иудой?

— Да ты что, сударь? Разве Иуда мятежника выдал? Богун ведь и его величества короля, и всей Речи Посполитой враг лютей!

— Оно верно, а все ж некрасиво ты поступил. Как, говоришь; звали коменданта этого?

— Пан Реговский. А по имени, кажется, Якуб.

— Он самый! — пробормотал литвин. — Пана Ланца сродственник и пана Скшегуского недруг.

Впрочем, замечание его не было услышано, потому что заговорил Заглоба.

— Вот что, друзья любезные! — сказал старый шляхтич. — Нельзя нам медлить! Господь — хвала ему! — так распорядился, что благодаря этому слуге нам куда как легче княжну искать будет. Завтра же и отправимся. Князь уехал; поедем без его дозволенья: время не терпит! Втроем поедем: Володыёвский, я и Редзян, а тебе, пан Подбиытка, лучше остаться, рост твой и протодушие нас сгубить могут.

— Нет, братец, я с вами! — сказал Лонгинус.

— Ради ее же блага вашей милости, сударь, надлежит остаться. Кто тебя раз видел, в жизни не позабудет. Правда, у нас пернач есть, но тебе и с перначем не поверят. Ты Полуяна на глазах всего Кривоносова сброды душил; увидь они только среди нас эдакого верзилу, мгновенно обман учуют. Нет, никак

не можно твоей милости с нами ехать. Трех голов тебе там не найти, а от твоей одной немного проку. Чем все дело испортить, сиди лучше на месте.

— Жалко,— сказал литвин.

— Жалко не жалко, а придется остаться. Поедем гнезда с деревьев снимать, то и тебя прихватим, а сейчас неподходящий случай.

— Слух ать гадко!

— Дай же тебя облобызать, дружище, очень уж у меня на душе прекрасно. Оставайся и не горюй. И еще одно, милостивые судари, я хочу сказать. Главное, храните все в тайне: не дай бог разнесется по войску слух, а там и мужичья достигнет. Никому ни слова!

— Ба, а князю?

— Князя нет.

— А Скшетускому, если вернется?

— Ему-то и заикаться нельзя, не то сразу за нами кинется следом. Успеет еще порадоваться, а если, не приведи господь, новая неудача случится, ведь умом повредиться может. Поклянитесь, друзья любезные, что никому ни звука.

— Слово чести! — сказал Подбипятка.

— Слово, слово!

— А теперь возблагодарим господа нашего, владыку.

Сказавши так, Заглоба первый упал на колени; примеру его последовали остальные и молились горячо и долго.

ГЛАВА XXII

Князь несколькими днями ранее действительно уехал в Замостье набирать войска и обратно ожидался нескоро, поэтому Володыбвский, Заглоба и Редзян отправились в путь, никому не сказавшись, в строжайшей тайне; из оставшихся в Збараже посвящен в нее был один лишь пан Лонгинус, и тот, будучи связан словом, молчал как рыба.

Вершулл и прочие офицеры, зная о смерти княжны, не предполагали, что отъезд маленького рыцаря и Заглобы как-либо связан с невестой злосчастного Скшетуского, и скорее склонны были считать, что друзья отправились к нему, тем паче что их сопровождал Редзян, который, как известно, служил Скшетускому. Они же поехали прямо в Хлебановку и там занялись приготовлениями к походу.

Прежде всего Заглоба на занятые у Лонгина деньги купил пять рослых подольских лошадей, незаменимых в долгих переходах; их охотно использовала и польская кавалерия, и казацкая верхушка: такая лошадь могла целый день гнаться за татарским бахматом, а быстротою бега превосходила даже турецких скакунов и лучше, чем они, переносила перемены погоды,

дожди и холодные ночи. Пять таких бегунов и купил Заглоба; кроме того, для себя и товарищей, а также для княжны раздобыл богатые казацкие свитки. Редзян собирал вьюки. Наконец, тщательно все предусмотрев и подготовив, друзья отправились в путь, вверив себя опеке всевышнего и покровителя девственниц святого Николая.

По одежде троицу нашу легко было принять за казачьих атаманов; их и впрямь частенько зацепляли солдаты из польских частей и сторожевых отрядов, разбросанных до самого Каменца вдоль всей дороги,— но с этими без труда сталкивался Заглоба. Долгое время ехали по местам безопасным, занятым хоругвями региментария Ланцкоронского, который не спеша подвигался к Бару для присмотра за стягивавшимися туда ватагами казаков. Ни у кого уже не оставалось сомнений, что от переговоров нечего ждать толку; над страной нависла угроза войны, хотя главные силы пока в действие не вступали. Срок переяславского перемирия истек к троицыну дню. Отдельные стычки, которые по-настоящему никогда и не прекращались, теперь участились, и с обеих сторон ожидали только сигнала. Меж тем в степи бушевала весна. Земля, истоптанная копытами, оделась ковром трав и цветов, выросших на останках павших воинов. Над побоищами в голубой выси летали жаворонки, в небе с криком тянулись разнovidные птичьи стаи, на поверхность широко разлившихся вод теплый ветерок нагонял сверкающую рябь, а по вечерам лягушки, блаженствуя в нагретой за день воде, допоздна вели веселые разговоры.

Казалось, сама природа жаждет заживить раны, утишить боль, могилы укрыть под цветами. Светло было на небе и на земле, свежо, весело, легко, а степь, играя красками, сверкала, как парча, переливаясь, как радуга, как польский пояс, на котором умелой рукодельницей искусно соединены всяческие цвета. Степи звенели птичьими голосами, и вольный ветер гулял по ним, осушая воды, заставляя покрываться темным румянцем лица.

Как тут было не возрадоваться сердцам, не исполниться беспредельной надеждой! Надежда открыла и наших рыцарей. Володыёвский без умолку напевал, а Заглоба, потягиваясь в седле, с наслаждением подставлял солнечным лучам спину, а однажды, согрившись хорошенько, обратился к маленькому рыцарю с такими словами:

— Экое блаженство! Правду сказать, после венгерского и меду нет для старых костей ничего лучше солнца.

— Всем оно приятно, — отвечал Володыёвский, — всякие *animalia*¹, заметь, любят лежать на припеке.

— Счастье, что в такую пору за княжной едем, — продолжал Заглоба, — зимою в мороз с девушкой убегать ох как было бы тяжело.

¹ живые существа (лат.).

— Только бы она в наши руки попала, я не я буду, если кто ее у нас потом отнимет.

— Признаюсь тебе, пан Михал,— ответил на это Заглоба,— есть у меня одно опасенье: как бы в случае войны татарва в тех краях не зашевелилась и не окружила нас,— с казаками-то мы сладим. Мужичью вовсе ничего объяснять не станем. Ты заметил, они нас за старшин принимают, а запорожец уважает пернач, да и Богуново имя нам щитом послужит.

— Знаю я татар, у нас на Лубненщине беспрестанно с ними случались стычки, а уж мы с Вершуллоом ни днем, ни ночью не имели покоя,— ответил пан Михал.

— И я их знаю,— молвил Заглоба. — Помнишь, рассказывал тебе, что много лет провел среди них и в большой мог войти почет, да обасурманиваться не захотелось — пришлось плюнуть на все блага, а они еще мученической смерти предать меня хотели за то, что я главного их муллу в истинную обратил веру.

— А ваша милость однажды сказывал, это в Галате было.

— В Галате своим чередом, а в Крыму своим. Ежели ты полагаешь, Галатой свет кончается, то небось и не ведаешь, где раки зимуют. Нечестивых на свете поболее, чем детей Христовых.

Тут в разговор вмешался Редзян.

— Не только татары помехи чинить могут,— заметил он. — Я вам еще не сказал, чего от Богуна услышал: яр этот стережет нечистая сила. Великанша, что караулит княжну, сама могутная чародейка и с чертями в дружбе; боюсь, как бы они ее не предостерегли. Есть, правда, у меня одна пуля, сам отливал над освященной пшеницей,— никакая другая не возьмет эту ведьму, но, кроме нее, там вроде бы целые полчища упырей охраняют подходы. Придется уж вам позаботиться, чтобы мне ничего худого не случилось, а то и награда моя пропадет...

— Ах ты, трутень! — воскликнул Заглоба. — Нет у нас иных забот, кроме как о твоём здоровье печьяся! Не свернет тебе дьявол шеи, не бойся, а хоть бы и свернул, все едино: так и так за свою алчность попадешь в пекло. Я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь, а еще заруби у себя на носу, что если Горпына могутная ведьма, то я похлеще ее колдун, потому как в Персии черной магии обучался. Она чертям служит, а они — мне, я бы землю на них мог пахать, да неохота — о спасенье души как-никак надо думать.

— Оно верно, сударь, но на сей раз все ж употребите свою силу: всегда лучше от опасности оградиться.

— А я больше в правоту нашего дела верю и уповаю на милость господню,— сказал Володыёвский. — Пусть Горпыну с Богуном охраняют черти, а с нами ангелы небесные, против них не устоять самой отборной сатанинской рати; на всякий случай я поставлю Михаилу-архангелу семь свечей белого воску.

— Ладно, и я одну добавлю,— сказал Редзян,— чтобы их милость пан Заглоба вечными муками не страдал больше.

— Я первый тебя в ад отправлю,— ответил шляхтич,— окажись только, что ты пути не знаешь.

— Как не знаю? Добраться бы до Валадынки, а там я хоть с завязанными глазами... Ежели берегом к Днестру поедем, яр будет по правую руку, а узнать его проще простого: вход валуном загорожен. На первый взгляд кажется, туда попасть нельзя, но в камне проем есть: две лошади бок о бок проходят. Лишь бы доехать, а там никто от нас не уйдет, один только в этот яр вход и выход, а стены вокруг высоченные, не перелететь и птице. Ведьма всякого, кто без спросу сунется, убивает, кругом остовы человеческие валяются, но Богун велел не обращать внимания, а ехать да покрикивать: «Богун! Богун...» Тогда она нас как своих примет. А кроме Горпыны, там еще Черемис есть, чертовски метко из пицали стреляет. Обоих убить надо будет.

— Черемиса-то ладно, не спорю, а бабу и связать довольноно.

— Свяжешь ее, как же! Силища в ней страшная — кольчугу рвет, как рубаху, подкову в руку возьмет — хрясть, и нету. Пан Подбиятка, может, еще бы справился, а нам нечего и мечтать. Насчет ведьмы не беспокойтесь, у меня для нее припасена свяченая пуля; лучше, чтоб издохла, чертовка, не то ведь полетит волчицей вдогонку, казаков всполошит воем — своих голов не увезем, не то что барышню Елену.

В таких беседах да совещаньях проходило время в дороге. А ехали быстро, только и мелькали мимо местечки, села, хутора и курганы. Путь держали через Ярмолинцы к Бару, оттуда лишь решено было повернуть к Днестру, на Ямполь. Места попадались знакомые: здесь когда-то Володыёвский разбил отряд Богуна и освободил из плена Заглобу. Даже на хутор тот самый наткнулись — там и заночевали. Порой, правда, случалось ночевать и под открытым небом, в степи. Ночлеги тогда скрашивал Заглоба, рассказывая о давних своих похождениях были и небывлицы. Но больше всего говорили о княжне Елене и о грядущем ее освобождении из колдуньиной неволи.

Наконец окончились места, охраняемые хоругвями Ланцкороцкого. Далее хозяйничали казаки — в том краю ни одного ляха не осталось: кто не убежал, был предан огню и мечу. Май сменился знойным июнем, а друзья наши проделали только третью часть своего трудного и долгого пути. К счастью, со стороны казаков им опасности не грозило. Мужичким ватагам вовсе ничего объяснять не приходилось — они обыкновенно принимали путников за старшин запорожского войска. А если иной раз и спрашивали, кто такие, Заглоба, когда любопытствовал сечевик, показывал Богунов пернач, а простого головореза, не слезая с коня, пинал ногою в грудь и валил наземь — прочие, завидя такое, немедленно убирались с дороги, полагая, что своего зацепили, и не просто своего, — коли бьет, значит, важная птица. «Может, Кривонос или Бурляй, а то и сам батько Хмельницкий».

И все же Заглоба частенько сетовал на громкую Богунову славу: уж очень им досаждали запорожцы своим любопытством, отчего и задержки немалые в пути случались. Сплошь да рядом конца не было расспросам: здоров ли? жив ли? — слух о гибели атамана докатился до самого Ягорлыка и до порогов. Когда же путники отвечали, что Богун в добром здравии и на свободе, а они — его посланцы, всяк кидался их лобызать да потчевать, не только душу, но и кошелек раскрывая, чем сметливый слуга Скшетуского ни разу не преминул воспользоваться.

В Ямполе их принял Бурляй, прославленный старый полковник, с запорожским войском и чернью поджидавший там буджакских татар. Некогда он учил Богуна ратному искусству, брал с собою в черноморские походы — в одном из таких походов они вместе ограбили Синоп. Бурляй любил Богуна, как сына, и посланцев его встретил ласково, без малейшего недоверья, тем паче что год назад видел при нем Редзяна. А узнавши, что Богун жив и направляется на Вольнь, на радостях закатил для гостей пир горою и сам первый допьяна напился.

Заглоба опасался, как бы Редзян, захмелев, не сболтнул лишнего, но оказалось, что хитрый, как лиса, слуга знает, когда можно говорить правду, и потому не только не вредил делу, а, напротив, еще больше располагал к себе казаков. Странно, тем не менее, было рыцарям нашим слушать пугающие своей откровенностью разговоры, в которых частенько и их имена упоминались.

— А мы слыхали, — говорил Бурляй, — что Богун в поединке засечен. Не знаете, случаем, кто его так?

— Володыёвский, офицер князя Яремы, — спокойно отвечал Редзян.

— Ох, отплатил бы я ему за нашего сокола, попадись он мне в руки. Шкуру бы заживо велел содрать!

Володыёвский задвигал льяными своими усиками и бросил на Бурляя такой взгляд, каким глядит борзая на волка, которому ей не позволено вцепиться в глотку. Редзян же на этом не остановился:

— Для того, пан полковник, я и назвал его имя.

«Ох, и потешится сатана, когда ему этот малый попадет-ся!» — подумал Заглоба.

— Но, — продолжал Редзян, — он не столь уж и виноват: Богун сам его вызвал, не зная, какого задирает рубаку. Там еще один был шляхтич, злейший Богунов недруг, который раз уже княжну у него похитил.

— Кто такой?

— О, старый пьянчуга, что с атаманом нашим в Чигирине ляхов вешал и лучшим прикидывался другом.

— Сам будет повешен! — крикнул Бурляй.

— Гореть мне в огне, ежели я ушей этому поскребышу не отрежу! — буркнул себе под нос Заглоба.

— Так его порубили,— не унимался Редзян,— что другого давно бы уже вороные склевало, но наш атаман не чета другим, кое-как оклемался, хотя до Влодавы едва дотащился, и еще неизвестно, чем бы все обернулось, кабы не мы. Мы его на Волынь отправили, к нашим, а он нас сюда послал за княжною.

— Погубят его чернобровые! — проворчал Бурляй. — Я ему давно пророчил. Нет чтобы поиграть по-казацки с девкой, а потом камень на шею и в воду, как у нас на Черном море водилось!

Володыёвский, задетый в своих чувствах к прекрасному полу, едва удержал язык за зубами. Заглоба же, рассмеявшись, молвил:

— И верно, оно бы лучше.

— Вы хорошие други! — сказал Бурляй. — Честь вам и хвала, что его в беде не кинули, а ты, малый,— обратился он к Редзяну,— ты лучше всех, я тебя еще в Чигирине заприметил, когда ты сокола нашего берег да лелеял. Знайте же: и я друг вам. Говорите, чего желаете? Хоть молодцев, хоть коней просите — все исполню, чтоб на обратном пути вас кто не обидел.

— Молодцы нам ни к чему, пан полковник,— ответил Заглоба. — Мы же люди свои и по своему краю поедем, а ежели не приведи господь, недобрая случится встреча — большая ватага помеха только, а вот резвые скакуны очень быгодились.

— Я вам таких дам — бахматам ханским не угнаться.

Тут опять встрял Редзян, дабы не упустить случай:

— А грошей мало нам дав отаман, бо сам не мав, а за Брацлавом мерка овса — талер.

— Ходи со мной в кладовую,— сказал Бурляй.

Редзяну не пришлось повторять дважды: он исчез вместе со старым полковником за дверь, а когда вскоре появился снова, толстощекая его физиономия сияла, а синий жупан на животе был слегка оттопырен.

— Ну, езжайте с богом,— промолвил старый казак,— а заберете девку, заверните ко мне, погляжу и я на Богунову занобу.

— И не проси, пан полковник,— смело ответил Редзян,— ляшка эта страх как пуглива и раз уже себя ножом пырнула. Боязно нам, как бы ей чего худого не случилось. Пусть уж атаман сам с нею управляется.

— И управится!.. При нем сразу пугаться забудет. Ляшка — білоручка! Казаком гнушается! — проворчал Бурляй. — Езжайте с богом! Теперь уже недалече!

От Ямполья до Валадынки и правда недалеко было, но дорога рыцарям нашим предстояла нелегкая — не дорога даже, а сплошь бездорожье: места тамошние в те времена были еще пустыней, редко где застроенной и заселенной. От Ямполья друзья взяли несколько на запад, отдаляясь от Днестра, чтобы затем спуститься к Рашкову по Валадынке: только таким путем можно было до-

браться до яра. Уже занимался рассвет — пир у Бурляя затянулся до поздней ночи, — и Заглоба рассчитывал, что до захода солнца им не найти яра, а это ему как раз на руку было: он не хотел освобождать Елену на ночь глядя. Ехали, рассуждая о том, как им до сих пор везло всю дорогу. Заглоба, вспомнив пир, который закончил Бурляй, заметил:

— Подумать только, до чего крепко казацкое братство — во всяком деле горой стоят друг за друга! О черни я не говорю — этих казаки сами презирают. Поможет им сатана нашу власть скинуть, простой люд еще пуще от них наплачется. За своих же в огонь и воду пойдут, не то что наш брат шляхтич.

— Ой, нет, сударь мой, — отвечал на это Редзян. — Я долго среди них жил, видел, как они меж собой хуже волков грызутся, а не стань Хмельницкого, который их если не силой, то хитростью в узде держит, мигом пожрут друг дружку. Бурляй, правда, прочим не чета — великий это воин, сам Хмельницкий его чтит.

— Да ты небось превозносишь его за то, что он обобрат себя позволил. Эх, Редзян, Редзян! Не умереть тебе своею смертью!

— Это уж, сударь мой, смотря что мне написано на роду! Чай, врага провести — и похвально, и богу угодно!

— Я ж тебя не за то корю, а за твою алчность. Холопское это свойство, недостойное шляхтича; не миновать тебе наказания.

— А я, когда случится подзаработать, не поспею в костеле свечку поставить — пускай и от меня будет корысть господу богу, а там, глядишь, и на будущее получу благословенье, а отцу с матерью помогать — разве ж это греховное дело?

— Ох, хитер, шельма! — воскликнул, обращаясь к Володыёвскому, Заглоба. — Я почитал, вместе со мной и фортели мои погребены будут, но, вижу, проныра этот меня заткнет за пояс. Подумать только: благодаря хитроумию какого-то мальчишки мы нашу княжну у Богуна увезем из-под носа с его же соизволения, да еще на Бурляевых лошадях! Ты когда-нибудь что-либо подобное видел? А поглядеть, так и ломаного гроша не стоит,

Редзян ухмыльнулся довольно и ответил:

— Ох, сударь мой, разве нам от этого хуже?

— Ты мне по душе, малый, кабы не жадность твоя, я бы тебя взял в услуженье, а за то, что пьянчугой меня назвал, так уж и быть, прощаю — больно ловко ты провел старого атамана.

— Не я вашу милость так назвал, а Богун.

— Господь его за это и покарал, — ответил Заглоба.

За такими разговорами прошло утро, а когда солнце высоко поднялось на небесный свод, охота шутить сама собою пропала — через несколько часов должна была показаться Валадынка. После долгих странствий путники наконец приблизились к цели, но тревога, неизбежная в подобных обстоятельствах, закралась им в душу. Жива ли еще Елена? А если жива, то отыщут ли они ее в яре? Горпына могла увезти девушку либо в последнюю

минуту спрятать в каком-нибудь глухом углу, а то и умертвить даже. Преграды не были еще преодолены, опасности не миновали. У них, правда, имелось все необходимое для того, чтобы Горпына признала их посланцами Богуна, исполняющими его волю, — ну а вдруг ее и впрямь предостережет нечистая сила? Этого более всего опасался Редзян, да и Заглоба, хоть и мнил себя знатоком черной магии, испытывал некоторое беспокойство. Ежели оно так случится, как бы не застать яр опустевшим либо — что еще хуже — не наткнуться на укрытых в засаде рашковских казаков. Вот и стучали сердца тревожно, а когда наконец, спустя несколько часов, путники увидели с высокого обрыва сверкающую вдалеке ленту реки, пухлая физиономия Редзяна заметно побледнела.

— Валадынка! — сказал он, понизив голос.

— Уже? — так же тихо спросил Заглоба. — Как мы близко!..

— Господи, сохрани наши души! — пробормотал Редзян. — Скажите-ка, сударь мой, поскорей заклятье, а то страх как жутко.

— Глупости это все! Осеним крестом ущелье да реку — лучше всякого заклятья поможет.

Володыёвский молчал; с виду он был спокоен, только осмотрел тщательно пистолеты и подсыпал свежего пороху на полки, да проверил, легко ли выходит из ножен сабля.

— И у меня освященная пуля есть — в этом вот пистолете, — сказал Редзян. — Вперед, во имя отца, и сына, и святого духа!

— Вперед! Вперед!

Вскоре всадники достигли берега речки, но, прежде чем воротить лошадей вниз по течению, Володыёвский остановил на минуту товарищей и сказал Заглобе:

— Отдай пернач Редзяну, колдунья его знает, пускай он и говорит с нею первый, а то еще испугается нас и убежит невесть куда с княжной вместе.

— Нет, как хотите, а первый я не поеду, — заявил Редзян.

— Тогда езжай последним, трутень паршивый!

С этими словами Володыёвский поскакал вперед, за ним последовал Заглоба, а позади с запасными лошадьми трусил Редзян, беспокойно озираясь по сторонам. Вокруг царила глухая тишина пустыни, только докали по камням копыта да громко стрекотала саранча и кузнечики, попрятавшиеся в расщелины от зноя: хотя солнце уже клонилось к западу, жара не спадала. Наконец всадники въехали на округлый, похожий на перевернутый рыцарский щит взгорок, по которому разбросаны были выветрившиеся, выжженные солнцем валуны, подобные развалинам, рухнувшим домам и колокольням; казалось, перед ними то ли замок, то ли город, накануне разрушенный во время штурма. Редзян поглядел и тронул Заглобу за плечо.

— Вражье урочище, — сказал он. — Богун так мне его и описал. Ночью здесь не пройти живыми.

— Пройти не пройти, а проехать можно,— ответил Заглоба.— Тьфу! Экое проклятое место! Но мы на верном пути хотя бы?

— Теперь уже близко! — сказал Редзян.

— Слава богу! — буркнул Заглоба и мыслями устремился к княжне.

Странное что-то творилось в его душе: глядя на эти дикие берега, на пустынную глухомань, старый шляхтич с трудом мог поверить, что княжна так близко — та самая княжна Елена, ради которой он столько невзгод испытал и столько преодолел препятствий, которую так полюбил, что, услышав о ее смерти, потерял всякий вкус к жизни. Впрочем, человек свыкается с любым несчастьем; Заглоба за долгий срок успел сжиться с мыслью, что она похищена и находится неведомо где в Богуновой власти, и потому теперь не осмеливался сказать себе: вот и пришел конец поискам и тоскливому ожиданью, близок час блаженного покоя. В то же время иные вопросы теснились в уме: что скажет она, его увидев? Неужто не залетят слезами? Ведь спасение от долгой и тяжелой неволи грянет как гром с ясного неба. «Неисповедимы пути господни,— думал Заглоба,— всевышний так все повернуть может, чтоб добродетель восторжествовала, а неправедность была нещадно посрамлена». В конце концов, бог сперва отдал Редзяна Богуну в руки, а потом связал их дружбой. По воле божьей война, злая мачеха, призвала страшного атамана покинуть эту глухомань, куда он, точно волк, уволок свою добычу. Бог впоследствии наслал на него Володыёвского и снова с Редзяном свел — и так все сложилось, что сейчас, когда Елена, возможно, теряет последнюю надежду и ниоткуда уже не ждет избавленья,— избавление придет неожиданно! «Конец твоим печалям, доченька,— думал Заглоба,— вскоре суждено тебе изведать безмерную радость. Ой! Как же она благодарить будет, рученьки складывать! Какпе слова станет говорить!»

Как живая явилась княжна Заглобе — и совсем расчувствовался старый шляхтич и весь ушел в свои думы, представляя, что в скором времени должно случиться.

Вдруг Редзян дернул его за рукав:

— Ваша милость!..

— Чего тебе? — спросил Заглоба, недовольный, что прерывают его размышленья.

— Видели, ваша милость? Волк перебежал дорогу.

— Пу и что?

— А волк ли?

— Догони да проверь.

В эту минуту Володыёвский придержал лошадь.

— А мы, часом, не сбились с дороги? — спросил он. — Пора бы уже быть на месте.

— Нет! — ответил уверенно Редзян. — Как Богун говорил, так и едем. Господи, поскорей бы уже все это кончалось.

— Скоро и кончится, ежели верно едем.

— Я еще хочу вас, судари, попросить: присматривайте за Черемисом этим, покуда я с колдуньей толковать буду; мерзок он, видно, ужасно, но из пищали без промаху стреляет.

— Не бойся. Поехали!

Но не проехали они и полсотни шагов, как лошади начали храпеть и прятать ушами. Редзян прямо-таки гусиной кожей покрылся: ему представилось, что из-за излома скалы вот-вот раздается вой упыря или выскочит невиданная паскудная тварь, — однако оказалось, лошади захрапели потому лишь, что всадники приблизились к логову того самого волка, который раньше напугал парня. Вокруг было тихо, даже саранча стрекотать перестала, потому что солнце уже скатилось на край неба. Редзян перекрестился и вздохнул с облегчением.

Вдруг Володыёвский остановил лошадь.

— Вижу яр, — сказал он, — вход валуном завален, а в валуне проем.

— Во имя отца, и сына, и святого духа, — прошептал Редзян, — это здесь!

— За мной! — скомандовал, заворачивая коня, пан Михал.

Через минуту они достигли проема и въехали под каменный свод. Перед ними открылся глубокий яр, густо заросший по склонам, образующий в своем начале просторную полукруглую поляну, словно бы обнесенную высокой отвесной стеною.

Редзян завопил что было мочи:

— Бо-гун! Бо-гун! Здорово, ведьма! Здорово! Бо-гун! Бо-гун!

Придержав коней, друзья постояли несколько времени в молчанье, потом Редзян снова принялся кричать:

— Богун! Богун!

Издали донесся лай собак.

— Богун! Богун!..

На левом склоне яра в красных и золотых лучах солнца зашелестели густые заросли боярышника и дикой сливы; немного погода чуть ли не на самом краю обрыва появилась какая-то фигура: изогнувшись и заслонив глаза рукою, она разглядывала пришельцев.

— Это Горпына! — сказал Редзян и, приставив ковшиком ладони ко рту, в третий раз крикнул:

— Богун! Богун!

Горпына начала спускаться, откинувшись назад для равновесия. Шла она быстро, а за нею катился низкорослый, коренастый человечек с длинной турецкой пищалью; кусты ломались под тяжелыми шагами ведьмы, камни с грохотом скатывались на дно оврага; изогнувшаяся, в пурпурном блеске, она и впрямь казалась исполинским сверхъестественным существом.

— Вы кто? — спросила, спустившись, зычным голосом ведьма.

— Как живешь, касатка? — крикнул в ответ Редзян; едва он убедился, что перед ним не духи, а люди, к нему вернулось обычное хладнокровье.

— Ты, никак, Богунов слуга? Ну да! Узнаю! Здорово, мальй! А это с тобой что за птицы?

— Дружки Богуновы.

— Хороша ведьма, — буркнул в усы пан Михал.

— А сюда пошто прискакали?

— Вот тебе пернач, нож и перстень — смекаешь, что это значит?

Великанша взяла все и внимательно осмотрела каждую вещь, после чего сказала:

— Они самые! Вы за княжной, что ли?

— Точно так. Здорова она?

— Здорова. А чего Богун сам не приехал?

— Ранен Богун.

— Ранен?.. Я на мельнице видала.

— Коли видала, зачем спрашиваешь? Врешь небось бестыжая! — совсем уже по-свойски заговорил Редзян.

Ведьма усмехнулась, показав белые, как у волчицы, зубы, ткнула Редзяна кулаком в бок.

— Ну ты, парень!

— Пошла прочь!..

— Испугался? А то поцеловал бы! А! Когда княжну забереете?

— Прямо сейчас, лошади только отдохнут...

— Ну и забирайте! Я с вами поеду.

— А ты зачем?

— Брату моему смерть написана. Его ляхи на кол посадят. Поеду с вами.

Редзян изогнулся в седле, будто для того, чтобы удобнее было говорить с ведьмой, а сам незаметно положил на пистолет руку.

— Черемис, Черемис! — негромко крикнул он, чтобы привлечь внимание своих спутников к уродцу.

— Зачем зовешь? У него язык отрезан.

— Я не зову, я красоте его дивлюсь. Неужто бросишь его? Он муж твой.

— Он мой пес.

— И вас только двое в яру?

— Двое. Княжна третья!

— Это хорошо. Ты без него не поедешь.

— Я тебе сказала: поеду.

— А я тебе говорю: останешься.

Было в голосе парня нечто такое, отчего великанша повернулась, не сходя с места, и на лице ее выразилось беспокойство от закравшегося в душу внезапного подозрения.

— Що ти? — спросила она.

— От що я! — ответил Редзян и выстрелил почти в упор из пистолета — пуля попала промеж грудей ведьмы: на минуту всю ее заволокло дымом.

Горпына попятилась, раскинув руки, глаза выкатились, нечеловечий вопль вырвался из глотки. Пошатнувшись, она грянулась навзничь.

В ту же секунду Заглоба хватил Черемиса саблей по голове с такой силой, что кость хрястнула под лезвием. Чудовищный карла, не издав и стона, свернулся как червь и задергался в корчах, а пальцы его, будто когти издыхающей рыси, то скрючивались, то снова распрямлялись.

Заглоба вытер полой жупана дымящуюся саблю, а Редзян соскочил с лошади и, схвативши камень, бросил его на широкую грудь Горпыны, а потом стал шарить у себя за пазухой.

Исполинское тело ведьмы еще вздрагивало, она била ногами землю, судорога страшно исказила ее лицо, на ощерившихся зубах выступила кровавая пена, а из горла исходило глухое хрипенье.

Между тем Редзян вытащил из-за пазухи кусочек освященного мела, начертил на камне крест и промолвил:

— Теперь не встанет.

После чего вспрыгнул в седло.

— Вперед! — скомандовал Володыёвский.

Вихрем помчались друзья вдоль ручья, бегущего посредине яра, миновали редкие дубы, растущие при дороге, и глазам их открылась хата, а за нею высокая мельница. Мокрое колесо сверкало, точно багряная звезда, в лучах заходящего солнца. Два огромных черных пса, привязанные по углам хаты, рванулись к всадникам с яростным лаем и воем. Володыевский ехал первым и первым достиг цели; соскочив с лошади и подбежав к двери, он пнул ее ногой и, брэнча саблей, ворвался в сени.

В сенях по правую руку приотворенная дверь вела в просторную горницу, где на полу лежал огромный ворох щепок, а посередине тлел очаг, наполняя горницу дымом. Дверь слева была закрыта.

«Наверно, она там!» — подумал Володыевский и бросился налево.

Толкнулся, дверь отворилась, ступил на порог и остановился как вкопанный.

В глубине светлицы, опершись рукою о спинку кровати, стояла Елена Курцевич, бледная, с рассыпавшимися по плечам волосами; в испуганных ее глазах, устремленных на Володыевского, читался вопрос: кто ты? чего тебе надо? — она никогда прежде не видела маленького рыцаря. Он же остолбенел, потрясенный ее красотой и видом светлицы, убранной бархатом и парчю. Наконец дар речи вернулся к нему, и он проговорил поспешно:

— Не бойся, любезная панна: мы друзья Скшетуского!

Княжна упала на колени.

— Спасите меня! — вскричала она, заламывая руки.

В эту минуту на пороге появился, весь дрожа, Заглоба, запыхавшийся, багровый.

— Это мы! Мы с помощью! — кричал он.

Услышав эти слова и увидя знакомое лицо, княжна покачнулась, как срезанный цветок, руки ее бессильно упали, очи закрылись пушистой завесой, и она лишилась чувств.

ГЛАВА XXIII

Едва дав лошадям отдохнуть, друзья наши помчались назад с такой быстротою, что, когда месяц взошел над степью, они были уже в окрестностях Студенки за Валадынкой. Впереди ехал Володыёвский, внимательно глядя по сторонам, за ним, рядом с Еленой, Заглоба, а позади всех Редзян. Он вел вьючных лошадей и еще двух запасных, которых не преминул прихватить из Горпыниной конюшни. Заглоба рта не закрывал, да и было что порассказать княжне, которая, сидя в глухом яру, не ведала, что творится на свете. И старый шляхтич рассказывал девушке, как они ее с первого дня искать стали, как Скшетуский до самого Переяслава по следам Богуна дошел, не зная, что тот ранен, наконец, как Редзян выведал тайну ее убежища у атамана и привез в Збараж.

— Боже милосердный! — восклицала Елена, обращая к месяцу прелестное бледненькое свое лицо, — значит, пан Скшетуский за Днепр меня искать ходил?

— Говорю тебе, в самом побывал Переяславе. И сюда непременно бы вместе с нами явился, будь у нас время за ним послать, но мы решили не мешкая к тебе на выручку ехать. Он еще не знает, что ты спасена, и за душу твою молится дивно и ночью, однако ты его не жалея. Пусть еще немного помучится — зато какую получит награду!

— А я уж думала, все меня позабыли, и лишь о смерти просила бога!

— Не только не позабыли, а всякую минуту размышляли, как бы тебе на помощь прийти. Иной раз диву даешься: ладно, я голову ломал или Скшетуский, оно понятно, но ведь этот рыцарь, что впереди скачет, не меньше нашего проявлял усердьё, ни трудов своих, ни рук не жалея!

— Да вознаградит его всевышний!

— Есть, видно, в вас обоих нечто, отчего людей к вам тянет, а Володыёвскому ты воистину должна быть благодарна: я ж тебе говорил, как мы с ним Богуна искромсали.

— Пан Скшетуский мне в Разлогах еще о пане Володыёвском, как лучшем друге своем, рассказывал много...

— И правильно делал. Большая душа в этом малом теле! Теперь, правда, на него одурь нашла — краса, видно, твоя ошело-

мила, но погоди — освоится и опять прежним станет! Ох, и славно мы с ним гульнули на выборах в Варшаве.

— У нас новый король, значит?

— И об этом ты, бедняжка, не слыхала в глухомани своей проклятой? А как же! Ян Казимир еще прошлой осенью избран, восьмой уже месяц правит. Великая вскоре грядет война с мятежным людом; дай бог нам в ней удачи: князь Иеремия от всего отстранен, других вместо него повыбирали, а от них, что от козла молока, толку.

— А пан Скшетуский пойдет на войну?

— Пан Скшетуский истинный воин; не знаю уж, как ты его удержишь. Мы с ним одного поля ягоды! Чуть пахнет порохом — никакая сила не остановит. Ох, и задали мы смутьянам прошлый год перцу. Ночи не хватит рассказать все, как оно было... И сейчас, ясное дело, пойдем, только уже с легкой душою: главное, мы тебя, бедняжечку нашу, отыскали, а то ведь и жизнь была не в радость.

Княжна приблизила очаровательное свое личико к Заглобе.

— Не знаю, за что ты, сударь, меня полюбил, но уж, поверь, я тебя люблю не меньше.

Заглоба даже засопел от удовольствия.

— Так ты меня любишь?

— Клянусь богом!

— Храни тебя владыка небесный! Вот и мне на старые лета послано утешенье. Признаться, ваша сестра еще нет-нет, а состроит старику глазки, да-да, и в Варшаве на выборах такое случилось, Володыёвский свидетель! Но меня амуры уже не волнуют, пусть кровь играет, а я — вопреки тому — отеческими чувствами довольствоваться буду.

Настало молчание, только лошади вдруг одна за другой громко зафыркали, суля путникам удачу.

— На здоровье! На здоровье! — ответили всадники дружно.

Ночь была ясная. Месяц все выше взбирался на небо, утыканное мерцающими звездами, и все меньше, все бледней становился. Притомившиеся бахматы замедлили шаг, да и всадников одолевала усталость. Володыёвский первый остановил лошадь.

— Пора и отдохнуть. Развиднеется скоро, — сказал он.

— Пора! — поддержал его Заглоба. — Глаза слипаются: как ни погляжу на лошадь — все две головы вижу.

Редзян, однако, решил, что прежде всего следует подкрепиться; он развел огонь и, снявши с лошади переметные сумы, принялся выкладывать припасы, предусмотрительно захваченные из Бурляевой кладовой: кукурузный хлеб, вареное мясо, валашское вино и сладости. При виде двух кожаных мехов, изрядно выпятивших свои бока и издающих сладостное уху бульканье, Заглоба забыл и думать о сне, да и прочие с удовольствием принялись за ужин. Припасов хватило на всех с избытком, а когда наелись вволю, старый шляхтич, утерев полою уста, промолвил:

— До смерти не устану повторять: неисповедимы пути господни! Ты свободна, барышня панна, а мы сидим себе тут *sub Jove*¹, радуемся и Бурляево вино попиваем. Венгерское, конечно, получше, это припахивает кожей, но ничего, в пути сойдет и такое.

— Одному не могу надивиться,— сказала Елена,— как это Горпына столь легко отдать меня согласилась?

Заглоба поглядел сперва на Володыёвского, потом на Редзяна и усиленно заморгал глазами.

— Потому согласилась, что иного выхода не имела. А впрочем, чего таиться, дело не стыдное: мы их с Черемисом на тот свет отправили.

— Как так? — испуганно спросила княжна.

— А ты разве выстрелов не слыхала?

— Слыхала, но подумала, Черемис стреляет.

— Не Черемис, а вон этот малый — на месте пристрелил колдунью. Дьявол в нем сидит, спору нет, но чего еще оставалось делать, когда ведьма, не знаю уж, то ли почувствовала что, то ли стих на нее нашел какой-то: уперлась, что с нами поедет, и баста. А как было разрешить ей ехать — она бы мигом смекнула, что мы не в Киев путь держим. Вот он и взял да пристрелил ее, а я зарубил Черемиса. Суший был монстр африканский; надеюсь, господь мне его смерть в вину не поставит. Верно, и в аду чертям на него глядеть будет тошно. Перед отъездом из яра я вперед поехал и прибрал тела с дороги, чтобы ты не напугалась и не посчитала это дурным знаком.

Княжна же так ответила:

— Довольно я близких людей в нынешние страшные времена неживыми видала, чтобы покойников пугаться, а все ж лучше поменьше на своем пути проливать крови, дабы не навлечь на себя гнева господня.

— Недостойно рыцаря так поступать было,— мрачно проговорил Володыёвский,— мне руки марать не захотелось.

— Что теперь, сударь мой, толковать об этом,— сказал Редзян. — Иначе-то никак нельзя было! Кабы кого хорошего положили, дело другое, а это ж богопротивники, вражья сила — я сам видел, как ведьма сговаривалась с чертями. Не того мне жаль, признаться!

— А об чем же ты, любезный, жалеешь? — спросила Елена.

— Богун мне сказывал, там закопаны деньги, а их милости такую подняли спешку, что и близко подойти не нашлось минуты, хоть я место возле мельницы знаю. А сколько добра оставлено в той светлице, где барышня жила,— сердце на куски рвется!

— Гляди, какого слугу иметь будешь! — сказал княжне Заглоба. — Только своего хозяина и признает, а так хоть с самого черта шкуру готов содрать и на воротник приспособить.

¹ под открытым небом (лат.).

— Даст бог, сударь любезный, пан Редзян, на мою неблагодарность тебе сетовать не придется,— промолвила Елена.

— Благодарю покорнейше, барышня! — ответил Редзян, целуя ей руку.

Все это время Володыёвский помалкивал, прикрывая смущенье напускной суровостью, и только вино потягивал из меха, пока несвойственная ему молчаливость не привлекла внимания Заглобы.

— Что ж это у нас пан Михал слова не скажет! — воскликнул он и обратился к Елене: — Говорил я, краса твоя лишила его ума и дара речи?

— Ложился бы ты лучше спать, сударь, впереди долгий день! — ответил, смешавшись, рыцарь и усиками стал шевелить быстро, словно заяц для куражу.

Но старый шляхтич был прав. Необычайная красота княжны точно сковала маленького рыцаря. Глядел он на нее, глядел и себя вопрошал в душе: возможно ли, чтобы по земле ходило такое чудо? Немало ему довелось в жизни повидать красавиц: красивые были Анна и Барбара Збаражские, дивно хороша Ануся Борзобогатая, и Жукувна, за которой увивался Розтворовский, прелестна, и Вершуллова Скоронадская, и панна Боговитянка, но ни одна из них сравниться не могла с этим чудесным степным цветком. С ними бывал Володыёвский и остроумен, и разговорчив, теперь же, глядя на бархатные, ласковые и томные очи, на okayмлявшую их шелковистую бахрому, отбрасывающую на лицо глубокую тень, на рассыпавшиеся по плечам, как цветы гиацинта, пряди, на стройный стан и высокую грудь, чуть колышимую дыханьем, от которой исходило сладостное тепло, на лилейную белизну и цветущие на ланитах розы, на малиновые уста, рыцарь наш слова выговорить не мог, — хуже того! — самому себе казался неловким, глупым и, главное, маленьким, маленьким до смешного. «Она княжна, а я кто?» — думал он не без горечи и мечтал, чтобы вдруг нагрянула какая-нибудь напасть, чтоб из темноты вырос какой-нибудь грозный исполин — вот когда бы бедный пан Михал показал, что не так уж он и мал, как кажется! Вдобавок его бесило, что Заглоба, довольный, видно, что названная его дочка с легкостью разбивает сердца, без конца хмыкает, и уже шуточки отпускать начал, и подмигивает отчаянно.

А она меж тем сидела подле костра, озаренная розовым блеском огня и белым лунным светом, прелестная, спокойная, хорошеющая с каждой минутой.

— Признай, пан Михал, — сказал наутро Заглоба, когда друзья остались на короткое время вдвоем, — что второй такой девы не сыскать во всей Речи Посполитой. Покажешь еще одну, позволю остолопом себя назвать и *imparitatem*¹ снесу без слова.

¹ Здесь: высокомерие, надменность, незаслуженное отношение (лат.).

— Отрицать не стану,— ответил маленький рыцарь. — Чудо это редкостное, необычное; мне подобного еще не случалось видеть: вспомни статуи богинь, изваянные из мрамора, что, точно живые, во дворце Казановских стоят,— и те ни в какое сравнение с нею идти не могут. Не диво, что самые доблестные мужи головы за нее готовы сложить,— она того стоит.

— А я о чем толкую? — восклицал Заглоба. — Ей-богу, даже не знаю, когда она краше: утром или вечером? Как ни взглянешь, свежа, будто роза. Я тебе говорил, что и сам в прошлые времена хорош был чрезвычайно, но и тогда ей красотой уступал, хотя иные говорят, она на меня как две капли воды похожа.

— Поди к черту, друг любезный! — вскричал маленький рыцарь.

— Не гневись, пан Михал, и без того ты чересчур грозным казаться хочешь. Поглядываешь на нее, как козел на капусту, а с лица мрачен; голову даю, что у самого слюнки текут, да не про купца товарец, смею заметить.

— Тыфу! — плюнул Володыёвский. — И не стыдно вашей милости на старости лет глупости городить?

— А чего ты хмурый такой?

— Тебе кажется, все напасти как дым рассеялись и опасности миновали, а я полагаю, еще хорошенько подумать надо, как одного избежать, от другого укрыться. Путь впереди трудный, лишь богу известно, что нас еще ожидает,— в тех краях, куда мы едем, верно, уже бушует пламя.

— Когда я ее в Разлогах у Богуна выкрал, куда было хуже: впереди мятеж, за спиной погоня; однако ж я через всю Украину, как сквозь огненное кольцо, прошел и добрался до самого Бара. А для чего, скажи, мы голову на плечах носим? На худой конец пойдем в Каменец, до него уже близко.

— Ба! Туркам и татарам не дальше.

— Рассказывай!

— Я дело говорю и еще раз повторяю: есть об чем подумать. Каменец лучше стороной обойти и прямо на Бар двинуть; казаки перначи уважают, с черным людом мы сладим, а вот если нас хоть один татарин приметит — пиши пропало! Я ихнего брата давно знаю: впереди чамбула с птицами да волками лететь — еще так-сяк, но упаси бог сойтись нос к носу — тут и я ничего не смогу поделатъ.

— Ладно, пойдем к Бару или куда-нибудь в те края, а каменецкая татарва да черемисы пускай в караван-сараях своих от чумы подохнут! Вашей милости невдомек, что Редзян и у Бурляя взял пернач. Теперь казаки нам не помеха — хоть гуляй промеж них с лесней. Самая глухомань позади осталась, дальше, слава богу, живут люди. О почевке на хуторах надо подумать — девице оно и удобнее, и приличней. Больно уж ты, кажется мне, все в черных цветах видишь. Цо у дідька! Неужели три мужа в расцвете сил, три лихих — безо всякой лести скажу — молодца

из степи не выйдут! Соединим остроту ума нашего с твоею саблей — и айда! Больше нам с тобой все равно нечего делать. У Редзяна Бурляев пернач есть, а это главное: ныне Бурляй всему Подолью хозяин; нам бы только перемахнуть за Бар, а там уже Ланцкоронский стоит во главе квартовых хоругвей. Поехали, пан Михал, не станем терять времени!

И понеслись они, не теряя времени, по степи на северо-запад с быстротою, на какую только способны были их кони. Ближе к Могилеву пошли места более заселенные, так что вечером нетрудно было отыскать хутор либо деревню для ночлега, но румяные утренние зори обычно заставляли путников уже в седле. По счастью, лето стояло сухое, дни жаркие, ночи росистые, а на рассвете степь из конца в конец серебрилась, словно покрытая инеем. Ветер осушил разлившиеся воды, реки вошли в берега — переправляться через них труда не составляло. Какое-то время ехали вверх по течению Лозовой, несколько дольше обычного задержавшись на отдых в Шаргороде, где стоял казацкий полк — один из тех, что были под командой Бурляя. Там им повстречались Бурляевы посланцы, и среди них сотник Куна, который пиროвал с ними у старого атамана. Сотник несколько удивился, почему они не через Брацлав, Райгород и Сквиру в Киев едут, впрочем, в его душу не закралось и тени подозрения, да и Заглоба объяснил, что тот путь им показался опасным из-за татар, которых со стороны Днепра ожидают. Куна, в свою очередь, рассказал, что послан Бурляем в полк объявить о походе и что сам Бурляй со всеми ямпольскими войсками и буджакскими татарами с часу на час прибудет в Шаргород, откуда немедля двинется дальше.

К Бурляю от Хмельницкого прискакали гонцы с известием, что война началась, и с приказом идти на Волынь со всеми полками. Сам Бурляй давно уже рвался в Бар, он ждал только татарского подкрепления — под Баром мятежники последнее время терпели неудачу за неудачей. Региментарий Ланцкоронский, разгромив немалое число ватаг, захватил город и поставил в замке гарнизон. Там на поле брани полегла не одна тысяча казаков — за них и мечтал отомстить старый полковник или хотя бы обратно отбить замок. Однако, рассказывал Куна, последний приказ Хмельницкого идти на Волынь расстроил Бурляевы планы, и осада Бара на время откладывается, разве что очень будет настаивать татары.

— Ну, что, пан Михал? — говорил на следующий день Заглоба. — Путь в Бар открыт, хоть во второй раз там княжну прячь, да на черта нам этот Бар сдался! С той поры как у крамольников завелось пушек больше, чем у коронного войска, я ни в Бар, ни в какую иную крепость не верю. Другое меня тревожит: похоже, вокруг нас сгущаются тучи.

— Хорошо б, только тучи! — ответил рыцарь. — Буря страшная надвигается — Бурляй и татары. Представляю, как старик

удивится, ежели нас догонит и увидит, что мы не в Киев вовсе, а в противную сторону поспешаем.

— И с радостью нам иной путь укажет. Хорошо б ему раньше черт показал тропку, что напрямик ведет в пекло! Давай уговоримся, пан Михал: смутьянов я на себя беру, а о татарах уж ты позаботься.

— Хорошо тебе — мятежники нас за своих принимают, — ответил Володыёвский. — С татарами куда хуже — я один вижу путь: бежать стремглав, чтобы из западни выскользнуть, пока не поздно. Добрых коней, если попадутся по дороге, покупать надо, чтоб всегда свежие были в запасе.

— В кошельке пана Лонгина и на это найдется, а не хватит, у Редяна отберем Бурляев, — а теперь вперед!

И помчались вперед, нахлестывая лошадей, — у тех даже пена выступила на боках и, точно снежные хлопья, падала на зеленую степную траву. Проехали Дерлу и Лядаву. В Бареке Володыёвский купил новых бахматов, но старых не бросил — скакуны, подаренные Бурляем, были хороших кровей, так что их решили неоседланными вести за собою. Вихрем летели, насколько возможно сокращая привалы и ночлеги. Но чувствовали себя превосходно, даже у Елены, хоть она и была утомлена дорогой, с каждым днем сил прибывало. В яре княжна вела жизнь замкнутую, редко когда покидая свою раззолоченную светлицу, чтоб поменьше встречаться с бесстыжей Горпыной, не слышать ее шуточек да уговоров — теперь же от свежего степного воздуха княжна быстро поправлялась здоровьем. Розы расцветали на ее щеках, от солнца лицо потемнело, но зато в глазах появился блеск, и порой, когда ветер взъерошивал ее пышные кудри, так и хотелось сказать: что за цыганка такая, красавица ворожея, а то и королевна цыганская по раздольной степи едет — впереди цветы, позади рыцари...

Володыёвский трудно привыкал к необычайной ее красоте, но путешествие их сближало, и помалу он одолел свою робость. Тут и дар речи к нему вернулся, и веселое настроенье; частенько теперь, едучи с нею рядом, он рассказывал о Лубнах, но более всего о своей со Скшетуским дружбе, поскольку заметил, что такие рассказы княжна всегда рада слушать; порой даже он поддразнивать ее принимался:

— А знаешь, я ведь Богунов приятель и к нему тебя везу, любезная панна.

А княжна, будто в большом испуге, складывала ручки и тоненьким голоском просила:

— Не делай этого, грозный рыцарь, лучше заруби сразу.

— Нет, нет! Прямо к нему! — сурово отвечивал рыцарь.

— Заруби! — повторяла княжна, зажмуривая свои прелестные очи, и шею подставляла.

А у маленького рыцаря мурашки начинали бегать по телу. «Ох, красавица, как вино в голову ударяешь! — думал он. — Да

уж ладно, чужого пить не станем», — и благороднейший пан Михал, встряхнувшись, прищпоривал лошадь. Но стоило ему, как пловцу, погрузиться в высокие травы, мурашки тот же час как рукой снимало и все внимание обращалось на дорогу: не затаилась ли где опасность, не сбились ли ненароком с пути, не пахнет ли какой передрыгой? И, привстав в стременах, маленький рыцарь выставлял пшеничные усики над волнующимся морем травы и озирал окрестность, принюхивался и прислушивался, как татарин, рыскающий по бурьяну в Диком Поле.

Заглоба тоже пребывал в отличнейшем расположении духа.

— Теперь нам куда легче, чем на Кагамлыке было, — говорил он. — Там мы, точно псы, высунув язык, на своих двоих драли. Помню, глотка у меня так пересохла, что языком доски можно было тесать, а теперь, слава богу, и ночью отдохнуть случается, и горло промочить есть чем.

— А помнишь, сударь, как ты меня на руках через воду переносил? — спрашивала Елена.

— Даст бог, и твой час придет кого-нибудь на руках носить: Скшетуский об этом позаботится!

— Ху-ху! — смеялся Редзян.

— Ах, оставь, прошу, сударь, — шептала княжна, вспыхивая и потупляя очи.

Так они беседовали меж собой, коротая время в дороге. За Бареком и Елтушковом на каждом шагу встречаться стали свежие следы, оставленные жестокой войною. Там до сих пор бесчинствовали вооруженные шайки, там же недавно жег и убивал Ланцкоронский, лишь недели две назад вернувшийся в Эбараж. От местных жителей наши путники узнали, что Хмельницкий с ханом, собрав все силы, двинулись на ляхов, а верней, па региментариев, чьи войска бунтуются, желая служить только под булавой князя Иеремии. Все дружно пророчили, что теперь кому-то неизбежна гибель: когда б а т ь к о Хмельницкий повстречается с Яремой, либо ляхам конец, либо казакам. Меж тем весь край был как огнем охвачен. Все и вся хваталось за оружие и устремлялись на север, на соединение с Хмельницким. С низовьев Днестра валил Бурляй со своею ратью, а по пути в его войско, покидая крепости и пастбища, снимаясь с зимних квартир, вливались все новые и новые отряды, так как повсюду получен был приказ к выступлению. Шли сотни, хоругви, полки, а рядом текла бурным потоком чернь, вооруженная цепями, вилами, пиками, ножами. Конюхи и чабаны побросали свои коши, хуторяне — хутора, пасечники — пасеки; из приднестровских зарослей вышли дикие рыбаки, а из дремучих лесов — ловцы зверя. Веси, местечки, города пустыли. В трех воеводствах по селам остались лишь старухи да малые дети — даже молодичицы потянулись вслед за казаками на ляхов. Одновременно с востока надвигалась главная могучая сила, ведомая самим Хмельницким, точно

страшная буря сметая на своем пути замки и усадьбы, убивая тех, кто остался жив после прошлых погромов.

Миновал Бар, пробудивший в княжне печальные воспоминанья, наши путники вступили на старый тракт, ведущий через Латычов и Проскуров в Тарнополь и далее, ко Львову. Здесь им все чаще попадались то тянувшиеся ровными вереницами обозы, то отряды казацкой конницы и пехоты, то мужицкие ватаги, то окутанные тучами пыли несметные стада волов, предназначенных на прокормление казацких и татарских полчищ. На дороге стало небезопасно, сплошь да рядом друзей наших спрашивали: кто такие, откуда взялись и куда путь держат. Казацким сотникам Заглоба показывал Бурляев пернач и говорил:

— Мы Бурляя посланцы, молодицу Богуну везем.

При виде пернача грозного полковника казаки обыкновенно расступались: каждый понимал, что раз Богун жив, где ему еще быть, как не вблизи коронных войск под Збаражем либо под Староконстантиновом. Куда трудней приходилось с чернью, со своевольными ватагами диких, вечно пьяных пастухов, имевших весьма смутное представление о знаках, выдаваемых полковниками для свободного проезда. Заглобу, Володыёвского и Редзяна, если бы не Елена, полудикий этот люд принимал бы за своих, и притом начальников, как не однажды уже бывало, но княжна привлекла внимание каждого, хотя бы потому, что к прекрасному полу принадлежала, да и необычайная ее красота бросалась в глаза — оттого и возникали опасности, преодолеть которые удавалось лишь с большим трудом.

Порой Заглоба показывал пернач, а иногда Володыёвский — зубы, и не один покойник остался у них за спиною. Несколько раз только благодаря быстроногим Бурляевым скакунам спасались они от беды. Путешествие, начавшееся столь благополучно, с каждым днем становилось все труднее. Елена, хотя натура и одарила ее стойкостью душевной, от бессонных ночей и непрестанных волнений занедужила и вправду стала походить на силой влекомую во вражеский стан полонянку. Заглоба с Володыёвским, как могли, старались ее развлечь: старый шляхтич в поте лица своего измышлял все новые и новые затеи, а маленький рыцарь немедля приводил их в исполнение.

— Только бы нам муравейник этот, что впереди, проскочить и в Збараж добраться, покуда Хмельницкий с татарами не занял всю окрестность, — говорил пан Михал.

Он прослышал в дороге, что региментарии собрались в Збараже и в его стенах намерены обороняться, — потому они туда и спешили, справедливо рассудив, что и князь Иеремия со своей дивизией к региментариям должен присоединиться, тем наче что часть его сил, и немалая, имела *locum*¹ в Збараже. Меж тем начались околицы Проскурова. Тракт заметно стал посвободней:

¹ место, жилище. Здесь: постой (лат.).

в каких-нибудь десяти милях отсюда стояли коронные хоругви, и казацкие ватаги близко подходить не смели, предпочитая в безопасном отдалении дожидаться, пока с одной стороны подойдет Бурлай, а с другой Хмельницкий.

— Десять миль всего! Только десять миль! — повторял, потирая руки, Заглоба. — Лишь бы добраться до первой хоругви, а там без препятствий до Збаража доедем.

Володыёвский, однако, решил запастись в Проскурове свежими лошадьми, поскольку купленных в Бареке они уже совсем загнули, а Бурляевых скакунов хотели приберечь на крайний случай. Предосторожность такая была отнюдь не лишней: разнесся слух, будто Хмельницкий уже под Староконстантиновом, а хан со всеми ордами валит от Пилявцев.

— Мы с княжной здесь останемся, лучше нам в городе на рыночной площади не показываться, — сказал маленький рыцарь Заглобе, когда в версте от Проскурова им попался на глаза заброшенный домик, — а ты поспрашивай горожан, не продаст ли кто лошадей, а может, сменить захочет. Темнеет уже, но нам так и так всю ночь ехать.

— Я скоро вернусь, — пообещал Заглоба и поскакал в сторону города.

Володыёвский же велел Редзяну ослабить у седел подпруги, чтобы дать отдохнуть бахматам, а сам отвел княжну в горницу и предложил для подкрепления сил выпить вина и вздремнуть немного.

— Хотелось бы мне до рассвета эти десять миль проделать, — сказал он ей, — тогда и отдохнем спокойно.

Но не успел он принести провизию и мехи с вином, как во дворе зацокали копыта.

Маленький рыцарь выглянул в окошко.

— Пан Заглоба вернулся — видно, не достал лошадей, — сказал он.

Едва он договорил, дверь из сеней распахнулась и на пороге появился Заглоба — бледный до синевы, запыхавшийся, взмокший.

— На конь! — закричал он.

Володыёвский был достаточно искушенный воин, дабы в подобных случаях не терять времени на расспросы. Он не захотел даже на секунду задержаться, чтобы спасти мех с вином (о котором, впрочем, позаботился Заглоба), мигом подхватил княжну, вывел ее во двор и посадил в седло, а затем, проверив торопливо, подтянуты ли подпруги, приказал:

— Вперед, братцы!

Застучали копыта, и вскоре люди и лошади, точно вереница призраков, скрылись во тьме.

Долго скакали, не переводя духа; лишь когда от Проскурова их отделяло не менее мили и мрак перед восходом луны сгустился

ся настолько, что можно было не опасаться погони, Володыёвский, догнавши Заглобу, спросил:

— Что случилось?

— погоди, пан Михал, погоди! У меня чуть ноги не отнялись... Уф! Дай отдышаться!

— Что же все-таки приключилось?

— Сатана собственной персоной, клянусь, сатана либо змий, у которого одну голову снесешь, другая тотчас вырастает.

— Да говори же ты толком!

— Я Богуна видел на рынке.

— А ты в своем уме, сударь?

— На рыночной площади видел собственными глазами, а при нем еще человек пять или шесть — у меня ноги едва не отнялись, не до счету было... Факелы над ним держали... Ох, чую, бес какой-то нам помехи не устает придумывать; нет, не верю я боле в счастливый исход нашего предприятия. Что его, дьявола, смерть не берет, что ли? Не говори ничего Елене... О господи! Ты его зарубил, Редзян выдал... Ах нет! Живехонек, на свободе и поперек пути норовит стать. Уф! Всемогущий боже! Слово даю, пан Михал, лучше srestgum на погосте увидеть, нежели этого злодея. И везет же мне, черт подери, всегда и везде именно я его встречаю! Везенье называется — врагу такого не пожелаешь! Неужто, кроме меня, нет на свете людей? Пусть бы другим встречался! Нет, одному мне только!

— А он тебя видел?

— Кабы видел, тебе бы меня не видать, пан Михал. Этого еще не хватало!

— Хорошо бы знать, — сказал Володыёвский, — за нами он гонится или к Горпыне на Валадынку едет, надеясь нас перехватить по дороге?

— Сдается мне, что на Валадынку.

— Так оно, верно, и есть. Стало быть, мы едем в одну сторону, а он в другую, и теперь уже не мля, две нас разделяют, а через час и все пять наберутся. Покамест он в дороге про нас узнает да повернет обратно, мы не то что в Збараже — в Жолквы будем.

— Думаешь, пан Михал? Ну, слава богу! Точно бальзам пролил на душу... Но скажи на милость, как могло оказаться, что этот черт на свободе, если Редзян его коменданту влодавскому выдал?

— Убежал, да и только.

— Головы рубить таким комендантам! Редзян! Эй, Редзян!

— Чего изволите, сударь? — спросил слуга, придержав лошадь.

— Ты кому Богуна выдал?

— Пану Реговскому.

— А кто он такой, этот пан Реговский?

— Важная птица, поручик панцирных войск из королевской хоругви.

— Ах ты, черт! — воскликнул, хлопнув в ладоши, Володыёвский. — Теперь я все понял! Ваша милость запомнил — нам пан Лонгинус рассказывал, как неприятельствуют между собой Скшетуский с Реговским. Реговский этот пана Лаща, стражника, родич и за его позор *odium*¹ затаил на пана Яна.

— Попятно! — вскричал Заглоба. — Назло отпустил Богуна, значит. Но это дело подсудное, тут плахой пахнет. Я первый поспешу с доносом!

— Приведи господь с ним встретиться, — пробормотал Володыёвский, — тогда и в трибунале нужды не будет.

Редзян не понял, о чем идет речь, и, ответив Заглобе на вопрос, снова поскакал вперед к Елене.

Всадники теперь ехали неторопливо. Взшел месяц, туман, поднявшийся вечером с земли, опал — ночь сделалась ясной. Володыёвский погрузился в свои мысли. Заглобе понадобилось еще немалое время, чтобы прийти в себя от пережитого потрясения. Наконец он заговорил:

— Ох, несдобровать теперь и Редзяну, попадись он Богуна в руки!

— А ты скажи ему новость, пусть натерпится страху, а я с княжной поеду, — предложил маленький рыцарь.

— И то дело! Эй, Редзян!

— Чего? — спросил парень и придержал лошадь.

Заглоба догнал его и несколько времени в молчании ехал рядом, пока Володыёвский с княжной не удалились на почтительное расстояние, а затем только сказал:

— Знаешь, что случилось?

— Нет, не знаю.

— Реговский Богуна отпустил на свободу. Я его в Проскурове видел.

— В Проскурове? Сейчас? — спросил Редзян.

— Сейчас. Ну, как? Не слетел с кульбаки?

Свет месяца падал прямо на толстошееккое лицо слуги, на котором Заглоба не только не заметил испуга, а напротив, к величайшему своему изумлению, увидел жестокую, просто звериную ненависть, такое точно выражение было у парня, когда он убивал Горпыну.

— Эге! Да ты, никак, Богуна не боишься? — спросил старый шляхтич.

— Что ж, сударь мой, — отвечал Редзян, — ежели его пан Реговский отпустил, надлежит мне самому искать случай отомстить за свой позор и обиду. Я ведь поклялся, что даром ему этого не спущу, и, кабы не барышню везти, сей же час пустился бы вдогонку: за мной не пропадет, не сомневайтесь!

«Тьфу, — подумал Заглоба, — не хотел бы я этого щенка обидеть».

¹ ненависть (лат.).

И, подстегнув лошадь, догнал Володыёвского и княжну. Служа час путники переправились через Медведовку и углубились в лес, двумя черными стенами тянувшийся от самого берега вдоль дороги.

— Эти места я хорошо знаю,— сказал Заглоба. — Бор векоре кончится, за ним с четверть мили открытого поля, по которому тракт из Черного Острова проходит, а там еще побольше этого лес — до самого Матчина. Даст бог, в Матчине застанем польские хоругви.

— Пора бы уже прийти избавлению! — пробормотал Володыёвский.

Некоторое время всадники ехали в молчании по залитому ярким лунным светом шляху.

— Два волка дорогу перебежали! — вдруг сказала Елена.

— Вижу,— ответил Володыёвский. — А вон и третий.

Серая тень и вправду промелькнула впереди в сотне шагов от лошадей.

— Ой, четвертый! — вскрикнула княжна.

— Нет, это косуля; гляди, сударыня: еще одна и еще вот!

— Что за черт! — воскликнул Заглоба. — Косули гонятся за волками! Поистине свет вверх торманшками перевернулся.

— Поедем-ка побыстрее,— сказал Володыёвский, и в голосе его послышалась тревога. — Редзян! А ну, давай с барышней вперед!

Редзян с княжной умчались, а Заглоба, склонившись на скаку к уху Володыёвского, спросил:

— Что там еще, пан Михал?

— Плохо дело,— ответил маленький рыцарь. — Видал: зверь проснулся, из логова бежит среди ночи.

— Ой! С чего бы это?

— А с того, что его всполошили.

— Кто?

— Войско — казаки либо татары — идет от нас по правую руку.

— А может, это наши хоругви?

— Нет, зверь с востока бежит, от Пилявцев, верно, татары широкою прут лавой.

— Господи помилуй! Бежим скорее!

— Ничего иного и не остается делать. Эх, не было б с нами княжны, подкралась бы мы к чамбулу да прихватили парочку басурман, но с нею... Худо придется, ежели они нас заметят.

— Побойся бога, пан Михал! Давай, что ли, в лес свернем за волками?

— Нет, не стоит: не догонят сразу — поскачут наперехват, всю окрестность наводнят перед нами — как потом выбираться будем?

— Разрази их громы небесные! Этого только недоставало! А не ошибаешься ли ты, пан Михал? Волки обычно позади коша тянутся, а не впереди мчатся.

— Те, что в стороне, собираются со всей околицы и за кошем плегутся, а кто впереди, поджавши хвост удирают. Погляди направо: видишь, зарево меж деревьев!

— Господи Иисусе, царь иудейский!

— Тише, сударь!.. Будет когда конец этому лесу?

— Вот-вот кончится.

— А дальше поле?

— Поле. О господи!

— Тихо!.. А за полем другой лес?

— До самого Матчина.

— Хорошо! Лишь бы на поле этом не настигли! Доберемся благополучно до второго леса — считай, мы дома. А теперь давай к нашим! Счастье, что княжна с Редзяном на Бурляевых лошадях.

Друзья прищипорили коней и нагнали едущих впереди Редзяна с Еленой.

— Это что за зарево справа? — спросила княжна.

— Не стану скрывать, любезная панна! — отвечал маленький рыцарь. — Татары это, верней всего, вот что.

— Иисусе, Мария!

— Не бойся, княжна! Головой клянусь, мы от них уйдем, а в Матчине наши хоругви.

— Быстрее, ради бога, быстрее! — воскликнул Редзян.

И без лишних слов все четверо понеслись как ночные морочки дальше. Деревья стали редеть, лес кончался, и зарево несколько побледнело. Вдруг Елена обернулась к маленькому рыцарю.

— Любезные судари! Поклянитесь, что не отдадите меня живой! — сказала она.

— Не отдадим! — ответил Володыёвский. — Клянусь жизнью!

Не успел он договорить, перед ними показалась поляна, ровная как степь, с противоположного конца, примерно в четверти мили от путников, окаймленная черной полосой леса. Плешина эта, открытая на все стороны, серебрилась от лунного света: каждый бугорок на ней был виден как днем.

— Вот самое гиблое место! — шепнул Заглобе Володыёвский. — Если они в Черном Острове, обязательно на прогалину эту выйдут.

Заглоба ничего не ответил, только крепче упер пятки в бока лошади.

Они были уже посреди поляны, лес на противоположной стороне приближался, рисовался все отчетливее, как вдруг маленький рыцарь протянул руку к востоку.

— Гляди, — сказал он Заглобе, — видишь?

— Кусты вижу вдальке, заросли...

— Кусты-то шевелятся. Погоняй коней, теперь уж они нас непременно заметят!

Ветер засвистал в ушах беглецов — спасительный лес с каждой секундою был ближе.

Вдруг с правого краю поляны, откуда надвигалась темная лавина, докатился сперва рокот, подобный гулу морских волн, а затем воздух веколыхнул многоголосый вопль.

— Увидели! — взревел Заглоба. — Псы! Нечестивцы! Дьяволы! Лиходеи! Волки!

Лес был так уже близко, что беглецы, казалось, ощущали свежее и холодное его дыханье.

Но и туча татар принимала все более явственные очертанья; темная ее масса вдруг начала ветвиться — словно гигантское чудище выпустило длинные свои щупальца и тянуло их к беглецам с невероятной быстротою. Чуткое ухо Володыёвского уже различало отдельные выкрики: «Алла! Алла!»

— У меня конь споткнулся! — крикнул Заглоба.

— Ничего! — ответил Володыёвский.

Но в голове у него один за другим молнией мелькали вопросы: что будет, если не выдержат лошади? Что будет, если котоя-нибудь падет? Резвые татарские бахматы обладали железной выносливостью, но они шли от самого Проскурова и не успели отдохнуть после бешеной скачки между городом и первым лесом. Можно было, правда, пересесть на запасных, но и те устали. «Что будет?» — подумал Володыёвский, и сердце его забилося в тревоге — быть может, впервые в жизни: не за себя он боялся, а за Елену, которую за время долгого путешествия полюбил, как сестру родную. Ему хорошо было известно, что татары, пустившись в погоню, скоро не отстанут.

— И пусть гонятся, ее им не видать! — сказал он себе и стиснул зубы.

— У меня конь споткнулся! — во второй раз крикнул Заглоба.

— Ничего! — повторил Володыёвский.

Между тем они достигли леса. Тьма поглотила их. Но и отдельные татарские всадники были уже в нескольких сотнях шагов за спиною.

Однако теперь маленький рыцарь знал, что делать.

— Редзян! — крикнул он. — Сворачивай с барышней с большака на первую же тропку.

— Слушаюсь, ваша милость! — ответил Редзян.

Маленький рыцарь оборотился к Заглобе:

— Готовь пистолеты!

И схватился рукой за узду лошади своего товарища, заставляя ее замедлить бег.

— Что ты делаешь? — вскричал шляхтич.

— Ничего! Придержи лошадь.

Редзян с Еленой между тем быстро отдалялись. Наконец они подскакали к месту, где большак круто сворачивал к Збаражу, а вперед отходила узкая лесная тропа, наполовину скрытая ветвями. Редзян направил туда коней, и минутой спустя они с Еленой скрылись во мраке между деревьев.

Володыёвский тотчас остановил свою лошадь и лошадь Заглобы.

— Боже милосердный! Что ты делаешь? — взревел шляхтич.

— Нужно задержать погоню. Иначе княжну не спасти.

— Мы погибнем!

— И пусть. Становись на обочину! Сюда! Сюда скорее!

Друзья притаились во тьме под деревьями. Татарские бахматы меж тем приближались — весь лес гудел от бешеного топота копыт, как в бурю.

— Вот и конец пришел! — сказал Заглоба и поднес к губам мех с вином.

Не скоро от него оторвавшись, он тряхнул головой и воскликнул:

— Во имя отца, и сына, и святого духа! Я готов умереть!

— Погоди, погоди! — сказал Володыёвский. — Трое вперед вырвались — это мне и нужно!

И верно: на освещенной луною дороге показались три всадника: видно, под ними были самые резвые бахматы, на Украине прозываемые волкогонами, — от них не могли уйти даже волки. Далее, поотстав шагов на двести-триста, мчалось еще десятка полтора всадников, а там и вся плотно сбитая стая ордынцев.

Едва трое первых поравнялись с засадой, прогремели два выстрела, затем Володыёвский, как рысь, выпрыгнул на середину дороги и, прежде чем Заглоба успел опомниться и сообразить, что происходит, третий татарин упал, словно молнией пораженный. Все свершилось в мгновение ока.

— На конь! — крикнул маленький рыцарь.

Ему не пришлось повторять дважды: секунду спустя друзья мчались по шляху, как два волка, преследуемые остервенелой собачьей сворой. Тем временем подоспевшие басурманы обступили своих павших соплеменников и, убедившись, что загнанные волки способны загрызть насмерть, слегка попрдержали коней, поджидая отставших.

— Видал, сударь! Я знал, что они остановятся! — сказал Володыёвский.

Но выиграли наши друзья всего несколько сот шагов: погоня прервалась ненадолго, только теперь татары держались кучно и поодиночке вперед не вырывались.

Лошади беглецов изнурены были долгою скачкой, и постепенно бег их замедлялся. Особенно устал конь под Заглобой — нелегко было нести на себе такую тушу — и опять стал спотыкаться; у старого шляхтича остатки волос поднялись дыбом при мысли, что будет, если падет лошадь.

— Пан Михал, дорогой мой, не бросай меня! — в отчаянии восклицал он.

— Не тревожься! — отвечал маленький рыцарь.

— Чтoб этого коня волки...

Он не договорил: первая стрела зажужжала над самым его ухом, а за ней, словно жуки и пчелы, зазвенели, засвистали, запели другие. Одна пролетела так близко, что едва не задела оперением уха Заглобы.

Володыёвский обернулся и дважды выстрелил в преследователей из пистолета.

Вдруг лошадь Заглобы споткнулась, да так, что чуть не зарылась храпом в землю.

— Господи помилуй, у меня конь падает! — не своим голосом завопил Заглоба.

— Спешивайся и в лес! — взревел Володыёвский.

С этими словами он осадил и свою лошадь, спрыгнул наземь, и минуту спустя тьма поглотила обоих.

Но маневр этот не укрылся от раскосых татарских глаз, и полсотни басурман, тоже соскочив с коней, пустились за беглецами вдогонку.

Ветки сорвали шапку с Заглобы, хлестали его по лицу, за жупан цеплялись, но шляхтич мчался очертя голову, словно скинул с плеч лет тридцать. Несколько раз он падал, но, поднявшись, припускал еще быстрее, соня, как кузнечный мех, пока не скатился в глубокую яму от вырванного с корнем дерева и не почувствовал, что отсюда ему уже не выбраться: силы оставили его совершенно.

— Ты где? — тихо спросил Володыёвский.

— Здесь, в яме! Каюк мне! Спасайся, пан Михал.

Но пан Михал, ни минуты не колеблясь, спрыгнул следом за ним в яму и заткнул ему рот ладонью.

— Тихо! Может, еще проскочат! А нет, будем защищаться.

Между тем татары приблизились. Одни из них, полагая, что беглецы впереди, и впрямь проскочили мимо, другие же замедлили шаг, осматриваясь вокруг себя и ошупывая деревья.

Рыцари затаили дыхание.

«Хоть бы который-нибудь сюда свалился, — в отчаянье подумал Заглоба, — я б ему показал!..»

Вдруг во все стороны посыпались искры: татары принялись высекать огонь...

Вспышки озаряли дикие скуластые лица с выпяченными губами, дующими на трупы. Несколько времени татары — зловещие лесные призраки — бродили вокруг да около в полусотне шагов от ямы и подстунали все ближе.

Но вдруг какие-то странные звуки, шум и невнятные восклицанья донеслись со стороны дороги, нарушая покой сонной чащи.

Татары попрыгали кресала и застыли как вкопанные. Пальцы Володыёвского впились в плечо Заглобе.

Возгласы стали громче, внезапно вспыхнули красные огоньки и одновременно раздались мушкетные залпы — один, другой, третий, а следом крики: «Алла!», звон сабель, лошадиное

ржанье. Топот копыт смешался с воплями: на дороге закипело сраженье.

— Наши! Наши! — крикнул Володыёвский.

— Бей, убивай! Бей! Коли! Режь! — ревел Заглоба.

Еще мгновение — и мимо ямы в страшном переполохе пролетели полсотни ордынцев, удиравших к своим что было духу. Володыёвский, не выдержав, кинулся вдогонку и помчался за ними по пятам в темной чащобе.

Заглоба остался один на дне ямы.

Он попытался было вылезти, но не смог. Все кости у него болели, ноги отказывались повиноваться.

— Ха, мерзавцы! Удрали! — сказал он, вертя во все стороны головою. — Хоть бы один остался — в приятной компании веселее было б торчать в этой яме. Жаль! Показал бы я голубчику, где раки зимуют! Ну, нехристи, понарежут вас там, как скотину! Боже милосердный! Шум-то все сильнее! Хорошо б, это был сам князь Иеремия, он бы вам задал жару. Кричите, кричите на своем басурманском наречье, скоро волки над вашими потрохами будут славить аллаха. А пан Михал хорош — одного меня кинул! Впрочем, не диво! Молод, вот и жаден до крови. После нынешней передраги я с ним пойду хоть в некло — он не из тех, кто друга в беде оставляет. А этих троих как ужалил! Оса, да и только! Эх, был бы сейчас мех под рукою... Его уже небось черти взяли... растоптали коня. Еще гадюка заползет в эту ямищу да укусит... Ой, что такое?

Крики и мушкетные залпы стали отдаляться в сторону поляны и первого леса.

— Ага! — сказал Заглоба. — Наши вослед полетели! Слава всевышнему! Улепетываете, собачьи дети!?

Крики все более удалялись.

— Здорово они их! — не умолкая, бормотал шляхтич. — Однако, видать, придется мне посидеть в этой яме. Не хватает только волкам попасться на ужин. Сперва Богун, потом татарва, а напоследок волки. Пошли, господи, Богуну кол острый, а волкам бешенство — о басурманах наши позаботятся сами! Пан Михал! Пан Михал!

Тишина была ответом Заглобе, только бор шумел — возгласы и те вдали замирали.

— Похоже, мне здесь спать придется... Пропади все пропадом! Эй, пан Михал!

Терпению Заглобы, однако, еще долгое предстояло испытанье: небо уже начало сереть, когда на большаке вновь послышался конский топот, а затем в лесном сумраке засверкали огни.

— Пан Михал! Я здесь! — закричал шляхтич.

— Что ж не вылезашь?

— Ба! Кабы я мог вылезть.

Маленький рыцарь, нагнувшись над ямою с лучиной в руке, протянул Заглобе руку и молвил:

— Ну, с татарвой покончено. За тот лес загнали треклятых.

— Кого ж нам господь послал?

— Кушеля и Розтворовского с двумя тысячами конницы. И драгуны мои с ними.

— А нехристей много было?

— Да нет! Тысчонки две-три, не более того.

— Ну и слава богу! Дай же скорее выпить чего-нибудь, ноги совсем не держат.

Два часа спустя Заглоба, отменно накормленный и изрядно выпивший, восседал в удобном седле в окружении драгун Володыёвского, а маленький рыцарь, ехавший подле него, говорил так:

— Не печалься, ваша милость, хоть мы и не привезем княжну в Збараж, все лучше, что она не попала в руки к неверным.

— А может, Редзян еще повернет к Збаражу? — предположил Заглоба.

— Нет, этого он делать не станет. Дорога занята будет: чамбул тот, который мы отогнали, вскоре вернется и полетит за нами следом. Да и Бурляй, того и гляди, нагрянет и раньше подступит к Збаражу, нежели Редзян туда поспеет. А с другой стороны, от Староконстантинова, Хмельницкий идет с ханом.

— Господи помилуй! Так они с княжной все равно что в заднюю попадутся.

— Редзян смекнет, что надо между Збаражем и Староконстантиновом проскочить, пока не поздно, пока полки Хмельницкого или ханские чамбулы их не окружили. Я, признаюсь тебе, на него очень надеюсь.

— Дай-то бог!

— Малый, точно лиса, хитер. Уж на что ты, сударь, на выдумки тороват, а он тебя превзойдет, пожалуй. Сколько мы ломали головы, как княжне помочь, и в конце концов опустили руки, а появился он — и все сразу пошло на лад. И теперь ужом проползет — со своей шкурой небось тоже жаль расставаться. Не будем терять надежды и положимся на волю господню: сколько уже раз всевышний княжне посылал спасенье! Припомни, как сам меня ободрял, когда Захар приезжал в Збараж.

Заглобу эти слова маленького рыцаря несколько утешили, и он погрузился в задумчивость, а потом снова обратился к другу:

— Ты про Скшетуского у Кушеля не спросил?

— Скшетуский уже в Збараже и здоров, слава богу. Вместе с Зацвилюховским от князя Корецкого прибыл.

— А что мы ему скажем?

— В том-то и штука!

— Он, как прежде, считает, что княжна в Киеве убита?

— Так и считает.

— А Кушелю либо кому другому ты говорил, где мы были?

— Никому не говорил: сперва, думал, с тобой надо посоветаться.

— По моему разумению, лучше покамест молчать обо всем,— сказал Заглоба. — Не дай бог, попадет девушка к казакам или татарам — Скшетуский вдвойне страдать будет. Зачем беречь поджившие рапы?

— Выведет ее Редзян. Головой ручаюсь!

— И я бы своей с охотою поручился, да только беда нынче по свету как чума гуляет. Не станем ничего говорить и предадим себя воле божьей.

— Что ж, пускай будет так. А пан Побипятка Скшетускому не проговорится?

— Плохо же ты его, сударь, знаешь! Он слово чести дал, а для литовской нашей жерди долговязой ничего святее нету.

Тут к друзьям присоединился Кушель, и далее они ехали вместе, греясь в первых лучах встающего солнца и беседуя о делах общественных, о прибытии в Збараж региментариев по настоянию князя Иеремии, о скором приезде самого князя и неизбежной уже, страшной войне с ратью Хмельницкого.

ГЛАВА XXIV

В Збараже Володыёвский и Заглоба нашли все коронные войска собравшимися в ожидании неприятеля. Был там и коронный подचाший, который прибыл из-под Староконстантинова, и Ланцкоронский, каштелян каменецкий, до недавнего времени громивший врага под Баром, и третий региментарий, пан Фирлей из Домбровицы, каштелян бельский, и пан Анджей Сераковский, коронный писарь, и пан Конецпольский, хорунжий, и пан Пишемский, генерал от артиллерии, особо искушенный по части штурма городов и возведения укреплений. И с ними десять тысяч квартового войска, не считая нескольких хоругвей князя Иеремии, которые прежде еще в Збараже квартировали.

Пан Пишемский с юга от города и замка, за двумя прудами и рекой Гнезной, расположил лагерь, который укрепил по всем правилам иноземного фортификационного искусства; теперь штурмовать лагерь можно было только в лоб, так как с тылов его защищали пруды, замок и речка. Здесь региментарии намеревались дать отпор Хмельницкому и задержать нашествие, пока не подоспеет король с остальными войсками и шляхетским ополчением. Но осуществим ли был такой замысел при несслыханной мощи Хмельницкого? Многие в этом сомневались, в поддержку своих сомнений выставляя веские доводы и среди них тот, в частности, что в самом лагере дела обстояли скверно. Прежде всего, меж военачальников накапливалась скрытая вражда. Региментарии пришли в Збараж не по своей воле, а лишь по настоянию князя Иеремии. Вначале собирались они обороняться под Староконстантиновом, но, когда прошел слух, будто Иеремия согласен присоединиться к ним только в случае, если местом встречи

с врагом будет избран Збараж, воинство без долгих размышлений объявило королевским полководцам, что желает идти в Збараж и нигде больше драться не станет. Не помогали ни уговоры, ни авторитет сановников, и вскоре региментарии поняли, что, если и впредь будут упорствовать, войска, начиная от тяжелой гусарской кавалерии и кончая последним иноземным солдатом, покинут их и сбегутся под знамена князя Иеремии. То был один из прискорбных, весьма частых по тем временам примеров неповиновения, порождаемого многими причинами: бездарностью военачальников, взаимными их раздорами, паническим страхом перед мощью Хмельницкого и небывальными дотоле поражениями, в особенности разгромом под Пилявцами.

Так что пришлось региментариям двинуться в Збараж, где, хотя назначены они были самим королем, им предстояло волеиневолей отдать власть Вишневецкому: ему и только ему соглашалось подчиниться войско, только с ним готово было идти в бой и погибнуть. Но пока подлинный этот вождь не прибыл в Збараж, тревога среди воинства росла, дисциплина вконец распаталась, в сердца закрадывался страх. Уже известно было, что Хмельницкий, а с ним хан идут с такой силищей, какой не видывали со времен Тамерлана. Точно зловещие птицы, слетались к лагерю все новые и новые слухи, один страшней другого, и подтачивали неколебимость солдатского духа. Росли опасения, как бы внезапная вспышка всеобщей паники, как это было в Пилявцах, не рассеяла последних отрядов, еще преграждавших Хмельницкому путь к сердцу Речи Посполитой. Полководцы сами теряли голову. Разноречивые их приказания либо вовсе не выполнялись, либо выполнялись с неохотой. Поистине один лишь Иеремиа мог отвратить беду, нависшую над лагерем, войском и всей страной.

Заглоба и Володыёвский, прибыв в город с хоругвями Кушеля, тотчас подхвачены были водоворотом лагерной жизни: не успели они появиться на майдане, их окружили офицеры разных частей и наперебой принялись выспрашивать, что слышно. При виде пленных татар любопытствующие приободрились. «Попципали татарву! Пленных привезли! Послал господь викторию!» — повторяли одни. «Татары подходят — и Бурляй с ними! — кричали другие. — К оружию! На валы!» И понеслась по лагерю новость, а попутно выростала в размерах одержанная Кушелем победа. Толпа вокруг пленников умножалась. «Снести басурманам головы! — раздавались крики. — Что еще с ними делать!» Вопросы посыпались, точно снежная заметь, но Кушель отвечать на них не пожелал и отпраившись с реляцией на квартиру к каштеляну бельскому. На Володыёвского же и Заглобу между тем накинулись знакомые из «русских» хоругвей, а они, как могли, увертывались: обоим не терпелось поскорей увидеться со Скше-тским.

Отыскиали они его в замке в обществе старого Зацвilihовско-го, двух местных ксендзов-бернардинцев и Лонгинуса Подбият-ки. Скшетуский, завидя друзей, чуть побледнел и зажмурил на секунду глаза: слишком много болезненных воспоминаний вско-лыхнулось в нем при их появлении. Однако приветствовал прия-телей спокойно и даже радостно, спросил, где они были, и удов-летворялся первым более или менее правдоподобным ответом, так как, считая княжну погибшей, ничего уже не хотел, ничего не ждал от жизни, и даже тени подозрения, что долгое их от-сутствие могло хоть как-то быть связано с Еленой, не закралось в его душу. И рыцари наши словом не обмолвились о цели своего путешествия, как ни вздыхал и ни ерзал на месте пан Лонгинус, то на одного, то на другого устремляя испытующий взор, пытаясь прочесть на их лицах слабую хотя бы надежду. Но оба были заняты единственно Скшетуским. Пан Михал то и дело бросался его обнимать: сердце маленького рыцаря растаяло, едва только он увидел старого верного своего друга, которому столько при-велось выстрадать и перетерпеть, столько потерять, что и жить как бы незачем стало.

— Вот мы и вместе,— говорил он Скшетускому. — Со стары-ми друзьями тебе полегче будет! И война не за горами: подоб-ной, сдается мне, еще не бывало, как тут не радоваться сол-датской душе! Дал бы бог здоровье — еще не раз поведешь гу-сар в битву!

— Здоровье господь мне возвратил,— ответил Скшетуский,— я и сам ничего иного не хочу, кроме как служить отечеству, пока ему нужен.

Скшетуский и вправду совсем уже оправился: молодость и могучий организм победили болезнь. Страдания истерзали его ду-шу, но не сломили тела. Он лишь сильно исхудал и пожелтел — лоб, щеки, нос казались вылепленными из свечного воску. Преж-няя каменная суровость черт сохранилась: их сковало ледяное спокойствие, какое можно увидеть на лицах почивших, да еще больше серебряных нитей висось в черной его бороде, а так он, пожалуй, ничем не отличался от всех остальных, разве что, вопреки солдатским обычаям, избегал многолюдья, попоек и шум-ных сборищ, охотнее проводя время с монахами, жадно выслу-шивая их рассказы о монастырском бытье и загробной жизни. Однако службу нес исправно и к войне и предполагавшейся осаде приготавливался наравне со всеми.

И сейчас разговор быстро свернул на этот предмет, потому что ни о чем другом никто во всем лагере, в городе и в замке не думал. Старый Зацвilihовский стал расспрашивать про татар и про Бурляя, которого знал с давних пор.

— Славный воитель,— говорил он,— жаль, что против оте-чества поднялся вместе с другими. Мы с ним под Хотинном слу-жили, юнец он тогда еще был, но обещал вырасти в достойного мужа.

— Он ведь сам из Заднепровья, и люди его все оттуда,— сказал Скетуский,— как же случилось, отец, что они с юга, со стороны Каменца, подходят?

— Видно, Хмельницкий умышленно поставил его там на зимние квартиры,— ответил Зацвилюховский. — Тугай-бей на Днепре оставался, а великий сей мурза с давних пор держит зло на Бурляя. Он у татар, как никто другой, сидит в печенках.

— А теперь их соратником будет!

— Вот-вот! — сказал Зацвилюховский. — Такие времена! Но уж Хмельницкий приглядит, чтоб они не перегрызлись.

— А когда Хмельницкого сюда ожидают? — спросил Володыёвский.

— Со дня на день, хотя... кто может знать наверно? Региментариям бы сейчас высылать разъезд за разъездом, так нет же, они и в ус не дуют. Едва упросил, чтобы Кушеля отправили на юг, а Пиговских к Чолганскому Камню. Сам хотел пойти, да здесь что ни час, то совет собирают... Еще решились, наконец, послать коронного писаря с дюжиной хоругвей. Спешить надо — как бы не сделалось поздно. Пошли нам, господа, князя нашего поскорее, а то ведь позору не оберемся, вторые выйдут Пилявцы.

— Видал я давеча, когда майдан проезжали, воинов этих,— сказал Заглоба,— все какие-то недошлые, бравых парней перечесть по пальцам. Маркитантами им состоять, а не с нами, больше жизни любящими военную славу, плечом к плечу сражаться!

— Чепуху говоришь, сударь! — проворчал старик. — Я твоей отваги не умаляю, хотя прежде иного был мнения, но все те рыцари, что здесь собрались,— наилучшие воины, каких когда-либо Речь Посполитая имела. Их только возглавить! Вождь нужен! Воевода каменецкий — добрый рубака, но предводитель никчемный, пан Фирлей стар, а что касается подчасного — этот, как и князь Доминик, под Пилявцами показал, чего стоит! Не диво, что их не желают слушать. Солдат с охотою кровь прольет, ежели уверен будет, что без нужды его не пошлют на смерть. А сейчас полководцы эти нет чтобы готовиться к осаде — препираются, кто где стоять должен!

— А провианту довольно? — обеспокоенно спросил Заглоба.

— И продовольствия меньше, чем надо, а с фуражом и совсем скверно. Если осада протянется месяц, придется лошадей стружками кормить да камнями.

— Еще не поздно об этом позаботиться,— заметил Володыёвский.

— Поди объясни им. Дай бог, чтобы князь поскорее прибыл, герето.

— Не один ты, сударь, по нем вздыхаешь,— вставил пан Лонгинус.

— Знаю,— ответил старик. — Пройдитесь только по майдану. Все у валов сидят да глядят на Старый Збараж, а иные в городе на колокольни взбираются. Случится кому-нибудь крикнуть ни

с того ни с сего: «Идет!» — от радости шалеют. Истомленный путник в пустыне не так desiderat aquae¹, как мы прибытия князя. Только бы он раньше Хмельницкого успел, боюсь, его задерживают какие-то impedimenta.

— И мы молимся за скорейший его приезд денно и ночью, — отозвался один из бернардинцев.

Вскоре, однако, мольбам и молитвам всего рыцарства суждено было быть услышанными, хотя следующий день принес еще большие опасения, которым сопутствовали зловещие знаки. Дня восьмого июля, в четверг, страшная гроза разразилась над городом и свеженасыпанными лагерными валами. Дождь лил как из ведра. Часть земляных укреплений размыло. В Гнезне и обоих прудах поднялась вода. Вечером молния ударила в знамя пехотного полка бельского каштеляна Фирлея; несколько человек было убито, а древко знамени раскололось в щепы. Это сочли за дурной омен², явное проявление гнева господня, тем паче что Фирлей был кальвинистом. Заглоба предлагал послать к нему депутацию с просьбой или даже требованием обратиться в истинную веру, «ибо не может быть божьего благословения войску, коего вождь пребывает в богомерзких заблуждениях греховных». Многие разделяли это мнение, и лишь уважение к особе каштеляна и его булаве помешало отправить депутацию. Но это только в еще большее всех повергло унынье. И гроза бушевала не унимаясь. Валы, хоть они и укреплены были лозняком, колыями и камнями, размыло, орудия увязали в мокрой земле. Пришлось подкладывать доски под гаубицы, мортиры и даже восьмиствольные пушки. В глубоких рвах шумела вода, поднявшись в рост человека. Ночь не принесла покоя. Ветер до рассвета гнал неустанно по небу гигантские скопища туч, которые, клубясь и страшно грохоча, обрушивали на Збараж все, какие ни имели в запасе, дожди, молнии, громы... Только челядь осталась в лагере в палатках, товарищество же, военачальники, даже региментарии, исключая лишь каменецкого каштеляна, попрятались в городе и замке. Если б Хмельницкий пришел во время этой бури, лагерь был бы захвачен им без сопротивления.

На следующий день немного распогодилось, хотя дождь еще накрапывал. Лишь в шестом часу южный ветер разогнал тучи, небосвод над лагерем заголубелся, а в стороне Старого Збаража засверкала великолепная семицветная радуга, одним концом уходящая за Старый Збараж, а другим словно высасывающая влагу из Черного Леса, и долго блистала, играя и переливаясь на фоне убегающих туч.

Тогда бодростию исполнились все сердца. Рыцари возвратились в лагерь и поднялись на ослизлые валы, чтобы полюбоваться радугой. Тотчас завязались оживленные разговоры, посыпа-

¹ воды жаждет (лат.).

² предзнаменование, знак (лат.).

лись догадки, что этот добрый знак предвещает, как вдруг Володыёвский, стоявший вместе со всеми над самым рвом, приставил ладошь к своим рысьим глазам и воскликнул:

— Войско из-под радуги выходит, войско!

Все пришло в движение, толпа будто от ветра заколыхалась, и мгновенно поднялся шум. Слова: «Войско идет!» — стрелою пронеслись над валами. Солдаты, теснясь и толкаясь, сбивались в кучи. Гомон то усиливался, то стихал, ладони потянулись к глазам, взоры вперлись вдаль, сердца забились — все, затаив дыхание, смотрели в одну сторону, то обуреваемые сомнениями, то открываемые надеждой.

Меж тем под семицветною аркой что-то замаячило и постепенно стало приобретать четкие очертания, и все лучше виделось, все ближе подступало, — и вот уже можно было различить знамена, прапорцы, бунчуки! А там и целый лес значков — зрение никого уже не обманывало: это шло войско.

Тогда изо всех грудей вырвался единый крик, оглушительный вопль радости и надежды:

— Иеремия! Иеремия! Иеремия!

Старые солдаты совершенно потеряли голову. Одни сбежали с валов, перебрались через ров и по затопленной равнине, не разбирая дороги, помчались навстречу приближающимся полкам; другие кинулись к лошадям; кто смеялся, кто плакал, иные, складывая молитвенно руки или простирая их к небу, кричали: «Идет отец наш! Идет наш вождь и спаситель!» Можно было подумать, победа уже одержана, осада снята и вражье войско разбито. Меж тем княжеские полки подходили все ближе, уже и значки различить было можно. Впереди, как обычно, шли легкие конные хоругви князьих татар, казаков и валахов, за ними иноземная пехота Махницкого, далее артиллерия Вурцеля, тяжелая гусарская кавалерия и драгуны. Солнечные лучи переломлялись на их доспехах, на железках торчащих поверх голов копий — и шли они, окруженные удивительным этим сияньем, словно в ореоле победы. Скшетуский, стоявший на валу с паном Лонгином, издали узнал свою хоругвь, которую оставил в Замостье, и пожелтые его щеки окрасились легким румянцем. Он вздохнул раз-другой всей грудью, словно сбрасывая с себя непомерную тяжесть, и на глазах повеселел. Он понимал, что близятся дни нечеловеческих испытаний и кровопролитных схваток, а ничто лучше не врачует сердца, не загоняет в дальние уголки души мучительные воспоминанья. Полки меж тем подвигались вперед: уже не более тысячи шагов отделяло их от лагеря. И военачальники поспешили на валы поглядеть на прибытие князя: все три региментария и с ними пан Шиємский, коронный хорунжий, староста красноставский, пан Корф и прочие офицеры, как из польских хоругвей, так и из полков иноземного строя. Они разделяли всеобщее ликование, а более всех радовался Ланцкоронский, региментарий: будучи скорее рубакой,

нежели полководцем, и воинскую славу ценящий всего превыше, он протянул булаву в ту сторону, откуда приближался Иеремия, и промолвил так громко, что всеми был услышан:

— Вот истинный наш вождь, и я первый передаю ему свою благодарность и свою власть.

Княжеские полки начали входить в лагерь. Всего было их три тысячи человек, но стояли они ста тысяч: то пли победители сражений под Погребищем, Немировом, Староконстантиновом и Махновкой. Знакомые и друзья бросились их приветствовать. За полками легкой кавалерии следовала артиллерия Вурцеля. Солдаты с трудом вкатили четыре ломовые пищаля, две мощные восьмиствольные пушки и шесть захваченных у неприятеля орудий. Князь, отправлявший полки из Старого Збаража, подошел лишь под вечер, после захода солнца. Все сбежались его встречать — живой души в городе не осталось. Солдаты с горящими каганцами, головешками, факелами и лучинами обступили княжеского скакуна, загораживая ему путь, а то и под уздцы хватая, — каждому хотелось вблизи поглядеть на героя. Одежды его целовали и самого едва не стащили с седла, чтобы дальше нести на руках. В порыве одушевления не только воины из польских хоругвей, но и чужеземцы-наемники объявляли, что три месяца будут нести службу бесплатно. Толчея вокруг сделалась такая, что князь ни шагу не мог ступить — так и сидел на белом своем скакуне в окружении солдат, словно пастырь среди овец, а приветственные возгласы не смолкали.

Вечер настал тихий, ясный. На темном небе зажглись тысячи звезд, а вскоре появились и добрые предзнаменования. В ту самую минуту, когда Ланцкоронский приблизился к князю с булавой в руке, готовясь ему ее вручить, одна из звезд оторвалась от небесного свода и, оставляя за собой светозарный след, покатилась с грохотом в сторону Староконстантинова, откуда ожидался Хмельницкий, и погасла. «Это звезда Хмельницкого! — вскричали солдаты. — Чудо! Чудо! Явственное знамение!» «Vivat Иеремия-victor! ¹» — повторяли тысячи голосов. Тут вперед выступил каштелян каменецкий, сделав рукою знак, что желает говорить. Вокруг тотчас стало тихо, он же сказал:

— Король мне дал булаву, но в твои, победитель, более достойные руки я ее отдаю и первый твоим приказаниям готов подчиниться.

— И мы тоже! — повторили два других региментария.

Три булавы протянулись к князю, но он отдернул руку и ответил:

— Не я вам булавы вручал и забирать их у вас не стану.

— Да будет тогда твоя булава над тремя четвертой! — воскликнул Фирлей.

¹ победитель (лат.).

— Vivat Вишневецкий! Vivant региментарии! — вскричали рыцари. — Вместе пойдем на жизнь и на смерть!

В эту минуту княжеский жеребец, задравши храп, тряхнул выкрашенной в пурпурный цвет гривой и заржал звонко, и все лошади, что были в лагере, ответили ему в один голос.

И это также сочтено было предзнаменованием победы. У солдат засверкали глаза. Ратных подвигов возжелали сердца, огонь пробежал по жилам. Даже военачальникам передалось общее воодушевление. Подचाший плакал и молился, а каштелян каменецкий и староста красноставский первые забряцали саблями, вторя солдатам, которые, взбегая на валы и простирая во мрак руки, кричали, обращаясь в ту сторону, откуда ожидался неприятель:

— Сюда, собачьи сыны! Мы готовы!

В ту ночь в лагере никто не сомкнул очей, до утра не смолкали крики и как светляки роились во тьме огни факелов и каганцов.

На рассвете вернулся ходивший с разездом к Чолганскому Камню коронный писарь Сераковский с известием, что неприятель уже в пяти милях от лагеря. Отряд Сераковского выдержал неравный бой с ордынцами: в схватке погибли оба Маньковских, Олексич и еще несколько достойных рыцарей. Захваченные языки утверждали, что следом за передовым отрядом идут хан и Хмельницкий со всеми своими силами. День прошел в ожидании и приготовлениях к обороне. Князь, без долгих колебаний принявший верховное командование, отдавал последние распоряженья, каждому определяя, где стоять, как защищаться, чем поддерживать друг друга. В лагере сразу воцарился совсем иной дух, дисциплина окрепла; следа не осталось от бывшего смятения, растерянности, противоречивых указаний — везде царил лад и порядок. К полудню все расположились на своих позициях. Дозорные, во множестве выставленные перед лагерем, ежеминутно докладывали, что происходит в окрестностях. Челюдь была послана в близлежащие селения за провизией и фуражом — подбирали все, что где ни оставалось. Солдат на валу балагурил и пел, а ночью дремал у костра при оружии, в полной готовности, как если бы штурм должен был вот-вот начаться.

И в самом деле: с рассветом что-то зачернелось в стороне Вишневца. В городе забил набат, и в лагере жалобные протяжные голоса труб возвестили войску тревогу. Пехота поднялась на валы, в разрывах валов выстроилась конница, готовая по первому знаку броситься на врага, дымки от зажженных фитилей закурились вдоль всей линии укреплений.

В эту самую минуту показался князь на белом своем скакуне. Был он в серебряных доспехах, но без шлема. Даже тепь тревоги не омрачала его чела; напротив, глаза и лик лучились веселостью.

— Вот ж гости к нам пожаловали! — повторял он, проезжая вдоль валов. — Гостей встречать будем!

В наставшей тишине слышен был шелест знамен, от легких порывов ветерка то вздувающихся, то обволакивающих древки. Между тем неприятель приблизился настолько, что его можно было разглядеть невооруженным глазом.

Это была первая волна — еще не сам Хмельницкий с ханом, а рекогносцировочный отряд, составленный из тридцати тысяч отборных, вооруженных луками, самопалами и саблями ордынцев. Захватив полторы тысячи челядинцев, посланных за провиантом, они двинулись от Вишневецка сплошной лентой, а потом, вытянувшись в длинный полумесяц, повернули к Старому Збаражу.

Князь меж тем, убедившись, что это всего лишь передовой отряд, дал приказ кавалерии выйти из окопов. Прозвучали слова команды, полки пришли в движение и вылетели из-за валов, словно пчелиный рой из улья. Равнина заполнилась людьми и лошадьми. Издали видно было, как ротмистры с буздыганями в руках объезжают свои хоругви, готовя солдат к бою. Лошади весело пофыркивали, а порой в шеренгах слышалось ржанье. Потом от общего строя отделились две хоругви — князьи татары и казаки — и понеслись мелкой рысью навстречу ордынцам: луки подпрыгивали за спинами, шишаки сверкали на солнце. В молчанье летели вперед всадники, предводительствуемые рыжеволосым Вершулло, конь под которым кидался из стороны в сторону как шальной, поминутно вставая на дыбы, грызя удила, словно желая, освободившись от них, поскорей ринуться в гущу боя.

Голубизну небес ни единое облачко не пятнало, день занялся прозрачен и светел — всадников было видно как на ладони.

И тут со стороны Старого Збаража показался княжий обоз, который не успел войти в город вместе с войском и теперь гнал во весь дух из опасения, как бы ордынцы с маху его не перехватили. И в самом деле он был замечен, и длинный полумесяц к нему помчался. Крики: «Алла!» достигли слуха даже стоящей на валах пехоты. Хоругви Вершулла стремглав полетели на вырубку обозу.

Но полумесяц доскакал до него раньше и в мгновение ока опоясал черною лентой; одновременно несколько тысяч ордынцев с нечеловеческим воем повернули навстречу Вершулле, норовя охватить кольцом и его хоругви. Тут только видно стало, сколь опытен Вершулл и исправны его солдаты. Заметив, что татары заходят слева и справа, конники разделились на три части и кинулись в стороны, затем отряд раскололся на четверо, а потом еще надвое — и всякий раз неприятель вынужден был разворачиваться всем фронтом, поскольку впереди никого не оказывалось, а на флангах уже стало горячо. Лишь на четвертый раз столкнулись лицом к лицу обе силы, но Вершулл, нащупав самое

слабое место, туда обрушил главный удар и, разорвавши цепь, сразу выскочил неприятелю в тыл. Однако не задержался там и как ураган понесся к обозу, нимало не заботясь, что ордынцы не замедлят кинуться вдогонку.

Старые служивые, наблюдавшие с валов за этим маневром, не выпуская из рук оружия, колотили себя по ляжкам и кричали:

— Только княжеские ротмистры так в бой ведут, разрази их гром!

Меж тем конники Вершулла, врезавшись острым клином в опоясавшее обоз кольцо, пробили его, как стрела грудь воина пробивает, и в мгновение ока оказались у татар за спиною. Теперь вместо двух схваток закипела одна — зато с удвоенным ожесточением. Великолепное то было зрелище! Посреди равнины обоз, словно передвижная крепость, изрыгал огонь и выбрасывал долгие полосы дыма, а вокруг яростно бурлило черное клубище, как гигантский водоворот, по краям которого носились лошади без седоков, а внутри слышался только шум, рев, грохот самопалов. Одни стоят стеной, другие стремятся перескочить эту стену... Точно загнанный кабан, что, ощерив белые клыки, отбивается от остервенелой собачьей своры, защищался настигнутый тучей татар обоз, движимый отчаяньем и надеждой, что из лагеря придет более ощутимая, чем Вершуллова, подмога.

И верно, вскоре на равнине замелькали красные мундиры драгун Кушеля и Володыёвского — казалось, ветер понес по полю алые лепестки маков. Доскакав, словно в черную лесную чащобу, кинулись драгуны в гуцу татарской рати и мгновенно исчезли из виду, только сильнее взбурлил водоворот. Дивилось воинство на валах, почему князь не шлет сразу достаточно людей на выручку окруженным, но он медлил намеренно, чтобы солдаты могли воочию убедиться, какое он к ним привел подкрепление, — так Иеремия рассчитывал поднять дух войска и к еще большим испытаниям подготовить.

Но тем временем реже стала стрельба обозников — должно быть, они уже не успевали заряжать мушкеты или раскалились стволы; зато татары вопили все громче, и князь наконец дал знак: три гусарских хоругви, одна — его собственная — под командой Скушетуского, вторая — старосты красно ставского и третья, королевская, во главе с Пигловским, выйдя из лагеря, ринулись в бой. Точно обухом ударив, они разорвали вражеское кольцо, смяли басурман, рассеяли по равнине, оттеснили к лесу и, нанеся новый удар, отогнали от лагеря на четверть мили; обоз же, приветствуемый радостными возгласами, под гул орудий благополучно достиг окопов.

Однако татары, помня, что за спиной Хмельницкий с ханом, ненадолго скрылись из глаз; вскоре они вернулись и с криками «алла!» поскакали в объезд лагеря, занимая дороги, тракты и окрестные села, над которыми сразу потянулись к небу столбы

черного дыма. Множество наездников приблизились к окопам, но навстречу им тот же час, порознь и небольшими группами, бросились солдаты княжеского и квартового войска, большей частью из татарских, валашских и драгунских хоругвей.

Вершулл не мог участвовать в новых стычках: получив при защите обоза шесть сабельных ранений в голову, он лежал полумертвый в палатке; Володыёвский же, хоть и был будто рак весь от крови красен, не удовлетворился сделанным и первый кинулся врагу навстречу. Схватки продолжались до вечера; пехотинцы со своих позиций и рыцари из главных хоругвей не уставали этим зрелищем любоваться. Опережая один другого, воины шибались с татарами группами или поодиночке, стараясь кого только можно брать живыми. Пан Михал, схватив и отведя в лагерь очередного пленника, тотчас возвращался в гущу боя, красный его мундир мелькал то в одном, то в другом конце бранного поля. Скшетуский, точно на диковину, издали указал на него Ланцкоронскому: с каким бы из басурман ни схватился маленький рыцарь, тот падал, будто громом сраженный. Заглоба, хоть пан Михал и не мог его услышать, с вала подбадривал приятеля криками, время от времени обращаясь к толпившимся вокруг солдатам:

— Смотрите! Это я его учил рубиться. Хорошо! А ну-ка, еще разочек! Ей-богу, скоро со мной сравняется!

Между тем солнце закатилось, и наездники стали постепенно покидать поле, лишь бездыханные тела да конские трупы на нем остались. В городе зазвонили к вечерне.

Время шло к ночи, но темней не стало — вокруг стояли зарева пожарищ. Горели Залоцицы, Бажинцы, Люблинки, Стрыювка, Кретовицы, Зарудье, Вахлювка — вся околица, сколько видел глаз, пылала как факел. Дымы в ночи стали красны, звезды сверкали с порозовевшего неба. Тучи птиц с душераздирающим криком взлетали из лесной чащи, из зарослей кустарника и с прудов и, словно летающие языки пламени, кружили в воздухе, озаренном огненным светом. Напуганная непривычным зрелищем, подняла жалобный рев скотина в обозе.

— Быть не может, — говорили промеж собой старые солдаты в окопах, — чтоб один татарский отряд столько развел пожаров; знать, сам Хмельницкий с казаками и со всею ордой подходит.

Домысли эти были недалеко от правды: накануне еще Сераповский привез известие, что гетман запорожский и хан идут по пятам за передовым отрядом, — стало быть, вскоре можно их ожидать. Солдаты все до единого вышли на валы, народ усыпал крыши и колокольни. Все сердца тревожно бились. Женщины в костелах, рыдая, простирали руки к святым дарам. Ничего нет хуже ожидания: непомерной тяжестью навалилось оно на лагерь, замок и город.

Однако ждать пришлось недолго. Ночь еще не спустилась на землю, когда на горизонте показалась первая шеренга каза-

ков и татар, за нею вторая, третья, десятая, а там уже счет пошел на сотни и тысячи. Можно было подумать: все деревья в лесу, все кусты, оторвавшись вдруг от своих корней, двинулись на Збараж. Тщетно людское око искало конца этой лаве: куда ни глянь, везде чернели скопища людей и лошадей, порой исчезая в дыму далеких пожарищ. Они надвигались, как грозная туча, как стая саранчи, что страшной шевелящейся коркой покрывает сплошь все видимое пространство. Их опережал грозный рокот голосов, подобный шуму урагана, бушующего в бору между верхушек старых сосен. Наконец, в четверти мили от города, неприятель остановился и стал разжигать костры, готовясь к ночлегу.

— Видал, сколько огней? — перешептывались солдаты. — Эвон, как растянулись / на коне враз не обскачешь.

— Иисусе, Мария! — говорил Скшетускому Заглоба. — Поверь, сердце у меня львиное и страха в душе нету, но дорого бы я дал, чтобы все они нынче же в тартарары провалились. Как бог свят, больно их много! Верно, и в долине Иосафата не больше было столпотворенье. Скажи на милость, что этим лиходеям нужно? Не лучше ль бы по домам сидели, собачьи дети, да барщину отработывали мирно? Чем мы виновны, что господь нас шляхтою сотворил, а их холопами и повелел нам повиноваться? Тьфу! Зло берет! Сколь я ни кроток, но лучше меня не доводить до иступленья. Слишком много у них было вольностей, хлеба слишком много, вот и расплодилось, как мыши на гумне, а теперь противу котлов восстали. Погодите уж! Есть здесь один кот, что зовется князем Яремой, и другой — Заглоба! Как считаешь, пойдут они на переговоры? Ну что бы им изъяснить покорность — тогда б еще можно всех отпустить живыми, а?.. Как полагаешь? Меня другое тревожит: довольно ли в лагере съестных припасов? Ах, черт! Гляньте-ка, судари: вон за теми огнями еще огни, и дальше тоже! Ну и congressus!¹ Чтоб их всех взяла холера!

— О каких ты переговорах, сударь, толкуешь? — отвечал Скшетуский. — Они же не сомневаются, что мы у них в руках и что завтра конец всем нам!

— А по-твоему не конец? — спросил Заглоба.

— На все божья воля. Одно могу сказать: поскольку здесь князь, легко они нас не одолеют.

— Ну, спасибо, утешил! Легко, не легко — это мне плевать, как бы совсем сей чаши избегнуть!

— А для воина немалая честь задорого жизнь отдать.

— Оно, конечно, верно... Черт бы все побрал вместе с вашей честью!

В эту минуту к ним подошли Подбипятка и Володыёвский.

— Говорят, ордынцев и казаков с полмиллиона будет, — сказал литвин.

¹ встреча (лат.).

— Чтоб у тебя язык отсох! — вскричал Заглоба. — Добрая новость!

— При штурмах можно больше голов снести, чем на поле, — мечтательно ответил пан Лонгинус.

— Уж если князь наш с Хмельницким наконец сошелся, — сказал пан Михал, — ни о каких переговорах не может быть и речи. Либо пан, либо пропал! Завтра судный день! — добавил он, потирая руки.

Маленький рыцарь был прав. В этой войне, столь долго уже тянувшейся, двум самым грозным львам ни разу еще не довелось столкнуться лицом к лицу. Один громил гетманов и региментариев, другой — грозных казачьих атаманов, тому и другому судьба послышала победы, тот и другой наводили на врага ужас, и вот теперь непосредственная встреча должна была показать, чья возьмет. Вишневецкий смотрел с вала на несметные полчища татар и казаков, тщетно стараясь охватить их взором. А Хмельницкий с поля глядел на замок и лагерь, думая в душе: «Там мой наипугливший враг; кто мне противостоять сможет, когда я его одолею?»

Нетрудно было предугадать, что борьба между двумя этими полководцами будет долгой и ожесточенной, но исход ее не оставлял сомнений. Владетель Лубен и Вишневецка имел под своей командой пятнадцать тысяч войска, включая и обзную челядь, меж тем как за мужицким вождем поднялся люд, населявший земли от Азовского моря и Дона до самого устья Дуная. И еще шел с ним хан с крымской, белгородской, погайской и добруджской ордами; шли поселяне из поречий Днестра и Днепра; шли запорожцы и чернь без счету — из степей, разлогов, лесов, с хуторов, из городов, сел и местечек и те, что прежде служили в придворных или коронных хоругвях; шли черкесы, валашские каралаши, силистрийские и румелийские турки; даже вольные ватаги болгар и сербов. Подумать можно было: настало новое переселение народов, бросивших свои унылые степные обиталища и потянувшихся на запад, дабы захватить новые земли, новые основать государства.

Таково было соотношение враждующих сил... Горстка против тьмы, остров посреди бурного моря! Диво ли, что не в одно сердце закралась тревога, что не только в городе, не только в этом уголке страны — со всех концов Речи Посполитой на одинокую эту твердыню, окруженную тучами диких воинов, взирали, как на усыпальницу славных рыцарей и их великого вожда.

Так же, верно, думалось и Хмельницкому, потому что, не успели в его стане разгореться костры, казак, посланец гетмана, стал размахивать перед окопами белым знаменем, трубя и крича, чтобы не стреляли.

Караульные вышли и немедля его схватили.

— От гетмана, — сказал он им, — к князю Яреме.

Князь еще не сошел с коня и стоял на валу. Лик его был безмятежен, как небо. Огни пожарищ отражались в очах, розовые отблески упали на белые ланиты. Казак, представ перед Вишневецким, лишился речи, поджилки у него затряслись, мурашки побежали по телу, хотя то был старый степной волк и пришел как посол.

— Ты кто? — спросил князь-воевода, уставив на него спокойный свой взор.

— Я сотник Сокол... От гетмана.

— А с чем приходишь?

Сотник принялся бить поклоны, чуть не задевая челом князьих стремян.

— Прости, владыка! Что мне велено, то и скажу, моей тут вины нету.

— Говори смело.

— Гетман велел сказать, что гостем в Збараж прибыл и завтра посетит твою светлость в замке.

— Передай ему, что не завтра я пир в замке даю, а нынче! — был ответ князя.

И вправду, часом позже загремели мортиры, веселые крики огласили воздух и в окнах замка запылали тысячи свечей.

Сам хан, услышав салютную пальбу, гром литавр и пенье труб, изволил выйти из шатра в сопровождении брата своего Нурадина, султана Калги, Тугай-бея и множества мурз, а затем послал за Хмельницким.

Гетман, хоть и был уже навеселе, явился немедля и, низко кланяясь, к челу, подбородку и груди попеременно прикладывая пальцы, ждал, куда его спросят.

Хан долго глядел на замок, сверкавший вдали, как огромный фонарь, и слегка покачивал головою; наконец, пригладив жидкую свою бороду, двумя долгими космами ниспадавшую на кунью шубу, молвил, указывая пальцем на светящиеся окна:

— Гетман запорожский, что там?

— Князь Ярема пирует, о могущественнейший из царей! — ответил Хмельницкий.

Изумился хан.

— Пирует?..

— Завтрашние покойники гуляют, — сказал Хмельницкий.

Вдруг в замке вновь грянули выстрелы, затрубили трубы и разноголосые восклицанья достигли ушей достославного хана.

— Нет бога, кроме бога, — пробормотал он. — Лев в сердце сего гура.

И, помолчав, добавил:

— Я б лучше с ним, нежели с тобой, хотел быть.

Хмельницкий вздрогнул. Дорогой ценой оплачивал он татарскую дружбу, обойтись без которой не мог, и при этом ни минуты не был уверен в страшном своем союзнике. Приди хану в голову какая блажь — и орды против казачества оборотятся, а это озна-

чало неминуемую всем им погибель. И другое Хмельницкому было известно: хан хоть и помогал ему ради добычи, ради даров и несчастных ясырей, но, почитая себя законным правителем, в душе стыдился, что поддерживает мятеж, поднятый против короля, что выступает на стороне какого-то «Хмеля» против самого Вишневецкого.

Казацкий гетман частенько теперь напивался пьян не по давнему своему пристрастию, а с отчаянья...

— Великий государь! — сказал он. — Ярема враг твой. Это он отнял у татар Заднепровье, он мурз, точно волков, всем на устрашение на деревьях вешал, он на Крым с огнем и мечом идти замыслил...

— А вы разве не разоряли улусы? — спросил хан.

— Я раб твой.

Синие губы Тугай-бея задрожали, и клыки засверкали: был у него меж казаков заклятый враг, который некогда его чамбул наголову разбил и самого не скрутил чудом. Имя этого врага теперь вертелось у него на языке; движимый неудержной силой воспоминаний и жаждой мести, он не сумел себя превозмочь и проворчал тихо:

— Бурляй! Бурляй!

— Тугай-бей! — тотчас отозвался Хмельницкий. — Вы с Бурляем по мудрому приказанию светлейшего хана прошлый год воду на мечи лили.

Новый залп из замковых орудий прервал дальнейшую беседу.

Хан, вытянув руку, описал в воздухе круг, обхватывающий город, замок и окопы.

— Завтра это мое будет? — спросил он, обращаясь к Хмельницкому.

— Завтра они умрут, — ответил Хмельницкий, не сводя глаз с замка.

И снова принялся бить поклоны и руку то к челу, то к подбородку, то к груди прикладывать, посчитав, что разговор окончен. Да и хан, запахнувши кунью шубу, поскольку ночь, хоть и стоял июль, была холодная, молвил, повернувшись к шатрам:

— Поздно уже!..

Тотчас все, словно приведенные в движение одною силой, стали кланяться, а он неспешно и степенно прошествовал к шатру, повторяя вполголоса:

— Нет бога, кроме бога!..

Хмельницкий тоже пошел к своим, бормоча дорогою:

— Все тебе отдам: замок, и город, и пленников, и добычу, но Ярема мой, а не твой будет, хоть бы мне и животом своим пришлось заплатить.

Мало-помалу костры стали меркнуть и гаснуть и шум сотен тысяч голосов затих; кое-где лишь еще посвистывали сопелки да покрикивали татарские конепасы, выгонявшие лошадей в ночное,

но вскоре и эти звуки смолкли и сон объял несметные полчища татар и казаков.

Только замок гудел, гремел, салютовал, словно в нем играли свадьбу.

В лагере все ожидали, что назавтра быть штурму. И вправду, с утра зашевелились сонмища черни, казаков, татар и иных диких воинов, следовавших за Хмельницким, и, как черные тучи, наползающие на вершину горы, двинулись к окопам. Солдаты, хотя уже накануне безуспешно пытались сосчитать огни костров, оцепенели, завидя накатывающееся море людское. Но это был еще не самый штурм, а скорее осмотр поля, шанцев, ровов, валов и всего польского стана. И, точно горбатая океанская волна, гонимая ветром из дальней дали, что, раскатившись, нахлынет, вздыбится и, запенившись, ударит с ревом о берег, а потом вновь отпрянет, так и рать эта, ударив то тут, то там, откатывалась и снова наносила удар, словно испытывая, каков будет отпор, словно желая убедиться, что одним только видом своим и числом может сломить дух неприятеля, прежде чем растопчет тело.

Тотчас же заговорили орудия — ядра часто посыпались на лагерь, откуда вражеским пушкам ответили из мортир и ручного оружия; одновременно на валы вступила процессия со святыми дарами, чтобы поднять слабеющий дух войска. Впереди ксендз Муховецкий нес золотой ковчежец, держа его в обеих руках пред собою, а порой подымая вверх, — он шел под балдахином в парчовой ризе, полузакрыв глаза, и аскетическое его лицо было спокойно. Рядом, поддерживая Муховецкого под руки, шли два другие ксендза: Яскульский, гусарский капеллан, в прошлом преславный воин, в ратной науке сведущий не меньше любого военачальника, и Жабковский, тоже немало на своем веку повоевавший, бернардинец исполинского роста, силой не уступавший никому в лагере, кроме пана Лонгина. Балдахин несли четверо шляхтичей, среди которых был и Заглоба, а перед ними девочки с нежными личиками разбрасывали цветы; замыкали шествие войсковые старшины. Процессия прошла по валам из конца в конец; у солдат при виде светозарной, словно солнце, дароносицы, при виде спокойствия ксендзов и одетых в белое девчушек мужжали сердца, крепла отвага и души наполнились боевым задором. Ветер разносил бодрящий аромат курящейся в кадилъницах мирры; все головы смиренно клонились долу. Муховецкий время от времени поднимал ковчег и, возведя очи к небу, запевал гимн: «Пред святыней со смиренъем».

Два зычных голоса — Яскульского и Жабковского — немедленно подхватывали: «...упадемте, братья, ниц», — и все войско продолжало: «Новым сменим откровенъем старых таинства страниц». Пению вторил густой бас орудий; порой пушечное ядро с гудением пролетало над балдахином и ксендзами, иной же раз, ударивши в наружный скат вала, осыпало их землей, отчего Заглоба втягивал голову в плечи и прижимался к шесту. Натерпелся он

страху — особенно когда процессия останавливалась, чтобы прочесть молитву. Тогда воцарялось молчание и явственно слышался свист ядер, летящих стаей, как большие птицы. Заглоба только пуце багровел, а ксендз Яскульский, поглядывая на поле, бормотал, не в силах сдержаться:

— Наседок им щупать, а не из пушек стрелять!

Пушкарки у казаков и вправду были никудышныи, а ксендз, как бывалый солдат, не мог равнодушно взирать на такое неуменье и пустую трату пороха. И снова процессия вперед подвигалась, пока не достигла благополучно конца валов, — впрочем, неприятель на валы особого натиска и не оказывал. Попытавшись посеять смятение в разных местах, а более всего в окопах возле западного пруда, татары и казаки в конце концов отступили на свои позиции и угомонились, даже одиночных конников высылать перестали. Процессия меж тем окончательно укрепила дух осажденных.

Теперь всякому стало ясно, что Хмельницкий ждет прибытия своего обоза; впрочем, он совершенно уверен был, что первый же состоящий штурм будет увенчан успехом, и потому приказал соорудить лишь несколько редутов для пушек, а больше никаких осадных земляных работ и не начинал. Обоз подошел на следующий день и выстроился в несколько десятков рядов, телега к телеге, растянувшись на милю, от Верняков до самой Дембины; с обозом пришли новые силы: отменная запорожская пехота, не уступавшая турецким янычарам, куда более приготовленная к штурмам и атакам, нежели чернь и татары.

Памятный вторник 13 июля прошел в обоюдных лихорадочных приготовлениях; уже не оставалось сомнений, что штурм неминуем: с утра трубы, барабаны и литавры в казачьем стане играли *lagum*, а у татар гремел оглушительно огромный священный бубен, называемый балтом... Вечер настал тихий, погожий, лишь с обоих прудов и Гнезны поднялся легкий туман. Наконец на небе сверкнула первая звезда.

В ту же минуту шестьдесят казачьих пушек взревели в голос и несметные полчища с леденящим душу криком устремились к валам — то было начало штурма.

Войска стояли на валах. Солдатам казалось: земля дрожит под ногами. Самые старые воины не помнили такого.

— Господи Иисусе! Что это? — вопрошал Заглоба, стоя подле Скшетуского среди гусар в проеме между валами. — Будто и не люди на нас велят.

— Ты, сударь, как в воду глядишь: враг перед собой волов гонит, чтоб мы на них сперва картечь расстреляли.

Старый шляхтич покраснел, как бурак, глаза его выпучились, а с уст сорвалось одно-единственное слово, в которое он вложил всю ярость, страх и прочие чувства, что всколыхнулись в нем в ту секунду:

— Мерзавцы!..

Волы, которых дикие полуголые чабаны подгоняли горящими факелами и батогами, обезумев от страха, опрометью неслись вперед с ужасающим ревом, то сбиваясь в кучу и ускоряя бег, то рассыпаясь, а то и поворачивая обратно, но погонщики понукали их криком, жгли огнем, хлестали сыромятными бичами, и они снова устремлялись к валам. Тогда вступили пушки Вурцеля, извергнув огонь и железо. Весь свет завололся дымом, небо побагровело, испуганная животиная рассеялась, словно от удара молнии, половина попадала на землю, но по трупам ее неприятель шел дальше.

Впереди гнали пленников, тащивших мешки с песком для засыпки рвов; их кололи пиками в спину, обжигали огнем из самопалов. То были крестьяне из окрестностей Збаража, не успевшие укрыться от нашествия в городских стенах, — не только молодые мужики, но и женщины, и старцы. Они бежали кучею с криком, с плачем, воздевая к небесам руки, моля о сострадании. Волосы дыбом подымались от этого воя, но не было тогда сострадания в мире: сзади в спины несчастным вонзались казачьи пики, спереди обрушивались снаряды Вурцеля, картечь рвала тела в клочья, десятками валила наземь, а они бежали, обливаясь кровью, падали, подымались и бежали дальше: возврата не было, позади катилась лавина казаков, за казаками — татары, турки...

Ров стал быстро наполняться телами, кровью, мешками с песком, а когда наполнился до краев, неприятель с воем бросился через него к окнам.

Лавина не иссякала. При вспышках орудийных залпов видно было, как старшины буздыганами гонят на штурм все новые полки. Самые отборные были брошены на позиции войск Иеремии: Хмельницкий знал, что там встретит наибольшее сопротивление. Туда устремились запорожские курени и страшные перьяславцы во главе с Лободою, следом Воронченко вел черкасский полк, Кулак — карвовский, Нечай — брацлавский, Стемпка — уманский, Мрзовицкий — корсунский; за ними шли кальнинчане и сильный белоцерковский полк численностью в пятнадцать тысяч, а с белоцерковцами сам Хмельницкий, красный как сатана в отблесках огня, смело подставляющий широкую грудь пулям, с лицом льва и взором орла, — в хаосе, дыму, смятенье, в крови и пламени, все подмечающий, управляющий всем и всеми.

Следом летели дикие донские казаки; за ними черкесы, в бою пускающие в ход ножи; рядом Тугай-бей вел отборных ногайцев, далее Субагази — белгородских татар, а подле него Курдлук — смуглолицых астраханцев, вооруженных гигантскими луками и стрелами, из которых каждая могла сойти за дротик. Шли друг за другом, почти вплотную: жаркое дыхание задних обжигало передним затылки.

Сколько их пало, прежде чем они достигли наконец рва, заваленного телами пленных, — кто воспевает, кто расскажет! Но

дошли и перешли ров и начали на валы взбираться. Ночи Страшного суда была подобна та звездная ночь. Ядра не доставали тех, кто подошел совсем близко, но продолжали кромсать дальние шеренги. Гранаты, рисуя в воздухе огненные полукружья, летели с адским хохотом, рассеивая тьму, ночь превращая в белый день. Немецкая и лановая польская пехота вместе со снесившимися князьими драгунами чуть не в упор поливала казаков огнем, осыпала свинцовым градом.

Первые их ряды попробовали было отступить, но, подпираемые сзади, не смогли — и умирали на месте. Кровь хлюпала под ногами атакующих. Валы осклизли, по ним катились обезглавленные тела, руки, ноги. Казаки карабкались вверх, падали и лезли дальше, черные от копоти, окутанные дымом; их секли и рубили, но ничто им были смерть и раны. Кое-где уже пошло в ход холодное оружие. Люди будто опалели от ярости: зубы ощерены, лица залиты кровью... Один на другом лежали раненые и умирающие, и живые дрались на шевелящихся этих грудах. Никто уже не слышал команд, все звуки слились в один ужасный вопль, заглушавший и ружейную пальбу, и хрип раненых, и шипенье гранат, и стоны.

Уже много часов длился страшный, беспощадный бой. Вдоль крепостного вала вырос второй вал — из тел павших, сдерживающий натиск вражеских полчищ. Запорожцы чуть не все были порублены, перемыслицы повалку лежали у подошвы вала, карвовский, брацлавский, уманский полки наголову разбиты, но другие еще напирали, подгалкиваемые сзади гетманской гвардией, полками урумбейских татар и румелийских турок. Однако смятение уже коснулось рядов атакующих, а лановая польская пехота, немцы и драгуны пока не уступили ни пяди. Задыхаясь, обливаясь кровью и потом, охмелев от запаха крови, охваченные безумством боя, они, оттесняя один другого, рвались к неприятелю, как рвутся к овечьей отаре разъяренные волки. И тогда Хмельницкий, собрав остатки разбитых отрядов, вместе со свежими силами — полком белоцерковских казаков, с татарами, черкесами и турками — во второй раз бросился на осажденных.

Перестали греметь на валах пушки, и гранаты не озарили больше темноты, только сабли лязгали у всего подножья западного вала да крики сотрясали воздух. Потом смолкли и ружейные залпы. Мрак поглотил участников рукопашной схватки.

Самый зоркий глаз не мог уже рассмотреть, что там происходит, — что-то ворочалось во тьме, будто исполинское чудовище в конвульсиях извивалось. Даже по возгласам нельзя было распознать, торжество в них звучит или отчаянье. Порой и крики стихали — тогда только один страшный стон можно было услышать; со всех сторон он шел: из-под земли, над землей катился, повисал в воздухе, возносился к небесам, словно и души стонали, отлетая с бранного поля.

Но кратки были такие перерывы; после недолгой тишины вой и вопли возобновлялись с удвоенной силой и делались все более хриплыми, все менее похожими на людские.

Вдруг снова грянули ружья: это оберштер Махницкий с остатками пехоты подошел на помощь извуренным полкам. В задних рядах казаков протрубили отбой.

Настала передышка; казачьи полки на версту отступили от окопов и остановились под прикрытием своих орудий. Но не прошло и получаса, как Хмельницкий поднял и в третий раз погнал на штурм свое войско.

Но тогда на валу показался верхом на коне сам князь Иеремия. Узнать князя было нетрудно: прапорец и гетманский бунчук развевались над его головою, а впереди и позади несли с полсотни горящих кровавым пламенем факелов. Тотчас по нему подняли пальбу казачьи пушки, но неумелые пушкарки далеко, за Гнезну, отправляли ядра, князь же стоял спокойно и смотрел на близящуюся тучу...

Казачи замедлили шаг, словно зачарованные этой картиной.

— Ярема! Ярема! — будто шум ветра, пронеслось по рядам негромкое бормотанье.

Стоящий на валу среди кровавых огней грозный князь казался сказочным исполином — и дрожь пробежала по усталым членам, а руки поднялись, творя крестное знаменье. Он же стоял недвижно.

Но вот он махнул золотой булавой — и мгновенье спустя зловещая стая гранат, шумом наполнив воздух, обрушилась на вражеские шеренги; колонна извилась, как смертельно раненный змий, вопль ужаса полетел с одного конца лавины к другому.

— Вперед! Бегом! — послышались голоса казачьих полковников.

Черная лавина стремглав понеслась к валам, чтобы схорониться от гранат под их защитой, но не успела преодолеть и половины пути, когда князь, по-прежнему видный как на ладони, полуобернувшись к западу, вновь махнул золотой булавою.

По этому знаку со стороны пруда, из просвета между зеркальной его гладью и валом, выступила конница и в мгновение ока рассыпалась по прибрежному краю равнины; при свете гранат ясно видны были многолюдные гусарские хоругви Скшетуского и Зацвилюховского, драгуны Кушеля и Володьевского и князьки татары под командой Розтворовского. За ними показались новые полки: казаки и валахи Быховца. Не только Хмельницкий — последний обозник в минуту понял, что дерзкий военачальник решил бросить всю кавалерию неприятелю во фланги.

Немедля в казачьих рядах трубы проиграли отбой.

— Грудю к коннице! Поворачивай! — раздались испуганные голоса.

Хмельницкий меж тем пытался переменить фронт своих войск и конницей от конницы прикрыться. Но времени на это

уже не оставалось. Прежде чем он успел выровнять строй, княжеские хоругви пустились вскачь и понеслись, как птицы, с криками «бей, убивай!» под шелест прапорцев, под железный скрежет брони и свист крыльев. Гусары с копьями наперевес врезались в стену неприятеля, словно ураган, все на своем пути круша и сминая. Никакая человеческая сила, никакой вождь, ничей приказ не могли бы удержать на месте полки пехоты, которые первыми подверглись этому бешеному натиску. Ужасное смятение охватило отборную гетманскую гвардию. Белоцерковцы побросали самопалы, пинцали, пики, косы, кистени, сабли и, закрывая головы руками, помчались, обезумев от страха, со звериным восторгом прямо на стоявшие позади татарские отряды. Но татары встретили их градом стрел — тогда они метнулись в сторону и теперь бежали вдоль табора под огнем пехоты и пушек Вурцеля, сплошь устилая землю телами, — редко где труп на труп не падал.

Но тем часом дикий Тугай-бей, поддерживаемый Урум-мурзой и Субагази, яростно обрушился на гусар. Сломить их он не надеялся, но хотя бы ненадолго хотел задержать, чтобы за это время силистрийские и румелийские янычары успели выстроиться четверугольником, а белоцерковцы оправиться после первого удара. И прыгнул, словно в омут, и сам впереди всех летел не как предводитель, а как простой татарин, и рубил, убивал, подвергая себя опасности наравне с другими. Кривые сабли ногайцев звенели по панцирям и латам; все прочие звуки заглушались диким ревом воинов. Но не устояли басурманы. Страшной своею тяжестью на всем скаку обрушились на них железные всадники, которым они в открытом бою противостать не привыкли, и стали теснить к янычарам, налево и направо разя длинными своими мечами, — и вышибали их из седел, секли, кололи, давили, как ядовитых насекомых; однако они защищались с таким ожесточением, что натиск гусар и впрямь был приостановлен. Тугай-бей носился по бранному полю словно всепожирающий пламень, а ногайцы следовали за ним неотступно, как волки за волчицей.

Но все труднее им становилось держаться, все больше валилось замертво наземь. Наконец крики «алла!» за их спиной возвестили, что янычары выстроились в боевом порядке. Но тут к разъяренному Тугай-бею подсакал Скшетуский и кончаром ударил по голове. Однако, видно, не совсем еще вернулись к рыцарю после болезни силы или крепка оказалась выкованная в Дамаске мисюрка, только лезвие поворотилось и удар пришелся плашмя, а кончар разлетелся на куски. Но глаза Тугай-бея тот же час завлоклись мглою, он осадил коня и повалился на руки ногайцев, которые, подхватив своего предводителя, с ужасающим воплем рассыпались в стороны, подобно развеянному внезапным порывом ветра туману. Вся княжеская конница теперь лицом к лицу столкнулась с румелийскими и силистрийскими янычарами и вагагами потурчившихся сербов, которые, соединившись с янычарами, образовали один гигантский четверугольник и мед-

ленно отступали к табору, оборотясь фронтом к врагу, оцетившись дулами мушкетов, остриями длинных коний, дротиков, кончаров и боевых топоров.

Панцирные хоругви, драгуны и княжеские казаки понесли на них как вихрь; впереди всех с лязгом и топотом летели гусары Скшетуского. Сам он скакал во весь опор в первой шеренге, а подле него на своей лифляндской кобыле — пан Лонгинус со страшным Сорвиглавцем в руке.

Красная огненная лента взметнулась надо всеми сторонами четверугольника, засвистали у конников в ушах пули, и вот уже где-то послышался стон, где-то упала лошадь, ровная линия сломалась, но гусары, не останавливаясь, мчатся дальше; они уже совсем близко, уже янычары слышат храп и сиплое дыхание лошадей, ряды смыкаются еще плотнее, и лес пик, сжимаемых жилистыми руками, обращается бешеным скакунам навстречу. Каждое острпе, сколько их ни есть, грозит рыцарям смертельным ударом.

Вдруг какой-то гусар-исполин на всем скаку подлетает к одной из сторон четверугольника; взвиваются в воздух копыта огромного коня, мгновение — и рыцарь вместе с лошадью врывается в самую гущу, ломая копья, опрокидывая всадников, круша, давя, повергая во прах.

Как орел падает камнем на стаю белых куропаток и рвет их, пугливо сбившихся кучкой, трещающих перед хищником, когтями и клювом, так пан Лонгинус Подбиятка, вломившись в середину вражьего строя, неистовствовал со своим Сорвиглавцем. Никакому смерчу не сделать в густом молодняке таких опустошений, какие произвел в рядах янычар этот рыцарь. Страшен он был: фигура выросла до нечеловечьих размеров, кобыла обернулась огнедышащим драконом, а Сорвиглавец в руке троился. Кизляр-Бак, гигантского роста ага, бросился на него и пал, надвое рассеченный. Напрасно самые дюжие вытягивают руки, заслоняются копьями — всяк тотчас валится, точно сраженный громом, он же топчет их тела, кидается в самую гущу, и от каждого взмаха его меча, как колосья под серпом, падают люди; пусто делается вокруг, вопли ужаса слышатся отовсюду, стоны, гром ударов, скрежет железа о черепа, храп сатанинской кобылы.

— Див! Див! — несутся со всех сторон испуганные голоса.

В эту минуту железная лавина гусар по знаку Скшетуского хлынула в брешь, пробитую литвином; бока четверугольника треснули, как стены завалившегося дома, и толпы янычар бросились врассыпную.

Вовремя подоспели гусары: ногайцы Субагази, как алчущие крови волки, уже возвращались в битву, а с другой стороны на подмогу янычарам спешил, собрав остатки белоцерковцев, Хмельницкий. Все смешалось в кучу. Казаки, татары, потурченцы, янычары удирали в страшнейшем смятении и беспорядке к табору, не оказывая сопротивления. Кавалерия преследовала их, рубя

налево и направо. Кто не пал от первого удара, того теперь постигала гибель. В пылу погони гусары обогнали задние ряды убегающих; руки у солдат немели от рубки. Беглецы бросали оружие, знамена, шапки, даже скидывали на скаку одежду. Белые янычарские чалмы точно снегом покрыли поле. Вся отборная гвардия Хмельницкого, пехота, конница, артиллерия, вспомогательные отряды татар и турок сбились в бесформенную толпу, потерявшуюся, обезумевшую, ослепшую от страха. Целые сотни от одного рыцаря бежали. Гусары сделали свое дело, погромив татар и пехоту, — теперь настал черед легкой кавалерии и драгун; ведомые Кушелем и Володыевским, они соперничали друг с другом, а командиры их творили истые чудеса, превосходящие людское воображение. Кровь сплошным потоком залила страшное побоище и точно вода хлюпала под копытами, обдавая брызгами доспехи и лица.

Толпа беглецов смогла перевести дух лишь возле телег своего обоза, когда трубы проиграли отбой коннице князя.

Рыцарство возвращалось с песнями и радостными возгласами, по дороге дымящимися еще саблями пересчитывая неприятельские трупы. Но кто мог с одного взгляда оценить понесенный врагом урон? Кто мог сосчитать всех павших, когда подле самых окопов бездыханные тела лежали одно на одном грудями «с доброго мужика ростом»? Солдаты точно угорели от крепкого запаха крови и пота. К счастью, со стороны прудов поднялся довольно сильный ветер и отнес удушливые запахи к вражеским палаткам.

Так закончилась первая встреча страшного Яремы с Хмельницким.

Но штурм еще не окончился: пока Вишневецкий отражал атаки на правом крыле, Бурляй едва не овладел укреплениями на левом. Неприметно обойдя город и замок, он со своими заднепровцами подошел к восточному пруду и нанес мощный удар по расположению войск Фирлея. Венгерская пехота, стоявшая там, не могла сдержать натиска, поскольку еще не были насыпаны валы возле пруда; первым бежал хорунжий со знаменем, а за ним и весь полк. Бурляй врзался в середину, следом неудержимым потоком хлынули заднепровцы. Победные возгласы донеслись до противоположного конца лагеря. Казаки, преследуя убегающих, разбили небольшой отряд кавалерии, захватили несколько орудий и уже подступали к позициям каштеляна бельского, когда подоспел с помощью пан Пшиемский с несколькими ротами немцев. Уложив одним ударом хорунжего, он подхватил знамя и помчался с ним навстречу врагу. Немцы набросились на казаков; завязался ожесточенный рукопашный бой; ярости Бурляевых воинов, имевших к тому же численное превосходство, противостояла отвага старых львов, ветеранов немецкой войны. Тщетно Бурляй, словно раненый вепрь, кидался в самую гущу сраженья. Сколь ни велики были презрение к смерти и стойкость, выказываемые в бою его молодцами, они не могли

сдержат неукротимых немецких солдат, которые, надвинувшись сплошной стеной, с такою наперли силой, что сразу же оттеснили их назад, прижали к редутам, половину уложили на месте, а остальных после получасовой схватки отбросили за валы. Пан Пишемский, залитый кровью, первый водрузил на недокопченной насыпи свое знамя.

Положение Бурляя сделалось ужасно: атаману предстояло отступать тем же путем, каким он пришел, а поскольку Иеремия к тому времени уже отбил атаку на правом фланге, ему не составляло труда окружить весь отряд казаков. Правда, на помощь Бурляю кинулся с корсунскими конниками Мрозовицкий, но в эту минуту на поле вышли гусары Конецпольского, к ним присоединился возвращающийся после разгрома янычар Скшетульский, и вместе они преградили дорогу заднепровцам, дотоле отступавшим в боевом порядке.

Одним ударом Бурляй был разбит наголову, и тут ужасная началась бойня. Единственный путь — к смерти — оставался казакам, ибо к табору путь был отрезан. Некоторые, не желая просить пощады, отчаянно защищались, объединяясь группами или поодиночке, другие тщетно простирали руки к всадникам, вихрем носившимся по бранному полю. Началась погоня, скачка наперегонки, одиночные схватки, поиски беглецов, прятавшихся в рытвинах и за бугорками. С валов стали кидать мазницы с зажженным дегтем; словно огневые метеоры с пламенеющей гривой, летели они, освещая поле битвы. При кровавых этих отблесках довершалась расправа над заднепровцами.

Субагази, в тот день творивший чудеса храбрости, бросился было им на помощь, но знаменитый Марек Собеский, староста красноставский, осадил его, как лев осаживает дикого буйвола, и увидел Бурляй, что неоткуда ему ждать избавленья. Эх, Бурляй, Бурляй, больше жизни дорога была тебе казацкая твоя слава, и потому не искал ты спасенья! Другие бежали под покровом темноты, во всякую щель забивались, проскальзывали меж копытами скакунов, он же еще искал, с кем схватиться. От его руки пали Домбек и Русецкий, и пан Аксак, молодой львенок, тот самый, что стяжал под Староконстантиновом вечную славу; потом сразил атаман Савицкого, затем с маху поверг на землю двух крылатых гусар, и наконец, завидя толстобрюхого шляхтича, с трубным рыком пересекающего поле битвы, с места в карьер, подобный сверкающему языку пламени, устремился к нему.

Заглоба — ибо то был он — от страха заревел еще пуще и, повернув коня, обратился в бегство. Последние волосы дыбом стали на его голове, но он не потерял присутствия духа, напротив, мозг его работал с лихорадочной быстротою, преразличнейшие измышляя фортели; при этом он вопил благим матом: «Милостивые судари! Кто в бога верует!..» — и летел очертя голову туда, где побольше всадников скопилось. Бурляй меж тем, заехав сбоку и избрав кратчайший путь, устремился за ним. Заглоба

зажмурился, а в уме его одно вертелось: «Подохну как шелудивый пес!» Он слышал за спиной фыркание скакуна, видел, что никто не спешит к нему на помощь, что от погони не уйти и ничья рука, кроме собственной, не вырвет его из Бурляевой пасти.

Но в последнюю эту минуту, можно сказать, на границе жизни и смерти, отчаяние его и ужас вдруг сменились яростью; взревев так устрашающе, как не зареветь и туру, и поворотив лошадь на месте, Заглоба бросился на казацкого атамана.

— Заглобу достать захотел! — крикнул он и взмахнул саблей.

В это мгновение новая стая горящих мазниц была сброшена с валов; сделалось светлее. Бурляй глянул и остолбенел.

Но не потому остолбенел, что услышал знакомое имя, — никогда прежде ему его не доводилось слышать, — он узнал мужа, которого, как Богунова приятеля, потчевал недавно в Ямполе.

Роковая минута изумления стояла отважному казацкому предводителю жизни: прежде чем он успел опомниться, Заглоба со страшною силой хватил его в висок и одним махом свалил на землю.

Свершилось это на глазах у всего воинства. Радостным крикам гусар ответствовал вопль ужаса, вырвавшийся у казаков; увидя гибель старого черноморского льва, заднепровцы вконец пали духом и потеряли охоту к сопротивленью. Кого не вырвал из вражьих когтей Субагази, тот пал — пленников в ту кошмарную ночь не брали вовсе.

Субагази, преследуемый легкой кавалерией старосты красноставского, улепетывал обратно в лагерь. Штурм по всей линии укреплений был отражен — лишь возле казацкого табора еще неистовствовала конница, посланная беглецам вдогонку.

Возглас радости и ликования сотряс весь стан осажденных, и громopodobные выкрики понеслись к небесным вышинам. Окровавленные, мокрые от пота, черные от пороха воины, запорошенные пылью, с распухшими лицами и еще грозно сведенными бровями, с еще не угасшим огнем в очах, стояли, опершись на оружие, жадно хватая ртом воздух, готовые снова ринуться в бой по первому знаку. Но постепенно и кавалерия начала возвращаться с кровавой жатвы на подступах к табору; затем на поле брани спустился сам князь, а за ним региментарии, коронный хорунжий, пан Марек Собеский, пан Пшиемский. Весь этот блестящий кортеж медленно подвигался вдоль окопов.

— Да здравствует Иеремия! — кричало воинство. — Да здравствует отец наш!

А князь склонял на все стороны булаву и голову, не прикрывая шлемом.

— Спасибо вам! Благодарствую! — повторял он голосом звучным и ясным.

Потом сказал, обратившись к Пшиемскому:

— Этот окон велик слишком!

Пишемский кивнул.

Так вожди-победители проехали от западного до восточного пруда, оглядывая поле боя, и валы, и повреждения, причиненные валам неприятелем.

А следом за кортежем княжьи солдаты в порыве одушевления под громкие возгласы несли на руках в лагерь Заглобу как величайшего триумфатора, который в тот день более всех отличился. Десятка два крепких рук поддерживали тяжелое тело витязя, сам же витязь, красный, потный, размахивая для равновесия руками, кричал во всю глотку:

— Ха! Задал я перцу вражьему сыну! Нарочно бежать удавился, чтоб его приманить за собою. Побурлили Бурляй — довольно! Да, любезные, надо было пример показать молодежи! Осторожней ради бога, а то ведь уронить и покалечить недолго. Эй, вы там, крепче держите! Нелегко мне с ним пришлось, уж поверьте! Ох, шельмы! Нынче последний голодранец на шляхтича руку поднять смеет! Вот и получают свое... Осторожно! Пустите, черги!

— Да здравствует! Да здравствует! — кричала шляхта.

— К князю его! — требовали иные.

— Исполать!!!

Меж тем гетман запорожский, воротившись обратно в лагерь, рычал, как раненый дикий зверь, рвал жупан на груди и раздирали лицо ногтями. Уцелевшая в сече старшина окружила его в угрюмом молчании, не произнося в утешенье ни слова, а он почти потерял рассудок. На губах выступила пена, пятками колотя о землю, он обеими руками рвал на себе чуприну.

— Где мои полки? Где мои молодцы? — хрипло твердил гетман. — Что скажет хан, Тугай-бей что скажет! Выдайте мне Ярему! Головой плачу — пусть сажают на кол.

Старшина понуро молчала.

— Почему мне ворожили победу предсказывали? — продолжал реветь Хмельницкий. — Ур і з а т и ведьмам шеи!.. Почему сулили, что Ярема мой будет?

Обычно, когда рык этого льва потрясал табор, полковники молчали, но теперь лев был побежден и растоптан, счастье, казалося, ему изменило, и старшина осмелела.

— Ярему не удержишь, — мрачно буркнул Степка.

— Нас и себя погубишь! — проговорил Мрозовицкий.

Гетман как тигр прыгнул на своих полковников.

— А кто одержал победу под Желтыми Водами? Под Корсунем? Под Пилявцами?

— Ты! — зло бросил Воронченко. — Но там не было Вишневецкого.

Хмельницкий снова схватился за волосы.

— Я хану обещал нынче ночлег в замке! — в отчаянии выли он.

На это Кулак ответил:

— Ты обещал, у тебя пусть и болит голова! Гляди, как бы она теперь с плеч не слетела... А на приступ нас не гони, не губи рабов божьих! Валами окружи ляхов, шанцы прикажи возвести для пушек, не то горе тебе!

— Горе тебе! — повторили угрюмые голоса.

— Горе вам! — ответил Хмельницкий.

Так толковали они, и грозны, как раскаты грома, были их речи... Кончилось тем, что Хмельницкий, пошатнувшись, повалился на грудь покрытых коврами овчин, лежавших в углу шагра.

Полковники стояли над ним, понурясь; молчание длилось долго. Наконец гетман поднял голову и вскричал хрипло:

— Горілки!..

— Не будешь пить! — рявкнул Выговский. — Хан пришлет за тобою.

В это самое время хан пребывал в миле от побоища, не зная, что творится на ратном поле. Ночь была тепла и тиха; хан сидел возле шагра, окруженный муллами и агами, и в ожидании новостей вкушал финики со стоящего перед ним серебряного блюда, а порой, обращая свой взор к усыпанному звездами небу, бормотал:

— Магомет Росуллах...

Вдруг на взмыленном жеребце подскочил, тяжело дыша, обрызганный кровью Субагази; спрыгнув с седла и торопливо приблизясь, он стал бить поклоны, ожидая вопроса.

— Говори! — приказал хан, продолжая жевать финики.

Слова огнем жгли язык Субагази, но, не смея нарушить обряд величания, он, низко кланяясь, так начал:

— Могуущественнейший хан всех орд, внук Магомета, самодержный властитель, мудрый государь, счастливый государь, владыка древа, славящегося от востока до запада, цветущего владыка древа...

Тут хан остановил его мановеньем руки. Увидя на лице Субагази кровь, а в глазах боль, тоску и отчаяние, он выплюнул недоеденные финики на ладонь и отдал одному из мулл, который принял дар со знаками нижайшего почтения и тотчас отправил себе в рот, — хан же промолвил:

— Говори, Субагази, скоро и толково: взят ли лагерь неверных?

— Бог не дал!

— Ляхи?

— Победители.

— Хмельницкий?

— Погромлен.

— Тугай-бей?

— Ранец.

— Нет бога, кроме бога! Сколько верных последовало в рай? — спросил хан.

Субагази возвел очи горе и указал рукой на искрящееся небо.
— Сколько этих огней у стоп аллаха,— ответил он торжественно.

Жирное лицо хана побагровело: гнев закипал в его сердце.

— Где этот пес,— спросил он,— который обещал мне, что сегодня мы будем спать в замке? Где сей змей ядовитый, которого аллах моею ногой растопчет? Привести его сюда, пусть ответит за гнусные свои обещанья.

Несколько мурз без промедления отправились за Хмельницким, хан же помалу успокаивался и наконец промолвил:

— Нет бога, кроме бога!

После чего, обратясь к Субагази, заметил:

— Субагази! Кровь на лице твоём.

— Это кровь неверных,— ответил воин.

— Расскажи, как пролил ее, потешь слух наш мужеством верных.

И принялся Субагази пространно рассказывать о ходе сражения, восхваляя отвагу Тугай-бей, Калги и Нурадина; он и Хмельницкого не обошел молчанием, напротив, наравне с другими его славил, причину поражения объясняя единственно волей божьей и неистовостью неверных. Одно поразило хана в его рассказе, а именно то, что в начале боя в татар не стреляли и конница княжья ударила на них, лишь когда они ей путь заступили.

— Аллах!.. Они не хотели войны со мною,— сказал хан,— но теперь уже поздно...

Так оно на деле и было. Князь Иеремия в начале битвы запретил стрелять в татар, дабы вселить в солдат убеждение, что переговоры с ханом уже начались и ордынцы лишь для видимости держат сторону черни. Только впоследствии волей-неволей пришлось с ними схватиться.

Хан кивал головою, раздумывая, не лучше ль, пока не поздно, обратить оружие против Хмельницкого, как вдруг перед ним предстал сам гетман. Совершенно уже спокойный, он приблизился с гордо поднятой головою, смело глядя в глаза хану; на лице его рисовались отвага и хитрость.

— Подойди, изменник,— сказал хан.

— Не изменник к тебе подходит, а гетман казачьий и твой верный союзник, коему ты помогать обещался не только в случае удачи,— ответил Хмельницкий.

— Иди ночуй в замке! Тащи, как обещал, ляхов за шиворот из окопов!

— Великий хан всея Орды! — звучным голосом отвечал Хмельницкий. — Ты могуч, и после султана нет тебе на земле могуществом равных! Ты мудр и силен, но разве можешь ты послать стрелу из лука под самые звезды или измерить глубину моря?

Хан посмотрел на него с удивленьем.

— Не можешь! — повысил голос Хмельницкий. — Так и я не смог предугадать, сколь непомерны гордыня и наглость Яремы! Смел ли я помыслить, что он не убоится тебя, великого хана, не проявит покорности при одном твоём виде, не придет к тебе бить челом, а на тебя самого подымет дерзкую свою руку, прольет кровь твоих воинов и над тобою, могущественный властитель, как над последним из твоих мурз, глумиться станет? Мог ли я осмелиться подобными мыслями оскорбить тебя, которого люблю и почитаю?

— Аллах! — промолвил хан с еще большим удивлением.

— И еще я тебе одно скажу, — продолжал Хмельницкий, и голос его и манера держаться становились все увереннее, — ты велик и могуч; всеместно, от запада до востока, народы и монархи склоняются пред тобой и львом величают. Один Ярема не упадет ниц перед ликом твоим, и посему, ежели не сотрешь ты его в порошок, не заставишь согнуть выю и с хребта его в седло садиться не станешь, в ничто обратятся мощь твоя и слава, ибо всякий скажет, что ляшский князь крымского царя посрамил и не понес за это никакой кары, что он более велик, более могуч, нежели ты, хан великий...

Настало глухое молчание. Мурзы, аги и муллы, как на солнце, глядели на ханский лик, затаив дыхание, он же, закрыв глаза, погрузился в раздумье...

Хмельницкий, опершись на булаву, смело ждал ответа.

— Ты сказал, — изрек наконец хан, — я Яреме согну выю и с хребта его на коня буду садиться, дабы не говорили от запада до востока, будто один неверный пес посрамил меня, великого хана...

— Велик аллах! — воскликнули в один голос мурзы.

У Хмельницкого же радость брызнула из очей: одним махом он отвратил нависшую над его головой опасность и ненадежного союзника превратил в вернейшего из верных.

Лев сей обладал умением мгновенно в змею обращаться.

Оба лагеря до поздней ночи гудели, как согретые весенним солнцем пчелы в пору роенья, а на бранном поле меж тем вечным, непробудным сном спали рыцари, пронзенные пулями и стрелами, исколотые пиками, изрубленные мечами. Взошла луна и пустилась в обход сей обители смерти; она отражалась в лужах крови, вырывала из мрака все новые груды недвижимых тел, переходила неслышно с одних на другие, заглядывала в отверстия мертвые очи, освещала посинелые лица, обломки оружия, конские трупы — и все более бледны становились лучи ночного светила, словно открывшееся зрелище его страшило. По полю то там, то сям, где группами, а где в одиночку пробегали какие-то зловещие фигуры: это челядь и обозная прислуга спешила обогнуть мертвецов — так по пятам за львами крадутся шакалы... Но суеверный страх в конце концов и их прогнал с места битвы. Что-то страшное, что-то таинственное было в этом устланном трупами

поле, в этом покое и неподвижности тел, еще недавно полных жизни, в этом безмолвном согласии, соединившем лежащих бок о бок поляков, казаков, татар и турок. Порою ветер шелестел в кустах, разбросанных по полю, а солдатам, бодрствующим в окопах, чудилось: то человечески души кружат над телами. Говорили, что, когда в Збараже пробило полночь, с разных концов равнины, от валов до вражьего стана, с шумом поднялись несчетные птичьи стаи. Слышали в вышине рыдания, тяжкие вздохи, от которых волосы вставали дыбом, и глухие стоны. Те, кому суждено было пасть в этой битве и чьему слуху доступны были неземные призывы, явственно слышали, как польские души, отлетая, кричали: «Пред очи твои, господи, несем грехи наши!», а души казаков стонали: «Иисусе Христе, помилуй!» — ибо павшим в братоубийственной войне к вековечному блаженству путь был заказан: им назначалось лететь куда-то в неведомые темные дали и кружить вместе с вихрями над юдолью слез, и плакать, и стенать ночами, пока не вымолят они у ног Христа прощения за общие вины, не допросятся забвенья и мира!..

Но в те дни еще сильнее ожесточились сердца людские, и ни один ангел согласия не пролетел над бранным полем.

ГЛАВА XXV

Назавтра, прежде чем солнце рассыпало по небу золотые блики, вокруг польского лагеря уже высился новый оборонный вал. Прёжний чересчур был длинен: и защищать его было трудно, и на помощь друг другу приходило бесподручно; потому князь с паном Пшиемским решили замкнуть войска в более тесное кольцо укреплений. Над исполнением этой задачи трудились не покладая рук всю ночь, — гусары наравне с прочими полками и челядью. Лишь в четвертом часу утра утомленное воинство смежило очи, и все, исключая дозорных, уснуло каменным сном; неприятель ночью тоже не терял времени даром, а утром долго не подавал признаков жизни, видно, не оправившись после вчерашнего разгрома. Появилась даже надежда, что штурма в тот день не будет вовсе.

Скшетугский, пан Лонгинус и Заглоба, сидя в шатре, вкушали пивную похлебку, щедро заправленную сыром, и с удовольствием вспоминали труды минувшей ночи — какому солдату не приятно поговорить о недавней победе!

— Я привык по старинке — с курами ложиться, с петухами вставать, — разглагольствовал Заглоба, — а на войне? Поди попробуй! Спишь, когда минуту урвешь, встаешь, когда растолкают. Одно меня бесит: из-за эдакого сброда изволь терпеть неудобства! Да что поделаешь, такие времена настали! Но и мы им вчера с лихвой отплатили. Еще разок-другой угостим так, у них всякая охота пропадет нарушать нам сон.

— А не знаешь, сударь, много ли наших полегло? — спросил Подбиятка.

— И-и-и! Немного; оно и всегда, впрочем, осаждающих больше гибнет, чем осажденных. Повоюешь с мое, тоже начнешь в таких вещах разбираться, а нам, старым солдатам, даже трупы считать не надо: по самой битве судить можно.

— И я подле вас, друзья, кое-чему научусь, — мечтательно произнес пан Лонгинус.

— Всенепременно, ежели только ума хватит, на что у меня особой надежды нету.

— Оставь, сударь, — вмешался Скшетуский. — У пана Подбиятки уже не одна война за плечами, и дай бог, чтобы лучшие рыцари дрались так, как он во вчерашнем сраженье.

— Как мог, старался, — ответил литвин, — да хотелось бы сделать побольше.

— Ну уж, не скромничай, ты себя показал весьма недурно, — покровительственно заметил Заглоба, — а что другие тебя превзошли, — тут он лихо закрутил ус, — в том твоей вины нету.

Литвин выслушал его, потупя очи, и вздохнул, вспомнив о трех головах и о предке своем Стowejке.

В эту минуту откинулся полог шатра и появился Володыевский, веселый и бодрый, точно щегол погожим утром.

— Вот мы и в сборе! — воскликнул Заглоба. — Налейте ему пива!

Маленький рыцарь пожал друзьям руки и молвил:

— Знали б вы, сколько ядер валяется на майдане — вообразить невозможно! Шагу нельзя пройти, чтоб не спотыкнуться.

— Видели, видели, — ответил Заглоба, — я тоже, вставши, по лагерю прогулялся. Курам во всем львовском повете за два года яиц не снести столько. Эх, кабы то яйца были — поели б мы яичницы вволю! Я, признаться, за сковороду с яичницей изысканнейшее отдам блюдо. Солдатская у меня натура, как и у вас, впрочем. Вкусно поесть я всегда горазд, только подкладывай! Потому и в бою за пояс заткну любого из нынешних изнеженных молокососов, которые и миски диких груш не съедят, чтоб тотчас животы не схватило.

— Однако ты вчера отличился! — сказал маленький рыцарь. — Бурляя уложить с маху — хо-хо! Не ждал я от тебя такого. На всей Украине и в Туретчине не было рыцаря славнее.

— Недурно, а?! — самодовольно воскликнул Заглоба. — И не впервой мне так, не впервой, пан Михал. Долгонько мы друг дружку искали, зато и подобрались как волосок к волоску: четверки такой не сыскать во всей Речи Посполитой. Ей-богу, с вами да под рукою нашего князя я бы сам-пят хоть на Стамбул двинул. Заметьте себе: пан Скшетуский Бурдабуга убил, а вчера Тугай-бей...

— Тугай-бей жив остался, — перебил его поручик, — я сам

почувствовал, как у меня лезвие соскользнуло, и тот же час нас разделили.

— Все едино, — сказал Заглоба, — не прерывай меня, друг любезный. Пан Михал Богуна в Варшаве посек, как мы тебе говорили...

— Лучше б не вспоминал, сударь, — заметил пан Лонгинус.

— Что уж теперь: сказанного не воротишь, — ответил Заглоба. — И рад бы не вспоминать, однако продолжу; итак, пан Подбипятка из Мышикишек пресловутого Полуяна прикончил, а я Бурляя. Причем, не скрою, ваших бы я огулом за одного Бурляя отдал, оттого мне и тяжелей всех досталось. Дьявол был, не казак, верно? Были б у меня сыновья *legitime natos*¹, доброе бы я им оставил имя. Любопытно, что его величество король и сейм скажут и как нас наградить изволят, нас, что более серой и селитрой кормятся, нежели чем иным?

— Был один рыцарь, всех нас доблестью превосходивший, — сказал пан Лонгинус, — только имени его никто не знает и не помнит.

— Кто таков, интересно? Небось в древности? — спросил, почувствовав себя уязвленным, Заглоба.

— Нет, братец, не в древности — это тот, что короля Густава Адольфа под Тищяной с конем вместе поверг на землю и пленил, — ответил ему Подбипятка.

— А я слышал, это под Пуцком было, — вмешался маленький рыцарь.

— Король все же вырвался и убежал, — добавил Скшетуский.

— Истинно так! Мне кое-что на сей счет известно, — сказал, сощурив здоровое свое око, Заглоба, — я тогда как раз у пана Конецпольского, родителя нашего хорунжего, служил. Знаем, знаем! Скромность не позволяет этому рыцарю назвать свое имя, вот оно в безвестности и осталось. Хотя, надо вам сказать, Густав Адольф был великий воитель, Конецпольскому мало чем уступал, но с Бурляем в поединке тяжелей пришлось, уж вы мне поверьте!

— Что ж, выходит, это ты, сударь, одолел Густава Адольфа? — спросил Володыевский.

— Я когда-нибудь тебе похвалялся, скажи честно, пан Михал?.. Ладно уж, пускай случай сей остается в забвенье, мне и нынче есть чем похвастаться: чего вспоминать былое!.. Страшно после этого поила бурчит в брюхе — чем больше сыра, тем сильнее. Винная похлебка куда лучше — слава богу, впрочем, хоть эта есть, вскоре и того, возможно, не будет. Ксендз Жабковский говорил, припасов у нас кот наплакал, а ему каково с его-то пузом: истая сорокаведерная бочка! Поневоле забеспокоишься... Но хорош, однако, наш бернардинец! Нравится мне чертовски. Кто-

¹ законнорожденные (лат.).

кто, а уж он скорей солдат, чем служитель божий. Не приведи господь, съездит по роже — хоть сейчас беги за гробом.

— Да! — воскликнул маленький рыцарь. — Я вам еще не рассказывал, как отличился нынче ночью ксендз Яскульский. Захотелось ему поглядеть на битву из бастиона, что справа от замка, — знаете, огромная эта башня. А надо вам сказать, что ксендз отменно из штуцера стреляет. Сидит, значит, он там с Жабковским и говорит: «В казаков стрелять не стану, как-никак христиане, хоть и в грехах погрязли, но в татар, говорит, нет, не могу удержаться!» — и давай палить, за всю битву десятка три уложил как будто!

— Кабы все духовенство такое было! — вздохнул Заглоба. — А то наш Муховецкий только руки к небесам воздевает да плачет, что столько проливается христианской крови.

— Это ты, сударь, напрасно, — серьезно заметил Скшетуский. — Ксендз Муховецкий — святой души человек, и лучшее тому доказательство, что хоть он других двоих не старше, они пред добродетелью его благоговеют.

— А я в праведности его нимало не сомневаюсь, — ответил Заглоба, — напротив: думается мне, он и самого хана в истинную веру обратить горазд. Ой, любезные судари! Гневается, надо полагать, его величество хан всемогущий: вши на нем небось раскашлялись с перепугу! Ежели до переговоров дело дойдет, поеду, пожалуй, и я с комиссарами вместе. Мы ведь давние с ним знакомцы, в былые времена он премного ко мне благоволил. Может, припомнит.

— На переговоры, верно, Яницкого пошлют, он по-ихнему, как по-польски, умеет, — сказал Скшетуский.

— И я не хуже, а уж с мурзами и вовсе запанибрата. Они дочерей своих в Крыму за меня отдать хотели, желая иметь достойную продолженье рода, только я в ту пору был молод и с невинностью своей не заключал сделок, как милый приятель наш, пан Подбиытка из Мышикишек, посему и напроказил у них там немало.

— Слух ать гадко! — молвил пан Лонгинус, потупя очи.

— А ваша милость как грач ученый: одно и то ж галдычит. Недаром, говорят, литва-ботва еще человечьей речи толком не обучилась.

Дальнейшее продолжение беседы прервано было шумом, дошедшим из-за стен шатра, и рыцари вышли поглядеть, что происходит. Множество солдат столпилось на валу, озирая окрестность, которая за минувшую ночь сильно переменилась и продолжала меняться на глазах. Казаки, вернувшись с последнего штурма, тоже не теряли времени даром: они насыпали шанцы, затащили на них орудия, такие долгоствольные и мощные, каких не было в польском стане, начали копать поперечные извилистые траншеи и апроши; издалека казалось, поле усеялось тысячью огромных кротовин. Вся пологая равнина ими была покрыта, по-

всюду среди зелени чернела свежевскопанная земля, и везде было работающего люда. На первых валах уже и красные шапки казаков мелькали.

Князь стоял на валу со старостой красновоставским и паном Пшиемским. Чуть пониже каштелян бельский в зрительную трубу наблюдал за работами казаков и говорил коронному подчашему:

— Неприятель начинает регулярную осаду. Думаю, придется нам отказаться от окопной обороны и перейти в замок.

Услышав эти слова, князь Иеремия сказал, наклонясь сверху к каштеляну:

— Упаси нас бог от такой ошибки: это все равно что по своей воле в капкан забраться. Здесь нам победить или умереть.

— И я того же мнения, хоть бы и понадобилось что ни день по одному Бурляю кончать,— вмешался в разговор Заглоба. — От имени всего воинства протестую против суждения ясновельможного пана каштеляна.

— Это не тебе, сударь, решать! — сказал князь.

— Молчи! — шепнул, дернув шляхтича за рукав, Володыёвский.

— Мы их в этих земляных укрытиях как кротов передавим,— продолжал Заглоба,— а я прошу у вашей светлости дозволения пойти на вылазку первым. Они меня неплохо уже знают, пусть узнают получше.

— На вылазку?.. — переспросил князь и бровь насупил. — Погоди-ка... Ночи с вечера темные бывают...

И обратился к старосте красновоставскому, пану Пшиемскому и региментариям:

— Извольте на совет, любезные господа.

И спустился с вала, а за ним последовали все военачальники.

— О господи, что ты делаешь, сударь? — выговаривал меж тем Заглобе Володыёвский. — Как так можно? Или ты службы и порядка не знаешь, что мешаешься в разговоры старших? Сколь ни великодушен князь, но в военное время с ним шутки плохи.

— Пустое! — отвечал Заглоба. — Пан Конецпольский-старший суров был как лев, но советам моим всегда следовал неуклонно. Пусть меня нынче же волки сожрут, если кто скажет, что не моим лишь подсказкам благодаря он двукратно разбил Густава Адольфа. С кем, с кем, а с высокими особами я говорить умею! Хоть бы и сейчас: заметил, как князь *obstupuit*¹, когда я ему насчет вылазки подкинул мыслишку? А ну как господь нам пошлет викторию — чья это будет заслуга? Твоя, может?

В эту минуту к ним подошел Зацвилюховский.

— Каковы, а? Роют! Роют, как свињи! — сказал он, указывая на поле.

¹ был поражен (*лат.*).

— По мне, лучше б и вправду там свиньи были,— ответил Заглоба,— колбаса бы хоть дешево обошлась, а то ихнюю падаль и псы жрать не станут. Нынче солдаты в расположении пана Фирлея уже колодцы копают — в восточном пруду от трупов воды не видно. К утру желчные пузыри полопались — все, сволочи, всплыли. Упаси бог в пятницу рыбки поесть, она теперь кормится мясом.

— Что верно, то верно,— подтвердил Зацвилиховский,— я старый солдат, а столько мертвечины давно не видел, разве что под Хотином, когда янычары приступом хотели взять наш лагерь.

— Увидишь еще больше — уж поверь мне!

— Полагаю, нынче вечером, а то и раньше надобно ждать штурма.

— А я говорю, до завтра нас оставят в покое. — Но едва Заглоба кончил свои слова, над шанцами встали белые столбы дыма и ядра с гулом понеслись к окопам.

— Вот тебе! — сказал Зацвилиховский.

— Ба! Да они в ратной науке ни черта не смыслят! — ответил Заглоба.

Прав оказался все же старик Зацвилиховский. Хмельницкий приступил к регулярной осаде, перерезал все дороги, закрыл все выходы, подступы к пастбищам, понастроил апрошей и шанцев, повел к лагерю хитрые подкопы, но штурмов не прекратил. Он решил взять осажденных измором, дергать их и держать в страхе, не давая сомкнуть глазу и всячески изнуряя, покуда оружие само не выпадет из усталых рук. Вечером он снова ударил на позицию Вишневецкого, но, как и накануне, успеха не добился, да и казаки с меньшею уже шли охотой. На следующий день обстрел не прекращался ни на минуту. Траншеи подведены были уже так близко, что и ружейные пули достигали валов; земляные прикрытия курились с утра до вечера, точно маленькие вулканы. Не настоящее сражение то было, а непрерывная перестрелка. Осажденные время от времени выскакивали из окопов, и тогда в ход пускались сабли, цепь, косы и пики. Но не успевали положить одних, прикрытия тотчас наново заполнялись. За день у солдат не было ни минуты передышки, а когда наконец дождался вожделенного захода солнца, начался новый яростный приступ — о вылазке нечего было и думать.

Ночью 16 июля два удалых полковника, Гладкий и Небаба, ударили на позицию князя и опять потерпели страшное поражение. Три тысячи храбрейших казаков полегли на поле, остальные, преследуемые старостой красноставским, в смятении бежали в свой лагерь, бросая оружие и рога с порохом. Не менее печальная участь постигла и Федоренко, который под покровом густого тумана чуть не взял на рассвете город. Оттеснили его немцы Корфа, а староста красноставский и хорунжий Конецпольский, погнавшись следом, почти всех перебили.

Но все это ничто было в сравнение с ужасной бурей, разразившейся над окопами 19 июля. Предыдущей ночью казаки насыпали против позиций Вишневецкого высокий вал и неустанно поливали с него осажденных огнем из пушек крупного калибра, когда же день подошел к концу и первые звезды блеснули на небе, десятки тысяч людей были брошены на приступ. Одновременно вдали показалось с полсотни страшных осадных башен, которые медленно катили к окопам. С боков у них наподобие чудовищных крыльев торчали настилы для преодоления рвов, а верхушки дымилась, гудели и сверкали, извергая огонь из легких орудий, пищалей и самопалов. Башни подвигались среди моря голов, словно великаны полковники, то озаряя красным отблеском пушечных выстрелов, то исчезая в дыму и мраке. Солдаты, указывая на них издали друг другу, шептались:

— Гуляй-городки пошли! Смелет нас Хмельницкий в ветряках этих.

— Глянь, с каким грохотом катятся: точно громы небесные!

— Из пушек по ним! Из пушек! — раздавались крики.

Княжеские пушкари посылали навстречу страшным машинам ядро за ядром, гранату за гранатой, но увидеть их можно было, лишь когда выстрелы вспарывали темноту, и ядра большей частью не достигали цели.

Меж тем казаки подкатывались все ближе плотной лавиной, словно черный вал, набегающий из морской дали темной ночью.

— Уф, жарко! — вздыхал Заглоба, стоявший возле Скшетуского среди его гусар. — Никогда в жизни так не бывало! Страсть как парит — на мне сухой нитки не осталось. Черт принес эти башни! Господи, сделай так, чтоб земля под ними разверзлась; паскуды эти у меня уже поперек горла стоят, аминь! Ни поесть, ни выпасться — собачья жизнь! Уф! Духота какая!

Воздух и вправду был тяжелый и влажный и вдобавок пропитан удушливой вонью от трупов, несколько уже дней гниющих на бранном поле. Низкая черная пелена туч заволкла небо. Гроза висела над Збаражем. Солдат под кольчугою обливался потом, дышать делалось все труднее.

Вдруг заворчали во тьме барабаны.

— Сейчас ударят! — сказал Скшетуский. — Слышишь? В барабаны бьют.

— Слышу. Чертям бы понаделать барабаны из ихних шкур! Страх божий!

— Коли! Коли! — раздался многоголосый вопль, и казаки бросились к окопам.

Бой закипел вдоль всей линии укреплений. Враг ударил враз на Вишневецкого, Ланцкоронского, Фирлея и Остророга, чтобы не позволить им помогать друг другу. Казаки, хвативши горелки, кинулись в атаку еще остервенелее, чем в первый день, но и отпор получили еще более стойкий. Геройский дух вождя одушевлял

солдат. Грозная квартговая пехота, составленная из мазурских крестьян, так схватилась с атакующими, что совершенно с ними перемешалась. В ход пошли приклады, кулаки, зубы. Под ударами ярых мазуров полегло несколько сотен отборнейшей запорожской пехоты, но тотчас на ее место хлынула новая лавина. Бой разгорался все жарче. Стволы мушкетов жгли руки солдатам, дыхание в груди прерывалось, у офицеров слова команд застревали в пересохших глотках. Староста красноставский и Скшетуский снова вывели конницу из окопов и ударили казакам в лоб, сминая целые полки и проливая потоки крови.

Час проходил за часом, но натиск не ослабевал: огромные потери в казачьих рядах Хмельницкий мгновенно восполнял новыми силами. Татары поддерживали соратников криком и осыпали окопы тучами стрел; часть из них, выстроившись за спиною черни, гнала ее вперед сыромятными плетями. Ярости противостояла ярость, грудь с грудью схватывались воины, муж с мужем сливались в смертоносном объятье...

Так разъяренные волны морские штурмуют скалистый остров.

Вдруг земля задрожала у дерущихся под ногами и небо озарилось синим пламенем, словно у всевышнего не стало сил глядеть долее на творимые людьми зверства. Жутким грохотом заглушило человеческий крик и гул орудий. Это небесная артиллерия начала устрашающую канонаду. Раскаты грома покатались с востока на запад. Казалось, небо, расколовшись, вместе с тучами валится на головы участникам битвы. Весь мир то представлялся пламенеющим костром, то становилось темно, как в преисподней, и вповь красные зигзаги молний раздирали черный полог ночи. Поднялся вихрь, срывая шапки, прапорцы, знамена, и в мгновение ока тысячи их разметал по полю. Молнии вспыхивали одна за другой — и вот уже все смешалось в единый хаос: удары грома, зарницы, вихрь, мрак и пламень; небеса взъярились — так же, как люди.

Гроза, подобной которой с незапамятных времен не бывало, разбушевалась над городом, замком и обоими лагерями. Бой прекратился. Наконец разверзлись небесные хляби — не струи даже, а потоки хлынули на землю. Мир скрылся за стеною воды, в двух шагах ничего нельзя было увидеть. Трупы поплыли по рвам. Штурм прекратился: казаки целыми полками бежали обратно в табор, мчались вслепую, сталкиваясь друг с другом и, приликая своих за врагов, рассыпались во тьме по полю; за ними, увязая в жидкой грязи, опрокидываясь, катились пушки и возы с боевым снаряжением. Вода размывала осадные земляные сооружения, бурлила во рвах и траншеях, просачивалась в землянки, хоть те и были окружены рвами, и с шумом неслась по равнине, точно спеша догнать удирающих казаков.

Ливень становился все сильнее. Пехота покинула валы, ища укрытия в палатках, лишь кавалерия старосты красноставского и Скшетуского не получала приказа к отступленью. Всадники

стояли бок о бок, словно посреди озера, отряхивая с себя воду. Мало-помалу гроза стала униматься. После полуночи дождь наконец прекратился. В разрывах туч кое-где проглянули звезды. Прошел еще час — и вода немного спала. Тогда перед хоругвью Скшетуского неожиданно появился сам князь.

— Что пороховницы, — спросил он, — не намокли?

— Суши, ваша светлость! — ответил Скшетуский.

— Это хорошо! Долой с коней и марш по воде к осадным башням: подсыплете пороху и подожжете. И чтоб тихо было! Пан староста красновоставский пойдет с вами.

— Слушаюсь! — сказал Скшетуский.

Вдруг князю попался на глаза мокрый Заглоба.

— Ты просился на вылазку — самая пора, отправляйся! — приказал он.

— Эх подфартило! — буркнул Заглоба. — Только этого еще не хватало!

Полчаса спустя два отряда рыцарей, по две с половиной сотни каждый, бежали по пояс в воде с саблями в руках к страшным казацким гуляй-городкам, стоящим в полуверсте от окопов. Один отряд вел «лев надо львами», староста красновоставский Марек Собеский, который и слышать не захотел о том, чтобы остаться в окопах, а второй — Скшетуский. Челядь несла за рыцарями мазницы с дегтем, сухие факелы и порох; подвигались бесшумно, как волки, темной ночью подкрадывающиеся к овчарне.

Маленький рыцарь добровольцем присоединился к Скшетускому: подобные экспедиции пан Михал любил пуще жизни. Теперь он бодро шлепал по воде, и в сердце его была радость, а в руке сабля. Рядом шагал с обнаженным Сорвиглавцем пан Подбиятка, заметно среди всех выделяясь, так как самых высоких был на две головы выше. Между ними, пыхтя, поспешал Заглоба и недовольно ворчал, передразнивая князя:

— «Просился на вылазку — отправляйся!» Прекрасно! Псу на случку по такой бы мокреди идти не захотелось. Чтоб мне в жизни ничего, кроме воды, в рот не брать, если я вылазку посоветовал в такую пору! Я не утка, и брюхо мое не челн. Всегда питал к воде отвращение, особенно к такой, в которой падаль холопья мокнет...

— Помолчи, сударь! — сказал пан Михал.

— Сам помолчи! Хорошо тебе, когда ты с пескаря росточком и плавать умеешь. Я больше скажу: не мешало бы князю в благодарность за расправу с Бурляем покой мне предоставить. Заглоба свое сделал, пусть другие попробуют сделать столько, а Заглобу оставьте в покое: хороши вы будете, когда его не станет! О господи! Ежели я в какую дыру провалюсь, сделайте милость, вытащите хоть за уши, ведь захлебнусь в два счета.

— Тихо, сударь! — сказал Скшетуский. — Казаки в укрытьях сидят, еще, не дай бог, услышат.

— Где? Ты что, сударь любезный, мелешь?

— А вон там, в тех землянках под дерном.

— Этого еще не хватало! Разрази их небесные громы!

Продолжить нарекания Заглобе не дал пан Михал, заткнув ему рот ладонью: земляные укрытия были уже в какой-нибудь полусотне шагов перед ними. Рыцари, правда, старались идти тихо, но вода хлюпала у них под ногами. К счастью, снова полил дождь и шаги заглушались его шумом.

Стражи возле укрытий не было. Да и кто мог ожидать вылазку после штурма и страшной грозы, которая словно озером разделила противников?

Пан Михал с паном Лонгинусом вырвались вперед и первыми достигли земляного укрытия. Маленький рыцарь, вложив саблю в ножны, вожжином сложил у рта ладони и крикнул:

— Гей, лю ди!

— А що? — отозвались изнутри голоса. Казаки, видно, решили, что пришел кто-то свой из табора.

— Слава богу! — ответил Володыёвский. — Пустите-ка, братцы!

— А ты что, как войти не знаешь?

— Уже знаю! — воскликнул маленький рыцарь и, напарив вход, впрыгнул вовнутрь.

Пан Лонгинус и еще несколько человек вбежали за ним следом.

В ту же секунду нутро землянки огласилось истошным воплем: одновременно остальные рыцари с криком бросились к другим укрытиям. Темнота наполнилась стонами, лязгом железа; какие-то черные фигуры куда-то бежали, иные падали наземь, порою гремел выстрел, но все это длилось не более четверти часа. Казаки, по большей части застигнутые во сне, даже не сопротивлялись — все полегли, не успев схватиться за сабли.

— К гуляй-городкам! К гуляй-городкам! — раздался голос старосты красноставского.

Рыцари бросились к башням.

— Изнутри поджигать, снаружи мокро! — крикнул Скшетуский.

Но приказ нелегко было исполнить. В башнях, сколоченных из сосновых бревен, не было ни дверей, ни каких-либо отверстий. Казацкие стрелки взбирались на них по лестницам, орудия же — а помещались туда только самые малые — втягивали на веревках. Несколько времени рыцари лишь бегали вокруг, тщетно хватаясь за углы и рубя саблями дерево.

К счастью, у челядинцев были топоры: их они и пустили в ход. Староста красноставский приказал подкладывать снизу жестянки с порохом, прихваченные специально для этой цели. Зажгли деготь в мазницах и факелы — пламя начало лизать бревна, хоть и мокрые снаружи, но насквозь пропитанные смолою.

Однако прежде чем занялось дерево, прежде чем взорвался порох, пан Лонгинус нагнулся и поднял огромный валун, вырытый казаками из земли.

Наипервейшие силачи вчетвером бы не сдвинули этот камень с места, но рыцарь держал его в своих могучих руках, раскачивая слегка, и лишь при свете мазниц можно было заметить, что кровь прихлынула к лицу великана. Солдаты онемели от восхищенья.

— Геркулес! Чтоб ему! — воздев над головой руки, воскликнул кто-то.

Пан Лонгинус меж тем, подойдя к осадной башне, которую еще не успели поджечь, откинулся и запустил камнем в стену — в самую ее середину.

Стоящие вокруг невольно пригнулись — с таким гулом валун полетел над головами. От удара разом лопнули все соединения, раздался треск, башня раскололась надвое, будто распахнулись сломанные ворота, и с грохотом рухнула наземь.

Груды бревен облили дегтем и в одно мгновение подожгли.

Спустя недолгое время несколько десятков гигантских костров осветило равнину. Дождь еще лил, но огонь был сильнее воды — и «горели оные белюарды на изумлеенье обоим войскам, понеже пресыро в тот день было».

Из казацкого табора прискакали на выручку Стемпка, Кулак и Мрозовицкий с несколькими тысячами молодцев каждый, пытались унять пламя — где там! Столбы огня и багрового дыма с неудержимой силою рвались к небу, отражаясь в озерах и лужах, после грозы разлившихся по бранному полю.

Рыцари меж тем, сомкнувши строй, возвращались в окопы; радостные возгласы уже издали неслись им навстречу.

Вдруг Скшетуский огляделся по сторонам, окинул взглядом задние ряды и громовым голосом крикнул:

— Стой!

Пана Лонгина и маленького рыцаря среди возвращающихся не было.

Видно, раззадорившись, они задержались возле последней башни, а может, наткнулись на затаившихся где-то казаков так или иначе, ухода товарищей, должно быть, не заметили.

— Вперед! — скомандовал Скшетуский.

Староста красноставский, будучи на другом конце шеренги, ничего не понял, и побежал узнать, что случилось. В эту секунду оба пропавших рыцаря появились, точно из-под земли, на пути между башнями и отрядом.

Пан Лонгинус со сверкающим Сорвиглавцем в руке шагал размашисто, а рядом трусил пан Михал. Головы обоих повернуты были к бегущим за ними по пятам, будто свора собак, казакам.

Красное зарево пожара ярко освещало картину погони. Казалось, исполинская лосиха с детенышем уходит от толпы ловчих, готовая всякую минуту броситься на преследователей.

— Они погибнут! Ради Христа, скорее! — кричал душераздирающе Заглоба. — Их подстрелят, у казаков пищали, луки! Скорей, ради бога!

И, не опасаясь того, что вот-вот может завязаться новая схватка, обнажив саблю, бежал вместе со Скшетуским и другими друзьям на выручку, спотыкался, падал, поднимался, сопел, кричал, дрожал всем телом, но, собравши силы, мчался вперед что было духу.

Казаки, однако же, не стреляли — самопалы у них отсырели, тетивы луков размякли, — а только ускоряли свой бег. Десятка полтора их, вырвавшись вперед, совсем уже, кажется, настигали беглецов, но тут оба рыцаря, словно два вепря, повернулись к ним и с ужасающим воплем взметнули клинки. Казаки точно вкопанные остановились.

Пан Лонгинус с огромным своим мечом казался им порождением ада.

Как два серых волка, настигаемые гончими, оборотятся вдруг и белыми сверкнут клыками, а собачья свора, не смея приблизиться, подымет издали вой, так и рыцари наши время от времени поворачивались, и бегущие в первых рядах преследователи тот же час застывали на месте. Раз только кинулся к ним один смельчак с косою, но пан Михал прыгнул на него, как лесной кот, и куснул — тот и дух испустил на месте. Товарищи его ждали остальных, подбегавших плотною кучей.

Но рыцари уже были близко; впереди всех летел Заглоба, размахивая саблей и крича нечеловеческим голосом:

— Бей! Убивай!

Вдруг грянуло из окопов, и граната, ухая, как неясный, очертивши в небе огненную дугу, упала в середину толпы казаков, за нею вторая, третья, десятая; казалась, снова начинается битва.

Казаки до осады Збаража таких снарядов не видали и на трезвую голову пуще всего их боялись, видя в том чары Яремы, — поэтому они мгновенно остановились, строй раскололся надвое, и тут же разорвались гранаты, сея смерть и ужас.

— Спасайтесь! Спасайтесь! — раздались испуганные крики.

И молодцы бросились врассыпную, а пана Лонгинуса с маленьким рыцарем обступили гусары.

Заглоба кидался то одному, то другому на шею, чмокал куда попало — в глаза, в щеки. Радость душила его, а он, боясь показать свое мягкосердечье, всячески ее умерял, крича во всю глотку:

— Ах, собаки! Не скажу, что так уж вы мне и дороги, однако же натерпелся я страху! Да они бы вас искромсали в куски! Хорошо вы знаете службу — от своих отстаете! К лошадям бы вас да за ноги протащить по майдану! Первый скажу князю, чтобы измыслил вам роепат...¹ А теперь спать, спать... Сла-

¹ наказание (лат.).

ва богу, что так повернулось! Повезло стервецам, что от гранат разбежались, я б их всех изрубил в капусту. Лучше уж драться, чем спокойно глядеть, как приятели гибнут. Всенепременно надо сегодня выпить! Слава тебе, господи! Я уж думал, «*requies*»¹ будем петь завтра. А жаль, однако, что не дошло до схватки — только рука раззуделась, хотя я и в укрытиях им задал жару...

ГЛАВА XXVI

Опять пришлось осажденным возводить новые валы и лагерь в размерах уменьшить, чтобы свести на нет почти уже законченные казаками земляные работы, а поредевшим рядам воинов легче было держать оборону. Копали всю ночь после штурма. Но и казаки не сидели сложа руки. Подкравшись бесшумно темной ночью со вторника на среду, они окружили лагерь вторым валом, много выше прежнего. И оттуда на заре, возвестив о себе громким криком, подняли стрельбу и стреляли целых четыре дня и четыре ночи. Много враги нанесли друг другу урона, потому что состязались наилучшие, какие только были на каждой стороне стрелки.

Время от времени полчища казаков и черни устремлялись на штурм, но до валов не доходили, только пальба разгоралась все жарче. Неприятель, силы которого были велики, непрерывно сменял людей: одни отправлялись на отдых, другие посылались в бой. А в лагере неоткуда было взять подмены: те же солдаты, что стреляли с валов и поминутно срывались с мест, дабы отразить приступ, хоронили убитых, рыли колодцы и подсыпали повыше валы, чтобы надежней иметь заслону. Спали, а вернее дремали, у валов под градом пуль, сыпавшихся так густо, что по утрам их метлой можно было сметать с майдана. Четыре дня кряду никто не мог переменить одежды, которая мокла под дождем, сохла на солнце, в которой днем было жарко, а ночью зябко, — четыре дня никто еды вареной не видел. Пили горелку, подмешивая к ней для крепости порох, грызли сухари и рвали зубами высушенное вяленое мясо, и все это в дыму, под выстрелами, под свист пуль и громыханье пушек.

И «легче легкого было прямо в лоб или в бок получить угощенье». Солдат обматывал окровавленную голову грязной тряпичей и тотчас же возвращался в строй. Страшный был у воинов вид: изодранные колеты и заржавелые доспехи, мушкеты с разбитыми прикладами, глаза, красные от бессонницы, но каждый во всякое время начеку, постоянно крепок духом и — днем ли, ночью ли, в дождь или ведро — всегда готов к бою.

¹ Здесь: «вечный покой» (лат.).

Влюбленными глазами глядели солдаты на своего полководца, забыв страх пред опасностью, штурмами, смертью. Геройский дух в них вселился; все сердца закалились, «крепостью исполнились» души. Во всем этом ужасе они стали находить упоение. Хоругви соперничали одна с другою: кто больше выкажет усердия, кто легче перенесет голод, бессонницу, тяжкий труд, кто выше проявит отвагу и твердость. До того дошло, что солдат трудно стало удерживать в окопах; мало им было отражать приступы — они рвались к неприятелю, как обезумевшие от голода волки в овчарню. Отчаянная веселость царила во всех полках. Обмолвись какой маловес о сдаче, его бы вмиг растерзали в клочья. «Здесь хотим умереть!» — повторяли все уста.

Всякий приказ вождя исполнялся с молниеносной быстротою. Однажды случилось князю при вечернем объезде валов услышать, что огонь квартовой хоругви Лещинских слабеет. Подъехав к солдатам, он спросил:

— Отчего не стреляете?

— Порох весь вышел — за новым послали в замок.

— Дотуда поближе будет! — молвил князь, указав на казацкие шанцы.

Не успел он докончить, вся хоругвь скатилась с валов, бросилась стремглав к неприятелю и обрушилась на шанцы подобно смерчу. Казаки были перебиты колами, скоблями, прикладами мушкетов, а четыре орудия заклепаны. По прошествии получаса победители, немалые, правда, понеся потери, возвратились в лагерь с изрядными запасами пороха в охотничьих рогах и бочонках.

День проходил за днем. Стягивалось вокруг лагеря кольцо казацких апрошей, словно клин в дерево, врезались в валы их траншеи. Стреляли уже со столь близкого расстояния, что, не считая штурмов, в каждой хоругви ежедневно погибало еще человек десять. Ксендзы не успевали причащать умирающих. Осажденные загораживались телегами, намётами, развешивали перед окопами одежду, шкуры; ночами хоронили убитых — кого где смерть настигала, — но тем ожесточеннее оставшиеся в живых бились на могилах павших. Хмельницкий готов был без меры проливать кровь своих людей, и с каждым новым штурмом множились потери в его войске. Такого отпора он сам не ожидал и рассчитывал теперь лишь на то, что время сломит дух и истощит силы осажденных. Однако время шло, а они все большее выказывали к смерти презренье.

Полководцы служили солдатам примером. Князь Иеремия спал на голой земле у подошвы вала,пил горелку, ел вяленую конину и — «небрежа высоким своим положеньем» — наравне со всеми стойко сносил вседневные труды и капризы погоды. Коронный хорунжий Конецпольский и староста красноставский самолично водили полки на вылазки, а во время штурмов стояли без доспехов под сильнейшим градом пуль. Даже те военачаль-

ники, которым — как Остророгу — недоставало опыта в ратном деле и на которых солдат привык смотреть без доверья, теперь, под рукою Иеремии, становились будто совсем другими людьми. Старый Фирлей и Ланцкоронский тоже спали у валов, а Пшиемский днем устанавливал пушки, а ночью рылся, точно кроф под землю, подводя под казацкие мины контрмины, взрывая редуты и прокладывая подземные ходы, из которых солдаты, как призраки смерти, выскакивали прямо на спящих казаков.

В конце концов Хмельницкий решился на переговоры с задней мыслью во время этих переговоров хитростью добиться успеха. Под вечер 24 июля казаки закричали с шанцев солдатам, чтобы те перестали стрелять. Посланный парламентаром запорожец объявил, что гетман желает видеться с паном Зацвилюховским. После недолгого совещания региментарии приняли его предложение, и старик выехал из окопов.

Издаലെка видели рыцари, как казаки на шанцах снимали перед ним шапки: за недолгую бытность комиссаром Зацвилюховский успел снискать уважение необузданных запорожцев — его почитал сам Хмельницкий. Стрельба вмиг прекратилась. Казаки траншеями приблизились к самому валу, рыцарство сошло им навстречу. Обе стороны держались настороженно, но без неприязни. Шляхта всегда казаков ставила выше черного люда и теперь, воздавая должное их отваге в бою и упорству, говорила с ними на равных, как рыцарю с рыцарем пристало, казаки же с восхищением разглядывали вблизи неприступное логово льва, которое не по зубам пришлось запорожскому войску со всей ханской ратью в придачу. Сойдясь, воины стали толковать меж собою и сетовать, что столько проливается христианской крови, а там и принялись угощать друг дружку табаком и горелкой.

— Эй, панове лицарі! — говорили старые запорожцы. — Кабы вы прежде дрались так, не было бы ни Желтых Вод, ни Корсуня, ни Пилявцев. Черти в вас, что ли, вселились? Таких удалцов нам еще не случалось встречать на свете.

— А мы всегда такие! Хоть завтра приходите, хоть послезавтра...

— И придем, а пока, слава господа, передышка. Страсть сколько христианской крови пролито. Да и все равно голод вас сломит.

— Раньше король прибудет с подмогой, а покамест мы только-только рты после вкусного обеда утерли.

— А не хватит провианту, в ваших пошарим обозах, — сказал, подбоченясь, Заглоба.

— Дай бог батьке Зацвилюховскому хоть что-нибудь выговорить у нашего гетмана. Не столкнутся — ввечеру снова пойдем на приступ.

— Да и нам уже тошно.

— Хан обещается: всем вам «кесим» будет.

— А наш князь хана за бороду к хвосту своего жеребца привязать обещался.

— Чародей он, а все равно не здержитъ.

— Лучше б вы с нашим князем на басурман пошли, чем руку подымать противу власти.

— С вашим князем... Хм! А неплохо бы было.

— Так чего же бунтуетесь? Король скоро придет, вот кого надо бояться. Князь Ярема вам как отец родной был...

— Отец... Такой же отец, как смерть — мать. Чума столько добрых молодцев не положила.

— Дальше хуже будет: вы еще не знаете князя.

— И не хотим знать. Старики наши говорят; который казак Ярему в глаза увидит, тому не миновать смерти.

— И с Хмельницким так будет.

— Бог знает, що будет. Одно верно: не жить им двоим на свете. Наш батько говорит, кабы вы ему выдали Ярему, он бы вас отпустил подобру-поздорову и с нами со всеми королю поклонился.

Тут солдаты нахмурились, засопели и зубами заскрежетали.

— Молчать, не то за саблю возьмемся.

— Сердитесь, ляхи, — говорили казаки, — а все одно вам кесим будет.

Такой шел у противников разговор: то приятный, то вперемешку с угрозами, которые против воли срывались с уст, грому подобны. После полудня вернулся в лагерь Зацвилюховский. Ничего не вышло из переговоров, и насчет перемирия не столковались. Хмельницкий чудовищное поставил условие: чтобы ему выдали князя и хорунжего Конецпольского. Напоследок перечеисля все нанесенные запорожскому войску обиды и стал уговаривать Зацвилюховского насовсем остаться с казаками. Вспыллил старый рыцарь, такое услыша, вскочил и уехал.

Вечером начался штурм, большой кровью отбитый. Весь лагерь в течение двух часов был охвачен огнем. Казаков не только отбросили от валов: пехота заняла ближние шанцы, разворотила земляные укрепления, разбила стрелковые башни и спалила еще четырнадцать гуляй-городков. Но Хмельницкий в ту ночь поклялся хану, что не отступится, пока в окнах жив будет хоть один человек.

Назавтра чем свет снова пальба, новые подкопы под валы и с утра до вечера схватки, в которых все было пущено в ход: цепи, косы, скобели, сабли, комья земли и камни. Вчерашние добрые чувства и сокрушения над пролитой христианской кровью еще большей остервенелостью сменились. С утра накрапывал дождик. В тот день солдатам был выдан половинный рацион, отчего сильно брюзжал Заглоба; впрочем, на пустой желудок ярость воинов только усугубилась. Рыцари клялись друг другу лечь костями, но не сдаваться до последнего вздоха. Вечером на штурм брошены были казаки, одетые турками, однако новые приступы дли-

ялся короче прежних. Настала ночь «вельми бурливая», полная шума и криков. Стрельба не прекращалась ни на минуту. Завязывались поединки: бились и по одному, и по несколько человек. Выходил и пан Лонгинус, но никто не хотел с этим рыцарем драться — по нему лишь стреляли с почтительного расстояния. Зато великую славу снискали себе Стемповский и Володыёвский, который в поединке победил знаменитого рубаку Дударя.

Напоследок вышел и Заглоба, но... на поединок словесный. «Не могу я,— говорил он,— после Бурляя об кого ни попало марать руки!» Зато острой языком никто не мог с ним сравниться — старый шляхтич до истощения доводил казаков, когда, осмотнительно укрывшись дерниной, истошно кричал, будто из-под земли:

— Сидите, сидите под Збаражем, хамы, а войско литовское тем часом вниз по Днепру валит. Уж они поклонятся женам да девкам вашим. К весне пропасть литвинят в своих хатах найдете, если, конечно, отыщете сами хаты.

То была правда: литовское войско под командою Радзивилла и впрямь шло вниз по Днепру, все на своем пути предавая огню и мечу, лишь землю за собой оставляя и воду. Казаки об этом знали и, заходясь от ярости, в ответ подымали стрельбу — точно с дерева груши, сыпались на Заглобу пули. Но он, голову пряча за дерном, слова принимался кричать:

— Промахнулись, вражьи души, а я небось не промахнулся, когда рубился с Бурляем. Да-да, это я и есть! Знайте наших! А ну, выходи один на один! Чего, хамы, ждете! Стреляйте, куда не допекло, по осени будете в Крыму вшей щелкать на татарчатах либо гребли на Днепре насыпать... Сюда, сюда, давайте! Грош цена вам всем вместе с вашим Хмелем! Съездите который-нибудь ему от меня по рожке — Заглоба, мол, кланяется, скажите. Слышите? Что, мерзавцы? Мало еще вашего падла гниет на поле? От вас дохлятиной за версту разит! Скоро всех приберет моровая! За вилы пора браться, гологузы, за плуги! Вишни и соль вам вверх по реке возить на дубасах, а не против нас подымать руку!

Казаки не оставались в долгу: насмешничали над «панамии, что втроем один сухарь грызут», спрашивали, почему оные паны не требуют со своих мужиков оброка и десятины, но Заглоба брал верх во всех перепалках. Так и велись разговоры эти, прерываемые то проклятьями, то дикими взрывами смеха, ночи напролет, под пулями, между стычками мелкими и крупными. Потом пан Яницкий ездил на переговоры к хану, который опять твердил, что всем кесим будет, пока посол не ответил, потеряв терпенье: «Вы это давно уже нам сулите, а мы все живы-здоровы! Кто по наши головы придет, свою сложит!» Еще требовал хан, чтобы князь Черемия съехался с его визирем в поле, но то была просто ловушка, о которой стало известно, — и переговоры были сорваны бесповоротно. Да и пока они шли, стычки не

прекращались. Что ни вечер, то приступ, днем пальба из орудий, из пушек, из пищалей и самопалов, вылазки из-за валов, сшибки, перемещение хоругвей, бешеные конные атаки — и все ощутимей потери, все страшнее кровопролитье.

Дух солдата поддерживался какой-то ярой жаждой борьбы, опасностей, крови. В бой шли, словно на свадьбу, с песней. Все так уже привыкли к шуму и грому, что полки, отправляемые на отдых, в самом пекле под пулями спали непробудным сном. С едою становилось все хуже, потому что региментарии до прибытия князя не запасли достаточно провианту. Дороговизна стояла ужасная, но те, у кого были деньги, покуная горелку или хлеб, весело делились с товарищами. Никто не думал о завтрашнем дне, всяк понимал: либо король подойдет на помощь, либо всем до единого смерть, — и готов был к тому и к другому, а более всего к бою. Случай небывалый в истории: десятки противостояли тысячам с таким упорством, с такой ожесточенностью, что каждый штурм оканчивался для казаков пораженьем. Вдобавок дня не проходило без нескольких вылазок из лагеря: осажденные громили врага в его собственных окопах. Вечерами, когда Хмельницкий, полагая, что усталость должна свалить даже самых стойких, тишком готовился к штурму, его слуха достигало вдруг веселое пенье. В величайшем изумлении колотил он себя тогда по ляжкам и всерьез начинал думать, что Иеремия, верно, и впрямь колдун почище тех, которые были в казацком таборе. И приходил в ярость, и опять подымал людей на бой, и проливал реки крови: от гетмана не укрылось, что его звезда пред звездой страшного князя начинает меркнуть.

В казацком лагере пели о Яреме песни или потихоньку рассказывали такое, от чего у молодцев волосы подымались дыбом. Говорили, будто в иные ночи он является на валу верхом на коне и растет на глазах, покуда головой не превысит збаражских башен, и что очи у него как два полумесяца светят, а меч в руке подобен той зловещей хвостатой звезде, которую господь зажигает порой в небе, предвещая людям погибель. Говорили также, что стоит ему крикнуть, и павшие в бою рыцари подымаются, звеня железом, и встают в строй с живыми рядом. У всех на устах был Иеремия: о нем пели діди-лирники, толковали старые запорожцы, и темная чернь, и татары. И в разговорах этих, в этой ненависти, в суеверном страхе находилось место странной какой-то любви, которую внушал степному люду кровавый его супостат. Да, Хмельницкий рядом с ним бледнел не только в глазах хана и татар, но и в глазах собственного народа, и видел гетман, что должен захватить Збараж, иначе чары его рассеются, как сумрак перед рассветом, видел, что должен растоптать сего льва — иначе сам погибнет.

Но лев сей не только оборонялся, а каждодневно сам выползал из логова и все страшной наносил удары. Ничто не могло его сдержать: ни измены, ни хитроумные уловки, ни прямой на-

тиск. Меж тем чернь и казаки начинали роптать. И им тяжело было сидеть в дыму и огне, под градом пуль, дыша трупным зловоньем, в дождь и в зной, перед обличьем смерти. Но не ратных трудов страшились удалые молодцы, не лишений, не штурмов, не огня, крови и смерти — они страшились Яремы.

ГЛАВА XXVII

Много простых рыцарей стяжали бессмертную славу в достопамятные дни осады Збаража, но первым из всех восславит лютва пана Лонгина Подбипятку, ибо доблести его столь велики были, что сравниться с ними могла лишь его скромность.

Была ночь, пасмурная, темная и сырая; солдаты, утомленные бдением у валов, дремали стоя, опершись на саблю. Впервые за десять дней неустанной пальбы и штурмов воцарились тишина и покой.

Из недалеких, всего на каких-нибудь тридцать шагов отстоящих казацких шанцев не слышно было проклятий, выкриков и привычного шума. Казалось, неприятель в своих стараниях взять противника измором сам в конце концов изморился. Кое-где лишь поблескивали слабые огоньки костров, укрытых под дерном; в одном месте казак играл на лире, и тихий сладостный ее голос разносился окрест; поодаль в татарском коше ржали лошади, а на валах время от времени перекликалась стража.

В ту ночь княжеские панцирные хоругви несли в лагере пешую службу, поэтому Скшетуский, Подбипятка, маленький рыцарь и Заглоба стояли на валу, переговариваясь тихо, а когда беседа обрывалась, прислушивались к шуму наполняющего ров дождя. Скшетуский говорил:

— Странно мне спокойствие это. Столь привычны стали крики и грохот, что от тишины в ушах звенит. Как бы подвоха *in hoc silentio*¹ не скрывалось.

— С тех пор, что нас на половинный рацион посадили, мне все едино! — угрюмо проворчал Заглоба. — Моя отвaga трех условий требует: хорошей еды, доброй выпивки и спокойного сна. Самый лучший ремень без смазки сохнет и трещинами пойдет. А если вдобавок его в воде, точно коноплю, непрестанно мочить? Дождь нас поливает, а казаки мнут, как же с нас не сыпаться костре? Веселенькая жизнь: булка уже флорин стоит, а косушка — все пять. От вонючей этой воды и собака бы нос отворотила — колодцы доверху трунами забиты, а мне пить хочется не меньше, чем моим сапогам: вон, поразевали пасти, будто рыбы.

— Однако ж сапоги твои и этой не гнушаются водичкой, — заметил Володыевский.

¹ в этом молчании (лат.).

— Помолчал бы, пан Михал. Хорошо, ты чуть побольше синицы: просяное зернышко склюешь да хлебнешь из наперстка — и доволен. Я же, слава создателю, не такого мелкого сложенья, меня не курица задней ногой выгребла из песка, а женщина родила, потому есть и пить мне положено, как человеку, а не как букашке; когда с полудня, кроме слюны, во рту ничего не было, то и от шуток твоих воротит.

И Заглоба засопел сердито, а пан Михал, хлопнув себя по ляжке, молвил:

— Есть тут у меня баклажка — с казака нынче сорвал, но, будучи курицей из песка вырыт, полагаю, что и горелка от столь ничтожного червя вашей милости не придется по вкусу. — И добавил, обращаясь к Скшетускому: — Твое здоровье!

— Дай глотнуть, холодно! — сказал Скшетуский.

— Пану Лонгину оставь.

— Ох, и плут же ты, пан Михал, — сказал Заглоба, — но добрая душа, этого у тебя не отнимешь — последнее рад отдать. Благослови господь тех кур, что подобных витязей из песка выгребают, — впрочем, говорят, они давно перевелись на свете, да и не о тебе вовсе я думал.

— Ладно уж, не хочется тебя обижать — глотни после пана Лонгина, — сказал маленький рыцарь.

— Ты что, сударь, делаешь?.. Оставь мне! — испуганно воскликнул Заглоба, глядя на припавшего к баклажке литвина. — Куда голову запрокинул? Чтоб она у тебя совсем отвалилась! Кишки твои чересчур длинны, все равно враз не наполнишь. Как в трухлявую льет колоду! Чтоб тебе пусто было.

— Я только чуточку отхлебнул, — сказал пан Лонгинус, отдавая баклажку.

Заглоба приложился поосновательней и выпил все до последней капли, а затем, фыркнув, заговорил уже веселее:

— Одно утешение, что, ежели нашим бедам конец придет и создатель дозволит из этой передраги живыми выйти, мы себя вознаградим с лихвою. Какая-никакая кроха и нам перепадет, надеюсь. Ксендз Жабковский не дурак поесть, но за столом ему со мной нечего и тягаться.

— А что за *verba veritatis*¹ вы с ксендзом Жабковским от Муховецкого услышали сегодня? — спросил пан Михал.

— Тихо! — прервал его Скшетуский. — Кто-то идет с майдана.

Друзья умолкли; вскоре какая-то темная фигура остановилась возле них и приглушенный голос спросил:

— Караулите?

— Караулим, ясновельможный князь, — ответил, вытянувшись, Скшетуский.

— Глядите в оба. Покой этот не сулит добра.

¹ слова правды (лат.).

И князь отправился дальше проверять, не сморил ли где сон измаявшихся солдат. Пан Лонгинус сложил руки.

— Что за вождь! Что за воин!

— Он меньше нашего отдыхает,— сказал Скшетуский. — Каждую ночь самолично все валы — до второго пруда — обходит.

— Дай ему бог здоровья!

— Аминь.

Настало молчание. Все напряженно всматривались в темноту, но ничего не могли увидеть — казачьи шанцы были спокойны. Последние огни и те погасли.

— Можно бы их всех во сне накрыть, как сусликов! — пробормотал Володыёвский.

— Как знать... — отвечал Скшетуский.

— В сон клонит,— сказал Заглоба,— глаза уже слипаются, а спать нельзя. Любопытно: когда можно будет? Стреляют, не стреляют, а ты стой, не выпуская сабли, и качайся от усталости, как еврей на молитве. Собачья служба! Ума не приложу, с чего меня так разобрало: то ли от горелки, то ли от злости на утреннюю выволочку, которой мы с ксендзом Жабковским безвинно подверглись.

— Что же случилось? — спросил пан Лонгинус. — Ты начал рассказывать, да не закончил.

— Сейчас и расскажу — авось перебьем сон! Пошли мы утром с ксендзом Жабковским в замок — поискать, не завалилось ли где чего съестного. Ходим, бродим, заглядываем во все углы — хоть шаром покати. Возвращаемся злые. А во дворе навстречу нам патер кальвинистский — явился готовить в последний путь капитана Шенберка — того, что на Фирлеевых позициях вчера был подстрелен. Я ему и говорю: «Долго ты, греховодник, здесь околачиваться будешь да на всевышнего хулу возводить? Еще навлечешь на нас немилость господню!» А он, зная, рассчитывая на покровительство каштеляна бельского, речет: «Наша вера не хуже вашей, а то и получше!» Как сказал, нас прямо оторопь взяла от возмущенья. Но я помалкиваю! Думаю себе: ксендз Жабковский рядом, пускай поспорит. А ксендз мой как зашипит и без размышлений свой аргумент выставляет: хватъ богоотступника под ребро. Однако ответа на первый сей довод не получил никакого: тот как покатится, так и не остановился, докуда головой не уткнулся в стену. Тут случился князь с ксендзом Муховецким и на нас: что за шум, что за свара? Не время, мол, не место и не метода! Как школярам, намылили головы... Где тут, спрашивается, справедливость? *Utinam sim falsus vates*¹, но патеры эти фирлеевские еще на нас беду накличут...

— А капитан Шенберк на путь истинный не обратился? — спросил пан Михал.

— Какое там! Как жил, заблудшая душа, так и умер.

¹ Да буду я лжепророком (лат.).

— И чего только люди коснеют в упорстве своем, отказывая себе во спасении! — вздохнул пан Лонгинус.

— Господь нас от насилия и казацких злых чар хранит, — продолжал Заглоба, — а они еще его оскорблять смеют. Известно ли вам, любезные судари, что вчера вон с того шанца клубками ниток по майдану стреляли? Солдаты говорили, куда ни упадет клубок, в том месте земля покрывается коростой...

— Известное дело: у Хмельницкого нечистая сила на побегушках, — сказал, осеняя себя крестом, Подбипятка.

— Ведьм я сам видел, — добавил Скшетуский, — и, скажу вам, милостивые государи...

Дальнейшие его слова прервал Володыёвский, который, сжав локоть Скшетуского, шепнул вдруг:

— А ну-ка, тише!..

И, подскочив к самому краю вала, стал прислушиваться.

— Ничего не слышу, — сказал Заглоба.

— Тсс!.. Дождь заглушает! — объяснил Скшетуский.

Пан Михал замахал рукой, чтоб ему не мешали, и еще несколько времени простоял, насторожившись; наконец он вернулся к товарищам и прошептал:

— Идут.

— Дай знать князю! Он на позицию Остророга пошел, — так же тихо приказал Скшетуский, — а мы побежим предупредить солдат...

И друзья, ни секунды не медля, припустились вдоль вала, по дороге то и дело останавливаясь и тихим шепотом оповещая бодрствующих воинов:

— Идут! Идут!..

Слова неслышной зарницею полетели из уст в уста. Спустя четверть часа князь, взъехав верхом на валы, уже отдавал офицерам распоряженья. Поскольку противник, видно, рассчитывал застигнуть лагерь врасплох, во сне и бездействии, князь повелел его в этом заблуждении оставить. Солдатам приказано было держаться как можно тише и подпустить врага к самой подошве вала, а затем лишь, когда пушечным выстрелом будет дан сигнал, внезапно на него ударить.

Воинам не пришлось повторять дважды: дула мушкетов бесшумно были взяты на изготовку и настало глухое молчание. Скшетуский, пан Лонгинус и Володыёвский стояли рядом; Заглоба остался с ними, зная по опыту, что наибольшее число пуль ляжет посреди майдана, а на валу, рядом с тремя такими рубанками, всего безопасней.

Он только встал чуть позади друзей, чтобы избежать первого удара. Немного поодаль опустился на колени Подбипятка с Сорвиглавцем в руке, а Володыёвский примостился рядом со Скшетуским и шепнул ему в самое ухо:

— Идут, спору нет...

— Ровно шагают.

- Это не чернь, да и не татары.
- Запорожская пехота.
- Либо янычары — они маршируют отлично. С седла бы побольше уложить можно!
- Темно нынче слишком для конного бою.
- Теперь слышишь?
- Тсс! Тише!..

Лагерь, казалось, погружен был в наиглубочайший сон. Нигде ни шороха, ни огонька — сплошь гробовое молчанье, нарушаемое лишь шелестом мелкого дождичка, сеющего как сквозь сито. Помалу, однако, к шелестению этому примешался иной, тихий, но мерный и потому более явственный шорох, который все приближался, все отчетливее становился; наконец в десятке шагов ото рва показалась какая-то продолговатая плотная масса, различимая лишь оттого, что была темноты чернее, — показалась и застыла на месте.

Солдаты затаили дыхание, только маленький рыцарь исципал ляжку Скшетуского, таким способом выражая свою радость. Меж тем вражеские воины подступили ко рву, спустили в него лестницы, затем сами слезли на дно, а лестницы приставили к внешнему склону вала.

Вал по-прежнему хранил молчание, будто на нем и позади него все вымерло — тишина стояла, как в могиле.

Но кое-где все же, сколь ни осторожен был враг, перекладки стали потрескивать и скрипеть...

«Ох, и полетят ваши головы!» — подумал Заглоба.

Молодыёвский перестал щипать Скшетуского, а пан Лонгинус сжал рукоять Сорвиглавца и напряг зрение — будучи ближе всех к гребню вала, он намеревался ударить первым.

Внезапно три пары рук высунулись из мрака и ухватились за гребень, а следом, медленно и осторожно, стали подниматься три мисюрки... Выше и выше...

«Турки!» — подумал пан Лонгинус.

В эту минуту оглушительно грянули тысячи мушкетов; сделалось светло как днем. Прежде чем свет померк, пан Лонгинус размахнулся и ударил — страшен был его удар, воздух так и взвыл под клинком Сорвиглавца.

Три тела упали в ров, три головы в мисюрках скатились к коленам литвина.

Тот же час, хотя на земле стался ад, над паном Лонгинусом отверзлись небеса, крылья выросли за спиной, ангельские хоры запели в душе и в груди райское разлилось блаженство — и дрался он, как во сне, и удары его меча были точно благодарственная молитва.

И все давно преставившиеся Подбиятки, начиная от пра-родителя Стowejки, возрадовались на небесах, ибо достоин их оказался последний живущий на земле отпрыск рода Подбиятка герба Сорвиглавец.

Штурм, в котором со стороны неприятеля главное участие принимали вспомогательные отряды румелийских и силлистрийских турок и янычары ханской гвардии, отбит был жестоко — басурманской крови пролилось больше, чем в прошлых сражениях, что навлекло на голову Хмельницкого страшную бурю. Гетман перед приступом поручился, что турок ляхи встретят с меньшим остервенением и, если их отряды с ним пойдут, лагерю быть взяту. Пришлось ему теперь улаживать хана и рассвирепевших мурз и умищать их сердца дарами. Хану он преподнес десять тысяч талеров, а Тугай-бею, Кош-аге, Субагази и Калге отсчитал по две тысячи. Тем временем в лагере челядь вытаскивала трупы из оврага, и ни единый выстрел с шанцев ей в этом не препятствовал. Солдатам дан был отдых до самого утра, поскольку ясно было, что штурм не возобновится. Все спали крепким сном, кроме хоругвей, назначенных в караул, и пана Лонгина Подбиятки, который ночь напролет крестом пролежал на мече, благодаря богу, дозволившего ему исполнить обет и такую громкую стяжать славу, что имя его в городе и лагере не сходило с уст. Назавтра его призвал к себе князь-воевода и хвалил от души, а воинство целый день шло толпою поздравить героя да поглядеть на три головы, которые челядь принесла и положила перед его наметом и которые уже почернели на воздухе. Одни восхищались, другие завидовали, а кое-кто глазам отказывался верить: до того все три головы в своих мисюрках со стальными маковками были ровно срезаны — будто ножницами.

— Лихой ваша милость *sartor!*¹ — дивилась пляхта. — Слышали мы о твоих рыцарских доблестях, но такому удару и герою древности могли бы позавидовать — искуснейшему палачу не сумеешь лучше.

— От ветру шапка так не слетит, как головы эти слетели! — говорили иные.

И всяк спешил позвать пана Лонгинусу руку, а он стоял, потупясь, и сиял, и улыбался застенчиво и кротко, как невинная девица перед венчаньем, и говорил, словно бы в свое оправдание:

— Очень уж удобно они стали...

Многим хотелось испробовать его меч, но ни одному этот двуручный крыжацкий кончар по руке не пришелся, не исключая даже ксендза Ябковского, хотя тот подкову переламывал, как щепку.

Возле намета делалось все шумнее: Заглоба, Скшетуский и Володыёвский принимали гостей, потчуют их рассказами, поскольку больше было нечем — в лагере уже догрызали последние сулары, да и мясо давно перевелось, если не считать вяленой конины. Но воодушевление заменяло любые яства. Под конец, когда иные начали уже расходиться, пожаловал Марек Собеский, ста-

¹ портняжка (лат.).

роста красновоставский, со своим поручиком Стемповским. Пан Лонгинус выбежал старосте навстречу, а тот, ласково приветствовал рыцаря, молвил:

— Сегодня у тебя, сударь, праздник.

— Конечно, праздник,— вмешался Заглоба,— приятель наш обет исполнил.

— И слава богу! — ответил староста. — Что, брат, вскоре свадьбу сыграем? Есть у тебя уже кто на примете?

Подбипятка ужасно смешался и покраснел до корней волос, а староста продолжал:

— Конфузия твоя свидетельством, что я не ошибся. Святая вашей милости обязанность заботиться, чтобы такой род не угаснул. Дай бог, чтобы побольше на свет родилось витязей, подобных вам четверым.

И, сказавши так, каждому пожал руку, а наши друзья возликовали в душе, из таких уст похвалу услыша, ибо староста красновоставский являл собой образец мужества, высокого благородства и прочих рыцарских достоинств. Это был воплощенный Марс; всевышний от щедрот своих одарил его всем в изобилие: необычайною красотой лица Марек Собеский превосходил даже младшего брата своего Яна, ставшего впоследствии королем, богатством и знатностью не уступал первейшим магнатам, а военные его таланты возносил до небес сам великий Иеремия. Чрезвычайной яркости была б та звезда на небосводе Речи Посполитой, не случись волею providения, что блеск ее переял Ян, младший, звезда же эта угасла прежде времени в годину бедствий.

Рыцари наши весьма и весьма были обрадованы похвале героя, однако тот вовсе ею не ограничился и продолжал:

— Я о вас, любезные судари, премного наслышан от самого князя-воеводы, который больше, чем к другим, к вам благоволит. Потому и не удивляюсь, что вы ему служите, не помышляя о чинах, хотя на королевской службе скорее б могли получить повышение.

На это ответил Скшетуский:

— Все мы как раз к королевской гусарской хоругви причислены, за исключением пана Заглобы, который волонтером по врожденному призванию на войну пошел. А что при князе-воеводе состоим, так это прежде всего из сердечного к его светлости расположения, а кроме того, хотелось нам бранной жизни сполна вкусить.

— И весьма разумно поступаете, если таковы ваши побуждения. Уж наверно бы ни под чьей иной рукой пан Подбипятка так скоро зарок своего не исполнил,— заметил Собеский. — А что касается бранной жизни, то в нынешнее время все мы ею по горло сыты.

— Более, нежели чем другим,— вставил Заглоба. — Ходят тут все с утра к нам с поздравлениями, но нет чтобы пригласить

на чарку горелки с доброй закуской,—а это была бы наилучшая дань нашим заслугам.

Говоря эти слова, Заглоба глядел прямо в очи старосте красновставскому и глазом своим подмаргивал хитро. Староста же молвил с улыбкой:

— У меня самого со вчера крошки во рту не было, но горелки глоток, быть может, в каком поставце и отыщется. Милости прошу, любезные судари.

Скшетуский, пан Лонгинус и маленький рыцарь принялись отнекиваться и выговаривать Заглобе, который выкручивался, как мог, и, как умел, оправдывался.

— Не напрашивался я,— говорил он.— Мое правило: свое отдай, а чужого не тронь, но, когда столь достойная особа просит, невежливо было бы отказаться.

— Идемте, идемте! — повторил староста. — И мне приятно посидеть в хорошей компании, и время есть, пока не стреляют. На трапезу не прошу: с кониной и той плохо — убьют на майдане лошадь, к ней тотчас сто рук тянется, а горелки еще пара фляжек найдется, и уж наверное для себя я их сберечь не стану.

Друзья еще упирались и отнекивались, но, поскольку староста настаивал, пошли, а Стемповский побежал вперед и так расстарался, что нашлась и закуска к водке: сухари да несколько кусочков конины. Заглоба мгновенно повеселел и разговорился:

— Даст бог, его величество король вызовет нас из этой западни — тут уж мы не замедлим до ополченских возов добраться. Они страсть сколько разных яств всегда за собою возят, о брюхе пуще заботятся, чем о Речи Посполитой. Я б по нраву своему предпочел с ними застольничать, нежели воевать, хотя, быть может, пред королевским оком и они себя неплохо покажут.

Староста сделался серьезен.

— Раз мы друг другу поклялись,— сказал он,— что все до единого ляжем костями, а врагу не уступим, так, значит, оно и будет. Всяк должен приготовить себя, что еще горшие времена настанут. Еда на исходе; хуже того, и порох кончается. Другим я бы не стал говорить, но перед вами могу открыться. Вскоре лишь отвага в сердце да сабля в руке у каждого из нас останутся и готовность умереть — ничего больше. Дай бог, чтобы король поскорее в Збараж пришел, на него последняя надежда. Воинствен государь наш! Уж он бы не пожалел ни трудов, ни здоровья, ни живота своего, дабы от нас отвести беду,— но куда идти с такой малюю силой! Надо пополнения ждать, а вам не хуже моего известно, как мешкотно собирается ополченье. Да и откуда знать его величеству, в каких обстоятельствах мы здесь оборону держим и вдобавок последние доедаем крохи?

— Мы готовы на смерть,— сказал Скшетуский.

— А если б его уведомить? — предложил Заглоба.

— Кабы сыскался доблестный муж,— молвил староста,— что рискнет через вражеский стан прокрасться, вечную б себе славу стяжал при жизни, целое войско спас и от отечества отвратил катастрофу. Хотя бы и ополчение не в целости еще собралось — самая близость короля может развеять смуту. Но кто пойдет? Кто отважится, когда Хмельницкий так загородил все выходы и дороги, что и мыши из окопов не ускользнуть? Неминучей смертью грозит подобное — это ясно!

— А для чего нам голова дана? — сказал Заглоба. — У меня уже одна мыслишка в уме сверкнула.

— Какая же? — спросил Собеский.

— А вот такая: мы ведь что ни день берем пленных. Что, если которого-нибудь подкупить? Пусть представится, будто от нас бежал, а сам — к королю.

— Надо будет об этом переговорить с князем,— сказал староста.

Пан Лонгинус во все время этого разговора сидел молча, глубоко задумавшись, даже чело его избородилось морщинами. И вдруг, поднявши голову, молвил со всегдашней своей кротостью:

— Я берусь между казаков пробратся.

Рыцари, услышав эти его слова, в изумлении повскакали с мест; Заглоба разинул рот, Володыёвский быстро-быстро задвигал усами, Скшетуский побледнел, а староста красновоставский, смяв рукою бархатные свои одежды, воскликнул:

— Ваша милость за это берется?

— А ты вперед подумал, чем говорить? — спросил Скшетуский.

— Давно думаю,— отвечал литвин,— не первый день среди рыцарей идут разговоры, что надо его величество известить о нашем положении. Я как услышу, так и помыслю про себя: дозвожь мне всевышний обет исполнить — сейчас бы и отправился, без промедленья. Что я, ничтожный червь, значу? Невелика будет потеря, даже если зарубят дорогой.

— И зарубят, можешь не сомневаться! — вскричал Заглоба. — Слышал, пан староста говорил: смерти не миновать!

— Так и что с того, братушка? — сказал пан Лонгинус. — Соизволит господь, то и проведет в невредимости, а нет — вознаградит на небе.

— Но сперва тебя схватят, мукам предадут и ужасную смерть измыслят. Нет, ты, однако, рехнулся! — сказал Заглоба.

— И все ж я пойду, братушка,— кротко ответил Подбипятка.

— Птице там не пролететь — из лука подстрелят. Они ж нас кругом, как барсука в норе, обложили.

— И все ж я пойду,— повторил литвин. — Всевышний мне позволил зарок исполнить — теперь я перед ним в долгу.

— Нет, вы только на него поглядите! — кричал в отчаянии Заглоба. — Уж лучше сразу вели себе башку отрубить и из пушки выпалить по казацкому стану — только одна туда и есть дорога.

— Дозвольте, окажите милость! — взмолился литвин, складывая руки.

— Ну, нет! Один не пойдешь, я пойду с тобою, — сказал Скшетуский.

— И я с вами! — подхватил Володыёвский и по сабле рукою хлопнул.

— Чтоб вас черти! — вскричал, схватившись за голову, Заглоба. — Чтоб вам провалиться с вашим «и я! и я!», с геройством вашим! Мало им еще крови, мало пальбы, смертей мало! Не хватает того, что вокруг творится: нет, ищут, где бы скорее свернуть шею! Ну и катитесь к дьяволу, а меня оставьте в покое! Чтоб вам всем головы снесли...

И, вскочив, заметался по шатру как полоумный.

— Господь меня покарал! — кричал он. — Нет чтобы со степенными людьми водиться — с ветрогонами, старый дурак, спознался! И поделом мне!

Еще несколько времени он бегал взад-вперед точно в лилоградке, наконец, остановившись перед Скшетуским, заложил руки за спину и, уставясь ему в глаза, засопел грозно.

— Что я вам худого сделал, зачем толкаете в могилу?

— Упаси нас бог! — отвечал рыцарь. — С чего ты взял?

— Что пан Подбиятка такие несуразности говорит, не диво! У него весь ум в кулаки ушел, а с тех пор, как три наипустейшие турецкие башки снес, и последнего соображенья лишился...

— Слу х а т ь гадко, — перебил его литвин.

— И этому я не дивлюсь, — продолжал Заглоба, тыча в Володыёвского пальцем. — Он любому казаку за голенище вспрыгнет либо прицепится к шароварам, как репей к собачьему хвосту, и скорей всех нас пролезет куда угодно. Ладно, на этих двоих не сошел святой дух, но, когда и ты, сударь, вместо того чтобы от безумного шага удержать глупцов, только их подзауживаешь, заявляя, что сам пойдешь, и всех четверых нас на муки и верную смерть обречь хочешь, — это уж... последнее дело! Тьфу, черт, не ждал я такого от офицера, которого сам князь уважает за степенство.

— Как это четверых? — удивленно переспросил Скшетуский. — Неужто и ты, сударь?..

— Да, да! — вскричал, колотя себя кулаком в грудь, Заглоба. — И я тоже. Если который-нибудь один отправится или все трое — пойду и я с вами. Да падет моя кровь на ваши головы! В другой раз буду глядеть, с кем завожу дружбу.

— Ну и ну! — только и сказал Скшетуский.

Трое рыцарей бросились обнимать старого шляхтича, но он, всерьез осердясь, сопел и отпихивал их локтями, приговаривая:

— Отвяжитесь, ну вас к дьяволу! Обойдусь без пудинных поцелуев!

Вдруг на валах загремели мушкеты и пушки. Заглоба прислушался и сказал:

— Вот вам! Идите!

— Обычная перестрелка,— заметил Скшетуский.

— Обычная перестрелка! — передразнил его шляхтич. — Подумать только! Им еще мало. Войско от этой обычной перестрелки истаяло вполовину, а для них все детские забавы.

— Не кручинься, сударь,— сказал Подбипятка.

— Помолчал бы, литва-ботва! — рявкнул Заглоба. — Больше всех ведь повинен. Кто затеял эту безумную авантюру? Глупей, хоть тресни, нельзя было придумать!

— И все ж таки я пойду, братушка,— отвечал пан Лонгинус.

— Пойдешь, пойдешь! А я знаю, почему! Нечего героя строить, тебя насквозь видно. Непорочность не терпит сбыть, вот и спешешь ее из крепости унести. Изю всех рыцарей ты наихудший, а не наилучший вовсе, потаскуха, продающая добродетель! Тьфу! Наказанье господне! Так-то! Не к королю ты поспешаешь — тебе бы на волю да взбрыкнуть хорошенько, как на выгоне жеребцу... Полюбуйтесь: рыцарь невинностью торгует! Омерзение, как бог свят, чистое омерзенье!

— Слу х а т ь гадко! — вскричал, затыкая уши, пан Лонгинус.

— Довольно пререкаться! — серьезно проговорил Скшетуский. — Подумаем лучше о деле!

— погодите, Христа ради! — вмешался староста красноставский, до тех пор с изумлением слушавший речи Заглобы. — Великое это дело, но без князя мы решать не вправе. Нечего спорить, любезные судари. Вы на службе и обязаны слушаться приказов. Князь сейчас должен быть у себя. Пойдемте к нему, послушаем, что он на вашу пропозицию скажет.

— То же, что и я! — воскликнул Заглоба, и лицо его осветилось надеждой. — Идемте скорее.

Они вышли на майдан, уже осыпaeмый пулями из казацких шанцев. Войско выстроилось у валов, которые издали казались уставлены ярмарочными ятками — столько на них было развешано старой пестрой одежды, кожухов, столько понаставлено повозок, изодранных палаток и всяческого роду предметов, могущих служить заслоном от пуль, так как порой по целым неделям стрельба не утихала ни днем ни ночью. И теперь над этими ломотьями висела долгая голубоватая полоса дыма, а перед ними виднелись красные и желтые шеренги лежащих солдат, без устали стреляющих по ближайшим неприятельским шанцам. Сам майдан подобен был гигантской свалке; на ровной площадке, изрытой заступами, истоптанной копытами, даже травинки нигде

не зеленелось. Только высились кучи свежей земли в тех местах, где солдаты рыли могилы и колодцы, да валялись там и сям обломки разбитых телег, орудий, бочек вперемешку с грудями обглоданных, выбеленных солнцем костей. А вот труп конского нельзя было увидеть — всякий тотчас прибирался на прокормленные войску, зато на глаза то и дело попадались горы железных, большей частью уже порыжелых от ржавчины пушечных ядер, которые каждый день обрушивал на этот клочок земли неприятель. Беспощадная война и голод на каждом шагу оставляли след. На пути рыцарям нашим встречались солдаты то большими, то малыми группами: одни уносили раненых и убитых, другие спешили к валам помочь товарищам, от усталости падающим с ног; лица у всех почернелые, осунувшиеся, заросшие, в глазах мрачный огонь, одежда выцветшая, изорванная, на голове зачастую вместо шапок и шлемов грязные тряпицы, оружие искорверкано. И невольно в уме возникал вопрос: что станет с этой горсткой неодолимых дотолем смельчаков, когда пройдет еще одна, еще две недели...

— Смотрите, досточтимые судари, — говорил староста, — пора, пора оповестить его величество короля.

— Беда уже, как пес, щерит зубы, — отвечал маленький рыцарь.

— А что будет, когда лошадей съедим? — сказал Скшетульский.

Так переговариваясь, дошли до княжьих шатров, стоящих у правой оконечности вала; возле шатров толпилось более десятка конных рассыльных, задачей которых было развозить по лагерю приказы. Лошади их, кормленные искрошенной вяленой кониной и от этого постоянно страдающие нутром, взбрыкивали и вставляли на дыбы, ни за что не желая стоять на месте. И так все кони во всех хоругвях: когда кавалерия теперь шла в атаку, чудилось, стадо кентавров или грифов несется по полю, более воздуха, нежели земли касаясь.

— Князь в шатре? — спросил староста у одного из гонцов.

— У него пан Пшиемский, — ответил тот.

Собеский вошел первым, не доложившись, а четверо рыцарей остались перед шатром.

Но в самом скором времени полог откинулся и высунул голову Пшиемский.

— Князь незамедлительно желает вас видеть, — сказал он.

Заглоба вошел в шатер, полный радужных надежд, так как полагал, что князь не захочет лучших своих рыцарей посылать на верную гибель, однако же он ошибся: не успели друзья поклониться, как Иеремия молвил:

— Сказывал мне пан староста о вашей готовности выйти из лагеря, и я лишь одобрить могу это благое намерение. Ничто не есть слишком большая жертва для отчизны.

— Мы пришли испросить позволения твоей светлости,— отвечал Скшетуский,— ибо только ты, ясновельможный князь, животом нашим распорядиться волен.

— Так вы все четверо идти хотите?

— Ваша светлость! — сказал Заглоба. — Это они хотят — не я; бог свидетель: я сюда не похваляться пришел и не о заслугах своих напоминать, а если и напомяну, то ддя того лишь, чтобы ни у кого не закралось подозрения, будто Заглоба струсил. Пан Скшетуский, Володыевский и пан Подбиятка из Мышикишек — достойнейшие мужи, но и Бурляй, который от моей руки пал (о прочих подвигах умолчу), тоже великий был воитель, стоящий Бурдабута, Богуна и трех янычарских голов,— посему полагаю, что в искусстве рыцарском я им не уступаю. Но одно дело — храбрость, а совсем другое — безумье. Крыльями мы не наделены, а по земле не пробраться — это ясно как божий день.

— Стало быть, ты не идешь? — спросил князь.

— Я сказал: не хочу идти, но что не иду, не говорил. Раз уж господь однажды покарал меня, этих рыцарей в друзья предназначив, стало быть, я обязан сей крест нести до гроба. А туго придется, сабля Заглобы еще пригодится... Одного только не могу понять: какой будет толк, если мы все четверо головы сложим, потому уповаю, что ваша светлость погибели нашей допустить не захочет и не дозволит совершить такое безрассудство.

— Ты верный товарищ,— ответил князь,— весьма благородно с твоей стороны, что друзей оставлять не желаешь, но уповаю ты на меня напрасно: я вашу жертву принимаю.

— Все пропало! — буркнул Заглоба и в совершенное пришел унынье.

В эту минуту в шатер вошел Фирлей, каштелян бельский.

— Светлейший князь,— сказал он,— мои люди схватили казака, который говорит, что нынче в ночь штурм назначен.

— Мне уже известно об этом,— ответил князь. — Все готово; пусть только с насыпкой новых валов поспешат.

— Уже заканчивают.

— Это хорошо! — сказал князь. — До вечера переберемся.

И затем обратился к четверке рыцарей:

— После штурма, если ночь выдастся темная, наилучшее время выходить.

— Как так? — удивился каштелян бельский. — Твоя светлость вылазку приготовляет?

— Вылазка своим чередом,— сказал князь,— я сам поведу отряд; сейчас не о том речь. Эти рыцари берутся прокрасться через вражеский стан и уведомить короля о нашем положении.

Каштелян, пораженный, широко раскрыл глаза и всех четырех поочередно обвел взглядом.

Князь довольно улыбулся. Была за ним такая слабость: любил Иеремию, чтоб восхищались его людьми.

— О господи! — вскричал каштелян. — Значит, еще не перевелись такие души на свете? Да простит меня бог! Я вас от этого смелого предприятия отговаривать не стану!..

Заглоба побагровел от злости, но промолчал, только засопел, как медведь, князь же, поразмыслив, обратился к друзьям с такими словами:

— Не хотелось бы мне, однако, понапрасну вашу кровь проливать, и всех четверых разом отпустить я не согласен. Сначала пускай один идет; казаки, если его убьют, не преминут тот же час похвалиться, как уже сделали однажды, предав смерти моего слугу, которого схватили подо Львовом. А тогда, ежели первому не повезет, пойдет второй, а затем, в случае надобности, и третий, и четвертый. Но, быть может, первый проберется благополучно — зачем тогда других без нужды посылать на погибель?

— Ваша светлость... — перебил князя Скшетуский.

— Такова моя воля и приказ, — твердо сказал Иеремия. — А чтоб не было промежду вас спору, назначаю первым идти тому, кто вызвался первый.

— Это я! — воскликнул, просяив, пан Лонгинус.

— Нынче после штурма, если ночь выдастся темная, — повторил князь. — Писем к королю никаких не дам; что видел, сударь, то и расскажешь. А как знак возьми сей перстень.

Подбиытка с поклоном принял перстень, а князь сжал голову рыцаря обеими руками, потом поцеловал несколько раз в чело и сказал с волнением:

— Близок ты моему сердцу, словно брат родной... Да храняй тебя на пути твоём вседержитель и царица небесная, воин божий! Аминь!

— Аминь! — повторил староста красновоставский, пан Пшчэмский и каштелян бельский.

У князя слезы стояли в глазах, — вот кто истинный был отец солдатам! — и прочие прослезились, а у Подбиытки дрожь одушевления пробежала по телу и огонь запылал во всякой жилке; возликовала эта чистая, смиренная и геройская душа, согретая надеждой скорой жертвы.

— В истории записано будет имя твое! — воскликнул каштелян бельский.

— Non nobis, non nobis, sed nomine Tuo, Domine¹, — промолвил князь.

Рыцари вышли из шатра.

— Тыфу, что-то мне глотку схватило и не отпускает, а во рту горько, как от полыни, — сказал Заглоба. — И эти всё палят, разрази их гром!.. — добавил он, указывая на дымящиеся казацкие шанцы. — Ох, тяжело жить на свете! Что, пан Лонгин, твердо твое решение ехать?.. Да уж теперь ничего не изменишь!

¹ Не нам, не нам, но имени твоему, господи (лат.).

Храни тебя ангелы небесные... Хоть бы мор какой передушил этих хамов!

— Я должен с вами, судари, проститься,— сказал пан Лонгинус.

— Это почему? Ты куда? — спросил Заглоба.

— К ксендзу Муховецкому, братушка, на исповедь. Душу грешную надо очистить.

Сказавши так, пан Лонгинус поспешно зашагал к замку, а друзья повернули к валам. Скшетуский и Володыёвский молчали как убитые, Заглоба же рта не закрывал ни на минуту:

— Ком застрял в глотке, и ни взад ни вперед. Вот не думал, что так жаль мне его будет. Нет на свете человека добродетельнее! Пусть попробует кто возразить — немедля в морду получит. О боже, боже! Я думал, каштелян бельский вас удержит, а он только масла в огонь подлил. Черт принес еретика этого! «В истории, говорит, будет записано твое имя!» Пускай его имя запишут, да только не на Лонгиновой шкуре. Чего б ему самому не отправиться? Небось у кальвиниста паршивого, как у них у всех, на ногах по шесть пальцев — ему и шагать легче. Нет, судари мои, мир все хуже делается, и не зря, видно, ксендз Жабковский скорый конец света пророчит. Давайте-ка посидим немного у валов да пойдем в замок, чтобы обществом приятеля нашего хотя бы до вечера насладиться.

Однако Подбиятка, исповедавшись и причастившись, остаток дня провел в молитвах и явился лишь вечером перед началом штурма, который был одним из самых ужаснейших, потому что казаки ударили как раз в ту минуту, когда войска с орудиями и повозками перебирались на свеженасыпанные валы. Поначалу казалось, ничтожные польские силы не сдержат натиска двухсоттысячной вражеской рати. Защитники крепости смешались с неприятелем — свой своего не мог отличить — и трижды так меж собою схватывались. Хмельницкий напряг все силы, поскольку и хан, и собственные полковники объявили ему, что этот штурм будет последним и впредь они намерены лишь голодом изнурять осажденных. Но все атаки в продолжение трех часов были отбиты с огромным уроном для нападающих: позднее разнесся слух, будто в этой битве пало около сорока тысяч вражеских воинов. И уж доподлинно известно, что после сражения целая гряда знамен была брошена к ногам князя, — то был в самом деле последний большой штурм, после которого еще труднее времена настали, когда осаждающие подкапывались под валы, похищали повозки, беспрестанно стреляли, когда пришли беда и голод.

Неутомимый Иеремия немедля по окончании штурма повел падающих с ног солдат на вылазку, которая закончилась новым погромом врага, — и лишь после этого тишина объела оба лагеря.

Ночь была теплая, но пасмурная. Четыре черные фигуры бесшумно и осторожно подвигались к восточной оконечности

вала. То были пан Лонгинус, Заглоба, Скшетуский и Володыёвский.

— Пистолеты хорошенько укрой, чтобы порох не отсырел,— шептал Скшетуский. — Две хоругви всю ночь будут стоять наготове. Выстрелишь — примчимся на помощь.

— Темно, хоть глаз выколи! — пробормотал Заглоба.

— Оно и лучше,— сказал пан Лонгинус.

— А ну, тихо! — перебил его Володыёвский. — Я что-то слышу.

— Ерунда — умирающий какой-нибудь хрипит!..

— Главное, тебе до дубравы добраться...

— Господи Иисусе! — вздохнул Заглоба, дрожа как в лихорадке.

— Через три часа начнет светать.

— Пора! — сказал пан Лонгинус.

— Пора, пора! — понизив голос, повторил Скшетуский. — Ступай с богом!

— С богом! С богом!

— Прощайте, братья, и простите, ежели перед кем виновен.

— Ты виновен? О господи! — вскричал Заглоба, бросаясь ему в объятия.

И Скшетуский с Володыёвским поочередно облобызали друга. В эту минуту рыцари не смогли сдержать рвущихся из груди рыданий. Один лишь пан Лонгинус оставался спокоен, хотя и был до глубины души растроган.

— Прощайте! — еще раз повторил он.

И, приблизившись к гребню вала, спустился в ров; через минуту его черная тень показалась на другом краю рва, и, в последний раз послав товарищам прощальный привет, пан Лонгинус скрылся во мраке.

Меж дорогой на Залощицы и трактом, ведущим из Вишнева, тянулась дубрава, пересекаемая узкими лужайками и переходящая в бор, старый, густой и бескрайний, уходящий куда-то далеко, дальше Залощиц,— туда и решил пробраться Подбипятка.

Путь этот был очень опасен: чтобы достичь дубравы, надлежало пройти вдоль всего казацкого стана, но пан Лонгинус намеренно выбрал эту дорогу, потому что в таборе ночью вертелось более всего людей и караульные меньше приглядывались к проходящим. Впрочем, на всех иных дорогах и тропках, в оврагах и зарослях были расставлены сторожевые посты, которые регулярно объезжали есаулы, сотники, полковники, а то и сам Хмельницкий. Идти же через луга и далее берегом Гнезны нечего было и думать: там от сумерек до рассвета на выгонах не смыкали глаз татарские конепасы.

Ночь была теплая, облачная и столь темная, что в десяти шагах не то чтобы человека, даже дерево разглядеть было труд-

но. Обстоятельство это было для пана Лонгинуса благоприятно, хотя, с другой стороны, идти приходилось очень медленно и осторожно, чтобы не угодить в какую-нибудь из ям или окопов, разбросанных по всему бранному полю, изрытому польскими и казацкими руками.

Так он добрался до второй линии валов, которые были оставлены лишь перед наступлением ночи и, переправившись через ров, пустился крадучись к казацким апрошам и шанцам. Вблизи них постоял и прислушался: шанцы были пусты. В последовавшей за штурмом вылазке Иеремия вытеснил оттуда казак: кто не poleg, схоронился в таборе. На склонах и гребнях насыпей во множестве лежали трупы. Пан Лонгинус поминутно спотыкаясь о неподвижные тела, перестунал их и шел дальше. Порой слабый стон или вздох давали знать, что некоторые из лежащих еще живы.

Обширное пространство за валами, тянувшееся до первого ряда окопов, вырытых еще regimentариями, тоже было усеяно телами павших. Ям и канав тут было еще больше, и через каждые полсотни шагов стояли земляные прикрытия, в темноте похожие на стога сена. Но и землянки эти были пусты. Повсюду царил мертвая тишина, ни огонька, ни живой души — лишь бездыханные тела там, где был когда-то майдан.

Пан Лонгинус шел вперед, шепча молитву за души polegших. Шумы польского лагеря, сопутствовавшие ему вплоть до вторых валов, затихали, терялись в отдалении, покуда не замерли совершенно. Рыцарь остановился и в последний раз посмотрел назад.

Но разглядеть он почти уже ничего не смог, потому что огней в лагере не было вовсе; одно лишь оконце в замке тускло мерцало, словно звездочка, которая то покажется, то спрячется за облаками, словно светлячок в ночь на Ивана Купалу, вспыхивающий и гаснущий попеременно.

«Братья мои, увижу ли вас еще в жизни?» — подумал пан Лонгинус.

И тоска тяжелым камнем легла на сердце, стеснила дыханье. Там, где дрожит этот мерцающий огонек, — свои, близкие: князь Иеремия, Скшетуский, Володыевский, Заглоба, ксендз Муховецкий; там его любят и готовы защитить, а здесь ночь, пустота, мрак, недвижимые тела под ногами, вереницы душ и впереди стан проклятых кровопийц, враги, не знающие состраданья.

Еще тяжелее сделался камень на сердце — не под силу даже нашему исполину. И в душу пана Лонгинуса закрались сомнения.

Бледная тень тревоги прилетела из темноты и принялась нащупывать в ухо: «Не пройдешь, невозможно это! Возвращайся, пока не поздно! Выстрели из пистолета, и целая хоругвь бросится тебе на помощь. Через таборы эти, промежду дикого люда никогда никому не пройти...»

Польский лагерь, изо дня в день осыпaeмый пулями, где царил голод и смерть, а воздух был пропитан трупным зловоньем, в тот миг показался пану Лонгину тихой и безопасной гаванью.

Друзья ни словом не попрекнули его, если он вернется. Он скажет, что предприятие это превосходит людские силы, и они сами, послушав его, не пойдут и не пошлют никого другого — и далее станут ждать милости господней и королевской.

А если Скупетуский пойдет и погибнет?

«Во имя отца, и сына, и святого духа! Все это искус сатанинский, — подумал Лонгинус. — Смерть принять я готов, а ничего горше меня не постигнет. Это дьявол насылает страх на слабую душу; мертвые тела, мрак, пустыня — сатана ничем не погнушается».

Неужто рыцарь позором себя покроет, славу свою позволит запятнать, обесчестит доброе имя — войско от гибели не спасет, пренебрежет венцом небесным? Нет, никогда!

И пошел дальше, вытягивая пред собою руки.

Вдруг опять ему послышался глухой шум, но уже не из польского стана, а с противной стороны — неясный пока, но густой и грозный, будто в темном лесу внезапно зарычал медведь. Однако тревога уже оставила душу пана Лонгина, тоска более не стесняла груди, а уступила место сладостным воспоминаниям о близких; и тогда, словно в ответ на угрозу, надвигающуюся из табора, он еще раз повторил в душе: «И все ж я пойду».

Спустя еще несколько времени он оказался на том самом побоище, где в день первого штурма княжеская конница разбила янычар и казаков. Дорога здесь выровнялась, меньше попадалось рвов, ям, землянок, и почти совсем не стало трупов — казаки успели прибрать тела павших в первых сражениях. И светлее немного сделалось, так как никакие препятствия не застали теперь пространства. Поле отлого спускалось к югу, но пан Лонгинус сразу свернул круто, намереваясь проскользнуть между западным прудом и казацким станом.

Теперь он шел быстро, без задержек и уже, казалось, достиг границы табора, когда новые звуки заставили его насторожиться.

Рыцарь тотчас остановился и после недолгого ожиданья услышал приближающийся топот и фырканье лошадей.

«Казацкий дозор!» — подумал он.

Тут слуха его достигли людские голоса, и он стремглав кинулся вбок, а нащупав ногой первую же неровность почвы, упал на землю и замер, вытянувшись во весь рост, сжимая в одной руке пистолет, а в другой меч.

Между тем всадники подъехали еще ближе и наконец совершенно с ним поравнялись. Было так темно, что он не мог их пересчитать, зато слышал каждое слово из разговора.

— Им тяжело, но и нам не легче, — говорил какой-то сонный голос. — А сколько добрых молодцев грызет землю!

— Господи! — отозвался другой голос. — Говорят, король недалеко... Что с нами будет?

— Хан разгневался на нашего батька, а татары грозятся нас повязать, коли больше некого будет.

— И на выгонах с нашими сцепляются то и дело. Батько приказал в ихние коши ходить — кто пойдет, обратно не ворочается.

— Говорят, среди торговцев, что за войском идут, переодетые ляхи есть. Чтоб уж ей конец пришел, войне этой!

— Пока только хуже стало.

— Король с ляшской ратью близко — вот он самый страх-то!

— Эх, то ли дело на Сечи — спал бы сейчас и забот не ведал, а тут шастай по ночам, как сіромаха.

— А здесь и впрямь, верно, сіромахи водятся: эвон как храпят кони.

Голоса помалу отдалялись и наконец совсем не стали слышны. Пан Лонгинус поднялся и пошел дальше.

Зарядил дождичек, мелкий, как осенняя морось. Сделалось еще темнее.

Слева от пана Лонгина, верстах в двух, сверкнул слабенький огонек, потом второй, третий, десятый. Теперь уже ясно было, что он на краю табора.

Огоньки были неярки и редки — видно, в лагере все уже спали, может, кое-где только пили либо стряпали еду на завтра.

— Благодарение господу, что я после штурма и вылазки вышел, — сказал себе пан Лонгинус. — Устали они, должно быть, смертельно.

Едва он так подумал, вдалеке снова послышался конский топот — второй дозор ехал навстречу.

Земля в том месте оказалась более горбиста, потому и спрятаться было легче. Караульщики проехали так близко, что чуть не зацепили пана Лонгина. К счастью, лошади, привыкшие к лежащим вокруг телам, не испугались. Лонгинус пошел дальше.

На протяжении какой-нибудь тысячи шагов он еще дважды наткнулся на патрулей. Видимо, табор по всей окружности охранялся пуще глаза. Пан Лонгинус только радовался в душе, что не встречает пеших дозоров, которые обыкновенно выставлялись на подступах к лагерю, чтобы оповещать конную стражу.

Но радость его была недолгой. Не прошел он и версты, как впереди, не далее чем в десяти шагах, замаячила черная фигура. Сколь ни бесстрашен был пан Лонгинус, однако почувствовал словно бы легкую дрожь в крестце. Отступать или сворачивать было уже поздно. Фигура пошевелилась, должно быть, его приметив.

Минута растерянности была краткой, как вздох. Из тьмы раздался приглушенный голос:

— Это ты, Василь?

— Я, — тихо ответил Лонгинус.

— Горелка есть?

— Есть.

Пан Лонгинус подошел ближе.

— Чегой-то ты такой длинный? — испуганно спросил тот же голос.

Что-то взбурлило во мраке. Короткий, мгновенно захлебнувшийся вскрик: «Госп!..» — вырвался из уст часового, и вот уже будто треск переламываемых костей раздался, тихое хрипенье, и казацкий стражник тяжело повалился на землю.

Пан Лонгинус продолжал свой путь.

Но теперь он оставил прежнее направление, так как оно, видно, совпадало с линией караульных постов, а взял ближе к табору, рассчитывая пройти между рядом телег и караульщиками — у них за спиною. Если второй цепочки постов не выставлено, рассудил пан Лонгинус, в этом пространстве ему могут встретиться лишь казаки, идущие из лагеря часовым на смену. Конным дозорным там нечего делать.

Минуту спустя стало ясно, что второго ряда сторожевых постов нету. Зато табор был не далее чем на расстоянии двух выстрелов из лука, — и, странное дело, казалось, все приближался, хотя пан Лонгинус старался идти вдоль вереницы возов.

Оказалось также, что не все в таборе спали. Подле тлеющих кое-где костров виднелись сидящие фигуры. В одном месте костер был побольше — и даже настолько ярок, что отблеск его чуть не упал на пана Лонгина, отчего рыцарю снова пришлось отступить к постам, чтобы не попасть в полосу света. Издали можно было разглядеть висящих близ огня на крестообразных столбах волов, с которых скотобой сдирали шкуры. Изрядно людей, собравшись в кучками, наблюдало за их работой. Некоторые тихонько подыгрывали скотобоям на сопелках. Это была часть лагеря, занятая чабанами. Следующие ряды телег терялись во мраке.

Освещенный скупыми огнями край табора вновь как бы подвинулся к пану Лонгину. Поначалу эта стена была только по правую от него руку, но вдруг он увидел ее и перед собою.

Тогда наш рыцарь остановился и задумался, что делать дальше. Он был окружен. Обозы, татарский кош и таборы черного люда точно кольцом обхватывали весь Збараж. Внутри этого кольца расставлены были посты и кружили дозорные, чтобы никто не мог проскользнуть незаметно.

Положение пана Лонгинуса было ужасно. Теперь ему оставалось либо пробираться среди телег, либо искать лазейки меж казацким станом и кошем. Иначе можно было до рассвета бродить по кругу — разве что он бы надумал вернуться в Збараж, но и в этом даже случае ничего не стоило попасть в руки стражи. Однако пан Лонгин понимал, что из-за неровностей почвы возы не могут стоять друг к другу вплотную. В их рядах должны оставаться промежутки, и немалые, чтобы можно было не

только пройти наружу, но и конница свободно проезжала. Пан Лонгинус решил отыскать такой проход и с этой целью еще ближе подошел к телегам. Отблески горящих там и сям костров могли оказаться предательскими, но, с другой стороны, были ему полезны: иначе он бы не разглядел ни телег, ни дороги между ними.

И в самом деле, затратив на поиски не больше четверти часа, он нашел дорогу и легко ее распознал, потому что она черной лентою вилась между возами. Костров на ней не было, да и казаки не должны были быть — чтобы не загоразживать коннице путь. Пан Лонгинус лег на живот и пополз в черную расщелину, как змея в нору.

Прошло еще пятнадцать минут, еще полчаса, а он все полз, шепча молитву, вверяя защите небесных сил свое тело и душу. Ему подумалось, что, быть может, судьба всего Збаража зависит сейчас от того, проберется ли он сквозь это ущелье, и потому просил всевышнего не только за себя, но и за тех, кто в ту минуту молились за него в окопах.

По обеим сторонам было все спокойно. Человек не пошевельнулся, конь не всхрапнул, пес не залаял — и пан Лонгинус вышел из табора. Теперь перед ним чернелся густой кустарник, за которым начиналась дубрава, а за дубравой бор, идущий до самого Топорова, а за бором король, избавление и слава за заслуги перед людьми и богом. Что были срубленные три головы в сравнении с этим деянием, для которого требовалось нечто большее, нежели твердая рука!

Пан Лонгинус сам чувствовал, сколь велико отличие, но не исполнилось гордыни чистое его сердце, нет: точно сердце ребенка, исторгло оно слезы благодарности.

И поднялся он, и зашагал дальше. Дозоров позади телег уже не стояло, а если и стояли, то в малом числе, и избежать их было нетрудно. Между тем дождь разошелся и шелестел в зарослях, заглушая шаги рыцаря. Вот когда пригодились длинные ноги пана Лонгинуса: где другой сделал бы пять шагов, ему одного хватало; только и трещали кусты под стопой исполина. Вереница возов все удалялась, дубрава приближалась, а с ней приближалось спасенье.

Вот наконец и дубы! Ночь под ними черна, как в преисподней. Но оно и лучше. Поднялся легкий ветерок, и дубы негромко шумят — можно сказать, бормочут молитву: «Великий боже, милосердный боже, охрани этого рыцаря, ибо се слуга твой и верный сын земли, на которой мы выросли тебе во славу!»

Вот уже от польских окопов добрых полторы мили отделяют пана Лонгина. Пот заливает ему чело, потому что в воздухе сделалось парно, похоже, будет гроза, но он идет вперед, не страшась грозы, так как в сердце его ангельские поют хоры. Дубрава редет. Верно, сейчас покажется поляна. Дубы зашеме-

стели сильнее, словно желая сказать: «Погоди, среди нас тебе безопасней», — но рыцарь не может медлить и вступает на открытую лужайку. Один лишь стоит посреди нее дуб, но всех других больше и выше. К нему и направляется пан Лонгинус.

Вдруг, когда до дуба остается какая-нибудь дюжина шагов, из-под развесистых ветвей исполина выскакивают два десятка черных фигур и кидаются к рыцарю, точно волки.

— Кто ты? Кто ты?

Язык их непонятен, на головах островерхие шапки — это татары, конепасы, которые схоронились здесь от дождя.

В эту секунду красная молния озарила поляну, дуб, узкоглазые зверские лица и шляхтича-великана. Дикая вопль всколыхнул воздух, и мгновенно закипела схватка.

Словно волки на оленя, бросились татары на пана Лонгина, вцепились в него жилистыми руками, но он только плечами повел, и нападающие все посыпались наземь, как с дерева спелые груши. Тот же час заскрежетал в ножнах страшный Сорвиглавец — и вот уже стон полетел к небу, вой, зов на помощь, свист меча, умирающих хрипы, ржание испуганных лошадей, треск ломающихся татарских сабель. Тихая поляна огласилась неприятнейшими звуками, какие только может исторгнуть человеческая глотка.

Татары еще дважды наваливались на рыцаря всем скопом, но он успел прислониться спиной к дубу, а спереди прикрылся бешеным круговращеньем меча — и страшны были его удары. Трупы зачернелись у его ног — оставшиеся в живых, охваченные паническим ужасом, отступили.

— Д и в! Д и в! — раздались дикие вопли.

И не остались без ответа. Получаса не прошло, как пешие и конные сплошь запрудили поляну. Казаки бежали и татары, с косами, кольями, луками, с пучками горящих лучин. Из уст в уста вперевой полетели торопливые вопросы:

— Что такое, что приключилось?

— Д и в! — отвечали конепасы.

— Д и в! — повторяли в толпе. — Ля х! Д и в! Бей его! Живого бери! Живого!

Пан Лонгинус двоекратно выстрелил из пистолетов, но выстрелы эти уже не могли быть услышаны друзьями в польском стане.

Меж тем толпа надвигалась полукружьем, он же стоял в тени — исполнил, прижавшийся к дереву, — и ждал, сжимая в руке меч.

Толпа подступала все ближе. Наконец прогремели слова команды:

— Взять его!

Все до единого бросились к дубу. Крики умолкли. Те, что не могли протолкнуться вперед, светили остальным. Людской

водоворот забурился под деревом. Только стоны вылетали из этой заверти, и долгое время ничего нельзя было разглядеть. Но вот вошь ужаса вырвался из груди нападающих. Толпа рассеялась в одну минуту.

Под деревом остался лишь пан Лонгинус, а под ногами у него — груда тел, еще содрогающихся в предсмертной агонии.

— Веревки, веревки! — раздался чей-то голос.

Верховые стремглав поскакали за веревками и мгновенно воротились. Тотчас человек по пятнадцать здоровенных мужиков ухватили с обоих концов длинный канат с намереньем прикрутить пана Лонгина к дубу.

Но пан Лонгин несколько раз взмахнул мечом — и мужики попадали на землю. С тем же успехом маневр повторили тары.

Поняв, что всем скопом нападать — только мешать друг другу, и желая во что бы то ни стало схватить великана живым, попытали удачу еще десятка полтора смельчаков-ногайцев, но пан Лонгинус раскидал их, как вебрь остервенелую собачью свору. Дуб, сросшийся из двух могучих стволов, имел в середине как бы впадину, дававшую рыцарю зашиту, — всякий же, кто приближался спереди на длину меча, умирал, не издав даже вскрика. Нечеловеческая сила Подбиятки, казалось, только возрастала с каждой минутой.

Завидя такое, разъяренные ордынцы оттеснили казаков, и со всех сторон понеслись дикие крики:

— У-к! У-к!..

И тут, при виде луков и доставаемых из колчанов стрел, понял пан Подбиятка, что близится его смертный час, и начал молиться пресвятой деве.

Сделалось тихо. Толпа притаила дыханье, ожидая, что будет дальше.

Первая стрела свистнула, когда пан Лонгинус проговорил: «Матерь искупителя!» — и оцарапала ему висок.

Вторая стрела свистнула, когда пан Лонгинус вымолвил: «Преславная дева!» — и застряла у него в плече.

Слова литании смешались со свистом стрел.

И когда пан Лонгинус сказал: «Утренняя звезда!», стрелы уже торчали у него в плечах, в боку, в ногах... Кровь из раны на виске заливала глаза, и уже словно сквозь мглу видел он тар, поляну, и свиста стрел уже не слышал. Чувствовал лишь, что слабеет, что ноги подламываются, голова упадет на грудь... и наконец рухнул на колена.

Еще он успел сказать со стоном: «Царица ангелов!» — и то были последние его слова на земле.

Ангелы небесные подхватили его душу и положили, словно светлую жемчужину, к ногам «царицы ангелов».

На следующее утро Володыёвский с Заглобой стояли на валу среди воинства, не спуская глаз с табора, откуда валила толпа черни. Скшетуский был на совете у князя, наши же рыцари, воспользовавшись передышкой, поминали вчерашний день и гадали, отчего оживился неприятельский стан.

— Не к добру это,— сказал Заглоба, показывая на близящуюся огромную черную тучу. — Верно, снова на приступ пойдут, а тут уже руки отказываются служить.

— Какой еще в эту пору, среди бела дня, приступ! — возразил маленький рыцарь. — Разве что вчерашний наш вал займут и под новый начнут подкопы да палить с утра до вечера станут.

— Хорошо бы пугнуть их из пушек.

На что Володыёвский ответил, понизив голос:

— С порохом плохо. При таком расходе, боюсь, и на шесть дней не хватит. Но к тому времени король подоспеть должен.

— Эх, будь что будет. Только бы пан Лонгинус, бедолага наш, благополучно пробрался! Я ночью глаз не сомкнул, все о нем думал; только вздремну, тотчас его в презатруднительных обстоятельствах вижу — и такая меня брала жалость, прямо в пот бросало. Нет лучше его человека! Во всей Речи Посполитой днем с огнем не сыскать — хоть ищи тридцать лет и три года.

— А чего же ты вечно над ним насмешки строишь?

— Потому что язык у меня сердца злее. Уж лучше не вспоминай, пан Михал, не береги душу, я и так себя грызу; не дай бог с ним какая беда случится — до смерти не узнаю покоя.

— Иалишне ты, сударь, себя терзаешь. Он на тебя никогда зла не держал, сам слышал, как говорил: «Язык скверный, а сердце — золотое!»

— Дай ему бог здоровья, благородному нашему другу! Полюдски он, правда, слова сказать не умел, зато этот изъян, как и прочие, с лихвой высочайшими добродетелями возмещались. Как думаешь, прошел он, а, пан Михал?

— Ночь была темная, а мужики после вчерашнего погрома *fatigati* страшно. Мы надежной не выставили стражи, а уж они небось и подавно!

— И слава богу! Я еще пану Лонгину наказал про княжну, бедняжечку нашу, порасспросить хорошенько, не случилось ли ее кому видеть: мне думается, Редзян должен был к королевским войскам пробиваться. Пан Лонгинус об отдыхе, конечно дело, и не помыслит, а с королем сюда придет. В таком случае можно о ней ожидать скорых известий.

— Я на изворотливость этого малого премного надеюсь: так ли, сяк ли, он ее спас, полагаю. Век буду неутешен, ежели ее какая беда постигнет. Недолго я знал княжну, но нимало не сомневаюсь, что, будь у меня сестра родная, и та б не была дороже.

— Тебе сестра, а мне-то она как дочка. От тревог этих у меня, того и гляди, борода совсем побелеет, а сердце от жалости разорвется. Не успеешь полюбить человека, раз, два — и уже его нету, а ты сиди, лей слезы, кручинься, поедом себя ешь да думай горькую думу, а вдобавок еще в брюхе пусто, в шапке дыра на дыре, и вода, как сквозь худую стреху, на лысину каплет. Собакам нынче в Речи Посполитой лучше живется, чем шляхте, а уж нам четверым всех хуже. Может, пора в лучший мир отправляться, как по-твоему, а, пан Михал?

— Я не раз думал рассказать обо всем Скшетускому, да одно меня удерживало: он сам никогда словечком ее не вспомнит, а если, часом, кто обмолвится в разговоре, вздрогнет только, будто его ножом укололи в сердце.

— Давай, выкладывай, колупай раны, подсохшие в огне сражений, а ее, может, татарин какой уже через Перекоп за косу тащит. У меня в глазах языки пламенные плясать начинают, едва я такое себе представляю. Нет, пора помирать, не иначе,— мучение сущее жить на свете. Хоть бы пан Лонгинус благополучно пробрался!

— К нему за его добродетели небеса более, чем кому иному, должны благоволить. Однако взгляни, сударь любезный, что там сброд вытворяет!..

— Ничего не вижу — солнце в глаза светит.

— Вал наш вчерашний раскапывают.

— Говорил я, надо ждать штурма. Пошли, пан Михал, сколько можно так стоять!

— Все не обязательно они штурм готовят, им и для отступления свободный путь нужен. А верней всего, башни, в которых стрелки сидят, туда затащат. Ты только посмотри, сударь: заступы так и мелькают; шагов на сорок уже заровняли.

— Теперь вижу, но ужасно что-то нынче солнце глаза слепит.

Заглоба стал всматриваться из-под ладони. И увидел, как в проем, сделанный в насыпи, рекою хлынула чернь и мгновенно запрудила пустое пространство между валами. Одни тотчас принялись стрелять, другие — грызть лопатами землю, возводя новую насыпь и шанцы, которым назначалось очередным, третьим уже по счету кольцом обхватить польский лагерь.

— Ого! — вскричал Володыёвский. — Что я говорил?.. Вон уже и машины катят!

— Ну, не миновать штурма, это ясно. Пошли отсюда, — сказал Заглоба.

— Нет, это совсем другие белюарды! — воскликнул маленький рыцарь.

И вправду, осадные башни, которые показались в проеме, отличались от обычных гуляй-городков: стенами их служили скрепленные скобами, увешанные шкурами и одеждой решетки,

укрывшись за которыми самые меткие стрелки, сидевшие в верхней части башни, обстреливали неприятельские окопы.

— Пойдем, пусть они там сидят, пока не передохнут! — повторил Заглоба.

— погоди! — ответил Володыёвский.

И стал пересчитывать стрельни, одна за одной появляющиеся из проема.

— Раз, два, три... Видно, запас у них немалый... Четыре, пять, шесть... Эка, еще выше прежних... Семь, восемь... Да они нам всех собак на майдане перестреляют, стрелки там, должно быть, *exquisitissimi*...¹ Девять, десять... Каждую как на ладони видно — солнце прямо на них светит... Одиннадцать...

Вдруг пан Михал прервал подсчеты.

— Что это? — спросил он странным голосом.

— Где?

— Там, на самой высокой... Человек висит!

Заглоба напряг взор; действительно, на самой высокой башне, освещенное солнцем, висело на веревке натое тело, колыхаясь, словно гигантский маятник, в лад с движениями машины.

— Верно, — сказал Заглоба.

Вдруг Володыёвский побледнел как полотно и прерывающимся от ужаса голосом крикнул:

— Господь всемогущий!.. Это же Подбипятка!

Шорох пролетел над валами, словно ветер в листве деревьев. У Заглобы голова поникла на грудь; закрыв руками глаза, он тихо простонал, едва шевеля посинелыми устами:

— Иисусе, Мария! Иисусе, Мария!..

Шорох мгновенно сменился шумом многих голосов, нарастающим подобно гулу волны, набегающей с моря. Воины на валах узнали в человеке, висящем на позорном вервии, своего товарища по недолге, чистого, безупречного рыцаря — все узнали пана Лонгинуса Подбипятку, и от яркого гнева у солдат волосы на голове встали дыбом.

Заглоба оторвал наконец от глаз ладони; на него страшно было смотреть: на губах пена, глаза выкачены, лицо посинело.

— Крови! Крови! — рыкнул он голосом столь ужасным, что стоявших подле него прохватила дрожь.

И спрыгнул в ров. За ним бросились все — ни одной живой души не осталось на валах. Никакая сила, даже приказ самого князя, не могли бы сдержать этот взрыв. Изю рва карабкались, вспрыгивая друг другу на плечи, хватаясь руками и зубами за край, а выкарабкавшись, бежали, не разбирая дороги, не глядя, бегут ли остальные следом. Осадные башни задымили, как смолокурни, и сотряслись от грянувших выстрелов, но и это никого не остановило. Заглоба мчался первым с обнаженною саблей,

¹ отборные (лат.).

страшный, взъяренный, точно опалелый бугай. Казаки с цепами и косами бросились навстречу нападающим: казалось, две стены столкнулись с адским грохотом. Но могут ли сытые цепные псы устоять перед остервенелыми голодными волками? На казаков навалились всем скопом, их секли саблями, рвали зубами, давили и били — не выдержав лютого натиска, они смешались и устремились обратно к проему. Заглоба неистовствовал; как лвыца, у которой отобрали львят, он кидался в самую гущу, хрипел, рычал, крошил, рубил, убивал, топтал! Пустота делалась вокруг него, а бок о бок с ним — другой всепожирающий пламень — дрался подобно раненой рыси Володыёвский.

Стрелков, укрытых за стенами башен, вырезали всех до единого, остальных вытеснили за проем в валу и отогнали. Потом солдаты поднялись на белюарду и, сняв пана Лонгина с веревки, бережно спустили на землю.

Заглоба припал к его телу...

У Володыёвского сердце рвалось на части, слезы хлынули из глаз при виде мертвого друга. Нетрудно было определить, какой смертью умер пан Лонгинус: на всем теле его нестрели следы от укулов железных жал. Только лица не тронули стрелы — лишь одна оставила длинную царапину на виске. Несколько капель крови засохло на щеке, глаза были закрыты, и на бледном лице застыла спокойная улыбка — если б не голубоватая эта бледность да сковавший черты холод смерти, могло показаться, пан Лонгинус безмятежно спит. Наконец товарищи подняли его и понесли на своих плечах к окопам, а оттуда в часовню замка.

К вечеру сколотили гроб, хоронили на збаражском кладбище ночью. Собралось все духовенство Збаража, не было лишь ксендза Жабковского, который, получив во время последнего штурма в крестец пулю, боролся теперь со смертью. Пришел князь, передав командование старосте красноставскому, и региментарии, и коронный хорунжий, и хорунжий новогрудский, и пан Пишемский, и Скшетуский, и Володыёвский с Заглобой, и товарищество из хоругви, в которой служил покойный. Гроб поставили над свежерытою могилой — и началось прощанье.

Ночь была тихой и звездной; факелы горели ровно, бросая отблеск на свежеструганные желтые доски гроба, на фигуру ксендза и суровые лица стоящих вокруг рыцарей.

Дымки из каминов спокойно подымались кверху, разнося запах можжевельника и мирры: тишину нарушали лишь сдерживаемые рыданья Заглобы, глубокие вздохи, сотрясающие могучие груди рыцарей, и далекий гром перестрелки.

Но вот ксендз Муховецкий поднял руку, давая знак, что хочет говорить, и рыцари затаили дыханье, он же, помолчав еще с минуту, устремил взор к звездным высотам и так начал свою речь:

— «Что за стук в небесные врата слышу я среди ночи? — вопрошает седовласый ключник Христов, от сладкого сна пробуждаясь.

— Отвори, святой Петр! Это я, Подбипятка.

— А какие деяния, любезный пан Подбипятка, какие заслуги, какое высокое звание дает тебе смелость почтенного привратника тревожить? По какому праву хочешь ты войти в обитель, куда ни рождение, даже столь знатное, как твое, ни сенаторское достоинство, ни коронные должности, ни высокий сан королевский сами по себе еще не открывают доступа? Куда не по широкому тракту в карете, запряженной шестерней, с выездными гайдуками въезжают, а крутым тернистым путем добродетели взбираться должно?

— Ах! Отвори, святой Петр, отвори поскорее — именно такой крутою стезжкой шел соратник наш и верный товарищ пан Подбипятка, покуда не пришел к тебе, истомлен, словно голубь после долгого перелета; нагой пришел, аки Лазарь, аки святой Себастьян, пронзенный стрелами неверных, пришел, как бедный Иов, как не познавшая мужа дева, чистый, как смиренный агнец, тихий и терпеливый, не запятанный никакими грехами, с радостию кровь проливший во благо своей земной отчизны.

Впусти его, святой Петр; ежели не пред ним — пред кем еще открывать врата в нынешние времена всеобщей безнравственности и безбожья?

Впусти же его, святой ключник! Впусти сего агнца; пусть пасется на небесных лугах, пусть щиплет траву, ибо голоден из Збаража пришел он...»

Так начал слово свое ксендз Муховецкий, а затем столь выразительно живописал житие пана Лонгина, что всяк осознал свою ничтожность подле этого тихого гроба, упокоившего останки рыцаря, чистого, как слеза, скромнейшего из скромных, добродетельнейшего из добродетельных. И каждый бил себя в грудь, и все глубже в печаль погружался, и все яснее понимал, какой страшный отечеству нанесен удар, сколь невосполнима потеря в рядах защитников Збаража. А ксендз все более воспарял духом и, когда наконец дошел в своем рассказе до ухода и мученической кончины пана Лонгина, совсем позабыл о правилах риторики и неперменных цитатах, когда же стал прощаться с усопшим от имени духовенства, полководцев и войска, сам расплакался, как Заглоба, и далее продолжал, рыдая:

— Прощай, брат, прощай, наш товарищ! Не земному владыке, а небесному, высочайшему нашему заступнику, препоручил ты стенаща наши, голод, тяготы и невзгоды — у него ты скорее испросишь для нас спасенье, но сам никогда уже не вернешься на землю, посему мы скорбим, посему обливаем твой гроб слезами — ты был нами любим, милый брат наш!

Вместе с почтенным ксендзом плакали все: и князь, и региментарии, и воинство, а безутешней всех друзья покойного. Ко-

гда же ксендз запел: «Requiem aeternam dona ei, Domine!»¹ — никто уже не мог сдержать рыдания, хотя у гроба собрались люди, свыкшиеся со смертью за время долгого и повседневного с ней общенья.

Уже и веревки просунули под гроб, но Заглобу никак нельзя было от него оторвать, точно хоронили его отца или брата. Наконец Скшетуский с Володыёвским его оттащили. Князь, приблизясь, взял горсть земли; ксендз начал читать «Anima eius»¹, зашуршали веревки, и посыпалась на крышку гроба земля — из рук, из шлемов; вскоре над бранными останками папа Лонгинуса Подбиятки вырос высокий могильный холм, и луна озарила его бледным печальным светом.

* * *

Трое друзей возвращались из города на майдан, откуда беспрерывно доносились отголоски перестрелки. Шли в молчании — ни одному не хотелось первое проронить слово; другие же рыцари, напротив, толковали меж собой о покойном, согласно воздавая ему хвалу.

— По чести устроили похороны, — заметил какой-то офицер, поравнявшийся со Скшетуским, — у самого пана писаря Сераковского не лучше были.

— Он это заслужил, — ответил другой. — Кто б еще взялся к королю пробиться?

— А я слышал, — добавил третий, — что среди офицеров Вишневецкого еще несколько охотников было, да страшный этот пример, верно, теперь у всех отбил охоту.

— Невозможное это дело! Там и змея не проползет.

— Поистине! Сущее было б безумье!

Офицеры прошли вперед. Снова настало молчание. Вдруг Володыёвский сказал:

— Слышал, Ян?

— Слышал. Сегодня мой черед, — ответил Скшетуский.

— Ян! — серьезно сказал Володыёвский. — Мы с тобою давно знакомы, и ты знаешь, я последний откажусь от рискованного дела, но риск — это риск, а тут — чистейшее самоубийство.

— И это ты говоришь, Михал?

— Я, потому что друг тебе.

— И я тебе друг: дай же слово рыцаря, что не пойдешь третьим, если я погибну.

— О! Даже и не проси! — воскликнул Володыёвский.

— А, видишь! Как же ты можешь требовать от меня того, чего бы сам не сделал? Доверимся воле божьей!

— Тогда позволь идти вместе с тобою.

¹ «Вечный покой даруй ему, господи!» (лат.)

² «Душа его» (лат.). — Последние слова, произносимые над гробом,

— Князь воспретил, не я. А ты солдат и должен быть послушен приказу.

Пан Михал умолк, так как в самом деле прежде всего был солдат, только усиками быстро зашевелил в лунном свете и наконец молвил:

— Ночь уж очень светла — не ходи нынче.

— И я б предпочел, чтобы была потемнее, — ответил Скшетуский, — но промедление невозможно. Погода, как видишь, установилась прочно, а у нас порох кончается, провизия на исходе. Солдаты уже майдан изрыли копьями — корешки ищут; у иных десны гниют от пакости, которую они едят. Сегодня же пойду, немедля, я уже и с князем простился.

— Вижу, ты просто погибели ищешь.

Скшетуский усмехнулся печально.

— Побойся бога, Михал. Не так уж мне моя жизнь и в радость, это верно, но по доброй воле я смерти искать не стану — это грех; да и речь идет не о том, чтоб погибнуть, а чтобы из лагеря выйти и до короля дойти и спасти осажденных.

Володыёвскому вдруг нестерпимо захотелось рассказать Скшетускому о Елене, он даже рот было раскрыл, но подумал: «Еще от такой новости повредится в уме — тем легче его по дороге схватят», — и прикусил язык, спросив вместо этого:

— Как идти собираешься?

— Я князю сказал, что пойду через пруд, а потом по реке, пока табор далеко позади не оставлю. Князь согласился, что этот путь всех других вернее.

— Ничего, вижу, не поделаешь, — вздохнул Володыёвский. — Один раз умереть дано, и уж лучше на поле брани, нежели в своей постели. Помогай тебе бог! Помогай тебе бог, Ян! Если не придется встретиться на этом свете, свидимся на том, а я тебя вовек не забуду.

— Как и я тебя. Воздай тебе господь за все доброе! Слушай, Михал: если я погибну, они, возможно, меня не выставят на обозрение, как пана Лонгина, — слишком дорого им это обошлось, — но какой-нибудь способ похвалиться, верно, изыщут: в таком случае пусть старый Зацвилеховский поедет к Хмельницкому за моим телом — не хочется, чтоб меня по ихнему табору псы таскали.

— Будь спокоен, — ответил Володыёвский.

Заглоба, который вначале не вникал в суть разговора, понял в конце концов, о чем идет речь, но не нашел уже в себе сил ни удерживать, ни отговаривать друга, только глухо простонал:

— Вчера тот, сегодня этот... Боже! Боже!..

— Доверься провидению, — сказал Володыёвский.

— Пан Ян!.. — начал было Заглоба.

И не смог больше ничего сказать, лишь опустил седую свою, поникшую голову другу на грудь и притупился к нему, как беспомощный младенец.

Час спустя Скшетуский погрузился в воды западного пруда.

Ночь была очень ясная, и середина пруда сверкала, как серебряный щит, однако Скшетуский мгновенно скрылся из виду, потому что у берега пруд густо зарос камышами, тростником и осокой; далее, где тростник редел, в изобилии росли кувшинки, рдест и кубышки. Это сплетение широких и узких листьев, ослизлых стеблей, криковатых отростков, в которых запутывались ноги, а иногда и туловище, необыкновенно мешало движению, но, по крайней мере, рыцарь укрыт был от глаз стражи. Переплыть через освещенную середину нечего было и думать: всякий темный предмет с легкостью мог быть замечен. Поэтому Скшетуский решил обойти пруд вдоль берега и добраться до болотца на другой стороне, по которому протекала впадающая в пруд речка. По всей видимости, там стояли казацкие либо татарские караулы, но зато рос целый лес тростника, лишь по краям срезанного на палаши чернью. Достигнув болотца, можно будет дальше идти в зарослях тростника даже по дну, если только оно не окажется чересчур топким. Но и этот путь был весьма опасен. Под дремлющей водой, у берега едва доходившей до щиколоток, скрывалась трясина глубиною в локоть, а то и поболее. При каждом шаге Скшетуского вслед ему со дна всплывало множество пузырьков, и бульканье их претотлично можно было в тиши расслышать. Вдобавок, несмотря на всю медленность его движений, от него кругами расходились волны и, достигнув свободного от камышей пространства, переломляли на себе свет луны. Пойди сейчас дождь, Скшетуский просто-напросто переплыл бы пруд и спустя какие-нибудь полчаса уже бы шагал по болотцу, но на небе не виднелось ни облачка. Целые потоки зеленоватого света низвергались на водную гладь, превращая листья кувшинок в серебряные блюдца, а метелки тростника — в серебряные султаны. Ветра не было; по счастью, бульканье пузырей заглушалось громом выстрелов. Заметив это, Скшетуский подвигался вперед, лишь когда учащались залпы в окопах и шанцах. Но тихая и погожая эта ночь создавала еще одно затрудненье. Тучи комаров, подымаясь из зарослей очерета, клубились у рыцаря над головою, садились на лицо, на глаза, больно кусаясь, звеня и распевая над ухом жалобные свои псалмы. Скшетуский, выбирая этот путь, не обольщался его простотою, но все трудности не мог предвидеть. И уж меньше всего предполагал он, какие его станут одолевать страхи. Всякий водоем, будь он даже вдоль и поперек известен, ночью представляется таинственным и страшным, отчего невольно начинаешь думать: а что он на дне скрывает? Збаражский же пруд был просто ужасен. Вода казалась в нем гуще обыкновенной и издавала трупное зловонье: в ней гнили сотни татар и казаков. Обе стороны, правда, старались вытаскивать трупы, но сколько их еще оставалось среди тростника, густого стрелолиста и рдеста? От воды тянуло холодом, но по лбу Скшетуского градом катил пот. Что, если какие-нибудь скользкие руки обхватят его внезапно

или зеленоватые очи глянут вдруг из-под ряски? Длинные стебли кувшинок опутывали его колени, а у него волосы вставали дыбом: уж не утопленник ли это стиснул его в своих объятиях, дабы никогда не выпустить? «Иисусе, Мария! Иисусе, Мария!» — только и шептал на каждом шагу рыцарь. Временами он обращал глаза ввысь и при виде луны, звезд и царящего в небесах покоя испытывал облегчение. «Есть бог!» — повторял он вполголоса, чтобы самому себя услышать. Порой он кидал взгляд на берег, и тогда ему казалось, что на родимую божью землю он смотрит из какого-то проклятого потустороннего мира — мира болот, черных глубей, бледных отсветов, духов, мертвецов и непроглядной ночи, — и такая его охватывала тоска, что хотелось немедля вырваться из камышовой западни на волю.

Но он продолжал идти зарослями и настолько уже отделился от лагеря, что в полусотне шагов от берега на божьей этой земле увидел верхового татарина; остановившись, чтобы получше его разглядеть, Скшетуский — судя по тому, что всадник раскачивался мерно, клонясь к лошадиной гриве, — решил, что татарин дремлет.

Странная то была картина. Татарин покачивался безостановочно, словно молча кланялся Скшетускому, а тот не мог от него оторвать глаз. Что-то пугающее во всем этом было, но Скшетуский вздохнул облегченно: от реальной опасности в прах рассеялись стократ более гнетущие страхи — вымышленные воображеньем. Мир духов исчез куда-то, и к рыцарю сей же час вернулась хладнокровность; в голове замелькала совсем иные вопросы: спит или не спит, обождать или идти дальше?

В конце концов он пошел дальше, движения его стали еще бесшумней, еще осторожнее, чем вначале. Он был уже на полпути к болотцу и речке, когда почувствовал первый порыв легкого ветра. Тростник внезапно заколыхался, стебли его, цепляясь друг за дружку, сильно зашелестели, а Скшетуский обрадовался, так как, несмотря на всю осторожность, несмотря на то, что порой он по несколько минут затрачивал на каждый шаг, невольная неловкость, неверное движение, всплеск легко могли его выдать. Теперь он шагал смелее под громкие пересуды очерета, наполнившие весь пруд шумом, — и все вокруг него заговорило, даже вода забормотала, ударяя волной о берег.

Но движение это, как видно, не только прибрежные заросли разбудило: перед Скшетуским немедленно возник какой-то черноватый предмет и неуклонно стал на него надвигаться, подрагивая, точно к броску готовясь. В первую секунду рыцарь едва не вскрикнул, но омерзение и страх лишили его голоса и одновременно от ужасного смрада перехватило горло.

Однако минуто спустя, когда первая мысль, что это утопленник, злонамеренно заступивший ему дорогу, покинула его, оставив лишь отвращение, Скшетуский двинулся дальше. Тростник не умолкал, шушуканье даже становилось громче. Сквозь

колышущиеся метелки рыцарь увидел второй татарский сторожевой пост, потом третий. Он их миновал, миновал и четвертый. «Должно быть, я уже полпруда обошел»,— подумал Скшетуский и высунул голову из очерета, пытаясь понять, в каком находится месте. Вдруг что-то его толкнуло — обернувшись, он увидел у самых своих колен лицо человека.

«Это уже второй»,— отметил про себя рыцарь.

Но на сей раз не испугался, так как плывущее на спине второе тело в оцепенении своем не обнаруживало никаких признаков жизни. Скшетуский только ускорил шаг, чтобы избежать головокруженья. Заросли становились все гуще: с одной стороны, теперь он был надежно укрыт, но, с другой, это чрезвычайно затрудняло движение. Прошло еще полчаса, час, рыцарь шел, не замедляя шага, хотя усталость все больше его одолевала. В некоторых местах было настолько мелко, что вода и колен не доставала, зато кое-где он погружался почти по пояс. А еще мучительно трудно было вытягивать ноги из ила. Пот катился по лбу, хотя время от времени дрожь с ног до головы пробегала по его телу.

«Что это? — в страхе думал Скшетуский. — Неужто delirium? Болотца все нет и нет, вдруг я его не разгляжу в камышах и пройду мимо?»

Это грозило страшной опасностью: так можно было целую ночь кружить по берегу пруда и наутро оказаться там же, откуда вышел, либо где-нибудь в ином месте попасться казакам в руки.

«Неверный я выбрал путь,— думал Скшетуский, и в душу его начал закрадываться страх. — Через пруды не пройти, надобно возвращаться; отдохну до завтра и пойду той же дорогою, что Лонгинус».

Но упрямо шел дальше, так как понимал, что, надеясь возвратиться и отдохнуть перед продолжением пути, обманывает сам себя; к тому же ему приходило в голову, что, подвигаясь столь медленно, с остановками на каждом шагу, он не мог еще достигнуть болотца. Однако желание отдохнуть преследовало его все неотступней. Временами ему хотелось улечься для передышки хогь в самую грязь. Но он шел, противясь собственным мыслям и неустанно читая молитвы. Дрожь все сильнее его пробирала, все трудней было вытаскивать из тины ноги. Каждое появление татарских дозоров отрезвляло сознание, но он чувствовал, что и дух утомлен не меньше тела, а ко всему начинается лихорадка.

Прошло еще полчаса — болотце так и не показалось.

Зато тела утопленников попадались все чаще. Ночь, страх, трупы, шум тростника, бессонница и усталость сделали свое дело: у Скшетуского стали путаться мысли. Перед глазами зароились виденья. Вот Елена в Кудаке, а они с Редзяном плывут вниз по Днепру на дубасах. Камыши шуршат, а ему слышится песни:

«Гей, то не пили пилили... не тумани вставали». Ксендз Муховецкий их пред алтарем ожидает, пан Кшиштоф Гродзицкий приглашен быть посаженным отцом. Княжна дендешской смотрит со стен на реку — того и гляди, всплеснет руками, закричит: «Едет! Едет!»

— Ваша милость! — говорит Редзян и за рукав его тянет. — Барышня вон стоит...

Скшетуский приходит в себя. Это перепутавшиеся камышины загородили ему дорогу. Наваждение рассеивается. Возвращается сознание. Теперь он уже не чувствует такой усталости — горячка придает ему силы.

Эй, а не болотце ли это уже?

Но нет, вокруг все тот же тростник, словно он и не сдвинулся с места. Возле устья реки вода должна быть чистой — значит, это еще не болотце.

Рыцарь идет дальше, но перед мысленным его взором с неотвязным упорством встает милая сердцу картина. Напрасно противится Скшетуский, тщетно начинает шептать молитву, тщетно пытается сохранить ясность ума — опять перед ним Днепр, дубасы, чайки... Кудак, Сечь... только на сей раз видение более беспорядочно, множество лиц в нем смешалось: подле Елены и князь, и Хмельницкий, и кошевой атаман, и пан Лонгинус, и Заглоба, и Богун, и Володыёвский — все принаряженные по случаю их венчанья, но где же само-то венчанье будет? Не поймешь, что за место: то ли Лубны, то ли Разлоги, а может, Сечь или Кудак... Вода кругом отчего-то, волна бездыханные тела качает...

Скшетуский во второй раз пробуждается, вернее, его будит громкий шорох, доносящийся с той стороны, куда он идет, — и вот он уже прислушивается, замерев на месте.

Шорох приближается, слышно поскрипывание, всплески — это челн.

Его уже можно разглядеть сквозь тростник. В нем двое казаков — один отталкивается веслом, у второго в руке длинный шест, издали отсвечивающий серебром, — он им водоросли раздвигает.

Скшетуский по шею погружается в воду, чтобы только голова над ситовником оставалась, и смотрит.

«Что это — обычный дозор или они уже идут по следу?» — думает он.

Но тотчас же по спокойным и ленивым движениям молодцев понимает, что это обыкновенная стража. Вряд ли этот челн единственный на пруду — если б казаки попали на его след, на воду спустили бы с дюжину лодок да кучу людей туда насажали.

Между тем челн проплыл мимо — шум тростника заглушил слова сидящих в нем людей; Скшетуский уловил лишь обрывок разговора:

— Чорт би їх побрав, і цеї смердячої води ка-
зали пильнувати!

І лодка скryлась за тростниками— казак на носу так же
мерно колотил по воде шестом, словно всех рыб на пруду вспо-
лошпит затеял.

Скшетуский побрел дальше.

Спусти недолгое время он снова увидел у самого берега та-
тарский сторожевой пост. Свет луны падал прямо на лицо вогаи-
ца, похожее на собачью морду. Но Скшетуский теперь уже не
столько дозорных боялся, сколько опасался потерять сознание.
И потому напруг всю волю, чтобы не утратить представления, где
он и куда идти должен. Однако боренье с собой лишь усугубило
усталость, и вскоре он обнаружил, что всякий предмет у него
в глазах двоится и трясется, что пруд порой кажется лагерным
майданом, а купы камышей — шатрами. В такие мгновенья ему
хотелось кликнуть Володыевского, позвать с собою, но рассудок
его не настолько еще был затуманен, и он сдерживал пагубное
желанье.

«Не кричи! Не кричи! — повторял он себе. — Это погибель».

Но бороться с собой становилось все труднее. Скшетуский
вышел из Збаража, извуренный голодом и мучительною бессон-
ницей, которая не одного уже воина свалила с ног. Ночное бде-
ние, холодная купель, зловонный запах воды, единоборство с вяз-
кой грязью, с цепляющимися за ноги корнями вконец истощили
его силы. К этому добавилось раздражение против одолевающих
его страхов и боль от комаров, которые так изжалили ему лицо,
что оно все было залито кровью. Скшетуский чувствовал: если
в скором времени не покажется болотце, он либо выйдет на бе-
рег — и пусть быстрее свершается то, чему суждено свершиться,
— либо рухнет прямо среди тростников и захлебнется.

Болотце и устье реки спасительной гаванью теперь казались,
хотя на самом деле там должны были начаться новые препятст-
вия и опасности.

Борясь с лихорадкой, он шел, все меньше соблюдая остро-
рожность. К счастью, тростник шумел не переставая. В его шуме
Скшетускому слышались голоса людей, обрывки разговоров; ка-
залось, это о нем толкует пруд. Дойдет он до болотца или не дой-
дет? Выберется или останется тут навечно? Комары тоненько
распевали над ним жалобные свои песни. Пруд делался глубже —
вода уже до пояса, а местами до подмышек доходила. И подумал
рыцарь, что, если придется плыть, он запутается в этих густых
тенетах и утонет.

И вновь на него напала неодолимая, безудержная охота по-
звать Володыевского, он даже руки сложил и поднес ко рту,
чтобы крикнуть: «Михал! Михал!»

К счастью, какая-то милосердная камышина ударила его по
лицу мокрой прохладной кистью. Он опомнился — и увидел впе-
реди себя, несколько справа, слабенький огонечек.

Теперь он уже не сводил глаз с этого огонька и несколько времени упорно шагал прямо к нему.

И вдруг остановился, заметив прямо перед собой чистую полосу воды, и вздохнул облегченно. То была река, а слева и справа от нее — болотце.

«Хватит кружить по берегу, можно сворачивать», — подумал рыцарь.

С обеих сторон водяного клина тянулись ровные ряды тростника — Скшетуский пошел, держась ближайшего к нему ряда. Еще минута — и он понял, что на верном пути. Оглянулся: пруд был позади, а вперед уходила узкая светлая полоска, которая не могла быть не чем иным, кроме как рекою.

И вода здесь была холоднее.

Однако очень скоро им овладела страшная усталость. Ноги дрожали, перед глазами клубился черный туман. «Сейчас, только дойду до берега и лягу, — думал рыцарь. — Дальше не пойду, отдохну сначала».

И, упав на колени, нащупал руками сухую кочку, поросшую мохом, — островком лежала она среди очерета.

Севши на эту кочку, Скшетуский утер окровавленное лицо и вздохнул полной грудью.

Мгновение спустя ноздри ему защекотал запах дыма. Рыцарь обернулся: на берегу, в сотне шагов от воды, горел костер, вокруг которого кучкой сидели люди.

Сам он находился прямо против этого костра и в те минуты, когда ветер раздвигал камыши, мог видеть все как на ладони. С первого же взгляда Скшетуский распознал татарских конепасов, которые сидели подле огня и ели.

И тут в нем пробудился ужасный голод. Утром он съел кусочек конины, который не насытил бы и двухмесячного волчонка, и с тех пор во рту у него не было и маковой росинки.

Стал он срывать растущие обок круглые стебли кувшинок и жадно их высасывать. Так разом утолялись и голод, и жажда, потому что жажда тоже его терзала.

При этом он неотрывно смотрел на костер, который помалу бледнел и меркнул. Люди вокруг костра как бы заволоклись туманом и, казалось, все отдалялись.

«Ага! Сон меня одолевает! — подумал рыцарь. — Что ж, посплю прямо здесь, на кочке!»

Меж тем у костра поднялось движение. Конепасы встали. Вскоре слуха Скшетуского достигли крики: «Лош! Лош!» Им ответило короткое ржанье. Брошенный костер стал медленно гаснуть. Еще через короткое время рыцарь услышал свист и глухой топот копыт по росистому лугу.

Скшетуский не мог понять, почему уехали конепасы. Вдруг он заметил, что метелки тростников и широкие листья кувшинок как будто поблекли и вода сверкает иначе, нежели под лунным светом, а воздух затягивается легкой дымкой.

Он огляделся — светало.

Вся ночь ушла на то, чтобы обогнуть пруд и достичь реки и болотца.

Он был почти в самом начале пути. Теперь предстояло идти рекою и при свете дня пробираться через табор.

Лучи встающего солнца пронизывали воздух. На востоке небо стало бледно-зеленого цвета.

Скшетуский опять спустился с кочки в болотце и, добравшись вскоре до берега, высунул голову из очерета.

Шагах, быть может, в пятистах от него виднелся татарский дозор, луг же был совершенно пустынен, только неподалеку на сухом бугорке светился догорающим жаром костер; рыцарь решил ползти к нему под прикрытием высоких трав, кое-где пережевающих камышами.

Доползши, он кинулся искать, не найдется ли каких остатков съестного. И нашел: свежеобглоданные бараньи кости, на которых остались еще жир и жилы, да несколько печеных репок, забытых в теплой золе, — и ел с прожорливостью дикого зверя, пока не заметил, что дозоры, расставленные вдоль всего пути, который он проделал, возвращаясь той же дорогою в табор, приближаются к его кострищу.

Тогда он пополз назад и через несколько минут скрылся за стеной тростника. Отыскав свою кочку, бесшумно на нее опустился. Караульщики меж тем проехали мимо. Скшетуский немедленно принялся за кости, которые захватил с собою и которые затрещали теперь в его могучих челюстях, словно у волка в пасти. Он обгрыз жир и жилы, высосал мозг, разжевал что сумел — утолил немного голод. Такого роскошного завтрака в Збараже ему давненько есть не приходилось.

И сразу как бы обрел новые силы. Его подкрепили как пища, так и встающий день. Делалось все светлее, восточная сторона неба из зеленоватой превратилась в розово-золотую, утренний холодок, правда, был весьма докучлив, но рыцарь утешался мыслью, что вскоре солнце согреет его натруженные члены. Он внимательно огляделся. Кочка была довольно большая, округлая и коротковатая, правда, но зато достаточно широкая, чтоб на ней могли свободно улечься двое. Тростники обступали ее со всех сторон как бы стеною, совершенно скрывая от людских взоров.

«Здесь меня не найдут, — подумал Скшетуский, — разве что за рыбой кто сунется в камыши, а рыбы нет — от падали вся издохла. Тут и отдохну, и поразмыслию, что делать».

И стал раздумывать, идти ему дальше по реке или нет; в конце концов решил, что пойдет, если подымется ветер и взбаламутит тростник: в противном случае колыхание и шелест стеблей могут его выдать, к тому же проходить, вероятно, придется неподалеку от табора.

— Благодарю тебя, господи, что я еще жив! — тихо прошептал он.

И возвел очи к небу, а затем мыслями перенесся в польский лагерь. Замок, позолоченный первыми лучами восходящего солнца, с его кочки виден был преотлично. Может, кто-нибудь там оглядывает с башни в зрительную трубу пруды и тростник, а уж Заглоба с Володыёвским непременно до самой ночи станут высматривать с валов, не увидят ли где его всяцким на осадной башне.

«Теперь не увидят!» — подумал Скшетуский, и грудь его переполнилась блаженным чувством освобождения.

«Не увидят, не увидят! — повторил он еще и еще раз. — Малую часть пути я прошел, но ведь и ее надо было проделать. И далее господь мне поможет».

И уже глазами воображения видел себя за неприятельским станом, в лесах, где стоит королевское войско, — там ополченне, собравшиеся со всей страны, гусары, пехота, чужеземные полки; земля гудит под тяжестью пушек, людей, лошадей, и среди этого многолюдья — сам его величество король...

Потом ему представилась упорнейшая битва, разбитые таборы — и князя увидел он, летящего со всею своею конницей по грудам тел, и увидел встречу войск...

Глаза его, воспаленные, опухшие, смыкались от яркого света, а голова клонилась от избытка мыслей. Какое-то сладостное бессилие охватывало рыцаря, наконец он растянулся во весь рост на мху и тотчас уснул.

Тростник шумел. Солнце высоко поднялось в небе и горячим своим взором согревало его, сушило одежду — он же спал не шевелясь, крепким сном. Всякий, завидя его распростертым на мху с окровавленным лицом, подумал бы, что на кочке лежат труп, выброшенный водою. Час проходил за часом — Скшетуский не просыпался. Солнце достигло зенита и начало клониться на противоположную часть небосвода — он все еще спал. Разбудило его лишь пронзительное ржанье грызущихся на лугу жеребцов и громкие окрики конепасов, разгоняющих лошадей кнутами.

Он протер глаза, огляделся, вспомнил, где находится. Посмотрел вверх: на красном от догорающего заката небе мерцали звезды — он проспал целый день.

Но ни отдолнувшим, ни набравшимся сил Скшетуский себя не чувствовал — напротив, все кости его болели. Однако он подумал, что новые испытания возвратят крепость телу, и, спустив ноги в воду, без промедления двинулся дальше.

Теперь он шел вдоль самого края зарослей, по чистой воде, чтобы шелест тростника не привлеч внимания табунщиков, на берегах пасущих лошадей. Последние отблески дня погасли, и было довольно темно — луна еще не показалась из-за лесу. Река стала много глубже: местами, теряя дно из-под ног, Скшетуский волей-неволей пускался вплавь, что было нелегко в одежде, да и течение, встреч которому он плыл, сколь ни ленивое, все же тянуло его обратно к прудам. Зато самый зоркий татарский глаз

не мог бы различить на фоне темной стены тростника голову человека.

Поэтому подвигался он достаточно смело, иногда вplashь, но большей частью брел в воде по пояс, а то и по плечи, пока наконец не добрался до места, откуда глазам его представились тысячи и тысячи огней по обеим сторонам реки.

«Это таборы,— подумал он,— помоги мне теперь, боже!»

И прислушался.

Слитый гул множества голосов достигнул его ушей. Да, то были таборы. На левом берегу реки, если глядеть по течению, раскинулся казачий лагерь со своими бесчисленными палатками и возами, а на правом — татарский кош; шум и говор неслись с обеих сторон, человеческие голоса мешались с дикими звуками сопелок и бубнов, ревом волов, верблюдов, выкриками, лошадиным ржаньем. Река разделяла таборы и служила помехой для раздоров и кровавых стычек: татары не могли спокойно стоять близ казаков. В этом месте речное русло расширилось, а быть может, было расширено специально. Впрочем, если судить по огням, возы по одну сторону и тростниковые шалаши по другую располагались примерно в полусотне шагов от реки — у самой же воды, вероятно, стояли сторожевые посты.

Камыш и ситовник редели — видно, против лагерей берега были песчаные. Скшетуский прошел еще шагов пятьдесят — и остановился. Какою-то грозной силой повеяло на него от этих людских скопищ.

В ту минуту почудилось рыцарю, что все настороженное внимание, вся ярость тысяч живых существ обращены против него, и он ощутил полное свое перед ними бессилье, полную беззащитность. И одиночество.

«Здесь никому не пройти!» — подумал он.

Но все-таки двинулся дальше, влекомый каким-то неодолимым, болезненным любопытством. Ему хотелось поближе взглянуть на эту страшную силу.

Вдруг он остановился. Лес тростника оборвался, как будто срезанный под корень. Возможно, его и впрямь посрезали на шалаши. Впереди открылась ровная гладь, кроваво-красная от костров, глядящихся в воду.

Два из них высоким и ярким пламенем горели каждый на своем берегу над самой рекою. Подле одного стоял татарин на лошади, подле второго — казак с длинной пикой. Оба посматривали то на воду, то друг на друга. Вдалеке виднелись еще дозорные, тоже не спускавшие глаз с реки.

Отблески костров перекидывали через реку как бы огненный мост. У берегов стояли рядами лодчонки, на которых караульщики плавали по пруду.

— Нет, это невозможно, — пробормотал Скшетуский.

Его вдруг охватило отчаяние. Ни вперед нельзя идти, ни назад возвращаться! Вот уже скоро сутки влечется он по болотам

и топям, дышит зловонными испарениями, мокиет в воде — и все лишь затем, чтобы, достигнув наконец таборов, через которые взялся пройти, убедиться, что это невозможно.

Но и возвращение было столь же невозможно; рыцарь понимал, что тащиться вперед у него, быть может, еще найдутся силы, но они иссякнут, вздумай он повернуть обратно. К отчаянию примешивалась глухая ярость; в какое-то мгновение ему захотелось вылезти из воды и, уложив дозорных, врезаться в гущу толпы и погибнуть.

Снова ветер невнятно зашептался с тростником; одновременно он принес из Збаража колокольный звон. Скшетуский начал жарко молиться; он бил себя в грудь и зывал к небесам, прося о спасении со страстью и отчаянной надеждой утопающего; он молился, а кош и казацкий табор гомонили злоеще, словно в ответ на его молитву; черные и красные от огня фигуры снова вали взад-вперед как сонмища чертей в пекле; дозорные стояли недвижно, а река несла вдаль кровавые свои воды.

«Когда настанет глубокая ночь, костры погаснут», — сказал себе Скшетуский и принялся ждать.

Прошел час, второй. Гомон стихал, костры и впрямь помалу начали меркнуть — кроме двух сторожевых: эти разгорались все ярче.

Часовые сменялись: ясно было, что дозорные простоят на постах до рассвета.

Скшетускому пришло в голову, что, возможно, днем проскользнуть мимо них будет легче, но он быстро расстался с этой мыслью. Днем к реке ходят по воду, поят скотину, купаются — берега полны будут народом.

Вдруг взгляд его упал на челны. У обоих берегов их стояло по полсотне в ряд, а с татарской стороны ситовник подходил к ним вплотную.

Скшетуский погрузился по шею в воду и потихоньку стал подвигаться к лодкам, не спуская глаз с татарского часового.

По прошествии получаса он подобрался к первому челну. План его был прост. Лодчонки стояли, задрав корму, отчего над водой образовалось некое подобие свода, под которым легко могла поместиться голова человека. Если все челны стоят вплотную друг к другу, татарский стражник не заметит под ними движения; опаснее был казацкий дозорный — но и тот мог головы не увидеть, поскольку под челнами, несмотря на костер напротив, царил кромешная темнота.

Впрочем, иного пути не было.

Скшетуский отбросил колебания и вскоре оказался под кормою ближайшего челна.

Он подвигался на четвереньках, а вернее, полз: в том месте было довольно мелко. Татарин стоял на берегу так близко, что Скшетуский слышал, как фыркает его лошадь. Остановившись на минуту, он прислушался. Челны, к счастью, соприкасались

бортами. Теперь рыцарь не сводил глаз с казацкого караульщика, который виден был как на ладони. Но тот глядел на татарский коп. Минновав челнов пятнадцать, Скшетуский вдруг услышал над самой водой голоса и шаги и мгновенно замер. В крымских походах рыцарь научился понимать по-татарски — и теперь по телу его пробежала дрожь, когда он услышал слова команды:

— Садись и отчаливай!

Скшетуского бросило в жар, хотя он стоял по колено в воде. Если кто-нибудь сядет в тот челн, который сейчас служит ему прикрытием, он погиб; если же в один из передних — все равно это конец, так как впереди его появится пустое освещенное место.

Каждая секунда казалась часом. Меж тем загудело под ногами людей деревянное днище лодки — татары сели в четвертый или пятый челн из тех, что остались у него за спиной, оттолкнулись и поплыли к пруду.

Но движение возле лодок привлекло внимание казацкого часового. Скшетуский с полчаса, не меньше, простоял не шелохнувшись. Лишь когда дозорного сменили, он осмелился идти дальше.

Так добрался он до конца ряда. За последним челном опять начинался ситовник, а затем и тростник. Достигнув зарослей, рыцарь, тяжело дыша, обливаясь потом, упал на колени и возблагодарил господу от всего сердца.

Теперь он шел немного смелее, пользуясь каждым порывом ветра, наполнявшим берега шумом. Время от времени оглядывался назад. Сторожевые костры стали отдаляться, их огни пропадали из виду, колебались, тускнели. Заросли ситовника и очерета становились все чернее и гуще, потому что все болотистее делалась у берегов почва. Стража не могла подходить близко к реке; затихал и несущийся из таборов гомон. В рыцаря вселилась какая-то сверхчеловечья сила. Он продирался сквозь тростник и водоросли, проваливался в тину, захлебывался, плыл и снова вставал на ноги. На берег пока не решался выйти, но чувствовал себя едва ли уже не спасенным. Сколько он так шел, брел, илыл, сказать трудно, когда же вновь обернулся, сторожевые огни показались ему далекими светлячками. Еще несколько сот шагов, и они совершенно скрылись. Взошел месяц. Кругом было тихо. Вдруг послышался шум — куда отчетливее и громче шелеста очерета. Скшетуский чуть не вскрикнул от радости: к реке с обеих сторон подступали деревья.

Тогда он свернул к берегу и высунулся из зарослей. Прямо за тростником и ситовником начинался сосновый бор. Смолистый запах ударил в ноздри. Кое-где в черной чащобе, точно серебряные, светились папоротники.

Рыцарь во второй раз пал на колени и целовал землю, шепча молитву.

Он был спасен.

Потом он углубился в лесную тьму, спрашивая себя: как идти дальше? Куда приведет его этот лес? Где король и войско?

Путь не был закончен и не обещал быть легким и безопасным, но, когда он подумал, что вышел из Збаража, прокрался мимо сторожевых постов, преодолел болота, проскользнул через таборы, через полчища врагов числом чуть ли не в полмиллиона, ему показалось, что все опасности миновали, что впереди не темный бор, а освещенный тракт, который приведет его прямо к государю.

И шел бедный наш рыцарь — голодный, иззябший, мокрый до нитки, испачканный собственной кровью, красною глиной и черной болотной грязью, — шел с радостью в сердце, с надеждой, что вскоре вернется в Збараж — и не один, а с большою силой.

«Недолго вам голодать и безнадежностью терзаться, — думал он об оставленных в Збараже друзьях. — Я приведу короля!»

И возликовало благородное сердце, радуясь скорому избавлению князя, региментариев, войска, Володыёвского и Заглобы и всех иных героев, осажденных в збаражских окопах.

Лесная чаща расступилась перед ним и укрыла своею тенью.

ГЛАВА XXIX

В топоровской усадьбе, в гостином покое, поздним вечером сидели, запершись для тайной беседы, трое вельмож. Несколько свечей ярким пламенем освещали стол, заваленный картами, представляющими окрестность; подле карт лежала высокая шляпа с черным пером, зрительная труба, шпага с перламутровой рукоятью, на которую брошен был кружевной платок, и пара перчаток лосиной кожи. За столом в высоком кресле с подлокотниками сидел человек лет сорока, невысокий и сухощавый, но крепкого, видно, сложенья. Лицо он имел смуглое, желтоватого оттенка, утомленное, глаза черные и черный же шведский парик с длинными буклями, ниспадающими на плечи и спину. Редкие черные усы, подкрученные на концах, украшали верхнюю его губу; нижняя вместе с подбородком сильно выдавалась вперед, сообщая всему облику характерное выражение львиной отваги, гордости и упрямства. Лицо это, отнюдь не красивое, было весьма и весьма необыкновенно. Чувственность, указывающая на склонность к плотским утехам, странным образом совмещалась в нем с какою-то сонной, мертвенной даже неподвижностью и равнодушием. Глаза казались угасшими, но легко угадывалось, что в минуты душевного подъема, во гневе или веселии, они способны метать молнии, которые не всякий взор мог бы выдержать. И в то же время в них читалась доброта и мягкость.

Черный наряд, состоящий из атласного кафтана с кружевными брыжами, из-под которых выглядывала золотая цепь, подчеркивал своеобразие сей примечательной особы. Несмотря на

печаль и озабоченность, сковывавшие черты лица и движения, весь его облик означен был величием. И не диво: то был сам король, Ян Казимир Ваза, около года назад занявший престол после брата своего Владислава.

Несколько позади его, в полутени, сидел Иероним Радзеёвский, староста ломжинский, низкорослый румяный толстяк с жирной и наглой физиономией придворного льстеца, а напротив, у стола, третий вельможа, опершись на локоть, изучал карту окрестностей, время от времени подымая взор на государя.

Облик его не столь был величествен, но отмечен признаками достоинства едва ли не более высокого, чем монаршьё. Изборожденное заботами и раздумьями холодное и мудрое лицо государственного мужа отличалось суровостью, несколько не портившей его замечательной красоты. Глаза он имел голубые, пронзительные, кожу, несмотря на возраст, нежную; великолепный польский наряд, подстриженная на шведский манер борода и высоко взбитые надо лбом волосы придавали сенаторскую внушительность его правильным чертам, словно высеченным из камня.

То был Ежи Оссолинский, коронный канцлер и князь Римской империи, оратор и дипломат, восхищавший европейские дворы, знаменитый противник Иеремии Вишневецкого.

Недюжинные способности с юного возраста привлекли к нему внимание предшествующих правителей и рано выдвинули на самые высокие должности; данную ему властью он вел государственный корабль, который в настоящую минуту близок был к окончательному крушению.

Однако канцлер словно создан был для того, чтобы такого корабля быть кормчим. Неутомимый трудолюбец, умный и прозорливый, умеющий глядеть далеко вперед, он спокойной и уверенной рукой провел бы в безопасную гавань всякое иное государство, кроме Речи Посполитой, всякому другому обеспечил бы внутреннюю крепость и могущество на долгие годы... если бы был самовластным министром такого, например, монарха, как французский король либо испанский.

Воспитанный вне пределов страны, замороженный чужими образцами, несмотря на весь свой природный ум и смекалку, несмотря на многолетний практический опыт, он не смог привыкнуть к бессилию правительства в Речи Посполитой и за всю жизнь так и не научился считаться с этим обстоятельством, хотя то была скала, о которую разбились все его планы, намерения, усилия, хотя — в силу этой же причины — он сейчас уже видел впереди крах и разорение, а впоследствии и умрел с отчаянием в сердце.

Это был гениальный теоретик, не сумевший стать гениальным практиком, — стого и попал он в заколдованный безвыходный круг. Увлеченный какой-нибудь мыслью, обещающей в будущем принести плоды, он стремился к ее воплощению с упорством фанатика, не замечая, что спасительная в теории идея на

практике — при имеющемся положении вещей — может быть чревата роковыми последствиями.

Желая укрепить правительство и государство, он разбудил страшную казацкую стихию, не предусмотрев, что дикая ее сила не только против шляхты, богатейших магнатов, злоумышленной и шляхетского самодовольства обратится, но и против насущнейших интересов самого государства.

Поднялся из степей Хмельницкий и вырос в исполина. Речь Посполитая терпела поражение за поражением. Желтые Воды, Корсунь, Пилявцы. Первым делом Хмельницкий соединился с враждебною крымской ратью. Удар обрушивался за ударом — ничего иного, кроме как воевать, не оставалось. Прежде всего надлежало обуздать страшную казацкую стихию, чтобы использовать ее в дальнейшем, а канцлер, увлеченный своими замыслами, все еще вел переговоры и медлил. И все еще верил — даже Хмельницкому!

Действительность в прах разбила его теорию: с каждым днем ясней становилось, что результаты усилий канцлера прямо противоположны ожидаемым, — и самое красноречивое тому доказательство явила осада Збаража.

Канцлер согнулся под тяжким бременем забот, горьких разочарований и всеобщей ненависти.

И потому поступал так, как поступают во дни неудач и крушений люди, чья вера в себя не угасает даже в преддверии полного краха: искал виноватых.

Виновата была вся Речь Посполитая и все ее сословия, ее прошлое и ее государственное устройство; однако известно, что тот, кто из опасения, как бы лежащий на склоне обломок скалы не рухнул в пропасть, не рассчитавши сил, захочет вкатить его на вершину, лишь ускорит его паденье. Канцлер же этим не ограничился, хуже того: призвал на помощь казацкую рать — страшный, бурлящий поток, — не подумав, что бешеное его течение может только разрыхлить и размывать почву, на которой покоится камень.

А пока он искал виноватых, на него, в свой черед, указывали перстом как на зачинщика войны, виновника поражений и бедствий.

Но король еще верил в него, и вера становилась крепче по мере того, как общественное мнение, не падая монаршьего достоинства, и его самого обвиняла наравне с канцлером.

Итак, они сидели в Топорове, удрученные и печальные, не зная толком, что делать, потому что у короля было всего двадцать пять тысяч войска. Вицы были разосланы слишком поздно, и лишь часть ополчения к тому времени успела собраться. Кто был причиною промедленья, не было ли это очередной ошибкой неуступчивой политики канцлера — сия тайна осталась меж королем и министром; так или иначе, в ту минуту оба чувствовали свою беззащитность перед мощью Хмельницкого.

И самое главное: не имели точных о нем сведений. В королевском лагере до сих пор не знали, вся ли ханская рать соединилась с войском гетмана или казаков поддерживает только Тугай-бей с несколькими тысячами ордынцев. Вопрос этот был равнозначен вопросу: жить или умереть. С одним Хмельницким на худой конец король мог бы попытаться счастья, хотя мятежный гетман располагал вдесятеро большею силой. Чары королевского имени много значили для казаков — страх перед ним, пожалуй, был сильнее, нежели страх перед ополчением, сборищем своевольной и необученной шляхты, — но если и хан примкнул к Хмельницкому, безрассудством было тягаться с такою силищей.

Между тем вести приходили самые разноречивые, наверное же никто не знал ничего. Предусмотрительный Хмельницкий собрал всех своих людей в одном месте, умышленно не выпуская ни единого казацкого или татарского разъезда, чтобы не дать королю случая захватить «языка». Мятежный гетман такой вынашивал замысел: оставив часть войска под осажденным Збаражем, доживающим последние дни, самому с почти всею казацкой и татарскою ратью неожиданно напасть на королевское войско, окружить его и предать короля в руки хана.

Так что не без причины лик короля в тот вечер был мрачнее тучи: ничто больней не ранит монаршего достоинства, нежели сознание собственного бессилья. Ян Казимир откинулся в изнеможении на спинку кресла, уронив руку на стол, и молвил, указывая на карты:

— Бессмысленно это, бессмысленно! Достаньте мне языков.

— Ничего большего и я не желаю, — ответил Оссолинский.

— Разъезды вернулись?

— Вернулись ни с чем.

— Ни одного пленного?

— Окрестные только крестьяне, которые ничего не знают.

— А пан Пелка вернулся? Он ведь непревзойденный охотник за языками.

— Увы, государь! — отозвался из-за кресла староста ломжинский. — Пан Пелка не вернулся и не вернется — он погиб.

Воцарилось молчание. Король уставил мрачный взор на горящие свечи и забарабанил пальцами по столу.

— Неужто вам нечего посоветовать? — промолвил он наконец.

— Надо ждать! — торжественно произнес канцлер.

Чело Яна Казимира избороздилось морщинами.

— Ждать? — переспросил он. — А тем временем Вишневецкий и региментарии побеждены будут под Збаражем!

— Еще немного они продержатся, — небрежно заметил Радзевёвский.

— Помолчал бы, любезный староста, когда ничего хорошего сказать не можешь.

— А я как раз хотел дать совет, ваше величество.

— Какой же?

— Отправить надобно кого-нибудь под Збараж будто к Хмельницкому на переговоры. Посол и узнает, там ли хан, а по возвращении расскажет.

— Нельзя этого делать, — ответил король. — Теперь, когда Хмельницкий объявлен мятежником и за его голову назначена награда, а запорожская булава отдана Забускому, не достойно нас с Хмельницким вступать в переговоры.

— Значит, к хану надо послать, — сказал староста.

Король обратил вопрошающий взор на канцлера, который поднял на него свои строгие голубые глаза, и сказал после недолгого размышления:

— Совет недурен, да Хмельницкий, вне всякого сомнения, посла задержит и все старания пропадут напрасно.

Ян Казимир махнул рукой.

— Мы видим, — медленно произнес он, — что вам предложить нечего — выслушайте тогда наше решение. Я прикажу трубить поход и поведу все войско на Збараж. Да свершится воля божия! Так и узнаем, там ли хан или нет его.

Канцлер знал, сколь безудержной отвагой обладал король, и не сомневался, что сказанное исполнит. С другой стороны, из опыта ему было известно, что, если государь что-нибудь замыслит и станет на своем упорствовать, никакие отговоры его не поколеблют. Потому он и не стал сразу противиться, даже похвалил самую мысль, но спешить не посоветовал, доказывая, что можно то же самое сделать завтра или день спустя, — а тем временем вдруг да придут добрые вести. С каждым днем должен усугубляться разброд среди черни, напуганной неудачами под Збаражем и слухами о приближении королевского войска. Смута растает от сияния имени его величества, как снег от солнечных лучей, — но на это требуется время. В руках же монарших судьба всей Речи Посполитой, и, будучи перед богом и потомками за нее в ответе, он не вправе подвергать себя опасности, тем паче что, случись беда, збаражским войскам уже неоткуда будет ждать спасенья. Канцлер говорил долго и выразительно: образцом краснословия могли бы послужить его речи. И в конце концов он убедил короля, хотя и утомил. Ян Казимир опять откинулся на спинку кресла, пробормотав нетерпеливо:

— Делайте, что хотите, лишь бы завтра у меня был язык.

И снова настало молчанье. За окном повисла огромная золотая луна, но в покое потемнело — свечи успели обрасти нагаром.

— Который час? — спросил король.

— Скоро полночь, — ответил Радзеёвский.

— Не буду сегодня ложиться. Объеду лагерь, и вы со мною. Где Убальд и Арцишевский?

— В лагере. Пойду скажу, чтобы подали лошадей, — ответил староста.

И направился к двери. Вдруг в сенях сделалось какое-то движение, послышался громкий разговор, торопливые шаги, наконец дверь распахнулась настежь, и вбежал запыхавшийся Тизенгауз, королевский стремянный.

— Всемилоштивейший король! — воскликнул он. — Гусарский товарищ из Збаража пришел!!

Король вскочил с кресла, канцлер тоже поднялся, и из уст обоих вырвалось одновременно:

— Быть не может!

— Истинно так! Стоит в сенях.

— Давай его сюда! — вскричал король, хлопнув в ладоши. — Пусть снимет с души тяжесть. Веди же его сюда ради всего святого!

Тизенгауз скрылся за дверью, и через минуту вместо него на пороге показалась незнакомая высокая фигура.

— Подойди, любезный сударь! — восклицал король. — Ближе! Ближе! Мы рады тебя видеть!

Рыцарь подошел к самому столу; наружность его была такова, что король, канцлер и староста ломжинский попятились в изумление. Перед ними стояло страшное существо, более похожее на призрак, нежели на человека: изодранные в клочья лохмотья едва прикрывали его истощенное тело, посинелое лицо измазано было в крови и грязи, глаза горели лихорадочным блеском, черная всклокоченная борода закрывала грудь; трупный запах распространялся вокруг него, а ноги так дрожали, что он принужден был опереться о стол.

Король и оба вельможи смотрели на него широко раскрытыми глазами. В эту минуту дверь отворилась и гурьбою вошли савонники, военные и гражданские: генералы Убальд и Арцишевский, подканцлер литовский Сапега, староста жечицкий, каштелян сандомирский. Все, остановясь за спиной короля, уставились на пришельца, король же спросил:

— Кто ты?

Несчастный раскрыл было рот, попытался ответить, но судорога свела ему челюсть, подбородок задрожал, и он сумел прошептать только:

— Из... Збаража!

— Дайте ему вина! — раздался чей-то голос.

В мгновение ока подан был полный кубок — незнакомец с усилием его опорожнил. Меж тем канцлер сбросил с себя плащ, подбитый мехом, и накинул ему на плечи.

— Можешь теперь говорить? — спросил король спустя некоторое время.

— Могу, — немного увереннее ответил рыцарь.

— Кто ты?

— Ян Скшетуский... гусарский поручик...

— В чьей службе?

— Русского воеводы.

Шепот пробежал по зале.

— Что у вас? Что слышно? — с лихорадочной торопливостью вопрошал король.

— Беда... голод... сплошь могилы...

Король закрыл глаза рукою.

— Господи Иисусе! Господи Иисусе! — тихо повторял он.

Потом продолжил расспросы:

— Долго еще сможете продержаться?

— Пороха нет. Враг у самых валов...

— Много его?

— Хмельницкий... Хан со всеми ордами.

— И хан там?

— Да...

Наступило глухое молчание. Присутствующие лишь переглядывались, растерянность рисовалась на всех лицах.

— Как же вы выстояли? — спросил канцлер, не скрывая недоверия.

Услышав эти слова, Скшетуский вскинул голову, словно новые обретя силы, горделивое выражение сверкнуло на его лице, и он ответил с неожиданной силой в голосе:

— Двадцать отбитых штурмов, шестнадцать выигранных сражений в поле, семьдесят пять вылазок...

И снова настало молчанье.

Внезапно король расправил плечи и встряхнул париком, словно лев гривой; на желтоватом его лице проступил румянец, глаза блеснули.

— О господи! — вскричал он. — Довольно с меня этих советов, этого топтанья на месте — нечего больше медлить! Есть хан или нету, собралось или не собралось ополчение — хватит, клянусь богом! Сегодня же идем на Збараж!

— На Збараж! На Збараж! — повторило несколько решительных голосов.

Лицо прибывшего просияло, как ясная зорька.

— Милостивый король, государь мой! — сказал он. — С тобою на жизнь и на смерть!..

От этих слов как воск растаяло благородное монаршее сердце, и, не гнушаясь отталкивающим обличем рыцаря, он обхватил его голову обеими руками и молвил:

— Ты мне милее иных, что в атласах. Господи! За меньшие заслуги некоторые получают староства... Знай, подвиг твой не останетсЯ без награды. И не спорь! Я должник твой!

И остальные вслед за королем тотчас начали восклицать:

— Не было еще рыцаря доблестней!

— Этому и среди збаражских не найдется равных!

— Славу бессмертную ты стяжал!

— Как же ты меж татар и казаков сумел пробраться?..

— В болотах прятался, в камышах, лесом шел... блуждал... без еды...

— Накормить его! — крикнул король.
— Накормить! — повторили прочие.
— Одеть его!
— Завтра получишь коня и платье, — сказал король. — Ни в чем не будет тебе недостатка.

Следуя примеру короля, все наперебой принялись перевозносить рыцаря. Снова на него посыпались вопросы, на которые он отвечал с превеликим трудом, потому что все большую чувствовал слабость и едва не терял сознания. Принесли еду; в ту же минуту вошел ксендз Цецишовский, королевский духовник.

Вельможи расступились: ксендз был премного учен, уважаем, и слово его для короля значило едва ли не больше, чем слово канцлера, а с амвона, бывало, он таких вещей касался, о которых и на сейме осмеливался говорить не всякий. Его тотчас обступили со всех сторон и стали рассказывать, что из Збаража пришел рыцарь, что князь, несмотря на лишения и голод, продолжает еще громить хана, пребывающего там собственною персоной, и Хмельницкого, который за весь минувший год не потерял столько людей, сколько в збаражскую осаду, наконец, что король желает идти на выручку осажденным, даже если ему со всем войском суждено погибнуть.

Ксендз молча слушал, беззвучно шевеля губами, и поминутно обращал взор на изможденного рыцаря, который меж тем занялся едою; король повелел ему не смущаться своим присутствием и еще приглядывал сам, чтобы тот ел хорошенько, да время от времени отпивал за его здоровье глоток из небольшого серебряного кубка.

— А как зовется сей рыцарь? — спросил наконец ксендз.
— Скшетуский.
— Не Ян ли?
— Ян.
— Поручик князя воеводы русского?
— Так точно.

Ксендз поднял к небесам морщинистое лицо и опять углубился в молитву, а потом промолвил:

— Восславим имя господя нашего, ибо неисповедимы пути, коими он ведет человека к покою и счастью. Аминь. Я этого рыцаря знаю.

Скшетуский, услыша эти слова, невольно обратил взгляд на ксендза, но лицо того, весь облик и голос были ему совершенно незнакомы.

— Стало быть, ты один из всего войска взялся пройти через вражеский лагерь? — спросил его ксендз.

— Передо мной пытался один благородный рыцарь, но погиб, — ответил Скшетуский.

— Тем больше твоя заслуга, раз после такого дерзнул пойти. Судя по виду твоему, страшный ты путь проделал. Господь оценил

принесенную тобой жертву, тронут был молодостью и добродетелями твоими и не оставил своей защитой.

Внезапно ксендз обратился к Яну Казимиру.

— Милостивый король, — сказал он, — стало быть, ты тверд в своем решении идти князю воеводе русскому на помощь?

— Твоим молитвам, отче, — ответил король, — вверяю отечество, себя и войско, ибо знаю, что огромен риск, но нельзя позволить, чтобы князь-воевода смерть нашел в этой злосчастной крепости и с ним пали такие рыцари, как сей, что сидит перед нами.

— Господь пошлет нам викторию! — воскликнуло несколько голосов.

Ксендз воздел руки к небу, и в зале воцарилась тишина.

— *Benedico vos, in nomine Patris et Filii, et Spiritus sancti*¹.

— Аминь! — промолвил король.

— Аминь! — повторили остальные.

Спокойствие пришло на смену озабоченности, до этой минуты не сходявшей с лица Яна Казимира, лишь глаза его светились необычайным блеском. Меж собравшимися затеялся негромкий разговор о предстоящем походе — многие еще сомневались, что король выступит немедленно, — он же взял со стола шпагу и сделал знак Тизенгаузу, чтобы тот ее ему прицепил.

— Когда ваше королевское величество изволит выступить? — спросил канцлер.

— Бог дал погожую ночь, — ответил король, — кони не устанут. — И добавил, обращаясь к обозному стражнику: — Прикажи трубить поход, сударь.

Стражник, не мешкая, вышел из залы. Канцлер Оссолинский осмелился негромко заметить, что не все еще к походу готовы и что возы не отправит раньше наступления дня, но король, не задумываясь, ответил:

— Кому возы дороже отечества и монарха, тот пускай остается.

Зала начала пустеть. Всяк спешил к своей хоругви, чтобы людей «на ноги поднять» и снарядить в дорогу. В комнате остались лишь король, канцлер, ксендз да Тизенгауз со Скшетуским.

— Всемиловнейший государь, — сказал ксендз, — что мы хотели узнать от этого рыцаря, то узнали. Надобно ему дать покой — он едва на ногах держится. Позволь, я возьму его к себе на квартиру — там и переночует.

— Хорошо, отче, — ответил король, — справедливы твои слова. И пусть Тизенгауз с кем-нибудь его проводят, одному ему, боюсь, не дойти. Иди, иди, друг любезный, никто здесь более тебя не заслуживает отдыха. И помни, я твой должник. Скорей о себе, нежели о тебе позабуду!

¹ *Благословляю вас во имя отца, и сына, и святого духа (лат.).*

Тизенгауз подхватил Скшетуского под руку, и они вышли. В сених им встретился староста жечицкий, который поддержал пошатывающегося рыцаря с другой стороны; впереди шел ксендз, а перед ним слуга с фонарем. Но напрасно светил слуга: ночь была ясной, тихой и теплой. Большая луна, точно золотой ковчег, плыла над Топоровом. С лагерного майдана доносился говор, скрип телег и голоса труб, играющих побудку. Вдалеке, перед костелом, облитым лунным светом, уже собирались солдаты — конные и пешие. В селе ржали лошади. К скрипу возов примешивалось звяканье цепей и глухое греыхание пушек — и гомон становился все громче.

— Уже выходят! — сказал ксендз.

— К Збаражу... на помощь.. — прошептал Скшетуский.

И неизвестно, то ли от радости, то ли от тяжелых трудов, а скорее ото всего вместе, ослаб совершенно, так что Тизенгауз и староста жечицкий почти тащили его на себе.

Между тем по дороге к дому ксендза они попали в толпу солдат, собирающихся перед костелом. Это были хоругви Сапег и пехота Арцишевского. Еще не получившие приказа строиться, солдаты стояли в беспорядке, в иных местах сбиваясь в кучки, загораживая путь идущим.

— С дороги! С дороги! — восклицал ксендз.

— Это кому там уступать дорогу?

— Рыцарю из Збаража!

— Привет ему! Привет! — вскричало множество голо-сов.

Одни расступались немедленно, другие, напротив, старались по-дойти поближе, желая поглядеть на героя. И смотрели с изумле-нием на изможденного оборванца, на страшное лицо, озаренное лунным светом, и, пораженные, шептали:

— Из Збаража, из Збаража...

С великим трудом довел ксендз Скшетуского до дома местно-го приходского священника. Там он приказал отмыть его от крови и грязи и уложить в хозяйскую постель, а сам поспешил к высту-павшему в поход войску.

Скшетуский был в полубеспамятстве, но лихорадка не позво-ляла ему уснуть. Однако он не понимал уже, где находится и что с ним случилось. Слышал только говор, топот копыт, скрип во-зов, тяжелые шаги пехотинцев, крики солдат, голоса труб — все это сливалось в его ушах в неумолчный гул... «Войско идет», — пробормотал он про себя... Меж тем гул помалу стал отдаляться, ослабевать, затихать, рассеиваться, пока наконец тишина не объяла Топоров.

И чудилось Скшетускому, что он вместе со своим ложем ле-жит в какую-то пропасть без дна...

Спал он несколько дней кряду, но и после пробуждения не оставяла его злая лихоманка — долго еще бредил Скшетуский, поминал Збараж, старосту красноставского, князя, беседовал с паном Михалом и Заглобой, кричал: «Не туда!» Лонгинусу Подбипятке — лишь о княжне не вспомнил ни разу. Видно, строжайший тот запрет, который он однажды и навсегда наложил на всякое о ней воспоминанье, не терял силы, даже когда болезнь его изнурила. Зато ему казалось, что он видит над собой щекастую физиономию Редзяна — будто воротилось то время, когда князь после староконстантиновской битвы отправил его с хоругвями в Заслав громить разбойные шайки, и Редзян неожиданно явился в хату, где он остановился на ночлег. Видение это путало его мысли: ему мерещилось, что время остановило свой бег и ничего с той поры не переменялось. Он снова у Хомора и спит в хате, а пробудившись, поведет хоругви в Тарнополь... Разбитый под Староконстантиновом Кривонос бежал к Хмельницкому... Редзян приехал из Гуци и сидит у его постели... Скшетускому хочется заговорить, хочется приказать слуге седлать лошадей, но нет мочи... И снова мелькает мысль, что не у Хомора он, что после того был уже Бар взят, — но тут опять тело пронзает боль и бедная его голова окутывается мраком. Ничего уже не знает он, ничего не видит. Однако минуто спустя из хаоса и крошечной тьмы новое проступает виденье: Збараж... осада... Значит, это не Хомор? А откуда же взялся Редзян? Сквозь прорезанные в ставнях сердечки в комнату пробивается пучок яркого света, и он отчетливо видит лицо слуги, исполненное сочувствия и заботы...

— Редзян! — вдруг восклицает Скшетуский.

— Ой, сударь вы мой! Наконец-то меня узнали! — кричит парень и припадает к ногам своего господина. — Я думал, никогда уже не проснетесь...

Настала тишина — только слуга тихо рыдал, обнимая хозяйцу ноги.

— Где я? — спрашивает Скшетуский.

— В Топорове... Ваша милость из Збаража к его величеству королю пришел... Слава богу! Слава богу!

— А где король?

— Повел войско на выручку князю-воеводе.

Опять наступило молчание. Слезы радости текли по лицу Редзяна; помолчав с минуту, он пробормотал голосом, прерывающимся от волнения:

— Довелось-таки вашу милость живым увидеть...

Потом встал и открыл ставню, а затем и окошко.

Свежий утренний воздух ворвался в комнату, а с ним и свет белого дня. Сей же час к Скшетускому полностью вернулось сознание...

Редзян присел в ногах кровати...

— Так это я из Збаража вышел? — спросил рыцарь.

— Да, сударь мой... Никто не мог содеять того, что ваша милость содеял; только благодаря вашей милости король поспешил князю на помощь.

— Пан Подбиятка раньше меня пытался, да погиб...

— О господи! Пан Подбиятка погиб! А какой был щедрый да благонравный!.. Ух, аж дыханье сперло... Как же они такого силача перемочь сумели?

— Из луков его застрелили...

— А пан Володыёвский что и пан Заглоба?

— Живы-здоровы были, когда я уходил...

— Слава тебе господи! Лучше нет у вашей милости друзей, сударь... Только ксендз наказал помалкивать...

Редзян прикусил язык и на несколько времени погрузился в размышления. Работа мысли явственно отразилась на толстощеком его лице. Наконец он вновь заговорил:

— Ваша милость!..

— Чего тебе?

— А что же станется с пана Подбиятки богатством? Говорят, у него деревень и пресвякого добра без счету... Ужель друзьям не отписал хоть какую малость — родных-то, я слышал, у него нету?

Скшетуский ничего не ответил, и Редзян, смекнув, что вопрос хозяину не по нутру, перевел разговор на другое:

— Слава богу, что пан Заглоба и пан Володыёвский в добром здравии; я думал, они к татарам попались... Ужась сколько мы вместе горя хлебнули... Да только ксендз говорить не велел... Эх, сударь вы мой, я уж думал, никогда больше их не увижу: нас орда так прижала, что ни взад, ни вперед...

— Погоди: выходит, ты был с паном Володыёвским и паном Заглобой? Они мне ничего не сказали.

— Так ведь они и сами не знали, погибнул я или жив остался...

— Где ж это вас орда настигла?

— А за Проскуровом, по дороге в Збараж. Мы, сударь мой, далече, за самым Ямполем побывали... Только ксендз Цецишовский рассказывать воспретил строжайше...

На короткое время настало молчание.

— Да вознаградит вас господь за добрые ваши намерения и старанья, — промолвил Скшетуский, — зачем вы туда ездили, теперь мне понятно. Я и сам прежде вас побывал там... Да напрасно...

— Эх, сударь вы мой, кабы не ксендз этот... Он мне так сказал: я теперь с их королевским величеством в Збараж еду, а ты — это он мне наказывал — присматривай за хозяином, только не говори ни слова, а то еще отдаст богу душу.

Скшетуский так давно и бесповоротно расстался со всякой надеждой, что и эти слова Редзяна малейшей даже искорки в

его сердце не заронили... Несколько времени он лежал недвижно, но потом возобновил расспросы:

— А ты откуда взялся, с каких пор при ксендэе Цецишовском состоишь и при войске?

— Меня пани Витовская, супруга каштеляна сандомирского, из Замостья сюда прислала — оповестить пана каштеляна, что в Топоров к нему придут... Отважная женщина, скажу я вам, сударь, беспременно желает при войске находиться, чтобы не разлучаться с паном каштеляном... Ну, я и приехал в Топоров, днем лишь вашей милости раньше. Пани Витовская, того и гляди, здесь будут... Со дня на день ждем... Только вот ведь беда: супруг-то ее с королем уехал!..

— Не пойму, как ты в Замостье мог оказаться, если с паном Володыёвским и паном Заглобой за Ямполь ездил? Почему же в Збараж не пришел с ними вместе?

— А вот почему, сударь: когда нас ордынцы настигать стали, иного способу не было, кроме как им двоим заступить путь чамбулу, я ж ускакал — и прямо в Замостье.

— Счастье, что они не погибли, — сказал Скшетуский. — Но я о тебе лучше думал. Как же совесть тебе позволила их в беде кинуть?

— Эх, сударь, сударь, кабы нас только трое было, я б их ни в жизнь не покинул, у меня и так сердце на куски разрывалось, но ведь мы четвером ехали... Они, стало быть, на ордынцев напали, а мне сами приказали... спасать... Знать бы мне, что радость не убьет вашу милость... Мы-то за Ямполем... отыскали... Да вот ксендэ...

Скшетуский уставился на слугу и заморгал глазами, будто только что пробудившись ото сна; вдруг, можно сказать, что-то в нем оборвалось: странно поблдев, он сел на постели и громовым голосом вскрикнул:

— Кто с тобой был?

— Ваша милость! Эй, ваша милость! — закричал слуга, испугавшись перемены в лице рыцаря.

— Кто с тобой был? — кричал Скшетуский и, схвативши Редзяна за плечи, принялся трясти его, сам дрожа точно в лихорадке, однако железной хватки не ослабляя.

— Так уж и быть, скажу! — воскликнул Редзян. — Пусть ксендэ делает со мной что хочет: барышня с нами была, а теперь она при пани Витовской.

Скшетуский оцепенел, веки его сомкнулись, и голова тяжело упала на подушки.

— Святой боже! — еще пуще завопил Редзян. — Того и гляди, дух испустит! Черт побери, что ж я наделал!.. Лучше б помалкивать. Ваша милость, сударь надражайший, ради бога, скажите словечко... Царица небесная! Правильно заказывал ксендэ... Ваша милость! Эй, ваша милость!..

— Ничего! — проговорил наконец Скшетуский. — Где она?

— Слава тебе господи, ожил... Лучше уж я ничего говорить не стану. При супруге каштеляна сандомирского она... Вскорости здесь будут... Слава богу!.. Только б ваша милость не помер... Вот-вот приедут... Мы в Замостье пробрались... Тамошний ксендз барышню к пани Витовской пристроил... Так оно пристойней... Да и в войске безобразников немало... Богун-то ее уважил, а и здесь всяко могло случиться... Страх я намыкался, пока не догадался солдатам говорить: «Это родственница князя Иеремпи!..» — тут уж они отступались... Да и в дороге я немало поиздержался...

Скшетуский лежал не шевелясь, но глаза его были открыты, обращены к потолку, и лицо имело серьезное выражение — видно, он молился. Закончив же молитву, вскочил, сел на кровати и приказал:

- Неси платье и вели седлать лошадей!
- Куда ж это ваша милость ехать собрался?
- Платье давай быстрее!

— Вам еще невдомек, сударь мой, сколько у вашей милости теперь всякой одежды: и король надарил перед отъездом, и разные другие вельможи. Да три отменных лошадки стоят в конюшне. Мне б хоть одну такую!.. А вашей милости, сударь мой, лучше полежать да в себя прийти, силы-то ведь никакой нету.

— Я в порядке. В седле могу держаться. Поторопись бога ради!

— Да уж знаю, у вашей милости тело железное. Будь по-вашему! Только замолвите за меня перед ксендзом Цецишовским словечко... Вон, одежды лежат... Лучших и у армянских купцов не найти... Одевайтесь пока, а я скажу, чтобы принесли винной похлебки: ксендзов слуга должен был для меня приготовить.

С этими словами Редзян занялся завтраком, а Скшетуский стал торопливо облачаться в платье, полученное в дар от короля и придворных. Но то и дело заключал малога в объятья и прижимал к своей преисполненной чувств груди, а тот рассказывал ему все аб ово: как Богуна, посеченного паном Михалом, но уже оправившегося, во Влодаве встретил и выведал все про княжну и получил пернач. Как потом отправились они с паном Михалом и паном Заглобой в валадынские овраги и, убивши ведьму и Черемиса, увезли княжну, наконец, какое множество их подстерегало опасностей, когда они от Бурляевых людей убегали.

— Бурляя пан Заглоба зарубил,— поспешил вставить Скшетуский.

— Вот уж кто воинственный муж,— заметил в ответ Редзян. — Мне такие еще не встречались — обыкновенно оно как бывает: один храбр, другой речист, третий пройдошлив, а у пана Заглобы все вместе соединилось. Но хуже всего, сударь мой, нам пришлось в лесах за Проскуровом, когда ордынцы за нами погнались. Пан Михал с паном Заглобой остались, чтобы их на себя отвлечь и задержать погоню, а я вбок и к Староконстантинову — Збараж, думаю, лучше обойти стороною: справившись с ма-

леньким паном и паном Заглобой, они как раз к Збаражу за нами и поскочут. Уж не знаю, каким там способом господь в милосердьё своим спас маленького пана и пана Заглобу... Я думал, их зарубят. Мы ж тем часом с барышней удирали между войском Хмельницкого, который от Староконстантинова шел, и Збаражем, куда понеслись татары.

— Не скоро они туда добрались, их пан Кушель потрепал изрядно. Да ты не тяни, рассказывай дальше!

— Кабы я знал! Но мне и невдомек было, вот мы и пробирались с барышней, как по ущелью, промежду татар и казаков. По счастью, край тамошний весь будто вымер, мы души живой не встречали ни в деревнях, ни в местечках, все, куда кто мог, от татар разбежались. Да я все равно помирал со страху: только бы, думаю, в лапы разбойникам не попасться, однако и сия чаша нас не миновала.

Скшетуский даже одеваться перестал и спросил:

— Это как же?

— А вот так, сударь мой: наткнулись мы на казацкий разъезд, который вел Донец, брат той самой Горпыны, что барышню в яру укрывала. Одно счастье, я его хорошо знал — он меня при Богуне видел. Передал я ему от сестры поклон, показал Богунов пернач и разобъяснил все: что Богун меня, мол, за барышней посылал и теперь ждет подле Влодавы. А он, как Богунов приятель, знал, что сестра барышню стережет, оттого и поверил. Я думал, отпустит, да еще подкинет чего на дорогу, а он вдруг ко мне с такими словами: «Там говорит, собирается ополчение, еще попадешься ляхам в руки; оставайся, говорит со мною, вместе поедем к Хмельницкому, в лагере для девушки наилучшее место, гетман сам приглядит, чтобы в целости Богуна дождалась». Как он мне это сказал, я прямо обмер: ну, что на такое ответишь? Говорю, мол, Богун барышню ожидает, а я животом покаялся, что без промедления ее доставлю. А он мне на то: «Мы Богуна оповестим, а тебе туда ехать ни к чему, там ляхи». Стал я спорить, он на своем уперся и говорит вдруг: «Дивно мне, что ты боишься к казакам идти. Эй, а ты случаем не изменник?» Тут уж я смекнул, что другого пути нет, кроме как ночью удрать, раз он меня подозревать начал. Ох, и страх меня взял, сударь мой, семь потов прошибло. Стал я, однако, в дорогу приготавливаться, но в ту ночь с отрядом королевских войск подоспел пан Пелка.

— Пан Пелка? — переспросил, задержав дыхание, Скшетуский.

— Он самый, сударь мой, тот, что погиб недавно, — память ему небесная! Непревзойден был в набегах — под носом у врага что хотел, то и делал. Не знаю, кто лучше его сможет водить разъезды — разве что пан Володыёвский. Так вот, нагрянул пан Пелка, от Донцова отряда живой души не оставил, а самого Донца скрутил и увез с собою. Недели две, как его к волам привя-

зали и на кол — и поделом вражьему сыну! Но и с паном Пелкой я нахлебался немало — больно охоч был до нежного пола... Упокой, господа, его душу! Неужто, думаю, барышня, от казаков зла избежавши, от своих хуже потерпит... Благо догадался сказать пану Пелке, что она в сродстве с нашим князем. А он, надобно вашей милости знать, говоря о нашем князе, шапку, бывало, снимал и давно уже на службу к нему целил... С того часу он с барышней почтителен сделался и сопроводил нас прямо к его величеству королю в Замостье, а там ксендз Цецишовский (воистину святая душа, скажу я вам, сударь) взял нас под свою опеку и барышню определил ко двору пани Витовской.

Скшетуский вздохнул глубоко и бросился Редзяну на шею.

— Другом ты мне отныне будешь, братом, не слугой! — воскликнул он. — Но теперь... едем скорее. Когда пани Витовская обещалась быть?

— Спустя неделю после меня — а я уже десять дней как приехал... Из них ваша милость восемь без памяти пролежал.

— Едем, едем, — повторил Скшетуский, — а то у меня сердце от радости разорвется.

Не успел он договорить, во дворе послышался конский топот и за окнами, застя свет, замаячили люди и лошади. Скшетуский различил сперва старого ксендза Цецишовского, а рядом с ним увидел исхудалые лица Заглобы, Володыёвского, Кушеля и других знакомых в окружении княжеских драгун в красном. Раздались веселые восклицанья, и в горницу следом за ксендзом гурьбой ввалились рыцари.

— Под Зборовом заключен мир, осада снята! — возгласил ксендз.

Но Скшетускому довольно было бросить взгляд на збаражских своих товарищей, чтобы самому обо всем догадаться. Мгновение спустя Заглоба и Володыёвский, распростерши объятия, бросились к нему, отталкивая друг друга.

— Нам сказали, что ты жив, — кричал Заглоба, — но тем отраднее видеть тебя в добром здравии и к тому же столь скоро! Мы намеренно приехали сюда за тобой... Ян! Ты и не представляешь, какую стяжал славу и какая тебя ждет награда!

— Король тебя отметил, — сказал ксендз, — но король королей его превзошел.

— Я уже все знаю, — ответил Скшетуский. — Награди вас господь! Редзян мне открылся.

— И ты не задохнулся от радости? Тем лучше! Vivat Скшетуский, vivat княжна! — воскликнул Заглоба. — Что, Ян! А мы тебе ни словечка, потому как не знали, жива она, нет ли. Но слуга твой молодец, в целости ее довел. Ох, vulpes astuta!¹ Князь ждет вас обоих... Ха! Мы к самому Ягорлыку за ней ездили. Я дьявольского монстра, что ее стерег, своею рукой зарубил...

¹ хитрая лиса (лат.).

Двенадцать мальчонков припоздали малость, но ничего, вы свое наверстаете! Внучата у меня пойдут, любезные судари! Рассказывай, Редзян, неужто у тебя все сошло гладко? А мы с паном Михалом, представь, вдвоем целую орду сдержали! Я первый на чамбул бросился, так-то! Басурманы от нас только что не прятались под землю — да все без толку! Пан Михал тоже не оплошал... Где моя доченька? Давайте сюда мою девочку!

— Дай тебе бог удачи, Ян! Дай тебе бог удачи! — твердил маленький рыцарь, вновь бросаясь к Скшетускому в объятия.

— Да вознаградит вас господь за все, что вы для меня сделали. Мне слов не хватает. Жизнь моя, кровь — малая для вас плата! — ответил Скшетуский.

— Забудь об этом! — кричал Заглоба. — Мир заключен! Худой мир, конечно, да что поделать. Хорошо, хоть мы в этом заклятом Збараже не сидим больше. Теперь, судари любезные, проживем в покое. Это все нашими стараньями, и моими тоже. Да-да, когда бы Бурляй жив остался, не видать бы нам перемирья. А теперь можно и за свадьбу. Нос кверху, Ян! Держись, дружище! Ни за что не догадаешься, какой тебе к свадьбе князь приготовил подарок! При случае расскажу, а пока... тысяча чертей! Где же моя дочурка? Давайте скорей сюда мою доченьку! Теперь ее Богуну не видать как своих ушей — разве что уши поперед головы отрежут! Где моя доченька дорогая?

— Я как раз собрался навстречу супруге каштеляна сандомирского — уже на коня сел, — сказал Скшетуский. — Едем скорее, едем, не то я с ума сойду.

— За мной, милостивые господа! Поехали с ним, нечего время терять! Живее!

— Пани Витовская, верно, уже неподалеку, — заметил ксендз.

— Едем! — подхватил Володыёвский.

Скшетуский был уже за дверь и вскочил в седло так легко, словно и не был только что прикован к одру болезни. Редзян, предпочитая не оставаться с ксендзом с глазу на глаз, следовал за хозяином неотступно. Володыёвский с Заглобой к ним присоединились, и вот уже друзья скакали во весь опор по топовровскому тракту, а за ними и вся толпа шляхтичей и драгуны в красном — казалось, ветер подхватил и несет по дороге алые лепестки мака.

— Айда! — кричал Заглоба, колотя пятками лошадь.

Так проскакали они верст десять, покуда за поворотом тракта не увидели прямо перед собой вереницу возов и колясок, окруженных полсотней наряженных по-турецки выездных лакеев; несколько из них, заметя вооруженных всадников, стремглав бросились им навстречу — спрашивать, кто такие.

— Свои! Из королевского войска! — крикнул Заглоба. — А это кто едет?

— Супруга каштеляна сандомирского! — прозвучало в ответ.

Скшетуский от волнения так растерялся, что, сам не сознавая, что делает, сполз с лошади на землю и встал, пошатываясь, на краю дороги. Шапку он снял, по вискам его обильно струился пот; так стоял наш рыцарь на пороге счастья и... дрожал всем телом. Володыёвский тоже соскочил с кульбаки и поддержал ослабевшего друга.

Остальные, обнажив головы, остановились подле них на обочине; вереница возов и колясок меж тем приблизилась и, не задерживаясь, последовала дальше. Пани Витовскую сопровождало не менее пятнадцати разных дам, которые с удивлением взирали на рыцарей, не понимая, что означает появление на дороге вооруженного отряда.

Наконец в череду прочих показалась карета, пышностью ото всех отличающаяся; окошки ее были открыты, и рыцари увидели достойный лик седовласой дамы, а возле нее — прелестное личико княжны Курцевич.

— Доченька! — бросаясь к карете, вскричал Заглоба. — Доченька! Скшетуский с нами!.. Доченька!

С разных сторон понеслись крики: «Стой! Стой!» Сделалось общее замешательство. Между тем Кушель с Володыёвским вели, а верней, волокли Скшетуского к карете, он же, совершенно лишившись сил, казалось, сейчас упадет на землю. Голова его поникла на грудь; не в состоянии сделать ни шагу, он опустился у подножки кареты на колени.

Но уже в следующее мгновение сильные и нежные руки княжны поддержали бессильно склонившуюся голову изнуренного рыцаря.

Заглоба же, видя недоумение пани Витовской, поспешил крикнуть:

— Это герой Збаража, Ян Скшетуский! Тот, что сквозь вражеский стан пробился, спаситель войска, князя, всей Речи Посполитой! Да благословит их господь!

— Vivant! Vivant! Да здравствуют! — подхватила шляхта.

— Да здравствуют! — повторили княжеские драгуны, и громовое эхо прокатилось по топоровским полям.

— В Тарнополь! К князю! На свадьбу! — выкрикивал Заглоба. — Что, доченька? Конец твоим бедам!.. А Богуна — палачу и на плаху.

Ксендз Цецишовский стоял, возведя очи к небу, а уста его повторяли чудесные слова вдохновенного проповедника:

— «Сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью...»

Скшетуского усадили в карету рядом с княжной, и все двинулись в путь. День выдался дивный, погожий, поля и дубравы нежились под лучами солнца. В самых низинах и повыше, над перелогами, и еще выше, в воздушной голубизне, уже плавали там и сям серебрястые нити паутины, к концу осени словно снегом покрывавшей тамошние поля. Великое спокойствие царило окрест, лишь лошади бодро пофыркивали на дороге.

— Пан Михал! — говорил между тем Заглоба, цепляя носком сапога стремя Володыёвского. — Чего-то у меня опять комок застрял в глотке, как в тот день, когда пан Подбиытка — царство ему небесное! — из Збаража вышел: но едва подумаю, что эти двое наконец обрели друг друга, до того радостно делается на сердце, будто кварту хорошего вина залпом выпил! Ежели и тебе не придется связать себя узами брака, будем на старости лет ихних детишек нянчить. Всякому свое предназначено, пан Михал, мы же с тобой, пожалуй, для войны рождены, а не для семейной жизни.

Маленький рыцарь ничего не ответил, только усиками зашевелил быстрее обычного.

Друзья решили ехать в Топоров, а оттуда в Тарнополь, чтобы соединиться с князем Иеремией и вместе с его хоругвями отправиться во Львов на свадьбу. Дорогою Заглоба рассказывал пани Витовской о событиях последнего времени. Так она узнала, что король в Зборове после кровопролитной битвы, не принеся ни одной стороне победы, заключил договор с ханом — не слишком благоприятный, однако на какое-то хотя бы время обеспечивающий покой Речи Посполитой. Хмельницкий в силу этого договора по-прежнему оставался гетманом и получал право из бесчисленного множества своих сторонников отобрать сорок тысяч реестровых казаков, а за эту уступку присягнул королю и сословиям в верности и послушанье.

— Всякому ясно, — говорил Заглоба, — что с Хмельницким новая война неизбежна, но если только булава опять не обойдет нашего князя, все иначе совсем обернется.

— Что же ты пану Скшетускому главного-то не скажешь, — вмешался, подскакав к карете, маленький рыцарь.

— Ах, да! — воскликнул Заглоба. — Я с этого и хотел начать, да что-то мы все растерялись. Ты ведь не знаешь, Ян, что после твоего ухода случилось: Богун попал в плен к князю.

Скшетуского и Елену эта неожиданная новость так поразила, что они не могли вымолвить ни слова: княжна лишь развела руками, и настало молчание, которое первым нарушил Скшетуский.

— Как? Каким образом? — спросил он.

— Это перст божий, — ответил Заглоба, — перст божий, ничто иное. После заключения договора выходим мы из Збаража этого, будь он проклят... Князь с кавалерией на левом фланге — на случай, ежели нападут ордынцы... Они ведь сплошь да рядом договора нарушают... И вдруг ватага, коней эдак в триста, бросается на конницу князя.

— Один Богун мог такое учинить! — воскликнул Скшетуский.

— Он и был. Да не по зубам казачью збаражские солдаты! Пан Михал мигом их окружил, никого в живых не оставил, а Богуну два раза полоснул саблей — тут его и скрутили. Не везет

ему с паном Михалом, верно, он и сам это понял, — трижды как никак схватывался. Да и не искал он ничего другого, кроме как смерти.

— Мы потом уже узнали, — добавил Володыёвский, — что Богун вознамерился с Валадынки попасть в Збараж, да не успел — путь-то неблизкий, — а когда услышал, что мир заключен, от ярости, видать, умом повредился, и все ему ничем стало.

— Кто меч возьмет, от меча и погибнет, так уж фортуна распорядилась, — сказал Заглоба. — Безумец он, а от отчаяния сделался еще безумней. Ох, и заварилась по его милости каша — сброд освирипел, да и мы тоже. Я думал, снова война начнется: князь уже объявил, что трактат нарушен. Хмельницкий хотел было Богуну отбить, но тут хан взъярился. «Он, говорит, слово мое и присягу мою опозорил!» И войной Хмельницкому пригрозил, а к нашему князю прислал гонца, через которого передал, что Богун самовольно полез в драку, и еще попросил князя об истории этой позабыть, а с Богуном обойтись, как с простым бунтовщиком. Наверно, у хана и своя была корысть: чтобы татары могли ясырей увести спокойно — они их столько набрали, что теперь небось в Стамбуле мужика за два гвоздя купишь.

— И что же князь с Богуном сделал? — с тревогой спросил Скшетуский.

— Приказал было немедля колышек для него остругать, да потом раздумал и так сказал: «Дарю его Скшетускому, пусть делает с ним, что хочет». Сидит теперь казачина в Тарнополе в темнице; цирюльник ему башку перевязывает. Господи, сколько же раз от него душа отлететь хотела! Ни одному волку собаки так, как мы ему, не испортили шкуры. Сам пан Михал кусал трижды. Но это твердый орешек, хоть и несчастливец, сказать по правде. Пошли ему легкую смерть, боже! Я на него зла уже не держу, хоть он и моей крови возжаждал, — а на мне никакой вины нету: я и пил с ним, и дружбу водил, как с ровней, пока он на тебя, доченька, руки не поднял. Я ведь тоже его ножом мог пырнуть в Разлогах... Эх, давно известно, что нет благодарности на свете и добром за добро мало кто платить умеет. Бог с ним!..

И Заглоба долго качал головою...

— Что же ты с ним, Ян, будешь делать? — спросил он спустя некоторое время. — Солдаты говорят, на запятки поставишь — благо он мужик видный, — только мне верить не хочется, что ты таково поступишь.

— Конечно, нет, — ответил Скшетуский. — Великой отваги это воин и вдобавок несчастлив — тем более я его не принижу холопской работой.

— Да простит ему господь все его прегрешенья, — сказала княжна.

— Аминь! — добавил Заглоба. — Он смерть, словно мать,

молит, чтобы прибрала его... И, верно б, ее нашел, если бы не опоздал в Збараж.

Все умолкли, размышляя об удивительных превратностях судьбы, и ехали в задумчивости, пока в отдалении не показалась Грабова, где был устроен первый привал. Там уже собралась часть воинства, возвращающегося из Зборова, в том числе пан Витовский, каштелян сандомирский, со своим полком поспешавший навстречу супруге, и пан Пшиемский, и множество шляхты из ополчения, которая этим путем возвращалась домой. Усадьба в Грабовой была сожжена дотла, как и прочие строения, но день был чудесный, теплый и тихий, и путники, не нуждаясь в крыше над головой, расположились в дубаве под открытым небом. В съестных припасах и напитках не было недостатку, и челядь живо взялась готовить ужин. Каштелян сандомирский приказал разбить в дубаве десяток шатров для вельмож и слабого пола: получился как бы настоящий лагерь. Рыцари толпились перед шатрами — всем хотелось поглядеть на Скшетуского и княжцу Елену. Иные беседовали о недавней войне: те, что возвращались из Зборова, а под Збаражем не побывали, в подробностях выспрашивали у княжеских воинов об осаде. Шумно было и весело, к тому же и день господь подарил прекрасный.

Среди шляхты, конечно же, выделялся Заглоба, в тысячный раз рассказывавший, как зарубил Бурляя. Редзян тоже не сидел в стороне — он командовал челядью, приготовлявшей трапезу. Все же ловкий малый улучил удобную минуту и, отведя Скшетуского в сторонку, смиренно поклонился в пояс.

— Сударь мой, — сказал он, — хочу и я попросить о милости.

— Проси, — ответил Скшетуский, — разве могу я тебе в чем-либо отказать, когда всем лучшим в жизни обязан твоим заботам?

— Я сразу подумал, — признался слуга, — что ваша милость вознаградить меня пожелает.

— Говори: чего хочешь?

Пухлое лицо Редзяна потемнело, а глаза зажглись ненавистью и злобой.

— Не хочу я никакой награды, — сказал он, — об одном прошу: чтобы ваша милость мне Богуна уступил.

— Богуна? — переспросил удивленно Скшетуский. — Что же ты с ним делать станешь?

— Уж я, сударь мой, придумаю, чтоб и себя не обидеть, и ему с лихвой воздать за то, как он со мной в Чигирине обошелся. Ваша милость, конечно, смерти его предать велит — дозвольте же, сперва я с ним расквитаюсь!

Скшетуский нахмурился.

— Не будет этого! — сказал он твердо.

— О господи! Лучше бы мне погибнуть, — жалобно вскричал Редзян. — Неужто я затем только жив остался, чтобы до конца своих дней не избыть позора!

— Проси, чего хочешь, — сказал Скшетуский, — ни в чем не получишь отказа, но этому не бывать! Опомнись, спроси родительского совета, что есть большой грех: сдержать такой зарок или от него отказаться. Не пособляй своею рукой божьей карающей деснице — как бы самому не досталось. Стыдись! Человек этот и так у всевышнего смерти просит, к тому же изранен и лишен свободы. Кем же ты для него стать собираешься? Неужто катом? Ужели над связанным готов надругаться, раненого добьешь? Ты кто, татарин или лиходея казакский? Я, пока жив, этого не допущу. И не вспоминай больше.

В голосе рыцаря прозвучали такая сила и твердость, что слуга сразу потерял всякую надежду и только проговорил, чуть не плача:

— В полном-то здравии он с двумя такими, как я, играючи справится, а больному, выходит, мстить не пристало — когда же мне платить за свои обиды?

— Мечь предоставь богу, — промолвил Скшетуский.

Парень разинул рот, собираясь еще что-то сказать или спросить о чем-то, но пан Ян повернулся и пошел к шатрам, перед которыми собралось многолюдное общество. Посредине сидела пани Витовская, рядом с нею княжна, а вокруг толпились рыцари. Несколько впереди их стоял Заглоба с непокрытою головою и рассказывал об осаде Збаража тем, кто вернулся из-под Зборова. Слушали его, затаив дыханье, бледнея от волнения, и те, кому в Збараже не довелось быть, горько о том сожалели. Пан Ян сел подле княжны и, взяв ее ручку, поднес к губам — и так сидели они тихо, прижавшись друг к другу. Солнце уже покидало небесный свод, на землю спускался вечер. Скшетуский тоже заслушался, словно что-то новое для себя мог узнать. Заглоба только пот утирал со лба — и все более повышал голос... У одних в памяти вставали, а другим воображение рисовало недавние кровавые сцены: точно своими глазами, видели рыцари окопы в окружении несметных полчищ и ожесточенные штурмы, слышали вой и вопли, гром пушек и самопалов, и на валу, под градом пуль, видели князя в серебряных доспехах... И как потом пришли беда и голод, какие багровые стояли ночи, когда смерть громадной зловещей птицей кружила над валами... Как уходили из лагеря Подбиятка, Скшетуский... Слушая, рыцари то очи возводили к небу, то хватались за рукояти сабель, Заглоба же так закончил свой рассказ:

— И оставили мы там одни могилы, один огромный курган, а если под курганом тем не покоится гордость Речи Посполитой и цвет рыцарства, и князь-воевода, и я, и все мы, от самих казаков получившие прозвание збаражских львов, — его заслуга!

И с этими словами Заглоба указал на Скшетуского.

— Так и есть, воистину! — вскричали Марек Собеский и пан Пшиемский.

— Честь ему и слава! Благодарствуй! — загремели со всех

сторон зычные голоса рыцарей. — Vivat Скшетуский! Vivant молодая чета! Да здравствует герой! — все громче и громче раздавались восклицания.

Воодушевление охватило всех собравшихся. Одни побежали за чарками, другие подбрасывали вверх шапки. Зазвенели сабли в руках у солдат — и вскоре все звуки и голоса слились в единый возглас, грому подобный:

— Да здравствует! Слава! Слава!

Скшетуский, как истый рыцарь-христианин, смиренно опустил голову, княжна же поднялась, откинула косы — на щеках ее воспылал румянец, во взоре светилась гордость, ибо этот рыцарь должен был стать ее мужем, а мужняя слава для жены все равно, что солнечный свет для земли.

* * *

Поздней уже ночью разъехались собравшиеся в разные стороны. Чета Виговских, пан Пшиемский и староста красноставский отправились с полками в Топоров, а Скшетуский с княжной и хоругвью Володыёвского — в Тарнополь. Ночь была такой же погожей, как минувший день. Мириады звезд зажглись на небе. Луна, взойдя, осветила поля, покрытые паутиной. Солдаты затянули песню. Вскоре с лугов поднялся белый туман, и окрестность сделалась похожей на огромное озеро, залитое лунным светом.

Такою же ночью выходил недавно Скшетуский из Збаража, а теперь чувствовал, как бьется подле его сердца сердце княжны Курцевич.

ЭПИЛОГ

Величайшая в истории трагедия не закончилась ни под Збаражем, ни под Зборовом — даже первый ее акт там не завершился. Прошло два года, и все казачество вновь восстало на бой с Речью Посполитой. Поднялся Хмельницкий, более могущественный, чем когда-либо прежде, и с ним хан всех орд и те же самые полководцы, что осаждали Збараж: неистовый Тугай-бей, и Урум-мурза, и Артим-Гирей, и Нурадин, и Калга, и Амурат, и Субагази. Дымы пожаров, людские стоны сопутствовали им, тысячи воинов рассеялись по полям, заволокли леса, полмиллиона уст исторгали воинственные кличи — и казалось людям, настал последний час Речи Посполитой.

Но и Речь Посполитая пробудилась из оцепененья, отвергла прежнюю политику канцлера, отказалась от переговоров и перемирий. Ни у кого не осталось сомнений, что сколько-нибудь долгий мир лишь мечом завоевать можно, и, когда король двинулся

против неприятельских полчищ, с ним шли сто тысяч войска и шляхты, не считая челяди и обозной прислуги.

И, конечно, были среди них все герои нашего повествования. Князь Иеремия Вишневецкий со всей своею дивизией, в которой по-прежнему служили Скшетуский и Володыёвский и — волонтером — Заглоба; оба гетмана, Потоцкий и Калиновский, к тому времени уже выкупленные из татарского плена. И полковник Стефан Чарнецкий, будущий победитель шведского короля Карла Густава, и пан Пишемский, командовавший всей артиллерией, и генерал Убальд, и Арцишевский, и староста красновоставский, и брат его, староста яворовский, впоследствии король Ян III, и Людвиг Вейгер — воевода поморский, и Якуб — воевода мальборский, и хорунжий Конецпольский, и князь Доминик Заславский, и епископы, и коронные сановники, и сенаторы — вся Речь Посполитая во главе с верховным своим полководцем, королем.

На полях под Берестечком встретились наконец два огромных войска, и там произошло одно из величайших в истории мира сражений, отголоски которого прогремели на всю тогдашнюю Европу.

Три дня оно длилось. Первые два дня чаша весов колебалась — на третий состоялся решающий бой, который принес победу Речи Посполитой. Начал этот бой князь Иеремия. День первой встречи был днем, когда восторжествовала политика страшного Яремы, — и ему первому довелось ударить на врага.

Его видели на левом крыле: без доспехов, с непокрытою головою, как ураган, мчался он по полю навстречу несметной рати, объединившей запорожскую конницу, крымских, ногайских, белгородских татар, силистрийских и румелийских турок, урумов, янычар, сербов, валахов, периеров и других диких воинов, собранных с разных концов света — от Урала, Каспийского моря и Меотийских болот до самого Дуная.

И, как река исчезает из глаз в пенных морских волнах, так канули князьи полки во вражеское море. Пыль, бешено взвихрясь, смерчевой тучей повисла над равниной и скрыла сражающихся...

На это печеловеческое единоборство смотрело все воинство, включая и короля, а подканцлер Лещинский, подняв распятие, благословлял умирающих.

Меж тем на другой фланг королевского войска двинулся весь двухсоттысячный казачий табор, оцетинившийся пушечными дулами, извергающий огонь, точно сказочный змий, медленно разворачивающий на краю леса свои огромные кольца.

Но прежде чем на равнину выползло все громадное туловище змия, из облака пыли, поглотившего полки Вишневецкого, стали вырываться сперва одиночные всадники, затем десятки, сотни, тысячи, и вот уже десятки тысяч конников понеслись к холмам, на которых стоял хан в окружении отборных отрядов своего войска.

Охваченные безумной паникой толпы в беспорядке бросились бежать — польские полки погнались за ними.

Тысячи казаков и татар устлали своими телами поле брани — меж ними лежал, надвое рассеченный кончаром, заклятый враг ляхов и верный союзник Хмельницкого, неистовый и бесстрашный Тугай-бей.

Грозный князь торжествовал.

Король опытным взором полководца увидел успех князя и решил смять басурман, прежде чем подоспеет казацкое войско.

В бой были брошены все силы, все орудия грянули разом, сея смерть и смятение; одним из первых пал с пульей в груди великолепный Амурат, брат хана. Горестный вопль прокатился по рядам ордынцев. Устрашенный, раненный в самом начале боя хан окинул поле сражения взглядом. Вдалеке, в огне и пороховом дыму, показались Пшнемский и сам король с рейтарами, а слева и справа от них земля гудела под тяжестью вступающей в бой кавалерии.

И не устоял Ислан-Гирей — дрогнул и обратился в бегство, а за ним кинулись враспынную все татарские орды, и валахи, и урумы, и запорожская конница, и силистрийские турки, и потурченцы — и рассеялись, словно туча, гонимая ветром.

Убегающих догнал повергнутый в отчаяние Хмельницкий — он хотел умолить хана вернуться на поле боя, но хан при виде его гневно взревел и, приказав татарам схватить гетмана и привязать к коню, увлек за собою.

Остались только казачьи отряды.

Предводитель казаков, кропивенский полковник Дедяла, не знал, что с Хмельницким, но видя разгром и позорное бегство ордынцев, остановил своих людей и, отступив, расположился табором в болотистой развилке Плешовой.

Меж тем разразилась гроза и дождь хлынул с небес неудержимым потоком. «Господь омыл землю после справедливой битвы».

Дожди шли безостановочно несколько дней, и несколько дней отдыхало королевское войско, измотанное в предыдущих сраженьях; казаки же тем временем окружили свой табор валами, уподобив его гигантской подвижной крепости.

Едва прекратились дожди, началась осада — самая удивительная изо всех, какие когда-либо случались.

Стотысячное королевское войско окружило вдвое более многочисленную армию Дедялы.

Королю не хватало пушек, провизии, боевых припасов — у Дедялы пороха и прочих запасов было в избытке, а сверх того, семьдесят тяжелых и легких орудий.

Но во главе королевского войска стоял король — казакам же недоставало Хмельницкого.

Королевские воины одушевлены были недавней победой — казаки усомнились в себе.

Миновало несколько дней — надежда на возвращение Хмельницкого и хана исчезла.

Тогда начались переговоры.

Казацкие полковники пришли к королю и били челом и просили оказать снисхождение; обходя шатры сенаторов, за одежды цеплялись, обещая хоть из-под земли достать и выдать королю Хмельницкого.

Сердцу Яна Казимира не чуждо было состраданье — он пообещал отпустить по домам черный люд и простых воинов с тем условием, что задержит старшин, пока ему не будет выдан Хмельницкий.

Однако такое решение старшин никак не устраивало: за бессчетные свои проступки они не надеялись получить прощенье.

Пока шли переговоры, не прекращались отчаянные вылазки и схватки, польская и казацкая кровь каждый день лилась рекою.

Днем казаки бились с отвагой и упорством отчаяния, но ночью толпами бродили вокруг королевского лагеря, угрюмо моля о милосердии.

Десяля готов был принять условия короля и даже пожертвовать своей головою, чтобы спасти народ и войско.

Но в казацком таборе начались раздоры. Одни хотели сдать-ся, другие — защищаться до последнего, и все искали способа выбраться из лагеря.

Впрочем, даже отважнейшим из них это казалось невысказанным.

Табор заперт был двумя рукавами реки и бескрайними болотами. Обороняться в нем можно было годами, путь же к отступлению был только один: через королевское войско.

Об этом пути никто в таборе и не помышлял.

Переговоры, прерываемые схватками, тянулись лениво; раздоры среди казачества вспыхивали все чаще. Во время одной такой вспышки Десяля был смещен и на его место выбран новый предводитель.

Имя его вселило отвагу в павших духом казаков и, пронесясь громким эхом по королевскому стану, оживило в сердцах нескольких рыцарей смутные воспоминанья о недавних страданиях и бедах.

Нового предводителя звали Богун.

Он и раньше занимал высокое положение среди казацкой старшины, верховодил в боях и на радах. В нем видели преемника Хмельницкого, которого он даже превосходил в ненависти к ляхам.

Богун первым из казацких полковников одновременно с татарами привел под Берестечко пятидесятитысячное войско. Он участвовал в трехдневном конном сражении и, будучи вместе с ханом и ордынцами разгромлен Иеремией, сумел вывести живыми большую часть своих людей, с которыми и нашел убежище

в таборе. Теперь, после свержения Деялы, партия непримиримых избрала его верховным военачальником, веря, что ему одному по силам будет спасти табор и войско.

И в самом деле, новый полководец слышать не хотел о переговорах — он жаждал боя и пролития крови, даже если ему самому суждено было в этой крови захлебнуться.

Однако вскоре он убедился, что с его отрядами нечего и думать с оружием в руках пройти по трупам королевских воинов, и ухватился за другое средство.

История сохранила память о тех беспримерных усилиях, которые современникам казались по плечу гиганту, — но только так можно было спасти чернь и войско.

Богун решил перейти бездонные болота Плешовой, а вернее, построить через них такую переправу, чтобы вывести всех осажденных.

Целые леса стали валиться под топорами казаков и утопать в трясине, в болото летели телеги, палатки, кожухи, свитки — и мост с каждым днем удлинялся.

Казалось, для этого вождя невозможного не существует.

Король медлил со штурмом, желая избежать кровопролития, но, видя кипевшую в таборе работу, понял, что иного выхода не остается, и приказал трубачам оповестить войско, чтобы к вечеру все были готовы к решающему сраженью.

Никто в казацком таборе не знал о намерениях врага — мост наращивали всю предыдущую ночь, и на рассвете Богун со старшинами отправился осматривать проделанную работу.

Был понедельник седьмого июля 1651 года. Утро в тот день занялось бледное, словно испуганное, заря на востоке была цвета крови, солнце вставало недужное, ржавое, кидая кровавый отблеск на леса и воды.

Из польского лагеря выгоняли пастись лошадей; казацкий табор наполнился голосами пробуждающихся ото сна людей. Осажденные, разведя костры, готовили завтрак. Все видели, как уезжал Богун со своею свитой и конницей, с которой он собирался отогнать воеводу брацлавского, расположившегося у табора в тылу и пушечным обстрелом препятствующего работам у переправы.

Чернь глядела на их отъезд спокойно и даже несколько приободрилась. Тысячи глаз провожали молодого военачальника, и тысячи уст ему вслед повторяли:

— Благослови тебя бог, сокол!

Предводитель, старшины и конница, медленно отдаляясь от табора, достигли лесной опушки, мелькнули напоследок в лучах встающего солнца и стали исчезать меж деревьев.

Вдруг кто-то у ворот лагеря крикнул — и не крикнул даже, а диким, испуганным голосом завыл:

— Люди, спасайтесь!

— Старшина бежит! — закричали десятка два голосов разом.

— Старшина бежит! — повторили сотни и тысячи людей.

Гул прокатился по всему табору, словно под ударами вихря зашумели в бору деревья, — и тотчас же из двухсот тысяч глоток вырвался душераздирающий, пчеловеческий вопль: «Спасайтесь! Спасайтесь! Ляхи! Старшина бежит!»

Толпа взбурлила, как весенний поток. Костры были затоптаны, телеги, палатки опрокинуты, рогатки свесены, люди давились, душились; страшная паника всех лишила рассудка. Горы тел в мгновение выросли на дороге — живые карабкались по трупам среди рева, воя, визга, стонов. Толпа выплеснулась с майдана, кинулась на мост — одни других сталкивали в болото, утопающие судорожно хватались друг за друга и, взывая к небесам о милосердии, проваливались в холодную зыбкую трясину. На мосту началась рукопашная и резня из-за места. Воды Плешовой наполнились телами. Немезида истории определила Берестечку стать страшною платой за Пилявцы.

Ужасные вопли достигли слуха молодого вождя, и он сразу понял, что случилось. Но напрасно сей же час повернул он к табору, напрасно помчался навстречу толпам, воздев к небесам руки. Голос его потерялся в реве тысяч глоток, неукротимый поток бегущих подхватил его вместе с лошадей, старщинами и всею конницей и повлек навстречу гибели.

Коронные войска ошеломлены были открывшимся зрелищем и поначалу приняли эту сумятицу за отчаянную попытку прорваться — однако трудно было не поверить своим глазам.

Каких-нибудь несколько минут спустя, едва миновало удивление, все хоругви, не дожидаясь приказа, бросились на казаков; впереди как ураган летела драгунская хоругвь, возглавляемая маленьким полковником с обнаженной саблей в руке.

И настал день гнева, поражения и суда... Кто не был затоптан или не утонул, от меча погибнул. Реки сделались красны: непонятно было, кровь они несут или воду. Толпа обезумела, в сумятице люди давили друг друга, и сталкивали в воду, и шли ко дну... Дух убийства пронизал самый воздух в тех ужасных лесах, вселился в каждого: казаки с яростью стали защищаться. Схватки завязывались на болоте, в чаще, посреди поля. Воевода брацлавский отрезал убегающим путь к отступленью. Тщетно приказывал король своим воинам остановиться. Жалость несякла в сердцах, и резня продолжалась до самой ночи — такая резня, какой не доводилось видеть и старым, бывалым солдатам: при воспоминании о ней у них долго еще волосы на голове шевелились.

Когда же наконец тьма окутала землю, сами победители устрашились того, что сотворили. Не прозвучало над лагерем «Те Деум» и не радости слезы, но слезы печали и состраданья катились из благородных королевских очей.

Так был разыгран первый акт драмы, авторство которой принадлежало Хмельницкому.

Но Богун в тот страшный день не сложил головы вместе с иными. Одни говорили, что, увидя неизбежность разгрома, он первый спасся бегством, другие — что ему сохранил жизнь знаковый рыцарь. Правды так никто и не узнал.

Одно лишь мы доподлинно знаем: в последующих войнах имя его часто упоминалось среди имен наиславнейших казацких вождей. Посланная чьей-то мстительной рукой пуля настигла его несколькими годами позже, но и тогда еще закончить земной путь ему не настало время. После кончины князя Вишневецкого, не выдержавшего трудов бранной жизни, когда лубненская его держава была отторгнута от Речи Посполитой, Богун завладел большей частью этих земель. Говорили, что под конец он и Хмельницкого над собою признавать отказался. Сам Хмельницкий, сломленный, проклинаясь собственным народом, искал покровительства на стороне, гордый же Богун отказывался от всякой опеки и готов был саблей защищать свою казацкую вольность.

Говорили также, что улыбка никогда не показывалась на лице этого необыкновенного человека. Жил он не в Лубнах, а в деревушке, которую отстроил на пепелище и которая называлась Разлоги. Там как будто и умер.

Междоусобные войны пережили его и тянулись еще долгое время. Потом пришел мор, потом шведы. Татары стали постоянными гостями на Украине и всякий раз толпами уводили местный люд в неволю. Пустела Речь Посполитая, пустела и Украина. Волки выли на развалинах городов; цветущий некогда край превратился в гигантскую гробницу. Ненависть выросла в сердца и отравила кровь народов-побратимов, и долгое время ни из одних уст нельзя было услышать слов: «Слава в вышних богу, и на земле мир, в человеках благоволение».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Роман «Огнем и мечом» открывает историческую трилогию Сенкевича, посвященную польскому феодальному прошлому и охватывающую время с конца 40-х до 70-х годов XVII столетия.

Украина, где происходит действие произведения, изображена здесь в драматический и величественный момент своей истории, в годы всенародного восстания, которое привело к воссоединению Украины и России. Значение совершившихся тогда событий не было во времена Сенкевича всесторонне и объективно уяснено ни в польской исторической науке, ни в общественной мысли. Легко заметить, что данная в романе трактовка существенно (иногда разительным образом) расходится с нашим сегодняшним их пониманием, что автор освещает их отнюдь не в перспективе украинской истории, а с точки зрения их роли в судьбах шляхетской Речи Посполитой, которая к XVII веку завладела большей частью украинских земель.

Феодальная раздробленность Руси и последствия монголо-татарского нашествия привели к тому, что южнорусские земли вошли в состав соседних государств. Закарпатье еще в XI веке захватила Венгрия. Северная Буковина к XIV веку отошла к Молдавскому княжеству. Польские феодалы в XIV веке овладели Галичиной и частью западной Волыни. Тогда же к Литве были присоединены восточная Волынь, Подолия, Чернигово-Северщина, Киевщина, Переяславщина. В конце столетия произошло сближение Литвы с Польшей, нашедшее выражение в Кревской унии 1385 года (великий князь Ягайло, вступив в брак с королевой Ядвига, стал польским королем под именем Владислава II Ягелло; в 1387 г. Литва официально приняла католичество). Соединение сил двух государств способствовало отражению агрессии Тевтонского ордена (Грюнвальдская битва 1410 г.). В то же время образование польско-литовского государства (с середины XV в. польский и литовский престол занимали одни и те же лица из династии Ягеллонов) облегчило иноземную феодальную экспансию на украинские и белорусские земли. Новую переменную принесла Люблинская уния 1569 года, когда Литва объединилась с Польшей в единую Речь Посполитую, у которой был один король и общий сейм. При этом Великое княжество Литовское и Королевство Польское (именуемое и просто «Корона») сохраняли известную обособленность (свое войско, бюджет, администрация и суды). От Литвы к Короне перешли и Правобережная Украина, и Левобережная (шляхта именовала ее, как видно из романа, Заднепровьем). В середине XVII века украинские

земли делились на воеводства, чьи названия то и дело встречаются у Сенкевича: Русское (со Львовом), Волинское, Подольское, Брацлавское, Киевское, Черниговское (Северская земля в XVI — начале XVII в. входила в состав Русского государства, но затем была захвачена польскими феодалами).

На Украине начали утверждаться порядки, которые в предшествующее унии столетие сложились на «коронных» землях. Для феодала в Польше главным делом стала уже не «рыцарская служба», а деревенское хозяйствование. Продукты его прибыльно сбывались. От крестьянина землевладелец стремился получить даровой труд, а не денежный оброк. Росла барская запашка, и безудержно увеличивалась барщина. Предельно урезывался мужицкий надел. С ростом магнатского и шляхетского землевладения крепостной гнет усилился до небывалых размеров. Именно это должно быть главным и решающим при оценке тех рассуждений о роли польской шляхты на Украине, с которыми сталкивается читатель на страницах романа «Огнем и мечом».

Украинский народ жил под тройным гнетом: социальное порабощение дополнялось гнетом национальным и религиозным. В 1596 году в результате Брестской унии была создана униатская церковь, признавшая главенство римского папы. Насильственное насаждение унии означало гонения на язык и культуру сформировавшейся украинской народности. Польша переживала эпоху контрреформации, шляхта в большинстве своем была настроена фанатически. Часть украинских феодалов, светских и духовных, ополячилась и окатоличилась, стремясь в полной мере воспользоваться привилегиями, которые имел господствующий класс Речи Посполитой.

Политическое устройство шляхетской республики ко времени действия романа не только окончательно сложилось, но и успело вполне обнаружить свои теневые стороны. Шляхта в предшествующие века добилась комплекса прав и льгот (неприкосновенность личности и имущества, освобождение от налогов, сословное представительство, монополия на государственные должности и т. д.). В числе их было право избирать короля. Первая «вольная элекция» состоялась в 1572 году, когда со смертью Зыгмунта (Сигизмунда) II Августа пресеклась династия Ягеллонов и королем был избран Генрих Валуа, а после его спешного отъезда во Францию — Стефан Баторий. Тот же порядок действовал при избрании преемников: Зыгмунта III Вазы и его сыновей, Владислава IV и Яна Казимира. Выборы готовил «конвокационный» сейм, а производил «элекционный». В Варшаву вместе с послами на сейм стекались целые массы шляхты. На «элекционном» поле шляхта располагалась вокруг места, где заседал сенат во главе с примасом, высшим церковным сановником в Польше, который во время «бескорольевья» являлся «интерреksom», то есть особой, замещающей короля, и по результатам голосования объявлял, кто избран на престол. Обычно выборы являлись поводом для интриг и борьбы магнатских группировок, для вмешательства иностранных держав и не способствовали укреплению центральной власти.

На своих собраниях по провинциям (сеймиках) шляхта выбирала депутатов нижней палаты сейма («посольская изба»). В верхней палате, сенате, заседали вместе с королем высшие сановники государства. Сейм, при-

нимавший постановления единогласно (правило «либерум вето»), имел решающий голос в важнейших государственных делах и королевскую власть существенно ограничивал. Шляхтой ради достижения определенных политических целей создавались также на время вооруженные объединения — конфедерации. Они могли являться «генеральными», с участием короля, или направленными против последнего (тогда это был «рокош», бунт), могли провозглашаться сеймом (дабы обойти требование единогласия по слов) и были обязательны для периода бескорольева.

Поскольку богатейшие из землевладельцев командовали зависимой от них шляхтой победнее, владели самыми разнообразными способами влиять на выбор послов, на решения сеймиков, сейма, конфедераций, в стране с конца XVI века фактически установилась магнатская олигархия. Многие из королей, в том числе Вазы, пытались как-то изменить положение. Но шляхта как огня боялась установления абсолютной монархии и ревностно оберегала свои (даже ставшие формальностью) привилегии, которыми, что прекрасно показано Сенкевичем, необычайно гордилась.

По закону все шляхтичи были равны между собою. Девиз, гласивший, что шляхтич, у которого есть дом и клочок земли, равен воеводе, превратился в поговорку. На деле, конечно, равенства не было. Сила сплошь и рядом брала верх над правом. С помощью вооруженной шляхетской ватаги можно было расправиться с недругом, завладеть чужим имуществом. Сила была в руках магнатов. Они получали огромные доходы со своих латифундий, владели множеством деревень и городов, имели возможность держать многочисленный двор и собственное войско. Они занимали места в сенате (само наличие сенаторов в роду свидетельствовало о его знатности). Из их среды выходили епископы и архиепископы. Они назначались на должности общегосударственного значения (таковые, как правило, существовали отдельно для Короны и для Литвы): в войске, например, великий гетман (коронный или литовский), польный гетман, великий хорунжий, обозный (квартирмейстер) и т. д.; при дворе — маршалок, надворный маршалок; в администрации — канцлер, подканцлер, подскарбий (ведавший казной) и др. Магнаты занимали высшие посты и в местном управлении, становились воеводами и каштелянами (правитель области с городом-замком в центре), что давало право на кресло в сенате. Старостам, то есть правителями земель и провинций, начальниками замков и городов с прилегающей округой, управляющими королевских имений тоже делались, если речь шла о крупных и доходных территориях, как правило, магнаты.

Самые обширные магнатские владения образовались как раз на Украине и принадлежали таким известным фамилиям, как Потоцкие, Конецпольские, Калиновские и др. Имена эти часто попадаются на страницах «Огнем и мечом»: великим коронным гетманом являлся в 1646—1651 годах Миколай Потоцкий, разгромленный казаками под Корсунем и попавший на два года в турецкий плен, польным коронным гетманом — разделивший судьбу Потоцкого Марцин Калиновский (ок. 1605—1652 гг.; был разбит и погиб в Батогской битве), одним из незадачливых региментариев шляхетского войска в сражении под Пилявцами — Александр Конецпольский (1620—1659). Некоторые феодальные роды были местного происхождения, как, например, Заславские, один из которых, Владислав Доминик (1618—1656), тоже был

регентарием (так назывался воепачальник, замещавший гетмана и командовавший всем войском либо его частью). Он имел самые крупные владения на Волыни.

Иеремия Вишневецкий (1612—1651), которому столько места уделено в романе, католичество принял только в девятнадцатилетнем возрасте, после обучения у иезуитов во Львове, в Италии, Испании. В глазах украинцев этот потомок местного княжеского рода был вероотступником и изменником. Он владел на Левобережье целым «государством» с населением в 228 тысяч человек, куда входила почти вся Полтавщина, в Лубнах устроил себе столицу, располагал также имениями на Волыни и в Полесье. Восставшие на Украине лишили его большей части земель: неудивительно, что он стоял за беспощадно жестокою расправу с его участниками. На роль бескорыстного и дальновидного патриота он, движимый эгоистическими интересами, боровшийся против укрепления центральной власти в Польше, никак не подходил — вопреки всему, что сказано у Сенкевича. (Это отмечали и польские современники писателя.) У шляхты XVII столетия князь и вправду был популярен, считался чуть ли не героем, а именно ее отношение к событиям и лицам отразилось — через изученные автором источники — в «Огнем и мечом». Воинские таланты князя тоже не стоит преувеличивать. Он участвовал в войне с Россией 1632—1634 годов, в подавлении крестьянско-казацких восстаний, случалось, что и отличался в битвах, но знал и чувствительные неудачи. Восставшими казаками и крестьянами Вишневецкий, какой бы ужас ни внушала его невероятная жестокость (Сенкевич ее ничуть не преувеличил), бывал неоднократно бит.

Многие из персонажей «Огнем и мечом» принадлежат к среднепоместной шляхте, владея одной либо несколькими деревнями. Самый богатый из таких помещиков в романе пан Лонгин Подбиытка (Подбиента), у которого список деревенских владений весьма-таки длинен и который вохот из чести и по обету, а не за жалованье. Подобной шляхте из должностей в местном управлении были доступны так называемые «земские чины», рангом ниже в сравнении с магнатскими. (Воеводства в Речи Посполитой делились на «поветы», т. е. уезды, сохранялись в ряде случаев и «земли» — административные единицы меньшие, нежели воеводства.) Отдельные из чинов были связаны с несением определенных обязанностей (подкоморий, например, решал земельные споры). Некоторые по происхождению восходили еще к временам феодальной раздробленности и когда-то обозначали выполнение определенных функций при местном дворе (например, чесник был смотрителем княжеских погребов, подचाший пробовал подаваемые к столу напитки, ловчий ведал охотой, мечник носил меч впереди своего господина, хорунжий — его стяг, стольник надзирал за кухней и подачей блюд, кравчий прислуживал за столом и т. д.), но с течением времени превратились просто в почетные титулы. (Обилие их — особенность шляхетской Речи Посполитой, которая не должна ни удивлять читателя, ни наводить на мысль о важности всех титулуемых персон.)

Были и так называемые загородные шляхтичи, которые владели усадьбами, но не имели крестьян. Существовал и слой, именовавшийся шляхетской голытьбой, те, кто не имел и земли. Естественно, чем беднее был шляхтич, тем большей была его зависимость от людей побогаче.

Мелкая и средняя шляхта, которая либо не имела чем жить, либо стремилась увеличить состояние, должна была поступать на службу и искать милости у магнатов. Последние же нуждались в шляхетских голосах и саблях. В войске Вишневецкого служат главные герои «Огнем и мечом». Множество шляхтичей занимали самые разнообразные должности при магнатских дворах, находились там на положении приживальщиков или дальних и бедных родственников, были в имениях управителями, экономами, надзирателями, конторщиками, составляли свиту кормильца и его дворню. За плату и обязательство служить либо в награду за службу шляхтич мог получить у землевладельца покрупнее в аренду имение или часть его. Крестьянам в подобных случаях приходилось совсем несладко: арендатор (особенно получивший деревню на короткий срок) стремился выжать из крестьян как можно больше, обдирав их как липку и доводил до полного разорения. (На Украине эта практика была в XVII в. весьма распространена.) «Худородность» шляхтича частенько сочеталась с отменной жадностью и неразборчивостью в средствах, что Сенкевич запечатлел в характере Редзяна (Жендзяна).

Старинная шляхта в «Огнем и мечом» показана отнюдь не в мирных деревенских занятиях. Войны в жизни Речи Посполитой XVII столетия следовали одна за другой. Поэтому на страницах трилогии много говорится о тогдашней войне, ее устройстве и снаряжении.

В распоряжении центральной власти было наемное, получавшее жалование, так называемое квартиное, или квартиное, войско численностью от 4 до 6 тысяч солдат. Оно содержалось за счет квартиры — налога, составлявшего четверть дохода с королевских имений. Свои войска, как уже говорилось, содержали магнаты. В случае нужды могло быть созвано всеобщее ополчение (посполитое рушенье), состоявшее главным образом из шляхты. Формирования могли быть двух родов: польского (народового) или иноземного строя. Первые комплектовались так: товарищ (то есть рыцарь, латник, считавшийся равным своему командиру и высшим по чину в сравнении с иноземными офицерами) приводил на службу нескольких, в зависимости от средств, рядовых — почтовых. Они делились на хоругви под командованием ротмистра (он и формировал хоругвь) и поручика (в случае их отсутствия командовал наместник из товарищей). Герои Сенкевича служили, конечно, в кавалерии. Она была разных родов. Гусары — тяжело вооруженные, в латах, с прикрепленными к седлу и панцирю металлическими крыльями — использовались для нанесения решающего удара по врагу, прорыва его строя. Среднее вооружение имели панцирные хоругви, казаки и пятигорцы (в Литве). К легкой кавалерии относились хоругви татарские и валахские. Существовала так называемая выбранецкая пехота (солдаты ее выбирались из крестьян королевских имений). На страницах романа появляются также роты и полки (регименты) иноземного строя. Это были рейтары, аркебузиры, драгуны, пехота. Владислав IV заводил артиллерию, налаживал инженерное дело.

Этой военной силе (XVII в. считается временем расцвета польского военного искусства, что подтвердила в 1683 г. битва под Веной) с успехом противостояли и наносили поражения полки украинских казаков, отряды восставших крестьян.

Казачество на Украине пополнялось за счет крестьян и горожан, бегжавших в малозаселенные районы Поднепровья и Побужья. Этот процесс особенно усилился во второй половине XVI века. Тогда же в низовьях Днепра возникла Запорожская Сечь и сложилась военная организация запорожского казачества, которое неоднократно, со времен гоголевского «Тараса Бульбы», красочно изображалось в нашей литературе. Обнаружились и социальные противоречия внутри казачества: рознь между казацкой старшиной (частично происхождением связанной со шляхтой) и рядовыми казаками.

Украинские и польские земли находились под постоянной угрозой с юга, со стороны султанской Турции, а также ее вассалов. Украина (как и Русское государство) страдала от опустошительных набегов орд крымского хана. Со стороны Дикого Поля (степей на восток от Буга, у низовий Днепра) всегда можно было ждать нападения. Казаки в борьбе с этой опасностью всегда были большой и надежной силой. Когда в 1621 году под Хотинем было остановлено нашествие полчищ султана Османа II, казацкое войско, которое вел гетман Сагайдачный, сражалось вместе с польскими силами под командованием гетмана Ходкевича и сыграло в одержанной победе исключительно важную роль. Казаки предпринимали бесстрашные походы на Килию и Измаил, Синоп и Варну, Трапезунд и Стамбул.

Власти Речи Посполитой стремились использовать казаков прежде всего против Турции и Крыма. Вместе с тем они пытались расколоть, разединить казачество, с тем чтобы его верхушка содействовала закреплению шляхетского господства на Украине. Часть зажиточных казаков была привлечена на государственную службу и внесена в особый список-реестр. Реестровые казаки получали жалованье, имели свой суд и самоуправление. Польская шляхта на Украине, разумеется, препятствовала расширению реестра, всячески стремилась его сократить, добивалась превращения казаков в крепостных. Когда в XVI—XVII веках на Украине участились антифеодальные выступления народных масс, казаки — реестровые и нереестровые — тоже защищали свои права и поднимались на борьбу. Восстания вспыхивали и в 90-е годы XVI века (крупнейшие из них возглавлялись Криштофом Косинским, Северином Наливайко). В 30-е годы следующего столетия произошли восстания, руководимые Тарасом Федоровичем (Трясило), Иваном Сулимой, Павлом Бутом (Павлюком), Яковом Остриянином, Карпом Скиданом, Дмитрием Гуней. Не Хмельницкий взбунтовал Украину, как хотелось бы сказать Сенкевичу, — он сделал то, чего от него ждал народ.

После подавления выступлений 30-х годов положение на Украине стало особенно невыносимым. Притеснения и расправы, пытки и казни, грабеж имущества и захват земель затронули все слои украинского населения. Взрыв народного гнева был неминуем.

Сепкевич на ряде страниц романа признает, как можно заметить, серьезность причин, вызвавших восстание, и не скрывает, насколько сильна была народная ненависть к угнетателям. Немало в «Огнем и мечом» и таких эпизодов, в которых рисуются удаль и отчаянная решимость казаков, их презрение к смерти и безграничное вольнолюбие. Насколько правдив был романист в таких эпизодах, можно судить по зарубежным источникам. Француз Боплац, находившийся перед восстанием на Украине, пишет о на-

ходчивости, щедрости казаков, их привязанности к свободе и нежелании терпеть гнет. Турецкий хронист запорожцев описывает так: «Можно с уверенностью сказать, что нельзя найти на земле людей более смелых, которые бы так мало заботились о своей жизни и так мало боялись бы смерти».

Еще больше, разумеется, в книге мест, где в гиперболическом, даже наивно-сказочном духе рисуются подвиги польских воинов в схватках с казаками. «Огнем и мечом» — это, несомненно, роман о польской шляхте на Украине, а не повествование об освободительной борьбе украинского народа, так что художественную правду об этом событии лучше искать не у Сенкевича, а у других писателей, прежде всего украинских.

1648—1654 годы на Украине — это яркая страница нашей отечественной истории. Значение завоеванного тогда единства раскрыто в современных научно-исторических трудах, произведениях литературы и искусства. «Воссоединение Украины с Россией знаменовало поворотный этап в жизни украинского народа; оно определило его дальнейшее историческое развитие и навеки соединило судьбы братского украинского и русского народов. В составе Русского государства Украина была спасена от поглощения ее агрессивными соседями — шляхетской Польшей и султанской Турцией. На защиту Украины выступило сильное Русское государство, способное противостоять иноземным захватчикам. Воссоединение Украины с Россией имело большое значение и для Русского государства, оно усиливало его мощь и укрепляло международное положение» (История Украинской ССР, т. 1, Киев, 1969, с. 240).

Читатель, знакомясь с романом, неизбежно сопоставит трактовку событий Сенкевичем с историческими фактами, зафиксирует промахи и неверные оценки, обратит внимание на то, какие исторические факты отбирает художник для своего повествования. Для наблюдений такого рода материала в романе много.

При оценке батальных полотен прославленного романиста надо, например, учитывать, что, идя за шляхетскими историческими свидетельствами, он зачастую преувеличивает размеры казацкого войска, а также численность и боеспособность орд крымского хана. Ход военных действий освещен в романе выборочно, что предусматривалось и его сюжетной конструкцией. Лишь первое из выигранных казаками сражений (в урочище Желтые Воды 5—6 мая 1648 г.) описано в книге относительно подробно. О ходе второго (16 мая под Корсунем), о полном разгроме шляхетского войска и пленении двух гетманов находящийся неподалеку под охраной казаков герой романа узнает, слыша крики прибывающих с поля боя вестников. В третьем (под Пилявцами 11—13 сентября того же года) основные персонажи опять-таки не участвуют: сослуживцы рассказывают им о поражении, которое потерпело шляхетское войско, и о паническом бегстве его остатков. Осада Збарая (июль — август 1649 г.) становится в повествовании главным событием, а вот битва под Зборовом (5—6 августа), когда успех был на стороне казаков, шляхта полностью потеряла боевой дух и лишь предательство подкупленного Польшей хана спасло армию Яна Казимира от полного разгрома, вынудило Хмельницкого согласиться на Зборовский мир, Сенкевичем лишь вскользь упомянута. В эпилоге говорится о выигранной шляхетским войском (опять-таки вследствие изменнического бегства с поля

боя крымского хана) битве под Берестечком (18—20 августа 1651 г.), а дальнейшие события (начиная с явившейся венцом полководческого искусства Хмельницкого битвы на Батогском поле, когда 22—23 мая 1652 г. была окружена и уничтожена 20-тысячная армия гетмана Калиновского) остаются за пределами повествования.

По ряду соображений, которые связаны были, надо полагать, и со взглядами автора, и с характером источников, и с цензурными условиями, Сенкевич совершенно не касался роли Русского государства в происходящих событиях, помощи деньгами, оружием, продовольствием, политико-дипломатической поддержки (в войну с Польшей Россия по ряду причин сразу вступить не могла), которую оно оказало восставшему украинскому народу. Известно между тем, что с самого начала восстания Хмельницкий установил связь с русским правительством, призывал царя пойти войной на Речь Посполитую, помочь Украине. Он направлял в Москву своих послов, принимал послов русского правительства. Переговоры продолжались и в годы, которые остались за пределами действия романа «Огнем и мечом». Итог им подвели Земский собор 1651 года, который высказался за воссоединение двух народов, собор 1653 года, вынесший решение о принятии в русское подданство гетмана Хмельницкого с войском, городами и селами, а затем историческая Переяславская рада от 8 января 1654 года.

Сенкевич верен истории, когда показывает, что в отношении к восстанию внутри польского правящего класса не было единства, что были «военная» партия, партия владельцев обширных имений на Украине, и партия «мирная», которую возглавлял выдающийся государственный деятель старой Польши канцлер Ежи Оссолинский (1595—1650), и представлял, наряду с другими, занимающий заметное место в романе Адам Кисель (1600—1653), каштелян, воевода и сепатор, популярный среди части шляхты, державшейся православия. Только стоит учесть, что определение «мирная», как отмечают историки, довольно-таки условно, что эта партия тоже хотела подавить восстание, но имела свой взгляд на методы действия и выбор момента, учитывала, что кровавый террор лишь сплотит еще крепче украинский народ и не удастся вбить клин между казачеством и «чернью», стремилась при помощи разного рода обещаний оторвать казацкую старшину от народных масс. Бесспорно, конечно, что именно эта партия служила своему сословию и государству гораздо умнее, нежели ее противники. Об этом писал в рецензии на «Огнем и мечом» еще Болеслав Прус. И не привлекли внимания Сенкевича, да и не укладывались в сюжет романа, многочисленные факты, свидетельствовавшие о том, что на коренных польских землях, среди крестьян и мещанства, были люди, сочувствовавшие восстанию украинского народа, что ряд антифеодалных выступлений этих лет произошел под прямым влиянием свершавшихся на Украине событий. Особенно значительным было, как известно, крестьянское восстание, вспыхнувшее в 1651 году в Краковском воеводстве и возглавленное Косткой Наперским.

Говоря о Богдане Хмельницком, славном сыне украинского народа, Сенкевич, хоть и видит в нем человека незаурядного, отважного, судьбою предназначенного для больших дел, все-таки не отдает должного его государственной мудрости, его выдающемуся полководческому и дипломатиче-

скому таланту. Прус недаром писал о том Хмельницком, который представлен в романе: «Он впечатляет как сильный и страстный характер, но не как вождь мятежа. Кричать, злиться, пьянствовать, казнить — это не черты предводителя восстания. Где его цели и планы, где колючие тернии, которые он хочет обломать, где способы, которые он ради этого применяет?»

Хмельницкому к 1647 году, когда начинается действие романа, было больше 50 лет. На Украине он пользовался известностью и уважением. Сын мелкого православного шляхтича, Богдан учился во Львове, был образованным для того времени человеком, хорошо владел, например, несколькими иностранными языками, отличался зрелым и тонким умом, умением обходиться с людьми. Еще в 1620 году Хмельницкий участвовал в битве под Цецорой, побывал в турецком плену. В борьбу против магнатско-шляхетского произвола он вступил не после того, как сам стал его жертвой (изображенный в романе чигиринский подстароста Чаплицкий с согласия старосты Конецпольского не только разграбил хутор Хмельницкого, но и засек батогами его малолетнего сына), а гораздо раньше. Состоя в реестровом войске, Хмельницкий принял участие в народном движении 1637—1638 годов, занимал должность войскового писаря (после восстания стал чигиринским сотником). В 1645 году его посылали во Францию для переговоров об участии казаков в войне с испанскими Габсбургами. Владислав IV, стремясь привлечь казаков на свою сторону, вступил с популярным на Украине Хмельницким в тайные сношения с мыслью об организации похода против Крыма и Турции. Хмельницкий же стал активно готовить новое народное восстание, наладил связь с Запорожьем. Магнаты видели в нем опасного человека и неоднократно пытались расправиться с Богданом. Как «подстрекателя», его заключили в Крыловскую крепость, и лишь помощь друзей помогла Хмельницкому избежать смертной казни и выйти на свободу. Отъезд его (под конец декабря 1647 г.) в низовья Днепра и последующее избрание Богдана запорожским гетманом явились началом войны против польских феодалов.

В политическую ситуацию восстания, в мотивы действий его вождя, в принятые тогда дипломатические решения Сенкевич, по сути дела, не вдумывается. Он упрекает, например, Хмельницкого в заключении союза с крымским ханом (им был алчный и вероломный Ислам-Гирей) и в бедствиях, которые потерпела от татарских орд Украина. Гетману ясны были и сущность политики Крыма, и опасность союза с ним (на Переяславской раде он говорил, что, «по нужде» хана «в дружбу принявши», украинский народ принял «нестерпимые беды»). Историки, однако, отмечают: этот союз был трагической необходимостью. В противном случае хан (подтверждение этому принесли ближайшие годы) вступил бы в стовор с польскими феодалами и вместе с ними выжег и залил кровью Украину. Соглашение, которое заключил в 1648 году Хмельницкий (а идя на него пришлось согласиться на посылку в Крым среди заложников и гетманского сына Тимоша), не только предоставило ему отряд татарской конницы, но и отвело от восставшей Украины угрозу удара в тыл.

В конце романа Сенкевич говорит о Хмельницком как о человеке сломленном, проигравшем дело всей жизни. Между тем Переяславская рада достойно увенчала труды и самоотверженность прославленного гетмана.

Стоит здесь напомнить о достойной оценке его деятельности современниками и потомками, на Украине и в России. В украинской народной думе о смерти гетмана (1657) говорилось так:

То не чорні хмари ясне сонце заступали,
То не буйні вітри в темнім лузі бушували;
Козаки Хмельницького ховали,
Батька свого оплакали.

Знаменитый украинский философ и писатель XVIII века Г. С. Сковорода называл Богдана в своих стихах «избранным мужем, вольности отцом, героем». Русский поэт-декабрист К. Ф. Рылеев посвятил Хмельницкому одну из своих дум и воспел его как мстителя за погранные «священнейшие права людей», любимого народом героя, под чьим водительством вступила «в бой с тиранством бодрая свобода». Советские украинские историки так определяют историческую роль Богдана Хмельницкого: «Глубочайшей любовью пользуется в народе память о Богдане Хмельницком, посвятившем всю свою жизнь освобождению Украины от ига польских захватчиков. Государственная и полководческая деятельность Богдана Хмельницкого вопля славной страницей в историю освободительной борьбы украинского народа. В наши дни имя Богдана Хмельницкого является символом героического прошлого украинского народа, символом выдающегося исторического акта — воссоединения Украины с Россией» (*там же*, с. 239).

Мрачный колорит не редкость у Сенкевича, когда он рисует деятелей восстания. Он доминирует, например, в изображении Максима Кривоноса, причем, не отказывая соратнику Богдана в личной храбрости, романист главной его чертой выставляет необузданно-жестокую дикость. Между тем Кривонос, человек, вышедший из народа и понимавший его стремления, еще в 30—40-е годы прославился в походах против Крымского ханства и султанской Турции и участвовал в борьбе против шляхетского господства, был умелым воином и опытным полководцем, после Хмельницкого самым популярным среди казаков. Черкасский полковник участвовал в сражениях под Желтыми Водами, Корсунем, Пилявцами, в освобождении Левобережной Украины. Видную роль он сыграл в развитии восстания на Правобережье. Он бил отряды Вишневецкого под Махновкой и Староконстантином, взял город-крепость Бар. Кривонос был и участником освободительного похода в Галицию: осенью 1648 года при осаде Львова штурмом овладел Высоким замком. Смерть его от чумы — в том же году при осаде Замокосты — была большой потерей для восставших.

Черные краски Сенкевич не использует при создании образа Богуна, которого не случайно многие из читателей считают самым ярким, самым романтическим и обаятельным персонажем в романе. Только образ этот с историческим Иваном Богунем (который еще летом 1648 г. возглавил повстанческие отряды на Брацлавщине) имеет, конечно, весьма мало общего, хотя из ряда эпизодов (особенно из описания в эпилоге битвы под Берестечком, когда Богун, выбранный в отсутствие Хмельницкого наказным атаманом, искусно вывел войско из окружения) ясно, что имеется в виду именно этот, прославленный своей личной храбростью и полководческим талантом, казацкий полковник, ставший после смерти Кривоноса ближай-

шим помощником Богдана. Последние годы жизни Богуна протекали не так, как сказано Сенкевичем в эпилоге. В 50-е годы он успешно воевал со шляхтой: с весны 1653 года возглавил казацкие войска на Правобережье, нанес чувствительные удары вторгшимся польским частям, особенно отличился при обороне Умани и в битве под Ахматовом (январь 1655 г.), когда русскими и украинскими войсками было приостановлено продвижение польско-татарских сил в глубь Украины. Богун был горячим сторонником воссоединения Украины с Россией. После заключения изменнического Гадяцкого договора (1658) он поднял в 1659 году восстание против гетмана Ивана Выговского (его, поначалу войскового писаря, читатель тоже мог заметить на страницах романа), пробравшегося к власти после смерти Хмельницкого и переметнувшегося на сторону шляхты. (С помощью русских войск казаки разбили Выговского, который бежал в Польшу, где в 1664 г. был расстрелян.) В 1662 году польские власти заточили Богуна в тюрьму. Правда, на следующий год король освободил его и отдал ему под командование казаков Правобережья, однако в феврале 1664 года Богун был обвинен в тайных переговорах с командованием русских войск и левобережными казаками и расстрелян поляками под Новгородом-Северским.

Сказанное имело целью помочь читателю яснее себе представить то соотношение, в котором находятся исторические факты и повествование Сенкевича. Роман легче будет оценить, поместив, с одной стороны, в более широкий исторический контекст, а с другой — уяснив для себя ряд подробностей и деталей польского шляхетского прошлого. Увидев, чего от Сенкевича ждать не приходится, чего он дать нам не в состоянии, мы лучше воспримем страницы, где художественное мастерство автора проявилось с яркостью, во всей полноте. Мы поймем, что легче легкого выискивать и находить в «Огнем и мечом» пробелы и тенденциозность. Они видны невооруженным глазом, и умалять их серьезности не следует. Но не стоит, скажем еще раз, предъявлять к роману такие же требования, как к историческому пособию. «Огнем и мечом» — увлекательный рассказ о далеких и красочных временах, о смелых людях, ярких характерах, исключительных судьбах. Рассказ этот будет продолжен в двух следующих частях трилогии (где уже несколько иное соотношение между большой исторической правдой и художественным повествованием). Все книги, составившие этот рассказ, находят вплоть до нашего времени читателя благожелательного и заинтересованного.

Б. Сталев

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман «Огнем и мечом» публиковался в варшавской газете «Слово» со 2 мая 1883 года по 1 марта 1884 года. Днем позже его главы появлялись в краковской газете «Час». В 1884 году вышло и отдельное издание.

Стр. 8. *Чамбул* — отряд вооруженных татар. *Теодорик Бучацкий* (ум. в 1456 г.) активно участвовал в захвате польскими феодалами Подолии в XV в., после смерти великого князя Витовта, правившего Лигвой, в ряде войн с татарами (по его вине в 1452 г. татары разгромили польские войска на Подолии).

Стр. 11. *Кульбака* — казацкое седло, обшитое кожей, с высокой лукой.

Стр. 13. *Кудак* (Кодак) — крепость на правом берегу Днепра у первого Кодацкого порога, построенная в 1635 г. для надзора за действиями казаков, в том же году разрушенная запорожцами во главе с Иваном Сулимой, вновь отстроенная спустя четыре года. Отряд, посланный Хмельницким, овладел ею осенью 1648 г. *Байдак* — беспалубное весельно-парусное речное судно.

Стр. 17. *Комиссар* — в старой Польше лицо, делегированное сеймом для выполнения какого-либо задания.

Стр. 18. *Барабаш Иван* — есаул реестрового войска, в апреле 1648 г. убит восставшими казаками за отказ перейти на их сторону. ...*вроде остраницовой*... — Яков Остривин (Яцко Остриница) во время восстания 1638 г. был избран казацким гетманом, после ряда боев в июне перешел на русскую территорию. Убит в 1641 г. поднявшимися против старшины казаками.

Стр. 19. *Подстароста*. — Так именовался в старой Польше либо помощник старосты в местной администрации, либо управитель фольварками в частных владениях.

Стр. 20. ...*краковского пана* — т. е. гетмана Потоцкого, который был и каштеляном краковским.

Стр. 23. *Галата* — часть Стамбула. *Трибунал* — сословный шляхетский суд второй, и последней инстанции. *Кондемната* — обвинительный приговор, выносимый заочно по уголовным и гражданским делам, в случае неподчинения лишавший осужденного шляхетских прав.

Стр. 24. ...*свободзинского сукна*... — Город Свободзин (ныне Зеленогорское воеводство) славился в старопольские времена своими сукновальными мастерскими.

Стр. 25. *Еще под Хойницами*... — Хойнице — город (в нынешнем Быдгощском воеводстве), около которого во время Тринадцатилетней войны

с Тевтонским орденом из-за восточного Поморья было разбито в 1454 г. польское шляхетское ополчение.

Стр. 26. *...пострашнее Наливайки и Лободы...* — Григорий Лобода вместе с Северином Наливайко (казньным в 1597 г.) являлся одним из предводителей повстанческого движения 1594—1596 гг., но стоял за сглашение со шляхтой, вступил в сношения с гетманом Жолкевским и, обвиненный в измене, был убит казаками в мае 1596 г.

Стр. 28. *...к коронному хорунжему* — т. е. Александру Конецпольскому.

Стр. 29. *...до расправы гетмана Жолкевского у Солоницы...* — Гетман Станислав Жолкевский (1547 или 1549—1620) — известный полководец, весьма популярный среди шляхты. Участвовал в войнах с казаками, Русским государством, Крымским ханством. Погиб в битве под Цецорой (в Молдавии, недалеко от Ясс), когда турецко-татарские войска нанесли поражение полякам.

На реке Солоница в 1596 г. во время восстания под руководством Наливайки казаками был создан укрепленный лагерь (неподалеку от г. Лубны). После двухнедельной осады его польским войском верхушка реестрового казачества пошла на капитуляцию и выдала шляхте руководителей восстания.

Стр. 30. *...ради бобровых хвостов.* — Хвост бобра в то время считался изысканным лакомством. *Князь Михаил, женившись на Могилянке...* — Отец Иеремии Вишневецкого, князь Михаил, был женат на Райне (1589—1619), дочери Иеремии Могилы, молдавского господаря в 1595—1606 г. Внуком господаря был также Петр Симеонович Могилы (1596—1647), украинский церковный и культурный деятель, писатель, противник унии.

Стр. 31. *...господарь направлял в Лубны...* — Имеется в виду Василий Лупу (Лупул, ум. в 1661 г.), который был господарем Молдавии с 1634 г. Во внешней политике стремился при поддержке Польши и Турции подчинить себе Валахию. После побед Хмельницкого согласился вступить с ним в союз и выдать дочь за гетманского сына, Тимоша. В 1653 г. был низложен. *Фрауциммер* — придворные дамы, фрейлины.

Стр. 39. *Торбан* — старинный музыкальный инструмент, басовая лютня.

Стр. 42. *...в самое сердце Буджака.* — Речь идет о степях юго-восточной Бессарабии, которые населялись тогда буджакскими татарами (ветвь ногайских татар), совершавшими набеги на Молдавию и Украину.

Стр. 43. *...родословие велось от Корната.* — Корнат — сын литовского князя Гедимина.

Стр. 44. *...письмо, писанное к Шеину...* — Шеин Михаил Борисович командовал войском во время русско-польской войны 1632—1634 гг.; после вынужденной капитуляции был обвинен в измене и в 1634 г. казнен.

Стр. 46. *Рынгаф* — металлическая пластинка с гербом или изображением святого, которая носилась на груди.

Стр. 53. *Ландар* — персонаж «Ильиады», прославленный лучник. Здесь: добрый вестник.

Стр. 60. Богуслав Казимеж *Маскевич* (ок. 1625—1683 гг.) — мемуарист. Служил у Вишневецкого, участвовал в войнах на Украине, оставил дневниковые записи за 1643—1649 и 1660 гг., которые публиковались в XIX—XX вв. *Самуэль Зборовский* — магнат, за убийство осужденный в 1574 г. на

вечное изгнание. Ездил к запорожским казакам, избирался гетманом, самовольно вернулся в страну, строил заговоры против короля Стефана Батория и канцлера Яна Замойского, в 1584 г. был схвачен и обезглавлен в Кракове.

Стр. 62. *...ухом Малховым...* — Имеется в виду то место из Евангелия от Иоанна, где говорится, что, пытаясь защитить Христа, Петр отсек мечом ухо первосвященнику рабу по имени Малх.

Стр. 89. *...под командой Любомирского...* — Имеется в виду Станислав Любомирский (1583—1649), воевода краковский, который в 1621 г. участвовал в битве под Хотинном, после смерти гетмана Ходкевича командовал войском.

Стр. 119. *...ставщины, поемщины, сухомельщины...* — Перечисляются разные виды крестьянских повинностей и поборов в пользу помещика: ставщина — плата за пользование прудами; поемщина — налог, взимаемый по случаю женитьбы крестьянина; сухомельщина — оброк с мельниц, ветряных, конных и водяных; очковые — подать с ульев; роговые — налог с выставяемого на продажу скота.

Стр. 123. Гийом ле Вассер де *Боплан* (ок. 1600—1673 гг.) — французский военный инженер и топограф, состоявший на польской службе в 1630—1648 гг. Построил ряд крепостей, составил подробную карту Украины и описание ее.

Стр. 124. Самоил Васильевич *Величко* (1670 — ок. 1728 гг.) — украинский летописец, сторонник ориентации на Россию, автор изданной в середине XIX в. «Летописи событий в юго-западной России в XVII веке». Михаил *Кречовский* (правильно Кричевский) — полковник реестровых войск, был другом Хмельницкого (в 1647 г. освободил его из-под ареста, взяв на поруки), после перехода в 1648 г. на сторону восставших участвовал в ряде битв. В июле 1649 г. был с 15-тысячным отрядом послан в Белоруссию, раненный в сражении под Лоевом, попал в плен и покончил с собой.

Стр. 127. *...даже премника Стефану Хмелецкому...* — Стефан Хмелецкий (ум. в 1630 г.), один из видных военачальников Речи Посполитой, происходил из небогатой шляхетской семьи. Он отличился в походах против Турции и Крыма, участвовал в сражениях под Цецорой и Хотинном, в отражении татарских набегов на Украину; прославился отчаянной смелостью, искусной тактикой в схватках с татарами, умением ладить с казаками и местным населением.

Стр. 139. *Стефан Чарнецкий* (1599—1665) — виднейший польский полководец XVII в. В сражении под Желтыми Водами попал в плен, после освобождения участвовал в битве под Берестечком. Особенно прославился в период борьбы против шведского нашествия, показав себя умным и дальновидным военачальником, умеющим выбрать правильную тактику борьбы с неприятелем. Сенкевич посвятил его деятельности ряд ярких страниц романа «Потоп».

Стр. 198. *...дал обет босиком в Ченстохову пойти...* — В Ченстохове находится монастырь паулинов на Ясной Горе (основан в XIV в.), где хранится почитаемый верующими в Польше образ Богоматери. Ченстохова стала поэтому важнейшим центром католического культа, местом паломничества,

Стр. 245. ...*в пользу королевича Карла...* — Кароль-Фердинанд Ваза (1613—1655) был сыном Зыгмунта III, единокровным братом Владислава IV и родным Яна Казимира, вроцлавским и плоцким епископом. Его кандидатуру поддерживали магнаты — сторонники немедленного вооруженного подавления восстания на Украине.

Стр. 251. *Пришли... царьки азовский и астраханский...* — Азов был с конца XV в. турецкой крепостью, опираясь на которую крымские и ногайские татары совершали набеги на южнорусские земли. Астраханское ханство еще в XVI в. было окончательно присоединено к России. ...*орды ногайской...* — Ногаи Большие с 30-х годов XVII в. переселились на правобережье Волги. Совместно с ними кочевала часть улусов Малых Ногаев, которые, распавшись в первой половине этого же века на ряд орд (Буджакская и др.), расселились в степях Северного Причерноморья вплоть до Дуная.

Стр. 255. Вавжинец Ян *Рудаевский* (1617—1690) — историк, автор латинской «Истории Польши от кончины Владислава IV до Оливского мира в девяти книгах» (изд. в 1755 г.).

Стр. 257. ...*Пушкаренко полтавский...* — Имеется в виду Мартын Пушкарь, полтавский полковник, один из самых решительных сторонников союза с Россией. Когда после смерти Хмельницкого гетман Выговский повел антинародную политику, Пушкарь возглавил восстание на Левобережье. 1 июня 1658 г. был убит в сражении под Полтавой.

Стр. 258. ...*под Кумейками и на Старке...* — Кумейки — село, около которого 16 декабря 1637 г. крестьянско-казацкие войска, предводительствуемые Павлом Михновичем Бутом (казнен в 1638 г.), потерпели поражение в битве с силами Миколая Потоцкого. В устье реки Старки летом 1638 г. устроили искусно укрепленный лагерь повстанцы во главе с Дмитро Тимошевичем Гуней и продержались около двух месяцев (Гуня с частью казаков ушел на Дон).

Стр. 268. *Кончар* — тяжелый длинный меч, который был на вооружении у гусар.

Стр. 281. ...*про пана из Потока.* — Род Потоцких получил название от деревни Поток близ Кракова.

Стр. 282. Иоахим *Ерлич* (1598 — ок. 1673 гг.) — мемуарист, автор «Летописца, или Малой хроники разных дел и истории», охватывающей время с 1620 по 1673 г. (изд. в 1853 г.).

Стр. 286. ...*регентарство отдано в другие руки...* — Сейм назначил трех регентариев, о которых Хмельницкий, имея в виду лень и изнеженность Доминика Заславского, молодой возраст Александра Конецпольского и ученость Миколая Остророга, насмешливо говорил: «Перына, дытына и латына».

Стр. 303. *Сабля-баторовка* — сабля с изображением короля Стефана Батория.

Стр. 336. *Пускай от этого Ястребца достойные родителя ястребятя породятся...* — Ястребец — герб Скшетуского.

Стр. 410. *Армяне... понесли деньги в ратушу...* — Армянская колония во Львове существовала с XIV в. ...*подходит Хмельницкий.* — Войска Хмельницкого подошли ко Львову в конце сентября (по Сенкевичу — в начале

октября) 1648 г. Был взят Высокий замок, господствовавшая над городом позиция. Но от штурма Хмельницкий отказался, взял лишь контрибуцию, чтобы заплатить татарам, и избавил тем Львов от разрушения и грабежа, двинув свои силы к Замостью.

Стр. 415. *...больше всех снес турецких голов...* — Вероятно, имеются в виду головы чучел, изображавших турок.

Стр. 421. *...о маршальских судах слышан...* — Во время бескорольевья действовали так называемые «каптуровые» суды («каптуром» именовалась завязываемая на это время конфедерация, избравшая маршалка), которые наказывали уголовные преступления и нарушения общественного спокойствия.

Стр. 423. *...соорудили временную постройку для сената.* — На «элекционном поле», как пишет в своей «Старопольской энциклопедии» З. Глогер, «был окружен рвом и валом прямоугольник, имевший три входа... Прямоугольник делился на две части для двух палат: сенаторской и рыцарской. Сенаторская, состоявшая из епископов, воевод, каштелянов и министров, заседала в строении, прикрытом сверху тесом от дождя и солнца, а с божков завешенном тканями. Снаружи этого строения собирался под открытым небом рыцарский круг, то есть все послы от земель на элекционный сейм. Прочая шляхта, что по своей охоте съезжалась на элекцию, располагалась по воеводствам, разбивая шатры...»

Стр. 445. *...его единственному сыну...* — Михал Корибут Вишневецкий был избран королем после отречения Яна Казимира в 1669 г. (выборы эти Сенкевич описал в «Пане Володыёвском»), оказался слабым правителем, умер в 1673 г. *...поголки Яфета...* — В шляхетской Польше библейская легенда о сыновьях Ноя истолковывалась так, чтобы обосновать превосходство шляхты, ведущей свой род якобы от Иафета, над крестьянами, «потомками Хама».

Стр. 446. *...чуть ли не королевский род.* — Вишневецкие вели свой род от Корибута, внука Гедимины и сына Ольгерда, великого князя литовского. (От него Корибут получил в наследство Новгород-Северское княжество.)

Стр. 449. *...от сладкого воздуха Капуи...* — Имеется в виду эпизод Второй Пунической войны, когда в Капуе, открывшей свои ворота Ганнибалу, полководец дал отдых истомленным войскам.

Стр. 470. *...академия приветствовала...* — Имеется в виду основанная в 1632 г. (путем слияния Киевской братской школы и школы Киево-Печерской лавры) Киево-Могилянская академия, названная так в честь Петра Могилы, который содействовал ее созданию. Она была первым высшим учебным заведением на Украине, крупным культурно-просветительным центром.

Стр. 476. *Радзивилл города мои вырезал...* — Имеется в виду князь Януш Радзивилл (1612—1655), богатейший литовский магнат, владевший многими землями и городами, который был в 1648—1649 гг. польным гетманом литовским и возглавил войска, посланные на умирение народного восстания в Белоруссии. Взятие Турова, Мозыря, Бобруйска в начале 1649 г. действительно сопровождалось зверствами, изощренными казнями. С князем Янушем (тогда уже виленским воеводой и великим гетманом литовским) читатель еще встретится в романе «Потоп».

Стр. 477. *Не Замойские... и Конецпольские...* — Здесь имеются в виду знаменитый государственный деятель, великий коронный гетман и канцлер Ян Замойский (1542—1605), а также Станислав Конецпольский (ок. 1594—1646 гг., отец Александра), великий гетман коронный, успешно воевавший со шведами и с татарами и имевший славу выдающегося полководца.

Стр. 478. Федор *Вишняк* (ум. в 1650 г.) был полковником, участвовал во многих боях, выполнял дипломатические поручения Хмельницкого. Летом 1648 г. возглавлял посольство в Варшаву во время бескорольевья, а в июне 1649 г. — посольство в Москву.

Стр. 490. Анджей *Фирлей* (ум. ок. 1650 г.) был с 1640 г. бельским каштеляном, с 1649 г. — сандомирским воеводой. Принадлежал к кальвинистскому вероисповеданию. В 1649 г. участвовал в обороне Збаража в качестве одного из региментариев, как и Станислав Ланцкоронский (ум. в 1657 г.), ставший в 1654 г. польным коронным гетманом.

Стр. 505. *Бахмат* — малорослая, выносливая порода лошадей, которая использовалась в татарской коннице.

Стр. 553. Данила *Нечай* — брацлавский полковник, был одним из ближайших сподвижников Хмельницкого, после Зборовского договора возглавил повстанческие отряды на Волыни и Подолии, погиб в 1651 г.

Стр. 554. *Лановая пехота* была создана в Польше только в 1655 г. В нее брали крестьян: по одному с 15-ти ланов земли.

Стр. 560. *...стоила отважному казацкому предводителю жизни...* — Исторический Кондрат Бурлай, гадячский полковник 1648—1649 гг., жил и в годы, не охваченные действием романа Сенкевича (год его смерти неизвестен). Он выполнял ряд дипломатических поручений: в начале 1648 г. вел переговоры с крымским ханом, в 1653 и 1655 гг. ездил в Москву.

Стр. 567. *...под Тицяной... под Пуцком...* — Имеются в виду битвы, выигранные польскими войсками в войне со Швецией в конце 20-х годов XVII в. из-за прибалтийских земель. *Густав II Адольф* был шведским королем в 1611—1632 гг.

Стр. 570. *...два удалых полковника, Гладкий и Небаба...* — Матвей Гладкий — миргородский полковник, выходец из казацких низов, не ладивший со старшиной шляхетского происхождения, участвовал в битвах под Корсунем и Пилявцами, в осаде Збаража. Согласно летописному свидетельству, претендовал на должность гетмана и в 1652 г. был казнен по приказу Хмельницкого. Мартын Небаба был черниговским полковником, погиб в 1651 г. в битве с войском Радзивилла.

Стр. 624. *...человек лет около сорока...* — Ян Казимир до избрания на польский престол служил во время Тридцатилетней войны в австрийской армии, сидел во французской тюрьме как сторонник Габсбургов, вступил в орден иезуитов, получил кардинальский сан.

Стр. 625. Иероним *Радзевский* (1622—1667) был коронным подканцлером, вел интриги против Яна Казимира, был осужден и бежал в Швецию. Во время шведского нашествия служил оккупантам, прибыл в Польшу вместе со шведским войском. Изображен в романе «Потоп».

Стр. 626. *Вицы были разосланы...* — Имеются в виду ветви лозины, рассылавшиеся по стране как приказ явиться в войско. Позднее так на-

зывали королевские универсалы, извещавшие о созыве всеобщего ополчения.

Стр. 629. Павел Ян Сапега (ок. 1610—1665 гг.) впоследствии принял деятельное участие в борьбе против шведского нашествия. Один из персонажей «Потопа».

Стр. 639. *Под Зборовом заключен мир...* — Зборовский договор был заключен между Хмельницким и Яном Казимиром 8 (18) августа 1649 г. Им предусматривалось размещение казацкого войска в Киевском, Черниговском и Брацлавском воеводствах, где запрещалось пребывание польской армии и иезуитов, увеличение реестра до 40 тысяч казаков, допуск православной шляхты к административным должностям. Но народные массы договор не удовлетворил: крестьяне оставались под властью польских помещиков. Польский сейм Зборовский договор не утвердил. В начале 1651 г. военные действия возобновились.

Б. Стахеев

СОДЕРЖАНИЕ

ОГНЕМ И МЕЧОМ

Часть первая. <i>Перевод Асара Эппеля</i>	7
Часть вторая. <i>Перевод Ксении Старосельской</i>	337
<i>Б. Стахеев</i> . Послесловие	653
<i>Примечания</i>	664

Сенкевич Г.

С 31 Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 2. Огнем и мечом: Роман. Пер. с пол. /Послесловие и примеч. Б. Стахеева; Худож. Е. Ганнушкин. — М.: Худож. лит., 1983. — 671 с., ил.

Во второй том Собрания сочинений Генрика Сенкевича (1846—1916) входит исторический роман «Огнем и мечом» (1884).

С 4703000000-048
028(01)-83 подписное

ББК 84.4П
И(Пол)

ГЕНРИК СЕНКЕВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ II

Редактор Ю. Живова

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
С. Ефимова

Корректоры
Г. Киселева и О. Наренкова

ИБ № 2341

Сдано в набор 03 09 82. Подписано в печать 18 05 83. Формат 60×90^{1/16}. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л 42 Усл. кр-отг. 42 Уч-изд. л. 48,11, Тираж 200 000 экз. Изд. № V-942. Заказ № 583. Цена 4 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15